Алексей ГОРШЕНИН

ПИСАТЕЛИ НОВОСИБИРСКА

XX ВЕК

ХРЕСТОМАТИЯ

Новосибирск
2015

ББК

Горшенин А.В.

Г Писатели Новосибирска. XX век. Хрестоматия. – Новосибирск, 2015. – 912 с.

Представлены писатели нескольких поколений, чьи творческие судьбы были связаны с Новосибирском двадцатого столетия.

ISBN

© Горшенин А. В. Составление, вступительная статья, биографические заметки об авторах и примечания, 2015.

ГОДА ИДУТ…
или
КАК РОЖДАЛАСЬ ЭТА КНИГА

«Года идут, а счастья нет» – сокрушенно говаривал один из известных руководителей Новосибирского телевидения Виктор Васильевич Кашкалда, юмор которого нередко доставал чиновников довольно высокого ранга. Да, причем тут юмор, скажет читатель, причем чиновники, когда речь идет о предисловии к серьезной книге?

В конце концов, черт с ним с юмором, но годы-то действительно идут, причем не простые, а «приносящие счастье» то спорту, то астрономии, то культуре, а в 2015 году несказанно повезло литературе. Год литературы на Руси Великой объявлен. Правда, что это значит и что надлежит делать, не сказали – циркуляр не вышел. Однако чиновники всех мастей знают твердо – пошуметь по этому поводу надо и чем громче шум, тем лучше ей, литературе. Может, будет так же хорошо, как в году предыдущем – культуре: год откроют большим концертом, а завершат маленьким, скромным, потому что уже надо думать о следующем «годе», его открытии. Да и рапортовать об успехах в самом культурном году в истории России-матушки и всея ее регионов было особенно не о чем. Но все ждут, каким объявят год следующий? Посвятят его борьбе с курением, виноделию или винопитию, а может быть, футболу? Ведь запущен уже на специальных часах, на Манежной столичной площади обратный отсчет до первого удара по мячу на мировом мундиале. В общем, как решат, так и будет, а мы, что скажут, то и поднимаем. Культуру, дак культуру, литературу, дак литературу, а если винопитие, то и с этим у нас традиции богатые.

Конечно, народ российский отзывчивый и инициативный, мероприятия проводить привыкший: хоть какую задачу поставь – выполнит и перевыполнит. Соберутся общественники, радетели искренние и не искренние, наметят планов громадьё и в писательстве, и в книготорговле, и во всем, что касается и, подчас, не каса-

ется, а то и вовсе идет параллельным курсом и на больную нашу литературу не влияет, зато создает видимость, что она поправляется. Спросите, почему сразу «больную»? Так это же и козе понятно! Разве стали бы ко всей стране обращаться, если бы лечить не надо было сначала культуру, потом литературу. (Как будто она к культуре не относится!)

Все, хватит! Обидятся еще люди, которые с энтузиазмом своих счастливых годов ждут. Ждите, может, повезет. Но готовьтесь все делать сами, ибо денег если и дадут, то, как всегда, мало – лишь бы в отчете написать: мол, и денег тоже давали.

Не буду, однако, больше занудничать, а посоветую только, как в известном анекдоте, надо найти умных людей и сказать им: «Ну, придумайте, что-нибудь».

Вот в год литературы умные люди в Новосибирской области и составили план «чего-нибудь». Нет, нет, не подумайте, что все там чепуха-чепуховская. Много очень даже полезного: и конференции, и встречи с писателями в школах… Я заметил, правда, как от начала года к его концу снижалось число встреч с читателями от еженедельных до ежемесячных и ежеквартальных (угасал энтузиазм) в районах, куда поездки организовывали за свой счет, библиотеках, клубах.

Но придумали мы на одном из совещаний, что должен быть сухой остаток от целого года, материальный, так сказать. И пришла же мне в голову эта мысль, и, о язык мой – враг мой, удосужился я ее громко высказать: а не издать ли нам Хрестоматию Новосибирских писателей. Поддержали! Правда, с ограничениями: включить в нее только о тех, кто уже больше ни строчки не напишет, а о тех, кто пишет еще, ни гу-гу, потому, что не дай Бог, повлияет на талант или вызовет ревностные чувства у тех, кого не помянем, а если и помянем, то без должного пиетета. Напомнил я и об известном литературоведе Алексее Валериевиче Горшенине, у которого есть в этом направлении серьезные наработки и исследования.

Алексей Валериевич идею создания Хрестоматии принял близко к сердцу и с энтузиазмом взялся за работу. Работу большую и нелегкую. Ведь надо было к рассказам о писателях, их судьбах найти тексты, наилучшим образом демонстрирующие творческую суть и художнический почерк того или иного автора. Думаю, что это ему удалось.

И оказывается, что со времен создания начале двадцатых годов журнала «Сибирские Огни» до наших дней в Новосибирске работали великолепные прозаики, поэты, литературоведы, критики, драматурги. Фактически весь спектр словесно-художественного

творчества присутствует в литературной истории нашего родного города, который я называю драгоценным самородком, ограненным талантом и трудом его жителей. Действительно, Новосибирск и прожил-то всего немногим более века и еще только готовится встретить свое 125-летие, а он уже, став «чемпионом мира» в беге до миллионного жителя, является сегодня третьим по величине городом России, культурным, научным, образовательным, индустриальным, спортивным центром огромной державы.

Он достиг мировой известности практически во всех направлениях человеческой деятельности. И, кстати, независимо от того, наречен ли был какой-либо год ее именем или нет. Возьмем музыку. Новосибирский симфонический оркестр, консерватория с ее скрипичной школой, оркестр русских народных инструментов, театр оперы и балета и т.д. Или медицину. Это академик Е.Мешалкин с его сердечнососудистым центром, Сибирский филиал академии медицинских наук, НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна. Всему миру известен наш Академгородок с его научными достижениями. У нас два десятка олимпийских чемпионов в разных видах спорта – не многие города мира могут этим похвастаться. Более чем в 70 стран поставляла наша промышленность свою продукцию. А Транссиб еще в начале XX века на выставке в Париже был назван восьмым чудом света. На заре своего существования мы снабжали Европу хлебом, маслом и сейчас достижения сибирских ученых-аграриев обогащают мировую сельскохозяйственную науку.

Предлагаемая вниманию Хрестоматия убедительно показывает, что и в области литературы нам есть чем гордиться. Имена писателей Анатолия Иванова, Георгия Маркова, Афанасия Коптелова, Владимира Зазубрина, Юрия Магалифа, Михаила Щукина, поэтов Вивиана Итина, Елизаветы Стюарт, Нэлли Закусиной, Александра Плитченко, Алекесандра Смердова, Владимира Берязева, Александра Денисенко хорошо известны читателям России, а многие их произведения переведены на иностранные языки.

Не забудем также, что именем известного русского инженера и писателя Гарина-Михайловского, имевшего отношение (пусть и косвенное) к рождению Новониколаевска, названа городская литературная премия Новосибирска, что у его истоков стоял другой замечательный инженер, много сделавший для образования и культуры стремительно росшего поселка мостостроителей, которому суждено будет стать огромным городом.

Из Хрестоматии можно узнать о многих событиях литературной жизни Новосибирска: о журнале «Сибирские Огни», о первых

съездах писателей Сибири… Не обойдены вниманием в Хрестоматии все жанры литературного творчества, в которых работали новосибирские писатели. Здесь же можно узнать, что многие писатели Новосибирска были еще и видными общественными деятелями своего времени.

Не удержусь и поделюсь личными впечатлениями от творчества писателей-земляков и встреч с ними. Знакомство С сибирской поэзией, например, я познакомился еще в раннем детстве, когда замечательный поэт и прозаик Александр Иванович Смердов потом подарил нам с братом в 1960 году свою книжку «Полнолунье» – потрясающие переводы алтайского эпоса – с дарственной надписью: «Саше и Вове Шамовым от дяди Саши – недосказанная сказка.

…Знай, тебе, наш мальчик милый,
Дам великую я силу:
Говор трав, лесов зеленых,
Речи ветра, рек студеных,

Песни птиц, язык звериный
Будешь слышать ты отныне.
Понимать их будешь речи,
Будто говор человечий…

Замечательные слова о божественном даре, которым был наделен алтайский мальчуган Боро-Чуда, выросший защитником своей земли. И как важен подобный дар для нынешней ребятни! Может, и меня слова эти научили когда-то любить родную природу...

Надо сказать, что почти все писатели, художники того времени были заядлыми охотниками и рыбаками, людьми жившими в единстве с матушкой природой. А некоторые из них были настоящими певцами природы. В чем лично я убедился прочитав когда-то малюсенький рассказ Кондратия Никифоровича Урманова «Трошка» из его «Избранного», подаренного писателем в шестидесятых годах моим родителям. Приведу его полностью.

Произведения наших писателей о родной земле и нашей природе, о солнечном Алтае, Барабе, Кулунде, уверен, и сегодня очень нужны детям и юношеству.

В детстве свела меня судьба и с Юрием Михайловичем Магалифом. Знакомство это имело далеко идущее продолжение. Когда я уже работал заместителем мэра Новосибирска и придумал для Дня города Городовичка, я, конечно, вспомнил о великолепном сказочнике и попросил его написать книжку про моего героя. На что известный писатель, сунув руки в карманы и важно расхаживая по кабинету, отрезал: «Я по заказу начальства книги не пишу!». Вот тут-то я и выложил безотказный аргумент: «Какой я тебе начальник (мы были на «ты», несмотря на большую разницу в возрасте), если ты мне сказки читал, когда я под стол пешком ходил!». «Это меняет дело» – согласился Юрий Михайлович и написал прекрасную книженцию «Приключения Городовичка». Кстати, тоже бы не грех переиздать.

Комсомольская, партийная и советская работа подарила мне общение со многими литераторами Новосибирска. Анатолий Васильевич Никульков, Василий Михайлович Коньяков, Геннадий Никитич Падерин… – потрясающие люди! Фронтовики. Посчастливилось мне дружить и с Александром Плитченко, Михпилом Щукиным – разносторонне талантливыми, глубоко патриотичными литераторами, которых взрастила из земля сибирская.

Вот и ратую я за то, чтобы любовь эта проникала как в души юные, так и умудренные опытом, была помощником и наставником в воспитании самих искренних чувств к родной земле, к людям на ней живущим и историю ее творящим.

Словом, я думаю, хотя судить, конечно, читателю получилась архиполезная «Хрестоматия». И, слава Богу, или Президенту Путину, что подвигнул на ее создание год литературы. Уверен, что нужна она будет и школьникам, и студентам филологических факультетов, и литераторам. И поможет сохранить в нашей памяти имена новосибирских писателей, поэтов, драматургов, возродит интерес к ним, обогатит знанием читателей, продолжит литературную часть Новосибирской эстафеты поколений. Может быть, даже, натолкнет тех, кому об этом положено думать, на переиздание столь необходимых молодежи книг.

Теперь вернусь к тому, с чего начал – поёрничаю по поводу наречений годов названиями направлений человеческой деятельности. Признаюсь, что вовсе и не вредно это, а даже полезно было б (во всяком случае, многократно плодотворнее), если бы руководители Новосибирска и области, районов, министерств и департаментов, начинало каждый такой «именной» год с анализа. Чем богаты и откуда взялось это богатство (само ли выросло или в результате продуманной организационной политики)? Чем бедны и в чем причины «бедности»? Какие проблемы есть в культуре, литературе и т.д.? И, наконец, исконно русское: что делать, чтобы и года шли и счастье было – в нашем случае, и писателям и поэтам, и издателям, и библиотекарям, и даже читателям? Ну, до-

пустим, вдруг бы появились гонорары для авторов «Сибирских огней» (что, вообщем-то, так естественно), конкурсы для писателей, гранты для издателей. Может быть, следует подумать над тем, что необходимо издать в интересах Новосибирска и области, задуматься, а подрастают ли юные таланты, идут ли они на смену мэтрам, и что для обеспечения сего не простого процесса необходимо изладить, свершить. Может, стоит перестроить систему проведения «поименованных» годов – начинать ее не с торжественных открытий, а с рабочих встреч с теми самыми деятелями культуры и литературы и заглядывать вглубь, в суть творческих процессов и потом СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ для успешной деятельности людей творческих, приносящих славу родной земле. А то, ведь, года идут – упустишь время и нарушится порядок вещей. Восстанавливать гораздо труднее, чем вовремя реагировать на проблемы, из которых состоит творческая жизнь.

Вот такое архи серьезно-несерьезное предисловие я решил написать к сухому остатку (к счастью не единственному, благодаря общественности) «Года литературы».

Владимир ШАМОВ

P.S. Деньги на творческую часть издания нашли благодаря выигрышу клубом «Зажги свечу» гранта Мэрии г. Новосибирска, а на издание фонд «Русское слово» частично тоже от областного гранта урвал, остальное добывали. У кого? Отдельной строкой.

ЛОКОМОТИВ ЛИТЕРАТУРНОЙ СИБИРИ

Большую часть XX века Новосибирск оставался не только крупнейшим промышленным, транспортным, научным, но и культурным центром бурно развивающейся Сибири. В том числе – ее литературной столицей, средоточием лучших писательских сил. С городом на Оби связаны судьбы многих хорошо известных в России мастеров слова разных поколений. И не случайно целый ряд его улиц назван в их честь.

Однако городом по-настоящему литературным Новосибирск стал не сразу. В Новониколаевске начала XX века литературная жизнь практически отсутствовала. Не было и писателей. За исключением разве что Владимира Матвеевича Бахметьева, отбывавшего здесь ссылку и выступавшего время от времени с рассказами в сибирской периодике. Он и в Новониколаевске продолжал активную революционную деятельность, а в 1909 году стал редактором местной социал-демократической газеты «Обская жизнь». За публикацию антиправительственных материалов в 1912 году ее закрыли, а В. Бахметьева отправили в Нарымский край, откуда в Новониколаевск он уже не вернулся, а известным пролетарским писателем сделался после революции, живя и работая в Москве.

1

Литературная история Новосибирска началась после революции 1917 года и Гражданской войны, круто изменивших судьбу Новониколаевска. В июне 1921 года, после перевода сюда Сиббюро ЦК РКП(б), Сибревкома и других общесибирских учреждений, уездный Новониколаевск становится официальной столицей Сибирского края со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в июле того же года возникла «Новониколаевская артель поэтов и писателей», куда входило чуть более двух десятков литераторов. С ее появлением, собственно, и началась литературная жизнь Новониколаевска-Новосибирска.

Правда разгораться по-настоящему она стала, когда на «столичный» огонь из разных уголков Сибири потянулись одаренные люди, в том числе и ищущие себя в слове. Одни (Г. Вяткин)

еще до революции были признанными поэтами Сибири, другие (И. Ерошин, К. Урманов) появились в Новониколаевске, едва успев сменить армейскую винтовку и партизанский дробовик на перо, третьи (В. Зазубрин) становились писателями прямо в горниле Гражданской войны.

Появление в Новониколаевске целой плеяды молодых, но уже с серьезным жизненным опытом и по-хорошему амбициозных писателей, готовых свой талант поставить на службу новому обществу, способствовало формированию в юной столице Сибирского края той литературной среды, которая очень скоро начнет задавать тон на всем пространстве от Урала до Тихого океана.

Способствовал этому и связанный с новой экономической политикой (нэпом) широкий демократизм как общественной жизни 1920-х годов вообще, так и книжного дела в Сибири, в частности, породивший бурную книгоиздательскую и книготорговую деятельность.

В самом начале 1920-х годов в Новониколаевске стали возникать первые альманахи и журналы – «Арпоэпис», «Таежные зори», «Пролетарские побеги». Правда, были они слабы, маловыразительны, и век имели недолгий – едва хватало их на два-три номера. Поэтому мощными центрами притяжения разрозненных творческих сил стать не могли. А роль подлинного литературного лидера была уготована историей другому периодическому изданию – журналу «Сибирские огни»…

«Сибирские огни» стали по времени возникновения вторым после московской «Красной нови» литературно-художественным журналом Советской России и сразу же были замечены как в Сибири, так и в Центре. А нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский в кратком отзыве, опубликованном 22 апреля 1922 года в «Советской Сибири», в частности, писал: «Этот журнал приходится признать лучшим из провинциальных».

В числе его первых костровых были супруги *Лидия Николаевна Сейфуллина* и *Валериан Павлович Правдухин*. Прожили они в Новониколаевске недолго (с 1921 по 1923 го), но оставили после себя и яркий след, и долгую память.

Разгорающийся костер «Сибирских огней» притягивал к себе талантливых писателей разных поколений. Уже через год после его возникновения вокруг журнала сложилась сильная литературная дружина: поэт и прозаик *Георгий Андреевич Вяткин*, прозаик *Кондратий Никифорович Урманов*, поэт и прозаик, *Вивиан Азарьевич Итин*, поэт *Иван Евдокимович Ерошин*, прозаик и краевед *Максимилиан Алексеевич Кравков*… А в 1923 году в Новониколаевске обосновался один из самых ярких и самобытных сибирских писателей первой половины XX столетия *Владимир Яковлевич Зазубрин*, вскоре возглавивший «Сибирские огни». Костяк этот и далее продолжал обрастать литературным «мясом» но именно они заложили фундамент самого крупного и сильного в будущем писательского отряда Сибири.

С чем же шли к читателю новосибирские писатели той поры? На этот вопрос в статье «Литературная пушнина», написанной по поводу пятилетия «Сибирских огней», отвечал в свое время В. Зазубрин:

«Тематически до последнего времени на первом месте у сибирского писателя стояла Гражданская война, на втором – годы голода и военного коммунизма. К темам послевоенным писатель повернул только в 1926 году»*. Здесь же он отмечал, что «и новые люди проходят перед читателем на фоне боев, пожаров и голода», что «наш писатель – боец и строитель» и что, за небольшим исключением, «сибирская литература и поэзия пока еще по основным своим настроениям – крестьянские».

И действительно, Гражданская война, колчаковщина, сибирская деревня на «великом переломе» становятся главными темами для большинства сибирских писателей двадцатых годов. Хотя тематический их диапазон был, конечно же, шире.

Первое после Гражданской войны десятилетие было для сибирской литературы сложным и трудным. Отмечено оно в первую очередь собиранием и объединением разрозненных литературных сил на гигантских просторах Сибири. Главной ареной этого объединения стал Новосибирск. У писателей, группировавшихся вокруг «Сибирских огней» возникла мысль о создании единой сибирской литературной организации. Идея была реализована на состоявшемся в марте 1926 года в Новосибирске Первого съезда сибирских писателей, на котором был создан Союз сибирских писателей (ССП). Большинство членов правления ССП во главе с его председателем В.Я. Зазубриным были новосибирские писатели.

ССП быстро завоевывал авторитет и влияние. Но нормальное развитие литературного процесса сильно осложняла групповая борьба, развязанная Сибирской ассоциацией пролетарских писателей и экстремистки настроенной группой «Настоящее» при одноименном журнале. Развернулась травля руководителей ССП, в результате которой В.Я. Зазубрин вынужден был покинуть Но-

* «Сибирские огни», 1927, №1.

восибирск. И только постановление ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций», упразднявшее все прежние литературные организации в центре и на местах, положило конец групповщине. Что не замедлило сказаться на творчестве: писатели отныне могли заниматься им более активно и плодотворно.

Сменился и сам вектор их творческой направленности. Приоритетными становились не темы революционной борьбы, а отображение происходящих в стране социально-экономических преобразований. Разворачивалась индустриализация (в одном только Новосибирске возводилось сразу несколько промышленных гигантов). А бок о бок с нею шла не менее масштабная (только, пожалуй, куда более драматичная) коллективизация. Большие изменения происходили в культуре, национальном вопросе… Социально-экономические подвижки такой силы и размаха не могли оставить равнодушными мастеров слова, они остро волновали и внушали чувство необычайного оптимизма. Как вспоминал впоследствии Вс. Иванов: «В светлое завтра верили все – и писатели, и критики, и читатели». Что, разумеется, не могло не отразиться на литературных произведениях.

Характеризуя основные тенденции развития литературы Сибири конца 20-х и в 30-е годы прошлого века, В. Итин в статье «Внимание качеству культуры» констатировал: «Тема превращения отсталой страны – в страну крупной индустрии, вооруженной самой передовой современной техникой, в страну крупнейшего в мире социалистического земледелия, превращения мелкого собственника в колхозника, кочевника, – в строителя социализма, малограмотного парня – в научного работника и т. п. – является и становится главной темой советской литературы в Сибири»*.

И эта «главная тема» разрабатывалась сибирскими писателями в разных жанрах. В первую очередь, конечно, новосибирскими, поскольку Новосибирск по-прежнему оставался литературным флагманом Сибири. Достаточно сказать, что на Первом съезде писателей СССР писательский отряд из Новосибирска был самым представительным после Москвы и Ленинграда.

В фокусе пристального «столичного» внимания новосибирские писатели не раз оказывались и после этого всесоюзного форума. А вот связи с читателями-земляками у них были постоянными и прочными.

* Итин В. Внимание к качеству культуры. — «Сибирские огни», 1934, №1, с. 196.

Весьма наглядным тому примером может служить состоявшаяся в Новосибирске в мае 1936 года краевая литературная конференция, созванная по инициативе первого секретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе. Почти все выступавшие на ней отмечали огромный интерес читателей к художественной литературе. И вот что интересно. В конференции участвовали далеко не только люди пишущие. Из трехсот присутствующих на ней делегатов профессиональных писателей набиралось не более двух десятков. Конференция была широко представлена различными социальными группами. Присутствовали на ней и рабочие, и колхозники, и политработники, и библиотекари, и журналисты, и актеры, и художники, и военные. В работе конференции в качестве гостей принимали участие писатели из Москвы, Украины, Грузии.

Вторая половина 1930-х годов для советских писателей была не только временем сплочения и большого подъема, но многих тяжелых непоправимых утрат. Страна вступала в черную полосу репрессий, которые больно ударили по всему обществу, включая, конечно, и литературу. Понесли урон и новосибирские писатели, не досчитавшись в своих рядах к концу сороковых годов целого ряда талантливых собратьев. Один за другим навсегда исчезли в чреве «черных воронов» Вениамин Вегман, Георгий Вяткин, Вивиан Итин, Максимилиан Кравков, Александр Ансон… Скорбный этот список можно было бы продолжить и такими бывшими новосибирцами, как Владимир Зазубрин, Михаил Басов, Валериан Правдухин.

А страна тем временем стояла на пороге еще больших испытаний…

Великая Отечественная война – особая страница в нашей литературе. Эти густо пропитанные кровью годы отложили свой отпечаток и на произведениях писателей той поры, и на их судьбах, и вообще на литературной обстановке и жизни Новосибирска – такого, вроде бы очень далекого от полей сражений города. Но вот что писал по этому поводу, выражая общее самочувствие писателей-сибиряков, в одной из статей военных лет публицист и очеркист Савва Кожевников: «Сибирь далеко от фронта. Но она далеко, если расстояние измерять по географической карте. Фронт Отечественной войны мы воспринимаем сердцем. И он для нас настолько близок, что мы, кажется, слышим лязг и скрежет танковых колонн, видим взрывы артиллерийских снарядов и фугасных бомб. Ведь фронт проходит по нашей Родине».

Уже на другой день войны, 23 июня 1941 года, писатели со страниц газеты «Советская Сибирь» заявили: «Будем бить врага

и штыком, и пером». Что и делали в самом буквальном смысле. И в первую очередь те, кто надел солдатскую шинель. На фронтах Великой Отечественной в составе сибирских добровольческих дивизий в первые же месяцы оказались Евгений Березницкий, Николай Кудрявцев, Александр Куликов, Александр Смердов, уже успевшие заявить о себе в предвоенные годы как талантливые поэты и прозаики, и совсем еще юный Борис Богатков. Троим из них (Березницкий, Богатков, Кудрявцев) не было суждено вернуться в родной город никогда.

Писатели, оставшиеся в тылу, тоже приближали победу над врагом, но их главным оружием было перо.

Правда, издательская деятельность в начале войны в Новосибирске была резко сокращена. Даже выпуск «Сибирских огней» на недолгое время был прекращен. Но зато теперь прозаики, публицисты и поэты стали широко печататься в областных и армейских газетах, где призывали соотечественников на ратные подвиги и героический труд. Во многих российских городах в том числе и в Новосибирске, стали выходить «Окна ТАСС» с патриотическими плакатами, звучными лозунгами и призывами, песнями, частушками, злой сатирой и карикатурами на врага. Они и имели большую популярность у населения, чему во многом способствовало активное участие в их создании писателей. В Новосибирске – Е. Стюарт, Б. Богаткова, А. Высоцкого.

Уже в 1942 году издательская деятельность в Новосибирске вновь начинает оживляться. Выходят новые книги А. Коптелова, А. Смердова, Е. Стюарт, К. Урманова, С. Кожевникова. Возобновляется, правда, в несколько ином формате, выпуск «Сибирских огней».

Поскольку многие писатели-сибиряки воевали в составе различных частей и соединений, то редакция «Сибирских огней» старалась использовать малейшую возможность для появления на свет их рассказов, стихов, очерков, повестей. И уж тем более авторов молодых, широкой публике незнакомых. Так, на страницах этих военных выпусков «Сибирских огней» читатели впервые познакомились с творчеством Б. Богаткова, узнали о «сибирском Маресьеве» Н. Мейсаке.

Существовала и своего рода «обратная связь». В годы войны редакцией журнала было подготовлено три выпуска, специально предназначенных для читателей-фронтовиков. Представляли они собой восьмистраничные газетки-брошюрки с рассказами, стихами, очерками, хроникой культурной жизни Сибири. Спецвыпуски были иллюстрированы сибирскими художниками, что делало их особенно выразительными.

В составе творческих бригад новосибирские писатели неоднократно и сами выезжали на фронт, что давало им материал для будущих произведений.

Великая Отечественная война закончилась. Страна переходила на мирные рельсы. Возвращались в родные «пенаты» еще до войны «крещеные словом» новосибирские писатели-фронтовики Александр Смердов, Александр Куликов, Михаил Кубышкин. А следом потянулось с полей сражений в Новосибирск, обретая здесь свой берег, новое литературное поколение – поэты Николай Перевалов, Василий Пухначев, Иван Ветлугин, Евгений Павличенко, прозаик Владимир Сапожников, критики Николай Яновский и Юлий Мостков, а с Дальнего Востока спешили домой поэт Леонид Чикин, прозаики Георгий Марков, Анатолий Никульков, Василий Коньяков, Сразу после войны «перекочевал» в Новосибирск из Красноярска молодой, но творчески очень ранний поэт Казимир Лисовский.

Новосибирские «старожилы» с надеждой и волнением принимали пополнение. Складывалась, по сути, новая писательская организация.

Большое значение для сибирской словесности первых послевоенных лет имела проходившая в конце 1947 года в Новосибирске конференция писателей Сибири, на которой были подведены итоги литературной жизни Сибири 1940-х годов. Конференция призвала сибирских писателей мобилизовать силы на выполнение грандиозных задач послевоенного строительства. О важности этого мероприятия, говорит хотя бы тот факт, что в его работе принимала участие большая писательская бригада из Москвы. А проведение конференции именно в Новосибирске свидетельствовало о том, что столица Сибири по-прежнему оставалась литературным центром всего зауральского региона.

Возникали в литературной жизни послевоенного Новосибирска и серьезные вопросы. Так, журнал «Сибирские огни», который с 1946 года снова выходил регулярно, встал перед проблемой острой нехватки интересных авторов, способных привлечь читательское внимание. Она заявила о себе еще перед началом войны, когда только что возглавивший «Сибирские огни» *Савва Елизарович Кожевников* обнаружил, что редакционный портфель пуст. Репрессии вывели из строя многих талантливых опытных литераторов. Великая Отечественная война только усугубила проблему.

И тогда у С. Кожевникова возникла идея пригласить к сотрудничеству бывалых людей, которым есть что и о чем рассказать.

В редакцию журнала пришли геологи, геодезисты изыскатели, охотники… Готовых рукописей ни у кого не оказалось. Гостей попросили вести дневники, делать записи о встречах, о работе, о своих впечатлениях.

На необычном том предвоенном собрании «бывалых» присутствовали два человека, которым будет суждено навечно войти в историю Новосибирска и Сибири, чьими именами впоследствии назовут городские улицы, а также горные перевалы в Саянах и железнодорожные станции. Это инженер-изыскатель *Александр Михайлович Кошурников* и начальник геодезической экспедиции *Григорий Анисимович Федосеев.*

А.М. Кошурников с двумя товарищами по заданию новосибирского института «Сибгипротранс» поздней осенью 1942 года вышел на изыскание железнодорожной линии Абакан – Тайшет, а в начале ноября того же года отряд погиб. Только через год местный охотник случайно наткнулся на труп А.М. Кошурникова. В его полевой сумке лежал дневник… В самом начале 1946 года, когда готовился первый номер возрожденных после войны «Сибирских огней», член редколлегии *Афанасий Лазаревич Коптелов* принес этот огромной силы человеческий документ в редакцию. И в первом номере журнала за 1946 год дневник инженера А.М. Кошурникова был опубликован. А через два года там же, в «Сибирских огнях» появилась повесть А. Коптелова «Навстречу жизни», в основе которой лежали события той легендарной трагической экспедиции.

Г. Федосеев, более полутора десятка лет отдавший изучению неисследованных мест Сибири и нанесению их на карту, тоже изо дня в день вел полевые дневники. Но в редакцию послевоенных «Сибирских огней» он принес не дневниковые записи, а почти готовую рукопись, рассказывающую об одной из экспедиций, руководимой им. Называлась рукопись «Мы идем по Восточному Саяну». И она, и последовавшие за ней повести («В теснинах Джугдыра» и «В тисках Джугдыра») в 1949 – 1959 годах в журнале «Сибирские огни» были напечатаны, вышли отдельными книгами миллионными тиражами, переведены на иностранные языки. Сегодня имя Г. Федосеева носит один из перевалов Саян и улица в Новосибирске.

К числу «бывалых» можно отнести и бывшего секретаря Купинского райкома комсомола Новосибирской области Ивана Падерина. После войны он принес в редакцию «Сибирских огней» свои записки «150 дней в Сталинграда» и «На берлинском направлении», которые после публикации также вызвали большой читательский интерес.

Впрочем, «бывалыми» людьми можно было назвать тогда любого из тех, кто прошел фронтовыми дорогами.

«Бывалым» человеком по большому счету был и сам С. Кожевников, человек большой судьбы, исколесивший вдоль и поперек всю Сибирь, прошедший фронтовыми дорогами. Он много сделал для собирания литературных сил Сибири и для огранки природного дарования целого ряда литераторов Новосибирска. Того же Г. Федосеева. Благодаря С. Кожевникову также в полной мере смог раскрыться талант Е. Стюарт, К. Лисовского, А. Смердова.

Дефицит авторов высокого художественного уровня ощущался все послевоенное десятилетие, но это вовсе не значило, что ими земля сибирская сильно оскудела. Просто большинство не успело пока проявиться, но «звездный час» их был не за горами. А чтобы приблизить его, в Новосибирске велась большая работа.

Так, на областном семинаре молодых писателей в январе 1952 года впервые прозвучали имена прозаиков *Михаила Петровича Михеева* и *Николая Петровича Осинина*. В декабре того же года прошел еще более представительный семинар молодых сибирских писателей. Участвовали в нем не только отдельные авторы из Новосибирска, районов области и соседних городов Кемерово, Тюмени, Барнаула, но и целые литобъединения. Путевку в литературную жизнь получили на нем новосибирские поэты *Леонид Андреевич Чикин*, *Александр Антонович Кухно*, прозаики *Елена Ивановна Коронатова*, *Петр Иванович Воронин*.

В 1952-м произошло литературное рождение еще одного заметного писателя, литературного и общественного деятеля Новосибирска – *Анатолия Васильевича Никулькова*, дебютировавшего с повестью «Достойные счастья». Будущее обнаружит в А. Никулькове не только прозаический, но и критический, драматургический, публицистический талант. Но еще большую память оставил он о себе как, пожалуй, наиболее успешный за всю его историю главный редактор журнала «Сибирские огни».

Второе послевоенное десятилетие проходило в нашей стране под знаком так называемой «хрущевской оттепели». В 1956 году, на XX съезде КПСС устами первого секретаря ЦК партии Н.С. Хрущева был осужден культ личности Сталина, и в общественном климате началось потепление, выразившееся в некотором идеологическом послаблении.

Впрочем, писатели Новосибирска каких-то принципиальных перемен в литературной жизни в результате не заметили. Во всяком случае, проходившее в Новосибирске в середине сентября

1957 года Всесибирское совещание писателей было выдержано в достаточно традиционных идеологических канонах. Что особенно хорошо чувствовалось в официальных выступлениях на пленарных заседаниях. Куда живее и раскованней проходил литературный разговор на творческих семинарах. Да и на таланты то совещание оказалось весьма урожайным. Особенно поэтические. Наибольшее же внимание привлекла поэзия *Николая Илларионовича Перевалова*. А участников и руководителей прозаического семинара особенно заинтересовал роман молодого новосибирского писателя *Анатолия Степановича Иванова* «Повитель». Произведение это через год напечатали «Сибирские огни». А со временем А. Иванов станет одним из популярнейших советских писателей.

Почти одновременно с А. Ивановым читатели узнали еще одного интереснейшего, хотя и совершенно противоположного по характеру дарования прозаика, чье имя прочно связано с городом на Оби, и которому посвятил он немало проникновенных лирических страниц в своих произведениях, – *Ильи Михайловича Лаврова.*

В 1958 году Новосибирское книжное издательство выпустило сказочную повесть *Юрия Михайловича Магалифа* «Приключения Жакони», которая станет настольной книгой для нескольких поколений маленьких читателей и своеобразной «визитной карточкой» самого писателя. Хотя писал он не только для детей, но и взрослых – прозу, стихи.

В начале 1960-х в Новосибирске обосновались еще два поэта фронтового поколения – *Леонид Васильевич Решетников* и *Иван Георгиевич Краснов*. Они не были сибиряками по рождению, но оба связали с Сибирью и ее столицей всю свою последующую жизнь.

Говоря о новосибирских литераторах второго послевоенного десятилетия, нельзя не упомянуть еще об одном, впоследствии известном поэте и журналисте, чье творческое становление, несмотря на довольно непродолжительный срок пребывания в Новосибирске, связано именно с этим городом. Это *Илья Олегович Фоняков*. После окончания Ленинградского государственного университета в 1957 году он приехал по распределению в Новосибирск, где работал корреспондентом местных и центральных газет, писал публицистические материалы и стихи. Но в литературной жизни Новосибирска И. Фоняков оставил след не только как поэт и журналист. Почти десятилетие руководил он городским литературным объединением при газете «Молодость Сибири», сделавшимся стартовой площадкой для многих сибирских поэтов и прозаиков. Литобъединение это стало поистине легендарным.

Очень бурным в литературной жизни страны выдался период с середины шестидесятых до начала восьмидесятых годов. Сибирь в это время не раз становилась центром важнейших литературных мероприятий. В 1965-м в Чите и в 1966 году в Кемерово прошли зональные совещания-семинары молодых литераторов Сибири, открывших целую плеяду талантливых писателей. Здесь впервые прозвучали имена Валентина Распутина, Александра Вампилова, новосибирского поэта Виктора Крещика. Традиционными стали областные семинары молодых литераторов, проводимые местными писательскими организациями, где тоже выявлялись способные авторы. Проводились такие семинары раз в два года и в Новосибирске.

Мощный натиск свежих литературных сил, продолжавшийся полтора десятилетия, можно объяснить, с одной стороны, естественной сменой писательских поколений, а с другой – наблюдавшимся в стране социально-экономическим подъемом, передним краем которого была Сибирь, являвшаяся в эти годы местом больших новостроек. Здесь возводились гигантские ГЭС, промышленные предприятия, прокладывались через тайгу и горы дороги, велись геологические изыскания, бурились нефтяные скважины. Везде работала молодежь, и все это было объектом пристального внимания их ровесников. Молодые писали о молодых. Появляется целый пласт литературы, художественным материалом и источником которого стали именно социально-экономические преобразования Сибири. Пласт этот оказался настолько значительным, что заставил издателей задуматься о глубокой его «разработке». И тогда в Западно-Сибирском книжном издательстве (Новосибирск) родилась идея выпуска 50-томной библиотеки «Молодая проза Сибири», которая объединила бы под одной «крышей» талантливую молодежь, чей приход в литературу был обусловлен бурным развитием Сибири и кровным родством авторов со своими молодыми героями-преобразователями.

Автором идеи и первым главным редактором «библиотеки» был известный новосибирский очеркист и переводчик А. Китайник. «Молодая проза Сибири» познакомила читателей со многими талантливыми авторами, в том числе и новосибирскими.

Ряды новосибирских писателей за полтора десятилетия (1965 – 1980) значительно полнились. Во весь голос заявили о себе прозаики *Василий Михайлович Коньяков*, *Николай Яковлевич Самохин*,

Анатолий Трофимович Черноусов, *Аскольд Павлович Якубовский*, *Евгений Александрович Городецкий*, поэты *Александр Иванович Плитченко*, *Геннадий Федорович Карпунин*, *Нина Митрофановна Грехова*, критики *Виталий Георгиевич Коржев*, *Владимир Николаевич Шапошников*… Пришло фактически новое литературное поколение со своим жизненным опытом, мировосприятием, своим характерным творческим почерком.

Но и у писателей старших еще оставался «порох в пороховницах». Продолжали разрабатывать пласт военной темы Л. Ршетников, уверенно доказывающий своей поэзий, что еще далеко не «все сказано, все спето о войне» (о чем, в частности, свидетельствует Государственная премия РСФСР, полученная поэтом за книгу «Благодарение»), И. Краснов, с горечью констатирующий, что и тридцать лет спустя фронтовиков «догоняют осколки – острозубые волки войны». Возвышенно-патетические, патриотические стихи и поэмы пишет Л. Чикин. Эхо войны продолжает звучать и в некоторых произведениях В. Сапожникова, хотя он все решительнее переходит на «мирные рельсы», стремясь «в меру сил написать правдивый портрет Времени». Ту же, собственно, задачу ставит в романах и повестях этого периода и Е. Коронатова. Продолжает «засевать» свою лирическую «полоску» И. Лавров. Но уже ощущается в его прозе (прежде всего в романе воспоминании «Мои бессонные ночи») и эпическое дыхание. 1970-е годы стали очень плодотворным периодом в творчестве Ю. Магалифа. Продолжая писать сказочные повести, он выступает и как взрослый писатель. А А. Коптелов все свое внимание сосредоточивает на ленинской теме. (Его трилогия о В.И. Ленине будет удостоена Государственной премии СССР).

Так что свежая литературная кровь побуждала к творческой активности и старшее поколение.

И снова следует добрым словом вспомнить журнал «Сибирские огни». Ведь без него творческое цветение молодой литературной поросли шестидесятых – семидесятых годов едва ли смогло бы стать таким плодоносным. Именно здесь молодые сибирские авторы получали первое боевое крещений, именно тут проходили их «смотрины» и читательский суд. И огромная заслуга в этом была главных редакторов журнала – А. Смердова, возглавлявшего его с 1965 по 1975 год и А. Никулькова (1976 – 1977), очень много сделавших для воспитания литературной смены.

Как покажет будущее, тот сравнительно небольшой отрезок истории литературного Новосибирска (с 1965 по 1980-е годы) стал, несмотря на известные негативные идеологические тенденции, своеобразным его пиком и расцветом. И как результат к восьмидесятым годам в Новосибирске сложился крупнейший и мощнейший в провинциальной России по творческому потенциалу писательский отряд. А потому совершенно логично проведение в конце 1970-х в Новосибирске двух крупных литературных общероссийских мероприятий. В июле 1977 года здесь прошли Дни российской литературы. А в марте 1978 года состоялось выездное заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР на тему «Личность, НТР, литература».

Весьма насыщенной была литературная жизнь Новосибирска и в 1980-е годы. Активно шло формирование и творческое становление писателей, начавших литературный путь в предыдущем десятилетии – П. Дедов, А. Черноусов, Г. Прашкевич, М. Черненок, М. Щукин, Т. Пьянкова…

Не сдавали свои позиции и ветераны, хотя заметно редели их ряды, да и творческий облик многих в стремлении идти со временем в ногу тоже ощутимо менялся. Так, к концу восьмидесятых В. Сапожников уже больше историк, социолог, публицист, ищущий ответы на жизненно важные вопросы современного бытия, нежели художник, что лучше всего, пожалуй, подтверждает его объемное художественно-публицистическое повествование той поры «Распятие с бриллиантами».

Что касается племени «младого, незнакомого», то было оно на сей раз не так многочисленно, как хотелось бы, но без открытия новых дарований не обходилось. В 1982 году в Новосибирске на Всесибирском семинаре молодых литераторов высоко оценку получила проза новосибирцев *Николая Александровича Шипилова* и *Татьяны Алексеевной Набатниковой.*

В конце марта 1986 года в Новосибирске состоялись Дни российской литературы, приуроченные к 60-летию Первого съезда сибирских писателей, куда съехались литераторы не только со всей Сибири, но и из многих российских городов, включая обе столицы. Форум этот стал едва ли не последней демонстрацией сплоченности писательских рядов на прежней идеологической (коммунистической) платформе. Всего через каких-нибудь пять-шесть лет под ногами писателей уже не окажется никакой опоры. Да и демонстрировать особо будет нечего…

Следует упомянуть еще об одном неординарном литературном событии восьмидесятых годов, к тому же имевшем значительные практические последствия. В июне 1977 года в Новосибирске прошел семинар молодых фантастов Сибири и Дальнего Востока. Он

стал постоянно действующим и через год преобразовался в творческо-производственное объединение (ВТО МПФ). Семинар созывался по нескольку раз в год, и лучшие произведения молодых фантастов публиковались в коллективных сборниках или отдельных книгах, выпускаемых ВТО МПФ совместно с издательством «Молодая гвардия». ВТО МПФ просуществовало до 1992 года, успев стать мощным творческо-производственным предприятием, по объемам выпуска книг сравнимым с крупнейшими издательствами СССР.

А заканчивались восьмидесятые годы прошлого столетия созданием Сибирской писательской ассоциации (СПАСС), о чем было объявлено на учредительной конференции, состоявшейся в Новосибирске в октябре 1989 года, куда съехались представители писательских организаций многих сибирских регионов. СПАСС декларировала объединение писателей Сибири на основе общности их литературных интересов. Она намеревалась выпускать свои литературные газеты и журналы, сотрудничать с местными издательствами, осуществлять собственную издательскую деятельность, пропагандировать литературу, организовывать семинары молодых писателей и т. д. Реально осуществилось очень немногое. Начавшиеся процессы общественного распада негативно отразились и на СПАСС, к середине 1990-х годов фактически переставшей существовать.

Едва ли не самыми трудными в литературной истории Новосибирска оказались переломные 1990-е годы. Чем-то схожи были они с двадцатыми. С той, правда, принципиальной разницей, что если тогда шло собирание и объединение литературных сил Сибири, то теперь начался обратный процесс, тесно связанный с разрушительными социальными и экономическими подвижками, происходившими в нашей стране в последнее десятилетие XX века. Трещало по всем швам еще недавно общее культурное и литературное пространство, обрывались региональные связи, рушилась единая книгоиздательская система, фактически переставала существовать профессия писателя.

Все это, безусловно, не могло не сказываться на литературной жизни и положении писателей: и материальном, конечно, но больше моральном и психологическом. Пишущие люди не перевелись, но качество литературной продукции заметно упало. А возможность издаваться не за государственный, а за свой или спонсоров счет, да еще, так сказать, «в авторской редакции» планку и вовсе

уронило. Да и тон задавала теперь отнюдь не художественная литература в ее высоком понимании, а ширпотребовская беллетристика. Тем более что даже государственные издательства и издания, чтобы выжить в новых рыночных условиях, предпочтение отдавали коммерческому чтиву.

Хорошо это видно на примере крупнейшего когда-то в Сибири – сначала Западно-Сибирского, а потом и Новосибирского – книжного издательства. Поначалу оно еще предпринимало попытки выпускать книги местных авторов, но, как и большинство его российских собратьев, брошенное государством на произвол судьбы, в конце концов, стало выживать только за счет так называемой «заказухи».

Судорожно пытался выплыть в рыночной стремнине и журнал «Сибирские огни», тоже пускаясь подчас во все тяжкие. Тираж журнала стремительно падал, сокращалась периодичность. В 1995 году и вовсе вышел всего один номер. Журнал, который десятилетиями был становым хребтом сибирской литературы, фактически переставал существовать…

Не удивительно, что при наличии значительной массы сочинительской «руды» золотые блестки талантов попадались все реже и реже. Да и некому было в отсутствии главного «старателя» литературного золота – лежащих «на боку» «Сибирских огней» – это золото мыть.

Те же, кто в последнее десятилетие XX века более или менее весомо заявлял о себе, открытием девяностых годов, как правило, не были. Так, например, голоса поэтов Валерия Малышева, Анатолия Соколова, Жанны Зыряновой, Евгения Мартышева, Александра Денисенко и ряда других, впервые зазвучали еще на рубеже шестидесятых-семидесятых годов. И после долгого по разным причинам перерыва вновь дали о себе знать (и обрели читательское признание) уже на исходе двадцатого столетия. Семидесятые годы стали литературным рождением и для прозаиков Владимира Клименко, Анатолия Садырова, а также драматургов Александра Косенкова и Юрия Мирошниченко.

Так что литературное воспроизводство в условиях всеобщего рыночно-базарного хаоса шло трудно и большей частью без качественных результатов.

На состоянии литературной атмосферы Новосибирска это отражалось тем болезненнее, что и голосов писателей старших поколений было уже почти не слышно. Многие в такой обстановке растерялись, для некоторых это стало причиной преждевременно-

го ухода из жизни. В девяностые годы Новосибирск не досчитался многих признанных писателей.

А. Коптелов, Л. Решетников, Л. Чикин, Е. Коронатова, И. Краснов, Н. Яновский, В. Сапожников, И. Ветлугин, Ю. Магалиф, А. Черноусов, В Коньяков, А. Плитченко, В. Коржев, Г. Карпунин… Уходили один за другим лучшие мастера слова Новосибирска. И достойной смены им пока не находилось.

И если к восьмидесятым годам новосибирские писатели пришли сильным сплоченным отрядом, то третье тысячелетие они встретили бледной его тенью. И не наодилось пока силы, способной упорядочить и целенаправить этот литературный хаос. Хотя попытки и предпринимались.

В ноябре 1999 года в Новосибирске состоялся III съезд писателей Сибири, на котором обсуждались насущные проблемы литературного процесса. А через три года в Новосибирске пройдет и IV съезд писателей Сибири, обсуждавший примерно тот же круг проблем, что и предыдущий. Однако, в отличие от первого, «зазубринского», съезда, эти писательские форумы фактически никакого влияния на литературную жизнь Сибири не оказали и изменений в нее не привнесли. Много чего было заявлено и декларировано, но мало выполнено. А главное – по-настоящему объединительными, цементирующими писательские ряды, делающие их серьезной, влиятельной социальной и культурной силой, способной решать большие задачи, III и IV съезды писателей Сибири так и не стали.

* * *

Даже из краткого исторического экскурса видно, что Новосибирск большую часть двадцатого столетия не страдал от отсутствия писателей хороших и разных, а Новосибирская писательская организация была не только наиболее крупной и сильной за Уралом, но и самой универсальной по жанровому разнообразию своего состава. Ни в одной другой региональной писательской организации (кроме Москвы и Ленинграда) невозможно было встретить одновременно поэтов и прозаиков, мастеров приключенческого жанра и драматургов, детских писателей и литературных критиков, специалистов литературного перевода и очеркистов-публицистов, юмористов-сатириков и сказителей… В творчестве же новосибирских писателей был представлен практически весь жанровый спектр словесного искусства. И не просто представлен. Каждый из жанров еще и достаточно плодотворно развивался на радость своим читателям и почитателям.

Чтобы не оставаться голословным, сделаем еще один, хотя бы беглый обзор основных жанров, в которых небезуспешно работали новосибирские писатели в XX столетии.

2

Начнем с главного калибра – прозы.

Проза начала двадцатых годов создавались по большей части под влиянием революционных веяний и едва закончившейся Гражданской войны. Это и повести Л. Сейфуллиной («Четыре главы», «Правонарушители», «Перегной»), и рассказы о колчаковщине К. Урманова. Ну и, конечно, произведения В. Зазубрина. Его «Два мира» становятся первым советским романом и одной из лучших страниц художественной летописи Гражданской войны. Над дальнейшими судьбами победившей революции, проблемами и противоречиями на пути строительства нового общества размышляет В. Зазубрин в последовавших за романом повестях «Бледная правда», «Щепка», «Общежитие» (1922 – 1923).

Героика Гражданской войны находит отзвук и в творчестве писателей второй половины двадцатых годов. Правда, к этому времени образ воина-революционера сдает в советской литературе свои доминирующие позиции. На авансцену все увереннее выходит фигура труженика-преобразователя, строителя новой жизни.

В Сибири данный процесс имел свои специфические черты, связанные с географическими, климатическими факторами местным колоритом, характером жителей, формирующимся в суровой борьбе за существование. Все это способствовало, например, появлению в прозе Сибири жанрового вида, который его приверженцы называли «романтической поэмой в прозе». Наиболее ярким ее представителем был новосибирский писатель М. Кравков.

В 1930-х годах в сибирской прозе на передний план выходит тема индустриализации, в связи с чем, заметное развитие получает «производственная» проза. Появляются повествования, рассказывающие о возведении и работе промышленных предприятий, новых взаимоотношениях в рабочих коллективах. В их числе повести новосибирцев А. Коптелова «Светлая кровь», Н. Кудрявцева «Трубоуклады», М. Кравкова «Утро большого дня» и др., где воссоздавалось живое ощущение бурной эпохи с ее размахом, энтузиазмом, социальным оптимизмом, поэтизацией труда.

Обращались новосибирские прозаики и к теме коллективизации. Ей посвящены повести А. Коптелова «Новые поля» и

Г. Пушкарева «Земля кричит», роман В. Зазубрина «Горы» и прозаический цикл Е. Пермитина – романы «Капкан», «Когти», «Враг».

Усиливалось традиционное для сибирской литературы звучание интернациональной темы. Но если еще двадцатых годах основной упор делался на беспросветность бытия сибирских народностей в дореволюционном прошлом, то в тридцатых акцент и подход к теме принципиально меняются. Мощная волна социальных преобразований коснулась всех народов, населяющих Сибирь. И это отразилось на разработке национальной темы. Изображение «великого кочевья» возрожденных народов Сибири к социалистическому будущему стало на многие годы одной из магистральных линий развития сибирской прозы. С наибольшей цельностью и силой воплотилось оно в романах новосибирских прозаиков М. Ошарова «Большой аргиш и А. Коптелова «Великое кочевье».

В годы Великой Отечественной войны проза сибирская была представлена в основном малыми формами. Военная действительность нашла свое отражение в рассказах Г. Маркова, М. Кубышкина, А. Мисюрёва… Единственным крупным произведением был роман А. Коптелова «Как ковалась победа». В целом же, рожденная в годы Великой Отечественной войны проза не оставила заметного следа в литературе Сибири.

Послевоенное десятилетие было отмечено активизацией романа. Повышенный интерес к нему объяснялся жизненной необходимостью более глубокого и многогранного осмысления прошлого и настоящего, для чего крупноформатный жанр был наиболее оптимален, поскольку синтезировал в себе и эпос, и лирику, и драму. Попыток создания «широкого полотна о многогранной современной Сибири» было в этот период немало. К числу лучших следует отнести эпический роман Г. Маркова «Строговы». Несколько особняком стоят «экспедиционные» романы Г. Федосеева «Мы идем по Восточному Саяну», «Смерть меня подождет» и др. Его книги рисуют героические характеры первопроходцев-геодезистов, таежных следопытов, поэтически отображают удивительную природу Сибири. Через все произведения писателя проходит тема нравственной силы человека, которая является основой подлинного героизма.

На рубеже 1950 – 1960-х годов Сибирь оказалась на переднем крае новых экономических преобразований, связанных, прежде всего, с освоением ее природных богатств, что влекло за собой строительство дорог, предприятий, целых городов. Естественно, что и определяющей тенденцией стал острый интерес к происходящим здесь масштабным переменам и злободневным социально-

экономическим проблемам. Роман в этот период утрачивает лидирующие позиции, но и говорить о явном преимуществе какого-то одного прозаического жанра не приходится.

А вот в шестидесятых годах с мощным притоком свежих литературных сил широкое распространение получает повесть. Во всем своем многообразии она представлена в книжной серии «Молодая проза Сибири».

Характерной особенностью прозы 1960-х годов была ее лирико-романтическая окрашенность в сочетании с социальной зоркостью и вниманием к миру отдельной личности, что особенно хорошо отразилось в произведениях И. Лаврова с его «поэзией обыкновенности». Молодые прозаики этих лет приходили к читателю со своим многоликим и многообразным современником, взятым из гущи жизни. Если, скажем, повести В. Коньякова «Снегири горят на снегу» и «Далекие ветры» посвящены проблемам тогдашней деревни, то Д. Константиновсий в повести «Следовательно, существую…» пишет о молодых сибирских ученых. При всей несхожести человеческих типов и характеров они едины в поисках себя и своего места в окружающем мире, смысла собственного существования.

Беспокоили писателей, влившихся в сибирскую литературу в шестидесятых годах, и проблемы бездуховности, нравственной ущербности, потребительского отношения к жизни. Им посвящены, например, первые повести А. Якубовского «Мшава» и «Дом».

На фоне повести роман второй половины пятидесятых – начала шестидесятых годов был не так заметен, но и у него имелись свои достижения. Достаточно вспомнить романы А. Коптелова «Сад», Г. Маркова «Соль земли», С. Залыгина «Тропы Алтая».

Вместе с тем исследованием современности писатели Новосибирска шестидесятых годов не ограничивались. Их продолжает волновать тема революции и гражданской войны. В романах Г. Маркова «Отец и сын» и С. Залыгина «Соленая Падь» она получает новое освещение и осмысление. Как и тема коллективизации, которую тот же С. Залыгин в повести «На Иртыше» увидел новым взглядом. С романами «Повитель» и «Тени исчезают в полдень», развенчивающими частнособственническую психологию и мораль кулака, вступает в эти годы в литературу А. Иванов.

А вот прозаик А. Никульков в романе «В буче» и поэт А. Кухно в поэме «Море» берутся в середине шестидесятых за совершенно не освоенную еще антикультовскую тематику.

Шестидесятые годы отмечены расцветом «малой прозы». Рассказ, новелла становятся неотъемлемой частью творчества многих прозаиков Новосибирска. А для некоторых – и творческой осно-

вой. Лирический рассказ был визитной карточкой И. Лаврова. С военными «Рассказами старшины Арбузова» пришел в литературу (и с рассказом не расставался до конца жизни) другой новосибирский прозаик – В. Сапожников. Именно с «малой прозой» в первую очередь ассоциируется творчество *Николая Яковлевича Самохина*, который в 1960-е годы заявил о себе (и долго оставался им) как яркий представитель юмористического и сатирического рассказа.

В начале 1970-х годов перед советской литературой встает проблема отображения набирающей обороты научно-технической революции. Не остаются в стороне и сибирские прозаики. Формирование личности в условиях НТР становится темой повестей А. Черноусова. С еще большей остротой зазвучала поднятая в 1960-х годах романом С. Залыгина «Тропы Алтая» проблема взаимоотношений человека и природы. Она в центре внимания повести А. Якубовского «Браконьеры». Экологические проблемы становятся стержнем романа Д. Константиновского «Яконур».

В семидесятых годах по-прежнему в чести историческая тематика. Завершил свою сибирскую эпопею романом «Сибирь» Г. Марков. Сибирский крестьянин на пороге Гражданской войны стал главной фигурой романа другого бывшего новосибирца С. Залыгина «Комиссия». Свой вклад в «сибириану» романом-эпопеей «Вечный зов» внес в 1970-х годах А. Иванов. Помимо всего прочего, интересен его роман еще и тем, что в нем можно встретить картины Новосибирска и ряда конкретных мест Новосибирской области.

1980-е годы стали началом новых социальных подвижек в советском обществе. Усиливались негативные тенденции, захватывающие разные сферы жизни. Они не прошли мимо внимания новосибирского прозаика Михаила Щукина. На больные проблемы современного бытия он откликнулся романом «Имя для сына», который появился почти одновременно с такими близкими ему по духу и социальному пафосу произведениями, как «Пожар» В. Распутина» и «Печальный детектив» В. Астафьева. С романом «Имя для сына» М. Щукин стал лауреатом Всесоюзного литературного конкурса имени Н. Островского и премии Ленинского комсомола.

Продолжает разрабатываться и традиционный для литературы второй половины двадцатого века круг тем и проблем.

Семья, женские судьбы в контексте социального бытия – в центре эпопеи Е. Коронатовой «Жизнь Нины Камышиной».

Появляются новые повествования, в которых авторы возвращаются памятью в суровое военное и послевоенное детство, к корням и истокам своим. Это и повесть Анатолия Черноусова «Чалдоны», и роман Геннадия Прашкевича «Апрель жизни», и, наконец, трилогия Петра Дедова «Светозары», за которую он стал лауреатом Всесоюзного конкурса Союза «За лучшее произведение художественной прозы о людях труда».

Не забыта Великая Отечественная война. Но повести Н. Самохина «Сходить на войну» и М. Мельникова «Северное сияние» отличаются уже иным углом зрения на трагические события …

Продолжается художественное освоение исторической тематики. Можно отметить оригинальный по взгляду на личность Петра Первого роман В. Сапожникова «Сергей Никонов» (1986).

В 1990-х годах развитие сибирской прозы затормозилось в силу общих для всей литературы проблем и трудностей, связанных с возникновением новых социально-экономических условий. У большинства новосибирских прозаиков в последнее десятилетие двадцатого века, заметных художественных достижений не наблюдалось.

3

В творчестве литераторов Новосибирска большое место всегда занимала не только чисто художественная, но и документально-художественная проза. Как самостоятельный жанр она зародилась в Сибири еще в 1830-х годах. А в 1920-х годах обозначились новые ее горизонты и перспективы, связанные как с потребностями послереволюционного развития края, так и с усилением местной журналистики – прежде всего появлением в Новосибирске журналов «Сибирские огни» и, несколько позже, «Охотник и пушник Сибири».

Во второй половине 1920-х годов сибирский очерк достиг заметных успехов. Он вырос из осознания огромных экономических социальных и духовных возможностей Сибири, многонациональной сущности края, необходимости освоения его природных и человеческих богатств, а потому и устремлен был к проблемам кардинальной важности, публицистически острым и злободневным. Но на первых порах ориентировался он на традиции нравоописательной, краеведческой литературы XIX века. В этом русле и были созданы лучшие произведения очеркового жанра середины двадцатых годов.

Все уверенней входил в эту пору очерк «рекогносцировочный, разведывательный», рассказывающий о путешествиях в места глухие, нехоженые, труднодоступные, неизведанные и неисследован-

ные, о соприкосновении его с тайнами природы. Родоначальником такого типа произведений был Владимир Арсеньев. Во многом по его стопам шел новосибирский писатель М. Кравков в своих природоведческих очерках «Таежными тропами», «Тельбес. Путевые очерки», «Страна у границы по Западному Саяну», где он живописует бесконечное многообразие природного мира. А вот своеобразие очерков А. Коптелова этого же периода («Золотые горы», «Горными тропами») – в глубокой сосредоточенности автора не столько на общей картине жизни, сколько на характерах и судьбах отдельных людей. Эти очерки открыли сквозную во всем творчестве Коптелова тему Горного Алтая.

Наступление социализма по всем линиям жизни к концу двадцатых годов стало и временем фронтального наступления очерка. В первой половине 1930-х очерк являлся уже ведущим жанром сибирской литературы. Чертами очеркизма были отмечены в это время и другие жанры. В очерке проходило первоначальную «обкатку» то, что впоследствии занимало достойное место в прозе, драматургии, поэзии. Очерк был той художественной формой, которая наиболее адекватно отвечала духу новой действительности своей строгой ориентацией на современность и оперативностью, публицистичностью и документализмом, смелостью вторжения в различные сферы «нехудожественного» материала, свободой сюжетно-тематического построения. По своему характеру очерк тридцатых годов – скорее агитационный, воспитательный, просветительский, чем исследовательский, аналитический. Живыми примерами из практики социалистического строительства очерк должен был вдохновлять массы на новые трудовые свершения.

Рожденный конкретными потребностями эпохи, он не всегда мог противостоять теориям «лефофцев» и «настоященцев», пытавшихся свести роль художественной литературы, особенно очерка, к социальной фактографии. Но в лучших сибирских очерках тридцатых годов воссоздан образ времени и эпохи, нарисована картина сотворения нового социального мира на огромных просторах Сибири.

В сфере внимания писателей-документалистов тридцатых годов была не только индустриализация края. Многие очерки тех лет – «Колхозные встречи» А. Куликова (1934), «Фабрика пернатых» В. Зверева (1934) и др. – обращены к проблемам колхозного строительства. Но на какую бы тему они ни писали, по-прежнему излюбленной у новосибирских авторов-документалистов 1930-х годов оставалась форма путевого очерка.

Это подтверждают и произведения одного из пионеров данного жанра в советской Сибири, много сделавшего для его развития, новосибирского прозаика, поэта и публициста В. Итина. В очерках «Выход к морю» (1930) и «Восточный Вариант» (1933) он страстно отстаивал идею освоения Северного морского пути и дальневосточных окраин страны. Очерки В. Итина характерны деловитостью, аргументированностью, глубоким знанием материала, обращением к документу, научной литературе, к мнению специалистов, а стиль их отличается яркой эмоциональной окрашенностью, подчеркнуто «личностной» манерой повествования. В. Итин во многом предопределил дальнейшее движение сибирского очерка во времени.

Информационно-агитационная сущность очерка тридцатых годов мешала изображению в нем отдельного человека-созидателя. В центре, как правило, оказывался коллективный образ бригады, стройки, завода, колхоза… Люди очерчены пока скупо, лаконично, деловито. Очерки отдельно о них еще крайне редки. Одним из первых попытку более пристально вглядеться в конкретного человека, строящего социализм, предпринял новосибирец Петр Стрижков в очерковом цикле «Рассказы о горном заводе».

После мощного взлета в 1929 – 1934 годах очерковая волна несколько схлынула, но очерк закрепился в правах полноценного прозаического жанра.

В силу своей мобильности и оперативности очерк и публицистика оставались ведущими жанрами и в годы Великой Отечественной войны. Они насквозь пронизаны военно-патриотическим пафосом. Широкое распространение получили очерки о ратных подвигах сибиряков на фронте, которые несли в глубокий тыл представление о современной войне, жестокости и бесчеловечности гитлеровцев. Особое место занимали очерки о людях, вырвавшихся из вражеского плена (Николай Мейсак «Шестьдесят два дня», Николай Кудрявцев «Из фашистского плена»).

В прозе сибирских писателей военной поры наблюдается смешение жанров, взаимопроникновение прозы и публицистики, переплетение публицистического и лирического начал. Заметно усложняется жанровая структура. Наглядный тому пример – статьи С. Кожевникова «Сибиряки на фронте», где публицистический запал органично соседствует с лиричностью, с изображением прошлого и настоящего Сибири, сказочные элементы легко перемежаются с реальными фактами из жизни фронта и тыла. Строились же очерки военной поры, как правило, по законам сюжетного повествования и во многом приближались к художественной прозе.

В послевоенные годы очерк как бы отступает на задний план и выходит из тени уже в середине 1950-х, когда наступает время значительного подъема сельского хозяйства. Но в отличие от тридцатых годов очерк второй половины пятидесятых и шестидесятых годов преимущественно проблемный, аналитический. На передовые позиции выдвинулся «деревенский очерк». Вслед за его лидером В. Овечкиным очеркисты смело вторгались в сложнейшие экономические проблемы, глубоко исследовали состояние послевоенной колхозной деревни. Расцвет сибирского очерка этого периода связан в первую очередь с именем С. Залыгина. В очерковом цикле «Весной нынешнего года» он демонстрирует философское понимание характера земледельца, а также видение коренных проблем деревни в их исторической перспективе.

Впрочем, шестидесятые годы происходил не только под знаком подъема сельского хозяйства. В Сибири шел еще и бурный процесс освоения природных богатств, промышленного и научного развития. Все это также требовало оперативного отображения, вызывая очерково-публицистический бум, сравнимый с тем, что наблюдался в 1920 – 1930-х годах. Появляются многочисленные очерки о делах преобразователей Сибири, принадлежащих как перу известных авторов, так и их более молодых коллег. В отличие от писателей «овечкинской школы», у которых очерк нередко граничит с рассказом и даже повестью, они тяготеют к документально-путевым заметкам, репортажу, очеркам-портретам. Менее ощутим в них критический настрой, зато более сильны пафос созидания, романтика и героика труда.

Одним из виднейших мастеров такого очерка был С. Кожевников, зарекомендовавший себя в первую очередь мастером очерка-портрета. Собранные же вместе, его очерки составляют увлекательную книгу о Сибири, где писатель рассказывает о людях разных профессий, воссоздает многие штрихи истории края. К очеркам С. Кожевникова примыкает и написанная им в последние годы жизни повесть «Мы собираем янтарные зерна…».

По широте диапазона близок к С. Кожевникову *Геннадий Никитович Падерин*, показывающий преобразующуюся Сибирь с самых разных сторон. Первопроходцам послевоенной Сибири, добытчикам сибирской нефти и газа посвящены и очерки новосибирцев *Евгения Павловича Лучинецкого* и *Абрама Ушеровича Китайника.* Недавние газетчики, все трое на пороге шестидесятых годов активно осваивают очерк художественный.

Очерк 1950 – 1960-х годов стал разведчиком крупных экономических перемен и социально-нравственных сдвигов в обществе, а также явился благодатной почвой для развития других прозаических жанров, в частности, «деревенской» и «производственной» прозы.

В 1970 –1980-е годы преобразовательские процессы в Сибири набирают темп и размах. Это время проходит под знаком научно-технического прогресса, активно внедряющегося во все сферы экономики и хозяйствования. Остро встают экологические проблемы… Все это находит отражение в очерковой прозе новосибирских писателей: Г. Падерина, Д. Иохимовича, А. Китайника, А. Зябрева и др.

Создание новосибирского Академгородка, обострило внимание писателей-документалистов к деятельности ученых, специфике их труда. Очерки, посвященные научному поиску, личности ученого, разнообразны по тематике, жанровым разновидностям. Это и хроники научных подразделений, и портреты ученых, и репортажи из лабораторий, экспедиций, опытных полигонов. О буднях сибирской науки пишут в эти годы многие журналисты, писатели. А для некоторых новосибирцев – Замиры Ибрагимово или Ролена Нотмана, например, – тема эта становится магистральной. Наибольшей же основательности и глубины в ее разработке достиг Г. Падерин в документальных повествованиях «На крутизне поиска», «В зоне неизведанных глубин», «Вверх по реке времени», «К тайнам скрытой силы».

Не обходили новосибирские документалисты этих лет вниманием историю, образование, культуру, искусство, медицину и другие стороны жизни современной Сибири. В том числе и весьма специфические. Как это делал, например, новосибирский ученый-фольклорист и писатель М. Мельников в очерках, посвященных проблемам духовной жизни сибирской глубинки: «Записки фольклориста», «Живые родники», Васюганье», «Рок или фольклор», «Древо жизни на семи ветрах».

В конце 1970-х очерк окончательно утвердился как полноправный жанр прозы. Он переживал пору зрелости и стабильности.

К 1980-м годам в Новосибирске, сложилась целая генерация талантливых очеркистов, активно и целеустремленно работавших в этом жанре. Но к очерку по давней традиции охотно обращались и многие прозаики: В. Сапожников, В. Коньяков, Н. Самохин др., с одной стороны, и крупные ученые (академики А.Г. Аганбегян, М.А. Лаврентьев и др.) – с другой.

Важным фактором развития сибирской документально-художественной прозы было заметное расширение возможностей для ее публикации. Возникали новые журналы и альманахи, увеличи-

ли свои печатные площади и периодичность уже существующие. И в каждом из них очерку уделялось значительное внимание. Но флагманом по-прежнему оставались «Сибирские огни», где очерк в постоянном разделе «Очерк и публицистика» был представлен наиболее широко, полно и качественно.

Много внимания новосибирские писатели-очеркисты уделяли Новосибирску: его прошлому, настоящему и будущему, его проблемам. Еще в 1949 году увидел свет исторический очерк С. Кожевникова «Город на Оби», ставший еще и своеобразным признанием писателя в любви Новосибирску. В конце 1980-х тему продолжил А. Никульков в очерковых книгах «Стремительный город» и «Современник из прошлого века».

В условиях социальной ломки 1990-х годов очерк и публицистика становятся все более политизированными. Значительное место в сибирском очерке этой поры занимает тема политических репрессий (очерки В. Шишкина «Колыванский мятеж», «Остров смерти», «Шарыповское дело», М. Щукина «Молю прощения…» и др.). Звучат и религиозные (прежде всего православные) мотивы. По понятным причинам практически исчезла тема социально-экономического преобразования Сибири. Зато вновь популярным становится очерк краеведческий.

Ну, а в целом сибирская документально-художественная проза последнего десятилетия XX века представляла собой весьма пеструю эклектичную картину с отсутствием каких-то четких тенденций.

Выделяются из этой массы, пожалуй, только путевые очерки В. Никифорова, в которых автор берет сложный многопластовый социальный срез сибирской глубинки, деформированный аберрациями и подвижками (экономическими, социальными, нравственными) последних десятилетий, выступая одновременно и как ученый-исследователь, и как художник-публицист.

4

Писатели-сибиряки адресовали свои произведения не только взрослым, но и детям.

Родоначальником литературы для детей и юношества в Сибири можно считать автора «Конька-горбунка» Петра Ершова. Но как полноценная область художественной словесности она начинает формироваться и развиваться только через столетие, на пороге 1930-х годов. И немалая в том заслуга новосибирских писателей.

Детская литература 1930-х годов в Новосибирске связана прежде всего с именами Максимилиана Кравкова и Глеба Пушкарева, хотя зачислять их в разряд чисто детских писателей вряд ли возможно. Примечательными особенностями книг М. Кравкова, обращенными к юному читателю, «За сокровищами реки Тунгуски», «Год во льдах», «Золотая гора» и др. были сюжетная увлекательность, живописность, насыщенность сибирским колоритом и познавательным материалом. Лучшие произведения для детей Г. Пушкарева – повесть «В хребтах Алтая» и пьеса «Отряд партизана Ломова» – пронизаны героикой Гражданской войны.

В тридцатых годах получила развитие и поэзия для детей. С нее начинала свой творческий путь Е. Стюарт, выпустившая за свою жизнь более 30 книг для маленьких. В ее стихах много света, доброты, мягкого юмора. Они очень созвучны детскому восприятию. Успешно в ту пору писали для детей Е. Березницкий, перу которого принадлежит книга стихов «Приключения барабанщика», а также поэтические сказки «Приключения храброго Ерша» и «Лиса-сваха», и Н. Кудрявцев, издавший веселую сказку «Как село Маромыш с царем воевало».

В середине тридцатых годов в Новосибирском отделении Союза писателей СССР работала секция детских писателей, державшая тесную связь с широкой сетью школьных литературных кружков. В 1928 – 1931 годах в Новосибирске выходил «Сибирский детский журнал» («Товарищ»).

Но настоящий подъем литературы для детей и юношества в Сибири начался уже во второй половине XX столетия. Не случайно состоявшееся в 1958 году в Новосибирске Всесибирское совещание по детской литературе отметило появление целой плеяды талантливых авторов, пишущих для юной аудитории.

В 1951 году в Новосибирске вышла веселая и поучительная стихотворная сказка М. Михеева «Лесная мастерская», которая впоследствии многократно переиздавалась. Популярны были и его прозаические произведения о подростках: «Клуб ЮТ», «Капитаны 8-а».

В начале 1950-х годов дебютировал прекрасный детский писатель Н. Осинин. За его плечами были фронт, фашистский плен. «Дети на войне» стали главной темой его прозы. Им была посвящена первая его книга «Через все преграды», о них же его повесть «Журавлиный яр» и ряд рассказов. Хотя писал Н. Осинин и о детях мирного времени, где также показал себя тонким знатоком детской психологии. Произведения Н. Осинина воспитывали в детях лучшие человеческие качества, были нацелены на

то, чтобы заложить в маленького человека здоровые моральные и нравственные устои.

В 1950-х годах в сибирской литературе получил развитие жанр литературной сказки. В Новосибирске он связан был с именем Ю. Магалифа, перу которого принадлежит целый ряд повестей-сказок, написанных в разные годы, в которых гармонично соединены реальное и фантастическое, озорство и грусть, азарт и рассудительная, но ненавязчивая назидательность.

В 1970-х годах во след Ю. Магалифу публикуют свои сказочные повести Г. Карпунин, Л. Треер, А. Романов... А в конце девяностых годов новосибирский поэт Евгений Мартышев начнет большой цикл уже стихотворных повестей-сказок («Волшебный посох», «Сказ о стрелке Романе», «Влас-музыкант» и др.). Через волшебное стекло сказочного действа всматривается он в нашу действительность. Сказки Е. Мартышева отличаются сочной изобразительностью, колоритностью характеров, динамичностью и притчевостью. В них и продолжатся развиваются в свете новых реалий традиции, заложенные еще А. Пушкиным и П. Ершовым

В литературе Сибири всегда было повышенное внимание к фольклору. А некоторые писатели целенаправленно собирали народные сказки, чтобы дать им новую, уже литературную жизнь. В их числе новосибирские поэты Г. Вяткин, издавший в двадцатые годы книгу «Алтайских сказок», и поэт В. Пухначев со «Сказками старого Тыма», появившимися уже в четверть века спустя. Но иногда народные сказки и предания подвергались глубокой художественной обработке и становились самостоятельными литературными произведениями – сказами.

Одним из пионеров литературного сказа в России был новосибирский писатель А. Мисюрёв. Еще в тридцатые годы он совершил нескольких фольклорных экспедиций на Рудный Алтай и по их результатам создал книги сказов «Легенды и были», «След беглеца Сороки» и др., о которых высоко отзывался крупнейший советский специалист по фольклору М. Азадовский. Сказы А. Мисюрёва стали заметным художественным явлением в русской литературе XX века.

В восьмидесятых годах «золотую жилу» сибирского сказа продолжали в Новосибирске разрабатывать Михаил Мельников, Таисия Пьянкова и Владимир Галкин. При всей их самобытности и творческой индивидуальности у сказителей «новой волны» много общего: это и тяготение к волшебно-фантастическо-мифологическим сюжетам; и стремление через далекие по времени события без искажения историко-социальной достоверности выходить на актуальные проблемы современности; и густо пропитывающая

сказы сибирская экзотика; и страсть к меткому, образному русскому слову… Едины они и в главном – в стремлении сохранить и передать духовную культуру наших предков, запечатленную в самоцветной народной речи.

В 1960 – 1970-е годы существенное развитие получила реалистическая проза для детей. Значительный ее пласт был посвящен военно-послевоенному детству, дань которому отдали и новосибирские прозаики: В. Коньяков с повестью «Димка и Журавлев», П. Дедов с трилогией «Светозары», А. Черноусов с повестью «Чалдоны». Рассказывают они о детях военной и послевоенной сибирской деревни. Роднит же все эти произведения художественное отображение «досрочного» созревания и становления их юных героев в грозовой социальной атмосфере.

Не забывали новосибирские писатели и такую важную часть жизни ребенка, как школа. Свое отражение она нашла в произведениях Н. Осинина, Г. Прашкевича., Ю. Сальникова, М. Михеева.

Весьма популярной у новосибирцев, пишущих для детей, была тема «природа и человек». С разным успехом ее поднимали в своих произведениях Н. Осинин, А. Якубовский, П. Дедов… Оставаясь наедине с природой, их маленькие герои не только постигают красоту окружающего мира. К ним приходит осознание тесной взаимосвязи всего в мире сущего и личной ответственности за окружающее.

В восьмидесятые годы новое дыхание получает познавательная литература для детей, основы которой были заложены еще в двадцатых годах М. Кравковым. Просто, доступно, интересно авторы стараются рассказать о сложных вещах и явлениях. Как делает это, например, новосибирский критик и литературовед В. Шапошников, представивший в книге «Великие литературные открытия» историю мировой литературы в виде непрерывной цепи открытий, совершавшихся под пером великих писателей.

Продолжали радовать юных читателей поэты. К детской аудитории со стихами не раз обращаются А. Плитченко, Г. Карпунин, Н. Закусина. А для новосибирского поэта *Александра Михайловича Береснева* стихи о детях и для детей стали делом всей его жизни.

5

Не секрет, что едва ли не самым большим спросом у юных читателей всегда пользовалась литература приключенческая (в том числе фантастика и детективы). С нее, собственно, и начиналось их приобщение словесному искусству.

У приключенческой литературы Сибири какую-то определенную точку отсчета найти затруднительно. Можно вспомнить опубликованную в начале XX века повесть ученого и писателя Петра Драверта «Повесть о мамонте и ледниковом периоде». Фантастические мотивы и сюжеты использовали в своих произведениях Антон Сорокин, Всеволод Иванов, некоторые другие сибирские писатели.

В 1921 году вышла повесть В. Итина «Страна Гонгури» (первоначально «Открытие Риэля»). Эта повесть и положила начало приключенческо-фантастическому жанру в Новосибирске. И не только. Появившись почти на год раньше знаменитой «Аэлиты» Алексея Толстого, повесть Итина стала, по существу, первым НФ-произведением в советской литературе.

Эстафету подхватил М. Кравков, проявившийся в двадцатые годы настоящим мастером приключенческой прозы.

В 1925 году М. Кравков опубликовал повесть «Ассирийская рукопись, которую можно по праву отнести к первым сибирским детективам советской поры. В повести некий авантюрист разыскивает в музейных коллекциях редкую «ассирийскую рукопись», за которую Британский музей готов отдать большие деньги. Работники краевого краеведческого музея противостоят замыслам преступника, раскручивая его хитроумную интригу.

Двумя годами позже повестью «Кровь и снег» в журнале «Охотник и пушник Сибири» дебютировал молодой тогда чекист Георгий Лосьев.

Но, несмотря на интересную работу в этом жанре отдельных авторов, приключенческая проза как в Сибири вообще, так и в Новосибирске, в частности, еще долго пребывала в зачаточном состоянии и на последних ролях как литература низшего сорта.

Развитие приключенческой литературы серьезно подтолкнуло проходившее в мае 1958 года в Новосибирске Всесибирское совещание по детской литературе, констатировавшее неудовлетворительное состояние дел в приключенческом жанре.

Одним из тех, кто в послевоенные десятилетия возродил этот жанр в сибирской литературе и внес в него заметный вклад, был М. Михеев. В 1956 году в Новосибирске вышла его научно-фантастическая повесть «Вирус В-13», а в 1959-м – роман «Тайна Белого пятна». В шестидесятые годы М. Михеев активизирует свою работу. Из-под его пера один за другим появляются сборники фантастических рассказов «Которая ждет», «Далекая от солнца», «Милые роботы», а в восьмидесятых – фантастическая повесть «Год тысяча шестьсот…». С именем М. Михеева во многом связано и становление современного сибирского детектива. Широкую известность получила его детективная трилогия, начавшаяся в 1976 году повестью «Запах шипра» и продолжившаяся повестями «Сочинский вариант» и «Поиск в темноте».

М. Михеев был не единственным писателем Новосибирска, успешно работавшим в детективном жанре. В шестидесятые-семидесятые годы на данном литературном направлении вообще ощущалось заметное оживление. В 1962 году в Новосибирске выходит первая книга Г. Лосьева «Самоубийство Никодимова». В 1965 году появляется большой цикл его «рассказов старого следователя» под общим называнием «Вексельное право» Через год – приключенческий роман из времен Гражданской войны «Сибирская Вандея». А в середине семидесятых годов уверенно заявит о себе еще один верный рыцарь детектива – *Михаил Яковлевич Черненок* с повестями «Следствием установлено», «Кухтеринские бриллианты», «Ставка на проигрыш».

В семидесятые годы среди новосибирских писателей весьма развито было своеобразное «совместительство», когда они пробовали себя в разных жанрах, в том числе и приключенческом. Так, например, одинаково уверенно чувствовал себя как в реалистической, так и фантастической прозе А. Якубовский, выпустивший два сборника фантастики – «Аргус-12» и «Купол галактики».

Настоящий расцвет приключенческая проза переживает в восьмидесятые годы. Радуют новыми произведениями М. Михеев и А. Якубовский. И уж поистине звездными эти годы стали для М. Черненка, продолжившим свой детективный цикл под общим названием «Следствием установлено». (Как покажет будущее, работа над ним растянется на три десятилетия). Произведения М. Черненка приобретают всесоюзную известность. Их переводят в США, Англии, Германии, Польше, Югославии, Болгарии, Венгрии и других странах мира. М. Черненок становится лауреатом премии МВД СССР. Его называют «сибирским Сименоном». Секрет же популярности М. Черненка во многом в том, что действие в его произведениях происходит в сибирской глубинке с ее особым жизненным фоном и колоритом, благодаря которому они и обретают «лица не общее выражение». К особенностям авторской манеры этого писателя можно отнести и то, что в каждой своей вещи он старается заставить читателя думать не столько о том, кто и как совершил преступление, сколько о том, что побудило человека оступиться.

Появляются в восьмидесятых годах на приключенческом небосклоне новые имена. Такие, как Геннадий Прашкевич. В каче-

стве прозаика-реалиста известен он был с конца шестидесятых, но к середине 1980-х годов почти полностью перешел на приключенческую прозу, обнаружив в себе при этом умение работать в различных ее жанровых разновидностях.

Тогда же раскрылся талант и другого новосибирского фантаста – Анатолия Шалина. За приключенческой канвой и космическим антуражем лучших его книг – без труда угадываются знакомые земные реалии и проблемы. Повести и рассказы А. Шалина пронизаны иронией, переходящей подчас в откровенную сатиру.

Продолжают поиски в области фантастики и писатели-реалисты. Н. Самохин публикует оригинальную повесть «…Тому назад», где, оборачиваясь в прошлое, задается вполне современными актуальными вопросами человеческого бытия. А поэт А. Плитченко создает фантасмагорические повествования «Дверь на холме» и «ЗАГС».

Новый толчок развитию приключенческой литературе дал семинар молодых фантастов Сибири и Дальнего Востока, который прошел в июне 1987 года в Новосибирске. Семинар через год преобразовался во Всесоюзное творческое объединение молодых писателей фантастов (ВТО МПФ). Оно стало стартовой площадкой для многих авторов приключенческого жанра, среди которых новосибирские фантасты Александр Бачило, Евгений Носов, Владимира Клименко, Олег Чарушников.

Старая гвардия в последнее десятилетие двадцатого века тоже не давала о себе забыть. Новые детективные произведения («Сиреневый туман», «Фартовые бабочки», «Девушка ищет спонсора» и др.) выходили из-под пера М. Черненка. Все большее признание у приверженцев приключенческой литературы приобретал Г. Прашкевич, коньком которого становится тема исторического освоения Сибири (повести «Секретный дьяк», «Носорукий» и др.). По сложившейся традиции пробовать свои силы в сопредельных жанрах в качестве фантаста с социальной антиутопией «Морок» выступает М. Щукин.

Однако к середине девяностых годов о серьезном развитии приключенческого жанра говорить уже почти не приходится. Не в последнюю очередь это было связано с прекращением после 1992 года деятельности ВТО МПФ.

Сказалась и безудержная коммерциализация издательского дела, поставившая на поток сомнительную, часто просто антихудожественную беллетристику. Из полноценного жанра приключенческая литература вырождалась в жуткую помесь полубезумного фэнтези, боевой фантастики с бесконечными «спецэффектами» на

земле и в космосе, либо криминальные боевики, приправленные густым чернушным смрадом.

Впрочем, это была проблема не одного только литературного Новосибирска…

6

С первых дней своей литературной истории Новосибирск был городом поэтическим.

Поэзия первой половины двадцатых годов являла собой довольно пеструю картину. Давало о себе знать деление по классовому принципу, на социальные и творческие группировки. Существовали так называемые «промежуточные идеологические формы», носителями которых, с одной стороны, считались поэты, вышедшие из среды мелкобуржуазной интеллигенции (Г. Вяткин, В. Итин), а с другой – «крестьянские поэты» типа И. Ерошина или И. Мухачёва. Неоднозначным было у стихотворцев и отношение к революции. В первую очередь среди поэтов-«интеллигентов». Если тот же Итин принял революцию сразу, то Вяткину пришлось преодолеть на пути к признанию новой действительности нелегкий путь противоречивых сомнений и переоценки ценностей.

Однако при всей разности взглядов, творческих возможностей и способностей, объединяли новосибирских поэтов любовь и жадный интерес к своей малой родине, к происходящим здесь переменам. Ярким тому примером могут служить И. Ерошин и И. Мухачёв, чьим неиссякаемым источником поэтического вдохновения был Горный Алтай. Но если Ерошин так и останется лирическим певцом родной природы и любви, то Мухачёв в процессе творческой эволюции станет поэтом широкого социального диапазона и эпического звучания.

Во второй половине 1920-х и в 1930-е годы сибирские поэты все чаще обращают свой взор к разворачивающимся в стране преобразованиям. Так, *Павел Николаевич Васильев*, чья творческая биография начиналась в Новосибирске, где в 1927 – 1928 годах он жил и работал, в одном из стихотворений, с которыми он дебютировал тогда в журнале «Сибирские огни», выражал надежду и уверенность в том, что «и средь тайги сибирские Чикаго // До облаков поднимут этажи».

Внимательно вслушивался в индустриальный ритм новой жизни и гордился за свершения «рабочего русского человека» другой новосибирский поэт – Никандр Алексеев.

В тридцатых годах в сибирской поэзии получает распространение жанр исторической поэмы. Появляются крупные поэтические полотна «Карло Тэтэнгоди» и «Повесть о Демжае-алтайце» И. Мухачёва, «Сказ о Ермаковом походе» Г. Вяткина, знаменитые исторические поэмы П. Васильева («Соляной бунт» и др.).

Особая страница в поэзии Сибири – Великая Отечественная война. Многие новосибирские поэты сражались на ее фронтах. Смертью храбрых пали Евгений Николаевич Березницкий и Борис Андреевич Богатков. Еще перед войной они подавали большие надежды, но именно на войне стали настоящими поэтами. Их ратный подвиг нерасторжим с подвигом поэтическим.

Остававшиеся в тылу поэты тоже активно участвовали в создании летописи военных лет. Слаженно звучали в ту пору голоса разных поэтических поколений. Их объединял высокий оптимизм, что не мешало объективному отражению действительности, трагедийных сторон войны. Примером могут служить стихи Е. Стюарт, пронизанные одновременно скорбно-трагической и сдержанно-поэтической интонацией. Одной из ведущих стала для сибирских поэтов тема единства фронта и тыла. Второе рождение переживает тема особого значения Сибири в исторической судьбе России. Как метафорически точно и емко выразился по этому поводу еще один поэт, чья поэтическая судьба начиналась в Новосибирске, Василий Федоров в стихотворении «Сибирь»: «В дни народных бед // Сибирь стояла под Москвою».

В военные годы значительное распространение получила форма поэтического цикла с одним сквозным героем – смелым, находчивым, удачливым, умеющим выйти из любых положений, веселым солдатом. В этой художественно-публицистической форме поэты откликались на события фронтовой жизни. Создавали такие «книги про бойца» и новосибирцы. У поэта А. Смердова, например, был свой «Теркин» – только звали его Тарас Клинков. Популярны были и лирические «письма с передовой» того же Смердова, публиковавшиеся в армейской печати, где личные переживания поэта сплавлялись с гражданскими и патриотическими мотивами.

Время же крупных поэтических полотен о войне наступит за ее пределами, и вехой здесь станет поэтическая повесть А. Смердова «Пушкинские горы» (1946), вошедшая в число лучших советских образцов военной лирики и эпики.

Нашли свое отражение в поэзии новосибирцев и боевые действия Советской Армии на Дальнем Востоке. Им посвящены, в частности, многие стихи *Леонида Андреевича Чикина* (1927 – 1994).

Великая Отечественная война породила новое поэтическое поколение – тех, кто «с боями прошел пол-Европы» (И. Ветлугин), выжил и вернулся домой с победой. В полный голос они (в том числе и новосибирские поэты Н. Перевалов, И. Ветлугин, Ю. Гордиенко, Л. Решетников, И. Краснов, Е. Павличенко и др.) заявили о себе в послевоенные десятилетия: сначала своеобразными фронтовыми исповедями, а позже – углубленным осмыслением и воссозданием истинного образа воина-победителя. Разные эти авторы объединены общей творческой целью, точно выраженной в поэтическом призыве И. Краснова: «Любите жизнь, войну не забывайте…». Некоторые из них (Л. Решетников) остались верны армейской теме навсегда.

В пятидесятые годы в полный голос зазвучали поэты, главным предметом творчества которых стала Сибирь. Как, например, новосибирский поэт Василий Пухначёв. Известный больше как автор песенных текстов («Над широкой Обью», «Сибирский вальс» и др.), он создавал и большие эпические поэмы, среди которых наиболее монументальным произведением является поэтическая трилогия «Сказ о Васюганье», где центральным героем как раз и явдяется Сибирь в ее прошлом и настоящем. В многочисленных стихах и поэмах почти полвека воспевал родной край и К. Лисовский, которого еще при жизни называли «поэтом Сибири».

На рубеже пятидесятых-шестидесятых годов в поэзии Сибири начинается мощное лирическое наступление. Вновь в большой цене «вечные» темы любви, сопряженные с корневыми ценностями бытия. Уходит из поэзии риторика и декларативность, уступая место подлинным чувствам и настроениям, естественней, задушевней становится поэтическая интонация. Резко возрастает интерес к «мелочам» жизни и «простым истинам». Поэты стремятся «без утайки увидеть мир, каким он есть» (Л. Мартынов). Вместе с тем, характерной приметой поэзии той поры становится глубокая социальная насыщенность традиционных лирических мотивов.

В шестидесятые годы на литературном небосклоне Новосибирска появилась поэтическая плеяда, взращенная «хрущевской оттепелью»: Александр Романов, Александр Кухно, Нинель Созинова, Илья Фоняков, Владимир Балачан, Александр Плитченко, Геннадий Карпунин, Виктор Крещик… Им было, что сказать о себе и своем поколении. А объединяло поэтов «новой волны» стремление идти «с веком наравне». Они чутко реагировали на изменения, происходившие в это время в стране и в Сибири, отражали в своей поэзии. И всерьез задумывались об истинной цене технического и всякого другого прогресса. Не случайно на передний план в ли-

рике этого поэтического поколения выходит тема сохранения природных, историко-культурных и духовных ценностей перед лицом бурного натиска научно-технической революции. Она перекликается и сопрягается с не устаревающей темой «отчего края», «родительской земли» (А. Плитченко).

Поэтическое поколение, дебютировавшее в шестидесятых годах, более двух десятилетий определяло лицо и состояние сибирской поэзии, было ее стержнем и «законодателем».

1970 – 1980-е годы можно назвать порой расцвета искусства поэтического перевода в литературе Сибири. Особенно активная работа велась с национальными сибирскими литераторами. Новосибирские поэты-переводчики занимали здесь лидирующие позиции. Благодаря им российскую известность прибрели алтайцы Аржан Адаров, Паслей Самык, Борис Укачин, якуты Софрон Данилов, Леонид Попов, ненец Роман Ругин и др. Продолжилась начатая еще в двадцатые годы И. Мухачёвым работа по переложению на русский язык национального фольклора. Большое социально-культурное значение имеют осуществленные в 1980-х годах новосибирскими поэтами А. Плитченко, А. Романовым поэтические переводы героических эпосов Горного Алтая, Якутии и ряда других сибирских народностей.

Увы, но в девяностые годы ярко разгоревшийся костер сибирской поэзии начал угасать. Из большого числа стихотворцев, нахлынувших в сибирскую литературу в последнее десятилетие XX века, поэтами можно было называть немногих. По-настоящему самобытных и оригинальных – еще меньше. Среди них – новосибирские поэты Александр Денисенко, Анатолий Соколов, Евгений Мартышев, Владимир Берязев.

7

По сравнению с другими своими собратьями драматургия представлена в литературной жизни Новосибирска, пожалуй, наиболее скудно. Надо сказать, что и развиваться-то она начала в Сибири только в 1930-е годы. Успехи первых советских пятилеток нашли отражение и в драматургии тех лет. Вслед за ведущими драматургами страны сибиряки обращались к героической современности, стремились поставить в пьесах ведущие проблемы времени. О необходимости развития драматургии как жанра, обладающего огромной силой художественного воздействия, не раз говорилось в сибирской печати и критике тех лет. Как и о том, что «нужна хорошая пьеса».

В тридцатые годы появился целый ряд произведений, где авторы пытались передать пафос созидания нового общества. Так, в пьесах новосибирцев Г. Павлова «Мартын и Жонас» и Г. Пушкарева «Машина инженера Шацкого» получила освещение тема индустриализации. Авторам, правда, недоставало мастерства в передаче исторических сдвигов в жизни страны. Конфликт же подобных пьес обычно замыкался в производственной сфере. Обнаруживалось и недостаточное умение драматургов показать столкновение человеческих страстей и характеров. Потому пьесы эти и не сыграли заметной роли в развитии советской драматургии.

Более весомо заявили о себе новосибирские драматурги уже в послевоенное время. Большое место в их пьесах, посвященных современности, занимает проблема личности и коллектива. Она поднимается и в произведениях с производственным конфликтом, и там, где конфликты лежат в бытовой плоскости. Так, скажем, вопросы воспитания личности в пьесах новосибирцев Лидии Гераськиной «Аттестат зрелости» (1948) и Юрия Сальникова «Твоя семья» (1955) решаются на материале школьной жизни. Обе пьесы прочно вошли в репертуар советского театра той поры. А пьеса Гераськиной была в 1954 году экранизирована.

В 1952 году в Новосибирске прошло совещание, посвященное сибирской драматургии. Его участники ратовали за «создание хороших спектаклей на материале пьес сибирских драматургов». Ожидания эти были небеспочвенны. Хотя бы потому, что в том же, 1952 году, с пьесой «На просторах» родился новосибирский драматург Виктор Владимирович Лаврентьев, которому в 1960 – 1970-х годах суждено будет стать одним из ведущих драматургов страны. Его драматургия, отмечена была гражданским пафосом, публицистической страстностью. Писал он на разные темы. О людях социалистического села, Великой Отечественной войне, о проблемах брака, семьи, нравственного воспитания детей… Но все его пьесы пронизаны мотивом утверждения бескорыстного, самоотверженного служения обществу. Героев В. Лаврентьева отличают сильные характеры и романтическая устремленность. Они прочно стоят на земле, но в то же время всегда в пути, в конфликте со всем пошлым, мещанским, отживающим свой век. Пьесы В. Лаврентьева – драматургическая эпопея о жизни первых послевоенных десятилетий.

1970 – 1980-е годы для новосибирской драматургии характерны тем, что в этом жанре активно пробуют себя прозаики, поэты и даже критики. Пишут пьесы Н. Осинин, Е. Коронатова, А. Никульков, А. Плитченко, З. Ибрагимова, В. Шапошников. К жанру

либретто обращаются В. Пухначев и Ю. Магалиф. Но чаще это пьесы для чтения, нежели для сценического воплощения.

Особняком стоит творчество переехавшей в начале восьмидесятых в Москву Н. Садур. Начав с прозы, она по-настоящему нашла себя именно в драматургии. Н. Садур принадлежит к так называемой «новой волне» драматургии 1980-х годов. Ее произведения сочетают в себе реалистичность и мифологию, гротеск и натурализм. Творческую манеру Н. Садур определяют по-разному: и как «магический реализм», и как постмодернизм, и как драматургия авангардизма… Но при любом определении узнаваема Н. Садур главным – «лица необщим выраженьем».Пьесы Н. Садур идут на подмостках многих российских и зарубежных театров, по ее сценариям сняты телефильмы.

В 1980-х годах в драматургии Сибири появляется ряд новых интересных имен. В первую очередь это новосибирцы Юрий Мирошниченко и Александр Косенков, пьесы которых отличает острота поднимаемых социальных и нравственно-этических проблем.

8

Полнокровное течение литературного процесса невозможно без литературной критики. И сибирская литература не была ею обделена. Первые зачатки литературно-критической мысли возникают в Сибири еще в конце XVIII века, с момента появления первого за Уралом литературно-художественного журнала «Иртыш, впадающий в Ипокрену».

Так же с журналом, на сей раз «Сибирскими огнями», неразрывно связано существование и развитие литературно-критического жанра в Новосибирске. Критический отдел журнала вел на первых порах В. Правдухин, во многом и определивший направленность литературной критики Сибири первой половины 1920-х годов. В своих статьях В. Правдухин требовал от писателей глубокого проникновения в сущность общественных явлений, освещения особенностей жизни послереволюционного времени. В статьях «В борьбе за новое искусство», «Литература о революции и революционная литература». «Литературные течения современности», «Сибирские поэты современности» и др. он умел поставить важнейшие вопросы литературного движения тех лет. В. Правдухин отстаивал идейность и социальную значимость искусства, видел в литературе «сильное революционное оружие» и «агитационную мощь». Вместе с тем высоко оценивал В. Правдухин реалистические и гуманистические традиции русской классики как фундамент нового искусства и горячо их отстаивал. В двадцатых годах В. Правдухин был одним из немногих критиков, у кого знание эстетических законов сочеталось с пониманием исторических закономерностей и тенденций общественного развития. Поэтому, развивая традиции революционно-демократической критики, В. Правдухин настаивал на необходимости критики синтетической.

Критический раздел «Сибирских огней» того времени отличался большим разнообразием. На страницах журнала публиковались обзоры, проблемные статьи, литературные портреты, рецензии, отзывы, аннотации и т. д. Журнал быстро реагировал на литературную продукцию, выходившую в центральных и периферийных издательствах. «Сибирские огни» самое серьезное внимание уделяли сибирской литературе, но не замыкались в узко-региональных рамках. Необходимость сочетания сибирского, специфического с общезначимым стала основным принципом работы журнала. Поэтому не случайно появление в критическом разделе журнала статей и исследований о классиках русской и мировой литературы.

В двадцатых годах отряд критиков в Сибири был очень немногочислен. В самом Новосибирске к профессиональным критикам, кроме В. Правдухина, можно было с натяжкой причислить разве что В. Вегмана. Зато нередко на критическом поприще выступали ведущие писатели Сибири и Новосибирска: В. Зазубрин, Л. Сейфуллина, К. Урманов, Г. Павлов… Особенно часто и последовательно роли критиков примеряли на себя Г. Вяткин, В. Итин. Это обеспечило своевременность отзывов, более тесную связь с текущим литературным процессом и накладывало особый отпечаток на стиль и манеру работы критиков.

На переломе двадцатого-тридцатого десятилетий советскую литературу раздирала групповая борьба, которая отозвалась и в литературной критике. В Новосибирске групповщина с особой силой проявилось на противостоянии группы «Настоящее», с одной стороны, а с другой – Союза сибирских писателей и «Сибирских огней».

Несмотря на крайние формы проявления, групповая борьба и в центре, и на местах была пронизана общей мыслью о выработке единого для всей советской литературы, организующего и мобилизующего, реального художественного творческого метода. Другое дело, что не было единства в самом его понимании. Подтверждают это и дискуссии того времени. Так, проблема творче-

ского метода стала предметом бурной полемики, завязавшейся на страницах «Сибирских огней» в 1930 – 1931 годах. Открылась она статьей новосибирского поэта В. Вихлянцева «Заметки о творческом методе», оппонентами которого стали П. Запорожский, Н. Кудрявцев, Г. Павлов. Завершал диспут также В. Вихлянцев. Его статьи захватывают полемической страстностью, но и обнаруживают в авторе серьезного эрудированного критика, пытающегося честно разобраться в сложной расстановке литературных сил и выработать взгляд, не зависящий от случайного воздействия или конъюнктуры. На примере этой дискуссии видно, как, продираясь сквозь заторы полемических перехлестов, приходило осознание того, что в определении нового творческого метода необходимо руководствоваться реальным литературным опытом и живой художественной практикой.

Состоявшийся в 1934 году I съезд СП СССР официально утвердил новый метод, дав ему название «социалистический реализм», который на многие десятилетия будет становым хребтом советской литературы. Объединение разрозненных творческих сил, создание единой методологической основы для их деятельности и литературно-критической оценки сделало литературный процесс достаточно предсказуемым и управляемым и значительно упростило работу литературной критики. Вооруженная четко прописанными идейно-художественными параметрами, главное внимание она теперь сосредоточила на соответствии этим параметрам литературной продукции и на том, как отражают писатели происходящие в стране масштабные социально-экономические преобразования. Эстетические функции критики отодвинулись на задний план.

В литературной критике Сибири послевоенного десятилетия началась смена поколений. Еще работали такие критики старшего поколения, как А. Высоцкий или С. Кожевников, но уже все увереннее заявляли о себе Б. Рясенцев и Н. Яновский. Делали первые шаги на критическом поприще А. Никульков и Л. Баландин. Попрежнему охотно выступали в роли критиков писатели (А. Коптелов, Г. Марков и др.).

Дальнейшему развитию литературной критики в Сибири способствовал большой литературный подъем, начавшейся в 1950 – 1960-х годах и вызванный демократизацией общества, потеплением идеологического климата, которые совпали с новой фазой экономических преобразований в стране, затронувших Сибирь. Появляется целый ряд интересных писателей. Заметные достижения сибирской литературы этой поры органично вписываются в

сложные и многообразные искания общесоюзного литературного процесса. «Первичность творчества» и высокие горизонты «местной» литературы открывали широкий простор сибирским критикам. Активно работают в это время новосибирцы Юлий Мостков, Виталий Коржев.

Постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» (1972) резко повысило требования к выступлениям критиков и способствовало росту критических кадров. Едва ли не в каждом крупном сибирском городе появлялись новые авторы литературно-критического жанра. В Новосибирске это В. Шапошников, В. Перцовский, А. Горшенин и др. Обращаются к критике новосибирские литературоведы – В. Одиноков, Ю. Постнов, Л. Якимова, Б. Юдалевич. По своему характеру критика этого периода преимущественно социологическая и проблемная, в числе главных задач которой – выяснение того, насколько художественное отображение соответствует жизненным реалиям. Но не остается без внимания и эстетическая сторона.

Самым ярким представителем литературной критики в Новосибирске в 1960 – 1980-х годах был *Николай Николаевич Яновский.* Своими литературно-историческими исследованиями и критическими выступлениями он стремился раскрыть идейно-художественное и эстетическое богатство литературы Сибири. Являясь несомненным лидером в своей области, Н. Яновский был во многом и ориентиром для своих коллег-земляков. Благодаря Н. Яновскому новосибирская «критическая школа» стала заметным явлением во всесоюзной критике 1970 – 1980-х годов.

Работа новосибирских критиков этого периода не ограничивается исследованием литературного процесса. Они вторгаются в издательскую деятельность, участвуют в осуществлении ряда крупных проектов. Яркими примерами такого рода могут служить фундаментальные издания «Литературное наследство Сибири» в 8 томах и двухтомник «Очерки русской литературы Сибири».

С началом 1990-х годов литературная критика переживает в Новосибирске общий для всего российского литературного процесса системный кризис, связанный с известными разрушительными процессами как в социальной, экономической, так и в культурной, идейной и духовной областях нашей жизни. Критика становится все больше рецензионной, аннотационной, а то и просто рекламной, и все дальше отступает от больших и серьезных идейно-художественных и эстетических задач.

Остро встала к исходу XX века и всегда-то непростая проблема обновления критических кадров. Значительная (и лучшая их

часть) уже ушла из жизни, некоторые отошли от живой критической практики. И если в Новосибирске к концу 1980-х насчитывалось более десятка профессиональных критических перьев, то на пороге XXI века продолжало работать только двое. Притока же свежих сил фактически не наблюдалось.

* * *

Сегодня литература Новосибирска переживает сложные времена. Она еще не вышла из затяжного кризиса, начавшегося в девяностых годах минувшего века. Новые времена предполагают и новые песни. Новые времена наступили, однако новых песен мы еще толком услышать и оценить не успели. Отзовутся ли они в нашем сердце, затронут ли душевные струны?.. Время покажет.

А пока не забыть бы песен уже спетых, сердцем и душой проверенных и принятых…

Не забыть бы того, что у Новосибирска XX века была славная литературная история и многочисленная, разнообразных талантов плеяда писателей, оставивших в культурном пространстве Сибири заметный след и занявших в нем достойное место.

И остается надежда, что со временем обновленный, наполненный свежими силами писательский отряд Новосибирска снова станет локомотивом литературной Сибири.

Алексей ГОРШЕНИН

«СУРОВ МОЙ ПУТЬ…»

(Георгий Андреевич Вяткин)

Я весь – порыв. Я весь – исканье.
Далек мой Бог. Суров мой путь…

Г. Вяткин

Поэт, прозаик, публицист, литературовед Георгий Андреевич Вяткин родился 13 (25 по новому стилю) апреля 1885 года в Омске, в семье старшего урядника омской казачьей станицы.

В конце XIX в. Вяткины переезжают в Томск. Георгий учится в церковной школе, а в 15 лет уже и сам преподает в сельской школе. В 1902 – 1903 гг. он учился в Казанском учительском институте, но был отчислен за эпиграммы на преподавателей. По возвращении в Томск работал в газете «Сибирская жизнь» корректором, репортером, фельетонистом.

Здесь же в 1900 году было опубликовано и первое стихотворение Г. Вяткина, которому тсполнилось тогда всего 14 лет. А с 1905 года его произведения печатают многие российские журналы: «Сибирский наблюдатель», «Сибирские вопросы», «Сибирская неделя», «Сибирские записки», «Журнал для всех», «Вестник Европы», «Русское богатство», «Современник», «Нива», «Летопись» и др. В 1907 году в Томске выходит первый поэтический сборник Г. Вяткина «Грезы Севера». А в 1917-м появляются сразу три его книги – «Опечаленная радость», «Золотые листья» (Петроград) и «Алтай» (Омск). В 1912 г. Г. Вяткин удостаивается всероссийской литературной премии за лучший рассказ.

В 1914-1915 годах он живет в Харькове, работает в газете «Утро». Совершает путешествия по Финляндии, Польше, Алтаю. Идет Первая мировая война, и Г. Вяткина призывают в армию, где он служит в санитарных частях Северного фронта вплоть до революционного 1917 года.

Октябрьский переворот Г. Вяткин не принял. Он возвращается сначала в Томск, а осенью 1918 г. оказывается в Омске, который к этому времени становится российской столицей. Адмирал Колчак приглашает Г. Вяткина на работу в отдел газетных обзоров, и в качестве корреспондента поэт сопровождает Верховного главнокомандующего в его поездках на фронт. Помимо того, активно участвует в издании журналов «Единая Россия», «Возрождение», «Отечество», читает в колчаковских войсках лекции о русской литературе. В 1919 г. Г. Вяткин становится членом Всероссийского географического общества.

После разгрома Колчака Г. Вяткин бежит с адмиралом в Иркутск. Здесь его арестовывают и возвращают в Омск. Но приговор военного трибунала оказался неожиданно мягким – поражение в выборных правах. Г. Вяткин продолжает много работать в газетах и журналах, писать. Но пишет в основном о природе, далекой российской истории. С большевиками ему по-прежнему не по пути.

В 1925 году Г. Вяткин переезжает в Новониколаевск. Отныне его жизнь тесно связана с этим городом, журналом «Сибирские огни», Союзом Сибирских писателей, одним из организаторов которого он был, и Сибирской советской энциклопедией, для которой им написан целый ряд статей на разные темы.

Новосибирск стал последним пристанищем Г. Вяткина. В 1937 году его арестовали по надуманному обвинению в контрреволюционном заговоре.

27 декабря 1937 года Г. Вяткин был расстрелян.

Г. Вяткин принадлежал к тому типу универсальных творческих личностей, которые ярко проявляются в самых разных ипостасях. Автор многочисленных стихов и поэм, повестей и рассказов, очерков и статей, литературоведческих исследований и эссе, щедро рассыпанных по страницам российской литературной периодики первой трети XX века, нескольких поэтических книг, он еще до революционных событий 1917 года был сложившимся во всех отношениях писателем и одним из самых признанных поэтов Сибири.

Начало его творческого пути совпало со временем расцвета русского декаданса. Самыми модными тогда были поэты-символисты. Хотя еще достаточно мощно звучал и русский реализм. Молодой Г. Вяткин живо воспринимал оба этих течения. Он вообще жадно впитывал все, что было талантливо. Естественно, что и лирический герой раннего Г. Вяткина – типичный человек своей эпохи, в котором смешались и неудовлетворенность жизнью, и жажда дела, и неясность пути, но при этом – и любовь «ко всему, что живет и цветет на земле». Оптимизм такого рода декадентам был не свойственен, и здесь Г. Вяткин с ними заметно расходился. В одном из писем он пишет: «Литературные влияния шли в следующем порядке: в ранней юности – Надсон. Несколько

позднее – Достоевский и Бальмонд, в более зрелые годы Пушкин, Чехов и Блок, после революции – Горький и Роланд». Однако, несмотря ни на какие влияния, Г. Вяткин оставался поэтом оригинальным и самобытным, тонко чувствовавшим слово. Да и влияния по мере творческого роста он успешно преодолевал.

Г. Вяткин дореволюционного периода интересен был и как прозаик. В центре его рассказов русский интеллигент, который самоотверженно трудится в гуще народа и во благо его. Здесь слышны чеховские нотки, хотя и жизненный материал, и угол зрения художника – совершенно свои, незаемные.

Переломный 17-й год вызвал в душе Г. Вяткина противоречивые настроения. До этого поэт мечтал об очистительной буре. И вот она грянула, но настроение поэта изменилось на противоположное («Пусть мечется черная буря! // Но все исцелит тишина»). Случилось это, наверное, не оттого, что Г. Вяткин – выходец из среды старой мелкобуржуазной интеллигенции (если к ней вообще можно отнести казачьего урядника и швею, коими являлись его родители) – растерялся (по версии официального советского литературоведения) перед лицом больших социальных потрясений, а скорей потому, что он воочию убедился, насколько разрушительны и беспощадны силы «всеочистительной грозы». Ее «дым и пламень», «кровавый мрак и пыль» не оставляли, по его убеждению, места даже для «клочка лазури и детского смеха».

Если в дореволюционный период поэтический диапазон Г. Вяткина ограничивался преимущественно лирикой, то в дальнейшем он значительно расширяется. Г. Вяткин создает, в частности, две крупные исторические поэмы: «Франциск Ассизский» и «Сказ о Ермаковом походе». Если в первой довольно еще сильны излюбленные мотивы его лирики (правда, чувство любви ко всему живому и ненависть к аскетизму поэт выражает не через лирического героя, а через исторического персонажа – религиозного полуеретика XIII века), то вторая вещь по-настоящему эпическая. «В сказе о Ермаковом походе» речь идет об одном из важнейших моментов сибирской истории. Поэму пронизывает мысль о том, что завоевание и присоединение Сибири к России – дело народное, что именно народ стал не только активным его исполнителем, но и душой.

К середине 1930-х годов Г. Вяткин отходит от поэзии и полностью переключается на прозу. Последним и крупнейшим его прозаическим произведением становится роман «Открытыми глазами», посвященный происходившим в Советской России того времени социальным процессам. Интересно, что в этой во многом автобиографической вещи Г. Вяткин фактически предугадывает свою судьбу – будущий арест и расстрел. Отношение к роману у современников было неоднозначным, тем не менее, он стал заметным фактом в литературной жизни Сибири 1930-х годов.

Г. Вяткин был не только литератором, работавшим почти во всех жанрах, но и неутомимым просветителем и пропагандистом русской культуры, имевшим у коллег-писателей огромный авторитет. Он поддерживал тесные творческие связи с Горьким, Блоком, Буниным, Роланом, другими выдающимися писателями.

Г. Вяткин трагически погиб в расцвете творческих сил и на десятилетия был вычеркнут из культурной и литературной жизни. Сегодня он возвращается к российскому читателю…

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Г. Вяткина:

Стихи. – Новосибирск, 1959.

Собр. Соч. в 5-ти т. – Омск, 2007.

О Г. Вяткине:

Беленький Е.Творчество Георгия Вяткина. // Е. Беленький. Писатели моей земли. – Новосибирск, 1969.

Шоломова С. «Скорбная житейская дорога». // «Сиб. огни», 1991, №2.

Зубарев А. «Да, позабылось многое…». К 125-летия Г.А. Вяткина. // «Сибирские огни», 2010, №2.

Георгий ВЯТКИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

Родина

Выхожу из темной хижины
На росистые поля…
– Нет, ты Богом не обижена,
Наша русская земля.
Эти дали знойно-жгучие.
Берега широких рек,
Леса силища дремучая –
Не с тобою ли навек?
И не с той ли силой кряжистой
Величава и грозна,
Все напасти, все-то тяжести
Выносила ты одна:

И Батыеву татарщину,
И опричнину-змею,
И кичливую боярщину,
Злую мачеху твою.
Много было горя хвачено,
Много пропито в тоске.
Да не все еще растрачено
Во царевом кабаке.
Эх, ты доля подневольная,
От тебя добра не жди!
Но уж чуют сердобольные:
Будет радость впереди!
И тогда-то в каждой жилушке,
Вольной волею хмельна,
Заиграет наша силушка
И без зелена вина.

Из цикла «Алтай»

Чей голос там серебряной трубой
Звенит, томит, тревожит даль седую?
Марал ли кличет самку молодую
Иль Горный Дух зовет врага на бой?
Какая глушь! На камни встали камни,
И вздыбились утесы на утес.
И нет пути. И всюду мох пророс,
Сухой, как пыль, невыразимо древний.
А дальше пропасть грозная чернеет,
Туманами и гарью повита.
Здесь каждый миг тоской и жутью веет,
И что ни шаг – заклятая черта.
Я прижимаюсь к камню головой,
И страшно мне, и холодно, и сиро.
Быть может, сотворенье мира
Еще не кончено, Господь, тобой?!

Братские могилы

Приди на братские могилы
И тихо стой. Не надо слов.
Здесь только ветер легкокрылый
Один вздыхает у крестов.
И, занося их пылью снежной,
Поет, как некий трубный глас,
О непреложном, неизбежном,
Последнем часе и для нас.

Весною

Как парус под ветром весенним,
восторгом и болью дыша,
под шум боевой непогоды
и зреет, и крепнет душа.
И смотрит большими глазами,
И слушает чутко, и ждет…
Так бурные волны весною
Ломают сверкающий лед.
И ширится водное лоно
В безгранных просторах земли.
И в небе крылатою цепью,
Скликаясь, летят журавли.
А льдины колышутся тяжко,
И каждая льдина, как труп.
А ветры звенят о победе
Из тонких серебряных труб.

* * *

Ночь угрюма и уныла. Даль угрюма и мертва.
Сгибли радостные песни, сгибли нежные слова…
Отчего ж цветет надежда? Отчего ж светла печаль?
Отчего же сердце рвется в неизведанную даль?
– Возродится, обновится мир усталый и больной,
Будет праздник жизни новой – ясной, чистой и живой,
Все утонет в блеске солнца, затрепещет, зацветет!..
То, что было, не вернется. Все, что будет, то придет.

* * *

Мне кажется, что я когда-то жил,
Что по земле брожу я не впервые:
Здесь каждый камень дорог мне и мил,
И все края давно-давно родные.

Вином любви я душу опьянил,
И в ней не меркнут образы былые
И вечен в ней родник грядущих сил.
– Да будет так! Да здравствуют живые!
Пройдут часы, недели и года,
Устану я, уйду во мрак, истлею,
Но с миром не расстанусь никогда.

Могильной тьме моя душа чужда,
Влюбленный в жизнь,
я вновь воспламенею,
Мне кажется, я буду жить всегда.

* * *

Верую!
Верой нетленной
Верую в нежность небес голубых,
В это солнце горячее – радость живых –
Золотую корону вселенной
Верую!

Верую в щедрую силу земли.
Как ничтожны утраты земные,
Если даже в темницах,
камнях и пыли
Расцветают цветы полевые.
Под напевы метелей,
в ненастье, во мгле
Разве можно не верить весеннему чуду?
Ах, ведь тысячи, тысячи зерен в земле
Незримые зреют повсюду!
Верую!

Верую, с каждой минутой сильней,
В крепкий ветер,
в кипящие брызги прибоя,
В беспредельные дали морей,
В буревестника – вестника боя.
Все темней, все грозней небеса,
Значит, буря не минет…
Эй, крепи паруса!
Наше мужество нас не покинет.
Верую!

Верую в святость вечерней зари, –
Алый свет на воде,
тишина, камыши и осока…
Будь как птица, душа
и до солнца замри,
Чтобы утром подняться высоко.

Будет ночь.
Встанут звезды, и Вечность седая
Темный лик свой
Приблизит к безмолвной земле, –
О, не бойся, душа и раскройся во мгле,
Вся весенняя, вся огневая,
Вся, как алый цветок на заре.
Верую!

Верую в радость любви,
В эти добрые, милые, светлые руки,
Что вручают страданья и скорби мои.
О, любовь, и в блаженстве и в муке
Позабуду ли звоны твои?
Верую в благость любви.
Верую!

Верую в ясный младенческий смех,
В нежные детские взоры…
Верую в радость и счастье для всех,
Верую в эти земные просторы.
Верую: силой твоей, Человек,
Жизнь безотрадную, пошлую, серую
Преобразишь ты навек…
Верую!

* * *

Сквозь тьму веков,
сквозь гул тысячелетий,
Из мира крови, лжи и клеветы
Доносится до звездной высоты
Ваш ясный смех, играющие дети.

И молодеет древняя земля,
Насыщенная кровью и слезами,
И ласково колышутся цветами
Всех стран земных – зеленые поля.

На закате

Твое лицо – усталый вечер,
В нем боль, и грусть, и тишина,
И пеплом дней легла на плечи
Серебряная седина.

Все взволновавшее когда-то
Неотвратимо отошло,
И тихим отблеском заката
Озарено твое чело.

Но над минувшим, спящим в тайне,
Еще дрожит, дрожит слеза…
Мы не любовники, но дай мне
Поцеловать твои глаза.

Ни слов, ни вздохов, ни поминок,
Но там, где слезы жгли огнем,
Я прохожу, как строгий инок
Перед священным алтарем.

И пусть в минувшем неизменно
Все, что терзало и ушло,
Но пережитое – священно,
И отошедшее – светло.

У переселенческого тракта

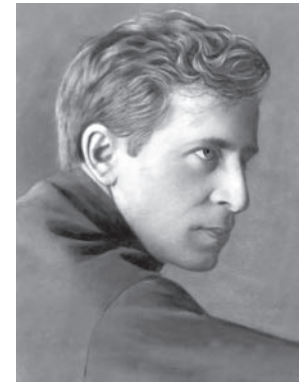
Осенний вечер, темный и унылый,
Степной простор и меж солончаков
Безвестные забытые могилы
Крестьянских жен, детей и стариков.

Здесь пролегал суровый и постылый
Путь к новым землям,
дальше на восток…
И сколько слез,
надежд, мужицкой силы
Схоронено по сторонам дорог!

Из года в год шли длинной вереницей,
Но многие ль до цели добрели?
А ныне поле трактором дымится.
Прет молодая поросль из земли.

Сибирь, Сибирь, огромное кладбище,
Мы перепашем старые пути,
Чтоб радостней, обильнее и чище
Иная жизнь могла здесь расцвести.

Сравняет время тихие могилы,
Истлеют в травах черепа коней,
Но никогда не оскудеют силы
Таких просторов, пашен и полей…



«ОТ ЧЕГО НЕ ХОЧЕТ ОТОРВАТЬСЯ СЕРДЦЕ...»

(Максимилиан Алексеевич Кравков)

Прозаик, писатель-краевед Максимилиан Алексеевич Кравков родился в 1887 году, в Рязани, в семье действительного статского советника.

Учился в Петербургском университете, избрав специальность геолога и минеролога. В 1908 году стал членом партии социалистов-революционеров – «максималистов», требовавших «решительных действий». В том же году был арестован по обвинению в покушении на рязанского генерал-губернатора, признан «виновным в хранении взрывчатых веществ» и осужден на шесть лет каторги, замененных позже тремя с половиной годами одиночной тюрьмы с последующей ссылкой в Сибирь. В 1913 году был выслан на поселение в Тайшет.

С тех пор М. Кравков не расставался с Сибирью, ставшей родным для него краем. Занимался научной работой, собирал геологические коллекции. После Февральской революции 1917 года избирался гласным Нижнеудинского уезда, членом губернской комиссии по земским делам, а потом и управляющим Нижнеудинского уезда Иркутской губернии, где проработал до декабря 1919 года. С октября 1920-го заведовал краеведческим музеем в Иркутске. Тогда же был арестован Иркутским ЧК. После освобождения уехал в Омск, где заведовал отделом музеев Сибирского отдела народного образования.

В начале 1922 года, в связи с переездом советских учреждений из Омска оказался в Новониколаевске, где работал заведующим городским музеем. И снова арест – по обвинению в принадлежности к «максима-

листам». Однако после подачи заявления о выходе из партии дело было прекращено. Вместе с Л. Сейфуллиной и В. Правдухиным активно участвовал в организации и становлении журнала «Сибирские огни», с которым у М. Кравкова будет связана в дальнейшем большая часть его творческой жизни.

Кроме музейного дела, М. Кравков занимался кинематографом (был заведующим Сибкино), принимал активное участие в работе Общества по изучению Сибири и ее производительных сил. В 1923 – 1934 годах в составе геологоразведочных и географических экспедиций побывал в Саянах, в Горной Шории, в низовьях Енисея.

В 1933 году подвергся очередному аресту – по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации генерала В.Г. Болдырева. Последний раз М. Кравков был арестован в мае 1937 года как член некой «японско-эссеровской террористической диверсионно-шпионской организации» и приговорен к расстрелу.

Писать начал рано. Занятие литературой шло параллельно с «основной» работой. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Сибирь», «Красная новь», «Охотник и пушник Сибири», «Перевал», «Наши достижения» «Колхозник», «Товарищ». В 1921 году в Омске вышла первая книга М. Кравкова «Что такое музей и как его устроить в деревне». Автор книг «Большая вода» (М., 1928), «Дети тайги» (1929), «За сокровищами реки Тунгуски» (1931), «Год во льдах» (1933), «Золотая гора» (1934) и др., изданных в Новосибирске. Две кнтгт – «Ассирийская рукопись» (1970) и «Зашифрованный план» (1977), составленные Н. Яновским, – вышли после смерти писателя.

Умер в октябре 1937 года в Новосибирске.

Имя М. Кравкова современному читателю мало что говорит. Но в двадцатых-тридцатых годах минувшего столетия он был хорошо известен и как прозаик, и как очеркист, и как детский писатель, и как краевед. Но, пожалуй, наибольшую популярность приобрел он как мастер приключенческого жанра.

М. Кравков умеет держать читателя в напряжении. В каждой его вещи – будь то детектив «Ассирийская рукопись», приключенческая повесть «Зашифрованный план» или остросюжетный новеллистический цикл «Рассказы о золоте» – есть все необходимое для любителей острых ощущений: тайна, поиск, погони, внезапные ситуации…

Тем не менее, главное внимание М. Кравков сосредоточивает не на внешних событиях, какими бы занимательными и остродраматичными они ни были, а на внутреннем состоянии человека в самые критические моменты его жизни.

В. Зазубрин называл его сибирским Джеком Лондоном. Излюбленные герои романтических поэм в прозе М. Кравкова также люди сильные и цельные, с авантюристической жилкой в характере: охотники и

золотоискатели, бродяги-каторжники и горняки-рудознатцы, ссыльные политзаключенные и аборигены сибирской тайги… Объединяет же их еще и то, что все они – люди не только смелые, отважные, но и, как правило, душевно красивые.

Своих героев М. Кравков испытывает не одними лишь жестокими обстоятельствами, но и сибирской природой, отчего изломы их судеб часто непредсказуемы. Да и сюжеты произведений в неожиданных своих поворотах и стремительном беге нередко похожи на таежные речки в весеннее половодье.

Отличительным качеством героев М. Кравкова является их стремление познать мудрую целесообразность природы и определить свое место в окружающем мире. Наверное, поэтому, кроме сюжетной увлекательности, динамичности, психологичности, проза М. Кравкова еще и очень живописна, поэтична, насыщена неповторимым сибирским колоритом. Чувствуется, что автор и его герои влюблены в сибирскую природу, которая для них – воплощение того, «от чего не хочет оторваться сердце». Именно горячая любовь к сибирскому краю, увлеченность тайгой, охотой, путешествиями и обусловили поэтичность и романтичность большинства повествований М. Кравкова.

Хорошо известен был М. Кравков и как детский писатель. В 1930-х годах популярностью пользовались его повести и рассказы «Дети тайги», «За сокровищами реки Тунгуски», «Год во льдах», «Золотая гора» и др. Но самой, пожалуй, яркой и поэтичной книгой М. Кравкова для детей стала его повесть «Дети тайги». Вся она дышит неподдельной любовью к природе; в ней множество интересных, тонких наблюдений. И написана она настолько же красочно, ярко, насколько легко и совершенно доступно для детского восприятия.

Творческое наследие М. Кравкова не так уж велико и не все в нем равноценно. Но лучшие его произведения и сегодня читаются с захватывающим интересом и подлинно эстетическим наслаждением.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги М. Кравкова:

Зашифрованный план. Повести, рассказы. – Новосибирск, 1977.

О М. Кравкове:

Яновский Н. Максимилиан Кравков. // М. Кравков. Зашифрованный план. – Новосибирск, 1977.

Кравков Максимилиан Алексеевич. // Энциклопедия «Новосибирск». – Новосибирск, 2003.

Горшенин А. Сибирский Джек Лондон. // А. Горшенин. – лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Максимилиан КРАВКОВ

ШАМАНСКИЙ ОСТРОВ*

Рассказ

Звали его Михаил, по прозвищу Тоболяк, потому что пришел он сюда из Тобольской губернии. Явился с улыбкой и полгорницы у вдовы-солдатки Дарьи занял широченными плечами.

– Ишь, лешак, что печка!.. – восхищенно оценила баба. И на жизненном пути у Михайлы задымился новый семейный очаг.

Сейчас, как всегда, невзначай, Тоболяк собирался в тайгу.

– Идол ты окаянный, – убивалась Дарья, – люди добрые хлеб убирать, а он в лесище тянет!..

Не могла привыкнуть к причудам Тоболяковым. А жили вместе уже долго. С того самого времени, как задрал медведь у поскотины дядю Акима.

В горы успели удвинуться глубоко бродячие карагасы**, еланями заплешивела вековечная целина, поселок у грани Саян разросся до двенадцати изб и недавно дождался своего сельсовета. А Михайла, как был бродягой, таким и остался.

Но нравилось ему даже, что баба за это ругает.

– Линия ваша такая, – резонно объяснял он, допивая чай, – одним словом – контроль…

– Пес ты, – плюнула Дарья и, совсем осерчав, обернулась к скрипнувшей двери.

– Входи, входи, жиган!.. – закричала она. – Дожидается тебя дружок любезный… Шатуны разнесчастные!.. – И ушла.

В горницу осторожно шагнул Петрович, уголовный когда-то поселенец, и картуз из приличия снял. Постоял, покосился на дверь и скромно сел. Тоболяк и глаз не поднял.

В избе было душно, сытно пахло вином, хлебом и медом.

Петрович вздохнул, шевельнул усами и умильно начал:

* В журнальном варианте («Сиб. огни», 1926, №1-2) рассказ назывался «Большая вода».

** Карагасы (тофа) – немногочисленная народность, до революции кочевавшая в районах верховий Бирюсы, Уды, Ии и других рек на территории Иркутской области.

– Михайла… А Михайла?..

– Ну?

– В тайгу собираешься?

– Ну!

– Меня-то… возьмешь? – совсем просительно, виновато даже молвил он.

Тоболяк зевнул широко и сочно, прикрыл распухшей лапой рот.

– Мешок у бабы спроси под сухарь.

И в дверь, вдогонку:

– Кайлу не забудь!

Тайга.

Едут молча, один за одним. Земляной здесь воздух и гретый, наполненный медовыми запахами трав и студью ключей подземных.

Тоболяк впереди.

Заботы все дома остались – легкие мысли дорогой приходят.

Пихта у него – веретено зеленое – в небесную синь уткнулось, а ель у подошвы – как сапог великана с усатыми шпорами сучьев. Ишь, как вертит наверху мошкара – словно пепел от солнца осыпается…

Выползла тропка из сосен, заметалась бросками на спуск – потонула внизу, в сочных травниках. Паром желтым текут со встречных склонов воскресные толпы цветов.

Кручей, щебенкой пополз горбатый подъем, натужней и чаще дышат кони, и тайга за спиной колышется пихтами, точно перьями стрел в колчане.

Встретился горный ветер, освежил лицо, вскинул гриву у лошади – хорошо!

Привстал в стременах Тоболяк – кругло выплывает вдали сахарный белок, словно лебедь из тумана подымается на горизонте.

– Э-ей, Петрович! Чего-о засну-ул?.. – во всю глотку заорал, чтобы грудь прочистить.

Прянули уши у Карьки, и ухабами покатилось по пади:

– У-у-уллл…

– Заку-урим, хозяин!.. – точно с берега другого, отзывается Петрович.

– Рубеж наш…

Перелом хребта. Скелет иссохшей лиственки скрипит над обрывом и мотаются на сучках полинялые ленточки.

– Эка навешали карагасы, – усмехнулся Михайла, – а ну, Петрович, сыми-ка молодой в косу на заплетку!

– Ловок…– недовольно бурчит Петрович, – чтоб шаманство их ко мне привязалось!..

– С-сукин сын, – хохочет Тоболяк, – ты ж в чертей не веришь?..

Петрович совсем омрачился, плюнул даже:

– Тайга, а такую дурость порет…

И крикнул с сердцем:

– Куда попер-то?..

– И то верно, – согласился Тоболяк и потянул коня, слезая, – с тобой попрешь…

И вошел в кусты.

Хрустели кони травой и позванивали удилами. Над горами замер орел и, привычно, в седле дожидался Петрович. Но был он другой, не такой, как в деревне. Там был Петрович, вечный бобыль, пьяница и на руку нечист, здесь он вольный охотник, в одних правах со всеми, с зверями, с деревьями и с человеком.

Всегда шатался с Михайлой на промыслы и всегда мечтал возвратиться богатым. Недаром был приискателем. Много раз зароки давал поспокойней найти компаньона – уж больно рисковый был Тоболяк. Но обоих запойно тянула тайга – и это вязало.

А сегодня даже не знал, куда и зачем они едут, почему не взял с собой Михайла собаку.

Закивала зелеными крыльями ель: продрался Тоболяк через чащу – в каждой руке по винтовке.

– Это вот дело… – похвалил Петрович. Вынул затвор, и глаз свой кошачий к стволине приставил: нет ли где ржавчины, часом.

– Орлы мы теперь, Михайла, голой рукой не возьмешь!

Дробно топчут кони отлогий спуск, прыгает на рыси Тоболякова спина. Под обрывом седыми когтями роет река в гранитном корыте. Свернула под кедры дорожка, перебилась колодником. В обнимку запало древесное старичье, трухлеет тихонько в затхлости грибной и тенях.

Гулко вдали загремела собака, другая. Конь зашмыгал внимательным ухом.

Зацепился за кедры длинный лоскут дыма – смолевый и едкий. На поляне, как поп лесной в берестяной рясе, торчит юрта. Из-за дыма, застлавшего траву, идет карагас Николай Тутэй встречать знакомых.

Узнал издалека, и морщинками радости зарябило его лицо. Гортанно сказал:

– Здравствуй, друг. – И мягкую, прямую ладонь тычет Тоболяку…

Желтые свечи заката горят по пихтовым гривам. От этого за горой бледный пожар, от этого крепче молчит потонувшая в вечере тайга, и птичка где-то бойко швыряет бусы стеклянно-звонкой песни.

Жарко бушует костер и дымом кроет поляну. В дымных разрывах видно юрту. Она, как вулкан, светится сверху скрытым огнем, и в глубинах ее поет карагаска.

Петрович спит, а Тутэй и Михайла сидят у огня. Карагас подымает опустевшую бутылку и косыми насечками глаз рассматривает играющее на огне стекло…

– Айда юрту… – приглашает он.

– Нет, там вши…

– Ши!.. радостно хохочет карагас и бросает бутылку. – Там… баба! – откровенно намекает он.

– Сва-их много! На промысле баба… вредная она…

– Вредная, друг, – сейчас же соглашается Тутэй, – через бабу, друг, и ты, и мы все – помер! Все карагасы, все орус, все – помер…

– Это как же?

У Тутэя на бронзе лица белый жгут двойного шрама от виска через лоб до пробора двух скоб смоляных волос. Память медвежьих когтей. Память о Тоболяке, который пулей вызволил друга.

Не спеша отвечает Тутэй, важно отвечает, как всегда, когда говорит о старине:

Тогда у карагасов было много оленей, много мяса. Барбу* шили из соболя, аях** шили из соболя и эзер*** украшали камнями, которые светятся, как луна. По тайге у Большой Воды, тогда жил народ хиндумэй и ездил верхом на ушканах. И этот народ никогда не умирал, потому что знал воду, от которой всегда живут. И вот пришел волк, и был он Аза и ходил в черной шкуре. И начал есть ушканов. И народу хиндумэй не на чем стало ездить верхом на промысел…

У карагасов был молодой охотник и шаман Юнон. Ночью пришел к нем сам Кудай, и был он в белой шубе, и от этого было светло идти Юнону по лесу. Он увидел следы черного волка Аза, пошел за ним и убил его. И не стало у народа хиндумэй пожирателя ушканов, и наступила большая радость. И сказал народ Юнону: вот мы придем к тебе и за то, что ты сделал для нас, дадим тебе воду, от которой живут. И приехал народ в землю Юнона, к юртам его

---

* Мешок.

** Сумка.

*** Оленье седло.

племени. Тут вышли женщины племени и увидели людей таких маленьких, каких мог поднять и возить ушкан. И стали смеяться над ними и говорить:

– Малы они, и скот у них мал…

И осердился тогда народ хиндумай и вылил живую воду на пихты, ели и сосны. И деревья начали жить всегда, а люди помирать. Вот что сделали неразумные женщины!

– Темный ты, друг, – смеется Михайла, – и сказка твоя стара. Едем утром на Большую Воду?

– Большую Воду!

– На остров?..

Тутэй засмеялся, заморгал, закачал головой:

– Плохо на остров… Плохо, вода большая – шшу-у!.. – взмахнул он руками. – Друг потонет, и Тутай потонет…

Встал, озаренный костром, и обвел руками ночь.

– Везде вода… Большая Вода!..

– Ты же ходил туда?..

– Не ходил. Тунгус ходил. Он был шаман. Карагасы туда не ходят.

– Опять – двадцать пять! – досадует Тоболяк.

Срывается каждый раз. Не первая это беседа. А ведь жег лежавший в азяме тяжелый мешочек – аях. И жгла глухая тайна, в туманах спавшая среди озера.

Не первую бутылку самогона привозил он Тутэю и не первую ночь просиживал у костра, со страстной тоской глядя на далекое Белогорье. И в слабости своей признаваясь перед ночью, тайгой и полупьяным карагасом, говорил:

– И раньше туда тянуло… Да все сбивался. Промысел близкий был – пошто невесть куда идти?.. А теперь – душа не терпит… Тутэй, завтра веди на Большую Воду, – сами поедем!

В полуденный час бесконечной тишины и солнечного ликования вышли они к незнакомой речке.

Без тропы, без проходов, скалами и тайгой, по студеным бродам, следом за маленьким коричневым карагасом. Вышли к границе зимами блещущего Белогорья.

Горы, как сытые львы. Величаво бросили на долину тяжкие лапы гранитных отрогов и спят. Спят туманы над ними кудрявыми стайками. Длинный облачный полог срезал вершину и висит неподвижно.

К нему протянул Тутэй свой палец:

– Большая Вода…

Потно горит лицо Михайлы и молодо побелело вокруг синих восхищенных глаз. И лицо у Петровича в жестких переломах улыбки, играет ноздрями и колким усом.

Большая Вода…

– Над озером это туман… – благоговейно говорит Михайла.

И упрямо идут все дальше, все выше. Соболиным царством проходят по серым распадам каменных груд, по острым угольникам скал, грузных и шатких, гулко звенящих. Обрывается глыба – с хрупом и с хряском, с тяжкими охами переливается по уступам и быстрей, вприскочку, черной бомбой мелькает по скату, и бежит за ней каменный топот, и свистящим шумом гудят вдогонку утесы…

И выше, оленьим царством, проходят. Здесь пьянящие дали, прохлада и ясность. Здесь ленивы горы. Полого всколыхнулись увалами, испятнились мазками снега. Здесь выстрел хохочет, как гром Эрлик-хана, а в круглые чаши порфира пали из неба лазурные диски озер и тоскуют по невозвратно покинутой выси…

Под ногами захлюпали лужи, скрытые мхом. Развалилось долиной нагорье. Вправо и влево ушли недоступные купола. Каменьдикарь прорвал моховые шелка, точно зубы гнилые кажет подземное чудище.

Останавливается Тутэй у черных зубьев, развязывает кисет. Бормоча непонятные наговоры, достает щепоть табаку и бросает на землю. Стоит с бесстрастным лицом, обратившись к широко раздавшимся впереди тростникам.

Машинально снимает картуз суеверный Петрович, и Михайла, не глядя, опускает руку на шерсть приласкавшейся карагасской собаки.

Большая Вода…

Жаром пышет золотой песок в черном донце Михайловой шапки.

Тутэй на корточках курит кривую трубку, а у Петровича рот открылся и глаза поглупели.

– Это вот погляди, – усмехнулся Тоболяк, лукавый фокусник, и вывертывает мешочек-аях. Тяжелые самородки вываливаются на золотой песок, важные, уверенные в своей драгоценности.

– Да… Михайла, – не верит Петрович, – откуда это?

– Вот оттуда, парень, – рукой на тростник, – с озера, голова!..

И добавляет в тихом торжестве:

– Даром, што ли, к Большой Воде мы перлись?..

Петрович испуган. Неуверенно пальцы берут самородок. Душа его поймана, как лисица. Он еще побьется, потрепещет, но уже не изменит своей судьбы.

– Едем?! – пришибает вопрос.

Цокают губы, слов нужных ищут, и вдруг оправдывается плаксиво:

– Что делать-то будешь? От нужды куда девашься…

И ломает себя шутовским, удалым и горьким смехом.

– Поеду, Михайла! Где наша не пропадала… Дома-то самовар один, да и тот без задницы!

У воды, как длинные желтобрюхие рыбы, выползи на берег две тунгусские берестяные лодки. Это Тутэй нашел их здесь на старом, давно покинутом тунгусами стане. Это он заклеил их смолой и исправил. Потому что сам ловил тут рыбу, потому что друг Михайла, спасший его от медведя, просил об этом, подаривши пачку патронов к берданке. И саму берданку, короткую и точную винтовку, подарил ему также Михайла. За то, что Тутэй отдал ему аях с золотыми кусочками и рассказал про остров, на котором растут золотые камни, охраняемые шайтаном.

А тот тунгус, старик и шаман, который жил когда-то у озера, теперь уже умер, и душа его, наверное, поселилась на острове, с которого он привез когда-то красивые блестки.

Потому-то Тутэй ни за что не хотел поехать на страшное место. Но он проводит, насколько можно, и вчера всю ночь объяснял Михайле водяную дорогу…

Долгая лодка и емкая. Но когда уместились в ней Тоболяк и Петрович, то села глубоко, и только обруч борта загораживал от воды.

Не впервой… Разве не они прошлый год спустились кипящими порогами Мархоя?

Тутэй впереди, на вертком обласке, ловко вплывает в камышовую стену. Провожает сзади тоскливый вой привязанной собаки.

Тоболяк сейчас весел, глаз по-цыгански сощурил, говорит с прибаутками и следом вслед за карагасом правит. Петрович на носу, с двухлопастным веслом на всякий случай.

Выплыла лодка в широкий, стеклянно-неподвижный полой, и стая уток, плеща крыльями, снялась с середины.

– Дробовик не захватили, – пожалел Петрович, – а из винтовки кого убьешь!..

Опять в камыше: узкой и извилистой щелью плывут из прогала в прогал. То протискиваясь в шелестящем цепляющем тростнике, то опять выплывая в пространные окна полоев.

Тутэй режет воду одному ему известными путями. Кружит обходами и проталкивается через заросли. Петрович давно потерял надежду понять, а Михайла вдумчиво примечает, распутывает, запоминает, сверяет с компасом. То и дело взлетают свечами матерые крякающие утки.

Кто забрался на их заповедное озеро, кто тревожит из века безлюдные заросли? Люди плывут и молчат.

У Михайлы думы дольше лодки, дольше острова даже. У него спирает дух от жгучей мысли о возвращении, о мире, которому скажет он:

– Вот, ребята, берите, всем хватит!

А Петрович глядит на синюю ясность веселого неба, и самому ему делается безотчетно весело. И скорей бы только добраться до этого острова – поглядели бы они, какой там шайтан на золоте дрыхнет…

Сейчас он шибко верит в могучую силу товарища, и в трехлинейку, и в безоблачный фарт счастливого дня.

Налилась полно и упруго зеленой, холодной рекой аллея меж стен сомкнувшихся тростников. Таинственно-четок теперь ведущий путь, и бесшумно скользят их лодки.

– Вода-то, гляди, какая пошла… Зеленущая! – замечает Петрович.

Что на воду Михайле глядеть, изгорелся от острого нетерпения!

И сразу, будто крылами, распахнул камыш, и до края, куда хватало только глаз, загустела стеклянная, темная синь…

– Море!.. – крикнул Тоболяк.

А Тутэй, повертывая круто лодку, с ожиданием повторил свое:

– Большая Вода… – и придавил: – на ночь держи, друг, на ночь… Прощай, друг! – неожиданно выкликнул он и ударил веслом…

– Трогай, Петрович, трогай, милый!

Замахали в две лопашни. Стремительно врезалась лодка в синюю неизвестность, и пухлые струи с говорливым шумом побежали вдоль борта.

В празднике осени, великолепном и блещущем, грелось озеро, и таяла тень тревоги, шевельнувшаяся у Петровича при отъезде Тутэя. В молчании и в плеске уходили часы. В туман отступил далекий тростник и пропал. Тогда, скорлупой на стекле, обнаженный и желтый, всплыл перед ними пустынный остров…

Уже восьмая промывка, а все нет ничего. Уже вечереть собирается, и пар идет от воды, и руки стынут в холоде родника.

Ткнулся Петрович, цапнул из русла черные кубики.

– Да-ешь… – азартно узнал он, – пешка!..

Котелком зачерпнул, мыл, мыл – мелкая металлическая черная пыльца в посуде осталась.

– Шлих! – радостно ахнул он и забыл об усталости, о голоде, об озере, обо все мире.

Когда же в промытом песке засверкали крупинки, вскочил и беспокойно оглянулся.

На версту растянулся остров плоской и лысой грядью. Там, на конце, не видно его за пригорком, работает Михайла.

Вскочил посмотреть – не заметил ли Тоболяк его радости, удачи его счастливой.

Он там, может быть, спит, прохлаждается, а Петровичу здесь спину гнуть да руки морозить. А ведь доли потребует одинаковой!

Нет, не видит.

И снова нагнулся к ручью.

Тоболяк нашел золото сразу, почти что в первой пробе. И сразу же появилось такое чувство, будто дня ему не хватит. Отметив находку, он рысью перебежал на другую гривку, попробовал там – опять золотой песок.

И тепло подумал о Тутэе:

– Трехлинейку ему подарю свою. …

Обшаривал мыс, вдавшийся в озеро. Много нужно было золота ему, так много, чтобы, придя, сказать:

– Вот какой Тоболяк… Пользуйтесь, граждане!

Белый кварц выступил из пригорка. Струистыми трещинами источились глыбы, и средь жирного блеска камня опять закололи золотые искры.

– Мать чесная! Что же это… – в растерянном упоении восклицал Тоболяк. – И тут!..

Схватил кайлу и начал бить по кварцу.

По воде отчетливо докатился удар, и Петрович поднял распаренное лицо. Он уже грубо намыл горсть тяжелого песку и каждую новую порцию прятал прямо в карман, отчего штаны промокли насквозь и было холодно телу. Отдавались удары ровные, частые, сильные. В самом темпе их была уверенная удача, не разведка, не поиск, а настоящая работа.

«Язви!.. На рудное наскочил, – догадался Петрович. И такая заела обида, что жила вздулась на лбу от прилившей крови. Глаза воровато ошарили землю и зажглись на прикладе винтовки.

Жмурясь, тряхнул головой и застыл в тупом столбняке…

– Пи-пи!.. Пи-и!.. – пронзительно и тоскливо завопил за спиною голос.

Затрясшись, в испуге вскочил Петрович. На камне сидела желна и дразнилась блестящим глазом.

– У-ух, проклятая!.. – еле взмахнул он руками – так сразу ослабли мышцы. Птица юркнула в кусты, а Петрович тревожно заметил закат. В муть и в мглу поникал багровый глобус солнца, и безучастно ждала чего-то вода.

Крохотным показался себе Петрович и голым под высоким взвившимся над ним небом и от этого оробел и притих.

Отрываясь от скал, опять зазвучали удары кайлы.

Застрадал Петрович, заметался и решил неожиданно:

– Ехать надо, и баста! Хорошего не дождешься…

Но знал, что пустым Тоболяк не уедет. Поэтому обозлился, захотел подбежать к Михайле и крикнуть:

– Сволочь, буржуй толстомордый! Зарылся в золотище свое… Желна орет к непогоде, солнце на ветер садится, а он и не чует… На погибель меня сюда затащил?.. Бросай все к черту – вертаться надо!..

Думал так, а сделать не смел. И за стыд свой, за страх, за бессилье – еще сильнее ненавидел Тоболяка.

Холодно…

А через кого однорядку* свою позабыл, когда привязывал собаку там, за камышами?.. Этот все торопил!..

Вспомнил и зло повеселел. Погоди!.. Положил лопату, отряхнулся, поглядел. И невинно пошел на табор.

Живо, не раздумывая, выволок из-под лодки мешок сухарей, развязал, отсыпал в суму на сегодняшний ужин. Засунул в мешок тяжелый камень, озираясь, тащил к обрыву.

Бултыхнула шумно вода, и мешок исчез.

А Петрович, согнувшись, как дергач в травнике, побежал обратно.

Нагребал в котелок песок, торопился отмыть и снова черпал – лишь бы больше, больше успеть до ночи… Злорадно и успокоено между делом думал:

– Другим тебя не отманишь… А тут – небось. Уедешь, как жрать-то нечего станет. Забыл мешок! Я вот однорядку свою и то позабыл… Что ты, язви тебя, – горячо оправдывался он, воображая, – что я, враг себе, што ли, – нарочно оставить?!

Путных дров не достали, на прутьях сварили чай. Михайла даже охрип от своих рассказов.

---

* Однорядка – долгополый кафтан.

Так, для порядку выпил чашку. Какой тут, к лешему, ужин, когда такое богатство нашли!

Петрович вторил, а больше сокрушался о позабытых сухарях.

– Да брось ты скулить… Хрен ли в них, в сухарях-то этих? Зимовать мы тут будем?.. Утром поедем да артель соберем, да такое дело откроем…

Петрович не слушал, смотрел на север, на небо. И сказал, как сумел, равнодушно:

– Глянь-ка, Михайла, будто морок хочет собираться?

– Похоже на это… – зевнул Тоболяк и, закурив от костра, развалился, добродушный и широкоплечий.

– Спать давай…

«Дьявол ты, дьявол…» – подумал Петрович и молча свернулся.

Громовой удар и холодный ливень. Вскочили оба и враз отрезвели от сна.

«Под лодку!..» – вспомнил Тоболяк, удерживая шапку.

Ахнуло молотом в мрачное зеркало неба, и слепящее мигнула ночь. Запомнилось – остров, как горбик, и кругом белесые языки… Прижались под лодкой, а дождь дробно хлещет в бересту.

– Держись за землю да лодку держи – сорвет!

– Держу-у, – без мыслей отзывается Петрович и жмется к траве.

Шквал пронесся, остались дождь и тьма и близкие шумные всплески.

Отошел и Петрович: крыша не улетает, значит, не так уж плохо. Даже насчет Ильи-пророка сзубоскалил:

– Чаю он с вечера, видно, обпился.

– Ага, – охотно соглашается Тоболяк, – сверху-то ему удобно! В тебя наметил…

День проходит в дожде и буре. Облака, бесконечные свитки серых лохмотьев, катятся – расстилаются. Низко и плоско кроют ревущее озеро. Пробор за проборами, длинными грядами чешет ветер пенную ширь.

Треплет, валит траву, свистит вдоль ушей.

В дыме брызг и тумана качаются белые копны. Сотни ладоней выплескиваются из глубин, на тысячи манер хватают, цапают, закидывают слепые лапы. А в версте от острова – хоровод взбесившихся чудищ: пляшут, ныряют, желтые от разболтанной грязи, и пьяно бушуют снежными гривами…

Там мель, там гибель.

Тоскует Петрович. Тоболяк с удивленным любопытством смотрит на бурю. – Эт-то… да! Крепко берет…

– Михайла… А Михайла? Когда ж уедем-то?

И сам боится: а ну-ка ляпнет – сейчас!

– Теперь и на доброй посудине не уедешь! А пошто мы на ветре торчим? Айда-ка работать, там тише…

Все верно. Все-таки правильный мужик Тоболяк!

И опять ковыряет Петрович лопатой, возится с промывкой. Золотины – чаще вчерашнего. Но сейчас ему золото – как больному обед. Скучное стало золото.

С визгом проносится ветер, волны хватают по берегу – отдаются удары в почве. Всякий раз Петрович робко моргает и плотнее пытается застегнуть на груди свою куртку. Потом швыряет лопатку и плетется к Михайле – все-таки не один.

Тот камней надробил – бело от острых, кварцевых осколков. Скинул азям – лупит кайлой до огненных брызг… Жилу ищет.

Кругом мокро, со всех сторон скатился на остров холод… А известно, озябнешь – раззадоришься есть.

– Не замерзнуть бы, Михайла?..

– Раньше смерти не помрем! Бери лопату – грейся…

Отгребал. Сперва, как поденщик – о другом все думалось. Но холод жег, заставлял быть проворным. Расселась в скале змеистая трещина, обросла хрусталями.

Указал Тоболяк:

– В этакой вот вчера самородки нашел…

Стало занятно. Поднял кайлу, клюнул раз, другой. С пылью, с оскребками отлетели камни, и рот раскрыла дыра в пустоту.

– Ага, – бодрит Михайла. – дуй ее, дуй! Беспременно пещера…

Посыпается азарт, яснит в голове, а потом опять все тухнет в позыве голода.

На обед повытрясли из мешков хлебные крошки, прибавили остаток масла и сварили сухарницу. Едва смогли разжечь костерок – чахленький – только пальцы согреешь. Охапку прутьев оставили к ночи – спрятали под лодкой. Поели все, что было, и как будто насытились.

– Должно же к ночи утихнуть! – досадливо рассуждает Михайла, а ветер сыплет в лицо ему дождевую пыль и толкает от берега.

Раздолбил Петрович большую дыру – рука по плечо залезет и глянуть можно. Спичку зажжешь – засияют внутри висящие хрустали. Вспыхнут огнями зелеными, красными, голубыми. Никогда не видел такого.

И Михайла не видел.

– Давай-ка вдвоем, однако, там жила…

– А что нам жила твоя? – вдруг серьезно спрашивает Петрович.

Тоболяк на полувзмахе кайлу задержал, медленно опустил, смотрит – ждет. Петрович улыбался смущено, но кончил твердо:

– Нешто на дно мы ее унесем? Слышь, как играет. Все пуще! Это, браток, на неделю ненастье… – И прибавил, глядя на землю, глухо: – Через это теперь пропадем… И еще… через…

– Что ты, парень, сдичал? – отшатнулся Тоболяк.

Петрович смеется:

– Увидим, что будет… Ты мне, все-таки, объясни, для кого мы жилу эту будем стараться?..

– Во-он о чем! Да кто хочет, тот и придет. Всем она на пользу.

– Из-за всех и работать?

– А что же, на пузе лежать?

Покрутил головой Петрович, взялся за кайлу.

Перед утром притихло.

Иззябли под лодкой. Выходили побегать, потопать, разогреться. Больше не шлепают волны в песок, не воет надрывно ветер.

– Сват ты мой, голубые пятки, – трясет товарища Тоболяк, – к утру билет запасай – Москва – Казань, второй звонок!

Раскурили по-братски предпоследнюю цигарку. А со светом проснулась буря и в хмурые лохмы скатала воду.

С винтовкой бродит по берегу Тоболяк – ночью крякали где-то утки. «Хоть бы што-нибудь пофартило, – гадает он, – тоска на пустое-то брюхо!»

Вымер остров, только на отмели прыгала желтая плиска. Равнодушно прошел, а потом вернулся, подобрался к птичке и выстрелил. Промахом вскинула пуля песок, плиска перепорхнула и тут же села.

Стыдно стало стрелять второй раз и смешно, что Петрович так прытко кинулся к нему на выстрел.

День работали здорово, молча. Точно забыться в работе хотели.

Выколупывал из трещин Петрович желтую проволоку. Любовался фигурными узорами – старый был приискатель.

– Так за всех, говоришь, стараемся, Тоболяк? Правильно это ты! Никому, кроме всех, забота наша не надобна…

– Не теперь, так зимой найдут, – убежден Тоболяк, – карагасы расскажут.

– Может, Михайла, и страдаем за всех?

И, подумав, добавляет:

– Не зря было бы. Отстрадались одни – и с кона долой! А другие – живи хорошо…

– Может, и так, – всерьез соглашается Михайла.

Ночь проходит, и опять перед зарею тихнет ветер.

К заре обратившись, стоит на коленях Петрович и молится вслух несвязной и древней молитвой:

– Господи, боже наш!.. Сил повелитель – не преткнешь ноги своей о камень… Победивши аспида-василиска, спаси меня, господи, от темной ночи, от беса полуденного, от стрелы летящей и злого, лихого человека спаси, сохрани меня, боже!

Плача и всхлипывая, подходит к Тболяку, уныло сидящему на лодке, и признается:

– Михайла… лихой я человек. Ведь я сухари утопил. Не хотел тебе золота дать и потрусил. Убей меня, Михайла, из винтовки.

– Ну-ну… – сказал Тоболяк, – дурачок! Сухарь бы нам вот как сейчас сгодился…

Темнота промокает рдяным пятнами, бродит восход за шкурами туч, и тысячной птичьей стаей оживает в туманах буря.

Жесткий корень поел Петрович и плевался:

– Невкусный он, Михайла, горький…

Шел пить и терял трясущейся ладонью воду. Пили часто.

Часы просмотрел Тоболяк на волны, пока глаза не потускнели.

За эти часы две морщины ко лбу припали, так и не разошлись.

– Камень ты, а скажешь, – приговаривал Петрович и с натугой выбивает в утесе надпись. Только тяжелая стала кайла, ох, тяжелая!

Окончив, садится-валится на щебень и удовлетворенно читает: «Здесь жила. Пошла на полдни».

Теперь понимающий разберется, куда девалась жила.

А потом, шатаясь, роняя кайлу из слабой руки, долго трудился и прибавил:

«Нашли для всех Тоболяк Мишка да Мартьянов».

Ниже поставил: «Петорович». И очень довольный улыбнулся. Позже пришел Михайла и одобрил:

– Ладно сработал… Дельно.

А пока Петрович с любопытством привыкал к тому новому, что принес на лице своем Тоболяк, тот говорил:

– Бросай занятия, парень. Силу не трать. И так у нас с тобой ее, как у курицы… А утром поедем – опять работа.

– Понятно, поедем, – ответил Петрович и, морщась, подымался: – Спину-то… и не потянешь!

Последнюю ночь сидели у яркого пламени и слушали, как в котле закипала вода. Перед этим разбили приклады винтовок и ручки ненужных теперь инструментов. Промокшими прутьями и тряпьем добавили костер. Сжигали все, сушились и грелись.

Днем на песке в желтоватых шапках прибитой пены нашел Тоболяк две выброшенные рыбешки. Маленькие плотвички.

Подержал перед ртом – с рукой бы съел! Потом отряхнулся и спрятал находку. И с собой целый день проносил и весь день о рыбе помнил. Сейчас опустил в котел и заправил оставшейся солью. Распялил над дымом большую ладонь и мигнул по-цыгански – хитро:

– Обманем брюхо!..

– Жисть… – шепотом отшутился ослабевший Петрович.

Тихо. Озеро не грохочет. Приходят из ночи волны и кладут покорные головы на песок. Шуршат и вздыхают.

Тоболяк затянул мешками лодочный нос и теперь укрепляет коробку с горящим трутом – фонарь. Чтобы видеть компас.

– Я сейчас, Михайла… – срывается у Петровича. Бежит на стан, – усталости нет. На таборе одиноко моргает куча углей. Доживают.

Кладет Петрович на камень мешочек с промытым золотом, прикрывает плиткой. Чтобы ветер не разбросал. И назад возвращается легкий, осветленный.

– Отчаливай!..

Подпрыгнула лодка, умылась водой, набежали кругом шумливые разговоры…

– Прощай, наш табор, спасибо тебе, – прощается Тоболяк.

Ночь вверху пустая и снизу ночь – тяжелая, скользкая. Одинаково черны. А промеж – качается берестяная зыбка.

«Плеск-плеск!» – сильно работает на корме Тоболяк. Нажимает, гонит.

Упруго подкинуло – в мокрое шлепнула лодка, и опять:

«Плеск-плеск…»

Оглянулся Петрович – остров ушел. Хотел посмотреть отблеск костра – и он ушел. Так-то лучше.

– Эй, поддерживай!..

Петрович хватает весло. Ловит такт, считает вслух «левым! правым!».

И, свыкаясь, ровно «раз! два!»

Как масло вода, и чугунный блеск у нее откуда-то снизу. Мотнуло. Шумно рыскнуло по борту, окропило лицо.

Строгий окрик:

– Вразрез держи!..

Озлился Петрович:

– Дьявола тут увидишь… – и мстительно вспарывает воду веслом.

– Вре-ешь, доедем, – упрямо смеется Михайла.

Тепло от слов этих, и душа от них крепчает. И сам, в суровую злобу замыкаясь, искренне ненавидит и тьму и волны. К простому себя старался свести: нужно – греби! Зальет – черпай!

Ночь бледнеет, линяет небо. Со свистом картечи над лодкой проносится первый ветер.

– Попутчик! – кричит Тоболяк.

Петровичу жарко. Гнется спиной, как стальной пружиной. Гребет.

Рассвело. Широко бунтуют пузатые горы, зеленые, гладкие. Сторонами взлетают – дают дорогу.

– Смотри, смотри!..

Перед носом бугор вскипает шипящей короной. Дыбом лодка – качелями взносит высоко наверх…

С волны, как с холма – и кипящая пенными срывами ширь, и неясная лента далекого берега.

И сейчас же, в грохоте, в брызгах, – стремглав, в провал! Глаза смыкаются… Поддало снизу – вынесло.

– Берег! – кричит Петрович..

– Песню! – отзывается Тоболяк.

Из-за острова на стрежень!

Дождь или брызги? Один черт! Все равно…

На простор большой волны!

Подходит большая волна.

– Бей! Сволочь!..

Каскадами рушится гребень, кроет лодку молочной пеной. Зеленая муть, потом желтая, потом совсем темно…

Завертелся в холодной черной воронке Петрович – все ниже, все глубже. Забил руками, ногами и стало опять светлей, и понял, что тонет.

И сразу, будто колпак стеклянный над ним сорвали, вынырнул на волну, на свет, на воздух.

Рядом вверх дном всплывает лодка.

Мертвой хваткой цапнули руки, обняли дно. Держит.

Тогда испуганно догадался, что он один. Задыхаясь в стенах воды, крикнул:

– Миша!.. – И попробовал оглянуться…

Темен Тутэй. Не прочтешь его чувств в раскосых глазах. Молча стоит.. Рядом, на мху, врастяжку разлегся Петрович – лепечет неслышно и часто.

В тростниках случайно наехал Тутэйьна на лодку, на тело.

И тогда бормотал Петрович, и сейчас еще не кончается его долгий беззвучный лепет.

Но Тутэй все знает. Он много жил и мудр. Видит он, как улыбкой светится заостренное и уже сереющее лицо, и знает, что в трудной дороге сейчас душа человека.

Сейчас восходит она на крутую и гладкую голубую скалу, и раскинется перед нею потом безбрежный песок. И волос, как мост, протянется через огненную реку, и озеро слез, и озеро радостей откроются перед нею.

А в конце дороги будет жилище Кудая, где находят приют утомленные охотники…

У ИСТОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ СОВЕТСКОЙ СИБИРИ

(Лидия Николаевна Сейфуллина)

Прозаик Лидия Николаевна Сейфуллина родилась 22 марта (3 апреля по новому стилю) 1889 года в поселке Варламово Оренбургской губернии, в семье сельского священника.

Училась в церковно-приходской школе, потом в епархиальном училище и гимназии. Рано начала самостоятельную трудовую жизнь. Учительствовала, сотрудничала в газетах, играла в любительских спектаклях и даже качестве профессиональной актрисы несколько сезонов ездила с гастролями по России. Обе революции 1917 года встретила в сельской школе, где снова работала учительницей. А после Октябрьской много занималась культурно-просветительской деятельностью в советских учреждениях, ликвидацией детской беспризорности. Окончила Высшие педагогические курсы в Москве, после которых переехала сначала в Челябинск, а в 1921 году – в Новониколаевск, где работала в «Сибгосиздате». С появлением в марте 1922 года журнала «Сибирские огни» стала его первым ответственным секретарем». В 1923 году Л. Сейфуллина переехала жить вместе с мужем В. Правдухиным в Москву. Работала в отделе прозы журнала «Молодая гвардия», а с конца 1920-х – в журнале «30 дней». Первые повести Л. Сейфуллиной «Четыре главы» и «Правонарушители» были опубликованы в журнале «Сибирские огни». А уже в 1925 году вышло ее первое собрание сочинений.

Умерла 25 апреля 1954 года в Москве.

Первые шаги литературы советской Сибири прочно ассоциируются с именем Лидии Николаевны Сейфуллиной.

В литературу она ворвалась триумфально. «Трудно представить себе сейчас, как она была знаменита! Какие вызывала ожесточенные споры… Но все сходились на одном – талант!» – вспоминал И. Андронников. В. Зазубрин в статье «Литературная пушнина» тоже отмечал: «Всеволод Иванов и Лидия Сейфуллина занимают сейчас в русской литературе одно из первых мест». И произведения Лидии Сейфуллиной в 1920 – 1930-х годах были действительно у всех на устах.

Начало творческого становления Л. Сейфуллиной неразрывно связано с журналом «Сибирские огни», активным автором которого она становится с первых же его шагов. Повесть «Четыре главы», с которой она дебютировала в самом первом номере журнала, явилась живым откликом Л. Сейфуллиной на горячие предреволюционные события. Для современного читателя это произведение преимущественно историческое и познавательное. Но, безусловно, и высокохудожественное, отличающееся большой плотностью событий, емкими красочными образами, глубокими психологическими характеристиками и своей особой стилистикой. Произведения Л. Сейфуллиной вообще подчас напоминают сочные и афористичные тезисы к будущим романам. Тем не менее, перед нами вещи художественно вполне законченные и состоявшиеся.

Вслед за первой повестью Л. Сейфуллина в том же, 1922 году на одном дыхании пишет в очередной номер «Сибирских огней» новую вещь – повесть «Правонарушители», в центре которой беспризорные дети, жертвы гражданской войны.

Для России 1920-х годов беспризорничество было подлинным бедствием. Естественно, что тема эта волновала и многих писателей тех лет. Нашла она свое отражение в произведениях А. Макаренко, А. Неверова, Л. Пантелеева и Г. Белых, В. Шишкова и др. Но одной из первых обратилась к ней именно Л. Сейфуллина. А поскольку писательница сама в свое время немало работала с беспризорными (есть документальные свидетельства реального существования изображенной в повести детской колонии и прототипов персонажей), то и проблему она знала, что называется, изнутри.

Повесть «Правонарушители» ценна, однако, не только глубокой правдивостью, но и ярко выраженным гуманистическим пафосом. Л. Сейфуллина» выступила не просто талантливым бытописателем, но и человеком, глубоко переживавшим трагедию беспризорничества, чувствовавшим себя лично ответственным за судьбы попавших в беду детей (бог не дал ей собственных, тем сильнее она любила других детей), чем вызывала у читателя ответную тревогу за будущее подрастающего поколения.

Повесть «Правонарушители» вызвала громадный интерес. И не только чисто литературный. Сразу после выхода в журнале она была издана отдельной книжкой небывалым по тем временам тиражом в 15 тысяч экземпляров и рассылалась по школам Сибири в качестве методического пособия.

Повесть «Перегной», увидевший свет в «Огнях» все в том же урожайном для Л. Сейфуллиной 1922 год, несмотря на небольшой объем, – произведение эпическое и о событиях эпических. Пристальное внимание автора устремлено уже не столько к отдельной человеческой личности, сколько к многолюдной массе, через которую писательница стремится постичь суть происходящей в российской деревне революционной ломки. Впрочем, эпичность не исключает у Л. Сейфуллиной тонкого психологического анализа и точных глубоких характеристик отдельных персонажей В повести «Перегной» писательница убедительно показала, в каких тяжелых борениях обретала деревня новую, несвойственную ей жизнь. И не случайно М. Шолохов говорил: «Мы не должны забывать «Перегной» Сейфуллиной. Она первая нарисовала деревню в переломный момент, в момент революции… Я неоднократно перечитывал «Перегной»… Это классика».

В «Виринее» (повесть уже в Москве опубликует журнал «Красная новь») Л. Сейфуллина возвращается к теме, намеченной еще в «Четырех главах» и всегда волновавшей ее, – пути простой русской женщины в революцию. На сей раз писательница сосредоточивает внимание уже не на массе, а на личности красивой, но и гордой кержачки Виринеи. Это самостоятельная, цельная и сильная натура. Она открыто бунтует против сложившихся в деревне нравов. Правда, бунт ее стихиен, прямолинеен, на революционерку она мало похожа, однако активное отношение к жизни, неприятие лжи, фальши, свободолюбие и самостоятельность резко выделяют Виринею из круга односельчан. Этой незаурядной натуре по-настоящему не дано было раскрыться и развернуться – она погибает от рук врагов революции, но уже самим фактом своего существования еще раз доказывает, что «есть женщины в русских селеньях», способные на большие дела.

Образ Виринеи стал подлинным художественным открытием Л. Сейфуллиной, что, кстати, и отметил в свое время Д. Фурманов. Высоко отзывался о ней и маршал Блюхер, который и «Перегной» назвал «одной из лучших книг о деревне в дни становления советской власти».

Перу Л. Сейфуллиной принадлежат еще две крупные вещи: повесть «Каин-кабак» и роман «Путники», так и оставшийся незаконченным.

В повести «Каин-кабак» речь идет о человеке, принимавшем активное участие в качестве партизанского командира в революционных событиях, но, как и многие твердокаменные большевики, совершенно не понявшем смысла новой экономической политики России.

В романе «Путники» Л. Сейфуллина взялась за новую для себя и всей молодой советской литературы тему «интеллигенция и революция», но точного художественного решения в силу многих причин не нашла. Возможно, потому роман так и остался не завершенным...

Творческий багаж Л. Сейфуллиной по объему, в общем-то, невелик. Наверное, она могла бы написать значительно больше. Даже Горький поругивал ее за это. Главная же причина этой «скупости» заключалась в том, что Сейфуллина никогда не писала и не желала писать «в угоду тенденции» (В. Зазубрин).

«Самое главное – быть в своем творчестве искренней и правдивой, тогда тебе поверят и будут читать твою книгу», – говорила Л. Сейфуллина, и слова эти можно считать творческим и нравственным кредо писательницы, которому она неукоснительно следовала всю жизнь.

Более тридцати лет отдала Лидия Сейфуллина литературе. Судьба людей на революционном переломе стала главной темой ее произведений – этих чистейшей воды литературных бриллиантов, в которых многими гранями сверкает талант Л. Сейфуллиной.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Л. Сейфуллиной:

Собрание сочинений в 4 т. – М., 1968 – 1969.
Сейфуллина Лидия. Повести. – М., 1984.

О Л. Сейфуллиной:

Яновский Н. Лидия Сейфуллина. – М., 1959.
Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.
Сейфуллина Лидия Николаевна. // Русские писатели. XX век. Биобиблиографический словарь в 2 т. – М., 1998. Т. 2.

Лидия СЕЙФУЛЛИНА

ПРАВОНАРУШИТЕЛИ

(Отрывок из повести)

…После ночной отсидки опять в наробраз повели. Партию в пятнадцать человек три милиционера провожали. Старший всю дорогу кашлял, плевался и ребят отчитывал:

– Ну, какие из вас человеки вырастут, как вы сызмальства под конвоем? Навоз вы, одно слово! И на что вас рожали? Тьфу. Ну, ты голомазый, не веньгай! Без тибе тошно.

А башкиренок косоглазый не понимал по-русски. Визжал и бежать хотел. Рябоватый милиционер ему винтовкой погрозил, потом за длинную рубаху взял и за нее за собой тащил. Тюбетейка в грязь упала Старший поднял и набекрень ему нахлобучил. А башкиренок рвался в сторону и кричал. Неподвижным оставалось скуластое желтое личико, крик был скрипучий, но монотонный.

– Ига кайттырга ты-лэ-эм (домой хочу)!

Ворчал старший в ответ:

– Катырга, катырга… Знамо, каторга. И вам, и нам с вами. А ты не скрыпи! Коли тибе жизня определила каторгу, скрыпи не скрыпи – толк один. Навоз, как есть навоз! Не скули!

А башкиренок скулил. Проходящие на ребят оглядывались. Седой господин с воротником и в нынешний теплый день поднятым, остановился. Головой покачал и громко сказал:

– Безобразие! Детей с винтовками провожают. Били, верно, малайку-то?

Старший к нему дернулся:

– А жалостливый, дык возьми к себе! Кажный день таскаем. Жалеете, а кормить не жалаете?

Господин возмущался. Дети дальше брели.

В наробразе, известно, в комнату по делам несовершеннолетних А там уж на полу сидят. Старенький делопроизводитель в бумагах заплутался. Мается и листочки со стола на пол роняет. Барышня с челкой завитой в шкафу роется. Другая, постарше, со стеклышками на носу, шнурочек со стеклышек теребит и сердится.

– В губисполком всех отправляю. Куда хотят, пусть девают! Что это…

А в дверь еще с ребятами. Всякими. И в казенной одежде, и в одном белье, и в ремушках разных.

В приемник Гришкину партию отправили. Там сказали:

– Некуда. Не примем.

Назад привели. Старший сопровождающий плюнул и ушел. Двое других цигарки завернули на пол на корточки присели отдохнуть. Гришку замутило. И от голода, и от воздуха в комнате тяжелого. А больше от тоски. На пол сел, мутными глазами в потолок уставился, крепко губы сжал. Лицо стало скорбным и старым. А в комнату бритый, долгоносый, с губами тонкими вошел. На голове, острой к верху, кепка приплюснута была на самые глаза. Ступал твердо. Точно каждым шагом землю вдавливал. И башмаки, чисто лапы звериные, вытоптались. Как вошел, на стул плюхнулся. И стул тоже в пол вдавил.

– Што? Навертываете? Все с бумажечками, с бумажечками? В печку все эти бумажки надо. А ты, башкур-дистан, чего воешь? Автономию просишь?

Глаза узкие щурил и тонкие губы кривил. Над всем смеялся. Как говорил, руки все тер ладонями одна о другую, ежился, ноги до колен руками разглаживал Весь треыхался. Смирно ни минуты не сидел. Каждый сустав у него точно ходу просил. Дела.

– Подождите, товарищ Мартынов, – затянула жалостливо старшая барышня. – Всегда в с шумом. Вот голова кругом идет. Куда их девать?

– Сортиры чистить, землю рыть… Куда? Место найдется. Эй ты, арба башкирская. Долго еще проскрипишь?

И похоже передразнил:

– И гы-гы-гы…

У башкиренка глаза высохли. Губы в усмешку растянулись. И скрип свой прекратил.

– Ну, так, барышня, как? Все бумажечки, бумажечки. По инструкции, с анкеточками?

И опять ладони одна о другую.

– Десять этих барахольщиков я у вас возьму. Десять могу.

– А вот и хорошо, товарищ Мартынов, – обрадовалась старшая. – Мы вам сейчас отберем. Тут есть такие, у которых дела уж рассмотрены.

– Я сам отберу. У меня своя анкета.

И к ребятам со стула повернулся. На белобрысого высокого мальчишку взглядом уперся.

– Эй, белесый! Воровать хорошо умеешь?

Тот скраснел и затормошился.

– Меня занапрасну забрали. Это Федька Пятков украл, а я…

– Врать хорошо умеешь. А драться любишь? Врукопашную или с ножиком?

– Нет, я не дерусь.

– Не дерешься? Дурак. А ты што позеленел?

Это Гришке он.

Гришка глянул, как он на стуле вертелся и руки одна об другую скоро, скоро шваркал, и засмеялся.Вспомнил:

«Обезьянку эдакую беспокойную в зверинце видал. Похоже. И руки дляинные, и мордой чисто дразнится».

– Что смешно? Рожа-то что у тебя зеленая?

Гришка носом шмыгнул в ответ:

– Позеленеешь. Не пимши, не емши с утра тут!

– Не привык разве без еды?

– Привыкашь, привыкашь, а все брюхо ноет

– Из тюрьмы, что ль, бежал?

– Какая тюрьма? Я малолетний. Из монастыря бежал.

– Пострижку уже делали? Это, друг, у них не монастырь, а меди-копе-да-го-гический городок зовется. Сукины дети – придумают. Што же ты бежал?

– А так. Неохота там.

Старшая барышня ученые глаза сделала и сказала:

– Дефективный. Очевидно, категория – бродяжников.

– Вот и под пункт тебя подвели. Умные! А звать тебя как?

– Песков Григорий.

– Ага. Ну, так, Григорий Песков. В тюрьме, говоришь, не сидел?

– Как не сидеть! Сидел. Сколь раз. А только как теперь не полагается. Малолетних правонарушителев устроили.

Захохотал негромко, нутром, и лицо человеческое стало – не обезьянье.

– Слышите, товариш Шидловская, правонарушителев устроили? Ха-ха-ха. Сортиры чистить будешь?

– Дух от них нехороший. А надо, так буду.

– Ну, ладно. Со мной поедешь.

– Куда?

– Там увидишь.

– Скушно будет – убегу. И через часовых убегу, – со злым задором Гришка кивнул.

– У нас часовых нет. Беги. А плохой будешь, так и сами вшибем. Под задницу коленкой! Нам барахла не надо. Этого беру.

И других ребят с усмешкой выспрашивать стал. Смирных да ласковых не брал. Трех девчонок отобрал, шесть мальчишек да башкиренка скрипучего.

– Через три дня на вокзал приходите, а завтра здесь ждите. Для тела покрышку найдем.

– Так ведь их надо куда-нибудь устроить, товарищ Мартынов, на эти дни. Нельзя же их без надзора.

– Как же! Гувернантку им с французским языком приставить надо. Парле франсе, Григорий Песков!

Почти все ребята засмеялись. Даже башкиренок. Морду больно хорошо скроил Мартынов.

– Вы всегда с шуточками, товарищ Мартынов. Даже раздражаете! Вы не понимаете, что они сплошь дефективные.

– Как не понять! Наркомпрос разъяснил в инструкциях все как следует. Накормить их, барышня, надо да на работу, камни ворочать! Ну, вот что, которых отобрал, пойдемте продукты получать!

– Ну, слушайте, это же безобразие! Надо же список хоть на них составить, потом выяснить, куда их на эти дни определить, охрану вызвать, чтоб до места проводить.

– Насчет списка навертывайте, как хотите, если писать больно любите. А охрану не надо. Я их к себе на квартиру возьму. Айда, продукты получать!

– Да ведь они у вас все разбегутся!

– Убегут, в дураках останутся. Опять в ваш медикопедагогический монастырь попадут. Пишите список. Ребята, сейчас за вами приду, пойду снабжение пощупаю.

На ходу мазнул рукой Гришку по голове и ушел. Гришке отчего-то радостно стало. Длинная рука ласково по голове прошлась. И подумал Гришка: «Этот ничего. Мужик стоющий».

Никто из десяти не убежал. Не три дня, а неделю прожили с Мартыновым в его маленькой комнате под вздохи квартирной хозяйки. Но вздохи эти слышали только в первый день, когда к вечеру пришли. В остальные дни возвращались поздно. Ко сну сразу. Целые дни гонял их Мартыновза поручениями во все концы города. В одном месте посуду достал, в другом мануфактуру, в третьем крупу. Потом в теплушку загрузили ящики со стеклом. С кучером Николаем на заимку за коровами ездили. Отовсюду собирал в колонию, как хозяин домовитый, Мартынов. Лазейку нашел во все склады, для других замкнутые наглухо. У председателя губчека, к улучшению жизни детей свыше приспособленного, в кабинете часы стенные для колонии снял. И всё на ходу потирал ладони одна о другую. Над всеми посмеивался. На ребят покрикивал:

– Эй, вы, барахольщики, что брюхо распустили? Навертывайте, навертывайте. Башкурдистан, с Николаем воду носи! Скот напоить надо.

И понимал башкиренок русскую речь по жестам живым. Летел во двор с гортанным криком.

Гришка ожил. Главное дело – весело. Сколько народу за день переглядишь.

Высыхает уже земля. От деревьев дух сладкий, весенний пошел. Солнце тароватое стало. Почти весь день греет. Дождик, если пойдет, так радостный. Только умоет, и опять допустит солнышко все обсушить. Бегать легко! В первый же день, как из наробраза вышли, в парикмахерскую их Мартынов повел. Головы всем обрили наголо. Даже девчонкам. Потом в бане отмылись и в штаны короткие обрядились. И девчонки. Чудно! А ничего, привыкли. Одежда легкая. И не хочешь, да скачешь в ней. Штаны до колен, рубашки без воротников и рукавов.

Дорога вся в колонию была для Гришки – как первый сон чудесный.

В двух теплушках ехали. Худых коров и лошадей вместе с собой везли. На остановках убирали за ними. Воду носили. Широко расставив ноги, Мартынов воду качал. На ребят покрикивал. Во время хода поезда с ребятами про них разговаривал. Не расспрашивал, а все сами про себя наперебой ему рассказали. Гришке он сказал:

– Родителей нет – это, друг, хорошо. Родители – барахло. Мать юбкой над сыном трясет, сын бездельник выходит. Родили – и ладно. Сам живи.

– Да, а милиционер говорил: вы – как навоз.

– Навоз – хорошо. От навоза хлеб хороший будет. Ну, ну, друзья, коров на этой остановке подоим. Молоки пить будем. Молоко – это хорошо.

Мяса не ел, над ребятами смеялся:

– Барбосом закусываете? Зажваривайте, зажваривайте.

Гришка визжал от восторга:

– Это говядина, не собачатина!

– Все равно. Один черт. Барбос! Вот молоко хорошо. Это, друзья, хорошо!

В одной теплушке Мартынов верховодил, в другой кучер Николай. Вот и вся охрана. Ребята менялись. То одни с Мартыновым ехали, то другие. Сами очередь установили, какой пролет кому с кем ехать. На душистом сене валялись Песни пели, кто какую знал

и хотел. Лучше всего у башкиренка вышло. Слова непонятные, не запомнишь. А похоже, что выходило:

Ай дын бинды дынды бинды.
Ай дан бинды дынды биндв.

Чудно! Пять раз пропел. Ребята просили. Глаза закроет, ножки под себя крест-накрест, качается и поет. Хорошо! Еще пять раз Гришка слушать готов.

В широко открытые двери теплушки вольный ветер степной, духовитый врывался. И буйную радость с собой приносил. Гришка с криком, визгом, прыжками восторг свой в степь посылал. Для него мчится этот поезд. Для него паровик ревет. Первый раз так почуял: все Гришкино, все для него! И кричал в открытую дверь во всю силу легких:

– У-гу-гу-гу-гу!..

Вечером, когда кругом прохлада легла и тихоньким быть захотелось, молоко пили. Теплое парное молоко. Сами надоили. Ух, и молоко! Да разве расскажешь? Ну, как расскажешь, как сами лошадей из вагонов выводили, сами телеги запрягали? Как темной ночью по лесу незнакомому ехали. И сладкой жутью лес обнимал. Как в сказке!

* * *

…Большое озеро. Как из лесу выйдешь к нему, широко, вольно сразу станет. Берега горами вздыбились, – горами высокими, лесистыми. Облаками грозят. Но озеро не теснит. В чаще горной вольно колышется чистое. И лес озеру радуется. Березки кланяются. Сосны и ели смолистый запах шлют. В лесу дома-дачи прячутся. А которые близко на берег выпялились. На крутизне надбережной семь дач красуются. Колония детская. Отошла подальше от деревни и других дач.

Веселый берег у колонистов. У пристани четыре лодки качаются. И лучше всех белая парусная «Диана». На палках двух высоких холстина надписью яркой манит:

«Трудом и знанием побеждена стихия».

Любил Гришка эту надпись. Как на лодке в пристань возвращался, всегда громко читал:

– «Побеждена стихия». Во-о!

Слово-то какое! Стихия. И не объяснишь, а как услышишь – богатырем охота стать. И озеро – стихия. Оттого и шумит.

Весь берег каемкой разноцветной у воды украсился. Круглыми, серыми и белыми камешками и песком золотым на солнце. В одном месте из лесу большой старый пень выступил. Дети на нем голову старика в красной шапке разрисовали. Красками разными. И глядит пень, как живое лицо стариковское. Только бородой белой не трясет. А то прямо живой! Вон, с берега глядит. А на круче, как зверюга лесной, только без шерсти, голоногий Мартынов. Тоже в коротких штанах, как ребята, и в сетке редкой до пояса. Шел и камни на круче вдавливал. Издали гудел:

– Эй, вы! Интернационал чумазый! Проплескались? Будить других пора. Скорее! У меня чтоб – хны!

Четверо мальчишек на разные голоса отозвались:

– Хны!.. Хны!.. Хны!.. Сергей Михалыч, хны!..

Никто в колонии не знал, что это слово значит. А у Мартынова оно все. – Хны – хорошо, хны – плохо. Хны – быстро и ловко. Что хочешь. И только в колонии Гришка от него это слово услыхал В городе не говорил. Это мартыновское здешнее слово. Для своих.

Гришка первым в кухню примчался. Сегодня гришкина компания дежурит. Восемь человек. Четыре девочки на террасе сейчас хлеб раскладывают. Ух, и обед сегодня будет! Вчера сговорились кашу манную по-новому сварить. С тыквою. Сами ребята готовили, сами и обед придумывали. Состязались дежурные компании каждый день. Кто лучше накормит. Хлеб не навыкли еще печь. Пекарка была. А остальное все сами. Дров-то вон гора на день заготовлена! С вечера рубили. Гришка лихо и скоро колол. Мартынов увидел, рожу скроил и руки потер.

– Ага, Песков – хны!

Весь вечер Гришка похвале радовался.

Ну, сейчас все готово. Молоко, кипяток. Хлеб девчата разложили.

И певуче, но властно запел рожок:

– Ту-ру-ру-туру-ру-ттуру.

Берег скоро усыпало. Разноголосые, разноголовые, синеглазые, черноглазые, – всякие. Мылись, плескались, барахтались. Крякали, ухали мальчишки на своем купальном месте. У пристани девочки купались. Визжали тонко, пронзительно. Но были стриженые, легкие в прыжках. На мальчишек походили.

Второй раз запел рожок.

С озера гомон в дачи хлынул. Девчонки белыми безрукавками замелькали. Голые торсы мальчишек солнцем золотились. Мчались на террасу-столовую, как на приступ.

Махонькая черноголовка-девочка прозвенела из толпы:

– Дежурные, чай пить идем.

Гришка, в сером халате кухонном, с террасы закричал:

– Эй,эй!.. Я стих оставил. Слушай-ти-и:

Рожок поет,
Чай пить зовет!..

Надточий в ответ рявкнул:

– Не чай, а кофю…

Мартынов тут как тут. Морду скроил и, как дьякон в церкви, пробасил:

– Я без чаю не скучаю, кофю в брюхо наливаю. Графиня, не хотите ли кофею?

Смех волной все кругом покрыл. А Мартынов уже на дворе у склада.

– Кто луки разбросал? Хны! Эй, раззявы, прислужников нет. Петруха Федихин, ты вчера в ночное ездил? Еще кто? Опять скачки устраивали?

Расставив ноги, в землю у склада врос. Завхоз около него тонкие губы поджимал. Жаловался.

– Кучеров не велите нанимать. Николай все в отъезде больше. А это какие хозяева? Перепортят весь скот. Одна слава, что работники!

– Работники – барахло!! Научатся. Песков, чего иноходцем с кипятком скачешь? Не видишь, из чайника льется. Хны!

А Песков Анну Сергеевну увидал. Идет высокая, беленькая, тихонькая. На ребят уголком рта дергает. Это улыбка такая у ней.

Ничего и никого Гришка раньше не любил. Все всё равно. А в колонии всех полюбил. Анну Сергеевну больше всех. Как солнышко она. Горы, озеро, лес – хорошо! А солнышко лучше всего. Почему она солнышко? Так. Не знал Гришка. Только, как посмотрит, все кругом еще краше станет. Как вместе дежурили, таз с помоями с ней, как икону, нес. Мартынов два раза приметил. Крякнул.

«Растет, мерзавец!» – подумал и «хны» сердито сказал.

Но потом пригляделся. Весна у Гришки. Здоровая, чистая. Нет хватанья и мути во взглядах. Вся короста шелудивая, от прежних скитаний, отсохла. Нет следов. Здоров. И прояснился.

– Григорий Песков. Хны!

Смотрел за другими зорко. Были с девчонками взгляды нежные. Лысяева Нюрой-большой ребята поддразнивали, но не было мутного вожделения, рано созревшего. К девчонкам привыкли. Прикосновения не обжигали. Не было того, что в городах в детских домах часто случалось. Сам дивился.

– Вот она мать-природа и труд! Вылечили. Сколько город на этих детей налепил нечистот. Отмылись. Как надо, как здоровое растут. – Морду скроил, по ногам себя ударил и мыслью закончид: «В свое время хороший приплод дадут».

Терраса широкая гудела. Вся колония здесь. И дети, и воспитатели, и кучер с пекаркой, и прачка со швеей.Взрослых не сразу найдешь. Девять их только в колонии – и сотня детей.

После чаю все в разные стороны партиями рассыпались. Одна партия в лес грибы собирать на зиму отправилась. Лошадь с телегой тихо по дороге шла. Ребята в траве кувыркались. Тоненький, легкий, стройной сосенке родня, татарчонок впереди на грибное место дорогу указывал. Первый ходок в колонии. Все места знал. На ночевку в лес за семь верст один раз ходили, одеяла забыли. Сбегал – одеяла принес.Потом целый день с охотником за птицей вприпрыжку без устали ходил. И сейчас шел, точно крылья за спиной помогали. Вдруг остановился и закричал:

– Место! Айда!

За работу принялись.

Другая партия на лодке с песнями отплыла. На тот берег за рябиной ярко-красной. Еще мороз не хватил ее. На сушку набрать надо. Озеро у берегов шумит, а посередине ни складочки. Ну, день сегодня!

Гришка в третьей партии. С большими самыми, версты за три на ферму с песнями пошли. Мартынов с ними. Новую дачу отвоевал. Поместье целое. Там постройка шла. Колонисты сараи строили, ямы копали, доски возили, камни таскали, кирками камень долбили. Упорно.

Ноги на работе в кровь избивали, а радость не сгасала от боли. Там Мартынов придумал оранжерею на зиму устроить.

В наробразе смеялись:

– Электрификацию в всоей колонии не затеваете ли?

Посмеивался, руки потирал, а заявлял твердо:

– Затеваю. Электрическую машину на зиму поставлю. Дружно над ним издевались. А машину из губернского города действительно привез.

В наробразе дивились:

– Ну, хват!

А ребята говорили:

– Мартынов – это хны!

И когда Мартынов рассказывал, как колония на всю окрестность засветит, как разбросает три, десять, двадцать таких колоний кругом, дети верили. И по-другому смеялись. От радости. Как смеются, когда дух захватывает.

Гришка думал:

«Всяких людей видел, а этакого нет. Рвач!»

Дети в колонии всякие были. И от родителей бедных взятые. С копей. И сироты из детских домов. И правонарушители, как Гришка. Только хилых и больных Мартынов не брал…

Ходу здоровым! Вор, мошенник – давайте. Коли тело здоровое, выправится.

Не все выправлялись. Где-то прочно внутри заседала гниль. Томилась в обстановке постоянного труда. Отставали в работе, хмуро смотрели после. Кроил гримасу Мартынов и в город назад их отправлял.

Воспитателей много назад угнал.

– Инструкции пишите – это у вас хорошо выходит.

Барышня одна беленькая, красивенькая приезжала. Рисованью обучать хотела. Все цветочки рисовала и платочки на голове поразному повязывала. Один раз после бани повязала, на икону похоже.

Гришка, как увидел, громко запел:

–Богородице деву радуйся!

И прозвали ее «богородицей». А если оденется, как все воспитательницы, в штаны широкие и рубашку, то на шее золотая цепочка болтается, на руке браслет. Ребятам смешно. Ехать куда подальше соберутся, все спрашивает:

– А дождя не будет?

Тайчинов визжал:

– У-уй… Страшна! Размокнит.

Ходить долго не могла. Раскисала. Один раз устала и ребят попросила нести себя. А ребятам что? Руки сплели, посадили. А она улыбки, как подарочки, во все стороны.

Мартынов увидел и рявкнул:

– Николай! Утром на станцию Клавдию Петровну увезешь. Ее в город надо срочно доставить.

И увезли. До обеда все в разных местах работали. После обеда в колонии. Кто белье себе стирал, кто двор убирал, кто с плотниками работал. Работу свою кончив, в библиотеку шли. Книжки читали. Но читающих было мало. Не тянула книга. Еще мертвые слова книжные казались. Картинки любили смотреть. В шахматы и шашки резались. Перед вечером до темноты играли около Дома культуры. Так дача называлась, в которой библиотека и зал собраний были. Играли в баскетбол, в городки, в лапту. После ужина пели. Иногда рассказы слушали. Иногда плясали. Пели Гришкин любимый «Интернационал» и русские песни проголосные.

У одного воспитателя голос хороший был. И у Нюры-большой. Ух, и пели! У Гришки в горле щипало и мурашки по телу ходили. Рассказы были хорошие и похуже. Слушать не заставляли. Гришка один рассказ больше всех любил. Как целое государство от голода на новые земли пошло. В горах крупных поселилось; и был у них стрелок один. Яблоко с головы у сына сшиб. Вильгельмом Телем звали. Ух, хорошо! Кабы, говорит, не сшиб, – Другая стрела для тебя припасена. Это правителю он. Вроде царя который.

И казалось Гришке, что все это в их горах было, где колония. И озеро тут… Все похоже. Из книжек тоже читали. Про Тараса Бульбу больно хорошо.

Но сам Гришка, как и большинство ребят, читать не любил. Живая жизнь книжку заслоняла. После ужина время минутой одной пролетало. И хоть уставали за день, но, когда кричал Мартынов: «Спать, спать, – уходить не хотелось. Но, он посмеиваясь и руки потирая, выталкивал всех из Дома культуры. По дачам рассыпались. На постель сразу плюхались. И сразу сон слетал. Легкий, без видений печальных. И тут мальчишки охальничали спервоначалу. А теперь не видал Гришка. Главное дело – целый день не присядешь. Постель сразу успокоит.

А лето день за днем на нитку нанизывает. И конец скоро его нитке. Солнышко сдавать стало. Занедужило. Погреет, погреет, да и отдыхать спрячется. Паутинки меж деревьев затрепетали. Листья перед смертью позолотой стали покрываться.

О мартыновской колонии разговоры пошли. Из города смотреть приезжали. Не хвалили.

Одна комиссия сказала:

– Образовательной работы нет. Слишком много тяжелого физического труда. Вредно в этом возрасте.

Мартынов дергался, руки потирал и похохатывал:

– А вам бы для картиночки только работать? Дальше танцуйте, дальше от нас. Здесь свое образование. Зима придет, за книгу сядут. Сейчас некогда. Работать надо. Чтоб зимой не сдохнуть. Зимой детские дома закроете, а мы выживем. Больных у меня видали? Хны!

Московская одна баба, худая, рыжая приезжала. Подкормиться послали, а между прочим по делу. Все везде вынюхивала и губы поджимала:

– Здесь морально дефективные есть. С ними работы отдельной не ведется.

Мартынов по ляжкам себя хлопал и опять смеялся.

– Вы книжечку об этом напишите. Нам на подтирку пригодится.

– И вдруг свирипел:

– Воров из города привез. Где замки у нас? Только на складах. А ключи у кого? У воров этх самых. Что пропало? На ночь в швейной всю мануфактуру оставляем открытой. Что пропало? Ни двери, ни ворота не запираются. Сторож – собачонка Михрютка одна. Вон правонарушитель Григорий Песков. Всю Сибирь исколесил. Весь матерный лексикон изучил.. А теперь приглядитесь. Хоть в помойку вашу его отпустить – не страшно. Правонарушителей у меня много. Укажите, которые! Ну, ну. То-то! Хны!

Пожимала плечами москвичка.

– С родителями вы очень грубы. Бедные матери повидаться приедут, а вы через день их гоните.

По ляжкам себя хлопал и весело соглашался:

– Это – да. Матерей не люблю! Барахолят тут. А ребятам барахолить некогда. Да и сами они с ними не силдят. «Ах, мамашенька…», «Ах, сыночек…». Это, товарищ-мадам, можно, когда гнидой живешь. А сейчас работай, сам себя спасай! Хны!

Губы надула и уехала московская. Ее тоже на работу потянули было.

В полуверсте от колонии дачи здравотделом заняты были. Курорт. Отдыхать советских служащих присылали. Барыни жир нагуливали. Приходили и по колонии прогуливаться с кавалерами. Мартынов раз стерпел, два стерпел. Потом один раз из кухни в халате белом с поварешкой выскочид. Дежурил в этот день. И давай чесать:

– Что, бульвары тут для вас? Мадамы, не желаете ли посуду помыть? Нет? Так в калитку пожалуйте. Проваливайте! Барахольничать тут нечего. Жалуйтесь, жалуйтесь. В Совнарком телеграмму пошлите. Хны!

Еле калитку нашли.

А ребята картинку потом нарисовали. Забор свой решетчатый. На заборе у калитки Мартынов в образе медведя ревет. Внизу Михрютка лает. И подпись:

«Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок».

Сам Мартынов всегда в поисках. Книжек не читал, не рассказывал. Никогда не было. Накрутит в колонии и в город за мукой едет. Потом лесу для колонии достает. Все в свой муравейник тащит. Затворки герметические для печек печники потребовали. К зиме колония готовилась. Нет затворок. Пошел сам с Николаем в пустых дачах у здравотдела вывернул. Начальство курортное в губернию жаловалось: дачи пустые, но ремонтировать будем, а он стащил. К ремонту здравотдел уже год готовился.

Мартынов бумажку из города получил.

– Хны!

И бумажку изорвал. Что с ним поделаешь?

Осень свою нитку до середины допряла. Березы облетели. Бор глухим, сумрачным стал. Насупилось небо. Злобно плескало проливным дождем. Озеро больше не синело. Прочернело и с ревом берега било. Птицы улетели. Волка на пашне видели. В дачах печки протапливать стали. Мальчишки штаны длинные надели, девчонки – юбки. Курорт опустел. С горы ветер злой подул. В дачах пустых гулял. В колонии в крыши злобно бил. Сорвать хотел.

И не только дождь и хмарь осенью пришли. Голод поближе к колонии придвинулся. Мартынов из города злой приехал. Свои «хны» не ласкал, а ругался.

На собрании детям сказал:

– Сколько есть муки, на месяц должно хватить.

Хозяйственная комиссия подсчитала и паек определила: без четверти фунт хлеба. Мяса не стало. Рыба из озера поддерживала. Но трудно пришлось ребятам. Работа тяжелая. Пашню пазали. Места мало было для пашни. Пни в лесу корчевали. На ферму работу заканчивали. Техник приехал электричество налаживать. Обрадовались, усталь забыли.

Гришка про Америку недавно услыхал, а теперь глазами засиял:

– Товарищи, на ферме у нас новая земля. Это – Америка. А в старой колонии Европа. Вот дак ух!

И ребята подхватили:

– Айда в Европу! Кто в Америке сегодня ночует? Чей черед?

Партиями с техником на ночь по очереди оставались. Вечерами одеяла стегали. И мальчики, и девочки. Надо было спешить. Вату поздно достали. Вторую швею привезли. Но швеи одежду верхнюю шили.

А ветер с гор все свирипел. С воем злобным в окна швырялся, выл в трубах. Скоро выстывали печи. Дров много надо. Нарубить и привезти. Сугробы лягут, не проберешься.

Деревня близко от колонии была. Совсем сникла. В деревне и летом хлеба не хватало. Ягодами, грибами, картошкой кормились. Картошка не уродилась. В хлеб кору прибавлять стали. Ребятишки голодные в колонию прибегали стайками. Как воробьи за крошками. Детский дом в деревне был. Заморились там ребята. И летом было – не как в колонии, а теперь смерть дохнула. Мальчишек из

детского дома у завхоза курортного дома во дворе поймали. Мясо украли.

Мартынов колонистам рассказал.

Гришка затрепетал. Глаза помутнели и стал просить:

– К нам их, в колонию!

Собранием постановили своим отделением считать этот детский дом. Хлеб и на них распределить. По полфунту пришлось на каждого. Хозяева были еще плохие. Летом что запасли, подъели. Грибов совсем мало соталось. Картошку поздно выкопали. Половину деревня украла. Огород мало дал. Из города ничего! Крупа кончилась. Щеки у ребят поблекли и втянулись. Уставали, раньше спать расходились. Но смех еще часто звучал.

Мартынов посмеивался еще и командовал:

– Пояса потуже! Чемоданы подтяните. Хны!

Но реже морды кроил и часто на станцию ездил. Ночью одной озеро разбушевалось. С гулом тоскливым о камни билось. Потом злобой вскипело и раскатывалось:

– У-ух… У-ух. У-уф!

Ветер стены рвал. Работать хотел. В трубе гудел: вышибу-у, вышибу-у. Когда стихал, вой доносился. Волки или собаки голодные? Электричество еще не провели. К стеклам темная ночь прилипала и дачи мраком жутким затопила. Дети уснуть не могли. Разговор тоже все обрывался. Слушали, как стены трещали и озеро выло. Будто горы разорвать хотело. И всем, кто близко, проклятье посылало.

Гришка покрутил головой:

– Стихия.

Но богатырем стать уже не думал. Вся колония маленькой, хрупкой представилась. И всеми забытой. Одни, в горах. А кто-то за стенами плачет, грозит, воем похоронным отпевает. Отчего сегодня у всех такая жуть? Тайчинов с тоской сказал:

– Смирть близка гулят.

Входная дверь хлопнула. Все вздрогнули. Войцеховский вскрикнул испуганно. Но поступь тяжелая успокоила.

Гришка радостно встретил:

– Сергей Михалыч?

– Я!

И в спальню вошел. Гришка у двери спал. На его кровать тяжело вдавился.

– Не спите еще. Разговорчиками занимаетесь? Хны!

У Гришки жуть прошла. И другие мальчишки радостно завозились.

– Сейчас уснем! Я, Песков, за всех ручаюсь. Мигом уснем!

А Мартынов устало сказал:

– Дело табак, Григорий Песков. Дело – хны!.

– А што?

Тайчинов с кровати к Мартынову скакнул. Все завозились.

– Телеграмма из губоно. Велят вас в город, в детские дома свозить. Продуктов нам не дадут. А сами ведь – хны. Не прокормимся.

Взвился Гришка:

– Сергей Михалыч, тут подохну, не пойду. Недарма тоска сегодня!

Затрясся весь и головой в коленки Мартынову. Никогда Мартынов не обнимал и не целовал детей. Когда видел, девочки обнимаются, ворчал:

– Сантименты!

А тут рукой Гришку к себе прижал и его дрожь самому будто передалась. Дернулся на кровати тревожно. Загалдели ребята:

– Зачем в город? Помирать – дак тут!

– Корой прокормимся!

– А там чем кормить будут?

– Не налезай, Васька! Тут колония лопатся, а он в ухо.

– Сергей Михалыч, не дозволяйте!

И все загудели на разные голоса:

– Тут останемся! Никуда не поедем!

– Да-да, други… И девочки сейчас. Плакали, а то же говорили. Тут надо все обмозговать. Хны! Сами знаете, работа, а еды мало. Помереть – не помрем, а изведемся.

Надточий успокоительно забасил:

– Хиба ж до новины не дотянэм? Дотянэм. Пашня у нас своя.

Гришка в руку Мартынову вцепился:

– Я, Сергей Михылыч, через день есть буду. Пропади я пропадом, если каждый день!

И вдруг все детские нотки в голосе поблекли. Точно сразу взрослым стал и с глубокой тоской протянул:

– Не отдавай нас опять в правонарушители.

Глянул Мартынов ему прямо в глаза, не увидел, а почуял в них страшную нечеловеческую скорбь. Дернулся, морду скроил, руки потер и сказал:

– Не отдам.

ПОЭТ И РОМАНТИК

(Вивиан Азарьевич Итин)

Поэт, прозаик, драматург, публицист, литературный критик Вивиан Азарьевич Итин родился 26 декабря 1893 (7 января 1894 по новому стилю) года в Уфе, в семье адвоката.

В 1912 году, с отличием окончив реальное училище, он поступил в Психоневрологичекий институт (Петербург). Годом позже перевелся на юридический факультет Петербургского университета. После Октябрьской революции 1917 года работал в Наркомате юстиции, с которым вскоре переехал в Москву. А летом 1918 года, прибыв в отпуск в Уфу к родным, из-за восстания белочехов В. Итин не смог вернуться обратно. Устроившись переводчиком в американскую миссию Красного Креста, В. Итин отправился с нею через Сибирь и Японию в США. Но, оказавшись в местах боевых действий, перешел в Красную Армию.

Благодаря юридическому образованию В. Итин стал членом революционного трибунала 5 Армии. В 1920 году он вступил в партию большевиков и был назначен заведовать отделом юстиции в Красноярске. Одновременно в газете «Красноярский рабочий» редактировал «Бюллетень распоряжений» и литературный уголок «Цветы в тайге». В 1921 году В. Итина перевели на работу в исполком города Канска. Поскольку был он здесь единственным человеком с университетским образованием, то и круг его обязанностей оказался весьма широк: В. Итин совмещал должности заведующих отделами агитации и пропаганды, политического просвещения, местного отдела РОСТа, редактора газеты и даже председателя товарищеского дисциплинарного суда.

В 1922 году В. Итин переехал в Новониколаевск и вся его дальнейшая судьба была связана с этим городом и журналом «Сибирские огняи», куда поступает он сначала заведующим отделом поэзии, потом занимает должность ответственного секретаря редакции, а в 1928 – 1929-м и 1933 – 1934-м годах возглавляет журнал.

В 1933 году В. Итин избирался председателем правления Западно-Сибирского объединения советских писателей. А в 1934-м – делегатом I Всесоюзного съезда советских писателей, на котором возглавлял группу писателей-сибиряков.

Первые стихи В. Итина появились в 1920 году в газете «Красноярский рабочий». Первая книга – повесть «Страна Гонгури» – увидела свет в 1922 году в Канске. В. Итин – автор поэтического сборника «Солнце сердца» (1923), книг прозы «Высокий путь» (1927), «Выход к морю» (1935), «Белый кит» (1936) и др., изданных в Новосибирске, Красноярске и Москве.

В. Итин – лауреат двух литературных премий имени А.М Горького Западно-Сибирского края: за очерки об освоении советского Севера (1933) и за очерковую книгу «Выход к морю (1935).

В апреле 1938 года по обвинению в абсурдных связях с японской разведкой и шпионаже в пользу этой страны В. Итин был арестован и 17 октября 1938 года постановлением тройки НКВД Новосибирской области по статье 58-6 УК РСФСР приговорен к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение 22 октября 1938 года в Новосибирске.

Начинал Итин свой литературный путь как поэт-романтик. «Я был искателем чудес, невероятных и прекрасных», – писал он в поэме «Солнце сердца», определяя наиболее, пожалуй, характерную особенность собственного творчества. И не только поэтического. Печать романтизма лежит на большинстве его произведений.

Революционным романтизмом пронизана ранняя повесть В. Итина «Страна Гонгурия» (в первоначальном варианте «Открытие Риэля). Она, кстати, стала и первым фантастическим произведением советской литературы. Знаменитая «Аэлита» А. Толстого появится годом позже. Помимо романтической окрашенности, характерна «Страна Гонгури» и антивоенным пафосом. Как и опубликованная позднее его повесть «Урамбо».

Романтическое начало творческого существа В. Итина отчетливо проявилось и в очерковой прозе писателя. Он жадно следил за бурным развитием науки и техники. А когда в Сибири появился первый гражданский самолет «Сибревком», В. Итин вместе с пилотом Иеске в 1925 году отправился на нем в агитационный полет по Алтаю и Ойротии. Алтайцы называли этот самолет «Каан-Кэрэдэ» – по имени волшебной птицы алтайского эпоса. Впечатления о том полете, окрашенные восторженным отношением В. Итина к покорителям воздушного океана, легли в основу

очерковой повести об авиаторах «Каан-Кэрэдэ», стержнем которой как раз и стала романтическо-символическая встреча прошлого и настоящего. Повесть появилась в «Сибирских огнях» в 1926 году, а в 1928-м году по авторскому сценарию на ту же тему был снят фильм.

Романтика двигала также увлечением В. Итина Севером. Он страстно отстаивал идею освоения Северного морского пути, сотрудничал с организацией «Комсевморпуть». Летом 1926 года участвовал в гидрографической экспедиции по обследованию Гыданской губы неподалеку от устья Енисея, а в 1929-м – на борту ледокола «Красин» (впервые в истории судоходства) дошел Северным морским путем до Ленинграда. В 1934 году на судне «Лейтенант Шмидт» В. Итин принимает участие в так называемом «колымском» рейсе – захватывающем путешествии по дальневосточным морям, омывающим Курилы, Камчатку, Чукотку… до устья реки Колымы, впадающей в Колымский залив Восточно-Сибирского моря. Корабль там зазимовал, а В. Итин возвращался в Новосибирск на собаках и оленях. По материалам своих путешествий он пишет многочисленные очерки, которые складываются в книги: «Восточный вариант», «Морские пути Советской Арктики», «Выход к морю» и др., а также повесть «Белый кит».

В. Итин стал одним из пионеров советского очерка. Его документально-художественные повествования насыщены фактами, отличаются глубоким знанием материала, аргументированностью и в то же время яркой эмоциональной окрашенностью, поэтичностью.

Много времени В. Итин отдавал литературной критике: писал рецензии, обзоры, обобщающие и проблемные статьи. Редко какой номер «Сибирских огней» двадцатых-тридцатых годов обходился без критических материалов В. Итина, касавшихся самых насущных сторон литературной жизни – и в первую очередь Сибири.

Но, о чем бы и в каком жанре В. Итин ни писал, он всегда оставался поэтом. Как отмечал Л. Мартынов: «Вивиан Итин прежде всего поэт, и даже вся его проза – это проза талантливого поэта, будь это даже полемические статьи по вопросам художественного творчества или по вопросам кораблевождения в полярных морях…»*. Не случайно и сам В. Итин ту же, скажем, повесть «Каан Кэрэдэ назвал «поэмой в прозе».

Вел В.Итин и большую общественную, организаторскую работу, в первую очередь по собиранию литературных сил Сибири. Вместе с В. Зазубриным он руководил литературными кружками для начинающих сибирских писателей. Под его редакцией в 1925 году в Новониколаевске вышел поэтический сборник «Вьюжные дни», где в числе других сибирских поэтов были помещены стихи молодого тогда Л. Мартынова. Активное участие принял В. Итин и в организации Союза сибирских писателей. В 1926 году он был избран секретарем его правления. Активно боролся В. Итин и с литературной групповщиной. А в 1934 году он возглавил группу сибирских писателей – делегатов I всесоюзного съезда писателей СССР, где выступил с докладом о сибирской литературе.

В. Итин стоял у истоков литературы советской Сибири, становлению и развитию которой он отдавал всего себя. И дальнейшее ее существование без таких подвижников было бы просто немыслимо.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги В. Итина:

Открытие Риэля. Повесть. // Советская фантастика 20 – 40-х годов («Библиотека фантастики»). – М., 1987.

Итин Вивиан. Искатель чудес. Проза, поэзия, критика, воспоминания. – Новосибирск, 2014.

О В. Итине:

Коптелов А. Вивиан Итин. // А. Коптелов. Минувшее и близкое. – Новосибирск, 1972.

Мостков Ю. Один из первых огнелюбов. // Ю. Мостков. Портреты. Литературно-критические статьи. – Новосибирск, 1981.

Горшенин А. Высокий путь поэта. // В. Итин. Искатель чудес. – Новосибирск, 2014.

Вивиан ИТИН

ОТКРЫТИЕ РИЭЛЯ

Отрывок из повести

Машина времени

Тюрьма была переполнена. В одиночки запирали по нескольку человек. В самой тесной клетке третьего этажа, где в коридорах дежурил военный караул, жили двое. Один был молод, другой казался стариком, но путь, отделявший юношу от смерти, был короче.

Он был пойман с оружием в руках. Старик, когда-то известный врач, тоже обвинялся в большевизме, но в то время играли в законность и демократию, необходимо было разыскать какое-нибудь «государственное преступление», чтобы его повесить. Поэтому в его прошлом упорно рылась следственная комиссия.

Молодой человек стоял, прижав лицо к решетке. Сквозь летний северный сумрак чернели хвойные горы. Внизу стремилась мощная река. Он верил в теории, по которым человек, когда умирал,

был мертв, но громадный оптимизм его молодости не допускал смерти. Расстрел представлялся ему звуковым взрывом, виселица – радужными кругами в глазах. Он видел. Беззвучно вздымались ровные волны. Он лежал на корме, разбитый дневной работой, но ему было хорошо от выпитого вина. Рядом двое китайцев, таких же носильщиков, ссорились из-за украденной рыбы. Он смотрел на живой путь луны в океане, на отражения разноцветных огней гавани, отелей, кабаков…

Врач, читавший у восковой свечи, приподнялся.

– Страна Гонгури? – сказал он. – Я прочел это в твоей тетрадке, Гелий. Здесь, кажется, больше поэзии, чем географии.

Он взял рукопись.

– В снегах певучих жестокой столицы,
Всегда один блуждал я без цели,
С душой перелетной пойманной птицы,
Когда другие на юг улетели.
И был мир жесток, как жестокий холод,
И вились дымы-драконы в лазури.
И скалил зубы безжалостный голод…
А я вспоминал о стране Гонгури.
И все казалось, что фата-моргана
Все эти зданья и арки пред мною.
Что все, пред лицом урагана,
Исчезнет внезапно, ставши мечтою.
Здесь не было снов, но тайн было много.
И в безднах духа та нега светила –
Любовь бессмертного мира иного,
Что движет солнца и все светила.

– Так писали, когда я жил в Петербурге, – сказал Гелий. – Скучные вирши.

Тень Гелия задвигалась на переплетах решетки. Грохнул тяжелый выстрел. Рикошет пули взвыл в одиночке и вдруг затих, щелкнул в углу.

Гелий спрыгнул с нар подошел к свету.

– Я просил тебя, – сказал врач, немного задыхаясь. – Вчера поставили казачий караул.

– Что ж, доктор, неожиданно лучше… Впрочем… – Гелий быстро вскинул голову: – Ты хотел спросить меня? Гонгури… Да, сейчас, пожалуй, пора заняться самыми индивидуальными переживаниями.

Гелий замолчал. Старик, потрясенный и ослабший, молчал тоже.

– В сущности, – продолжал Гелий, чтобы развлечь его, – здесь и рассказывать не о чем. Это мало вяжется со мной. Теперь, от безделья, те же мысли снова надоедают мне… А началось это, кажется, еще в детстве, когда я лежал в зеленой тени с книжкой под головой, и в солнечных лучах пели стрекозы. Потом яснее повторилось во Фриско, на берегу океана… Вероятно, потому, что я жил тогда всего беспутнее. Но не только в кабаках, в дни, когда я был трезв и голоден и дремал от усталости, сначала словно отвлеченная гипотеза, а потом все увереннее я начинал вспоминать… Понимаешь, это были просто несложные мечты, возникающие у всех нас, – о мире более совершенном, но всегда, когда они приходили, мне чудилось, что это вовсе не грезы, а память о чем-то очень родном, близком и недавнем. Однажды, еще на севере, я испытал глубокий экстаз, стоивший мне большой потери сил. И тогда я запомнил имя женщины… Ее звали Гонгури. На океане это повторялось чаще. Словом, Страна Гонгури – какие-то навязчивые видения.

Я знаю, что ты скажешь. Заранее согласен… Во всяком случае, все это имеет свои научные объяснения. Дай прикурить.

– Да, можно всему найти научные объяснения…

Гелий курил, громко глотая дым.

Старый арестант спросил:

– Гелий, хочешь вернуться в страну Гонгури?

Гелий встал.

– Злая шутка, – пробормотал он. – Откровенничать слабость, но…

Раздался новый выстрел, потом длинный, странный крик.

– На этот раз прямо в цель! – сказал Гелий. – Говорят…

Он вскрикнул и бросился к окну.

– Гелий! – закричал врач, ловя его руку. – Я совсем не шутил! Сядь!

– Дай мне кончить со всем этим!

– Что ты хочешь сделать?

Рука Гелия ослабела.

– Тебе казалось, что ты жил там? Что было, то есть. Что такое время? Нелепость. Почему бы нам не восторжествовать над нелепостью?

– Ты изобрел «Машину времени»? – усмехнулся Гелий, привычно подавив тревогу.

– Да, – ответил врач. – Конечно, Уэльсовский автомобиль четвертого измерения невозможен, иначе путешественники будущего давно были бы у нас. Но все-таки победа над временем вовсе не утопия. Мы постоянно нарушаем его законы: в о с н е. Наука за-

регистрировала много случаев, когда самые сложные сновидения протекали параллельно с ничтожным смещением часовой стрелки. Я испытал нечто подобное во время опытов с одурманивающими ядами и теперь не сомневаюсь даже в семилетнем сне Магомеда, начавшемся, когда опрокинулся кувшин с водою, и кончившимся, когда вода еще не успела вытечь из него… Однако обыкновенный сон не годится для наших целей. Он слишком нестроен, его режиссер вечно путает сцены… Гипнотический сон более всего подходит для нас.

Гелий поднял голову.

– Да… Впрочем, не следует во всем уподоблять гипнотизм сну. В некоторых стадиях гипноза самое тусклое сознание может расцвесть волшебным цветком. Один мой пациент производил впечатление гения своими экстатическими импровизациями, хотя в обыкновенной жизни это был бездарнейший писака.

– Может быть, он повторял чужие стихи? – усмехнулся Гелий.

– Все равно, – ответил врач, – наяву я не слышал от него ничего подобного. Это нечеловеческая память… Другой, совсем калека, профессор, высохший, как Момзен, становился великим воином, настоящим Ганнибалом, сыном Гамилькара! Он вел свои войска через Альпы, ветер жег его лицо, боевые слоны гибли от холода, но глаза его горели, как пожары двух городов. Он спускался в италийские долины под ржание коней нумидийцев и мерный стон мечей, бьющихся о щиты… Так он рассказывал, клянусь болотом.

– Такие сны можно увидеть и в китайской курильне.

– Это более чем сны, – возразил врач, увлекаясь любимой темой. – Когда говорят о гипнозе, имеют обыкновение утверждать, что это воля гипнотизера вызывает в спящем процессы транса и т. п. Конечно, воля здесь ни при чем. Я говорю спящему, что его тело бескровно, и кровь перестает литься из ран, я говорю, что его мышцы окаменели, и слабый человек лежит на двух подпорках, касающихся его затылка и ступней, выдерживая большой добавочный груз. Это общеизвестно. Гипнотизер не может подчинить чужой, так называемой, души, он лишь вызывает в ней какие-то неисследованные силы, ассоциативные процессы мозга, и она более или менее раскрывает их, не переставая быть увлекающей загадкой…

– Хорошо, доктор! – прервал Гелий, явно любуясь необычайностью положения. – Ты хочешь усыпить меня и сделать только одно внушение: чтобы я вернулся в Страну Гонгури? Хорошо. Я готов на какие угодно опыты! Я только думаю, что меня трудно загипнотизировать… Впрочем, когда я засну, ты можешь попытаться. Сегодня я спал не более пяти часов.

Врач кивнул головой.

Коридор наполнился гиком и хохотом. Нелепо взвизгнула частушка. Кто-то тяжелый остановился у камеры, и в круглой дырке двери забегал мутный глаз.

– Не спишь, гады! – заорал голос. – Скоро тебе крышка.

Шум исчез, лязгнул железными зубами на гулкой каменной лестнице.

Старик прижал руку к решетке ребер. Гелий взглянул в побледневшее лицо и, вспомнив, заговорил спокойно:

– Что с тобой, Митч? Все хорошо. Я хочу плюнуть в глаза смерти. Что в самом деле дремлет в нас? Четыре года я знаю тебя, и теперь здесь, ты остался таким же изобретателем экспериментов, каким был… А! Как мне сказать? Слышишь – тюрьма, камень, кованые приклады, гвозди сапог. Камень и железо. Ничтожество. А мы займемся нашим опытом! Я готов. У меня нет других мыслей…

Свеча погасла. Серый сумрак проник в квадраты окна. Гелий говорил:

– Теперь надо скорее заснуть. Спокойной ночи… – И совсем по-мальчишески улыбнулся. – Итак, мы отправляемся в Страну Гонгури!

Он отвернулся, закрываясь своей английской шинелью, снятой после боя с мертвого врага.

– Спокойной ночи, – машинально сказал врач.

Скоро он услышал ровное дыхание спящего, привыкшего засыпать а короткое время отдыха в грязи пристаней и вокзалов, в открытом море в бурю, в заставе перед тем, как идти в снега величайших равнин и стоять часами на грани борющихся миров и смерти.

Врач смотрел в лицо Гелия, освещенное голубоватым светом, и мысли его кружились. Его лихорадило. Он бормотал бессвязно.

Электроны света, мысль в его мозгу… Мир… Мозг… Непонятно…

Он с усилием встал, очнувшись, и осторожно взял руку Гелия.

– Ты спишь, – сказал он, – спи! Волны мрака укачивают, как море.

Он приступил к своим внушениям.

Грудь Гелия расширилась. Он бредил и жестикулировал. Потом лицо внезапно побледнело, словно невидимая рука сдернула с него маску.

– В сущности, все гипнотические состояния индивидуальны, – пробормотал врач, прижимая пульс спящего, сам почти загипнотизированный спокойствием сна.

Тюрьма, камень, железо. В сумеречном сознании мелькнули врезавшиеся в память дни. Лицо Гелия было неподвижным.

–…Гольден Гейт. Синяя соль и густой ветер. В России революция, Октябрь… После долгой работы он зашел отдохнуть в первую открытую дверь. Это был матросский салун. Грязные сильные люди всех рас. Крики многих наречий. И в центре он сразу заметил у подвального окна напряженное от потока мысли лицо, такое же, как теперь.

…Чудовищные леса и деревни. Морозы, перед которыми градусы Фаренгейта из сказок Лондона – оттепель. Костры под лапами громадных елей. Крутящиеся саваны буранов… Потому что Гелий сказал тогда твердо и безоговорочно: «Надо ехать». Тихий океан остался на востоке, но огневая завеса уже разделила Азию и Европу.

…Хаос первоначальной власти. Сражения. Коммунистические отряды, скрывшиеся в тайге. Санитарная повозка под шкурой медведя. Ремень винтовки, прилипший к плечу Гелию…В декабре их окружили. Несколько человек по обычаю бандитских войн были доставлены живьем… Это – они.

Врач зажег спичку, чтобы закурить. Резкий свет упал на веки Гелия, спящий вздохнул глубже. Врач быстро бросил пламя.

Единственной его надеждой была миссия Соединенных Штатов, приехавшая в город. Говорили, что американцы, помогая возлюбленному порядку паровозами и теплым бельем, иногда бывали в тюрьмах перед большими расстрелами, стесняясь финансируемого ими варварства, и, кажется, спасали кого-то. Он слышал фамилию Д. Мередит. Не тот ли Мередит, которого он лечил?

Врач эмигрировал сразу после 1905 года. Ему «повезло», как говорили. Он спокойно практиковал на Клэй-стрит, постепенно теряя прежние знакомства, и не думал больше о борьбе. Его стали звать «Мастер Митчель», друзья сокращенно – «Митч».

«Гелий! Он странно вошел в мою жизнь», – думал врач.

Он улыбнулся, вспомнив их встречу. Голод перемен и выхода был в нем сильнее первой любви…

Ему показалось, что лицо спящего стало еще поразительнее. Он взял его руку. В памяти зазвучали обрывки стихов, к которым приучил его Гелий. Он бормотал их вслух, не владея собой:

– Сердце губит радостная жажда,
Лучше умереть, но заглянуть…

Он смотрел в неподвижное лицо. Ему становилось не по себе. Точно огромный полет…

– Пульс!

Сердцебиение спящего замедлялось с угрожающей правильностью. Врач принялся будить его. Неожиданно это оказалось трудным. Гелий открыл глаза, но не отвечал на вопросы и смотрел с таким сумасшедшим удивлением, что врач невольно отступил в страхе. Громко повторяя фразы, он стал рассказывать о происшедшем. Прием подействовал. Скоро Гелий стал более внимателен к окружающему и нахмурился от воспоминаний. Врач зажег свечу, велел Гелию закурить. Привычные ощущения лучше всего повлияли на него.

Он нерешительно взял обломок зеркала.

– Я не изменился? – сказал он.

– Ну, как ты себя чувствуешь? – робко спросил врач, но Гелий только покачал головой.

Он сел на койку, опуская лицо в ладони.

Далеко в городе ударил колокол. Гелий выпрямился.

– Сколько времени? – быстро спросил он.

– Час.

– Час! Скоро рассвет.

Он глубоко вздохнул и продолжал очень спокойно, как будто говорил о деле.

– Поздно… Да кто-нибудь должен знать. Садись, Митч, слушай, что это было. Я закрою глаза, чтобы лучше видеть. Слушай!

Его речь зазвучала необычно.

– Я Риэль, так меня звали раньше, я Гелий, видел сегодня мир с непредставимой высоты. Я хочу тебе рассказать об этом… Я был Гелием и стал Риэлем…

Вернее наоборот. Но это лишь теперь я помню последовательность видений, тогда же было совсем иное. Видимость реального ничем не отличалась от обычного состояния вещей. Мне было приблизительно 24 года, как теперь. Это не значит, что моя жизнь длилась в течение 24 оборотов Земли вокруг Солнца – земные меры вообще неприложимы к миру, где я назывался Риэль, но я все же буду употреблять их, потому что кажущееся для нас понятнее действительных соотношений. Да… Сначала я спал, потом моя жизнь стремительно потекла назад, к своему первоисточнику. Друг за другом возникали передо мной все более и более ранние картины, словно тени фильмы, разорванной и соединенной так, что последние сцены стали первыми и первые – последними. Промелькнули школьные годы, началось детство. Я читал давно забытые книги, уносившие меня на воды Амазонки и Ориноко, на таинственные острова и далекие планеты. Я помню себя совсем крошечным ребенком, влюбленным в нянины сказки, безумная фантазия кото-

рых так торжественно звучала в темной детской при свете зимних звезд: я внимал им и забывал себя. Потом я подошел к огромному дереву, несомненно, из учебника Ветхого завета, и тогда, подобно смутному сну, во мне родилось воспоминание об этой жизни, хотя пред собой я видел только степь, но старик, похожий на оперного статиста, дал мне жемчужину величиной с голубиное яйцо, и я улыбнулся, уверенный, что вспоминаю лишь грезы дневного сна. Я стал смотреть на тусклый свет жемчуга, и мое сознание постепенно погрузилось в него, пока не наступил хаос… Но сияние жемчуга длилось. Бледная тончайшая пыль наполнила пространство. Сначала, как звездная туманность, скопилась в небольшой фосфорецирующий шар. Он лежал в руке статуи, изображавшей мыслителя. По-видимому, все вместе, статуя и удивительный шар, представляли собой нечто вроде художественного ночника. Я отвернулся и попытался заснуть, но не мог. Свет раздражал меня, и я не мог забыть каменного лица, отражавшего напряженное внимание неведомого духа, неприятно бледного лица, освещенного голубоватым сиянием… И вдруг у меня явилась мысль исследовать вещество голубого светильника в моей машине. Тогда где-то в самом центре я ощутил непередаваемый толчок. Так бывает, когда вдруг забудешь что-нибудь… С этой мыслью я вошел в Страну Гонгури. С этого момента я ничего не помнил о себе. Я стал человеком другого мира.

Гелий замолчал, сжимая ладонью веки. Воля его билась с расстроенными полчищами образов, стремилась вернуть им порядок и красоту мысли. Сознание, что весь этот вихрь замкнут в клетке его мозга, было чудовищно. Гели открыл глаза…

УРАМБО

Отрывок из повести

1. Пулеметы

Мистер Грэди вышел из того возраста, когда путешествия кажутся романтическими. Напротив, поддавшись некоторой меланхолии, он думал, что приходится все чаще разъезжать по разным неблагоустроенным странам. Счастье же – семья, два бэби, иногда молоденькая Бетси, морские купания, собственное авто, хорошее пищеварение. А здесь? Только на пароходе могут кормить свининой под экватором… И еще этот лопоухий дьявол-дьявол, – вот опять бесится.

– Бой!

Под черный форштевень, звонко шипя, подлетает синь. В бездонном струящемся стекле влаги вдруг мелькнет пузырек медузы, выпрыгнет дельфин. Кровь, как океан внизу, шумно кипит. Солнце.

Негр прислушался, сплюнул табачную жвачку, скатился вниз.

М-р Грэди – его хозяин, англичанин из Ливерпуля. М-р Грэди был озабочен. Новые поиски марганца на юге – ошибка. Германская компания «Людвиг Кра и Шульце» захватила огромные кавказские залежи. Самые удивительные дураки, конечно, русские.

Приходилось не пренебрегать мелочами. Правда, это была дружеская услуга; но все-таки передвижной зверинец Исаака Кини – солидное предприятие. М-р Грэди встал с шезлонга и, рисуясь перед воображаемой Бести своими неисчислимыми заботами, направился к лестнице.

М-р Греди погрузил слона в Луанде. Это был редкий экземпляр, по его словам. Слона м-р Грэди назвал Урамбо. Так, в высочайших градусах Фаренгейта, в голубом дыме кэпстена мелькнуло название неведомого местечка экваториальной Африки. Урамбо был огромен и дик. Черный проводник попросил прибавки, – даже виски не помогало за водворение его в трюм.

Пряный запах колониальной снеди странно возбуждал. Среди огромных мягких тюков прохладнее, но душно. В конце – деревянная перекрещенная решетка. Слон сжал хоботом один из столбов, стараясь притянуть его к своим бивням. Задняя нога зверя прикована якорной цепью. Желтовато-белыми клыками не достать. Эластичный хобот был бессилен. Негр ударил по нему палкой. Урамбо отступил вглубь, гневно затрубил, поднял голову.

– Когда-нибудь он в самом деле разнесет клетку, eh?

Рядом стоял м-р Грэди. Мистер Грэди курил кэпстэн.

– Давай ему меньше есть, бой. Из него слишком прет. Совсем не давай есть.

Сказав это, м-р Грэди спокойно пошел наверх.

Океан, как стекло. Колокол позвал ужинать. М-р Грэди размок, остался на палубе, тянул через соломинку ледяную смесь. Солнце по самому большому кругу неба бухнулось за горизонт. Агент знаменитой германской фирмы невольно снова удивился необычайной скорости бесшумного шествия тропической ночи. Он узнал, что м-р Грэди направляется в Петербург по марганцевым делам и, взглянув на стремительное солнце за бутылкой сода-виски, вполне конфиденциально предложил ему устроить в России партию бракованных пулеметов.

– Превосходные пулеметы! – уверял агент. – Брак совершенно неразличим и относится лишь к самому качеству материала. Вам, как представителю незаинтересованной державы, будет очень удобно… тем более…

Агент наклонился к уху м-ра Грэди.

М-р Грэди официально миролюбив. Он тянет недоверчиво:

– Оу!

Есть признаки, есть признаки…

– А не придется ли и нам ввязаться в дела на континенте?

Немец закурил крепчайшую черную сигару, проглотил густой комок дыма. Небрежно уставился на лакированный ботинок.

– Вы осторожный и практический народ. Вы поймете, что мы, – совершенно беспристрастно, – непобедимы. У нас Кант, у нас…

– Ну, что касается имен…

– Впрочем, – быстро повернулся агент, – я надеюсь, вы человек деловой. В ваших правилах использовать случай?

М-р Грэди внезапно также холоден и внимателен.

– Да, это к делу, разумеется, не относится… Итак, каким образом вы предлагаете реализовать ваши машины?

В зените стоял Сириус. Небо на горизонте походило на светящийся экран титанической лаборатории. Гигантский палец зодиакального света оставил на нем тающий след. И волшебной фосфорической лентой горел океан, вспененный винтами парохода.

– Человек, коктейль!

– All right.

– А кто эта… мисс, – eh?

Тогда, вместо черных экваториальных ночей, подавляюще внезапных, на шестидесятой параллели совсем исчезла ночь. Над Петербургом трепетали светлые бирюзовые газы. Беспощадный город, тяжелый и гениальный, вдруг превратился в легчайшую феерию. Значит, можно мечтать о несбыточном.

В бессолнечном свете, против призрачных масс крепости и дворца, первокурсник Шеломин нанял у сонного чухонца быстрый ялик. Медленно колебались и падали воды Невы. Посредине реки Шеломин бросил весла. Была полночь. Было светло.

В этот день Шеломин сдал свой последний экзамен. В его сознании светились фиолетовые пучки круксовых трубок, мчались непредставимые электроны, вспыхивал сернистый цинк. Он мечтал о славных открытиях, которые он сделает. Тогда мир становился неожиданно другим, легким и счастливым. И в этот мир, конечно, входила Надя Никольская. Шеломину было 19 лет.

Улицы изнывали людьми. На обратном пути за ним долго шла женщина и, казалось, какой-то настойчивой страстью звучали ее заученные формулы: «Хорошенький, пойдем со мной! Мужчина, пойдем спать».

Дома его ждал Петя Правдин, только что кончивший гимназист, сиявший улыбками и новеньким студенческим мундиром. Правдин объявил, что завтра будет пикник на Канонерском острове. Сборный пункт – у курсисточек Оли-Тони. Придет Надя.

Правдин остался ночевать. Правдин кипятил чай над керосинной лампой. Ламповое стекло походило на трубку Крукса, а желтый огонь – на волосы Нади, освещенные солнцем. Он видел городской сад, каток, лодку ночью на быстрой реке, всю их длинную любовь, их обещания и грезы. Как освободить энергию электронов? Чтобы завоевать, надо работать. Он положил палец в щель приоткрытого ящика стола и задвинул ящик.

Палец болел, распух, но Шеломин не мог заниматься. Его глаза были серы и упорны, а губы изогнуты, как обыкновенный лук амура. Ему хотелось победы сейчас, немедленно! Сейчас, немедленно хотелось совсем других стен, чем у его каморки с деревянной кроватью и одним столом.

И также мучась, странно входя в его маленькую судьбу, безумея от ночного сияния Финского залива, плыл Урамбо.

Земля, рождающая жизнь, отогревала свой северный бок. Слоновьи стада вытаптывали тропические поляны. В новой клетке Урамбо, на русском пароходе, сумерки белых ночей. Темная безвыходная страсть скапливалась, жгла титаническое тело, как отрава, брошенная бешеной собаке; но гипноз однообразия, кто-то беспощадный и хитрый, давил, сковывал сердце, заставлял каждый мускул двигаться медленно, послушно.

Властелин сидел за письменным столом в пижаме, в огромных очках с круглой черепаховой оправой. В эту последнюю ночь пути на море он вновь просматривал свои бумаги, отщелкивая фунты и шиллинги на маленьких счетах из слоновой кости. Лицо его, обыкновенно добродушное, круглое, вызывавшее улыбку, теперь было серьезно и вдохновенно. Теперь он мог вызывать уважение, преданность или ненависть.

Около трех утра м-р Грэди сказал «All right» и захлопнул записную книжку. Он с удовольствием зевнул и пошел спать, прополоскав рот и горло патентованной жидкостью, уничтожающей дурной запах во рту.

2. Коперник

Шарманщик крутил в колодце проходного двора свой несложный громкий репертуар. Шеломин, назначенный кассиром, дал ему целый полтинник, и студенты, построившись, двинулись с маршем «Тоска по родине» впереди.

Бывший классный наставник Пети Правдина в ужасе соскочил с тротуара. Петя Правдин трепетал. Это была революция. Верх у шарманки ситцевый, красный.

Вдруг марш взвизгнул, оборвался, квадратный кумач помчался назад, в панике разбивая ряды. С фронта величественно подходил фараон. Революция кончилась.

Этика Пети Правдина, лишенного классного наставника, получила более солидную поддержку.

Впрочем, фараон был занят и, зажав рубль, великодушно разрешил шарманщику удирать. Посреди улицы стоял катафалк, окруженный толпой. Черный рабочий кричал белому факельщику:

– Сукин сын, раз сказано бастовать, какое право имеешь работать!

Дамы в трауре взвизгивали в ответ на брань.

Гигантские трубы, как недокуренные папироски в пепельнице северного неба, выбрасывали последний дымок. На петербургском горизонте застыла виселица подъемного крана. Близорукий и тонкий, в черной куртке и черной косоворотке политехник Рубанов обвел рукой видимый сектор, весь огромный мир и проговорил, волнуясь:

– Das Kapital!..

Розоватый беловолосый Петя Правдин не понял и, взглянув на фабричные строения, подтвердил:

– Да-с, капитал!

Финский залив – море не море. Ультрамарина в нем нет. Озеро стальное, стальными струйками бьется в угловатые камни берега. Но для курсисточек с Бестужевских , медицинских, зубоврачебных, первый год из проклятых своих городишек, это – «Какой простор!»

Пикник проходил по установленному ритуалу: чай с домашними произведениями Оли-Тони, пиво, кое для кого водка и студенческие песни.

К берегу причалил восьмивесельный щегольской ялик с французскими моряками, русскими женщинами и одним в штатском, с большой лохматой седеющей головой, который потом называл себя журналистом, поэтом и писателем. Его настоящая фамилия была Рабинович, но, подписываясь, он переводил ее «Чивони Бар». Это звучало по-итальянски. Французы вытащили стол, складные стулья. На стол – белую скатерть, вино, печенье, банки.

Водка действовала быстрее французских вин и аперитивов, через полчаса студенты воодушевленно орали:

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать земли вращенье, –
Дурак! Зачем он не напился,
Тогда бы не было сомненья…

Писатель подошел и поприветствовал от имени союзников «надежду России, учащуюся молодежь»…

Через минуту Петр Правдин, пьяный и счастливый своей независимостью от классного наставника, объяснял французу:

– Коперник, vous comprenez*? Дурак!

Офицер беспомощно оглядывался и повторял:

– Почему вы не привели своих дам?

– Дурак! – стукнул себя по лбу Правдин. – Voila, ром-буль-буль-буль и лемонд, отур, никаких сомнений…

Вдруг он поперхнулся.

– Шутки в сторону, я напился до чертиков. Раньше не верил, а вот напился…

Правдин заморгал, протер глаза. Нет! – опять: прямо на него мчалась фантастическая огромная глыба, черная, чугунная живая буря! Визжали женщины, бежали, задирая юбки, в воду, черпая туфельками ил; лопотали французы. Писатель растерянно вынул записную книжку… Ррр-ах! Французский буфет перевернулся, зазвенел, чудовище исчезло, а дальше, чудилось, неистово скакал негр, размахивая руками, потом – с десяток свистящих фараонов и долговязый человек в белых брюках, крахмальном воротничке, круглых очках и без пиджака.

Петя Правдин подполз к берегу, мочил голову и бормотал, стуча зубами:

– Вот напились до чертиков, вот напились…

Шеломин не пил. Надя, «как нарочно», все время болтала с этим пустышкой, Александровым. Шеломин не думал, что везде в мире – в джунглях, трущобах и дворцах, каждая самка дразнит своего самца. Он стоял на крайнем плоском камне у воды и смо-

* Вы понимаете? (*фр.*)

трел, не видя, на сплюснутый оранжевый диск. Ему хотелось сильнее, сильнее, до крайнего предела расширить грудь,

Сжать рукой сердце, поднять высоко, чтобы всюду разбрызгалась его сладкая боль. Надо было действия, безумия, борьбы – сейчас, немедленно!..

Урамбо был беспокойно неподвижен. Когда горизонт залива закрыл солнце, вокруг затолпились, закричали люди. Прыгали по крыше его клетки. И, вдруг, расступились, – страшная сила рванула и понесла его, раскачивая, вверх, на сумеречный свет.

Урамбо стоял неподвижно. Только его маленькие глаза краснели и внимательно вглядывались за решетку. До сих пор там, за ее железными крестами, были одни и те же мертвые груды грузов, змеиные клубки канатов и тьма. И внезапно мелькнула зеленая земля, – сияющая лента воды, голубое небо. Урамбо вспомнил. Его великая мука, застывшая, как кал на мертвой точке, вдруг сдвинулась, стала горячей, тяжелое тело легким. Урамбо шагнул вперед, цепь натянулась… так один раз он запнулся за цепкую лиану в дебрях. Слон поднялся, положил гигантские передние ступни на решетку и, уже совсем радостно, в захлестывающем порыве бросился вперед. Клетка разлетелась без боли. Урамбо осторожно отбросил подвернувшегося грузчика с бочонком сельдей и, подобрав хобот, помчался навстречу влажному ветру…

Шеломину, как Урамбо, хотелось бега, задыхания, освобождения. Он любил охоту, любил часами бежать за слабеющим лосем, любил шум бешеной крови, возбуждение, делающее неутомимым тело. Поэтому, не подумав ни секунды, он первый бросился за Урамбо по огромным следам.

3. Круглый глаз

В рабочих районах были крупные демонстрации. Улицы чернели толпами. Их лозунги были скромны, но на перекрестках бледные люди с большими подозрительными бородами в своих несложных речах говорили сразу и о заработке, и о Николашке, Распутине, жуликах-министрах. Все это, конечно, было давно всем известно. Об этом народ пел в песнях. Но теперь праздная толпа, вдруг освобожденная от будничной каторги, ясно и резко, не выговаривая слов, думала каким-то общим, большим мозгом: как же могут они, такие сильные и бесчисленные, терпеть, гибнуть, – из-за кого?

Полиция была вооружена винтовками.

Околоточный Петрухин, преследовавший со своим отрядом Урамбо, бывший кадровый офицер, любил воображать себя героем. Он размечтался о будущем своем рапорте, где дипломатично, но ясно, будет отмечено его исключительное влияние на благоприятный исход бунта. Ведь, если бы слон перебрался через узкие каналы, какой бы это был превосходный повод для сборищ!

М-р Грэди метался в толпе и взывал:

– Есть здесь кто-нибудь, кто говорит по-английски?!

Надя, весь год учившая First Book*, нерешительно подошла к нему.

– Скажите им, – закричал англичанин, – чтобы не стреляли! Скажите, что он стоит две тысячи! Скажите, что я послал уже за веревкой.

Урамбо вошел в воду, остановился, обливаясь из хобота. Надя перевела, что м-р Грэди послал за веревкой. Петрухин едва взглянул на нее, – все казались ему забастовщиками – и выстрелил. Слон повернулся, странно закричал, кинулся вперед.

Фараоны, не целясь, стреляли в гигантское туловище.

Урамбо осел на задние ноги, поднял голову, озаренную темным нимбом громадных ушей, запрокинул, как призывную трубу, хобот. Его глаза отразили нечеловеческую муку. Маленький кровавый рот вдруг стал жалобным, детским. Жизнь, выходившая вместе с кровью, излучала, погибая, страшное горе. Шеломин почувствовал влагу на своих глазах. Он выхватил у растерявшегося солдата винтовку, подождал секунду, когда слон качнул головой, и выстрелил между глаз…

Шеломин подошел к трупу. Иногда бывает безразлично, кто убит. Смерть. Круглый глаз. Круглый глаз был раскрыт. Сначала, когда длилась агония, он отражал боль, гнев и смертельное горе; потом застыл, стал неподвижным и мудрым. Шеломину хотелось войти в этот беспредельно спокойный печальный взор, пропасть в нем, исчезнуть…

Кто-то дернул его за руку. Перед ним стоял Рабинович. Его волосы походили на уши Урамбо, глаза сверкали.

– Как ваше имя? – гневно закричал он, касаясь карандашом своей записной книжки.

– Анатолий Шеломин…

Ответил машинально. Круглый глаз плыл по грязному черному сюртуку, окруженный желтыми фосфенами.

– Какого факультета?

– Физико-математического… но…

---

* Первую Книу (*англ.*)

– Вы мне ответите за это убийство, пигмей! – забрызгался писатель и побежал прочь.

– Зачем стрелял? Разве ты полицейский? – подскочила Надя.

Шеломин вдруг побледнел. Давно, в детстве, он застрелил Надину кошку и мучился, как преступник. Теперь, внезапно, появилось совершенно то же переживание.

– Но ведь они не умели стрелять! – попробовал он защищаться.

– Разве ты полицейский?

…М-р Грэди направился к своей неожиданной переводчице. Это была красивая девушка – заметил он – высокая, с белокурыми косами, положенными коронкой, яркими губами.

Англичанин извинился за свой костюм. Негр принес ему пиджак и шляпу.

– Я много слышал о русских женщинах, – сказал м-р Грэди.

Надя готова была расплакаться.

– Что мы скажем теперь иностранцу?!

– Скажи, что мне очень, очень жаль слона! – воскликнул Шеломин.

– Пустяки, – сказал м-р Грэди.

Его точный мозг мгновенно отметил, что, согласно пункта четвертого, заключенного с передвижным зверинцем условия, он был обязан доставить слона в Петербург, т. е. в гавань. Остальное его не касается. Поэтому зверинец должен заплатить ему. В сущности, это даже к лучшему: меньше хлопот. Что же касается Кини, то он, конечно, сумеет устроиться с полицией…

Подошел катер. На набережной м-р Грэди взял автомобиль.

– Я буду очень признателен, если Вы будете моим переводчиком на это вечер.

– О, я знаю только несколько слов, – ответила Надя, наполняясь гордостью.

Она первый раз в жизни могла поехать на автомобиле. Отказаться было невозможно.

– Толечка, купите мне билет на поезд, – сказала она. – Мы ведь едем вместе?

Шеломин расцвел.

«Ах, глаза – синие, ясные, радость, что бы ни случилось, они с ним!»

– До завтра! – крикнул он вслед.

Надя превосходно отвечала на вопросы: «Который час» и «Какая улица», улыбалась, подставляя лицо мягкому ветру, и. наконец, даже попыталась завязать разговор.

– Почему слон убежал?

М-р Грэди нахмурился.

«Черт! – подумал он. – Надо было послушаться гнусавого американца, достать слону самку».

Вслух ответил уклончиво:

– Не знаю. Со всеми так бывает…

– Да… да… У нас была лошадь, Воронко. Старая и смирная, как башкирин… Но стоило выехать на ней в степь, она неслась и бесилась, как дикий трехлеток.

– Yes, yes*, – закивал м-р Грэди.

М-р Грэди узнал, что Надя на лето уезжает. Прощаясь, он вежливо предложил учить ее английскому языку, если она захочет увидеть его, когда вернется в Петербург…

Перед глазами Шеломина в ореоле желтых фосфенов плыл круглый глаз. Вдруг из дверей пивнушки выскочил Рубанов, схватил за руку.

– Э, тезка, задумался? Пойдем пить, забудешь свою Наденьку.

В кармане у Рубанова бутылка водки, – с пикника.

Шеломину странно, что вот, человек пьян, и все кажется, будто он никак не может понять чего-то. Самого важного для него и очень простого.

– Ты только не болтай, – шепчет Рубанов. – Может быть, меня ищут шпики. Пей!

Шеломин выпил: может быть, вспомнит, поймет.

– Опять задумался… На-ди-нька…

Нет, не вспомнить. И не забыть Нади. Разве можно забыть такую девушку? Сколько ни пей.

Вечером, перед тем, как лечь спать, м-р Грэди записал в своей особой записной книжке, где ничего не было касающегося пулеметов и марганца: «Русские женщины имеют самые прекрасные фигуры на свете».

* Да, да (*англ.*).

ВЕРНОСТЬ РОДНОМУ КРАЮ

(Кондратий Никифорович Урманов)

Прозаик Кондратий Никифорович Урманов (настоящая фамилия Тупиков) родился 9 (22 по новому стилю) марта 1894 года в селе Васильевское Кокчетавского уезда Акмолинской губернии, в крестьянской семье.

Некоторое время учился в сельскохозяйственной школе, но был выгнан «за безбожие», после чего началась кочевая жизнь. «Я исходил много дорог, ...мои руки знали всякую работу», – вспоминал впоследствии писатель. Работал маляром, грузчиком на пристани, рассыльным, писарем в переселенческом управлении... Усиленно занимался самообразованием. Экстерном сдал экзамен на звание народного учителя. Но учительствовать не пришлось: помешали революционные события. С началом Гражданской войны К. Урманов уходит к партизанам и принимает участие в борьбе с белогвардейцами в родной Акмолинской губернии. Позже, спасаясь от преследования, скрывался в сибирских селах, в колчаковской столице Омске.

В первые послереволюционные годы К. Урманов активно занимался журналистикой. Работал в газете «Приишимье». В 1919 году в Кокчетаве организовывал и редактировал газету «Красный пахарь». А с появлением газеты «Советская Сибирь» он стал ее сотрудником. Вместе с редакцией газеты К. Урманов в июле 1921 года переехал в новую столицу Сибирского края – Новониколаевск, где и прожил всю оставшуюся жизнь.

Первый рассказ К. Урманова был напечатан в журнале «Ленские волны» в 1915 году. Публиковался в журналах «Сибирские записки», «Таежные зори», «Искусство», «Сибирские огни», «Сибирь». В 1924 году в Новониколаевске вышла первая книга К. Урманова «Половодье». Автор книг «Гневные годы» (1932), «В последний час» (1939), «Путь славных» (1948), «Времена года» (1951), «В тайге» (1953), «В сибирской дальней стороне» (1957), «Тайны в природе» (1972), «Листопад» (1974) и др., изданных в Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Москве. Член Союза писателей СССР с 1934 года. Кавалер ордена «Знак Почета».

Умер 9 октября 1976 года в Новосибирске.

Писатель К. Урманов – из категории тех людей, которых называют «бывалыми». Много видел, испытал, пережил, прежде, чем взяться за перо. Свою литературную деятельность К. Урманов начинал с рассказов о кочевых казахах, невольно вовлеченных в бурный водоворот революционных процессов. Он показал глубокий драматизм судьбы степняков, растерявшихся под напором социальных ветров. К теме Гражданской войны К. Урманов возвращался неоднократно. Борьба с колчаковщиной становится одной из главных тем его творчества. Ей, в частности, целиком посвящена книга «Половодье». В рассказах и очерках о Гражданской войне К. Урманов стремился показать рожденные ею глубокие жизненные противоречия – и прежде всего непримиримый конфликт «двух миров», а также насколько трудны и сложны были дороги в новую жизнь.

Хорошо известен был К. Урманов и как автор замечательных произведений о сибирской природе. Природу он воспринимал как источник величайшего наслаждения и радости. Писатель не перестает удивляться и восхищаться ее мудрой целесообразностью. При этом не просто очаровывался ею, но и постоянно что-то для себя и читателей в ней открывал. Да и сама природа у него в вечном движении и обновлении. Вместе с тем во многих произведениях К. Урманова о природе звучит протест против бездумного и бездушного вмешательство человека в естественное течение ее жизни.

Светлым лиризмом окрашены произведения К. Урманова о природе. Впрочем, не только о ней. Во многих своих вещах, в том числе и адресованных детям, он зарекомендовал себя мастером проникновенной лирической прозы.

К. Урманов был в числе первопроходцев советской литературы Сибири. И всегда хранил неизбывную верность родному краю.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги К. Урманова:

Избранное. В 2-х т. – Новосибирск, 1958.
Тайны в природе. Рассказы. – Новосибирск, 1979.

О К. Урманове:

Яновский Н. Кондратий Урманов. // «Сибирские огни», 1969, №4.
Коптелов А. Кондратий Никифорович Урманов. // К. Урманов. Избранное в 2-х т. – Новосибирск, 1958.
Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.

Кондратий УРМАНОВ

РАССКАЗЫ

Подруга

Я поднялся на перевал горы Омур-тау* еще далеко до заката. С этой высоты, к югу, я вижу неоглядные просторы Атбасарской ковыльной степи, сверкающие зеркала озер, голубую ленту реки Джабайки и недалеко от нее – нашу школу. Стоит она, окруженная высокими тополями, среди степной равнины, вдали от сел и городов. Там начало моего пути в жизнь, там – начало моей дружбы и любви.

…Радостью и болью запечатлелось то далекое время в моем сердце.

Помнится – весной, в закатный час, низко над горизонтом, пролетела комета Галлея с широким пылающим хвостом, а осенью умер Лев Николаевич Толстой. Жил великий писатель земли русской в своей Ясной Поляне, трудился до последних дней, а перед смертью уехал из родного дома, чтобы умереть среди чужих людей, – так писали газеты.

Мы, дети крестьянской бедноты, собравшиеся из разных мест, чтобы получить зачатки знаний «на казенный счет» очень немного знали о Толстом. Смерть этого великого человека словно пробудила нас, и многие ученики потянулись в библиотеку.

И летом и осенью, занятые работой на полях и лугах, мы редко брались за книгу. Режим в школе был жесткий, мы постоянно находились под наблюдением управляющего Петра Кузьмича. От его холодных серых глаз трудно было укрыться, чтобы посидеть с товарищами, почитать книжку, по-детски вспомнить своих близких и родное село. Высокий, в плотно застегнутом зеленом мундире с золотыми пуговицами, он возникал неожиданно и наводил на нас страх. Не признавались никакие болезни, пока не свалишься с ног. За всякий проступок – карцер.

Не менее жестким было отношение старших учеников к младшим. Они притесняли их, отбирали личные вещи: пимы, рубашки, полотенца, деньги – и все проигрывали в карты. Пожаловаться – нельзя было.

* Гора жизни (*казахское*).

Как-то в ненастные слякотные дни осени были проиграны мои пимы, а самому мне, за непокорность, присуждено старшими отработать неделю вне очереди на скотном дворе. Вместо пимов мне дали старенькие ботинки без подошв. За эту неделю я так простыл, что свалился в постель. Несмотря на болезненное состояние я был предупрежден старшими – не жаловаться. Через три дня меня навестил управляющий Петр Кузьмич. Мы его звали «Медным пятаком» за шрам на правом виске – след от неудачного выстрела. Он тоже «болел» неизлечимой страстью к картам, проигрывал в городе десятки стогов сена, заготовленного нами для скота, проигрывал прекрасную пшеницу, а нас кормил ржаным хлебом.

Как-то заглянув в спальню, он строго спросил:

– Ну, что лежишь? Хочешь, чтобы я отправил тебя к родителям? Нам лентяи не нужны…

Я не мог сказать о причине болезни и со слезами на глазах умолял его не отправлять меня в село.

– Я буду заниматься в классе, а как только поправлюсь, выйду на работу…

Он молча повернулся и вышел.

Через неделю привезли из города Атбасара фельдшера. Тот осмотрел меня, и уже в коридоре я услышал диагноз:

– Жесточайший ревматизм… – сказал он управляющему.

Всю мучительную силу своей болезни я узнал позже. Единственное лекарство – «летучая мазь» – не помогало, и нечем было согреть ноющие ноги. Наша спальня, где размещались сорок четыре койки, обогревалась одной печкой, отапливаемой кизяком; было холодно и сыро в этом огромном помещении. Старшие ученики срывали с младших одеяла и спали спокойно, а мы кучкой собирались у печки и коротали ночь.

Утром я на четвереньках переползал в класс и внимательно слушал уроки. А вечером, когда в спальне играли в чехарду, чтобы согреться, я был лишен возможности двигаться, и сидел за книгами. Мое прилежание иногда обращало внимание Петра Кузьмича, и он спрашивал, как мое здоровье? Я говорил, что плохо, и он уходил.

В эту зиму, прикованный к постели, я много читал. Особенно любил Пушкина и Горького. Пушкин открывал мне неведомый мир в певучих стихах и чудесных сказках, а Горький звал в просторы, рассказывал о людях свободных, стойких и своевольных. Над книгами я забывал мучительные боли и жил в иных краях, среди других людей большой нашей родины.

О поэтах и писателях я думал, что это люди особенные, одаренные богом; они свободны, как птица, ездят по всему свету, все

видят, все знают. А вот Горький на них не похож. Он все ходит и ходит по родной земле; жестким обличением мерзостей жизни он тревожит одних людей и поднимает других.

Но однажды я услышал стихи нашего ученика Лапенко. Он был тихим и часто плакал от старших. Может быть, это и сблизило нас. Ко мне он относился внимательно и сердечно.

Как-то перед весной, когда в степи появились уже первые проталины, Лапенко вернулся из столовой, принес мне тарелку супу и кусочек хлеба. Я поставил тарелку себе на колени и стал есть, а он, несколько смущаясь, сказал:

– А знаешь, я написал стихи…

Я не поверил; стихи мог написать только поэт, а Лапенко кто? Я знал, что он любит читать и на память пересказывает много стихов. Зимними долгими ночами, когда все спали, он садился к печке, под лампу, долго шелестел страницами книги, и что-то беззвучно шептал, покачивая черной и кудрявой головой.

– А ну-ка, прочитай, – попросил я его.

Он стал лицом к окну и, устремив куда-то вдаль карие глаза, прочитал восемь строчек. При этом лицо у него было какое-то особенно вдохновенное и голос немного дрожал. Мне запомнились последние четыре строки.

Вспомнишь – и так хочется
Снова былое вернуть!..
Но пусть треволненья уносятся,
Можно в мечтах отдохнуть…

О чем он тосковал, что хотел? Может быть, он вспоминал свои родные края, товарищей, и его детская душа рвалась из этой клетки, где все так неприветливо и грубо.

Меня поразил не смысл, – я не понимал, что к чему, – поразили размеренность строк и еще то, что это написал Лапенко, наш ученик, ничем как будто не отличающийся от других.

Я долго лежал, охваченный непонятным волнением. Уже давно ушел Лапенко, а я все думал о его стихах и втайне завидовал. Мне самому захотелось написать стихи моему единственному другу, дочери нашего пастуха Даскажи; хотелось рассказать ей, как я устал от страданий и одиночества. Ведь я не видел ее с того дня, как Даскажа, окончив пастьбу нашего стада, переселился на высокий берег Джабайки, в свою кыстау*. Я бы не раз побывал там, да вот… ноги…

* Зимовье.

Летом юрта пастуха стояла недалеко от школы. Даскажа оказывал мне всяческое внимание за дружбу с его дочерью. Вместо трудного моего имени он называл меня Микайля; из рук его маленькой жены Марьям я часто получал угощение: кусок мяса или чашку кумысу. А Патима? Она так привязалась ко мне, что, казалось, не могла дня прожить, чтобы не встретиться. Иногда, не смея прийти в школу, она поджидала своего Микайля где-нибудь за углом столовой или у огородного плетня. Ребята замечали ее и говорили мне:

– Иди, тебя киргизушка ждет…

Целую неделю мы работали, как батраки, с утра до вечера, и только в воскресенье отдыхали. В эти редкие дни я с утра убегал к Даскаже. Патима угощала меня кумысом, брала за руку, и мы отправлялись к реке Джабайке.

У нас было мало слов для разговора, но это не смущало ни ее, ни меня. Увидев в небе жаворонка, она говорила:

– Бозторгай…

Я повторял несколько раз это слово, чтобы запомнить, а потом говорил:

– Жаворонок…

Теперь очередь была за ней, и она раздельно выговаривала:

– Жа-бо-ро-нок… Жа-бо-ро-нок…

Показывая на траву, она спрашивала: что это?

– Трава…

– Шоп… – Говорила она.

Так мы шли до реки и перебирали всякие слова. Иногда я спрашивал, показывая на жаворонка:

– Ким*?

– Жаборонок… – смеясь, отвечала она.

У Джабайки мы садились под большой черемуховый куст, слушали пение птиц, следили за бесшумным полетом лиловых стрекоз и молчали. Я не знал, о чем думала Патима, и неожиданно спрашивал, показывая на прозрачную воду:

– Ниге**?

– Су…

– Вода, – Говорил я.

– Бода… Бода…

Вечером я записывал в тетрадку все новые для меня слова и переводы к ним, а встретившись с Патимой, начинал экзаменовать

* Кто это?
** Что это?

ее. Она была неграмотна, но ее выручала прекрасная память. Были и затруднения: в ее родном языке звук **В** заменялся **Б**, а шипящие **Ч** и **Щ** выговаривались, как **Ш**. Слово «человек» она произносила – шелобек, а «цветок» совсем не могла выговорить. И все же наш словарь обогащался, и мы понемногу начинали понимать друг друга.

Всю зиму я не выходил из школы и не видел Патиму. С приближением весны я все чаще и чаще стал вспоминать ее и с нетерпением ждал первой встречи.

Но вот пришла весна; благодатное солнышко погнало снег со степи, запестрели проталины, появились птицы. Наш школьный столяр Опанас, длинноусый украинец с вьющимся черным чубом сделал мне костыль, а напротив окна, у которого стояла моя кровать, повесил на тополь скворечник.

– Скушно, братыку? – спрашивал он меня, заглядывая в глаза. – Та кынь ты цю хворобу, нехай ии витры унесуть. Весна вже прийшла, скворчики прилетели… Я тоби скворешенку поблыжче повысив, шоб веселийше було…

– А Даскажа переехал? – не утерпел я.

– Переихав, переихав… Вже скотину пасе…

С этого дня я начал ждать Даскажу, а с ним и Патиму.

С наступлением весны все ученики рано утром покидали спальню и отправлялись в поле, на пахоту. Я оставался один и еще больше мучился одиночеством. Правда, костыли помогали мне выйти на крыльцо, послушать пение жаворонка или скворца. Увидеть весенний перелет уток и крикливых гусей, но это еще больше тревожило меня. Хотелось вместе с товарищами шагать за плугом или сеялкой и вдыхать ни с чем не сравнимый аромат весны.

В эти тоскливые дни, когда за стенами школы уже начинала бушевать обновленная, как бы заново начинающаяся жизнь, я написал стихи моей подруге:

Ласково солнце греет,
Потому что пришла весна.
Приходи, Патима, скорее,
Ты у меня – одна!..

Даже самому не верилось, что я мог написать такое. Четыре строки – и всю душу мою видно!

Я сидел на кровати, смотрел на веселого скворца и не читал, а пел свои стихи, пел и ждал Патиму. Ведь это ей написаны эти строки, и она поймет мою тоску.

В этот утренний час во всей школе было тихо, только на верхнем этаже слышались размеренные шаги управляющего: он в окно наблюдал за работающими в поле учениками. Неожиданно в коридоре застучали тяжелые сапоги Даскажи. Я по стуку догадался, что это идет он.

Несмотря на теплую погоду, Даскажи был одет в тяжелую шубу, в сапоги с пайпаками*, а бритую голову покрывал лисий малахай. Лицо у него было узкое, с тонким носом, под которым чернели жиденькие усы, да на нижней губе завивался пучок таких же реденьких волосиков.

Он был весел и еще издали приветствовал:

– Амансызба, Микайля!..**

А пожимая мне руку, спросил:

– Кол, аяк – жаксыма***?

Я отрицательно покачал головой.

– Твоя больна?..

Даскажа неплохо объяснялся по-русски, но всегда свою речь пересыпал словами родного языка.

– Ой-бай!.. Однако твоя сапсем жаман****, Микайля…

Даскажи рассказал, как провел зиму: ловил зверушек и шкурки возил продавать в город – жене и дочери купил обновки. Больше ему, видно, хвалиться нечем было, повздыхал и ушел.

Я знал их зимовье – землянку. Темно в ней, холодно и сыро. Может быть, поэтому он так радостно настроен – теперь можно жить в юрте, на свежем воздухе.

Назавтра Даскажа явился снова, с большой кошмой и мешком. Из мешка он достал сверток, развернул его и подал мне кусок хорошо сваренного мяса:

– Жейде*****… Молодой барашка…

Я не успел еще съесть мясо, как он налил мне в плоскую чашку кумысу.

– Ишь******… Траба молодой – кумыс жаксы…

Я пил и чувствовал, как живительное тепло разливалось по всему телу. А Даскажа, схватив кошму, ушел, и я слышал, как он хлопотал под моим окном. Потом он появился снова и, поддерживая меня под руку, повел в палисадник.

---

* Валеные чулки.
** Здравствуй, Михаил!
*** Руки, ноги здоровы?
**** Плохо.
***** Ешь.
****** Пей.

Когда мы опускались с крыльца, я услышал голос управляющего; он стоял на балконе:

– Ты куда его, Даскажа?

– Сонса мала-малай грей – его лучше… А то Микайля сапсем пропул… Ветра гуляй – Микйля падай… Сапсем жаман…

– Ну, полечи, полечи, лекарь…

Это было сказано с презрением, и мне тяжело было слышать. Ведь он совсем забыл обо мне, а чужой, иноплеменный человек оказывает мне помощь.

Кошма была разостлана в палисаднике в таком месте, где деревья не затеняли солнце. Укладывая меня, Доскажа говорил:

– Сонса – ой, жаксы, ой карашо!.. – потом закатал мои штанишки выше колен и погладил теплыми руками мои опухшие ноги. – Сонса – грей, кумыс пей, нога – ходи… Прямо ходи Даскажа юрта, Патима гости ходи…

Согретый солнцем и, может быть, еще больше человеческой лаской, я уснул со слезами на глазах.

Уверенность Даскажи во всемогущество солнца передалось и мне.

– Сонса и кумыс – ой, карашо!.. – часто повторял я.

Теперь я каждый день брал кошму, подушку и, тихонько передвигаясь, отправлялся в палисадник. Если в спальне были старшие ученики, они беззлобно провожали меня:

– Наш Костыль на дачу покатил…

Я не обижался на эту кличку. Мне бы тоже хотелось поработать в поле, но…

В обеденный перерыв ко мне приходил Лапенко и приносил что-нибудь покушать. Часто читал свои стихи или пересказывал прочитанное, и мне было легко с ним.

Однажды утром, когда я лежал в палисаднике на кошме и наблюдал за трепетными солнечными пятнами на больших окнах нашей библиотеки, явилась Патима; в руках у нее темный чайник и маленький узелок. Одета она в бордовый безрукавый камзольчик, весь прошитый розовыми ленточками, сиреневое платьице было длинным и чуть не закрывало маленькие козловые сапожки. А на голове красная шапочка, опушенная колонковым мехом и украшенная большим совиным пером. Она, как нарядная лисичка прошмыгнула между зеленых кустов акаций и, улыбаясь, остановилась возле меня.

– Амансызба, Микайля!.. – приветствует она.

Я привскочил от радости и, схватив ее за тонкую руку, посадил рядом с собой на кошму.

– Патима!.. Как я тосковал о тебе!.. – Я держал ее за руку, любовался черными блестящими глазами и первым ровным загаром на лице. А она растерянно улыбалась и не понимала того, что я говорил.

– Ни атасын?*

Ну как ей сказать? У нее был слишком бедный запас русских слов, и еще – она многого не понимала в нашей жизни. Это объяснение я откладываю на будущее.

В черные косички Патимы вплетены красные ленточки с пришитыми к ним серебряными пятачками. При повороте головы монетки звенели, и было приятно слушать это звон.

Как и отец, Патима спросила, здоровы ли мои руки и ноги. Я сказал, что стало лучше, что кумыс и солнце хорошо помогают.

– Карашо… – повторяет она и наливает мне из чайника чашку кумысу.

– Ишь!..

Я с жадностью припадаю губами и без отдыха выпиваю всю чашку..

В узелке оказались: кусочек мяса и баурсаки**.

– Жейде… – подает она мне.

Я закусываю, пью кумыс и, услышав песню жаворонка, спрашиваю:

– Кто это поет?

– Жа-бо-ро-нок… – смеется Патима.

Значит, не забыла, милая моя ты Патима!

– А это кто? – показываю я на скворца?

– Караторгай…

– А по-нашему – скворец.

– Шкборес… – с трудом выговаривает она.

– А что он делает?

Патима долго вспоминает, глядя на скворца и играя монетками своей косы.

– Пой, – наконец говорит она.

– Не пой, а поет, – поправляю я.

– Пой-от… Пой-от… – Патима рада и повторяет несколько раз это русское слово.

– А теперь слушай… – говорю я и начинаю нараспев читать стихи, написанные для нее. Каждое слово я произношу раздель-

* Что ты говоришь?

** Шарики из теста, жареные в масле.

но и вкладываю в него все свои переживания. Патима слушает, но вижу, – ничего не понимает. Только когда я произношу:

Приходи, Патима, скорее,
Ты у меня – одна!.. –

у нее делаются большие глаза и она виновато смотрит на меня. Музыка слов должно быть трогает ее, а что там, за этими словами? Я читаю еще и еще, читаю уже с отчаянием – остаться непонятым, а она сидит расстроенная, смотрит на меня и тихо спрашивает:

– Ни айтасын, Микайля?..

Тогда мне приходит мысль – сделать перевод моих стихов на казахский язык. Но как я могу это сделать, когда сам знаю мало слов? Я достаю из-под подушки тетрадку и начинаю переводить. Первые две строчки мне никак не удаются. Я не могу перевести слова «ласково» и «потому что». А две последние строчки я перевел так:

Журуге, Патима, тезью
Сын минике – бирь!..*

И мне показалось, что Патима поняла сокровенный смысл этих строк. Она улыбнулась, и по лицу будто луч солнца прошел:

– Ой, Микайля!.. Сыныке – акын…

Это было уже большой похвалой за неполностью понятые стихи…

Встречи наши были редкими; Патима боялась управляющего и насмешек учеников.

Уже расцвели кусты желтой акации, покрылась белым цветом черемуха, а молодые листья тополей при чуть заметном ветерке лепетали, как малые дети. Зазеленели наши обширные пойменные луга и возвышенная степь за рекой Джабайкой. Пели скворцы, жаворонки и зорянки, щебетали ласточки, а в тихие вечера из черемуховых и тальниковых зарослей доносились соловьиные трели, и я часто подолгу не спал, слушая весь этот радостный, неумолкающий весенний гомон.

Как-то я занялся составлением словаря. Патима сидела рядом на кошме и смотрела, как бегал карандаш по белым страницам тетради. Я показывал на полынь, а она говорила – жуусан, ковыль – боз, дерево – агаш, тополь – терек, акация – караган, воробей – сууторгай, копчик – жегалтай… много-много слов прибавилось в тот день в моей тетрадке. Мы так были заняты своим делом, что не слышали, как к ограде палисадника подошел управляющий.

* Приходи, Патима, скорее. Ты у меня одна.

– Вы что это делаете?..

Мы вздрогнули. Я всегда боялся его трескучего голоса. Патима вскочила, схватила чайник и скрылась за кустами, а я, как прикованный, сидел с тетрадкой в руках и смотрел в его холодные, недобрые глаза.

– Что это еще за дружба?

– А разве нельзя? – спрашиваю я и долго гляжу на его чисто выбритое узкое лицо с темным пятачковым шрамом на правом виске и глотаю накипающие слезы.

– Ну и глупый… – говорит он, видя мое волнение. – Что, у тебя товарищей нет? Ведь она киргизушка, а ты русский, какая же может быть дружба?..

Я молчу, гляжу в его строгие глаза и не могу унять слез. Ведь у меня никого здесь нет, к кому бы я мог так привязаться, как к Патиме. Разве ему об этом расскажешь?..

– Мне хочется выучить казахский язык, – говорю я всхлипывая.

– Перестань, – приказывает он. – Дружбу завел!.. Ты мальчик, а она девочка… Чтобы я больше этого не видел…

Петр Кузьмич, наконец, уходит, и мне кажется, что Патима ко мне больше не придет…

Так оно и случилось. Прошло много дней, а Патима не приходила. Теперь бы мне самому сходить к ней, да ноги еще плохо слушаются. И все же я решил. С большим трудом добрался до столовой, потом, прячась за плетнем нашего огорода, вышел к старице, из которой Даскажа брал воду. Его потемневшая юрта стояла недалеко, и я надеялся здесь кого-нибудь увидеть.

Старицу окаймляли высокие кусты тальника, и за ними мне легко было укрыться от глаз управляющего. Там я однажды и дождался Патиму.

Ничего не подозревая, она быстро шла к старице с чайником и кумганом в руках.

– Патима! – шепчу я из укрытия.

Она вздрогнула и остановилась.

– Ой, Микайля!..

Мы садимся и долго сидим под зеленым навесом куста, и Патима забывает, зачем она пришла. Здесь нас никто не видит, мы можем говорить громко, но разговор не вяжется, словно бы мы забыли все слова или сделали что-нибудь нехорошее и нас ждет наказание.

– Тебе плох? – спрашивает она.

– Нет, мне теперь лучше… Видишь, куда дошел…

– Дошел… – повторяет она и просит: – Пой мала-мала…

Новых стихов я еще не написал, а старые петь не хочется, и я рассказываю ей об управляющем, какой он строгий и как его все боятся.

– Жаман кси*… – соглашается она.

Возле юрты я вижу мать Патимы; она прикладывает руку к белому жаулыку** и с беспокойством смотрит в нашу сторону.

– Сыныке шеше таныш***, – говорю я .

Патима вскакивает, гладит тонкой рукой мое плечо, хватает чайник с кумганом и идет за водой.

Когда она проходит мимо, я спрашиваю:

– До завтра?

– Ертень, – кивает она головой, и в ее косичках звенят серебряные монетки…

Управляющий сказал, чтобы я больше ходил – «разминал ноги». Это меня очень обрадовало. Теперь я мог уходить на целый день, в школе я никому не нужен был.

Рано утром я брал две удочки, кусок хлеба, небольшое ведерко и шел на Джабайку. Там у меня было любимое местечко под большим кустом черемухи, против острова, покрытого воздушными гроздьями хмеля.

У старицы я копал червяков и неторопливо шагал по лугам. Обильные травы все были в цвету, и над этим цветным покрывалом мельтешили бабочки, стрекозы, перепархивали жаворонки, чеканчики, желтогрудые плиски, и оттого, должно быть, что я мог ходить, большая радость наполняла мое сердце, и я пел бесконечно долгую песню без слов.

Я научился ловить рыбу, и был доволен, когда мое ведро наполнялось хотя бы наполовину уловом. В такие счастливые дни я заходил к Даскаже, и мать Патимы, тихая и скромная Марьям, жарила серебристых чебаков. Если Даскажа был дома, а у меня в ведре оказывалась небольшая щучка, он выбрасывал ее собакам.

– Шортан – жаман балык, – говорил он, не объясняя, почему щука плохая рыба.

---

* Плохой человек.

** Головной убор.

*** Твоя мать беспокоится.

Иногда весь улов я приносил в столовую. Старшеклассники съедали всю рыбу, не оставляя не только малышам, но и мне, добытчику.

Как-то мне посчастливилось поймать трех крупных линей. Эта богатая добыча так обрадовала меня, что сейчас же отправился в школу;

Мне хотелось подарить этих линей нашему столяру Опанасу за его внимание ко мне. Но возле столовой меня встретил управляющий и отобрал рыбу.

– Ты себе еще поймаешь…

Мне было жалко рыбу, но я был доволен, что он не запретил ходить на реку.

Патима часто была со мной на рыбалке, сидела рядом и пристально смотрела на поплавки. Если поплавочек начинал шевелиться, она тихонько касалась моего плеча и шептала:

– Клюй-от…

Потом сама научилась вытаскивать чебаков и была очень рада.

Когда на лугах созрела клубника, а на кустах смородины дозревали черные крупные ягоды, Патима приносила с собой большую деревянную миску, собирала ягоды и угощала меня. Смородина была еще кисловата, я доставал из кармана кусок сахару и протягивал Патиме. Она, как мышонок, грызла понемногу сахар и бросала в рот горсточками ягоды.

– От жаксы! – восхищалась она. – Кант ды каракат – сапсем демджи*…

Но нашей тихой радости вскоре пришел конец.

Начался покос и, несмотря на то, что я плохо ходил, управляющий отправил меня метать стога. Эта тяжелая работа была совсем не по моим силам. Я отставал от товарищей, а Петру Кузьмичу казалось, что я ленюсь.

И однажды утром, когда зачитывали наряды на работу, управляющий сказал мне:

– А ты собирайся домой… До каких пор мы будем нянчиться с тобой?..

Горько было слышать эту несправедливость. Здесь я заболел, стал почти калекой, и меня отсылают домой, как негодного. Я просил, старался убедить его, что скоро поправлюсь и буду работать, как другие.

– Дайте мне пока какую-нибудь другую работу…

Он холодно оборвал:

---

* Ой, хорошо! Сахар да ягоды — совсем вкусно!..

– У нас не госпиталь. На твое место найдутся другие… После обеда зайдешь за документами…

Два дня я прожил в ласковой семье нашего столяра. Опанас бранил управляющего, называл его «катом».

– Малу дытыну, як ту собаку… Эх!.. – и крутил головой.

Куда теперь идти? Из дому я ушел, чтобы учиться, – и вот… Как же быть? Как меня встретят ровесники? Что скажут родители? Ведь они надеялись когда-нибудь увидеть меня ученым человеком, думали – в старости им будет на кого опереться.

А столяр говорил:

– Ни, хлопче, пишов у дорогу – иды, назад не ворочайся.

И я решил идти в город, в жизнь, за куском хлеба. Столяр дал мне адрес знакомого маляра, снабдил продуктами.

– Щасливо, – пожимая мне руку, говорил этот славный человек. – На свити ще нимало добрых людей…

Но прежде чем отправиться в далекий путь, я зашел проститься с Патимой и ее родителями.

Даскажа был взволнован.

– Ой, Алла!.. Сапсем худой шелобек управляй… Шайтан…

Патима, как только услышала обо всем случившемся со мной, вышла из юрты. А тихая Марьям, не зная русского языка, глядела на меня с материнской нежностью и все порывалась что-то сказать, не раз касалась рукой моей головы. Она положила в мою сумку кусок отваренной баранины, несколько колобков сухого кислого молока и немного баурсаков.

На прощанье Даскажа подал мне чашку кумысу и, по обычаю, прижал мою руку к своей груди.

– Жел болсын*!..

Мне не терпелось скорее увидеть Патиму, но когда я вышел из юрты, ее нигде не было видно.

Я прошел к старице, где мы часто встречались, окликнул, но никто не отозвался…

Я шел лугами к реке и нигде не видел своей маленькой подружки в сиреневом платьице. Я не мог уйти, не простившись.

У голубой Джабайки с белыми цветами водяных лилий, под высоким кустом черемухи, где стояли мои два удилища, я, наконец, увидел Патиму. Она сидела, подперев голову руками, и плакала.

– Ну, зачем же слезы?..

Я стараюсь приободриться, сажусь рядом и глажу ее черные волосы.

* Счастливый путь!..

– Не надо, Патима, плакать…

У меня бесконечно много слез в душе – и от обиды на несправедливость, и от несбывшейся мечты, и оттого, что безжалостно рвется моя первая дружба, – но я креплюсь; у меня много ласковых слов на языке, но я боюсь ее слез.

Мы долго молчим, потом она спрашивает:

– Микайля, ты придошь?

– Приду, Патима, обязательно приду… Вот схожу в город и приду…

И мне казалось, что я говорю правду. Ну как я могу забыть ее? Как я могу вычеркнуть из памяти доброго Даскажу, тихую Мрьям и славную семью Опанаса? А этот пышный ковер лугов, прозрачные воды Джабайки, острова, повитые хмелем, неумолчные песни птиц? Разве все это можно забыть? Они, эти видения детства, всю жизнь будут и согревать и мучить мое сердце…

Патима смахнула рукавом слезы, и ее личико посветлело.

– Ну, вот и хорошо!

Я пожимаю ее узенькую руку и говорю, что солнце покатилось к закату, а идти мне далеко.

– Кош!..

Патима, как и отец, желает мне счастливого пути и еще долго не отпускает.

Я ушел, а Патима так и осталась сидеть под кустом черемухи, где мы часто ловили с ней рыбу…

Позднее, когда были пройдены уже какие-то пути в жизни, а сердце хватало больше горечи, чем радости, я часто вызывал в памяти образ моей подруги детства и писал ей песни. Большие дороги увели меня слишком далеко от любимых мест, запечатлевшихся в памяти на всю жизнь, и я не знаю дальнейшей судьбы Патимы. Может быть, она стала знатным человеком своего колхоза, может быть, работает в городе на заводе или учит детей. Не знаю. В моей памяти она так и осталась маленькой девочкой с тугими косичками, позванивавшими мелкими серебряными монетками, девочкой в сиреневом платьице, какой я оставил ее под большим кустом черемухи на берегу голубой Джабайки…

И когда по весне над нашими просторами летят из теплых стран лебеди, гуси, журавли, утки, когда в лесах и на поймах начинают звенеть песни певчих птиц, мне всегда кажется, что это Патима посылает их мне, как привет из родного края, привет весны, привет неумирающей дружбы…

Из цикла «Охотничьи зори»

Березы в алмазах

С вечера заненастило. Легкий ветерок гнал туман низко-низко над землей, казалось, развешивал его седые космы на ветвях берез, расстилал по прошлогодней траве.

Остановившись у стожка сена, я решал: идти в деревню ночевать или остаться здесь, под стогом?

Мой плащ потемнел, сено тоже было влажным, но до деревни было не близко, и я решил заночевать под стогом.

Сказывалась долгая тоскливая зима, хотелось услышать первые весенние голоса птиц, понаблюдать за пробуждением природы, и это желание было столь же непреодолимым, как желание утолить жажду при виде воды.

Я зарылся в стог и уснул.

Ночью ударил крепкий мороз, но мне было тепло, и я проспал зорю. Проснулся с горькой обидой на себя. Как же! Проспал то, за чем ехал длинные километры, чего ждал всю зиму, от чего часто трепетало сердце при воспоминании и горело огнем, похожим на вдохновение!

Я отвалил сено и… замер: далеко за низменной равниной поднималось яркое, большое солнце и березы, стоявшие рядом у стога, вспыхнули множеством алмазов. Легкий ветерок шевелил ветви, и алмазы искрились живым переливающимся огнем.

Я выбрался из своего логова и стал у березы. Рядом, в пади, уже чуфыркали и бормотали тетерева, звенели голоса мелких птиц. Утро ясное и спокойное наполняло меня юным восторгом.

Потом ветерок подул сильнее, алмазы вспыхнули еще ярче и посыпались на меня…

Я стоял, как зачарованный, ни о чем не жалел. Всему свое время, сегодня я переживаю одно, завтра мне откроется что-то иное, новое. Будут у меня еще и охотничьи зори – впереди весна, большая красочная пора жизни всего живого на земле…

Жизнь

С вечера я почувствовал себя плохо: болела голова, по временам знобило. Предполагая приступ малярии, я проглотил сразу две порции хины и, забравшись в палатку, уснул.

Утром я слышал, как товарищи, собираясь на зорю, переговаривались.

– Надо разбудить его… – говорил Ваня.

А Саша возражал:

– Нет, нет… Пусть отлежится… Это такое дело… Я вот еще полушубком его прикрою…

Сердечный поступок товарища тронул меня. Мне хотелось обнять его, но почему-то всегда так случается: из-за ложного стыда – показаться наивным и смешным – заглушаешь в себе высокое чувство благодарности.

Я слышал, как они дружно всплеснули веслами, и… мне вдруг показалось, что я сам плыву по обширному, чистому плесу озера Песьяно. Вода плоская и какая-то вязкая; а перед носом лодки, на дугах волны, то расплываясь в улыбку, то вытягиваясь , качается хмурое, желтое лицо луны. Свет призрачный и неверный, только черные тени от высокого бора четкой изломанной линией колеблются на воде. Я плыву; и луна плывет. Потом лодка понеслась быстрее, словно ее подхватило бешеное течение, сердце замерло и… я проснулся.

Душно. Я сбрасываю с себя шубы и на четвереньках выползаю из палатки.

Над Чуманским бором поднялось солнце и, казалось, успокоило все в природе: скатились тучи за дальний горизонт, утихли ветры, и обогретая земля предстала обновленной и яркой в всей молодой зелени.

Еще вчера все цепенело от холода. Небо клубилось тяжелыми тучами, куражливый ветер налетал на кудрявые сосны, на голые березы и осины, мял своей буйной силой кусты черемухи и тальника, окружившие наш остров, и словно говорил:

– Да проснитесь же вы!..

А сегодня – бор закурил свои благоуханные смолы, тальники выметнули темно-желтые метелки, тонким ароматом тянет от развертывающихся почек смородины – все это случилось потому, что солнце обласкало землю.

И я, согретый его живительным теплом, сижу на пеньке, слушаю многоголосое пение птиц и присматриваюсь ко всему, словно вижу в первый раз.

Вода на озере будто посветлела и ожила чем-то похожим на тысячи веселых улыбок. Между Чуманским бором и круглым колком высокого осинника я, как в ворота, вижу в синей дымке далекий заобский бор. На всем этом пространстве, до Оби, не найти сейчас ни любимой реки Уень, ни знакомых озер – все залито по-

лой водой. Над этой обширной поймой то и дело тянут стаи уток, многие из них появились здесь на свет, а сейчас и не могут узнать свою родину – так много воды.

На десятки километров раскинулась эта пойма по левобережью Оби. По кустам, на полях, в наспех сделанных шалашах сидят на «птичьих дорогах» охотники, выбросив впереди себя деревянные чучела, и громом выстрелов встречают доверчивых птиц. В отдалении эти громы никого не пугают, и жизнь идет своим чередом.

Товарищи мои еще не вернулись с зари, нет и рыбаков, живущих с нами на острове. Но я не одинок на этом маленьком клочке земли. Вокруг меня шумит жизнь, идет большая и сложная работа.

Вот на рыбачьей избушке собирается стайка щеглов – все самцы; они, как воришки, подлетают тихо, незаметно и, опустившись на крышу, начинают торопливо и усердно теребить нитки из старых заброшенных вентерей – строительный материал для своих гнезд. Вентери уже отслужили человеку и больше не нужны, но я, для порядка, все-таки говорю щеглам:

– Вы что делаете, озорники?

Они недоуменно поднимают пестрые головки с полными носами натеребленного волокна и невинно так:

– Пить-пить?..

Будто спрашивают:

– А что, разве нельзя?..

И, не дождавшись моего ответа, срываются табунком и летят в лес, к своим гнездам. Вскоре они возвращаются и так же тихо и молча продолжают разрушать старое, чтобы строить свои новые гнезда.

Щеглы – наши гости, часто услаждают нас своим пением; но на нашем острове есть и постоянные жители. Вот на вершину старой засохшей осины, стоящей влево от избушки, в мочажине, садится дикий голубь и сейчас же начинает надувать свой зоб – ворковать. По-видимому, он живет недалеко в бору и очень любит нашу осину. Но не успел голубь вывести и двух колен своей несложной песни, как из кочек, среди которых стоит осина, взмывает вверх бекас – эдакое серое, долгоногое существо.

Бекас, вероятно, не думал нападать на голубя, его трудно было заподозрить в такой храбрости, но еще меньше ее оказалось у гостя, – он не выдерживает «натиска», срывается с ветки и плавно летит в бор, с таким важным видом, будто и в самом деле никого не боится на свете.

Длинноносый хозяин усаживается на ту же ветку, на которой только что сидел голубь, и сейчас же объявляет во всеуслышание:

– Хо-чу ле-чу…, хо-чу ка-чу…

Куда он собирается «катить», – неизвестно. Он все утро, с ранней зари только и делает, что «катается», заберется на огромную высоту, сложит крылышки и, падая, производит такой звук, как блеяние ягненка. И в народе о нем говорят:

– Барашки заиграли, холода угнали…

Пока я наблюдаю за бекасом, на вторую осину, стоящую недалеко от палатки, садится пара небольших птиц. Что это за птицы? Где они? Сели – и исчезли…

Я пристально вглядываюсь в каждую веточку. Осина еще не оделась трепетным листом, и трудно на ней укрыться. Но птиц нигде не видно. Меж тем я ясно видел, что они сели. Я ощупал осину взглядом сверху донизу. Здесь, в двух метрах от земли, маленькое дуплишко, и в нем сидит наша трясогузка на четырех маленьких синеватых яичках.

Гнездо она строила с нашим приездом. Тогда у нее был друг. Он заботился наравне с ней, но вот уже несколько дней мы его не видим. Что с ним? Может быть, он погиб в лапах хищника?

Теперь трясогузка одна.

Незаметно между нами завязалась дружба. Во время завтрака или обеда она изредка покидает свое гнездо и ходит вокруг нас – тонкая, изящная, с серенькой головкой и черным нагрудничком. Мы бросаем ей кусочки рыбы, крошки хлеба, но она, кажется, не ест нашей пищи. Может быть, ей просто хочется поговорить с хорошими людьми, побыть возле них.

Когда подходишь к гнезду, она вылетит, сядет рядом и «плись-плись»… Как будто говорит:

– Я маленькая, не обижайте меня, пожалуйста…

Я вижу: она сидит в своем гнездышке и будто дремлет; ее маленькая серенькая головка опущена, кругом покойно и тихо. Сердце отдает тепло тем, кто заставил ее покинуть цветущий юг; тысячи километров она летела через степи и горы к себе на родину, чтобы здесь вывести и вырастить своих деток.

Все ради них…

Но вот она вздрогнула, беспокойно завертела головой. Что с ней?

Неожиданно я замечаю: две старые птички быстро-быстро бегут по стволу осины вниз головой, к гнезду трясогузки. Их окраска настолько похожа на цвет коры осины, что их трудно было бы заметить, если бы они сидели спокойно. Это поползни. Ловкость, способность бегать по стволу дерева в любых направлениях и быстрота, с которой они приближались к дуплу, поразили меня.

Я не успел еще осознать всего, как они стремительно напали на трясогузку, выбросили хозяйку из гнезда и начали разорять его.

Трясогузка тотчас же бросилась ко мне. У нее не было сил бороться с этими сильными птицами.

– Плись-плись… – жаловалась она. – Что же будет с моим гнездом? Я маленькая, защити меня от этих разбойников…

– Да, это непорядок!.. – говорю я и. схватив палочку, бросаю в поползней. – Ах, вы нехорошие» Я вот вас!

Но они ничего не боятся, словно прилипли к осине и продолжают свое дело. Тогда я вскакиваю, подхожу к дереву и десяток раз бросаю всем, что ни попадет под руку.

– Ишь вы, сами не хотите делать себе гнездо, на чужое позарились!.. Нет, так дело не пойдет!..

Их смелость удивляет меня; брошу палочку – отбегут на полметра и ждут – не уйду ли я?

Пока я воюю с поползнями, трясогузка уже порхнула к своему гнезду. Она верит мне и не боится, что я бросаю палками. Это не в нее.

Больших трудов мне стоило прогнать поползней с осины. Они хорошо умеют прятаться за ствол дерева. Спрячутся и выглядывают оттуда, ждут. Только убедившись, что у трясогузки есть защитник, они улетели.

Яички были все целы. Трясогузка, приводя в порядок свое нарушенное гнездо, непрестанно жаловалась. Она не понимала, что нападение поползней – не простое озорство, а необходимость, что, может быть, завтра самка-поползень должна будет снести свое первое яичко. Но куда? Гнездо-то ведь скоро не сделаешь!

Трясогузка долго возится и, наконец, успокаивается.

Я отхожу к палатке и вижу: по широкому, спокойному плесу озера медленно плывут две лодки.

Я был рад возвращению друзей, но мне кажется, что и маленькая трясогузка была частично повинна в моем хорошем настроении.

Трошка

Это был мой последний выход за осенней, пролетной птицей. Мне казалось, что, несмотря на холода, сковавшие озера, где-то еще могут встретиться запоздавшие, одинокие утки.

Посетив одно, другое озеро, я убедился, что встречу с водоплавающими придется отложить до весны – и на озерах, и в полях было пусто.

Хотя до вечера времени было еще много, я круто повернул назад и медленно зашагал к станции.

Над притихшими полями низко ползли белесые тучи, походило на то, что они вот-вот опустятся на землю обильным снегом. Холодный ветерок иголками покалывал щеки, но идти было легко, и я по привычке заглядывал в каждое озерко, встречавшееся па пути. Везде одно и то же – шумят под ветром низкорослые почерневшие кустарники да камыши с осокой, и только – хоть до ночи стой – не услышишь птичьего голоса.

Но вот в одном кочкарном болотце мне показалось, что кто-то шмыгнул между кочками. Я бросился туда и, к своему удивлению, увидел – чирка-трескунка. Мне не стоило большого труда поймать однокрылую птицу; это был самец со всеми признаками весеннего наряда, правое крыло у него было перебито и болталось на тончайших сухожильях. Ранение произошло, видимо, давно и, может быть, не на этом озере, и мой пленник настолько отощал, что был легок, как пушинка,

Я не замедлил окрестить его Трошкой: весенней порой его трескучий голос слышно на каждом озерке, где задерживаются утки.

– Ну что, Трофим Иванович, пойдем жить ко мне? Тут и холодно и страшно одному, не правда ли?..

Трошка дрожал всем своим маленьким телом и пря тал голову. Я посадил его за пазуху и ускорил шаг.

Ни в пути, ни дома Трошка не протестовал против пленения. Может быть, потому, что был болен и отощал? Первый кусочек хлеба я насильно вложил в его узенький носик, но воду он стал пить сразу.

Утром я исследовал рану. Ни о каком сращивании перебитой кости нечего было и думать. Застаревшая ранка поджила, и болтавшееся крыло только причиняло боль и мешало. Я ножницами отрезал оставшиеся жилки, и оно отпало. Мне показалось, что Трошка веселее зашагал в свой уголок.

Так началась наша совместная жизнь.

Вскоре Трошка привык не только к своему уголку, к посуде с хлебом и водой, но и к своему имени. Работая за столом, я старался не смотреть в его сторону и, выждав, когда он положит головку на спинку и заснет, тихо произносил:

– Трошка, иди кушать...

В первые дни это не оказывало никакого действия, он смотрел на меня и не поднимался с места. Тогда я вставал, подходил к нему и на руке предлагал скушать рыбьи кишочки. Это любимое блюдо угасило в конце концов в нем страх и выработало рефлекс. Теперь

стоит только сказать: «Трошка, иди кушать», – как он вскакивает и почти бежит к моим рукам. Тут уж обязательно нужно его угостить любимыми кишочками или мелко нарезанными кусочками свежего рыбьего мяса.

Получив порцию, он сейчас же уходил на свое место и оттуда следил за всеми моими движениями.

Иногда я усаживал его на колени и рассказывал о долгой-долгой зиме, которую нам предстояло пережить, а мама слушала и говорила:

– Ну что ты болтаешь, как маленький! Не дано птице понимать человеческую речь...

– Как же не дано, – возражал я,– а кушать-то он идет, когда позову...

– И собака идет, когда ей кричат: на!..

– Так собака давно приучена человеком, а это птица да еще дикая. Разве этого мало?..

Мама смеялась и называла меня ребенком, хотя я давно уже вышел из этого возраста.

– Учи, учи, может, потом в цирке показывать будешь...

Эта тихая жизнь и для Трошки и для меня скоро кончилась. Мама принесла откуда-то пестрого маленького котенка. Он еще ходил как-то боком, неумело подпрыгивал и часто падал.

Трошка встретил нового жильца недружелюбно. Он зашипел на него и легонько клюнул в бок. Котенок отскочил, долго смотрел на драчуна, потом воинственно поднял хвост трубой и прошел мимо.

Здесь было явное неравенство сил. Трошка был старше и, конечно, сильнее, но котенок – мы его звали Васькой, – несмотря на свою молодость, имел острые, как иголочки, коготки и большое желание поиграть, чего Трошка не понимал.

Рыбьи кишочки и для котенка были лакомым блюдом, и, предвидя возможные в дальнейшем схватки, я стал потихоньку наказывать Ваську, когда он приближался к Трошкиному месту. Вскоре Васька стал знать черту, за которую не следовало переступать, отношения наладились и закрепились.

И вот началась холодная, суровая зима. Как мы переживем ее? Вечером, когда за окном шумела пурга, я усаживал Трошку на колени, гладил по спинке и мечтал вслух: о весне, когда вскроются реки и озера, о на ших походах с ним, о встречах с его родичами...

– Ребенок, право слово, ребенок... – говорила мама.

А мне нисколько не обидно. Я хочу, чтобы Трошка, после мук и страданий, пережил радость весны, как ее переживаем мы…

ПЕВЕЦ АЛТАЯ И ЛЮБВИ

(Иван Евдокимович Ерошин)

Поэт Иван Евдокимович Ерошин родился 10 (22 по новому стилю) мая 1894 года в селе Ново-Александровка Соколинского района Рязанской губернии, в крестьянской семье. Систематического образования не получил. Детство и юность его прошли в основном в Москве и Петербурге. Четырнадцатилетним подростком после смерти отца трудился на торфоразработках. Был мальчиком на побегушках в трактире и булочной, разносчиком газет и аптекарских товаров. В 1912 году вступил в революционный кружок, стал распространителем и корреспондентом газеты «Правда».

В 1919 году И. Ерошин вступил добровольцем в Красную Армию. Служил в политотделе Пятой Армии, освобождавшей Сибирь от колчаковцев, сотрудничал в армейской газете «Красный стрелок». С окончанием Гражданской войны остался в 1920 году сначала в Омске, потом переехал в Новониколаевск. Был репортером газеты «Советская Сибирь» и активным автором журнала «Сибирские огни» (всё лучшее из написанного И. Ерошиным опубликовано именно здесь). В Новониколаевске в 1922 году появилась и первая книга И. Ерошина «Переклик». Позже издаст он в Новосибирске и Москве еще ряд поэтических сборников: «Синяя юрта» (1929), «Песни Алтая» (1935), «Утренний привет» (1956) и др.

В 1922 году «по страстной привычке к путешествиям» И. Ерошин отправился в Горный Алтай, с которым будет связано несколько лет его жизни.

С 1929 по 1944 год И. Ерошин жил в Хакасии (Абакан и село Иудино), сотрудничал в газете «Советская Хакасия». Он много ездил по хакасским

улусам, изучал историю народа, его фольклор, язык, обычаи. Переводил хакасские народные песни. Написал поэму о защитнике хакасской бедноты «Хаттых Темир».

Последние годы своей жизни И. Ерошин жил и работал в Москве.

Умер 12 июня 1965 года в Москве.

Пробовать свои силы в литературе И. Ерошин начал еще в 1913 году в газете «Правда», где публиковал незамысловатые «стихопесни» и рифмованные агитки. Одним из первых советских поэтов приветствовал он Октябрьскую революцию.

Огромное воздействие на поэзию И. Ерошина оказал Горный Алтай. Поэт был пленен его природой, фольклором. Все это талантливо отразилось в стихах И. Ерошина. А лирический цикл «Мой Алтай» стал вершинной его поэзии.

Видное место в поэтическом творчестве И. Ерошина занимает любовная тема. Здесь весьма ощутимо влияние С. Есенина, с которым И. Ерошин был лично знаком и некоторое время даже вместе с ним снимал комнату в Москве. Не случайно Л. Мартынов называл И. Ерошина «младшим братом Есенина».

Лирическими героями И. Ерошина становятся люди сильного чувства, чистые и цельные, верные в дружбе и любви, сердечные в отношениях с близкими. В лирике И. Ерошина обычно отсутствует социальная окраска, зато умел он показать тончайшие оттенки человеческого чувства. Силен в поэзии И. Ерошина и мотив дружбы народов – алтайского, хакасского и русского.

Герой стихов И. Ерошина распахнут миру, доброжелателен, но не наивен, и обладает мудростью, которая дается жизнью в природе. По определению самого поэта, его герой одновременно «дитя и опытный старец».

Излюбленный жанр И. Ерошина лирическая миниатюра, в которую могут быть заключены и пейзажная зарисовка, и монолог, и житейская сценка…

Ну, а о его художественном мастерстве говорит хотя бы тот факт, что знаменитый французский писатель Ромен Ролан принял стихи поэта за переводы подлиннын песни самого алтайского народа.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги И. Ерошина:

Золотой месяц. Стихотворения. – Новосибирск, 1990.

Стихотворения. (Сер. «Поэты свинцового века»). – Красноярск, 1999.

Об И. Ерошине:

Кондаков Г. Иван Ерошин. (Лит. портрет). – Новосибирск, 1981.

Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.

Шленская Г. «Беловодье» Ивана Ерошина. // «Сибирские огни, 2009, №8.

Иван ЕРОШИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Березовая роща
Под инеем тиха.
Березовая роща
Укутана в меха.
Серебряное поле –
Под серебром луны,
Снега на ясном поле,
Как звезды зажжены.
Мороз грызет орешки –
По роще звонкий щелк.
Из белой тихой рощи
Выходит серый волк
И смотрит зорко, зорко,
И ловит лай собак,
И крадется к деревне,
К хлевам, где теплый мрак.

* * *

Реки синего Алтая
С ветром легким, голубым –
Разнесите по аилам:
Сердце девиц – только милым,
Но не старым за калым.

* * *

День настоящий –
Дыханье мое.
Минувший –
Достояние мертвых.

* * *

Свежие листья
На сорванной ветке
Никнут и вянут.
Вянет и чувство,
Когда оно слышит
Речи сухие.

Песня

Как молния отцвел, погас,
Во мгле звезды пушистый глаз.
Там синий жемчуг отсверкал
В безмолвье черном черных скал.
Оставим, песня, древний след,
Покинем древний сад планет.
Нам только здесь с тобой дано
Глаз жарких острое вино,
И бархатистый звон струны,
И брызги алые весны.

* * *

Горы богаты
Лесом и зверем.
Лунные реки –
Водой быстроногой.
Элик богат
Заботами, думой.
Что подарю
Милой моей?
Сила и молодость
Добрый калым!
Больше у Элика
Нет ничего.

* * *

Если спросит приезжий меня:
На Алтае какая гора
Выше всех и прекраснее всех?
Я охотно отвечу ему:
Друг, с горою высокой той
Дня встречается лик золотой.
Та гора – голубой июнь,
В той горе родилась Катунь.

* * *

Смелый парень рода Темир,
Сам не знаю, ехал куда,
А у юрты ее отца
Робким стал, соскочил с коня.
Широко отворилась дверь,
Вышла милая Каракозь, –
Стало жарко, слова потерял.
Пот на лбу, на седло скорей.
…Быстро, быстро побежала трава.

* * *

– Ах, нет, не любит он меня.
Зачем он повернул коня?
Зачем так быстро ускакал?
Зачем ты, день мой, ночью стал?
Растерянный, смущенный вид.
К лицу ль ему девичий стыд,
Что так румянцем проступил?
Но как в смущении он мил,
Как тихо опустил глаза…
Что ж ничего он не сказал?
Где он теперь? Но что со мной?

Как будто алою волной
Обвили золотой мой стан,
И жаркий на глазах туман.
В ушах, как в дальней туче, гул,
И ветер на ветвях уснул.
О, ветер севера, подуй.
Лица ты пламень поцелуй!

Полотенце

Ранним утром я открыл корзину, –
Синий, синий вспомнился Алтай,
Под росою светлые долины,
Струны пчел в траве и на цветах.
Полотенце чисто, белоснежно,
Как висящий быстрый водопад.
От цветов легко оно и нежно,
Словно тихий, свежий майский сад.
Я не ждал, что пестрою травою
Переложит милая белье.
Ты прости мне, солнце золотое,
Что любовь зову твоей сестрою
И сиянье вижу в ней твое.

* * *

Последний луч в снегах вершин сияет,
Так вечер тих!
И жизни свет как будто убегает
Из жил моих.
Темнеет мир с небесной глубиною.
Прости, покой.
Громады гор в глухом и гулком зное –
Свинцовый зной.
Цветы. Трава и лес темно-зеленый –
Все шепчет мне:

«Знай, – корни жизни, юноша
влюбленный,
На глубине».
Шумит река и над горою снежной
Встает луна.
На звездный гребень вздох ты
мой мятежный
Возьми волна.
Твой светлый путь лежит в ее селенье,
Скажи ей там,
Что в миг тоски я тайну сердца пеньем
Открыл волнам.
Последний луч в а снегах вершин сияет.
Так вечер тих.
И жизни свет как будто убегает
Из жил моих.

* * *

После смерти прах мой схороните
На горе с серебром вершины,
Где к потоку много троп звериных,
Как ручьи, к большой реке сбегают.
Пусть хоть заяц на моей могиле
Перекусит тонкую былинку.

ЗАЧАРОВАННЫЙ СЕВЕРОМ

(Михаил Иванович Ошаров)

Прозаик, этнограф, фольклорист Михаил Иванович Ошаров родился 4 (16 по новому стилю) ноября 1894 года в селе Лебяжье Минусинского уезда Енисейской губернии, в крестьянской семье.

Работал молотобойцем в кузнице, батраком. Окончил Канское реальное училище. Учился в Московском коммерческом институте, народном университете им. Шанявского. Доучиться не пришлось, был мобилизован в армию. В 1919 году М. Ошаров принимал активное участие в освобождении Красноярска от колчаковцев. После окончания Гражданской войны и до 1931 года работал инструктором потребкооперации на Сибирском Севере. Постоянные разъезды по сибирской тайге и тундре, тесные контакты с местным населением позволили М. Ошарову накопить богатейшие записи фольклора эвенков, кетов, ненцев и способствовали доскональному знанию их истории, культуры, быта, психологии. Отсюда и глубокая достоверность произведений М. Ошарова

По необоснованному обвинению в причастности к «контрреволюционной кадетско-монархической организации» М. Ошаров был репрессирован и расстрелян.

Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Будущая Сибирь». В 1928 году в Новосибирске вышла первая книга М. Ошарова «Звено могил».

Умер 24 декабря 1937 года в Новосибирске.

Самым известным произведением М. Ошарова стал опубликованный впервые в 1934 году в журнале «Сибирские огни» роман «Большой аргиш». Это внешне незамысловатый рассказ о повседневной жизни нескольких эвенских семей, объединившихся в одно кочевье – «аргиш». Логика развития событий в романе такова, что понятие «большой аргиш» включает в себя и расставание героев со многими прежними иллюзиями, и их социальное прозрение, и поиск новых жизненных путей.

Национальной теме посвящены у М. Ошарова и ряд рассказов.

Творчество М. Ошарова явилось заметной страницей русской советской литературы, посвященной национальной теме.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги М. Ошарова:

Избранное. – Новосибирск, 1958.

О М. Ошарове:

Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.

Михаил ОШАРОВ

БОЛЬШОЙ ПУД

Рассказ

1

С реки Тери за продуктами вышел Банауль. Оленей и семью свою он оставил в Джалиндоконе, сам же налегке пешком пришагал в Бедобу. В деревне он не был с полгода. Она показалась ему большой и нарядной, дома выглядели выше и чище. Банауль испытывал в себе какое-то новое чувство. При виде домов у него билось сердце быстрее обыкновенного, будто он торопился скрасть табунок диких оленей. Банауль был весел, с улыбкой поглядывал на стекла окон, дивился их прозрачности. Настоящие тонкие льдинки, а какие крепкие, не тают. А нарезаны-то как!.. Все это Банауль видел не раз – и чему бы тут удивляться? Но новому чувству Банауль был обязан болтовне эвенков, которые говорили о непонятных происшествиях среди русских.

По старой памяти он завернул к своему «другу», купцу Степке Дэколоку. Дэколок был дома и встретил Банауля сердито. Боясь накликать на себя неприятность, он выгнал Банауля:

– Иди от меня к черту! Чо лезешь, змеиная тварь?! Теперь у вас – потребилка. Лешак, прости господи, ее надавал. Вместо куп-

ца – посельчиков посадили. Теперь их власть! – разгорячено выкрикивал Степка.

Банауль растерянно смотрел на старого «друга» и не понимал, что с ним сталось. Ум потерял, что ли? Он попросил у Степки закурить, но тот сердито ответил:

– Нет у меня табаку! Проси теперь у Батыги. Он ведь в потребилке-то сидит. Он в ней – главный. Председатель он, говорят, и приказчик. Все в куче. Торговали бы, да товару у них нету! А мы им, видишь ли, не припасли. Туда-а-а же… торговать!

Степка приподнялся на скрюченной ноге и выскочил на середину избы. Сухое, черноватое лицо его выражало беспокойство. Глаза посверкивали, будто сплескивали горячую смолу. Банауль в недоумении смотрел на Дэколока.

– Покручали по-честному мы вас, дикий народ. Так кому-то не спондравилось. Потребилку сделали. Опутает она вас, как соболя обметом. Там паи какие-то берут. Нако, выкуси вот! – Степка выметнул узловатую руку с кукишем. – Деньги, говорят, давайте в потребилку. На хрестьянский капитал она, говорят, жить будет. Нищие, а не торговцы! Нам, небось, ниоткуль помощи не давали. Не говорили: «Нате вот пятиточку вам на торговлишку!» Сами деньги доставали. На свои бились. Берегли… А тут?.. П-паи какие-то выдумали! – дразнился Дэколок и крутился на одной ноге, как исступленный.

Банауль в дурном расположении духа пошел искать кооперативную лавку. Она помещалась в доме Фильки, по кличке «Баран». Кто Фильку в Бедобе не знает? Все. Нашел скорою. На избе вывеска. Вошел в лавку. Поздоровался с приказчиком. Насторожился.

У Банауля еще звенит в ушах крик Степки, и он помнит много нехороших слов, которые говорил Степка о новой лавке. У Дэколока он был за покрутой давно и пил у него дорогое вино, которое Степка называл «кюмельдюпель», хотя это и был крепкий настой кирпичного чая на сахаре с влитой в него водкой и примесью табака. Эвенк и это припомнил, стоя в кооперативе.

Банауль удивился безразличию приказчика, который не проявлял к нему той радости, что оказывали ему прежде торгаши. Банауль пришел с белкой, а Батыга не привечает его, не суетится с угощением, не радуется так, как бывало радовался Степка Дэколок. Банауль нахмурился. Оглядел полки и про себя подумал:

«Врет Степка, что в потребилке ничего нет. Товар есть. Мудреный Степка, однако! Ладно, сам буду хорошенько за новой лавкой

глядеть. Увижу, куда поведет ее след».

Подумал так и чуточку успокоился.

Батыга стал скручивать папиросу. Банауль не замедлил достать трубку.

– Гоститься можно, друг?

– Кури, кури, товарищ, – ответил Батыга.

В угрюмом и строгом, на первый взгляд, лице появилась непривычная простота и мягкость.

– Товарищ, ты к нам в лавку пришел в первый раз?

– Век не был. Теперь пришел только.

– Кто твой раньше здесь был «друг»?

У Банауля вспыхнуло недоверие. Он боялся попасть в ловушку. Скосив подозрительно глаза, он все же ответил:

– Степка Дэколок. Нога экой, – он подогнул ногу в колене.

– Так, так!

Батыга задумался. Он мысленно восстановил в памяти манеры обращения с эвенками Степки Хромого, его хитрости и грубое жульничество, скрашенное спаиванием кочевников. Вспомнил плутовской прием – дачу в долг разной дребедени. Это на местном жаргоне называется – «долить». Батыга находился в царской ссылке как политический, общался с крестьянами и от них знал о проделках купцов-тунгусников. После революции он стал работать в кооперации, которая пришла на смену таежным торгашам. Кооперация должна была показать кочевнику, что он не «тварь», а такой же гражданин, как и все люди освобожденной от царского ига России. Требовалось только поднять в эвенке самосознание. Для этого нужно было изыскивать правильные пути. Нужно было создавать и копить опыт… Батыга смял пышные мысли и начал с простого.

– Твое имя как?

– Банауль. Фамиль Берегов, – отозвался эвенк. – Отец-то был Васька.

– Семья здорова? Народ не хворает?

– Ладно всё. А оленчик мой не могат. Царапка есть. Маленько майко.

Батыга задумывается над вопросом сохранения оленей. Он записывает: «Нужна ветеринарная помощь». Мысли забегают вперед. Он во власти их. А Банауль уже освоился в новой лавке. Он подходит вплотную к прилавку, ставит на него локти и, глядя в упор на задумавшегося приказчика, говорит ему:

– Друг, я пришел. Будем торговать ли, как ли?

Эвенк своим вопросом обрывает раздумье, Батырга отвечает:

– Давай торговать будем. Пушнину ты принес?

– Нет. Пуснина бросал Джалиндокон.

– Когда принесешь?

Эвенк отрывает от прилавка локти. Он не понимает вопроса.

– К вечерку или завтра утром белку-то принесешь?

– Иди сам. Тебе конь есть. Узли я таскать тебе изба станем белку.

– А как же ты думал, Банауль Васильич? – удивился Батыга.

– Степка век мой белка лавку сам таскал. Почему ты такой? Давай курить!

Разговор идет о пушнине. Почему бы теперь хозяину ее не покуражиться в новой лавке?

Банауль садится на прилавок. Он льнет глазами опять к полкам, ищет для себя «завидных» товаров. Что ему не сидеть. Белки у Банауля нынче добыто много. О ней он сказал приказчику, где она лежит. Пусть он и достает ее, как знает. Банауль же будет сидеть пока в лавке и ждать, когда к нему втащат его тугие туруски. Он подвернул под себя ноги. Дымит спокойно трубочка; поблескивают в воздухе его мастерские плевки. Банауль плюет через всю лавку, точно плюет напоказ новому другу, или делает это потому, что на чистый пол плевать приятно. Банауль смотрит на непонятную для него красивую надпись: «Граждане. Соблюдайте чистоту» и старается пуще прежнего. Батыгу поведение Банауля коробит, но он спокойно записывает: «Проработать схему бесед – гигиена и здоровье».

Эвенк кончает курить и, как ни в чем не бывало, выстукивает о прилавок из трубки пепел, потом поджимает к груди руки и жмурит сонливо глаза. Ему мешает задремать Батыга.

– Банауль Васильевич, – обращается он к эвенку. – Ты за белкой иди сам. Мне за ней идти незачем.

Банауль уставился на бородатое, суровое лицо приказчика и серьезно сказал:

– Ум мой нашел: тебе белка не надо.

Эвенку трудно было понять новые порядки. В Батыге он видел того же торговца-хозяина. Приходилось ему разъяснять:

– Не мне, Банауль Васильевич, а народу, государству белку надо. Самим вам надо.

– Надо, да иди – таскай! Я отдыхать будем… – Банауль захохотал. – Дэколок Степка белку любил, сам конем таскал. Джалиндокон далеко, да белка таскал.

– Кооперация за турусками к вам в чум бегать не будет. Весь народ: эвенк ли, русский ли, кто угодно – пусть сам приносит пушнину. Принесет – кооперация купит, продаст товар, какой надо. И ты неси пушнину сам.

– Почему?

– Потому что пушнина твоя. У кооперации закон такой, – не найдя более подходящего слова, ответил приказчик.

Банауль решительно высвободил из-под себя ноги, подался телом вперед и заявил:

– Не хошь тащить белка, пойдем к Степка. Пусть Степка тащит.

Это было испытание. Нужно было его выдержать с честью, чтобы потом не возвращаться к тому же.

– Иди, – ответил спокойно Батыга. – Я знаю: Степка побежит за белкой. Всех коней запряжет. Своих не хватит, у соседа займет. Ему что не бегать? Бери без хозяина сколько хочешь. Кооперация этого делать не может.

– А зачем лавка свой держишь? Лавка держишь – сам тащи, – не унимался эвенк.

– Я в последний раз говорю тебе, товарищ, добрым словом, что за белкой я не пойду. Иди ты сам.

– Мой пойдет Степка изба!

– Дело твое. Пусть он тебе и товар дает.

Банауль молча вышел из лавки и прошел мимо окон с опущенной головой.

«Плохо работать, не зная их языка. Говоришь, понимают ли тебя, как надо, – неизвестно, – подумал досадливо Батыга.

Банауль – не молодой олень. Выходя из кооперации, он нутром понял, что от нее веет охраняющим его от гнуса дымокуром. К Степке Дэколоку он не пойдет. Он был у него и видел, что ему у Степки, как в ободранном чуме, делать нечего.

Из лавки Банауль ушел просто из-за каприза. Он попугал приказчика старым купцом: хотел, чтобы новая лавка гонялась за ним так же, как раньше гонялись купцы. Гонялись наперебой, ведь он всегда приносил по тысяче белок.

Банауль шел по улице медленно. Он ждал за собой погони из лавки. Он прислушивался, но никто его не окликал: «Друг, вернись! Торговать будем». Оглядывался, но никого за собой не видел. Что такое? Неужели новый приказчик на самом деле говорил правду, что ему закон не велит самому таскать белку?

Банауль в раздумье остановился. Постоял-постоял и круто повернул назад.

– Товарищ, я завтра тащим тебе белка, – заулыбался виновато Банауль, войдя в лавку, и добавил: – Едать, друг, давай. Голодился-

то беда! Новый дорогу буду гонять – гостевать маленько надо. Маслам-да, клебом-да, всякий еда давай.

Он перечислял, чем его угощать надо, а Батыга записывал торопливо в блокнотик:

«На правление. Срочно. Организовать питание эвенков, приехавших сдавать пушнину».

– Ты есть хотел, Банауль Васильич? Пойдем со мной.

Батыга хотел накормить эвенка дома, но, избегая пересудов со стороны кочевников, повел его на квартиру своего друга Стрелина. Там он попросил хозяйку дома накормить человека. Та согласилась.

– Потом скажешь, что тебе следует за еду. Кооператив оплатит. Сама ничего с него не бери, Федоровна. Ты ешь, Банауль Васильич, а я пойду в лавку.

– Ладно. Едать будем, – ухмыльнулся эвенк.

Батыга вышел.

2

Назавтра в полдень Банаул подъехал к кооперативу на оленях. Он втащил туруски в лавку и тут же вернул с подростком оленей к чуму, оставив у привязи двух, чтобы на них вечером уехать домой.

На оленей бросался с громким лаем черный кобель. Олени мотались на ременных поводьях. На лай выбежал Батыга и палкой успокоил беспутного пса. Возвратясь в лавку, он приписал к очередным вопросам:

«Согласовать с сельской администрацией содержание зверовых собак русским населением».

Олени легли.

– Что будем теперь смотреть пушнину?

– Смотри.

Банауль поставил на прилавок две пары туго набитых турусков. Батыга внимательно просмотрел мездру каждой шкурки. Вся белка была выходная, полношерстная и связана за головки десятками в пучки. Батыга пересчитал.

– Сколько ты считал белки, Банауль Васильич?

– Шесть сотня двадцать белок не хватает.

– Пятьсот восемьдесят. У меня тоже.

Батыга записал принятую белку в квитанцию

– Это тебе бумага. Не потеряй. Храни, – он подал туземцу квитанцию.

– Зачем, друг, бумажка? Мне не надо.

– Возьми, Тут записана вся белка. Цена написана, сумма. Забудешь, смотри потом – все найдешь тут. У меня тоже такая будет, смотри вот.

Банауль недоверчиво посмотрел на фиолетовые буквы второго экземпляра и нехотя взял документ.

– С белкой у нас кончено все. Говори, что покупать будешь?

– Какой, какой? – не понял Банауль.

– Сказывай, говорю, какой тебе товар надо?

– Бисер надо, корольки разной, – скороговоркой перечислял Банауль, – табак…

С этого всегда начинали покручать тунгусов старые купцы. Банауль хорошо запомнил, что ему вперед раньше давали. Кооператив начал с другого. Он должен был вмешаться сам в правильное размещение средств каждого кочевого хозяйства, чтобы научить самих эвенков планировать средства, расходовать их на первоочередные товары. Батыга с этого и постарался начать разговор.

– Банауль Васильич, мне бисер не жалко, я тебе его дам. Только ты сначала купи себе пороху, пистонов, дроби, хлеба. Сам посуди: если пороху не будет, чем стрелять станешь? Свинцу не купишь – королек в винтовку вместо пули не положишь.

Это ясно и так. Зачем, кажется, рассказывать об этом? Банауль утвердительно кивнул головой и продолжал слушать приказчика.

– Хлеба не купишь – голодать, товарищ, станешь.

– Почему клеб не купишь? Век клеб брали мы. – Попытался предупредить Батыгу Банауль. Но тот не унимался, говорил:

– Хлеб-то ты ел. Но как ел? Тебе давали в долг…

– Вот, вот!..

– Давали в долг мешок, а писали три. Ты всегда был должен.

– Был, был… Мно-ого долг.

– Много было долгу прежде, а теперь не бери.

– Пошто?

– Ты делай так, чтобы белки твоей тебе на все хватило.

Этого Банауль понять не мог. Как может хватать его промысла на все, когда в лавке товаров так много, а давали ему всегда маленько?

– Деньги век нет, белки век мало. Долить эвенки век надо, – перебил он приказчика. – Долг большой, да лучше.

– Хуже. Ты не бери в долг. Ты Степке был должен?

– Долг нету, какой будет друг?!

– Теперь долг Степке советский закон весь марал. Ты никому теперь, Банауль Васильевич, не должен.

Банауль немало подивился. Потом подумал и вполголоса, словно боясь, чтобы его кто-нибудь не услышал, спросил:

– Друг, закон долг крошил, а Степка сердит не будет? Сердит, да кончить меня может?

Как было не вспомнить о Степке, когда он вчера сильно сердился и ругал всех, ругал кооперацию.

– Нет, не убьет тебя Степка, – успокоил его Батыга. – Теперь у тебя белки много, ты не бери в долг. Ты всего на белку купишь.

Банауль недоверчиво вскинул глаза на приказчика. Он заподозрил его в недобром, но говорить об этом не стал. Он хотел скорее набирать товар, чтобы лучше разузнать кооперацию.

– Давай, друг, покручаться.

– Ладно, сколько тебе муки надо?

– Пояс надо…

– Ты не торопись. Пояс потом. Сначала давай муку бери. Сколько надо?

Банауль задумался. Он подергал немного любом, попригибал пальцы раза два и выпалил:

– Восемьдесят пуд давай.

Заявка ошеломила Батыгу, но он тут же сообразил, что кочевник, видимо, не отдает себе отчета в просимом. Он попытался немедленно проверить свои предположения.

– Зачем тебе так много понадобилось муки сразу?

– Едать.

– У тебя что… семья большая?

– Большой. Четыре люди: я, баба, девка, да парнюско.

Батыга записал количество едоков и подсчитал годовую потребность хлеба – шестьдесят четыре пуда. Нужно было узнать средства передвижения. И он спросил:

– Оленей у тебя сколько?

– Стой. Думать надо. Четыре бык, четыре важенки, два… нет три теленчик.

– Восемь больших оленей, значит?

– Боле нет. Один-то важенка ногу крошил. Вот теперь Дэколок будто, – засмеялся Банауль.

Он изобразил больного оленя и, хромая, прошел по лавке.

– Турсуков много, нет?

– Ни знайю Баба знает. Мужик турсук дела нету. Пошто тебе турсук шибко нада? Брать ум тебе ли? – возмутился вдруг Банауль. Ему нужно муку, а к нему пристали с разговорами о турсуках. С пустым делом.

Приказчик прекратил опрос. Полученных сведений было достаточно, чтобы разубедить потребителя в нелепой заявке на хлеб.

– Ты не сердись, Банауль Васильич. Мне ничего твоего не надо. Давай-ка лучше посчитаем вместе…

– Чего считать?

– Хлеб. Будем смотреть, сколько сила твоя тащить дюжит.

– Восемьдесят дюжит, – оборвал Банауль разговор.

– Да ты послушай лучше. Хлеба тебе на целый год нужно шестьдесят четыре пуда. Я считал.

– Голодать, думаешь, не буду?

– Не будешь голодный. Только сразу тебе их все давать: куда класть станешь?

– Хы-гы! Куда кладем? Турсук мука место. Не знал?

Банаулю смешным показался разговор нового человека, и он ответил зубоскаля:

– Оленчик ташшит Не знал. Хы-гы!

– Почему не знал. Хорошо знаю, – с напряженным хладнокровием продолжал Батыга, которого Банауль начинал уже высмеивать, как малопонимающего в кочевой жизни. – Олень ведь не конь. Сколько силы в олене? Четыре пуда бык повезет, важенка еще меньше. Правда, нет?

– Боле будет. Олень меня таскает.

В Банауле было не более трех с половиной пудов, но он, сделав такое сравнение, был доволен. На лице его играла улыбка. Он достал трубочку и молча протянул руку за кисетом к приказчику.

– Я дам тебе двадцать пудов, Банауль Васильич. Съешь – еще дам.

Эвенк нахмурился. Глаза сузились. Губы плотно облегли трубку. Он думал: «Видать, Степка правду говорил, что потребилка – худая лавка. Путает народ. Прежде купцы никогда не отказывали в хлебе. Сколько просил – столько давали. Он хорошо сейчас помнит, что купцы ему давали восемьдесят пудов, но этого хлеба ему на год не хватало. Зимой он хлеба ел мало-мало, летом он ел редко лепешку, больше питался одной рыбой. Теперь он просит те же восемьдесят пудов, а ему дают только двадцать. Голодать заставляют. Банауль искренне назвал себя дураком за то, что сдал всю белку и про запас оставил только пару лисиц, да пару соболей, которых он хранил при себе. В нем вспыхнула досада, и он стал требовать пятьдесят пудов. Банауль не понимал того, что его семь оленей могут с большим трудом поднять вьючно только двадцать восемь пудов. В советах Батыги Банауль видел не только простое нежелание

дать ему хлеба, но и заподозревал дурное. Обман! Полученную только что квитанцию на принятую от него кооперативом пушнину, он счел за хитрость. В эти короткие минуты он не раз вспомнил Степку Дэколока и пожалел его, как настоящего благодетеля. От передуманного Банауль впал в дерзость, пошел на отчаянность. Ленивая речь его стала быстрой.

– Давай клеб, порох, справу разной. Мой оленчик все таскат. Этот писка бери! – эвенк выбросил на прилавок пушную квитанцию. – Я тебе пуснину все таскал. Соболь только не дал. Вот соболь!

Банауль ткнул себя в грудь рукой, показывая с возмущением приказчику, что у него за пазухой непроданный соболь.

Батыга был ошеломлен. Он побледнел, но не проявлял возмущения. Он сдерживался.

Батыга пытался отыскать наглядный пример, чтобы убедить Банауля в его ошибках. От напряжения у него выступил на носу крупный пот.

«Начну все же с муки, – решил, наконец, про себя Батыга. – Попытаюсь с брюха начать борьбу с темнотой…».

Он взял в руки ключи и обратился к Банаулу:

– Пойдем в амбар, товарищ, брать хлеб. Я тебе дам двадцать пудов. Ты посмотришь и мне скажешь: дюжишь – нет столько?

Банауль неожиданно смяк. Его прямые хмурые брови выгнулись в спокойные черные дужки.

– Так будет ладно! – согласился он. – Дожидай только маленько. Бабу звать буду.

– Подожду. Она где у тебя?

– К Пашке Кружачей гостевать ненадолго пошел. Белка маленько брал, сера таскал. Гостинца Пашка бабе…

Банауль, ступая на пальцы, вышел бесшумно. В мягких шагах его была тихая робость забитого, порабощенного человека.

Батыга в тяжелом раздумье докуривал папиросу, когда приоткрылась немного дверь, и в щель просунулась голова Банауля.

– Друг, пойдем муку смотреть. Баба тут.

Пошли в амбар. В нем ярусами лежали кули с мукой. Банакуль не замедлил истолковать по-своему эти запасы:

– Мука мно-го! Ты хитрый! Пошто меня обманул? Давай муки много.

Батыга счел бесполезным возражать. Он только сказал Банаулю в ответ:

– Хлеба много – народу тоже много. Тебе даю немало. Бери муку.

Банауль перекинулся несколькими словами с молчаливой, сутулой женщиной на родном языке и стал расторопно втаскивать кули на весы. Он отобрал пять кулей и сказал:

– Будет, друг. Баба говорит: турсук-то только дюжит. Оленчик-то сила боле не хватит, однако.

Батыга не мог подавить в себе смеху. Он в шутку предложил Банаулю еще куль-два, но вмешалась в разговор его жена. Она не хотела брать больше.

– Вот, оказывается, с кем надо толковать о кочевых делах. С женщинами! – сказал он серьезно. – Бабы всё знают.

Кочевники смутились.

Взвесили муку. Кули сбросили на землю.

– Сколько, друг, мера-то буде? – не вытерпев, спросил Банауль.

– Ты, ведь, Банауль Васильич, со мной вместе весил. Сам знаешь, сколько мера. Думай.

Банауль откинул на плечи длинные, чуточку в проседь, волосы и, глядя на приказчика, сказал:

– Сорок боле будет. Сорок ли?

– Этот вопрос раскрыл Батыге причину настойчивых требований Банауля: «восемьдесят пудов», которые давал ему Степка, заставляя его сидеть без муки.

– Тут, Банауль Васильич, муки двадцать один пуд.

– Только?

– Только двадцать один!

– Какой эка большой пуд потребилка?! – восхитился Банауль и переглянулся с женой.

…Назавтра утром по узкой оленьей тропинке Банауль вел навьюченных оленей. Он шел на широких лыжах, пальмой сбивал кухту с веток и пел песню о «большом пуде» Веселый голос звенел в морозном воздухе. Его слушали жена и дочь. И олени, у которых сильно прогибались жидкие спины под туго набитыми турсукми с мукой и топорщились хвосты-култышки. Поверх сёдел мотались узелки с табаком, брякали в коробочках спички, пистоны. Веселила глаз мануфактура. На бабе горел восходом пунцовый головной платок…

СТРАШНАЯ ПРАВДА

(Владимир Яковлевич Зазубрин)

Прозаик, публицист, сценарист Владимир Яковлевич Зазубрин (настоящая фамилия Зубцов) родился 25 мая (6 июня по новому стилю) 1895 года в Пензе (по утверждению же ряда современных исследователей – в Городско-Стрелецкой волости, Козловского уезда Тамбовской губернии), в семье железнодорожного служащего.

Еще юношей стал активным участником большевистского подполья, за что был исключен из Сызранского реального училища и несколько раз арестовывался. Печатался в большевистской прессе Поволжья. В августе 1917 года В. Зубцов был мобилизован в армию и оказался в Павловском военном (юнкерском) училище. Октябрьскую революцию встретил в Петрограде. С февраля 1918 года он опять в Сызрани. После мятежа белочехов его как бывшего юнкера в августе 1918 года снова мобилизуют и отправляют в Оренбургское военное училище, которое вскоре эвакуируют в Иркутск.

После окончания училища в июне 1919 года В. Зубцова назначают командиром взвода 15-го Михайловского добровольческого стрелкового полка. Он сумел убедить солдат и офицеров своего и соседнего взводов перейти на сторону красных. Прихватив с собой артиллерийское орудие, они прорвались через сторожевое ограждение и присоединились к Тасеевским партизанам.

С партизанами В. Зубцов входит в сибирский город Канск, только что освобожденный от колчаковцев. В газете Канского уезда «Красная звезда» он и корректор, и метранпаж, и автор многочисленных журналистских материалов. Кроме того, читает лекции в местной партшколе. А в середине 1921 года В. Зубцов уже в Иркутске, где редактирует газету политуправления Пятой Армии «Красный стрелок». Здесь же в ноябре 1921-го с романом «Два мира», выпущенном в армейской типографии под псевдонимом Владимир Зазубрин, он дебютирует как прозаик.

В феврале 1922 года В. Зазубрин демобилизуется из рядов Красной Армии и переезжает из Иркутска сначала в Канск, потом в Новониколаевск (Новосибирск), где с октября 1923 года он – «председатель и секретарь «Сиб. огней». За пять лет руководства журналом В. Зазубрин вывел его в число лучших литературных изданий страны. Огромную роль сыграл В. Зазубрин в организации Союза Сибирских писателей, председателем которого в 1926 году был избран.

В 1928 году В. Зазубрин уезжает в Москву, где работает сначала в Госиздате, потом в горьковском журнале «Колхозник».

На волне массовых репрессий в 1937 году В. Зазубрин был арестован и 27 сентября расстрелян.

Как писатель В. Зазубрин заявил о себе во весь голос романом «Два мира», ставшим первым советским романом и имевшим оглушительный успех. Только при жизни автора это произведение переиздавалось 12 раз! Высокую оценку книга получила у таких выдающихся деятелей советского государства, как Ленин, Луначарский, Горький. И совершенно заслужено. Написанный «со страстью, гневом и болью» по свежим следам гражданской войны ее участником и очевидцем, роман этот, талантливо воссоздавая кровоточившие эпизоды жестокой борьбы восставшего против колчаковщины народа Сибири, стал поистине уникальным художественным документом эпохи.

Успех «Двух миров» воодушевил В. Зазубрина. В 1922 – 1923 годах он пишет три небольшие повести – «Щепка», «Бледная правда» и «Общежитие», составившие в идейно-художественном отношении как бы единый блок, где автор мучительно размышляет над дальнейшими судьбами победившей революции, над проблемами и противоречиями, встающими на пути строительства нового общества. Повесть «Щепка» рассказывает о ЧК в первые после гражданской войны годы, о кровавом терроре, развязанном «Чрезвычайной комиссией». Борьба «двух миров», начатая революцией и Гражданской войной, продолжилась и в ходе мирного строительства новой жизни, об одном из эпизодов которого рассказывает повесть «Бледная правда». Острие повести «Общежитие» В. Зазубрин направил против «опошленного быта» советской партийной номенклатуры, проявлений двойной морали ее существования.

В. Зазубрин был художником острого социального зрения. Раньше многих своих литературных современников он сумел разглядеть «свет

и тени великой революции», о чем свидетельствуют и роман «Два мира», и последовавшие за ним повести «Щепка», «Бледная правда», и «Общежитие», а позже роман о коллективизации «Горы», объединенные мыслью о несоответствии идеализированного образа революции ее реальному облику и содержанию.

В. Зазубрин всегда стремился писать честно, правдиво, и, по собственному выражению, «не в угоду тенденции». Это укрепляло его писательский авторитет, но и создавало ему большие проблемы. В результате, написанная еще в 1923 году «Щепка» смогла увидеть свет только несколько десятилетий спустя, а повесть «Общежитие» опубликованная в том же 1923 году, вызвала бурный скандал, перешедший в откровенную травлю писателя, следствием которой стало расставание В. Зазубрина с Сибирью.

В. Зазубрин был прозорливым человеком. Тем не менее, создавая «Щепку», задумываясь о революционном терроре, о том, чем он может обернуться для народа в целом и отдельной личности, в частности, писатель вряд ли мог предугадать, что чаша сия не минует и его. Но так именно и случилось: в 1937-м как «враг народа» он был арестован и через некоторое время расстрелян.

Волна репрессий унесла его жизнь, но не память об этом замечательном писателе и человеке, всего себя посвятившем созданию нового общества и новой литературы.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги В. Зазубрина:

Зазубрин В. Общежитие. Сборник прозы. – Новосибирск, 1990.
Зазубрин В. Бледная правда. Художественная проза и публицистика. – М., 1992.
Зазубрин В. Два мира. Горы. («Литературные памятники Сибири») – Иркутск, 1980.

О В. Зазубрине:

Литературное наследство Сибири. – Новосибирск, 1972. Т. 2.
Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.
Трушкин В. // Владимир Яковлевич Зазубрин. – Литературная Сибирь. Критико-биобиблиогр. словарь писателей Восточной Сибири. – Иркутск, 1986. Т. 1.
Яновский Н. Жизнь и творчество Владимира Зазубрина. // Н. Яновский. Писатели Сибири. – М., 1988.
Горшенин А. Неезжеными дорогами. // В. Зазубрин. Общежитие. Сборник прозы. – Новосибирск, 1990.

Владимир ЗАЗУБРИН

ЩЕПКА

Повесть о Ней и о Ней*

(Отрывок из повести)

На дворе затопали стальные ноги грузовиков. По всему каменному дому дрожь.

На третьем этаже на столе у Срубова звякнули медные крышечки чернильниц. Срубов побледнел. Члены Коллегии и следователь торопливо закурили. Каждый за дымную занавесочку. А глаза в пол.

В подвале отец Василий поднял над головой нагрудной крест.

– Братья и сестры, помолимся в последний час.

Темно-зеленая ряса, живот, расплывшийся книзу, череп лысый, круглый – просвирка заплесневевшая. Стал в угол. С нар, шурша, сползали черные тени. К полу припали со стоном.

В другом углу, синея, хрипел поручик Снежницкий. Короткой петлей из подтяжек его душил прапорщик Скачков. Офицер торопился – боялся, не заметили бы. Повертывался к двери широкой спиной. Голову Снежницкого зажимал между колен. И тянул. Для себя у него был приготовлен острый осколок от бутылки.

А автомобили стучали на дворе. И все в трехэтажном каменном доме знали, что подали их для вывозки трупов.

Жирной, волосатой змеей выгнулась из широкого рукава рука с крестом. Поднимались от пола бледные лица. Мертвые, тухнущие глаза лезли из орбит, слезились. Отчетливо видели крест немногие. Некоторые только узкую, серебряную пластинку. Несколько человек – сверкающую звезду. Остальные – пустоту черную. У священника язык лип к нёбу, к губам. Губы лиловые, холодные.

– Во имя отца и сына…

На серых стенах серый пот. В углах белые ажурные кружева мерзлоты.

Листьями опавшими шелестели по полу слова молитв. Метались люди. Были они в холодном поту, как и стены. Но дрожали. А стены неподвижны – в них несокрушимая твердость камня.

* О Революции и о Революции.

На коменданте красная фуражку, красные галифе, темно-синяя гимнастерка, коричневая английская портупея через плечо, кривой маузер без кобуры, сверкающие сапоги. У него бритое румяное лицо куклы из окна парикмахерской. Вошел он в кабинет совершенно бесшумно. В дверях вытянулся, застыл.

Срубов чуть приподнял голову.

– Готово?

Комендант ответил коротко, громко, почти крикнул:

– Готово.

И снова замер. Только глаза с колющими точками зрачков, с острым стеклянным блеском были неспокойны.

У Срубова и других, сидевших в кабинете, глаза такие же – и стеклянные, и сверкающие, и остро-тревожные.

– Выводите первую пятерку. Я сейчас.

Не торопясь, набил трубку. Прощаясь, жал руки и глядел в сторону.

Моргунов не подал руки.

– Я с вами – посмотреть.

Он первый раз в Чека. Срубов помолчал, поморщился. Надел черный полушубок, длинноухую рыжую шапку. В коридоре закурил. Высокий грузный Моргунов в тулупе и папахе сутулился сзади. На потолке огненные волдыри ламп. Срубов потянул шапку за уши. Закрыл лоб и наполовину глаза. Смотрел на ноги. Серые деревянные квадратики паркета. Их нанизали на ниточку и тянули. Они ползли Срубову под ноги, и он сам, не зная для чего, быстро считал:

–… Три… семь… пятнадцать… двадцать один…

На полу серые, на стенах белые – вывески отделов. Не смотрел, но видел. Они тоже на ниточке.

…Секретно-оперативный… контрревол… вход воспр… бандитизм… преступл…

Отсчитал шестьдесят семь серых, сбился. Остановился, повернул назад. Раздраженно посмотрел на рыжие усы Моргунова. А когда понял – сдвинул брови, махнул рукой. Застучал каблуками вперед. Мысленно твердил: «…Манти-менты… санти-менты… санти…»

Злился, но не мог отвязаться.

–…Санти-менты… менты-санти…

На площадке лестницы часовой. И сзади этот зритель, свидетель ненужный. Срубову противно, что на него смотрят, что так светло. А тут ступеньки. И опять пошло.

–…Два… четыре… пять…

–…Одна… две… восемь…

Второй этаж. Новый часовой. Мимо, боком.

Еще ступеньки.

Еще.

Последний часовой. Скорее. Дверь. Двор. Снег, светлее, чем в коридоре.

И тут штыки. Целый частокол. И Моргунов, бестактный, лепится к левому рукаву, вяжется с разговором.

Отец Василий все с поднятым крестом. Приговоренные около него на коленях. Пытались петь хором. Но пел каждый отдельно.

– Со свя-ты-ми упо-ок-о-о-о…

Женщин только пять. А мужских голосов не слышно. Страх туго набил стальные обручи на грудные клетки, на глотки и давил. Мужчины тонко, прерывисто скрипели:

– Со свя-ты-ми…

Комендант тоже надел полушубок. Только желтый. В подвал спустился с белым листом – списком.

Тяжелым засовом громыхнула дверь.

У певших нет языков. Полны рты горячего песку. С колен встать все не смогли. Ползком в углы, на нары, под нары. Стадо овец. Визг только кошачий. Священник, прислонясь к стенке, тихо заикался:

–…Упо-по-по-о-о…

И громко портил воздух.

Комендант замахал бумагой. Голос у него сырой, гнетущий – земля. Назвал пять фамилий – задавил, засыпал. Нет сил двинуться с места. Воздух стал как в растревоженной выгребной яме. Комендант брезгливо зажал нос. Длинноусый есаул подошел, спросил:

– Куда нас?

Все знали – на расстрел. Но приговора не слышали. Хотели окончательно, точно. Неизвестность хуже.

Комендант суров, серьезен. Так вот прямо, не краснея, не смущаясь, глаза в глаза уставил и заявил:

– В Омск.

Есаул хихикнул, присел.

– Подземной дорогой?

Полковнику Никитину тоже смешно. Согнул широкую гвардейскую спину и в бороду:

– Хи-хи…

И не видел, что из-под него и из-под соседа генерала Треухова ползли по нарам тонкие струйки. На полу от них болотца и пар.

Пятерых повели. Дверь плотно загородила выход. Лязгнул люк во дворе. Шум автомобилей яснее. И был похож он на стук комьев мерзлой земли в железную дверь подвала. Запертым показалось, что их заживо засыпают.

– Ту-ту-ту-ту-ту. Фр-ту-ту. Фр-ту-ту.

Капитан Боженко встал у стены. Подбоченился. Голову поднял. Под потолком слабенькая лампочка. Капитан подмигнул ей.

– Меня, брат, не найдут.

И на четвереньках под нары.

Из угла поручик Снежицкий показывал всем синий мертвый язык. От коменданта Скачков его спрятал. А себе горло не перерезал. Вертел в руках стекло и не решался.

Маленький огненный волдырёк на потолке неожиданно лопнул. Гной из него черной смолой всем в глаза. Тьма. В темноте не страх – отчаянье. Сидеть и ждать невозможно. Но стены, стены. Кирпичный пол. Ползком с визгом по нему. Ногтями, зубами в сырые камни.

Срубову и пяти выведенным показалось, что узкий снежный двор – накаленный добела металлический зал. Медленно вращаясь на дне трехэтажного каменного колодца, зал захватил людей и сбросил их в люк другого подвала на противоположном конце двора. В узком горле винтовой лестницы у двоих захватило дыхание, закружилась голова – упали. Остальных троих сбили с ног. На земляной пол скатились кучей.

Второй подвал без нар изогнут печатной буквой Г. В коротком крючке каменной буквы, далеком от входа, мрак. В длинном хвосте – день. Лампы сильнее через каждые пять шагов. На полу все бугорки, ямки видны. Никогда не спрятаться. Стены кирпичными скалами сошлись вплотную, спаялись острыми четкими углами. Сверху навалилась каменная пустобрюхая глыба потолка. Не убежать. Кроме того, конвоиры – сзади, спереди, с боков. Винтовки, шашки, револьверы, красные, красные звезды. Железа, оружия больше, чем людей.

«Стенка» белела на границе светлого хвоста и неосвещенного изгиба. Пять дверей, сорванных с петель, были приставлены к кирпичной скале. Около – пять чекистов. В руках большие револьверы. Курки – черные знаки вопросов – взведены.

Комендант остановил приговоренных, приказал:

– Раздеться.

Приказание, как удар. У всех пятерых дернулись и подогнулись колени. А Срубов почувствовал, что приказание коменданта относится и к нему. Бессознательно расстегнул полушубок. И в то

же время рассудок убеждал, что это вздор, что он предгубчека и должен руководить расстрелом. Овладел с собой с усилием. Посмотрел на коменданта, на других чекистов – никто не обращал на него внимания.

Приговоренные раздевались дрожащими руками. Пальцы, похолодевшие, не слушались, не гнулись. Пуговицы, крючки не расстегивались. Путались шнурки, завязки. Комендант грыз папиросу, торопил:

– Живей, живей.

У одного завязла в рубахе голова, и он не спешил ее высвободить. Раздеться первым никто не хотел. Косились друг на друга, медлили. А хорунжий Кашин совсем не раздевался. Сидел, скрючившись, обняв колени. Смотрел отупело в одну точку на носок своего порыжевшего порванного сапога. К нему подошел Ефим Соломин. Револьвер в правой руке за спиной. Левой погладил по голове. Кашин вздрогнул, удивленно раскрыл рот, а глаза на чекиста..

– Че призадумался, дорогой мой? Аль спужался?

А рукой все по волосам. Говорит тихо, нараспев.

– Не бойсь, не бойсь, дорогой. Смертушка твоя еще далече. Страшного покудова ще нету-ка. Дай-ка я тебе пособлю курточку снять.

И ласково и твердо-уверенно левой рукой расстегивает у офицера френч.

– Не бойсь, дорогой мой. Теперь рукавчик сымем.

Кашин раскис. Руки растопырил покорно, безвольно. По лицу у него слезы. Но он не замечал их. Соломин совсем овладел им.

– Теперь штаники. Ниче, ниче, дорогой мой.

Глаза у Соломина честные, голубые. Лицо скуластое, открытое. Грязноватые мочала на подбородке и на верхней губе редкой бахромой. Раздевал он Кашина как заботливый санитар больного.

– Подштаннички…

Срубов ясно, до боли почувствовал всю безвыходность положения приговоренных. Ему казалось, что высшая мера насилья не в самом расстреле, а в этом раздевании. Из белья на голую землю. Раздетому среди одетых. Унижение предельное. Гнет ожидания смерти усиливался будничностью обстановки. Грязный пол, пыльные стены, подвал. А может быть, каждый мечтал быть председателем Учредительного собрания? Может быть, первым министром реставрированной монархии в России? Может быть, самим императором? Срубов тоже мечтал стать Народным комиссаром не только в РСФСР, но даже в МСФСР. И Срубову показалось, что

сейчас вместе с ними будут расстреливать и его. Холод тонкими иглами колол в спину. Руки теребили портупею, жесткую бороду.

Голый костлявый человек стоял, поблескивая пенсне. Он первым разделся. Комендант показал ему на нос:

– Снимите.

Голый немного наклонился к коменданту, улыбнулся. Срубов увидел тонкое интеллигентное лицо, умный взгляд и русую бородку.

– А как же тогда я? Ведь я тогда и стенки не увижу.

В вопросе, в улыбке наивное, детское. У Срубова мысль: никто никого и не собирается расстреливать. А чекисты захохотали. Комендант выронил папиросу.

– Вы славный парень, черт возьми. Ну, ничего, мы вас подведем. А пенсне-то все-таки снимите.

Другой, тучный, с черной шерстью на груди, тяжелым басом:

– Я хочу дать последнее показание.

Комендант обернулся к Срубову. Срубов подошел ближе. Вынул записную книжку. Записывать стал, не вдумываясь в смысл показания, не критикуя его. Был рад отсрочке решительного момента. А толстый врал, путался, тянул.

– Около леска, между речкой и болотом, в кустах…

Говорил, что отряд белых, в котором он служил, закопал где-то много золота. Никто из чекистов ему не верил. Все знали, что он только старается выиграть время. В конце концов, приговоренный предложил отдалить его расстрел, взять его проводником, и он укажет, где зарыто золото.

Срубов положил записную книжку в карман. Комендант, смеясь, хлопнул голого по плечу:

– Брось, дядя, вола крутить. Становись.

Разделись уже все. От холода терли руки. Переступали на месте босыми ногами. Белье и одежда пестрой кучей. Комендант сделал рукой жест – пригласил:

– Становитесь.

Тучный в черной шерсти завыл, захлебнулся слезами. Уголовный бандит с тупым, равнодушным лицом подошел к одной из дверей. Кривые волосатые ноги с огромными плоскими ступнями расставил широко, устойчиво. Сухоногий ротмистр из карательного отряда крикнул:

– Да здравствует советская власть!

С револьвером против него широконосый, широколицый, бритый Ванька Мудыня. Махнул перед ротмистром жилистым татуированным матросским кулаком. И с сонным плевком через зубы:

– Не кричи – не помилуем.

Коммунист, приговоренный за взяточничество, опустил круглую стриженую голову, в землю сказал:

– Простите, товарищи.

А веселый с русой бородкой, уже без пенсне, и тут всех рассмешил.

Стал, скроил глупенькую рожицу.

– Вот они какие двери-то на тот свет – без петель. Теперь буду знать.

И опять Срубов подумал, что их не будут расстреливать.

А комендант, все смеясь, приказал:

– Повернитесь.

Приговоренные не поняли.

– Лицом к стенке повернитесь, а к нам спиной.

Срубов знал, что, как только они станут повертываться, пятеро чекистов одновременно вскинут револьверы и в упор каждому выстрелят в затылок.

Пока наконец голые поняли, чего хотят от них одетые, Срубов успел набить и закурить потухшую трубку. Сейчас повернутся и – конец. Лица у конвоиров, у коменданта, у чекистов с револьверами, у Срубова одинаковы – напряженно-бледные. Только Соломин стоял совершенно спокойно. Лицо у него озабочено не более, чем нужно для обыденной, будничной работы. Срубов глаза в трубку, на огонек. А все-таки заметил, как Моргунов, бледный, ртом хватал воздух, отвертывался. Но какая-то сила тянула его в сторону пяти голых, и он кривил на них лицо, глаза. Огонек в трубке вздрогнул. Больно стукнуло в уши. Белые сырые туши мяса рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками. У расстрелянных в судорогах дергались ноги. Тучный с звонким визгом вздохнул в последний раз. Срубов подумал: «Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?»

Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно.

В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:

– Святый боже, святый, крепкий…

Глаза у него лезли из орбит. Срубов вспомнил, как мать стряпала из теста жаворонков, вставляя им из изюма глаза. Голова попа походила на голову жаворонка, вынутого из печи с глазами-изюминками, надувшимися от жиру. Отец Василий встал на колени:

– Братцы, родимые, не погубите…

А для Срубова он уже не человек – тесто, жаворонок из теста. Нисколько не жаль такого. Сердце затвердело злобой. Четко бросил сквозь зубы:

– Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит.

Его грубая твердость толчок и другим чекистами. Мудыня крутил цигарку:

– Дать ему пинка в корму – замолчит,

Высокий, вихляющийся Семен Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затянул, задребезжал стеклом в рассохшейся раме:

– Святый боже, святый крепкий…

Ефим Соломин остановил:

– Не трожьте батюшку. Он сам разденется.

Поп замолчал – мутные глаза на Соломина. Худоногов и Боже отошли.

– Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.

Соломин ласков.

– В лопотине-то, дорогой мой, чижеле. Лопотна, она тянет.

Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрав на колени полы длинной серой шинели, расстегивал у него черный репсовый подрясник.

– Оно этто ничё, дорогой мой, что разденем. Вот надоть тебя ще в баньке попарить. Когды человек чистый да разначищенный, тожно ему лекше помирать. Чичас, чичас всю эту бахтерму долой с тебя. Ты у меня тожно, как птаха, крылышки расправишь.

У священника тонкое полотняное белье. Соломин бережно развязал тесемки у щиколоток.

– В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казним. А казнь, дорогой мой, дело великая.

Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и, стаскивая брови, спокойно щурился от дыма.

– Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите.

Срубов услышал и разозлился еще больше.

Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего, не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад – глаза у обоих были мертвые, расширенные от ужаса. Пятая, женщина, крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала под револьвер.

А с папироской, рассердивший Срубова, не захотел поворачиваться спиной.

– Я прошу стрелять меня в лоб.

Срубов обрезал:

– Системы нарушать не могу – стреляем только в затылок. Приказываю повернуться.

У голого офицера воля слабее. Повернулся. Увидел в дереве массу дырочек. И ему захотелось стать маленькой, маленькой мушкой, проскользнуть в одну из этих дырок, спрятаться, а потом найти в подвале какую-нибудь щелку и вылететь на волю. (В армии Колчака он мечтал кончить службу командиром корпуса – полным генералом). И вдруг та дырка, которую он облюбовал себе, стала огромной дырой. Офицер легко прыгнул в нее и умер. Зрачок у него в правом открытом глазу был такой же широкий и неровный, как новая дырка в двери от пули, пробившей ему голову. У отца Василия живот – тесто из квашни на стол. (Отец Василий никогда не думал стать архиреем. Но протодьяконом рассчитывал).

За ноги веревками потащили и этих в темный загиб. Все они – каждый по-своему – мечтали жить и кем-то быть. Но стоит ли об этом говорить, когда от каждого их них осталось только по три, по четыре пуда парного мяса?

Следующую пятерку не приводили, пока не была засыпана кровь, не убраны трупы. Чекисты курили цигарки.

– Ефим, как жаба, ты завсегда веньгаешься с ними? – квадратный Боже спрашивал. Соломин тер пальцем под носом.

– А че их дражнить и на них злобиться? Враг он когды не пойманный. А тутока скотина он бессловесная. А дома, когды по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь, стой, Буренка, стой. Тожно она и стоит. А мне того и надо, половчея потом-то.

Расстреливали пятеро – Ефим Соломин, Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих. Из них никто не заметил, что в последней пятерке была женщина. Все видели только пять окровавленных туш мяса.

Трое стреляли, как автоматы. И глаза у них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в подвале, делали почти непроизвольно. Ждали, пока приговоренные разденутся, встанут, механически поднимали револьверы, стреляли,

отбегали назад, заменяли расстрелянные обоймы заряженными. Ждали, когда уберут трупы и приведут новых. Только когда осужденные кричали, сопротивлялись, у троих кровь пенилась жгучей злобой,тогда они матерились, лезли с кулаками, с рукоятками револьверов. И тогда, поднимая револьвер к затылкам голых, чувствовали в руках, в груди холодную дрожь. Это от страха за промах, за ранение. Нужно было убивать наповал. И если недобитый визжал, харкал, плевался кровью, то становилось душно в подвале, хотелось уйти и напиться до потери сознания. Но не было сил. Кто-то огромный, властный заставлял торопливо поднимать руку и приканчивать раненого.

Так стреляли Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих.

Один Ефим Соломин чувствовал себя свободно и легкою Он знал твердо, что расстреливать белогвардейцев так же необходимо, как необходимо резать скот. И как не мог он злиться на корову, покорно подставляющую ему шею для ножа, так не чувствовал злобы и по отношению к приговоренным, повертывавшимся к нем затылками. Но не было у него и жалости к расстреливаемым. Соломин знал, что они враги революции. А революции он служил охотно, добросовестно, как хорошему хозяину. Он не стрелял, а работал.

(В конце концов для Нее не важно, кто и как стрелял, Ей нужно только уничтожить своих врагов).

После четвертой пятерки Срубов перестал различать лица, фигуры приговоренных, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыханья – дурнящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону расстрелянных. Присыпали кровь землей, раздевшиеся живые сменяли раздетых мертвых. Пятерка за пятеркой.

В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал:

– Тащи!

Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвала вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор…

Тащили, тащили.

Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих мертвенно-бледные, устало расстегивающие полушубки с руками, покрасневшими от крови. Алексей Боже с белками глаз, воспаленными кровавым возбуждением, с лицом забрызганным кровью, с желтыми зубами в красном оскале губ, в черной копоти усов. Ефим Соломин с деловитостью, серьезной и невозмутимой, трущий под курносым носом, сбрасывающий с усов и бороды кровяные запекшиеся сгустки, поправляющий захватанный козырек, оторвавшийся наполовину от зеленой фуражки с красной звездой. (Но разве интересно Ей это? Ей необходимо только заставить убивать одних, приказывать умирать другим. Только. И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского механизма. На этом заводе уголь и пар – Ее гневная сила, хозяйка здесь Она – жестокая и прекрасная). И Срубов, закутанный в черный мех полушубка, в рыжий мех шапки, в серый дым незатухающей трубки, почувствовал Ее дыхание. И от ощущения близости той новой напряженной энергии рванул мускулы, натянул жилы, быстрее погнал кровь. Для Нее и в Ее интересах Срубов готов на все. Для Нее и убийство – радость. И если нужно будет, то он не колеблясь сам станет лепить пули в затылок приговоренных. Пусть хоть один чекист попробует струсить, оступиться, – он сейчас же уложит его на месте. Срубов полон радостной решимости.

Для Нее и ради Нее…

КРАЙ НАШ ЗЕЛЕН И ПРЕКРАСЕН

(Илья Андреевич Мухачёв)

Поэт Илья Андреевич Мухачёв родился 18 (30 по новому стилю) июля 1896 года в Бийске Алтайского края, в семье плотогона. Прошел нелегкую школу жизни. Работал лесорубом, землекопом, плотником, печником, кожевенником. Участвовал в Первой мировой войне, где был ранен и контужен. В ноябре 1919 года стал добровольцем-красноармейцем. В составе Пятой Армии участвовал в разгроме колчаковщины на Алтае.

В конце 1920-х годов поэт переехал в Новосибирск, где влился в объединение «крестьянских» писателей. Работал в новосибирских газетах («Советская Сибирь» и др.). И. Мухачёв горячо поддержал идею коллективизацию, и с трибуны I Съезда сибирских колхозников выступил с призывом вступать в колхозы. Это стихотворное обращение, в печатном варианте названное «Слово к единоличникам, беднякам и середнякам», в дальнейшем широко использовалось в пропаганде коллективизации. Появившуюся в те же годы поэму с говорящим за себя названием «Путем коллектива» (1932) И. Мухачёв также посвятил теме колхозного движения.

Первые стихи И. Мухачёва появились в январе 1924 года в газете «Бийский рабочий». Большинство же его произведений увидело свет на страницах журнала «Сибирские огни», с которым поэт был связан всю свою творческую жизнь. Первый поэтический сборник И. Мухачёва вышел в 1926 году в Барнауле. Автор еще нескольких стихотворных книг, изданных в Новосибирске, Барнауле, Иркутске. Член Союза писателей СССР.

Литературный труд И. Мухачёва был отмечен орденом Трудового Красного Знамени и краевой литературной премией им. А.М. Горького.

Умер 29 октября 1958 года в Новосибирске.

Главное место в творчестве И. Мухачёва долгое время занимала природа, а неиссякаемым источником творческого вдохновения оставался него Горный Алтай. С природой этого края были связаны у И. Мухачёва и поиски ответов на многие вопросы человеческого бытия. Отдав поначалу дань романтике бродяжничества, таежной экзотике, поэт со временем приходит к осмыслению глобальной лирико-философской темы «Человек и Природа».

В стихах и поэмах 1930 годов все увереннее звучат у И. Мухачёва мотивы преобразования родного края. Даже в произведениях о природе человек выступает у него теперь не как покорный сын ее, а преобразователь, что вполне согласовывалось с наступательным пафосом первых советских пятилеток.

Родному Алтаю посвящено и самое крупное произведение И. Мухачёва «Повесть о Демжае-алтайце». Яркие и колоритные детали быта и нравов коренных жителей Горного Алтая, глубокое проникновение в их психологию и свежий красочный фольклор сочетаются здесь с выразительными характеристиками героев. Отчетливо ощущается тесная связь русского поэта с культурой и исторической судьбой маленького народа гор и тайги.

Начав певцом природы и «крестьянским» поэтом, И. Мухачёв в процессе творческой эволюции становится поэтом широкого социального диапазона и эпического звучания. Но и сегодня И. Мухачёв близок читателям прежде всего своими прекрасными стихотворными пейзажами, теплой задушевной лирикой.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги И. Мухачёва:

Искренний сердца родник. Избранные стихотворения. – Новосибирск, 1973.

Об И. Мухачёве:

Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.

Мухачёв Илья Андреевич. // Литература и писатели Сибири. Энциклопедическое издание. – Новосибирск, 2012.

Илья МУХАЧЁВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Марал

Марал ударил по скале копытом,
Ноздрями жадно воздух потянул
И прянул в лес. И долго по гранитам
По горным отдавался горный гул.
На пихтаче, дождем весны омытом,
Чадила хвоя. Теплый ветер дул.
Но вот опять своей спиною сивой
Мелькнул марал – над пропастью
прыжок.

Там, у ручья, где разметалась ива,
Остановился, глянул в тихий лог.
Глаза темны – два спелых чернослива –
И на рогах серебряный дымок.
Взревел… И вновь пустился через воду,
Где отражен зеленых пихт убор.
Он вырвался из рук мараловода,
Бежит туда, где выше кряжи гор.
Там, может быть, костром солнцевосхода
Сейчас ему мерещится свобода.

В лесу

Смолой и солнцем пахнет хвоя,
Замолкнув, сосны дремлют стоя;
Сверкают на затылках пней
Серебряные капли зноя;
Березы, полные покоя,
Чуть дышат зеленью своей,
И слышно, как жилище строя,
Шуршит былинкой муравей.

* * *

В. Федорову

Хмель золотист от стебелька до завитка.
Красны рябины гроздья. Зелен луг.
В природе все неповторимо, друг.
Не потому ли сердцу так любима
Та песня, что во всем неповторима?

* * *

В долине сонно, тихо, глухо,
Тайга набухла темнотой,
И только где-то над Белухой
Не гаснет отблеск ледяной.
Дремота спор ведет со мною,
Как будто думы приглуша,
С высокой горной тишиною
Моя сливается душа.

* * *

Мой стих не мудрствует лукаво,
Не ждет ни славы, ни наград.
Он скромен, как роса на травах,
Как незабудок аромат.
И зародился он в скитанье,
В кругу лесов, где зверя след,
Где от цветов идет сиянье –
Такой неуловимый свет.
И я люблю такое слово,
Что дышит запахом тайги.
Ведь и в моей душе суровой
Есть нежной ласки лепестки.
И край наш зелен и прекрасен,
Травой и лесом он богат.
С того и стих мой свеж и ясен,
Как незабудок аромат.

Рост

Нам дорог каждый здесь квадрат,
Пусть это дом иль площадь…
Мы ловим дни не наугад –
На глазомер, на ощупь

И потому так любим жизнь
И радость дум глубоких,
Что поднимаем этажи
До туч лохматобоких.

Плечистый каменщик не сдаст,
Кирпич вздымая выше…
И этот стих не напоказ
Упругой волей дышит.

Враги от зависти скулят,
Но шаг их неподвижен, –
Они, как в осень тополя,
Листвой одеты рыжей.

И мы на строй бегущих дней
Бросаем труд и смелость,
Чтоб в нашей юной стороне
Все пело и вертелось

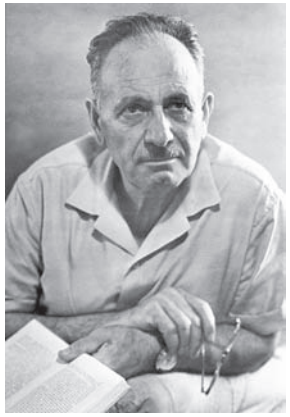
В дурманной леса пестроте,
Где волчий вой натужный,
Клубок неезженых путей
Разматываем дружно.

Мы любим труд и любим жизнь,
Их огненные токи,
И поднимаем этажи
До туч лохматобоких.

Подарки

Да, холодно в степи березам,
Пронизывают сквозняки
До самого нутра морозом…
Но, заломив воротники,
Той степью мимо тех берез –
Колхозники ведут обоз.
На всем куржак.
Седых от черных
Не отличить бород, усов…
Но разговор такой просторный
Ведется около возов:
– Что… От Семена писем нету?
– Почто же нету? Почтальон
Вчера доставил… Всем приветы
Вам посылает мой Семен.
Письмо-то я оставил дома.
В нем есть приписка – две строки:
Трудиться он по-фронтовому
Нас призывает, старики.
И я ему напомнил –
малый,
Коль враг набросился на Русь,
Лупи его чем ни попало,
Будь храбрецом в бою, – не трусь!
– И мне сынок-то мой, Ванюшка
В письмишке написал своем:
«Я восемь немцев взял на мушку,
Да семерых пронзил штыком…».
– А может, и наврал порядком
Тебе сынок-то, старина…
Нет, не наврал! Вся правда-матка
В письме Ванюхином видна.
Что немцы! Так… народец кислый…
А русские – потверже скал…
Я тоже в ту войну на Висле
Потачки немцу не давал.

– Эй, братцы, бросьте спор свой жаркий,
В пути пристало ль спорить нам,
Везем не что-нибудь – подарки.
И не кому-нибудь – бойцам!
Вон на возах-то масло, сало, –
Пшено, пшеница, рожь, овес…
…Так по равнинам, по увалам,
Скрипя полозьями, обоз
Идет – и нипочем мороз.



ПО СЛЕДАМ ПОХОДНЫХ КОСТРОВ

(Григорий Анисимович Федосеев)

Прозаик Григорий Анисимович Федосеев родился 19 января 1899 года в станице Каргинской Ставропольского края, в крестьянской семье.

Работал на сыроваренном заводе, телефонистом. В 1926 году окончил Кубанский политехнический институт по специальности инженера-геодезиста. А в 1948-м – Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. В начале 1930-х годов Г. Федосеев переехал в Новосибирск, работал в новосибирском институте «Сибгипротранс». Участвовал в геодезических работах в Забайкалье и в Восточных Саянах. В 1938 году стал начальником отряда, а позже – начальником экспедиции. Руководил топографическими работами на Ангаре, Подкаменной и Нижней Тунгусках. Участвовал в создании карт районов Братской, Усть-Илимской, Богучанской, Зейской гидроэлектростанций и БАМа. Исследовал Яблоневский и Становой хребты, побережье Охотского моря.

В 1956 году Г. Федосеев переехал по состоянию здоровья в Краснодар, где и прожил оставшуюся жизнь. Здесь были написаны им основные произведения.

Литературный дебют Г. Федосеева состоялся в 1949 году, когда журнал «Сибирские огни» начал из номера в номер печатать его повествование «Мы идем по Восточному Саяну». В 1951 году эта вещь вышла в Новосибирске отдельной книгой. Г. Федосеев также автор книг

«Смерть меня подождет» (1963 и 1974), «Пашка из Медвежьего лога» (1964), «Последний костер» (1968 и 1981), «Меченый» (1989) и др., изданных в Новосибирске, Хабаровске и Москве миллионными тиражами. А книга Г. Федосеева «Злой дух Ямбуя» в 1978 году была экранизирована киностудией им. А.М. Горького. Произведения Г. Федосеева переведены на многие языки Европы, Америки, Азии.

Член Союза писателей СССР.

Геодезическая и литературная деятельность Г. Федосеева отмечена двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Именем Г. Федосеева назван перевал и одна из горных вершин в Саянах, перевалы на Кавказе и Памире, а также улица в Новосибирске.

Умер 29 июня 1968 года в Москве.

В основе большинства произведений Г. Федосеева лежат его полевые дневники, которые писатель регулярно вел в своих экспедициях. Поэтому у него практически нет вымышленных персонажей. Личности геодезистов-разведчиков и сибирских аборигенов-таежников воспроизведены с документальной точностью.

Книги Г. Федосеева полны драматизма. Они рисуют героические характеры первопроходцев-геодезистов, таежных следопытов, ярко воплотившихся в таких, например образах, как топографы Михаил Закусин, Трофим Королев, или «живая летопись эвенков» легендарный охотник Улукиткан, и поэтически отображают суровую, но в то же время удивительную природу Сибири.

Через все произведения писателя проходит тема нравственной силы человека, которая является основой подлинного героизма.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Г. Федосеева:

Смерть меня подождет. («Библиотека сибирского романа»). – Новосибирск, 1974.
Тропою испытаний. Роман. – М., 1988.
Меченый. Повести. – Новосибирск, 1989.

О Г. Федосееве:

Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.
Смердов А. Перевал Григория Федосеева. // А. Смердов. У истоков Сибириаиы. Литературные этюды. – Новосибирск, 1987.

Григорий ФЕДОСЕЕВ

У ПОСЛЕДНЕГО КОСТРА

(Глава из повести «*Последний костер*»)

В этой, финальной, главе повести «Последний костер» рассказывается о трагической гибели мудрого охотника-эвенка Улукиткана, который несколько лет был проводником экспедиции Григория Федосеева и еще при жизни стал одним из главных героев его романов «Тропою испытаний» и «Смерть меня подождет». Позже, уже после смерти Улукиткана, Г. Федосеев снова вернется к этой легендарной личности и напишет, повесть «Последний костер», в которой отдаст ему благодарную память. Повесть будет опубликована уже после кончины писателя.

На Арге за стенками палатки жуткой теменью набухала ночь. Бесновалась тайга, охваченная непогодой. По льду реки катились, серебрясь, седые космы поземки. В старом, простреленном дырами, дупле выли злые духи. И далеко, в заречной стороне, отчаянно ревел зверь, окруежный волчьей стаей. Улукиткану все это было знакомо с детства, постоянно жило с ним – не пугало. Какое-то время он еще находился под впечатлением воспоминаний о Дубкове, о том давно ушедшем, горьком для кочевников времени.

Улукиткан вытащил из котла кусок мяса, пожевал – сыровато. Выбрался наружу, окликнул Пакета, бросил ему. У того на зубах не задержалось. Ногами нагреб снег на борты палатки, притоптал его, чтобы снизу не поддувало, проверил, ладно ли заправлена выходная труба. Забрался внутрь. Плотно застегнул за собой вход. Укрылся, как за крепостной стеной. Потом по-хозяйски осмотрел внутренность жилья – все лежит на своем месте. Отодвинул от печки в угол потки, так свободней будет Басилю расположиться. «Он вот-вот должен подъехать, тогда и поужинаем вместе».

Чтобы скоротать время, Улукиткан занялся ружьем. Давно не заглядывал в ствол, не забился ли он пороховой гарью. Вытащил из потки кабаржью берцовую кость, расколол ее обухом топора, достал мозг – для смазки ружейного затвора. Положив себе на колени бердану, задумчиво разглядывал вырезанные на ее ложе разные знаки – летопись охотничьих удач. Для постороннего человека это просто крестики, скобки, точки, черточки, а для него это добы-

тые медведи, сохатые, рыси, соболи, росомахи – вся жизнь! Сколько событий, отваги, риска хранят эти ничем не приметные знаки! Но не над этим задумался старый эвенк. Бердану прислал ему в подарок в знак благодарности Дубков из города и еще два тяжелых ящика патронов. Цены тогда этому подарку не было.

Он смотрел на старенькую бердану, такую же древнюю, как и он сам, а мысленно был далеко под Становым. Там, много лет тому назад, разыскали его товарищи Дубкова. Передали ему вместе с поклоном это ружье, просили показать им клады земли. Не мог отказать, хотя по-прежнему побаивался гнева горных духов. Повел. Но на этот раз забрал с собой семью.

Долго геологи стучали молотками, рылись в речной гальке. Таскали на табор разные камни. А еще через два года на том месте, где когда-то стояла его и Дубкова палатка, расположилось большое стойбище геологов. «Теперь там самолеты садятся», – рассказывали люди.

Не стихая, гудела лиственничная тайга под порывами холодного ветра. Прислушиваясь к ней, старик гадал о завтрашнем дне: утром пошлет Басилия за Аргу ставить капканы на соболя, посмотреть, как густо наследили белки, а сам с Пакетом подастся к увалам, куда ушел «казак». Все думки его там, в густых перелесках. Авось по-настоящему подфартит. И он разыщет упущенную добычу.

Старик наложил полную печь сухих дров. Еще раз вслушался в рев ветра. Неодобрительно покачал головой, запорошенной сединой, при этом подумал: как хороша жизнь, когда есть тепло, жирное мясо и завтрашний день.

Но усталость будто караулила старика, незаметно подкрадывалась к нему и овладевала всем его существом, отнимала руки, ноги, гасила мысли. Не по возрасту трудным оказался для него этот день, к тому же полный тяжелых раздумий. И Улукиткан уснул, может быть, впервые за свой век не чуткой дремой бывалого таежника, а тяжелым сном смертельно усталого старого человека.

Впрочем, и во сне он оставался охотником, видел под ногами путаные соболиные следы. Мерещились ему остроухие белки. То и дело попадался свежий звериный помет… Идет Улукиткан по заснеженному, царственному лесу, не нарадуется на его красу, читает чудесную лесную книгу…

Сухие дрова в печурке быстро разгорались. Старик натолкал их в печурку лишку, видать, забыл, что лиственница горит гораздо жарче других древесных пород. В темноте над палаткой трепетали вылетавшие из трубы искры и языки пламени. Казалось, это моргала ночь под порывами ветра.

Печь накалилась докрасна, и в палатке стало невыносимо жарко. Надо бы бросить на огонь снежку, малость притушить пламя, но старик крепко спал. Огонь, предоставленный сам себе, вызверился, разбушевался, ему стало тесно в печи, от жара готовой взорваться.

А ветер вдруг переменил направление и… ударил по палатке с тыла. Вырвавшееся из трубы пламя лизнуло багровым языком кровлю полотняного жилья и словно прилипло к ней. Огонь быстро схватил всю палатку. Взвихрилось пламя. Отступил мрак. Ветер, усиливаясь, налетал беспрерывным шквалом то с одной, то с другой стороны, раздувая пожар. Огонь проник внутрь палатки, жадно пожирал все, что в ней было – постели, потки, одежду, дрова.

А Улукиткану снился далекий Джугджур – горбатые хребты, звериные стежки под ногами, глубокие цирки с вечными снежниками, где в полуденный зной отдыхают стада диких животных.

Не просыпаясь, Улукиткан почувствовал: воздух в горах так нагрелся, что трудно стало дышать. Горные вершины, на которые поднимался эвенк во сне, вдруг на его глазах превратились в огромное стадо диких баранов. Бушующее пламя, внезапно поднявшееся их пропасти, охватило животных. А дальше загорелись скалы, лавина огня растекалась по россыпям, вспыхнуло само небо. Улукиткан закричал нечеловеческим голосом и… пробудился.

Ему казалось, что огонь охватил все: лес, реку, снега, весь мир. Едкий черный дым слепил глаза, не давал дышать. На нем уже горели телогрейка и ватные брюки. Страх, никогда доселе не испытываемый, овладел эвенком. Ничего не соображая, подчиняясь только инстинкту, он рванулся через огонь и, объятый пламенем, добежал до леса, свалился и начал кататься по снегу, вскакивал и опять падал, стараясь затушить огонь на себе. Но ветер снова и снова раздувал на нем горящую вату. Улукиткан, обжигая руки, отрывал от себя огненные шматки, бросал их на снег, старался затоптать. И дико, не своим голосом кричал, молил о помощи, но крик его безответно замирал в ночном мраке, в завывании ветра. Обессилев, он снова упал и, нагребая на себя снег, продолжал лежа бороться с огнем, пока не потерял сознание…

Старик подумал, что все свершается с ним во сне. Но когда сознание его прояснилось под действием боли, жара, а затем холода, все ему представилось в реальном свете. Он с трудом приподнялся, сел на снегу. Голова его гудела как от угара, мысли путались. Надо было немедля что-то делать, а что, он совсем не знал. Ноги и руки вышли из повиновения. Ужасная боль от ожогов охватило все

тело. «Неужели конец?!» Но тотчас же отогнал от себя эту страшную мысль.

Ветер ослабел, Улукиткан глянул на табор. Там, где стояла палатка, курился дымок над сгоревшими пожитками. В печке дотлевали последние угольки. А вокруг уже густела темень, да скрипела лютая стужа.

Холодный ветер хлестнул по лицу. Улукиткан вздрогнул, выпрямился. В этом затухающем огоньке увидел свое спасение, свет надежды. Он поднялся, сделал шаг к печи, но споткнулся, не удержался на ногах и рухнул в снег. От обиды он заплакал. Это была короткая, очень короткая минута бессилия и безволия. Но он знал, что сейчас огонь для него сама жизнь. И он должен был добраться до огня.

С трудом удерживая равновесие, Улукиткан подошел к печке, заглянул внутрь: в дальнем углу под пеплом дотлевал последний жарок. Дрожащими руками он стал разгребать снег, собирать вокруг себя угольки, щепочки, мох, уцелевшие от пожара головешки и торопливо запихивать в печь. Затем, обессиленный, присел. Так сидел он, слитый с тишиною. Устало и тяжело колотилось сердце. В глазах расплывались, качались звезды.

«Басиль! Неужто запах пожара не чуешь? Богом прошу, поторопись, Басиль!» – шептал старик.

Вспыхнувшее в печи пламя осветило старика. Он оглядел себя и ужаснулся: пузыри ожогов покрывали руки, ноги, грудь. Ни до чего нельзя было дотронуться. Снег падал и таял на черной, местами обугленной коже, принося некоторое облегчение. Потом снег повалил сплошной массой. И старик начал замерзать. Дров не было. Печь плохо горела. Холод проникал внутрь, сковывал мысли, замораживал волю. Но старик, быстрым взглядом окинув стоянку, встал, сделал несколько шагов, разгреб пепелище, стал подбирать уцелевшие от спального мешка куски меха, лоскуты от одежды, палатки, ремешки – все, что осталось от огня. Нашел байковое одеяло, накинул его на плечи. Долго обматывал тряпьем все тело.

Стало вроде теплее.

– Басиль, Басиль!.. Пошто не торопишься! – крикнул он в темноту.

Кругом угрюмо шумела тайга. Улукиткан, не поддаваясь отчаянию, долго убеждал себя, что сын не подведет, что он где-то близко и вот-вот заявится. Конечно, в пути может всякое случиться…

Только сейчас Улукиткан вспомнил, что поблизости находится его учаг, вечером привязанный им к дереву. В голове старика созрел план – доскакать на олене до соседней пади, где стоит бригада охотников. Конечно, было риском кидаться в ночь, в буран. Но ничего другого он не мог придумать. «Надо взять с собою огонь», – мелькнуло в сознании.

Улукиткан разыскал под елью повешенные еще с вечера узду, седло. Найдя котелок, выплеснул из него воду, нагреб дополна из печки золы вместе с жаром.

Олень лежал на месте, дремотно пережевывая жвачку. Улукиткан поднял его негнущимися руками, надел узду, пристроил седло. Хотел уже ехать, но остановил его внутренний голос: «Не бросай затухающий огонь, подкорми его, может, еще вернешься сюда». Улукиткан, разгребая снег, подобрал головешки, щепки, сучья и все это побросал в печь.

Олень бежал размеренной рысью, качая в такт седока. Уравнялись мысли эвенка. «Не замерзнуть бы только, доехать, потом все заживет, забудется». Он был уверен, что судьба и на этот раз не изменит ему.

Снег перестал. На увалы надвинулся редкий туман. Местность стала совершенно неузнаваемой. Расстояние исказилось, очертания беспрерывно менялись. В левой руке он держал дужку котелка с жаром, в правой – повод и посох.

Эвенк торопил оленя, пинал, толкал животное в бог посохом.

За первым ложком свернул на острог. «Подняться бы только наверх, а там рукой подать до чума», – размышлял старик. Но олень начал уставать, все чаще его бег переходил на шаг, и понукания уже не помогали. А тут еще ветер! Он пронизывал все тело. Ноги, завернутые в лохмотья, совсем онемели. Руки некуда было спрятать от стужи. Дорога казалась бесконечной, и тяжкие сомнения все больше захватывали Улукиткана.

«Нет, не добраться!» – с тоской думал эвенк.

Он чувствовал, что замерзает верхом на олене. Ему показался бессмысленным этот торопливый путь в никуда.. Захотелось прилечь на землю и спокойно ждать конца, избавления от мук холода и боли во всем теле.

Из рук старика выпал повод. Неуправляемый олень, понурив голову, устало плелся по лесу, сам выбирая путь по прогалинам. Его уже никто не торопил.

Слева в редколесье мелькнула подозрительная тень и замерла совсем близко. Учаг остановился, насторожился и вдруг метнулся в сторону. Старик не удержался и свалился наземь. Далеко отлетел котелок, окропив искрами снег. Улукиткан мгновенно пришел в себя, вскочил и бросился к пустому котелку. Но напрасно хватал

он закоченевшими пальцами из снега потухающие угольки, дул на них изо всех сил… Спасти огонь не удалось.

Улукитка, стоя на коленях в снегу, обреченно подумал, что вот настал его последний привал на земле. Уходит он к предкам без огня, без чума, без теплой одежды, весь обгорелый и обмороженный. До слуха его долетел лай Пакета, с вечера пропавшего в лесу, потом старик услышал человеческий окрик, и лай прекратился.

– Басиль приехал! – обрадовался эвенк и ответно крикнул.

Улукиткан с трудом распутал повод, взобрался на учага. Скорее, скорее назад, на табор! Там Басиль. Он спасет…

Олень, поняв, что они возвращаются на место ночевки, резво бежал по спуску, разметывая копытами снег.

– Угу-гу… беспричинно кричал Улукиткан, предупреждая сына о своем приближении, напряженно вглядываясь вперед, надеясь, что вот-вот там должен блеснуть огонек костер.

До ельника оставалось метров сто. За ним сразу открылась поляна. На снежной белизне чернели остатки сгоревшего табора. Ни Басилия, ни нарт, ни его следа. Глазам своим не веря, эвенк обошел стоянку, постоял возле печи, погрозил кулаком обманувшему его ветру..

Одеяло свалилось с плеч, тащилось следом, пальцы ног лезли из лохмотьев, оставляли на снегу глубокие вмятины от шишковатых ступней. Его охватило чувство невыразимой пустоты и заброшенности. Но он знал, что побороть это чувство можно лишь работой. Надо дать дело немеющим рукам и ногам. Надо сопротивляться до последней минуты.

В печи мигало синее пламя. По небу по-прежнему ползли сумрачные тучи. Но снегопад перестал. Посветлело в долине. Старик решил немедля нарубить хвои и как-то отгородиться от проклятого ветра. Но где топор? Память отказывалась подсказать, куда он положил его с вечера. Улукиткан стал собирать лапник, которым был выстлан «пол» в палатке. Закрепил между двумя березками посох и стал прикладывать к нему ветки, одна на другую, как можно плотнее, нагребал снизу снега, притаптывал его. От этого ногам стало теплее, ослабла боль. Затем он решил собрать и принести дров, спасительный огонь не должен погаснуть в печи.

Улукиткан поторапливал себя. Но бестолково топтался на месте, не представляя, как можно ночью без топора найти сушняк. Он заглянул в печь и совсем испугался: на дне ее в слабом пламени дотлевали последние угли. Охапка дров сейчас могла бы продлить его существование. Но за ними надо было идти в ельник, идти наугад, а он совсем обессилел.

Улукиткан поправил лохмотья на теле, глянул в сторону ельника, выбирая кратчайший путь.

Улукиткан еще с минуту простоял в раздумье. Повернулся к ельнику, прислушался, не донесет ли оттуда ветер каких-нибудь звуков. И сдвинулся с места, не уверенный, что сможет пройти десять-пятнадцать шагов, отделяющих его от ельника.

Ноги казались ему длинными ходулями. Они, не сгибаясь, бороздили снег. Время от времени старик переставлял их руками и шел дальше, порой забывая, куда и зачем идет.

Он уже так шел однажды… В памяти на мгновение воскрес лесной пожар. Старик увидел себя со связкой оленей. Неожиданно захваченным ураганным огнем. Пожар распространялся с невероятной быстротой, уничтожая на пути все живое. Гибли звери, падали на лету обугленные птицы, валились вьючные олени. На Улукиткане горела одежда. Он задыхался, падал, но продолжал ползти через охваченные пламенем мхи и кустарники до ручья… И на этот раз он в тайне надеялся на эту скрытую, как будто неподвластную ему силу.

Оставалось два-три шага до ельника. Теперь он был для старика надеждой, жизнью, всем…

Протянутой вперед рукою он ухватился за первопопавшуюся ветку, подтянулся, и темная хвойная чаща приняла эвенка под свой кров.

В лесу было тише. Деревья стояли вокруг беспросветной стеной. Ни пней, ни сучьев не было видно. Напрягая зрение и на ощупь, Улукиткан напрасно искал сушняк среди сыролесья. Напрасно разгребал ногами заснеженный лесной «пол» в надежде найти валежину. И хотя он знал, что не в каждом лесу без топора наберешь дров для костра, все-таки продолжал поиски. Так как у старых елей нижние ветви обычно бывают сухими, забрался под низкие хвойные кроны, на ощупь в темноте, не щадя рук, ломал звонкие сучья и бережно складывал их в кучу, которую перетаскивал отели к ели, чтоб не потерять.

Продолжая собирать сушняк, Улукиткан все дальше и дальше уходил по ельнику. И вдруг его остановила страшная мысль: не слишком ли он задержался здесь, не погас ли в печке огонь? Кое-как связал ремнем дрова, взвалил на спину и, шатаясь, поплелся к стоянке.

Холод сквозь лохмотья обжигал тело. Улукиткану подумалось, что с тех пор, как он покинул стоянку, прошла уйма времени, и огонь в печи, наверное, давно погас. А без огня не все ли равно, где замерзать… Он припал к стоявшей рядом лиственнице, обнял ее.

«Только бы не упасть», – подумал он и на какое-то время потерял сознание.

Огромный живой мир тайги, без которого он не мог жить, отступил от него, земля, по которой он столько исходил, уплывала из-под его ног.

Очнувшись, эвенок еще крепче обхватил дерево, хотя понимал, что это уже не спасет его. С болью он подумал, что не у костра, не в теплом чуме оборвется его жизнь, что ему уже не дождаться Басилия и не успеть сказать сыну многое, что надо бы сказать.

В полузабытьи старик уже не чувствовал течения времени и положения, в каком находился. Очень захотелось кого-нибудь обнять, на прощание согреться чьей-то близостью, кому-то передать остаток собственного сердечного тепла. Он посмотрел на свои изуродованные огнем руки, обхватившие ствол лиственницы, и подумал, что они уже ни на что не способны – ни ласкать, ни делать добро, и ему стало жалко самого себя.

Откуда-то из глубины притихшего леса до него донесся голос Басилия. Залаял Пакет. О его существовании Улукиткан забыл. Очень этим обрадованный, Улукиткан решил идти на лай. Пакет, наверное, прибежал на табор. Там, может, в печи не погас огонь. Туда непременно приедет и Басиль…

Собака вынырнула из темноты в трех метрах от старика и замерла. Не узнала. Какое-то время собака и человек смотрели друг на друга, точно впервые встретились. Он тихонько позвал пса. Обрадовавшись, что с ним теперь живое существо, а у Пакета опустилась шерсть на загривке.

Еще раз очень внимательно собака осмотрела хозяина с головы до ног, но не подошла к нему, а не спеша повернула назад, по своему следу, все время оглядываясь, как бы поджидая старика.

Улукиткан шагнул за Пакетом. Не обращая внимания на боль в обмороженных ногах, он старался не упустить собаку из виду. Вязанка свалилась со спины старика. И он с трудом поволок ее за собой по снегу. Падал, поднимался и упорно шел по собачьему следу. Старик был уверен, что собака выведет его к людям, к костру, который, может, сын уже развел и вскипятил на нем чай.

– Басиль, откликнись!.. Эко, оглох, что ли! – закричал Улукиткан, задыхаясь о волнения и слабости.

Ему никто не отвечал. На поляне ни огня, ни следа оленей, ни нарт. И Пакет остался где-то в стороне, видимо его отпугивал запах гари, смрада, распространявшегося с пожарища.

Огня в печке не было. Отчаяние охватило эвенка. Запустив в печку руку, он энергично ворошил уже остывшую золу, хватал ее

горстями и просеивал между закоченевшими пальцами… Ни одной искорки! Тогда он в яростном порыве перевернул печь, вытряс из нее все, что там было, и снова стал рыться в золе, перебирая ее с той тщательностью, с какой старатели ищут крупинки золота в песке. Горящий уголек, даже самый маленький, с бусинку, теперь стоил ему жизни. И счастье словно моргнуло, как светлячок, – в золе он увидел крохотную каплю огня. Забыв про боль и холод, он припал к земле, загородил собою эту искорку от ветра, подсунул к огоньку угольки и стал с величайшей осторожностью дуть на них. Долго разгоралось драгоценное пламя. Улукиткан, не отрываясь, на ощупь стал собирать вокруг себя травинки, мох, кору, мелкие стружки, все, что могла гореть, клал на костерок и дул…

На четвереньках дополз до кромки леса, где была брошена вязанка сушняка. Нашел конец ремня и волоком потащил дрова к огню. «Если Басиль не приедет,– это будет мой последний костер…»

Старик, заслоняя собою огонь от ветра, осторожно разворошил тлеющие угольки, положил на них мелких прутиков и снова легонько подул. Ожил огонь. Весело заплясало пламя. К лицу и рукам, к голым коленкам прикоснулось тепло жизни. О, как много мог бы сказать сейчас старый эвенк людям о благодатной силе огня!

Костер разгорелся, но Улукиткан, чтобы продлить, нет, не наслаждение, а самое жизнь, мелко разламывал сучья, подкладывал их в огонь, расчетливо, скупо, ведь он не можжет больше раздобыть даже веточки.

Старик все еще продолжал ждать сына, представляя себе, как он принесет из леса на сильных плечах толстые сухие лиственничные бревна, как положит крестом их концы на костер, расширит заслон, и тогда ему, старику, станет очень тепло и легко. Отойдут к сыну все заботы о его жизни, с которыми сам он уже справиться не в силах. «Великие духи, – шептал Улукиткан, – пошлите сил дождаться сына!»

Огня не хватало. Ветерок, набегающий с реки, уносил и без того еле ощутимое тепло.

Улукиткан долго маялся ногами, растирал их снегом, подсовывал к огню, снова растирал, но, ничего не добившись, завернул в тряпки. Все более явственно он чувствовал неотвратимую близость конца. А вместе с тем из головы не шли мысли о его незаконченных земных делах и заботах. Их было много. Они состояли из мелочей, но лежали на совести старика, как большие долги. Он считал, что перед многими людьми остался в долгу: кому посулил

лыжи, кому бересту для летнего чума, вдовам обещал олочи перечинить, заготовить дров; подросткам – научить делать туески. Да разве мог он все вспомнить!.. Его жизнь на стойбище от зари до зари проходила в хлопотах, жаль на всех у него не хватало ни сердца, ни рук, ни времени. «Надо бы все это поделать и тогда уж уходить к предкам», – горестно, но спокойно думал он.

Какой-то непонятный звук заставил Улукиткана оглянуться. Из сумрачного леса приближался к нему старик Уйбан. Он узнал его с первого взгляда. Обрадовался, никак не ожидал. А Уйбан подошел к костру, сбросил с плеч вязанку сушняка. Положил на огонь. Долго усаживался. Смотрел на Улукиткана в упор слезящимися глазами.

– Разве забыл наказ предков – не сдаваться? – услышал Улукиткан голос старого друга. – Тайга клятву дала беречь богатырей. Заботиться о них, питать жирной пищей, окружать соболиными следами, удачами да небесной синевой с могучими орлами, чтобы от них, от орлов, они перенимали смелость и зоркость. Не ты ли был этим богатырем, не тебя ли вскормила своими щедротами тайга? Так борись. И, умирая, борись!..

Голос костоправа звучал призывно и решительно. И Улукиткану показались позорными его мысли о кончине. Он протянул руки через костерок, чтобы обнять старого друга, но там никого не оказалось.

Улукиткан задумался над его словами. Нет, смерть не пугала, она много раз приходила за упрямым эвенком. «Умереть неожиданно – значит не успеть вовремя ускользнуть от опасности», – давно убедил себя Улукиткан. Не раз в жизни ему удавалось ускользнуть, увернуться от смертельной опасности…

Но теперь другое. Вот догорит костер… и тут на снежном берегу Арги перестанет биться сердце, застынет кровь старого кочевника.

Из ночного мрака донесся голодный волчий вой, отдаваясь глухо в тайге, повисая в морозном воздухе. Старик вздрогнул, будто кто-то сильно встряхнул его. Он медленно, преодолевая боль во всем теле, повернулся в сторону ельника. Там ничего не было видно, не слышалось ни единого звука. Странно, что не подает голоса и Пакет, наверное, где-то затаившийся поблизости.

«Ишь, как волки обнаглели, не боятся человека! А у меня, как на грех, под рукою нет ни ножа, ни палки, и бердана где-то лежит, не дотянуться. Но пока горит костер, зверь не подойдет», – думал старик, прислушиваясь и приглядываясь к лесу.

Вой не повторился. Но через минуту-другую до слуха старика долетел приближающийся хруст снега под осторожными шагами хищника. Все яснее, все ближе… Улукиткан физически ощутил на себе холодный гипнотизирующий волчий взгляд.

Старик оглянулся – нет ли хищника сзади? Посмотрел по сторонам. Вот он!.. С Арги на берег вышел матерый волк. Он приближался к человеку, будто уверенный в его беспомощности. Все ближе, все смелее. Улукиткан крикнул. Это у него получилось не очень громко, но хищник исчез. Старик огляделся. «Не затаился ли где?..» И тут увидел Пакета. Собака сидела поодаль, удивленно посматривая на хозяина. В ее взгляде и в позе не было ни тревоги, ни страха, и Улукиткан подумал, что не Пакета ли он принял за волка.

Костерок затухал. Старик глянул на лежащий сбоку сушняк и мысленно подсчитал. что хватит его на час. «С час, не больше я проживу». Он бережно разделил сушняк на две равные части и одну из них сразу положил на жар. Но решил, что это слишком расточительно, и половину убрал из костра. Пододвинулся ближе к огню. И снова задумался. Вся жизнь представилась ему непрерывной цепью сложных событий, через которые, как через бурный поток, он шел к этому последнему костру…

– Басиль!.. Ты слышишь, Басиль!.. Неужели ты не видишь отцовской беды?! – простонал он в полузабытьи. Но что это? Он не верил глазам.

…Из чащи вышел неторопливо его отец. Улукиткан увидел его худое, испещренное морщинами лицо, с омраченными горем глазами и с клинышком чуть седеющей бороденки. Своим обликом отец напоминал тяжелое прошлое Алданского нагорья. В ту пору по тайге прошел мор. Погибли олени, звери, птицы. Эвенки покидали обжитые предками места, уходили кто куда, захватив с собою только то, что могли унести на плечах. Больных, слабых, стариков бросали. Улукиткану тогда шел тринадцатый год. От того времени в его памяти запечатлелось стойбище, заваленное трупами животных, изможденные лица умирающих с голоду людей, гвалт разжиревшего воронья и вой потерявших хозяев собак. Улукиткан хорошо помнит поляну с одинокой березкой посредине, с кучей сушняка, приготовленного для больного. На всю жизнь запомнился печальный взгляд отца, которым он прощался с уходящей навсегда от него семьей. Было это очень давно… С тех пор обновилась тайга, стерлись следы бедствий, но память сберегла живые картины той поры.

…Отец неслышными шагами приближался к нему. Под старенькой дошкой сгорбленный скелет. В руках посох. Из глазных

впадин холодный укоряющий взгляд устремлен на Улукиткана. Но сын не собирался вымаливать у отца прощения за уход семьи. Закон тайги и борьбы за существование отвергали всякую жалость, родственные чувства, сострадание. Но образ отца, так же, как всех предков, для Улукиткана всегда был превыше всего, был его судьей и первым советчиком. Улукиткан никогда и ничем не опорочил памяти отца. Может, поэтому отец, явившись перед ним, ничего не сказал. Только посмотрел на него. Исчез так же внезапно, как и появился…

Склонившись над горкой дотлевающих угольков, старик напрасно шарил вокруг руками – сушняка уже не было. Все, что могло гореть, и лежало поблизости, было сожжено. Но Улукиткан хотел во что бы то ни стало дождаться Басиля. Он посмотрел на ельник, и ему показалось, что лесок отдалился от него и стал совсем недоступным. И все-таки рассудил: «Лучше в пути пропасть, чем замерзнуть у потухающего огнища».

Упираясь дрожащими руками в заснеженную землю, он приподнялся и тут увидел торчащий из-под снега край полоза. «Нарта!» – чуть не закричал обрадовано. Ведь нарта вся березовая, сухая. Ее хватит на большой костер. Потом о дровах побеспокоится Басиль. Только бы подтащить нарту к огню.

Напрягая все силы, он только на руках, волоча бесчувственные ноги, с передышками, прополз эти несколько шагов и ухватился заскорузлыми пальцами за нарту. Никакая сила не могла бы оторвать его от нарты. Он потянул ее на себя, дернул раз, другой, третий… Наконец сдвинул пристывшие к снегу полозья, нарта сдвинулась с места, развернулась и поползла следом за Улукитканом. И снова подумал о Басиле: «Где же ты, непутевый, тянешь свой след?..» Сын нужен был Улукиткану лишь для того, чтобы сказать ему последние слова о заветах предков, которые, казалось, Улукиткану, могут вместе с его смертью навсегда исчезнуть.

Изгибаясь и отталкиваясь всем телом. Он пятился ползком назад и тянул за собою нарту. Добравшись до костра, старик сгреб закоченевшими руками, точно граблями, в кучу горящие угли, подтащил к ним передок нарты, чтобы пережечь на ней тальниковые вязки, скрепляющие полозья. Так он разобрал нарты. И вот жарко горит костер, тепло горячей волной окатывает старика. Он полулежит у огня, скрюченный, боясь пошевелиться, разбудить притихшую боль.

Улукиткан долго отогревает у костра руки, распрямляя пальцы, затем разворачивает лохмотья на распухших ногах, ощущает синие пятна на коже – то ли ожоги, то ли обморожение. Он подо-

двигает ступни к огню – ноги не чувствуют огня, пальцы на них не шевелятся. Улукиткан растирает ноги снегом, придвигает их к самому огню, снова растирает, но ничего не добивается.

Его слух улавливает гул старого леса. Он зарождается где-то далеко за Аргою, в безмолвии древних болот, и идет по вершинам деревьев, легонько качая стволы. Лес как будто прощается с Улукиканом, глухо и скорбно поет свою песню.

…Костерок опять догорает. Дрова почти кончились. Какой-то загадочный шорох возникает в тишине. Старик поднимает голову, глядя в ночной полумрак… Через поляну, увязая в глубоком снегу, бредет к нему правнук. Улукиткан, узнав его, тревожно думает: «С чего бы это он бредет один?» А правнук, не дойдя до костра, снимает с головы ушанку, вытирает ею пот с лица и отчетливо выговаривает:

– Дедушка, не умирай, сделай лыжи, ты же обещал мне. Помнишь?!

Улукиткан ласково отвечает:

– Раз обещал, так сделаю. А ты меня не обманул насчет двоек да троек? Смотри, меня-то ладно, а других в жизни будешь обманывать – худым человеком прослывешь. – И старик потянулся к ребенку, чтобы пригладить его мокрый чуб своей отяжелевшей рукой…

Огонь угасал. Но Улукиткан уже не думал о дровах – теперь это лежало вне его бытия. Тело охватывал смертный озноб. Только смутно почувствовал, как заскулил Пакет. Врожденная подозрительность все время держала собаку настороже, в отдалении от странно ведущего себя хозяина. Не было же никогда, чтобы хозяин в такой холод сидел полуголым на снегу, у маленького костра. А сейчас она почувствовала, что хозяин уходит от нее навсегда. Она торопливо выбралась из ельника, боязливо подкралась к Улукиткану, обнюхала его спину, качнула приветливо пушистым хвостом. Но знакомые запахи уже оттеснялись чем-то страшным и чуждым. Пятясь задом, собака отступила. Потом осторожно зашла спереди, глянула старику в лицо с закрытыми глазами – и все поняла. Усевшись на снег возле старика, она печально смотрела на него и тихонько, жалобно скулила. Старик, не открывая глаз, на ощупь, дрожащей рукой подтащил Пакета поближе к себе и обнял. Его пальцы ощутили под шерстью собаки тепло. То живое тепло, которое уходило из его тела. Мгновенно воскрес в его памяти Арсен, ночная пурга над гольцом, убитый согжой и отогретые в горячей брюшине зверя руки. Вспомнил Улукиткан и про своего учага, лежащего в ельнике. «Как не догадался

привязать его ближе, эко дурной стал! А теперь не доползти до него, да и не хватит сил связать его». Ему внезапно пришла мысль убить Пакета, а затем запустить руки в его теплое нутро. Освободив правую руку, он стал нащупывать на левом бедре нож. То ли инстинкт или что-то другое предупредило собаку об опасности. Она зло скосила глаза на старика, облизала дрогнувшие губы, и, отталкиваясь передними лапами, попятилась, пытаясь высвободиться. Улукиткан повалился на собаку, телом подмял ее под себя. Пакет взвизгнул и зарычал. Улукиткан приподнялся и оттолкнул от себя собаку.

– Живи, дуреха! – с трудом шевеля омертвевшими губами, прошептал он. Пакет, будто поняв все, успокоился и, присев, с прежней преданностью уставился на старика. Пар от его горячего дыхания опушал белым мягким инеем морду Пакета.

А старику захотелось сказать собаке сокровенные прощальные слова, что собирался сказать сыну, людям. Но язык его уже не шевелился во рту. Да и те слова словно выветрились из головы. А Пакет, снова приблизившись, участливо прильнул к нему шерстистым боком. Это так растрогало старика, что он заплакал. Плакал без слез, морща изуродованное ожогом и стужей лицо и чуть слышно всхлипывая. Так они, прижавшись друг к другу, полулежали у догорающего костра.

С реки донесся треск – где-то лопнула спайка настывающего льда. Улукиткан приподнял голову, насторожился, вслед за этим звуком ему послышался знакомый перебор копыт в быстром беге оленей, звон бубенцов на их шеях и даже голос Басилия, подбадривающий усталых животных. Но каким-то уголком затухающего сознания он понимал, что это ему только чудится, что уже поздно. Никто и ничто не сможет уже отвратить приближающийся конец.

Улукиткан с трудом откинул назад руку, пошарил по снегу – не осталось ни сучочка. А в костре дотлевали последние головешки.

Преодолевая боль в плечевых суставах, почти положив ладони на тлеющие угли, он пытался отогреть скрюченные холодом пальцы.

Тут он увидел свои лыжи. Они стояли в двух шагах, прислоненные к лиственнице. Как он не заметил их раньше? «Эх, только бы добраться до них».

И он дополз до лиственницы, зажал лыжи между закостеневшими кистями рук и сунул их в угли.

Сухое дерево разгорелось быстро. «А у меня же есть еще посох, – вспомнил старик. – Нет, посох нельзя жечь. Его надо не забыть взять с собой в последнюю дорогу. Никто же не знает, какой тропою уходят люди из жизни и как долго длится этот путь? А с посохом привычно и легче будет идти».

Посох был сейчас святыней для Улукиткана, связывающий его с жизнью. Много их сменил он за свою жизнь, скитаясь по родным и чужим, далеким тайгам и горам, морям и болотам. Посох сопровождал его в радостях и удачах, в бедах и несчастьях. Счастливые посохи после того как у них измочаливались концы, он бережно прятал в дуплах на вечное хранение, а те, что вели по недобрым путям, он засовывал под мох, в трясину – на гниение и исчезновение.

Луна, разворошив кружева туч, появилась на далеком горизонте. Посветлело в лесу. Всплыли холмы за Аргой, прояснились синие дали. Но все это совершалось уже помимо сознания старика, все дальше безвозвратно уходило от Улукиткана.. «Горсточку бы тепла», – единственно, о чем сейчас думал старик. Снова подумал про посох. «Может, и не брать его с собою? А попользоваться им, покуда жив» – так решив, он с трудом нащупал посох руками и пододвинул его к огню. Хотел пододвинуться к слабому огоньку и сам, но не смог. Закоченевшее тело, казалось, примерзало к земле. Улукиткан с обидой подумал, что отправляется к предкам в непотребном виде – босой, в жалких лохмотьях, тогда как для этого случая у него на стойбище давно приготовлены новые дошка, шапка, добротные олочи и штаны. «Что ж, пусть все это остается живым людям, – успокоено подумал Улукиткан. – Но все-таки нехорошо лежать на снегу почти голым. Надо хотя бы укрыть свое тело снегом…»

И старик нашел в себе силы, чтобы скрюченными стужей руками разгрести возле себя снег…

Перед ним из ельника появился Арсен.

– Я пришел рассчитаться с тобою за то, что ты спас меня во время пурги на Становом. – Арсен сбросил с плеч большую котомку, достал из нее знакомый Улукиткану спальный мешок из гагачьего пуха, надел на старика свежее теплое белье, меховые чулки. Снял с себя рубашку, замотал ею голову старика, а затем бережно втолкал в мешок его непослушное тело…

Улукиткан чуть приподнял тяжелые веки. Ничто не нарушало молчания ночи. Луна была далекой и ненужной. Посох догорал в чуть тлевшем костре, не давая тепла. Улукиткану показалось, что он ясно слышит перезвон бубенцов. Старик пошевелился. «Да, это, конечно, Басиль. Я же говорил, что он не обманет…». Улукиткан открыл глаза. Узнал сына. И ожившими руками обхватил голосу склонившегося над ним Басилия, прижал ее к своим губам.

– Я знал, что ты придешь, сын, чтобы проводить отца к предкам, – шептали заледеневшие губы старика.

Но видение исчезло. Померк в глазах Улукиткана последний отблеск света. Земля под ним вдруг потеплела и обмякла, принимая его остывающее тело в свое лоно. В последний раз он услышал гуд родного леса, крик ночной птицы, лай Пакета. Немигающими открытыми глазами напоследок он увидел под ногами тропу, взбегающую к знакомым вершинам, и стадо снежных баранов на уступе скалы, и расцветающий багульник – весь этот живой, неповторимый мир враз померк и ушел из сознания Улукиткана…

Смерть настигла его у погашенного костра, в снежной, им самим приготовленной могиле…

ЗНАТОК И ПАТРИОТ СИБИРИ

(Савва Елизарович Кожевников)

Прозаик, очеркист, литературовед Савва Елизарович Кожевников родился 14 (27 по новому стилю) сентября 1903 года в селе Кривинское Алтайского края, в крестьянской семье.

Окончил четырехклассную сельскую школу. В годы Гражданской войны С. Кожевников участвовал в партизанском движении на Алтае. Занимался позже комсомольской работой, избирался секретарем уездного комитета комсомола. В 1928 году окончил Свердловский коммунистический университет. Работал в сибирских окружных и краевых газетах «Молодой большевик», «Красный Алтай», «Советская Сибирь», редактором Новосибирского книжного издательства. В годы Великой Отечественной войны С. Кожевников был корреспондентом армейской газеты «Сокол Родины». С 1940 по 1941 и с 1946 по 1953 годы С. Кожевников возглавлял журнал «Сибирские огни». С 1953 – 1955 год работал специальным корреспондентом «Литературной газеты» в Китае. Избирался руководителем Новосибирской писательской организации. Очень много С. Кожевников делал как собиратель и организатор литературных сил Сибири.

С. Кожевников публиковался в журналах «Сибирские огни», «Вокруг света», «Огонек». В 1933 году в Новосибирске вышла первая книжка С. Кожевникова – очерк «Единственно правильный путь». Он автор книг «Сибиряки» (1942), «Белая тайга» (1948), «Литературные очерки» (1949), «О чем шумят сосны» (1950), «На земле сибирской» (1953), «Ради этого стоит жить» (1958), «Мы собираем янтарные зерна» (1965) и др. (всего более 20), изданных в Новосибирске и Москве. Член Союза писателей СССР.

Умер 23 октября 1962 года в Ялте.

С. Кожевников обратил на себя внимание сначала работами об истории сибирской литературы и писателях Сибири. Но в литературу прочно вошел он как талантливый очеркист, прокладывающий в этом жанре новые пути. Расцвет его писательской работы совпал с интенсивным развитием очерковой литературы, в которое сам С. Кожевников внес весомый вклад. И поскольку вся жизнь С. Кожевникова была прочно связана с Сибирью, она и стала главным предметом его многообразного творчества.

Сибирь предстает у С. Кожевникова самыми разными гранями. В его произведениях можно встретить и описания увлекательных путешествий по Сибири, и рассказы о героизме советских людей в Великую Отечественную войну, и революционное прошлое родного края, и воспоминания о замечательных людях, живущих и живших здесь. Но каких бы тем ни касался С. Кожевников, он всегда стремился рассказать о «подвиге народа в освоении огромного края, показать исключительную, ни с чем несравнимую мощь и красоту Сибири, проникнуть в характеры ее людей» (Н. Яновский). Питая к родному краю неизбывную любовь, писатель согревал ею свои произведения. Не случайно Л. Сейфуллина по поводу очерков С. Кожевникова сказала, что они «заражают внутренним огнем писательского волнения, живым чувством современности».

С. Кожевников навсегда остался настоящим знатоком и патриотом Сибири.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги С. Кожевникова:

Кожевников Савва. Янтарные зерна. Повесть. Очерки. Рассказы. Воспоминания. – Новосибирск, 1983.

О С. Кожевникове:

Яновский Н. Савва Кожевников, человек и писатель. // Н. Яновский. Поиск. – Новосибирск, 1979.
Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.

Савва КОЖЕВНИКОВ

В ПОСЛЕДНИЕ СЕКУНДЫ

Очерк

1

Однажды ночью они услышали гул моторов и вдруг засуетились. Ходячие набросили халаты, схватили костыли и молча кинулись на крыльцо. Молоденький сержант Соловьев проворно запрыгал к двери на единственной своей ноге, как и обычно делал в палате, когда перебегал между кроватями, чтобы прикурить у товарища. Молчаливый лейтенант Рубин со стуком передвигал костыли, и полы его халата с шумом распахивались у ног. Капитан Рощин широко шагал позади всех, настороженно вытянув длинную шею.

На крыльце они подняли головы. Небо было промыто осенними дождями, до блеска прочищено, и сквозь верхушки оглушенных войной сосен смотрели на землю яркие звезды.

Гул моторов шел волнами, все более приближался. Вспыхнули навигационные огоньки самолетов: желтые, зеленые. Они гасли, возникали, вновь перебегали, как по цепочке, от самолета к самолету и плыли в небе спокойными, мерцающими звездочками.

Прошла минута – другая. Огоньки вплелись в светящиеся песчинки извечной небесной дороги. По Млечному Пути, словно тень по белому холсту, пробежали темные силуэты самолетов. И рокот моторов стал глуше, отдалились потускнели огни. Но люди в бинтах, с костылями, в длинных госпитальных халатах долго еще следили за огнями. Лица их озарены какой-то трогательной наивной радостью.

Сержант Соловьев поправляет свесившуюся темную прядь волос и медленно поворачивает вихрастую голову вслед самолетам. Лейтенант Рубин скрипит костылями. Капитан Рощин поднял свой острый кадык и мысленно унесся куда-то очень-очень далеко.

В палату они вернулись оживленные, и сразу все заговорили. Только капитан Рощин, сняв халат, молча шагал между кроватями.

– А интересно как получается, – обратился он ко мне. – Вот запишите себе в тетрадку такой факт…

Капитан Рощин, высокий парень с голубыми глазами, любит анализировать, добираться, как он говорит, до корней. Заметив, что я делаю записи в тетради, он иногда обращается ко мне: «Запишите себе в тетрадку такой факт…».

В этой палате я единственный человек – не летчик. Мои новые товарищи относятся ко мне немножко покровительственно. И, может быть, потому, что я человек другой профессии, они охотно рассказывают мне о своих полетах, бомбовых ударах, воздушных боях.

Однажды Рощин долго ходил по комнате, по обыкновению размышляя о чем-то, и вдруг остановился передо мной и закончил свое размышление вслух:

– Вот говорят: инстинкт самосохранения. Нет, это ошибка. Какой тут инстинкт, раз все наоборот получается.

Потом обратился ко мне со своей обычной фразой: «Вот запишите себе в тетрадку такой факт…».

Фактов у Рощина великое множество.

Я достал из-под подушки тетрадь и начал записывать.

И вот что рассказал мне в этот раз капитан Рощин.

2

Командир эскадрильи майор Завалишин привел девятку «петляковых» на бомбежку позиций врага. При пикировании снаряд вражеской зенитки угодил в плоскость самолета. Машина загорелась. Завалишин передал командование группой заместителю и повел свой «Пе-2» на аэродром.

Когда бомбардировщик командира вышел из строя, на него обрушилась струя огня. С плоскостей полетели клочья, как щепа из-под топора. Это били немецкие истребители. Они всегда подстерегали момент выхода бомбардировщиков из боевого строя. Стрелок припал к пулемету и открыл огонь по наседающим фашистам. Они отвалили. Но тотчас же начала атаку другая пара «фоккеров». Немцы били бронезажигательными. Снаряды беззвучно летели раскаленными шарами, и там, где они ударялись, вспыхивало пламя.

Завалишин на редкость хладнокровный человек. В его манере говорить, в походке, в движениях есть что-то спокойное, уравновешенное. Таким он был и на самолете. Даже с земли, наблюдая за машинами, можно точно определить, на которой из них летит Завалишин. Он был спокоен и сейчас, в эту тяжелую минуту. Самолет как бы перенимал характер летчика. От ударов снарядов он вздрагивал, но продолжал спокойно двигаться вперед.

Завалишин увеличил обороты моторов, машина с предельной скоростью рванулась и чуть-чуть взмыла. Но в этот же момент машину сильно тряхнуло. Стрелок выпустил из рук пулемет и упал ничком. Штурман почувствовал ожог в ногах. У пилота вырвался штурвал. Черный едкий дым вихрем влетел в кабину. Через секунду в нее ворвалось пламя, все вспыхнуло.

Внизу мелькали деревни, перелески, по низинам и оврагам стлался туман. Выцветшее небо было пустынно, и в нем одиноко и трагически метался избитый, горящий самолет. Люди задыхались от удушливого дыма. По лицу летчика, из пальцев текла кровь, ручка управления стала липкой. Через мгновение пламя перебросилось на одежду.

Летчик почувствовал, как машина теряет скорость, как слабеют потоки воздуха и самолет словно проваливается в ватную яму. Но он уже не имел сил его выровнять. Он схватился руками за глаза и потерял сознание.

«Пе-2» стремительно шел вниз. Штурман тряхнул Завалишина за плечо и закричал:

– Столбы!

Этот возглас, прогремевший в наушниках, привел командира в сознание.

Машина послушалась, но уже не было обычного спокойствия и размеренности в ее полете. Она переваливалась с крыла на крыло. Консоли дрожали. Бомбардировщик явно терял силы от пробоин и огня.

Завалишин дернул аварийную ручку, колпак кабины сорвало. Он высунул голову и стал жадно хватать резкие потоки встречного воздуха. Ветер свистел и выл и еще больше раздувал пламя. Холодные струи ветра не освежали. Дым с парами бензина кружил голову, к горлу подступала тошнота. Руки как-то внезапно ослабели и не стали ощущать штурвала.

3

Летчики, которые не были в полете, собрались у палатки рации и, не отрываясь, смотрели в небо. В динамике беспрерывно звучало:

– …Идем на горящем самолете, повреждена левая плоскость. Идем на горящем самолет. Ангар 27 вызывает Березу. Ангар 27 вызывает Березу. Прием, прием…

Из этого старого динамика люди слышали много тревожных слов, которые говорились в последние секунды жизни. Казалось,

острота восприятия должна была бы давно притупиться. Но люди (в который уже раз!) стояли у динамика, охваченные щемящей тревогой и надеждой. Еще не было видно самолета, откуда-то из невидимой дали доносился лишь монотонный голос, каким говорят обычно радисты. Но все почувствовали, что в небе происходит трагедия и, может быть, вот-вот оборвется этот одинокий голос самолета.

– Ангар 27 вызывает Березу… Ангар 27 вызывает Березу. Приготовьте санитарную машину. Приготовьте санитарную машину.

И когда, наконец, самолет показался, на аэродроме поняли: летчик умирает. Машина ковыляла в воздухе, клевала носом, позади ее оставалась черная отвесная полоса дыма. Было страшно смотреть: скоростной бомбардировщик вот-вот рухнет. Летчики не выдержали, побежали к полковнику:

– Прикажите им выброситься.

Полковник махнул рукой.

– Он знает, что делать.

Вдруг самолет качнулся, как фанерный лист. Полковник закрыл глаза. У всех невольно сжались руки в кулаки, и каждый тянул их к груди, словно в руках был штурвал горящей машины. Некоторые не выдержали, бросились туда, где падал самолет.

Санитарный автомобиль сорвался с места и скрылся в взвихренной пыли.

Самолет вдруг начал выравниваться, набирать высоту. В динамике снова послышался голос стрелка-радиста.

– Ангара 27 вызывает Березу. Переключаю радио на командира корабля.

Замер, словно затаил дыхание, аэродром. Стало слышно, как над взлетно-посадочной полосой пел жаворонок. Шумы в динамике возросли, и сквозь них прорвался голос Завалишина:

– Я Ангар 27. Ангар 27. – Голос был, как всегда, спокойный, медлительный, только чуть более глуховатый, чем обычно. – Самолет серьезно поврежден, приземляться рискованно. Стрелку приказываю прыгать. Штурман ранен в обе ноги, выброситься с парашютом не сможет. Попытаюсь посадить самолет. Горят перчатки…

Люди стояли на аэродроме, боясь пошевелиться. Старые боевые друзья, рисковавшие не раз жизнью ради спасения друг друга, здесь, на земле ничем не могли помочь Завалишину. Они в молчаливом напряжении следили за ходом событий. Это продолжалось несколько тягостных минут. Первым не выдержал дежурный офицер.

– Товарищ полковник, – обратился он к командиру части, – в таком состоянии ни за что не удастся посадить машину. Завалишин неизбежно будет убит. Прикажите ему выброситься.

– И обречь штурмана на гибель? – резко спросил полковник.

Дежурный офицер понизил голос:

– Весьма вероятно, что штурман все равно умрет, ведь он истек кровью. Мы должны спасти хорошего летчика.

Полковник посмотрел на дежурного офицера и, отчеканивая слова, добавил:

– Кроме того, Завалишин не выполнит такой приказ…

«Пе-2» появился над аэродромом, истерзанный, окутанный дымом. Все смотрели под плоскости, ожидая, как отделится от них человек или раскроется, качнется белый купол парашюта. Но никто не прыгал. Стрелок, видимо, решил не отнимать у экипажа несколько секунд, которые потребовались бы для его прыжка. Полковник приказал запросить по радио.

Радистка вызывала:

– Ангар 27, Ангар 27. – Но ей не отвечали. На самолете, очевидно, уже вышла из строя рация. – Ангар 27, – повторяла радистка, иногда забывалась и кричала в отчаянии: – Завалишин! Коля! – Потом спохватывалась и снова повторяла монотонным голосом радистов: – Ангар 27, Ангар 27…

Самолет сделал круг над аэродромом, оставив над ним большое дымное кольцо, и зашел на посадку. Над землей Завалишин выровнял машину, и она, подчиняясь воле летчика, коснулась земли. Обломок правой плоскости метнулся, как подбитое крыло. «Пе-2» сделал несколько скачков, выдыхая клубы дыма. Вот высоко задранный хвост его упал, скорость уменьшилась, и большое, дымящееся тело бомбардировщика замерло на месте. Чья-то властная рука одним нажимом укоротила бушевавшую в нем силу.

От командного пункта все побежали к самолету – из него никто не выходил. Завалишин был мертв. Уткнувшись головой в приборную доску, он заснул навсегда.

Бывает так: когда летчик убит, машина идет некоторое время по инерции в том направлении, в котором держат его остывающие руки летчика.

Может быть, последние секунды бомбардировщик вели мертвые руки Завалишина, в которых сохранилась еще искра воли умирающего сердца.

Я кончаю записывать, и в глазах Рощина читаю, нет, не вопрос, а какое-то непередаваемое восхищение: «Смотрите, мол, какие удивительные, замечательные люди живут на нашей земле, на какой подвиг они способны!»

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – В БЕССМЕРТИЕ

(Николай Александрович Кудрявцев)

Николай Александрович Кудрявцев (псевдоним Дубняк) родился 4 (16 февраля по новому стилю) 1901 года в селе Лисково Нижегородской губернии.

Учился в Московском плановом институте. Трудился на заводах и стройках Сибири, долгое время работал заместителем главного редактора журнала «Сибирские огни» и редактором краевой газеты «Сельская правда». Был делегатом I Съезда писателей СССР. Член Союза писателей СССР.

По сути, вся литературная деятельность Н. Кудрявцева была связана с журналом «Сибирские огни». Здесь в 1924 году он дебютировал с первыми рассказами. Здесь же увидели свет практически все его прозаические вещи Н. Кудрявцева. В 1934 году в Новосибирске вышла первая книга Н. Кудрявцева «Тяга времени», куда вошли его «производственные» произведения. Там же в 1938 году появилась и другая прижизненная книга Н. Кудрявцева «Как село Маромыш с царем воевало».

В первые же недели Великой Отечественной войны Н. Кудрявцев добровольцем ушел на фронт. В районе Вязьмы попал в окружение, был в фашистском плену, бежал, вместе с другим солдатом два месяца пробирался к своим. После проверки «особистов», снова вернулся на фронт.

1 февраля 1944 года старший политрук Н. Кудрявцев погиб.

Н. Кудрявцев пришел в литературу, что называется, «от станка», и материал, который лег в основу большинства его произведений, был частью собственного жизненного опыта писателя.

Значительная часть его творчества отдана так называемой «производственной» прозе. Произведения производственной направленности Н. Кудрявцев подчеркивал уже самими названиями произведений: «Трубоуклады», «Штукатуры», «Болты»... В них писатель создает образ рабочего коллектива, который составляют люди разных целей, убеждений, взглядов на жизнь.

Известен был Н. Кудрявцев в тридцатые годы и как детский писатель. Его веселая сказочная повесть «Как село Маромыш с царем воевало» и сегодня читается с немалым интересом.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

О Н. Кудрявцеве:

Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.

Николай КУДРЯВЦЕВ

ИЗ ФАШИСТСКОГО ПЛЕНА

(О виденном и пережитом)

Встреча с Ваней Удолиным

Ваню Удолина – комсомольца-танкиста мы встретили в густом березняке, пробиваясь из окружения. Рядом проходил большак. По нему ползли немецкие обозы. Взад и вперед проносились мотоциклисты. Они наугад обстреливали соседние леса и рощи из автоматов. Один наш отряд попытался пересечь большак днем, потерял несколько человек ранеными и убитыми и – рассеялся. Ваня остался от этого отряда. Не имея компаса, не зная, куда идти, он засел в березняке в ожидании ночи.

Мне сразу запомнилось и понравилось его умное, худощавое лицо, глубоко сидящие черные глаза, темный пушок на пухлой верхней губе. Увидя наш отряд, молодой сержант встал и по-военному приветствовал нас. Мы расспросили сержанта. Он толково рассказал нам обстановку. Мы предложили влиться в наш отряд.

И с этого часа Ваня не покидал меня. На привалах никто лучше его не мог выбрать места для ночлега и в любую погоду развести огонь. Его практическая сметка была вне конкуренции, и не раз он оказывал отряду крупные услуги. Ко мне он питал особое расположение, а я к нему – взаимно. Будто мы предчувствовали, что случай свел нас не зря, и мы разделим тяготы и опасности предстоящего пути, о котором мы тогда еще не имели никакого представления.

Мы держали курс на юго-восток. Двенадцать суток мы шли почти не покидая леса. Отдыхали днем, шли по компасу ночью… Но где фронт? Мы уже давно не слышим канонады. Никто из местных жителей не может ничего сказать о наших частях. «Проходили здесь суток десять назад, а где теперь – не знаем». В деревнях ходили самые нелепые слухи, распространяемые немцами. Ядовитую ложь этих слухов мы чувствовали, но и правды не знали.

К тому же кончилась наша карта. Кончились и леса. Дня три как съеден последний сухарь. Голод, наступившие холода, открытая местность впереди, в которой трудно остаться незамеченным, и полная неосведомленность в обстановке заставили нас, наконец, принять тяжелое решение. Мы принуждены были оставить «птичий путь», выйти к деревням и переодеться.

С Ваней Удолиным мы переодевались в маленькой глухой деревушке, расположенной на берегу безымянной речки. Осенний безветренный день. Хмуро, но дождя нет. Снег, выпавший дня два назад, стаял. На улицах грязь. Пашни за деревней словно политы смолой. Деревенские люди в это утро спешили «на картошку». Огромный урожай картофеля еще лежал в земле.

Спешил «на картошку» и мой хозяин – Степан Гришаков, согласившийся снабдить меня гражданским платьем. Он собирал по избе и по двору кошолки для себя и семьи, скребки и мотыги, мешки и веревки, готовил себе завтрак и, между прочим, доставал из сундука части моего будущего костюма – лохматый полушубок с воротником, почему-то окрашенным в розовый цвет, длиннейшими рукавами и укороченными полами, облезлый, бросовый малахай, штаны из брезента, в которых он когда-то работал на тракторе. Еще я получил расползшуюся по всем швам вельветовую блузу, веревку вместо ремня и совсем уж драную кепку, «на случай потепления погоды», как я сказал, а на самом деле для иного, хитрого, но, к сожалению, не удавшегося умысла…

Гришаков торопливо собрал мою одежду и спрятал ее куда-то на чердак.

Но как быть с плащом-палаткой? Что делать с котелками, с клейменым армейским бельем? Куда запрятать документы?

Мы были еще неопытны. Мы вполне допускали, что дорогой нас могут задержать и подвергнуть тщательному обыску. А уж эту процедуру фашисты, должно быть, произведут так, что даже и иголки от них не скроешь. Нам и в голову не приходило, что не все же немцы одинаково поднаторели в тонкостях кровавого рукомесла гестапо, что среди них есть много беспечных, недалеких, просто равнодушных к инструкциям начальства или напыщенных глупцов, одурманенных военными успехами… Именно незнание врага заставляло наших товарищей бросать или уничтожать вещи, невинные в глазах фрицев, и брать с собой то, что даже какому-нибудь простодушному баварцу показывало при встрече с нами, с кем он имеет дело.

Например, мы с Ваней побоялись взять армейские котелки, но не рискнули расстаться с плащами-палатками, а повесили их через руки… Наш третий спутник – москвич – сохранил в котомке даже командирский ремень с портупеей…

…И неизбежное случилось в тот же день. У следующей деревни нас остановили. Целый отряд фрицев окружил нас. И было бы удивительно, если бы произошло иное.

Фашистское пари

Да, немцы задержали нас вскоре после переодевания. Маскировка в колхозные костюмы не помогла. Мы били неопытны. Мы захватили плащи-палатки и даже командирский ремень с портупеей, и эти вещи выдали нас… После обыска нас повели в деревню.

Плен!.. Странное, дикое и невероятное состояние… Словно тебя нагого ведут среди одетых… Если бы кто сказал за месяц перед тем, что такое со мной стрясется, я, наверное, полез бы в драку. Но вот стряслось, и побить мне хочется только самого себя.

Как сквозь дым, вижу довольные краснощекие рожи наших пленителей, возбужденных удачной охотой, и мрачные лица Ванюшки и москвича, которого война оторвала от книг и ученых занятий.

Нас подвели к амбару. Что с нами сделают? Пытки, издевательства, расстрел? Мы были ко всему готовы. Вернее, мы ни о чем таком не думали. Наш завтрашний день померк, и на душе стало холодно, пусто.

Все дальнейшее, что с нами случилось, я вспоминал как сон. Какой-то долговязый немец, с лицом, усеянным чирьями, отмерил от стены амбара пятнадцать шагов и провел каблуком сапога жирную черту на земле. Здесь он положил пачку бумажных денег и затем достал из кобуры револьвер…

В это время другой немец подвел к амбарной стенке москвича и вокруг его головы начертил мелом нимб шириной в ладонь, какой богомазы рисуют белой краской вокруг голов своих святых. Мы с недоумением следили за этими приготовлениями, плохо понимая, что с нами будут делать. Немцы посмеивались, посвисты-

вали, перекликались, и всех громче что-то выкрикивал чирьястый, стоявший у черты. Он все показывал на свои деньги и кого-то манил из толпы. Наконец тот, кого он манил, достал портмоне и рядом с деньгами чирьястого положил свою пачку, и мы догадались, что это пари. Это было пари фашистов, в котором о проигрыше должна была свидетельствовать наша жизнь.

Шесть выстрелов грянули один за другим.

То чирьястый стрелял в москвича. И москвич не упал… Он выдержал… Лишь немного пошатнулся, а затем чуть-чуть отставил от стены ноги, а спиной прижался к бревнам, должно быть, для устойчивости. Немцы заметили это и засвистали, и закричали:

– Гут, гут!..

Тотчас к москвичу, оставшемуся стоять у стены амбара, подскочил немец с куском мела и, крикнув «айнс», поставил жирную точку внутри нимба. Таких точек он поставил четыре, а две точки отметил за верхней линией…

Немец выкрикивал «цвай» и ставил точку, «драй», и ставил точку. А другие немцы хлопали в ладоши и свистали, и лишь чирьястый стоял безмолвно, не совсем довольный своей стрельбой.

Когда была отмечена последняя шестая точка, чирьястый спрятал револьвер в кобуру на левом боку и отошел к толпе. Ему на смену вышел веселый толстяк и тоже поднял на москвича свой револьвер. При этом толстяк улыбался, ему было немного жарко, и он распахнул куртку на волосатой груди.

Все повторилось бы много раз и не только с москвичом, но и со мной и с Ваней, если бы после третьего выстрела, произведенного толстяком, москвич не вскрикнул и не схватился за голову. Между его пальцами просочилась кровь. Он метнулся прочь от стены амбара, потом опустился на землю и забил по ней ногами.

А немцы что-то закричали, и толстяк перестал улыбаться, потому что ему было жаль своих денег, которые быстро подхватил с земли чирьястый.

Фашистское пари было кончено. Труп москвича бросили в канаву. Мы, живые, потеряли всякий интерес для немцев, стали просто военнопленными, которых следует поскорее сбыть с рук.

Вот то первое, что мы перенесли у немцев, – кровавое блюдо, которым он угостили нас при встрече. Школа ненависти к фрицам начиналась, и нам суждено было с Ваней пройти эту школу класс за классом.

Ночь в плену

В тот же вечер нас повезли на грузовиках под охраной конвоиров на сборный пункт военнопленных в городе Ю. Два часа машина ползла большаком между темными громадами леса. Потом замелькали контуры домов города, редкие огни, и грузовик, тяжело зарычав, остановился.

– Рюс, фьють! – крикнул немец. И чтобы ускорить наш выход из машины, поддал каждому прикладом в спину.

Мы выпрыгнули из грузовика и оказались посреди грязной дороги, на которую несколько электрофонарей бросали желтые масляные блики.

Людей не было видно, а только фонари, которые вспыхивали и потухали, двигались и замирали в неподвижности… А невидимые чужие люди разноголосо орали на непонятном языке, и нам казалось, что это кричит на нас черная кромешная ночь и что она бьет нас прикладами в спину, загоняя в пространство между фонарями.

Наши ноги скользили, мы сталкивались друг с другом, падали… Тогда удары учащались, как удары цепов по снопам. Мы поднимались, пробовали бежать, на нас кричали еще злее, еще больнее били прикладами.

Вдруг луч света упал на колючую проволоку и на свежевыструганные доски ворот. Фонари выстроились в две шпалеры, воротины тяжко открылись, мы прошли за них, и фонари исчезли. Лающие по-собачьи голоса замолкли. Им на смену из недр дождливого мрака донесся неясный гул. Словно какое-то невидимое животное обдало нас мокрым дыханием и тяжким хрипом. Усталое и большое, оно скрывалось от нас во мгле ночи, и мы в страхе молчали, делая робкие попытки разглядеть его.

Мы ведь понимали, что это шумят люди. Но сколько их? Где они? Только меркнущее пятно багрового света вздымалось из-за странного частокола с круглыми неподвижными наконечниками, и мы скоро поняли, что именно от этого, временами разгорающегося, временами затухающего пятна идет к нам тот неясный гул. Молча и покорно, мы пошли ему навстречу, на ходу отирая о штаны грязные руки.

Странный частокол – это и были люди, круглые наконечники – их головы. Густо спрессованная толпа окружала и маленький костерок, зажатый в ее середину. Людей было много. Мог ли их обогреть жалкий, грозящий затухнуть костер? И люди, чтобы при-

близиться к нему, напирали друг на друга, сталкивались, давили один другого.

Потрясенные и еще более пришибленные этим зрелищем, мы приблизились к толпе. Вдруг с земли раздался тихий стон. Я нагнулся. В грязи валялся человек. Мне сказали, что у него в бою были прострелены обе ноги. Он попал в лазарет, но сам лазарет попал в эту людскую кашу. И теперь никому неведомый и ненужный больной человек ждал смерти – смерти от голода, потому что немцы никому из пленников не давали есть, каждый должен был рассчитывать только на то, что принес с собой.

– Сколько же ты здесь времени лежишь, дружище? – спросил я раненого.

– Од…дин…надцать суток, – запинаясь, ответил тот. – Мучаюсь… и конца мукам нет… И нет конца и нет…

– А к врачу не обращался?

– К врачу-то! – Раненый вдруг хрипло рассмеялся, и страшно прозвучал этот болезненный смех через силу. Я понял всю бессмысленность своего вопроса и замолк, не голосом только, но и душой, как бы сразу оглохшей. Невольно я стал подсчитывать в уме, сколько сухарей и картофелин уцелело после обыска в наших котомках и на сколько дней их хватит. Вышло, что если расходовать по три штуки того и другого на брата, мы имеем запас почти на шестидневку. Мы были счастливы, мы богачи в толпе голодных…

Я потянул за руку Ваню, чтобы с ним хотя бы силой очистить у костра для раненого место. Но мы не успели. Справа от нас вдруг громко закричали, зашлепали удары по чему-то живому, и такие же крики и шлепки раздались слева и перед нами… В глазах мелькали желтые бельма фонарей – металась ночь, метались и кричали люди, и я стоял как оглушенный, пока удар в голову, к счастью, смягченный шапкой, не свалил меня на землю.

Нас избивали несколько минут, а нам казалось, что целая вечность отсчитывает удары палками. Мы все уже давно лежали в грязи, но наши мучители все еще били нас длинными белыми палками и, словно кошки, скакали по нас, не желая ступать в грязь и портить начищенные до лоску сапоги.

Что же с нами было? Зачем нас били? Когда мы поднялись, то увидели, что вокруг нас тихая мрачная тьма. Костер не горел более, он был потушен. Значит, били они нас для того, чтобы потух костер. Он и потух как бы залитый кровью, которую мы утирали с разбитых лиц…

И тьма молчала, молчали люди и жались в тоске один к другому; глухо молчал раненый, в драке и нестерпимой боли укусивший немца и получивший от него в награду пулю в сердце. Счастливец! Ему теперь огня не нужно. Мы молча толпились над безгласным телом, а ночь все длилась, эта бесконечная ночь распада всего живого. И в школе ненависти мы заканчивали еще один немаловажный класс.

Побег

…Бежать! Во что бы то ни стало… Бежать немедленно и неостановимо!..

Пусть не такими словами, но так в существе думало огромное большинство военнопленных, когда нас утром палками выгоняли из поганого, обнесенного колючкой стойла, чтобы вести на запад. Бежать!..

Но – как бежать?

Оказалось, что бежать из немецкого плена можно. Мы с Удолиным простые средние люди. Я – городской, он – в прошлом деревенский. Нас никогда не судили, не держали в тюрьмах, не водили под конвоем. Нам не приходилось бегать даже от милиционеров. У нас не было никаких «познаний» в этом деле. И, тем не менее, из немецких лап на протяжении двухмесячных странствий мы выскользали три раза. Даже из концентрационных лагерей, огороженных несколькими рядами колючки, в те месяцы убегали многие наши люди.

По улицам Ю. нас заставляли двигаться впритруску. Несколько шагов – и человек оказывался покрытым грязью с головы до ног. На тротуарах стояли немецкие солдаты и офицеры – некоторые с любопытством, другие равнодушно наблюдали грязную и рваную толпу, катящуюся мимо них. Иногда рядом с колонной проносился мотоцикл или автомашина, и тогда всех крайних пленных окачивало серой жижей. Один шофер, нарочно врезался в ряды пленных, потом загудел и помчался, и мы обошли то место дороги, где извивались в грязи и кричали трое придавленных пленных. Выстрелы конвоиров заставили их навсегда замолкнуть. И наша память фиксировала все это и напрягалась, как струна.

За Ю. потянулась автострада. По обеим ее сторонам – леса. Иногда они отступал от дороги, и тогда как будто отворялись двери в утерянный нами широкий вольный мир. Иногда леса сдвигались, почти вплотную подходя к дороге, и Ваня тотчас оценил это и толкнул меня локтем в бок.

– Не зевай!..

Место, которое он выбрал, длинный темно-зеленый клин бора, пересекающий поле по направлению к дороге, оказалось выгод-

ным еще и потому, что здесь нам попалась встречная колонна грузовиков, и также, как шофер-убийца, без сигналов врезалась в нас.

И мы, и наши конвоиры кинулись к обочинам, яростно ругаясь. Порядок в колонне нарушился надолго. Ваня, а следом я и еще несколько тотчас побежали, не слушая выстрелов, криков и тонкого напева пуль над головами. Мы побежали в лес, Мы вышли на свободу…

В лесу мы поклялись сгоряча вообще не выходить наружу. Эту лесную клятву мы, конечно, не сдержали – из леса вышли и уже следующую ночь коротали в бане села, в котором стояли немцы. Зато скоро мы научились ходить по открытым дорогам, не привлекая внимания фрицев. Для этого мы пускались на разные маленькие хитрости, и они нам удавались.

Но главное было не в нас и в этих хитростях. Разве прошли бы мы сотни километров осенью и зимой по пространству врага, лишенные оружия и всех средств жизни?!

Ни мы, ни сотни других не смогли бы сделать этого. Главное было в том, что нам помогал народ… Он кормил нас, он давал нам приют, он указывал наиболее безопасный путь. А когда нас все же где-нибудь застигали немцы, то простые женщины, бородатые деды, малые ребята, чтобы вызволить «прохожего», называли его мужем, сыном, отцом… Народ ненавидел немцев и, жертвуя подчас собой, спасал нас. Поэтому хвастовством было бы говорить «мы вышли», правильнее говорить:

– Нас вывел народ…

Сумка за плечами

В армии большой авторитет у командиров завоевал рюкзак, у рядовых – вещевая сумка. Ее повесил за плечо и пошел, а ночью подложил под голову вместо подушки…

Хороший рюкзак достать нынче трудно. Мой погиб в лесах Смоленщины. Новый еще где-нибудь только шьется… Я хожу с простой торбочкой из свойской холстинки, и об этой торбочке стоит рассказать…

Как-то под вечер мы вышли из леса на картофельное поле. Словно поздние ромашки, пестрели на картофелище женщины-сборщицы в ярких цветистых юбках. День был солнечный, пригожий, и все же праздничный вид женщин изумил и даже озадачил нас. Война… оккупация и – такие яркие юбки! После мы узнали – в эту деревню ждали генерала, и фрицы потребовали, чтобы «рюсский баб справил праздник»… Но генерал все не ехал,

Картошка мерзла в земле, и вот пришлось выйти на работу в этих чудом сохранившихся ярких платьях.

Мы пошли к женщинам прямо по пашне. И лишь на полдороге заметили, что из деревни к ним же движется цепь фрицев с автоматами в руках. Учиться ли они вышли или ловить партизан? Фронт далеко. Да нам от этого не легче, потому что немецкий пес мог взбеситься, хотя его и не тревожат.

– Что станем делать, Ваня?

– Что делать! Идти… Не стоять же на дороге!

Мы подошли, поздоровались, но ни одна не оторвалась от работы. И лишь рябоватая, с большими серыми грустными глазами женщина, указала на два мешка, наполненные картофелем, и спокойно проговорила:

– Несите-ка, мужики, в деревню!..

И мы немедля взвалили мешки на плечи и тронулись полем к деревне. И сама она следовала за нами с кошолкой в руке. Уловка помогла – ни один фриц не обратил на нас внимания, хотя мы и пересекли самый центр их цепи.

Вообще с ними, чем смелее, тем лучше. Один окруженец, еврей по национальности, рассказал мне, что однажды немцы задержали его, крича: «Ты юде, юде!» – «Нет, я армянин», – ответил тот, не растерявшись, и по-немецки обругал фрицев, что не могут отличить армянина от еврея. Так ведь подействовало! «Армянина» отвели на квартиру и приказали хозяйке дать ему «яйка и молёка». Правда, немцы все же его потом избили, и переводчик объяснил, его бьют из дружбы.

– Мы – господа, вы – нам служить! Мы вас бить, вы нас бояться и благодарить, – сказал избитому «армянину» переводчик и ударил его носком сапога в живот.

Поистине, если бешеная собака не лает, то и хорошо… Мешки с картофелем провели нас в деревню. Колхозница пригласила к себе и досыта накормила щами и напоила чаем. Подливая в наши чашки, она говорила печальным и строгим голосом матери, которая жалеет нас:

– И сынок мой так же вот к родному дому шел. Врач он у меня. В Москве служил, а потом пошел воевать… Ну, как фронт наш отступил, он и двинул прямиком на деревню, мать увидеть захотел. Так ведь не дали свидеться, дьяволы! Десяти верст всего не дошел, сцапали его с товарищем. И уж не знаю почему – товарища живого отпустили, а моего – к дереву… Разбойники!.. Из пистолета прямо в грудь… Ходила я в тот лес… Ничего не осталось. Одна вот торбочка из холстинки на траве валяется. Единственная уцелела…

Женщина повернулась к кухонной перегородке, и мы увидели белую небольшую сумку. Женщина сняла ее с гвоздика и сжала в пальцах. Должно быть, сын возник перед ней в ту минуту, и слезы, редкие, тяжкие слезы потекли по морщинистым ее щекам. Глубоким молчанием мы отметили ее большое горе…

Утром мы собирались в далекий путь. Но как же я был удивлен, когда женщина, прощаясь с нами и видя, что я хочу ее дар – ломоть хлеба положить в карман, вдруг подала мне ту самую холстяную торбочку и тихо сказала:

– Возьмите! Расстраивает она меня… Сердце болит…

Я невольно отдернул руку. Она улыбнулась.

– Или боитесь? А говорят, вещи покойников приносят счастье.

– А память о сыне? – спросил я.

Она опустила глаза.

– Другую бы мне память о нем надо. Что ж, может быть, добуду…

Неясная, но сильная угроза прозвучала в ее словах, и я взял торбочку и ушел, и она действительно принесла мне счастье. С нею перешел я фронт, вернулся к своим, и она все служит мне, как скромный и бескорыстный друг.

Нож с деревянной рукоятью

В деревнях я приобрел привычку – хлеб перед едой разрезать на маленькие ломтики и бережно подбирать каждую крошку. Этому научили меня нужда и голод.

Теперь я прихожу в столовую, сажусь за стол и, получив хлеб, вынимаю из кармана нож. Мои соседи, командиры, невольно обращают на это внимание. Нож приметный – у него деревянная, кое-как оструганная рукоятка, а перо узкое, источенное, сделано из обломка косы. При взгляде на такой нож каждому ясно, что делал его немудрящий деревенский кузнец своему сынишке, но почему этот неказистый нож у политрука – неясно, и нож всякий раз вызывал любопытство. Так не хотите ли послушать маленькую историю моего ножа?

Многие наши приключения были связаны с ночлегом, потому что заяц иногда забирается ночевать с лисой…

Так произошло и на этот раз. Деревня, куда мы под вечер пришли с Ванюшкой, оказалась пристанищем немецких карателей, и поэтому очень долго никто не хотел дать нам приюта. А ночь надвигалась и с нею мороз и голод, и, если наскочишь на патрульного немца, то он разговаривать с тобой не станет. Ночью по занятым немцами селам ходить нельзя.

Получая повсюду отказы, я медленно приближался к центру деревни и уже начинал думать, что придется удовлетвориться в эту холодную ночи каким-либо пустым сараем. Как вдруг совсем рядом со мной раздались голоса, чужая гортанная речь… Я живо свернул с дороги, и рука моя торкнулась в воротину, оказавшуюся неприкрытой. «Отсюда не уйду, – решил я. – пусть меня зарежут или повесят, а не уйду…».

Так и сделал. Войдя в избу, еще ничего не успев разглядеть в ее сумраке. Я обонял только запах щей и еще чего-то кислого.

И на язык уже просились привычные слова, как бы обогреться, хозяева, да подкормиться, да переспать до утра, хотя бы у двери на сломе… Луч яркого света, ударивший мне в глаза, предварил мои намерения, а чья-то рука, протянувшаяся от стены, смахнула с моей головы шапку. Я понял, что нарвался – в избе были немцы…

Но тот же луч света и спас меня. Он скользнул в угол избы, и я заметил там низкий чурбан около лавки, на нем кочедык, пучок лыка и нож с деревянной рукояткой.

Лаптей я плести не умел, Но когда жизнь в опасности, то, как говорят, и волк чиркнет спичку. Я спокойно прошел в угол, молча уселся на чурбан и взял в одну руку нож, а в другую пучок лыка. И я заработал в темноте на ощупь, словно всю жизнь только то и делал, что плел лапти.

– Матка, твой старый пан? – спросил немец с фонарем.

Но «матка», стоявшая около печки, ответить не успела, вместо нее с полатей ответил грузный раздраженный бас:

– Батогом бы этого пана! Лазит, где не следует!

– Что? – не понял немец.

– Лапти плетет, – запел тут молодой женский голос. – Мой тестюшко. Не знаю, как по вашему лапти, обувка такая деревенская…

– О-бу-ва, – повторил медленно и важно немец. И, удовлетворенный потушил фонарь.

Я поплевывал на лыко, совал куда-то коском кочедыка, что-то резал ножом.

Немцам, их было трое, не понравилась тесная, неуютная изба, и они ушли. Тогда хозяйка завесила окна и зажгла коптюшку, а хозяин сполз с полатей.

Я сидел по-прежнему в углу на чурбане и с опаской глядел на хозяина, а тот – на меня. Молчание длилось напряженное, как перед приговором суда. Каждый понимал, что один из нас в избе лишний: двое мужчин в семье – подозрительно. А так как я был

старше, оброс бородой и походил на старика, то хозяин подвергался во много раз большему риску сойти за партизана.

Судя по всему, он должен был прогнать меня, может быть, пустить в дело обещанный батог. Но он вдруг добродушно рассмеялся.

– Вот ведь олухи! И каких же олухов мы, прости господи, себе нажили! Что ж, баба! Кормить надо прыткого тестя, – продолжал он со смехом. – Ишь, сколько лыка он мне перепортил! Но – хитер, по-нашему хитер, люблю…

Между нами установился полный мир. Хозяин оказался фронтовиком. Он был ранен в голову, в деревне на отдыхе его застигли немцы, и он зол на них самой черной злобой и презирал их, как только может умный презирать случайно поднявшегося над ним глупца. Мы сразу сошлись с ним на том, что с такими олухами нам не жить и что казнь их постигнет большая.

– Большая казнь! – повторял хозяин понравившиеся слова. – Я на что теперь немощный, – говорил он, угрюмо блестя глазами, особо яркими на худом, небритом лице, – но и то хрип им буду рвать – пусть только возвернутся наши… Пусть только они знак нам дадут!

Вперегонку с хозяйкой они перечисляли обиды на немцев, и перечень обид быстро возрастал. Особенно памятливой была хозяйка: она пересчитала каждую курочку, взятую немцем, каждое яичко, съеденное им; припомнила и свою шубу – новую дубленую шубу из лучшей овчины, – порезанную немцами на рукавицы. Себе они полы отрезали, а ей – рукава и спинку. Так у ней даже дух в груди застрял от жалости и обиды, а слезы из глаз текут, текут…

– Нет, не житье нам с ними. Пусть и не мечтают. И вы, мужики, знайте: мы, бабы, с этим не согласные. Так там и передайте, когда дойдете, так им и скажите – не хочет немца народ!..

…Из этой деревни я уходил с новым «вооружением» – я нес в своей торбочке не доплетенный лапоть, кочедык и вот этот самый нож с деревянной рукоятью.

– На память и… ради для отвода глаз, – напутствовал меня хозяин.

Под раскрытой крышей

Избушка, в которую мы зашли в тот день, стояла на пригорке. Еще издали она привлекла внимание своим удивительно лохматым видом. Она походила на разбитое бурей грачиное гнездо: крыша разворочена, дворишко разобран, с повети торчали жерди, будто кости полуистлевшего трупа.

Под пригорком, окованная ледяной коркой, таилась в снегах степная неглубокая речка. Лед в том месте, где через нее шла зимняя дорога, был разбит, из воды торчали доски, палки, желтели клочки старой соломы… Избушка принадлежала жене колхозника Сергея Коростенева. Мы вошли в его жилье с единственным намерением обогреться и расспросить, как пройти к следующему селу. Но тут получилась остановка, не входившая в наши планы.

Избенка встретила нас разноголосым плачем трех ма-мала меньше ребят и монотонным ааканьем старшей сестренки, укачивавшей люльку с пятым грудным. Мать ребят была здесь же. В странной окаменевшей позе, сложив на коленях руки, сидела она около печки на лавке и ни звуком, ни единым движением не отозвалась на наше приветствие.

В избе было холодно, хоть печка и топилась. Тут мы увидели, что не только крыша, но и потолок был разобран, и в дыру смотрело зимнее пустое небо. И еще одна странность бросилась нам в глаза – весь земляной пол избы был усеян гнилой трухой вперемешку с зернами ржи. Около порога рожь была собрана кучкой.

– Герман что ли нахозяйничал? – хмуро спросил Ванюшка.

При звуке этого проклятого имени женщина быстро взглянула на Ваню, и плечи ее болезненно сжались, будто от удара. Но ответа и тут мы не получили, и только девочка у люльки, оборвав аканье, кивнула головой.

– Герман… Папку убили, а хлеб в реку ссыпали…

После этого Ваня молча смахнул с плеч котомку, я сбросил свою торбочку, и мы принялись выбирать из трухи рожь. Но как мы ни старались, а набралось не больше пуда. Потом Ваня разыскал под печкой топор и полез на чердак. На скорую руку жердями и остатками соломы он защитил дыру в потолке и взялся за переборку крыши. В избе потеплело. Ребенок с люльке уснул, девочка тоже отправилась на крышу. Малыши перестали плакать и хором запросили хлебца. А мать все также неподвижно сидела на своем месте, упершись глазами в одну точку, и было жутким молчание ее…

Муж этой женщины не был бойцом и не был партизаном, он не был даже колхозным активистом – все его звали Сергейкой Коростеневым, и он состоял членом колхозной бригады, работая в ней так, как и все. Когда пришли немцы, и колхоз был разграблен, а на селе поставили старосту, Коростенев проронил будто бы некое слово против старосты, взявшего без согласия общества племенного колхозного быка. И слово-то было негромкое, не то, что раньше на собраниях, а робкое, как бы сказанное в кулак, но и такое слово было тотчас взято на учет, и староста крепко его запомнил.

В соседнем лесу в то время обнаружились бесхозяйственные лошади, должно быть, бежавшие из немецких обозов. Колхозники пошли их ловить и с ними Коростнев забратал одну пеганку, но вести ее домой побоялся и здесь же в лесу оставил ее у бывшего лесника, своего кума…

– Врешь, сукин сын! – сказал тогда староста Коростеневу. – Ты партизанам, небось, коня отвел! Я тебя выведу на чистую воду.

Третьего дня староста ездил в район в немецкую комендатуру, оттуда примчались немцы на пяти машинах и всех женщин и мужчин деревни согнали на бывший колхозный двор. Пошла туда и Коростенева со своим Сергейкой.

На дворе стоял в стороне в строю отряд автоматчиков и еще другой небольшой отряд с блестящими флейтами, дудками и длинными губными гармошками, свистульками и связками легких бубенцов. И здесь же волчком крутился староста – одним он совал в руки лопаты, другим ломы или топоры. И колхозники строили под его руководством неизвестного назначения сооружение похожее на букву «П». Зачем такая постройка – они не знали, да и знать не хотели, и работали только под угрозой автоматов.

Коростнева староста заставил здесь же развести костер. Коростенев подчинился, тем более охотно оттого, что холод всегда его первым избирал своей жертвой в наказанье за худую одежонку. Костер получился жаркий, запас топлива большой, и Коростелев шуровал около него очень спокойно и при этом потягивал свою самодельную трубку, даже и не замечая, что другие колхозники почему-то шарахаются от него, будто проступила на нем проказа.

– Сергей, уйдем, бога ради! Уйдем отсюда! – встревожилась его жена и потянула, было, мужа прочь от костра. – Уйдем, милый!..

Впервые за это тяжелое время она назвала его таким ласковым словом, и он, отвыкший от ласки, ответил ей грубостью, более подходившей, по его мнению, к их неуютной жизни. Корестенев оттолкнул женщину и еще старательнее стал шуровать у костра, довольный, что не заставили его тесать и вкапывать в землю столбы для этой нелепой буквы «П».

Вот она поднялась среди двора, желтая и сухая, добротно обструганная, а с перекладины свисала веревка почти до земли. И когда все это было кончено, колхозникам приказали отойти к амбарам. Они отошли и встали там темной, глухо замолкшей стеной. И все увидели, что к Корестеневу подошли трое дюжих немцев и взяли его за руки и за воротник.

– Комм!.. – крикнул один немец.

– Комм!.. Комм... – отозвался другой.

– Чего? – не понял Коростенев.

– Ви партизан… Вешайт… – ответил третий немец.

И тут только поняли русские люди назначение сооружения, похожего на букву «П»… Коростенев забился в руках немцев, закричал, но в этот момент дружно и визгливо заголосили немецкие флейты и дудки, запели губные гармоники, звякнули бубенцы и заглушили предсмертный крик Коростенева уже стоявшего с петлей на шее под перекладиной, заглушили плач его жены, вопль детей, стон других женщин и ропот мужчин…

Коростенева вздернули. Он посучил ногами совсем недолго и затих, только сильно вытянулся, будто захотел дотронуться еще раз до земли, которую пахал всю жизнь. Потом его спустили с перекладины и тут наступило самое страшное, поразившее жену Коростенева до предела: ее мужа вынули из петли и бросили в им же разведенный костер…

Больше женщина уже ничего не видела и не слышала. Ее без памяти соседки увели в избу и туда же прибежала ее старшая дочь, громко крича:

– Они пляшут, мама! Пляшут, играют на дудках, а тятька горит… Ох, мама, мамулечка, что же это такое будет?..

Правду говорила девочка. Немцы пляской вокруг пылавшего костра, пьяным гиканьем, визгом своих свистулек и гармошек отметили смерть простого русского мужика, колхозника Сергуньки Коростенева., осмелившегося сказать против одно только тихое слово…

Да, впрочем, и этого им было мало.

Среди дня, после того, как нажрались колхозных поросят, яиц, масла и упились спиртом, принесенным старостой, пьяные и довольные содеянным, немцы уселись на свои тяжелые машины и отправились в обратный путь.

А свистульки немецкие все пели, гармоники пиликали, бубенчики звенели. Обоз машин тронулся, но едва скатился на реку, как первая же машина проломила лед и забуксовала в илистом дней.

Потребовался настил. И тогда немцы кинулись к избе Коростенева, ближайшей к реке. В воду, в грязь, под лед ушла крыша двора, крыша избы, часть потолка, а чтобы лед не был скользок и ходить по нему было бы удобно, высыпали на него хранимый под семейной кроватью семенной и продовольственный запас зерна.

Этот разгром и застали мы с Ваней, придя в деревню спустя несколько часов после отъезда немцев, а рассказ о смерти Коро-

стенева нам поведала девочка, его дочь, после того, как мы с Ваней спустились с крыши.

– И вас, дяденьки, они убьют, – говорила девочка, глядя на нас умными, не по годам серьезными глазами. – Староста Архип Федорович скажет, они приедут и убьют и в костер бросят. Вы бы лучше в лес шли, там вам способнее… А то обязательно убьют…

– Не убьют! – вдруг страшно встрепенулась ее мать, и лицо ее перекосилось. – Не убьют! Спрячу!.. – повторила она хриплым голосом. – И Сергуньку бы не убили, да не послушал он меня… не понял…

Тут она пала всем телом на лавку и зарыдала, может быть, впервые после того, как очнулась после казни мужа…

Мы оставались с ней весь следующий день. Мой друг Ваня Удолин, мастак на все руки, сделал для нее все, что мог. Она сама работала без устали, но все молча и только, прощаясь с нами, низко поклонилась и тихо проронила:

– Спасибо вам, добрые люди!..

Единоличные сани

Но не всегда мы были желанными гостями у хозяев.

Как-то на одном из переходов меня продуло. Поднялась температура. К тому же от непрерывного передвижения нарывала нога. Идти я не мог. Нужна была передышка. Но кто согласится принять и кормить постороннего больного человека несколько дней да еще вблизи фронта, где в особенности свирепствовали немцы. Один только оставался выход – купить передышку, и неутомимый мой товарищ взялся за это, чтобы оказать мне помощь.

Несколько изб обошел он, и в одной из них ему предложили сделать для нас сани – единоличные сани – розвальни. Только, к сожалению, поспешил мой Ванюшка, не разглядел души хозяина. Материал у них был, и материал хороший – дуб, береза… А главное – было нетерпеливое желание на развалинах разграбленного немцами колхоза заложить поскорее основу единоличной жизни.

Меня особенно поразили сыновья-подростки. Их было трое. До немцев они учились в школе, но не узнавал я в них молодежь советской школы. Как будто ничто советское и не коснулось их. Самые хищнические инстинкты пробудил в них приход немцев. Они стали не только скопидомами-приобретателями, но и откровенными ворами. В свой двор они тащили все, что могли утащить из общественного добра или у своих соседей. Не раз их ловили,

били, но, поощряемые отцом, они продолжали свое дело. Бревна, доски, жерди, гвозди, стекло, снопы немолоченной колхозной гречи, посуда, склянки от лекарств, обломки парт из разбитой школы, инструмент из кузни, гайки, болты, прутья – всё стаскивалось под навес двора и пряталось в солому или зарывалось в землю.

А какие оказались кровопийцы! Будто родились кулаками! Он проявили природное умение выжать из человека все, что можно, и даже больше… Вот где не из книг, а из личного опыта познал я, каково оно батрацкое житье! Пареньки, когда были дома, усаживались на скамью в ряд, а разжиревшая от безделья мать их лежала на печке, и все четверо оценивающими ревнивыми глазами следили за каждым моим движением, за каждым движением Вани, и он делался зол, чувствуя себя, как на сцене.

Работал от темна до темна, рано утром начинал с коптилкой, с нею кончал поздно вечером. Он любил работать, душой отдыхал за работой, но здесь, под воздействием ревнивых и жадных глаз, Ваня задыхался.

Наш хозяин в избе появлялся к ужину. Его приход был настоящей пыткой. Что-то едкое, ядовитое отравляло воздух и давило на наши нервы. Минуту или две он молча осматривал то, что сделал Ванюша за день, – и безбородое, безусое лицо его выражало недовольство, серые глаза блестели, как у волка, губы чмокали, голова качалась.

– Ай-ай-ай, – восклицал он тонким сладким тенором, – как обессилил народ! Да ведь и как не обессилеть на колхозных-то хлебах! Бывало, трудящему человеку и хлеба вдосталь, и щи жирные, и овощь всякий, а ныне!.. тут тебе и немцы, и колхозы, и трудодни, а толку никакого. Не слыхали в пути своем длинном – порядок-то они установят ли? Как они хозяйничать думают? Придти пришли, а землю всё не делят… Что с нами будет? Ох, голова болит от этих дум! Вот и срядил я вас, а не знаю, пользоваться санями придется ли?

– Этого мы подавно не знаем, – отвечал Ванюша хмуро. – Вам, поди, виднее.

– Видно, да не больно… Может, струмент вам не к руке? – подходил к нему старый иезуит вплотную. – Может, и не ладится у вас потому, что деревенский струмент не свычен? В городе-то к хорошему привыкли?

– Да что не ладится-то? Как будто я стараюсь…

– Стараешься, милый человек, я разве говорю, что не стараешься. Но результатов, вишь, маловато! Который денек топором

тенькаешь! Пришел в воскресенье, сегодня четверг… Эх, да что! Я не упрекаю. Я понимаю беду твою – и себя содержи, и приятеля годуй, а время вон оно какое… Ныне каждый каждому зубы рвет… И вы, жеребцы, идолами сидите, – вдруг набрасывался он на сыновей. – Где бы помочь по-свойски, ась? Разленились.

Парни огрызались:

– Чай мы не нанятые! Мы ему не свойские… Взялся, значит – руби, а мы – посмотрим…

– Ай-ай-ай, – качал головой хозяин, – сердце у вас как ожесклo! Без бога-то! Ай-ай–ай! Что ж! Пожинаем посеянное за четверть века… Плевелы в поле, плевелы в душе – ну, и на сердце тоже плевелы… Квасок-то у нас еще есть, хозяйка?

После таких «вступлений» и «учета» ужинать что-то не хотелось: квас казался горьким, картошка – водянистой. Мне особенно кусок не лез в горло. С печки за мной пристально следили холодные глаза жирной бабы, и каждая картофелина, глоток кваса, проглоченные мною, расценивались как мой неоплаченный долг.

Наконец, я не выдержал и еще больной попросил топор.

– Какой уж ты, небось, работник! Городской… – искривился весь хозяин, но топор принес поспешно.

– Вот, мил человек, тенькай с богом, да поаккуратней, топор на деньги не укупишь.

Протенькал я час, а на другой онемели руки, и спина заныла, и багровый туман застлал глаза. Под шумное гыгыканье парней ударил топором вместо слеги по носку сапога и, оставляя на полу кровавый след, поплелся к стене на свою солому.

Никто из этих людей не двинулся с места. Не нашлось у них даже тряпки перевязать мне ногу. Перевязал мне ее Ванюшка, для этой цели он разорвал единственное полотенце. Он же положил на сапог заплату и вечером вытесал костыль из березовой палки…

Утром мы покинули единоличный дом, так и не закончив сани. И какой же руганью, какими проклятьями проводило нас обманутое семейство! Особенно постаралась баба. Сползла с печи и гавкала вслед нам, пока мы не скрылись из вида.

…И опять мы бредем по дорогам…

Поля давно саваном зимы покрыты, злая поземка швыряет сухую крупу нам в лица и за воротник залезает холодными пальцами. Днем гуськом – часами слова не скажем друг другу. Да и переговорено все, давно все переговорено.

А глянешь в сторону – горизонты широки, просторна матушка-земля родная, да теперь урезана, и бродят сыны ее по ней с

опаской. Вон там идет один… А там двое тянутся, по-бродяжьи заложив за спину руки.

Что согревает им сердце, какое чувство? Какая надежда помогает жить?

Мы потеряли родную землю – самое дорогое у человека – свою большую семью… И мы шли мстить… мстить… мстить ее обидчикам.

Родину шел убивать немец. Мы на каждом шагу своем видели, как он убивал ее. Мы потеряли оружие, но мы страстно хотели вновь получить его и шли, чтобы убивать убийцу, – учить других ненавидеть и убивать его.

Для этого нужна стойкость. Для этого нужна стойкость таежных деревьев, которые неутомимо тянутся к солнцу, обходя все преграды.

Мы должны были стать такими деревьями.

Пусть мы так же, как они, утеряем красоту мирного человеческого облика, пусть острыми углами и узластыми петлями пойдут наши сучья, искрученные ветром, – зато железная твердость будет в наших стволах… И дунут ветры с запада, с востока, дунет северный ветер или южный – мы зашумим грозно листьями, мы вспружиним ветви и корнями своими упремся в родную землю. Мы выстоим… мы выстоим любую бурю!

Выход

В начале декабря мы выходили к Епифани.

Здесь особенно зло работали каратели, все было объято страхом и глубоко затаенной надеждой. Все чутко прислушивались к тому, что доносилось от огненной линии фронта, и каждый жил здесь днями и часами. Каждый знал: произойдет «что-то», и не удивлялся, когда немцы подпалили сразу десятки деревень, а жителей тысячами погнали в тыл, на запад.

Несчастье застигло нас в деревне. Мы только что узнали, что уже пятый день, как победоносно наступают наши части и что они уже под Епифанью, а Горлово ими взято. Радость вскружила нам головы, надежда на близкий выход убила осторожность. И мы не ушли в лес, хотя это нужно было сделать. Мы вошли в деревню, не зная, что она окружена. Туда нас фрицы впустили, а из деревни… из деревни мы пошли вместе с ее жителями, угоняемыми на далекий запад. Какой же это был тяжкий удар, скосивший нашу молодую радость!..

На этот раз немецкий конвой был силен. Попытка к бегству неизменно кончалась расстрелом. Шли мы медленно по полям, еле прикрытым снегом, защищая один другого от ледяного ветра. Лишь на третий день мы достигли станции Валово, усталые, голодные, потерявшие надежду. Нас было уже свыше тысячи. Вошли мы в пристанционный поселок часа в четыре после полудня, а в это время другая колонна, перевалив железнодорожное полотно, медленно уходила в степь, отуманенную поземкой.

Улицы поселка были забиты немецкими грузовиками. Нечего было и думать бежать оттуда… И вдруг резкое и сухое бубуканье тяжелых пулеметов и удары громовых взрывов покрыли низкое гуденье немецких моторов… Сперва мы не поняли, в чем дело. Немцы что-то закричали, забегали, бросились в канавы, щели… Нас бросили.

– Воздух! – крикнул тут кто-то из наших.

Да, воздух… Налет нашей авиации, короткая, но энергичная бомбежка…

Так вот оно как немец паникует!.. Отличная, веселая картина, представление, какого в театре не увидишь! Мой приятель не дал мне этим зрелищем полюбоваться. Он увлек меня в поле, за насыпь, в группу низкорослых березок – к свободе. Уже вечерело. Дула поземка. Вновь отвоеванная свобода морозно и жарко дышала нам в лица. 11 декабря задержали нас немцы. 13 мы ушли от них с помощью советских летчиков, конечно, не подозревавших о таком итоге своей бомбежки.

Весь остаток дня и вечер полями и оврагами шли мы к востоку. Ночь коротали в омете соломы, а рано утром вновь вошли в лес, густой, матерый…

Деревни вокруг все горели. Тяжелые громады дыма бурными тучами закрыли небо. Переливался грохот далекой канонады, но где-то совсем близко вспыхивала сухая дробь пулеметов.

Мы шли к фронту, фронт шел к нам навстречу в своем грозном величии. Движущуюся линию фронта мы пересекли лесом. Нас вел местный человек по фамилии Суворов. Ему была известна здесь каждая тропинка.

Утром 15 декабря мы сидели на краю густого осинника, глубоко зарывшись в сугробе. По дороге метрах в двухстах от нас двигались какие-то воинские части. Немцы ли, наши ли – мешала разглядеть поземка. Мы замерзали в своей «смоленской одежонке», но не решались покинуть снежного увала. Потом дорога опустела. Мы хотели идти дальше, как вдруг звонкое цоканье подков опять

всколыхнуло тишину морозного леса. Небольшой отряд всадников рысил мимо нас, направляясь на запад.

Это не признать было трудно. Лохматые лошади, посадка всадников, что-то неуловимо знакомое и родное…

– Наши! – не своим голосом завопил Ваня и бомбой вылетел из снежной ямы. Следом и я выскочил наружу.

Всадники остановились. Из всех сил, по колено в снегу бежали мы к ним так быстро, как только могли нести ноги. Мы бежали и за нами все еще гнались призраки проклятой фашистской топи…

– Наши… Наши… Товарищи! – повторяли мы взапуски, громко, самозабвенно, и всадники с удивлением и скорбью созерцали испитые одичалые наши лица…

…Окружение кончилось, мы вышли. Родина принимала нас. Мы чувствовали себя, как чувствуют себя матросы с разбитого судна, когда выберутся из волн моря на твердую землю.

Звездочка

Теперь на мне вновь пехотинская, уже не новая, армейская шинель. «Бе-у», как выразился о ней складской работник, – «была в употреблении»… Но эта шинель дорога мне, она мне роднее, чем та форсистая, что осталась у Степана Гришакова. Ту я получил, эту – заработал. Да, что бы ни говорили скептики, эту – заработал…

И великий смысл боевой шинели – славной формы русского солдата – открылся мне ныне, как никогда не открывался, когда о войне с ее бедами я знал лишь по книгам…

Красноармейская звездочка украшает пилотку… У ней отломлена скрепка. Она пришита к пилотке черными нитками, и это меня не смущает.

Звездочка дорога мне, как память о пережитом. Когда я смотрю на нее, вспоминаю друзей боевых, вспоминается Ваня, которому она принадлежала. Мне вспоминается, какими они все были, и каким я был тогда с ними…

ПАТРИАРХ СИБИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(Афанасий Лазаревич Коптелов)

Прозаик и публицист Афанасий Лазаревич Коптелов родился 24 октября (6 ноября по новому стилю) 1903 года в деревне Шатуново Залесовской волости Томской губернии, в семье крестьян-староверов.

Поскольку родители запрещали ходить ему в школу, А. Коптелов самостоятельно освоил грамоту, затем окончил курсы «красных учителей». Работал книгоношей, занимался ликвидацией неграмотности, заведовал волостным земельным отделом, работал в уездном земельном управлении, организовал в 1921 году и возглавил коммуну «Красный пахарь», сотрудничал в газетах «Красный Алтай» (Барнаул), «Алтайская деревня», «Звезда Алтая» (Бийск).

Первые рассказы А. Коптелова появились в 1924 году в журналах «Сибирская деревня» и «Алтайская деревня», а с 1925 года он регулярно печатается в «Сибирских огнях». Первая книга А. Коптелова – «Васька из тайги» – появилась в Москве в 1927году. Перу А. Коптелова принадлежат также книги «Светлая кровь» (1933), «Великое кочевье» (1935 и др. издания)», «Снежный пик» (1947), «Навстречу жизни» (1949), «Сад» (1956, 1959), «Горы и люди», «Минувшее и близкое» (обе – 1973) и др., увидевшие свет в Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске и Москве. Член Союза писателей СССР. Лауреат Государственной премии СССР.

А. Коптелов вел большую общественную работу. Избирался в различные советские и партийные органы, секретарем Союзов писателей СССР и РСФСР. За успехи в литературной и общественной деятельности А. Коптелов был отмечен орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета» и другими государственными наградами.

Умер 30 октября 1990 года на станции Издревая Новосибирской области.

А. Коптелов – патриарх сибирской литературы XX века. За десятилетия неустанной творческой деятельности им создано множество рассказов, очерков, повестей, романов, пользовавшихся неизменным читательским успехом. И за какую бы тему, в каком бы жанре А. Коптелов ни брался, везде прямо или косвенно возникает у него образ родного Алтая, который стал для писателя неиссякаемым жизненным и творческим источником. Особый интерес испытывал он к судьбе Горного Алтая. Много ездил по нему, изучал литературу об алтайцах, имел личные связи с талантливыми алтайскими художниками Г. Гуркиным и Н. Чевалковым, от которых многое узнал и почерпнул. И не случайно одним из лучших произведений советской литературы на национальную тему явился роман А. Коптелова «Великое кочевье», где писатель рассказал о переходе от традиционного единоличного кочевья алтайского пастуха-скотовода к оседлой общественной жизни, к колхозу. Роман этот стал не только частью русской литературы Сибири, но и органично вошел в духовную культуру алтайского народа. Много времени и сил отдал писатель ленинской теме, нашедшей свое художественное воплощение в трилогии о В.И. Ленине – «Большой зачин» (1963), «Возгорится пламя» (1966 – 1969), «Точка опоры» (1973 – 1977).

А. Коптелов был не только талантливым прозаиком, публицистом, но и видным издателем, составителем и редактором ряда книг и тематических сборников сибирских писателей, многочисленных изданий алтайского героического эпоса, а также исследователем литературы народов Сибири. Знали А. Коптелова и как крупного общественного деятеля.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги А. Коптелова:

Собр. соч. в 5 т. – Новосибирск, 1978 – 1982.

Об А. Коптелове:

Кондаков Г. Певец горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1963.
Яновский Н. Афанасий Коптелов. Критико-биографический очерк. – М., 1966.
Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.

Афанасий КОПТЕЛОВ

НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ

(Отрывки из повести)

Это произведение основано на реальных событиях поздней осени 1942 года, связанных с теперь уже легендарным походом изыскательской партии Александра Михайловича Кошурникова. Взяв в помощь молодых инженеров Алексея Журавлева и Константина Стофато, он отправился по безлюдным местам Восточных Саян в поисках оптимального варианта пути для новой железнодорожной трассы (в будущем Абакан – Тайшет). Все трое погибли на коварной горной реке Казыр (в повести – Ургул). О подробностях этого трагического путешествия стало известно из полевых дневников А.М. Кошурникова, труп которого через год после гибели нашел местный житель, а писатель А. Коптелов использовал позже записи изыскателя в работе над повестью «Навстречу жизни». Сегодня именами героев-изыскателей названы улицы Новосибирска. В повести же они без труда угадываются под фамилиями Кожухов, Стахеев и Журов.

* * *

Утром Кожухов не мог встать: у него кружилась голова, и он испытывал острые приступы тошноты. Поднялся он только в полдень, посидел у огня, снял сапоги, чтобы хоть немного отдохнули ноги, но, взглянув на раздувшиеся пальцы, испугался и стал обуваться. Ему с трудом удалось натянуть сапоги, и он решил больше не снимать их: знал, что снятые сапоги могут ссохнуться или смерзнуться, а разутые ноги распухнут еще больше.

Присмотрелся к спутникам. У Стахеева не только щеки, но и губы стали синие, а в глубоко запавших глазах – невысказанная тревога. Журов стал еще молчаливее. Под глазами появились темные отечные мешки.

Голодные, но молчат об этом. На очередное варево у них остался только маленький кусочек оленьей шкуры.

«Ничего, успокоил себя Кожухов, – будем копать саранку… Мы еще чувствуем голод, значит – живем…».

Он взял топор и отправился на поляну, где вздымались прямые дудки саранки. Сухие коробочки на стрелках походили на детские погремушки. От легкого сотрясения из них вываливались семена и, колыхаясь в воздухе, падали на землю. Придет весна, они набухнут теплой влагой, наберутся силы от ласкового солнышка и беленькими коготками уцепятся за землю. Прогретая земля даст им свои живительные соки, и в щетке густой травы появятся зеленые шилья… < >

Выбрав дудку повыше и потолще, Кожухов вырубил ком земли и перевернул его. В черном дерне, перевитом мелкими корневищами, блеснула золотистая луковица. Кожухов рванулся к ней зубами, но у него еще было достаточно силы воли, чтобы остановить себя. Он руками выломил крупную луковицу и торопливо спрятал в карман полушубка: «Будет варево для всех…»

Вернувшись на стан, он разгрузил карманы и увидел, что у него полный котел луковиц. Он дал своим спутникам по луковице и одну взял себе. Мясистые лепестки захрустели на зубах Луковица, уже успев подмерзнуть в земле, была сладкой, как в весеннюю пору. Не зря деревенские мальчишки считают саранку лакомством.

Они съели еще по одной луковице, а остальные Кожухов залил водой и котел повесил над огнем.

Руки его дрожали, но он не отказался от очередной записи, а наоборот, пользуясь положением больного, сделал ее более пространной и точной. Он внес в дневник все, что забыл записать в предыдущие вечера и что вспомнилось сейчас Ведь неизвестно, будет ли у него еще возможность для подробных записей.

Только на третий день он почувствовал, что у него еще достаточно силы, чтобы добраться до жилых мест, и помог закончить плот. Окончанию этого плота они радовались едва ли не больше, чем всем, построенным ранее, – вероятно потому, что верили: доплывут до Пономаревых Заимок.

Стахееву и Журову было приятно, что этот плот они сделали сами, почти без помощи Андрея Михеевича.

Стахеев подумал о фронте. Там, наверное, на таких плотах перевозят через водные рубежи легкие пушки и пулеметы. У него теперь есть сноровка плотовщика, и она пригодится в боевых походах!

Накануне отплытия погода опять резко изменилась: мороз посеребрил скалы, прошелся тяжелым катком по долине, превращая ее в ледяное зеркало, а на деревьях вырастил белую хвою первой кухты. Ветру не понравилась эта ранняя зимняя роскошь. Он, ворвавшись в долину с востока, раздел березы, осины и кустарник,

сосны снова превратил из белых в зеленые, мел серебро с крутых скал и принялся забрасывать ледяные зеркала пушистыми хлопьями снега.

По Ургулу опять поплыла густая шуга. На тихих плесах снова появились ледяные перехваты. Путешественники убедились в этом через два километра пути. Им пришлось расстаться с плотом, которому они радовались более всех других.

Ниже ледяного перехвата они начали строить еще один.

И они построили этот плот. И еще один плот. Сами удивлялись: откуда у них берутся силы. Ведь не от луковиц саранки, не от ягод рябины, которые они тоже ели в сыром и вареном виде, не от горькой сосновой хвои, которую Кожухов сам жевал с утра до ночи и заставлял жевать своих помощников. Может, от тех семи рябчиков, которых они убили по дороге? Нет, этого слишком мало для троих человек. Их иссякающие силы поддерживались негаснущей любовью к жизни и непоколебимым чувством долга перед своим народом. Однажды во время постройки очередного плота у Георгия вывалился топор из рук. Они все молча сели на бревно. Кожухов – по одну сторону Журова, Стахеев – по другую. Они не сговаривались об этом, думы их шли одним путем: товарищ устал больше всех, и в середине ему будет теплее.

У Георгия подбородок уткнулся в грудь, и он захрапел. У Николая тоже слипались веки. Он спросил:

– Может, развести большой костер?..

Это означало – привал до утра.

Кожухов ответил:

– Завтра плот может не понадобиться… Поплывем сегодня…

Глаза его блеснули былым задором.

– Знаешь, Коля, – заговорил он тепло и взволнованно, – сейчас я увидел себя молодым. Не то, что вспомнил о прошлом, а – снова молодым. Я только-только закончил десятилетку. Окончил отлично. Передо мной открыты двери всех вузов. Куда идти? И, знаешь, я сказал себе – в транспортный институт. Работать изыскателем. И только изыскателем. Кабинетная жизнь не по мне. А вот у таежных костров – мой дом. Тут передо мной возникают облики новых железных дорог– мое родное.

Слушая его, Стахеев думал, что он сделал бы то же самое.

Потом он сказал:

– Дойдем до села, и сразу же пошлем телеграмму… Николай вскинул голову, и голос его зазвучал с прежней силой. – Докладываем, что мы прошли по Ургулу…

Громкий разговор в последние дни был для них так необычен, что Журов открыл глаза. Ему показалось, что к ним пришли на выручку знакомые люди из отряда Надежды Петровны.

Кожухов встал и пошел достраивать плот. И его помощники, почувствовав прилив сил, тоже взялись за топоры…

На стоянках они, сберегая силы, старались не делать ни одного лишнего движения. Чтобы ночью все могли отдохнуть, дежурные у костра теперь сменялись через каждые два часа.

Вера в благополучное завершение путешествия была непоколебимой. Ведь каждый час, хотя и не намного, но приближал их к цели. Горы все ниже и мягче. Скоро Ургул вырвется в светлую долину, где нет ни порогов, ни перекатов.

Если бы не эти ледяные перехваты, то путешественники уже давно были бы у продуктового лабаза. А может быть, даже отдыхали бы в теплых избах Пономаревских Заимок.

Впереди показался еще один большой порог. Илья Колодников любил рассказывать о нем, может быть, потому, что плыл в большую воду, когда каменный уступ как бы смягчался толстым слоем воды, и потому косой порог мог показаться не особенно опасным.

Если бы не камни да не лед на широком плесе, раскинувшемся тотчас за порогом, путешественники благополучно прошли бы и через это последнее испытание.

Но на их пути встал неожиданный барьер…

* * *

…Стахеев не успел вскочить на ноги: опрокидываясь, плот сбросил его и, прижимаясь к обледенелому камню, погрузил в воду. Он даже не смог вскрикнуть. Шапка его всплыла на пенистой струе, а через секунду исчезла под кромкой льда.

Кожухов и Журов ухватились за верхнее бревно. Один – с левой стороны, другой – с правой. В тот же миг оказались у ледяного барьера.

Принимая снова горизонтальное положение и уходя под зимнюю броню широкого плеса, плот приподнял Журова и выбросил на тонкий лед. Широко распластав руки, Георгий быстро пополз в сторону берега. Но лед, не выдерживая тяжести, сначала выгнулся корытом, в которое тотчас налилась вода, а потом по нему обширной паутиной раскинулись трещины, и он стал дробиться на мелкие куски.

Обрывая ногти, Журов цеплялся за трещины, полз вперед, но за его ногами уже бурлила вода и тянула его вниз, в глубокий омут.

Кожухов оторвался от бревна, когда ледяное лезвие ударило его по пальцам и рассекло кожу. Цепляясь левой рукой за кромку, он правым кулаком дробил тонкий лед и продвигался к серому камню, видневшемуся неподалеку. Силы покидали его, и он не добрался бы до этого камня, если бы коленки не ударились о большой валун. Встав на это валун, Андрей поднялся из воды до пояса и, раскинув руки, метнулся вперед. Здесь лед был толще, хотя и затрещал под тяжестью тела, но только выгибался, а не дробился. Ползти приходилось все время по тонкому слою воды, который то и дело примораживал одежду. Мокрые руки, опираясь о лед, вмиг примерзали к нему и всякий раз оставляли лоскутья кожи

Гибель Николая Кожухов видел. О Гоше он знал только, что парня выбросило на тонкий лед. А удалось ли ему выползти на прочное место? Жив ли он?

Добравшись до камня, Кожухов сел и оглянулся туда, где произошла катастрофа.

Среди всплесков воды и осколков льда барахтался Гоша. Ни очков, ни шапки на нем не было, на волосах замерзли сосульки.

Трудно было понять – не то он плыл, не то полз по льду, ломавшемуся под коленками. Судя по всему, он не видел, где оканчивается лед, и медленно продвигался к правому берегу, до которого было вдвое дальше, чем до левого; крикнул два раза, а потом затих. Может быть, подумал, что он – один в живых и спасать его некому.

– Здесь я… Здесь… – отозвался Кожухов и, спустившись с камня, быстро пополз к месту катастрофы. Он торопился к своему, теперь единственному другу, чтобы помочь ему выбраться на берег, но на пути легла полынья. Пока Кожухов огибал полынью, прошло несколько минут.

Теперь Журов уже плыл по воде. Он хватался за кромку, пытаясь выбраться наверх, но лед тотчас же обламывался, и пловец снова погружался в воду по самые уши.

– Сейчас помогу… вытащу! – кричал Кожухов, направляясь к нему. – Держись, держись!..

Лед прогибался все сильнее и сильнее. Ни холода, ни боли Андрей не ощущал. Об опасности не думал. Ясное сознание, слабеющие силы, упрямая воля – все было направлено на одно: подать туку помощи товарищу, уже захлебывающемуся водой, а потом вместе с ним доползти до берега.

Рискуя снова оказаться в реке, Кожухов подполз к самому краю льда и протянул широкую, темную от ожогов и крови распухшую руку, на которой уже не гнулись одеревеневшие пальцы:

– Хватайся.

Журов ухватился правой рукой, а левой стал опираться на кромку. Но лед обломился; ног уже давно не чувствовал, знал только, что теперь течением тянет их под ледяную броню. – Разбивай кулаком… – крикнул Андрей Михеевич. – Я удержу…

Журов стал разбивать лед, а Кожухов, отползая, поддерживал его за другую руку и тянул к берегу, но с каждым взмахом рука слабела, и вскоре ледяное поле не стало поддаваться ударам. Теперь бы дать ему острый камень. Принести бы с берега. Но парня нельзя оставить ни на одну минуту – не удержится он. Его задернет под лед.

«Что же делать? Что делать?» – спрашивал себя Кожухов и не находил ответа..

У Георгия поникла голова, по лицу расходились синие пятна. Вот в руку ударила леденящая судорога…

– Гошенька!.. Гоша!.. – кричал Кожухов. – Ты слышишь меня? Дружок!..

Журов приподнял голову, как будто что-то хотел сказать, но тут же уткнулся подбородком в кромку льда. Глаза его потускнели и стали затягиваться белой пеленой, как у мертвой птицы.

– Гоша!.. – крикнул Кожухов громче прежнего и, собрав все силы, дернул безжизненную руку друга.

От порога приближался толстый обломок светло-зеленой льдины. Он ударил Журова в спину, затягивая его в глубину реки, под сплошной ледяной покров.

Андрей Михеевич хотел оттолкнуть обломок льдины, но сам едва не опрокинулся в воду.

Скрюченные пальцы товарища мелькнули перед глазами и скрылись подо льдом…

Зубы стучали от невыносимого холода, пронизывающего все тело. Мокрая одежда примерзала ко льду, руки отказывались двигаться. Еще несколько секунд, и Кожухов тоже закроет усталые глаза….

«Нет, нет… – затеплилось где-то глубоко в сознании. – Меня ждут… Знают – проложу трассу… – неуверенно шевельнул одеревеневшим локтем полевую сумку на боку и обрадовался этому движению, как ребенок первому шагу. – Я еще могу… Могу… На берег…»

Напрягая последние силы, он рванулся сначала в одну, потом в другую сторону; оторвавшись ото льда и оставив на месте клочья вмерзшей одежды, пополз к берегу…

< >

* * *

Мокрый до последней нитки, Кожухов топтался на берегу и размахивал руками, чтобы хоть немножко согреться. Обмерзшие ноги едва отрывал от снега. Ударяясь каблуками один о другой, сапоги звенели, словно были отлиты из чугуна.

По долине, как по трубе, дул с высокого Белогорья острый ветер, и одежда покрывалась белой коркой льда.

Силы оставляли Андрея. Он хотел осторожно опуститься на буреломину, но суставы долго не гнулись, а потом вдруг ноги как бы подломились, отказавшись поддерживать отяжелевшее тело. Закрыв лицо руками, он сидел неподвижно, думал, как добыть огонь. Ружье и патроны утонули. Кресало с огнивом остались в кармане Гоши. Единственная надежда – на клочья ваты в стеганых брюках, но для этого нужно, чтобы вата была сухой. Ее может высушить ветер. Но когда это будет? Скорее мороз превратит сердце в камень, чем ветер высушит мерзлую вату.

Сидеть нельзя ни минуты, надо бороться с морозом, пока бьется сердце. А если не удастся пройти сквозь это ледяное безмолвие, то и последнюю каплю потратить не напрасно. Пусть друзья по работе возьмут в руки его тетрадь. Они увидят и будущий тоннель, и мосты через этот дьявольски быстрый Ургул, и выемки в скалах. Они для строителей поставят колья с пометками, которые не успел сделать он…

Полевая сумка стала тяжелой, как плитка известняка. Уступая усилию рук человека, крышка хрустнула и наполовину отломилась. Внутри сумки вода еще не успела превратиться в лед. Кожухов выплеснул ее и отряхнул дневник. Листы мокрые, но записи предусмотрительно были сделаны простым карандашом. Ни одно слово не пострадало от воды. Почерк у него четкий – любой человек разберется в дневнике, а инженерам-путейцам записи очень пригодятся. Им тетрадь поможет проложить дорогу.

Пальцы не гнулись. Андрей Михеевич подумал, что ему уже не достать карандаш. Ладонь правой руки прижал к карману гимнастерки. Там карандаш. И там же самое главное – партийный билет.

Партбилет завернут в непромокаемую бумагу. Ни одной капли воды не попало на него. Это хорошо! Он и впредь будет храниться на груди, словно новенький, не помятый, не запачканный, как совесть, чистый.

По пальцам как бы струилось тепло, и казалось, что боль утихала. Андрей Михеевич даже смог расстегнуть карман. Теперь карандаш у него в руках. Но как только он взял его, пальцы заныли от невыносимой боли.

В правом верхнем углу страницы Кожухов с трудом написал число и месяц. А ниже во всю страницу – дюймовыми буквами:

«Пишу последний раз. Рука не движется. На пальцах не осталось кожи…»

Он попробовал писать, держа карандаш в зубах, но не мог вывести ни одной буквы.

Синие, скрюченные пальцы приложил ко рту, но они не почувствовали тепла.

С трудом ему удалось снова взять карандаш, и он, стиснув зубы от боли, написал четыре строчки:

«Иду голодный и мокрый. Кажется, даже не смогу сорвать кисть рябины. И огня не могу добыть. Если не выйду к лабазу, вероятно, этой ночью замерзну…»

Вспомнил детей. Они еще маленькие. Сережа еще только мечтает о пионерском галстуке. Да и Машенька – тоже. Жаль их. Но он не боится за их судьбу. Перед ними – большая дорога…

Графит оледенел и уже не оставлял следа на бумаге. Андрей Михеевич согрел его дыханием и написал последние слова:

«Знаю, родина не забудет моих детей…»

Карандаш выскользнул из застывших пальцев и упал в снег.

Кожухов закрыл тетрадь, но тотчас же пожалел об этом. Не иссякшая еще сила воли, железное упорство в достижении цели, беспредельная любовь к жизни – все взбурлило в нем, восставая против того, что он только что написал в дневнике о себе.

«Нет, нет. И еще раз нет, – мысленно произносил он то, что ему хотелось изложить на бумаге. – Всем чертям, всем бедам наперекор я выйду к людям. Бывает же в жизни счастье. Может быть, вон за тем мыском пылает костер охотников: ведь там кончается граница заповедника… А нет – ползком доползу до лабаза, даже до Пономаревских Заимок… Я еще проложу эту трассу до конца. Составлю проект для своего старика, пусть строит…»

Эта взбурлившая сила жизни снова пробудила в нем инженера и заставила взглянуть на все окружающее глазами изыскателя.

В конце порога к реке опускается скала. Там нужно будет рубить полку. Метров семьдесят. Об этом надо написать…

Он попытался снова открыть тетрадь, но листы ее уже смерзлись. Да и карандаша он не мог поднять.

Одежда, превратившаяся в ледяную броню, затрудняла движение. Она хрустела и ломалась.

Сапоги вмерзли в снег. Чтобы оторвать их, Андрей покачнулся сначала в одну сторону, потом в другую и, потеряв равновесие, упал. Он пролежал так несколько минут, набирая сил. Потом со

стоном поднялся. Из рваных стеганых брюк он натеребил ваты и сунул за ремень, чтобы она развевалась на ветру. Так скорее вымерзнет влага. Может быть, к ночи или к утру вата станет сухой, тогда он добудет огонь, высушит одежду…

Потом он повернулся к тому месту, где погибли товарищи, и снял шапку…

Так на фронте расстаются с погибшими друзьями: вздыхать некогда – надо идти дальше, делать то, чего ждет страна.

Кожухов поднял голову, надел шапку и, прокладывая метровую борозду в снегу, шатаясь, побрел в сторону далеких жилых мест.

* * *

Холодный ветер покрыл снег жесткой коркой, похожей на оконные стекла. Под ней снег рыхлый, мягкий. Раздробив корку, ноги проваливались до самой земли. Кожухов шел по пояс в снегу. Каждый шаг – мучительное препятствие. Через валежник он переползал на животе. На маленькие косогоры взбирался на четвереньках.

Обледеневшие лохмотья одежды звенели на ветру. Обветрившие щеки кровоточили. Глаза время от времени закрывались воспаленными веками. Кожухов засунул руки в рукава и шел покачиваясь. Ноги его отказывались двигаться. Он пытался напрячь силы, но сил не было. Еще несколько минут, и ноги подломятся. Он передвигался маленькими неуверенными шагами.

Потом все закружилось перед ним, как в вихре. Полетели куда-то деревья, мелькнули раздробленные стекляшки неба. Кожухов ткнулся плечом в куст рябины. Куст дрогнул, и с него посыпались белые комья.

Снег медленно таял на лице, на шее, а Кожухов не мог смахнуть его.

– Нет, нет, – упрямо говорил он самому себе. – Я не упаду… Я еще могу идти.

И снова вперед.

На каждом шагу встречались буреломины, засыпанные снегом. Его тянуло к ним. Хотелось сбить снег ногой и присесть отдохнуть. Но, уже ослабевший, он шепотом говорил себе:

– Мне нельзя садиться… Нельзя закрывать глаз… Я не встану… не проснусь…

Нет, ему нельзя останавливаться. Надо идти без отдыха до охотничьего костра, до жилых мест.

И он шел. Весь день и всю ночь. Проламывался сквозь разбушевавшийся буран. И даже не пенял на ветер, часто валивавший с ног. Без ветра он темной ночью мог бы потерять направление, так как знал, что ветер дует с востока, вдоль по долине, то и шел по ветру. Только бы не оступиться в реку.

Заслышав шум воды на перекатах, он поворачивал влево, в глубину леса, хотя там на его пути то и дело оказывались поваленные деревья. Но и эти валежины ему помогали, указывая, где запад и где восток.

Перед рассветом буран прекратился, и шум в лесу утих. Проснулись пестрые дятлы и начали отстукивать свои телеграммы.

– Обо мне… – шептал Кожухов, озираясь по сторонам. «Только откуда это? Наверное, с приисков? Или с того рудника, который был открыт Николаем Стахеевым? Кажется, там добывают ртуть?.. Это телеграфируют в город, чтобы Хвойник прислал самолет? А может, на станцию железной дороги? Ведь где-то здесь уже близко самая восточная станция нашей магистрали. Вон слышны гудки паровоза».

Задыхаясь от волнения, Кожухов убыстрял шаги, хотел крикнуть: «Здесь я…» – но вдруг обнаружил, что у него нет голоса. А гудки все дальше и дальше.

Почему паровоз идет не в ту сторону? Он должен вламываться в дебри тайги…

Вспугнутые дятлы перелетали с дерева на дерево. Кожухов глядел на них и разводил руками. Никогда он не думал, что фарфоровые изоляторы могут прыгать со столба на столб.

«Это все оттого, что голова кружится…» – подумал он. – Станция близко… Наша станция Магистральная…»

И он побрел на бодрящий зов паровозных гудков.

Но правую ногу невыносимо сжимал смерзшийся сапог. Так не дойти, надо поправить.

Кожухов выбрал место под деревом, но сразу сеть не мог – спина одеревенела. А когда это ему удалось, он почувствовал, что ноги у него подломились, как подламывается мерзлая дудка. Но, странное дело, подломились без боли.

Он попробовал снять сапог, – обледеневшая кожа, казалось, примерзла к телу. Изуродованные руки, потеряв силу, скользили по голенищам, как по гладкому стеклу.

– Встань… Встань… – говорил он себе, боясь, что через минуту уже будет поздно: навязчивый сон, с которым нет никакой возможности бороться, закроет глаза, уронит голову на грудь… Но встать уже не мог.

На востоке из-за гор поднялось солнце, и снежные вершины казались алыми. Снег в лесу стал голубоватым, тени от высоких пихт легли на него легким серым узором.

Кожухову казалось, что он идет берегом реки. Слева – тайга, справа – зеленоводный Ургул. А паровозные гудки все поют и поют… Но почему-то крепко слиплись ресницы, и глаза не открываются…

Кожухов проводит пальцами по закрытым глазам и бессильно роняет руки…

«БЫТЬ ПОЭТОМ – НЕЛЕГКОЕ ПРАВО…»

(Елизавета Константиновна Стюарт)

Поэтесса Елизавета Константиновна Стюарт родилась 28 сентября 1906 года в Томске, в семье железнодорожных служащих.

Учиться начинала в гимназии, а окончила советскую школу-семилетку. В 1932 году Е. Стюарт переехала в Новосибирск, с которым будет связана вся ее дальнейшая жизнь. Работала сначала машинисткой, потом литературным редактором в Новосибирском радиокомитете. Училась заочно в Литературном институте им. А.М. Горького. В Великую Отечественную войну была редактором областного отделения ТАСС. Работала в журнале «Сибирские огни».

Выступать со стихами начала с 1929 года в журнале «Товарищ». Публиковалась в журнале «Сибирские огни». Первые (детские) книги Е. Стюарт «Слон» и «Про нас» вышли одновременно в 1936 году в Омске и Новосибирске. Первый сборник лирики для взрослого читателя «Города будущего» появился в 1943 году в Новосибирске. Е. Стюарт – автор около 40 поэтических книг для детей и почти 20-ти лирических сборников, выходивших в Москве, Новосибирске, Омске, Иркутске. Лауреат украинской премии им. Т.Г. Шевченко. Была награждена орденами «Знак Почета» и «Дружба народов».

Умерла 3 февраля 1984 года в Новосибирске.

«Среди других российских поэтесс // И для меня есть место в мире этом» – писала на закате жизни Е. Стюарт. И далеко-далеко не последнее, можно добавить. Ибо была она не просто сочинительницей стихот-

ворных строк, а Поэтом. С большой буквы. Впрочем, и по сей день на российском поэтическом небосклоне она остается одной из звезд первой величины.

«Войди в мой мир, // и ты его полюбишь», – обращаясь к своему читателю, утверждала в одном из стихотворений Е. Стюарт. И никогда не давала повода в том усомниться.

Она создала собственный неповторимый поэтический мир, в котором хватало места стихам для взрослых и детей, пьесам, переводам, радовавших не только российских, но и читателей многих других стран. Мир этот негромок, но многоцветен, многозвучен и гармоничен. У поэтессы нет произведений эпического размаха, зато безмерны лирические глубины, в которых «откликнулась, как эхо» и собственная жизнь и душа Е. Стюарт.

Е. Стюарт обладала обостренным даром видеть в обыкновенном необыкновенное, за малым большое и находить настоящую поэзию в вещах, казалось бы, совершенно незначительных.

В стихотворении Е. Стюарт «Родине» возникает словосочетание «полынь и солнце». В нем соединились два шедших в жизни поэтессы бок о бок начала: горечи и боли с радостью бытия и светом надежд. Оба они в поэзии Е. Стюарт прочно сцементированы неизбывным чувством Родины, которое было для поэтессы «началом всех начал». Судьба родной земли, народа своего «стала неотвратимою судьбою» самой Е. Стюарт, источником ее духовного и творческого самочувствия, самосознания и самоутверждения. Мотив «времени и себя» с особой сердечной обнаженностью и трагизмом звучит в стихах Е. Стюарт о Великой Отечественной войне.

Память сердца и опыт души были краеугольными камнями поэзии Е. Стюарт. Особое место в ее стихах занимала природа, частью которой она себя всегда ощущала, и которая питала ее творческой и жизненной силой.

Е. Стюарт несла в своих стихах мощный заряд мудрости и чистоты, красоты и доброты, энергию которому придавали предельная честность и искренность каждого сказанного ею слова и высочайшее поэтическое мастерство.

Поэзию Е. Стюарт отличают удивительная языковая чистота и прозрачность, с одной стороны, и точность, экономность в создании запоминающихся художественных образов – с другой.

Е. Стюарт называют иногда «сибирской Ахматовой». Сама же она очень любила и ценила творчество Анны Андреевны. Основания для такого сравнения действительно существуют. И роднит этих прекрасных поэтесс в первую очередь кристальная ясность поэтического слова, благодаря которому прокладываются к читательскому сердцу кратчайшие пути.

«Цель творчества – самоотдача», – писал Б. Пастернак. «Я работаю на старомодном сырье: на сгораньи души, на утрате покоя», – по-своему интерпретировала и продолжила его мысль Е. Стюарт. И действительно, неослабевающим творческим накалом была освещена вся ее долгая и плодотворная жизнь, за которую поэтесса сумела сполна расплатиться «чистым золотом каждой строки».

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Е. Стюарт:

Полынь и солнце. Стихи. – М., 1979.
Моя рябина. Стихи. – Новосибирск, 1984.
Той осени дожди. Стихотворения. – Новосибирск, 1986.
Ветер одиноких дорог. Стихи. – Новосибирск, 2000.

Об Е. Стюарт:

Мостков Ю.Елизавета Стюарт. (Литературный портрет). – Новосибирск, 1982.
Горшенин А. Чистое золото каждой строки. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.
Воспоминания о Елизавете Стюарт. – Новосибирск, 2007.

Елизавета СТЮАРТ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Родине

Я разную природу понимаю.
И пыль тропинок разных принимаю.
Но лишь тебя я так люблю и знаю
И ни на что вовек не променяю.

Не потому, что ты прекрасней многих.
А просто ты живешь в моей тревоге,
В моих решеньях
и в моих крушеньях
То как опора,
то как утешенье.

Ты для меня начало всех начал,
Твой ветер колыбель мою качал,
И вручены мне до скончанья дней
Полынь и солнце Родины моей.

Никто из нас забыть не сможет…

Воспоминаний уничтожить
И годы счастья не вольны.
Никто из нас забыть не сможет
О самых первых днях войны.

Нам сохранит навеки память,
Как, враз перечеркнув покой,
Ползли орудия ночами
По потрясенной мостовой.

Как наши маленькие дети,
Играли под окном в войну,
Как налетал горячий ветер,
Взметая пыли пелену.

И как, предвидя все утраты,
Был город грозно напряжен,
Отметив дверь военкомата
Толпою молчаливых жен…

И маршировки топот ровный.
И песни в тесных поездах –
Тех дней мельчайшая подробность
Запоминалась навсегда.

И каждый так же не забудет
Тех дней тревогу и печаль.
Как, верно, площадь помнить будет
Ход танков, врезанный в асфальт.

* * *

Как это трудно – взгляд последний кинуть
На комнату. Поправить половик.
На место кресло старое подвинуть,
К молчанию прислушаться на миг.

Взглянуть в окно с далекою звездою
И зеркало в немой голубизне,
В которое смотрелась молодою,
Стеклом тихонько повернуть к стене.

И выйти, вынося одну кручину,
И, не разжав сведенных мукой губ,
Поджечь все это тоненькой лучиной,
Чтоб ничего не оставлять врагу…

Как нелегко молчать заставить память.
А возвратясь,
на пепле и золе
Вновь заложить тот самый камень,
Что всех прочнее ляжет на земле.

Как нелегко, все сосчитав могилы,
Не умереть от горя самому.
Как нелегко!..
Но это все под силу
Прекрасному народу моему.

* * *

Войди в мой мир –
и ты его полюбишь:
он полон той особой тишины,
когда видны невидимые глуби
и шорохи неслышные слышны.

И если ты
уловишь отзвук смеха
иль отзвук боли в лиственной глуши,
то – жизнь моя откликнулась, как эхо
На зов чужой,
но пристальной души.

* * *

Имеющий уши – да слышит,
Имеющий душу – да чует,
Как шмель успокоено дышит,
В цветке придорожном ночуя.

Как речка пересыпает
Серебряных звезд отраженье,
Как листья осин, просыпаясь,
Приветствуют ветра движенье.

Как дождик бормочет над крышей,
Как кто-то под крышей тоскует…
Имеющий уши – да слышит,
Имеющий душу – да чует.

* * *

Не могу надивиться,
не могу надивиться
Чуду воды
и чуду крыла.
Ростку,
что весной из-под снега стремится,
Сотам, которые строит пчела,
Хрустальному звону осенней синицы
В пустом и притихшем сосновом бору,
Человечьему сердцу –
красоте и добру –
Не могу надивиться,
не могу надивиться.

Лесу

Ты для меня как очищенье,
Как отпущение грехов,
Как тайное предвосхищенье
Возникновения стихов.

Я прихожу к тебе с тревогой,
С бедой, бывает, прихожу,
Но всюду на твоих дорогах
Я утешенье нахожу.

Ты отвергаешь лицемерье,
Ты запрещаешь фальшь и ложь,
Ты, верой заменив безверье,
Отчаиваться не даешь.

Благодарю за это счастье,
За флейту иволги лесной,
За то, что в вёдро и в ненастье
Ты за меня встаешь стеной.

Благодарю за ту тропинку,
Что позвала издалека,
И за сочувствия росинку,
Скатившуюся с лепестка…

Ветер весны

Так бывает, я знаю,
в феврале на рассвете:
Вдруг врывается в город
удивительный ветер.
Ветер пахнет сосною, свежей чащей лесною
И пока не пришедшей на север весною.

Но когда появляется ветер, я знаю –
Это держит совет журавлиная стая,
На чужбине, где солнце в зените сгорает,
Для отлета домой вожака выбирает.

И вожак, облеченный высоким доверьем,
Вновь и вновь проверяет упругие перья –
Понимает, что скоро он, крылья раскинув,
Врежет в небо над морем косяк журавлиный.

От чужих берегов, маяков и напастей
Полетят журавли к настоящему счастью…
Чувство Родины
                птицам поможет не сбиться…
Все желанья должны обязательно сбыться!

Это чувство приходит на зимнем рассвете:
Вдруг врывается в жизнь
                удивительный ветер.
Ветер пахнет сосною, свежей чащей лесною
И обещанной сердцу
Долгожданной весною.

* * *

Еще ничто не предвещало
Исчезновенья тишины,
Еще предчувствие начала
Не проникало даже в сны,
Еще прикидывались вещи
Совсем такими, как вчера,
Но было все иным и вещим
И говорило мне: пора!
Пора!..
        А я взглянуть боялась
В лицо твое
            и стать иной…
Но молния уже металась
В притихшей туче грозовой!
Все ярче, все нетерпеливей
Сверкала, силы не тая,
И, наконец-то, грянул ливень!..

Так началась любовь моя.

* * *

Я обошла владенья наши,
Где счастье больше не живет.
Я зачерпнула полной чашей
Воспоминаний горьких мед.

Как меркнут краски в нашем поле
С березкой нашей на гору!..
Но хмелем вновь ожившей боли
Меня шатает на ветру.

Любовь бессмертна, помни это.
Умру я –
        жить ей и тогда,
Пока есть песня у поэта,
А в небе ломкая звезда.

Пока в апреле тополиный
Весна разматывает дождь.
Пока от трели соловьиной
Сердца охватывает дрожь…

* * *

Влажный ветер летит над деревней,
На рассвете кричит вороньё.
Чистым золотом платят деревья
За прошедшее лето свое.

Чудо жизни все длится и длится…
Но смогу ли, всему вопреки,
Я за лето свое расплатиться
Чистым золотом каждой строки?

* * *

Трудней и дальше расстояний нету,
Чем это расстоянье на земле:
Оно от сердца самого поэта
И до страницы на его столе.

Почти нельзя проделать без потери
Тот страстный,
                крестный,
                тот жестокий путь.

Удастся ли?..
Мне в это нужно верить!
И пусть не сразу.
Но когда-нибудь…

* * *

Я работаю на старомодном сырье:
На сгораньи души, на утрате покоя.
Нелегко продержаться на этом старье –
Слишком дорого эта кустарщина стоит!

Может, лучше заняться звучанием слов,
О значении их не заботясь нимало?
Может, в точном расчете на легкий улов
Барабанные вирши строчить как попало?

Может, целиться в «яблочко» вкусов чужих?
Или просто безвкусице взять да потрафить7
Без тревоги и горя спокойно прожить,
А стихи уложить в согласованный график?

Терпелива бумага к строке за строкой,
Туча мошек толчется у ложного света…
Только с чем мне встречать
тот последний покой,
Что сначала потребует сердце к ответу?
И стихи – не стихи.
И друзья – не друзья
Только совесть стоит с занесенною плетью…
Оттого-то нельзя, оттого и нельзя
Мне обманывать трудное наше столетье.

Есть нелгущая сила в том вечном сырье,
Где волненье, где боль, где утрата покоя.
Дай-то бог продержаться на этом старье,
Пусть мне дорого эта кустарщина стоит!

* * *

Среди других российских поэтесс
И для меня есть место в мире этом –
Свои закаты,
и свои рассветы,
Хранитель-ангел, искуситель бес.

Есть у меня и свой заветный храм,
Своя дорога и своя тревога,
И есть душа,
такая недотрога,
Что чуть поранят –
остается шрам.

В ней копятся обломками на дне
Свои победы и свои обиды…
А эти строки,
простенькие с виду.
Совсем не просто достаются мне.

* * *

Ни чинов, ни богатства, ни славы.
Вот и славно – спасибо судьбе.
Быть поэтом – нелегкое право
Я всю жизнь добывала себе.

Не клонилась ни моде в угоду,
Н в угоду погоде любой,
Потому что в любую погоду
Я всегда оставалась собой.

Я – частица особого братства:
Наша крепость в сердцах у людей.
Ни кокетство, ни святотатство
Не водили рукою моей.

Быть поэтом нелегкое право
Я сама отстояла себе.
Ни чинов, ни богатства, ни славы –
Вот и славно!
Спасибо судьбе!..

СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ

(Евгений Николаевич Березницкий)

Поэт Евгений Николаевич Березницкий родился 21 августа 1909 года в Киеве, в семье врача.

В 1911 году Березницкие перебрались в Томск. В 1928 году после окончания школы Евгений уехал сначала в в Новосибирск, потом в Кузбасс. На возведении Кемеровского металлургического комбината рабочим-строителем Е. Березницкий начинал свой трудовой путь. В 1929 – 1930 годах он работал в геологоразведочной партии Приполярной экспедиции. Некоторое время учился в Томском геологоразведочном техникуме, но в связи с тяжелой болезнью матери вынужден был оставить учебное заведение. В 1933 – 1935 годах Е. Березницкий трудится сначала в газете «Борьба за уголь» Анжеро-Судженска, потом в новосибирской газете «Большевистский натиск». А с 1935-го и все предвоенные годы Е. Березницкий – литсотрудник газет «Советская Сибирь» и «Кузбасс».

В марте 1929 года в журнале «Сибирские огни» появляется первое стихотворение Е. Березницкого «Будни» о труде строителей. С этого времени его произведения печатаются в газетах Новосибирска и Кузбасса, в «Сибирских огнях». Одна за другой выходят его книги для детей «Приключения барабанщика» (1937), «Джянтаки» (1939), «Похождение храброго ерша» (1939). Здесь же, в Новосибирске, издан и единственный лирический сборник Е. Березницкого «На Оби» (1940). Помимо собственного творчества, занимался он переводами горно-алтайского фольклора.

25 июня 1941 года Е. Березницкий ушел добровольцем на фронт. А в первых числах октября 1941 года погиб под Ельней.

В литературу Е. Берзницкий входил как детский писатель. Его стихи и проза, обращенные к юному читателю, поэтические сказки были достаточно хорошо известны в предвоенные годы. Все увереннее давал о себе знать Е. Березницкий и как лирический поэт. Неизвестно, каких высот достиг бы его талант, если б не война.

Война сразу же властно вошла в его поэтическое сознание. Военных стихов у Е. Березницкого сохранилось немного – они были изданы в посмертной книге «Дороже жизни» (Томск, 1962), – но в каждом звучит ненависть к врагу, жажда священной мести за поругание родной земли, но и бесконечная неизбывная к ней любовь.

В одном из писем с фронта поэт писал: «Я видел потрясающие ненаписанные книги. Очень хочется работать, работать много…».

Увы, эти «потрясающие книги», к прискорбию, так и остались ненаписанными.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Произведения Е. Березницкого:

Дороже жизни. Стихотворения. – Томск, 1982.

Об Е. Березницком:

Горшенин А. Павшие смертью храбрых. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы – Новосибирск, 2006.

Евгений БЕРЕЗНИЦКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Вместо отца

Заметка гласила:
«Илья Сизов –
Железобетонный мастер –
В субботу, в полдень,
упал с лесов
Упал… и разбился насмерть».

Пьянила работа.
Задор.
Высота!

Расстегнут горячий ворот…
А где-то внизу
далеко
грохотал
Разбуженный солнцем город.
И он ощущал,
он держал его –
Большое рабочее счастье,
Но шаг неверный…
и вниз головой
Летит со стропил мастер.
Качнулся ветра надрывный смех,
Сердце застыло в камень,
Проспект зашатался,
рванулся вверх,
Поставленный кверху ногами.
А дальше – унылые лица друзей,
Венки и ораторы дальше,
Оттуда, где строился новый музей,
Толпа закачалась в марше.
Назавтра
встал день
многошумен и синь,
Улицы солнце топило.
Вместо отца
в это утро – сын
Смело взошел на стропила.
Он встал на работу на место отца
Кроить и железо и камень…
Он твердо решил
довести до конца
Что начато было отцами.
Отрадна работа.
Задор.
Высота!
Расстегнут горячий ворот…
Внизу загудел и загрохотал
Разбуженный солнцем город.

Пусть пал за работой рабочий Сизов,
У сына не дрогнут колени.
Так камень, упавший при стройке
с лесов,
Мы крепким и стойким заменим.

Птицелов

Зацелован ветром птицелов.
Зацвело в груди у птицелова
Ручейками птичьих голосов
Выщебетанное слово.

Щуря добрый стариковский глаз,
Мудрым преисполненный величьем.
Открывал он для вихрастых, нас,
Тайны дальних перелетов птичьих.

Книжки географии сухой,
Так весной мешавшие обидно,
Оживлял он смелою мечтой.
Овевал их ветер золотой
Побережий Ганга или Инда.

По путям заоблачным орла,
По путям гусиных караванов
Через океаны и туманы
Нас мечта крылатая вела.

Приглашал к себе нас птицелов.
Сколько радости тогда ребятам!
С окон, с потолка, из всех углов
Ручейками звонких голосов –
Щебет, писк и свист друзей пернатых.

Частый щебет щеголей-щеглов,
Плавный «пить-палать» перепелов,
Посвист снегирей розовогрудых,
Зимородков изумрудных.

Зная пару человечьих слов,
Скворушка кричал нам: «Будь готов!»
Звонкий, яркий мир любимых птиц,
Льющийся ручьями птичий щебет…
Да, в руках держали мы синиц,
Журавлей выслеживали в небе!

Весенние эскизы

В тайны лесные учась проникать,
Встань и послушай, как выйдешь за город,
Ветреный лепет березняка,
Вдумчивый шорох соснового бора.

Опять в говорливом, ручьистом апреле
Веселой ватагой скворцы прилетели.

Они принесли из далеких долин
Мелодии чутких лирических скрипок,
Дразнящие посвисты, крики и скрипы
И нежные трели лесных мандолин.

Их праву и нраву не смея перечить,
Бранясь, воробьи покидают скворешни.

С треском чуть слышным вздуваются почки;
Бряцают синиц голубые звоночки;
Как снежные комья в брусничном соку,
Шуршат снегири в ноздреватом снегу.

От будоражной весенней причины
Приходит пора токовищ косачиных.
Черныш запевает,
Бьет напролом
Иссиня-черным и крепким крылом.

Селезень зеленью пышной крыла
Пробует, пылкий, пленить чучела.

Утка-круговка красавца обманет:
Выстрел нежданный из зарослей грянет,
И, обрывая свистящий полет,
Рядом с изменницей он упадет.

А в высоте, в полынье светло-синей
Льется волнующий гогот гусиный.

Слаб и непрочен апрельский морозец.
День утверждается в праве своем.
Комкая лед рассудительной прозы,
Даже мы со скворцами поем.

Гроза

Как для прыжка, легла и сжалась
Река в предчувствии дождя.
Гроза над Обью надвигалась,
Тяжелый грохот громоздя.

Я ждал тогда хоть легкой тени
Испуга на лице твоем.
Но ты отвергла отступленье.
Сказала: – Надо плыть, Евгений!
Берись за весла, и плывем!

Плывем. В предгрозье звезды меркнут…
Вот над рекой затрепетал
Тревожный ветер. Словно беркут,
Кругами к тучам взмыл и сверху
Ударил вдруг по стрепетам.

Волна свирепая вставала.
На пенных гребнях нас несло,
Но твердо лодку направляло
Вразрез косматой пене вала
Твое упрямое весло.

Ты помнишь, друг, – волна ребром
Нас в бездну бросила. Другая
Грозит! Но, веслам помогая,
Запела ты тогда о том,
Что любишь ты в начале мая
Грозу и первый вешний гром.

Волна ревела и вертелась,
Дивилась дерзости двоих…
Тебе же в бурю петь хотелось.
Ты поняла, я черпал смелость
И мужество в глазах твоих.

На берегу на сумрак зыбкий
Взглянула ты издалека,
И только здесь твоя улыбка
Тревожно дрогнула слегка.

Был вечер влажный, голубой…
Гроза прошла, вдали бушуя,
Безвольный в берег бил прибой.
И самым крепким поцелуем
Я оценил поступок твой.

Ходит осень в хороводе

По Сибири по богатой
Ходит осень золотая;
Ходит осень-сибирячка
В хороводе круговом.
Вместе с девушками ходит,
Славит праздник урожая,
Ходит осень, машет шитым
Жарким шелком рукавом.

Как махнет она направо –
Позолоту льет на травы;
Вот гусей на юг пустила
Из другого рукава…
Насылает осень тучи,
Сыплет осень лист летучий,
А у темного у бора
Загустела синева.

Шьет красавица обновы
И калине, и осине,
Желтым пламенем березы
Звонкий утренник зажег,
И они глядятся в воду,
В зеркала студеной речки,
Где на зорях синий-синий
В тальниках блестит ледок…

Разостлала в луговине
Осень шкуры лис-огневок,
Соболей и горностаев
На зиму приберегла.
Не пора ли, зверобои,
Оглядеть замки винтовок,
На охоту, зверобои,
Собираться ль не пора ли?

Покажите, зверобои,
Чем еще Сибирь богата?
Не одним Сибирь богата
Тяжким золотом снопов;
Рудами богаты горы,
Широки лесов просторы.
А еще Сибирь богата
Синей проседью песцов,
Снежным мехом горностаев,
Переливом шкур собольих,
Черно-бурым, серебристым,
Драгоценным мехом лис…
Манит осень золотая
И уводит зверобоя
По тропинкам по таежным
Рассыпает мягкий лист.

Выйдет парень к хороводу,
Оземь шапкою ударит
Да рассыплет под тальянку
По поляне стукоток.
А она его проводит
За таежный за порог,
А она ему подарит
Ярко вышитый платок.

В атаку

«Есть упоение в бою…»
А. Пушкин

Пора! Гремит в разгаре боя
команда – ринуться вперед!
Отчизна красного героя
на подвиг доблестный зовет.

За жизнь, за все, что любим в жизни,
мы смертью смерть идем разить.
Вперед! Дано моей Отчизне
над миром счастье водрузить!

Правдиво пламенное слово:
«Есть упоение в бою».
Вперед!
Вперед,
за Родину свою.

Пусть гады-гитлеровцы вьются
в крови отравленной своей.
Пусть троекратно отольются
им слезы наших матерей!

Пора. Гремит призыв: – В атаку!
На правый бой! На грозный бой!
Добьем фашистскую собаку
атакой нашей штыковой!

За честь Родины

За каждый колос, опавший
С твоих, Отчизна, полей,
За каждый волос, упавший
С головок наших детей;
За стон от боли жестокой,
Слетающий с братских губ,
Оплатим мы око за око,
Оплатим мы зуб за зуб.
Не быть рабыне Отчизне,
И нам рабами не жить!
За счастье свободной жизни
Не жалко голов сложить!
Отсюда наше бесстрашье
Начало свое берет.
Священна ненависть наша,
Расплаты близок черед!
Нет краше, страна родная,
Счастья – тебе служить,
Идем мы, смерть презирая,
Не умирать, а жить!

ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР СКАЗОВ

(Александр Александрович Мисюрёв)

Прозаик, фольклорист, сказитель, очеркист Александр Александрович Мисюрёв родился 12 (25 по новому стилю) ноября 1909 года в Казани.

Рано лишившись родителей, беспризорничал. В начале 1920-х годов попал в Сибирь. Воспитывался в одном из детдомов Томска. Шестнадцатилетним юношей начал самостоятельную трудовую жизнь. Был рассыльным, разнорабочим, сверловщиком на заводе, сотрудничал в новосибирских газетах и на радио. После службы в армии полностью перешел на литературную работу. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. В 1934 году в Новосибирске вышла первая книга А. Мисюрёва «Четвертый горновой».

Переломным в творческой судьбе А. Мисюрёва стал 1935 год. Редакцией журнала «Сибирские огни» писатель был командирован на Рудный Алтай для поиска и сбора рабочего фольклора и старинных преданий. А. Мисюрёв активно включился в эту работу и много лет подряд совершал экспедиции на Алтай. Результатом их стали книги «Бергалы» (1937), «Легенды и были» (1938), о которых высоко отозвался крупнейший знаток русского фольклора М. Азадовский. Помимо горнозаводского фольклора, А. Мисюрёв собирал легенды и сказы ямщиков Сибирского тракта, фольклор революции и Гражданской войны, что нашло отражение в книгах «Предания и сказы Западной Сибири» (1954), «Сибирские сказы, предания и легенды» (1959) и др., вышедших в Новосибирске. Член Союза писателей СССР.

Умер 2 мая 1973 года в Новосибирске.

А. Мисюрёв известен не только как собиратель фольклора, но и как самостоятельное, самобытное и оригинальное художественное явление. Не случайно, известный советский писатель С. Залыгин говорил о нем, что «это не собиратель фольклора вообще и даже фольклора, свойственного той или иной области или края, в географическом понимании, его нельзя отнести к фольклористам-этнографам; в своем творчестве Мисюрёв скорее всего историк и социолог. И конечно – художник».

Сказы и предания, собранные и творчески переработанные А. Мисюрёвым, превосходно передают суть и характер народа, сумевшего, несмотря ни на что, сохранить живую душу. В сказах А. Мисюрёва раскрывается целый поэтический мир, развертывается живописная мифология старинной сибирской мастеровщины и ямщины. Произведения А. Мисюрёва стоят в одном ряду со сказами Бажова, Шергина и Писахова.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги А. Мисюрёва:

Сибирские сказы и предания. – Новосибирск, 1959.

След беглеца Сороки. Рассказы о былом. – Новосибирск, 1962.

Мисюрёв А. След беглеца Сороки. Мужичок-хлопуша . Селезень, Шип и Савоська. // Сибирские сказы (Библиотека «Сибирских огней»). – Новосибирск, 1991.

Об А. Мисюрёве:

Очерки русской литературы Сибири в 2-х томах. – Новосибирск, 1982, т.2.

Алексей МИСЮРЁВ

СЕЛЕЗЕНЬ, ШИШ И САВОСЬКА

(Сказ)

Во времена царицы Елизаветы на южном конце Сибири мал был заслон Кокуйский, людей здесь было немного, пять изб, обнесенных частоколом, старая пушка, барабан и при барабане барабанщик Савоська из солдатских сирот – вот и все. А службу несли десятка два драгун Тобольского полка.

С правой руки над заслоном висели несуразные скалы. Одна вроде морды, с высунутым языком, будто дразнится. Другая – такого вида, что, глядя на нее, драгуны плевались.

Недавно прошла молва, что в этих скалах, в ущелье гнездится Селезень, разудалый беглец, разбойник. Его никакие цепи не держали. Из Кузнецкого острога сбежал, из Томского острога сбежал, и все ему нипочем – грабил приезжих купцов. Мог увести любую женщину и любого коня. Силу черпал он от родни своей, от кумовьев, свояков и приятелей. По малым заимкам, недавним присельям жила голытьба-посельга, беглая от помещиков, не то – с монастырских уделов. Вольность кипела в крови у этих людей. Многие из них покумились с Селезнем: прятали его, скрывали, когда нужно было. И он пил с ними и говорил им:

– Держитесь за мою правую полу да не отставайте.

А купцы с богатыми мужиками жаловались начальству. И вышел приказ: Селезня поймать. Но к нему так просто не подступишься: говорили, что знался с нечистой силой, имел колдовство. Не хотелось драгунам его ловить. Да и других хлопот, как говорится, полон рот: джунгары грозят из степей.

Степь открывалась с левой руки. Рыжая, печальная, ничего в ней не растет, одни джунгары рыщут. Подскачет всадник к заслону, пустит стрелу, взвизгнет и умчится обратно. И пески поглотят его, будто и не было никакого всадника, а только привиделся.

Ах, джунгары, джунгары! Жить бы вам в мире с русскими. Все равно ведь китайцы собираются на вас войной, не сегодня-завтра разорят ваши становья, и придется вам спасаться в пределах Российских, искать там мира и защиты.

Хан джунгарский уж очень жаден: с недавних пор стал он подбивать своих всадников, чтобы хватали русских людей, угоняли в полон. Этот хан торгует рабами, а за русских полоненников на хивинских рынках всегда можно взять добрую цену: каждый умеет плотничать, строить, а то разумеет в ином ремесле. И русские пашни оставались незапаханными, вместо хлеба вырастал пырей.

Драгунам Кокуйского заслона велено было держать джунгаров в уважении к законам имперіальным, чтобы русских посельщиков не обижали. Точили драгуны свои палаши, чистили мелом амуницию. На охоту за дичью теперь уже не пойдешь: на прошлой неделе двое, было, пошли и сгинули.

– Теперь уж, братцы, – говорили драгуны, – и казенный сухарь будет сладок, да лишь бы коням овса хватило.

Хоть никто не трусил, но и рады таким делам не были. И только один человек на заслоне радоваться начинал.

Это был сам капрал Нетудаев.

Он хотел отличиться.

Никто в детстве ни разу не погладил его по голове. Не знал он, какая бывает мать.

Лет двадцать пять тому назад нашел его, подкидыша, дневальный во дворе драгунской казармы. Лежало дитя, как в сказке, под лопухом. Дневальный захохотал, обругался, сгреб его жесткими ручищами и пошел искать меж драгун отца.

Не нашелся отец. Полковая попадья с горем пополам вскормила его козьим молоком. Фамилию дали – Нетудаев: не туда, мол, тебя мать подкинула, куда надо, нашла место, нечего сказать!

Вырастал, и все его дразнили: подкидыш, подкидыш. Много было оплеух, пощечин, всяких обид.

«Ладно, – думал он, сжимая кулак, – погодите, черти гарнизонные! Врете, что я самый последний, врете! Покажу вам, что я всех сильней и всех лучше! Епанчу мне подавать будете, ботфорты чистить!»

Это была его правда, а другой правды он не знал и не хотел знать. Добра и чести искал только себе, больше никому.

И старался вовсю. Скоро в капралы произвели, послали командовать крайним сибирским заслоном. Служба здесь удалецкая: либо в стремя ногой, либо в пень головой.

Но знал он; как ни старайся, а в прапорщики из капралов вряд ли попадешь. Прапорщики и офицеры – дворяне, он, же безродный подкидыш. Бывает, что и выслуживаются такие, как он, только редко.

Ну, ладно, коль от начальства скорого внимания не дождаться, – пусть народ его знает и уважает, говорит о нем.

Вот – Селезень на славе. О Селезне молва – с Кузнецка до иртышских крепостей. Надо капралу победить его. Вот тогда ахнет народ и загудит слава, и везде будут перед ним шапки ломать не хуже, чем перед секунд-майором и дворянином. И все Селезневы сокровища, отбитые у богатых людей, хотел он забрать себе.

Он думал об этом ночами и днями, думал без устали об одном, об одном. Какие были в нем немалые силы – все ушли в эту думу. Никогда он не улыбался, ходил по заслону бравый, но невеселый. Глядел в землю, как будто хотел найти что-то под ногами, и только нет-нет, да подкрутит усы. И с лица потемнел, хоть и был строен, плечист, важной драгунской выправки.

Пока что не было ему от своих драгун уважения и любви. Никого не похвалит, ни с кем доброго слова не вымолвит, не пошутит. Жил он сам по себе. Отдельно от команды своей.

Драгунам казалось, что капрал мучается животом. Вода здесь плоха, соленая, недолго с нее и захворать. Все верили в капралову хворь, один обозный Шиш не верил.

– Нет, братцы, не брюхом капрал страдает – душой! Душа у него голодна, а насытить ее, ох, как трудно!

Из всего полка дядя Шиш был самый старый, он уже со счета сбился, сколько в войске прослужил. А сколько лет он живет на свете?

– Да как тебе сказать, еще первого Крымского похода не было, как меня матушка уродила.

С виду был дядя Шиш невзрачный – смотреть не на что. Так себе солдатишка: щупленький, маленький, носатый, а нос в каких-то лиловых разводах, можно сказать – пестрый нос. Иной новобранец наберется смелости, спросит:

– Отчего у тебя, дяденька Шиш, нос такой?

– Э, парень, послужишь с мое, и у тебя такой будет. Солнцем в походах палит, морозом морозит – раз, табачок с малолетства нюхаю – два. Ну, и от водочки, ясное дело: без водки старому солдату никак не прожить.

По старости лет и за многими ранами записали его обозным. Чинил всем на заслоне сапоги, латал амуницию, мог и коня подковать и даже за лекаря управлялся. Зацепит кого джунгарский дротик – иди к дяде Шишу: он посыплет рану порохом, пошепчет над ней, глядишь – и зажила.

Случалось драгунам просить его:

– Дядя Шиш, будь милостив, сходи за меня на караул.

– Отчего ж не сходить? Дело привычное, а с тебя крючок водки.

И стоял, и стоял дядя Шиш в караулах, коротая ночи в секретах. Может, полжизни простоял он так. Маячит и маячит щупленькая фигурка в порыжелой треуголке, вроде гриба с большой шляпкой. Примчится джунгар, пустит стрелу – дядя Шиш и ухом не поведет, только сплюнет. И стрелы летят мимо.

Было у этого служивого имя, отчество. И фамилия была, только никто не помнил – какая. Дядя Шиш да дядя Шиш, и все тут. Откуда пошло это прозванье? Может, оттого так прозвали, что долго он служил на границе: шиши – маяки. Или потому, что немцу – наемному генералу – шишовину на пальцах показал, и за то его спровадили подальше, из полевых войск в гарнизонную службу.

Все вертелся около него барабанщик Савоська. Был воспитан в Тобольске, в солдатской школе, вымахал немалого росту, но плечи у него еще не развернулись, и душа не созрела. Личико имел детское, усы не росли. Все драгуны были с усами, один Савоська безусый..

– Дяденька! – говорит Савоська Шишу. – Научи ты меня, Христа ради, как усы поскорее вырастить. Нет мне без усов житья. Смеются драгуны, недорослем зовут.

– Потерпи, дитятко, потерпи. Ты еще пороху не нюхал. В знатной баталии побываешь и станешь усат.

– Когда же, дядя, баталия будет? Ждать надоело.

– Хватит, Савоська, на твой век баталий! Нашему брату, вечному солдату, на роду писано русскую землю караулить. Без нас-то, Савоська, шведы да турки, да немцы давно бы Расею на лучину расщепали. Вот, брат, как. И ты сгодишься, и я еще пригожусь – не все кобылам хвосты крутить!

И увидел Савоська в Шишовых глазах эдакого черта. Глубоко сидит чертик, а все же нет-нет да и высунется, мелькнет.

* * *

Выбежал из степей, забежал на заслон странник дикого вида. Халат у него джунгарский, шибко рваный и такой пропыленный, что чуть зацепит странник подолом что-нибудь – и сразу пыль столбом. И сколько пылищи в его бороде!

– Селезень обидел меня, – плача говорил он драгунам, – и джунгары обидели. Был я коробейник, по заслонам с товарцем пробивался, все отняли, еле-еле душа в теле…

И вопил, и плакал.

– Приютите, ребятушки-солдатушки, не дайте сгинуть. Убьют меня джунгары, аль Селезень убьет!

Коробейники – народ бойкий, речь у них складная. И этот, передохнув, стал рассыпать звонкие, как бубенчики, словечки.

– Всем вам поклон, а меня с устатку клонит в сон. Притомился я, изнемог, ломит правый бок. Потребна мне медовухи чарка, тогда будет весело и жарко…

Слушая его прибаутки, даже капрал подобрел немного.

– Ну, ладно, – сказал капрал, – пойду я караулы проверю. Вы, ребята, так и быть, налейте ему чарочку да сведите в баню.

Пошел странник париться и пропал.

– Как пропал, почему? Куда девался?

По всему заслону искали. Нет и нет.

– Кто таков? Зачем приходил?

Стали обшаривать баню. И увидели на закопченной стене надпись, чем-то острым нацарапанную – ятаганом или штыком:

«Я, Селезень, был тут у вас. А вы думали – странник. Эх, вы, головы садовые. Ты, капрал, не хвались, что меня победишь, а выходи-ка на честный бой».

И пониже торопливо было нацарапано:

«Завтра, как солнцу взойти, у скал сойдемся».

Тревожно пылал факел в темной бане, и в прыгающем свете нашли на полу изломанный веник. Скручен-перекручен, все прутья переломаны. Может, этим хотел сказать Селезень: вот, мол, не перечьте мне, не то изломаю вас, как эти прутья.

– Пойду шпагу точить, – глухо и радостно сказал капрал. – Всем собраться, выступаем всей командой.

* * *

Вот и поехали с заслона.

Впереди скакал Нетудаев. Экий он красивый – в голубом парадном мундире, обшлага белые, усы торчат, как дротики. И пудреный парик надел, вдоволь припудрил мукой и выпустил косицу из-под шляпы-треуголки. Собрался как на свадьбу. Еще бы! Знаменитый день наступил, день, когда он убьет Селезня. Не всадник – загляденье, картина.

А драгуны ехали хмуро. Одни боялись Селезнева колдовства, другие думали: «На кой ляд нам его ловить да побеждать? Толстосумов обирает, с голытьбой делится, что ж, пожалуй, и неплохо…» Это те думали, у кого в присельях были жены или просто любушки-голубушки. Вот если бы с иноземной ордой схватиться, померяться силой, за этих жен и голубушек, тогда бы хмурь как рукой сняло.

Позади всех трусил рысцой некрасивый обтрепанный Шиш. Нюхал табачок, разговаривал с лошаденкой, такой же старенькой, как и он. И поглядывал в небо.

Будто зарево в небе. Ну да, зарево. Разгорается, пышет

И какие-то люди бегут к драгунам навстречу. Бабы, ребятишки. Одна схватилась за капралово стремя.

– Милостивец! Басурманы пожгли нас, с четырех поселков народ угнали! Всех угнали – и дядю Трифона, и Миловидиху, и Елизара Саввича… Мы кое-как спаслись… Поезжай, батюшка, с командой, отбей наших.

Среди этой толпы были драгунские женки. Плача, звали они мужей. И мужья, драгуны, не дожидаясь приказа, поворачивались в ту сторону, откуда зарево пышет.

– Стой! – закричал капрал Нетудаев. – Повеленья не было, стой!

– Не можем стоять, господин капрал! Сабли из ножен сами выходят, кони рвутся – не удержишь!

– Вижу я, – сказал Нетудаев, – захотели вы все березовой каши. Вот съезжу в полк, доложу, в Тобольске-то березняка хватит на всех… А ну, за мной марш, Селезня воевать!

Шиш подъехал на своей старой кобыле, сказал капралу:

– Дозволь, сударик мне да Савоське посельников отбить из полона.

– Тебе дозволить? Ах ты, Аника-воин!

– Не извольте смеяться, господин капрал. Вы еще под стол пешком хаживали, а я в ту пору…

– Знаю, знаю, хрыч! Знаю, в каких ты бывал походах. Ну, коли ты эдакий вояка – езжай, черт с тобой. Толку от тебя все равно мало. Бери и Савоську, вытирай ему сопли-то…

И поехал капрал, красуясь отвагой, с драгунами к Селезневым скалам. А Шиш расспросил поселковых женщин, куда погнали джунгары Елизара Саввича, и Миловидиху, и дядю Трифона. Горько было женщинам: не захотел капрал помочь в беде. На Шиша смотрели недоверчиво: сморчок! На Савоську смотрели жалостливо: шибко молод, усов нет. Погибнут эти двое, не сладят с ордой.

* * *

Тем временем драгуны подъехали к Селезневым скалам. Селезня увидели издали: стоял он на макушке скалы.

Мужик как мужик, только в плечах дюж, могутен. И кафтан на нем затрапезный, из серой дерюги. Сабля привешена на мочальной лямке. А лицо – твердое, как будто из камня искусные мастера вытесали то лицо. Глаза острые – далеко видят. И вьется прикрепленное к шапке Селезнево перышко.

Позади него стояли селезнята. Мужики ражие, здоровенные. За опоясками – кинжалы длинны и кривы.

Хоть и длинны и кривы, да не острее драгунских палашей! Что ж, сойдемся? Нет! Сперва капрал выйдет на Селезня в одиночку.

– Вот и гости к нам пожаловали, – сказал Селезень, сбегая с крутой тропы. – Ну что ж, капрал, давай биться!

– Конны сойдемся, али пеши?

– Давай пеши.

– Честь мне выпала немалая, – сказал Нетудаев, слезая с коня. – Был ты во славе, теперь я буду!

– Ой ли?

Капрал замахнулся саблей, Селезень отбил удар.

– За твою башку, Селезень, люди мне поклонятся!

– Ишь ты!

– До самого Томска молва пройдет!

– Врешь, не будет молвы, – сказал Селезень. Он бился с капралом как бы играя. Тяжкие удары скользили по его кафтану, до тела не достигали, как будто Селезень был бестелесный.

Чувствовал капрал: начинает потеть, одышка берет. Весь его напор, вся сила пропали даром. Селезень прыгал, словно порхал! И вот взлетел на добрый аршин. Сабля Селезнева взвизгнула, мелькнула, как летучая змея. Это был хитрый удар, какого Нетудаев еще не знавал, хоть и был хорошо обучен всем приемам и ловкостям сабельного боя. И палаш капрала, зазвенев, покатился по скользким камням. Остался он безоружным. Отпрянул, шатаясь. Драгуны ахнули.

– Не бойся! – сказал Селезень. – А бахвалился ты зря. Глянь назад.

Пока Нетудаев с Селезнем дрался, мужики Селезневы незаметно зашли за спины к драгунам, и теперь промеж камней торчали ружья, наставленные на них в упор.

– Ништо, – говорил Селезень. – Не трону, всех отпущу. Езжайте на заслон, службу блюдите. Вон она, не наша земля-то, за сопками, рядышком, Сегодня одна орда набежит оттуда, завтра – другая. И все жгут, и все грабят. Нашим-то мужикам от них огорченье выходит великое… Твое дело – посельгу из беды выручать. На то у тебя и люди есть, и ружейный припас и пушка есть.

– Мое дело, – упрямо сказал капрал, – тебя, Селезень, со света сжить.

– Экий же ты умом хилый! Телесами-то крепок и храбр, и биться умеешь – вот даже палец мне оцарапал, а мозгами слаб! Побил я тебя? Скажи, побил?

– Ну, побил.

– Вот и запомни. Вложь себе в ум-то: никак нельзя меня со света сжить. Я заговоренный, по всем присельям старухи колдуют, родня помогает, помереть не дает!

Но не слушал капрал Селезневы слова, глядел в землю и думал упрямо, со злостью и горечью:

«Нет, погоди злодей, я свою правду знаю, все равно я лучше тебя и сильнее, и красивее – чего ты стоишь, острожник в своем кафтанишке дерюжном? Слава-то заплуталась Так я ее, непутевую бабу, к себе за волосья притащу… Не взял прямым боем – возьму хитростью…»

И он стал кивать Селезню и поддакивать, а глаза прятал.

– Сойди, капрал, с моей дороженьки, не перечь… Давай на мировую. Чего тебе со мной делить поле? Места сибирские широкие,

друг друга не заденем. Гони орду, а я приставов давить буду. Глядишь – и выйдет моим кумовьям житьишко полегче.

Тут капрал притворился, что сразу решить не может, дескать, надо ему поразмыслить, а завтра придет он и скажет.

– Коли так, – сказал Селезень, – дай клятву молодецкую обмана не содеять. Без оружия придешь, один, без команды. Вот ятаган древний, из индийских земель привезен. Целуй лезвие, клянись.

Дрогнули капраловы усы, душа застонала… Кое-как пробормотал он, что клянется. Селезень хлопнул его по плечу, подарил ему ятаган.

– А ежели ты, капрал, молодецкую клятву преступишь, – ну, тогда плохо будет! Я заговоренный, я змеиную кровь пил, птицей могу оборачиваться! Нельзя меня убить!

Сдвинул брови Селезень, крикнул по-птичьи, нагоняя страх и колдовство.

* * *

Отпустил Нетудаев команду на заслон, сам свернул в сторону. Остановил коня, лег под куст.

Наверное, смеются над ним драгуны. Едут и посмеиваются. Вот, дескать, наш капрал отличился, победил Селезня – нечего сказать!

Ба, а ведь рядом торчат лопухи: один, другой…

Эти лопухи напомнили: подкидыш, безотцовщину. Кто же, кто будет ему ботфорты чистить?..

…Пригодится ятаган. Оружие малое, тонкое, острее шпаги. Легко его под камзол спрятать…

* * *

Собирались поселковые люди в волостное село на престольный праздник, толпились у кабака.

Капрал Нетудаев подъехал. Люди расступились. Какой у него важный вид – ну, прямо премьер-майор, а не капрал! А зачем это он пестренькое перышко воткнул себе в шляпу, для чего, почему это перышко вьется?

Вошел Нетудаев в кабак, козыряя осанкой, швырнул целовальнику в бороду горсть монет.

– Пейте, добрые люди, всех угощаю, всех! Нынче день светел, убил я, братцы, злодея Селезня!

– Убил Селезня?

Крутили мужики бородами, не могли сразу поверить.

– А чем ты его убил?

– Ятаганом, братцы, зарезал!

– Ой ли?! Он от всякого оружия наговор имеет, нельзя его ятаганом!

– Медной пуговкой застрелить его только и можно, заместо пули.

– Да не медной пуговкой – осиновой осью по темени, да чтоб ось без единого гвоздя была!

Торопясь, брызжа слюной, выкрикивал Нетудаев, что уложил будто бы Селезня в честном бою. Не говорил про нарушенную клятву, молчал о том, как пришел он к Селезню, притворяясь другом, как угостил его Селезень и ночевать оставил… Легли они спать по-братски, рядышком, на одной медвежьей шкуре… Он зарезал Селезня дареным ятаганом, сонного зарезал, и выбрался из пещеры потихоньку, на брюхе выполз…

Но об этом молчок. Такое говорить нельзя. Он – молодец-удалец, вот сейчас начнут перед ним шапки ломать с уважением и страхом! Вот сейчас!

Неизвестно, что тут было бы дальше, но дверь кабака распахнулась во всю ширь, грохнула об косяк. И кто-то вошел, высокий, могутный, звеня оружием, и крикнул на всю деревню, на всю волость, на весь мир:

– Ой, Селезня встречайте! Я Селезень в гости к вам!

Мужики так и присели. Один, побогаче, полез прятаться в бочку с вином, целовальник нырнул под стойку, Селезневы свояки и кумовья зашумели радостно:

– Вот он – надежа! Живехонек, не убит! А нам, надежа, капрал хвастал, будто тебя извел!

Нетудаев застыл с раскрытым ртом. Язык у него не шевелился…. Как же так? Он перерезал Селезню горло, наяву то было, не во сне, а Селезень – хоть бы что! Стоит на пороге, сейчас начнет чинить расправу.

А вошедший сказал:

– Кто хвастал? Вот этот? Да разве меня убить можно? Ха-ха-ха!

– Хо-хо-хо! – басовито захохотали мужики. – Ишь, дурило, бахвальщик, черти тебя на том свете за язык подвесят!

– Он Селезня языком пронзил, заместо ятагана-то!

– Ты ему, надежа, язык-то отрежь да собакам выкинь.

– Чего ему язык резать. Он и так уже со страху штаны обмочил… А быть над ним таковой моей расправе:

– Нету теперь капрала Нетудаева, а есть тараруй. Так и знайте, свояки: тараруй, врун, пустая башка! Гоните его в три шеи!

И не смог растерянный, оплеванный Нетудаев мужикам противиться: схватили его многие руки, выкинули на улицу, как щенка. Гудел над ним басовитый хохот, и кто-то сорвал с его шляпы Селезнево перо. Свалился капрал в придорожную грязь, и все это было хуже смерти.

Только отъехав от этой распроклятой деревни на несколько верст, пришел в себя. Стал думать, припоминать. Тот, убитый им Селезень, был пониже, в плечах пошире. Нос у него вроде клюва, так и загнулся книзу. Этот – ростом повыше, потоньше, нос у него не клювом. Другой человек, не тот. Один из Селезневых молодцов принял на себя прозванье убитого. Хитрая штука, как будто и в самом деле нельзя убить Селезня…

* * *

– Братцы! Поверьте: не тот Селезень, того я убил.

– Врешь ты, язычник, тараруй. Нет тебе от нас веры, и хлеба тебе нет, и твоему коню корма нет!

Ни в одном приселье, ни на одной заимке ему не поверили.

Честь и хвала обернулась насмешкой и стыдом. Тот Селезень, не тот Селезень – посельге было все равно. Живет Селезень, дела свои продолжает – ну и ладно, лишь бы не погас огонек надежды на богатырскую помощь, опору в беде…

Капралова правда обернулась кривдой. Кинулся он к богатеньким мужикам. Но и те ему не поверили. Только намедни Селезень у Прова Никанорыча сундуки повытряс. Отдам, говорит, золотишко куме Арканихе, шибко она бедно живет, пуская подать заплатит и от рудовозной повинности откупится. И себе, говорит, на разгул оставлю…

Бегали за капралом поселковые ребятишки, дразнили:

– Тараруй, врун, бахвальщик!..

Измученный, заночевал он на постоялом дворе.

Не спалось.

Клятву нарушил, вымазал сам себя какой-то поганью, а зачем, к чему?

Только забылся дурным беспокойным сном, разбудили голоса, бабий плач, причитания. Среди ночи пришла на постоялый двор бабенка с мальчиком, она и голосила:

– Ой, лихо мне! Горе, горюшко. Китайцы набежали, две заимки повыжгли, всех наших в полон увели! И Поликарпиху, и Терентьича, и мужика моего…

– А ты, баба, – поучал толстый голос, – найди дядю Шиша. Есть вечный солдат, дядя Шиш, он басурманов одним чихом своим побивает, не то, что саблей аль пикой! Табачку нюхнет да чихнет – они наземь валятся. Шибко могутен.

– Как же, слыхивала! Прошлый раз джунгары набегали, так он их разогнал, и с трех заимок людей их полона вывел…

– И тебе поможет. Его ищи аль Савоську-барабанщика. Вместе они воевали. Савоська хоть и юн, молоко на губах не обсохло, а ка-ак в барабан вдарит – аж по горам гром велик!.. Орда думала – целое войско за ней гонится, в барабаны бьет, из пушек палит. А это один Савоська, барабанных дел мастер, а по горам, по ущельям и разгуделось. А дядя Шиш, вечный солдат, ка-ак из фузеи пальнет, да табачку понюхал да ка-ак чихнет – горы-то будто затряслись, земля ходуном пошла… Орда-то и побежала… Да Савоську-то все же стрелой поранили, кровь молодая ручьем хлещет, а дядя Шиш, вечный солдат ему и молвил: «Ты, Савоська, солдатскую честь не преступил, бей, Савоська, в барабан, покамест вся кровь из тебя не вытекла, бей, не робей, осилим орду!» А сам все палит да чихает, чихает да палит… И что ж, баба, думаешь? Осилили-то ведь орду-то, двое их было, а прогнали! И Лукерью домой привели, и свата Игната, и всех заимочных до единого.

– Дядю-то Шиша, – подхватил другой, – Силой Христофоровичем звать. И верно: сила!

– И Савоська дядю Шиша чтит, как отца родного, во всем ему подражает, табак нюхать зачал… Плачет, да нюхает…

– Табачок-то наговорный, Селезнев…

– Еще бы: Селезню свояки!

– Вестимо! Селезень им подсобил!

Капрал Нетудаев ворочался на лавке. Вот тебе на!

Плюгавый Шиш вылез в богатыри! Старый да малый оказались храбрее и лучше его, капрала. Молва про них идет по заимкам.

Наплевать Нетудаеву на сиволапое мужичье. У него остался капральский чин, власть осталась.

* * *

Шиш и Савоська сидели в гостях у тетки Соломонихи, отбитой из джунгарского полона.

Народу набилось в избу – не повернуться. Все хотели хоть одним глазом поглядеть на храбрых вояк. Наварили горы пельменей, медовуха в деревянных жбанах пенилась и лилась через край…

Шиш держался чинно, ел и пил не спеша, а выходило – за троих. Этому не удивлялись: шибко храбер солдат. Истинно Сила!

Бабы, шурша сарафанами в позументах, с низкими поклонами подносили ему миску за миской, одна больше другой. И от пельменей, и от самого Шиша валил пар. Орудовал Шиш своей собственной ложкой, добытой из-за голенища. С этой ложкой он не расставался десятки лет, она побывала с ним и в Крымских походах и, наверное, еще дальше. Ложка так ложка: сразу полдюжины пельменей загребает!

А молодой барабанщик рядом с ним на таком же почетном месте под образами. Голова у него замотана шелковой джунгарской чалмой, и сквозь эту чалму немножко проступает кровь. Да не в этом дело: гордится Савоська своей первой баталией, своей первой раной, глядит орлом и нет-нет да пощиплет ус. Верьте не верьте: растут у него усы! Вон зачернели!

А девка Фроська поглядывала на него из дальнего угла и стыдилась, и краснела, прикрываясь рукавом. И тетка Соломониха шепталась уже со своей родней о том. что надо бы Фроську высватать за этого барабанщика: жалование знатное получает – целых две гривны с пятаком, в обиду басурманам не даст, из себя – бравый, чего еще надо?.. И Николай-угодник с темной, древнего письма, иконы поглядывал на это пирование, будто ухыляясь и поддакивая… Вот сейчас выскочит из рамы, пригубит чарку и пойдет откалывать русскую с коленцами в обнимку с такими же, как он, бородатыми дядями…

Но до пляски дело не дошло. Когда Шиш съел седьмую чашку пельменей, обтер ложку полой мундира, за голенище спрятал и принялся начинять нос табаком, – тогда старики приступили к нему с деловой беседой:

– Сотворил ты нам одно благо и другое сотвори. Прогони китаев. Христа ради! Джунгары, те с полуденной стороны набегали, эти с восточного края лезут.

– Можем и китаев прогнать, – басом сказал Савоська и поперхнулся от Шишова табаку.

– Надобно вам, старики, – сказал Шиш, на заслон поехать, капралу Нетудаеву челом ударить. Без приказа-то мы с Савоськой – ровно ружье без кремня.

– Ой, нет, не пойдем к твоему капралу!

– Твой капрал тараруй, он в волости бахвалился, будто Селезня убил! Селезень живехонек, здоровехонек!

– Капрал-то нас не спасет, нет ему веры!

– Что же Селезня не просите? Пускай бы прогнал китаев.

– Ему, надеже, не разорваться… Ему и так дела на сто годов хватит супротив купцов да приставов.

– Ты, брат служивый, не лукавь. Ты ведь тоже Селезню свояком приходишься. Все знаем, все!

– Соглашайся, служивый! Мы и сами пойдем с тобой китаев гнать. Глядит-ко!

Показали рогатины, топоры, копья о двух концах.

– На медведей с этим хаживали, авось и для китаев сгодится. Заместо капрала тебя поставим. Веди, учи! А Савоська пускай для храбрости барабанит.

Шиш отнекивался, говорил, что без приказа пути ему нет. А Савоська, кипя задором, уже искал под столом свой барабан.

Тут раздался под окном конский топот, и в избу вошел капрал Нетудаев. Бледен, растрепан, косица болтается на плече.

Он не сказал: здравствуйте. Он еще на пороге принялся ругать Шиша и Савоську. Ругался так, что все девицы и молодухи зажали уши и бросились опрометью на улицу, а старухи испуганно крестились и бормотали: «Чур меня, чур». А мужики отплевывались, говоря:

– Верно, что таратуй. Тьфу, нечистик!

Ругань свою Нетудаев закончил так:

– Иди сюда, старый хрен, я тебе покажу, как службу забывать, по заимкам шляться, с мужиками бражничать! В Селезневы кумовья записался? Я те из твоего пестрого носа но два сделаю – пугай ворон! А тебе, Савоська, шкура барабанная, на морде твоей ретирадный марш сыграю! А ну, ко мне!

И он засучивал рукава, готовясь поколотить обоих при народе, крепко поколотить, показать свою капральскую власть, замесить Шиша и Савоську, как тесто, вылепить покорных, дрожащих, чтобы у них поджилки тряслись.

– Так точно, господин капрал, – ответил Шиш, – власть-воля ваша. Только кулачки-то малость придержите. Известие великоважное честь имею доложить!

– Ну, докладывай, пока не придавил, как вошь.

– Сюда подъезжали, две березки видели над речонкой-то? Корнями вместе переплелись, растут вместях и цветут вместях…

– Ну, видел.

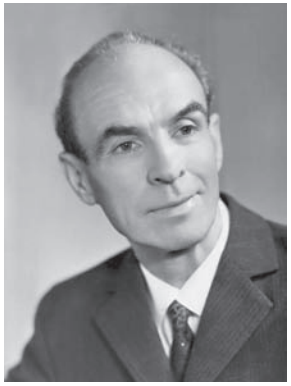
– Так вот, господин капрал: солдатская правда да Селезнева правда – будто березки эти… Им и цвести… А ваша правда – обижаться не извольте – гнилой пень! Торчит на отшибе, прохожим и проезжим мешает…

Ах да дядя Шиш! Палил во врагов без промаха, и тут попал словом не хуже пули – в самую точку, в капралову спесь. Нетудаев позеленел от обиды, рыкнул, рванулся к столу – ухватить Шиша и Савоську. Не вышло. Мужики, по-медвежьи ворча, затиснули его в кладовуху, где пахло мышами, приперли дверь балясиной

– Сиди там, поперек пути не встревай!

Подхватили Шиша с Савоськой на руки, вынесли из избы, посадили на коней. Вроде как насильно, а может, и не насильно – не разобрать… Взяли – кто рогатину, кто топор. А дядя Шиш оказался во главе дружины и думал , тронув поводья:

Вот и в фельдмаршалы попал на старости лет. Ну, коли так – ничего не попишешь, придется на заслон завернуть, драгун кликнуть. Китайцы – не джунгары, с ними возни поболе будет. А капрал Нетудаев… что ж Нетудаев? Заплутался, заврался, от команды сам себя отрешил».



«ПРО СИБИРЬ МОЮ Я ВЕЗДЕ ПОЮ…»

(Василий Михайлович Пухначёв)

Поэт прозаик, фольклорист Василий Михайлович Пухначёв родился 1 января 1910 года в селе Волчно-Бурлинское Алтайского края, в семье сельского учителя.

Работал учителем, заведовал школой в коммуне, был инспектором политпросвета, заврайоно. С 1931 по 1932 год В. Пухначев служил в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, где выпускал полковую газету, с которой и начался его путь пишущего человека. После возвращения в Новосибирск руководил целым рядом учреждений культуры. В 1939 году стал начальником ансамбля песни и песни и пляски Сибирского военного округа. Великую Отечественную войну В. Пухначев прошел старшим инструктором политуправления 2-го Прибалтийского фронта. Большую часть жизни В. Пухначев прожил в Новосибирске.

Выступать со стихами В. Пухначев сталл еще в начале 1930-х годов. Публиковался в журнале «Сибирские огни», «Огонек», «Крокодил», «Смена». В 1947 году вышла первая книга В. Пухначева – очерки «Лесорубы». Он также автор многих поэтических и прозаических книг, изданных в Новосибирске, Барнауле, Иркутске и Москве. Член Союза писателей СССР.

В. Пухначёв – кавалер орденов Красной Звезды и «Знак Почета». Именем В. Пухначёва названа одна из улиц Новосибирска.

Умер 14 октября 1982 года в Новосибирске.

В. Пухначев – явление в сибирской литературе своеобразное. Известен он прежде всего как поэт-песенник. С песни начинал свою литературную деятельность и именно в песенно-поэтическом творчестве получил наибольшую известность. Песни на слова В. Пухначева «Над широкой Обью», «Сибирский вальс», «Широкие степи» и другие получили всенародное признание. К творчеству В. Пухначева обращались такие советские композиторы, как Т. Хренников, А. Долуханян, В. Мурадели, Г. Иванов, Г. Носов, В. Левашов. Долгие годы В. Пухначёва соединяла совместная работа с Сибирским русским народным хором и его художественным руководителем композитором А. Новиковым.

Для Пухначёва как поэта-песенника примечательно то, что имея народно-фольклорные корни и истоки, тексты его песен наполнены, как правило, социально значимым, актуальным содержанием. В этом плане он «несомненно, продолжает ту линию в советской поэзии, которая идет от Д. Бедного, А. Жарова, В. Лебедева-Кумача, линию популярную, неумирающую, потому что она всегда отражала и отражает какие-то важные стороны общего духа эпохи» (А. Никульков). Потому и тексты пухначёвских песен в большинстве своем были «остановленными мгновениями» истории советского общества, а с другой стороны – конкретным творческим результатом определенного социального заказа. Вместе с тем, едва ли можно обвинять поэта в некой конъюнктурности. В. Пухначёв всегда жил в ногу со временем, чувствовал его потребности и как органичный продукт своей эпохи честно, искренне, с большим эмоциональным накалом пытался это время выразить.

В. Пухначев был не только поэтом-песенником, но и прекрасным знатоком сибирского фольклора. Много лет записывал легенды, бывальщины, речения, сказки северных народностей – главным образом хантов и селькупов, живущих на берегах таежной реки Тым. Результатом этой работы явилась книга В. Пухначева «Сказки старого Тыма». Фольклорная стихия (как, впрочем, и песенная) хорошо ощутима и в большой поэме В. Пухначева «Ермак». Обращаясь к истории, к теме народного подвига, поэт стремится создать пронизанные идеями могущества России, глубоко патриотические образы. Самым крупным произведением В. Пухначева стала поэтическая трилогия «Сказ о Васюганье», охватывающая по времени несколько веков нашей истории вплоть до середины XX века. Центральным героем трилогии, объединяющим судьбы разных персонажей, населяющих поэму, становится Сибирь с ее необъятной ширью и мощью.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги В. Пухначева:

Сказки старого Тыма. – Новосибирск, 1950.
«Сибирь моя, Сибирь…». Стихи. Песни. Поэмы. – Новосибирск, 1973.
Сибирские бывальщины. – Новосибирск, 1978.

О. В. Пухначеве:

Никульков А. Василий Пухначёв (Сер. «Литерптурные портреты»). – Новосибирск, 1980.
Горшенин А. Два столетия. // «Сибирские огни», 2010, № 8.

Василий ПУХНАЧЁВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Родники

На Руси, в богатырском раздолье,
Что на землях иных не сыскать,
Зарождался язык русской воли
Великану-народу под стать.
Здесь в сиянии дня голубого,
Под серебряный звон родника,
Зазвучало российское слово
И волшебная вязь языка.
Из славянских, из древних наречий
Он в глубинах народных возник,
И звенит искрометною речью
Наш могучий, наш русский язык.
Чистотой самобытных сказаний,
Вольных песен и вещих былин
Входит он сызмалетства в сознанье –
Наших дум и сердец властелин.
И в работе, и в ратных бореньях,
В отраженье всего, что ни есть,
Вечно длится его сотворенье,
И богатств его не дано счесть.
И, к его родникам припадая,
Я учусь наше слово беречь,
Чтоб слова-самоцветы слагая,
Ручейком влиться в русскую речь.

Про Сибирь мою…

Про Сибирь мою
Я везде пою.
Про сибирский край
Вся земля узнай!
Здесь зимой снега
Пухом стелются
И шумит тайга
Под метелицей.
А весной в простор
Трактора идут.
Люди главный спор,
Бой за хлеб ведут.
Наших рек разлив –
Что моря весной.
До чего ж красив
Ты, мой край родной!
Про Сибирь мою
Я везде пою.
Вся земля узнай
Про сибирский край!

Песня лыжных батальонов

Вьется след невидимой дорогой,
Мчатся лыжники в грозный поход.
От Москвы до Алтайских отрогов
Встал на лыжи советский народ.

П р и п е в:

Мы по кручам,
По низинам
И в морозы, и в снега
Смелой хваткою орлиной,
Грозной лыжною лавиной
Налетим, уничтожим врага.

Мы сроднились со свистом метелей,
Нам на лыжах повсюду пути.

Подойдем мы неслышными к цели
И от смерти врагу не уйти.

П р и п е в.

Зимней ночью в снегу на полянке
Нам готов и ночлег и приют.
А фашистские черные танки
Здесь бесславную гибель найдут.

П р и п е в.

Вьется след невидимой дорогой,
Мчатся лыжники в грозный поход.
От Москвы до Алтайских отрогов
Встал на лыжи советский народ.

П р и п е в.

Фронтовая сестра

В дубленом своем полушубке –
Поверх его – сумка с крестом, –
Казалась ты робкой и хрупкой,
Была ты отважным бойцом.

Откуда бралась в тебе сила,
Отвага твоя без конца,
Когда из огня выносила
В кровавых повязках бойца?!

И, веря, что жизнь возвратится,
У смертной черты на краю
Солдаты шептали: – Сестрица! –
И верили в силу твою…

…Стоят обелиски солдатам
На каждой военной версте, –
Средь них бы поставить, ребята,
Один – медицинской сестре!

Над широкой Обью

Над широкой Обью
Бор шумит зеленый,
Над широкой Обью
Чайки день-деньской.
В стороне сибирской
Песни Волго-Дона,
Ой, ты Обь родная,
Принимай гостей!
Мастеров бетона
Волга шлет с поклоном,
Ждет от сибирячки
Радостных вестей.
Как растут плотины
На твоем просторе,
Скоро ль в новом море
Зашумит прибой?
Скоро ль твоя сила
Закружит турбины,
Брызнет ярким светом
По земле родной?
И в ответ на это
Обь сказала Волге,
Засверкав приветно
Пенною волной:
– Подожди, подруга,
Ждать теперь недолго,
Коммунизма зори
Всходят над страной.
Над широкой Обью
Бор шумит зеленый,
Над широкой Обью
Чайки день-деньской.
В стороне сибирской
Песни Волго-Дона
Породнились с песней
О волне обской.
Как утес, плотина
Поднялась над морем,
И сверкают зори
Над обской волной.

И поэт турбины
Песню об Отчизне,
О великой славе
Партии родной!

Сибирский вальс

Над степью Алтая
Высокие звезды сверкают,
Над степью Алтая
Не гаснут в просторе огни.
В ночной тишине
О тебе я, хорошей, мечтаю,
И ты, мое счастье,
Меня в этот час вспомяни.

П р и п е в:

Здесь, на далеком Алтае,
Голос мне слышится твой.
Верю, моя дорогая,
В скорую встречу с тобой!

Окончена служба.
Пути и дороги солдата
По зову Отчизны
Меня на Алтай привели.
И нет только милой.
А разве любовь виновата,
Что хочет ответа?
Ответь же любовью и ты.

П р и п е в.

Привольней нет края,
Чем наша Сибирь золотая,
Озер нет синее.
В полях необъятны хлеба.
И сердце, и песня,
Волнуясь, зовут, дорогая,
Тебя ожидают,
Моя ты любовь и судьба!

П р и п е в:

Здесь, на далеком Алтае,
Голос мне слышится твой,
Верю, моя дорогая,
В скорую встречу с тобой.

Широкие степи

Широкие степи, целинные степи
От гор до тайги пролегли…
Увидишь – и сердце полюбишь навеки
Раздолье сибирской земли.
И если тоскует душа по просторам,
А сердце – о смелых делах,
Товарищ, пойдем с комсомольским задором
Работать на новых полях.
Пусть будут невзгоды, пусть трудно придется –
Мы подвиг свершим трудовой.
И пусть в миллионах сердцах отзовется
Пример комсомольский живой.
И там, где ковыль под луной серебрится
Да ветры поют в пустырях,
За нами раскинется море пшеницы
И встанут поселки в садах.

Облепиха золотая

В мае всюду на Алтае
Чудо-ягода цветет…
Облепиха золотая,
Так зовет ее народ.
Той весною, где разливом
Льется талая вода,
Повстречалась там я с милым,
Говорил он: «Навсегда!»
Облепихи золотистой
Облетел за лето цвет,
Смолкли песни гармониста,
И зарос травою след.

Я иду одна в печали, –
Где ты, где ты, милый друг!
Если б встречи не бывали –
Сроду б не было разлук!
Ночь, как соболь, ходит тихо, –
Мне не спится до зари…
Облепиха-заманиха,
Ты мне милого верни!

Льется солнца свет

Величавый лес,
Росы на лугу,
Синь твоих небес
В сердце берегу.
Распахнись, душа!
Улетай, печаль!
Даль зовет меня,
Золотая даль, –
Где простор полей,
Перезвон берез,
Говор тополей,
Бирюзовый плёс.
Льется солнца свет,
Вольно дышит грудь…
В зоревой рассвет
Вьется звездный путь!

Земля моих отцов

Земля моих отцов,
Тебе я предан с детства,
Мне на твое лицо
Вовек не наглядеться.
Живут в душе моей,
Навек с тобой счастливой,
Простор твоих степей
И говор светлой нивы,
Свет утренней звезды,
Ночных полей прохлада,

След первой борозды
И шум весенний сада.
Я здесь навечно твой,
Земля, моя отрада,
Живу мечтой одной –
Отчизну сделать садом!

Милая

В быстрой речке зоренька купалась,
Умывалась ключевой водой…
В это утро ты мне показалась
Чайкою, летящей над волной.

Годы шли, но где б я только ни был –
Образ твой в душе я всюду нес.
Синь очей твоих я видел в небе,
В волнах хлеба пряди русых кос.

Видел в солнце свет твоей улыбки,
В радуге – изгиб твоих бровей.
И в березке мнился стан твой гибкий,
Голос твой напоминал ручей.

Стала ты моей судьбой и песней,
Говорю, тебя благодаря, –
Мы всегда с тобой, повсюду вместе,
Милая, желанная моя!

Над полями зорька светлая

Над полями зорька светлая…
Ты, березонька заветная,
На листах твоих багряный свет,
Что же друга милого все нет?

Лишь уйдет, со мной расстанется –
И минута годом тянется!
Ясным днем и ночью при луне
Без него покоя нету мне.

Ой. Березонька нарядная,
Ты послушай, ненаглядная,
Я откроюсь, душу не тая, –
Для него навек любовь моя.

Лучше нет на свете верности,
С верой чистою, без ревности.
Где бы ни был парень дорогой,
Всюду я с ним, всюду он со мной.

Ой, любовь, река глубокая!
Милый, радость синеокая!..
Я откроюсь, душу не тая, –
Для тебя навек любовь моя.

В ПОИСКАХ, В ЗАБОТАХ И В ПУТИ…

(Александр Иванович Смердов)

Поэт, прозаик, переводчик, литературный деятель Александр Иванович Смердова родился 13 сентября 1910 года в поселке Теплая Гора Горнозаводской волости Пермской области, в семье рабочего-металлурга.

1921 году после смерти отца семья Смердовых в надежде на лучшую жизнь переезжает в село Каргат Новосибирской области. Среднюю школу А. Смердов окончил уже в Новосибирске, после чего работал землемером в Ачинском округе Красноярского края, на строительстве «Сибкомбайна» в Новосибирске. По комсомольской путевке поступил в Московский плановый институт. Учебу продолжил в Литературном институте им. А.М. Горького, совмещая ее с газетной работой.

Великую Отечественную войну А. Смердов прошел военным корреспондентом дивизионной и армейской газет. С 1945 по 1956 год был ответственным секретарем Новосибирского отделения Союза писателей СССР, а с 1957 по 1959-ый – собственным корреспондентом «Литературной газеты» в Китае. С 1964 по 1975 год работал главным редактором «Сибирских огней», который сделал одним из самых заметных литературных журналов российской провинции.

Творческая деятельность в жизни А. Смердова постоянно сопрягалась с общественной. Он избирался делегатом нескольких всесоюзных и всероссийских писательских съездов, членом и секретарем правлений Союза писателей СССР и РСФСР, а также депутатом местных Советов. А. Смердов награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу» и другими государственными наградами.

Поэтический дебют А. Смердова состоялся в 1930 году в журнале «Сибирские огни». Здесь же были впервые опубликованы большинство его произведений. А в 1938 году в Новосибирске вышла первая книга А. Смердова «Повесть о Гене Щукине». Всего же в его творческом багаже более 20 книг разных жанров, изданных в Москве, Новосибирске, Иркутске.

Умер 11 июня 1986 года в Новосибирске.

Лейтмотивом всего творчества А. Смердова стало непреходящее чувство величия труда и подвига советского человека.

Характерная черта поэзии раннего А. Смердова – романтика поиска, дальних дорог, жажда открытий. Не случайно и первую свою поэтическую книгу он назвал «Письма с дороги» (1941), а любимыми его героями долгое время были геологоразведчики, изыскатели новых трас и стройплощадок, землепроходцы, труд которых поэт воспринимал как «повесть странствий» и «поэму походов».

В годы Великой Отечественной войны А. Смердов писал своеобразные стихотворные «письма с передовой», где глубоко личные переживания органично сочетались с гражданскими и патриотическими мотивами. С особой силой во фронтовых стихах А. Смердова звучала любовь к Сибири. Поэт гордится мужеством и стойкостью воинов-сибиряков, одно упоминание о которых «леденит врага». Поэт создал собирательный образ такого воина-сибиряка и его именем назвал фронтовую книгу стихов «Сибиряк Тарас Клинков» (1942).

Военные впечатления и опыт помогли А. Смердову создать одно из лучших своих произведений – поэму «Пушкинские горы» (1946), посвященную подвигу новосибирского поэта-воина Бориса Богаткова, патриотической песней собственного сочинения поднявшего свой взвод в атаку в бою за Пушкинские Горы. Герой поэмы Сергей Снежков, как и его прототип, погибает, выполняя свой солдатский и человеческий долг, но порывом своим увлекает бойцов, которые отбивают у врага высоту. Образ Снежкова вобрал в себя лучшие черты молодежи сороковых годов прошлого столетия, а сама поэма «Пушкинские годы» по силе художественного воздействия и поныне стоит в ряду лучших образцов военной лирики и эпики.

А. Смердов был известен не только как поэт. С журналистским блокнотом он объездил всю Сибирь. Результатом этих поездок стали его многочисленные путевые заметки, очерки о происходящих в Сибири переменах, публицистические материалы с размышлениями об экономических и социальных проблемах края, статьи о многонациональной сибирской культуре и литературе. Собранные в книгах «Камень на ладони», «Дума о родном крае», «Впереди они», «У истоков «Сибирианы» и др., они стали своеобразной летописью Сибири пятидесятых-семидесятых годов двадцатого столетия.

Значительное место в творчестве А. Смердова занимал сибирский фольклор. В качестве собирателя и переводчика А. Смердов не раз обращался к героическим эпосам, легендам, сказкам народов Сибири.

А. Смердов прожил большую, насыщенную жизнь, оставив в литературном и культурном пространстве Сибири заметный след.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги А. Смердова:

Избранное. Стихи, поэмы. – М., 1986.
У истоков Сибирианы. Очерки, статьи. – Новосибирск, 1987.

Об А. Смердове:

Горшенин А. Здесь жил поэт. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.
Крещик В. Время и пути-дороги писателя. (К 80-летию А.И. Смердова.). // «Сибирские огни», 1990, №9.
Горшенин А. Два столетия. // «Сибирские огни», 2010, №8.

Александр СМЕРДОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Письма с дороги

На конвертах, на пестрых марках –
Целый атлас земли родной:
Колывань, Комсомольск, Игарка,
Темиртау и мыс Входной…

Это дружбы живые нити,
Вести с дальних путей-дорог,
Это летописи открытий
Затаенных земных щедрот.

Вышли люди к истокам Лены
Или в тундру за Енисей –
Знаю, это уж непременно
Кто-нибудь из моих друзей.

Где-то там, за крутым Саяном,
С неба жаркий упал болид, –
Знаю, скоро, друзья, туда нам
Путешествие предстоит.

Я по знакам на «белых пятнах»
Карты нашей Большой земли
Вижу. Сколько же мы, ребята,
За недолгую жизнь прошли!

Не наживы и славы ради –
Лишь бы славен, богат был край,
Шли мы с компасом и тетрадью
В Забайкалье и на Алтай.

С мастерком, с табачком в котомке,
С картой рек и лесных дорог…
Пусть по ней подведут потомки
Нашей молодости итог.

Письмо с переднего края

(Отрывок из поэмы «Мои земляки»)

…ночь. Блиндаж. Не спал давно я.
Я б заплакать мог,
если б ты сейчас со мною
побыла часок.

Мы бы чаю заварили.
До утра впотьмах
мы б с тобою говорили
о простых вещах.

Да, о чем-нибудь попроще,
языком не злым.
Например, о тихих рощах
на реке Чулым.

О тиши долин Алтая
рассказала б мне.

Знала б ты, как мы мечтаем
здесь о тишине.

Никогда светло и нежно
так я не любил
край далекий, край мой снежный –
милую Сибирь.

Если б мне сказали: в мире
местность выбирай –
я ответил бы: в Сибири
мой заветный край.

Мы росли в тайге суровой,
где белы снега.
Сибиряк – одно лишь слово
леденит врага.

Украина, Подмосковье,
и Нева, и Прут –
всюду вспомнят нас с любовью,
в песнях воспоют.

Там, где наша кровь пролита
за Отчизны честь,
будет зреть богато жито,
будут вишни цвесть.
Выйдут на берег девчата,
песней у реки
вспомнят, как прошли когда-то
здесь сибиряки…

…Что ж, любимая, бывает –
в неурочный час
штыковая, пулевая
смерть настигнет нас.

Мы встречаем не словами
этот смертный миг,
а суровыми глазами,
горе затаив.

И не нас – врага пусть давит
смертная доска,
пусть его завыть заставит
черная тоска.

Пусть уж он боится смерти
на пути своем…
Мы, родная, все на свете,
все переживем!..

Пушкинские горы

(Отрывок из поэмы)

Памяти друзей поэтов-воинов
Георгия Суворова и Бориса Богаткова

* * *

Сто метров лишь до рубежа.
«Ничьей» земли сто метров.
Снежков лежит. Друзья лежат
Под гулким смертным ветром.

Еще минута – заметет
Весь взвод осколков вьюга.
Но выход есть – вперед, вперед
Из огненного круга.

Встать и вперед – путь недалек,
Но воющим железом
Ты будешь вмиг, как стебелек,
Под самый корень срезан.

«Ничья» сто метров, только сто.
Но нет земли дороже…
И кто-то должен первым…
Кто?
Подняться первым должен…

* * *

…В душе, исполненной печали,
Стихи еще не отзвучали:
«Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил…»

Вот где-то здесь – и, может, рядом
В осенней синей тишине
Блуждал поэт под листопадом
С тоской своей наедине.

«Где я страдал…» Разрывы близко,
И нестерпимый мины вой…
«Где я любил…» А пули с визгом
Снуют над самой головой…

И землю рвут вокруг осколки,
И приподняться нету сил…
А на душе звенит, не молкнет:
«Где сердце я похоронил…»

* * *

И кажется – над полем схватки,
Над развороченной землей,
В знакомой взвихренной крылатке
Поднялся Пушкин, как живой.

В огне бушующем по плечи,
Для вражьих пуль неуязвим,
Идет Поэт, идет навстречу
Освободителям своим.

Горят глаза отвагой гордой,
И кудри жесткие вразлет.
И на закат рукой простертой
Зовет бойцов, вперед зовет.

А возле вьется черным бесом,
Ползет за Пушкиным вослед
Тень чужеземца, тень Дантеса
Наводит снова пистолет.

И рвутся мины, завывая,
Чтоб преградить поэту путь.
Но крепнет песня боевая,
Ее назад не повернуть, –

Гремит и рядом и поодаль,
Все ближе, ближе и ясней:
Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! – взываю к ней…

Идут, идут на память сами
Стихи, высок их звонкий взлет,
И Пушкин близко – пред глазами
В метели огненной идет…

* * *

Снежков уверовал давно,
Давно мечтал об этом:
Должно зажечься в нем, должно
Необычайным светом.

Должно, должно когда-нибудь,
Хоть на одно мгновение,
В его простой душе сверкнуть
Такое вдохновение.

Когда пред ним, светла, ясна,
Не в вымысле, не в сказке,
Жизнь молодая, как весна,
Свои раскроет краски.

И вот сейчас, в огне, в бою,
Всей жизнью с нею связан,
Увидел землю он свою,
Как не видал ни разу.

Как бы сквозь пушкинский кристалл,
Всю снова открывая,
Снежков Отчизну увидал
От края и до края.

Во всей красе ее черты,
Родные и живые,
С пушкиногорской высоты
Он видел, как впервые…

Он ждал давно: когда-нибудь,
Хоть раз, хоть на мгновенье,
Должно в его душе сверкнуть
Такое вдохновенье,

Чтобы собой полился стих,
Слова такие были б,
Что заменить иными их
Уже никто не в силе…

И вот под яростным огнем,
Под гул и визг неистовый,
Запело сердце. Пели в нем
Необычайно чистые,

В неизъяснимой простоте,
В нечаянных созвучиях
Слова единственные те,
Неслыханно певучие.

Все полнозвучней, все слышней
Они в стихи просились,
Слова чудесные – о ней,
О Матери-России…

* * *

Но не теперь, но не сейчас
Запечатлеть те строки…
И только, только б не угас
Души накал высокий.

Сейчас минута дорога,
Она пришла, настала…
…В глаза багровая пурга
Озлобленно хлестала.

Дохнула снова горячо
В лицо волна взрывная,
Осколок врезался в плечо,
Пронзила боль сквозная…

Землей засыпало… В ушах
Заныли перепонки.
Но не контужена душа,
И стих не молкнет звонкий.

Вперед, вперед! – стихи поют
Над глухотой, над болью.
«Есть упоение в бою…»
Не это ль? Не оно ли?

И словно стихло все вокруг,
И только сердце пело.
И невесомым стало вдруг
Контуженое тело…

* * *

Вперед… Поднялся в полный рост
Среди друзей своих он.
И в тот же миг пилотку снес
И опалил глаза до слез
Горячий смертный вихорь…

Среди живых и мертвых тел,
Среди огня и воя
Снежков поднялся и запел,
И голос над землей взлетел,
Как знамя боевое.

Запел о Родине, Снежков,
Как мать, родной и близкой,
О доблести сибиряков,
Однополчан и земляков,
О верности сибирской…

И звал вперед сквозь дым и гром
Так дерзостно и смело,
Что смерть. Вздымая пыль столбом,
Металась в бешенстве, слепом
Но тронуть не посмела…

* * *

Взлетела песня, и казалось – стихли
На взрытом поле огненные вихри, –
Нежданно так над скрежетом металла,
Над ветром, раскаленным докрасна,
Она, неопалима и ясна,
Взлетела птицей и затрепетала,
И обожгла солдатские сердца…
Нежданно так над взвизгами свинца,
Среди неостывающих воронок,
Немыслимо и непонятно звонок,
Взметнулся голос молодой Снежкова.
И тем, кто был огнем к земле прикован,
И даже тем, кто встать уже не мог,
В сердца ударил песни звонкий ток, –
И подхватили песню на лету,
И на земле лежать невмоготу…
Она зовет, подняться подмывает.
Жива, жива их дружба боевая!
Вокруг Снежкова поднялись друзья –
Гвардейская, солдатская семья!..
В дыму разрывов, в огненной метели,
Среди фонтанов вздыбленной земли,
Они стеною, локоть к локтю шли,
И сердцем к сердцу шли они и пели…

* * *

И долетел до нас
сквозь гул и треск
Снежковской песни
приглушенный всплеск.

И видно стало, как, в огне по грудь,
Врага ошеломив своим упорством,
К монастырю прокладывая путь,
Рвалась вперед
гвардейцев наших горстка…
Неотразимо, прямо
шаг за шагом
Шли через поле смертное герои…
И, силу нашей ярости утроив,
Снежковцев безудержная отвага
Передалась всем ротам,
всем солдатам.
И вдруг
от взвода к взводу
перекатом
Пошло «ура»
волной со всех сторон…
В атаку весь рванулся батальон…

Гость с Волго-Дона

Там, где просекой пока еще
обозначен фронт его работ,
появился богатырь шагающий,
плечи упирая в небосвод.

Будто с Обью-матушкой здороваясь,
возле бердских сосен и берез
он ручищу сорокаметровую
над широкой поймою занес.

На своих двоих, переступая грузно,
величаво двинулся туда,
где по руслу будущего шлюза
по его следам пойдет вода…

…Сразу не поверишь поневоле,
что послушен чудо-землекоп
пареньку лет двадцати, не боле,
с чубом, ниспадающим на лоб.

Между тем, опробуя моторы,
вытирая каждую деталь,
он хозяйски промеряет взором
перед ним распахнутую даль.

Руки – к пульту, на педали – ногу,
машинист дает моторам ход.
Экскаватор, всей громадой дрогнув,
плавный начинает разворот.

Шаг за шагом. Над обской забокой
вырастает земляной сугроб.
шаг за шагом трассою глубокой
шествует железный землекоп.

И его водитель, горд и весел,
под моторный гром и гул земли
(жаль, обских еще не знает песен)
ласково поет про Жигули).

* * *

Может, слышать доведется снова
За спиной ехидный говорок:
– Ишь, поэт масштаба областного,
Сочинитель местный пресных строк.

Дескать, мало ль настрогал он строчек,
Да как будто даже и поэм, –
О сибирских кедрах и о прочем,
Что уже давно приелось всем.

Самому-де не надоест уж, –
Может, вирши те и не плохи,
О событьях и героях местных, –
Где ж для сердца о любви стихи?..

А собрат – с благополучным стажем
И удачам собственным лишь рад –
Молвит скорбно, со слезою даже:
– Да, на чувства стал ты скуповат!..

Что ж, таких, наверное, не утешу, –
Впрямь душа моя одним полна,
И порывы у нее всё те же,
И любовь, пожалуй что, одна.

В думах, в сердце до конца, наверно,
Как заветный образ пронесу
Стороны моей безмерность
И ее суровую красу.

Нету мне ее милей и ближе,
Где бы ни был, как ни далеко,
Отовсюду я ее увижу,
Голоса услышу земляков.

И как в юности, и с силой прежней
Постоянно в путь меня влекут
Гор вершины и степей безбрежье,
Гром работ и магистральный гуд.

И костры отрядов поисковых,
Вести от друзей издалека,
Кулундинский колос и осколок
Таштагольского железняка.

Пахоты весенние разливы
И обская гулкая волна –
Это жизнь сама нетерпеливо
Предъявляет мне счета сполна.

С каждым шагом, с каждым днем все боле
Перед ней я в радостном долгу,
Но тревожусь, что и малой доли
Отквитать, быть может не смогу.

А хочу и старость так же встретить –
В поисках, в заботах и в пути, –
Дул в лицо бы молодости ветер
И огни сверкали б впереди!

«ПУСТЬ СВОБОДНЫЙ БУДЕТ БЕГ ПЕРА!..»

(Павел Николаевич Васильев)

Поэт Павел Николаевич Васильев родился 25 декабря 1910 года в поселке Зайсан Восточно-Казахстанской области, в семье учителя.

Школу окончил в Павлодаре. Учился на факультете восточных языков в Дальневосточном университете (Владивосток). С 1927 по 1929 год жизнь П. Васильева проходила под «звездой скитальчества». Изъездил всю Сибирь, сменил немало занятий. Был старателем на реке Витим в Якутии, экспедитором на Зейских золотых приисках, каюром в тундре, культработником в поселке Сучан (Приморье). Плавал на пароходах и баржах по Оби, Енисею, Лене, ходил матросом-рулевым на каботажном судне... В 1928 году П. Васильев оказался в Новосибирске, где некоторое время работал инструктором физкультуры в детском доме.

Впечатления об этих скитаниях составили основу двух очерковых книг П. Васильева. – «В золотой разведке» (1930) и «Люди в тайге» (1931). Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Красная новь», «Новый мир», «Октябрь» и др. Из поэтического творчества при жизни П. Васильева отдельным изданием вышла только поэма «Соляной бунт».

Новосибирск стал отправной точкой на творческом пути П. Васильева. Здесь в журнале «Сибирские огни» в 1928 году была опубликована его первая крупная поэтическая подборка, ставшая своего рода «пропуском» в большую поэзию.

Осенью 1929 года П. Васильев приехал в Москву и поступил на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. С этого времени постоянно жил в Москве, выезжая с творческими командировками в различные города СССР. В столице П. Васильев окончательно сформировался и как поэт. В 1932 году он подвергался аресту вместе с С. Марковым, Л. Мартыновым, Е. Забелиным и другими сибирскими литераторами по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке «Сибирская бригада». А в 1935-м после письма группы советских литераторов был осужден за «злостное хулиганство». Весной 1936 года освобожден, но в феврале 1937-го вновь арестован. 15 июля 1937 года П. Васильев был приговорен к расстрелу по обвинению к принадлежности к «террористической группе», якобы готовившей покушение на Сталина.

17 июля 1937 года П. Васильев был расстрелян в Лефортовской тюрьме Москвы.

П. Васильев был человеком могучего, хотя и противоречивого таланта. Большинство его стихотворных произведений настолько своеобразны по рисунку и звучанию, что узнаются буквально по нескольким строчкам. Оригинальность васильевской поэзии связана с близостью к сибирскому народному слову и устному творчеству прииртышских казаков и казахов, которые поэт, выросший в многонациональном Прииртышье, впитал с детства. Стихи и поэмы П. Васильева пронизаны фольклорно-сказочными образами и мотивами. Отчетлив во многих его стихах и романтическо-революционный пафос. Поэзии П. Васильева свойственна большая эмоциональная энергия, оригинальная образность, контрасты, сложные ритмические рисунки. Глубокое влияние на него оказала поэзия Н. Гумилева, С. Есенина.

П. Васильев – поэт прежде всего эпического склада, наиболее ярко раскрывшийся в десяти своих поэмах, отличающихся тематическим и жанровым разнообразием и новым поворотом художественной мысли. Лучшая из поэм – «Соляной бунт» (1933), рассказывающая о жестоком усмирении бунта киргизов, возмущенных каторжными условиями труда на соляном прииске, – стала крупным событием в литературе 1930-х и заставила говорить о П. Васильеве как о художнике огромного дарования и потенциала. Но П. Васильеву не суждено было до конца раскрыться и реализоваться. Лишь после посмертной реабилитации в 1950-х его стали издавать и переиздавать.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги П. Васильева:

Избранное. – М., 1988.

О П. Васильеве:

Выходцев П. «Неуемной песней прозвенеть...». // П. Васильев. Избранное. – М., 1988.

Куняев С. Русский беркут. Документальное повествование. // «Наш современник». 2000, №№4-10, 12.

Павел Васильев. Материалы и исследования. Сб. статей. – Омск, 2002.

Павел ВАСИЛЬЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Тройка

Вновь на снегах, от бурь покатых,
В колючих бусах из репья.
Ты на ногах стоишь лохматых
Переступаешь вдаль, храпя,
И кажешь морды в пенных розах, –
Кто смог, сбираясь в дальний путь,
К саням – на тесаных березах
Такую силу притянуть?
Но даже стрекот сбруй сорочий
Закован в обруч ледяной.
Ты медлишь, вдаль вперяя очи,
Дыша соломой и слюной.
И коренник, как баня, дышит,
Щекою к поводам припав.
Он ухом водит, будто слышит,
Как рядом в горне бьют хозяв;
Стальными блещет каблуками
И белозубый скалит рот,
И харя с красными белками,
Цыганская, от злобы ржет.
В его глазах костры косые,
В нем зверя стать и зверя прыть,
К такому можно пол-России
Тачанкой гиблой прицепить!
И пристяжные! Отступая,
Одна стоит на месте вскачь,
Другая, рыжая и злая,
Вся в красный согнута калач.
Одна – из меченых и рыжих,
Другая – краденая знать –
Татарская княжна да б…, –
Кто выдумал хмельных лошажьих
Разгульных девок запрягать?
Ресниц декабрьское сиянье

И бабий запах пьяных кож,
Ведро серебряного ржанья –
Подставишь к мордам – наберешь.
Но вот сундук в обивке медной
На сани ставят. Веселей!
И чьи-то руки в миг последний
С цепей спускают кобелей.
И коренник, во всю кобенясь,
Под тенью длинного бича,
Выходит в поле, подбоченясь,
Приплясывая и хохоча.
Рванулись. И – деревня сбита,
Пристяжка мечет, а вожак,
Вонзая в быстроту копыта,
Полмира тащит на вожжах!

Сибирь

Сибирь, настанет ли такое,
Придет ли день и год, когда
Вдруг зашумят, уставши от покоя,
В бетон наряженные города?

Я уж давно и навсегда бродяга.
Но верю крепко: повернется жизнь,
И средь тайги сибирские Чикаго
До облаков поднимут этажи.

Плывут и падают высокие закаты
И плавят краски на зеленом льду.
Трясет рогами вспуганный сохатый
И громко фыркает, почуявши беду.

Все дальше вглубь теперь уходят звери,
Но не уйти им от своей судьбы.
И старожилы больше уж не верят
В давно пропетую и каторжную быль.

Теперь иные подвиги и вкусы.
Моя страна, спеши сменить скорей
Те бусы
Из клыков зверей –
На электрические бусы!..

Рассказ о Сибири

Рассказ о стране начинается так:
Четыре упряжки голодных собак,
Им северный ветер взлетает навстречу,
И, к нартам пригнув онемелые плечи,
Их гонит наездник, укутанный в снег.
Четыре упряжки и человек.
Над срубами совы кричали ночами,
Поселок взбухал, обрастая в кусты,
Настоянным квасом и дымными щами,
И бабы вынашивали животы,
Когда по соседним зародам и гатям
Мужья приносили угрозу рогатин.
Рассказ продолжается. Ветер да камень.
Но взрыта земля глубоко рудниками.
Подвластны железным дорогам равнины,
И первые транспорты ценной пушнины
Отправлены там, где, укутанный в снег,
Четыре упряжки провел человек.
Рассказ продолжается. Слышат становья,
Как тают снега, перемытые кровью…
…И каждый наладил бердан да обрез,
И целый поселок улогами лез.
Аглицкие части застряли в болотах,
И лихорадит вовсю пулеметы…
Рассказ продолжается. Сивый рязанец,
Обвит пулеметною кожею лент,
Благословляет мужичий конвент,
Советы приветствуют партизаны.
И от Челябинска до Уймона
Проходят простреленные знамена.
И вот замолкает обозный скрип;
Сквозь ветер степной, через залежи леса,
Прислушавшись чутко к сиренам Тельбеса,
Огни над собой поднимает Турксиб.
Полярным сияньем и глыбами льда,
Пургой сожжены и застужены ночи,
Но все ж по дремучим снегам прогрохочут
На Фрунзе отправленные поезда.

Иртыш

Камыш высок, осока высока,
Тоской набух тугой сосок волчицы,
Слетает птица с дикого песка,
Крылами бьет и на волну садится.

Река просторной родины моей,
Просторная,
Иди над непогодой,
Теки, Иртыш, выплескивай язей –
Князь рыб и птиц, беглец зеленоводый.

Светла твоя подводная гроза,
Быстры волны шатучие качели,
И в глубине раскрытые глаза
У плавуна, как звезды, порыжели.

И в погребах песчаных в глубине,
С косой до пят, румяными устами,
У сундуков незапертых на дне
Лежат красавки с щучьими хвостами.

Сверкни, Иртыш, их перстнем золотым!
Сон не идет, заботы их не точат,
Течением относит груди им
И раки пальцы нежные щекочут.

Маши турецкой кистью камыша,
Теки, Иртыш! Любуюсь, не дыша,
Одним тобой, красавец остроскулый.
Оставив целым меду полковша,
Роскошествуя, лето потонуло.

Мы встретились. Я чалки не отдам,
Я сердца вновь вручу тебе удары…
По гребням пенистым, по лебедям
Ударили колеса «Товар-пара».

Он шел, одетый в золото и медь,
Грудастый шел. Наряженные в ситцы,
Ладонь к бровям, сбегались поглядеть
Досужие приречные станицы.

Как медлит он, теченье поборов,
Покачиваясь на волнах дородных…
Над неоглядной далью островов
Приветственный погуливает рев –
Бродячий сын компаний пароходных.

Катайте бочки, сыпьте в трюмы хлеб,
Ссыпайте соль, которою богаты.
Мне б горсть большого урожая, мне б
Большой воды грудные перекаты.

Я б с милой тоже повстречаться рад –
Вновь распознать, забытые в разлуке,
Из-под ресниц позолоченный взгляд,
Ее волос могучий перекат
И зноем зацелованные руки.

Чтоб при других шепнула: «Не вини…»
Чтоб губ от губ моих не отрывала,
Чтоб свадебные горькие огни
Ночь на баржах печально зажигала.

Чтобы Иртыш, меж рек иных скиталец,
Смыл тяжкий груз накопленной вины,
Чтоб вместо слов на лицах оставалось
Лишь яростные брызги от волны!

Азиат

Ты смотришь здесь совсем чужим,
Недаром бровь тугую супишь.
Ни за какой большой калым
Ты этой женщины не купишь.
Хоть волос русый у меня,
Но мы с тобой во многом схожи:

Во весь опор пустив коня,
Схватить земли смогу я тоже.
Я рос среди твоих степей,
И я, как ты, такой де гибкий.
Но не для нас цветут у ней
В губах подкрашенных улыбки.
Вот погоди, – другой придет,
Он знает разные манеры
И вместе с нею осмеет
Степных угрюмых кавалеров.
И этот узел кос тугой
Сегодня ж, может быть, под вечер
Не ты, не я, а тот, другой
Распустит бережно на плечи.
Встаешь, глазами засверкав,
Дрожа от близости добычи.
И вижу я, как свой аркан
У пояса напрасно ищешь.
Здесь люди чтут иной закон
И счастье ловят не арканом!
. . . . . .
По гривам ветреных песков
Пройдут на север караваны.
Над пестрою кошмой степей
Заря поднимет бубен алый.
Где ветер плещет гибким телом,
Мы оседлаем лошадей.
Дорога гулко зазвенит,
Горячий воздух в ноздри хлынет,
Спокойно лягут у копыт
Пахучие поля полыни.
И там, в предгории Алтая,
Мы будем гости в самый раз.
Степная девушка простая
В родном ауле встретит нас.
И в час, когда падут туманы
Ширококрылой стаей вниз,
Мы будем пить густой и пьяный
В мешках бушующий кумыс.

* * *

Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала,
Дай мне руку, а я поцелую ее.
Ой, да как бы из рук дорогих не упало
Домотканое счастье твое!

Я тебя забывал столько раз, дорогая,
Забывал на минуту, на лето, на век, –
Задыхаясь, ко мне приходила другая,
И с волос ее падали гребни и снег.

В это время в дому, что соседям на зависть,
На лебяжьих, на брачных перинах тепла,
Неподвижно в зеленую темень уставясь,
Ты, наверно, меня понапрасну ждала.

И когда я душил ее руки, как шеи
Двух больших лебедей, ты шептала: «А я?»
Может быть, потому я и хмурился злее
С каждым разом, что слышал, как билась твоя

Одинокая кровь под сорочкой нагретой,
Как молчала обида в глазах у тебя.
Ничего, дорогая! Я баловал с этой,
Ни на каплю, нисколько ее не любя.

* * *

Я тебя, моя забава,
Полюбил, – не прекословь,
У меня – дурная слава,
У тебя – дурная кровь.
Медь в моих кудрях и пепел,
Ты черна, черна, черна.
Я еще ни разу не пил
Глаз таких, глухих до дна,
Не встречал нигде такого
Полнолунного огня.
Там, у берега родного,
Ждет меня моя родня:

На болотной кочке филин,
Три совенка, две сестры,
Конь – горячим ветром взмылен,
На кукане осетры,
Яблоновый день со смехом,
Разрумяненный и брат,
И в подбитой лисьим мехом
Красной шапке конокрад.

Край мой ветренен и светел.
Может быть, желаешь ты
Над собой услышать ветер
Ярости и простоты?
Берегись, ведь ты не дома
И не в дружеском кругу.
Тропы все мне здесь знакомы:
Заведу и убегу.
Есть в округе непутевой
Свой обман и свой обвес.
Только здесь затейник новый –
Не ручной ученый бес.
Не ясны ль мои побудки?
Есть ли толк в моей родне?
Вся округа дует в дудки,
Помогает в ловле мне.

* * *

В степях помятый снег дымится,
Но мне в метелях не пропасть, –
Одену руку в рукавицу
Горячую, как волчья пасть,

Плечистую надену шубу
И вспомяну любовь свою,
И чарку поцелуем в губы
С размаху насмерть загублю.

А там за крепкими сенями
Людей попутных сговор глух.
В последний раз ночное пламя
Осыплет петушиный пух.

Я дверь раскрою, и потянет
Угаром банным, дымной тьмой…
О чем глаз на глаз нынче станет
Кума беседовать со мной?

Луну покажет из-под спуда,
Иль полыньей растопит лед,
Или синиц замерзших груду
Из рукава мне натрясет.

Стихи в честь Натальи

В ваши окна, щурясь, смотрит лето,
Только жалко – занавесок нету,
Ветреных, веселых, кружевных.
Как бы они весело летали
В окнах приоткрытых у Натальи,
В окнах незатворенных твоих!

И еще прошеньем прибалую –
Сшей ты, ради бога, продувную
Кофту с рукавом по локоток,
Чтобы твое яростное тело
С ядрами грудей позолотело,
Чтобы наглядеться я не мог.

Я люблю телесный твой избыток,
От бровей широких и сердитых
До ступней, до ноготков люблю,
За ночь обескрыленные плечи,
Взор, и рассудительные речи,

И походку важную твою.
А улыбка – ведь какая малость! –
Но хочу, чтоб вечно улыбалась –
До чего тогда ты хороша!
До чего доступна, недотрога,
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа.

Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
Все в тебе ценя и прославляя,
Смотрит долго умный наш народ,
Называет «прелестью» и «павой»
И шумит вослед за величавой:
«По стране красавица идет».

Так идет, что ветви зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют,
Так идет, что облака стоят.
Так идет, пшеничная от света,
Больше всех любовью разогрета,
В солнце от макушки и до пят.

Так идет, земли едва касаясь,
И дают дорогу, расступаясь,
Шлюхи из фокстротных табунов,
У которых кудлы пахнут псиной,
Бедра крыты кожею гусиной,
На ногах мозоли от обнов.

Лето пьет в глазах ее из брашен,
Нам пока Вертинский ваш не страшен –
Чертова рогулька, волчья сыть.
Мы еще Некрасова знавали,
Мы еще «Калинушку» певали,
Мы еще не начинали жить.

И в июне, в первые недели,
По стране веселое веселье,
И стране нет дела до трухи.
Слышишь, звон прекрасный возникает?
Это петь невеста начинает,
Пробуют гитары женихи.

А гитары под вечер речисты,
Чем не парни наши трактористы?
Мыты, бриты, кепки набекрень.
Слава, слава счастью, жизни слава.
Ты кольцо из рук моих, забава,
Вместо обручального одень.

Восславляю светлую Наталью,
Славлю жизнь с улыбкой и печалью,
Убегаю от сомнений прочь,
Славлю все цветы на одеяле,
Долгий стон, короткий сон Натальи,
Восславляю свадебную ночь.

Горожанка

Горожанка, маков цвет Наталья,
Я в тебя, прекрасная, влюблен.
Ты не бойся, чтоб нас увидали,
Ты отвесь знакомым на вокзале
Пригородном вежливый поклон.

Пусть смекнут про остальное сами.
Нечего скрывать тебе – почто ж!
С кем теперь гуляешь вечерами,
Рядом с кем московскими садами
На высоких каблуках идешь?

Ну и юбки! До чего ж летучи!
Ситцевый буран свиреп и лют…

Высоко над нами реют тучи,
В распрях грома, в молниях могучих,
В чревах душных дождь они несут.

И темня у тополей вершины,
На передней туче вижу я,
Восседает, засучив штанины,
Свесив ноги босые, Илья.

Ты смеешься, бороду пророка
Ветром и весельем теребя…
Ты в Илью не веришь? Ты жестока!
Эту прелесть водяного тока
Я сравню с чем хочешь для тебя.

Мы с тобою в городе, как дома.
Дождь идет. Смеешься ты. Я рад.
Смех знаком, и улица знакома,
Грузные витрины Моссельпрома,
Как столы на пиршестве стоят.

Голову закинув, смейся! В смехе,
В громе струй, в ветвях затрепетав,
Вижу город твой, его утехи,
В небеса закинутые вехи
Неудач, побед его и слав.

Из стекла и камня вижу стены,
Парками теснясь, идет народ.
Вслед смеюсь и славлю вдохновенно
Ход подземный метрополитена
И высоких бомбовозов ход.

Дождь идет. Недолгий, крупный, ранний.
Благодать! Противиться нет сил!
Вот он вырос, город всех мечтаний,
Вот он встал, ребенок всех восстаний, –
Сердце навсегда мое прельстил!

Ощущаю плоть его большую,
Ощущаю эти этажи, –
Как же я, Наталья, расскажи,
Как же, расскажи, мой друг, прошу я,
Раньше мог не верить в чертежи?

Дай мне руку. Ты ль не знаменита
В песне этой. Дай в глаза взглянуть.
Мы с тобой идем. Не лыком шиты –
Горожане, а не кто-нибудь.

Письмо

Месяц чайкой острокрылой кружит,
И река, зажатая песком,
Все темнее, медленней и уже
Отливает старым серебром.

Лодка тихо въехала в протоку
Мимо умолкающих осин, –
Здесь камыш, набухший и высокий,
Ловит нити лунных паутин.

На ресницы той же паутиной
Лунное сияние легло.
Ты смеешься, высоко закинув
Руку с легким, блещущим веслом.

Вспомнить то, что я давно утратил,
Почему-то захотелось вдруг…
Что теперь поешь ты на закате,
Мой далекий темноглазый друг?

Расскажи хорошими словами
(Я люблю знакомый, тихий звук),
Ну, кому ты даришь вечерами
Всю задумчивость и нежность рук?

Те часы, что провела со мною,
Дорогая, позабыть спеши.
Знаю, снова лодка под луною
В ночь с другим увозит в камыши.

И другому в волосы нежнее
Заплетаешь ласки ты, любя…
Дорогая, хочешь, чтоб тебе я
Рассказал сегодня про себя?

Здесь живу я вовсе не случайно –
Эта жизнь для сердца дорога…
Я уж больше не вздыхаю тайно
О родных зеленых берегах.

Я давно пропел свое прощанье,
И обратно не вернуться мне,

Лишь порой летят воспоминанья
В дальний край, как гуси, по весне.

И хоть я бываю здесь обижен,
Хоть и сердце бьется невпопад,

Мне не жаль, что больше не увижу
Дряхлый дом и тихий палисад.

В нашем старом палисаде тесно,
И тесна ссутуленная клеть.
Суждено мне неуемной песней
В этом мире новом прозвенеть…

Только часто здесь за лживым словом
Сторожит припрятанный удар,
Только много их, что жизнь готовы
Переделать на сплошной базар.

По указке петь не буду сроду, –
Лучше уж навеки замолчать.
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.

Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он – действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет.

Чудаки! Поэтов разве учат, –
Пусть свободный будет бег пера!..
…Дорогая, я тебе наскучил?
Я кончаю. Ухожу. Пора.

Голубеют степи на закате,
А в воде брусничный плещет цвет,
И восток, девчонкой в синем платье,
Рассыпает пригоршни монет.

Вижу: мной любимая когда-то,
Может быть, любимая сейчас,
Вся в лучах упавшего заката,
На обрыв песчаный забралась.

Хорошо с поднятыми руками
Вдруг остановиться, не дыша,
Над одетыми в туман песками,
Над теченьем быстрым Иртыша.

ДЫХАНИЕ СИБИРСКОГО ЭПОСА

(Георгий Мокеевич Марков)

Прозаик и публицист Георгий Мокеевич Марков родился 19 апреля 1911 года в селе Ново-Кусково Ново-Кусковской волости (ныне Асиновского района) Томской губернии), в семье сибирского охотника.

Учился в Томском университете. Работал в райкоме комсомола. После переезда в Новосибирск был редактором газет «Большевистская смена», «Юный ленинец», журнала «Товарищ». Позже, в Омске, редактировал газету «Молодой большевик». В годы Великой Отечественной войны служил на Дальнем Востоке. Был военным корреспондентом газеты «На боевом посту» Забайкальского фронта.

С 1956 года Г. Марков жил и работал в Москве.

Литературную деятельность Г. Марков начинал в середине 1930 годов в сибирских газетах и журнале «Сибирские огни». Публиковался в журналах , Сибирские огни», «Дальний Восток», «Знамя и др. Первая книга Г. Маркова – роман «Строговы» – увидела свет в 1939 году в Иркутске (2-я книга этого произведения вышла там же в 1946 году). Перу Г. Маркова принадлежат также книги «Солдат пехоты» (1948), «Письмо в Мареевку» (1952), «Соль земли» (1955 – 1960), «Отец и сын» (1963), «Сибирь» (1977), «Грядущему веку» (1985), и др., изданные в Иркутске, Новосибирске, Москве. Член Союза писателей СССР. За роман «Строговы» Г. Марков в 1952 году стал лауреатом Сталинской премии 3 степени. А его роман «Сибирь» в 1976 году был отмечен Ленинской премией. Лауреат премии Ленинского комсомола (1980). Переведен на многие языки мира. Дважды Г. Марков удостаивался звания Героя Социалистического Труда. Кавалер четырех орденов Ленина.

Г. Марков был и крупным общественным и государственным деятелем. Долгое время возглавлял Союз писателей СССР, являлся депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК КПСС, председателем Комитета по Ленинским и Государственным премиям в области литературы, искусства и архитектуры.

Умер 26 сентября 1991 года в Москве.

Творчество Г. Маркова тесно связано с Сибирью. С подвижнической целеустремленностью Г. Марков разрабатывал в своих произведениях сибирскую тематику, внимательно всматриваясь как в историю родного края, так и его настоящее. В эпическом массиве, созданном Г. Марковым, нашла художественное воплощение ломоносовская мысль об особой исторической роли Сибири. И мысль эта стала для писателя своего рода путеводной звездой. Романы Г. Маркова имеют единый корень, вращаются вокруг общих и магистральных проблем жизни Сибири. Развитие и движение «сибирской эпопеи» идет одновременно и вширь и вглубь. Поэтому современность в романах Г. Маркова постоянно поверяется прошлым, без которого, убежден писатель, нет и будущего. Глубоко осознанный историзм предопределяет также и художественную структуру творчества Г. Маркова: его эпическую широту и объемность, многоплановую сложность и т. д. «Сибириана» Г. Маркова полна драматизма и напряженного динамизма и в то же время пронизана социальным оптимизмом.

И хотя Г. Марков создавал не только масштабные полотна (достаточно вспомнить небольшие его повести «Завещание» и «Тростинка на ветру»), тем не менее, по природе своего дарования он был эпическим писателем. Им остался и в читательской памяти.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Г. Маркова:

Отец и сын. Роман. – Новосибирск, 1963.
Сибирь. Роман-эпопея. – М., 1977.
Строговы. Роман. – Новосибирск, 1986.

О Г. Маркове:

Мотяшов И. Георгий Марков. – М., 1984.
Трушкин В. Г.М. Марков // Литературная Сибирь. Критико-биобиблиографический словарь писателей Восточной Сибири. – Иркутск, 1988.

Георгий МАРКОВ

СТРОГОВЫ

(Отрывок из романа)

В своем первом романе «Строговы» Г. Марков прослеживает историю одной сибирской семьи на протяжении трех поколений. Начало же романа обращает читателя к ее истокам.

Из прошлого Строговых

(*Вместо пролога*)

Во второй половине прошлого века купец Федот Кузьмин основал в глухом таежном месте пасеку.

В ближнем поселке Волчьи Норы он нанял пасечником молодого батрака Захара Строгова. Нанял за пять колодок пчел да три рубля серебром в год.

Захар Стогов переселился на пасеку вместе с женой Агафьей.

Через несколько лет купец умер, и хозяйство перешло к его сыну Никите. Молодой хозяин повел дело иначе: он решил продать пчел, купить на Енисее прииск и заняться золотым промыслом.

Захару не хотелось уходить с обжитого места. Кругом были незаселенные земли и гари с медистым кипреем; на пасеке – созданные его же руками постройки: дом, амбар, подвал.

Строгов упросил Никиту Кузьмина продать ему участок и получить часть выкупа деньгами, а часть медом. Кузьмин запросил двадцать рублей серебром и ежегодно, пока жив Захар, два воза меду с доставкой в город. Волей-неволей пришлось Захару согласиться.

Шли годы. У Захара с Агафьей родился сын Влас, а спустя десять лет – второй, Матвей.

Еще будучи подростком, Влас ушел в город, поступил в торговое заведение. С годами скопил Влас немного денег, открыл свою лавочку, женился, обзавелся детьми.

Матвей остался с отцом. В Волчьих Норах он окончил церковно-приходскую школу первым учеником и, по совету учителя, написал прошение царю с просьбой определить на казенный счет в какое-нибудь училище в городе.

Ответ пришел спустя много месяцев из министерства просвещения. Прошение осталось без последствий: на казенный кошт было немало претендентов из обедневших дворянских семей.

Продолжая честно выполнять поставки медом Никите Кузьмину, Стоговы жили на скромные доходы от пасеки, подспорьем служила охота, а кроме того, кедровые орехи, грибные и ягодные угодья тайги. Жили на пасеке семьей из пяти человек: старики Захар с Агафьей да родной брат Агафьи – дед Фишка – и Матвей с молодой женой Анной.

Пятистенный дом Строговых, окруженный густо разросшимися кустами черемухи, стоял на косогоре, окнами к южной, солнечной стороне. От дома влево – двор, крытый по-сибирски наглухо, вправо – пасека.

У подножья косогора – речка Соколинка с прозрачной родниковой водой. За речкой опять косогор, за ним – долины, холмы, мелколесье, нераспаханные вольные сибирские земли.

К северу от пасеки – стеной тайга. Тайга на тысячи верст и безлюдье, простор, глушь…

Глава первая

* * *

В средней полосе Сибири первые заморозки начинаются уже в конце августа. Утрами, пока солнце не обогреет землю, на зеленой листве деревьев, на поникшей от холода траве лежит нежный, легкий иней.

С этого времени начинают опадать цветы, сохнут травы и раскрашиваются во все цвета радуги бельники и осинники. Последние летние дожди проходят с ветром и бывают затяжные и надоедливые.

Но вслед за ними наступает ясный сентябрь. Земля пестра и похожа на ковер, что девушки в деревнях плетут из ситцевых разноцветных лоскутьев. В сентябрьские дни небо еще сине и безоблачно, а в лесу уже сыро и попахивает прелью опавшей листвы.

Незаметная, но хлопотливая и суетная жизнь течет в тайге в эти погожие дни и звездные, гулкие ночи. С глубоких озер поднимаются караваны гусей, лебедей и уток. И направляются в далекий путь. Жалобно курлыча и повизгивая, как несмазанные колеса деревянной телеги, летят на юг длинные вереницы журавлей. Внизу, под ними, тянутся тысячеверстные просторы земли, а выше плывут белые, как хлопья, облака и дуют ветры.

И в это же самое время, когда улетают залетные птицы и уходят пришлые звери, постоянные жители тайги ищут сытной зимовки. Хорошо, если год урожайный и косогоры краснеют от брусники, а ветки кедров сгибаются от тяжести крупных шишек. Но бывает часто и так: не везде, не во всех концах одинаково плодоносит тайга, и тогда в поисках зимних кормежек начинается великое кочевье всего живого…

… Ранним утром ясного сентябрьского дня Матвей и дед Фишка отправились на охоту. Каждый год в эту пору они уходили с пасеки вглубь тайги, в кедрачи, к берегам реки Юксы. Уходили надолго, месяца на два, на три. Зимой на нартах они завозили своему стану муку, сухари, соль. С собой несли только ружейные припасы, белье, верхнюю одежду.

Охотники привыкли к Юксинской тайге, считали ее своей собственностью, своим амбаром с добром.

К вечеру второго дня они вышли на стан.

На крутом берегу, окруженная разлапистыми кедрами, стояла избушка. В десяти шагах от нее – навес из соснового дранья, под ним таган, закром для хранения кедрового ореха, барцы – чурки на длинных еловых шестах для шишкобоя, рыболовные снасти: морды, садки, вентеря.

За ночь охотники отдохнули, а утром разошлись в разные стороны. Осенью в тайге – как в страду на поле: день год кормит.

Урожай орехов и ягод в эту осень был редкостный. Тайга кишела зверьем и птицей.

Вернувшись на стан, Матвей и дед Фишка развели костер, сели сушить одежду.

– Я сегодня, Матюша, аж в бельники слетал… – рассказывал дед Фишка.

Ссутулившись, он держал над костром портянку. Пламя освещало его. Ветер обдавал дымом. Дед Фишка морщился, кашлял, щурил маленькие хитрые глаза, шевеля мохнатыми бровями.

Матвей, подперев голову, лежал на земле с другой стороны костра.

– В бельники? Далеконько ты сбегал… Сильно, поди, устал? – спросил он.

– Какой там устал! Еще б пробежал столько!

– А меня сова сегодня напугала, – задумчиво проговорил Матвей и улыбнулся.

– Как так? – Дед Фишка отбросил портянку и пересел с чурбака на землю.

– Под вечер иду берегом, – начал рассказывать Матвей, – слышу, кто-то в чаще щелкает. Думаю: уж не волк ли?

Дед Фишка слушал с любопытством. С его лица, заросшего мягкими седеющими волосами, не сходила улыбка: старик знал, что будет над чем посмеяться, – уж не так робок был молодой охотник.

Из глубины тайги донеслось эхо выстрела. Собаки вскочили с теплых насиженных мест. Улыбки исчезли с лиц охотников. Они переглянулись с тревогой в глазах.

– Я остановился, – продолжал Матвей, – смотрю в чащу…

Матвей, приподнявшись, подставил ухо на ветер. Но выстрел не повторился. Собаки потоптались, зевнули, легли на прежнее место и свернулись в клубки.

Тайга шумела однотонно, скучно. Небо заволокло тучами. Крышу навеса долбил прямой упругий дождь.

– Далеко где-то сказал Матвей.

– Надо отозваться, Матюша, – посоветовал дед Фишка. – Заблудился, видно, человек. А плутать сейчас в тайге – гиблое дело: не видно ни месяца, ни звезд.

Матвей сходил в избушку за ружьем и выпалил из обоих стволов раз за разом.

Собаки с визгом бросились в лес, но в ту же минуту вернулись, виновато поджав хвосты.

Выстрел навел охотников на размышления. Ночью в тайге могли стрелять только в случае крайней нужды. Выстрелом кто-то взывал о помощи. Кто же? Кроме Матвея и деда Фишки, в юксинских кедрачах никто не бывал. Это знали охотники точно. Из года в год охотились они здесь одни.

– Теперь поджидай: вот-вот подойдет, – сказал дед Фишка, набивая самосадом трубку.

Ждали они долго, глядели в темь леса, изредка перебрасывались словами. Но собаки спали, не чуя приближения чужого человека.

Матвей поднялся.

– Надо в сушину поколотить, а то в такую-то темень и мимо можно пройти.

Он взял топор и обухом ударил в сухой кедр. Эхо подхватило гулкий стук и понесло по тайге, тревожа зверей и птиц.

Ждали еще часа два, но никто не приходил.

– Охотники новые объявились, – сказа Матвей.

– Нет, Матюша, наверняка кто-нибудь заблудился. Сам посуди: зачем охотники стрелять будут ночью? Да и кто сюда пойдет? Все знают, что тайга эта наша, – настаивал на своем дед Фишка.

Матвея клонило ко сну. Ночь была уже на второй половине.

– Иди, Матюша, спи, а придет кто – я тебя разбужу, предложил старик.

Матвей докурил цигарку, окурок бросил в костер и ушел в избушку.

Ни ночью, утром на стан никто не пришел.

Охотники посоветовались и решили походить по тайге, поискать несчастного. Друг ли, недруг ли это был, но раз попал человек в беду, надо выручать. Испокон веков так было заведено у охотников.

Прежде чем повернуть к стану, в долинке присели на колоду покурить.

До полудня ходили они по тайге, кричали и стреляли из ружей, но никто не отзывался.

Когда Матвей взбежал на взгорок, дед Фишка стоял без шапки и, крестясь, бормотал:

– Господи Иисусе, пронеси и помилуй!

Перед ним лежал скрюченный бородатый человек. Он был мертв. По его изуродованному лицу ползал зеленый червяк-землемер. Возле мертвеца валялись капсюльное ружье и длинный еловый сучок.

Дед Фишка обернулся, посмотрел на Матвея, как бы спрашивая, за какую провинность бог послал им такое наказание.

Несколько минут они молча глядели друг на друга. – Надо в карманах пошарить, – решил наконец Матвей. – Может быть, бумаги какие есть. Обличье незнакомое.

Дед Фишка нерешительно с опаской опустился на колени и несмело стал ощупывать карманы. Ни в карманах, ни в кожаной сумке бумаг никаких не оказалось. Из-за пазухи дед Фишка вытащил холщовую тряпку, завязанную узелком.

– Соль, кажется, – проговорил он, ощупывая узелок пальцами и подавая его Матвею.

По всей видимости, человек покончил с собой последним зарядом. Рожки из-под дроби, пороха и пистонов пустовали. Мешок из-под харчей тоже был пуст. – Ну, Матюша, что будем делать? – спросил дед Фишка, покосившись на мертвеца.

– Дядя, это не соль, – держа на ладони развязанный узелок, сказал молодой охотник.

Дед Фишка взглянул на руку Матвея. На широкой ладони племянника в тряпке лежала щепотка крупного серого песка и четыре золотинки, каждая с таракана величиной.

– Это, Матюша, золото. Ей-богу, золото! Ну-ка, дай! – старик взял кусочек золота, положил в рот и притиснул к зубам.

– Золото! Неужто здесь нашел? – прошептал Матвей и огляделся вокруг, словно боясь, что кто-нибудь подсмотрит за ними.

Но размышлять о золоте было не время. Мертвец лежал у ног охотников, и с ним надо было что-то делать.

Решили положить тело в могилу, вместо гроба устроить ложе из мягких веток кедра. Рассудили так: если какая родня найдется, откопать недолго. Золото тоже не взяли. Возьмешь, а потом за пустяки в тюрьме сгноят.

На другой день Матвей пошел тайгой на пасеку. Оттуда на лошади он намеревался поехать на Волчьи Норы, заявить властям о происшествии. Кто бы ни был погибший, крестьянин ли, охотник ли из чужих краев или беглый поселенец без роду, без имени, каких в Сибири с каждым годом становилось все больше, он был человек, и бросить его, как падаль, совесть не позволяла.

< >

* * *

На пасеку Матвей пришел в сумерки.

В доме только что зажгли лампу. В чистой прихожей было тепло, уютно. Топилась железная печка, и в квадратные дырочки печки падали на пол полоски яркого света.

Домашние встретили Матвея удивленными взглядами.

Он поздоровался и не торопясь стал раздеваться. Отец, мать и жена следили за каждым его движением.

– Не то с Фишкой, сынок, что случилось? – спросила Агафья.

– Нет, мама, дядя здоров.

Матвей сел на лавку. Захар, Анна и Агафья окружили его и, не шевелясь, словно завороженные, выслушали весь его рассказ.

– Езжай, езжай завтра в волчьи Норы. Заяви старосте, – посоветовал Захар. – Негоже так душу христианскую без помилования оставлять.

Агафья согласилась с мужем:

– Заяви, Матюша. Родня, поди, есть. Ищут, наверное, теперь мучаются. – Она ласково взглянула на сына. – Да сами-то, Матюша, с оглядкой ходите. А то вот так же заплутаете, не приведи господь.

– Вот попомните меня: засудят Матюшу с дядей, – взволнованно заговорила Анна. – Скажут, что они убили. А на мой загад так: человека схоронить в тайге, крест поставить – и делов только.

– Чепуху мелешь! Правду всегда видно, – вспылил Захар.

На щеках его проступил румянец. Голубые глаза оживились, заблестели. Старик не любил, когда ему перечили.

– Ишь, удумала что! Засудят… Ты не кличь беду-то не кличь! – ворчал он.

– За правду не судят, Нюра. Правда – что масло: всегда наверху, – попыталась сгладить грубость старика Агафья.

Анна с досадой махнула рукой.

После ужина Захар зажег свечи: три поставил в горнице перед божницей, четвертую воткнул в большой медный подсвечник. В одну руку он взял подсвечник, а другой стал махать, словно держал в ней кадило.

Захар не спеша ходил из прихожей в горницу, из горницы в прихожую и тянул густым голосом:

– Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас…

Скоро он так увлекся «панихидой», что стал размахивать и подсвечником.

– Свя-а-тый бо-о-же, свя-аты-ый…

Во время «богослужения» Захара никто не считал нужным молиться. И теперь все занимались своим делом.

– Свя-а-тый бо-оже… – тянул Захар.

Матвей зевнул, встал из-за стола и прошел в горницу, где Анна взбивала перину на широкой двуспальной кровати.

– Хватит, Захарка, хватит, – остановила его Агафья. – Бог-то – он не глухой, с одного разу слышит. Дай-ка лучше Матюше с дороги выспаться.

– Ты не тронь меня, старуха, не тронь! Я за того молюсь, который в тайге погиб.

Все же вмешательство Агафьи возымело свое действие. Захар прошелся еще раз, перекрестился и, потушив свечи, вышел в прихожую, плотно закрыв за собою дверь.

Матвей, оставшись с Анной, подошел к ней, притянул к себе, обнял. Анна уткнулась ему в грудь, всхлипнула.

– Ты о чем?

– Боязно, Матюша.

– Отчего боязно-то?

– И от этого вот, – она положила руку на большой живот, – и оттого, что в тайге не по-хорошему у вас.

Матвей усадил ее на постель.

– Не убивайся, Нюра, все будет по-хорошему. Насчет этого, – он кивнул головой на живот, – не ты первая, не ты последняя. А о тайге тоже зря печалишься. Лучше расскажи, как жила тут без меня?

Он погладил Анну по спине, обнял ее за плечи. Она привалилась к нему крепким, точно сбитым телом.

– Жила ничего, только с батей часто ругались.

– Чего вы с ним не поделили?

– Да ведь он знаешь какой? Раз я вымыла пол, а он несет на сапогах грязи пуд. Я говорю «Вытер бы, батя, ноги». Как он поднялся, как разбушевался! «И ты, говорит, туда же, и тебе не угодил! Агафья с крыльца гонит, эта в избу не пущает. Может, мне еще час под дождем мокнуть, пока вы тут со всем управитесь?»

Матвей засмеялся.

– А дальше что было?

– Поехал он в Волчьи Норы, вернулся выпимши, веселый. Входит, вытаскивает из кармана матушке платок, а мне серьги: «Вот вам за то, что я пол топчу». А в другой раз схватились с ним еще пуще. Я говорю: «Надо бы, батя, на мельницу съездить. Муки в амбаре на три квашни». А он как закричит: «Не указывай! Сам знаю, как жить. А на мельницу не поеду. На меня другие намелют». Так и не поехал. Сами с мамой ездили. Потом еще корить нас начал за то, что мы дешево за помол заплатили, мельника будто обманули.

Анна вздохнула и заговорила просящим шепотом:

– Сам бы, Матюша, взялся за хозяйство. Насидимся мы так без хлеба. Да и стайки надо бы поправить, сена подвезти. А бате я больше ничего говорить не буду. Пусть хозяйствует, как знает…

Анна вышла за Матвея против воли родителей. Они не хотели этого брака. Сватался за нее другой жених – Демьян Штычков.

Родителям Анны жалко было упустить такого жениха, как Демьян. После смерти отца он остался единственным наследником большого хозяйства. Штычковы исстари считались первыми хозяевами на селе. У них было много скота, пашни, всегда они держали годовых работников.

Но сам жених был с повинкой. Еще в детстве лошадь ударила Демьяна копытом в лицо и переломила нос. Стал он ломоносый и говорил с тех пор гнусавя. Не вышел наружностью Демьян, не чета был Матвею.

Да и в народе Матвея уважали больше. Слава о его смелости в охоте на медведей шла по всей округе. Был он к тому же искусный гармонист, и не одна девка вздыхала, глядя на рослого статного парня.

Марфа, мать Анны, отговаривала дочь:

– Смотри, Нюрка, насидишься за Матвеем голодом. Хозяйство Строговых не ахти какое. Все богатство в пасеке, а на пасеку на-

дежда плохая. Сегодня она есть – завтра ее не будет. Мор на пчелу и не таких, как Строговы, разорял.

Анна и сама понимала, что мать говорила правду.

Демьян жил богаче, хозяйство его было прочнее. Но Анну тянуло к Матвею. Про себя она думала:

«Ничего, и мы заживем не хуже других. Будем землю пахать, скот разведем, мельницу поставим. Там, на пасеке-то вон какие просторы. На селе завидовать будут»

И она настояла на своем: ее просватали за Матвея. Демьян Штычков с горя пил без просыпу. Три года он ждал, когда подрастет Анна, считал ее своей невестой. Да и она не отталкивала его – на вечерках заигрывала с ним. Полгода спустя после свадьбы он женился на бедной-пребедной девке Устиньке Ганьшиной.

* * *

Утром Захар и Матвей поехали в Волчьи Норы. Сельский староста Герасим Крутков, выслушав Матвея, велел ехать в волостное правление.

Захар вернулся на пасеку, а Матвей поехал с попутчиком в Жирово.

Прошло четыре дня, Матвей не возвращался.

Домашние думали, что он задержался в Волчьих Норах у тестя, Евдокима Юткина, и не беспокоились. Но один случай взволновал их.

На рассвете Агафья пошла доить коров. Едва она открыла дверь, как навстречу ей бросились собаки. Они были с охотниками на Юксе. Агафья оставила подойник на крыльце и побежала в дом.

– Вставай, старик! Вставай скорее! Собаки из тайги прибежали. – Видно, Фишка идет, – тормошила она Захара.

Тот вскочил с постели и впопыхах долго не мог надеть штаны.

Все трое выбежали на крыльцо и стали смотреть на косогор, ожидая появления деда Фишки. Какая нужда погнала его на пасеку? Вот еще беда-то! А ведь сколько лет жили тихо, мирно!

С полчаса стояли они на крыльце, но дед Фишка не появлялся.

– Что за оказия? – сказал, недоумевая, Захар.

– Съездил бы, батя, в село, узнал, что там с Матюшей. Может, оттуда в тайгу ушел? – проговорила Анна, в душе тревожась за мужа.

– Верно, Захарка, скачи, узнай. А Фишка пасеку не минует, – сказала Агафья.

Захар помчался в Волчьи Норы.

По дороге он встретил знакомого жировского мужика Петра Цветкова. Петр ехал на пасеку по просьбе Матвея и рассказал Захару, какая беда приключилась с охотниками.

Когда Матвей заявил о происшествии в тайге жировскому уряднику, тот взял двух понятых (одним из них был Петр Цветков), и они вместе в тот же день выехали в тайгу.

Таежная дорога была только до Балагачевой. Дальше верст двадцать пришлось идти пешком.

Урядник осмотрел труп и, допросив охотников, решил, что убийство совершено ими. Матвея и деда Фишку отвезли в Жирово и посадили в каталажку волостного правления.

Петр Цветков передал Захару сумку с пушниной и поехал обратно. Захар погнал своего коня на пасеку. Бабы, увидев его в окно, выбежали на крыльцо. Захар соскочил с коня и закричал на них:

– Ну, что глаза вылупили?! Накладывайте в туески меду. Матюшка с Фишкой в жировской каталажке сидят. К уряднику поскачу.

Агафья всплеснула руками и хотела заголосить. Анна закрыла свое по-цыгански смуглое лицо фартуком.

Захар взбежал на крыльцо, замахал руками:

– Ну-ну, помокроглазьте у меня!

Не прошло и часу, как он, наскоро пообедав, мчался в волость, нещадно нахлестывая коня.

Прискакав в Жирово поздно вечером, Захар отнес мед уряднику и стал упрашивать его освободить Матвея и деда Фишку хотя бы на поруки.

Урядник обещал подумать. На другой день Захар сунул ему пятирублевик.

Но вечером к Захару вышла толстая урядничиха и передала от имени мужа, что сделать он ничего не может: весь материал предварительного дознания отправлен в город.

Захар плюнул, хлопнул дверью и вприпрыжку побежал со двора. Не долго думая он завернул в кабак и всю ночь напролет гулял там с каким-то случайным приятелем.

Потеряв где-то шапку-ушанку, он утром приехал на пасеку с повязкой на голове, сделанной из верхней рубахи на манер тюрбана.

* * *

Три недели охотники ждали, когда их отправят в город на суд.

Спали они на соломе, зябли, ели черствый хлеб с холодной водой. Дед Фишка вначале храбрился, потом начал грустить, вечерами усердно молился.

Неизвестно, сколько бы еще пришлось сидеть охотникам в каталажке, если бы не приехал в Жирово судебный следователь Прибыткин. Приезд следователя произвел в волостном правлении суматоху. В отдаленную жировскую волость из города редко кто наезжал.

Пока следователь отдыхал на земской квартире, бабы выскоблили в правлении полы, на окна повесили холстинные занавески.

Владислав Владимирович Прибытккин по окончании юридического факультета надеялся быстро сделать карьеру. Но ему не хватало связей и денег. Отец его, мелкий чиновник, был небогат и незнатен.

Когда из Жировской волости поступило дело об убийстве охотниками неизвестного золотоискателя, Прибыткин сказал себе:

«Ну, Владислав Владимирович, пора и тебе попытать счастья».

Первым на допрос следователь вызвал деда Фишку.

Старый охотник оробел. Дрожащими руками он разгладил бороду, брови, одернул рубаху и, выходя из каталажки, страдальчески посмотрел на Матвея. Но в комнате следователя дед Фишка почувствовал себя спокойнее.

Полное лицо Прибыткина с черной бородой показалось ему добрым.

Следователь читал какие-то бумаги.

– С-с-адитесь вот тут на с-с-с-тул, – проговорил он, не поднимая глаз.

«Да он заика», – подумал дед Фишка, и это показалось ему потешным.

Прибыткин отложил бумаги и взглянул на старика.

– К-к-к-ак ваша фамилия?

Дед фишка встал.

– С-с-с-иди.

– Фамилия? А вам какую, барин, фамилию? По-уличному нас кликали Забегалкины, а по писаному – Теченины. Я, нычит, Финоген Данилов Теченин.

– Хорошо. С-с-с-сколько тебе лет, Теченин?

– Седьмой десяток, барин, живу.

Следователь окинул его насмешливым взглядом.

– Лет тебе много, а здоров к-к-к-как?

Дед Фишка вовсе размяк, осмелел:

– О, Барин! Здоровьем бог не обидел, за мной не каждый угонится. Я умру, а ногой дрыгну.

Но вдруг следователь откинулся грузным телом на спинку стула и в упор уставился на старика холодными, пронизывающими глазами.

– Ну, с-с-с-старик, шутки в сторону! С-с-с-сознавайся чистосердечно: много золота взяли?

Дед Фишка соскочил со стула и, торопливо крестясь, стал уверять:

– Что ты, барин! Ай мы разбойники какие! Мы, барин, люди смирные. Мы и зла-то никому, кроме как медведям, не делаем. Вот тебе крест! Мы по совести заявили. Думали – грешно погибшего человека бросать. Нет, барин, ты выпусти нас, настрадались мы тут в неволе.– С-с-сядь, Теченин, с-с-с-сядь! – приказал следователь.

Дед Фишка покорно сел, из-под мохнатых бровей глаза его тревожно следили за следователем.

– А к-к-к-то, по-твоему, Теченин, убил человека?

Дед Фишка опять вскочил.

– Никто, барин, он сам себя порешил. Мы с племянником по оружию об этом сообразили. Ружье, нычит, лежало рядом с ним, и еловая палка тут же. Видно, палкой на спуск давил…

Следователь что-то долго писал на листе бумаги, потом снова поднял глаза на старика.

– По-твоему выходит, Теченин, что человек сам себя убил? Не то говоришь…

– То, ей богу то! Ему, барин, один был конец. Либо застрелиться, либо попасть медведю в лапы. Плохи его дела были, сам посуди, ни дроби, ни пороха, ни спичек, ни еды. На лицо худущий – он, видно, и так терпел долго. – Дед Фишка вздохнул. – С тайгой шутки плохи, барин.

Прибыткин исподлобья наблюдал за стариком.

Виновный человек не мог так смотреть и говорить, как дед Фишка.

«Ах, какой дурак этот жировский урядник! – подумал Прибыткин, но тут же спохватился: – Подожди, Владислав Владимирович, может быть, не раз еще с великой благодарностью помянешь этого урядника».

– Послушай, Теченин, а что там за местность, на этой Юксе? Горы? С-с-степь?

– Какая там степь! Леса там, барин, дремучие леса.

– Ну, а рельеф ка-ка-ков?

– Как?

– Я спрашиваю, местность ка-ка-кая? Равнины, горы?

– И равнина есть, и, и горы. Все там есть. Логов много. А земля песчаная больше. Для пахоты не годна. Рожать не будет.

– Ну, а из ка-ка-ка-ких мест, по-твоему, человек этот?

– Бог его знает, барин, на лбу у него не написано. А так чудится нам – из пришлых он. Наши старожилы кошмовальных шляп не носят.

– Так, так. Ну, а золото где он нашел? Ка-ак по- твоему?

– Должно, на Юксе. Видно, по ее лесам он ходил. Им, ведь лесам-то, нет конца краю. Да и опять же песок у него в тряпке юксинский. Таких у нас песков на Юксе – пропасть, в каждом логу.

Эти показания деда Фишки Притбыткин записывать в протокол не стал и велел старику идти в каталажку.

Дед Фишка поднялся со стула.

– Когда же, барин, на волю отпустите? Ей-богу, сидим ни за что!

– Иди, иди на место. Невиновность надо еще доказать…

Дед Фишка ссутулился и проскочил торопливо в дверь.

Когда вошел Матвей Строгов, следователь внимательно осмотрел молодого охотника.

Прибыткин думал, что он увидит его испуганным и робким, но перед ним стоял высокий, крепкий молодчага, с гордой посадкой головы, с чубом волнистых русых волос. Голубые глаза его смотрели с живым и пристальным любопытством. На светлом продолговатом лице с прямым носом и юношеским пушком вместо усов не было ни испуга, на растерянности.

– С-с-с-адитесь. «Строгов Матвей Захарович. Двадцати двух лет, православный, женатый, грамотный…» – прочитал вслух следователь, помолчал и, продолжая присматриваться к молодому охотнику, громко сказал: – Ну, Строгов, рассказывай, как было дело.

Матвей повторил, что рассказывал уряднику.

Все это Прибыткин знал из протоколов. Молодой охотник держался с таким спокойствием, что сбить его можно было только какой-нибудь неожиданностью. И следователь решил применить обычный в таких случаях прием.

– С-с-с-кладно ты, С-с-с-трогов, рассказываешь, – проговорил он с ехидной усмешкой, – но дед выдал тебя. Дед сказал, что ты убил человека.

Матвей весело захохотал. Прибыткин посмотрел на него: такой смех мог быть только у человека, который ничем не запятнал свою совесть.

– Дядя не мог этого сказать, – спокойно возразил Матвей и продолжал с прежней спокойной серьезностью: – Смешно все это, господин следователь. Если бы в самом деле мы убили человека, зачем бы мы сами стали на себя стали доносить? В тайге можно город спрятать, а много ли места мертвому надо?

– Твои с-с-с-лова, С-с-с-трогов, вас не поравдывают. Вы, ка-ак убийцы, поступили умно. Большую толику золота взяли, а малую для своего оправдания оставили. Вот, дескать, какие мы честные!

– Не мне учить вас, господин следователь. А только убийцы вряд ли так поступили бы. Безвинно мы сидим.

– Но позволь… Зачем вы труп в землю закопали?

– Куда ж его девать? Незарытым оставить? А ведь там тайга, звери рыщут, птицы…

Свои вопросы Прибыткин задавал Матвею ради формальности. Самое важное для него было другое.

– Ты, Сс-с-трогов, хорошо тайгу знаешь?

– Как не знать! С малолетства там охотился.

– Ну-ка расскажи, что это за тайга. Лес ка-акой, звери, почва, местность?

– Тайга большая, господин следователь…

– Матвей стал обстоятельно рассказывать. Прибыткин оживлялся все больше.– Ну, ну, дальше!

– Звери водятся всякие: медведь, рысь, барсук, колонок, горностай, белка. Из птиц – рябчики, глухари, тетерева…

– А леса ка-ка-кие?

– Ельник, пихтач, сосняк. А больше кедровник.

– Ну, а почва?

– Песок, местами галька. Попадает кое-где крупный камень.

– А местность?

– Леса, буераки, ручьи.

– Хорошо, ну а еще никто в той местности не находил золота?

– Находили в глухарях.

– Д-да неужели? – От удивления и восторга следователь даже привскочил с места. – К-к-кто находил?

– Сергеевский житель – Зимовский Степан Иваныч. На заимке сейчас живет.

Допрос молодого охотника затянулся до позднего вечера.

Прибыткин расспросил обо всем, что его интересовало, разузнал о путях-дорогах на Юксу и только тогда велел увести Матвея в каталажку.

Больше следователь не встречался с охотниками, они были ему не нужны.

А через две недели после отъезда Прибыткина в Жирово пришел пакет. В бумаге, извлеченной из пакета, предписывалось: охотников Финогена Теченина и Матвея Строгова, задержанных по делу гибели неизвестного человека в Юксинской тайге, за недостатком обвинительного материала из-под стражи освободить.

* * *

Охотников освободили в четверг, а в воскресенье на пасеку съехались гости. Были тут родные Анны: отец ее Евдоким, мать Марфа, старший брат Прохор с женой Ариной, дед Платон, старые приятели Захара и Агафьи – Емельян Сурков и его жена Анфиса.

Гости поздравляли Строговых с двойной радостью: рождением внука и возвращением охотников из неволи.

Мужики толпились в прихожей, дымили цигарками. Дед Фишка рассказывал, как он и Матвей коротали дни в каталажке.

Бабы образовали свой кружок в горнице. Они рассматривали новорожденного, расспрашивали Анну о здоровье. Анна не привыкла еще к положению матери: ее смуглое лицо от бесстыдных вопросов баб то и дело заливалось румянцем.

Гостям долго разговаривать не пришлось. Захар подлетел сначала к мужикам, потом к бабам:

– Кончай, кончай разговоры! Не за этим приехали. Старуха, усаживай гостей поплотнее.

Расселись за длинным столом в прихожей. Захар наполнил рюмки водкой, Емельян Сурков встал:

– Ну, хозяин с хозяюшкой, поздравляем вас с внуком, а тебя, Матюша, и тебя, Нюра, с наследником.

Гости подняли рюмки, Захар остановил их:

– Нет, погоди, погоди, Емельян Савельич, не так ты начал. Перво-наперво выпьем за Матюшу с Фишкой. А за того потом: он мал еще.

Агафья огрызнулась на Захара. Но гости приняли слова хозяина за шутку, засмеялись.

– Верно, сват, мал еще. Все равно не поймет, – хрипел лысый Платон.

– Ну, быть по-твоему, Захар Максимыч, – согласился Емельян. Он взглянул на деда Фишку. – Поздравляю тебя, Финоген Данилыч, и тебя, Матюша. Слава богу, что все обошлось по-хорошему. Хоть и пострадали вы… но что ж поделаешь! Будем здоровы!

Все выпили. Черный, кудлатый Евдоким Юткин приложил мякиш ржаного хлеба к носу.

– Горька, а мила!

Захар еще раз наполнил рюмки.

– А вот теперь выпьем за внука. Бог дал Артема, Артемку Строгова. Во как! Ну, Нюраха, – Захар повернулся к снохе, – дай бог тебе здоровья. Родила ты нам со старухой на радость внука. Дай бог еще десять!

Гости засмеялись, Анна с Матвеем смущенно переглянулись.

– Больно много, сват, десять. Хлеба, сват, прокормить не хватит..

Захар высоко поднял рюмку.

– Хватит, сват, хватит! – Он повернулся опять к снохе, тряхнул серебряной головой. – Роди, Нюра, роди на здоровье.

Все выпили. Даже Матвей, не любивший водку, и тот осушил рюмку до дна. Только рюмка Анны стояла нетронутой. Захар заметил это, принялся угощать сноху:

– А ты что, Нюра, не выпьешь? Пей, будет жить веселей.

За дочь вступилась Марфа:

– Нельзя ей, сват. Молоко испортит.

– Ничего, ничего, пусть парень к горькому привыкает. Вырастет – все равно пьяницей будет.

– Ладно, если в дедов пойдет, – сказала Агафья, – а ну как в отца угадает? Матюшка на вино не шибко охоч.

Захар закричал с пьяным задором:

– В дедов, в дедов пойдет! Приучим! Верно, сват Евдоким?

– Так, так, сват Захар.

– Хлебни разок, для отвода глаз, – шепнул Матвей жене.

Анна глотнула.

– Вот это по-моему! – радовался Зхар.

Вскоре прихожая задрожала от многоголосого пения. Не пели только Платон да его сноха Марфа. Платон был хрипловат, а Марфа не пела смолоду. Они сидели на отшибе от всех, и Платон убеждал сноху переменить гнев на милость.

– Ты, Марфа, не горюй, не тужи о дочери! Нюрка и с Матвеем будет жить не хуже, чем жила бы с Демьяном. Видишь, сын вот родился. А сын – это двойная прибыль. Подрастет – сам будет работник да еще и со стороны работницу приведет. А простор-то тут какой! Знай паши себе, сей. Я тоже с небольшого начал.

Марфа щурила подслеповатые глаза и молча кивала головой.

Матвей принес из горницы гармошку, заиграл плясовую. Дед Фишка вскочил и легко пустился волчком вприсядку. Агафья с Анфисой махали платками, прыгали вокруг него.

Дед Фишка подскакивал мячиком, выкидывал ноги, щелкал пальцами:

– Умру, а ногой дрыгну!... О… о… о…о!

Он плясал до тех пор, пока от усталости и одышки не повалился на пол.

…Гости уехали с пасеки только утром.

ОТОБРАЖЕНЬЕ ЖЕНСКИХ СУДЕБ

(Елена Ивановна Коронатова)

Прозаик Елена Ивановна Коронатова родилась 24 апреля 1911 года в городе Никольск-Уссурийский Приморского края, в семье офицера царской армии, погибшего в Первой мировой войне.

Детство и юность Е. Коронатовой прошли в Томске. Е. Коронатова очень рано начала трудовую жизнь. Чтобы помочь своей большой семье, она уже с двенадцати лет давала частные уроки. А после окончания школы с педагогическим уклоном работала ликвидатором неграмотности в деревнях Томской области, учительствовала на Саралинских приисках в Хакасии, сотрудничала в газете «Советская Хакасия».

Публиковалась в журнале «Сибирские огни». В 1953 году в Новосибирске Е. Коронатова дебютировала со сборником рассказов «На берегу Черемушки». За ним последовали книги прозы «В степи» (1958), «Бабье поле» (1961), «По ту сторону рва» (1964), «Синяя птица» (1967), «Жизнь Нины Камышиной» (1970), «Берега, которые уходят» (1978), «Изба под рябинами» (1989) и др., изданные в Москве, Новосибирске, Львове. Член Союза писателей СССР.

Умерла 18 марта 1994 года в Новосибирске.

Большинство произведений Е. Коронатовой пронизаны автобиографическим началом. Лично пережитое писательницей ощущается во многих из них. Через судьбы своих героев Е. Коронатовой удавалось подчас преломлять жизнь целой эпохи, отмеченной крупными социаль-

ными потрясениями. Наиболее, пожалуй, красноречивым тому примером может служить самая крупная вещь Е. Коронатовы – роман «Жизнь Нины Камышиной».

В центре произведений Е. Коронатовой, как правило, женщины. Чем бы они ни занимались, в каких бы сферах ни вращались, писательница стремилась высветить и отстоять в них женское начало, напомнить, что во все времена главное призвание женщины – быть матерью, «растить поколение, которое будет лучше нас».

И о чем бы ни рассказывала Е. Коронатова, ей удавалось главное – задеть сокровенные струны человеческой души, вызвать у читателей добрые чувства и сострадание. Ну, а о том, что видела, знала, пережила, Е. Коронатова говорила всегда с той высочайшей мерой правды и искренности, с какой может высказываться лишь настоящий художник.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Е. Коронатовой:

Берега, которые уходят. Повесть. – Новосибирск, 1978.
Жизнь Нины Камышиной. Роман в 2-х книгах. – Новосибирск, 1986.
Изба под рябинами. Повести и рассказы. – Новосибирск, 1989.

Об Е. Коронатовой:

Горшенин А. Женщина в интерьере эпохи. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Елена КОРОНАТОВА

ЖИЗНЬ НИНЫ КАМЫШИНОЙ

(Главы из романа)

Молодая учительница Нина Камышина в глухом таежном селе занимается ликвидацией неграмотности: утром учит ребятишек читать и писать, а вечером ведет ликбез для взрослых. Натура разносторонняя и даровитая, она, кроме того, ведет драмкружок, пишет в газету, пытается приобщать местное население к культуре. Интеллигентной, утонченной, воспитанной совсем в другой социальной среде, Камышиной нелегко вживаться в атмосферу сибирской деревни в период только что начавшейся коллективизации.

Глава двадцать восьмая

В нос шибанул тяжелый воздух. Нина испугалась, что ее вырвет. Как ужасно живет Игнатий! Тесно, темно. На печке трое ребятишек, в люльке маленький. Трехгодовалый Игнатка хрипит на лавке.

За Ниной с плачем пришла Акулина.

– Мальчонке недужится, видать, глотка болит. Может, че знаешь, Николавна.

– Я ж не доктор, – попыталась отказаться Нина.

– Все ж таки образованная. Пойдем, ради Христа.

И вот Нина застыла в нерешительности перед Игнаткой.

– Где у тебя болит? – спросила она, стараясь припомнить, что в таких случаях делал доктор Аксенов. – Дайте маленькую ложечку. Ах, у вас нет маленькой ложечки, так я сейчас принесу.

Она обрадовалась возможности хоть ненадолго оттянуть осмотр ребенка. Вспомнила, что доктор Аксенов всегда носил в кармане конфеты в ярких обертках. Конфет у нее не было, прихватила кусок сахару и пряник. Маленький Игнатка отбивался руками и ногами, но за кусок сахара согласился показать горло. Да, конечно, у него ангина (сколько раз сама мучилась). Приготовила полоскание из соли и соды – все, что им когда-то делал Аксенов.

– Погляди у Гришатки голову, Николавна, сдается мне, что лишай у него, – попросила плачущим голосом Акулина.

Гришатка, рыжий, весь в отца, деловито осведомился:

– Сахар дашь? – И, поковыряв в носу, объявил: – И пряник.

– Век буду молить за твое здоровье, – тянула Акулина.

Выручила память: когда-то бабушка лечила Степанидиных ребятишек, именно лишаи лечила. И Нина не очень уверенно произнесла:

– Знаете, иногда помогает клюква.

Акулина обрадовалась и тут же притащила клюкву.

– Вот делайте так, – поучала Нина, раздавливая ватным тампоном на арбузообразной голове Гришатки клюкву.

Вечером Мотря не без ехидства сообщила, что свекруха сама лечила горло Игнатки, смазав его керосином.

Неизвестно отчего, но горло у Игнатки скоро зажило. Каждый день, пробежав босиком по снегу, Игнатка являлся к Нине и требовал пряник, и тут же поспешно разевал рот. Дескать, смотри, не жалко.

Но лишай явно вылечила Нина. Акулина по всей деревне разнесла славу: «Не хуже докторов лечит». К Нине стали приходить

за помощью: кто просил «подсобить от изжоги», кто «каплев от живота». Пришлось попросить у мамы лекарств. Та беспокоилась: «Наживешь еще себе неприятности. Не вздумай серьезные болезни лечить. Лекарства с оказией пришлю».

…Нина на коромысле несла воду, когда увидела Игнатия. Проулок безлюдный – ясно, что он нарочно ее здесь подкараулил. Низко поклонился и, опустив голову, проговорил:

– Нина Николавна, не серчайте вы на меня. Не со зла вас обидел. Спьяну чего наш брат не наболтает. А вы вот моими ребятишками не побрезговали.

– Зачем вы пьете? – Нет, на такого Игнатия она не могла сердиться. – У вас же дети, семья…

Не поднимая головы, он пробормотал:

– С того и пью… Кабы… – Игнатий безнадежно махнул рукой и, подняв на Нину глаза, с удивившей ее мягкостью произнес: – Барышня вы, а воду носите красиво – в ведрах-то не плюхается. Кабы все по-другому, – он резко оборвал себя и зашагал к реке.

Он снова повадился приходить за книгами и газетами. Особенно понравилась ему тургеневская «Муму».

– Нина Николавна, кто такой Герасим? – говорил Игнатий. – Почитай, тварь бессловесная, однако, богом обиженный, а без ласки, выходит, и ему жизнь невозможная, – косящий взгляд Игнатия тоскливо блуждал по стенам горенки.

Торжествуя, Нина написала Виктору: «Только теперь я поняла силу и власть книги – она облагораживает душу».

А через день с плачем прибежала Акулина.

– Глянь, Николавна, как этот ирод надо мной измывается. – Акулина, охая, задрала кофтенку.

На худой сутулой спине Анны сплошной кровоподтек!

– Хошь бы ты, Николавна, поговорила с моим иродом. Он же тебя так почитает, так почитает, готов на божничку поставить. И не верь ты ему, сладкие слова он могет говорить. – В тоне Акулины Нина, к своему ужасу, уловила ревнивые нотки.

Пришлось пообещать Акулине во что бы то ни стало поговорить с Игнатием, хотя предстоящее объяснение вызывало у Нины страх. Но Игнатий стал явно ее избегать. Однажды, завидев ее на крыльце – дворы братьев разделяла изгородь из жердей, – Игнатий нырнул в сараюшку. В другой раз Нина отправилась к ним в избу – Игнатий, притворяясь спящим, так и не слез с печки.

Вскоре Мотря сообщила:

– Покатил наш гуляка в город… Вот помянете меня – все деньги, что выручит на базаре, пропьет. Сгорит он от ханы!

…Заявился Игнатий, когда Нина одна была в избе. Слышала, как, зацепив табуретку, он выругался. Положив на Мотрину кровать сверток, Игнатий окинул Нину знакомым горячим косящим взглядом и прохрипел (голос, видно, пропил):

– Привез вам от мамаши лекарства. У родителев, значит, ваших гостевал. Поговорил с вашим вотчимом… К вам пришел… Дозвольте книжечку…

– Вот что, – у Нины от негодования перехватило дыхание, – я… я знала, что вы издеваетесь над женой… Но такого?! Если еще тронете ее хоть пальцем, я заявлю в милицию! Так и знайте!

На лице его, как маска, застыла ухмылочка, глаза налились кровью. Потеряв над собой власть, Нина крикнула:

– Убирайтесь отсюда!

Что-то бормоча, странно косолапя, он вышел.

Не успела прийти в себя от пережитого волнения, как услышала истошные крики во дворе. Бросилась из избы и на пороге столкнулась с Никитичной, простоволосой, в слезах.

– Пойдем, девонька, – Никитична схватила Нину за руку, – убивает он Акулину! Бежи за мужиками!

В распахнутую из сеней дверь Нина увидела Акулину. Она лежала у порога своей избы, правая рука ее неловко подвернута, платье изорвано, лицо залито кровью.

Игнатий, сбычив голову, шел к плетню.

– Ой, ноженьки мои, – запричитала Никитична, – сдвинуться с места нет сил… Зови, Николавна, мужиков! Убьет он ее, – старуха плюхнулась на лежащие в сенцах дрова. Нина почувствовала: и у нее ноги точно приросли к порогу.

Игнатий, выломав из плетня орясину и пьяно бормоча, двинулся к Акулине.

Что-то толкнуло Нину, что-то подхватило и понесло: она не перелезла, а перелетела через низкую ограду, разделявшую дворы братьев. Подскочила и схватилась обеими руками за орясину. Сивушный перегар ударил в лицо. Впервые так близко увидела глаза Игнатия – дикие, налитые кровью.

Легким движением Игнатий стряхнул ее, как котенка. Нина повалилась в сугроб.

– Ой, люди добрые, помогите! – голосила Никитична.

Нина выкарабкалась из снега, в два прыжка догнала Игнатия и повисла у него на руке.

– Не замай, – пробормотал он, глядя на нее бешеными, не видящими глазами.

– Прошу вас… прошу вас… Ну не надо… Ну голубчик! Ну голубчик!.. – повторяла Нина, не выпуская его руки с орясиной из своих рук.

В пьяной сумрачности его глаз мелькнула искорка сознания. Игнатий вдруг увидел ее.

– Чистенькая. – Выпустив орясину, он схватил Нину за косы и, запрокинув ее голову, наклонился над ней. То ли истошный крик Никитичны: «Не тронь девку!», то ли страх и отвращение, которое прочел он на лице Нины, подействовали на Игнатия, но он отпустил ее и почти трезво произнес: «Не боись, силком не стану!

Спотыкаясь побрел со двора.

– Куды ты, ирод! – надсадно закричала Акулина. – К Миронихе своей! Уж добей меня, добей, окаянный!

Пока Мотря со свекровью обмывали и переодевали Акулину, Нина пылко убеждала Акулину разойтись с Игнатием: не должна ни она, ни дети терпеть такое издевательство. Можно уехать в город и устроиться там на работу. Она знает одного женорга, товарища Анфису, та непременно поможет.

– Не говори, что зря, Нина Николавна, – строго сказала Никитична, – где ей с такой семьищей прожить в городе, без своей избы и коровы…

Игнатий явился домой на другой день к вечеру и завалился спать. Встал тихий, с Акулиной по-хорошему, поехал с сынишкой по дрова – все это сообщила Мотря.

В избу к брату Игнатий не заходил, за газетами и книгами присылал ребятишек. Завидев Нину, снимал шапку и низко кланялся. Нина отвечала, не поднимая глаз, и торопливо проходила мимо.

Акулина забегала похвастаться:

– Мой-то ребятишкам пимы подшил. Прялку новую изладил.

– Он ведь как трезвый, так руки у него золотые, – подтвердила Мотря, что хошь наладит. – И со злорадством сообщила: – Энта сучка, Мирониха, давеча встрела меня и грит: «Передай Акулине – никуды от меня Игнатий не денется» Про кулаков пишут в газетах, а она самая что ни на есть кулачка. Ей и посеют, и покосят, и домой привезут. Всех за самогонку купит.

Однажды Миорониха окликнула Нину.

Стояла самогонщица у себя во дворе, навалившись грудью на ограду. Одета по-праздничному – в черном дубленом полушубке, на голове оренбургская шаль.

– Извиняйте, чегой-то вам сказать надобно, – пропела Мирониха, нагло поглядывая на Нину.

– Пожалуйста… Только я тороплюсь в школу.

– Не сумлевайтесь, долго не задержу, – на красном лице Миронихи расплылась улыбочка, – правду сказывают, что наши артисты в нонешнее воскресенье поедут в Верхне-Лаврушино спектакль ставить? Может, зря болтают?

– Поедем. А в чем дело?

– Значит, моих гостей от меня отваживаете. Может, еще в газетку напишете, что я самогонщица? – Улыбочка сползла с лица Миронихи, она зло сверлила Нину заплывшими глазками.

«С чего это она? – подумала Нина. – Наверное, Мотря ей газетой пригрозила».

– На меня жалобились, – в голосе Миронихи появились визгливые нотки, – только ничего не нашли. Подобру упреждаю. Промежду прочим, ты у меня вот где, – Мирониха протянула руку, сжатую в кулак. – Игнатий мне по пьяному делу проговорился.

– Обо мне нечего говорить!

– Есть, милая, есть! Забыла, в чем признавалась?

«Что она плетет?» – возмутилась Нина. – Зачем я ее слушаю!» Круто повернулась и пошла как можно медленней (еще подумает, что испугалась).

Мирониха в спину визгливо пропела:

– Чии-стеень-кая»

Глава двадцать девятая

У громоздкой, как сундук, раскаленной докрасна железной печки Нина пыталась отогреться после дороги. Верхне-Лаврушинский народный дом! Здесь они были вместе. Вот здесь, на сцене, где сейчас ее кружковцы прикрепляли занавес, у нее родилось это удивительное, тревожное и восторженное чувство. Нина ждала радости от встречи с воспоминаниями, а на самом деле ей тошнехонько. Его нет. И потом это неприятное происшествие в дороге.

Подводы в Верхне-Лаврушино давали не очень-то охотно. Степан и тот срочно отправился за дровами – лишь бы не гоняли его коня «ради баловства», как выразилась Никитична. Мотря обозлилась и ушла пораньше в школу. Однако Порфишка не только дал свою подводу, но и сам заехал за Ниной. Похвалился, что конь у него сытый – «ментом доедем». Порфишка, как гово-

рила о нем Мотря, «парень непутящий», начал, было, учиться на ликбезе – бросил, снова принялся за ученье, потом опять пропал, поговаривали, что пьет. Нине не очень хотелось ехать с Порфишкой, но отказаться – обидеть человека. А человек он, выходит, не безнадежный, раз у него есть общественное сознание. Это надо поощрять.

Действительно, сначала их подвода далеко обогнала другие, но потом почему-то Порфишке пришлось перепрягать, и они оказались последними. С Ниной ехали еще парень (он все время молчал), в темноте Нина не видела его лица, и три девушке.

Когда выбрались из леса и выехали на большую дорогу, сани розвальни на раскате занесло, и все из саней вывалились. Хохотали. Нине было не до смеха: падая, ушибла колено. Проехали сажени три – снова раскат, и снова сани набок. В суматохе кто-то больно толкнул ее в спину.

Соскочив со своей подводы, к ним подбежала Мотря.

– Балуешь! – сердито крикнула Мотря на Порфишку. Увела Нину и усадила рядом с собой в сани.

…И теперь у Нины разболелось колено, даже через чулок заметно, что оно распухло.

Порфишка торчал, как каланча, у входной двери и что-то рассказывал сутулому парню, стоявшему к Нине спиной. Парень захохотал и оглянулся на Нину. «Обо мне говорят», – тоскливо подумала она.

Порфишка подозвал парня в добротной бекеше. Они о чем-то поговорили, и парень в бекеше направился к Нине. Одет он хорошо, в сапогах с галошами – особый деревенский шик, – на голове лихо заломлена каракулевая папаха. Лицо у парня неприятно дергалось, глаза даже не бегают, а суетятся.

– Здравствуйте, – парень в бекеше поклонился, – для нашей деревни шибко почетно, что вы с театрами приехали.

– Ну, какой это театр, так – самодеятельность.

Парень степенно кивнул, глаза его суетливо шныряли, оглядывая ее. Что-то мешало встать и уйти: страх ли, который неизвестно почему внушал этот парень, или то, что те двое – Порфишка и сутулый наблюдали за ним.

– В деревне, что ли, танцы! В городе танцуют по-городскому – падыкатыр, – с трудом выговорил он.

Нина невольно улыбнулась. Кажется, парень принял ее улыбку за издевку.

– Чаво? – угрюмо спросил он.

– Если вы умеете танцевать по-городскому, то поучите девушек. Правда, ведь, девушки? – Нина оглянулась, ища поддержки у девчат, только что гревшихся у печки, но их как ветром сдуло.

– Девки наши необразованные, – парень в бекеше пренебрежительно махнул рукой, – у них никакого понятия нет. Я вот в городе жил в высоком дому, и заплот высокий, чтобы никто не убег…

Глаза парня странно и страшно блестели. А за его спиной незнакомая девушка делала Нине непонятные знаки.

Нина обрадовалась, когда Пашка, щеголяя новым словечком, крикнул:

– Нина Николавна, можно гримироваться!

Нина поспешила на сцену, где распоряжался избач. У него болели зубы, и он все время держался за щеку.

– Скажите, – обратилась к избачу Нина, – этот парень, что сейчас со мной разговаривал, ненормальный?

Все произошло неожиданно: парень в бекеше в несколько прыжков очутился на сцене, подскочил к Нине и замахнулся… Если бы не Кольша, то удар пришелся бы по голове, а так – в плечо. Нина упала. К ней подбежали Мотря и Надька, помогая подняться. Какие-то мужики связали беснующегося парня.

Нина сидела за кулисами, закрыв лицо платком. Ее трясло. Верхне-Лаврушинская учительница, рябенькая, немолодая, тихим голосом рассказывала:

– Он не сильно буйный. Народ здесь несознательный – раздразнит его ради потехи, ну, тогда он убить человека может. А еще из-за злобы наши, деревенские, натравливают его.

Нина вспомнила Порфишку и сутулого (она так ни разу и не увидела его лица). Что она плохого сделала Порфишке? Они подослали к ней сумасшедшего. Все это загадочно и страшно, но раздумывать об этом некогда – пора начинать спектакль.

Кружковцы старались изо всех сил, даже Кольша порол отсебятины меньше, чем обычно. Нину ничего не радовало: ни успех пьесы, ни частые аплодисменты, прерывающие действие. Суфлируя за кулисами, она вздрагивала от каждого шороха.

Ночью Нина решила: «Уеду! Брошу все и уеду!» А утром, как обычно, у ворот ее ждали ребята, чтобы вместе пройтись по деревне.

– Нина Николавна, вы не ездите в Верхне-Лаврушино, сказывали – тот сумасшедший одну бабу до смерти убил! – советовал кто-то из ребят. Нина от волнения даже не разобрала кто. Значит, все уже знают.

– Не шибко убились, Нина Николвна? – А то хошь баньку истопим. Подсобляет.

– Спасибо, большое спасибо!

…Нина еще издали увидела мощную фигуру Миронихи – и эта ждет. Сначала Нина решила сделать вид, что не заметила ее, но тут же возмутилась: «Еще не хватало перед этой притворяться!» Взглянула на нее и отвернулась, не ответив на подобострастный, но с издевочкой поклон. Враги так враги!

Дома Мотря сообщила:

Не успели вы со двора уйти, как заявился Игнатий. Верите, тверезый. Однако, третью неделю не пьет. Выспрашивал, как ездили. Как прослышал про сумасшедшего, матюгаться начал на чем свет стоит! Велел вам пересказать, чтобы одна вечером не ходили.

Мотря чего-то не договаривала, но выспрашивать из-за самолюбия Нина не хотела.

Вечерами с ликбеза ее теперь неизменно провожал Кольша с братишкой и Пашка. Нина не просила: не Игнатий ли подговорил парней? Во всяком случае, Нина была благодарна: она стала бояться темной улицы. Но Порфишка и сутулый больше не попадались ей на глаза.

«Как я уеду, – раздумывала Нина на уроках с детьми, поглядывая на их опущенные круглые головы, – ведь их никто учить не станет, считается же, что школы нет. Как только откроют школу, уеду в город… Еще убьют, как того селькора».

Но ненадолго в город поехать необходимо, надо поговорить в наробразе о школе. Может, Анфиса что-нибудь посоветует. Поездку Нина решила приурочить к возвращению из командировки Виктора. Мотря же уговаривала Нину уехать на Митрин день – престольный праздник. Ни детишки, ни взрослые учиться не станут – грех. Все равно без толку – целую неделю гулять будут.

– У нас уж такое заведение, – присовокупила Мотря. – С утра, а то и с вечера в церкву в Верхне-Лаврушино поедут, апосля разгуляй малина!

– Учиться – грех, а пьянствовать – не грех, – сказала Нина.

– Оно, конешным делом, – соглашалась Мотря, – но обижайтесь, не обижайтесь, а в праздник я на ликбез не приду. Свекруха меня заест.

Еще за неделю в деревне начали готовиться к празднику. Коптили окорока, резали телят, варили бражку. Никитична три дня подряд пекла пироги. Мотря побелила избу.

Обычно занятия в школе начинались, когда рассветает. Но в школу в этот злополучный Митрин день Нина пошла чуть позже. И напрасно – никто ее у ворот не ждал.

В сенях Нину встретила Леонтиха.

– Зазря беспокоились, Нина Нколавна.

– Что, не пришли еще?

Леонтиха безнадежно покачала головой. Один глаз ее смеялся, из другого выкатилась слеза.

Нина вошла в пустой класс, повесила пальто на гвоздь в углу, села за стол. Леонтиха навела праздничный порядок. Пахло свежевымытыми полами, березовым дымком и хвоей, у порога набросаны пихтовые ветки.

Вчера ребята дружно заверяли: «Придем, не сумневайтесь». Ребят, конечно, не пустили родители. На душе, как любит говорить Мотря, сумно: от Виктора писем нет и нет, ее запросы в окрнаробраз об открытии школы остаются без ответа, а тут еще эта страшная поездка в Верхне-Лаврушино, нелепые угрозы Миронихи. Как во всем этом разобраться? Неужели это и есть классовая борьба? Но при чем тут Порфишка и длиннорукий, натравившие на него сумасшедшего? При чем она, Нина? И снова мысли, как по кругу, вернулись к пустым партам. Вчера нарочно сходила, хотя болело распухшее колено, с коромыслом за водой к проруби, чтобы поговорить с бабами. «Мы не запрещаем, пущай учатся», – хитрили бабы.

Заглянула Леонтиха.

– Шла бы домой, Нина Николавна.

– Посижу еще.

– А то пойдем на мою половину, мимо не пройдут. Я каралек испекла, медком разжилась.

– Спасибо, не хочется.

Леонтиха поморгала, повздыхала и, шаркая подшитыми пимами, пошла на свою половину, села у окна, подперев щеку ладонью. Что-то в поникшей, унылой фигуре Леонтихи кольнуло Нину. Что ей известно про эту одинокую старуху? Привыкла к ней, как привыкают к необходимым предметам. Например, к печке. Все же в ней, в Ниночке Камышиной, есть этакое пренебрежение к людям. Ну чего, спрашивается, оттолкнула старуху? Ведь Леонтиха от души пригласила к себе. Ведь старуха могла уйти в церковь…

– Знаете, – смущенно сказала Нина, – а я, пожалуй, с удовольствием выпила бы чаю. Вы, кажется, в него какую-то травку кладете для запаха?

– А как же, кладу, кладу, миленькая, – обрадовалась Леонтиха. Она постелила на стол вместо скатерти исстиранное до ветхости полотенце, поставила глиняную миску пирогов с калиной, меду в вазочке с отбитым краем из синего стекла, каральки выложила прямо на полотенце. Суетясь у самовара, сказала: – Медку-то мне Ульяна, она еще вас в город возила, принесла. Добрейшей души женщина, меня она, можно сказать, от смерти вызволила.

– Ульяна вам родня?

– Какая там родня! Нашему огороду двоюродный плетень. Но всех мер женщина. Блюдечков-то, извиняйте, у меня нету, – Леонтьиха подала Нине чай в граненом стакане, себе налила в глиняную кружку.

– Мария Леонтьевна, – сказала Нина, отпивая горячий, с запахом смородины чай, – а дети у вас были? – спросила и испугалась, а вдруг она вековуха, как Марфушка?

– А как же, и мужик был, и дети были, и молодая была, – вздохнула Леонтиха. – Идут-бегут года своим чередом. Вода землю размывает, а времечко – горе. В праздник трудно. Людям праздник неохота печалить, а с души просится сказать. Спасибо, что слушаешь.

– Ну что вы, – сконфуженно пробормотала Нина.

– Ты пей, пей без стеснениев, откушай пирожка с калиной. Калина, она пользительная. А мужика моего, Нина Николавна, беляки в Гражданскую шашками порубали. А детки, я боле все сынов носила… три сына в германскую голову сложили, два – в Гражданскую, на а остальные-то… все в одночасье померли, что ни день – домовину готовь. Шесть душ тиф покосил. Всего-то у меня одиннадцать душ было… Вот и расстроила я тебя…

За окном проскрипел снег.

– Никак к нам идут! – всполошилась Леонтиха – Ты слезы-то утри краем рушника. Нехорошо, коль увидят, еще подумают, что из-за них… А… мимо… Ну, да я говорю, не придут сегодня. Нукось, я тебе горяченького налью. Как, значит, все это случилось, я сама не своя стала – руки и ноги у меня поотнимались, глаз-то у меня с той поры неподвижный… Лежала, почитай, все лето на вольном воздухе, она с ложечки меня кормила. А на ночь возьмет на руки, как малого ребенка, и на сеновал затащит, чтобы я спала на вольном воздухе. Отошла. Мы, бабы, отходчивые… Ты кушай, кушай… Сильно ты худая, как тростинка… Ты думаешь, с чего наши девки, как сытые телки, а с того, что едят, что ни попало. Хошь, я тебе калины попарю – она бо-ольшую силу человеку дает.

«Как хорошо, что я пришла к ней!» – подумала Нина.

– Спасибо вам за чай, – и, помолчав, добавила: – И за все. Правда, попарьте мне калины, я себя неважно чувствую. Я вам буду очень благодарна.

Сияющая Леонтиха заверяла, что за ней дело не станет.

Нина терпеть не могла пареную калину. Когда в детстве у Вари ее угощали калиной, она потихоньку, чтобы не обидеть хозяев, выплевывала ее в платок. Но сейчас понимала, как важно для Леонтихи быть чем-то необходимой людям.

Так вдвоем с Леонтихой они прокоротали школьные часы. И кто из них был больше благодарен, трудно сказать.

Дома на чистой Мотриной половине – сдвинутые столы (и Нинин колченогий столишко сюда же перекочевал), завалены всякой снедью. Но изба пустая, даже деда нет. Видимо, ушли гулять к кому-нибудь из соседей. Теперь станут из дома в дом ходить.

От запаха еды и омерзительной сивухи поташнивало. Нина накрылась пальто и легла на кровать. Из головы не выходил рассказ Леонтихи. «Что, собственно, я перенесла? Какое самое большое в жизни страдание? Голод в детстве? Но тогда голодали все, еще хуже, чем наша семья, голодали. Смерть Кати? Это самое страшное, потому что тут ничего не исправишь. Ну что еще? Собрание, когда давали характеристику?»

Нину удивило, что воспоминание о злополучном собрании не вызвало обычного чувства унизительной обиды. Можно ли так страдать от уязвленного самолюбия? Нет, дело не в самолюбии. А в предательстве и несправедливости Киры. И все-таки все ее прошлые горести и то, что здесь приходится переживать, – песчинка по сравнению с ужасными бедами Леонтихи! Вот сколько раз читала, слышала – человек с сильной волей. Волю надо в себе воспитывать. Не вообще, а конкретно. Не пришли ученики в школу. Стоит ли из-за этого огорчаться. Тут же возмутилась: конечно, стоит! Как она проводила антирелигиозную пропаганду? Говорила ученикам, что бога нет – и все! А они взяли да и не поверили ей! Какие она доказательства привела? Никаких! Антирелигиозную пропаганду надо начинать не с детей, а с их родителей. Но как?

Мысль эта так взбудоражила Нину, что больше лежать она не могла.

На собрания особенно надеяться нечего, надо, как советовал в письмах Петренко, для агитации ходить по избам, читать газеты. Вспомнила слова Шаркова: «Белые служили молебны, им «по-

могали» церковь, попы, а победили не верящие в бога – красные! Кто помог угнетенным рабочим и крестьянам? Бог? Как бы не так! Помогла Советская власть, а Советская власть не вымаливала у бога справедливости, а сама ее завоевала!» Так она скажет своим ученикам. А еще скажет про Леонтиху. Все верующие говорят, что бог милосердный (ведь слышала об этом с детства), а какой же он милосердный, если наслал столько горя на Леонтиху! У них есть еще такое объяснение – бог покарал за грехи. Во-первых, что-то уж очень жестоко карает, а во-вторых, за какие грехи он карает детей? Чем были виноваты дети Леонтихи? Потом, сколько народов – столько богов, у каждого народа – свой бог. Сколько было войн, чтобы заставить другой народ верить своему богу. А бог все терпел!

«Надо все записать, – решила Нина. Стол занят, но ничего, можно писать и в кровати, тем более что холодно – мерзнут руки.

Она так ничего и не успела записать. Услышала тяжелые, неровные шаги и соскочила с кровати. Игнатий был пьян. Одет по-праздничному: в новых суконных штанах и синей сатиновой рубахе. Высоченный богатырь с рыжей бородой лопатой и всклокоченными рыжими кудрями.

– Что вы ходите! Я, кажется, просила…

Неожиданно Игнатий стал медленно опускаться на колени. В первое мгновение ей даже показалось, что он падает.

– Чистенькая, – почти явственно выговорил Игнатий, снизу вверх глядя на нее, – прости ты меня, Христа ради! – Он в пол поклонился. – Продал я тебя. Как Иуда! – в голосе Игнатия прозвучала такая нестерпимая тоска, что у Нины невольно сжалось сердце.

Игнатий с трудом, схватившись за косяк двери, поднялся. Уходя, так шарахнул стол, что звякнули стаканы.

«Что он сказал! Почему продал! Может, он бредит? Кажется, когда напиваются до белой горячки, бредят. Кому продал? Будет ли конец этому дню? А еще предстоит вечер. А что если не ходить вечером на ликбез? Пьяные уже орут на улице». И все же решила идти.

– Мария Леонтьевна! Окликнула с порога сторожиху.

Никто не отозвался. Значит, и Леонтиха ушла. Наверное, к Ульяне.

В классе горел свет. Ваньша сидел на своем обычном месте и, оттопырив губы, водил пальцем по букварю. Один Ваньша.

Один на весь ликбез.

– Здравствуй, Ваня. – Нина сняла пальто и, потирая озябшие руки, проговорила: – Начнем с чтения, – сказала так, будто для нее привычное дело заниматься на ликбезе с одним учеником.

– Нина Николавна, – Ваньша просительно улыбнулся, – обождем маленько – Кольша сейчас придет.

– Мы никого ждать не будем. Придет, так хорошо… – и тут же услышала голоса.

Кольша не только пришел сам, но и привел кружковцев. Девушки в цветных узких кофточках и широких, в оборках юбках. На парнях праздничные сатиновые и ситцевые рубахи – голубые, красные, розовые. По классу потянулся крепкий душок самогона.

После того, как – больше для формы – почитали и порешали примеры, Нина объявила: с сегодняшнего дня у них будет новый предмет – обществоведение. Она расскажет про Чапаева. Почему про Чапаева, она и сама не знала. Ей как-то хотелось отблагодарить их. Ничего, что один уснул… Всего один. Зато остальные слушали. Еще как! Ахали. Переспрашивали.

Еще кто-то под окнами прошел, и не один. Голос Леонтихи. Вернулась, значит:

– Ноги-то обметайте!

Нина с улыбкой оглянулась на дверь и увидела длиннолицего парня в красной шелковой до колен рубашке, на ногах красные с белыми разводами пимы, на плечи накинут дубленый полушубок. Из-за спины длиннолицего выглядывал Порфишка. Нина вспомнила: и тогда в Народном доме этот парень был с Порфишкой, это его сутулую спину она видела в дверях Народного дома и еще – в лесу, у вывороченного пня, когда прятали оружие. Это сын Савелия!

– Учитесь? Туды вашу… – в воздухе повисла трехэтажная брань.

Нина ничего не успела подумать, ничего сообразить, как завязалась драка. Завизжали девушки. Сбились в кучу.

Клубок дерущихся с визгом, руганью покатился к дверям.

– Попомнит твоя учительница! – крикнул Порфишка.

Кто-то ударил по лампе. Тьма. Крики. Тяжелое дыхание дерущихся.

Кольша, Нина узнала его по голосу, схватил ее за руку и подтащил к окну. Ударом выбил раму. Сухо ударилась об пол замазка. Кольша шепотом:

– Бегите! Ваньша вас проводит. – Он чуть ли не вытолкнул ее за окно.

Не поняла, как Ваньша очутился рядом. Мальчишка сунул ей пальто.

– Наденьте, простынете. Айдате за мной! Сюда! Там увидят.

Нина побежала за Ваньшей. Пальто она накинула на плечи и придерживала его руками у горла. Зачем-то они спустились к речке, пробежали по льду. Потом перелезали через какие-то плетни и очутились во дворе Игнатия.

– Вот ваша изба, – шепнул Ваньша и куда-то исчез.

Никитична с Мотрей мыли посуду. Нине хотелось незамеченной юркнуть себе в горницу. Но у нее так дрожали ноги, что она села на первую попавшуюся табуретку.

– Да ты чегой-то – спросила Никитична. – Никак попугал кто?

Нина попыталась улыбнуться и не смогла. Мотря заохала, стащила с Нины пальто, налила горячего молока, заставила выпить.

– Это Евстигней всех побивает, – сразу все поняв, сказала Мотря.

– Чей Евстигней? – спросила Никитична.

– Не знаете Евстигнея, че ли? Первый варнак на деревне – сын Савельев, он и Порфишку подбивает. Однако, Нина Николавна, надо вам куда-нибудь сховаться. Лезьте на полати, – скомандовала Мотря.

– А и вправду, Нина Николавна, прилягте на полатях, – посоветовал Степан. – Мало ли че.

– Так, так, – испуганно озираясь, закивала Никитична, – береженого бог бережет.

На полатях пахло вениками, укропом и пылью. Уткнувшись в какие-то мешки, Нина беззвучно плакала.

Мотря забросила на полати тулуп и зашептала:

– Лягте подале, за веники., холодно – так тулупом накройтесь. Не боитесь, мы вас в обиду не дадим.

Как это бывало в детстве, от слов утешения слезы полились еще обильнее. В щель между досками полатей видела, как Мотря что-то шептала, а Степан скреб затылок и сокрушенно качал головой. Душно, но Нину бил озноб.

Они заявились примерно через час. Как только Нина услыхала пьяные крики за окном, решила – они.

На сыне Савелия Евстигнее красивая шелковая рубашка разорвана, под глазом здоровенный синяк, у Порфишки нос в крови.

– Учительша дома? – спросил Порфишка. – Пущай выйдет.

Нина испугалась, что они увидят ее. Хотя и понимала, что это нелепо.

– А где у вас «здравствуйте»?! – напала на них Мотря. – Чай в чужой дом вошли.

– Не приходила она, как ушла в школу, так и не приходила. – Никитична опасливо поглядела на парней.

– Врешь, старая, – Евстигней заглянул в горницу.

– Говори! – Порфишка сжал кулаки.

– А ты полегче, – поднялся из-за стола Степан. – Сказано не приходила. Не веришь, погляди сам. – Степан схватил за плечо Евстигнея и повел его в горницу.

Порфишка, переминаясь на пороге, взглядом шарил по углам.

И тут Нина увидела на табуретке свою кротовую шапочку. Пальто Мотря вместе с тулупом закинула на полати. Видимо, и Мотря увидела Нинину шапочку, она поспешно села на нее.

– Связался, прости меня господи, с варначьем. Головы не жалеешь, – вполголоса ворчала на Порфишку Никитична.

– Может, к кому из девок ушла с ночевкой, – сказал Степан, возвращаясь. За ним вышел Евстигней, он все озирался, уставился на Мотрю.

– Вот она знает. Говори, где учительша!

– А ты че разорался? – обозлилась Мотря.

– Ну, ты! – Евстигней засунул руку в карман и угрожающе: – Мы и по-другому поговорить можем.

Степан подошел к печке, взял топор, а в другую руку – полено и, делая вид, что собирается щепать лучину, сказал:

– Отваливайте подобру-поздорову. Бумага у меня есть, извещение, должон милиционер приехать. Сами знаете, к кому первому пойдет, – к сельуполномоченному. Кабы неладно не получилось.

Евстигней пьяно бормотал, что время посчитаться еще придет.

Ушли.

Никитична бухнулась на колени перед иконой и громко зашептала молитвы. Степан закрыл дверь на засовы, на которые она никогда не закрывалась, и долго о чем-то шептался с Мотрей у себя в горнице.

«Ну что я им сделала плохого?» – терзалась Нина. Она все еще боялась шелохнуться, тихо лежала на полатях и слушала ночные шорохи: как, помолившись, укладывалась, скрипя старой деревянной кроватью, Никитична, как ветер сердито урчал в печной трубе – просился, чтобы его впустили в избу, как орали песни запоздалые гуляки, как провожал их истошный собачий лай. Нина все вслушивалась, не заскрипит ли снег под окнами, и… не заметила, как задремала.

Во втором часу ночи Мотря разбудила Нину.

– Вставай, одевайся, Степан свезет тебя в город, – переходя на «ты», шептала Мотря. – долго ли до греха! Меня с ребятишками Степан к своим завезет, тебя в город, так-то лучше будет. Да ты че дрожишь? Теперь-то что – нализались и дрыхнут.

Когда Нина уже оделась, Мотря спохватилась:

– Тебе тут бумажка – телеграфисты прислали на Верхне-Лаврушино, из-за этих варнаков совсем запамятовала, еще днем привезли. – Мотря достала из-за божницы телеграмму.

При свете лучины (лампу не зажигали, чтобы не привлечь нежеланных гостей) Нина прочитала: «Выезжайте город немедленно Назарова». Никакой Назаровой Нина не могла вспомнить, вероятно, из наробраза. Возможно, по поводу школы, наверное, вопрос об открытии школы решен положительно, иначе не стали бы вызывать.

Она навсегда запомнит эту поездку в город. Скрип полозьев, тихий и, как казалось ей, вкрадчивый. Черная тайга. Потом белые пустынные поля. Застывшая луна Посапывание сонных ребятишек. Унылые вздохи Мотри: «Господи, будет ли конец нашей темноте».

Потом теплая чужая изба, мать Мотри, такая же большеглазая, только вся седая. Чай с медом и топленым молоком. Сочувствие Ниловны – Мотриной матери:

– На кого руку подняли! Сучье племя! Ты же былинка! Кушай, дитятко! Христос с тобой!

Все это казалось нереальным – сном каким-то, и, как во сне, преследовал страх.

Когда Степан вышел попоить коня, а Ниловна укладывала внучат, Мотря поманила Нину к печке и, тараща глаза, зашептала:

– Что хочу сказать, Нин Николаевна… Может, раньше надобно было сказать. Ты нашим-то, боже упаси, не проговорись. Степан велел тебя упредить…

– В чем дело? – Нину опять начал бить озноб: по тону Мотри она чувствовала, что ей грозит еще что-то страшное, – Говорите же!

– Значит, когда Иван Михайлович, уполномоченный-то приезжал, – шептала Мотря, – помните, спрашивал: хлеб, мол, не прячут мужики, а ты возьми да скажи – дескать видела, как картошку в ящиках зарывают. Ну, уполномоченный сразу и сдогадался какая «картошка», да и сообщил милиции. Наши мужики, Степан да Игнатий, смикитили, что в ящиках оружие. С того и Евстигней озлился. – Мотря замолчала, в глазищах сквозь участие так и светится любопытство.

Несколько минут Нина ошарашено молчала, с трудом пытаясь связать это все с сегодняшними событиями.

– Подожди, Мотря, – сказала она, – а откуда про это мог узнать сын Савелия?

– Эх, Нин Николавна! Да спервоначалу я только догадывалась, а сегодня мне Игнатий признался, что Миронихе он пьяный проболтался. Вот Евстигней за отца-то, понимаете? Они, упаси бог, какие зловредные… Не зря свекруха говорит: сын в отца, отец во пса, весь род собачий.

– Что ж вы раньше мне об этом не сказали?

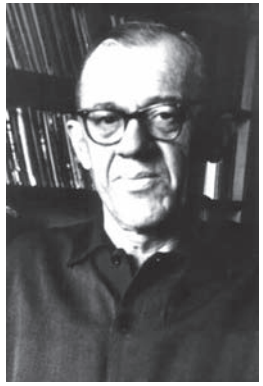
– Не обижайтесь, Нин Николавна, не хотела тревожить вас, а я уже начала догадываться, когда Порфишка сани опрокинул. Я тогда поняла, что неспроста Евстигней-то с вами в санях сидел.

В город Нина ехала вдвоем со Степаном, он все время дремал…

Теперь понятно, почему каялся Игнатий, почему Мироиха кричала: «Ты у меня в кулаке!» Если бы раньше знала, что в ящиках оружие, сразу бы поехала к Петренко.

Голова наливалась невероятной тяжестью, казалось, вот-вот лопнет!

Дорога стелилась по ледяной реке – гладкая, ровная дорога. Под полозья набегала сухая поземка.



ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

(Михаил Петрович Михеев)

Прозаик, поэт, Михаил Петрович Михеев родился 1 сентября 1911 года в городе Бийске Алтайского края.

После окончания Бийской профтехшколы, где он получил диплом инструктора-механика автотракторного дела, М. Михеев некоторое время работал по этой профессии в Бийском зерносовхозе. Но очень скоро он заинтересовался электротехникой и сменил специальность: трудился сначала электромонтером, а потом и бригадиром по ремонту автомобильного электрооборудования на Бийском авторемонтном заводе.

До 1963 года М. Михеев работал техником-электриком в различных учреждениях, в том числе, и рентгенотехником в поликлинике. А в 1963 году М. Михеев переходит на литературную работу, которой активно занимался до конца своей жизни.

Стихи М. Михеев начал писать еще в начале 1930-х годов. Одной из самых ранних проб пера М. Михеева был текст песни «Есть по Чуйскому тракту дорога...», сделавшейся впоследствии народной.

Большинство произведений М. Михеева впервые были опубликованы в журнале «Сибирские огни». А первой его книгой стала сказка в стихах «Лесная мастерская», вышедшая в Новосибирске в 1951 году, получившая большую популярность среди детворы и неоднократно переиздававшаяся. М. Михеев – автор и еще нескольких детских книжек: «Клуб ЮЭТ» (1953), «Московский состав» (1954), «Капитаны 8-а» (1957) и др. Одним из первых в сибирской литературе второй половины XX века М. Михеев стал работать в приключенческо-детективном жанре. Большой популярностью пользовались его фантастические повести Вирус В-13» (1956), «Тайна белого пятна» (1959), цикл «Милые роботы» (1972), детективная трилогия «Хищники» – «Запах «Шипра» (1976), «Сочинский вариант», «Поиск в темноте» (1990), фантастическо-приключенческая повесть «Год тысяча шестьсот...» (1985). Успешно работал М. Михеев и в жанре документальной прозы. Член Союза писателей СССР.

По мотивам заголовка повести М. Михеева «Тайна белого пятна» был назван ставший уже традиционным проходящий в Новосибирске литературный фестиваль «Белое пятно».

Умер 17 мая 1993 года в Новосибирске.

М. Михеев был разножанровым и разноплановым писателем, одинаково свободно чувствовавшим себя и в литературе, обращенной к юной аудитории, и в научной фантастике, и в детективно-приключенческом жанре, и в произведениях документально-очеркового характера. В равной же мере хорошо владел он как поэтическим, так и прозаическим словом. Без преувеличения можно сказать, что творчеству М. Михеева «все возрасты покорны». Вместе с тем, невозможно не согласиться с А. Никульковым, в предисловии к одному из сборников М. Михеева («Вирус «В-13» – Новосибирск, 1986) отмечавшем: «Книги Михаила Михеева очень ценны тем, что увлекают прежде всего молодежь разных возрастов, начиная от младших школьников. С уверенностью можно сказать, что не один начинающий читатель приобщился именно через его книги к литературе, к потребности в постоянном чтении, подготовился к тому, чтобы постепенно подойти к многомудрости классики».

М. Михеев был известен не только как писатель, но и литературный наставник, давший путевку в жизнь многим молодым сочинителям. В 1977 году Михаил Петрович создал при Новосибирской писательской организации первый в России клуб любителей фантастики «Амальтея» и до последних лет жизни был его бессменным руководителем. КЛФ получили в СССР широкое распространение.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги М. Михеева:

Год тысяча шестьсот... Повесть. – Новосибирск, 1985.
Вирус «В-13». Сборник фантастики. – Новосибирск, 1986.
Хищники. Детективная трилогия. – Новосибирск, 1991.

О М. Михееве:

Мостков Ю. Михаил Михеев. (Литературный портрет). – Новосибирск, 1992.
Горшенин А. Песня, потерявшая автора. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Михаил МИХЕЕВ

ВИРУС «В-13»

(Отрывок из повести)

Действие этой остросюжетной фантастическо-детективной повести завязывается вокруг страшного вируса «В-13», выведенного немецким профессором Морге еще в нацисткой Германии и продолжившим работу над новым бактериологическим оружием уже в послевоенные времена, в годы «холодной войны». Морге противостоит советский ученый Русаков, создающий препарат, спасающий людей от многих недугов, в том числе и от «голубого безумия», вызываемого вирусом «В-13»

Новое предложение

Рабочий кабинет господина Эксона обставлен скромно: темные обои, черный письменный стол, жесткие кожаные кресла – сидеть в них неудобно, но у господина Эксона не засиживаются, он не любит лишних разговоров. Дело – есть дело.

На стене большие часы. Их маятник, покачиваясь, размеренным постукиванием как бы напоминает забывшемуся посетителю, что время – деньги.

На письменном столе – строгий порядок. Чернильный прибор из мрамора с золотыми прожилками. Налево – стопка бумаг, направо – четыре телефона, пепельница. Посередине – раскрытый блокнот. Перо поперек блокнота. И все. Стол преуспевающего делового человека, ничего лишнего. Дело – есть дело.

Пачка бумаг придавлена вместо пресса бронзовой статуэткой, изображающей нагого человека с низким лбом и тяжелой, выдающейся вперед звериной челюстью. Человек сидит на корточках и старательно обстругивает кремневым ножом корявую узловатую дубину – жалкое орудие далекого прошлого.

Пока господин Эксон раскуривал сигару, доктор Шпиглер, сидевший в кресле, внимательно разглядывал бронзовую статуэтку. Вначале она показалась ему не нужной на столе, но потом он нашел, что она вполне на месте и даже как-то символично характеризует хозяина стола – и тот и другой делают оружие.

Сигара не понравилась господину Эксону, он бросил ее в пепельницу и взял другую.

– Как самочувствие профессора? – спросил он.

– Пока неважное. За эти два дня он не сказал и десяти слов. В его возрасте трудно переносятся такие переживания.

– Вы говорили ему, что я интересуюсь его работой?

– Да. Но он не обратил на мои слова ни малейшего внимания. Старик находится в состоянии прострации.

– Что ж, подождем.

– Кроме того, профессор упрям.

– С ним будет трудно договориться?

– Кто его знает, господин Эксон. Может быть его стоит припугнуть?

– Припугнуть? Чем же?

– В его лаборатории опыты с вирусом производились на людях. Сказать ему, что это может явиться судебным материалом для международной комиссии по военным преступлениям.

– Есть документы? Доказательства?

– Документов нет. Все сгорело. Но документы в конце концов можно подготовить.

Господин Эксон сквозь дым сигары оценивающе посмотрел на Шпиглера.

– Вы правы, – сказал он с расстановкой, – документы можно будет подготовить. Но профессор может оказаться к этому безразличным. Прежде чем его припугнуть, нужно чтобы он поправился. Создайте ему все условия, пусть он ни в чем не испытывает недостатка, пусть вновь приобретет вкус к жизни. Деньги у вас еще есть?

Вот уже неделя, как профессор Морге живет в городе, куда его доставил неизвестный самолет. Профессор не особенно этому удивился. Он так и думал, что кто-кто, а его помощник сумеет выйти сухим из воды. Вероятно, он в свое время приторговывал секретами его лаборатории. Жулик и прохвост! Как жаль, что он, Морге, не разобрался в этом человеке раньше.

Сейчас доктор Шпиглер заботится о профессоре, как о родном отце. Он устроил его в хорошей гостинице, обеспечил его всем, что может тому потребоваться: изысканным столом, одеждой, книгами, автомашиной для прогулок.

Каждый день он, почти насильно, вывозил профессора за город, на озеро.

Профессор угрюмо и молча подчинялся. Отказываться от назойливого доктора было труднее, чем согласиться. Однако постепенно он привык к ежедневным поездкам. Ему уже нравилось сидеть на старых замшелых скалах, нависающих над озером. Профессор смотрел в блестевшую над солнцем прозрачную глубину озера, и ему казалось, что он глядит через окуляр громадного микроскопа на какую-то светло-голубую среду, где, как неведомые микробы, плавают толстые рыбы с выпуклыми глупыми глазами.

Он старался думать о прошлом и не заботился о будущем.

К вечеру за ним приезжал доктор Шпиглер и вез ужинать.

Профессор догадывался, что доктор Шпиглер уже успел где-то спекульнуть его именем: в первый же день за завтраком доктор намекнул на какое-то частное лицо, очень интересующееся их незаконченной работой. Но тогда профессор не стал даже и слушать. Он устал и хочет только одного – покоя. Но вскоре он понял, что у него недостает силы сопротивляться, а доктор Шпиглер постарается «пристроить» его и, конечно, не без выгоды для себя.

Профессор думал, что, пожалуй, было бы не худо сунуть Шпиглеру в стакан с вином ампулу с цианистым калием, которую он захватил из Берлина.

Однажды вечером, закрывшись в номере, он вытащил из кармана крохотный стеклянный цилиндрик. Достаточно взять его в рот, стиснуть зубами, и можно навсегда избавиться от горечи и той страшной усталости, которые давят нестерпимо на старые плечи. Но он тут же почувствовал, что не сможет этого сделать – ниточка, протянувшаяся к нему в Берлине, оказалась крепче, чем он мог предполагать.

«Упрямая штука – жизнь!» – горько усмехнулся профессор и сунул ампулу в жилетный карман…

В конце следующей недели доктор Шпиглер привез его к господину Эксону…

– Садитесь, пожалуйста, профессор. Прошу извинить, что заставил вас ждать. Если бы вы знали, сколько у нас сейчас дел с вашей несчастной Германией.

Свет от настольной лампы падал на лицо профессора Морге. Он недовольно нахмурился, хотел отодвинуться, но не мог сдвинуть с места тяжелое кресло.

– Вас беспокоит свет?

– Да, – отрывисто бросил профессор.

– Простите, пожалуйста.

Теперь свет от лампы только на столе. Лицо сидящего за столом показалось профессору знакомым. Доктор Шпиглер невнятно

назвал фамилию господина, – профессор постарался вспомнить, когда и в какой газете или журнале он видел это лицо с тяжелой челюстью, и не смог. А, впрочем, все равно…

– Дорогой профессор, – услышал он ласковый голос, – прошу вас поверить, я всегда был истинным поклонником великой немецкой нации. Я глубоко тронут несчастьем, постигшим вашу родину, а в том числе и вас, профессор. Я узнал совершенно случайно, что вы вели в Германии интересную работу. К сожалению, вам как будто бы не удалось ее закончить?

Человек за столом доверительно наклонился вперед и сделал вопросительную паузу…

Профессор Морге со злостью поджал тонкие бесцветные губы.

Так и есть! Прохвост Шпиглер все-таки продал его этому дельцу. Но пусть они не думают, что им удастся заставить его работать. К черту!..

– Меня заинтересовало то немногое, что я сумел узнать о вашей работе, – так же мягко и доверительно, как бы не замечая молчания профессора, продолжал сидящий за столом. – Не могли бы вы рассказать мне о ней более подробно? Поделиться вашими планами?..

С угрюмым упрямством профессор разглядывал покачивающийся из стороны в сторону круглый латунный маятник стенных часов. Медленно, но с непоколебимой уверенностью ползла по бело-матовому циферблату черная стрелка. Прошла еще одна минута упорного молчания.

Человек за столом откинулся на спинку кресла, положил нога на ногу и закурил сигару. Выпятив вперед нижнюю губу, он выстрелил клубком голубого табачного дыма.

– Прошу извинить мое любопытство, я хочу помочь вам, профессор. Но, к сожалению, я очень мало знаю о вашей работе. Скажем, не более того, что может заинтересовать комиссию по расследованию военных преступлений.

«Ну и пусть!» – упрямо подумал Морге.

И тут же понял, как и тогда в номере, когда он сидел с ампулой в руках, что ему очень трудно, невозможно отказаться от того, пусть крохотного кусочка жизни, который он сейчас имел. Он тяжело вздохнул и закрыл глаза.

– Я не понимаю вас, профессор, – опять услышал он, – неужели вы плохой патриот? В ваших руках меч, которым вы сможете отомстить за унижение Германии, за оскорбление великой арийской нации, призванной управлять миром. Кончайте вашу работу –

я помогу вам. Докажите миру, что вы, немецкий профессор Морге, изобрели самое могущественное в мире оружие…

Доктор Шпиглер ожидал профессора в приемной господина Эксона.

Приемная обставлена так же просто, как и кабинет. Ни ковров на полу, ни картин в золоченых рамах по стенам. Такой же темный паркет, дорогие обои со скромным узором, такие же жесткие кресла с тугими сидениями.

В углу, за небольшим письменным столом работала секретарь господина Эксона мисс Фруди, как называл он ее на американский манер. Это была некрасивая особа с большим лиловым носом. Господин Эксон, в отличие от многих других промышленных заправил, не держал у себя хорошеньких машинисток и секретарей. Дело – есть дело!

Мисс Фруди бойко отстукивала на машинке какое-то письмо и, передвигая каретку, неодобрительно поглядывала на развалившегося в кресле Шпиглера. Она привыкла к тому, что посетители ее шефа вели себя в его приемной скромно. Вот, например, в кресле в углу ожидает приема пожилой господин, очевидно, бывший военный. На лице посетителя заметны следы тревоги и неуверенности в своем будущем. Фамилия у него фон Штрипс, – кажется, шеф обещал ему место начальника полиции в городе Зиттине. По фамилии видно, что этот господин из бывших немецких графов или баронов, он умеет себя вести в присутствии дамы. Мисс Фруди уже второй раз ныряла в сумочку, закрывшись зеркальцем, пудрила свой внушительный нос и украдкой поглядывала в угол на посетителя.

Культурный человек» Не чета доктору Шпиглеру, который бывает здесь каждый день и всегда ведет себя, как в пивной. Вот сейчас развалился в кресле и в ее присутствии чистит себе ногти. Хам!

Доктор Шпиглер подровнял пилочкой все десять ногтей, прочел газету, а разговор в кабинете все еще продолжался.

«Неужели господину Эксону не удастся уломать упрямого старикашку?..»

– Я… согласен, – сказал наконец профессор и поднялся с кресла.

– Вот и прекрасно. Ваши условия?

Профессор сделал брезгливую гримасу, и господин Эксон тут же спохватился..

– Я говорю, разумеется, не о деньгах

– Лаборатория. Первоклассная лаборатория.

– Лаборатория будет.

– Сотрудники.

– Подберите штат по вашему собственному усмотрению. Ваш прежний помощник будет, вероятно, вам полезен?

– Доктор Шпиглер? – глаза профессора прищурились. – Ну, что ж, не возражаю.

– Еще что? – господин Эксон делал быстрые пометки в своем блокноте.

– Подопытные. Люди для опытов.

– Люди?.. Гм. Что ж здесь придумать?..

– У меня в Берлине осталась дочь… – сказал профессор.

– Дочь?.. Так, так. Бедная девушка… Я понимаю вас, я сам отец. Но…

– Я не об этом, – нахмурился профессор. – Моя дочь заведовала хозяйственными делами лаборатории. Она умеет решать трудные задачи. Постарайтесь ее разыскать.

– Ах, вот что. Очень хорошо. Я сегодня же дам задание… Итак, вашу руку, профессор Морге.

Господин Эксон протянул через стол свою большую руку с цепкими волосатыми пальцами, руку преуспевающего дельца, и профессор вложил в его руку свою, нервную сухую руку ученого…

Прошел год…

Береговую полосу города Зиттина занимают товарные пристани, доки, судовые мастерские.

Море мелькает далеко на горизонте голубой лазурной полоской. У берега светлая морская вода покрыта поблескивающими пятнами грязного отработанного масла.

Портовый Пригород начинался сразу же за служебными постройками. Там стояли почерневшие от дыма и времени двух- и трехэтажные дома, полуразрушенные хибарки, между которыми извивались грязные мощеные улицы и еще более грязные и еще более узкие переулки.

В Портовом Пригороде жила рабочая беднота, грузчики, рабочие без квалификации, безработные матросы, а также жулики и бандиты всех специальностей и мастей. Народ это был отчаянный, жил своими законами, и ценность человеческой жизни зависела здесь от многих случайностей.

Часто, когда отлив уносил мусор и пятна смазочного масла, когда обнажались бетонные устои береговых построек, на илистом

дне обнаруживался труп, с обломком горелого колосника, засунутого за пояс штанов. Это никого не удивляло, и никто не торопился сообщать в полицию. Чтобы позвонить в полицейское управление, нужно было идти к автомату и спустить в него никелированную монету, а такую роскошь мало кто мог позволить себе. Поэтому мертвеца чаще всего просто отталкивали багром подальше в море, там его доедали крабы или волны выбрасывали где-нибудь в другом месте.

По вечерам здесь не было ни оживленной людской толпы, ни ярких рекламных витрин, ни лакированного потока автомобилей. Одинокие прохожие осторожно брели по темным пустым улицам. Даже лихие шоферы легковых такси избегали ночью ездить по улицам Пригорода. Здесь легко можно было поломать рессору, провалившись в плохо закрытый люк канализации, а то и получить из-за угла булыжник в ветровое стекло, – так, ни за что ни про что: отчаянный народ жил в Пригороде.

Главная улица Зиттина бульваром пересекала город и Портовый Пригород.

На подходах к Пригороду, щеголеватый асфальт бульвара как бы останавливался, боясь запачкаться грязью портовых переулков. Дальше улицу продолжала изрытая булыжная мостовая.

Здесь, на стыке асфальта с булыжной мостовой, стояло небольшое здание с квадратными окнами. Стеклянные буквы над окнами, плохо заметные днем, сейчас, в темноте, светились мягким розоватым светом, и можно было прочитать: «Рабочее кафе». Ниже, на оконных стеклах белилами написано: «Всегда свежее пиво!»

Длинная белая машина с потушенными фонарями тихо проскользнула под окнами кафе. Прошелестев шинами по булыжнику мостовой, она круто развернулась и остановилась на противоположной стороне улицы, у темной неосвещенной стены какого-то склада.

Тихое ворчание мотора замолкло. Из машины никто не вышел. Только с той стороны, с которой было видно крыльцо «Рабочего кафе», шевельнулась и слегка приподнялась шторка, закрывающая стекло кабины.

Откуда-то из темноты Пригорода, в полосе света, падающего из окон кафе, появилась растрепанная мужская фигура. Она остановилась у крыльца и несколько раз качнулась из стороны в сторону.

Мужчина был пьян, однако не настолько, чтобы не хотелось выпить еще чего-нибудь. Ноги его плохо слушались, но глаза еще могли прочитать надпись на окнах кафе.

Качнувшись несколько раз, он, наконец, сдвинулся с места, поднялся на низкое крыльцо и толкнул плечом дверь.

Обстановка кафе была проста: крашеные стены, серый цементный пол, столики, покрытые пластмассовыми клеенками. Справа, почти рядом с дверью – высокая оцинкованная стойка. За стойкой – стеклянный шкаф с бутылками и холодными закусками.

Между шкафом и прилавком поместился буфетчик – толстый, как все буфетчики, с красным лицом, заросшим бурой щетиной. Некоторое своеобразие его облику придавала черная эбонитовая чашечка на левом ухе – усилитель звука для глухих. От чашечки вниз к карману, где полагалось лежать батарейке усилителя, спускался плетеный электрошнур.

Сунув руку в карман и перебирая толстыми пальцами концы шнура, буфетчик стоял, облокотившись на стойку.

За угловым столиком сидело четверо мужчин, судя по одежде – рабочие завода судовых дизелей.

Перед ними лежала газета, маленькая, напечатанная на оберточной бумаге сбитым неровным шрифтом. Рабочий в синем комбинезоне электрика читал вслух, понизив голос. Вероятно, он уже не раз читал эту статью, последние строки он произнес на память, глядя не в газету, а на лица своих молчаливых слушателей.

– «…Нашим хозяевам невыгодна мирная политика. Ничто не дает столько денег, как военные заказы. Помни, дело будущего мира в твоих руках!»

Он сложил газетку и сунул ее во внутренний карман, под комбинезон.

– Послушай, Марти, – обратился к нему один из слушателей, – но при чем тут мы? Ведь наш завод не работает на войну.

– Ты в этом уверен? – спросил Марти. Он наклонился вперед над столом с видом человека, который собирается сказать что-то секретное. Головы рабочих с готовностью приблизились к нему. Однако Марти оглянулся на буфетчика и выпрямился.

– Признаться, я никогда не видел у буфетчиков приличных рож, – заметил он. – Но физиономия этого мне особенно не нравится.

– Так он же глухой, как пень! – сказал кто-то.

– Кто его знает, – продолжал Марти. – Помните, как у нас сорвалась стачка в прошлом году. Я до сих пор не могу понять, как полиция могла о ней пронюхать. Пожалуй, нам лучше поговорить на улице.

В это время открылась входная дверь. На пороге появился мужчина в мятом костюме, галстуке, висевшем поверх пиджака.

Ухватившись за дверной косяк, он прищурился от яркого электрического света.

– А, Марти! – закричал он, увидев рабочего в синем комбинезоне. – Здравствуй, Марти!

Он улыбнулся, сверкая стальными зубами, и с подчеркнутой, обычной у пьяных, осторожностью попытался пройти между столиками.

– Это Тим Баркет, из конструкторского отдела завода, – сказал Марти, – сегодня он пьян, кажется, более чем обычно.

Тим Баркет, по очереди натыкаясь на все стулья, наконец добрался до их угла.

– Ты опять напился, Тим! – сказал укоризненно Марти.

– Да, опять, – задорно согласился Тим Баркет, валясь на первый попавшийся стул. Его язык хотя и заплетался, но все же слушался лучше, чем ноги. – Хорошее слово «опять». Опять – это значит повторение, а по… повторить может только тот, у кого есть деньги. У нас теперь у всех есть деньги. Господин Эксон дает нам заработать. Не правда ли, ребята? Не косись на меня, Марти. Могу я поговорить в хорошей компании. Что вы тут притаились?.. Ага, догадываюсь, вы читали газету. Сегодняшнюю статью. Я тоже… тоже читал. Очень интересная статья… очень. Так что вы думаете делать?

– Ты бы шел домой, Тим!

– Подожди, Марти, – отмахнулся Тим Баркет. – О чем я говорил? Да, о статье. Очень умная статья, она заставила меня задуматься. А когда я задумываюсь, я всегда… напиваюсь. А вы знаете почему? Послушайте-ка, ребята. Я был на войне, у меня не хватает половины зубов, – он ткнул пальцем в плохо зашитый шрам на подбородке, – но зато во мне осколков сидит больше, чем в нынешней колбасе шпику. И вот я думаю, может быть, на том танке, который угостил меня снарядом, стоял мотор, сделанный вашими руками. А?.. Может быть! – ответил он за всех утвердительно. – Так как же так? Вот мы с вами… мы с вами сейчас тоже делаем моторы. И с нашей помощью кому-нибудь опять будут выбивать зубы?..

– Мы сейчас не делаем военные моторы, – сказал старый рабочий. – Дизеля идут для китобойных судов.

– Ха! – едко улыбнулся Тим Баркет. – Это вам директор сказал, и вы поверили?.. Я-то знаю, куда идут наши моторы, – добавил он угрюмо.

– Хватит тебе болтать, Тим, – строго перебил его Марти, оглядываясь на буфетчика. – Ничего ты не знаешь.

– Знаю! – с пьяной запальчивостью вдруг крикнул Баркет. – Дурачки! Наши дизеля идут на подводные лодки…

– Тише ты! – прошипел Марти и сильно толкнул его в плечо. – Ребята, нужно отвести его домой.

– Меня отвести? – возмутился Баркет. Он поднялся на ноги и отстранил в сторону рабочего, который хотел ему помочь. – Меня еще никто… никто не водил домой… Я сам. До свидания, Марти. До свидания, друзья…

Выйдя из дверей кафе, Тим Баркет довольно удачно спустился со ступенек крыльца и некоторое время стоял на месте, покачиваясь и переступая с ноги на ногу. Потом решительно заложил руки в карманы и, повернувшись, побрел в сторону Пригорода.

Проходя мимо белой машины, все еще стоящей у стены, он неловко задел ее буфер ногой и выругался. Он шел, не оглядываясь, и не видел, как за его спиной бесшумно открылась дверка кабины, как из нее вышла женщина в темном пальто, которое делало ее почти незаметной в ночной мгле. Неслышными шагами она направилась следом за ним.

…Утренний холод заставил Тима Баркета проснуться. Он пошевелил затекшими и озябшими плечами и постарался понять, где находится. Было похоже, что он лежал на каменных плитах подъезда какого-то дома.

Тим Баркет поднял тяжелую голову и разглядел створки входных дверей. Нетрудно было сообразить, что он выбрал плохое место для ночлега: первый же выходящий жилец может разбить дверью его физиономию. Он пробовал повернуться, но почувствовал, как что-то уперлось ему в бок. Он просунул руку под себя и нащупал холодное горлышко бутылки, засунутой в карман пиджака.

Тогда он сел. Вытащил из кармана бутылку и при свете начинающегося утра разглядел на ней пивную этикетку. Бутылка была закупорена и полна, не было сомнения – в ней было пиво. – Что за черт? – удивился Баркет, хмуря лоб и тщетно стараясь вспомнить, каким образом в его кармане могла оказаться эта бутылка. – Неужели я вчера был настолько пьян, что решил позаботиться о сегодняшнем похмелье?..

Не раздумывая больше, Баркет быстро откупорил бутылку о край каменной плиты, сунул горлышко в рот.

Холодное пиво приятно защипало в глотке…

Это была последняя бутылка в жизни Тима Баркета.

Подслушанный разговор

– Доктор, что с вами?

Редактор «Рабочей газеты» О'Патли (его отец родился в Дублине, но сын видел Ирландию только на карте), молодой и ярко-рыжий, в шляпе, сдвинутой на затылок, остановил на бульваре доктора, высокого человека в широком мешковатом пиджаке, в глубокой задумчивости шагавшего прямо по мостовой, не обращая внимания на тревожные гудки автомашин и ругань шоферов.

О'Патли взял его под руку и вывел на панель.

– Ну, разве можно так, дорогой! – сказал он, заглядывая в лицо доктору своими ласковыми глазами. – Вас сшибет машина, и вы попадете в свою собственную больницу.

– Здравствуйте, О'Патли, – сказал доктор, вяло отвечая на энергичное рукопожатие редактора. – Что-то я плохо себя чувствую.

– Так куда же вы идете?

– Да так просто… Решил прогуляться.

– Ну, если у вас нет определенного направления, то вы можете двигаться по любому. Пойдемте со мной.

– А вы куда?

– Я в «Рабочее кафе».

– Знаю, бывал там. Пожалуй, я пойду с вами, выпью чашечку кофе.

– Ну и чудесно. Я буду ждать нашего корреспондента, а вы пить кофе и расскажете свои новости. Я не видел вас с тех пор, как выписался из больницы.

Доктор послушно зашагал рядом. Он рассеянно и близоруко озирался по сторонам и молчал.

– У вас что-то случилось?

– Да так, – промолвил доктор, – голова болит.

– Стыдитесь! Вы должны знать, что большинство болезней происходит от слабости духа, – шутил О'Патли. – Вы помните, как сказал Флобер: «Если человек захочет, он выздоровеет».

– Это сказано писателем, а не врачом. И вы, О'Патли, когда у вас был аппендицит, тоже не стали лечиться духом, а обратились к медицине.

– Ну, так то аппендицит! – улыбнулся О'Патли. – А знаете, мне кажется, я сейчас определю вашу болезнь. Вам снова урезали смету на содержание больницы?

– Смету?.. А, да, да… Смету опять урезали, – вздохнул доктор.

– Вот теперь моя очередь вас лечить! Напишите об этом в «Рабочую газету».

– И вы напечатаете?

– И вы еще спрашиваете? – возмутился редактор. – Мы из вашей заметки сделаем такую статью, что смету вам восстановят на следующий день.

– Вам попадет за нее.

– Велика важность! Да за нее и не попадет, – это не статья о военных заказах. Читали такую?

– Читал, – кивнул доктор. – Только я не понимаю, за что же вам попало. Статья написана, как я понял, на общую тему.

– Вот то-то и оно, – оживился О'Патли. – Поэтому она и проскочила. Так же, как и вы, цензура не нашла в ней ничего особенного. Видите ли, только это между нами, – О'Патли понизил голос, – на наш завод дизелей поступил военный заказ. Но как это часто принято сейчас делать, под другим мирным наименованием. Мы узнали. Но написать об этом прямо было нельзя – не пропустили бы. Тогда я подумал и сочинил ту статью. Рабочие у нас теперь поумнели, им только намекни, до остального сами додумаются, какой вывод сделать – сами сообразят.

– Тогда за что же вам попало?

– Цензура прохлопала, но шеф полиции, понятно, знал все подробности о военном заказе, – недаром он ставленник Эксона. Он сообразил, куда мы клоним, и вызвал меня для объяснения.

– Что же он вам сказал?

– Многое. А заключил так: «Молодой человек, я великолепно вас понимаю, но я хочу, чтобы и вы поняли меня. Вы на верной дороге к тюремным дверям. Еще одна такая статья, и у вас будут крупные неприятности».

– А вы не боитесь, О'Патли, что шеф полиции в конце концов закроет вашу «Рабочую газету».

– Он побоится ее закрыть.

– Я этого не понимаю.

– Зато шеф хорошо понимает: если закрыть газету, то на заводах могут появиться подпольные листовки. А это для него хуже.. Сейчас он по крайней мере знает, кого взять за воротник.

– Вот он вас и возьмет за воротник.

Некоторое время они шли молча. О'Патли задумчиво глядел под ноги на тротуар.

– Знаете, доктор, – сказал он, – если бы мне попался материал, разоблачающий одного из местных воротил, хотя бы того же шефа полиции… я бы напечатал этот материал при первой же возможности.

– И вас посадили бы в тюрьму.

– Ну и что ж?

– Это глупый риск.

– Ничуть.

– А что же, по-вашему, – геройство?

– Нет, милый доктор, это называется классовой борьбой.

Войдя в кафе, О'Патли снова заговорил весело, шутливо.

– Я заказываю, – заявил он. – Я сегодня получил гонорар. Садитесь за столик, доктор. Вон туда, в угол.

Буфетчик с готовностью повернул в сторону О'Патли ухо с черной эбонитовой крышечкой.

– Пива, – сказал О'Патли громко. – Бутылочку. Или лучше две… две бутылки! – и он поднял вверх два пальцу. – И чашку кофе с ликером… с ликером! – повторил он и показал рукой, как будто наливает что-то в воображаемую чашку.

Буфетчик закивал головой и вытащил из кармана ключ для бутылок.

Посетителей в кафе было немного. Угол, в котором сидели О'Патли и доктор, был пуст. Буфетчик поставил перед ними заказанное и удалился, шаркая подошвами.

Доктор так долго размешивал кофе, что О'Патли , наконец, не выдержал.

– Да будет вам. Ну что вы повесили нос? Берите пример с меня. Держу пари, что неприятностей у меня больше, чем у вас, но я, как видите, не теряю хорошего самочувствия.

– Я принимаю ваше пари, – сказал доктор медленно и со значением, – я уверен, что смогу испортить ваше самочувствие.

– Вот как? Ну что ж, попробуйте. Если вам не удастся, вы будете платить за мое пиво.

Осторожно поставив на прилавок стойки пустой поднос, буфетчик оглядел посетителей.

Убедившись, что пока никто не нуждается в его услугах, он через дверь в перегородке прошел в заднюю часть дома…

В кабинете шефа полиции зазвонил один из телефонов, стоящих на специальной тумбочке возле письменного стола.

Фон Штрипс, новый шеф полиции города Зиттина, после обеда вздремнувший в мягком кресле, недовольно приоткрыл один глаз. Протянув руку, он безошибочно снял трубку и, приложив ее к уху, услышал всего два слова:

– Доктор здесь!

Фон Штрипс открыл второй глаз, поднял трубку второго телефона и набрал номер.

Безропотно повинуясь законам физики, электрические сигналы со сказочной быстротой помчались по бесчисленным телефонным проводам, заскочили в релейные ящики, хлопнули пластинками реле, промелькнули зеленоватыми искорками в контактах и вернулись обратно.

– Хорошо, – услышал фон Штрипс женский голос. – Я бы хотела знать, о чем он будет говорить.

– Минуточку, фрейлейн. Я включу вас в коммутатор…

Буфетчик вернулся к стойке. Никто из посетителей попрежнему не интересовался его особой, никто не обращал на него внимания. Он протянул руку под прилавком, отодвинул в сторону шторку. Открылась мраморная доска с рядами кнопок, расположенных в том же порядке, что и столики в кафе.

Стол, за которым сидели доктор и О'Патли, был первым в левом ряду. Волосатый палец буфетчика надавил кнопку с цифрой 1.

Колебания мембраны микрофона, искусно вделанного в крышку стола, превратились в электрические колебания.

Опять по проводам помчались послушные электрические сигналы, выполняя на этот раз неблаговидные обязанности шпиона. За десяток километров от кафе телефонная трубка тихо, но отчетливо повторила слова доктора…

Голубое безумие

Вы помните, – рассказывал доктор, – несколько месяцев тому назад, когда вы лежали у меня в больнице, я говорил вам об одной загадочной болезни…

– Помню, – ответил О'Патли. – «Голубое безумие».

Доктор уронил ложечку в стакан и испуганно уставился на редактора.

– Послушайте, – сказал он наконец, – это очень верное название, но я вам ее так не называл. Вы что-нибудь знаете об этой болезни?

– Успокойтесь, доктор, – улыбнулся О'Патли. – Я не знаю ровным счетом ничего. Вы мне рассказывали о каких-то там симптомах, а я по несносной привычке газетчика конкретизировать факты подобрал слова, годные для газетного заголовка. Но тогда вы говорили про единственный случай.

– За последние месяцы я наблюдал еще четыре. И каждый раз было одно и то же: у больного внезапно снижалась температура, наступало угнетенное состояние. Потом, дня через два лицо и тело его начинали синеть, и больной быстро впадал в буйное помеша-

тельство. Вы, О'Патли, случайно нашли очень верное название, именно «голубое безумие»… Эти больные не подлежали лечению в нашей больнице: у нас имелось распоряжение сообщать о таких случаях в «Городское бюро срочного вызова». К нам приезжала санитарная машина, и больного увозили куда-то в частную клинику.

– В клинику №11, – вставил О'Патли.

– Вы ее знаете?

– Нет, я знаю только, где она находится.

– Я в то время и этого не знал, – продолжал доктор. – Меня тревожила новая болезнь, не похожая ни на одну из описанных в медицинских учебниках. Мои коллеги тоже не смогли назвать ее. Я просидел неделю в библиотеке, но не нашел ответа. А болезнь оказалась серьезной: из всех заболевших вернулся только один. Но он ничего не мог рассказать о том, где его лечили и как. Он очнулся уже у себя дома и ничего не помнил, что с ним делали в клинике. Тогда я решил обратиться в клинику сам. Я позвонил в «Бюро вызова», там ответили, что телефон клиники им не известен. Я стал настаивать и меня соединили… с кем бы вы думали, О'Патли?

Редактор молча пожал плечами. Доктор отхлебнул глоток кофе, вытер губы платком и слабо улыбнулся:

– Вам придется платить за мой кофе, О'Патли, – продолжал он. – Не догадались?.. Да с вашим хорошим знакомым…

– Понял, – быстро сказал О'Патли, – с шефом полиции.

– Да, с шефом полиции. Я вначале подумал, что это ошибка. Но шеф любезно сообщил мне, что никакой ошибки нет, в загородной клинике как раз и изучается новая болезнь. Работа ведется секретно, чтобы не делать паники среди местного населения. Я сообщил, зачем мне нужна клиника, и шеф полиции через свой коммутатор соединил меня с ее старшим врачом. Мне ответил женский голос. Он сообщил коротко, что новая болезнь – это неизученная форма энцефалита – инфекционного заболевания нервной системы… и на этом разговор окончился. Это было все, что я смог узнать.

Доктор допил свой, уже совсем остывший кофе и отодвинул чашку.

– Теперь начинается самое интересное, – он помолчал и сильно потер пальцами виски, как бы собираясь с мыслями.

Буфетчик включил электричество. Очертания Портового Пригорода сразу исчезли за потемневшими стеклами окон, О'Патли давно уже отставил в сторону недопитый стакан с пивом и слушал настороженно и внимательно.

– Около полумесяца тому назад меня вызвали к больному. Это оказался молодой здоровый мужчина. Я сразу же разглядел зловещую синеву на его отекшем лице. Делать было нечего – я позвонил в «Бюро вызова». Больного увезли. Я записал в свой регистрационный журнал, что чертежник с завода дизелей Тим Баркет находится на лечении в клинике №11. Я долго думал, что записать в графу «диагноз», и оставил ее пусто… Спустя неделю мне сообщили, что Тим Баркет умер в клинике от сердечного приступа.

Доктор остановился. Близоруко моргая глазами, он несколько секунд напряженно смотрел за окно, на слабые огоньки Портового Пригорода.

– Прошлой ночью я дежурил в больнице, продолжал он. – Рано утром, перед рассветом шофер ночного такси привез ко мне мужчину без чувств, в больничном белье. Лицо его было искажено и синевато-отечно, но я узнал Тима Баркета.

– Вот как? – вырвалось у О'Патли.

– Очевидно, он бежал из клиники. Шофер рассказал мне, что подобрал больного в кустах загородного шоссе… Рискуя нажить неприятности, я все же решил оставить Баркета у себя в больнице и пока не сообщать о нем в «Бюро вызова» Я велел положить его в моем кабинете, сам осмотрел и перевязал его. Белье на нем было изорвано, вымазано в грязи, на теле синяки и ссадины, а на предплечии я заметил следы уколов шприца. Никакие возбуждающие средства не могли привести его в чувство. Тогда я взял у больного кровь и исследовал ее. И я убедился – в крови совершенно отсутствовал витамин «В». Вам, может быть, это не совсем понятно, О'Патли, – витамин «В» нужен для нормальной деятельности нервной системы человека, – у Баркета был абсолютнейший авитаминоз «В», каких еще не знала история медицины. Я немедленно приготовил витаминозный раствор, ввел больному, и он очнулся.

Вначале он не мог даже пошевелиться, он только плакал, жаловался на головную боль и бредил. Он говорил несуразные вещи. Странно, но в его бреде я чувствовал какую-то логику, какое-то правдоподобие. Я попробовал записать все, что он говорил… Потом дал ему успокаивающее, и он уснул. Вскоре мне позвонил шеф полиции… Поймите мен, О'Патли, я не мог сказать «нет», половина персонала больницы видела, как я привез больного… Через пять минут Баркета увезли.

Доктор замолчал. – Покажите, что вы записали, – попросил О'Патли.

Медленно расстегнув пиджак, доктор полез во внутренний карман. В это время в кафе вошел мужчина в мягкой серой шляпе, сдвинутой на лоб. Правая рука его была засунута в карман широкого пальто. Он оглядел немногочисленных посетителей и остановил

свои нагловатые, навыкат, глаза на докторе. Тот невольным движением опустил книжку обратно в карман.

– Кто здесь доктор? – спросил мужчина.

– А в чем дело? – насторожился О'Патли.

– Там на улице какая-то женщина его ищет. Ей сказали, что доктор здесь. – Не дожидаясь ответа, мужчина повернулся спиной и подошел к буфетной стойке.

– Подождите, О'Патли, – сказал доктор. Он вышел на улицу и через минуту вернулся. – Мне придется покинуть вас. Там пришла работница с завода. У нее что-то случилось с ребенком.

– Может быть, вас проводить?

– Не нужно, – возразил доктор. – Меня здесь все знают, в Портовом Пригороде я везде как дома.

– Тогда дайте мне вашу книжку, – шепнул О'Патли.

– Вы ничего не поймете, – там написано по-латыни. Подождите меня, я постараюсь скоро вернуться.

Мужчина в серой шляпе выпил у стойки кружку пива и вышел следом за доктором, по-прежнему не вынимая руки из кармана пальто.

О'Патли нагнулся к окну. Высокая сутулая фигура доктора, следуя за женщиной, закутанной в темную шаль, промелькнула в полосе света и исчезла в улице, которая, как глухое темное ущелье, уходила вдаль, к порту.

Доктор был прав.

Его рассказ испортил настроение и заставил О'Патли задуматься.

Редактора «Рабочей газеты» давно уже интересовала загородная клиника, построенная на деньги военного фабриканта Эксона неизвестно для чего и занимающаяся неизвестно чем. Ее мирное название не успокаивало О'Патли.

Но десятки срочных, по мнению редактора, более важных вопросов мешали ему заняться клиникой. Сейчас он думал, что, пожалуй, зря не зачислил клинику в разряд срочных, неотложных дел и не занялся ею раньше.

…Доктор не возвращался.

О'Патли вертел в руках стакан и с нетерпением поглядывал на темное окно.

Неровные массы домов тяжелыми гранитными глыбами нависали над улицей, погруженной в темную южную ночь.

Дверь кафе распахнулась с такой силой, что на стойке зазвенели бутылки и стаканы. О'Патли вскочил. В ту же секунду смутная неясная тревога превратилась в ясную, определенную и острую.

– Беда! – услышал он. – Убили доктора!

Запинаясь и проваливаясь в темноте в выбоины старого вытоптанного тротуара, он пробежал несколько кварталов. Завернув за угол, увидел небольшую толпу. Слышались взволнованные голоса, шуршали спичечные коробки.

Доктор лежал лицом вниз. При свете нескольких зажженных спичек О'Патли увидел, как на затылке убитого, проступая сквозь редкие волосы, медленно расплывалось темное пятно. Пиджак доктора был расстегнут, его полы расстилались по земле, как крылья подбитой птицы. Просунув руку к его груди, чтобы прослушать сердце, О'Патли сразу же наткнулся на вывороченный карман, где до этого лежала записная книжка.

Книжки не было.

Сердце доктора не билось…

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

(Сергей Павлович Залыгин)

Прозаик, публицист, литературовед Сергей Павлович Залыгин родился 23 ноября (6 декабря по новому стилю) 1913 года в селе Дурасовка Стерликамского уезда Уфимской губернии, в семье служащих.

Окончил Барнаульский сельхозтехникум. Работал инструктором по силосованию кормов и агрономом в Хакасии. В 1939 году окончил гидромелиоративный факультет Омского сельскохозяйственного института. Во время Великой Отечественной войны был старшим гидрологом Гидрометеослужбы Сибирского военного округа на Салехарде, руководил гидрографической экспедицией. В 1949 году получил степень кандидата технических наук. С 1946 по 1955 год заведовал кафедрой мелиорации Омского сельскохозяйственного института. С 1955 по 1964 год был старшим научным сотрудником Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР (Новосибирск).

В 1964 году, после публикации повести «На Иртыше», сделавшей его известным писателем, С. Залыгин переехал на постоянное место жительства в Москву. Преподавал в Литературном институте им. А.М. Горького. Неоднократно избирался членом правления и секретарем Союза писателей СССР и РСФСР. С 1986 по 1998 год С. Залыгин возглавлял «Новый мир». В этот период журнал публикует «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицина, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, острые экологические и публицистические материалы, в том числе и самого С. Залыгина. С 1989 по 1991 год С. Залыгин – Народный депутат СССР. Академик Российской академии наук. Герой Социалистического Труда.

Литературную деятельность С. Залыгин начал во второй половине 1930-х годов. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь» и др. В 1941 году в Омске вышла первая книга С. Залыгина «Рассказы». Автор книг «Северные рассказы» (1947), «На большую землю» (1953), «В наши годы» (1956), «Красный клевер» (1961), «Тропы Алтая» (1962), «На Иртыше» (1964), «Соленая Падь» (1968), «Мой Чехов» (1969), «Интервью у самого себя» (1970), «Комиссия» (1975), «После бури» (1986) и др., изданных в Омске, Новосибирске и Москве. Член Союза писателей СССР. Лауреат Государственной премии СССР.

Умер 19 апреля 2000 года в Москве.

Как художник С. Залыгин начинал с романтики Севера. Но круг его творческих интересов куда более широк и обширен. С. Залыгина занимали противоречивые процессы коллективизации и жизнь послевоенного села, партизанская республика в колчаковском тылу и проблемы сохранения природы, одна из форм крестьянского самоуправления во времена Гражданской войны в Сибири и новая экономическая политика Страны Советов в 1920-х годах, злободневные вопросы семьи и брака в современных условиях и тайны творчества гениев мировой литературы – Гоголя, Чехова… Современность и история, новаторство и традиция – вот полюса, в «магнитном поле» которых развивалось творчество этого писателя. Магистральной для С. Залыгина стала тема социально-психологической и политической эволюции русского человека на важнейшем историческом переломе, вызванном Октябрьской революцией. Этой темой объединены три главных романа С. Залыгина – «Соленая Падь» (1967), «Комиссия» (1975), «После бури» (1982 – 1986), представляющие собой художественно-психологические хроники сибирской истории в период революционной ломки.

Романы С. Залыгина переведены более чем на тридцать иностранных языков, вошли в программы средних школ и вузов. В них автор особенно ярко раскрывается как художник-новатор. В «Соленой Пади» С. Залыгин отказался от традиционного для литературы о Гражданской войне изображения противостояния красных и белых и сосредоточил внимание на конфликте внутри одного лагеря – партизанского (командарм Мещеряков против комиссара Брусенкова), что расширяло представление о сложности Гражданской войны и народной психологии. А говоря о Лесной Комиссии как символе народовластия, С. Залыгин показывает трагическую обреченность этой, по существу, правовой утопии, которая уничтожается жестоким ходом истории.

Творчество С. Залыгина проникнуто высокой гражданственностью и страстной публицистичностью. Что касается непосредственно его многочисленных публицистических статей, то в них С. Залыгин ставил проблемы острейшие и поистине государственные. Главной же темой этих выступлений становится защита природы, разумное использование ее богатств.

В личности С. Залыгина органично сочетались «поэт и гражданин». С. Залыгин внес серьезный вклад в русскую литературу второй половины XX столетия.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги С. Залыгина:

Комиссия. Роман. («Библиотека сибирского романа»). – Новосибирск, 1981.
Соленая Падь. Роман. Повести. – М., 1983.
После бури. Роман. – М., 1986.

О С. Залыгине:

Нуйкин А. Зрелость художника. Очерк творчества Сергея Залыгина. – М., 1984.
Горшенин А. Сергей Залыгин (Литературный портрет). – Новосибирск, 1986.

Сергей ЗАЛЫГИН

СОЛЕНАЯ ПАДЬ

(Отрывок из романа)

Один из центральных эпизодов романа С. Залыгина, рассказывающего о Гражданской войне в Сибири. Командир партизанской армии Ефрем Мещеряков (прообраз легендарного сибирского партизанского командира Ефима Мамонтова) готовится к стратегически важному сражению с белогвардейцами. Силы не равны. Но есть у главнокомандующего в запасе секретное – психическое – оружие…

Белые заняли оборону и в самом селе и вынесли позиции на гребень увала, к поскотине. Оттуда простреливались оба склона и вперед и назад – на подступах к окраинным улочкам.

Внизу, в междугривье, белые тоже понарыли окопов и опять-таки выдвинули их за цепочку небольших, заросших камышом и набитых карасями озер. Со стороны бора сожгли десятка два окраинных изб, образовали открытое, хорошо простреливаемое место.

Тут не то что одним – двумя полками управиться нынче невозможно против такой обороны.

Еще недавно Малышкин Яр такими же силами Мещеряков и не думал брать, сделал ночной налет и ушел. Нынче складывалось так: уходить нельзя.

И подкреплений ждать нельзя, вот-вот могла объявиться белая конница, признаки были к этому все: белые под конвоем посылали моряшихинских мужиков за сеном на луга; а на пашни – за овсяной соломой.

Закручивалась война; все больше и больше требовала риска, отчаянности.

Стали думать.

Решили – поджечь камыши в тылу низинных позиций противника, вдоль всей Моряшихи.

Сделать ложную атаку со стороны бора.

Еще решили, что самое главное – это огневые позиции белых на увале, их надо уничтожить, суметь обойти.

От мыслей, даже самых хороших, число штыков в полку Красных Соколов не прибавлялось. Ни на один.

И тут Громыхалов, новый командир полка, вздохнул, засопел, сморщил все свое заросшее плотной черной щетиной лицо.

– Призывать надо арару…

Мещеряков промолчал.

Еще говорили, думали, а потом уже мадьяр Андраши, будто пережевывая во рту, тоже сказал:

– Ар-ра-р-ра? И нас – вперед. Да?

Мещеряков еще промолчал, а тогда Петрович сказал:

– Решай, главком. Иначе нельзя, и лично я – за!

Арара делалась так.

В засаде где-нибудь, скрытно, собирали партизаны вершних ребятишек и стариков. У передних – две-три берданы, заряженные дымным и вонючим порохом, у остальных – обыкновенное дреколье.

В решающий момент лавина эта мчится на противника, оружие у нее одно: «Ур-ра. Ур-ра!» Кони – топчут, ребятишки – визжат, старики – рыкают, из всего этого получается другое: ар-ра-ра-а-о-о.

Взглянул Мещеряков на Петровича. Вдвоем принимать решение легче, чем одному. Их теперь двое было.

Призвали старика – главного по этому делу во всей Старой Гоньбе.

Расстегивая гимнастерку, чтобы легче дышалось в немыслимой жарище штабной избы Красных Соколов, Мещеряков глядел на всклокоченную бороденку, в голубенькие глаза.

Старик стоял, заметно стесняясь, будто пришел просить главкома о каком-то одолжении. Перекладывая из руки в руку треух, говорил:

– Ну, ить что – надоть, значит, значит надоть…

– Боязно? – спрашивал Мещеряков.

– Бегали мы в арару в эту, сказать, дак не один раз. Ничего. Бог милостив. Обходилось.

– Ни разу не случалось? – спросил Мещеряков уже веселей, с надеждой.

– Ну, тоись не так чтобы вовсе не случалось. Тут в последний раз постреляли двоих мальцов. Большой-то пальбы они, белые сатрапы, не могут сделать, не выдерживают – нервы у них не хватает. И бегут они в степ. Нам того и надо.

– Тут и весь счет – на нервы – согласился Мещеряков. – Ребятишек – куда бы все ж таки в сторону. А? Либо совсем позади. Только для виду. Поскольку у них жизнь впереди?

– Да ведь мы и все в то время – только для виду. Только для него. Ну а за ребятишек мы нынче не в ответе. Нет! Ребятишки – они дар божий, вот пущай бог за их в эту пору и отвечает. Это ему предстоит принять на себя, когда он такую войну затеял. А мы – мы еще и в Соленую Падь успеем сбегать за престарелыми и за детками. Чтобы у нас хорошая масса получилась у всех вместе! Многие пойдут за народное дело. И даже – с любовью!

Уходил старик безо всякого желания – ему хотелось с главкомом поговорить. С порога все еще доказывал:

– Хорошо богу-то наверху – един! Единственный! И шкуры с его никто не спущает, и он пальчиком никого не трогаит! Но ты гляди, товарищ главнокомандующий силами, – противники тоже могут выдумать. Они – слезную стенку из моряшихинских детишек и женщин запросто могут выдумать! Нам встречу!

– Ну, хватит, отец! – вдруг крикнул Мещеряков, – Договорились же обо всем и хватит!

Старик пугливо и недоуменно глянул кругом, накинул шапчонку, хлопнул дверью…

– Что за стенка? Слезная – что за стенка? Это я уже вовсе не знаю! Не в курсе…

– Просто! – объяснил Громыхалов, слегка зевнув и кое-как перекрестив черную поросль на лице. – Белые идут в атаку, а наперед себя гонят все тех же стариков и ребятенков! Опять же их!

Как-то уж очень незаметно и легко получилось это решение – пустить в дело арару. Слишком простая отчаянность, и, должно быть, от этой простоты так сильно волновался нынче Мещеряков.

Непривычно волновался…

Камыши в тылу низинных позиций загорелись спустя каких-нибудь полчаса после начала боя. Подожгли их моряшихинские жители – еще накануне удалось с ними на этот предмет договориться.

Дым клубился сразу в нескольких местах – густой, коричневый и тяжелый. Наполнял междугривье, а вверх, по склону, к избам Моряшихи, полз медленно, неохотно.

Белые отошли в село – не понравилось, что у них сразу же за спиной горит и полыхает, они заняли оборону повыше, в огородах, в крайних постройках.

Вывалявшись в грязи и пепле, шахтеры Васильевских рудников – два взвода при одном пулемете системы «кольт» – под покровом дыма тоже пробрались в село, почти до первой улицы, и стали простреливать ее в обе стороны. Однако и сами через эту широкую голую улицу, без кустарников и палисадников, даже без обычного придорожного бурьяна, перейти не могли – ее белые тоже простреливали.

Еще одна рота партизан оставалась на возвышенности по другую сторону коричневого смрадного дыма с багровыми и ленивыми языками огня. Дым непрестанно множился из клубка в клубок, колебался по всей низине. Застилая узкие озера; багровые огни медленно, но жадно и упорно жевали сыроватый высокий камыш, а поверх этого дыма и этого огня рота вела с возвышенности свой ружейный и пулеметный огонь – поддерживала васильевцев, не позволяя их окружить, на худой конец – обеспечивала им выход из села, обратно в дым. Бывшие громыхаловские роты штрафников находились в бору, в непосредственной близости от церковного увала, почти не стреляли, но делали вид, что их очень много, и держали против себя тоже немалые силы противника. Настоящее же наступление со стороны бора оказалось бессмысленным: противник укрепил церковный бугор, поставил на нем орудия и пулеметы, еще пожег постройки вокруг площади и надежно прикрывал фланг, как наиболее опасный во всей обороне.

Это все было по одну сторону села.

По другую же сторону, примерно в полутора верстах от крайних изб, в сосновой рощице с густым зеленым подростом, которая откололась от большой, уже потемневшей к зиме ленты бора, сосредоточено было конное подразделение соколов. Эскадрон не

эскадрон, что-то вроде того. Время от времени конники выходили на выгон, вытоптанный и ровный, как стол, а здесь их встречала артиллерия противника.

С наблюдательного пункта, расположенного в кустарнике, еще чуть в стороне от рощи, эта артиллерия отлично была видна Мещерякову.

На церковной площади, прямо на бугре, на котором красовалась и сама церковь, – великолепный божий дом, уже при временном сибирском правительстве снизу доверху заново покрашенный в небесно-голубое по случаю изгнания большевиков за пределы губернии, – как раз против паперти стояло два трехдюймовых орудия. Как только конники появлялись на выгоне, появлялись на этой церковной голубизне и короткие вспышки огоньков, и легкие дымки, заслонявшие эти вспышки, а когда дымки, поднимаясь, почти достигали колокольни, к наблюдательному пункту Мещерякова подкатывались и размеренные орудийные удары; они пошевеливали тонкие ветви опавшего кустарника и уши лошадей, которых чуть в стороне держал коновод…

По желтому выгону под низким сереньким небом слонялось несколько скотин – овечек, телков, стреноженный коняга, заморенный до последней степени, а еще лохматый бурый пес. Всякий раз, когда от церкви раздавался артиллерийский выстрел, скотина бросалась в противоположную сторону, а когда впереди, почти на самой опушке сосновой рощи гулко и тряско падали снаряды, подымая вверх черные комья земли, – и телки и овечки останавливались, как вкопанные, чуть спустя кидались обратно… Артиллерия замолкала, и, покрутившись на месте, первым начинал тыкаться мордой в желтый выгон заморенный коняга. За ним овцы и телки тоже начинали щипать – война для них уже кончалась, и только помедвежьи бурый пес задирал морду кверху, – должно быть, выл…

В бинокль хорошо было видно все – весь выгон, весь увал.

Мещеряков ждал, когда противник наконец замолчит, кончит стрельбу, а тогда и эскадрону волей-неволей придется прекратить свои вылазки, и станет ясно, что у партизанской кавалерии и силто для атаки нет никаких, пока бог был милостив: конники то и дело энергично выскакивали из рощи, делая вид, что будто строятся для броска на деревню, орудия били, рассеивали их, заставляли уходить обратно, а Мещеряков убеждался, что беляки всерьез опасаются конной атаки с этой стороны – из небольшой и немудрой рощицы – и меньше следят за другим склоном, заметно уже подернутым дымом от горящих по ту сторону Моряшихи камышей.

Тут будто бы все было, как должно быть…

Самое же ответственное и решающее направление – со стороны противоположной бору и лучше всего видимой с наблюдательного пункта – ничего хорошего не сулило: мадьяры и латыши залегли на открытом со всех сторон гребне увала, против них, саженях в двухстах с лишним, была скособочившаяся, порушенная поскотина и тут же сильные огневые позиции противника с продольными и поперечными окопами, с гнездами для пулеметов, с ходом сообщения к деревне. Маневрируя огневыми средствами, белые простреливали отсюда оба склона и вперед и назад, прочно уложили на землю мадьяр и латышей и теперь еще усиливали огонь, лишая их возможности отхода или подхода к ним подкреплений и резервов.

Спасала мадьяр крохотная западинка поперек увала. Глазами даже в бинокль ее усмотреть нельзя, можно только прощупать собственным брюхом.

Мещерякову почувствовалось, что сражение вошло в какой-то порядок.

Даже в какую-то неизменность. А из этого порядка и неизменности стал уже чувствоваться и перевес на стороне противника, но только противник еще боялся немедленно же использовать свой перевес… Полагал – партизаны вот-вот, сию минуту сделают еще неожиданный маневр, введут резерв. Может быть, главный резерв для главного удара, ради которого они только прощупывали оборону.

Научили их мыслить партизаны. Остерегаться – тоже научили.

Начштабарм Безродных, послушав стрельбу, только и сказал:

– Боятся… – Сразу же замолк. Должно быть, все понял.

Или действительно был приучен Жгуном к такому вот короткому разговору, или самостоятельно, от природы, родился молчаливым?

Зато Струков говорил:

– Потому и боятся, что знают: сами Ефрем Николаевич нынче ведут на них наступление!

А у Ефрема Николаевича в тот миг оставалась за душой одна только арара. Все сражение клонилось к нему, к этому резерву. Вся надежда к нему же. Весь риск. Все на свете. Без стариков, без ребятишек Моряшиху не взять – вот что становилось ясно.

Но даже и для того, чтобы старики с ребятишками начали воевать за Мещерякова, не все у него было готово: нужно было выманить белых из окопа на увале. Подальше выманить, и чтобы они кинулись вперед азартно, не сильно позаботившись, сколько в окопах у них останется сил. И время уже истекало. Хотя арара

до поры скрывалась надежно и дисциплину поддерживал там не кто-нибудь, а Петрович, но рано или поздно она себя выдаст, покажется на глаза противнику либо заскучает в ожидании и попросту разбредется кто куда.

Перекреститься бы сейчас – не за себя, даже не за мадьяр либо васильевских шахтеров, а за стариков с ребятишками…

Пожалеешь о боге – с ним все ж таки иной раз несравненно легче жить… И, приподняв на голове мерлушковую папаху, которая с наступлением прохладной погоды была полностью на месте, но что-то не радовала Мещерякова, он смахнул со лба пот, а потом положил руку на плечо Гришки Лыткина.

– Готовься, Гриша… Ничего не поделаешь. Другого не выдумаешь – готовься… – Сосчитал про себя: «Раз! Два! Три!!» И ничего другого уже не осталось, как снова, но уже вслух повторить: – Раз!.. Два!.. Три!..

Гришка Лыткин взмахнул рукой – поднялась зеленая ракета. Ракеты на все случаи были у партизан зеленые – других не имелось.

И тут на мгновение, даже на какое-то время, притих бой: белые притаились, подумали, что так оно и есть – сейчас-то и рухнут партизаны на Моряшиху новой какой-то силой, а партизаны на всех позициях замерли, потому что со всех направлений стали смотреть на мадьяр. Мадьяры же и латыши стали в рост из своей неприметной глазу ложбинки, крикнули отчаянно громкое «ур-ра!» и кинулись на окопы противника, но пробежали какой-нибудь десяток сажен – неожиданно стали поворачивать назад.

Они бежали, бежали, спиною к огню, падали серыми, бесцветными фигурками на землю, падали за пулеметы, огрызались огнем и, волоча пулеметы за собой, бежали снова…

А белые все стреляли и все из окопов не выходили – они могли уничтожить мадьяр и латышей огнем в спину, покуда те не достигнут ближайшего березового колка… Им для этого только и надо было, что чуть перенести свои пулеметы на правый склон.

Нет, не воевал еще так Мещеряков, никогда не воевал отступлением, а ведь впереди ждала его арара – ребятишки со стариками!

А белые все стреляли, но не выходили из окопов, и тогда мадьяры бросили один из своих пулеметов. Они бросили его на виду, на самом бугре, и сами бросились от него прочь, петляя туда и сюда… Такой картины еще не видывали белые, потому что за потерю пулемета в партизанской армии расстреливали, покрывали позором – это и в белом лагере было известно.

Такой картины они не видели, должно быть, она их потрясла, воодушевила, и кто-то из них выскочил из окопов, потом другой, третий… Офицеры размахивали шашками, некоторые, будто прямо из рукава, палили огнем – эти были с наганами… Дымчатые, словно прозрачные, шинели подоткнуты под поясные ремни: выбрасывая вперед тонкие ноги, белые бежали в рост – по ним никто уже не вел огня. За офицерами беспорядочно, но плотно начали перекатываться другие шинели со штыками наперевес, с негромким, но непрерывным воем. Позади опять были офицеры, еще позади – в опустевших окопах – только кое-где мельтешили фигурки пулеметчиков, но и те огня не вели – свои заслоняли перед ними партизан.

По самой верхней, увальной и широкой улице села, то скрываясь за постройками, то снова показывая головы и плечи над плетнями, неожиданно промчались конники. Немного – с полсотни, не более того. Эти хотели завершить удар.

А мадьяры и латыши все бежали, все бежали, а потом легли редкой цепкой и снизу вверх по склону повели огонь из своего единственного пулемета по наступающим пехотинцам и еще успели полоснуть чуть в сторону, прижали конников к избам той и другой стороны улицы, из которой они готовы были уже вырваться на простор увала.

Тут Мещеряков снова положил руку на плечо Гришки Лыткина, снова затряслась у него рука на его плече, снова он сказал:

–Ну, Гриша… – А плечо под рукой уже не дрожало – тряслось, билось крупно, шаталось туда и сюда.

Мещеряков, сощурившись, закусив губу, еще ждал… Мгновение рвалось вперед, а он не пускал его, сдерживал его, самим собою его заслонял. Сосчитав снова: «Раз, два…» Гришка стонал:

– Ефрем Николаевич, това…

– Давай! – крикнул сипло Мещеряков, и вторая ракета поднялась в воздух.

Только что вырвались из села на увал на чистое место белые конники. – Только вырвались – и остановились. Несколько коней на дыбках загребали передними ногами под себя, потом кони эти резко пали на землю, другие пали с места – носом вперед. Это мадьяры снизу вверх опять полоснули-таки из единственного пулемета. Но не от этого огня повернули конники назад, дико нахлестывая лошадей. И пехота противника поняла этот их испуг и тоже остановилась в недоумении. Ей еще ничего покуда не было видно – преследуя мадьяр, она была теперь по правому склону увала и могла только слышать… Она могла слышать, как на левом скло-

не раздался будто бы чей-то одиночный, протяжный вопль, тотчас раскололся на высокие и низкие голоса, потом и высокие и низкие вместе вдруг прервались тяжелым конским топотом, потом опять вырвались человеческие вопли, опять топот и, наконец, ровно так, непрерывно взялось по всему увалу, и по тому и по другому его склонам, и по всему выгону, по всей округе: ар-ра-р-а-о-о-о, ар-ра-а-о-о-о…

От сосновой рощи, уже не обращая никакого внимания на артиллерию и не скрывая своих истинных сил, оторвался партизанский эскадрон, рассыпавшись в редкую цепь, наметом пошел прямо на церковь.

С той стороны, из-за увала, тоже поднялась ракета, тоже зеленая, – значит, и васильевские шахтеры тоже встали и пошли.

Еще каких-то несколько мгновений Мещеряков неподвижно слушал «ар-ра-ра-а-о-о», им же самим вызванное из-за увала, подвешенное на тонкую зеленую нить ракеты в серенькое небо, а потом уже покатившееся по земле, все захватившее и затмившее.

– Ну, хады, – сказал он вздрагивающими губами, – сейчас вам будет! Вот сейчас и за все!

Злоба возникла в нем еще в тот час, когда он призвал в жарко натопленную штабную избу старикашку с детскими глазами. Он хотел тогда воевать, хотел как никогда страстно, а вместо этого призвал на помощь старика, велел ему собирать арару…

– Ну , хады, – за все! – И ни думать, ни вспоминать, как будто ничего ему уже не осталось и не останется никогда.

Он тоже задохнулся криком и кинулся со своим отрядом в несколько человек, избивая нагайкой гнедого.

Когда же открылось ему все то, навстречу чему он помчался, – бесседельное и безоружное, пестроконное, исходящее в топоте и крике, смешанное в одно огромное пятно лошадиных шкур, разметанных грив, раскрытых ребячьих и стариковских заросших бородами ртов, и даже несколько простоволосых женщин – он пошел на гнедом чуть поодаль и правее, чтобы мять и рубить еще не смятое, а только отброшенное всем этим в сторону.

Он увидел латышей и мадьяр – на руках они тащили раненых товарищей, может быть, убитых – и взял еще правее, чтобы своим отрядиком настигнуть замешкавшихся белых конников…

Это были казаки с блестящими в крупах, тяжеловатыми конями и с десяток-два мужиков в зипунах, на конях-самоделках, истертых рабочей упряжью, – они все не рассыпались по огородам. А кучей пошли обратно в улицу и опять скакали не по всей уличной ширине, а только посередине, потому что сторонами рос густой

бурьян. Эту кучную и пеструю, приникшую к седлам кавалерию, уже потерявшую кавалерийское обличье и стремившуюся только сгинуть с глаз, Мещеряков и преследовал по пятам.

Огромный казак без папахи, лежа на луке седла, и не то уже раненый, не то убитый, вдруг обернулся к нему неожиданно маленькой ощербленной головкой, сосредоточенным лицом… Лицо лежало в разметанной конской гриве, смолистой и кудлатой, и вместе с нею, будто уже оторванное от человеческого туловища, вздымалось вверх, падало вниз, а из этой качки глянули на Мещерякова неподвижные, подернутые слезой глазки… Чуть изогнувшись грудью, казак быстро просунул правую руку под себя и выстрелил почти в упор, так что в следующий миг Мещерякову показалось, что лицом он пересек теплую струйку выстрела. Почему Мещеряков не был убит – он не подумал, а опустил шашку на эту головку, с которой еще раньше слетела папаха. Убил ее, эту голову.

Еще пришпорив что было сил за следующей портупеей и за следующим мужицким зипуном – сразу за двоими, – и, не зная, кого он будет рубить первым, он увидел, что впереди этих двоих, которых он преследовал, упал третий казак.

Невероятного усилия стоило Мещерякову вырваться из собственного хриплого, заглушающего сознание воя, с которым он шел, должно быть, с самого начала атаки, вырваться из стона и гула арары и вспомнить, что он – главнокомандующий и ведет сражение. Он стал замечать и заметил, как свалившийся с лошади казак пополз боком вперед по земле, хватаясь за этот передний бок обеими руками, продвинулся на несколько шагов в обнимку с самим собой и опрокинулся, приподняв кверху оба сапога, а гнедой, шедший наметом, кажется, ступил на него, и тут еще раз Мещеряков сделал усилие и спросил себя: кто же казака убил? Кто в него стрелял? Откуда?

А тогда он понял, что впереди, поперек движения всей лавы лежит вражеская цепь, что кто-то один из этой цепи не выдержал, выстрелил раньше времени и угадал в своего.

Мещеряков сорвал с себя папаху, повернул гнедого резко влево и крикнул:

– За мной! Ур-ра! За мной!

Ринулся в проулок. Не оглядывался. Не оглядывался, но знал, чуял, что арара устремилась через тот же проулок, через открытые ворота какой-то ограды, и поэтому выстрелы, которые раздались наверху, были уже запоздалыми.

– На землю! Ложись! Падай! – крикнул он еще, а сам кинулся низом в сторону уже другого «ура!», других частых и звонких вы-

стрелов: там шли и, должно быть, выходили к церкви васильевские шахтеры.

Еще спустя каких-нибудь полчаса толпу конных и пеших ребятишек и старцев, бывшую арару партизаны теснили с площади, с церковного бугра, кричали на них: «Стар-ранись! Стар-ранись!» – а на площадь вели пленных, тащили по площади, раскручивали руками грязные колеса, зарядные ящики; посылали мальцов собирать по всей Моряшихе и вокруг патроны и оружие, сердились на них, что мешаются под ногами.

Кто-то смотрел в зубы трофейных коней, кто-то, громко ругаясь, сожалел, что зарядные ящики есть, а орудий нет – успели уйти.

Успели уйти в направлении на Семенихинскую дорогу орудия, штаб и еще немалые силы противника. Преследовать их не было ни сил, ни возможностей, но победу все равно переживали все, и уже не раз то тут, то там раздавалось «ура!» Мещерякову, и ребятишки – моряшихинские, выскочившие прямо из изб кое-как, в рубашонках, и старогоньбинские в зипунах, с конями в поводу, еще не остывшими от арараы, – все старались окружить его, взять в круг и даже пытались потыкать его пальцем. Любовались им.

И моряшихинские ополченцы, которые в этом бою действовали частью вместе с партизанами, а частью изнутри деревни, в решительный момент открыв стрельбу по белым с вышек и огородов, опять же приветствовали его, как в тот раз, когда он впервые брал село.

Тот же лохматый командир ополченцев, который гулял вместе с ним в доме прасола Королева, тоже приветствовал его громко и радостно. Все еще, несмотря ни на что, был живой.

Подошел Петрович…

На Петровича Мещеряков лишь мельком глянул, когда тот шел на своем коньке впереди арары. По самому увалу шел. Теперь он снова и с каким-то облегчением поглядел на него – буроватого и, как всегда, встрепанного, понятливого; Петрович победе не улыбался, только сказал серьезно:

– Ну вот, сделано!

< >

…Народу все прибавлялось – самого разного. И знакомые были лица: Мещеряков даже удивился, сколько он здесь людей знает и помнит.

Вдруг прошел по площади Власихин Яков – его издали было видать.

Высокий, бородатый, с заржавленной берданой за плечами – бердана казалась на нем совсем какой-то крохотной, – он шел, смотрел кругом себя, на всю площадь, на всех людей. На партизан, на ребятишек, на пленных.

И этот тоже был в арараре? Кого она только не собрала здесь нынче? И моряшинских, и старогоньбинских, и соленопадских…

Тут поглядеть – нет ли где Петруньки? Тоже ведь мог прискакать из Соленой Пади! Отцу на помощь. А что? Всего-то на год-другой постарше Петруньки встречались вояки среди нынешней арары.

Проходя мимо, Власихин снял шапку, поклонился.

Мещеряков поманил его, протянул ему руку:

– Здорово, отец. Воюем?

– Когда начали – довести надо дело.

– Трудно? В твои-то годы доводить?

– Ну, почто же трудно? – удивился Власихин. – даже наоборот. Лёгко. Совсем лёгко. Как все, так и я. Как я, так и все. Это вот когда ты один, один не такой, как все, вот тогда гораздо труднее становится житье. Ты неужто Ефрем Николаевич этого не знаешь?

Мещеряков молча кивнул: «Знаю, знаю…».

А в это время показался еще один старик. Мещеряков глянул – этот тот, которого он вызывал к себе в селении Старая Гоньба. Главный по арараре.

Старикан тот же самый – глазки детские, сам щуплый, невзрачный. Небольшого росточка.

Бой прошел, после боя как будто всегда что-то меняется вокруг, и люди тоже изменяются сильно. Но этот не поменялся ничуть, точь-в-точь прежний. По-прежнему стеснялся главкома, обходил его стороной.

– Папаша! Окрикнул старика Мещеряков. – Ты что же это, герой победы, старых знакомцев минуешь? Не узнаешь ни единым глазом? А?

Старик тотчас сбросил треух, и в том и в другом глазу у него мелькнуло любопытство, он с охотой приблизился.

– Ну как же можно, – мы очень сильно вас признаем, товарищ главнокомандующий! Только ить…

– Чего это – только?

– Только ить все ж таки… Энто я об вас подумал – может, вы меня не признаете.

– Этого не может быть! У меня – память!

– И память, а быть – может… В тот же раз, в Старой-то Гоньбе-то, мы беседовали с вами в избушке на предмет арары – не признали же вы меня? Ничуть! Запамятовали еще старое наше знакомство?

– Постой, постой! Какое еще старое? Нет, ты не говори, я тотчас и вспомню. Самолично, без подсказки. Если было – обязательно вспомню!

– Ну-ка, ну-ка! – заинтересовался старик и стал перед Мещеряковым, распахнув зипунишко и упершись руками в тощие бока. Показывал себя, чтобы легче было его признать.

Мещеряков как-то сразу повеселев, бодро сделал обход, со всех сторон рассматривая вылинявшую и встрепанную головенку и опорки, которые еще только один день и согласились подержаться на кривоватых ногах.

– Ну как же, действительно, было такое дело! Встречались! – сказал он. – И объясню тебе, где и когда: окопы ты копал, папаша, под Соленой Падью. На оборонительных позициях. Вместе со всем народом. И вместе с ним же стоял в круге, когда зашла наша беседа. Я еще спрашивал у тебя, как будем решать: чтобы Колчак нас бил, либо чтобы мы его? Но только тот раз я и не подумал, что ты этакий воин-герой! Что верно, то верно – такого в голову нисколько не приходило!

– Это, товарищ главнокомандующий, мне самому не враз выяснилось. Ну, а когда война всем миром зашлась, то пришло! – и старикан развел руками в стороны, поглядел на них – налево и направо – с удивлением. – Вот так!

Мещеряков тоже поглядел и снова увидел весь плотно дышащий человеческий круг, в котором он стоял на самой середке, только теперь приметным стало у него сопровождение: два старика. С одной стороны стоял безымянный этот вояка, мелкий ростом, с другой – высокий Власихин.

Опять человеческая густота – любопытствующий, вопрошающий и жадный ее взор – его чуть смутила. И взволновала, как волновала всегда… < > Люди вокруг ждали от него чего-то, какого-то слова. Чего же они ждали, люди, какого слова требовали?

А похвалить надо было народ за его геройство. За нынешнюю победоносную арару. Обязательно. Ничего не вспоминать – ни недавнего своего отступления из разнесчастной этой Моряшихи, < > никаких военных жертв, а просто взять и пережить еще раз нынешнюю победу. Только ее!

Мещеряков пожал руку.

Человеческий круг тотчас замер. Смолк в ожидании речи. Главком же речи говорить не собирался, опустил руку на старикашкино плечо, к нему обратился.

– Герой и победитель, ты не сильно зазнавайся своим поведеньем! Ибо даже самому первому храбрецу победа не принадлежит, а принадлежит одному народу. Ему и еще раз – ему же! У нас в партизанской армии нынче наравне со всеми борется один человек. Из мужиков, но очень способный к разным красивым и стихотворным словам. Так он о народе высказал нынче следующее:

…Навеки историк подчеркнет на память
Храбрость и славу твою!

Навеки… то есть никогда и ни при каких обстоятельствах нынешний день полного и окончательного освобождения от ига, от всякого притеснения и несправедливости не исчезнет из человеческого сознания. Это истина! И в ней нет и даже не может быть никакого обмана, почему и весь трудящийся народ в целом, и в том числе каждый честный человек, идет нынче вперед, хотя бы на самую верную смерть. Идет с гордо поднятой головой!

Все-таки получилась речь. Была…

И старик слушал ее как бы за всех, чуть приоткрыв рот и даже привстав на цыпочки. А все слушали за старика.

Молчание миновало, кто-то первым откашлялся, кто-то переступил с ноги на ногу, старик тоже откашлялся и переступил своими обутками. Мещеряков, чтобы закончить дело, еще сказал:

– Сильное вы, арара, и позорное нанесли поражение противнику. Можно прямо сказать – решающее для всего сражения.. А сами обошлись без потерь.

– Какая там потеря! – живо отозвался старикан. – Бог милостив! Оне, поди-ка, хотя и знают этот араринский секрет, белые, а все одно – редко кто противо его выдерживает. Редко! Вот и нонче – успели стрелить в правую нашу руку, правильно сказать – так в наш правый хвланг, но вовсе мало. Подстрелили, слышно, старикашку, одногодка мне, да ребятишек двоих. Да пятерых коней. А больше не успели.

– Кого, кого? – переспросил Мещеряков. – Насмерть?

– Энтих – насмерть. Ну, есть еще и другие, раненые. Только все одно, едва ли не в любом случае идти на белых варваров арарой имеется расчет. Когда бы они и еще оставались в селении. Не убежали бы прочь, сколь они мирного населения уничтожили бы! Притом – навсегда!

Мещеряков оглянулся. Оглянулся еще раз.

Никто не спрашивал у него, какой же это солдат, какой главком, который посылает в бой стариков и ребятишек?

За что и за кого война? За ребятишек она, за ихнюю жизнь и свободу, а тогда как – кто же имеет право скомандовать ребятиш-

кам идти в бой? Человечья эта и до боли в глазах. До тошноты страшная неувязка сколько раз в нынешнюю войну настигала Мещерякова.

Он снова вдруг представил себе пестроконную лохматую арару, плотную – конь к коню, лицо к лицу, – из которой, казалось, невозможно было вырвать ни одного коня, ни одного лица. Но вот – вырваны были… Один старик, двое ребятишек, пять коней. Притом – навсегда. < >

Тут Гришка Лыткин уже заметил, что сейчас, сию минуту должен быть при своем начальнике.

– Товарищ главком, а у вас в папахе-то, однако, дырка образована! Однако пулей!

Мещеряков скинул папаху – правильно: сквозь прошита двумя дырками, с той и с другой стороны… Не очень заметно, Гришке Лыткину с его вострым глазом только и видно сразу, остальные никто не хватились.

Гришка попросил папаху, послюнявил палец, стал мерлушкин завиток направлять, чтобы он прикрыл переднюю дверку. Завиток не направлялся.

– Ничего! – сказал Гришка. – Вам супруга, Дора Александровна, с изнанки прихвати ниткой – вовсе не заметно будет. Она сделает – комар носу не подточит!

ЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

(Виктор Владимирович Лаврентьев)

Драматург Виктор Владимирович Лаврентьев родился 14 февраля 1914 года в Томске, в семье служащих.

Окончил 2 курса юридического факультета Томского университета. В 1940 году В. Лаврентьев переехал в Новосибирск. Работал судебным исполнителем Запсибкрайсуда, консультантом, художественным руководителем в доме культуры Октябрьской революции. Участник Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен. После демобилизации в 1945 году вернулся в Новосибирск. Работал литсотрудником газеты «Советская Сибирь». С 1958 по 1964 год В. Лаврентев был главным редактором журнала «Сибирские огни». В конце 1960-х годов В. Лаврентьев переехал в Москву. С 1969 по 1972 год возглавлял журнал «Театр».

Литературную деятельность В. Лаврентьев начинал со стихов во фронтовых газетах. Писал также очерки и рассказы. Но как драматург родился он в 1952 году с пьесой «На просторах», поставленной впервые на сцене Новосибирского областного драматического театра. (Дальнейшая драматургическая жизнь В. Лаврентьева в Новосибирске была связана с театром «Красный Факел»). Публиковался в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Сибирские огни». Автор сборников «Пьесы» (1960), «Суровые годы» (1964), «Человек и глобус» (1971), изданных в Москве и Новосибирске.

Член Союза писателей СССР. Участвовал в работе I учредительного съезда Союза писателей РСФСР, III и IV съездов писателей СССР, много лет был членом правления Союза писателей СССР. Избирался делегатом XXII съезда КПСС.

Плодотворная творческая и общественная деятельность В. Лаврентьева отмечена двумя орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями.

Умер 14 июля 1986 года в Москве.

Пьесы В. Лаврентьева отличают разнообразие сюжетов, яркие неординарные характеры, жгучие проблемы времени, сочный язык персонажей. А для его творческой манеры характерно сочетание традиций горьковской и чеховской драматургий, пафос нравственного поиска, необычные композиционные решения.

Ведущей же идеей в творчестве В. Лаврентьева стало утверждение бескорыстного, самоотверженного служения обществу. Пьесы В. Лаврентьева густо населены хорошими людьми – со своими судьбами и характерами, но близкими друг другу честностью, трудовой гордостью, нетерпимостью к эгоизму и подлости. Показанные в повседневных житейских обстоятельствах, герои лаврентьевских пьес преломляют в своих судьбах характерные тенденции эпохи.

Автор чужд приземленного бытописательства. Действующие лица его пьес, как правило, захвачены в напряженные моменты социального и нравственного самоопределения, в те минуты жизни, когда столкновение характеров достигает высокого накала. Как происходит это, например, в лучшей и наиболее известной пьесе В. Лаврентьева – «Кряжевы», где прослеживается история распада и возрождения семьи сибирского мастерового Михея Кряжева с начала XX века и до первой советской пятилетки.

Пьесы В. Лаврентьева в 1960-х годах занимали видное место в репертуаре многих театров СССР, начиная с МХАТа, имени Вахтангова и кончая сценами ряда зарубежных театров.

Выступал В. Лаврентьев и как теоретик театрального искусства.

Творчество В. Лаврентьева стало заметным явлением советской драматургии 60-х – 70-х годов, но его пьесы и сегодня вызывают немылый интерес.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги В. Лаврентьева:

Суровые годы. Пьесы. – Новосибирск, 1964.
Человек и глобус. Пьесы. Новосибирск, 1971.

О В. Лаврентьеве:

Баландин Л. Виктор Лаврентьев (Литературный портрет). – Новосибирск, 1969.
Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.

Виктор ЛАВРЕНЕТЬЕВ

КРЯЖЕВЫ

Пьеса
в четырех действиях с прологом и эпилогом

Действие первое

Действующие лица

Кряжев Михей Федорович – *кровельщик, 43 лет.*
Елена Ивановна – *его жена,40 лет.*
Михаил – *сын 24 лет.*
Надежда – *дочь, 18 лет.*
Людмила – *дочь, 16 лет.*
Ольга – *девушка-сирота, 18 лет.*
Петр Гладышев – *19 лет.*
Гладышев Степан Петрович – *врач, его отец, 40 лет.*
Антон Зорин – *слесарь, 22 лет.*
Плахин Евграф Саввич – *23 лет.*
Плахин Прохор Денисович – *его дядя, 50 лет.*
Пристав.
Штатский.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Маленькая комнатка в в одноэтажном доме. Единственное окно раскрыто настежь. Лучи яркого весеннего солнца прорываются в комнату сквозь ветви цветущей под окнами черемухи. Слева у стены – обнаженный остов узкой железной кровати. Справа – грубовато сделанный стол, над ним пустые полки для книг. Сами книги в беспорядке разбросаны по полу вместе с тетрадями и листьями бумаги. Надежда в простеньком ситцевом платье испуганно прижалась к стене. У стола, продолжая разбираться в бумагах, стоят полицейский пристав и субьект в штатском.

Штатский (*Надежде*). Так почему вы не известили кого следует о кончине господина Волгина?

Надежда. Я… Мы не знали, что надо… Нам никто не сказал.

П р и с т а в. Где же в это время были ваши родители?

Н а д е ж д а. Отец почти все время на работе, а мама уехала в деревню к родным. Начался ледоход, она не смогла вернуться…

П р и с т а в (*штатскому*). Ледоход нынче действительно ранний и очень, я бы сказал, бурный. Вчера, грешным делом, ходил на берег любовался. Боже мой, какая силища у нашей реки! Экие льдины – и ворочает так, играючи. Вы смотрели?

Ш т а т с к и й. Не расположен.

П р и с т а в (*штатскому*). За семьей прежде ничего не замечалось. Но… (смеется) тяга, знаете ли, к просвещению… Старший сын – студент.

Ш т а т с к и й. Да? (*Надежде*). До нашего прихода никто не проявлял заботу о личных вещах покойного?

Н а д е ж д а. Нет.

П р и с т а в. Полюбопытствуйте… Оказывается, покойничек, ко всему прочему, был и стихотворец.

Ш т а т с к и й (*берет листок*). Социал-демократическая стряпня?

П р и с т а в. Весьма вероятно.

Ш т а т с к и й (*читает*). «Двадцать третьего апреля тысяча девятьсот третьего года. Прощайте, мои товарищи.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть.
И равнодушная природа
Красою вечною сиять».

П р и с т а в. Почти благопристойно. Так сказать, прощание со здешним миром… Усматриваете какие-нибудь намеки?

Ш т а т с к и й. Или где-то слыхал, или читал?

П р и с т а в. Разве все упомнишь!

Н а д е ж д а. Это стихи Пушкина…

Ш т а т с к и й. Благодарю. (*Приставу*). Молодая память и прочие совершенства. Вот что значит гимназическое образование… (*Комкает листок и бросает под ноги*).

П р и с т а в. Излишнее и ненужное занятие для женского пола… (*Надежде*). Все бумаги сжечь.

Н а д е ж д а. Слушаюсь.

П р и с т а в. Книги… Тоже не мешает отправить в печь?

Ш т а т с к и й. Это как угодно. Издания цензурные. (*Пауза*). Предосудительного, к сожалению, ничего не нахожу…

П р и с т а в. Оно и лучше. Умер господин поднадзорный – и полное забвение с прекращением дела…

Ш т а т с к и й. Меньше хлопот. Тление – судьба подобных.

П р и с т а в. Прекрасное суждение. Бесследное исчезновение. Прошу. (*Распахивает перед штатским дверь*).

Выходят.

Н а д е ж д а (*делает несколько шагов и опускается на пол; медленно собирает разбросанные листочки*). А я вас не забуду, Дмитрий Иванович. Не забуду, дядя Дима. (*Подбирает с пола первый попавшийся листочек, бережно разглаживает его, читает*). «Настанет время, и вырастет на земле новое поколение мужчин, которым никогда в жизни не приходилось покупать женщину за деньги или другие блага, и поколение женщин, которым не придется вступать в брак с нелюбимым».

В окне показывается доктор Г л а д ы ш е в.
Прислушивается к словам девушки.

«Настанет время, когда печальная Сибирь по воле человека изменит свой облик и не будет пугать и отталкивать, а, наоборот, станет привлекать необъятными вольными просторами, где есть применение лучшим качествам трудолюбивых людей. Настанет время…»

Г л а д ы ш е в. Не настанет… Испугались?

Н а д е ж д а (*спокойно*). Нет. Я заметила вашу тень.

Г л а д ы ш е в. О-о! Где вы научились такому самообладанию? Я подошел и невольно заинтересовался: чем вы увлечены в опустевшем жилище моего бывшего пациента? Это он писал такие мудрости?

Н а д е ж д а. Не знаю. Просто подняла уцелевший листочек…

Г л ад ы ш е в. Дешевенькие мыслишки. Но на молодых и они оказывают, к сожалению, вредное влияние. Запомните, Надежда Михайловна, что больной человек не может родить здоровых мыслей. А тут чахотка. И вот кончается апрель, впереди лето, а нашего знакомого больше нет… Это что же, проходил обыск?

Н а д е ж д а. Да.

Г л а д ы ш е в. Зачем ваш папаша пускал к себе в дом такого жильца? И больной, и поднадзорный… Неприятности.

Н а д е ж д а (*встает и подходит к окну*). Почему нельзя жалеть людей?

Г л а д ы ш е в. Разве я это говорил? Сострадание к ближнему необходимо. Как врач говорю вам: всегда помогайте тем, кто нуждается в помощи. Нет чище и благороднее поступков, согретых

любовью к слабому. Да. (*Пауза*). Что ж, был славный безобидный человек, жертва своих заблуждений. Жаль. Очень жаль. (*Пауза*). Кстати, вы не можете сказать, как отцу, Петр частенько бывал здесь? (*Пауза*). Что же молчите? Отвечайте!

Н а д е ж д а. Припоминаю.

Г л а д ы ш е в. К моему горю, сын так не похож на меня. Слишком увлекающаяся натура. Начитался разных приключенческих книжонок и теперь бредит романтикой. (*Испытующе смотрит на девушку*). Готов безрассудно влюбиться в кого угодно. Один неверный шаг – и вся жизнь у него может быть испорчена нелепым браком. Испорчено все будущее.

Н а д е ж д а (*простодушно*). А кем будет Петр Степанович?

Г л а д ы ш е в. Юноша даровитый. Постараюсь наставить его на хороший путь. Кем бы он ни стал, ему достаточно походить на своего отца, чтобы заслужить и почет и уважение… Вспомнили?

Н а д е ж д а. Я не знаю случая, чтоб Петр Степанович…

Г л а д ы ш е в. Оказывается, он способен быть благоразумным. Будьте здоровы. (*Откланивается и уходит от окна*).

Надежда молча смотрит ему вслед.
Тихо открывается дверь, и осторожно входит П е т р.

П е т р. Удалился?

Н а д е ж д а. Не надо тебе, Петя, ходить к нам. Не надо.

П е т р (*протягивает ей руку*). Я слышал слова папаши. Спасибо, Надя. Дай руку (*Насильно берет ее руку*). Ты настоящий товарищ. (*Улыбается*). Недаром мы с тобой играли в индейцев, и ты мужественно переносила пытки бледнолицых… (*Пауза*). Помнишь, как Дмитрий Иванович был нашим верховным судьей? Как он разбирал наши ссоры?

Надежда молча кивает головой

Не надо, не горюй. Ведь мы оба ему обещали помнить его, не грустить, не плакать… (*Пауза*). Я решил твердо – ценой любого скандала осенью поеду учиться в Петербург… А там… там посмотрим… (*Отпускает руку*). Эти башибузуки ничего не нашли, не взяли?

Н а д е ж д а. Ничего.

П е т р. У нас же, на квартире доктора Гладышева, они искать не станут. Придет время, и люди прочитают записки ссыльного… Приберем книги. Если они тебе не нужны, отдай мне… (*Поняв взгляд девушки*). Пусть стоят на старом месте. (*Начинает собирать с пола книги и устанавливать на полках*).

Случайно на одной из книг их руки встречаются.

Н а д е ж д а (*пытаясь освободить свою руку*). Ты что?

П е т р. Я подумал о том, что в жизни не умирает только одно – мысль. Да! Нет Дмитрия Ивановича, нет людей, написавших вот эти страницы, нет даже государства, где жили авторы, а их мысли с нами. Понимаешь? Значит, чтобы не исчезнуть из мира, надо хотя бы однажды сильно и ярко высказать мысль, очень нужную всем. Ее сохранят, пронесут через тысячелетия. Мысль станет бессмертной.

Н а д е ж да. Ты ее можешь сказать?

П е т р. Не знаю. Но постараюсь. А ты?

Н а д е ж д а. Если найдешь такую мысль, я понесу ее дальше, до самого конца. И передам другим. Веришь?

П е т р. Верю.

Продолжает теперь вместе с Надеждой складывать книги.
В комнату заглядывает Михей, пришедший с работы.

М и х е й (*осматривается*). Хозяева приходили…

П е т р. Здравствуйте, Михей Федорович!

М и х е й. Здравствуйте, молодой человек. (*Входит в комнату*). Оба враз отличались или порознь?

Надежда и Петр непонимающе смотрят друг на друга.

Не сговорились? У кого в садах черемуху обломали? Завернул по дороге на кладбище – смотрю, вся могила в цветах. Значит?..

Н а д е ж д а (*искренне*). Честное слово, не мы.

П е т р. Я и сам удивился. А потом подумал: выходит, в городе у Дмитрия Ивановича было много друзей. Я хотел об этом рассказать Наде, но еще не успел.

М и х е й. Может быть… Человек других не обижал. За одно это добрым словом поминают… Мать не вернулась?

Н а д е ж д а. Нет.

М и х е й. Чем-нибудь накормишь?

Н а д е ж д а. Обед сварила.

М и х е й. Молодец. Умоюсь – подашь. А Людмилка все, как саврас без узды, бегает?

Н а д е ж д а. На берегу играет.

М и х е й. Ох, будет мать заливаться слезами, кода вернется! Но я придумал ей облегчение. (*Выходит из комнаты*).

Слышен его голос: «Заходи. Осматривай хоромы». Через порог перешагивает широкоплечий парень. Снимает с головы немудрящий картузишко, обводит вокруг взглядом веселых, насмешливых глаз.

А н т о н. А что? Для нас прямо дворец. Ведь правду говорю, хозяюшка? И вы, должно быть, согласны, господин гимназист? Здесь, стало быть, мы и обоснуемся.

Н а д е ж д а. Кто это – вы?

А н т о н. «Мы» значит – это я, Антон Зорин. Слесарь. Будем знакомы. (*Посматривая на полку с книгами*). Книг-то сколько! Наверное, это так, для обстановки?

П е т р (*сердясь*). Это не мебель, а источник знаний.

А н т о н (*простодушно*). Кто же столько может прочитать?

Н а д е ж д а. Любой, кто хочет.

А н т о н. Хотеть мало. (*Неловко берет стоящую на краю книгу, раскрывает*). Шибко мелко написано. Начни углубляться – неровен час и обернешься в очкастого. А таких не то что барышни, даже полиция не любит.

П е т р. Чудак.

А н т о н (*осторожно ставит томик на место*). Привычка требуется. Вы такую мигом, как скворец червяка, проглотите, а мне легче, к примеру… Да что говорить… (*Смотрит в окно*). И черемушка, будто девица, в окошко заглядывает. А что? Подходит, мы тут заживем неплохо. Я сейчас, моментом свое имущество притащу. У меня балалайка есть – звук в самую душу проникает. Правда. Река тут недалеко – еще два удовольствия. На лодке кататься, на зорьке с удочками посидеть можно. Парень я компанейский. Если книги не отнимете, буду почитывать. Разговоры общие найдем. Тишину я сам люблю. За день на работе столько грохота наслушаешься – потом радехонек рта не раскрывать.

П е т р. Не заметно.

А н т о н. Для знакомства надо поговорить. (*Улыбаясь*). Вижу – заживем.

М и х е й (*заглядывает в дверь*). По вкусу?

А н т о н. Лучшего не требуется.

Входит Михей.

М и х е й. Тогда перебирайся. Обживешься. В твои годы я женатым был, опору имел. И тебе пора. Где человеку всегда лучшее спасение? В семье. А вы – шалыганы. Трунили многие надо мной, что большой дом строю: «Напрасно, Михей, надрываешься». А вот все родные вокруг, да еще и для хорошего человека приют находится. Значит?

А н т о н (*лукаво подмигнув Петру и Надежде*). Верно, Михей Федорович. Родной дом – великое дело. Только почему не достраиваешь? Бревна припас, а сеней путных нет.

М и х е й. Сына поджидаю. Кончит учиться – приедет, поможет. В крайнем случае, и ты не плох. Подсобишь. А?

А н т о н. А что? Это мы можем.

М и х е й. То-то. (*Надежде*). Зови Людмилку, пора обедать. (*Антону*). Ты, поди, сытый?

А н т о н. Вроде. Заходил мимоходом в «Европу», поглядел в карточку – ничего соответствующего… карману не обнаружил…

Н а д е ж д а. Попробуйте нашего обеда… (*бросается к двери*). Мама!

Входит Е л е н а И в а н о в н а, за ней в дверях показывается О л ь г а. За плечами у нее котомка, в руке – туесок.

М и х е й. Ты откуда, мать, взялась?

Е л е н а (*не отвечая на вопрос мужа*). Не дождался Митирй Иванович… Когда?

М и х е й. Вчера схоронили.

А н т о н (*подходит к Ольге*). Устали? Дайте-ка я вам помогу.

О л ь г а. Что вы… Да нет, мы не устали… Мы завсегда…

А н т о н (*не слушая, снимает с ее плеч котомку, берет из рук туес*). Отдыхайте. Так-то и вздохнуть можно посвободнее.

О л ь га (*смущенная неожиданным вниманием*). По привычке и не замечаешь. Ну спасибо. Мы все сами, все сами…

Е л е н а. А я ему туесочек меду везла… (*Пауза*). Отмучился. (*Взглянув на Ольгу*). Ее Ольгой зовут. С Крещения одинёшенькой осталась Померла Агафья. Пусть девушка у нас поживет. (*Ольге*). Хороший был человек Митрий Иванович, царство ему небесное. Мало таких людей на земле. (*Глядя на мужа и дочь*). Поди, замерзли тут без меня?

М и х е й. Ничего, держимся.

Н а д е ж д а. Как ты, мама, решилась плыть?

Е л е н а. Не привыкать. Словно чуяло сердце – так домой тянуло… Чуть лед пореже пошел, мы с Ольгой перекрестились, да и поплыли. (*Мужу*). Старею, грузнеть начала. Весло-то уж таким под конец тяжелым прикинулось, думала – не дотяну до берега… (*Смотрит на Антона*).

М и х е й. Антоном его зовут. Попросился на квартиру. Говорит, нравится.

Е л е н а. Если человек хороший – живи.

А н т о н. Боюсь себя хвалить.

Е л е н а (*скрывая слезы*). Митрий Иванович вроде родного был… Пойдем, Оля. И мы с тобой голоднёшеньки, и остальных надо кормить…

Уходят с Ольгой.

М и х е й (*Антону*). Тяжело ей, но ты, значит, старайся, пока горе схлынет.

Уходят.

П е т р. Славные у тебя предки.

Н а д е ж д а. Не уходи. Покушай с нами. (*Берет его за руку*). Веришь?

П е т р. Верю.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Проходная комната в доме Кряжевых. Направо – дверь в столовую, налево – во двор. В глубине – лестница в мезонин, где живут дети. Под лестницей – дверь в комнату стариков. Середина августа 1905 года. Вечер за стеной слышится какой-то неясный шум. Слева из сада появляется П е т р Г л а д ы ш е в в косоворотке и студенческой тужурке и тихо зовет: «Надежда Михеевна! Надя!» Справа открывается дверь, и входит Н а д е ж д а, за ней Е в г р а ф. Петр прячется.

Н а д е ж д а (*стараясь казаться заинтересованной*). Что вы говорите?

Е в г р а ф (*с увлечением*). Сказка. Представляете, как она идет на вожжах! (*показывает*). Натянешь, как струны, потом чуть-чуть опустишь – и начинает она, красотка, действовать. Боже мой! Не бежит, а плывет, плывет, чуть земли касается. Отрада! Вот она мне деньги и привозит. Да в этом ли счастье… Игра, игра важна. Кровь. Страшный класс.

Н а д е ж д а. Как вы любите лошадей!

Е в г а ф. Жизнь моя. Родился и вырос с ними. (*Пауза*). Надежда Михеевна, уважьте дядюшку. Он капризный, но других наследников, кроме меня, нет. Умрет – все наше будет.

Н а д е ж д а. Сейчас мама лукошко принесет, и я нарву с гряды огурцов, луку…

Е в г р а ф. Вот-вот. И соорудите ему такую окрошку! Для него это первое блюдо. Можно с вами вдоль грядок погулять?

Н а д е ж д а. Если хотите. (*Замечает Петра*). Прошу вас, исполните одну просьбу.

Е в г р а ф. Десять, как одну.

Н а д е ж д а. Не ходите со мной.

Е в г р а ф. Околдовали вы меня Надежда Михеевна. От вас всегда исходит такой аромат исключительности… Грустно, но покорюсь. (*Уходит*).

Надежда подбегает к выходу.

Н а д е ж д а. Петя? (*Останавливается*). Наконец-то!

П е т р. Здравствуйте!

Н а д е ж д а. Приехали? Пришли? Как вы решились?

П е т р. Хочу знать правду. Скажите, что сделал Михаил. То, что рассказывают мои родители, настолько их возмутило – страх берет. Неужели, правда?

Н а д е ж д а. Да. (*Прислушивается*). Не уходите, это мама.

Из комнаты стариков, торопясь, выходит одетая в лучшее платье Е л е н а И в а н о в н а с лукошком, за ней – О л ь г а.

Е л е н а. Петенька! Как вы попали?

П е т р. По старой привычке – через забор.

Е л е н а. А ваши родители и за людей и за соседей нас теперь не считают.

П е т р. Не обращайте на них внимания.

Н а де ж д а. Мама, дай лукошко. Мы с Петей наберем огурцов, а ты отдохни.

Е л е н а. А вдруг…

Н а де ж д а. Ничего… Я отвечу. Идемте, Петя.

Уходит во двор.

Е л е н а (садится). Ладно ли, что Надежда с Петей?

О л ь г а. Какой в этом грех? Великое впереди счастье. Пусть сердце отведет. Неужели она согласится пойти за Евграфа? Лучше умереть.

Е л е н а. От судьбы не уйдешь… Этот хоть с виду ничего. И в бедности не придется изнывать. Ведь хуже бывает, хуже…

О л ь г а. Сколько раз слыхала, как судачат: «Такой богатый, а польстился на нищенку». (Пауза). Затеяли справлять серебряную свадьбу, а с этим сватовством все веселье пропало. Ровно похороны получились.

Е л е н а. Так на душе тяжело – словно камень положили. Израсходовались на угощение, и вот праздник.

О л ь г а. Известно. Из птицы – пух, из хозяев – дух.

Е л е н а. Хоть ты-то помолчи. (*Пауза*). Где он, сынок мой?

О л ь г а. Нарушил закон, и не стало сына. Скитайся, орел.

Е л е н а. Тяжело. И молитвы не помогают.

О л ь г а (*мечтательно*). На еланях теперь хорошо. В лесу тишина. И кругом – словно золото. Утречком пойдем? Посмотришь на лес, как он веками стоит, – и все наши заботы такими маленькими кажутся. Пойдем.

Е л е н а. Не до гулянок.

О л ь г а. Ни в деревне, ни в городе не встречала счастливых матерей. Видно, пока у груди держишь – вот и вся радость. А там… (*Машет рукой*). И моя судьба такая. Замуж кто возьмет… Один Антон любил и того не стало… Где-то он теперь, в какой тюрьме сидит, живой ли? (*Решительно*). Кровью умоюсь, море слез выплачу, а возьму свою радость.

Михей открывает дверь.

М и х е й (*удручен и расстроен*). Расселись. Один должен хороводиться? Да гляди ты веселее. Сегодня наш, наш праздник.

Е л е н а. Всяко уж стараюсь.

М и х е й. Не заметно. Где Надежда?

Е л е н а. В огороде. Сейчас придет. (*Старается загородить дорогу мужу*).

М и х е й (*укоризненно*).Чего подолом загораживаешь, наседка? (*Идет к двери, останавливается и смотрит*). А, соседушко! Петру Степановичу наше нижайшее. С приездом. (*Меняя тон*). Папаше своему кланяйтесь. (*Идет обратно. Сурово*). Чтоб духу его не было! Такой же, видно, чистоплюй, как отец.

Е л е н а. Ты хоть сегодня-то не горячись.

Михей уходит.

Позови, Оля. (*Уходит за мужем*).

О л ь г а. Сколько радости-то! (*Подходит к двери*). Ступай, Надя, отец зовет. Хватит говорить. И ты, молодой господин, тоже соображай, что девушке можно, а что нельзя.

Входит Петр, за ним Надежда.

П е т р. Почему ты такая строгая стала?

О л ь г а. Говорите много, а толку мало.

Н а д е ж д а. Оля!

О л ь г а. А что? Вон Миша не говорил, а полюбил – и с концом. Всем так надо.

Н а д е ж д а (*подает ей лукошко*). Отнеси на кухню.

Ольга уходит.

П е т р. Не может забыть Антона?

Н а д е ж д а. Нет. Полюбила на всю жизнь…

П е т р. За что его взяли?

Н а д е ж д а. Нашли литературу… не верится, что прошло только два года, как похоронили Дмитрия Ивановича, а вы уехали в Петербург… Столько всяких событий… (*Пауза*). Что ж вы молчите? Говорите.

П е т р. Ах, вы просите продолжать? Под Мукденом потерпела поражение не русская армия, а государственный строй. Впереди другие поля, других сражений. Рассказывать надо долго и много. Мы накануне больших событий. В этом городишке торговцев да лошадников люди думают, что все незыблемо. Все от века. Но и сюда дойдет гроза, дойдет. Она уже прогремела на юге восстанием «Потемкина». В нескольких городах рабочие брались за оружие… Я был девятого января перед Зимним дворцом. Пролитая там кровь не останется без расплаты.

Н а д е ж д а. Это было страшно? Да?

П е т р. Страшно тем, что нельзя было на выстрелы ответить тоже залпами… Да, но хватит об этом. Как ваша жизнь?

Н а д е ж д а. Как у всех…. Отец концы с концами не сводит… Дал с трудом кончить прогимназию, и вот…

П е т р. «Тут чей-то голос дал ответ: «Для женщин факультетов нет». И вы стали образцовой русской барышней, имя коим легион. Чьи родители не торгуют, не воруют, не выжимает из меньшего брата прибыли. Позади попытка получить образование, впереди замужество, а пока гадание о том, какого бог пошлет Ивана-царевича. Да-а.

Н а д е ж д а (*странным равнодушным голосом*). Оракул предсказывает (*смотрит на свою руку*): когда средняя линия оканчивается не на бугорке печали, а на бугорке фортуны, нигде не прерывается, ясно очерчена и хорошего цвета, это предвещает счастье и обеспеченную жизнь во всех отношениях. Вот моя судьба. Я буду женой Евграфа Саввича Плахина.

П е т р. Еграшки Плахина? Этого?.. Простите…

Н а д е ж д а. Этого. Его выгнали даже из коммерческого училища. Не мог осилить мудрость итальянской бухгалтерии.

П е т р. Не понимаю. Вы плачете?

Н а д е ж д а. Лучше мне было оставаться неграмотной дурой. Зачем было учиться…

П е т р. Неправда. Это просто… (*Смеется*).

Н а д е ж д а. Вам смешно, а если другого выхода нет? Отец у Плахина залез в долги. Жить нечем. Поступила служить конторщицей в торговый дом братьев Кухтиных. Через неделю старший компаньон предложил стать содержанкой. Ушла. Была репетитором. Хозяин начал приставать с любезностями. Хозяйка устроила дикую, унизительную сцену. Хоть в петлю… И вот неожиданное «счастье»: Евграф Плахин снизошел до меня. (*Сдерживая злость*). Я верю, что для Евграфв нет большего счастья, если я соглашусь ехать кататься с ним. Посмотрите завтра на его лицо. Он горд, что у него лучший в городе рысак, лучшая пролетка, лучший кучер, и он, кажется, убежден, что я лучшая невеста.

П е т р (*сухо*). Посмотрел бы, но пароход отправляется завтра утром.

Н а д е ж д а. Вы и со стороны даже не хотите взглянуть на мое «счастье»?

П е т р. Как вы можете? Он и прежде был посмешищем для всех. Да, наконец, вы и сейчас над ним смеетесь.

Н а д е ж д а. Над собой… Говорят, что наша семья много грехов имеет. Дядя Дима, потом Антон, а после истории с Михаилом совсем стало скверно жить… Отцу очень тяжело. Нет-нет да и начнет во всем винить образование: «Зачем я вас учил?»

П е т р. Вот что! А я сразу не сообразил, почему так прохладно встретил меня Михей Федорович. (Неожиданно смеется). Простите. Я так отчетливо представляю, как выглядело всегда самодовольное лицо действительного статского советника Попова, когда он убедился, что молодая жена убежала с подчиненным, учителем математики Михаилом Кряжевым. (Хохочет). И вы говорите, что она убежала, когда еще шло свадебное пиршество?

Н а д е ж д а. Да. Представляете, сколько было народу?!

П е т р. Еще бы! Весь здешний бомонд.

Н а д е ж д а. Вначале незаметно ушел Миша, потом встала из-за стола Верочка, вышла в другую комнату и больше не вернулась. Вам смешно, а что было потом? Боже, какой скандал!

П е т р. Молодцы! Особенно Верочка. Какой камень запустила в милое провинциальное болото! Не побоялась плевков нашего цивилизованного общества. Ах, Надежда Михеевна, то ли еще будет… Молодежь начинает бороться за свое счастье.

Н а д е ж д а. Трудно бороться. Из гимназии Михаила выгнали. Взял его управляющим на дальнюю заимку купец Малышев. Так, из жалости, должно быть.

П е т р. Или, наверное, потому, что когда-то Попов исключил из гимназии его дочь. Отомстил.

Н а д е ж д а. Вы помните?

П е т р. В нашем городе, если как-нибудь особенно чихнуть, об этом не только будут знать все, но даже начнут летоисчисление вести с такого события: «Это было до того, как господин такой-то чихнул». – «Нет, после». – «А я вам говорю – до этого». Как я рад, что смог уехать отсюда! В других местах бывают землетрясения, потопы, чума. Все бы кары на этот город.

Н а д е ж д а. Петя!

П е т р. Да, были дни, когда я был Петей, а вы, вы – просто Надькой. Был грех, таскал вас за косички. Впрочем, и вы в долгу не оставались.

Н а д е ж да. Помню. (*Пауза*). Как я вас ждала!

П е т р. Вероятно, и нынче бы не приехал. Но выпала оказия… И как видите, вчера появился, а утром еду обратно.

Н а д е ж д а. Что же привело в наши края?

П е т р. Выполняю задание. Больше ничего не спрашивайте.

Н а д е ж д а (*помолчав*). Их много… товарищей Дмитрия Ивановича?

П е т р. Да.

Н а д е ж д а. Кто же они?

П е т р (*тихо*). Большевики… Ими сказано одно слово – революция. И оно навсегда стало моим. Помнишь?

Н а д е ж д а. Петя! Я, я… на всю жизнь запомнила.

П е т р. Наденька! Но почему Евграф? Сватовство?

Н а д е ж д а. Неужто ты поверил, что я могу предать тебя? (*Смеясь и чуть не плача*). Я тянула время, надеялась, что ты не забыл…

Входит Е л е н а И в а н о в н а.

Е л е н а. Ты с ума сошла! И так разговоров не оберешься. И ты, Петя, хорош. Знаешь, как ославились.

Н а д еж д а. Мама. Петя завтра уезжает. А с Евграфом я сама все улажу.

П е т р. Я сейчас уйду.

Н а д е ж д а. Подожди. Мама, через минутку я вернусь. А им скажи, что мне немножко нездоровится.

В дверях появляется Г л а д ы ш е в.

Г л а д ы ш е в (*Елене Ивановне*). В мои намерения не входило нарушать ваше торжество, поэтому я и не прошел в комнаты, а предпочел обойти вокруг дома. Прошу прощения (*Петру*). Петр! Ты меня огорчаешь. Я прошу тебя немедленно идти домой. Здесь тебе не место. Пожалей свою мать.

П е т р (*приближаясь к отцу*). С детства вы внушали мне прекрасные понятия – всегда спешить на помощь тем, кто в ней нуждается. У наших соседей горе. Поэтому я здесь.

Г л а д ы ш е в. Ты не понимаешь, что делаешь!

П е т р. Прекрасно понимаю.

Г л а д ы ш ев. Подумай о своем будущем.

П е т р. Я давно его обдумал.

Г л а д ы ш е в. Петр!

П е т р. Оставьте меня в покое. Мы никогда не поймем друг друга.

Г л а д ы ш е в. Мы поговорим об этом дома, без свидетелей, не роняя своего достоинства. Не заставляй приходить сюда мать. Ее слезы, может быть, образумят тебя. (*Уходит*).

Молчание.

Е л е н а. Уходите, Петя.

П е т р (*берет Надежду за руку*). Позвольте поговорить с Надей. Пойдем, Надя.

Уходят.

Е л е н а. Люди не разберутся – бог рассудит. Наши слезы не в счет. Кому какая судьба.

Входит Е в г р а ф.

Е в г р а ф. Невоспитанные люди! Мамашу – и вдруг все забыли… А где Надежда Михеевна?

Е л е н а. Наденьке нездоровится. Она сейчас придет.

Е в г р а ф. Понимаю… Эх, Елена Ивановна! Кому другому, а мне господь дал роденьку. Плахины! Отец ямщину держал. Потомственным гужеедом был. Дядюшка – подрядчик. На слово и на руку свиреп, а в остальном – пшш… Сколько раз ему твердил: «Раз все сидят за столом, значит, кто пришел – с рукой не лезь. Поклонись всем и садись на свое место». Нет, не понимает.

Е л е н а. Да пустое все это, Евграф Саввич!

Е в г р а ф. Нельзя! Учить надо. Не понимают этикета! Как свадьба – раскланяюсь я с ним… Люблю я Надежду Михеевну. Ничего для нее не пожалею. А вы если того, насчет денег, то не стесняйтесь. Могу. У меня они шалые. Ну, и такое, конечно, близким доверят. Любезные на всю жизнь связывают крепче крепкого. Одолжайтесь. Без всяких расписок доверяю. Всей душой вхожу в ваше положение…

Вбегает испуганная Л ю д м и л а и, заткнув пальцами уши, зажмурившись, кричит.

Л ю д м и л а. Сейчас Гриша будет петь!

Е л е н а. Ну, зашумели!

Уходит.

Е в г р а ф. Пустой человек, можно сказать – плевый. Кровельщик. А голос на славу. Может все им рушить. Зачем такая сила? Кому достается!

Л ю д м и л а. Поет?

Е в г р а ф (*подходит к ней*). Поет. (*Обнимает ее и целует*).

Л ю д м и л а. Что вы делаете? (*Утирает рукой рот*). Грех. Бог накажет.

Е в г р а ф (*пытается обнять снова*). Как брат. По-родственному.

Л ю д м и л а. Не трогайте. Нельзя.

Е в г р а ф. Тихо! (*Достает из кармана бутылку и рюмку. Наливает*). Пей.

Л ю д м и л а. Грешно. Бог накажет.

Е в г р а ф. А ты на исповеди покайся. Он добрый, простит. Ну?

Л ю д м и л а. Боюсь. (*Берет и пьет*).

Е в г р а ф. Вкусно?

Л ю д м и л а. Очень.

Е в г р а ф. Еще хочешь? (*Наливает себе два раза подряд и пьет*). Особая. Только для дам.

Л ю д м и л а. Как приятно!

Е в г р а ф. А я что говорил! (*Пытается снова обнять ее*), По-родственному.

Л ю д м и л а. Не надо.

Входит М и х е й и П р о х о р П л а х и н.

Л ю д м и л а (*растерявшись*). Гриша…

М и х е й. Ступай к матери.

Людмила уходит, за ней следом Михей.

П р о х о р (*Евграфу*). Где невеста-то? Битюг!

Е в г р а ф (*смеется*). Никуда не денется. На аркане. Теперь только взнуздать.

П р о х о р. Насчет приданого узнал?

Е в г р а ф. Что зря говорить. Больше, чем есть, не дадут.

П р о х о р. Много ты, болван, понимаешь! (*Осматривается вокруг*). Голь перекатная. Разве тебе такую невесту надо?

Е в г р а ф. Образованная. Внешность породистая. Шибко не нажимайте. Уж лучше потом свое выбьем.

П р о х о р. Не учи… Убирайся.

Евграф уходит.

Потом получишь, подставляй карман. (*Вздыхает*). Беднота. Одна честь, что красива. Впору самому приголубить…

Входит мрачный М и х е й.

М и х е й. Да-а… Племяш-то…

П р о х о р. Кто не грешен. Вот давеча за столом разговор был. Взять тебя. Тоже ведь не святой. За воротник аккуратно заливаешь.

М и х е й. Дело мастеровое. Какой кровельщик не пьет! На земле шатает, а на конек заберется – хоть его бурей опрокидывай, не шелохнется. Поет да поплевывает. А залезь туда трезвый? Так вниз и тянет. Того и гляди, на мостовой одни ошметки останутся.

П р о х о р. Разве у тебя какая работа есть? Слыхал, что, когда я вашего брата рассчитал, бегал и ты к Селихову наниматься. А тот умен. Мастеров ему не надо. За гроши понабрал золоторотцев, всяких архаровцев. Мимо боязно пройти – того и гляди, облают… Работнички… А других заказов до будущего лета и не приискать. Не строятся. Время неустойчивое. Умные люди придерживают капитал. Вот оно и выходит, что тебе впору на житье в трактир переселяться… Или под лодку (*Смеется*).

М и х е й (*сдерживая гнев*). Видишь, как. Ну и что же? Ничего. А по-нашему, в чужом доме – в гостях…

П р о х о р. Ну, будет, будет! Экий горячий! Ты вот что. Хотел было насчет твоих долгов спросить, да вижу – пустой разговор. Что с тебя возьмешь? Можно, конечно, и взыскать, распродать твой шурум-бурум, но ладно. Когда-нибудь рассчитаемся. Обожду. Руки-то у тебя золотые. Так вот что. Пока там твои гости посуду вылижут, давай договоримся.

М и х е й. Спешить не к чему.

П р о х о р. Дело заставляет. Еграшка – как овца крученная. До си был на лошадях помешан, теперь – на твоей дочери. Затвердил одно: «Жените на дочери Михея Федоровича». Приходится просить. Отдай. А там что ни говори – на всем крест.

М и х е й (*нерешительно*). И подумать надо, Прохор Денисыч, да и дочь спросить. Любит ли она?

П р о х о р. Нам ли о любви толковать! Все по одной дорожке катим. А думать? Ну что ж, думай. Или еще кто сватался? Поворот от ворот не заказан.

М и х е й. Не заказан, не заказан.

П р о х о р. Домишко хоть по бревнышку складывал, а получилось ничего. Не впустую мои деньги убил. А я когда рубли-то тебе отсчитывал, думал – пропьешь. А? (*Хохочет. Со вздохом*). Простой мы народ, проще нет. Жалеем, про свой черный день забываем, а разве благодарность видим? Не-ет… Кому откажешь?..

М и х е й. После смерти – самой младшей, Людмиле.

П р о х о р. А старшей – благословение?

М и х е й. Мало? Ну, еще обзаведение женское.

П р о х о р. Не густо. Но ладно. Еграшка и голую рад взять. В голове у него нехватка. Ему все равно. Может, побольше наскребешь?

М и х е й. Неоткуда.

П р о х о р. Ну что ж, поговори с дочерью, мы подождем. (*Уходит*).

М и х е й (*с тоской*). Эх, Михаил, Михаил! Вот как они разговаривают. (*Пауза*). Куда же ее унесло? Надежда! (*Поднимается по лестнице в мезонин*).

У входа в сад появляются Н а д е ж д а и П е т р.

Н а д е ж д а. (*пряча слезы*). Увези меня с собой. Я ничем не буду обременять тебя. Но позволь мне быть возле тебя. Неужели я не нужна, мне не найдется дела?

П е т р. Ты понимаешь, что значит уйти из дома?

Н а д е ж д а. Очень хорошо. Зато я буду человеком. (*Пауза*). Я тебя так ждала… верила. А ты хочешь меня оставить Плахиным. Петя, Петя! Уезжай. Я одна найду дорогу к друзьям Дмитрия Ивановича и Антона.

П е т р. А тюрьма? А ссылка? Я отказываю тебе, жалея.

Н а де ж д а. Я готова на все.

П е т р. Хорошо. Приезжай на пристань.

Михей спускается вниз.

М и х е й. Надежда!

Н а д е ж д а (*тихо*). Я приду.

Петр скрывается.

Что, папа?

М и х е й (*спустился вниз молча, любуясь дочерью*). Веселая. Вот просят.

Н а д е ж д а. Растоптать душу, стать заживо мертвой?

М и х е й. А ты думаешь, почему на Руси так много юродивых да убогих? Вот когда берут за глотку, когда каждый день дышать нечем… (*Задыхается*). Жизнь – эта такая, такая мялка… (*Меняя тон*). И все Михаил. Захотел любить, а не подумал, как от его радости другим придется. Да и свою радость в горе потеряет… Решай, ты большая. Не такую судьбу я хотел для вас… Старался изо всех сил. Думал: сам темный – пусть хоть дети станут образованными… Михаила едва-едва вытянул, тебе хоть краешком науки удалось попробовать, а про Людмилкину учебу теперь и загадывать нельзя… Селихов обещал мне работу и не дал. Застряла у него в глотке моя фамилия. Придется зубы на полку класть. (*Пауза*). А не лучше ли им ворота показать? К одному уж.

Н а д е ж д а. Как дальше жить станем?

М и х е й. Впору убегать из города. Я-то выдержу, а вот вам…

Н а д е ж д а. Я согласна.

Вбегает Л ю д м и л а.

Л ю д м и л а. Надежда! Иди плясать!

М и х е й. Что ты как оглашенная бегаешь? Стыдись. (*Надежде*). Не ждал. Я думал, ты откажешь.

Н а д е ж д а. До утра весь город будет знать, что я невеста Плахина. (*Смотрит на отца*). Как умею, хочу рассчитаться, что оценили меня.

М и х е й. Глаза у тебя недобрые. Лучше я сам им скажу. Пусть уходят. Изведут они тебя.

Н а д е ж да. Не надо. За этот год я взрослая стала. Теперь знаю, в чем счастье. Пойдем.

М и х е й. Скажи, что задумала?

Н а д е ж д а. Хочу быть счастливой.

Распахивается дверь ив сопровождении гармониста входит Е в г р а ф.

Е в г р а ф (*выделывая на «подгорной», приближается к Надежде*). Надежда Михеевна, прошу! (*Пляшет*).

Дождавшись нужного такта, Надежда решительно встряхивает головой и идет в танце навстречу Евграфу. Столпившиеся в дверях гости всяк свое.

Так, так, жги! Отрывай подметки!

Все уходят.

Л ю д м и л а. Господи, прости меня, грешную! Сейчас объявят: жених и невеста.

Доносится какой-то неясный шум, возгласы.

Теперь как родственник он может меня поцеловать. О чем я думаю? Господи, помилуй меня грешницу!

В дверях появляется М и х а и л.

М и х а и л. Людмила!

Людмила испуганно вздрагивает.

Не кричи.

Л ю д м и л а. Не буду, не буду.

М и х а и л. Кто там?

Л ю д м и л а. Гости. Скоро Надина свадьба… Какой ты страшный! Это тебя бог наказывает.

М и х а и л. Ты все еще богомолка?

Л ю д м и ла. Из-за тебя ко мне подруги не ходят. И все тебя ругают.

М и х а и л. Позови маму. Меня уже твой бог и бог господина Попова наказал, слышишь?

Людмила уходит.
Быстро входит, почти вбегает Е л е н а И в а н о в н а.

Е л е н а. Миша, сынок! Что случилось?

М и х а и л (*тихо, сдерживая боль*). Вера умерла.

Е л е н а. Миша, Миша! Сынок!

М и х а и л. Ее убили, мама, убили.

Е л е н а. Тише! Там гости… Постой, смирись. Все от бога. Ее не вернешь. Успокойся. Бедный ты мой!

М и х а и л. Два раза посылал лошадей за доктором. Целые сутки она мучилась. И Гладышев не приехал. И вокруг ни души. Старуха кухарка да я. Вера не плакала. Она поняла, что умирает, что помощи ждать не надо. Но она была счастлива со мной…

Мама, разве я мог отступить, разве я мог смириться, отдать любимую? (*Пауза*). Перед кем я виноват? А Вера? За что ее убили? Ох, сволочи, сволочи? Захотели и убили. За что? Мама!

Е л е н а. Миша… Поплачь, сынок, поплачь. Не держи в себе горе. Не держи. Запечется сердце, сгорит душа, на всю жизнь одна тоска останется…

М и х а и л. Не могу… Мама, дочь жива. Я ее привез. Она на постоялом дворе с кухаркой. Возьмите ребенка. Вера хотела, чтобы дочь ее носила имя Любовь. Больше ни о чем не прошу.

Е л е н а. А ты?

М и х а и л. Я поеду хоронить Веру, а потом… не знаю. Прости, мама…

Е л е н а. Что ты, сынок…

М и х а и л. Сколько всем горя досталось… Я посмел полюбить. Я посмел увезти от старика насильно обвенчанную девушку. Возьмите дочь.

Е л е н а. Подожди, оденусь..

М и х а и л. Я сам принесу. Ты только не плачь.

Входит Н а д е ж д а.

М и ш а! (*Бросается к нему*). Ты приехал поздравить меня? (*Приседает в реверансе*) Невеста Евграфа Плахина.

М и х а и л. И ты… (*Поворачивается к двери*).

Н а д е ж д а. Почему ты уходишь? Мама, что случилось?

М и х а и л, Если я виноват перед тобой…

Н а д е ж д а. Ни в чем я тебя не виню.

М и х а и л. Спасибо, сестренка. (*Уходит*).

Н а д е ж д а. Зачем он приходил?

Е л е н а. Вера умерла.

Н а д е ж д а (*бросается к двери*). Миша!

Входи Л ю д м и л а.

Л ю д м и л а. Где Михаил? Зачем он пришел? Ну вот, ты всегда так, мама. Все плачешь и плачешь. Я его теперь нисколько не люблю. Все равно как чужой.

Е л е н а. Почему ты такая злая? В кого ты родилась?

Л ю д м и л а. Из-за него все мучаемся.

Е л е на. Ступай, ложись спать. Молодая еще судить. Иди. (*Крестит ее*). Господь с тобой.

Л ю д м и л а. Я знаю, он пришел прощения просить. Так ему и надо. А этой Верке я никогда бы не простила.

Е л е н а. Уйди!

Л ю д м и л а. Не буду. А к свадьбе мне платье сошьешь?

Е л е н а. Платье? Сошью, сошью.

Л ю д м и л а. Не обмани. (*Взбегает по лестнице*). Завтра я поеду кататься с Евграфом Саввичем. Он меня сам пригласил. (*Уходит*).

Е л е н а. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его!

Входит Н а д е ж д а и останавливается в дверях.

Где Миша?

Н а д е ж д а. Он сейчас вернется. (*Подходит к матери*). Мама! Если что-нибудь со мной случится, ради бога, не убивайся. Молчи, молчи! Я всегда была послушной. Это я говорю на всякий случай. Сейчас я пошлю Олю – пусть она поможет привести Любочку. Надо кормилицу найти, кроватку из чулана достать. Видишь, как хорошо, что ее не продали. Ты ждала внуков, вот они и появились. Хочешь, с отцом поговорю?

Е л е н а. Что ты? Пусть Миша ребенка на кухню принесет. Я сама с отцом улажу…. (*Уходит к себе*).

Надежда идет к двери направо. Навстречу Е в г р а ф.

Е в г р а ф. Надежда Михеевна! (*Хватает ее руку и целует*). Как Еграшка счастлив! Поедемте кататься. Тройкой. Чтоб все знали.

Н а д е ж д а. Поздно. Не сердитесь. Когда-нибудь в другой раз вы меня прокатите. Идемте, я вас провожу.

Е в г р а ф. Люблю за твердый характер.

Надежда и Евграф уходят. Появляется М и х е й.

М и х е й (*в дверях*). Только вы там… (*Прикрывает за собой дверь, проходит и садится на стул. Пауза*). Легко тебе было, Митрий Иванович, про жизнь рассуждать. Или тому же Антону. А вот тут… Стар ты, Михей, становишься, стар. Эх, кабы в молодости, когда одна голова на плечах… Нет, шалишь. (*Грозит в пространство*). Меня и теперь не скоро с ног сшибешь. Не скоро. Были бы сила да здоровье, а там посмотрим. (*Пауза*). Чего Надежда задумала?

Входит Е л е н а И в а н о в н а.

Пригорюнилась? Дочь жалко? А я ее не отдам. Плахиным родня! Все равно, что с волком подружиться. Не отдам. (Пауза). Всю

жизнь о детях думал. Все для них старался, чтобы одной семьей жить. Почему они не хотят? Почему? Эх, Михаил, Михаил! Как он меня ударил! Не с того жизнь начал

Е л е н а. Это нас бог наказывает.

М и х е й. Перестань. Затвердила – бог да бог. У меня с богом свои счеты. Я почти у всех храмов в городе крыши крыл, за красненькую кресты на маковках ставил. Бог тоже деньгу любит. Лишнего не платил. А уж за то, что на папертях под верстаком водку держал, за это он карать не может. По его же воле слаб человек.

Е л е н а. Где нет любви, там и божьего благословенья нет.

М и х е й. Постой, Елена. Кажется, мы, а не соседи, сегодня серебряную свадьбу справляли. Не поздновато про любовь говорить?

Е л е н а. Для любви да для правды никогда не поздно.

М и х е й. Любить! А было у нас время для этого? О хлебе думали. Молчи.

Е л е н а. Не о нас речь. За что на Мишу сердишься? За что разлюбил?

М и х е й. Уважать меня перестал. Пришел бы, сказал… Ан нет. Все молчком, тайком. Отец я ему или нет? Самостоятельный стал. Один захотел жизнь строить – строй! (*Пауза*). Что Надежда задумала?

Е л е н а. Ничего я, Михей, не знаю. Одно горе. Ты к Мише будь подобрее, у него…

Входит М и х а и л. Пауза.

М и х а и л. Мама. Любочка на кухне. Береги ее. (*Делает движение уйти*).

Е л е н а. Погоди. (*Пытается встать со стула и не может*).

М и х а и л. Мне нельзя оставаться.

М и х е й (*тихо*). За наследством явился? Еще живу. (*Скрывая тоску*). Ну, говори же что-нибудь, говори. Вот свадьбу серебряную справили. Двадцать пять лет прожили – никто о нас плохого слова не сказал, пока ты не подрос, не образовался. Зачем я тебя учил, надеялся? Чтобы без сына остаться?

М и х а и л. Не сердитесь, отец, что я вас оставил. Теперь до конца идти своей дорогой… Вот пришел и ухожу. (*Уходит*).

М и х е й. Ты слышала? Ну, что ты молчишь? Зачем он так? Думал, нам легче станет?

Входит Н а д е ж д а, неся зажженную лампу.

Н а д е ж д а. Мама, я нашла кормилицу. Пелагея Сидоровна согласна. (*Ставит лампу на стол*).

Входит О л ь г а с ребенком.

О л ь г а. Посмотри, бабушка, что за внучка! (*Подходит к Елене*).

Е л е н а (*всхлипывает*). Малюточка ты моя, сиротиночка!

О л ь г а (*Михею*). Ну, а ты, Ермак Тимофеевич, не хочешь посмотреть?

Е л е н а. Вот твоя кровь, смотри. Вылитая Верочка. Царство ей небесное безгрешной.

Михей подходит и молча смотрит.

О л ь г а (*ребенку*). Вот и прибыль в семье. Вот и забота для вас нашлась. Кукленок. Успеете, еще налюбуетесь на нее…. (*Михею*). Вот оно как в жизни получается. Любовь-то всегда – и среди горя – радость приносит.

М и х е й. Значит, умерла? Добили? (*Кричит*). Верни Михаила! Слышишь, мать? Верни мне сына. Куда он ушел? (*Бросается из комнаты*).

Е л е н а. Держи его, Оля. Еще насмешит людей.

Уходит вместе с Ольгой.

Н а д е ж д а. Вот и Верочки больше нет. (*Тихо поднимается по лестнице вверх. В это время бьют часы*). Одиннадцать. А пароход… (*Быстро взбегает наверх и заходит в комнату*).

Е л е н а ведет за руку М и х е я.

Е л е н а. Ступай отдохни. Куда ночью гнаться! Завтра все вместе поедем. Иди, иди!

М и х е й. Как ему теперь одному… Гордый…

Е л е н а. Ступай. А я пойду к внучке.

М и х е й. Молодые, не подумали о ребенке. Каково ей будет потом в жизни, беззаконной? (*Уходит к себе*).

Елена Ивановна тушит лампу и уходит направо. На площадке появляется Надежда с узелком в пальто через руку. Следом за ней – Людмила в ночной сорочке.

Н а д е ж д а. Дай я тебя поцелую. (*Целует*).

Л ю д м и л а (*плачет*). Что ты делаешь? Тихоня. Послушная. А сама? Я папу позову. Я закричу. (*Шепотом*). Папа.

Н а д е ж д а. Нет, не позовешь. Когда-нибудь и тебе станет невмоготу быть среди Плахиных. И ты пойдешь искать другую жизнь. Прощай… Береги стариков и племянницу. Поцелуй ее за меня. Олю поцелуй. (*Спускается по лестнице*).

Л ю д м и л а. Я закричу. (*Шепотом*). Мама!

Н а д е ж д а. Прощай!

Надежда подходит к двери. Стоит, прислушивается. В это время из комнаты стариков выходит М и х е й. Он еще не ложился. Замечает Надежду, когда она спускается в сад. Хочет крикнуть, позвать, но не может, а только манит рукой. Стоит молча. Затем чувствует слабость, пошатываясь, подходит к стулу и садится.

Л ю д м и л а (*плачет*). Господи, помоги! Что я теперь буду делать? Что я теперь буду делать?..

М и х е й. И эта… ушла. Зря силы положил. Зря. (*Встает, смотрит в открытую дверь. Начинает потихоньку смеяться. Потом все громче и громче*). С носом, с носом оставим… Взяли? Женихи! Звери!

З а н а в е с

«НЕСТОР СИБИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

(Николай Николаевич Яновский)

Критик, литературовед, историк литературы Николай Николаевич Яновский родился 6 д е к а б р я 1 9 1 4 г о д а в городе Камень-на-Оби Алтайского края, в крестьянской семье.

После школы-семилетки трудовую деятельность начинал в библиотеке. Работал плотником, каменщиком, лесорубом, бухгалтером, шахтером, был репрессирован и строил Туломскую ГЭС в Карелии. После реабилитации Н. Яновский окончил факультет языка и литературы Ленинградского педагогического института им. М.Н. Покровского учительствовал в сельских школах Ленинградской и Томской областей. Великую Отечественную войну Н. Яновский прошел стрелком танкового десанта, участвовал в боях под Орлом и Курском, где его контузило. При форсировании Днепра под Киевом Н. Яновский был ранен. Демобилизовавшись в 1945 году, он преподавал в школах и техникумах Новосибирска. Более двадцати лет проработал Н. Яновский в журнале. «Сибирские огни» – заведующим отделом критики и заместителем главного редактора.

В 1944 году в армейской газете стали появляться первые библиографические заметки и очерки Н. Яновского. Систематически же начал печататься с 1948 года в газетах Новосибирска. А началом профессионально-критической деятельности Н. Яновского надо считать появление в «Сибирских огнях» в 1949 году его первой рецензии.

Кроме «Сибирских огней», Н. Яновский публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», «Нева»», «Москва», «Вопросы литературы» и др. В 1955 году в Тюмени вышла первая книга (совместно с Б. Рясенцевым)

Н. Яновского «Литературные очерки». Он также автор книг «Всеволод Иванов» (1955), «Лидия Сейфуллина» (1959), «Художник и время» (1962), «С веком наравне» (1965), «История и современность» (1974), «На переломе» (1978), «Виктор Астафьев» (1982), «Верность» (1984), «Писатели Сибири» (1988) и др., изданных в Новосибирске, Барнауле, Омске, Кемерово и Москве. Член Союза писателей СССР.

Умер 24 сентября 1990 года в Новосибирске.

Круг литературно-критических и исторических интересов Н. Яновского был чрезвычайно обширен. В многочисленных статьях, рецензиях, монографиях, обзорах, книгах он рассказал читателям о нескольких поколениях сибирских литераторов. Героями его литературоведческих и критических произведений были Н. Ядринцев и Вс. Иванов, Вяч. Шишков и В. Шукшин, Г. Гребенщиков и В. Астафьев, Л. Сейфуллина и С. Залыгин, Ис. Гольдберг и И. Кудинов, А. Коптелов и В. Распутин, А. Новоселов и И. Лавров, М. Кравков и Н. Самохин... С одинаковой увлеченностью и заинтересованностью Н. Яновский вел разговор как о писателях уже завершивших свой творческий путь, так и продолжающих его. Все написанное Н. Яновским является, по сути, главами истории русской и советской литературы в Сибири. Н. Яновский неизменно прослеживал взаимосвязь, преемственность поколений писателей-сибиряков, их вклад в общероссийский литературно-исторический процесс. История и современность в понимании Н. Яновского были крыльями единого литературного процесса, поэтому, о чем бы ни писал критик, он везде поверял современность историей, а историю современностью.

Как истинный патриот и подвижник сибирской литературы огромную работу Н. Яновский проводил по изучению и популяризации творчества забытых и полузабытых сибирских писателей. Немало «белых пятен» удалось ему закрыть на литературной карте Сибири, немало незаслуженно забытых писательских имен восстановить. Результаты этой целенаправленной и систематической исследовательской работы отразились не только в его собственных сочинениях, но и в таких изданиях, как фундаментальный академический труд «Очерки русской литературы Сибири» (1982) и многотомное «Литературное наследство Сибири». Если в первом Н. Яновский был одним из основных авторов, то во втором – инициатором, главным редактором и составителем всех восьми его томов. Кроме того, Н. Яновский составил и отредактировал ряд книг сибирских авторов – Г. Потанина, Г. Гребенщикова, В. Зазубрина, А. Новоселова, Ис. Гольдберга, М. Кравкова, М. Азадовского и др., а также написал около сотни статей о литераторах-земляках в Краткую литературную энциклопедию (М., 1962 – 1968). Многие годы Н. Яновский собирал материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века», издание которого было осуществлено в Новосибирске в 1997 году уже после смерти автора.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Н. Яновского:

Виктор Астафьев. Очерк творческой судьбы. – М., 1982.
Верность. Статьи. – Новосибирск, 1984.
Писатели Сибири. Избранные статьи. – М., 1988.

О Н. Яновском:

Мостков Ю. Грани таланта. // Ю. Мостков. Портреты. – Новосибирск, 1981.
Горшенин А. Человек-институт. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Николай ЯНОВСКИЙ

ЗАБОТЫ И ТРЕВОГИ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

На Матёру вернуться уже нельзя – остров затопило.

Из интервью писателя

Повесть «Прощание с Матёрой, появившаяся в конце 1976 года, производит потрясающее впечатление своей правдой и широтой авторского взгляда. Это крупнейшее явление современной советской литературы, подлинно художественное произведение, созданное большим и зрелым мастером.

< >

* * *

Земля в беде – это крик души В. Распутина. Не он первый < > возвысил свой голос в ее защиту, но в повести «Прощание с Матёрой» он высказался как гражданин и художник с огромной человеческой взволнованностью и редкой силой художественного обобщения.

Перечитайте девятнадцатую главу о «столкновении» мужиков-пожогщиков с «царским лиственеем». Он только что не говорит, но лиственъ – полноправный член большой семьи матёринцев, на его памяти тут все – хорошее и плохое, он участник многих важных событий в жизни людей. Читая о могучем лиственe, мы не просто

узнали, а кожей почувствовали, до какой степени все мы дети природы и как органично с нею связаны. Мужики-пожогщики изображаются как «чужие люди», внешне неприятные, а по той работе, какую выполняют, отвратные – невзрачные, бессмысленно болтливые, грязно матерящиеся. Лиственъ они рубили топором, пилили бензопилой, дважды жгли огнем – ничто не помогло: «дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не признавая никакой силы, кроме своей собственной».

История с лиственем – гимн природе, ее могуществу и несокрушимости: ведь недаром «жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», и крепится остров к речному дну, к одной общей земле, и, покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра». Образ, как обычно в подлинно художественном произведении, многозначен. В читательском сознании лиственъ навсегда останется нашей «крепью» к одной общей для всех земле, однако сцена единоборства с «чужими людьми» – иначе их писатель называть не хочет – хотя и завершилась его победой, все-таки заполнена трагическими аккордами, так как пожогщики успели добросовестно сделать свое дело.

Когда пожогщики убедились, что им не осилить лиственъ, один из них «со злостью кивнул» на рядом стоящую березу:

– Урони хоть ее. Что б не торчала тут… Наросли, понимаешь…

Очень точное выражение вполне определенной «философии». Выходит, что пожогщики не только выполняют необходимую, хоть и горькую работу, а еще и заражаются полнейшим безразличием к ней, больше того – злобой. А это уже позиция – вольная или невольная – не будем настаивать, но она существует. Потому-то так пронзительно звучат последние слова этой главы: «И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и норовистым, не поддавшимся людям «царским лиственем», упала, ломая последние свои ветви и обнажив в местах среза и сломов уже и не белое, уже красноватое старческое волокно. «Царский лиственъ» не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли матёринские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на лугу сиротливо зеленели березы да на гарях чернели острые обугленные столбы. Низкие, затухающие дымы ползли по острову; желтела, как дымилась, стерня на полях с опаленными межами; выстывали луга; к голой, обезображенной Матёре жалась такая же голая, обезображенная Подмога».

Может быть, теперь к месту напомнить, что в проектах строительства мощных ГЭС, как правило, предусматриваются средства на создание и использование новейшей техники, которая должна спасти для людей богатства затопляемой земли. Но техника эта нередко к сроку не поспевает, и при заполнении, например, Братского водохранилища лес был «вполне разумно» сожжен и затоплен. Этого не мог не знать В. Распутин. Это не могло не отложиться в нашем и его сознании как непредусмотренное бедствие. Источники создания этой, можно сказать, символической сцены вполне реальны. Но преимущества ее перед частным, не заслуживающим внимания случая в том, что она охватывает все другие подобные случаи, вызванные к жизни глухотой и немотой нравственного чувства, причем ведь с опорой на непреодолимые «объективные обстоятельства».

«Прощание с Матёрой» – произведение острокритическое по отношению ко всякому своеволию, эгоизму, равнодушию, к любым проявлениям казенщины и деловитой черствости. Писатель сконцентрировал все это вокруг судьбы Матёры и потребовал от нас того же возмущения, какое испытывал он сам, требовал задуматься над тем, что вершится людьми же, что формирует их взгляды, определяет их поведение, накладывает каинову печать на весь их облик. Тут нельзя не поддержать анализ повести, сделанный одним из участников обсуждении творчества В. Распутина в журнале «Вопросы литературы» – Ю. Селезневым. Критик разъяснил, что природа трагического в повести вытекает не из того печального для матёринцев факта, что их переселили с родных обжитых мест, ибо строительство ГЭС и связанное с ним переселение диктовалось в конечном счете общенародным благом, а из того, как это переселение осуществлялось непосредственными исполнителями, «посредниками», как их критик называет.

«Всеобщее благо, – обобщает он, – и определенное отношение к жизни, к людям, оборачивающееся порой кощунством (кстати, в буквальном смысле это слово и означает надругательство над костьми предков), говоря словами пушкинской трагедии, – «две вещи несовместные…».

И далее характеризуется такой «тип сознания», какой «по самой природе своей – вне государственных, вне народных интересов», это «тип сознания» работника отдела по зоне затопления товарища Жука, так сказать, представителя государства в деревне Матёра. Ю. Селезнев напоминает сцену кощунственного разорения кладбища на глазах матёринцев и возникшего вследствие этого конфликта, потрясшего нашу душу. Когда возмущенные матёринцы спросили Жука, зачем сейчас, а не под самый конец – «чтоб нам не видать» – занялись тут очисткой кладбища, он ответил: «Вы

знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди…Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты… Приходится думать и об этом».

Тут великолепно по своему цинизму почти каждое слово: не кресты наших предков, а «ваши кресты», не забота о самочувствии и страданиях рядом стоящих людей, а этакая тога уставшего от «проницательного» заглядывания в будущее деятеля, которому вот ведь приходится не об одних матёринцах и их могилах думать. А на совет – надо бы под конец, – сразу парирует: «Это и есть под конец. Дальше тянуть некуда. У меня тоже лишнего времени нет». Снова: не «у нас», а «у меня» – другого довода у него нет, а по точной характеристике Ю. Селезнева, обоснованной текстом повести, и быть не может.

«Прежде всего– говорит критик, – обращает на себя внимание безличность его позиции, отражающая и его сознание: он лицо официальное, ему – положено, потому что есть постановление… Этот среднебезликий род весьма характерен: он тут как бы ни при чем, он – только исполняет». Но важнее другое. Как видим, Жук, по существу, прячется за «решение», прикрывая им свои собственные нужды и интересы». (Вопр. лит. 1977, №2, С. 53).

Отличных «постановлений» и «решений» может быть сколько угодно, а результат определяется деятельностью людей, их интересами в сфере производства и управления. И дело не в том, что у одного ведомственность преобладает в масштабе министерства, а у другого – в масштабе собственного «я»; речь идет о моральном климате в обществе.

Чем лучше Жука, например, председатель поссовета, живущий в Матёре без году неделя? Решительно ничем, потому что перед ним маячит вдохновляющий пример того же Жука и ему подобных «официальных лиц». Это Воронцов твердит казенную фразу: «Будем понимать положение или что будем?» Это он в ответ на возмущение матёринцев, когда кладбище разорять стали, ничего объяснять не захотел, кроме одного: «Это положено делать везде. Понятно вам? Везде. Положено». Может быть, просто он тупой и черствый человек. Да, конечно. Но не только. Дело тут сложнее. Когда дед Егор высказал правду о нем самом – «Сам ты турист… ране моря только причапал. Тебе один хрен, где жить – у нас или ишо где», – то сразу вскипел Воронцов и по-начальнически оборвал: «Ты, Карпов, народ не баламуть. Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим». Это уже сознательно выработанная позиция, идущая вразрез со всеми принципами нашей жизни. С полным сознанием своей правоты Воронцов заявляет матёринцам: «С личной картошкой как хотите, хоть совсем не копайте. А совхозный урожай мы обязаны убрать». Не случайно именно Воронцов в самом конце повести в командирском раже в ночь, в туман повел катер на остров, чтобы привезти всех оставшихся там доживать последние часы и минуты, и, конечно, не достиг цели. Однако раскрылся он здесь в роли демагога и равнодушного ко всему прожектера с полным блеском. Совсем не забота о людях его обуяла, а боязнь ответственности. «А с кого завтра спросят, – волнуется он, – если утром нагрянет государственная комиссия? …Конечно, с него! И барак все еще стоит, и люди самовольно задержались…»

В этой сцене Воронцов в большей мере, чем где-либо сближен с Петрухой, беспутным матёринским мужиком. На крикливый выговор председателя – «Мать у тебя почему в неположенном месте находится, пропойца ты несчастный?» – Петруха ответил: «Че бы вы делали без этих пьяниц».

Критикуя и высмеивая, В. Распутин не проводит резкой грани между «своими» и «чужими» для Матёры. Изменяют Матёре и «свои». Это и Андрей, и жена Павла Соня, и Клава Стригунова, наконец, Петруха Зотов. Он изображается как болтун, лентяй, деревенский придурок и пьяница. К матери Петруха никаких чувств не испытывает, замечает лишь тогда, когда она ему для чего-нибудь нужна. Он до срока спалил свою избу, намеченную для вывоза, поскольку она признана комиссией архитектурной ценностью, и немедленно был расхвален Воронцовым и поставлен всем в пример. «Петруху сроду никто не хвалил, – обобщает автор, – и он завзглядывал кругом себя героем». А вскоре «устроился» в пожогщики, и в глазах односельчан – в том числе и матери – это последняя степень его падения.. Такую «славушку» ему «до смерти не отмыть».

В повести герои обсуждают жгучий вопрос: откуда и как такие Петрухи появляются? Возникает первое, что обычно приходит в голову: уродился таким беспутным, чего с него взять? Второе – тоже частое и законное: мать всю жизнь «поблажки давала» и «исповадила донельзя» его своим всепрощением и кротостью. Со злобой к людям человек все-таки не рождается. Тем не менее, какие-то врожденные свойства и родительское попустительство – неизменные слагаемые, порождающие Петрух. Однако не будем торопиться с окончательными выводами. Слагаемых этих на самом деле значительно больше.

Построен для матёринцев поселок – «богато, красиво, домик к домику, линейка к линейке, да поставлен так не по-людски и несуразно, что только руками развести». Отнесен за пять верст от

будущего моря, вокруг не земля, а глина, которую еще улучшать да улучшать надо, чтоб она себя когда-нибудь окупила, а тут еще в каждом подполье – вода… «Объяснение простое, – думает Павел, самый рачительный хозяин Матёры, – не для себя строили, смотрели только, как легче построить, и меньше всего думали, удобно ли будет жить».

Приехали на уборку урожая из города тридцать человек, «орда» – без обиняков называет их автор, потому что первое, что они сделали, – перепились и передрались. Убирали урожай понемножку, но «хорошо работать они не могли; не свое собирают – не им и страдать». Зачем их послали? Посеяно было на этот раз меньше, чем обычно, мтёринцы сами бы управились, но «пришло время обходиться без того, что давала земля, – весь остров уничтожают, – так зачем же собирать колоски и начисто выколупывать картофель?! Господствует равнодушно-формальное отношение к уборке, заранее рассчитанной на убыток, по существу, неупорядоченной, хаотической.

А Павел между тем задавал себе и нам нелегкие, но необходимые вопросы: «Зачем без нужды… создавать для людей никому не нужные трудности, зачем, заботясь о маленьких удобствах, создавать большие неудобства?.. Зачем потребовали от людей, кому жить тут, напрасных трудов? Сколько, выгадывая на один день, потеряли наперед – и почему бы это не подсчитать заранее? Можно, конечно, и не задаваться этими вопросами, – размышляет далее Павел, – а жить, как живется, плыть, как плывется, да ведь на том замешен: знать, что почем и что для чего, самому допытываться до истины. На то ты и человек».

В соответствии с таким к себе требованием попросился Павел на последние месяцы в Матёру, «чтобы по-свойски, по-хозяйски почистить и отпустить под воду остров», – ему отвечали с обычной дальнозоркой туманностью: «Там видно будет…». И все пошло так, как изображено в повести. Никого, ни Павла, ни любого другого из матёринцев, не спросили, где лучше поселок для них построить, как лучше урожай убрать, как по-человечески со старыми людьми обойтись. Да и о нем самом не мешало бы подумать: ведь никто в совхозе толком не знал, чем ему надлежит заниматься, потому как надо было «растолкать многочисленное прежнее чванство людей…» < >

Ядовит и публицистичен В. Распутин в этой девятой главке. Но если приглядеться – все здесь работает на характер и реальные поступки Павла, на характер и истоки характера Петрухи и Петрух в нашем обществе.

В годы крупного строительства «мелкое» как-то отодвинулось на второй и третий план, не стало браться в расчет, больше того, стало почитаться естественной необходимой жертвой во имя «великого». Так и пишут: «Это как бы запланированные прогрессом слезы, тем более что слезы, а не кровь» («Дружба народов», 1977, №№, с. 265). Неотразимое утешение для страдающих! И эта невиданная масштабность, за которой обыкновенный человек, какие-то там деревушки, поселки и проселки – не более как песчинки, и эти «запланированные слезы», на которые не стоит обращать внимания – иначе ничего не построишь, воодушевляют какую-то категорию добропорядочных людей, они рьяно действуют, взаимовлияют и взаимообогащаются до такой степени, что вскоре венцом их становится великолепный, ко всему, кроме себя, равнодушный Петруха.

Чванство Жука и Воронцова, у которых Петруха стал естественным и бессовестным помощником, равнодушие строителей, для которых безразлично назначение их труда, абы премию получить, малопроизводительная работа всякого рода посланцев в деревню, отягощенная безответственностью поведения, озлобленность и бесчувственность пожогщиков, бюрократическая канитель то в одном, то в другом управленческом звене, действующем «с обычной дальновидной туманностью», – вот что вдруг всплывает на поверхность, влияет друг на друга, множит себе подобных и угнетает человека-труженика, землю, самое природу. Для Дарьи все это сосредоточилось в одном необходимом в жизни понятии – в совести.

«Народу стало много боле, – печалится она, – а совесть, подика, та же – вот и истончили ее, уже не для себя, не для спросу, хватило б для показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли, а при больших-то делах совесть, однако, что железная. Ничем не укусишь. А наша совесть постарела, старуха стала, никто на нее не смотрит. Ой, господи! Че про совесть, ежели этакое творится!»

Утрата совести и в самом деле общая и доминирующая особенность Жука и Воронцова, всех этих названных тут и не названных по именам людей, они, а не прогресс сам по себе, несут матёринцам страдания и слезы.

Все обратили внимание на известную условность, «неразработанность» отдельных образов повести, на откровенную сгущенность обобщения – вплоть до символа. Внимание-то обратили, но не сделали необходимые выводы и анализировали «Прощание с Матёрой» как обычную реалистическую повесть. Между тем это

не только реалистическая повесть. Но еще и философская, с элементами фантастического, фольклорно-сказочного, в ней конкретные вещи вдруг обретают силу абстракции, как могучий лиственъ, не поддающийся ни пиле, ни огню, как туман, не позволявший Воронцову добраться до острова и совершить перевоз последних мтёринцев по-воронцовски грубо, не выбирая выражений» и «кляня вместе с ними все на свете». Нельзя принцип лепки характера старухи Анны из «Последнего срока» механически переносить на образ Дарьи. Повесть «Прощание с Матёрой» написана в другом жанровом и идейно-эмоциональном ключе. Там исследование характеров, здесь в основе самовыражение героев, нередко с их остро-атакующим отношением к совершающимся историческим событиям, с их проповедью своей правды и веры. В повести «Прощание с Матёрой» содержится своеобразный синтез реального и условного в их диалектическом переплетении, где «образ идеи», как ныне принято говорить, воплощен отнюдь не в одной Дарье, а во всей системе образов, подчас абсолютно фантастических, как образ домового-хозяина, Хозяина с большой буквы. Понятна поэтому растерянность перед новой повестью В. Распутина, прозвучавшая в части выступлений критиков. С одной стороны, утверждают они, в словах Дарьи есть правда и есть в повести своеобычность ее личности, но, с другой, – «как ни принимай близко к сердцу иные упреки Дарьи, все равно чувствуешь, что писатель временами нагнетал их, и чем больше нагнетал, тем меньше оставалось в них естественности. И все дальше отодвигалась желанная истина». Почему так произошло? Потому что, читая «Последний срок», мы чувствовали, какая жизнь за плечами старой Анны; в той повести даль, где страдала и набиралась сил ее душа. Она хорошо проглядывалась», а позади Дарьи этой дали не видно. Это первое. Второе: «…невольно замечаешь однажды, что перед тобой мелькнул «перевод» писательской мысли о бедах мирового прогресса на язык старой сибирской крестьянки». Независимо от И. Дедкова, О. Салынский безоговорочно объединил Дарью с автором и недоумевал, почему Дарья-автор высказывает такие наивные и абсолютно неверные мысли. Если хотя бы на минуту поверить в эти утверждения, то надо признать, что такой художник, как В. Распутин, в новой своей повести ничем, «кроме авторского произвола по отношению к своим героям», и не занимался, создавая «кукольные фигурки, которые двигаются и говорят при помощи всяческих проволочных приспособлений». Это слова самого писателя, когда он в беседе с корреспондентом «Литературной газеты» (1977, 16 марта) утверждал, что «не проблемы выбирали героев», а

наоборот, его герои, «помещенные в определенные обстоятельства для наиболее полного раскрытия их характеров, выставляют естественные для их жизни проблемы».

* * *

Прежде чем перейти к центральным образам этой философской, символико-аллегорической повести В. Распутина, мы должны непременно вспомнить его поэтический очерк «Вверх и вниз по течению», написанный за несколько лет до повести «Прощание с Матёрой» и органично к ней примыкающий. В очерке писатель впервые выразил свои чувства и мысли в связи с совершившимся затоплением родных ему островов на Ангаре и сделал это со всей непосредственностью взволнованным событием человека.

Этот очерк автобиографичен и лиричен. Главный герой его – писатель, и думы о своем ремесле, о писательском мастерстве занимают в нем немало места. Вот бред «истерзанного сомнениями мозга» – полусон, полуявь – разговор с полудедушкой-полупрофессором о «чувствованиях», которые заведомо в отличие от «чувств» не дают в художественном творении более тонкого разреза человеческой души, о слове, которое из-за незнания человека произносится неточно, приблизительно, невпопад… Очерк написан в обычных тонах лирической прозы. В родной деревне герой-писатель не был уже лет пять, потому сама поездка – пароход, река, берега, скользящие мимо, люди, едущие вместе, воспринимаются с особым обостренным чувством, наплывают воспоминания и с необыкновенной силой захватывает любое движение природы, вдруг по-новому первозданно ожившей для него.

«Виктор стоял, слушал, смотрел. И эти печальные и чуткие картины позднего летнего вечера у реки, со смутными и теплыми, еще не затвердевшими красками, чистые, негромкие звуки, пятнавшие наползающую на землю тишину, чуткость, отзывчивость и надежность всего этого вызывали в нем сладкое и томительное чувство благодарности и любви. «Как же так? – упрекая и сокрушаясь в забытьи, рассуждал он. – Почему мы на вред себе не хотим замечать то, что нам необходимо знать и видеть в первую очередь? Почему так много времени мы проводим в хлопотах о хлебе едином, и так редко поднимаем глаза вокруг себя, и останавливаемся в удивлении и тревоге: отчего я раньше не понимал, что это мое и что без этого нельзя жить? И почему забываем, что именно в такие минуты рождается и полнится красотой и добротой человеческая душа?»

Печально прозвучали эти вопросы, обращенные не только к себе. В них отношение к природе поставлено в ряд важнейших моральных принципов современности. В них высказана тревога за наше будущее, потому что мы многого не замечаем вокруг себя и о многом забываем, когда входим в непосредственный контакт с живой природой. Эти вопросы, на которые герой ничего не мог ответить, стали необходимой прелюдией к не менее печальной картине уже совершенных в природе разрушений с непредсказуемыми последствиями: затоплены тысячи и тысячи гектаров хорошей земли, сожжен или затоплен лес, который так и не успели убрать к чистой проточной воде… Да и люди невероятно взбудоражены и потрясены массовым переселением – «со времен войны не видела деревня ничего подобного».И дело не только в том, что нарушается привычный уклад, но еще и в том, что не всем дано перенести прощание с родной землей навечно, затопление могил, забвение прошлого, вообще резкость перемен, особенно старым людям («померла ведь Лукерия-то… И году не протянула на новом месте…»). В наших проектах, планируя, по предложению стойкого гуманизма, неизбежные слезы, мы этот неожиданный результат преобразований учитывать обязаны. Преобразование – не война, а средство улучшения жизни, общества, жизни каждого человека в отдельности. Выборочный гуманизм – не гуманизм, а кощунство.

Разумеется, в очерке вырисовываются в конечном счете хорошие люди, деловито обживающие новое место, но в основном он проникнут болью и грустью, а лирический герой так и не сумел приспособиться к этому новому и сбежал из родной деревни.

«Видимо, надо было уехать, – заключает свой рассказ о поездке домой герой-писатель, – чтобы повторить все сначала: сесть в городе на теплоход, любоваться по пути рекой, ее берегами и течением, проснуться на рассвете от странного скребущего звука и увидеть затопленные деревья, новые берега, новые деревни, удивиться и испугаться разливу воды – увидеть и испытать заново все то, что он уже видел и испытывал в этой поездке, но быть самому другим человеком, более опытным и спокойным, хорошо и ясно представляющим, куда он едет и что там найдет».

В. Распутин «повторил все сначала», но вернулся к затопленным землям, «удивился и испугался разливу воды» на обширнейших пространствах, заново все пережил, стал опытней и мудрей, но желанного спокойствия не обрел. От горьких фактов, запечатленных в очерке, от горьких чувств и мыслей, выраженных в нем, он перешел к всестороннему осмыслению судьбы всего поколения людей, столь решительно и безоглядно вторгнувшихся в мир природы, и уже не счел себя вправе оставаться спокойным. Он увидел, что обыкновенные люди, герои его новой повести, во имя счастья которых и должно у нас все совершаться, перестали понимать смысл и назначение грандиозных, как мы привыкли говорить, преобразований, и оно, это непонимание, оказалось весьма закономерным, ибо ныне все человечество обеспокоено резким нарушением веками складывавшегося равновесия в природе.

Жанр повести «Прощание с Матёрой» не каприз автора, он обусловлен временем, материалом, людьми, которые в повести призваны действовать, поставленной автором сложнейшей сверхзадачей. В очерке «Вниз и вверх по течению» засвидетельствован непреложный факт: в дни переселения с затопляемых земель люди тянулись друг к другу, чтобы сообща, горячо и взволнованно обдумать, обсудить все одно и то же: что же с ними происходит и как сложится их дальнейшая жизнь. Поэтому размышляющая, полемически философствующая Дарья и все взвешивающий правдолюбец Павел не придуманы писателем для выражения собственных любимых мыслей, а найдены в самой действительности. И потребовалось большое искусство, чтобы придать этим выхваченным из жизни образам такое конкретное для нас и одновременно общечеловеческое, до символа обобщенное звучание. «Прощание с Матёрой» написано в другом, нежели предыдущие повести, жанре и являются качественно новым этапом в творческом развитии писателя. Новая повесть свидетельствует о возросших возможностях В. Распутина – художника, стремящегося активно вмешиваться в решение проблем, стоящих перед нашим обществом и перед всем человечеством. Эту активность авторской позиции посчитали тенденциозностью, которая разрушает художественную полновесность образов повести, забывая при этом, что действенность авторской позиции в традициях русской литературы.

Тенденциозен, например, Ф.М. Достоевский, активен и публицистичен в выражении авторской позиции М. Горький, особенно в своих аллегорических произведениях. Но это нагнетание тенденции не разрушало у них образа. То же самое, по существу, наблюдается и в новой повести В. Распутина. Образ у него непременно пластичен, реален и емок, если даже это всего лишь эпизодический ирреальный домовой. И никто не сможет доказать, что Дарья и Павел, Воронцов и Петруха – не характеры, изображенные к тому же с редкой силой проникновения в их сокровенную суть.

Трижды появляется в повести домовой, названный писателем Хозяином. В нем с неменьшей выразительностью, чем в полемических высказываниях Дарьи и в грустных размышлениях и до-

гадках Павла, выражены чувства и мысли автора. Но не прямо, не открыто, а в сопряжении с другими образами произведения. < > Домовой острова Матёры не символ рока и судьбы, как его истолковывают, и уж, конечно, не «архитектурное излишество» в системе других образов повести (см.: «Лит. обозрение. 1977. №4), а олицетворение чуткого, подлинно хозяйского отношения к тому, что «происходит в земле и возле земли», олицетворение пристального, заботливого внимания к людям, на этой земле живущим.

< >

Присутствие в повести образа Хозяина, который существенно дополняет авторскую позицию, хотя и не исчерпывает ее, позволяет утверждать, что образ Дарьи тоже не является рупором идей автора. Дарья – живой характер, и как всякий характер в художественном произведении такого масштаба, как «Прощание с Матёрой», он многозначен и многогранен и не может быть сведен к сумме каких-то верных или неверных идей.

< >

О Дарье в начале повести сказано, что она относится к тем старухам на острове, которые уже не знают о своем возрасте: ей восемьдесят или, быть может, за восемьдесят… Само собой понятно, что почти шестьдесят из них она прожила в наше, советское, время и что, естественно, не могло не сказаться на особенностях ее характера и мировоззрения. Самое первое, на что мы сразу же и невольно обращаем внимание, – это Дарьино чувство человеческого достоинства. Она малограмотна и живет где-то у черта на куличиках, в глухой и далекой Матёре, но у нее нет ни тени приниженности или ущербности. Она даже как будто и не знает, зачем так долго живет, и в то же самое время едва ли не каждое ее высказывание наполнено гордостью за честно прожитую жизнь, насыщено активной наступательной полемикой, вызванной драматическими событиями на родной ее земле… < >

Скромно и достойно говорит Дарья о людях «ранешного времени» и тем самым о себе. Причем говорит таким языком, который создает неотразимое впечатление подлинности этого человека с его особенным складом ума и темперамента, с его характером, позволяющим определить его как народный и, безусловно, современный. Со вниманием смотреть «назад себя», уважать прошлое, черпать в нем знание, силу и мудрость – прекрасная особенность в мироощущении и поведении Дарьи.. Припомним только ее чувство вины перед памятью об отце и матери, прах которых она не сумела, не успела спасти от затопления., и мы сразу убедимся, как дорожила она прошлым, как берегла она его в себе, чтобы не раствориться в сиюминутном и суетном, чтобы жить, как надо, хотя и трудно, подчас невозможно понять неостановимо и стремительно текущую жизнь.

Дарья живет любовью к земле, родной Матёре. Декларировать эту любовь у нее нет необходимости. Каждый шаг, каждая мысль ее неопровержимо свидетельствует об этом. В сущности, мы застаем ее в повести в тот момент, когда она целиком сосредоточена на главном для нее: как «по-свойски, по родному проводить Матёру». Невозможно забыть лучшие, прекраснейшие страницы повести – самостоятельно, через великую силу проделанная побелка избы в канун ее уничтожения и прощание Дарьи с могилами близких. И все это связано не просто с чувством любви и привязанности к острову, на котором прожито много лет, а неколебимым убеждением о непреходящей ценности этой земли, принадлежащей не одному какому-либо поколению людей, но и тем, «кто до нас был и кто после нас придет». В них, в этих сценах, любовь и боль Дарьи, ее страдание и величие, ее поражение и победа, победа духа, какой давно уже никому

не дано ни погнуть, ни сломать. Удивителен простор ее души, он под стать простору нашей Сибири и легко вмещает в себя как прошлое, так и будущее. Дарья, полнокровно живущая в настоящем, считается с будущим так же, как со своим и «чужим» прошлым. Она была потрясена и обижена, когда заметила, что ее внук Андрей спокойно покинул Матёру – «не прошелся по Матёре, не погоревал тайком, что больше никогда ее не увидит, не подвинул душу… Ну, есть же все-таки, к чему ее в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завел мотор». Так завершился едва ли не ключевой в повести конфликт между Дарьей и Андреем.

Это не конфликт между старым, уходящим поколением и молодым, новым, идущим на смену отжившему, это конфликт социальный и мировоззренческий. В его орбиту втянуты все действующие лица повести. В стране совершаются колоссальные перемены, связанные в значительной степени с индустриализацией сельскохозяйственного производства. Естественно, что крестьянство задумалось о своей судьбе, о своем будущем, ибо происходящая ломка всего крестьянского уклада и в невероятно краткие исторические сроки проходит через его душу в первую очередь. Именно поэтому так вздыбилась сильная и умная, умудренная долгой жизнью русская крестьянка Дарья, наша современница. Она на деле не просто обыкновенная представительница какой-то «уходящей генерации»

в социальном бытии общества и потому защищающая некие отжившие идеи, она полноправная участница современной жизни, с которой мы обязаны считаться, потому что за нею стоят и Егор, и Настасья, и Павел, и многие другие живые люди, имеющие равное право на жизнь и счастье. Дарья выражает ту же тревогу и заботу о нашем будущем, какую выражаем и все мы, когда приступаем к осознанному осмыслению происходящего, задумываемся о реальных перспективах нашего развития. Дарья, несмотря на преклонный возраст, активно живет всем, что ее окружает. Она воздействует на людей и своим авторитетом постоянно думающего человека, и своим опытом, высказывается по широкому кругу жгуче-современных проблем. Дарья в чем-то пристрастна, в чем-то противоречива, а что-то ей попросту недоступно. Ее, например, не устраивает темп современной жизни, темп перемен. Человек в ее представлении все куда-то торопится, а «жизнь раскипяти-и-ил страшно поглядеть, какую он ее раскипятил… Ему бы попридержать ее, помешкать, оглядеться вокруг себя, че ишо осталось, а че уже ветром унесло… Нет, он тошней того – ну понужать, ну понужать!»

Дарьино желание справедливо, но неосуществимо: темп этот не подчиняется чьей-либо воле, он связан с закономерностями общественного развития.

Дарья со всей силой своего темперамента обрушилась на машины. «Ты говоришь, – отвечает она Андрею, – машины на вас работают. Но-но. Давно же не оне на вас, а вы на них работаете – не вижу я, ли че ли!» Противоречие, возникшее в обществе в связи с техническим перевооружением, отмечено точно, проблема поставлена своевременно и требует от нас незамедлительного решения. Но ведь понятно, что не сама по себе машина во всем этом виновата. «Тайна» возникших противоречий лежит и в самом человеке, пересевшем с лошади на машину и еще не сумевшем разумно использовать все выгоды этого исторического акта. Иногда человек не хочет правильно использовать машины по невежеству и нравственной незрелости, иногда не может, так как созданные им машины еще далеки от совершенства и время для их улучшения пока не наступило. Естественно, не разбирается Дарья в тонкостях технического прогресса, но заставляет нас взволнованно думать о самом существенном в современной жизни: человек и машина, человек и автомобиль, человек и атомная бомба…

Замечает Дарья серьезные противоречия в духовном мире как у рядом живущего человека, так и в своем собственном. «Путаник он несусветный, человек твой, – утверждает Дарья. – Других путает – ладно, с его спросится. Дак ить он и себя до того запутал, не видит, где право, где лево. Как нарошно, все наоборот творит…»

Наблюдения Дарьи основательны, так как социальная ломка, происходящая в ее среде, не может не касаться психологических, нравственных и идейных свойств и сторон человека. Он, естественно, возбужден и мечется, ищет, ошибается. Неустойчивость критериев в оценке явлений, неустойчивость в характере поведения отмечает Дарья в своих рассуждениях о современном человеке. Продиктовано это у нее редкой чуткостью к реальным в обществе процессам и высоким чувством гуманности, «жалостью», как она выражается. Человек в таком состоянии требует внимания, и нам вслед за Дарьей следует об этом подумать. Однако такие обобщения Дарьи, пожалуй, излишне категоричны, так сказать, универсальны, без необходимой в таких случаях конкретизации и расчленения, а объяснение причин носит односторонний характер – все то же засилье машин, все тот же ускоренный машинами темп жизни.

< >

Не идеализирует Дарью В. Распутин, не выдает ее философию за истину в последней инстанции, не превращает ее в прокурора, произносящего обвинительную речь на суде истории. Дарья – дочь своего времени, живой человек, конкретный характер со всеми его достоинствами и недостатками. Именно поэтому она обаятельна и безраздельно завоевывает наши читательские симпатии.

Подкупает цельность характера Дарьи, вызывает уважение самостоятельность и смелость ее суждений и оценок, восхищает ее бесконечная, чистая любовь к человеку, ее преданность родной земле, ее слитность с природой. Прекрасен критический и полемический задор Дарьи, он позволяет ей вдруг обнажить доподлинную суть человека, явления, факта, вскрыть противоречие там, где никто другой его не замечает. Бесстрашие в постижении сложного современного мира, глубочайшая озабоченность всем тем, что вокруг нее происходит, жажда правды на пороге близкой своей физической гибели и не позволяет нам зачислить Дарью в категорию отживших, чуть ли не рутинеров нашего времени. Образ Дарьи, какие бы горькие мысли он ни вызывал, по внутренней сущности своей оптимистичен, но оптимизм его не внешний, не показной, а глубинный. Он, образ Дарьи, как «царский лиственъ», прикрепленный к «одной общей земле», неотторжим от общего для всех корня русской нации, и, как и лиственъ, он так же прочен и стоек, и никому не спилить его и не сжечь!

* * *

Проблема единства человека и природы ставится сегодня многими авторами, потому что ее поставила перед нами сама жизнь. Об этом поэтическая философская повесть Ч. Айтматова «Белый пароход». В ней мать-Олениха, олицетворяющая природу, гибнет, а вместе с нею неизбежно гибнет и Мальчик, не могущий, и не желающий жить рядом с предательством, ненавистью, злом. Из сказки пришли к нам и мать-Олениха, и Мальчик, захваченный мечтой о белом пароходе, но реальна и в данный момент безысходна их трагедия. Пафос повествования В. Астафьева «Царь-рыба» – в страстном убеждении: человек должен, обязан жить с природой в мире. Астафьев, как Ч. Айтматов и В. Распутин, занят поиском причин кризиса во взаимоотношениях человека и природы. Однако им, писателям, то и дело «подсказывают» выход из этого кризиса – изобразите, дескать, других героев современности – ученого-эколога или прямого антипода Дарьи, то есть людей, все знающих, все и верно понимающих, вполне и безупречно положительных. Аким и Дарья явно не выдерживают такого сравнения и тут же объявляются недостаточно современными. Однако что же нам делать с Акимом и Дарьей, с Егором и Павлом, если они на равных с учеными живут, думают и работают, творя материальные и духовные ценности?

Сын Дарьи Павел захвачен, например, тем же настроением, что и его мать. Он тоже озабочен и встревожен, но не решается сказать об этом открыто и прямо, а тем более кого-то как-то упрекнуть. Даже с сыном Андреем он говорит робко и неуверенно. Всю жизнь Павел находился то в том, то в другом подчинении и привык выполнять лишь приказы и указания. Говорила мать – он с нею соглашался, сказал Афанасий: «Обтерпимся, исхитримся» – он тоже согласился. Думал, что в словах Клавки, в рассуждениях Андрея «есть сегодняшняя правда, от которой никуда не уйти», но убежденности, какой зажигалась Дарья, не было, потому-то в конце повести во внутреннем монологе он так определял свое состояние: «Возвращаясь опять мыслью к Матёре, к сегодняшней поездке туда, Павел со стыдом вспоминал, как стоял он возле догорающей своей избы и все тянул, тянул из себя, искал какое-то сильное надрывное чувство – не пень ведь горит, родная изба – и ничего не мог вытянуть и отыскать, кроме горького и неловкого удивления, что он здесь жил. Вот до чего вытравилась его душа!..»

Самооценка суровая, беспощадная и страшная, она подтверждает мысли Дарьи о человеке, который делает то, чего не хочет. Думает Павел о многом, и думает часто правильно, переживает все остро и глубоко. Но все свои мысли и чувства загоняет вовнутрь, не высказывается перед людьми, не действует, как надлежит, по убеждению, находится то в распоряжении своего совхозного хозяйства, то Воронцова. Павел то и дело твердит: «Надо – значит надо», но при этом не понимает, почему надо переезжать с Матёры, зачем надо затоплять лучшие земли, ухоженные дедами и прадедами, зачем надо переезжать в несуразно построенное селение… «Нет, старею, видно, – ставил себя Павел на место. – Старею, если не могу понять. Молодые вон понимают. Им и в голову не приходится сомневаться, как делают – так и надо… Хлеб не родит земля – привезут тебе хлеб, готовенький, смолотый, – испеченный в белых, черных и серых булках, ешь от пуза! Молока не станет от собственной коровы – привезут и молоко… И картошку, и редьку, и луковку – все привезут… А где возьмут – не твоя забота».

Павел заглядывает в самую сердцевину духовного мира некоторой части современных молодых. Он не соглашается с «истинной правдой» сына Андрея, более того – пытается обнаружить причину своей собственной и их несостоятельности. Обыкновенную кучу мусора Павел по личной инициативе сжечь не смеет, так как отучен эту самую инициативу проявлять: «все, как у чужого дяди делаешь, с оглядкой, на все ждешь указаний». А самоуверенные молодые, как Андрей, привыкли к другому, они привыкли думать по шаблону, по трафарету, без тени сомнений и каких-либо эмоций: так проще, так легче.

В первом же столкновении Андрея с отцом и бабушкой обнаружилась его бесчувственность и крайняя односторонность мышления – ничего за пределы готовенького. Как бы ни был хорошо «идейно» вооружен Андрей, – а он говорил уверенно и не глупо, – но отец и особенно бабушка мыслили шире, перспективней и диалектичней, что ли. Дарью, например, поразило, что Андрей собирается устроиться на работу именно там, где «Ангару запружают», то есть сам Андрей станет затоплять родную ему Матёру. После этого никакие слова о том, что и ему «тоже жалко Матёру», подействовать на бабушку не могут, а в нашем сознании он невольно сближается с Петрухой-пожогщиком. Андрей убежден, что поступает нравственно и дальновидно: «Матёру все равно затопят – хоть со мной, хоть без меня», к тому же «наша Матёра на электричество

пойдет, тоже пользу будет людям приносить», но тут же получает содержательный Дарьин ответ: «А то она, христовенькая, на вред тут стояла, – тихо и в себя, без желания к спору, который давно решен без них, ответила Дарья и умолкла, замкнувшись…»

Этот ответ блистателен по двум причинам. Во-первых, понятие пользы не безусловно и отнюдь не измеряется сегодняшними рублями. Во-вторых, – это вытекает из авторской ремарки – спор о пользе решен без Дарьиного и Павлова участия, людей, так сказать, потащили ко благу, не спросив на это их согласия.

Далее Андрей доказывает свою правоту аргументами с чужих слов, не продуманных и не выстраданных. Постройка ГЭС – передний край, потому якобы трудней, чем в обыденной деревне; ГЭС нужна, потому пишут о ней много и особое внимание оказывают; строительство ГЭС дело сложное, потому требует молодых сил и лучшей работы… Что ни положение, то клише из общих слов, на которые отец и бабка отвечают ему кратко и весомо:

«– Я с тобой не о том говорю, нужна или не нужна ГЭС. Об этом спору нет. Я говорю, что и здесь кому-то работать надо.

– Война, что ли: передний край?

– Закончат – снимут внимание. Потом как?

Так разрушается стройная логика рассуждений Андрея, мыслящего близлежащими категориями, а Дарья добавляет к этому и нечто более емкое: «В старину как говаривали… Мать, ежли она одного ребенка холит, а другого неволит – худая мать».

Обобщение едкое и злое. Оно касается и преимущественного внимания к ГЭС, и драматической судьбы матёринцев. Там и здесь люди, работающие на важном участке большого общественного хозяйства страны, тем и этим нелегко, и они вправе рассчитывать на равное к себе внимание. Истинная позиция Андрея и обнаруживается в полемике с бабушкой Дарьей.

В изображении Андрея В. Распутин стремится к объективности, что и ввело некоторых читателей в заблуждение при определении «правды Андрея». О машинах и их пользе Андрей действительно знает больше, чем Дарья; место свое он определяет правильно: быть там, где труднее, работать лучше, повидать больше, жить интересней, чем жили люди до него. Но эта «правда Андрея» рассыпается при первом же соприкосновении с действительностью. На деле же выяснилась нравственная несостоятельность Андрея. Оказывается. Он не просто оторвался от родной земли, но вообще к ней уже равнодушен. Андрей искренне недоумевает, зачем нужно переносить могилы с затопленной Матёры; он спокойно покидает родную Матёру, не прощаясь с нею и не сострадая ей; наконец, он сам способен и готов уже затопить ее… Андрей настойчиво допытывается, почему бабушке жалко современного человека. Сам он не видит для этого оснований и не удовлетворяется ее ответом, особенно когда заговорила Дарья о его душе. Андрей с чувством превосходства усмешливо поправлял бабку, уверяя, что она ему толкует о человеке столетней давности. Наш современник «надсадиться» уже не может, так как умные машины жизнь ему давно облегчают, и «галопа» никакого нет: «Живем и все. Кто как может, так и живет». И на выстраданный Дарьин вывод-упрек, вывод-убежище: «Думаешь, люди не понимают, что не надо Матёру топить? Понимают оне. А все ж таки топют» – отвечает стереотипно и бездумно: «Значит нельзя по-другому. Необходимость такая». И старая Дарья, а не молодой, полный сил и хорошо образованный Андрей, предлагает фантастический проект: срезать Матёру и поставить там, где земля стоит…Уж за это наверняка внуки спасибо скажет, ибо «господь бог, когда землю отпускал, ни одной сажени никому лишней не дал». После этого мы сразу почувствовали, что две «правды», Андрея и Дарьи, столкнувшись, высекли истину без всякой авторской подсказки: нет у нас лишней земли… Следовательно, мысли Андрея лишь скользят по поверхности жизненных явлений, а мысли Дарьи, противоречивые, дерзко критические и фантастические, нацелены в их глубь, будоражат наше сознание, волнуют нашу душу.

«Прощание с Матёрой» – повесть-размышление. Потому и герои ее раскрываются по преимуществу в процессе осмысления ими событий, в ходе выявления той или иной жизненной позиции в столкновении мнений. Из анализа убеждений и поступков Дарьи и Павла, Андрея и Петрухи, Жука и Воронцова (а слово – тоже поступок) вырисовываются яркие и своеобразные характеры. За каждым из них следишь с неослабным вниманием, потому что они и объемны, и точны, потому что в них ощущается правда о человеке, правда о нашем обществе.

Каких бы вопросов и проблем ни касалась Дарья, в том числе самых отвлеченных, например, о жизни и смерти, она наступательно активна и бесстрашна. «Кто знает правду о человеке, зачем он живет?» – спрашивает она себя и отвечает всем опытом своей многотрудной жизни, его итогом, заключенным в повести. Об этом опыте и его итоге она и думает постоянно в свои последние дни, ибо хорошо понимает, он-то и есть ее богатство и ее наследство. Отвечая на «вечные» или сегодняшние вопросы, Дарья мудра, по-

тому что ни на секунду не отрывается от прошлого и настоящего, от скоротечно-сиюминутного и отдаленного будущего. Сейчас мы это называем историзмом мышления. «Правда в памяти, – однажды про себя подумает Дарья. – У кого нет памяти, у того нет жизни». Этот глубокий афоризм. Произнесенный в другой стилевой тональности, чем обычно она в повести говорит, нисколько не противоречит всему тому, что мы о ней узнали, так как и здесь, и тогда она пользовалась, по существу, современными категориями и понятиями.

Ведущие образы повести приближены к нам на кратчайшее расстояние личностным, нередко пристрастным отношением самого автора. Повесть лирична и пронизана глубоким чувством вины перед миром за все свершаемые в нем несправедливости. Художник доверительно, искренно говорит с нами о преходящем и вечном, о любви и ненависти, о радости и боли. Не только к нам, но в равной степени и к себе обращены его признания, вопросы, недоумения: «Эта возникшая неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты не знал себя до теперешней минуты, не знал. Что ты не только то, что ты носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, и потерять его иной раз пострашней, чем потерять руку или ногу, – вот это все надолго и останется в душе незакатным светом и радостью».

Выходит, что духовный мир лирического героя посложней, чем, допустим, у Дарьи, хотя и неотделим от него и не противоречит ему. Он все берет на себя, достижения и беды, правых и виноватых. Он задает вопросы, на которые пока нет ответов. И это тоже потрясает, как потрясает нас трагедия лиственя, трагедия Мальчика и матери-Оленихи.

«Но почему так тревожно, так смутно на душе, – спрашивает себя лирический герой, – только ли от затяжного ненастья, от вынужденного безделья, когда дел невпроворот? Попробуй, разберись. Вот стоит земля, которая казалась вечной, но выходит, что казалось – не будет земли… Почему, почему при них, кто живет сейчас, ничего этого не станет на этой земле? – не раньше и не позже. Спроста ли? Хорошо ли? Чем, каким утешением унять душу?»

Ни для Дарьи, ни для Павла, ни для самого лирического героя нет утешения, как нет его и для взволнованного и думающего читателя. И не тем ли самым завершается близкая по мыслям и боли «Царь-рыба» В. Астафьева?

Да, уже наступило время великих свершений, да, мы многое знаем, многого достигли. «Так что же я ищу? – спрашивает

В. Астафьев. – Отчего мучаюсь? Почему? Зачем?» – и отвечает: «Нет мне ответа».

«Прощание с Матёрой» и «Царь-рыба» – столь симптоматично одновременные и по сути своей близкие, – сегодня одинаково будят нашу мысль, одинаково будят в нас тревогу и одинаково утверждают: наступило время задавать трудные вопросы, наступило время задумываться над новым, что возникло в природе и обществе, наступило время по-новому решать и действовать… Повесть «Прощание с Матёрой» – это действенный поступок писателя, крупного художника и мужественного, смелого и глубоко думающего гражданина, убежденного, что сегодня, говоря словами самого В. Распутина, «как никогда встает вопрос о нравственной стороне деятельности каждого из нас».

ЖИЗНЬ КАК ЧУДО

(Илья Михайлович Лавров)

Сибирский прозаик Илья Михайлович Лавров родился 2 августа 1917 года в Новониколаевске (Новосибирске), в рабочей семье (отец был водовозом).

В 1936 году он окончил Новосибирский театральный техникум. Работал драматическим актером в театрах Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Нарыма, Пятигорска, Нальчика, Ферганы, Кисловодска, Коканда, Саратова, Читы…

Первый рассказ И. Лаврова был напечатан в 1953 году в саратовском альманахе «Новая Волга». Публиковался в журналах «Пионер», «Сибирские огни», «Нева», «Москва», «Октябрь» «Байкал» и др. В 1955 году в Чите появилась первая книга И. Лаврова «Ночные сторожа». Автор нескольких десятков прозаических книг, изданных в Чите, Новосибирске, Москве.

В 1956 году после приема в члены Союза писателей СССР И. Лавров окончательно переходит на литературную работу.

Творческая деятельность И. Лаврова отмечена двумя правительственными наградами: орденами «Знак Почета» и Дружбы народов.

Умер 17 октября 1982 года в Новосибирске.

И. Лавров – прозаик широкого жанрового диапазона (от миниатюр до романов), чутко улавливавший суть происходивших в стране общественных перемен. Несомненна и антимещанская направленность его творчества. Но в первую очередь И. Лавров – мастер лирической прозы.

Тонким лиризмом проникнуто все его творчество, в том числе и самая крупная вещь – автобиографическая трилогия «Мои бессонные ночи».

Художественный мир И. Лаврова (а это не только люди, но и природа) чрезвычайно многообразен, живописен, полон свежих красок, звуков, запахов. Каждая крупинка этого мира неповторима и хорошо просматривается в жизненном потоке.

«Жизнь волшебна в своих подробностях», – писал И. Лавров в одной из миниатюр и умел это волшебство передать. И. Лавров был поэтом и живописцем, тонким лириком и жизнелюбивым романтиком. Стяжательству, эгоизму, пошлости, моральному уродству И. Лавров противопоставлял простые и вечные человеческие чувства, добрых и душевно красивых людей. Не случайно его книги полны теплого света прозрачной грусти, любви, нежности ко всему живому и неизбывной доброты.

И. Лавров был убежден, что искусство «рождается из любви и ненависти, из горя и счастья, но только никогда не рождается из равнодушия». И доказывал это каждым своим произведением, которые, говоря его же словами, «держатся на любви и восхищении»

Огромный читательский интерес вызвала в свое время самая, пожалуй, популярная вещь И. Лаврова – повесть «Встреча с чудом», насыщенная богатством чувств, бурным жизнелюбием. Романтическая история ее главных героинь – сестер-близняшек Аси и Славки, отправившихся в далекое самостоятельное путешествие к морю, – нашла горячий читательский отклик. Повесть «Встреча с чудом» была издана «Роман-газетой» тиражом в несколько миллионов экземпляров, переведена на многие языки мира. По повести был поставлен радиоспектакль, снят кинофильм «Дорога к морю», по ее мотивам известный советский композитор Дмитрий Кабалевский написал оперу «Сестры».

Произведения И. Лаврова выдержали испытание временем. Они и сегодня способны затронуть самые чувствительные струны человеческой души.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги И. Лаврова:

Встреча с чудом. Повесть. – Новосибирск, 1961.
Мои бессонные ночи. Роман. – Новосибирск, 1977.
Листопад в декабре. Рассказы, миниатюры. – Новосибирск, 1988.

Об И. Лаврове:

Шапошников В. Щедрое сердце. // «Сибирские огни», 1977, №8.
Горшенин А. «На любви и восхищении…». // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Илья ЛАВРОВ

РАССКАЗЫ И МИНИАТЮРЫ

Несмолкающая песня

Когда доктор, протирая очки, бодрым голосом сказал, что придется немедленно лечь в саратовскую больницу к самому профессору Ферфарову, Стогов внимательно посмотрел на него.

Катя вышла проводить доктора. Стогов сел в кровати и прислушался – голосов не было слышно.

Над ним висел портрет – круглое, беззаботное лицо с ямками на щеке и подбородке. Пухлые, чуть вывернутые губы как будто слегка дрожали от сдерживаемого смеха. А сейчас под портретом было это же лицо, но изможденное, серое, с впалыми щеками.

Катя задержалась дольше, чем следовало. Войдя, она заговорила таким же, как доктор, бодрым голосом:

– Сейчас возьму такси – и в больницу! А месяца через два укатим в Москву. Ничего, все будет в порядке!

Стогов посмотрел жене в глаза, похлопал ее по руке.

Катя подошла к вешалке и забыла зачем. Потирая бровь, вернулась к столу и наконец вспомнила: надо одеться. Стогов понимал, что она торопится, но сдерживает себя: надевает плащ не спеша.

Кате уже сорок лет, как и Стогову, но она все еще свежа и женственна. Особенно хороши ее руки музыкантши. Они совсем девичьи.

– Я мигом! – Катя улыбнулась и ушла.

Стогов долго не мог вставить сигарету в мундштук: пальцы вздрагивали.

И Стогов и Катя окончили консерваторию. С тех пор пятнадцать лет работали вместе: он пел, она аккомпанировала. Десять лет он выступал в Москве по радио, а последние пять лет разъезжали с концертами по всей стране.

Несколько песен и романсов в исполнении Стогова были записаны на пластинки.

Год назад Стогов заболел, ему удалили почку. После болезни почему-то исчез голос. Теперь Стогов говорил хрипло и тяжело. Операция была неудачной – Стогов продолжал болеть. Катя увезла его к родным на Волгу. И вот опять болезнь обострилась…

Вбежала Катя. Ее шумящий темно-красный плащ был забрызган дождем.

– Одевайся, Саша, – она подала брюки и полосатую куртку от пижамы.

– Подожди, – попросил Стогов. – Налей грузинского, сухого. Нашего любимого.

Катя быстро глянула на него и не стала, как всегда, говорить, что вино запрещено врачами.

– И себе, – сказал Стогов ласково.

Катя наполнила бокалы.

– Посмотри мне в глаза – попросил Стогов.

Он очень любил эти синеватые нежные глаза.

– За тебя! – сказал Стогов и чокнулся.

– И за тебя!

Видно было, что она глотает вино с трудом.

– Ну вот, а теперь… в путь, – Стогов поднялся.

Катя изо всех сил старалась унять сильную дрожь, вдруг охватившую ее, будто все тело вздрагивало, сотрясалось от ударов сердца…

Стогов обнял Катю за плечи: передвигать ноги было трудно. Неутомимый охотник, исходивший с ружьем сотни километров, сейчас он представлялся самому себе жалкой развалиной.

Не хотелось, чтобы в коридоре встретились соседи. Но там никого не было. Внезапно Стогов услыхал свой голос:

Ночевала тучка золотая…

Стогов вспомнил, как репетировал этот романс, как был сначала недоволен своим исполнением, как потом записывал на пленку. Ясно вспомнилось, что он чувствовал, когда пел.

– Слышишь? – Спросил Стогов.

Катя улыбнулась.

Песня неслась из соседней комнаты. Зашумели аплодисменты.

– А! Это запись концерта в Колонном зале. Два года назад. Помнишь?

Катя кивнула.

И на крыльце слышно было пение: оно доносилось с площади. Стогов прислушался к голосу конферансье:

– Узнаешь? Ярослава Тромбицкая.

Робко моросил реденький и теплый дождичек, из тьмы вылетали мокрые желтые листья, шлепались в лицо. Негромко плескались и позванивали в водосточных трубах скудные струйки.

О крышу, о стены дома невнятно скреблись и толкались со всех сторон ветви кленов. Невидимая во мраке, тихонько и беспечно смеялась парочка. Слегка пахло сырым песком, намокшими заборами, опавшими листьями и ванилью: где-то пекли пироги. Ветер дул слабо и мягко – так дуют на блюдце с горячим чаем. Осторожно кропили лицо мелкие дождинки. И в лад со всем этим плыл задумчивый сильный голос:

Выхожу один я на дорогу…

Все это вместе составляло осеннюю ночь. И думалось, что ей не будет конца. И эта ночь, и эта песня, и этот голос всегда будут повторяться – они вечные.

Ночь внезапно показалась Стогову весенней. Не было в ней отходящего, отлетающего. Нет, в этой тьме определенно, как весной, что-то зарождалось, таилось, готовое вот-вот громко заявит о себе.

С трудом преодолевая спуск по четырем ступенькам и зная, куда и зачем он едет, Стогов все же испытывал радостное волнение.

Над городом опять зашумели аплодисменты…

– Ты купи себе на зиму валенки, – проговорил Стогов. – Береги себя.

Такси мчалось по слабо освещенным улицам. Мокрый асфальт на площади отражал огни. Его облепили желтые листья кленов.

Перед шофером качались маятником две палочки: «дворники» сметали со стекла дождевые брызги. Над машиной торчал металлический прут радиоантенны. Стогов продолжа слушать свой концерт и здесь:

Я вас любил, любовь еще, быть может…

Стогов медленно провел по лицу рукой. Катя обняла его, чтобы не очень трясло, прижала к себе.

Молодой шофер в кожаной тужурке, без кепки, слушал, прищурив глаз и переломив одну бровь. Должно быть, песня напоминала ему что-то очень хорошее, и он сейчас или жалел, или вспоминал о чем-то.

Машина выехала из города и стала спускаться к берегу протоки, проскочила по деревянному мосту с прыгающими досками, взобралась на песчаный остров, густо заросший высокими тополями. Фары освещали частокол стволов.

Радио смолкло.

– Эх, здорово! – вздохнул шофер. – Это ведь нашенский певец, из нашего города! Монтером, говорят, работал, а потом как рванул на смотре самодеятельности, так все рты и разинули. Сразу же забрали учиться.

Катя глянула на Стогова, а он, сняв шляпу, смотрел на дорогу. Стогов очень любил глухие дороги в лесу. Немало побродяжил он здесь с ружьем.

– Ты подари мою берданку брату, когда встретитесь, – задумчиво проговорил Стогов. – Он тоже заядлый охотник.

Ярослава Тромбицкая объявила новую песню…

В свет фар попал серый заяц. Ослепнув, обезумев, мчался перед машиной, прижав уши. Шофер увеличил скорость. Заяц не мог вырваться из огненной полосы. Колеса приближались к нему.

– Не надо! – тихо попросил Стогов.

– Что не надо?

– Не давите.

– А-А! А я частенько охочусь за ними таким манером. Газану – и крышка!

Шофер выключил свет, а когда включил – зайца уже не было…

Такси остановилось на другой стороне острова. Здесь приставал пароходик из Саратова.

Стогову казалось невозможным забыть этот берег и темный гулкий лес, запах увядшей листвы и шепчущийся дождик в ветвях.

– Отдай соседу «Войну и мир». Я у него брал, – напомнил он.

Лампочка тускло освещала закрытый ларек, окруженный пивными бочками, фанерную будку кассира с пустым окошечком, сырую песчаную тропинку, облепленную белыми рваными билетами, и несколько грузовиков, смутно проступающих во тьме под деревьями.

Сверкая огоньками, подплыл пароходик «Смелый», яростно шипя, выкатил на воду клубы пара и приткнулся к голубой плавучей пристани.

Волны баюкали дебаркадер, пахнущий смолой. Сходни – две доски с набитыми рейками – колыхались под ногами. Стогов сел на решетчатую скамейку около борта.

– А ты знаешь, я на этом пароходике плавал еще мальчишкой.

Пароходик загудел, словно проснулся и с воем зевнул. Звук долго и гулко катился между лесистыми островами.

Пассажиров было мало, да и те забрались от ветра в единственную каюту под палубой. Только двое сидели на палубных скамейках и, подняв воротники пальто, нахлобучив сырые, разбухшие кепки, дремали.

Над палубой была крыша, но с боков ничто не загораживало вида на Волгу. Ветер качал спасательные круги и лодку, поднятую над кормой.

Пароходик отчалил, погасив на палубе огни.

– Ты отослала маме письмо? – спросил Стогов, облокотясь о перила и жадно смотря на уходящий во тьму остров, на черный зубчатый силуэт леса. В лицо ударяли-клевали редкие дождинки.

– Отослала.

– Перетяни ее к себе. Вместе веселее будет.

– Постараюсь, – тихо ответила Катя.

Стогов искал в душе то радостное волнение, которое родилось, когда он стоял на крыльце. Но сейчас оно исчезло: сердце вдруг сжалось при виде уходящего берега.

– Вдвоем веселее. И легче, – добавил спокойно Стогов.

Пароходик пыхтел в протоках между островами. Тяжелые, темные клубы дыма из широкой трубы сваливались на воду. На палубе была освещена только стеклянная рубка. В ней, как в золотом фонаре, четко виднелась у штурвала девушка-капитан в черной шинели, в черной фуражке, с косами на груди.

Хлюпала, булькала, плескалась вода. С берега наносило запах облетевших тополевых листьев.

– Здесь ветер, дождик брызгает, идем в каюту, – предложила Катя.

– Пускай. Ветер, дождь – пускай, – слабо улыбнулся Стогов.

Катя сдернула перчатку, потом надела и опять сдернула. Неожиданно снова зазвучал над пароходиком, над Волгой голос:

На севере диком стоит одиноко…

Это девушка-капитан включила радио. Концерт Стогова продолжался.

И голос его, и всплески воды, и шум пароходика, и капитан у штурвала, и красные, зеленые огоньки бакенов – все сливалось воедино, представлялось бесконечным, несмолкаемым. И как только Стогов опять почувствовал это, в душе вновь поднялось радостное волнение.

– Ты слышишь? Пою ведь!

Катя, прижав руку к сердцу, улыбалась и кивала.

Дождик и ветер стихли, небо оголилось. Тепло, тишина. Протоки стали стеклянными, литыми, без единой морщинки. Их озарял слабый звездный свет. С островов свешивались деревья, полоскали в струях ветви; шурша, мели по бортам и перилам – сыпали на палубу листву.

– Как твои дела в музыкальной школе?

– Уже освоилась, – очнулась от своих мыслей Катя.

Пахло рекой, рыбой, а от причаленных к берегу плотов тянуло винным запахом намокшей коры и древесины. Пароходик обогнул остров, заплыл в другую протоку. Волны с шумом шлепались на берег. Около самой воды полыхал костер. В трепетном зареве задумчиво сидел охотник с кружкой в руках. У ног его лежал пятнистый вислоухий сеттер. В глубине воды извивалось огненное отражение.

Стогов помахал охотнику и сеттеру.

Пароходик обогнул последний остров – и вдруг перед глазами расстелился широкий простор коренной Волги. Простор был тоже заркально-гладкий. На горизонте лежало огненное ожерелье Саратова. Лампочки бросали в водную гладь множество светлых столбов, словно город стоял в воде на золотых сваях.

Стогов улыбался и в такт песне постукивал по сырым перилам. Голос катился по водному раздолью.

– Ты за квартиру заплатила? – весело, как показалось Кате, спросил Стогов.

– Вчера.

Песня стихла. Слышались только всплески, могучее движение воды и шум машин, сотрясающих палубу.

«Смелый» причалил к пустому дебаркадеру, матрос спустил зыбкие сходни, и сонные пассажиры сошли на берег.

– Как ты себя чувствуешь? – по старой привычке Катя закрыла шарфом горло Стогова.

– Превосходно. Волга-то наша!.. – слабым, но веселым голосом ответил Стогов.

Они остановились.

Во тьме проступало множество причаленных к берегу моторок, баркасов, плавучих пристаней, небольших пароходиков, стада лодок – точно кандальники, они звенели цепями. Тянулись плоты, виднелись купальни, вышки для прыжков.

Мальчиком Стогов уверял всех, что Волга ночью озорует. Она любит неожиданно броситься шумной волной на эти суденышки. Всех порастолкает. Все начинают колыхаться и стукаться бортами. А вода, захлебываясь от радости, отхлынет и звучно плюхает под сходнями, чмокает – целует лодки в борта, урчит возле каждого камня, коряги, что-то болтая веселое. Потом опять подденет плечом пароходики, баржи – играет с ними. А пароходики, привязанные, как пленники, тоскуют и шепчутся, замышляя побег. А вертлявые, как пустые бутылки, лодки ссорятся между собой,

дерутся. А ленивые, сонные баржи ворчат – им мешают спать. Они устали.

Множество интересных историй мог рассказать сынишка волжского рыбака. Это мальчишеское у Стогова сохранилось до сих пор.

Приметив, что на Волге, как и прежде, идет своя жизнь, Стогов облегченно сказал:

– Ну, вот… а теперь двинемся. И только когда сели в пустой автобус и замелькали улицы Саратова, Стогов почувствовал тоску.

– Будешь писать родным, передавай от меня большой привет.

В больнице Стогов погладил густые волосы Кати, поцеловал их. Она стояла, беспомощно опустив руки.

Хмурая заспанная сестра сердито буркнула:

– Идемте, идемте. Больной!

Стогов оглянулся в дверях, помахал платком, как из вагона, и, улыбаясь, сказал:

– Катюша, купи дрова. Зимой они дороже. Береги себя.

Кате почудилось, что муж удаляется, виднеется смутно. Вот он совсем растворился, и только перед глазами ее невыносимо ярко бьется белый платок.

Вишневый пирог

Была у меня когда-то славная, добрая тетя Нюра. Долговязая, тощая, она казалась мне красавицей. Среди наших родных она славилась умением стряпать необыкновенно вкусные пироги. Мужем ее был мой дядя. Дядя Вася Гурин. Он пил частенько и пьяный обижал тетю Нюру, но я все равно любил дядю Васю. Был он красивый: усищи, глазищи, ручищи у него – одно загляденье.

Мне было лет шесть, когда произошла история с пирогом. Кажется, отмечали день рождения дяди Васи. Много родственников собралось тогда в небольшом домишке Гуриных. Помню, в открытые окошки так и пыхала жара, и мои родичи не знали, куда от нее деться. В палисаднике под березами расстелилась черно-золотая сеть из теней и бликов.

Стол окружили приодетые мужики и бабы. Так они называли сами себя.

Ломовые извозчики, пимокаты, водовозы, грузчики, мясники – усатые, бородатые – вот кто пришел в гости к дяде Васе. Они еще были трезвыми и поэтому говорили степенно, говорили о ценах на овес, на муку, на сено. Взрослый Христос и Христос маленький на

руках Божьей матери и разные другие святые смотрели на них с икон, стоявших высоко в углу на божнице.

Дядя Вася разливал пока еще по небольшим чаркам водку из большущей четверти.

Отец мой, несмотря на жару, оделся в черный суконный костюм – борода его и усы были аккуратно подстрижены. Нравилась мне и мама – какая-то просветленная, в синем сатиновом платье, непривычно праздничная.

Тетя Нюра пела-заливалась:

– Отведайте, мои дорогие гостенечки, чем бог послал!

А бог кое-что послал на стол. Конечно, дымились в тарелках неизменные пельмени. Вкуснейшие, настоящие. Мужчины, выпив за здоровье хозяина, сразу же налегали на них. Но мне пельмени были не в новинку, и я отказался от них. Я не спускал глаз с пирогов. Вернее с одного пирога. В блюдах лежали пирожки с мясом, с картошкой, с груздями. И еще красовались два больших пирога: один с красной рыбой кетой, а второй… Вот второй и заворожил меня. Это был пирог с вишней. Вишня тогда была в наших сибирских краях редкостью, ее привозили с юга только сушеную. Я, наверное, и ел-то ее, не сушеную, всего лишь два-три раза.

Я люблю вишневый цвет, люблю само слово «вишня». Какое чудное слово – южное, теплое, шелковое!

Брат как-то принес ее мне. Из свернутого воронкой тетрадного листа щетинились зеленые черешки, росшие из ямок на ягодах. Я вытаскивал за эти черешки бархатные, почти черные ягоды, благоговейно вкладывал в рот и радостно-испугано сосал их.

И вдруг на столе – только руку протянуть! – расстелился никогда не виданный мною вишневый пирог. Его поверхность украшали клетки из веревочек теста.

И перекрещенные полоски теста, и бортики пирога зарумянились, они, конечно, будут похрустывать на зубах. Я видел красную каемку внизу на тесте, видел вишневые пятна на блюде. Пирог был явно теплым. Рот у меня наполнялся слюной, которую я едва успевал проглатывать.

За столом из детей были только я да сынишка тети Нюры Ленька – мой ровесник. Тетя Нора очень любила нас и поэтому принялась угощать нас прежде взрослых.

Ленька бесцеремонно протянул руку и ткнул пальцем в бок вишневого пирога:

– Этот! Режь мне этот!. Скорейча! Да чтоб ягод больше было. Ну же, режь давай!

Когда тетя Нюра клала ему кусок пирога на тарелку, я увидел мокрое, угодно-красное донышко.

– А тебе? – спросила тетя Нюра. – Тоже ягодный?

Тут-то все и началось.

Как-то мама воспитывала меня: «За столом держи себя скромно, сам ничего не бери, пока не угостят. Не жадничай». Может быть, из-за этого наказа, а может быть, из-за Ленькиного поведения за столом я вдруг ответил:

– Нет, я вот этот возьму, – и взял ближний пирожок.

– Но он же с картошкой! – испугалась тетя Нюра. – А этот с вишней!

– Я этот возьму, – упрямо пробормотал я и подумал: «Я не какой-нибудь жадюга Ленька… Вот она второй раз предложит мне пирог с вишней, тогда я и возьму его».

За столом уже вовсю шумели, сняв пиджаки, пили, хрипло хохотали. Ленька, противно чавкая, уплетал свой пирог, пальцы его покраснели от ягодного сока, губы тоже и даже подбородок. Тетя Нюра закрутилась вокруг стола и, должно быть, забыла обо мне. А я уныло жевал отвратительный, как мне тогда казалось, картофельный пирожок. И, жалея, смотрели на меня в окошко подсолнухи улыбчивыми глазами в желтых ресницах.

– А у меня пирог лучше, скуснее, – похвастался Ленька, – в вишнях косточек нет – мамка их шпилькой повуки… повы-ковировала. Я их все обсосал так, что на них ни фига не осталось. Там тебе нечего было бы обсасывать. А ты дуррак, что ли? – картофельный взял вместо вишневого!

Я угрюмо молчал, мне так и хотелось саданут его кулаком в бок. Стеснительный я был, самолюбивый и до нелепости неуклюжий и душевно и физически.

И все-таки тетя Нюра вспомнила обо мне. Разнося чай, она поставила передо мной чашку и опять спросила:

– Может, я положу тебе пирожок с вишенками?

И как будто какой-то черт дерганул меня за язык, и я сказал:

– Я вот… этот, – и взял пирожок с груздями. Я их, с груздями, терпеть не мог. Но я все-таки взял, твердо решив: «Вот еще раз предложит с вишней, так я и соглашусь».

Но на третий раз тетя Нюра уже не предложила мне. Она безжалостно распластала волшебный пирог на треугольники и разложила по тарелочкам перед женщинами. Среди стола осталось неестественно пустое блюдо с кровавой лужицей.

– Ну, сватья, ты и мастерица печь пироги!

– Это ж язык можно проглотить!

– Сладко вишенье, да барско кушанье!

Зашумели женщины.

– А ты чего не взял пирожок с вишенками? – спросила меня мама. – Возьми мой, – и она протянула свою тарелочку.

– Больно нужно! – сгрубил я. – Вот этот я… с груздями… Этот, – буркнул я угрюмо и почувствовал, что глаза мои наливаются злыми слезами.

И картофельные, и с груздями пирожки я едал и дома, – век бы их мне не видеть. А вот волшебный вишневый исчез, и даже блюдо тетя Нюра унесла на кухню, а жадюга Ленька шмыгнул за ней, чтобы, конечно, облизать блюдо…

Подумать только, вот уже пятьдесят пять лет как я помню этот злосчастный пирог!

И вот ведь как дело-то сложилось. Сколько я ни живу на свете, а пирога с вишней так и не отведал еще. Да, пожалуй, и не удастся его отведать. Несколько будильников уже износилось, отстукивая мое время. Как раз на пирог-то может и не остаться его.

Из прошлого

Влюбленному всегда двадцать лет.

Значит, и нам с тобой было тогда по двадцать?

Еще не сошли талые воды, а мы с тобой уже отправились в лес за брусничными листьями. Да еще надеялись наткнуться на гриб подснежник. Его зовут сморчком. Смешно? Иногда он, удалой, прорывается сквозь снежок. Его белую, толстую ножку не видно, лишь темнеет на берегу морщинистая голова. Идешь по лесу и думаешь: да кто же это рассыпал картошку?.. Снеговой водицей пахнет сморчок…

Мы недавно видели апрель с самолета. Глубоко под нами ослепительно вспыхивали извивы, петли речек, овалы озер. Это солнце бросало на нас с земли мгновенные, пламенные взгляды. На тысячи километров все поля были в лужах, с затонувшими в них облаками.

Неужели все это было? И ты – была?

Тебя сейчас нет на земле, и мне все сильней и сильней начинает казаться, что и ты, и все, что у нас было, все это мне только приснилось. Я тихонько шепну тебе: «Слушай! Меня ведь тоже нет. Нет того, прежнего, которого ты так ласково любила. Он погас, а вместо него появился какой-то чужой и непонятный нам человек…».

Мы тогда думали застать в апрельском лесу снег, воду. По низу березовой рощи частоколом белели только одни стволы – ни тра-

винки там, ни кустика, земля была устлана бурыми листьями, а сквозь них пробивались желтовато-белые, лохматые подснежники, омытые талой водой. Мы пошли к ним, и вдруг ногами ощутили твердь. Оказывается, под бурой листвой таился снег. Вон среди желтой травы белеет он, ручей пропилил в нем извивы.

Мы подошли к одной из берез. Она удивила нас тем, что ствол ее во многих местах сочился. Сочились все ее ранки, трещины, шишки от обломанных сучьев. Корни березы, как могучие насосы, гнали по стволу сок, и он пробивался сквозь кору, пенился в зарубках, струился по ней, капал с обломков ветвей.

Помнишь, я тогда воскликнул: «Какая силища жизни!»

И по нашим телам молодые, гулкие сердца тоже напористо гнали горячий, бруснично-красный сок…

А ночью ударил морозец. На другой день мы снова отправились к нашей березе. И она открыла нам маленькое чудо. На ней сверкали сосульки. Поблескивал ствол ледяными наростами. И даже у ее подножия на земле возвышались ледяные горки и натеки.

– Да ведь это же березовый сок, – изумилась ты.

Я отломил хрупкую сосульку и дал тебе: «Пососи леденец березы!» И себе отломил сосульку. И мы сосали сладковатый, освежающий березовый сок, и эти прозрачнейшие леденцы казались нам целебными. Ты поцеловала меня, и твой поцелуй пахнул березовым соком.

Да было ли это или не было? Дарил я тебе леденцы березы или это, в глубине десятилетий, только почудилось мне?

Если эти леденцы были, так почему же они не исцелили тебя? А может быть, я мало тебе их дарил? Мало?

Письмо внуку

Боже мой! Какие это были дни и ночи в хижине, среди березовых рощ!

Мальчонка мой! Мой Том Сойер! Ты заполнил наше бродяжье пристанище хохотом и озорством. С тобой я был молодым. Да разве можно забыть наши удивительные разговоры обо всем на свете, и чтение вслух, и как мы перед сном обливались водой, и как нам было свежо, и как пахли наши руки малиной и листьями смородины, и какой вкусной была молодая картошка, и как ты слушал, затаив дыхание, мои рассказы о Вии, о черте, на котором летал кузнец Вакула…

Всю прошлую ночь шли дожди и гремели грозы. Хижинка наша из досок да фанеры, потому в ней все слышно, как в палатке.

Трещал по крышам, по стенам крупный дождь, оглушали грома, в окошко пыхали молнии, густо шумели бушующие березы. При вспышках молний я видел твои расширенные глаза, полные радостного, синего ужаса…

А ясным днем – не забудь, не забудь! – мы собирали малину. Она, как заря, светилась через зелень листвы. Мы забирались в колючие заросли, – не забудь! И все высматривали звонкую птицу малиновку. Мы говорили всем: «Послушайте, если есть малина, должна же быть малиновка!» Но ягоды были, а птицы не было. А мы еще никогда не видели этой птахи с таким вкусным и цветным именем…

Ягоды просвечивали на солнце, и внутри этих чистейших малиновых огоньков темнели стерженьки и малюсенькие косточки…

И вдруг посыпался дождик сквозь солнечный свет. Он сыпался на нас, но мы не уходили. И ты закричал: «Дождик пахнет малиной!»

Ты создал свою первую в жизни строку…

Жизнь волшебна в своих подробностях. Твои щеки, испачканные ягодой, сверкающий малиновый дождь, затаившиеся от нас маслята в траве, красноголовые дятлы на стволах, горихвостка на хижине, лохматый пес Чапа, березняк, полный сорок, дроздов, поползней, кукушек, и моя любовь к тебе – все это приметы пьянящей жизни…

А сегодня я один. Тебя увезли на далекое Азовское море. Пусто без тебя, омертвела моя хижина без тебя, и сердце мое разрывается от тоски без тебя.

Один я сегодня встречаю свои пятьдесят с лишним лет и говорю за них судьбе: «Спасибо, спасибо!» И за эту нищую хижину спасибо, и за горихвостку на хижине спасибо.

Малыш! Ты вспомни сегодня обо мне и пожелай мне дождика, пахнущего малиной. Я заклинаю тебя: пожелай мне дождика, пахнущего малиной, ибо мне не прожить без него.

Кони мои

Где вы, кони мои, кони белые и рыжие, кони вороные и серые в яблоках? Я скакал на вас только в мальчишеских снах… Грозно стучали копыта в темной степи, в гулком лесу, на улицах пылающих селений, и в руке моей сверкал клинок, а за плечами развевалась, как знамя, чапаевская бурка, и зычное ржание повергало врагов в ужас…

Неужели я не удержусь на тебе, конь мой, если вскочу в седло, чтобы мчаться к кому-то, мчаться с целебным снадобьем в суме, или с ковригами спасительного хлеба во вьюках, или с поющей любовью в груди?..

Кони храпящие, с летучими, раскаленными копытами, с яростными мордами в зеленой пене, умоляю вас – во имя моей ноши не сбрасывайте меня, неумелого всадника.

Вы стелитесь над землей вещими птицами, вы несите меня к ждущему и страждущему.

Пока они еще с тобой

Как бывает нелегко идти с вокзала и знать, что уже никогда не встретишь человека, с которым только что расстался.

Таким чувствуешь себя ограбленным, а город – опустевшим. И ты не находишь места. И тебе страшно быть с вещами, с городом, среди которых и в котором жил и двигался уехавший человек. Он касался этих вещей, он смотрел на эти здания. И вот его нет. А вещи, а город стоят все так же. Незыблемо стоят.

Но они – опустели. Они приобрели совсем другой смысл. Они превратились в напоминание…

Хожу по городу. И хоть день сияющее ясный, он для меня в тумане.

Пасмурно, зябко, бесприютно…

Пока еще с тобой дорогие тебе люди, а ты еще с ними – обнимай же их теплые плечи, смотри в их глаза, слушай дыхание, пока они еще с тобой. А то ведь настанет время, и ты уйдешь в неведомое, а еще хуже – может уйти раньше тебя кто-то из них. А ты не долюбил его, не вернул ему свои душевные долги, не успел протянуть ему руку, когда он прыгал через канаву, не одарил его своим лучшим яблоком, своим лучшим виноградом…

И ты, заря утренняя, и ты, заря вечерняя, и ты, сверкающий дождик в глубине солнечного сада, и ты, поле мое, – все вы зовете меня.

Иди же к ним и не проспи их, вспаши и засей свое поле, и расстели его для бегущих по улице мимо тебя, для едущих в трамвае рядом с тобой…

Приветствую вас, спутники мои, славлю вас, полночи и зарницы мои!...

Я спешу к вам…

И пошел бы, и пошел бы…

А. Кухно

Помню мать в ее последний год жизни. Ей уже исполнилось восемьдесят два. И она даже по комнатам передвигалась с трудом. Я тогда жил в ее стареньком доме среди калины, боярки и тополей.

Однажды сидел во дворе на опрокинутом бочонке и курил, Вдруг дверь открылась, и из сенок осторожно, медленно перешагнула через порожек мама. На худых плечах ее шаль, в руках посошок. На лице поблескивали очки с очень толстыми стеклами в проволочной оправе. И вспоминается мне сейчас…

Весь двор пестреет георгинами, левкоями, астрами. Мать, стоя на крыльце, медленно обводит их глазами, видит меня, но, ничего не сказав, устремляет взгляд через низенький забор вдаль.

На земле пылает ослепительный июль. За домом соседей вздымаются три огромных пышных тополя, словно толстенные мачты невидимого корабля. Их лохмато-зеленые паруса загребают ветер, трепещут, устремляются вперед. А над ними в небе плывут другие корабли, распахнув белые пухлые паруса. Казалось, они вобрали в себя весь свет всего июля.

Мама долго смотрит на эти корабли и вдруг, перекрестившись, с невыразимой тоской произносит:

– Господи, господи! Взяла бы я сейчас котомочку с хлебцем, да и пошла бы, и пошла бы все прямо и прямо! – И она слабо махнула рукой туда, куда уплывали корабли июля. – И так бы ушла на веки вечные, и не вернулась сюда!

Что это с ней? Или привиделись ей теплые хлебные поля, земляничные рощи и прозрачные реки ее юности? И душа ее прощально рвалась к ним? Или это была смертная тоска, горькое томление перед близким концом и жажда уйти от него?

Но вот что удивительно! Это, мамино, живет и во мне. С самого детства живет.

…Выхожу из дома. Зимний вечер. В воздухе клубится снег – вьюга, света белого не видно. Над улицей со столбов склоняются, светят вниз фонари-светильники. Они бросают полосы голубоватого света. В свете клубится снег, и чудится, что каждый светильник извергает свою маленькую вьюгу. Шатаются голые, черные тополя. Заснеженные фигурки людей возникают из вьюжной сумятицы и снова тонут в ней.

И неожиданно мне начинает казаться, что я сейчас не выдержу, упаду и закричу от отчаянья, от тоски. От безнадежного порыва куда-то вдаль. И так бы и пошел, и пошел бы. И никогда бы сюда не вернулся. Куда пошел бы? Где еще никогда не был? Зачем пошел бы? В молодости – за счастьем, а теперь – за молодостью? Или это жажда увидеть, охватив душой всю мою благословенную родину? Или этот крик в душе зародился от тревожной вьюги?

Но вот я вспоминаю иное время. Утро. Сильный ветер и дождь. Из водосточных труб льется, словно из незакрытых кранов. Люди бегут, подняв воротники. Прямо не весна, а осень. Но нет, нет – это ненастье весеннее. В ветре, в дожде, в холоде деревья мечутся радостно: у них уже лопнули почки, уже высунулись желтоватые, клейкие клювики сложенных листочков. И от этих малышей холод пахнет смолкой. И этот холод сейчас нужен им, он помогает лопаться почкам, сбрасывать на землю липкие корочки. И они валяются на мокрой земле. Я счастлив от этой студеной весенней сумятицы.

Но, несмотря на это счастье, меня охватывает мое, постоянное. Закурил бы сейчас, да и пошел бы, пошел. Зачем же уходить от счастья? Или это весна будоражит во мне извечного бродягу?

…Но вот оно – предзимье! Какое студеное и красивое слово… Едва рассвело. За окном несет колючий снег. Земля между деревьев, там, где бурая трава, побелела. Только асфальтовые тротуары да тропка чернеют. Я выхожу на балкон. Холодно, неуютно; кусты, деревья – все в смятении. Предзимье… Одеться бы сейчас потеплее, и пойти, и пойти, и пойти бы по хмурым улицам, скверам в самую даль и глушь этого предзимья. И чтобы, не умолкая, хрустела под ногами стылая, засохшая трава…

Не так ли в молодости бегут к своей возлюбленной, к своей единственной?

Не от такой ли тоски, отчаяния, любви, непреодолимого порыва осенними лунными ночами трубят и ревут в таежных горах изюбры? И они идут, влекомые страстью, и потом далеко-далеко разносятся стук, треск и клацанье рогов. Это скрещиваются в битве костяные мечи…

Изюбры идут, а я все не могу уйти в свои дальние горы. А так бы и пошел, и пошел, и пошел…

Завещание

Памяти поэта Александра Кухно

«Дорогие мои! Вы не печальтесь долго. Ведь самое лучшее мое осталось на земле.

Как только загрустите, так откройте мои книги – и вы услышите мой голос, увидите мое лицо, и я окажусь рядом с вами.

И даже, когда занятые своими делами, вы не сможете думать обо мне, я все равно буду приходить к вам.

Я сейчас листаю свои книги и спрашиваю у них: «Кто же я?» И книги отвечают:

«Ты – это летние дожди, ты – это листопады и лунные полночи, росы на травах и кукушки на рассвете, любовь и отчаяние, молодость и дороги, хруст прозрачного ледка и бурлящие речки»…

Вот в таком виде я буду приходить к вам. Когда это все будет около вас, считайте, что это я около вас.

Я ухожу из жизни, славя жизнь!»

ДОБРАЯ, ДОБРАЯ СКАЗКА...

(Юрий Михайлович Магалиф)

Прозаик и поэт Юрий Михайлович Магалиф родился 16 июля 1918 года в Петрограде, в семье провизора и польской графини.

Детство и юность прошли в Ленинграде. В 1935 году Ю. Магалиф вместе с матерью был сослан в Казахстан. По возвращении учился в Ленинградском театральном институте. В 1941 году был репрессирован (за хранение стенограммы I Съезда советских писателей) и отправлен в лагерь под Новосибирском. Ю. Магалиф сменил в жизни множество профессий. Работал почтальоном, маляром, тренером по плаванию, бетонщиком, портовым грузчиком. Около 40 лет отдал профессии артиста-чтеца, работая в Новосибирской филармонии.

Литературную деятельность Ю. Магалиф начинал с очерков. Публиковался в журнале «Сибирские огни». В 1958 году в Новосибирске вышла первая его книга – сказочная повесть «Приключения Жакони», впоследствии не раз переизданная. Автор многих прозаических книг для детей и взрослых, а также нескольких поэтических сборников, изданных в Новосибирске. Член Союза писателей СССР. Лауреат премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского.

Умер 28 января 2001 года в Новосибирске.

Ю. Магалиф работал в разных жанрах: писал повести и рассказы, стихи и поэмы, очерки и фельетоны. Но наибольших успехов и популярности добился в жанре сказочной повести, которую отличают у него и

оригинальные сюжеты, и доверительная разговорная интонация, сближающая автора с юным читателем, и органичное сочетание реального и фантастического. В его сказках присутствуют и озорство, и грусть, и азарт, и добрая назидательность. В литературе Сибири XX века Ю. Магалиф стал одним из первопроходцев жанра литературной сказки.

Вместе с тем достаточно интересно и поэтическое творчество Ю. Магалифа. В его лирических признаниях (а лучшие стихи этого поэта написаны уже на склоне лет) слышен идущий из глубины души голос много пережившего человека, размышляющего о времени, себе и мире вокруг. Струящаяся в них тихим осенним светом мудрость, вполне согласуясь с его поэтическим кредо («я не люблю стихов с нравоученьем») ненавязчива и неназидательна.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Ю. Магалифа:

Сказки. – Новосибирск, 1991.
Приключения генерала Картошкина. Сказочные повести. – Новосибирск, 1997.
Просто лирика. Книга стихотворений. – Новосибирск, 1996.

О Ю. Магалифе:

Мостков Ю. Разноликие герои писателя. // Ю. Мостков. Портреты. – Новосибирск, 1981.
Горшенин А. Сквозь жизни прожитой столпотворенье. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Юрий МАГАЛИФ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАКОНИ

(Отрывок из повести)

Кто такой?

Все кругом говорят: «Жаконя, Жаконя!» А кто такой Жаконя – никто толком не знает.

А Жаконя – это маленькая тряпичная обезьянка. Вы, наерное, думаете: какие у нее могут быть приключения?

Ого! Сейчас я вам начну рассказывать про Жаконю… да только боюсь, что даже к вечеру не закончу. Поэтому вы усаживайтесь поудобнее и слушайте не перебивая.

Сначала было жарко

Капитан громадного и красивого парохода привез из теплых стран настоящую живую обезьянку. Звали ее Жако. Очень смешная была эта обезьянка – маленькая, с длинным хвостом и с четырьмя руками (потому что у нее на ногах виднелись в точности такие же пальчики, как и на руках, и поэтому ничего не стоило перепутать – где руки, а где ноги!). Глаза у Жако были забавные: черные и, по-моему, плутоватые.

Жако оказался большим проказником, и держать его на пароходе стало опросто невозможно! Ну сами подумайте: тут – машинное отделение, тут – рубка, тут – якоря, тут – мачты, три белые трубы с красными полосами и тут же – вот тебе раз! – обезьяна. И хоть не хотелось капитану расставаться с Жако, но решил он подарить ее одному своему знакомомому шестилетнему Мальчику.

Как обрадовался шестилетний Мальчик, когда ему подарили настоящую хвостатую обезьяну! Он теперь целыми днями играл с Жако.

Но обезьяне почему-то не нравилось играть с Мальчиком: она убегала от него, прыгала по книжным полкам и кусала переплеты Папиных книг, забиралась в буфет с посудой, а однажды ухитрилась даже залезть на абажур висячей лампы!

Самое плохое было то, что, Жако ничего не мог запомнить; ему скажут: «Нельзя рвать скатерть!» он на минуту перестанет, а потом снова принимается безобразничать… Или, например, только пообедает Жако, смотришь, прошло совсем немного времени, а он опять просит есть… Нет, совсем плохая память у обезьяны, что и говорить!

Наконец, родители Мальчика не выдержали и отдали Жако в цирк, дрессировщику Дурову. Шестилетний Мальчик сперва огорчался, что его разлучили с обезьяной, и даже немного поплакал, но потом все же успокоился и вытер слезы – ведь ему исполнилось шесть лет, в будущем году он собирался идти в школу, так что плакать ему не полагалось…

Появляется Жаконя

Через несколько дней Мальчик сказал своей маме:

– Знаешь, я все-таки сильно скучаю по нашему Жако… Очень скучаю!

Мама пошла в магазин, чтобы купить там игрушечную обезьянку, похожую на настоящую. Но, к сожалению, в магазине такой обезьянки не нашлось.

И тогда Мама сшила из кусочков меха, фланели и коричневого сукна маленькую-премаленькую забавную обезьянку, которая настолько походила на Жако, что ее даже и назвали точно так же – «Жако».

Но так как, во-первых, она была совсем крохотная и, во-вторых, появилась на свет не за границей, а у нас, в русском доме, то со временем называть ее стали ласково и чисто по-русски – «Жаконя».

Жаконю нарядили в красную курточку и синие штанишки, из которых высовывался длиннющий хвост, сделанный из коричневого шнурка, а внутрь шнурка была вставлена проволока. На голову Жаконе надели вязаную шапочку, на ноги – ватные башмачки… Словом, одет он был тепло, потому что ужасно боялся холода, как и всякая обезьяна.

Играют

У шестилетнего Мальчика было много игрушек – и сабля, и кубики, и заводной автомобиль, и конь-качалка… Но больше всего ему нравился Жаконя!

Мальчик не расставался с обезьяной. Он усаживал Жаконю в заводной автомобиль и катал по всей квартире; он ставил в уголке игрушечную мебель и играл с Жаконей в «гости»; потом научил Жаконю ездить верхом на деревянном коне… Иногда они играли «в школу», и Мальчик очень сердился на Жаконю, за то, что тот не хотел учить сказку про глупого мышонка.

Но все-таки обезьянка доставляла много удовольствия Мальчику. И, глядя, как они весело инрают, Мама и Папа радовались.

Жаконя отправляется в путь

Я позабыл вам сказать, что Папа шестилетнего Мальчика был автоинженером. Автоинженер – это человек, который знает устройство всех автомобилей: легковых, грузовых, автобусов и тягачей.

И вот однажды Папу вызвал к себе его начальник и сказал:

– Вы очень хороший инженер. Поэтому мы просим вас поехать на работу в Сибирь. Там сейчас идет огромное строительство, и ваши знания нужны сибирякам.

– Хорошо, – ответил Папа начальнику. – Конечно, отсюда до Сибири путь не близкий… Но я знаю: туда сейчас едут люди со всех концов страны – строить большие города, новые заводы,

добывать из-под земли каменный уголь, да мало ли там всякого дела!.. Я поеду в Сибирь с удовольствием!

Пришел Папа домой и стал собираться в дальнюю дорогу.

В Сибирь Папа ехал пока что один, без семьи. Решено было, что Мальчик с Мамой приедут туда будущей весной, когда Папа подготовит им квартиру.

Очень грустили отец с сыном, прощаясь. И Мальчик сказал Папе:

– Подали мне что-нибудь на память…

– Что же тебе подарить?.. – задумался отец. – Ага! Я подарю тебе дорогую для меня вещь – кокарду со своей старой солдатской фуражки. Согласен?

– Еще бы!.. А я тебе подарю… – Мальчик тоже задумался. – Ага! И я подарю тебе дорогую для меня вещь – Жаконю! Хочешь?

Папа крепко обнял сына, он знал, как любил Мальчик свою игрушку.

Старую солдатскую кокарду прикрепили на шапочку шестилетнего Мальчика. Жаконю положили в карман папиного пиджака. И все поехали на вокзал, откуда уходил поезд в Сибирь. Путешествие началось.

«Ой, куда меня везут?»

Пять суток ехали они в поезде. Жаконя лежал себе в кармане без забот и хлопот и почти всю дорогу сладко спал. Во сне он видел Мальчика и его игрушки – саблю, заводной автомобиль, коня, кубики…

Иногда Жаконя просыпался и слушал разговор людей в поезде. Люди беседовали между собой:

– В Сибири, конечно, хорошо жить. Только холодно очень.

– Это что и говорить! Морозы там бывают очень сильные.

«Ой, куда же это меня везут? – думал Жаконя. – Ведь замерзну я там!.. Я же, как-никак, обезьяна, мне нужно обязательно жить в тепле… Ой, погибну я там, в Сибири. Обязательно погибну!»

«Не погибнешь никогда, никогда, никогда», – стучали колеса.

«Не бо-о-ойся!» – пел паровозный гудок.

А Жаконе уже казалось, что он умирает; он хватал себя за лоб, прикладывал руку к сердцу. Только лоб был у него суконный и сердце тряпичное, и поэтому ничего нельзя было разобрать… Но вот поезд замедлил ход и все стали готовиться к выходу.

– Это – Сибирь? – спросил Папа у кондуктора.

– Сибирь-матушка! – ответил кондуктор.

«Сейчас мы выйдем на улицу, и я, наверное, сразу же простужусь и умру», – подумал Жаконя и, схватив лежащий рядом Папин носовой платок, словно шарфом, обернул им себе шею.

Разве это Сибирь?

Но когда они вышли из вагона, то Жаконя услышал, как Папа сказал:

– Какая великолепная погода! И тепло! Даже не похоже на осень.

Жаконя потихоньку выглянул из кармана и зажмурился – так сильно ударили ему в глаза теплые солнечные лучи.

Вокруг ходили люди в легких одеждах. Дереья тихо шелестели золотой осенней листвой. В ярко-синем небе летела цепочка журавлей. На полях гудели комбайны – там убирали урожай. А вдали, по самому горизонту, тянулись ряды высоких гор.

Жаконя подумал: «Наверное, нас обманули и привезли не туда, куда нужно. Все говорили, что в Сибири холодно, а здесь тепло! Да разве это – Сибирь?..»

Всё еще в дороге

Но это в самом деле была Сибирь. Только не знал Жаконя, что в Сибири осенью часто стоит хорошая погода.

Жаконя надумал, было, прогуляться по такой погоде и почти совсем уже вылез из Папиного пиджака, но паровоз вдруг закричал: «Ку-у-уда?!»

И Жаконя в испуге залез обратно в карман.

Поезд помчался дальше.

А Папа и еще несколько мужчин сели в грузовик и поехали в деревню, потом по лесу, который в Сибири зовется «тайгой», а потом вдоль берега широкой реки, где рыбаки тянули сети с рыбой…

Очень интересно было ехать в грузовике, Но Жаконя опять задремал и проснулся только тогда, когда уже подъезжали к деревне.

Стали жить у старушки

Папа с Жаконей поселились в избе у Старушки.

Изба была чистенькая, веселая, сделанная из желтых сосновых бревен. Кто бы ни проехал по улице мимо такой славной избы, обязательно говорил: «Наверное, здесь живут хорошие люди, аккуратные!»

А Старушка и вправду была очень аккуратная и добрая. У нее жили: корова Зоренька, пес Черныш и три сибирских кота – Васька, Фомка и Дымка. Зоренька давала молоко. Черныш сторожил дом, а коты где-то бродили и, кажется, никаким важным делом не занимались.

Скучает Жаконя

Вы уже знаете, что рядом с деревней начали строить завод. И Папа с утра уходил туда, где люди экскаваторами копали землю, круглыми пилами резали доски, складывали из кирпичей длинные стены.

На строительстве было много грузовых автомобилей – на них возили железо, цемент, песок и все, что нужно для постройки большого завода. В свободное от работы время грузовики стояли в гараже, и начальником этого гаража был Папа. У начальника всегда много разных забот, много дела, но Папа, хотя и уставал иногда, работал с удовольствием.

А Жаконя целыми днями валялся на Папиной кровати и скучал…

Правда, к Старушке часто приходила в гости ее внучка Гутя и играла с Жаконей. Но это ему не нравилось – он все боялся, как бы Гутя не испачкала его красную курточку и модные штанишки… Между нами говоря, боялся он этого совершенно напрасно, потому что руки у Гути всегда были чистые, недаром же ее избрали в школе в санитарную комиссию!

Вечером, когда Папа возвращался с работы, он сажал Жаконю себе на ладонь и подолгу смотрел на него, задумавшись о чем-то.

«Ну что он смотрит на меня?.. Никогда не видал, что ли?» – сердился Жаконя.

…А однажды Папа вздохнул, потом обернулся и, увидев, что в комнате никого нет, нежно поцеловал Жаконю в нос.

«Вот еще глупости!» – подумал Жаконя и чихнул с досады.

Тряпичной обезьянке не нравилось, что папина одежда вся пропахла бензином, не нравилось, что руки Папы шершавые и мозолистые.

«Ох, – вздыхал Жаконя, – зачем мы только сюда приехали. Здесь так скучно. Мне ни капельки не интересно забавлять эту девчонку Гутю и развлекать после работы Папу. Ведь я не обыкновенная обезьяна, а тряпичная, мне надо заниматься делом! Иначе я от скуки просто лопну по швам!..»

Зима наступила

Осень кончилась, и наступила зима. Затрещали морозы. Всё вокруг занесло снегом: и лес, и поля, и Старушкину избу, и хлев, где стояла Зоренька, и будку, где жил Черныш…

Коты – Васька, Фомка и Дымка – перестали бродить и целыми днями грелись на печке, косясь на Жаконю.

А тот лежал, как и всегда, на Папиной кровати, разглядывал потолок и удивлялся: почему это в избе тепло, а на улице, как говорят, холодно?.. На котов он не обращал внимания.

Папа каждый день по-прежнему ходил на работу. Морозы были ему не страшны.

Ночью

Однажды ночью Жаконя проснулся и увидел, что во тьме мерцают шесть злобных зеленых огоньков. Жаконя даже испугался: что бы это такое могло быть?

А огоньки бесшумно двигались по избе, то приближаясь к Жаконе, то отдаляясь.

Тут в окошко заглянула полная луна, осветила избу, и Жаконя понял, что зеленые огоньки просто-напросто кошачьи глаза.

Коты, осторожно ступая мягкими лапами, ходили вокруг стола и беспокойно озирались.

– Все спят, – сказал один кот.

– А обезьяна? – спросил другой.

– Наверняка спит! – усмехнулся третий. – Этот парень готов спать круглые сутки…

Жаконя хотел крикнуть: «А вот и неправда, а я и не сплю!», но в это время кто-то из котов прохрипел:

– Пусть только попробует проснуться – я ему мигом хвост отгрызу!

Жаконя в ужасе замер.

А коты присели на задние лапы и вдруг, сильно оттолкнувшись от пола, вскочили на стол.

Глухо урча, он сунули свои широкие усатые морды в миску со сметаной, которую Старушка оставила специально для Папы, чтобы он смог утром как следует позавтракать. Однако разбудить Папу Жаконя побоялся – ведь коты пообещали, в случае чего, отгрызть ему хвост!

Опасное знакомство

Коты съели почти всю сметану, спрыгнули со стола, пошли к своей печке. Но вдруг один из них взглянул на Жаконю и фыркнул:

– Смотрите, ребята, обезьяна-то не спит!

– А-а! Подглядывать за нами! Ш-ш-шпионить!.. – зашипели коты. – Ну, погоди ж!

Самый больший кот вскочил на кровать и сбросил Жаконю на пол

– Хватай его, ребята!

Жаконя так перепугался, что позабыл, где у него руки, где ноги, где голова, где хвост, и вместо того, чтобы сказать «здравствуйте», сказал «спасибо»…

Коты обнюхали обезьянку со всех сторон, но кусать ее почему-то не начинали. «Может быть, обойдется, и я буду цел?» – подумал Жаконя.

– Отгрыз бы я тебе, парень, хвост, да аппетита нету, – сказал один кот.

– Съел бы я твою заднюю ногу, парень, да после сметаны не хочется, – сказал другой.

– Расцарапал бы я тебе нос, парнишка, да когти не наточены, – сказал третий.

Жаконя понял, что в эту ночь его не растерзают, и от радости перекувыркнулся через голову. Коты рассмеялись.

«Ну, раз они смеются, значит, теперь я спасен окончательно, – решил Жаконя и почесал левой ногой правое ухо.

– Ишь ты! – сказали коты. – Вот это по-нашему!

– Я и на голове умею стоять! – похвастался Жаконя.

– Ловко! – удивились коты. – Ты, может быть, артист?

– Артист, – кивнул Жаконя и поклонился.

– Ну вот что, артист, – сказал самый толстый кот, – съесть тебя мы всегда успеем. А пока что давай знакомиться; артистов в нашей деревне нечасто встретишь.

– С удовольствием познакомлюсь с вами! – воскликнул Жаконя и, приподняв кончиком хвоста свою шапочку, крепко пожал одновременно другими руками и одной ногой три мягкие кошачьи лапы.

– Жако, – мое полное имя. А ласкательно будет Жаконя!

– Меня зовут Васька, – проворчал самый толстый котище.

– А меня – Фомка, – промурлыкал другой, поменьше.

– Дымка, – мяукнал третий, самый маленький.

– Я очень счастли! Очень счастлив! – ответил Жаконя. – Наконец-то у меня будут знакомые, а то я просто умираю со скуки.

Беседа

Все в эту ночь сладко спали – и Папа, и Старушка, и корова Зоренька, и пес Черныш… Только Жаконя и коты сидели на полу, озаренные голубым лунным светом, и беседовали.

– Я родился, вырос и получил образование в большом городе, на берегу моря! – хвастался Жаконя. – У нас была чудесная квартира с центральным отоплением. Я каждый день катался в собственном заводном автомобиле… В свободное время я изучал скзку о глупом мышонке…

– Должно быть, это очень вкусная сказка? – заметил кот Дымка и облизнулся.

– Д-да… Недурно написано, недурно… Когда-нибудь я обязательно расскажу ее вам.

– А собаки в городе есть? – спросил Фомка.

– Кажется, есть… – ответил Жаконя. – Лично я не имел собак, мне они не нравятся.

– Это верно, хорошего от них не жди, – согласились коты. – А скажи, парень, зачем ты приехал сюда, в Сибирь? – спросил Васька.

– Теперь многие едут в эти края, – объяснил Жаконя. – И мне было просто неловко отставать от людей. Ведь я не простая, а чело-ве-ко-об-раз-ная обезьянка! Говорят, что я талантлив и что у меня есть даже способности! Так говорит шестилетний Мальчик… Смотрите, как я умею танцевать!

И Жаконя, притопывая, смешно закружился на месте, шаркая па полу своим длинным проволочным хвостом.

– Видите! Вот как я умею!..И, знаете ли, не могу я теперь решить, что мне делать здесь, в Сибири, чем заняться? В наше время каждый должен приносить пользу! А кому здесь нужны мои способности?

– Но ведь ты развлекаешь людей, – сказал Васька, – им это нравится.

– Подумаешь! – пожал плечами Жаконя. – Пусть люди развлекаются сами. А я мог бы совершить в жизни что-нибудь более полезное…

Коты переглянулись между собой и подмигнули друг другу.

Страшная песня

Что ж, – сказал Васька, – я думаю, что ты можешь принести пользу нам, котам… И мы примем тебя в нашу компанию. Ребята мы храбрые, отчаянные, с нами не пропадешь…

– Я могу съесть полкилограмма мяса и не поперхнусь! – сказал Фомка.

– А я могу вылакать пол-литра молока и не захлебнусь! – сказал Дымка.

– А я могу съесть целый килограмм мяса и выпить целый литр молока! – Сказал Васька.

– Впервые в жизни я слышу о таком аппетите! – поразился Жаконя. – Но где вы достаете столько мяса и молока?

– Вор-р-руем! – хором мурлыкнули отчаянные коты.

– А разве Старушка вас не кормит?

– Кормит! А нам – мало!..

– Но ведь воровать – некрасиво! Шестилетний Мальчик мне однажды говорил, что коты…– Жаконя запнулся.

– Что же тебе говорил шестилетний Мальчик? – спросил Фомка, пристально глядя в глаза Жаконе.

– Он говорил… он говорил, что коты должны ловить мышей и крыс! – ответил Жаконя.

– Ха-ха! – засмеялся Васька. – Может быть, другие коты и занимаются таким скучным делом, но мы – ребята храбрые, отчаянные – предпочитаем воровать!

И хриплым голосом он затянул песню:

Мы крадемся по темным чуланам,
Мы гуляем в сырых погребах,
Где в горшочках белеет сметана
И где мясо висит на крюках!
Целый день мы храпим возле печки,
Но лишь полночь пробьет на часах –
Зажикаем зеленые свечки
В наших круглых кошачьих глазах!

Дымка и Фомка подхватили припев:

Эй, коты! Эй, коты!
Распушите хвосты!
Наши зубы скрипят,
Наши когти торчат!
За добычей! Смелее, коты!..

Жаконя, затаив дыхание, слушал и ему сделалось страшно…

Клятва

Коты орали так громко, что едва не разбудили Папу: он беспокойно повернулся на кровати с боку на бок и тяжело вздохнул – наверное, ему приснилось что-то грустное…

Когда все стихло, Жаконя прошептал:

– Кто сочинил эту песню?

– Я! – гордо сказал Фомка.

– И я! – мяукнул Дымка.

– Замечательно! – восхищенно сказал Жаконя.

– Если хочешь, мы и про тебя сочиним.

– Конечно, хочу… Только я не достоин… – Жаконя смутился.

– Ничего! Ти будешь теперь в нашей компании, и мы сочиним про тебя песню, которую споем в марте на наших концертах. Пусть все знают – кто такой Жаконя!

– А если тебе когда-нибудь потребуется помощь – то крикни громче: «Коты, ко мне!», и мы сразу же прибежим на выручку!

Жаконе все это очень понравилось. «Ах, какие симпатичные эти коты! – думал он. Настоящие друзья! Просто счастье, что я познакомился с ними…»

– Перейдем к делу, – сказал Васька. – Значит, ты хочешь стать нашим товарищем?

– Хочу!

– Тогда клянись!

– Клянусь!

– Молодец, парень! – ухмыльнулся Васька. – А теперь эту клятву надо еще скрепить сметаной… Дымка! Живо на стол!

В одно мгновение Дымка очутился на столе и обмакнул лапу в остатки сметаны. Соскочив на пол, он провел этой лапой по Жакониным губам, щекам и носу…

– Эту сметану, – сказал Васька, – ты не должен стирать с лица до тех пор, пока не проснутся люди и не посмотрят на тебя. Понял?

– Понял, – сказал Жаконя и сморщил нос, потому что терпеть не мог запаха сметаны.

…Луна с сожалением смотрела через окно на тряпичную обезьянку, окруженную тремя наглыми котами. Луна понимала, что Жаконя подружился с нехорошими товарищами, и от огорчения скрылась за густые облака.

В комнате стало тихо.

– Но если ты нарушишь клятву, – прохрипел Васька, – то – смерть тебе!

– Смерть! – повторили коты и исчезли во мраке ночи.

Утром

Ночь кончилась, и уже наступило утро, а Жаконя, вымазанный сметаной, все еще неподвижно сидел на холодном полу.

Папа проснулся, встал с кровати, и возле своих ног увидел обезьянку. Он не сразу догадался, почему она так странно запачкана.

Но, посмотрев на стол, Папа понял все…

Осторожно ухватив двумя пальцами Жаконю за шиворот, Папа строго сказал:

– А ну-ка, молодой человек, признавайся – какое ты имеешь отношение к сметане? Сам съесть столько сметаны ты, конечно, не мог, это ясно… Но ты, наверное, знаешь, уто съел сметану? Кто тебя измазал?

Жаконя молчал.

– Отвечай!

Но Жаконя словно воды в рот набрал.

Вы, навереное, полагаете, что Жаконя молчал оттого, что тряпичные обезьяны вообще не умеют разговаривать с людьми? Может быть, оно и так. Но я уверяю вас, что Жаконя молчал, главным образом, потому, что боялся нарушить клятву.

Вскоре и Старушка проснулась; узнав, в чем дело, она удивилась: «Не могла такая маленькая обезьянка съесть целую миску сметаны!»

– Конечно, это сделал кто-то другой! – сказал Папа. – Но Жаконя знает, кто сделал это, – и молчит. Вот что плохо! Придется тебя, мой милый, наказать… Я тебя…

Папа не успел сказать, как именно он собирается наказать Жаконю, потому что в этот момент скрипнула дверь и в избу вошла Гутя.

Когда ей объяснили, что здесь произошло, девочка не рассердилась на Жаконю, а, попросив у Старушки теплой воды, вымыла его хорошенько и, укутав, мягким платком, уложила на кровать.

Потом Гутя сказала:

– Не надо его наказывать. Ведь он маленький, глупый… Подождите, подрастет Жаконя, поумнеет и – сам поймет, что надо всегда быть честным и правдивым!

Как обиделся Жаконя, услышав, что кая-то девчонка назвала его глупым! Только этого еще не хватало! И он тут же решил никогда не играть с Гутей!

«Ничего, ничего, – мечтал Жаконя, – скоро я буду знаменитым. Скоро мои друзья-коты сочинят про меня прекрасную песню. И будут распевать ее повсюду. И тогда все вокруг узнают про Жаконю!..»

Так он мечтал, мечтал и заснул.

Заснул, несмотря на то, что начинался день и все вокруг принимались за дела.

Папа отправился на работу. Старушка пошла доить Зореньку и кормить Черныша. Гутя побежала в школу.

А в теплой чистенькой избе, освещенной солнцем, сладко спали коты на печке и Жаконя на кровати.

«Эх, Жаконя ты, Жаконя…»

Прошла неделя, потом другая…

Каждую ночь Жаконя просыпался и нетерпеливо ждал свидания со своими приятелями – они где-то бродили по ночам.

«Наверное, сочиняют песню про меня», – думал Жаконя.

…И вот наступила такая ночь, когда во тьме опять сверкнули шесть зеленых огоньков.

Жаконя от радости кубарем скатился с кровати.

– Готово? – спросил он у котов.

– Ты это про что?

– Я спрашиваю – сочинили песню?

– Ах, пе-есню… – протянул Фомка и почесал брюхо. – Нет, песня еще не готова.

– Это, брат, штука серьезная, – заметил Дымка.

– Да-а, непростая, – поддакнул Васька. – Тут тебе не «мур-мур» да «фыр-фыр». Тут соображать надо.

– Ну хоть немножечко сочинили? – жалобно спросил Жаконя.

– А как же! – сказал Фомка. – Немножечко сочинили. Начало есть. Вот слушай…

Фомка закинул назад свою усатую хитрую морду, зачем-то кинул взгляд на потолок (как это делают многие артисты-певцы) и завыл:

Эх, Жаконя ты, Жаконя, –
Удалая голова!..

– Замечательно! – подпрыгнул от восторга Жаконя. – А дальше?

– А вот дальше – еще не придумали.

– Все равно – начало очень хорошее. Как вы тонко подметили: «удалая голова». Совершенно справедливо! Именно – удалая!

– Значит, нравится песня? – спросил Васька.

– Очень нравится! Я хочу ее выучить наизусть… «Ах, Жаконя ты, Жаконя…»

– Не «ах, Жаконя», а «эх, Жаконя», – поправил Дымка.

– «Эх?.. Ладно. «Эх, Жаконя ты, Жаконя, – удалая…»

– Вот что, парень, – перебил Васька. – Потом допоешь песню. А сейчас прими от нас подарочек.

И коты положили к ногам Жакони маленький кусочек сырого мяса.

– Это тебе за то, что умеешь держать язык за зубами, – сказал Фомка.

– Спасибо. Но ведь я не ем мяса.

– Ну, знаешь, чем богаты – тем и рады. Бери!

– Только смотри – никому ни слова! – пригрозил Васька.

– А то худо тебе будет! – крикнули наглые коты и скрылись в темноте.

– Постойте, куда же вы! – воскликнул Жаконя. – Ведь я хотел рассказать вам сказку…

Но коты уже не интересовались сказкой и убежали.

А Жаконя задумчиво теребил кончик своего хвоста и тихонько повторял:

Эх, Жаконя ты, Жаконя, –
Удалая голова!..

Кто съел мясо?

Теперь меня вот что интересует: вы догадались или нет, что коты были не только наглыми, но и очень хитрыми?

Мне кажется, что догадались – ведь вы-то наверняка умнее Жакони!

…А Жаконя, ничего не подозревая, сидел себе на полу, и рядом с ним лежал кусочек мяса. Когда наступил день, Старушка пошла в кладовую и вскоре вернулась оттуда удивленная, огорченная и даже сердитая – за ночь в кладовке исчезла баранина, из которой нужно было приготовить Папе обед! Куда она могла подеваться?

Тут только Старушка заметила, что возле Жакони, который в это утро почему-то опять очутился на полу, лежал кусочек мяса.

Старушка стала бранить Жаконю:

– Как же тебе не стыдно? Взял без спросу баранину да и съел. Чем я теперь буду Папу кормить?.. Ведь он с работы придет усталый, голодный… Ах ты – обезьяна! Все вокруг работают – вон какой заводище строят! И только ты ничего не делаешь, да еще и воруешь! Стыдно, голубчик, стыдно!..

Впрочем, скоро она перестала браниться и подумала:

«Не могла же такая малюсенькая обезьянка съесть все мясо! Нет, тут что-то не так. Посоветуюсь-ка я с Чернышом – он пес сообразительный».

Черныш деловито вбежал в избу и посмотрел на хозяйку умным и преданным взглядом.

– Хочу узнать, Черныш, – сказала Старушка, – ел Жаконя сырое мясо или нет? Ты меня понял?

Пес Черныш понял и, подбежав к обезьянке, обнюхал ее; обнюхал рот, руки и помотал кудлатой головой, дескать, «нет, от Жакони мясо не пахнет…

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Когда мне последний вопрос зададут:
«Как жил в перепутанном мире?» –
То в книге моей между строчек прочтут
Судьбу ленинградца в Сибири.

Замерзшие птицы валились с небес,
Костер не желал разгораться.
И падал сибирский нетронутый лес
Под топором ленинградца.

Голодный, холодный, и плакать хочу…
И нету лазейки в ограде…
Но мужество тихо стучит по плечу:
«Держись, молодой ленинградец!»

Сибирь, поднимаясь средь стужи и мглы,
Навеки мне стала родною.
А парусник с адмиралтейской иглы
Все так же парит надо мною!

Чтоб взвесить минувшее, как надлежит, –
Тяжелые надобны гири:
«Ничто не забыто, никто не забыт» –
Написано и в Сибири.

Сонет

Как мало видел я, как мало знаю!
Огромный, быстрый, незнакомый мир
Завистливо, украдкой наблюдаю, –
Я в нем, что безбилетный пассажир.

Но радостно судьбу свою встречаю.
Пусть я не накопил подкожный жир,
Но не истерта жизнь моя до дыр
И многое я в ней благословляю.

Да, я не наблюдал заморских стран…
Но все ж глядел на Тихий океан,
На дымку над вулканами Камчатки!..

И суть не в том, чтоб всюду побывать,
Но в том, чтоб попытаться разгадать
Своей земли заветные загадки.

Акварели

Мама моя –
с узелочком –
Из Варшавы
бегом в Петроград,
Где погибал от чахотки
Коленька –
младший мой брат.
В шестнадцать он скончался,
На Волково отвезен…
Пять небольших акварелек
Сестренке оставил он.
На одной – ручеек весенний
Подмывает лиловый снег.
На другой – пригибаясь под ветром,
Упрямо идет человек.
Третья изображает
Солдата среди болот:
Стоит на посту и мерзнет,
А смена все не идет.

Четвертая – просто набросок:
Кусок кумача в кулаке,
Булыжная мостовая,
Труба дымит вдалеке.
А пятая акварелька –
Наверное, автопортрет:
Студент глядит исподлобья,
Кутаясь в клетчатый плед.
В том же шестнадцатом
мама
Супруга себе нашла;
В приданое
пять акварелек
Она с собой принесла.
Отец мой над детской кроваткой
Приклеил картинки к стене;
С тех пор этот дядя Коля
Живет неприметно во мне.
…Сегодня бы тем акварелькам
Стукнуло семьдесят лет, –
Если б война пощадила
Бумагу, рисунок и цвет.
Вроде бы все пропало,
Развеялось в пух и прах…
Но я еще жив! И картинки
В моих существуют стихах.
Живут, переплавившись в слово,
Исчезнувшие вдалеке,
Студент,
солдатик,
булыжник,
Кусок кумача в руке…

* * *

Я не терплю стихов с нравоученьем –
С рецептами: как жить нам надлежит.
Я дорожу лишь тем стихотвореньем,
Что, вроде бы, ко мне и не спешит;
Но, выглянув с насмешливой улыбкой
Из зарослей лирических щедрот,

Вдруг шпагою отточенной и гибкой
Без промаха судьбу мою пробьет!
… И долго остаюсь я потрясенным,
Перед стихом вздымая белый флаг.
И мир вдруг кажется преображенным,
И в жизни все, как будто бы, не так.

* * *

Я помню каждую крупинку,
Что в мае падала с небес.
Я помню каждую тропинку,
Что проникала в старый лес.

Я помню бешенство круженья
Разорванных на клочья слов
И холод утра посвященья
Тебе запутанных стихов.

* * *

Все куда-то отлетает,
А на тонкой пленке дня
Легкий оттиск оставляет
Твоя легкая ступня.

Твоя зыбкая улыбка –
Словно дождик за окном.
Ты награда и ошибка
В моем мире небольшом.

Говоришь: «Не надо вздора!»
Говоришь: «Не надо губ!»
Я, чтоб не было раздора,
Пред тобою просто глуп…
Долгий день присел за пяльцы –
По канве крестом идет.
Ледяные твои пальцы
Плотно мне зажали рот.

То ли крыша отъезжает,
То ли скука набегает…
Лишь на тонкой пленке дня
Легкий оттиск оставляет
Твоя узкая ступня.

* * *

Этот юноша к маме привык. Он не видит,
А вернее, не может увидеть
Благородство ее красоты.
Видит он только бледные руки
С покрасневшими пальцами. Видит
Ее губы сухие, без краски
И глаза за большими очками…
Он привык слушать голос усталый.
Он привык слушать жалобы мамы
На бессонницу и на болезни,
На ужасную дороговизну…
Он привык видеть маму в халате
И в истоптанных туфлях ночных.

Но когда-нибудь время настанет –
Он состарится, и среди ночи,
Пораженный бессонницей нудной,
Он вдруг вспомнит, как мамины руки
Белизною светились прозрачной.
И как нежные жилки синели
На ее исхудавших кистях…
Он припомнит, что мамины губы
Были нежными, словно дыханье,
Что халатик ее затрапезный
Облекал совершенное тело,
На которое Бог посмотрел…
Он припомнит усталую маму,
Не поняв, что назначено было
Ему в юности чудо увидеть…
Впрочем, кто же из нас понимает,
Что он рядышком с чудом живет?

Разве только – поэт?

* * *

Прогулки к речке Карасук,
Дрожь перед утренним купаньем,
Подернутый туманом луг
За главным санаторным зданьем;
Рассказы о своем былом –
Про опыт жизни многолетней,
И анекдоты за столом,
И незначительные сплетни;
И тут же – поздний Пастернак;
Воспоминанья о Париже;
Какой-то плотницкий верстак
И песик черно-бело-рыжий…

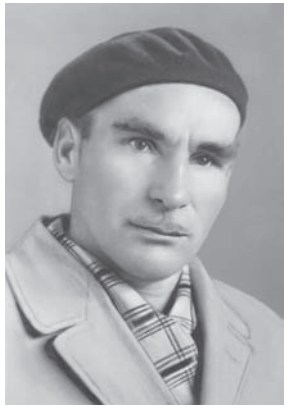
А между тем… А между тем, –
Все время с нами рядом что-то,
Не позабытое совсем,
Что трогать как бы неохота, –
Как потаенная струна,
Звучащая почти что рядом…
Иль размышленья глубина
Под мудрым осторожным взглядом…

«Так чем же старость хороша?» –
Вы легкомысленно спросили.
А тем, что жалкая душа
Уже не требует усилий;
Что точно обозначен круг,
Очерченный воспоминаньем;
И что всего важней, мой друг, –
Прогулки к речке Карасук
И дрожь пред утренним купаньем.

* * *

А чтобы сказку сочинить
Совсем немного надо:
Всю эту мелюзгу любить
Из ближнего детсада;

Их строгих пап и нежных мам
И бабушку с лукошком;
Любить туманы по утрам
И – дождик за окошком;
Всю жизнь без памяти любя,
И злость любя, и ласку…
Но больше всех любить тебя –
Мою больную сказку!



«А ЖИЗНЬ ПЛЫВЕТ-КАЧАЕТСЯ...»

(Николай Илларионович Перевалов)

Поэт Николай Илларионович Перевалов (настоящая фамилия Колесников) родился 24 ноября 1918 годау в деревне Большая Шабанка Малмыжского района Кировской области, в крестьянской семье.

После окончания Малмыжского педагогического техникума Н. Перевалов работал учителем в сельской начальной школе. В 1939 году был призван в ряды Красной армии. Служил на Дальнем Востоке, Великую Отечественную войну начал на берегах Волги. Командовал понтонным взводом. Был тяжело ранен при форсировании Днепра. Награжден боевыми медалями и орденом Отечественной войны II степени.

После демобилизации Н. Перевалов жил некоторое время в городе Петровске-Забайкальском, а в 1947 году переехал в Новосибирск. Здесь он окончил учительский институт (ныне – педагогический университет). Позже – Литературный институт им. А.М. Горького. Преподавал в школах русский язык и литературу.

Пробовать себя в поэзии Н. Перевалов начал еще в техникуме, а первое его стихотворение напечатала районная газета «Малмыжский колхозник». Публиковался в дальнейшем в журналах «Звезда», «Новый мир», «Молодая гвардия», «Смена», «Сибирские огни». В 1951 году в Новосибирске вышел первый сборник стихов Н. Перевалова «Светлые дали».

Автор более двух десятков поэтических книг, изданных в Новосибирске и Москве. Член Союза писателей СССР.

Умер 27 января 1984 года в Новосибирске.

В своих стихах и поэмах Н. Перевалов вел задушевный разговор с читателем-современником «о времени и о себе». Он был поэтом с ярко выраженным лирическим уклоном, и вся его поэзия – это своеобразная лирическая хроника о пережитом и перечувствованном. Главной же темой поэта, составлявшей содержательную основу творчества и определявшей его своеобразие и колорит, была Сибирь с ее неповторимой природой и людьми, преобразующими своим самоотверженным трудом родной край. Не случайно многие стихи Н. Перевалова проникнуты искренним восхищением людьми труда.

Как фронтовик не мог Н. Перевалов обойти и тему Великой Отечественной войны. Поэт осмысливал великий подвиг народный с высоты современных ему общественных задач. Лирика Н. Перевалова была подчас драматична, как драматично время, в котором он жил и о котором писал; мир виделся ему не только в радужных тонах; и о неизжитом еще зле Н. Перевалов говорил открыто, страстно, с болью. Тем не менее, у поэта доминирует радостное, оптимистическое восприятие жизни, а «светлый и душевный лиризм, стремящийся выразить идейную и психологическую правду современности» (В. Коржев), стал его поэтической «стихией».

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Н. Перевалова:

Судьба моя. Стихи. – Новосибирск, 1972.
Стихи. Поэма. – М., 1977.
Стихотворения и поэмы. – Новосибирск, 1978.

Об Н. Перевалове:

Коржев В. «Тиха глубокая река...». // В. Коржев. На поэтических орбитах. – Новосибирск, 1969;
Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.

Николай ПЕРЕВАЛОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Солдат сорок первого года

Солдат сорок первого года,
погибший в неравном бою,
на площади
в мраморе гордом
сегодня тебя узнаю.

В тот памятный час на рассвете
ты замер в коротком броске –
вот так и поднялся в бессмертье
с тяжелой гранатой в руке.

В ногах, на крутом пьедестале
к венку прислонился венок.
Родные, знакомые дали
видны ли отсюда, браток?

Солдат сорок первого года,
заглохли войны рубежи.
Не танки грохочут с восхода, –
кричат перепелки во ржи.

Не порохом пахнет, а мятой
под небом сквозной чисты.
С твоей гимнастерки помятой
сбегает не кровь, а цветы…

Но так же, как прежде когда-то,
в коротком смертельном броске
Сжимаешь сегодня гранату
в откинутой гневно руке.

Ты смотришь на мирные всходы,
тревожную думу тая,
солдат сорок первого года –
и юность, и совесть моя.

Над Донцом

Стволы на запад повернувши,
ночную даль чертя огнем,
гремят гвардейские «Катюши»
над темным Северным Донцом.

Вполнеба
дым за водным глянцем,
вполнеба отблески зарниц.
Как там лежится иностранцам
у развалившихся бойниц?

Под сводом рухнувшего дота,
к войне теряя интерес,
быть может, понял кто-то что-то
и протрезвился наконец?..
В атаку ринулась пехота
в кромешной тьме через Донец.

Был к утру кончен бой кровавый.
Над посветлевшею водой
чуть-чуть курился берег правый,
объятый мирной тишиной.

И, радуясь молчанью пушек,
спускались пленные к реке
и пели русскую «Катюшу»
на иностранном языке.

Перегруппировка

Бежали машины, ползли тягачи
в сплошном несмолкающем гуде.
Разбитой дорогой в кромешной ночи
спешили окопные люди.

И нас, утомленных, широкий восход
застал над спокойным Осколом,
глазастыми окнами, скрипом ворот
встречали безмолвные села.

Тревожно вздыхая в предчувствии бед,
с укором и горькой печалью
смотрели нам тихие женщины вслед
и молча глаза опускали.

Как трудно военную тайну хранить
солдату в такие мгновенья,
когда ты не вправе им то объяснить,
что кажется вновь отступленьем.

На старой мельнице

Чуть бой затишьем сменится,
и вспоминаю снова я:
живет на старой мельнице
казачка чернобровая –
в родном степном селении
над речкой Бузулук.
Как вспомню –
от волнения
захватывает дух.
Мое письмо украсьте-ка,
стихи, – прочтет пускай она.
Пишу:
«Эх, Настя-Настенька…»
Рифмую:
«Свет Михайловна…»
Тогда случайно встречена,
теперь –
навек желанная,
ты – боль моя сердечная
и радость безобманная.
Скажи мне, лебедь белая,
кому отдам тоску мою?
Нет, лучше так и сделаю,
как сам порою думаю.
Натосковавшись досыта,
весною ранней-ранею,
приду к тебе,
как в госпиталь,
хотя в бою не раненый.

Скажу:
в оконной сырости
ты грела в ночь осеннюю,
ты помогла мне вырасти
над ужасом сражения.
С твоим любимым именем
связал я имя Родины –
ведь со словами
«Жди меня»
пути на запад пройдены.
И потому живучий я.
Солдату сердце страстное
одна лишь рана мучает,
одной тебе подвластная.
И верю,
все изменится,
вернется счастье заново:
живой водою мельница
излечит долгожданного.

Сестрички русские

Фронтовым медсестрам
прошлой войны

Сестрички русские,
косички русые.
А мы безногие,
а мы безусые.
А мы бывалые,
с глазами впалыми,
двадцатилетние,
навек усталые.

Над снами нашими
ночей не спавшие,
роднее матери
порой бывавшие,
какой вам памятник
воздвигнуть в памяти, –
вам, беззаветные,
вам, милосердные?

Сестрички русские,
косички куцые –
теперь, наверное,
поблекли, русые.
Года увесисты,
всё круче лестницы,
где вы стареете,
мои ровесницы?

Невесты давние,
за все страдания
сбылись ли лучшие
мечты-желания –
и счастье жданное
в окошко глянуло
иль в прах рассыпалось
и в вечность кануло?

Дамские перчатки

Я их нашел в стране чужой,
в дымящихся руинах.
И побледнел. И взял с собой
в Россию из Берлина.

И чтобы пройденных путей
не забывать до смерти,
один-единственный трофей
храню – перчатки эти.

Кто их кроил и кто их шил
по модам зарубежным,
кто их по праздникам носил
с изяществом небрежным?

Где та, оставившая след
холеными руками?
Перчатки пахнут столько лет
парижскими духами.

Как будто вижу я сейчас:
сквозь них,
под звуки вальса,
те руки жали ей не раз
и целовали пальцы.

Любую рану затяни
ты, время, без остатка.
Но как забуду? Вот они,
берлинские перчатки!

Нет, человек! Смотри острей,
чтоб впредь не сшили тоже
для мира памятный трофей
из человечьей кожи!

У нас на Чаусе

По Чаусу, по Чаусу
до самой Колывани
плывут со мной, качаются
хмельные дяди Вани.

И ради воскресения –
ну как тут не воздашь им! –
дарят цветы весенние
нарядным тетям Дашам.

Учтивейшие рыцари,
веселые Ванюхи
с улыбчивыми лицами
целуют женам руки.

Пусть утро будет пасмурно,
не придавай значения,
смотри сегодня ласково:
сегодня воскресение.

Смеются волны Чауса –
над чем, я сам не знаю.
А жизнь плывет-качается,
такая и сякая.

Дочь тайги

Речкой быстрою была,
называлась нежно Тоя.
А сегодня – кто я, что я?
Обмелела, замерла.
Говорливые ручьи
больше к Тое не стремятся.
В черных омутах томятся
струи светлые мои.
Не живи и не дыши.
Простирая руки длинно,
мне на горло лезет тина,
молча душат камыши.
Мать, зеленая тайга,
не тобой ли рождена я –
разве больше дочь родная
для тебя не дорога?
Я украдкою журчу
по горбатым перекатам
и назло врагам проклятым
жить хочу и петь хочу.
Но гремят весны шаги,
разольется снова Тоя –
и узнают, кто я, что я,
изумленные враги.
Я молчу, да не шучу.
Нрав таежный ты дала мне –
размечу любые камни,
а до моря долечу.
Мать, зеленая тайга,
а сегодня ты прости мне,
что случайно загрустила
я, уткнувшись в берега.
Просто дочери твоей
в час вечерний, может статься,
захотелось приласкаться
к доброй матери своей.

Люблю

Вагон подбегает к платформе,
и взглядом веселым ловлю:
на стенке, совсем не по форме,
написано слово «Люблю».

Написано кем-то – и точка!
– Сотрите! Сказал контролер,
но сам от коротенькой строчки
отвел он придирчивый взор.

И люди на доброе слово
поднять не сумели руки.
Ушло, окрыленное, снова,
порядкам любым вопреки.

Все дальше по целому свету
проносится, грея сердца, –
ни визы ему, ни билета
не надо в пути до конца.

И где ни лучилось бы это,
я вам пожелание шлю:
примите, друзья, эстафету –
великое слово «Люблю».

Придумка

Тебя я придумал
в бессонные ночи,
сложил, не жалея
ни красок, ни слов, –
так людям на радость
восторженный зодчий
возводит певучую
сказку дворцов.

Тебя я придумал,
любя и тоскуя,

мечтая о капле
родного тепла,
себе в утешенье
придумал такую,
какой и во сне ты
сама не была.

Да станет дороже
любовь для влюбленных,
и пусть моя небыль
живет и живет.
Никто не узнает
о муках безмолвных,
а синяя птица
о счастье споет.

* * *

О тебе мечту
я вынашивал,
но любви твоей
не выпрашивал.

Не выгадывал
не выкраивал,
под балконами
не простаивал.

Поздним вечером,
утром ранним ли
не будил тебя
телеграммами.

Речью льстивою
не задабривал,
горностаями
не задаривал.

Лишь одел тебя
в рифмы звонкие –
и ушла, прошла
ты сторонкою.

Но не падай в грязь,
злостью донято,
сердце мудрое,
зла не помни ты.

И пускай в груди
боль неистова,
обернись, любовь,
песней чистою!

Уходящие женщины

Это было и есть –
слышал, видел и знаю,
и вчера, и сегодня –
это явь, а не сон:
наша вечная боль,
наша совесть больная –
уходящие женщины
всех времен и племен.

Чьи-то дочери вы,
чьи-то матери, может,
и – ничейные жены
с незапамятных лет.
Тут Венера-богиня –
и та не поможет,
да и что ей до наших
человеческих бед!

Вам о счастье мечталось.
За что ж наказанье?
Кто-то жесткий да гладкий,
вас не понял опять –
и, из сердца изгнав,
на порог указали.
Нелегко безответным
за себя постоять.

Лишь оглянетесь вы
в миг тяжелой утраты,
никого не растрогав
молчаливой мольбой,

и на скорбных плечах,
без вины виноваты,
все обиды земные
понесете с собой.

Мать моя

Никаких богатств не завещала,
лишь улыбку добрую дала:
пронести по жизни наказала
этот лучик света и тепла.

Может быть, оно и неудобно
дорогим наследством козырять,
вырос я улыбчивым и добрым,
на нее похожим, говорят.

Но недолгим было ликованье.
мир велик, суров и незнаком.
очень скоро в розовом тумане
потянуло первым холодком.

Да, вручить подарок ты вручила,
не терять велела, не терять,
ну, а как сберечь, не научила,
мама, недогадливая мать.

И опять запуталась дорога,
завела в житейскую пургу,
и в плену привычного восторга
пребывать я больше не могу.

Допекла неведомая порча
или что другое, не пойму:
чем глаза внимательней и зорче,
тем больнее сердцу моему.

Дорогая, трудно мне и страшно,
ты меня, угрюмого прости:
не сумел подарок твой отважно,
без потерь по жизни пронести.

Будут люди

Теплоходы снуют по Оби.
А баяны поют о любви
на реке в голубом далеке.
И душа у меня налегке.

Я с тобою сегодня плыву
в этот день выходной в синеву,
где над теплой волною обской
не проносится дым заводской.

И кого только рядышком нет!
Созидатели лунных ракет,
повелители гулких станков,
сочинители пылких стихов.

Позабыты меж нами чины –
мы во власти смолистой сосны,
и цветов, и лазури речной
в этот солнечный день выходной.

Каждый полон сегодня с утра
и взаимной любви, и добра,
будто накипь с души без следа
выжгло солнце и смыла вода.

К твоему я склоняюсь плечу,
я сейчас засмеюсь-закричу:
– Если можешь, сильней полюби.
Вон баяны поют на Оби!

И в глаза дорогие смотрю:
– Ничего не забудь, – говорю.
– Понесется годов череда –
станут люди такими тогда
навсегда, навсегда!

ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРЕГРАДЫ

(Николай Петрович Осинин)

Прозаик и драматург Николай Петрович Осинин (настоящая фамилия – Апсит) родился 19 декабря 1918 года в деревне Шаталово Починковского района Смоленской области, в крестьянской семье.

Учился в геолого-разведочном техникуме в Томске. Окончил исторический факультет Томского пединститута. В 1939 году был призван в армию. Получив специальность военного связиста, Н. Апсит был направлен в литовский городок Шауляй, где и встретил Великую Отечественную войну. Отсюда вместе с остатками своей части отступал по дорогам Прибалтики, пока не ранили под Ригой. После госпиталя Апсит вернулся в строй и участвовал в боях сначала под Москвой, затем на Волховском фронте.

В июне 1942 года офицер связи Н. Апсит, сражавшийся в составе 2-й ударной армии генерала Власова, оказавшейся в фашистском котле, был снова ранен, попал в плен и два года провел в концлагере на границе Финляндии и Швеции. В 1944 году организовал побег, в результате которого оказался с товарищами в Швеции. Служил в дальнейшем в десантных войсках.

В октябре 1945 года после демобилизации Н. Апсит был направлен в город Черепаново Новосибирской области преподавать русский язык и литературу. Работал в дальнейшем в Болотнинском педучилище (НСО).

В 1951 году Новосибирское книжное издательство выпустило первую книгу Н. Апсита «Через все преграды». Автором ее значился Николай Осинин (это буквальный русский перевод латышской фамилии Апсит). Повесть имела большой успех, многократно переиздавалась.

Под именем Н. Осинин писатель выпустил еще несколько книг: «Борискины карпы» (1953), «Палочка-выручалочка» (1955), «Сила воли» (1957), «Земля мужества» (1961, 1963), «Соль» (1962), «Железная команда» (1966), «Дорогие мои краснодонцы» (совместно с А. Колотович) – (1968) и др., изданных в Новосибирске, Тюмени, Риге, Москве. Публиковался в журнале «Сибирские огни». В 1950 – 1960-х годах активно сотрудничал с радио и телевидением, писал сценарии к радиопостановкам и телеспектаклям. Автор пьесы «Пять секунд», которая из-за цензурных препон была опубликована только в 2010 году (альманах «Синильга», №3). Член Союза писателей СССР.

Умер 2 января 1972 года в Новосибирске.

Н. Осинин писал преимущественно о детях и для детей. И главная тема его творчества – судьбы детей в Великую Отечественную войну. В сложных и трагических обстоятельствах его юные герои ведут мужественную борьбу с врагом, проявляя чудеса героизма, находчивости и изобретательности. Военные повести Н. Осинина насыщены событиями, неожиданными поворотами стремительно меняющейся обстановки. Но, как верно отметил один из первых его рецензентов Б. Рясенцев, «главное не в той несомненной занимательности», а «в том, что в большинстве случаев при этом убедительно раскрывается внутренний мир героев». Несмотря на трагизм и горечь, произведения Н. Осинина о войне полны того высокого жизнеутверждающего чувства, которое помогает его героям выстоять и двигаться «через все преграды» к победе.

Много и охотно писал Н. Осинин и о детях послевоенного, мирного времени. Произведения эти также отличались психологической достоверностью ребячьих характеров и правдивостью воссозданного им мира детства. Через обыденные жизненные ситуации писатель стремился донести до юных читателей важнейшие нравственные понятия и правила общественного поведения.

Особняком стоит в творчестве Н. Осинина книга «Дорогие мои краснодонцы», где писателем делается попытка выявить истинные причины трагедии молодогвардейцев и разобраться в истоках мужества одних и предательства других.

Н. Осинин был человеком трагической судьбы и в тоже время писателем редкого дарования. Рано уйдя из жизни, он не успел выразить в слове и малой доли того, что носил в душе и сердце своем. Но и сделанное им позволяет Н. Осинину занимать достойное место в литературном строю.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Н. Осинина:

Повести о войне. – Новосибирск, 1975.

О Н. Осинине:

Горшенин А. Через все преграды. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Николай ОСИНИН

СОЛЬ

Рассказ

Партизанский отряд задыхался, зажатый фашистами в большом Замошенском болоте.

Всю зиму партизаны не давали оккупантам покоя – взрывали поезда, нападали на небольшие гарнизоны в деревнях, уничтожали автомашины. Гонялись за ними эсэсовцы, как волки за лосем. Но после каждой такой погони все больше становилось крестов на немецком кладбище около деревни Ольшанки, а партизаны были неуловимы в глухих приволховских лесах и болотах.

В беду отряд попал во время весеннего половодья. Ручьи стали реками, болота и низины – озерами, – не разбежишься, как бывало, зимой на лыжах. Вот тогда фашисты обнаружили отряд в Замошье и окружили. День и ночь обстреливали они из минометов лесистые островки внутри болота. По их расчетам, уцелевшие от огня партизаны должны были погибнуть с голоду раньше, чем спадет вода. А чтобы никто из окрестных деревень не смог как-либо помочь партизанам, всех трудоспособных жителей угнали куда-то; говорили, будто на строительство дороги. Выгребли последний хлеб, если у кого из колхозников он еще был. Остались в Ольшанке лишь дряхлые старики и дети не старше тринадцати лет.

Марийка Забелина тоже осталась, ей было четырнадцать. Такая она была маленькая, худенькая, что немец-конвоир вывел ее из колонны, когда она собралась идти вместе с матерью и старшим братом.

Жить одной было страшно. Марийка поселилась у дальнего родственника, дедушки Антона, покалеченного когда-то на лесоповале. Перед самой войной к деду приехал внук Костя из Ленинграда. С Костей Марийка ходила собирать голодной весной вытаявшую на поле картошку – больше есть было нечего.

Однажды в стороне Замошья гремело всю ночь, словно там на пни и мерзлый кочкарник беспрерывно падали огромные сухие бревна.

На восходе солнца возле дедовой избы, на краю деревни, зачавкала грязь под множеством ног. Тяжело грохнули в дверь.

Дед Антон, скрипя костылем, вышел в сени. Тотчас в избу вскочили несколько эсэсовцев. Следом за ними два полицая волокли связанного человека – в фуфайке, мокрых валенках и ушанке со звездочкой.

С первого дня оккупации Марийкино сердце обрело какой-то особый инстинкт: оно даже во сне чуяло, когда приближались фашисты. И сейчас, раньше, чем первый удар приклада потряс избу, Марийка вздрогнула от предчувствия, что немцы идут к ним.

Немцы никогда не ходили с добром: либо забирали кого-нибудь, либо пинками угоняли на работу. Но таких разъяренных Марийка еще не видела. Они суетились, кричали все разом, и не понять было – на кого.

Костю, спросонья едва не метнувшегося к деду, Марийка безотчетным движением удержала на печи, потом затолкала в запечье. Сама забилась в угол на полатях, под дедов тулуп.

– Ахтунг! – грянуло вдруг точно выстрел, и сразу стало тихо-тихо.

Потом кто-то негромко заговорил по-русски.

Опомнясь, Марийка чуть приподняла краешек тулупа и выглянула. Посреди избы стоял маленький толстый немец-офицер в шинели с полоской серебряного погона. Сняв фуражку, он вытирал потный бритый затылок.

– Будешь отвечать – будешь жив, – говорил толстяк ровным и, как вначале показалось Марийке, добрым голосом. – Я позову доктора. Он быстро делает операцию. И ты будешь долго-долго жить. Немецкий доктор умеет очень хорошо зашивать живот.

Перед офицером на лавке, свесив голову, сидел связанный человек. Он все время крючился, кряхтел и сползал на пол. Если бы два полицая не придерживали его за плечи, он бы давно свалился.

– Альзо… Первый вопрос, – продолжал офицер, комкая платок, – сколько живых партизан осталось в Замошье?

Связанный продолжал все так же молча корчиться и кряхтеть, словно гитлеровец разговаривал с кем-то другим.

– Не надо терять драгоценных минут. Рана в живот – очень опасная рана. Ты можешь умереть, если не будем звать доктора.

Пленный медленно, будто непосильную гирю, приподнял голову. Лицо его было в крови и грязи, а взгляд потухший и бессмысленный, как у смертельно усталого человека, которому мешают спасть.

– Стреляйте… чего канителитесь, – простонал он.

– Партизан мы не стреляем, – отрицательно покачал офицер синеватым затылком и сделал платком знак эсэсовцам, стоявшим у двери. – Партизан надо казнить через повешение.

Эсесовцы отодвинули стол в угол, сбросили чугунок со скамейки у шеста. Один из полицаев начал поспешно стаскивать с себя резиновые сапоги.

– Но если ты будешь отвечать, – продолжал офицер, подвигаясь в сторону, чтобы освободить место на середине избы для скамейки, – если ты будешь говорить правду, я спасу тебе жизнь.

– Помираю…

Гитлеровец недовольно шевельнул черной щетиной усов под высоким ястребиным носом и махнул платком. Эсэсовцы обступили пленного и что-то с ним делали. Слышался треск разрываемой одежды, немотное мычание раненого.

Потом партизана, раздетого до пояса, положили поперек скамейки животом вниз. Разувшийся пучеглазый полицай и широкоплечий эсесовец с расплющенной, морщинистой, как у черепахи, физиономией стали по бокам с сапогами в руках.

– Нам, к сожалению, нет время на долгий разговор с тобой, – офицер пнул пленного каблуком в голову. – Если не ответишь правду, тебя будут бить сапогами по почкам. Это очень больно – резиновыми сапогами по почкам. И ты сдохнешь. Ну!..

– Поднимите… – вдруг прохрипел партизан.

Его посадили на скамейку. Собравшись с силами, он обвел взглядом избу: – Только не мучьте. Нет терпежу…

– Сколько человек осталось в отряде?

– Тридцать три…

– Врешь! Мы знаем!

– Было двести, – сказал партизан. – Так вы же минами… И день и ночь…А на островках где зарыться?..

– Ах, так! – усмехнулся офицер. – Одно слово неправда – и сапогами по почкам… Патрон, гранат сколько?

– Боеприпасу навалом. Зимой с самолетов нам сбросили. Да вы это третьего дня проверили, когда попробовали.

– А еды много? – резко перебил офицер. Глаза его, точно гвозди, вонзились в пленного.

– Плохо. Нету еды, – сказал он едва внятно. Потом снова окинув избу коротким взглядом, добавил громче: – Брюква кончилась, горох на исходе. А главное – соль. Нету соли.

– Соли? – удивленно и недоверчиво переспросил гитлеровец.

– Да. Без соли нельзя. Без соли человек – тухлая селедка. Сегодня мы втроем и пошли… Хотели добыть. Да теперь знаю: посуху не пройти. Надо было лугами, по воде, к речке. Там на песчаной косе у вас, кажется, один пулемет всего…

– Сколько пулеметов в отряде?

– Эх, знать бы… Пропадут наши зазря… Без соли нельзя…

– Сколько пулеметов? – гитлеровец опять угрожающе повысил голос.

Но пленный, видимо, впадая в забытье, продолжал бессвязно бормотать про брюкву, горох, твердил, без соли человек – не человек.

«Замолчи! Замолчи!» – мысленно умоляла его Марийка под тулупом, понимая, какой вред партизанам он наносит своим признанием.

– На скамейку! – костяным голосом сказал офицер полицаям.

Через минуту послышались глухие, хлюпающие удары, будто вальком колотили мо мокрому белью.

– Говори правду! Говори!..

Марийка безотчетным движением откинула тулуп с головы…

Люди, изба, солнце – все позеленело перед ее глазами. Позеленело и начало медленно переворачиваться.

Холодеющим лицом она уткнулась в тулуп.

Ей казалось, что она лежала без чувств. Но позже она припомнила, что слышала, как полицаи выволакивали тело партизана, как, грохоча ботинками, уходили эсэсовцы. Последним ушел офицер и увел деда Антона.

Потом в избе было тихо. Как ночью на кладбище. Тихо и жутко.

– Дедушка! – хотела позвать Марийка, в то же время зная, что деда Антона в избе нет..

Но вместо этого слова с губ ее слетело невнятное бормотание. Она почувствовала, что язык во рту непослушно вздрагивает и дергается, словно чужой.

«Костя!» – сказала Марийка громче.

– Те-те!.. – удивилась она чужим, непонятным звукам, которые вылетали из ее рта.

«Мама!» – вскрикнула она.

А раздалось жалобное мычание. Так мычат маленькие телята, затерянные где-нибудь в лесу.

Онемела!..

Это открытие не привело ее в отчаяние. Оно скорее удивило и озадачило. После только что пережитого у нее не хватило сил в полной мере почувствовать новое горе.

Она сидела и молчала.

Из-за печи, озираясь на дверь, медленно вылез Костя. Он как будто еще сильнее похудел. В обвисших вырезах полинялой майки проступали ребра. Остроносое треугольное лицо было бесцветно и неподвижно, лишь в карих с рыжинкой глазах мерцало по горячему угольку.

Он хотел пройти, выглянуть в окошко, но, заметив окровавленную скамейку на середине избы, попятился. Лицо его передернулось и еще заметнее побледнело.

Марийка осторожно, как будто у нее могли подломиться ноги, спустилась на пол. Ей казалось, что все тело ее внутри и снаружи облито холодом, – липким, знобящим холодом. Все-таки она пересилила слабость, охватившую ее при виде человеческой крови. Леденеющими руками переставила скамейку в темный угол, накрыла половиком.

Вытерла руки, прошла к окну.

Фашисты давно скрылись, улица была пустынна.

Костя глянул в окно через Марийкино плечо.

– Увели дедушку! – сказал он растерянным шепотом. – Неужели застрелят?

«Молчи, – хотела сказать Марийка. – Одевайся…»

Она не раскрыла рта, но Костя почему-то понял, что она хотела ему сказать, и начал поспешно натягивать на себя полосатый вязаный свитерок.

…Они не видели солнца, не замечали широкого голубого разлива реки, не слышали озорной переклички скворцов у старых пошатнувшихся скворешен на березке. Они замечали только фашистов, когда те появлялись на улице.

Тело умершего партизана гитлеровцы повесили возле здания сельпо на суку придорожной липы – для устрашения, хотя устрашать в деревне было уже некого.

Деда Антона куда-то увезли на грузовике. Про старика рассказал Петька, Марийкин сверстник, опухший, болезненного вида парнишка с обгорелыми бровями и ресницами. Петька заметил из окна своего дома, как деда Антона и еще одного дряхлого колхозника полицаи заталкивали а крытый грузовик.

– В Хмелевку повезли, – сказал Петька, – В Хмелевке штаб. Туда всех угоняют.

То, что дедушку повезли не одного, почему-то немного успокоило ребят. Но зачем он гитлеровцам?

– Что же нам делать?.. Что делать? – кусая нижнюю губу, бормотал Костя.

Марийка знала, ЧТО ДЕЛАТЬ. Она знала это с той самой минуты, как фашисты покинули их избу и у нее прояснилось сознание. – Пошли в Хмелевку, – предложил Костя, – надо узнать, что с дедушкой…

Марийка медленно покачала головой.

– Трусишь? – прищурился мальчик.

Нет, она не трусила. Просто идти в Хмелевку было бесполезно: помочь деду Антону они не могли.

Костя, наконец, обратил внимание на странное, каменно-спокойное выражение лица Марийки. Он приял это за признак равнодушия к судьбе деда Антона и обиделся.

– Ну, что ты молчишь? Идешь в Хмелевку? – настаивал мальчуган.

Что она могла ответить ему?

Жил до войны в их деревне одинокий безродный парень, Ваня Глухарь. Он трогательно любил ребятишек, мастерил для них забавные игрушки. Но они, дети, в том числе и Марийка, считали его дурачком, потому что Ваня был глухонемой. Когда он хотел что-либо сказать, то мычал и смешно жестикулировал.

Марийке казалось, что вот так же и ее посчитают за дурочку, если она теперь попробует объяснить. Нет, лучше молчать. Да и не стоит вмешивать Костю в то опасное дело, которое она задумала, – одна справится.

– Конечно, что тебе дедушка. Ты, кажется, с перепугу того… – Костя повертел пальцем у виска и пошел прочь, смахивая слезы.

Обида на время обессилила ее. Трудно дыша, Марийка добрела до своей запертой избы, опустилась на плоский камень, служивший ступенькой крыльца. Она хотела заплакать – слезы горячим ключом кипели где-то в горле. Но, потеряв дар речи, она как будто разучилась и плакать. От этого было еще тяжелей.

Потом горечь поутихла. Вернее, Марийка начала думать о другом. В памяти вновь и вновь вставали бешеные крики эсесовцев, раненый партизан на скамейке. До мельчайших подробностей припомнилось все…

«Что же я сижу? – поднялась Марийка. – Дедушки нет, Костя – глупый, ничего не понимает. Я должна, больше некому».

Она отперла тяжелый висячий замок, вошла в свою избу. Было холодно. Пахло гнилой картошкой. От знакомых, привычных предметов веяло чем-то неживым, будто раньше все они – стол, печка, кровать с полосатой периной, полка с учебниками – были живыми, а теперь умерли.

Марийка обшарила стенной шкафчик, заглянула в ящик стола. Большая деревянная солонка была пуста.

Вспомнила, что соль мама хранила в чулане, в старой, щелеватой ступе. Ключ от чулана куда-то запропал, пришлось сбивать пробой топором.

Соли в ступе оказалось всего стакана четыре. Марийка знала, что в доме деда Антона и того не набрать. Для тридцати трех человек этого было мало. Волей-неволей надо было идти просить взаймы.

Чтобы скрыть свою немоту, Марийка большим платком замотала себе рот и шею, а на листе бумаги крупными буквами написала, что заболела, потеряла голос и просит одолжить ей соли. Захватив полотняную сумку, с которой когда-то бегала в школу, она пошла по деревне, прикидывая в уме, к кому зайти, а чей дом лучше пропустить. В одной избе ей дали с полкилограмма. В другом месте удалось добыть побольше. Зашла в Петькин дом и тут неожиданно наткнулась на полицаев – тех самых, что утром тащили пленного партизана.

Столкнувшись с ними, Марийка растерялась, хотела бежать – и это насторожило полицаев.

– Стой! – схватил ее за плечо тот самый краснолицый верзила в резиновых сапогах, который бил пленного.

Она даже не успела сунуть за пазуху листок бумаги, который держала в руках.

Полицай вырвал листок, прочел вслух.

– Соли тебе? – сказал он и переглянулся с приятелем. – А в сумке что?.. А ну, признавайся, зачем тебе еще соли?

Марийка испугалась. Она испугалась , что язык ее вдруг как-нибудь заговорит.

– Отвечай! – рявкнул полицай.

«Мама, мама, мама…» – твердила про себя Марийка, будто слово это могло охранить ее от злобы предателя.

Полицай заправил свои холодные пальцы ей за ворот, под платок, притянул к себе. Свободной рукой коротко размахнулся:

– Говори!!!

Глядя в его зеленоватые волчьи зрачки, она до хруста стиснула зубы.

Ослепительная красная вспышка ослепила Марийку. На мгновение почудилось, что голова ее раскололась, как глиняный горшок от удара камнем.

Она бы свалилась на пол, если бы холодные пальцы полицая, подобно железным крючьям, не удерживали ее на весу.

– Душегуб окаянный, за что дите бьешь?.. – проник до Марийкиного сознания слабый голос. Она услышала еще чей-то крик и плач. Потом увидела рядом горбатую Петькину бабку.

Серыми костлявыми пальцами старуха вцепилась в рукав предателя. Прижавшись в углу, плакала младшая Петькина сестренка.

Полицай оттолкнул бабку, поволок Марийку на улицу. Однако и на дворе старуха не отстала. На шум сбежались несколько ребят из соседних дворов. Несмотря на угрозы полицаев, дети обступили и, кто жалобно, кто сердито, принялись кричать, чтобы отпустили Марийку.

– Где ее хата? – спросил краснолицый.

Ему показали Марийкину избу.

– А не та, что с краю деревни?

– Не, то деда Антона.

К счастью, никто не обмолвился, где Марийка жила в последнее время.

Полицаи перебросились между собой о чем-то вполголоса. Пучеглазый хотел высыпать соль в лужу.

Марийка с отчаянием прижала сумку к груди и невольно вскрикнула: «Не дам!»

Она была поглощена одним желанием – спасти соль, поэтому даже не заметила, что вместо слов с губ ее слетело непонятное курлыканье.

Полицай озлобленно и нетерпеливо рванул за лямку. Лямка оборвалась, Марийка вслед за сумкой упала на грязную дорогу. Второй полицай захохотал.

– Некогда, брось, – сказал он своему приятелю, – не видишь – дурочка, говорить не может.

Краснолицый втоптал в грязь сумку с солью, потом, пнув Марийку резиновым сапогом, выругался и зашагал прочь.

Старуха, кляня душегубов, завела ее к себе в дом. Обмыла грязь, наложила мокрую тряпку на Марийкину опухающую багровую щеку.

– Чего эти псы к тебе прицепились? – допытывалась она. – Зачем тебе соли-то столько?

До спазм в горле захотелось Марийке пожаловаться, поделиться своим горем, рассказать обо всем.

«Сегодня утром»… – попыталась она выговорить. Но язык опять странно, непослушно задергался, издавая уродливые, булькающие звуки.

Старушка замерла, потом с тревогой глянула ей в глаза:

– Ой, дитятко мое, с тобой и правда – беда. С перепугу!..

«…дурочкой стала», – сжимаясь сердцем, мысленно докончила Марийка вместо замолчавшей бабки.

Может быть, совсем другое хотела та сказать. Но Марийке казалось, что по-иному и подумать нельзя, слушая глупое немотное бормотание: она же помнит, как сама раньше смеялась над мычанием Вани Глухаря.

Болело разбитое лицо, болели и кровоточили десны. Но мучительнее всего было чувствовать сейчас свое одиночество: немота как бы отделила от людей, отделила и принизила. Марийка сама себе представлялась жалкой, отверженной. И в то же время не могла смириться с этим – сердце бунтовало. «Нет, нет, нет!..» – твердила про себя, не совсем понимая, к чему именно относится «нет», то ли к горестным бабкиным причитаниям, то ли к собственной слабости, овладевшей всем ее существом.

Она поднялась и, несмотря на уговоры старухи остаться, обсушить пальто, побрела домой.

Остаток дня Марийка просидела в своей избе – сушила на железной печурке соль, которая хотя и намокла в сумке, но почти вся уцелела.

Она хорошо знала дорогу к Замошинскому болоту – не раз бегала туда с подружками за брусникой. Дорогу, конечно, немцы стерегут, но есть маленькая тропка от кладбища через березник – о ней вряд ли им известно.

Надо выйти лишь попозже вечером, чтобы полицаи не заметили.

После обеда на дворе похолодало, захмарилось. Падал редкий крупный снег. Марийка то и дело поглядывала в окно, с нетерпением ожидая наступления темноты.

И в то же время, чем ближе был вечер, тем тревожней становилось у нее на сердце. Дойдет ли она? А вдруг и на тропинке фашисты? Днем она была уверена, что их там нет. Когда же начало смеркаться, ее мнение почему-то переменилось. Немцы и полицаи чудились за каждым домом.

Марийка теперь жалела, что ушла от Петькиной бабки. Подумаешь, обиделась:дурочкой из-за немоты посчитали! Дура и есть: от своих в такое время вздумала прятаться.

Не зря, когда прощались, мама ей наказывала, чтобы своих, деревенских, не сторонилась. «Дома одна не сиди, – будто услышала Марийка материн голос. – От беды в одиночку не отобьешься. Не у стен ищи подмоги – у людей».

И Марийка пошла искать людей.

В бабкиной избе ее как будто ждали.

– Легка на помине, – встретила Марийку старуха у порога. – Проходи.

За столом над чашкой с вареным картофелем сидели Костя с Петькой. Напротив них – белобородый сухонький старичок в ветхом полушубке, бывший конюх Сазоныч. Старуха, очевидно, рассказывала им про то, что произошло днем, и про Марийкину немоту. Когда Марийка приблизилась к столу, они замолчали, с участием глядя на ее перекошенное опухолью лицо.

По усталому тоскующему взгляду Кости она сразу догадалась, что деда Антона мальчикам повидать не удалось.

Потом старик, продолжая прерванный разговор, повернулся к Косте:

– Знать, Петро что-то сказал такое, чего немец опасается: как бы до наших не дошло. Поэтому деда твоего и забрали. А так-то зачем им старье безногое? Диво, что вас тогда не приметили.

Голос у него был хрипучий, как будто он продувал слова через трубку с водой, а глаза, точно жучки, прятались в бесчисленных складках волосатых век.

– Я за печкой сидел, – пояснил Костя. – Марийка тоже куда-то забилась.

– Вот и надо вам припомнить, о чем партизан говорил.

Костя еще больше насупился:

– Я же сказал, он все фрицам выдал. И сколько людей в отряде, и что с голоду они пропадают…

– Выдал, выдал… Не верю!. Я Петра хорошо знал. Он до войны ветеринаром в Хмелевском районе работал. Всю зиму партизанил. Крепкий был человек.

Петька, оторвавшись от картошки, подтвердил:

– Крепкий. Помните, как он зимой мешки с мукой вытаскивал из вашего погреба? Одной рукой…

– Снилось тебе… – заметно смешался Сазоныч.

– Чего снилось? Ничего не снилось, – сказал Петька. – Я же видел, как он к вашему двору подъезжал…

– Не дело болтаешь! Видел – помалкивай, – резко оборвал Сазоныч и снова обратился к Косте: – Что голодно партизанам – немец и без Петра догадывается. А сколько партизан в Замошье – поди, сосчитай. Нет, что-то другое…

Он взял Марийку за плечи, усадил за стол, положил перед нею помятую обложку от тетрадки и толстый красный карандаш.

– Садись. Зачем соль-то по дворам собирала?

Марийка быстро написала: «Пленный сказал, что партизаны пропадают без соли».

Длинная дедова борода нависла над тетрадной обложкой.

– Без соли, конечно, худо, да неужто из-за этого пропадают? А чего у них еще не хватает?

И Марийка начала припоминать все, что говорил партизан на допросе.

Когда она написала «Брюква кончилась, хлеб на исходе», старик остановил ее руку:

– Так и сказал: брюква кончилась?

Марийка кивнула головой, подумала, потом зачеркнула слово «хлеб» и написала сверху «горох».

– Брюква кончилась, горох на исходе, – прохрипел дед. – Вот оно что! Тут про тебя говорили, что, дескать, умом тронулась, а ты умней других умников. Ни брюквы, ни гороха у партизан, как я понимаю, никогда не было.

– А помнишь, – смущенно тронул Костя Марийку, – кажется, он говорил, почему его схватили?

«Посуху не пройти, – тотчас всплыл в ее памяти слабеющий голос пленного. – Надо бы лугами, по воде, к речке… На песчаной косе один пулемет всего…»

Прочтя это, старик распрямился, и его глаза-жучки появились из своих щелей:

– Во! Во!.. Костя, у деда Антона лодка была. Где она?

– Под хворостом за сараем. А разве к Замошью можно на лодке?

– Круг большой давать, но в разлив – можно. По речке сплыть вниз до Выселок. За песчаной косой ручей впадает, начало его – в Замошье. Летом по нему не пробраться. Кугой да камышом порастет. А в разлив там все луга окрест залиты… Спробую помочь мужикам. Не зря Петро сказал, что там у немцев один пулемет всего.

Костя было заикнулся проситься, чтобы плыть с ним. Сазоныч сердито оборвал:

– И думать забудь!

Провел кряжистыми, похожими на дубовое корневище пальцами по Марийкиным волосам:

– Соль по дворам собирала? Должно, по кладбищенской стежке хотела в Замошье бежать?

Марийка кивнула головой.

– Глупенькая. С нашей стороны, от деревни, туда зайцу не проскочить…

В темноте столкнули лодку на воду: у самого берега тихонько подогнали ее к огороду Сазоныча.

Старик разрыл грядку, достал несколько тяжелых жестяных коробок. Марийка с Костей помогали перетаскивать их к лодке, Петька лежал на крыше сарая – караулил.

– Что это в коробках? – прошептал Костя.

– Соль, – с едва приметной усмешкой ответил Сазоныч.

– Зачем столько соли? Им бы хлеба.

– Хлеба, парень, сам знаешь, нету. Картошки ведер пять-шесть наберется.

Когда картошку перенесли из погреба в лодку, Сазоныс сказал:

– А теперь за брюквой схожу. Тихо сидите. Если какая опасность – лодку топить.

Отсутствовал он минут сорок. Наконец появился со стороны колхозной конюшни, натужно кряхтя под тяжестью мешка на спине.

– Помогите снять! – выдохнул он.

Марийка с Костей ухватились за мешок – вместо брюквы в нем были какие-то железные предметы.

– Дедушка, – изумился Костя, – Это же…

Сазоныч, тяжело охая и хватаясь за поясницу, захрипел взволнованно:

– Бегите домой. Немцы чего-то шастают…

Первым внутренним движением Марийки было бежать вместе с Костей. Случись это вчера – она так бы и поступила. Но сегодняшний день был для нее как огонь для куска руды, способной стать железом. Марийка видела, что старик не может разогнуться от внезапной боли в пояснице. «Как же он с лодкой управится? Не довезти ему соль».

У нее сложилась уверенность. Что спасение партизан в Замошье зависело от того – доставят им соль или нет.

– Уходим! Немцы! – громче и нетерпеливей простонал Сазныч, неловко, на четвереньках забираясь в лодку. Из темноты, с пригорка, донеслись лающие голоса гитлеровцев. Чтобы избежать встречи с ними, Марийке надо было уходить низом, вдоль кустов. Но старик, стоя на коленях, никак не мог оттолкнуться от берега и лишь беспомощно тыкал и шлепал веслом. Марийка, налегая грудью, уперлась в мокрый борт плоскодонки.

Медленно, будто нехотя, сползал тяжелый неуклюжий дощаник с мели. Так же медленно крепло решение в Марийкиной голове. Когда корма, соскользнув с земли, качнулась на глубокой воде, Марийка прыгнула в лодку.

– Очумела! – охнул Сазоныч.

Марийка схватила доску от сиденья, начала быстро выгребать на быстрину.

– Ложись! – шепнул старик.

Течение подхватило и понесло их мимо кустов и притулившихся к пригорку темных банек.

Вокруг серый мрак – косматый, колючий, как лапы столетних заснеженных елей.

Ветер сдувает с тех лап серые хлопья снега и топит их в черной воде.

Иногда из мрака тихо, крадучись, к лодке подплывает низкий берег. Берег тоже серый – как волк, от него надо быстрей отгребаться на середину.

Болят, саднят натертые веслом ладони, и голова болит. Давно болит, целую вечность.

– Что ты за человек? – это ворчит Сазоныч. Он все еще не может простить Марийке ее самовольства. – Замухрышка, воробей – и в такое дело встряла. Тут мужицкая сила надобна, а у тебя – пшик, настырность одна. Вот высажу, потопаешь домой…

Он от самой деревни грозится высадить ее на берег. И, наверное, высадил бы, да ему грести невмочь, по-прежнему спина болит: ни согнуться, ни выпрямиться, едва руками шевелит.

– Глянь-ка поострей, что там?

Марийка вглядывается в ту сторону, куда указывает дедова борода. Слева из снежной пелены, точно призрак, проступает силуэт какого-то строения. Чтобы объяснить старику, Марийка складывает руки «шатериком», изображая крышу.

– Дом?.. Значит, к Выселкам подходим. Греби вправо. Фашиста тут – как воронья на павшей скотине.

Призрак дома исчезает, словно рассеивается от порыва ветра.

– Ну, теперь крепись! – шепчет старик. – Вот пройдем деревню, а там и ручей близко.

Мелкие черные волны трутся о борт плоскодонки – точно холодные камешки трутся в мозгу Марийки. Ей кажется, что думает она сейчас не головою, а сердцем, и мысль в сердце всего одна: доплыть до Замошья.

Ориентируясь по каким-то неведомым приметам, Сазоныч выводит лодку прямо в устье ручья. Это большая спокойная заводь.

После поворота ветер дует им в спину, зато сразу становится ощутимо встречное течение. Лодка продвигается медленно, хотя Марийка работает веслом из всех сил.

Заводь постепенно сужается. Плыть по середине с каждым метров все труднее. За космами снегопада мелькает прибрежный кустарник, затопленный водой. Начинает светать.

Сазоныч, кое-как встав коленями на мешок с картошкой, отталкивается шестом. Когда он нажимает на шест, рот его непроизвольно широко раскрывается, как при отчаянном крике. Время от времени старик замирает, парализованный болью в пояснице.

Тогда кажется, что он даже не дышит, лишь мокрая борода дрожит.

Марийка выкладывает последние силы. Весло то и дело вырывается из немеющих пальцев.

– Тише, тише! – улавливает она безголосое сипенье Сазоныча.

Берег – серый волк – внезапно клацает железными зубами.

– Пулемет! – застывает на месте Сазоныч с шестом. Через несколько минут добавляет спокойней: – Куда-то мимо бьет. Должно – так, для острастки.

Лодка продвигается медленными толчками – как будто шагает крадучись: шагнет – остановится, еще ступит – опять замрет.

А утро все заметней. Ветер стихает. Снег поредел.

Медленно наплывает темная гряда лозняка.

– Кажись, проскочили! – чуть слышно шепчет Сазоныч. – Луга начались.

Течение слабеет. Лодка с ходу проскальзывает через полосу лозняка.

За кустами – широкий разлив. Впереди на поверхности небольшие черные кочки или верхушки пней. Дальше виднеются белоногие березки…

Вдруг кочки перед лодкой разом срываются и со страшным хлопаньем и кряком взмывают вверх! Утки!

Тотчас сзади – треск – кто-то огромный ломится по сухому орешнику.

Странные невидимые птички цвикают в воздухе. А в том месте, откуда сорвалась утиная стая, вскипают фонтанчики, словно туда швырнули горсть камешков.

Странно кашлянув, Сазоныч роняет шест и грузно садится на дно лодки.

Сквозь посвист и всплески доносится его голос:

– Ляжь…

А Марийке слышится – «наляжь», и она, вытягивая жилы из рук, гребет, гребет…

Березки, кусты, опять чистая вода – насколько проникает глаз.

Весло вдруг, брызнув белой щепой, вылетает из бесчувственных рук. Марийка оглядывается. Сазоныч, подогнув колени, приваливается затылком к корме. Лицо его белее бороды, оно словно вылеплено из стеарина. Цвикают – это же пули. Дедушка!..

Сазоныч еще шевелит губами, но Марийка знает, что он сейчас перестанет шевелить, и мертвые глаза будут смотреть на нее. Это страшнее пули.

Ужас накатывается, как во сне, едва не выталкивает ее из лодки.

– Не пугайся… Я жив… Плыви.

Эти слова Сазоныча как будто вкладывают в ее онемевшие руки расщепленное весло. Странно, что она еще в силах что-то делать.

– Плыви.

Марийка чувствует, что грести она сможет лишь до тех пор, пока старик будет вот так говорить сзади:

– Плыви… плыви…

Потом он смолкает. Марийка догадывается – почему. Некоторое время она борется со страшным искушением – посмотреть назад. Наконец, не выдержав, оборачивается, зажав в груди готовый сорваться крик.

Сазоныч лежит в прежней позе. На лицо он надвинул шапку. Кажется – отдыхает. Снег почему-то становится черный, будто с неба падают редкие хлопья сажи.

И Марийка снова берется за весло.

– Стой! – отчетливо сказал ей куст впереди.

Марийка продолжала плыть – до Замошья еще далеко.

– Ты – кто? Шевельнулась рядом большая травяная кочка.

Марийка стиснула зубы: она будет плыть, даже если совсем сойдет с ума.

Кочка приподнялась, навела винтовку:

– Стой, тебе говорят! Пароль!

Тогда Марийка разглядела под травяной накидкой волосатое, заросшее до глаз лицо человека.

Из куста выглянул еще один – в кубанке, черной шинели, и тоже направил на Марийку ружье.

Волосатый встал – он лежал на помосте из жердей и веток, стволом дотянулся до борта, подогнал плоскодонку к себе.

– Что в лодке? – вполголоса спросил мужчина из куста.

Волосатый оглядел Марийку, лежащего старика.

– Беда, – сказал он. – Это по ним недавно стреляли.

–Не Петро ли убит? – Человек в черной шинели перебежал на помост по жердям, скрытым под водой.

– Нет, не Петро, – сказал волосатый. – А груз от него: цинки с патронами, гранаты в мешке.

Он наклонился к Марийке:

–Что молчишь? Перепугалась?.. Кто вас послал?

Мужчина в шинели снял шапку с лица Сазоныча.

– Дедушка! – сказала Марийка отчетливо. – Дедушка, мы доплыли!

В СИБИРЬ ВЛЮБЛЕННЫЙ

(Казимир Леонидович Лисовский)

Поэт, прозаик Леонид Казимирович Лисовский родился 29 ноября 1919 года в селе Ободовка Винницкой области. В 1930 году семья Лисовских переехала в Сибирь: сначала в Иркутск, затем в Красноярск. Здесь К. Лисовский окончил школу и несколько лет работал в красноярских газетах «Сталинские внучата» и «Большевик Енисея». В 1942 – 1943 годах был ответственным секретарем газеты «Большевик Заполярья» (Игарка). А в 1958-м переехал в Новосибирск, с которым связал всю последующую жизнь.

Тяжелая болезнь фактически лишила К. Лисовского детства и преследовала всю жизнь, а в последние годы окончательно приковала к постели. Но, несмотря на недуг, К. Лисовский объездил всю Сибирь, побывав в самых отдаленных ее уголках. Эти странствия были для него и способом творческого существования, и источником поэзии. Сочинять К. Лисовский начал рано: первые стихи напечатал в возрасте 14-ти лет, а в 22 год он уже целиком перешел на литературную работу. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Октябрь», «Звезда», «Нева», «Молодой колхозник», «Огонек», «Смена». В 1944 году в Красноярске у К. Лисовского вышла первая книга «Клятва». Всего же в его творческом багаже более 40 книг стихов и документальной прозы, изданных в Красноярске, Барнауле, Иркутске, Новосибирске, Москве.

Член Союза писателей СССР. «Заслуженный деятель польской культуры». Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Умер 25 января 1980 года в Новосибирске.

Поэт Сибири – называли в свое время К. Лисовского. И совершенно справедливо. Сибирь он прекрасно знал, бесконечно ее любил и воспевал в стихах, поэмах и прозе почти полвека. В своих произведениях К. Лисовский писал об охотниках, оленеводах, полярных летчиках, капитанах пароходов, рыбаках, о неповторимой северной природе… За каждой строкой К. Лисовского – тысячи верст трудных дорог. Не случайно многие его произведения – это своеобразные поэтические репортажи о путешествиях по тундре и тайге, рассказы о встречах с замечательными людьми.

Характерной особенностью творчества К. Лисовского можно считать настойчивое обращение поэта к судьбам реальных исторических личностей – таких, как первопроходец Севера боцман Бегичев, центральный герой поэмы «Русский человек Бегичев» и очерковых книг «Следопыт Севера Никифор Бегичев», «Тайна мыса Входного», или адмирал Колчак в поэме «Сумасшедший поезд».

Примечательно, что, пожалуй, впервые в советской литературе в образе Колчака поэту удалось показать не только матерого врага большевизма, но и живого человека, много размышляющего о себе и своей роли в свершающихся событиях, мучающегося, спорящего со своей совестью…

Значительное место в творчестве К. Лисовского принадлежит документально-очерковой прозе, в которой он не менее, а подчас и более интересен, чем в стихах и поэмах.

Далеко не все написанное К. Лисовским, выдержало испытание временем. Но многое в его поэзии оказалось времени неподвластно.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги К. Лисовского:

Тайна мыса входного. Документальная повесть. (Сер. «Сибирью связанные судьбы»). – Новосибирск, 1975.

Гостеприимство. Стихи и поэмы. – Москва, 1979.

О К. Лисовском:

Коржев В. Казимир Лисовский. (Литературный портрет). – Новосибирск, 1980.

Очерки русской литературы Сибири в 2 томах. – Новосибирск, 1982. Т. 2.

Шленская Г. К. Лисовский. // Литературная Сибирь. Критико-биобиблиографический словарь писателей Восточной Сибири. – Иркутск, 1988. Т. 2.

Горшенин А. Поэт Сибири. // А. Горшенин Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Казимир ЛИСОВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Как только начну о Сибири,
Волнуясь, писать допоздна, –
Тотчас исчезают в квартире
Спокойствие и тишина.

И в комнате свежестью кедра
Повеет… И станут слышны
И гул енисейского ветра,
И рокот байкальской воды.

Ударит морозом с Таймыра,
Жарою – с хакасских степей…
И я покидаю квартиру,
Спешу за мечтою моей.

Туда, где огни засверкали,
Где стал новостройкой пустырь,
Где в каждой мельчайшей детали
Мне виден твой облик, Сибирь!

…Я помню тридцатые годы,
И город завьюженный наш,
И первые цехи завода
С названием гордым «Красмаш».

Они и сейчас, эти цехи,
Стоят, не старея почти,
Как первые, верные вехи
На нашем нелегком пути.

Где б ни был я,
Где бы ни ездил,
Повсюду, куда ни взгляни,
Сверкают земные созвездья,
Зажженные нами огни.

Сибирь!.. От иртышских излучин
До самых далеких гольцов
Мы видим все ярче, все лучше
Твое молодое лицо.

И если я строчкой своею
Хоть в тысячной доле помог
Обжить берега Енисея,
Прокладывать рельсы дорог,

Воздвигнуть завода громаду
В полярной глухой стороне,
Мне лучшей награды не надо,
И этой достаточно мне.

Приезжайте… Убедитесь сами!

Оторваться глазами не смея,
Я гляжу на разлив Енисея,
На таежные эти просторы,
На покрытые дымкою горы,
На «столбов» заповедные кручи,
На замшелого «Деда» и «Перья»…
Здесь художник с талантом могучим
Убедился, что он подмастерье.

И порою обидно уж слишком,
Что красу не видавши такую,
Люди, зная наш край понаслышке,
О Сибири худое толкуют.

До сих пор ходят глупые сказки,
Что Сибирь – де без солнца и ласки.
До сих пор ходят басни досужие,
Что Сибирь знаменита лишь стужами,
Мол, метели там песни заводят
Да медведи по улицам бродят.

До сих пор еще часто при встрече
Спросит, охая, житель столичный:
– Из Сибири? Да что вы! Далече!
Глухомань вам неужто привычна?

Нет не с теми, кто падок на слухи,
Кто привязан к московской квартире, –
С молодыми и сердцем и духом
Я хочу говорить о Сибири:

– Да, Сибирь далека от столицы,
Да, здесь вьюга неделями злится,
Да, садами наш край еще беден,
Да, в тайге есть, конечно, медведи.
Но медвежьим одни лишь невежи
Край сибирский считают как прежде!

Им, видать, невдомек, что с годами
Эти земли обжитыми стали,
Что давно новостроек огнями
Замерцали таежные дали,
Что увидишь в суровом просторе
Свет Норильска и Мирного зори.
Солнце? Солнце у нас не скупится!
Соловьи? И такие есть птицы,
Да и реки-то (скажем уж прямо)
Величавее Волги и Камы.
Кто сравнится прозрачной водою
Ну, хотя бы с одной Ангарою?
А красою и силой своею,
Кто, скажите, под стать Енисею?

А какие тут дивные вёсны!
А какие тут звонкие сосны!
Тихо кедры мохнатые дремлют,
Разбежались цветы по увалам.
Поглядишь и поверишь: на землю
Словно радуга с неба упала.
А какая тайга вековая!
А какие тут горные цепи!
А какие – от края до края –
Медуницей пропахшие степи!
Воздух чище воды родниковой,
Только выйдешь в просторы – и сразу
Пьешь и пьешь его жадно, готовый
Пить еще и еще, до отказа.

Всем Сибирь и щедра и богата!
Здесь для юности край непочатый.
Впрочем, что убеждать вас стихами.
Приезжайте… Увидите сами!

Гостеприимство

В любое время приезжай.
Тебя здесь встретят, словно сына:
Затопят печь, согреют чай
И низкий стол к тебе придвинут…

И скажут: «Вот твоя постель».
И ты уснешь, теплом согретый,
Забыв, что в двух шагах метель
Неистовствует до рассвета.

Лепешек пресных испекут,
Пока ты спишь, и спозаранку
Тебе оленей приведут
И сами запрягут их в санки.

И колокольцев чистый звон
Разбудит берега немые…
– Счастливый путь! –
Таков закон
Гостеприимной Эвенкии.

Ветер с гор

Встану я сегодня на рассвете,
Выйду из поселка на простор,
И щеки моей коснется ветер,
Ветер с голубых алтайских гор.

Много дальних я краев изъездил,
Видел и морей студеных синь,
Арктики холодные созвездья,
Солнце раскаленное пустынь.

Говорят друзья мне то и дело,
И полушутливо, и всерьез:
– Странствовать тебе не надоело
В тех краях, где ветер и мороз?

Не пора ли подойти к причалу,
Бросить якорь, на берег сойти?..
Если б мог я жизнь начать сначала –
Я бы вновь провел ее в пути.

Противопоказано поэту,
Если он не хочет устареть,
Жить в тиши уютной кабинета
И на мир из форточки смотреть.

И, томясь, высасывать из пальца
Строки, не согретые душой…
Нет, судьба газетчика-скитальца
Во сто крат дороже мне иной.

Сколько есть у нас краев далеких,
Где еще ни разу не был я!
И везде – на севере, востоке –
Ждут меня хорошие друзья:

Жители таежных поселений,
Новые герои новых тем,
Незаконченных стихотворений,
Не написанных еще поэм.

И пускай дыханием норд-оста
Изморозь упала на висок –
Это не седины. Это просто
Тополей не тающий снежок.

Вы всегда со мной – суровы, строги,
Сердцу вечно близкие края…
Шум таежный. Горные дороги.
Ветер странствий…
Молодость моя!

* * *

Нет, эту даль без края
И тундру эту
Я назову не краем
А краем света.

Он весь похож немножко
На снега глыбу,
Он весь пропах морошкой,
Песцом да рыбой.

К далекому селенью
Сплошной равниной
Летят, летят олени,
Рога закинув.

Над ними – полыханье
Зари зеленой:
Полярного сиянья
Взошла корона.

Здесь до сердечной дрожи
Порывист ветер.
Здесь теплота дороже
Всего на свете.

В пути

Где ты найдешь еще такие
Леса, что прячутся во тьму?
Во всем величье Эвенкия
Открылась взору моему.

Круты хребты и сопки хмуры,
Куда ни глянь – снега, снега…
И шкурою медвежьей, бурой,
Кругом раскинулась тайга.

Как далека еще дорога!
Скрип санок легких… Тишина.
И сломанным оленьим рогом
В ветвях запуталась луна.

Так, позабыв про отдых, мчимся
Сквозь чащу лиственниц, пока
Жилым дымком гостеприимства
Вдруг не пахнет издалека.

Пока не наведет на думы
О всем, что было и прошло,
Огонь печурки в дымном чуме,
Животворящее тепло.

Березка

Крохотная, сквозная,
С тундрой вступая в спор,
Она не напоминает
Стройных своих сестер.

Она на них не похожа
Ни ростом, ни красотой,
Ни темного цвета кожей,
Ни редкой скупой листвой.

И весны ее не греют,
И вместо земли – гранит…
Она над рекой Тореей
Былинкой малой стоит.

Но как глубоко и упорно,
Тоненьки и густы,
Вплелись ее нити-корни
В серого мха пласты.

* * *

Стихли крики чаек говорливых,
Смолк неумолкающий прибой…
Здесь, на тихом берегу залива,
Я прощаюсь, молодость, с тобой.

Что мне вспомнить? Горечи, удачи?
Дни без солнца? Ночи без огня?
Сердце больше не грустит, не плачет…
Значит, мужество вернулось.
Значит, ты чужою стала для меня.

Отчего ж мой взор опять тревожит
Горькая напрасная слеза?
Эти волны серые – до дрожи
Мне напомнили твои глаза.

И опять, встает опять из дыма
Памяти, из мрака забытья,
Голос твой – единственный, любимый,
Образ твой, о, молодость моя!

С кем же мне печалью поделиться,
Рассказать о черных днях тоски?
Птицам легким? Не услышать птицам.
Звездам ярким? Звезды далеки.

А вокруг туманные озера,
Берег дик и камень бел-горюч.
В сизых смушках пасмурные горы,
Их почти не видно из-за туч.

О! Прощай! Рассветы и закаты…
Встречи и разлуки… Боже мой!
Молодость моя, да будет свято
Все, что было связано с тобой!

Далекий голос

Памяти моего друга –
А.Н. Вертинского

Из шеллачного черного диска
Чей-то голос далекий возник,
То глухой, то протяжный и низкий,
То внезапно похожий на крик.

Голос полный тоски и тревоги,
Одиночества полный и слез:
«Тихо тянутся сонные дроги
И, вздыхая, ползут под откос».

Этот голос, капризный и томный,
Вдалеке от родных берегов
Пел надрывно с эстрад полутемных
На подмостках чужих городов.

То картавил с прононсом французским,
То смеялся, то снова рыдал,
Осыпаемый вихрем нерусских,
Хоть по-русски звучавших похвал.

Но была в нем и страсть колдовская,
И порыв удивительный был
В те минуты, когда, затихая,
О прощеньи Отчизну молил.

Всё в нем было: нерадостный вечер,
Кочевая судьба старика,
И надежда на близкую встречу,
И по Родине милой тоска.

Потому что с мечтою бескрылой
Человеку крылатым не быть,
Потому что без Родины милой
На земле невозможно прожить.

* * *

Оранжевым, лиловым, желтым, красным
Тайга пылает. Воздух свеж и чист.
Прислушайся… И ты услышишь ясно,
Как падает с берез пожухлый лист.

И говор речки еле-еле внятен,
И первый утренний ледок – хрустящ,
И тишину выстукивает дятел –
Телеграфист дремотных этих чащ.

Все кажется непостижимо-дивным,
Во всем – покой и тихой грусти свет.
И только в небе вензель реактивный
Напоминает,
Что покоя нет.

Мое богатство

Я в Сибири прослыл богатым,
И порою даже друзья
Улыбаются хитровато:
Дескать, что прибедняюсь я?

Дескать, выпустил столько книжек,
Дескать, трудится столько лет,
Столько странствовал, а поди же,
Говорит, накоплений нет.

Что ответить? Пожать плечами?
Нет, покаюсь им:
– Виноват.
Совершенно согласен с вами,
Я и в самом деле богат.

Есть и впрямь у меня излишки:
Есть рабочий стол у окна,
Книги вместо тугой сберкнижки,
Телефон, не знающий сна.

Есть картины – друзей подарки,
Есть незримый список потерь,
Есть для доброго друга – чарка,
Есть для недруга злого – дверь.

Есть немало солнца. И светом
Кабинет мой с утра залит…
Ну, а главное (по секрету!)
Вся Сибирь мне принадлежит.

Рудники ее и заводы,
Что встают, глухомань тесня,
Шахты, прииски… С каждым годом
Не сыскать богаче меня.

Рассказать про Хантайки удаль,
Про Норильск в золотых огнях,
Про несметные клады-руды
Заполярной земли Талнах?

Рассказать, как соболя гонят,
Как алмазы в Мирном горят,
Как лежит на моей ладони –
Целых двести сорок карат?

Распахнуть перед вами зори
По-над хариусной рекой?
Показать в песцовом уборе
Тундру, берег морской?

На Алтае и на Таймыре,
На скрещеньях моих дорог,
Был я самым богатым в мире,
Был я самым счастливым в мире
И счастливей быть не мог!

Мне б, как встарь, писать до рассвета,
Вспомнив юношеский свой пыл…
Ну а эти… рубли-монеты…
Я и вправду
Не накопил!

РОДИНА И ДОЛГ

(Леонид Васильевич Решетников)

Поэт, прозаик, литературный критик Леонид Васильевич Решетников родился 17 июня 1920 года в селе Ноледур Уржумского уезда Вятской губернии, в крестьянской семье.

После окончания Уржумского педагогического училища работал литсотрудником районной газеты «Кировская искра» В 1939 году был призван в армию. Службу начинал на Дальнем Востоке. Служил артиллеристом-разведчиком, затем журналистом дивизионной газеты. Воевал на различных фронтах Великой Отечественной войны в качестве разведчика-наблюдателя, связиста, инструктора политотдела танковой бригады, сотрудника армейской газеты. Дважды ранен.

В 1951 году окончил редакторский факультет Военно-политической академии имени В.И. Ленина и десять лет год работал корреспондентом газеты «Красная звезда» в различных военных округах (Северном, Таврическом, Сибирском), в Центральной группе войск (Австрия и Венгрии), на Черноморском флоте.

В 1960 году, после увольнения из армии в звании подполковника Л. Решетников обосновался в Новосибирске. Тогда же вступил в члены Союза писателей СССР. В 1967 году он был избран председателем Правления Новосибирской писательской организацией и руководил ею почти два десятилетия. Избирался членом Правления Союза писателей РСФСР и Ревизионной комиссии Союза писателей СССР.

Л. Решетников награждался орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», многими медалями.

Как поэт Л. Решетников дебютировал в 1942 году публикацией в журнале «Знамя» стихотворного цикла «Дневник войны». Печатался в журналах «Москва», «Сибирские огни» и др. Первая книга «Походные костры» вышла в 1958 году в Новосибирске. Автор почти сорока книг стихов, прозы, очерков, литературной критики, изданных в Новосибирске и Москве.

Лауреат Государственной премии РСФСР имени А.М. Горького.

Умер 11 февраля 1990 года в Новосибирске.

Л. Решетников входил в литературу вместе Б. Богатковым, Г. Суворовым, М. Кульчицким, М. Лукониным… – поколением, встретившим Великую Отечественную войну на пороге своего двадцатилетия. «Я принадлежу к этому поколению. И все, что относится к нему, относится и ко мне», – не раз заявлял Л. Решетников, в чем убеждаешься всякий раз, сравнивая его стихи со стихами сверстников, отправившихся, как и он, осенью 1941 года защищать Родину. А в предисловии к книге погибшего поэта-сибиряка Г. Суворова «Звезда, сгоревшая в ночи» Л. Решетников отмечает: «Наши первые, довольно корявые стихи имели то общее, роднящее их свойство, что были не столько продуктом наших поэтических поисков, сколько исповедью перед боем».

Важное место в этих стихотворных исповедях принадлежит теме жизни и смерти. Лирический герой Л. Решетникова, «неистово любя» жизнь, готов, тем не менее, умереть за Родину. Совмещение этих полярных крайностей как нельзя более точно в условиях сурового военного выбора соответствовало сути героического характера русского воина.

Патриотический пафос фронтовой лирики Л. Решетникова проявляется прямо и открыто, но без громогласной риторики, а героичность подается поэтом без всякой помпезности и даже без весьма традиционной для поэтов военного поколения романтической приподнятости. Так, в стихотворении «Герой» поэт смотрит на монумент солдата-героя и в его памяти всплывает совсем иной образ, куда более обыденный и приземленный:

И он мне видится иначе,
Нескладен, угловат и тих,
Он был не то чтобы невзрачен,
Но не отличен от других.

Однако именно этот невидный солдат, который и «пуле кланялся, бывало», в решающую минуту был «отважен и велик». Именно он, вчерашний труженик, крестьянин пядь за пядью освобождал родную землю от врагов, выковывал великую Победу, не жалея своей жизни. И священной своей обязанностью Л. Решетников считал донести память о нем до миллионов тех, кто не видел и не знал войны. Им, павшим, посвятил поэт и первые свои книги «Походные костры», «Шла рота с песней», «Сирень и порох», «Высокая звезда».

Военной теме Л. Решетников оставался верным всю жизнь. Тем более что и в мирные годы он как военный журналист долгое время был связан с армией. «Армия для меня, для писателя и человека – не материал, не тема. Она – моя вторая школа, мой второй дом…», – признавался Л. Решетников.

В целом же суть его творчества можно охарактеризовать двумя очень емкими понятиями – Родина и долг. «А долг перед Родиной, – считал поэт, – в постоянном напоминании своим согражданам-читателям о том, как прекрасна наша Родина, наша земля, которая вырастила и воспитала нас».

Стихотворения Л. Решетникова переводились на многие языки. Он и сам перевел целый ряд европейских поэтов. Успешно пробовал силы Л. Решетников и в других жанрах, о чем свидетельствуют его книги прозы и очерков, литературные воспоминания, критические статьи о творчестве известных советских поэтов. Но в литературе русской он останется прежде всего поэтом в армейской шинели, воспевающим героизм русского солдата.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Л. Решетникова:

Годы. Стихи, переводы, заметки о поэзии. – Новосибирск, 1980.
Избранное. Стихи. – М., 1982.
Благодарение. Избранные стихотворения. – М., 1982.

О Л. Решетникове:

Мостков Ю. Верность. // Ю. Мостков. Портреты. – Новосибирск, 1981.
Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.
Коржев В. Леонид Решетников. (Литературный портрет). – Новосибирск, 1987.

Леонид РЕШЕТНИКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

На смертном рубеже

Какой здесь ад стоял кромешный,
Какой огонь ревмя ревел,
Какой здесь мат, святой и грешный,
Над нами, грешными, летел,
И. отпевая, шелестел
Металл…
Здесь дрозд свистит утешно,
Цветет под елью чистотел.
Но у межи,
Где шла траншея,
Где полк лежал при свете звезд
Под ливнем пулеметных гнезд,
И лед дымился,
Багровея. –
Там реже лес, трава жирнее,
И гуще кажется подрост.

Солдатам сорок пятого года

В предпраздничный денек,
в канун великой даты,
В чью честь грохочет гром
и небо рвет салют,
Опять собравшись в круг,
витийствуют солдаты,
Решают, где и чей был важен
фронт и труд.

Ах, други вы мои,
солдаты-побратимы,
И тот, кто видел смерть
четыре года зримо,

И тот, кто фронт догнал
в последний день войны, –
Сегодня славе той вы все необходимы
И все, до одного, сейчас пред ней равны.
Все так, все так.
Тот флаг над куполом рейхстага,
Он уравнял солдат и маршалов седых.
И отсвет славы той на наши льется стяги, –
Но как бы ни затмил он подвигов иных.

Ведь перед этим днем
всемирной нашей славы,
Который мне воспеть, как надо, не дано,
Был Киев
И Смоленск,
И русский город Рава.
И Ржев.
И Вязьма.
И село Бородино.

Был сорок первый год.
И пятясь, но стреляя
Кусая губы в кровь от гнева и стыда,
Мы оставляли край родной,
О том не зная,
Когда
И кто из нас
Воротится туда.

Покуда тыл ковал «эРэСы» или «Илы»,
Мы шли, платя за все своею головой,
Дерясь за каждый метр –
на всем пути – могилы, –
Пока пружина та не сжалась под Москвой.

А был еще солдат,
Упавший у границы,
Чей подвиг не попал
И в местную печать.
Он нас с тобой не знал…
Так чем же нам кичиться?
Нам лучше шапки снять.
Нам лучше помолчать.

Павшим однополчанам

...И всех своих, безвестных, догоню

Мих. Луконин

На перекличке пролетевших лет –
И тот, с бомбежкой, в ранней дымке бледной,
И тот, другой, в сирени весь, победный, –
Там больше тех, кого со мной уж нет,
Кто перешел и тот рубеж последний.

И мнится мне, –
Опять собрал он нас,
Трубач –
И нас живых, и вас, родимых.
И этот строй мне виден в самый раз
Как две шеренги – несопоставимых.

В одной стоят два-три штыка да я,
В другой же, вновь восставший вдоль рокады, –
Вся армия гвардейская моя,
Все корпуса и все ее бригады.

И павшие в бою, что были с честью
Погребены.
И павшие без вести.
И павшие от ран – в шеренге той.
И только мной не занятое место
Пока еще зияет пустотой.

Ах, милые мои,
В тех отгремевших
Сраженьях заслонившие страну,
Простите, что отстал от вас, ушедших, –
Я догоню вас. Я не обману.

Лишь срочные доделаю дела,
Я встану в строй без лишних проволочек
Меж вас, которых армия вела
Под злобный клекот пулеметных строчек.

От имени поколения

Какая жизнь была дана нам –
То зной, то стужа! – под огнем,
Ревмя ревущим в поле бранном,
Что по своим и иностранным
Полям простерлось! И живем
Еще под реактивный гром,
В тени ракеты за бугром.

Живем, хоть жить не собирались
До этих дней…
Спасибо ей,
Судьбе,
Хоть мало нас осталось,
До нынешних доживших дней.

Зато как бы за всех в отдарок,
Старуха жизнь вдруг поднесет
Такой денек, что тих да ярок,
Такой закат или восход.

Такую ночь в хлебах средь поля,
До синих звезд – достать рукой, –
Что – не до сна и, уж тем боле,
Не до покоя за рекой.

Однако ж быть не век обедне.
У дел ты или не у дел, –
Любой, он может быть последним,
Твой час, – всему же есть предел.

И все ж
В претензии едва ли
Тут надо быть. Ведь то как раз
Утешно нам –
И в дни печали,
И в дни торжеств, что нас венчали, –
Что эта близь и эти дали,
Они до нас еще сияли
И не угаснут после нас.

На безымянной высоте

Что слышишь ты, мой дорогой потомок,
Сюда пришедший с музыкой своей,
Средь бела дня или ночных потемок
На той высотке, посреди полей.

Где кровь лилась, как у ворот столицы,
Где и сейчас на белый свет глядят
Обломки той военной колесницы,
Что меж солдат ненайденных лежат, –

То гусеница, сбитая снарядом,
То башня под прикрытием ветвей?..
Тепло тебе с твоей подружкой рядом
И семиструнной музыкой твоей.

Плывет луна во всем своем сиянье
Под перебор разымчивой струны…
А я, сквозь той земли напластованья,
Оставшейся от той былой войны,

Не слыша песни вашей – не замайте! –
Одно и то же слышу каждый раз:
– Любите жизнь, войну не забывайте,
Не забывайте, милые, про нас…

Об ушедших учителях

Как шли полки сквозь дым – поротно,
Как мамонты во льды ушли,
Они ушли бесповоротно
В века. –
И след пропал вдали.

Но словно мамонтовы кости,
Они пройдут сквозь лет редут
И к нам, оставшимся,
Не в гости –
К себе домой
Не раз придут.

Недаром, несмотря на сроки,
Их отделившие от нас,
Их вера.
Мера.
Их уроки
И нынче – наш боезапас.

Уж сколько раз я убеждался в этом…

Уж сколько раз я убеждался в этом, –
Мой опыт фронтовой опять не прав:
– не так вы бились сорок первым летом,
Не так вы понимали свой устав!..

Не выдумки досужие и враки
Волнуют, что несет герой иль трус,
А что, суча руками после драки,
Историю кроят на личный вкус.

И критика – такая ли, сякая –
Изустно ли, несется иль статьи в печать, –
О целых битвах как бы упрекая
Солдат тех павших, хочет умолчать.

Коснись ее, – все беды и печали,
Все наши битвы, как столбцы в журнале,
Она смогла б сейчас переверстать…
Не дай им бог узнать, что мы узнали,
Не дай им бог все это испытать!

О главном деле

Жизнь проходит в мельтешенье,
В мелкой суете сует,
Как у речки без движенья, –
Снасти есть, а рыбы нет.

То – собранья, то – активы,
Дождь речей – и та и та…

А в итоге – все активы,
Что в гортани сухота.

Как на даче: то ограда,
То – крыльцо, то – туалет…
Все как будто бы и надо, –
Оглянулся – дома нет.

Облетело в час свой лето.
Поседел – не помудрел:
Нет единственного в свете
Дела, меж тех срочных дел,

Для которого, быть может,
Родила в мученьях мать.
Надо –
Что и душу гложет –
В срок решенья принимать.

Чтоб потом, в итоге жизни,
Увидав ее ясней,
Словно свет, разъятый в призме,
Не сказать себе о ней,
Как сказал после раздумий
О себе один поэт:
– Вот сижу в президиуме
Каждый день,
А счастья нет…

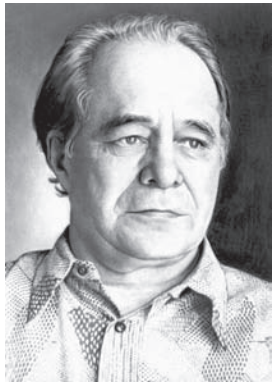
Завещание

Где-то за далью немыслимой детство,
Ну, а конец, он – совсем не вдали,
Что ж завещать тут, коль все и наследство –
Жизнь
Нашей кровью спасенной
Земли?

Вот вы, наследники, и берегите
Эту планету, в росе и цветах,
В свете летящих серебряных нитей
Ливней весенних и вьющихся птах.

Мне же и это бы стало отрадным,
Если б лежал я –
К Уржумке лицом –
Рядом с отцом, что был бондарем ладным
И не последним отчизны бойцом.

Да на дощечке какой,
В изголовье, –
Крайний тщеславных желаний предел –
Были б четыре написаны слова:
«Родину помнил и совесть имел».



О ВОЙНЕ, МИРЕ И ЛЮБВИ

(Иван Матвеевич Ветлугин)

Пэт Ивана Матвеевича Ветлугина (настоящая фамилия Иост) родился 8 февраля 1921 года в селе Омутское Алтайского края.

Детство и юность прошли в городе Камень-на-Оби Алтайского края. После окончания десятилетки преподавал русский язык и литературу в сельской школе. Позже перешел на журналистскую работу. Был сотрудником газет «Алтайская правда», «Красноярский комсомолец» и «Красноярский рабочий». Участник Великой Отечественной воны. Командовал отделением в строительном батальоне. В 1946 году после демобилизации И. Ветлугин приехал в Новосибирск, с которым была связана вся его дальнейшая судьба. Работал в газете «Советская Сибирь», заведовал отделом поэзии в журнале «Сибирские огни».

Стихи И. Ветлугин начал писать еще в ранней юности, а дебютировал с ними на страницах периодической печати в 1937 году. Публиковался в журналах «Октябрь», «Смена», «Огонек», «Сибирские огни». В 1950 году в Новосибирске вышел первый сборник стихов И. Ветлугина «В одном направлении». Автор многих поэтических книг, изданных в Новосибирске и Москве. Член Союза писателей СССР.

Умер 23 июля 1999 года в Новосибирске.

И. Ветлугин – из поколения поэтов, для которых самой тяжелой, но и самой яркой главой биографии явилась Великая Отечественная война. Память о ней стала для И. Ветлугина своего рода камертоном по которому он сверял чувства, дела и поступки идущих на смену поколений. Прочной преемственной связью-нитью прошиты многие стихи И. Ветлугина. В этом отношении очень показательно его стихотворение «Два эшелона»: 1945, 1954». «По тем же рельсам», по которым, свершив свой ратный подвиг, возвращались отцы-победители, через девять лет отправляются «на первый подвиг свой (целинный – А.Г.) сыновья».

Тяжелый груз военных воспоминаний и впечатлений не помешал И. Ветлугину увидеть мирные созидательные будни страны. Они органично вписываются в его поэтический мир. Тематические пристрастия И. Ветлугина при этом разнообразны. Так, отдавая щедрую дань деревенской теме, он с неменьшим вдохновением воспевает город. В «лирическом репортаже» «В моем городе» И. Ветлугин запечатлевает в сознании читателей поэтически страстный и волнующий образ «столицы Сибири».

Важным свойством поэта Ветлугина была социальная направленность его творчества. Он был одним из тех литераторов, которые, по словам критика В. Коржева, «сознательно подчиняют свое творчество требованиям и задачам быстротекущего дня». Но оставался при этом проникновенным лириком.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Киги И. Ветлугина:

Избранные стихи. («Библиотека сибирской поэзии»). – Новосибирск, 1966.
Долг. Стихи. – Новосибирск, 1980.
За достижением возраста. Стихи и поэмы. – Новосибирск, 1991.

Об И. Ветлугине:

Коржев В. На рабочей основе жизни. // В. Коржев. Под высоким накалом эпохи. – Новосибирск. 1984.

Иван ВЕТЛУГИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

Сверстнику

Нам порою дают за тридцать
по лучистым морщинкам у глаз.
Что поделаешь, если лица
в двадцать три постарели у нас.

Горе было таким тяжелым,
только вспомнишь – захватит дух.
Шло оно по цветущим селам,
превращая девчат в старух.

Чтобы девушки не поседели,
чтобы жили они, не скорбя,
мы юнцами надели шинели,
горе приняли – на себя.

На исходном рубеже

На исходном рубеже атаки
нету слов «позднее» и «потом».
На исходном рубеже атаки
ловят воздух пересохшим ртом,
пишут письма на клочке бумаги,
вспоминая дом свой, отчий край.

На исходном рубеже атаки
говорят суровое «прощай»…
Вот сюда, где веет холод смерти,
я с собой письмо свое принес.
Что хранил я в маленьком конверте,
пролетевшем десять тысяч верст, –
пару строчек о погоде хмурой,
о весне, о звоне первых струй,
или твой проверенный цензурой
тысячный воздушный поцелуй?!

Я не знал, какую нес с собою –
грустную иль радостную весть.
Мне письмо вручили перед боем,
не спросив, успею ли прочесть.
Тяжела была на сердце накипь –
где-то край мой, где-то отчий дом?..
На исходном рубеже атаки
ничего не делают «потом».
Торопись – или огнем и ветром
захлестнет неистовый поток!

…На ладонь мне выпал из конверта
бережно засушенный цветок.
Как смешно,
нет, странно все на свете!
Перед тем, как броситься в штыки,
я дышу на хрупкие,
на эти
высохшие в книге лепестки.

Я дышу…
Но как цветов названье?
Что-то помню, смутно, как во сне…
Не они ли в матовом стакане
у тебя стояли на столе?!

За окном –
почти бумажный вырез
синих гор…
Мерцание реки…
Я же знаю, где они раскрылись –
жаркие, как пламя, огоньки!
Нужно им,
в огонь и в жизнь влюбленным,
чтобы солнце было на виду,
и они, рассыпавшись по склонам,
как бойцы, штурмуют высоту.

Нас на смертном рубеже – немало!
Чтоб помочь мне –
на передний край,
громыхая залпами обвалов,
движется разгневанный Алтай.

Подошли леса, цветы и злаки –
сколько жизни, света и тепла!
На исходном рубеже атаки
вся Отчизна нынче залегла.

* * *

Он в госпитале
в первый раз
после бинтов взглянул на лица
и подозвал сестру:
– Сестрица,
нельзя ли зеркальце у вас?..

Тайком поднес его к лицу,
и плечи дрогнули,
и долго
молчал боец.
Затем слезу
смахнул с зеркального осколка
и, всё обдумав наперед,
доверчиво сказал соседу:
– Пожалуй, не такого ждет…
Ну, что ж! Я все-таки… поеду.

…Стоял, сутулясь, у окна,
и сердце билось учащенно.
А за окном цвела весна,
плескались алые знамена,
шли люди на вокзал,
бойцам
несли цветы и руки жали.
Не по лицу, а по глазам
они друг друга узнавали.

Любовь доверчива была,
и мой товарищ это видел…
Как хорошо,
что не обидел
он ту,
которая ждала!

* * *

Если б не каска и не погоны,
если б не матовый ствол автомата,
был бы похож он сейчас, запыленный,
на землепашца,
не на солдата.

Если б не город под пологом черным,
если б простор за домами был виден,
если б шагал он по нашей Подгорной,
а не по сумрачной
Унтер ден Линден, –
на крупных ладонях заметив мозоли
и на лице его капельки пота,
люди сказали б:
– Наверное, с поля.
Жаркой была на участке
работа!..

Признание в любви

…Немало чудесных краев мне известно,
полкарты давно заучил назубок.
Однако не в поисках лучшего места
я ездил на запад,
на юг,
на восток.

Нет, землю свою
не с перронов я видел.
На ней ведь не только вокзалы стоят.
В одни города
я входил как строитель.
Другие
в войну защищал как солдат.

Навеки судьба меня с ними сроднила.
Они навсегда в мою память вошли.
Но все-таки был он,
но все-таки был он –

еще один город
на карте Земли.

Иные – древнее, нарядней, известней.
Их столько хороших, что просто не счесть.
Но все-таки есть он,
но все-таки есть он–
единственный город.
Он все-таки
есть!

И суть тут совсем не в какой-то причуде.
Мы новые строим вокруг города.
А все-таки будет,
а все-таки будет,
он будет,
мой город,
мне ближе всегда.

Со многими схожий, но все же один он.
Я строил его,
здесь любил я и рос…
Так что же выходит,
и свет на нем клином
сошелся? –
предвижу я трезвый вопрос.

Не знаю,
сошелся ли свет на нем белый.
К чему здесь сравненья
с Вселенною целой!
Страна велика.
Еще больше планета…
Но если нельзя
обойтись без ответа,
я, землю родную, узнав не по книгам,
скажу,
своим городом славным гордясь,
любовь моя
к нашей отчизне великой
на нем,
словно в фокусе линзы сошлась.

Он вот он,
меня обступил этажами,
и праздник и будни в себе совместив.
В нем вижу я облик и душу Державы.
Он – дом мой,
он – цех мой,
он – мой коллектив.

Черты урожая

Я художников не осуждаю,
что порой они так легко
для солидности Урожаю
подрисовывают брюшко.

Он такой, что и в сто обхватов
Не охватишь его, да что ж?
На ленивцев и бюрократов
он ни капельки не похож.

Даже радостно, честное слово,
что, с какой стороны ни взглянуть,
в этой тучности многопудовой
совершенно иная суть.

Если степь в золотом кипенье,
если жатве подходит срок,
даже самой заядлой лени
начинает мешать жирок.

И в приемных таких, откуда
к «самому» ни за что не попасть,
в эти дни происходит чудо:
секретарши теряют власть.

Прямо с поля, плащей не снимая,
входят люди в любой кабинет.
у товарища Урожая
очень веский авторитет.

* * *

Еще безмолвную, сквозную,
степным открытую ветрам,
за фермой рощу молодую
морозец щиплет по утрам.

Еще нет-нет да в ночь нежданно
озерной нашей Барабе
зима отчаянным бураном
напомнит гневно о себе.

Но после непроглядной ночи
ручьи опять вовсю звенят,
и из готовых к взрыву почек
густой струится аромат.

И в пробудившихся просторах
за ближним ласковым леском
в цилиндрах тракторных моторов
уже рокочет вешний гром.

Уходя из одиночества

Уходя из одиночества,
как из дома ухожу,
снова ваше имя-отчество
про себя произношу.

Положению несносному
я и сам дивлюсь подчас,
но уж очень не по-взрослому,
робко думаю о вас.

И, себе на удивление,
как-то даже не стыжусь,
что всегда лишь в отдалении,
где-то сбоку нахожусь.

А встречать мне вас рискованно.
я на первом же шагу
покажу, что быть раскованным
не сумею, не смогу.

Вы совсем с другого полюса.
Вас возвышенно любя,
не хочу я –
так мне боязно –
низводить вас до себя.

Все развеется, рассеется,
как предутренний дымок,
я пока могу надеяться,
что и я не одинок.

Потому из одиночества,
как из дома ухожу,
если ваше имя-отчество
про себя произношу.

Железные двери

В квартирах
с дверями из стали
и листового железа
мы одинокими стали,
а это – увы! – не полезно.

На окнах – стальные решетки.
Они – изнутри и снаружи –
не помогают все-таки
ни от ворья, ни от стужи.

А жизнь потускнела немножко,
стыдливее стала, зазорнее,
когда на домашних окошках
решетки,
хотя и узорные.

Мне поучать вас не хочется,
лишь опыт свой
вам доверю:
нету страшней одиночества,
чем за железной дверью!

Сделана дверь замечательно,
никто к вам теперь
не вломится,
но можно ведь окончательно
из-за нее раззнакомиться.

* * *

Неужто я мыслю и мелко и узко,
и сам –
словно в тесной реке на мели,
и мне не по силам такая нагрузка,
что время взвалило на плечи мои?!

Сменить образ жизни
трудней, чем одежду,
и то, что любил ты, –
нельзя за порог,
так, может, сидеть и лелеять надежду,
что будет поменьше забот и тревог?!

А может, пора примириться с нагрузкой,
удариться в труд, засучив рукава,
как в пляс ударяются
с лихостью русской –
эх, елки метелки, трава-мурава!

Я радуюсь тебе

Я радуюсь тебе, разумный мир,
задуманный и сотворенный в будни, –
многоэтажью солнечных квартир
и булке хлеба,
что лежит на блюде.

Станкам, плугам, ракетам голубым,
штурмующим извечных тайн вершины.
Садам, бульварам, трубам заводским
и вам, с завидной памятью машины.

Разнообразен ты и многолик,
великий мир, во всем подобный чуду.
Я окружен тобой, к тебе привык,
но до последних дней, наверно,
буду тебе дивиться и светлеть лицом
и вглядываться жадно и ревниво
в того, кто ранним утром гонит сон
и тянется к часам нетерпеливо.

В тяжелых росах нежатся цветы.
А он встает,
всесильный и всевластный –
создатель твой.
И, значит, снова ты
мудрее будешь
И многообразней.
И, значит, снова с утренних минут
до самого вечернего отбоя
мне руки будет жечь
рабочий зуд,
завистливую совесть беспокоя.

ЗОНА НЕИЗВЕДАННЫХ ГЛУБИН

(Геннадий Никитович Падерин)

Прозаик и публицист Геннадий Никитович Падерин родился 22 декабря 1921 года в селе Кудара Кабанского аймака Бурятской АССР.

Начинал учиться в Новосибирском институте военных инженеров транспорта, но учебу прервала Великая Отечественная война. Поздней осенью 1941 года в составе добровольческой лыжной бригады Г. Падерин был отправлен на фронт. Воевать начинал в Карелии. А в 1942 году в боях под Сталинградом командир пулеметного взвода Г. Падерин получил тяжелое ранение.

После войны окончил факультет журналистики МГУ. Работал в газете «Железнодорожник Кузбасса», потом стал специальным корреспондентом центральной железнодорожной газеты «Гудок». Заведовал отделом очерка и публицистики журнала «Сибирские огни», позже руководил Новосибирской писательской организацией.

Очерковые и документальные произведения Г. Падерина начали появляться в советской прессе в первые послевоенные годы. Публиковался в журналах «Смена», «Звезда», «Советская литература», «Сибирские огни», «Сибирская горница» и др., во многих коллективных сборниках.

В 1956 году в Иркутске Г Падерин дебютировал с книгой очерков «Беспокойное счастье». Его перу принадлежат также книги «Земля новых адресов» (1961), «Семнадцать шагов» (1963), «Письмо двухтысячному году» (1967), «На лезвии риска» (1974), «На крутизне поиска» (1977), «Шахматы из слоновой кости» (1981), «Вода для пулемета» (1987) и др.

(всего около 30 книг), изданные в Новосибирске, Москве и за рубежом. Произведения Г. Падерина переведены на испанский, китайский, английский, французский, немецкий, польский, финский, монгольский и другие языки Г. Падерин – один из учредителей и первый лауреат премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского (1985). Член Союза писателей СССР. Кавалер пяти боевых и трудовых орденов.

Умер 10 августа 2012 года в Новосибирске.

Творческий диапазон писателя Г. Падерина весьма широк. Большой мастер художественного очерка и документальной прозы известен он был и как страстный, острослободневный публицист, интересный рассказчик и повествователь, увлекательно писавший для взрослых и детей, и даже как оригинальный автор детективного жанра (красноречивым подтверждением чему может служить, например, его повесть «Бельгийский лимонад»).

Г. Падерин стремился держать руку на пульсе современной жизни и запечатлевать ее во всем многообразии. Естественно, что и его герои – люди самых разных профессий: современные сибирские первопроходцы, строители крупных ГЭС, железнодорожники, целинники-хлеборобы, металлурги… И, конечно же, – ученые.

Именно они становятся любимыми героями Г. Падерина, а тема современной науки – магистральной в его творчестве. Наибольшей основательности и глубины в разработке этой темы Г. Падерин достиг в таких документальных повествованиях, как «На крутизне поиска», «В зоне неизведанных глубин», «Вверх по реке времени», «К тайнам скрытой силы», «Сказание о ткацком челноке». Их героев при всей непохожести объединяет то, что они – неординарные, исключительно разносторонние и многогранно талантливые люди.

Творческую манеру Г. Падерина отличает простота и доступность изложения, проникновенная интонация и мягкий юмор, в результате чего самая сложная информация воспринимается читателем без особых усилий. И занимательность. Трудные научные поиски писатель преподносит как остросюжетные, захватывающие, подчас на грани детективного расследования, приключения. Зримо, образно, в колоритных, точных деталях, сочных красках переданы, как правило, писателем и фигуры его героев. Отчего при всей строгой документальности перед нами истинно художественные произведения.

Один из своих очерков Г. Падерин назвал «В зоне неизведанных глубин». С полным на то основанием «зоной неизведанных глубин», которая еще ждет своего исследователя, можно назвать и творчество самого Г. Падерина.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Г. Падерина:

Вода для пулемета. Рассказы. – Новосибирск, 1986.
Избранное. – Новосибирск, 1987.
Бельгийский лимонад. Повесть, рассказы. – Новосибирск, 1991.
Обвиняемый – страх. Новосибирск, 2001.

О Г. Падерине:

Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.
Никульков А. Геннадий Падерин. Избранное. // «Сибирские огни», 1988, №8.

Геннадий ПАДЕРИН

СКАЗАНИЕ О ТКАЦКОМ ЧЕЛНОКЕ

Из рассекреченных бывальщин

1

Шел четвертый месяц Великой Отечественной, когда по тысячеверстью северной тайги, что раскинулась за спиною у Томска, от урмана к урману, от одного леспромхоза ко второму, третьему, вплоть до последнего, сорок восьмого, прошелестел недоуменный шепоток:

– Слыхали? Крылов-то наш, мужичью мочу зачал собирать, купанье, сказывают, собрался себе устроить. Видать, под лесину на лесоповале угодил, теперь лечиться станет…

От уха к уху, одними губами, поскольку пакеты, разосланные в конце сентября 1941 года в леспромхозы, были опечатаны сургучом, а поверх адреса значилось:

«Секретно. Вскрыть лично директору».

Текст гласил:

«Под личную ответственность руководства до наступления холодов построить отапливаемые помещения, а так же высвободить все имеющиеся емкости для ежедневного сбора утренней мужской мочи всего контингента. К женскому персоналу указание не относится. Какие-либо проволочки с выполнением данной директивы будут рассматриваться в соответствии с требованиями военного времени…»

И подпись: Г.В. Крылов, главный инженер треста «Томьлес», заместитель председателя Сибирского комитета содействия обороне.

2

Директива, взбулгачившая тайгу, родилась не с бухты-барахты, ей предшествовал пожарный вызов в Москву.

«Правительственная. Томск. Крылову Г.В. Срочно прибыть Наркомат легкой промышленности, член ГКО СССР Микоян».

…Микоян шагнул навстречу из глубины просторного кабинета, протянул маленькую, почти детскую руку – она оказалась сухой, прохладной и до удивления мускулистой. Усадил рядом с собой на старомодный кожаный диван.

– Не забыли наше предыдущее рандеву? На заседании в Совнаркоме?

Нет, конечно, еще ничего не успело уйти в песок сиюминутности из того, трехгодичной давности эпизода, когда он, Крылов Г.В., главный инженер треста «Томьлес», что за тридевять земель от столицы, вдруг предстал перед членами Советского правительства.

Председателем Совета Народных комиссаров значился И.В. Сталин, но в большинстве случаев вел заседания в роли его первого заместителя Вячеслав Михайлович Молотов, больше известный миру по своей второй ипостаси – Наркома иностранных дел. Так и в тот раз он сразу занял, посверкивая стеклами своего знаменитого пенсне, председательское место у дальнего торца длиннющего стола, облаченного, по тогдашнему обычаю, в элегантный фрак зеленого сукна. По обе его стороны, дружно опершись локтями на столешницу, разместились руководители наркоматов и в их числе непосредственный начальник Крылова – заместитель наркома Лесной промышленности Евгений Осипович Лопухов.

Обменявшись с ним взглядами, Крылов поспешил переместить внимание на руководящий торец. Там, по левую руку от Молотова, без труда узнавалось с детства знакомое по портретам лицо известной большевистской подпольщицы Розалии Самойловны Землячки, возглавлявшей теперь Комитет государственного контроля. Напротив нее, справа от Вячеслава Михайловича теребил смоляной ус Анастас Иванович Микоян. Остальных разглядеть не успел: низринулись вопросы.

Он бы не сказал, что ему тогда сделалось зябко под устремленными на него взорами вершителей судеб страны. Да и разговор без

какого-либо разгона пошел по делу, а тут у него все было схвачено. Речь велась о докладной записке, представленной Крыловым в Совнарком через Комитет госконтроля. В ней предлагался к рассмотрению комплекс мер по сохранению и воспроизводству бесценного сокровища страны – сибирских кедровых массивов. Обсуждение, впрочем, не заняло много времени: что называется, сходу было решено принять специальное постановление правительства.

После этого Молотов сообщил, адресуясь, судя по всему, в большей мере к гостю, нежели к присутствующим:

«Приезд томича оказался более чем кстати, не придется прибегать к услугам фельдъегерской службы».

При этих словах Крылов невольно скосил глаза на Лопухова, но тот лишь неопределенно пожал плечами – не то просил извинить, что не предупредил о готовящемся очередном секретном задании, не то пытался изобразить полное неведение. В последнее, впрочем, трудно верилось.

Тем временем председательствующий взял из папки листок бумаги с машинописным текстом на нем, но вместо того, чтобы прочесть вслух, лишь помахал у себя под носом, а суть стоящей перед трестом «Томьлес» задачи «особой важности» изложил своими словами. Она сводилась к тому, что сибирякам поручалось организовать заготовки специального кедрового шпона, который мог бы заменить свинцовые пластины в аккумуляторах на дизельных подводных лодках.

При этом предписывалось развернуть заготовки таким образом, чтобы ни в коем случае не привлечь чужого внимания. Все должно делаться под видом усиления темпов по заготовке кедровой дощечки для карандашных фабрик.

Подведя черту, Молотов снял пенсне и, протирая стекла лоскутком замши, близоруко оглядел поочередно левую и правую боковины стола.

«Ни у кого больше нет вопросов к Георгию Васильевичу?»

«Есть один частный вопросик, – вскинула посеребренную голову Землячка. – Хочу полюбопытствовать под занавес у гостя: – сколько вам годочков, юноша?»

«У меня, Розалия Самойловна, внешность обманчивая, – смешался Крылов. – Молодящаяся, так сказать, внешность. А на самом деле двадцать восьмой разменял».

Все почему-то рассмеялись, и под этот смех в разговор вклинился Микоян:

«Внешность – фактор второй, главное, в голове задел обещающий, – и огорошил предложением: – А что, Георгий Васильевич, не пошел бы ты ко мне в наркомат в ранге моего заместителя?»

«Ну, Анстас Иваныч, нашли топор под лавкой! – даже привскочил со стула Лопухов. – Этак мы и к себе могли его залучить, да только человек-то он с лесом повенчанный. В своей тайге со своей головой и при деле, при месте!»

Молотов вернул пенсне на переносицу, начальственно прихлопнул ладонью по столу:

«Считаю, Евгений Осипович прав: сибирячок нужен стране там, на своем теперешнем посту».

Такой вот запеклась в памяти трехгодичной давности сценка «на правительственном уровне». И сейчас, стоило хозяину кабинету упомянуть о том рандеву, Крылова обожгло: неужели Микоян не оставил намерения перетянуть его в Москву?

– Прошу меня извинить, конечно, – вдавил кулаки в пружинящею кожу дивана, – но я хотел бы, Анастас Иванович, вот какую сторону дела сразу прояснить: не прельщает меня аппаратная работа, у меня нацеленность в науку. В науку о лесе, о травах, о…

– А кто против, дорогой! – с нарочитым кавказским акцентом перебил собеседник и, рассмеявшись, добавил: – Догадываюсь, припомнилось мое тогдашнее приглашение?

Легко поднялся, прошел к столу, где лежал увесистый том энциклопедии с картонным язычком закладки. Крылов непроизвольно двинулся следом.

– Это в виде предисловия, – распахнул Микоян книгу, и, придвигая гостю стул, поставил карандашную метку возле нужного столбца.

Крылов ухватил глазами текст – мельком, как бы с высоты птичьего полета, и тут же вернулся к началу, пробормотал, забывшись, непонятную, надо думать, для чужих ушей нелепицу:

Едет крыша не спеша,
Тихо шифером шурша…

Содержание столбца стало внятным и после первого захода, повтор же впечатал все это в мозг, будто перед глазами бугрились строчки, отлитые из чугуна:

«Гваяковое или бакаутовое дерево (Cuaiacum), род вечнозеленых деревьев сем. парнолистниковых. 6 видов в тропич. Америке. Высокие деревья с парноперистыми листьями, имеющие твердую и тяжелую древесину (плотность 1,17 – 1, 3 г/см3), используемую в машиностроении…»

– И где эта экзотика у нас в ходу?

Вместо ответа нарком выдвинул ящик письменного стола, извлек картонку из-под обуви. Крылов увидел в ней знакомые, с

раннего детства знакомые очертания изделия с обличьем спелого кукурузного початка: в коробке угнездился челнок. Обыкновенный челнок, каким его сберегла цепкая мальчишечья память. Только там, в деревенском детстве, эта наиважнейшая деталь ткацкого станка была и намного меньше, и грубее и неказистее, и весь станок, понятная вещь, был самодельным – сработан руками деда Федора, свекра старшей сестры.

– Вот он какой, бакаут, – одновременно и с восхищением и с горечью произнес Микоян, постучав ногтем указательного пальца по светло-коричневой древесине челнока. – Через союзничков-англичан получали, они на этом рынке монополисты, и нате вам, обрезали поставки! А без таких челноков станочный парк на ткацких фабриках – кладбище металлолома.

Протянул коробку с челноком Крылову. Крылов, машинально копируя Микояна, тоже постучал ногтем по плотной, словно литой поверхности челнока.

– Интересно, из алюминия не пытались отливки делать?

Микоян махнул с безнадежным видом рукой, принялся рассказывать о конструктивных особенностях ткацкого станка. Челноку в этом механизме предопределена роль своего рода маятника, совершающего возвратно-поступательные движения со скоростью от 10 до 18 метров в секунду – в зависимости от ширины станка.

– Металлический челнок при таком бешеном ритме быстро раскаляется, нить начинает гореть.

Крылов, слушая, все продолжал с отрешенностью постукивать ногтем по челноку. Наконец, поднял на Микояна обреченный взгляд.

– Если я правильно вас понял, Анастас Иванович…

– Вы правильно поняли, Георгий Васильевич, надо отыскать замену. Миллионы, которые сейчас встают под ружье, должны быть одеты.

Шел четвертый месяц Великой Отечественной…

3

Профессор Георгий Васильевич Хонин, заведующий лабораторией сопротивления материалов Томского технологического института, встретил Крылова в холле главного корпуса, спросил вместо предисловия:

– Принесли?

Крылов помахал в ответ вздувшимся портфелем, поинтересовался в свою очередь:

– Так вы действительно все образцы подвергли проверке? И по всем параметрам?

Профессор рассмеялся, подхватил Крылова под локоть, готовясь увести к себе.

– Что с вами, дорогой тезка? Вы меня спрашивали об этом по телефону не менее десятка раз. Да и ваш ученик Михаил Семенович Богдашин после того, как доставил к нам все это, еще пару раз наведывался – надо думать, проверял, не вздумалось ли нам использовать ваши сокровища вместо дров.

Крылов смолчал, не найдя в себе сил ответить на шутку хотя бы живой ухмылкой.

Довольно просторная комната, куда они пришли, была заставлена непонятными приборами, станками, шкафами, стеллажами, но Крылов лишь скользнул по всему этому боковым зрением, сразу сосредоточившись на обитом жестью столе. Там были выложены в ряд небольшие бруски. Небольшие, одинакового размера березовые бруски, ставшие, можно сказать, родными.

Березовые, но с древесиной непривычного светло-коричневого оттенка. И на торце каждого белели выведенные мелом цифры: 3, 6, 9, 12, 15.

Крылов с неожиданной для себя нежностью огладил их поочередно ладонью – поздоровался. И не удержался, постучал по каждому ногтем указательного пальца.

– Волнуюсь, – признался просевшим голосом.

– Значит, не иссяк еще резерв душевных сил, – констатировал с улыбкой профессор, потянувшись к принесенному гостем портфелем. – Ну, кажите ваш хваленый эталон!

Крылов, не отдавая отчета, прижал вдруг портфель обеими руками к груди, пробормотал виновато;

– Только это, Георгий Васильевич…

– Опоздали, дорогой тезка, уже многократно предупрежден вашим Богдановым и буду нем, как рыба! Хотя и не понимаю мотивов подобной засекреченности.

– Не годится этак-то без понятия-то, – мешковато отшутился Крылов, доставая из портфеля привезенный от Микояна челнок. – Это и есть собственной персоной мировая знаменитость – тот самый бакаут.

Хозяин лаборатории отнесся, однако, к знаменитости без видимого интереса, повертел явно незнакомую ему деталь в руках, предупредил: – Сожалею, но придеется распилить.

– Коли для испытаний требуется, так чего уж…

Крылов подавил непрошеный вздох, подошел к окну. Там, не решаясь оглянуться, ждал результатов тестирования – на прочность, на плотность, на влагоотторжение, на сжатие, на расжатие, на ударность.

Ждал у окна с мутными, давно не мытыми стеклами, через которые ничего не было видно – да он все равно сейчас ничего не увидел бы, неожиданно для себя окунувшись в деревенское июньское утро, когда дед Федор разбудил его на сеновале, приговаривая:

«Вся надежда на тебя, Готька, от меня толку оказалось мало».

«А чего родить-то?

«Пойдешь, увидишь».

Десятилетний Готька надернул штаны, протер глаза.

«Погодь, деда, чуток, сперва в нужник наведаюсь».

«Ни-ни, – замахал тот руками, – ни одной дажеть капли на сторону не позволю! – и повел Готьку в сарай, к стоявшему в углу ведру. – Вот нам с тобой сейчас нужник. Может, кого из соседей покликать придется».

На дне ведра в лужице дедовой мочи Готька увидел новенькую березовую ступицу для тележного колеса с отверстием под ось и гнездами под спицы.

«Давай, давай, окропи ее ладом! И не зырь на меня, как на чумового, спокон века это деется, дерево крепость набирает».

«А чего бабулю не позовешь?»

У женского сословия не под тем градусом это добро».

Крылов все стоял у окна. Незряче уставясь в немытые стекла, стоял, блуждая памятью в далеком прошлом, и одновременно ловил, напряженно ловил невнятные звуки за спиной, не позволяя себе в то же время, суеверно боясь поверить, что хотя бы один их желтевших на обитом жестью столе брусков, вымоченных в ядреной моче лесорубов, окажется по своим параметрам поблизости от показателя эталона.

И вот долгожданное:

– Что ж, вас можно поздравить, дорогой тезка: брусок под двенадцатым номером – достойный соперник вашего засекреченного образца… Кстати, дозволительно ли будет поинтересоваться, что означают эти пометки мелом на торце брусков?

Крылов метнулся от окна, выхватил из рук профессора «достойного соперника», поцеловал, не стесняясь выступивших на глазах слез, и только после этого удовлетворил законное любопытство хозяина лаборатории:

– Цифры на торцах означают количество дней вымачивания каждого бруска в моче. В мужской утренней моче.

– И все? Вся недолга? Пописал пару недель на обыкновенное березовое полено, и не надо нам больше заморского чуда?

Крылову ничего не оставалось, как только натянуть на лицо вымученную улыбку. Не мог он, не имел права поведать профессору, что перед ним не простое полено, а спил уникального дерева, открытого в Нарымской тайге еще в прошлом веке его всемирно известным однофамильцем – Порфирием Никитовичем Крыловым, автором 12-томного издания «Флора Западной Сибири».

Не мог, не имел права поведать о том, как, встретив в дневниках великого ботаника упоминание о редкостной находке, отправился вдвоем с Богашиным верхом на лошадях на поиски сокровища по нехоженым дремучим урманам, по косогорам, по гривам, как после многодневных блужданий как раз на одной из раздольных грив обнаружился посреди вечнозеленого буйства тайги белоствольный остров голенастых красавиц; они были прекрасны и без листвы, которую успела обглодать ненасытная осень, но вдвое прекраснее увиделись следопытами после того, как выявилось безусловное родство островитянок с описными Порфирием Никитичем нарымчанами: те же стройные с малой суковатостью стволы, тот же набор свойств древесины с бросающейся в глаза прямослойностью волокон, редкостной твердостью, необычно высоким удельным весом.

Не мог, не имел права привлечь внимание профессора даже к чисто, казалось бы, научному факту, успевшему стать достоянием истории лесоведения: перечисленные выше показатели послужили для первооткрывателя основанием, чтобы отнести подаренный природой уникальный вид березы к разряду твердолиственных, тогда как остальные тридцать девять видов причислены дендрологами мира к мягколиственным породам.

Ну, и тем более не мог, не имел права поделиться засекреченными сведениями о том, как в срочном порядке создавались в леспромхозах специальные бригады для заготовки «Сибирячки»*, нареченной так лесорубами, как мотался он по лесосекам, организуя курсы, проводя инструктаж, как в конце концов изобрел прибор, позволявший безошибочно определять принадлежность того или иного экземпляра к нужному семейству.

Расставались с профессором по-приятельски, довольные и общением, и друг другом. Пожимая Крылову руку, тезка высказал благодушное пожелание:

---

* Вскоре после войны, по инициативе нашего героя, уникальному дереву официально присвоили в дендрологии имя — береза П.Н. Крылова.

– Писайте и дальше на ваши деревяшки, не стесняйтесь, и дай бог им оказаться достойными своего предназначения!

Он был пророком, этот томский профессор-сопроматчик, «деревяшки» вошли в историю Великой Отечественной войны. Известно полное горечи сетование замечательного конструктора отечественного оружия Василия Алексеевича Дегтярева:

«Прекрасное с виду ложе нашего автомата при длительной стрельбе сильно перегревалось и коробилось…»

Так было, покуда тульские умельцы не начали получать деревянные детали для автоматов и винтовок из Томской тайги. Их хватило, чтобы изготовить вооружение для 250 стрелковых дивизий.

А лыжи – миллионы пар лыж! А банники – тысячи и тысячи банников, с помощью которых пушкари прочищали закопченные стволы орудий! А карандаши – сотни и сотни миллионов карандашей, без которых тогда не мог обходиться ни один школьник! А аккумуляторный кедровый шпон для дизельных подводных лодок в засекреченном (до сей поры) количестве! А катушки для ниток! А спички, обыкновенные спички, без которых не обходилась в быту ни одна семья!

Ну и, наконец, горы и горы гимнастерок, брюк, шинелей, пилоток, вещмешков, нательного белья, простыней, наволочек, матрасовок, портянок и много, много другой потребности, за мануфактурой для которой мы не пошли на поклон к лишившим нас бакаута англичанам.

С п р а в к а :

За четыре грозовых года Великой Отечественной войны Г.В. Крылов успел:

Заслужить личную благодарность Главного маршала артиллерии Николая Николаевича Воронова(отнюдь не за одни лишь банники).

Побывать в составе Сибирской добровольческой дивизии в окопах Сталинграда (оттуда вернулся с контузией).

Защитить диссертацию кандидата биологических наук.

Получить премию Совета Народных комиссаров СССР.

Удостоиться трех (!) Сталинских премий.

В благодарственном письме Н.Н. Воронова, как и в дипломах, сопровождавших каждую из четырех премий, одинаковая, слово в слово, констатация: «За создание для нужд обороны страны особой значимости спецсредств».

Удивителен все же по своей вместимости русский язык: всего ничего, три слова – «…особой значимости спецсредств», а за ними такого накала годы, каких иному хватило бы на целую жизнь.

4

Крылов прилетел в Москву ночным рейсом, в самолете почти не спал, и сейчас безуспешно боролся с неодолимой дремой: голова то и дело непроизвольно запрокидывалась на высокую спинку стула, стукаясь о нее затылком. При этом он вздрагивал, пробуждаясь, и в смущении озирался по сторонам.

К счастью, на сонливого сибиряка никто из окружающих не обращал внимания, каждый был погружен в свои заботы. Все они томились в «предбаннике» зала заседания, где за плотно прикрытой двустворчатой дверью шел пленум ВАКа*.

Время от времени дверь приотворялась, чтобы заглотнуть очередного претендента на ученую степень доктора наук или звание профессора, и тогда оставшиеся выдыхали вслед: «Ни пуха!»

Наконец женский голос с казенной деловитостью позвал из-за двери:

– Секция биологии, Крылов!

Он поднялся, но раньше, чем пройти в зал, шагнул к подоконнику, где бликовал на солнце графин с водой. Смочив платок, освежил лицо, протер стекла очков.

– Бедняга, не догадывается, что его там и без воды умоют! – хохотнул кто-то сочувственно.

– Считайте это за репетицию, – отозвался он со вздохом.

…Седой генерал с глубоко посажеными усталыми глазами, занимавший за столом президиума председательское место, повернулся к женщине за приставным столиком:

– Что у нас там по Крылову, Нина Васильевна?

– Вопрос не простой, Анатолий Аркадьевич, есть отзыв рецензента – это специалист по европейским еловым лесам Воропанов, – он высказывает определенные сомнения. Зачитать?

– Если можно, своими словами, пожалуйста.

– Дело в том, что автор диссертации замахнулся на необъятную, буквально, тему: «Леса Западной Сибири». И еще приложил раскрашенную соответственно породам леса карту с охватом гигантской территории – от Урала до Енисея…

– И что же?

– Анатолий Аркадьевич, в данном случае не могу не согласиться с рецензентом: он убежден, что одному человеку такая работа

* ВАК — высшая аттестационная комиссия при Министерстве высшего и среднего образования.

не по силам. Особенно эта карта: многое здесь, конечно, можно было сделать с помощью аэровизуальных обследований, но никак не обойтись без пеших маршрутов.

Усталость в глазах генерала сменилась лукавинкой.

– Полагаете, на Крылова работала бригада рабов из числа ученых? Впрочем, давайте проверим, говоря военным языком, оборонительные возможности автора.

Крылов встал – кряжистый, крепко сбитый – шутейно занял оборонительную позу, подняв на уровень груди полусогнутые в локтях руки с выставленными кулаками. Однако этим шутейность и ограничилась.

– Ожидающие за дверью своей очереди будущие доктора наук предрекали, – произнес, сдерживая себя, что меня здесь умоют, но я никак не думал, что это будет сделано столь примитивно. Заключение рецензента напомнило мне анекдот про оратора, который, поднявшись на трибуну, признался: «Из-за недостатка времени буду говорить, не думая…»

По залу прокатился смешок. Генерал вскинул руку:

– Ну, это вы слишком, уважаемый… – споткнулся, заглянул в лежащие перед ним бумаги, – уважаемый Георгий Васильевич! На то он и рецензент, чтобы делиться с нами своими сомнениями, а дальше – наша задача: оценить, насколько они правомерны.

– Ваша Нина Васильевна уже оценила! – пробурчал Крылов, опускаясь на место.

Генерал усмехнулся, все не гася лукавинку.

– Сразу видно сибиряка: ему даешь слово для обороны, а он с ходу – в контратаку… Кстати, мне, как артиллеристу, хорошо знакома работа одного из ваших однофамильцев, тоже, как мне рассказывали, сибиряка: он в начале Великой Отечественной составил специальные математические таблицы для ведения артогня, ими были снабжены все артдивизионы на фронте. Главный маршал артиллерии Воронов назвал того Крылова баллистиком от бога! До сих пор жалею, что не довелось с ним познакомиться.

– Не все потеряно, Анатолий Аркадьевич, – вскинулся в смущении Крылов, – автор тех таблиц – ваш покорный слуга.

– Вот это поворот!

Генерал быстро вышел из-за стола, пружинисто спрыгнул с невысокого подиума. Крылов шагнул навстречу, они приобнялись. Генерал повернулся к президиуму:

– Думаю, можно ставить на голосование, человек с таким диапазоном творческих возможностей очень нужен науке. И Родине.

С п р а в к а :

1. 300 миллионов гектаров (!) – такова территория лесных массивов, которые паспортизировал, если так можно выразиться, в докторской диссертации Крылов. Подобный охват был к тому времени зафиксирован впервые за всю историю отечественного лесоведения.

2. Описанный пленум ВАКа состоялся в 1958 году, участники пленума – 72 значимых величины в науке и технике страны – единогласно проголосовали за присуждение сибиряку ученой степени доктора биологических наук и одновременно утвердили в звании профессора лесоведения и лесоводства.

В принятом здесь же (и тоже единогласно) постановлении было записано: Ходатайствовать перед Советом Министров СССР о включении Г.В. Крылова в состав ВАКа на постоянной основе». Этот груз он станет нести «на постоянной основе» на протяжении последующих сорока лет (в секциях биологии и химии, а также в трех секциях закрытого характера).

3. Анатолий Аркадьевич Благонравов – в ту пору заместитель председателя ВАКа, генерал-лейтенант артиллерии, ученый в области баллистики, академик, Герой Социалистического Труда.

5

Двери были двойные, к тому же плотно затворены, и, тем не менее, из приемной упорно протискивался явно перегретый мужской голос – незваный гость, надо думать, бился сюда, к ней в кабинет. Нина Сергеевна отодвинула годовой отчет – из-за него и попросила секретаря попридержать незапланированных визитеров – нашарила под столешницей кнопку звонка.

– Я на посту, Нина Сергеевна, – просунулась в дверь девичья головка.

– Но надо и меру знать, Надежда! Зови!

Посетитель, нестарый еще мужчина с землистым лицом, оказался из числа искателей попранной справедливости – с порога пошел на штурм:

– Вы директор Западно-Сибирского книжного издательства?

– А что вы хотели?

– Вот, сразу пытаетесь уйти от ответа! Назовите хотя бы свою фамилию!

– Присаживайтесь, пожалуйста, сейчас познакомимся: Семаева Нина Сергеевна.

– Так это вам, значит, мы и адресовали свое письмо. Больше ста подписей, и вот уже год ни ответа, ни привета!

Выяснилось: авторы коллективного послания из Барнаула просили сообщить, какую сумму и когда перевести в издательство за 112 экземпляров нового издания книги профессора Г.В. Крылова «Травы жизни и их искатели».

– Или вы одни такие умные? – вклинилась Надя-секретарь. – Никаких денег не хватит на почтовые расходы, если на все запросы по Крылову отвечать.

– Надежда! – приструнила Нина Сергеевна.

Прошла в угол кабинета, отгороженный с одной стороны книжным шкафом, а с другой – трехстворчатой ширмой, отодвинула ширму, кивнула посетителю на груду объемистых бумажных мешков. Туго набитые, что называется, под завязку, они лежали прямо на полу, один на другом.

– Один, два, три, четыре, пять, – машинально пересчитала вслух Нина Сергеевна. – Это все заявки на Крылова. Храним на случай, если из Госкомиздата приедут проверять обоснованность запланированного нами тиража переиздания. Мы запросили пять миллионов экземпляров, ждем, когда утвердят на Политбюро.

– На Политбюро ЦК КПСС? Неужели там рассматривают подобные вопросы?

– В стране дефицит бумаги, так что всякий раз, когда тираж издания превышает миллион, Госкомиздат представляет заявку в ЦК.

В этот день Конотопу предстояло отчитываться на Политбюро о ходе выполнения продовольственной программы в Подмосковье, за которое он отвечал как первый секретарь Московского областного комитета партии. Обстановка тут складывалась не лучшим образом (Подмосковье было избаловано иждивенчеством за счет столицы), и Конотоп решил заручиться перед разборкой поддержкой Брежнева – они был на дружеской ноге.

Приехал в ЦК за полчаса до заседания, а так как у Брежнева, на удивление, никто в эти минуты не ошивался, с ходу переступил доступный избранным порог.

– Ты, как всегда, кстати, Василий Иваныч! – искренне обрадовался ему Брежнев. – Имеешь шанс лишний раз заслужить мою признательность.

– Смотря в чем? – насторожился Конотоп, прикрывая настороженность радушной улыбкой.

– Да вот, язви ее, изжога замучила! Химии этой всякой остерегаться стал, а ты у нас слывешь за эрудита в траволечении.

Конотоп скривился так, будто у самого внезапно начался приступ изжоги.

– Был эрудитом, Леонид Ильич, пока под рукой имелась книга о травах. Редкостная, должен сказать, книга! А тут жену угораздило похвалиться ей перед приятельницей, та выпросила на денек – и с концом!

– Так пошли помощника, пусть новую купит. И на мою долю экземпляр.

– Ее не купишь даже из-под полы. К тому же, у меня был дарственный экземпляр, с автографом.

– Но ты хотя бы имеешь представление, в каких краях твой спец по зельям обретается?

– Он сибиряк. Раньше в Томске жил, потом перебрался в Новосибирск.

– В Новосибирске? У Феди Горячева? – Брежнев нажал на кнопку, кивнул появившемуся на пороге помощнику: – потревожь, будь добр, Новосибирский обком.

Повернулся к Конотопу:

– Как фамилия автора-то?

– Крылов. Профессор Крылов. Георгий Васильевич.

– Постой, так мы же как раз сегодня должны рассмотреть на Политбюро заявку Госкомиздата на переиздание его книги – сейчас гляну, как называется: «Травы жизни и их искатели».

– Она самая и есть.

Дзенькнул аппарат междугородной связи. Брежнев поднял трубку, подключил канал к усилителю звука, чтобы Конотоп имел возможность слышать разговор.

Прорезался Новосибирск. Голос у первого секретаря обкома был напористый, даже с неким вызовом – видать, готовился отразить возможное брюзжание генсека по поводу очередных упущений.

– Слушаю, Леонид Ильич.

– Поздоровался бы для приличия, что ли!

– Слушаю вас внимательно, Леонид Ильич! – зациклился Горячев.

– Ладно, бог с тобой, невежа, – рассмеялся Брежнев. – Ты скажи, Федор, только по-честному: известен тебе такой травник – Крылов?

– Он травник, Леонид Ильич, по совместительству, а вообще-то крупный специалист по лесу. У нас в биологическом институте заведовал отделом лесоведения и мелиорации.

– Смотри ты, знаешь свои кадры! А почему говоришь о нем в прошедшем времени?

– К сожалению, Леонид Ильич, Лесная академия перекинула его в Воронеж, он там теперь директорствует в научно-исследовательском Институте лесной генетики и селекции. Кстати сказать, в уникальном институте, единственном в стране.

– Вижу, гордишься своим Крыловым?

– Надеюсь заполучить обратно. Есть договоренность: как только подготовит там соответствующую замену, сразу домой. Но чего вы вдруг им заинтересовались?

– Видишь ли, Госкомиздат подсовывает нам его книжку о травах, так замахнулись на целых пять миллионов экземпляров!

– Можете не сомневаться, весь тираж разойдется в три дня.

– Ха, могу не сомневаться! Да знаешь ли ты, что я для своей «Целины» и то по скромненькому из госрезерва бумагу выклянчил, всего восемьсот тысяч тиснули.

И тут Конотопа буквально проняла дрожь – себе, во всяком случае, он не позволил бы такой дерзости, не смог бы позволить.

– Ваша «Целина», Леонид Ильич, – выдал Горячев, – конечно же, бестселлер, а только когда речь заходит о здоровье, всем бестселлерам приходится потесниться…

Брежнев, к удивлению, не обиделся, сказал:

– Словам, Федя, не верю, хочу своими глазами поглядеть, чем там твой Крылов исцеляться советует.

Горячев, как видно, не был готов к такому финишу, разговор повис в паузе. Брежнев кашлянул недоуменно:

– Ты где потерялся там?

– Я не потерялся, я думаю, Леонид Ильич. Постараюсь, конечно, раздобыть, но уверенности нет. Крылов мне дарил эту книгу, но она давно в нетях.

Брежнев, не прощаясь, положил трубку, поднял глаза на Конотопа.

– Слыхал, Василий Иваныч? Уверенности нету, чтобы генсека порадовать! Выходит, вся надежда на тебя.

В очередной раз Конотоп наведался к генсеку по поводу участившихся случаев перетягивания из области в столицу специалистов различного профиля. Пожаловаться набрался решимости. Однако разговор от начала устремился совсем в другое русло.

Брежнев сидел почему-то не за рабочим столом, а у приставного столика со знакомой Конотопу книгой в руках. То был крыловский травник, переданный незадолго перед тем генсеку автором через него, Конотопа. Естественно, с соответствующей дарственной надписью.

– Читаю вот и ругаю себя, – признался генсек Конотопу, откладывая книгу. – Чего это мы тогда пожадничали с бумагой? На четыреста тысяч выделили. Дескать, главное, чтобы на библиотеки хватило. А того не учли, что люди моего, к примеру возраста испытывают в такой подпитке знаниями о растениях повседневную потребность. Я, во всяком случае, в последнее время не расстаюсь с Крыловым.

Конотоп присел к столу с противоположной стороны, счел возможным напомнить:

– Вы грозились написать автору, высказать свое мнение о книге.

– Винюсь, руки не дошли. Даже позвонить не удосужился.

– А может, прямо сейчас взять да и?.. – Конотоп достал записную книжку. – Вот его телефон… Пойти, сказать помощнику?

…Конотоп услышал в усилителе звука сперва щелчок, потом ржавый скрип и, наконец, баритон помощника: – Воронеж на связи, Леонид Ильич.

Брежнев откашлялся и, мучительно пережевывая по своему обыкновению слова, с высокой торжественностью проговорил в трубку:

– Дорогой Георгий Васильевич…

– Извините, Но Георгия Васильевича сейчас нет на месте, – перебил женский голос с небрежением, свойственным профессии привратницы. – Что ему передать?

Брежнев сунул трубку Конотопу:

– Я настроился говорить с ученым, а с этой объясняйся сам.

Конотоп вскинул голову к высокому потолку и, словно считывая с него текст, размеренно произнес:

– Передайте, пожалуйста, Георгию Васильевичу, что с ним намерен был пообщаться товарищ Брежнев – поблагодарить за дельные советы по траволечению…

– Как вы сказали – Брежнев? Леонид Ильич? Неужто лично и персонально? Но сегодня не первое же апреля! И, во-вторых, Георгий Васильевич занимается наукой – лесной генетикой, ему не до знахарства, он…

– Прошу притормозить! – неожиданно для себя рыкнул Конотоп. – И будьте добры застенографировать телефонограмму. Диктую: дорогой Георгий Васильевич, примите нашу самую сердечную признательность за то, что весомую часть своей, насыщенной деяниями, жизни посвятили травам, подняв эту область знания от истоков знахарства до уровня подлинной науки. Здоровья вам и новых высот в научном творчестве!

Леонид Брежнев, Василий Конотоп.

С п р а в к а :

1. Вслед за двумя изданиями «Трав» были выпущены еще четыре книги подобного плана (по два издания каждая), в накоплении для исходных данных для которых приняли также участие известные травознатцы – Нина Федоровна Козакова, Александр Александрович Лагерь, Эдуард Викторович Степанов.

Создана своего рода энциклопедия, в которой не только обозначены ареалы распространения более пятисот лекарственных растений Сибири, но и приведены сведения о химическом составе и лечебных свойствах каждого из них с обязательным поименованием тех заболеваний, от каких защищает с их помощью народная медицина.

2. Помимо названных изданий из-под пера Георгия Васильевича вышло более пяти десятков книг (некоторые из них до сих пор засекречены, большая же часть посвящена изучению лесов Западной Сибири, в том числе определению ареалов распространения пихты, кедра, сосны, ели, березы с целью выявления оптимальных условий их заготовки).

3. Систематизируя накопившиеся за все годы исканий материалы, Крылов сдал недавно на хранение в архив Сибирского отделения академии наук России 180 папок общим весом под две тонны; здесь отражены, в частности, его непосредственное участие в закладке Центрального Сибирского ботанического сада, организация ряда комплексных экспедиций в Кулунду и Прииртышье (обеспечивших научное обоснование для создания Государственных лесных полос), определение условий возобновления хвойных пород в районах интенсивной вырубки, поиски методов эффективной борьбы с сибирским шелкопрядом, систематизация исходных данных при прогнозировании вспышек массового размножения вредных насекомых и многое, многое другое.

6

В начале двадцатых годов по заданию правительства в урочища Горного Алтая были направлены одна за другой две специальные экспедиции ботаников, перед которыми ставилась государственной важности задача: отыскать растение, целебный корень которого взимали в качестве дани с местного населения на протяжении 400 лет маньчжурские владыки, за которым охотились наравне с золотом, собольими шкурками, лихие контрабандисты.

Многомесячные блуждания по таежным тропам тех давних экспедиций не увенчались успехом. Золотой корень (научное на-

звание Родиола розовая) был открыт лишь в 1956 году. Сделал это во время одного из своих походов профессор Крылов. С 1966 года, после соответствующей проверки, препараты из целебного растения включены в фармакопею СССР.

Образно говоря, Георгий Васильевич, этот неустанный труженик, и сам подобен могучему стволу с золотым корнем, от которого пошли добрые отростки – плеяда талантливых учеников, из которых более пятидесяти защитили кандидатские диссертации, а пятнадцать исследователей – докторские.

ГЛУБОКАЯ БОРОЗДА

(Анатолий Васильевич Никульков)

Прозаик, драматург, критик, публицист Анатолий Васильевич Никульков родился 18 апреля 1922 года в Воронеже.

Отец его, Василий Иосифович Никульков, был видным партийным деятелем, репрессированным в 1937 году. Мать, по первому образованию учитель, в 1934 году возглавила только что появившееся Новосибирское книжное издательство и проработала на этом посту почти четверть века.

В 1940 году А. Никульков был призван в армию. Участвовал в боях против Японии (1945). В 1952 окончил исторический факультет Новосибирского педагогического института. Работал в Новосибирском горкоме ВЛКСМ, редактировал областную комсомольскую газету «Сталинское племя». Член Союза писателей СССР. С 1961 по 1967 год А. Никульков был ответственным секретарем Новосибирского отделения Союза писателей РСФСР. Избирался членом правления СП РСФСР. Участвовал в работе I и II съездов писателей РСФСР.

Много лет проработал в журнале «Сибирские огни». Начинал с должности литконсультанта. Заведовал отделами очерка, поэзии, прозы, был заместителем главного редактора. А с 1975 по 1987 год возглавлял «Сибирские огни». В этот период журнал достиг самого высокого в своей истории тиража (123 тысячи экземпляров), превратился в крупнейшее и авторитетнейшее периферийное издание литературной периодики в СССР. Заслуженный работник культуры РСФСР. Кавалер ордена «Знак Почета».

Начало профессиональной литературной деятельности А. Никулькова относится к концу 1940-х годов. Публиковался в журнале «Сибирские огни». В 1952 году в Новосибирске вышла первая книга А. Никулькова – очерки «Пионерское лето». Автор книг «Достойные счастья» (1952), «Путь упорных поисков» (1958), «Гордая фамилия» (1959), «В буче» (1964), «Книга о поэтах» (1972), «Школьники» (1990), «Взгляд на РСДРП» (1999) и др., изданных в Новосибирске. Лауреат премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского (1990).

Умер 8 июля 2001 года в Новосибирске.

На литературной пашне Сибири А. Никульков вспахал свою глубокую борозду. Прежде всего, как крупный организатор и собиратель писательских сил. Но и как многогранный писатель – тоже. В творческом багаже А. Никулькова рассказы, повести, романы пьесы, художественно-документальные повествования, литературно-критические и исторические исследования.

Широкую известность А. Никулькову принес роман «В буче», посвященный «последствиям, вызванным отступлением от ленинских норм в государственной и общественной жизни». «Последствия» эти, а точнее отступление главного героя произведения, первого секретаря горкома КПСС Ивана Москалева от демократических норм партийного руководства, и становятся сутью главного конфликта романа, его идейно-художественным стержнем, а сам роман – одним из первых в советской литературе «антикультовских» произведений, прямым и непосредственным следствием хрущевской «оттепели».

Другой же роман А. Никулькова – «На планете малооборудованной» (кн. 1 – 1967; кн.2 – 1970) – стал первым художественным произведением о выдающемся поэте Владимире Маяковском.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги А. Никулькова:

В буче. Роман. – Новосибирск, 1964.
Школьники. Повесть. – Новосибирск, 1990.

Об А. Никулькове:

Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.
Литературная столица Сибири. // История города. Новониколаевск – Новосибирск. В 2 т. – Новосибирск, 2005. Т. 1.
Горшенин А. Ровесник «Сибирских огней». // «Сибирские огни», 1912, №4.

Анатолий НИКУЛЬКОВ

ШКОЛЬНИКИ

(Отрывок из повести)

В повести рассказывается о школьниках предвоенной поры, чье становление и взросление пришлось на полные драматизма годы сталинских репрессий и грозовых ожиданий будущей великой войны. Автор показывает, как формировалось поколение, которое очень скоро взвалит на свои неокрепшие плечи тяжесть гигантской ответственности за судьбу родины. Повесть во многом автобиографична и некоторым образом продолжает роман «В буче», а сын главного героя романа Вася Москалев, в «Школьниках» и сам оказывается в центре повествования.

* * *

За огромными окнами класса ослепляла морозная голубизна, а здесь, внутри, отфильтрованный от мороза солнечный свет согревал белые стены, сиял на ребячьих лицах и на полированных крышках парт. Вася Москалев стоял возле учительского столика, а историк Николай Иванович Сизов слушал его, повернувшись спиною, и смотрел в сияющее окно через свои большие очки в роговой оправе – американские, как их называли.

Когда Вася отвечал любимый урок, то так увлекался, что переставал замечать кого-либо по отдельности, растворялся в этой родной массе и выдавал свои знания, словно песню, не запинаясь, со щегольством. Москалев рассказывал о декабристах. Для него, восьмиклассника, они были теперь любовью, более осознанной, чем в четвертом классе – мушкетеры или в пятом – Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо. Смелые, интеллигентные, красивые и настолько благородные, что на Сенатской площади, зная свою обреченность, они берегли стрелявших в них царских солдат и передавали друг другу приказ: «Стрелять только в лошадей!» Москалев видел своих героев в разноцветье мундиров, в золотом блеске эполет, с пистолетами и шпагами в руках, – во всем обаянии истинной мужской красоты.

Хотя он вроде бы и увлекся до самозабвения своим рассказом, но все же порой улавливал то тут, то там особо приязненные взгляды. С третьей парты среднего ряда, из самого центра, подбадривала его комсорг Вера Стрельцова, девочка, носящая гимнастерку. С первой парты в упор, откинув голову, так, что выступал на шее кадык, уставился Тодик Фильней, единственный ученик в очках; у него были светлые кудри, не подходящие к его суховатой и резкой еврейской физиономии. С полным одобрением глядел Юрка Баландин, самый длинный в классе, рыжий, с крупным веснущатым лицом; веснушки и те были крупные, как пятна, и челюсть, большая, обвисшая, совсем не похожая на квадратные челюсти киношных американских боксеров, была добрая, с мягкими очертаниями.

Юрка, удовлетворенный ответом приятеля, вольготно расправился, положил локти на парту позади, и Николай Иванович тотчас сказал, продолжая смотреть в окно:

– Баландин, сядь прилично.

Юрка с притворным изумлением поглядел медлительно на соседей слева и справа, пожевал губами, поводил челюстью и опять скрючился над своим местом, тесным по его габаритам.

Такое свойство историка – отвернуться от класса, но видеть все – вначале вызывало суеверную почтительность. Но однажды знаток точных наук и сам очкарик Тодик Фильней вернул ребят к материализму.

– Не правда ли, Николай Иванович, – спросил он, вежливо сдерживая уличающий тон, – что в стеклах очков вам изнутри видно отражение класса, когда вы стоите к нам спиной?

– Конечно, – буркнул Николай Иванович без всякого выражения.

После этого репутация самого умного в классе еще прочнее закрепилась за Тодькой.

Вера Стрельцова подмигнула Васе серым глазом со светлыми ресницами – групкомсорг одобряла старосту класса. Белая, чуть полноватая шея Веры выглядела особенно нежной по контрасту с облегавшим ее мужественным воротником гимнастерки.

Историк начал новую тему. Когда он рассказывал сам, то не стоял у окна, а, наоборот, непрерывно ходил – и вдоль доски, до самых дверей, будто собирался уйти, и по проходам между рядами парт, вплоть до задней глухой стены.

Вася бездумно водил пером на полях своей тетрадки по истории, как бы разминаясь, что ли, перед тем, как начать конспектировать. Была у него такая придурь, и немка Агнесса Марковна – настоящая немка, эмигрантка из фашистской Германии, – говорила с огорчением:

– Москалев, ты зачем опять напачкал в тетрадку?

А сейчас, тем более, шло в нем внутреннее расслабление. Вроде отвечал уверенно, без «мандража», но, должно быть, увлеченность тоже создает напряжение. И не физически, а где-то в нервах он будто налаживал сбитое дыхание.

Вася машинально нарисовал нежный профиль… А когда изобразил гимнастерку, то от этого сочетания профиль вдруг объявился кощунственно грубым, с круглым, как у рыбы, глазом… Рисовать-то Вася вовсе не умел… Спеша устранить безобразное искажение, он ожесточенно взбил шевелюру над профилем, закрыл подбородок острой бородкой, а на петлицах гимнастерки заодно начертил четыре ромба – знак командарма.

В проходе проплыл мимо синий пиджак Сизова, но задержался: на уровне Васиного лица обозначилась рука, сунутая в боковой карман, а голос размеренно продолжал рассказ. Вася поднял голову и проследил строгий взгляд выпуклых глаз учителя. Словно по лучу этого взгляда, он съехал вниз, к своей тетрадке, где и увидел глазами Николая Ивановича профиль Троцкого…

Сизов взял тетрадку, не переставая рассказывать, прошел к учительскому столу и положил ее себе в портфель.

Вася как смотрел на тетрадку, так и приковался к тому самому месту, где она лежала, к пустой теперь, черной, поблескивавшей от солнца парте. Он затаился, хитрил, боясь выдать себя движением, отводя внимание класса от непостижимого превращения чего-то смутно-нежного в такую чертовщину.

С прошлого года вражеское наваждение так и ходит вокруг, тревожа и интригуя ребят. Уже в начале нынешней учебы классный руководитель Агнесса Марковна однажды раздала перед первым уроком тетрадки с контурным портретом Пушкина на обложках, а на последнем уроке вдруг велела сдать их обратно. Все вернули тетрадки без всякого интереса – мало ли какая блажь придет учителям. Но вскоре пробежал слух, что в завитках пушкинских кудрей и бакенбардов зашифровывались буквы антисоветского лозунга. Конечно, все кинулись искать такие тетрадки, но, увы, не нашли ни одной.

Потом в школьном коридоре на месте портрета Молотова осталось темное пятно с гвоздем. Все удивились: «Ого! И этот попался!» Однако на следующий день пятно закрыли другим портретом того же Молотова. И опять из неведомого источника распространилось объяснение: враги так отретушировали прежнюю фотографию, что галстук Молотова оказался усеянным мелкими свастиками. И ребята по-охотницки досадовали – как это они зря пробегали сотни раз мимо такой уникальной фотографии!

А теперь вот и Вася – напачкал так уж напачкал в тетрадку! Безмолвным, тайным током он как бы сообщился с отцом, арестованным вместе со многими, в прошлом году, как бы сам вдруг познал опасливую и отчаянную тягость быть врагом народа.

Отец, давно разошедшийся с мамой, жил не с ними, и арест его был невидим и безмолвен. Но и в Васином доме из многих квартир забрали отцов. И не стало страшнее места на земле, чем лестничные площадки в своем подъезде. Вася весь сжимался в комочек, как заяц, когда поднимался домой, на четвертый этаж, мимо безжизненных дверей, за которыми словно лежали мертвецы… И еще ужаснее было, что из любой двери мог выйти человек в фуражке с красным околышем и синим верхом и поймать его, недовольного Васю, вместе с мамой.

Это был самый ужасный страх за все детство. Никто никогда не узнал, что Вася подвержен такому заячьему, загнанному страху. Только наедине с собой, в свои пятнадцать лет, перестрадал это, перестыдился, перегорел. Уже почти год прошел после ареста отца, уже и мертвые квартиры заселились новыми людьми, и не скакал больше сжатым комочком Вася от площадки к площадке… А сегодня сам вот влез в тот полузабытый кошмар.

– Что это он у тебя тетрадку взял? – спросил сосед по парте Федя Данилов, простолицый, с напористыми скулами и коротким крепким носом.

– Черт его знает, может, конспекты проверить решил.

– Поди, опять твоим примером в глаза тыкать будет?

– Может быть, и так, – ответил Вася, про себя зная зловещую двусмысленность Фединого вопроса.

Звонок с последнего урока подобен выстрелу стартового пистолета, когда враз срываются истомившиеся спортсмены и тишина сотрясается гомоном болельщиков… Хлопают крышки парт, Баландин потягивается во весь рост, расправляя члены, затекшие в оковах парты, у двери плотно перемешиваются ребята и девочки в чуть разгоряченной толкучке. Федя Данилов, опираясь о крышку и спинку парты, на вытянутых руках выбрасывает свое тело в проход, через освободившееся Васино место.

Вася меланхолически раздумывает: сказать ли друзьям о происшествии. Собственно, рассказывать нечего, никакого Троцкого он и не думал рисовать, и вообще неизвестно зачем Николай Иванович взял тетрадку.

Сквозь гомон дошел целенаправленный голос Веры, мягкий, девчоночий по тембру, но командирский по интонации:

– Вася, останься.

Вот и рядом ее лицо. Светлые волосы, зачесанные набок, прикрывают одним росчерком висок и щеку; кармашки гимнастерки на груди приподняты, выпуклы, значок «БГТО» висит на кармашке, изогнув цепочку по выпуклости.

В пустом классе, где заоконная солнечная голубизна как бы расщеплялась на белые стены и голубые панели, Вася сел на Тодькино место, лицом к лицу с Верой, которая по-хозяйски расположилась за учительским столом… Быстрая и востроглазая, она наверняка уловила заминку возле Васиной парты, – и его потянуло довериться ей.

– Вася, меня вызывали в школьный комитет комсомола, – сказала Вера доверительно, словно не Васе, а ей надо было поделиться чем-то беспокоящим.

С чуткостью обостренной от собственных переживаний, Вася вмиг переключился с себя на Веру: может, ее там ругали; может, срочно что-то надо провернуть в классе, чтобы ей помочь… Стало ясно, что ничего она не уловила, но зато сама нуждается в сочувствии.

Вера продолжала, листая блокнотик:

– Сказали, что вот уже вторая четверть идет, как у нас оформлена комсомольская группа, и пора восьмиклассникам показать себя в общешкольном масштабе.

– Ну, давай покажем, – сказал Вася с некоторым разочарованием.

Вера засмеялась и отрывистым жестом, от плеча, взмахнула кулаком:

– А давай покажем, а?

В Васиной душе безнадежно росло ощущение недоступности Веры. Ее приглашают на свои заседания комитетчики из девятых и десятых классов, такие взрослые, самоуверенные, небрежно раздвигающие на переменах шумливую толпу всяких там восьмиклассников и ниже. Веру они знают, с ней беседуют, у ней тоже есть хозяйская уверенность… А кто из комитетчиков обратит внимание на какого-то Москалева?

Комитет потребовал, чтобы в восьмом классе, с которого начинается полное среднее образование, не было отстающих, надо закрепить за ними отличников. «Это по силам, – молча прикидывал Вася. – Отличников у нас больше, чем отстающих…»

Комитет обязал всех комсомольцев класса сдать нормы на знаки «БГТО», «Ворошиловский стрелок», «ПВХО», «ГСО». Вася еще больше утвердился в собственном достоинстве. Лишь три человека в классе имели «БГТО»: он, Вера и Федя Данилов. Этот

значок с фигурой бегуна на фоне звезды и сейчас висел на его коричневом кительке: красная эмаль звездочки слегка облупилась от постоянной носки. Лыжник, легкоатлет, волейболист, пловец, переплывающий Томь у Басандайки и Обь у Заельцовского бора, хавбек в футбольной команде пионерского лагеря – центральная фигура на поле, идущая то в нападение, то в защиту, распасовывающая мяч и форвардам и бекам, – он-то уж сдаст любые нормы, еще и других потренирует.

– Я с сентября хожу в стрелковый кружок при клубе «Динамо», – сказала Вера. – Всех наших, наверное, надо туда записать.

– И меня запиши.

– Да уж, конечно, – Вера вскинула покровительственный взгляд, под которым Вася опять помельчал перед ней: она и среди стрелков свой человек, с кем-то там встречается, с кем-то смеется, ложится с винтовкой наизготовку перед мишенью. Кого-кого, а уж ее Вася не поразит своими спортивными качествами.

Еще одно требование комитета совсем погрузило его в уныние: в школе создан драмкружок, руководить будет настоящая актриса, надо найти таланты.

– Как их найдешь? – пробормотал Вася, подразумевая себя.

Комитет угодил в его тайну. Сколько сцен из Шекспира и Виктора Гусева разыгрывал он дома, когда оставался один!

– Кто ищет, тот всегда найдет, – пропела Вера фразу песенки из нового кинофильма «Дети капитана Гранта», пропела точно, с абсолютным слухом, как бы устыдив мимоходом Васю еще и за то, что петь он не умеет, и сказала напористо: – Проведем классный вечер самодеятельности. И повеселимся, и таланты выявим.

Она положила блокнот в полевую сумку, вероятно, отцовскую, заменявшей ей портфель, и щелкнула металлическим язычком застежки.

Они вышли из школы, и классический сибирский мороз – сухой, солнечный, не знобящий тело, а только жгущий открытые части лица, – тотчас слепил ноздри при вдохе, защекотал кончики ушей. Но Вася не опустил меховую опушку своей круглой финской шапки с кожаным верхом.

Его воронежский склад оказался все-таки не очень подходящим для Сибири. Мама, например, вообще в такие морозы заболевала, будто вынесла пытки, возвращалась с работы скукоженная, укутанная до глаз шарфом. В прихожей какое-то время она еще не высвобождала рук из старенькой муфты, а отходила сперва, распрямлялась.

Кто знает, может, Вася бессознательно одолевал в себе такой несчастный мамин вид, но вот уже восемь лет из своих пятнадцати он упрямо воюет с сибирской зимой, с тех пор, как они приехали сюда из Воронежа. Не раз обмораживал уши, нос, щеки, но никогда не опускал шапку и не закутывался до глаз шарфом, разве что поднимал воротник, когда уж совсем становилось невмоготу. Была у него еще и такая привычка, наряду с «пачканьем» в тетрадках. Он видел, как вокруг спешат закутанные, но вполне нормальные люди, сознавал, что никто в этом беге, подгоняемом морозом, не намерен рассматривать его, – но вот поди ж ты! – в опущенной шапке и с закутанным носом он казался сам себе жалким до противности. Он не мог выносить себя такого.

Ну, а сегодня мороз вообще был не так уж силен. Тем не менее, Вера повернула к Васе лицо, забавно и мило выглядывающее из мехового прямоугольника треуха, и спросила:

– Ты почему шапку не опускаешь?

– Да чего-то нужды нет.

Она взялась рукавичками за Васину «финку» и сама отогнула книзу опушку, прикрывшую скобкой уши и шею.

– Думаешь, в прошлом году ты красивее был, когда неделю ходил с огромными красными пельменями вместо ушей?

Вася ужаснулся Вера: запомнила его таким нелепым, когда он потряхивал при каждом шаге обмороженными тяжелыми ушами!

В опущенной шапке, в самом деле, стало уютнее. И здесь, на улице, среди прохожих, они были с Верой более наедине, чем в пустом классе. Там деловито мельтешили тени соклассников, для которых составлялся план, а сейчас все сосредоточилось только в них двоих… И Вася понял, что любит Веру.

К сожалению, провожать ее было некуда – она жила напротив школы, в одноэтажном деревянном домике. Вася шел домой один, потирая нос рукавичкой, а в голосе медленно кружилась грустная фраза из популярного танго: «Пусть надолго останется тайной…»

Не впервые у него, не впервые зарождались такие тайны. Он вот не помнит сам себя, какой был малышом, не запомнил и облика девочки, но отчетливо отложилось не в зрительной, а более прочной памяти ощущений томительное влечение к чему-то прозрачному, розовому, нежному. Уже четвероклассником сидел он за одной партой с девочкой, которая и теперь вспоминается в реальных подробностях, хотя тоже как бы подернутых розовой прозрачностью. Ее рыжие пышные волосы походили на пронизанный солнцем туман, голубые глаза были с рыжим отливом, на белом, сметанном лице выделялись пунцовые губы. От ее яркого вида, от

слабого веяния взрослых духов Васю охватывало томление, приятное, как легкая болезнь, от которой не тяжко, не больно, которою тянет болеть.

Кажется, как раз во время такой – действительной, а не для сравнения, – легкой болезни Вася валялся дома в праздной истоме, в приятной выключенности из всех железных распорядков, и читал роман Бориса Лавренева «Крушение республики Итль». Было это два года назад, в шестом классе.

Лавренев здорово закрутил приключенческо-комический сюжет, да еще полно было в книжке остроумных фразочек.

Например, император Варсонофий Первый Гвоздила приветствовал добровольцев:

– Здорово, ребята!

Но на плацу царило молчание.

Возмущенному императору объяснили:

– Здесь нет ребят, здесь все капитаны.

Вскоре сэр Чарльз решил выяснить численность этого добровольческого корпуса. Но лишь когда добровольцы перепились до потери сознания и их сложили штабелями, тогда и пересчитали. Наутро обалдевших и отупевших приветствовал сэр Чарльз:

– Здравствуйте, капитаны!

Фронт ответил молчанием, и сэру объяснили:

– Здесь нет капитанов, здесь все ребята.

Эти фразочки вошли на какое-то время в обиход шестиклассников, даже тех, кто не читал Лавренева. В зависимости от ситуации мальчишки то и дело твердили: «Здесь нет ребят, здесь все капитаны», «Здесь нет капитанов, здесь все ребята».

В общем, по этой книге шло первоначальное освоение юмора.

Но среди приключений, драк и стрельбы непрерывно вилась в романе, как бы сказать, женская линия. Ее нельзя назвать любовной линией, потому что у Лавренева ни один герой не мучается любовью так, как Татьяна Ларина или Павка Корчагин.

«– Господи помилуй! – сказала она, томно потянувшись и показывая министру народного просвещения великолепную линию спины в вырезе платья…» Вася раз наткнулся на эту спину, другой, – и внимание заострилось на том, что в знакомых по литературе ситуациях, когда героям полагалось предаться томлению любви, они предаются лишь разглядыванию женской спины.

«Вечный поединок зрачков, такой волнующий и острый, – первой не выдержала незнакомка. На лице ее запылала утренняя заря смущении, она крикнула что-то кучеру и повернулась к офицеру спиной…».

Робкий поединок зрачков, после чего так ощутимо вспыхивает румянец, будто налипает, наклеивается на щеки, – это Васе было знакомо, это и бывало началом влюбленности в девочку. Однако в романе все опять переключалось на разглядывание: «Но, увы, дочь главы республики забыла, что такой маневр не спасает положения. Глубокий вырез платья показал баронету неподражаемую линию спины… Он шумно вздохнул и впился глазами в эту линию…»

Васю в конце концов начала волновать эта спина, притягивающая к себе мужские взгляды. Он не отрывался от страницы, но где-то на втором плане сознания возникали знакомые женщины на даче, когда они в трусах и бюстгальтерах купались или играли в волейбол. Конечно, тянуло к ним какое-то любопытство. Но женщин было много, прыгали они и бегали с такой непосредственностью среди мужчин, что Вася ни на что конкретное и не заглядывался.

«Софи сидела на диване в чрезвычайно прозрачной батистовой сорочке, свесив пухлые ножки на мягкую шкуру… Президент курил, а свободной от папиросы рукой методически гладил спину своей фаворитке, пышную и нежную, как сметана».

До этой странички Вася следовал лишь за взорами министра просвещения и Фреди. Но вот рука президента легла на голую спину, и Вася собственной рукой ощутил неиспытанное тепло сметано нежной кожи. Он прижмурился, чуть задохнувшись от внезапного открытия тайны женского тела. Открытие это пришло без прямого физического ощущения, а лишь через потрясенное воображение… Это надо же! Через книгу открылась тайна самого стыдного и недоступного наслаждения, высшего наслаждения на земле – прикосновения своими руками к женскому телу.

Овладев такой сокровенностью, Вася с сомнением примеривал ее к соклассницам, но слишком свойские были они, не вязались с высшей тайной. Да, его волнуют выпуклые Верины карманы на гимнастерке, но не в этом видится недоступность Веры, а в необязательности, ненужности для нее любви какого-то Васи, которого и знать не знает школьный комитет комсомола, который так затеривается в толпе на переменах, что и сам себя не может отличить от других, а если и вздумает чем выделиться, так только трясущимися ушами.

И Троцкий тревожил Васю, и драмкружок притягивал и вызывал робость, но главное выявилось ночью, когда приснилась только Вера, а остальное в сон не проникло, отфильтровалось.

* * *

Только во сне могла взяться такая деликатность воображения, чтобы, держа Веру на руках, спасая, ощущать не ее тело, а только невесомую теплоту. Вася берег этот сон, пока шел в школу, но при виде Веры, объявляющей о комсомольском собрании, застыдился, будто и вправду между ними легла неловкая тайна. Вера стояла крепкая, плотная, в черных туфлях на высоких каблуках, отчего ноги казались длинней, выпуклей. А сама она – ростом почти с Васю; гимнастерку стягивал по талии черный ремешок под цвет туфель.

Он сидел урок за уроком, мозг работал привычно, тренированно, независимо от тайной скованности, которая не позволяла сегодня оглянуться так запросто, как вчера. Но, даже не оборачиваясь, он постоянно ощущал то место в центре, будто ночное тепло так и шло к нему, шло оттуда.

Истории сегодня по расписанию не было, судьба тетрадки оставалась неясной. Очень даже возможно, что Николай Иванович передал ее Агнессе Марковне, классной руководительнице. А это означало, что при одинаково печальном результате шуму будет больше.

Но когда немка вошла в класс, Вася мгновенно ухватил, что ничего историк ей не передавал.

Крупная, несколько тяжеловесная Агнесса Марковна вместе с тем была подвижной и отчасти суетливой. Ее чересчур благородная прохладная красота, гордый «итальянский» нос вызывал в памяти облик Гёте. В спокойном состоянии лицо ее казалось высокомерным, а на самом деле было нервное, чуткое, моментально реагирующее вспышкой девичьего румянца.

Обычно, когда она входила, на лице у нее уже значилось полное расписание всех неприятностей. Пускай она молчала до самого конца занятий, но по обиде в глазах, когда в их поле зрения попадал какой-то ученик, по степени румянца, вспыхивающего синхронно со взглядом, все догадывались, кто и в какой мере сегодня виновник. Задолго до того, как Агнесса Марковна начинала воспитательный разбор, информация уже была считана с ее лица.

Но сегодня она имела несуетный облик Гёте.

Федя Данилов, вызванный отвечать урок, громоздил из неуклюжего Plusquamperfekta совсем чудовищные конструкции. Агнесса Марковна с обидой смотрела на него, сжимала длинными пальцами виски, как при мигрени, и, наконец, попросила таким тоном, словно сама нуждалась в подсказке:

– Помогите, товарищи!

Ободренный отсрочкой с тетрадью, Вася живо встрял, поднял руку. Учительница выслушала его и сказала:

– Ты имеешь берлинский диалект.

– О! – пробасил Юрка. – Столичная штучка!.. А у меня какой диалект? Баварский?

– У тебя сильный новосибирский диалект, – парировала немка под многозвучный, как оркестр, смех – от девчоночьего хихиканья до Фединого гоготания. – Садись, Вася!. Данилов, тебе двойка в дневник.

– Федор налился упрямством, страшноватым стал, сунул руки в карманы брюк:

– Я, может, не желаю учиться фашистскому языку.

Агнесса Марковна сказала сурово:

– Так нельзя говорить, Федя. Это мой язык, а я ведь коммунистка. Вытащи руки из брюк… из карман.

– А Тельман? – подхалимски пискнула Валя Нищенкина, так и устремившись к учительнице круглым, бледным лицом, на котором самой заметной деталью было ровно, будто по циркулю очерченные скобочки бровей.

– Да хотя бы как язык вероятного противника надо изучать, – протяжно, с болью за Федино непонимание, сказал Вера, и тотчас Вася зашептал Данилову:

– Что выпендриваешься? Просто не выучил, а теперь платформу подводишь.

– Да ладно, – огрызнулся Федя. – Дружные какие!

– Тебе правильно сказали, – подытожила Агнесса Марковна. – А теперь я вернусь к берлинскому диалекту Москалева.

Она сказала, что у берлинцев несколько стерто различие между местоимениями «mich» и «mir» (меня, мне). Один фельдфебель очень мучился этим непорядком и установил для себя твердое правило: на службе в любых случаях употреблять только «mich», а дома – только «mir»

– Plusquamperfekt ты знаешь, а с местоимениями спутался.

Класс засмеялся, еще неизвестно над кем, но Агнесса Марквна подхватила смех с милой победоносностью.

На комсомольском собрании Васе, как отличнику, досталась Валя Нищенкина, как отстающая.

– А что ты со мной будешь делать? – полюбопытствовала она.

– Книжки читать. Знаешь, алгебра такая интересная, я по пять раз одну страничку перечитываю.

– Фи, а еще отличник! Отличники все на ходу схватывают.

– Ишь ты!

Валя была хорошая девчонка, компанейская, добрая, наивно-ироничная. Выделялась она среди подруг зрелым рыхловатым телом; на турник залазила долго, колыхалось у нее все, и потерявший терпение физрук обычно помогал ей, подпирая ладонью спину..

– Вася, а с какими местоимениями ты спутался?

– По решению собрания с местоимением «с тобой».

– Ну, и хорошо, – вполне довольная засмеялась Валя.

Вере достался Данилов, она тут же позвала его к себе домой, потому что нечего терять времени, если схвачена свежая двойка. И Вася затосковал, прямо не знал, что делать…

Дома его, как всегда, встретила домработница Мотя, ухитряющаяся немедленно открывать дверь, едва касались кнопки звонка. Ее скуластая, крепкая физиономия, с крохотным носом, с маленькими глазками в щелочках, изрытая оспой вплоть до век, неизменно встречала всех входящих, как маска на индейской хижине, оберегающая очаг от злых духов.

– Кого опаздываешь обедать? – зачастила она стремительным чалдонским говором. – Поди-ка, в кино бегал?

– На комсомольском собрании я был, Мотя, на собрании, – снисходительно-увещевательным, но вместе с тем и подотчетным тоном объяснил Вася.

Мотя любила порядок, в ней кипела энергия и оптимизм, она никогда не мешкала и не дозволяла мешкать другим.

В кухне, напротив входной двери, на Мотиной постели, втиснутой под висячим посудным шкафчиком, сидела Васина сестра Элька, худенькая, глазастая, в темном платье с пламенным язычком пионерского галстука. Перед ней, ухватясь за Элькины пальцы, переступала ножками Мотина дочка Линка, Эвелина. Вася был уверен, что такое роскошное имя Мотя подобрала своей дочери не без помощи мамы. Увидев Васю, Линка заулыбалась, загукала, попыталась присесть и подпрыгнуть.

Линка была красивая девочка, и Вася глубоко про себя, боясь даже в мыслях унизить Мотю, недоумевал: как это у нее мог родиться такой красивый ребенок?..

Мотя была незамужняя, но мама, используя суровые законы эпохи, наказующие за малейшее нарушение норм, добилась, чтобы Линкин отец платил по суду алименты. Вася никогда его не видел, но знал, что тот уже наведывался, чтобы стребовать с Моти обратно хоть часть своих денег.

Линка неожиданно, по крайней мере, для Васи, появилась год назад, и это, не очень-то обычное и даже нежелательное для домработницы, состояние, наоборот, узаконило положение Моти:

вроде бы теперь, скажем, уволить Мотю означало бросить Линку. Впрочем, таких мыслей и близко не возникало. С Мотей сроднились, она была не столько домработница, сколько домохозяйка.

В маленькой Васиной комнате хватало простору и света, потому что в ней находились всего лишь письменный стол, легонький венский стул да узкая кровать с голубыми железными спинками, а квадратное окно чуть не во всю стену было голым, без занавесок, которые Вася, вслед за мамой, презирал, особенно тюлевые, за то, что они уменьшают освещенность и собирают пыль. Над кроватью висел длинный книжный шкафчик с тремя полками, удобный тем, что, приподнявшись на постели, можно достать любую книгу.

Никогда не думал он плохо о своем спартанском жилище, даже когда однажды с тоскою и злостью выговаривал маме за него… Он тогда вернулся из Томска, от отца, из его пятикомнатного особняка с кожаными креслами, резными дубовыми стульями и коврами на стенах. Отец проводил его на пристань в горкомовской машине, а на новосибирской пристани его встретила мама пешком.

Он пошел впереди мамы, отделился, как бы упрекая ее за унижение от этого контраста двух своих жизней, от перемены состояния, происшедшей меньше чем за сутки.

– Ты почему такой грустный? – спросила мама с неловкостью, просящее. – Там что-то случилось? Обидели тебя?

И от этого вопроса, подсказывающего причины не действительные, а нужные маме, униженность возмутилась до злости.

– Никто меня там не обжал, – грубо ответил он.

– Почему же ты такой… чужой? Неужели я в чем-то виновата?

Мама нащупала тайную причину – свою безвинную вину. Васе стало стыдно за это разоблачение, и он, отгораживаясь наглухо, беспощадно сказал:

– Неужели тебе приятно так жить? В голой квартире… без всего… Как мещанка!

Он шагал в одиночестве по выпуклому тротуару Красного проспекта, поднимающегося дугой к центру от Оби, а сам жестоко и болезненно прислушивался к тому, что происходит сзади. Мама долго молчала, медленно постукивая каблуками туфель. Потом он услышал всхлипывания, мама сморкалась в платочек, щелкнув замочком сумки. Посреди улицы, при народе мама плакала.

– Да, тебя там не обижали, а настраивали против меня, – мама говорила нервно, вибрирующим голосом.

– Неправда, – крикнул он, чувствуя от этой несправедливости мамы маленькое облегчение, оправдание самого себя.

– Я – мещанка? Это как раз мещане придают такое значение удобствам… У меня и денег нет жить по-мещански.

На душе стало подло. Будто он ударил маму, и удар горит, и не возьмешь его назад, не заспишь, не запамятуешь.

Если в чем и была виновна мама, так в том, что в семье привыкли обходиться без нежностей; всякие чувства, особенно тяжелые, загонялись вглубь, переживались каждым наедине, и оттого, в конечном счете, тяжелей становилось всем. Подлость заключалась в том, что для отца и для мамы одинаково не было более презренного слова, чем «мещанин»; этим словом он и ударил. А из подсознания, без малейшего участия разума, это слово выскочило по тому контрасту между дворянином и мещанином, который так красочно изображала классическая литература. Отец где-то в темной глубине ощущений представлялся дворянином по сравнению с неблагоустроенной мамой…

Пообедав, поиграв мимоходом с Линкой, Вася сел за уроки. Хотя тянуло прилечь с «Посмертными записками Пиквикского клуба» и наслаждаться остротами Сэма Уэллера. Элька во второй комнате, где жила с мамой, тоже корпела над учебниками. Мотя закрыла дверь в кухню, чтобы Линкины агуканья не мешали священнодействию. В этой семье все умели не мешать друг другу. Мотя, может быть, потому и пришлась ко двору, что в высшей степени обладала чутьем, когда быть необходимой, а когда раствориться до полной неслышимости. Васе и в голову не приходило, что эта тишина во всю вторую половину дня, до вечера достается, наверное, Моте ценой какой-то неловкости, какого-то затруднения с ее безотцовской бесквартирной дочкой, шумливой, как и все малыши.

Покой, тишина, учебники… И вот облегчающий душу, чуть слышный сквозь плотную дверь Васиной комнаты, даже скорее привычно угаданный, шелест ключа в замке, легкий хлопок входной двери и мамин родной, севший от усталости голос:

– Мотя, идите, пожалуйста, сюда на минутку.

И сейчас же в ответ Мотин возглас:

– Кого ревишь?

«Ревишь» на ее чалдонском язвке означало «кричишь». То есть «зовешь». А «кого» заменяло «чего не хуже «mich» – «mir» у берлинцев.

– Возьмите сумку с хлебом.

– Да ты чо, Лида Александровна! Поди-ка я бы сбегала. Ты ли, чо ли, у меня в работницах служишь? А может, я у тебя?

– Ничего особенного не произошло, – отвечала мама тихо, чтобы не мешать заниматься детям. – По пути зашла и купила.

Это демократическое свойство мамы – часто самой ходить в магазины при наличии домработницы – объяснялось тем, что если пойдет Мотя, то кому-то надо сидеть с Линкой. Но мама фанатически оберегала время детей для занятий. Сама же она уставала не от работы, не от какого-то трудного дня – словно от всей жизни устала она навсегда.

Едва опять затихло, как раздался стук в дверь. Этот стук вместо звонка свидетельствовал, что прется кто-то чужой, даже чуждый, не знающий о звонках в квартирах. Мотя хрипло закричала:

– Кого приперся, паразит?

Мужской голос что-то лениво пробурчал в ответ.

– Не лезь в квартиру! Иди отсель!

Враз отключенный от учебников, Вася понял, что притащился Линкин отец, и ждал с досадой, когда Мотя выгонит его и восстановит покой.

– Лида Александровна, иди помоги!

Это взывание к маме, а не к нему, – еще, что ли, ребенку, по Мотиным понятиям, – задело Васю, хотя он не представлял себе, как и зачем мог бы вмешаться.

– Строго, по-учительски, мама сказала:

– Немедленно уйдите, пожалуйста. Не мешайте нам жить.

– Пущай малость денег отдаст, – беззлобно ответил мужик.

– Жди, как же!..

– На ваши деньги Мотя содержит ребенка, – покрыл Мотин вскрик мамин голос. – Ничего она вам не отдаст.

– Отда-аст, – с насмешливой угрозой сказал мужик, и Васю возмутила именно спокойная издевка, уверенность в своем праве.

– Линочка – ваша дочь, в конце концов.

Ну, конечно, мама развела свою интеллигентскую канитель.

– До-очь! – презрительно протянул мужик. – Да это я спьяну полез на такую мордень, сослепу… Глянь, хозяйка, сама – на такую уродку разве стрезва полезешь?

Вася с треском распахнул свою дверь, желая одного – заткнуть мужику рот. Отвлечь его от таких слов, от самого больного для Моти, самого уничижительного. Да разве можно говорить женщине, что она уродка? Это все равно что смеяться над безногим, над непоправимым несчастьем!..

– Вася, я не знаю, что делать, – отдаленно услышал он обращенную к нему мамину жалобу, а следом довольно спокойные слова Моти:

– Глянь, красавец нашелся, пьяна морда!

Необидчивость Моти поразила, но он уже не мог, не хотел остановиться, он уже не помнил себя, исчез, превратился только в функцию ярости.

– Пошел вон, гад! – заорал он, с налету толкая мужика в грудь.

– Ну, ну, – пробормотал тот, откачнувшись, отступая на лестничную площадку. – Ты отколь выскочил?

Тут лишь, когда мужик попятился, Вася вновь ощутил себя, почувствовал свои выпученные до рези глаза, которые так и рвались из орбит, чтобы вцепиться в эту белую физиономию, прожечь его… Он мельком сопоставил силы. Мужик был, может, ненамного выше его, но плечистей, плотней. Лицо его, вялое, пьяное, показалось красивым.

– Ладно, уродка, попомнишь!

Развитым мальчишеским инстинктом Вася понял, что драки не будет, и заорал:

– Пошел вон!

И еще толкнул мужика. Тот позапинался нетвердыми ногами на ребрах ступенек, но уцепился за перила, обвис, потом, перебирая руками, выпрямился и задом стал спускаться.

– Сам попомнишь, если еще раз придешь, – пригрозил Вася и захлопнул дверь.

Унимая себя, он огляделся и увидел признательные глаза мамы. Мотя, успокаивая ревущую Линку, сказала из кухни:

– Спасибо, Вася, зря ты его по роже не стукнул.

– Ладно, больше не явится, – самоуверенно заявил Вася, удивляясь своей бескровной победе.

Он никогда не считал себя храбрецом, а, наоборот, подозревал в себе тайную трусость. Да и сейчас – можно ли назвать храбростью такую внезапную вспышку? Кажется, именно это называют в книгах слепой яростью? Ей бывают повержены и трусливые.

Так он опять не узнал, трус он или храбрый?

В прошлом году ему тоже пришлось испытывать себя, но еще более безрезультатно. Они втроем – Мама и он с Элькой – пошли тогда в кино. Вася не обратил особого внимания, что в фойе заговорил с мамой мужчина, – мало ли у нее знакомых! Но когда они сели в зале, она, отвернувшись от Эльки, испуганно прошептала:

– Вон тот человек привязался ко мне, требует, чтобы я с ним пошла… Ты помоги, чтобы он от меня отстал.

Впереди и чуть сбоку сидел здоровый дядя в хорошем пальто, с грубой и, как, естественно, показалось Васе, зловещей физиономией. Нос у него был круглой шишечкой, вроде как у Моти, рот тяжелый, широкий, губы словно расплющились друг о друга и

растеклись поперек лица. С презрением и боязливостью Вася возмутился тем, что такой некрасивый и неинтеллигентный тип осмелился ухаживать за мамой. Хоть бы подумал да сопоставил, на что претендует!

Весь сеанс накипала тревога: как же они будут отваживать этого типа?.. Кричать, чтоб народ собрался, – позорно… Все-таки тлела трусливая надежда, что когда он молча набросится на здоровяка, а тот начнет его лупить, то народ и сам сбежится… А главное, это было неотвратимо: ведь кроме него, Васи, абсолютно некому защитить маму. Тут ничего не поделаешь, ни от чего не уйдешь, хоть насмерть кидайся.

С такой обреченной готовностью и к крови, и к смерти Вася вышел из кинотеатра, весь вытянутый, с опущенными кулаками. Он заметил в толпе того типа и загородил от него маму. Элька восхищенно высказывалась насчет кино, мама отвечала с улыбкой, но Вася улавливал ее нервное придыхание.

Они прошли по Красному проспекту квартал до дому, Вася оглядывался, но типа больше не видел;

Вошли они под арку ворот, ведущих в их двор, но и там никого не было; посмелее, хотя и настороженно, ступил он в подъезд – там тоже было пусто. Они захлопнули дверь в квартиру с таким облегчением, с каким, наверное, преследуемый рыцарь въезжал в свой замок, и за ним поднимался мост, делая жилище неприступным…

Так что и в том случае Вася не определил у себя ни храбрости, ни трусости. Только стыдно было за дрожание души да пугливое озирание по пути до дому, до крепости с поднятым мостом.

Сегодня, по крайней мере, не успела душа задрожать, так неожиданно и довольно победно все свершилось.

Не понимал еще Вася, что его поколение выросло вовсе не трусливым по той причине, что безысходный, как сон, ужас перед мертвыми дверями, перед безмолвным исчезновением отца был самым страшным потрясением в жизни. А все остальные страхи, какие довелось испытать, были уже по сравнению с тем малы, одолимы.

Назавтра первым уроком шла история, но Вася сидел в классе не с дрожанием, а, наоборот, с неким затвердением души, словно приобретенный опыт говорил о бесполезности метаний перед неотвратимостью. Дрожать, метаться и трусить можно в поисках выхода, а если его нет, если выход от тебя не зависит, то и ни к чему все это.

Девочки и ребята с утра были свежими, умытыми, розовыми с морозу и такими ласковыми, теплыми, словно со вчерашнего дня сильно наскучались друг по другу.

Николай Иванович, как всегда, вместо приветствия буркнул: «Садитесь!» Его бесстрастные светлые глаза, увеличенные толстыми стеклами очков, казались выпуклыми. Объявляя тему урока, он, по привычке, зашагал между партами и положил перед Васей тетрадку.

Вася редко когда ощущал в себе такое спокойствие, с каким небрежно, вроде бы всего лишь отыскивая чистую страницу для продолжения конспекта, стал перелистывать ее. Он не спеша долистался до рисунка и увидел на его месте четкий, как по линеечке, фиолетовый прямоугольник, закрашенный такими же чернилами, какими нарисовалась та самая чертовщина. На полях было написано: «Очень грязно ведешь конспект».

Не облегчение, не благодарность почувствовал он, а растроганность. Он ласкал взглядом прямую спину Николая Ивановича, обтянутую синим пиджаком, мужественные, надежные складки лица, огибающие рот от носа до подбородка, и был уверен в том, что другого и не ожидал… Это сильное мужское благородство, без единого слова, без занудства, очаровало Васю. Он и оторваться не мог от Николая Ивановича, и встретиться глазами стеснялся, чтобы тот не уловил сентиментальности и любви.

Зато на перемене он подошел к Вере таким высвобожденным, открытым и – как сам ощутил – нахальным! Торопясь, чтобы не исчезла долго копившаяся смелость, отчаянно обгоняя сам себя, свою еще не полную готовность, он спросил:

– Ты можешь прийти сегодня к Дому Ленина, часов в пять, как домашние задания сделаем?

– Могу, – сказала Вера, не спросив зачем.

Вечером Вася всего минутку прошелся в нервном одиночестве мимо белых колонн Дома Ленина… Простота, с какой согласилась Вера, заронила в нем сомнение: неужели она подумала, что он позвал ее для разговора о делах или об учебе?.. Всего минута и была у него для сомнений. Вера, так же, как и он, привыкла жить по точному школьному звонку и по четкой комсомольской дисциплине.

Они пошли рядом, касаясь друг друга плечами в толстых зимних пальто. Вася смотрел под ноги, робко наслаждаясь тем, что вот они идут рядом не просто попутно из школы, а потому, что он позвал Веру и Вера пришла. Одолевая последнюю робость, он сказал сдавленно:

– Ты мне снишься.

Вера помолчала, заставив его несколько секунд перестрадать бог знает что… Может быть, это называется слепое страдание?..

– Ты мне тоже, – тихо сказала она.

Они шли совсем другие, зная теперь о своей принадлежности друг другу. Вася мог взять Веру под руку, мог поцеловать ее, чего еще не делал ни с кем.

– Я тебя провожу до дому…

Вера интимно улыбнулась:

– Еще бы теперь ты не проводил меня!

Немного позже, по обычному пути, каким возвращался из школы, Вася шел домой богатый, ликующий, совсем не тот сиротливый мальчик, которого не различишь на переменах в толпе. И удивлялся, как недоступное легко оказалось доступным, таким своим, может быть, давно принадлежавшим ему!

ПРАВДИВЫЙ ПОРТРЕТ ВРЕМЕНИ

(Владимир Константинович Сапожников)

Прозаик Владимир Константинович Сапожников родился 9 мая 1922 года в селе Клочки Ребрихинского района Алтайского края, в крестьянской семье.

В коллективизацию его родителей раскулачили и выслали на сибирский Север. И в шесть лет В. Сапожников вынужден был расстаться с родной деревней навсегда. Большая часть его детства и юность прошли на окраине Сталинска (нынешний Новокузнецк). Оставшись один, чуть не умер от тифа. А однажды едва не замерз в нетопленой землянке. После возвращения из ссылки матери он сумел окончить среднюю школу и поступить в Тюменский педагогический институт. В Великую Отечественную войну воевал в составе 4-го Кубанского кавалерийского корпуса. В послевоенные годы работал в геологических партиях, мотористом-рулевым на енисейских судах, рыбаком на Байкале, комбайнером в Хакасии, учительствовал, был журналистом.

В 1955 году В. Сапожников дебютировал в журнале «Сибирские огни» с «Рассказами старшины Арбузова». Под тем же названием в 1957 году вышла и первая книга В. Сапожникова. Всего же им издано около 40 книг прозы, выходивших в Новосибирске, Перми Москве. Публиковался в журналах «Знамя, «Новый мир», «Октябрь», «Наш современник», «Север». Произведения В. Сапожникова переведены на английский, немецкий, финский, венгерский, японский языки. Член Союза писателей СССР. Лауреат премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского.

Почетный житель г. Новосибирска.

Умер 18 февраля 1998 года в Новосибирске.

Если задаться вопросом, о чем стремился в своих рассказах, повестях и романах поведать читателям В. Сапожников, то можно ответить его же словами – «о жизни, как она есть», чтобы «в меру сил написать правдивый портрет Времени». Все в прозе В. Сапожникова движется в едином потоке бытия: добро и зло, любовь и эгоизм, человек и природа, прошлое и настоящее… Но как человек и художник беззаветно поклонялся он любви, доброте и красоте. О них писатель вместе со своими героями много размышляет и спорит в своих произведениях. Он был твердо убежден, что бездушная материя космоса и то, что называем мы цивилизацией, не стоят «строки поэта, трели соловьиной», а «любовь и есть», говоря словами одного из его персонажей, «магнетизм и гравитация, притягивающие все живое и живущее.

Начинал свой творческий путь В. Сапожников с рассказов о войне, в которых с большой художественной силой он сумел передать страшный ее лик. Но со временем его диапазон постоянно расширялся, писатель поднимал все новые темы и проблемы. Самой близкой, важной и болевой из них была для В. Сапожникова проблема взаимоотношений природы и человека, которые, с горечью констатирует он, с развитием цивилизации все больше дисгармонизируются. Природа и человек в центре многих произведений В. Сапожникова («Плачут глухари», «Без лицензии», «Повесть о последней охоте», «Дорога на Коён» и др.).

В. Сапожников – талант яркий, многогранный. И всегда был он не только художником большой изобразительной силы, но и писателем остросоциальным, чутко улавливающим общественные настроения. Особенно хорошо это видно по книге «Распятие с бриллиантами», где В. Сапожников ставит читателей перед острейшими вопросами нашего бытия на исходе двадцатого столетия. А в произведениях последних лет своей жизни, продолжая писать о «жизни, как она есть», только теперь уже в рыночно-базарном ее оформлении, В. Сапожников мучительно искал ответ на заданный еще В. Шукшиным сакраментальный вопрос «что с нами происходит»?

В. Сапожников прожил большую жизнь. Не все задуманное им успело воплотиться. Но и то, что успело, настолько интересно и талантливо, что, делает этого писателя одной из самых значительных фигур российской словесности второй половины XX века.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги В. Сапожникова:

Повести и рассказы. – Новосибирск, 1982.
Тяга земная. Повести и рассказы. – М., 1983.
Сергей Никонов. Роман. – М., 1988.

Распятие с бриллиантами. Роман. – Новосибирск, 1990.
Дом глухой кукушки. Рассказы. – 1996.

О В. Сапожникове:

Шапошников В. Владимир Сапожников (Литературный портрет). – Новосибирск, 1982.
Горшенин А. О жизни, как она есть. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Владимир САПОЖНИКОВ

ТЕНЬ КАПИТАНА БЕЛЛИНГА

Рассказ

1

Он открыл глаза и на углу шифоньера увидел плюшевого попугая, похожего в сумерках на жирную запятую. Просыпаясь, он всегда видел этого попугая, неизвестно когда и кем поставленного на шифоньер. Он вдруг вспомнил, что вчера зашел к соседу, хотя делать этого вовсе не следовало, сели за пульку, и опять он проиграл два с полтиной. Было досадно, что выиграл опять майор Лозовой, мужчина лысый и хамоватый. Почему, черт побери, везет нахалам?

Чернов взглянул на часы – без четверти восемь – и вспомнил, во сне его что-то беспокойно толкнуло, разбудив на десять минут раньше. Ну да, приказ из штаба округа. Дежурный офицер приехал в роту, отвел его в сторону и дал расписаться в книге, где была лишь одна фраза: «Капитану Чернову явиться в 9.00 для получения задания».

Он вытащил руку из-под головы жены, включил свет. Она не открыла глаз. «Спит, как кошка», – подумал он и повернул лампу, чтобы свет не падал ей в лицо.

Обуваясь, он сердился на сапоги, на вчерашний проигрыш, на жену, потому что она женщина и ей можно спать, а ему топать на службу. И ни черта непонятно, что означает этот вызов в штаб. Турнут куда-нибудь на неделю, а то и месяц, пошлют именно его, капитана Чернова, а никак не майора Лозового. Капитан Чернов потащится с ротой к чертям на куличики, а Лозовой каждый вечер

будет слоняться по Дому офицеров и рассказывать анекдоты офицерам штаба.

Он положил в портсигар папиросы, осторожно защелкнул его.

– Картошку разогреть? – спросила жена.

– Спи, сам разогрею.

– Ты сердишься, Колик?

– Нет. С чего ты взяла?

– Мне показалось… Почему ты сегодня… не ворчишь?

– Ну ладно, буду ворчать. Только мне некогда. Спи. Ухожу.

– Картошка в синей кастрюле. Поцелуй и потуши свет.

Поцеловать? Пожалуйста! Свет? Ради бога! От губ жены всегда оставался запах спелого яблока, и он помнил его целый день. Даже если ссорились и она говорила: «Ты так и уйдешь?» Он сердито целовал ее и все равно на губах оставался запах яблока. «Со старухой мне повезло, – самодовольно думал он. – Добрый человечек».

– Ну, привет, Нинок, Тоньку я разбужу. – Он остановился у двери и добавил: – Может, вернусь сегодня пораньше. Прошу это учесть.

– Учту. За пивом схожу. Кое-что у нас уже есть.

– Что? Не секрет?

– Секрет. Три больших воблы.

Он брился, в ванной, курил и кашлял, и, кашляя, размышлял о всякой всячине. Жена запрещала курить натощак, и потому сигарету приходилось прятать в футляре для зубной щетки. Он не переносил, когда она огорчалась и смотрела на него обиженными глазами. «Спит и ничего не знает, – подумал он. – Кому же все-таки понадобился я в штабе?»

Когда он побрился, было пятнадцать минут девятого. Он знал это, не глядя на часы, и следующим было Тонькино время. Когда-то она спала в маленькой кроватке, и утром, уходя на службу, он проверял пеленки, матрасик и все прочее: Тонька была ростом с кувшин. Когда он вернулся с фронта, Тонька пошла в школу, и у него появилась новая обязанность – утренняя побудка дочери.

Семь лет назад эта побудка выглядела так. Он входил в столовую, зажигал свет и топал сапогами. Тонька не просыпалась. Тогда он зычно, как на плацу, командовал:

– Подъем, рота!

«Рота» ныряла под одеяло, начиналась возня, поиски чулок, бантиков, резинок, ботинок – десять минут сплошного визга, хохота, слез и поцелуев.

Потом незаметно его отключили от участия в утреннем одевании. Кому-то, видите, стало неудобно, и нашли нужным отказаться от его бескорыстных услуг. Он обиделся и с трудом сообразил, что Тонька растет. Не нравилась уже школьная форма, появились уже какие-то кокетливые кофточки с рюшками, и вдруг оказалось, что коса и ленточки – ужасно старомодно. Однажды пришли два серьезных парня в куртках с молниями, и Тонька заявила: «Папа, я иду в кино». Он хотел, было, выпроводить парней за дверь, но почему-то промолчал. И Тонькина мать тоже промолчала.

Теперь от прежней церемонии утренней побудки осталась только команда: – Подъем, рота! – после чего он выходил, и они беседовали через дверь об учителях и отметках, кинофильмах и других вещах.

Он повернул выключатель. Тонька не проснулась. Капитан Чернов любил смотреть на дочь, когда она спала. Губастая. Нос картошкой. «Твой нос, Колик». Глаза закрыты, но они чистые, ясные. «Твои глаза, Колик».

На спинке стула висела розовая вещица с пуговками. Сначала он не понял, какое отношение она имеет к Тоньке. А потом понял и посмотрел на нее растерянный. Совсем недавно она, если бралась есть самостоятельно, то пачкалась от живота до макушки. И вот Тонька – уже девушка, а ему почти сорок. И после войны уже почти десять лет…

Когда ему было, как Тоньке, четырнадцать, он мечтал сделаться адмиралом. Он помнил, как рисовался ему в ту пору синий океан и блестящий рупор, в который подаются морские команды. Море он увидел много лет спустя, настоящее, огромное, и оно показалось ему ненадежным и даже скучным. А в четырнадцать лет оно было прекрасно!.. Ах, черт, как летит жизнь! Давно ли было детство, юность, а сейчас тридцать семь, почти сорок… Почти сорок, а он всего лишь капитан, и у него кашель по утрам и появилась глупая страсть к пульке, а товарищи, посмеиваясь, величают его маршалом…

Впрочем, он был оптимистом. Сорок – прекрасный возраст. А адмиралы – ведь их не так много требуется. И Тонька молодец, что выросла…

Он на цыпочках вышел из комнаты и, постучав в дверь, сказал:

– Вставай, дочка, я ухожу.

– Да, папа. Я сейчас. Доброе утро, папа.

Голос сонный, совсем детский, она чуть картавит спросонья. Босые пятки стукнули о пол, затопали к двери.

– Папочка… – В щелку просунулось розовое заспанное лицо. – Нам нужно поговорить. Знаешь что… Купи мне, пожалуйста, чулки, только не такие, а тонюсенькие, как у мамы.

– Гм… тонюсенькие!.. А тебе не рано?

– Нет, папочка, не рано. Всем уже купили. Ты обещаешь?

– Надо подумать.

– Ага, подумай. Возвращайся скорее с работы, вместе сходим. В универмаге на площади есть мой размер. Ты скоро вернешься?

– Скоро.

– Наклонись. Что-то скажу.

– Тонька дышит ему в ухо, от нее пахнет теплом, и она шепчет:

– Я очень люблю тебя, папочка.

– Ну, ну! Без подхалимства, – сердится он. – Не опоздай в школу. Картошку и кофе я разогрел.

Он вышел на улицу и взглянул на часы: до 9.00 оставалось двадцать минут. По тротуарам текла толпа – люди в телогрейках и пальто, фуражках и шляпах, ошалело бежал паренек в серенькой кепочке. Озабоченный папа толкал колясочку, и сонный младенец сосал пустышку с колечком. Сновали автобусы, тяжело катились трамваи, набитые рабочим людом. Чернов любил этот час в городе с торопливой утренней толпой и тенями на бульваре.

Он ничего не сказал жене, хотя знал, что она о чем-то догадывается. Она всегда решительно обо всем догадывается и умеет промолчать, когда это нужно. Собственно, о задании он и сам мог лишь гадать.

Приказ подписал генерал, значит, что-то важное. В этом нет никакого сомнения, и коли так… есть предположение, что там, наверху, вас, капитан Чернов, считают неплохим сапером. Старых саперов, видавших виды, осталось не так уж много. «…И потому, товарищ Чернов, мы посылаем вас… Задание, как видите, ответственное, а вы, как фронтовик… И можете считать, что после него в офицерском корпусе Вооруженных Сил одним майором станет больше...» Майором? Майор Чернов – звучит неплохо.

О майорской звездочке он мечтал давно. И жена тоже. Но он всегда говорил ей: «Не твое дело». Капитан Чернов не чинодрал, и командованию лучше знать, когда присваивать офицеру очередное звание. Но вернуться с задания и небрежно бросить, что получил благодарность, всегда приятно, весело, черт побери! Его успехам в маленькой квартирке на пятом этаже умели радоваться.

Честно говоря, капитан Чернов любил иногда выломиться из привычной жизни, мотаться с ротой по ночным дорогам и отчаянной скучать по жене и Тоньке, а вернувшись, валясь от усталости, постучать в знакомую дверь. Дома его возвращения ждут. Тонька с визгом кидается на шею, а Нина сердится и ворчит: «А мы уж думали... Ночи не спали. Тонька, бесстыдница, отпусти отца».

И глаза у нее веселые, и кожа пахнет у нее, черт, – хорошо пахнет кожа у Тонькиной матери!

Он шел в утренней толпе и чувствовал себя еще окруженным теплом того маленького, бесконечно дорогого мира, где капитана Чернова считали самым лучшим человеком, где ему прощали увлечение пулькой, ругали, если он курил натощак, и где, как ему казалось, его боялись пуще огня, потому что он был мужчина и глава семьи.

Он заглядывал в лица прохожих, ища знакомых офицеров поздороваться. Зачем же его вызывали? Что-то, видно, было все-таки необычное, даже предположить трудно – что, коли вызывали к самому «старику». Генерал – хороший человек, но он не так-то часто приглашал к себе в кабинет рядовых офицеров.

Денек был желтый, ясный, тополь уже загорелся. От дыхания шел пар, будто все прохожие курили. Капитан Чернов прислушался: где-то била синица. В такой денек хорошо сходить на болото, послушать, как трещат в рябиннике дрозды.

2

На столе перед генералом – карта, толстый карандаш застыл в руке с набухшими жилами.

– …Так вот, капитан, в этом городе обнаружена бомба. Старая бомба, заложенная еще в 1942 году. Вес бомбы – одна тонна. Взрыватель неизвестной конструкции установлен в корпусе. Возможно, это «И-Федер-504».

Китель плотно облегал массивную фигуру генерала. Воротничок резал морщинистую шею, сквозь седые волосы просвечивал тяжелый угловатый череп.

– Бомба под зданием школы, – говорил он. – Видимо, рассчитывали, что в школе будут располагаться наши подразделения. Может быть, госпиталь. Или штаб. Город я выселил. Город небольшой, пришлось выселить полностью. Ты ведь работал с авиабомбами?

– Так точно, товарищ генерал!

Окно генеральского кабинета открыто, и в саду тоненько била молодая синица:

– Цвинь! Цвинь»

Чернов услышал привычный звон в ушах. Тоненький, извилистый звук, похожий на звук отрикошетившей пули. Он всегда слышал этот звон, но старался не помнить о нем и уже привык к нему, потому что в ушах гудело много лет – память о старой контузии.

Чернов сделал усилие, чтобы не отвлекаться. Генерал говорил медленно, как бы размышляя про себя.

– Думал, кого послать? Свеженького лейтенанта ненадежно. Душа у него непуганая, дерзкая. О подвиге замечтает, «на ура» кинется, потому что не видел, чего стоили подвиги. А ты видел.

Синичка прыгнула на подоконник, где в блюдечке было насыпано конопляное семя, чивикнула, словно прося разрешения.

– Гляди, сынок. Соображай сам. Не спеши. Ты там один. Не буду скрывать – несработавший взрыватель, старая бомба… Я тебя на работу посылаю, а не на подвиг.

На левом виске генерала был шрам, и глаза слегка косили. В окне качалась еще не облетевшая ветка рябины с кистью пурпурных ягод.

– Я сам осмотрел дорогу, по которой придется вывозить. Дорога в порядке. А теперь слушай. Это не совет, а приказ: никакого риска. Если возникнут сомнения – взорви бомбу на машине.

Он помолчал, задумчиво глядя в раскрытое окно, откуда слабо доносился шум города.

– Что я тебе еще скажу… Пробовали разыскать людей, которые ставили бомбу. Ворошили документы, звонили. Последним через город отступал генерал Брейгер. Говорят, живой еще. Но какой от него толк?.. Пытались разыскать саперного начальника, но он погиб. Установлено точно: убит в сорок пятом где-то в Чехословакии. Фамилия известна. Обер-лейтенант Франц Беллинг.

– Франц Беллинг? – переспросил Чернов.

– Да, обер-лейтенант Беллинг. Но он убит. С мертвым не наговоришь. Ты что молчишь?

– Никак нет, товарищ генерал. – Чернов выпрямился, твердо глядя в старческие, слегка косившие глаза генерала.

– Кавалер трех Железных крестов, этот Беллинг. Прошу не забывать. Наверное, он и ставил. Ты помнишь их взрыватели?

– Так точно, товарищ генерал.

– Может быть, и в этом нет ничего особенного? Как ты думаешь?

– Может быть, товарищ генерал.

Чернов выехал рано. Косая машинная тень мчалась по утренней, росной дороге. Он сам сидел за рулем, ветер рвался в боковое окно, серая холстина дороги рассекала поля зеленой озими, желтые перелески.

…Не обер-лейтенант, а капитан Беллинг. Командир роты саперов, кавалер трех Железных крестов. Впрочем, тогда он был еще, видимо, обер-лейтенантом, а капитаном Беллингом стал позже…

В кузове пели солдаты – Егоров, Тисленко и Колпаков. Вдоль шоссе пылала осень, пахло примороженными травами.

Ночью завершились подготовительные работы, и час назад Чернов построил роту и спросил охотников на разминирование. Все оказались охотниками. Старшина-сверхсрочник Гусев, у которого недавно родился третий, помешкал, но шагнул тоже в строй.

– Тебе, старшина, придется остаться, – сказал ему Чернов. – Белье поменяешь – завтра баня.

Старшина сделал два шага назад. Он надежный минер, но у него третий родился, Витька. Тонька подарила желтого медвежонка этому Витьке и сказала про него: «Тяжелый, как утюг».

– Ну, охотников много, – сердясь, сказал он. – Придется выбирать.

Он прошел вдоль строя. Молодые парни, чьи-то сыновья. Глаза следят за ним, и, уже зная, кого возьмет, он медленно идет вдоль плотной шеренги. Солдаты. Его солдаты. Кого-то любят. Кто-то любит их.

А тех, кто был с ним *тогда*, никого нет. Лежат в земле от Волги до Праги, где настигла смерть. Только старшину Гусева он и знает. Но у старшины третий родился. Они поглядели друг другу в глаза и поняли, что ему лучше остаться. Располнел старшина, ремень на последней дырочке.

– Егоров, шаг вперед!

У Егорова терпеливые, точные пальцы минера. Играет на гитаре. Он похож на Мишу Зябликова, который погиб под Дебреценом.

– Готовься, – сказал он. – Ты чего улыбаешься?

Он сердился потому, что все вышли в охотники, как на танцы, а в бомбе сотни килограммов тротила. Когда рвется такая бомба, дома падают кучами мертвого кирпича и в воронке выступает ржавая вода. Бомба разметала бы в одно мгновение всю роту. Его роту. Мальчишки улыбаются, потому что не знают, как рвутся бомбы.

– Тысленко, шаг вперед!

Он и сам не знал, почему выбрал Тисленко, – это был тихий, незаметный солдат, и сам признавался, что боится мин. И все-таки выбрал его, наверное, потому, что больше всего доверял людям неярким, невидным. Как опытный минер, он любил людей осторожных.

Кроме Егорова и Тисленко, он взял силача Колпакова. Он взял бы и старшину, но его Витька едва ползать начал. Парнишка крепкий такой, толстый. Чернов всегда любил маленьких…

Машина, качаясь на рессорах, мчалась по шоссе, в ветровое стекло ударялись какие-то жучки. Он не сказал о Беллинге ни ге-

нералу, ни старшине Гусеву. Беллинга Чернов знал с весны 1943 года. В небольшом городке под Краснодаром Федя Гринев разминировал элеватор и «подловился» на какой-то хитрой ловушке. На внутренней стороне свалившейся башни был нарисован леопард с оскаленной мордой и подпись по-немецки: «Беллинг».

От Феди и ребят его взвода нашли только чью-то пилотку.

Потом Чернов разминировал мост, обшарил его вдоль и поперек и, наконец, нашел связку мин, искусно спрятанную между быками. На крышке верхней мины опять был изображен леопард и русские слова: «Эй, ухнем» – капитан Беллинг шутил.

Их части шли по одним местам, и ему везде приходилось идти по следам Беллинга. Он видел его работу: изувеченные вокзалы, взорванные здания, разбросанные на куски мосты. Иногда Беллинг рисовал леопарда, иногда ставил кресты и подпись. Сначала один крест, потом два, а в последнее время – три. Чернов догадался, что это изображение Железных крестов, которыми его награждали.

Он хорошо знал его почерк, и это был тонкий почерк саперного аса. У Чернова не раз выступал холодный пот, когда он в последний момент обнаруживал мину в самом неожиданном месте, где-нибудь под половицей в доме, под небрежно брошенной пачкой сигарет, хитрую мину – «шпринг» под ножкой стола, на котором стояла выпивка. «Спокойно работает», – говорил себе Чернов. Это у них называлось «делать трупы». Он даже знал, как это говорится по-немецки, но теперь забыл. Слова забывались.

В Румынии Беллинг уже не ставил своих меток, ни крестов, ни леопардов. Но Чернов всюду узнавал его работу: разрушенные, исковерканные улицы городов и трупы, трупы… Разминируя кинотеатр в пограничном румынском городке, Чернов сам чуть не подловился, спас счастливый случай: не сработал взрыватель. Но взрыватели не срабатывают очень редко…

В Венгрии, под Хатваном, ему пришлось разминировать поле, которое было заминировано часа три назад, и он увидел на снегу следы сапог и окурок с проталинкой под пеплом. Чернов заметил: подметка на левом сапоге была прожжена и отстала. Расстояние между ним и Беллингом сокращалось, как будто они сходились все ближе. Чернов по-прежнему шел по следам Беллинга и рисковал один: когда-нибудь, разгадывая очередную ловушку, он мог что-нибудь в ней не понять и совершить свою единственную ошибку.

На подходе к Будапешту он пошел со старым солдатом Пахомовым в разведку, но их обстреляли, а Пахомова убило гранатой. Его самого лишь контузило, он провалялся месяц в госпитале, и с того времени у него стало звенеть в ушах и звенит до сих пор. Он

тоже успел бросить гранату и увидел, как метнулась высокая фигура в плащ-палатке, кто-то закричал. Но Франц Беллинг погиб позже, а не тогда. Он был убит в Чехословакии в сорок пятом. Чернов узнал об этом, думал тогда, что с его смертью навсегда окончен их поединок. Значит, ошибся. Мертвый Беллинг снова вызывал капитана Чернова…

Он остановил машину. Над обрывом толпились крыши села. Сверкала внизу речушка, по мосту шагала рыжая лошадь. Чернов спустился к речке и стал пригоршнями пить воду. Подошли солдаты, тоже напились, потом стали бороться на траве, сопели и смеялись.

На той стороне паслись пегие телята с острыми лопоухими мордочками. Девочка лет шести в материных сапогах и черной юбке, улыбаясь, смотрела из-за куста на солдат.

…Под колесами опять гудела дорога, взвизгивая, проносились встречные машины. Денек весь сиял, проливая на землю синь неба. Как солдаты, шагали через поля стальные опоры. Он гнал машину, и она, кренясь на поворотах, птицей летела по шоссе. От Беллинга остались, наверное, только кости, сквозь которые проросли корни, но еще живым в маленьком русском городке он заложил бомбу, как будто предвидя эту встречу. Ну, что ж, Беллинг, посмотрим, какая твоя последняя шутка…

Шоссе опустело, впереди громоздились толпы домов, открывалась широкая и странно пустая улица.

– Подъезжаем, товарищ капитан. Шлагбаум…

Показалась труба какой-то фабрички, водонапорная башня, городок издали казался чистеньким, уютным. Чернов заглушил мотор. На пригорке стояла церквушка с колокольней и крестами. Ему казалось, от луковиц и крестов над землей идет тишина.

Он вылез из машины, отряхнул дорожную пыль с гимнастерки.

– Ну, значит, приехали, – сказал он. – Егоров, садись за руль.

3

Машина медленно катилась по окраинной улице с низенькими домиками. На шоссе – битое стекло, клочья бумаги. Колесо наехало на глиняную куклу, хрумкнуло. Чернов стоял на крыле и следил за стрелками-указателями.

Дама, плотно закрытые ставнями, как слепые. На перекрестке – круглая афишная тумба, ветер шуршал обрывками реклам, мелькали слова: «Кино», «Премьера», «Большое гулянье». К тумбе прибита стрела-указатель: «Прямо. 1,5 километра».

– Прямо сказал он Егорову.

Окна всех этажей заклеены крест-накрест бумажными полосками. Тянулись вдоль улиц ряды белых крестиков. Казалось, дома открещивались ими от страха. Ветер гнал по пустой площади старую газету. Она развертывалась, кружилась, будто плясала… «Горячие пончики», «Ателье», «Аптека».

Мотор тихо пофыркивал в пустых переулках. В витринах – обнаженные манекены с бессмысленными улыбками на лицах. Манекены стояли в разных позах и, улыбаясь, провожали машину пустыми глазами. На углу улицы – щит с обрывком афиши, к нему прибита стрела: «Левый поворот. 500 метров». На афише – загорелая девушка в купальнике.

– Левый поворот, Егоров, – сказал Чернов.

Старинное здание с колоннами, на шоссе – решетчатая тень чугунной ограды. Старый маленький городок, в котором Чернов никогда не был. Он стоял на крыле машины, все примечал, и ему казалось, что он видел уже этот городок, ходил по покинутым людьми улицам. Черная с белыми лапками кошка сидела на перилах беседки, косясь на гомонивших воробьев. Воробьи взлетели, кошка потянулась и стала скрести о столбик, к которому прибита стрела: «Внимание! Осталось 150 метров!»

Стрела указывала в тихий переулок, обсаженный старыми деревьями.

Он спрыгнул и пошел впереди машины. Вот и ограда из зеленого штакетника. За оградой – кусты сирени. Три ряда школьных окон тоже залеплены бумажными крестиками.

Здесь был Беллинг, и Чернов сразу почувствовал себя, как *тогда*: все примечал и, цепко запоминая, молчал, как *тогда*, Он махнул Егорову, машина тихо вошла во двор, развернулась.

В одно мгновенье он заметил все: вывеску, новый плакат: «Добро пожаловать!» и бумажного голубка, застрявшего между стеной и плакатом.

Он подошел к крыльцу со стертыми каменными ступенями. По обеим сторонам его на бетонных подставках два глобуса. На одном печатными буквами надпись мелом: «Семка дурак». Из неглубокой ямы под глобусом с надписью «Семка дурак» торчало тупое рыло бомбы. Оно было рыжее, лохматое от ржавчины.

Чернов стоял у края ямки и смотрел на бомбу. Он видел такие бомбы *тогда* и знал, как они рвутся. Он не боялся, но его ноги чувствовали близость той страшной силы, которая затаилась в бомбе, и ногам хотелось повернуть и уйти прочь, идти долго и далеко, не останавливаясь. Он стоял и смотрел на бомбу, и кто-то из солдат тепло дышал ему в шею.

– Товарищ капитан, кресты…

Припорошенные ржавчиной, на бомбе виднелись кресты. Он сразу узнал их, и пробежал знакомый холод. Последний раз он видел такие кресты на уцелевшей стенке взорванного ресторана в Ясах, где наши пехотинцы устроили санбат. Он прибыл туда часа через два после взрыва, и под развалинами слышались еще стоны.

– Кресты как кресты, – сказал он.

Кирпичи подставы лежали прямо на корпусе бомбы. Толстенький паучок пристроил к бомбе паутинку, и в петлях ее покачивались трупики мух, завернутые в белую упаковку.

– Можно перекурить с дороги, – сказал Чернов. – У кого «Беломор»?

Колпаков и Егоров закурили, некурящий Тисленко открыл дверь школы. Чернов не приступал к делу, словно ожидал чего-то. Пугало только первое прикосновение к бомбе, а потом руки привыкали и не боялись. Он знал это по опыту и настраивал себя на самое обычное дело;

Разложив инструмент, готовился, внутренне сосредоточиваясь.

Тисленко нашел новенький круглый пенал, погремел им и сказал:

– Якийсь хлопчик загубыв.

И положил его на видное место.

Колпаков обнял глобус, побагровев, снял его и катнул по дорожке. Глобус покатился, гремя материками и океанами.

Чернов сдул ржавчину, и на корпусе бомбы, там, где были кресты, различил швы. Сюда, в это окно, поставлен взрыватель с работающим часовым механизмом. Часы в течение одних суток должны были пустить его, но почему-то не пустили, и взрыватель не сработал. Может быть, бомба могла пролежать еще много лет, никого не тронув. Или взорвалась бы в то время, когда в школе шли уроки. Никто этого не знал.

Минируя серьезные объекты, Беллинг редко ограничивался одной ловушкой, ставил их по две и по три. Не исключено, что и здесь поставлен детонатор – противотанковая мина натяжного или нажимного действия. Или еще какой-нибудь сюрприз с коварным взрывателем. Беллинг делал расчет на все: на усталость внимания, спешку, неопытность, любопытство. Франц Беллинг работал только наверняка, с немецкой педантичной аккуратностью.

Они начали разбирать крыльцо. Тисленко нашел детскую лопаточку, подал капитану, и, соскабливая ею раствор, Чернов подсовывал руку, а потом вынимал из гнезда кирпичи. Затоптанные в штукатурку, попадались исписанные перышки, гвоздики, старые

пистоны. Он тщательно проверял каждую находку: старый пистон мог оказаться головкой взрывателя, а ржавый гвоздик – замаскированной чекой. Как *тогда*, он работал осторожно, строго рассчитывая движения, и, если сомневался, вытирал руки и неторопливо закуривал. Так делал его первый наставник, старый минер Пахомов, который погиб в ночной стычке под Будапештом. Он вспомнил его сейчас. У него было веселое лицо в крупных рябинах, и от него крепко пахло махоркой. Вот кого хотел бы он иметь сейчас советником и руководителем! С ним работалось всегда спокойно. «А может, покурим? – говорил он, садясь на корточки и подмигивая. – Спешить? На тот свет не надо».

Он не спешил и посмеивался, даже если приходилось работать под огнем. «Пуля сапера не тронет», – уверял он всех. Пуля не тронула его. В висок ему впился осколок немецкой гранаты…

Капитан Чернов осторожно ощупывал каждый паз чуткими пальцами минера. Они проникали все ближе к телу бомбы и становились как солдаты-разведчики. Пальцы его говорили. Они говорили: не спеши.

Он и не спешил. Он снял гимнастерку, оставшись в нательной рубахе. Так делал Пахомов. «Свободное тело лучше слышит», – непонятно говорил он. Нет Пахомова. Старого солдата хоронили в чужой земле. Закопали в свежей воронке и не успели поставить ни звезды, ни креста. Сейчас то место заросло, наверное, травой, и никто из живых не вспомнит, где его могила.

Пальцы шептали Чернову: не спеши. Он не спешил. Молчал за его спиной город. Маленький, незнакомый городок, каких много на земле русской, стоял за его спиной и тихо ждал.

Он нащупал проводку, снял с нее кирпич и конец отвел в сторону. Потом вытер лоб и сказал: «Ага, все понятно». Значит, Беллинг поставил мину-детонатор. Чернов отдохнул, потом начал добираться до второго конца проволоки. Он нашел его неожиданно быстро, и конец оказался свободным. Зачем была вложена сюда эта проволока? Может быть, Беллинг усыплял бдительность, а другая будет *та*, настоящая? Он силился разгадать замысел Беллинга и не мог, и спрашивал у разведчиков-пальцев, но они только говорили: не спеши.

Он снял с крыльца несколько рядов кирпичей, и верхняя часть бомбы обнажилась. Чернов много раз прощупал приборами землю, все крыльцо, даже часть стены, но приборы молчали, и это беспокоило его. Где и какую ловушку поставил тут Беллинг? Он помнил все его ловушки, которые разгадал когда-то, но не был уверен, что знал их все, потому что всегда они были разные: Беллинг сам изобретал их, и это было искусство, тонкое и страшное.

Чернов никогда не видел Беллинга, но ему казалось, что он хорошо знает этого человека. Он так часто думал о нем, что в конце концов мог живо представить лицо Беллинга, его голос, походку, даже привычки. Хмурый, молчаливый, он стоял, наверное, там, возле сирени, бросал солдатам короткие слова команды, и они боялись его тяжелого, стального взгляда. Потом, когда работа была окончена, сел в машину и уехал.

Больше он ни разу не вспомнил о школе, об этом городке и о многих людях, которые в одно мгновение превратятся в трупы, в куски черного мяса. А может быть, с расчетливостью убийцы Беллинг прикинул, сколько будет этих трупов – разных: больших и маленьких, трупов детей, женщин, солдат, – русских трупов. Это будничное свое занятие – делать трупы – немецкие саперы называли «лейхен махен». Вспоминались словечки…

Капитан Чернов судил о Беллинге по тем немцам, которых видел на войне. Они были разные, эти люди, но ему запомнились два случая. Однажды ночью, обследуя нейтралку, солдаты его взвода наткнулись на раненого офицера-разведчика. Чернов приказал перевязать его, вынес из-под обстрела, но в штабе немец отказался отвечать и даже не сел, когда ему предложили: брезговал. Он стоял бледный от потерянной крови, потом зашатался и упал. Но не стонал, а только скрипел зубами. Беллинг, думал Чернов, был такой же.

В западной Польше он видел колонну «оппелей» с офицерами штаба одной разбитой дивизии. Офицеры с генералами в головной машине были мертвы: застрелились. Все машины оказались заминированными: кто-то аккуратно исполнил последний приказ генерала.

Щеки генерала были чисто выбриты и даже напудрены. Он сидел в парадной форме при орденах; как будто позировал, и по его лицу ползла большая синяя муха.

Беллинг тоже кончил самоубийством – за неделю до окончания войны. Костя Козырев, взводный Чернова, принес планшетку, снятую с убитого им немецкого офицера, и рассказал, как это случилось. «Какой-то чумной был немец, – удивлялся Костя, – страшный»…

Он разминировал со взводом старую заградительную полосу – дело было в лесу – и вдруг увидел немцев с длинным офицером во главе, в беспорядке шедших прямо на саперов. Поднялась стрельба, немцы в панике заметались. Офицер закричал, пытаясь удержать солдат. Он размахивал пистолетом, что-то командовал, наверное, хотел положить солдат. Офицер был весь на виду, в рваной плащ-палатке, и Костя дал очередь из ручного пулемета. Не-

мец повернулся, поглядел на Костю – Костя утверждал, что они встретились глазами, – но не спрятался, и не побежал и опять стал кричать на солдат, коротко оглядываясь. Он видел, что Костя целился в него. Стоял и глядел, как Костя лег, откинул сошки пулемета, глядел, как Костя ловил его на мушку. Прошитый длинной очередью, он лежал на спине со спокойным окаменевшим лицом.

Судя по найденным в планшете документам, это был капитан Беллинг. Часа через два Чернов разыскал его труп. Франц Беллинг был высокий, светловолосый человек лет тридцати. Грязное, в бороде лицо покрылось уже восковой бледностью, но было спокойно. Тело примяло траву, кругом цвели фиалки, и цветы уже выпрастывали свои головки из-под грязной плащ-палатки. Остекленевшие глаза глядели холодно и пусто.

Чернов не испытывал ни страха, ни злобы – только удивление, что Беллинг был тоже человеком, как все. Взгляд его был устремлен в небо, как будто он равнодушно следит за облаками.

Чернов приказал солдатам вырыть яму. Шла ранняя весна, в лесу куковала кукушка. Когда Беллинга опускали в яму, в его так и не закрывшихся глазах что-то остро сверкнуло, и солдаты торопливо заработали лопатами. Уходя, Чернов дважды оглянулся на рыжий холмик земли. И вдруг почувствовал облегчение, как будто очнулся от кошмара. Беллинг сам стал трупом, и больше ни одному человеку на земле не грозило его страшное искусство. Тогда, в 45-м, Чернов не знал, что будет еще одна встреча…

4

Капитан Чернов обнажил бомбу до перьев стабилизатора, прощупал, профильтровал вокруг землю, но больше ничего не нашел. Они сидели на остатках крыльца, отдыхали. Бомба лежала у их ног, громадная, в мягком ворсе ржавчины; казалось, что это живое существо, вылезшее из земли. Можно было начинать подъем, но Чернов еще раз мысленно прикидывал, все ли сделано. Все еще не приходила уверенность, что нет секретной ловушки, и он невольно оттягивал момент, когда бомбу придется трогать с места. На корпусе были отчетливо видны кресты, намалеванные стойкой краской, не заросшие ржавчиной.

– Колпаков, неси термоса, – сказал он.

– Термоса?

– Да, пора обедать.

Пристроились у радиатора машины. Отвинтили крышки, запахло щами. Тисленко насыпал на газетку соль, нарезал хлеб.

Молча начали хлебать. Чернов отломил кусочек хлеба, подержал его на ладони и сказал:

– Мне оставьте.

Он сел и, пока солдаты ели, отдыхал, ни о чем не думал. Он умел еще отдыхать, как *тогда*, быстро.

Кусты сирени накрыла тень школы. Солдаты молчали, и он чувствовал на себе их ждущие взгляды. Он еще раз обошел бомбу, прибросил на глаз ее ширину и длину и молча кивнул солдатам.

Тисленко и Колпаков просунули под бомбу обернутые полотенцами тросы, зацепили за крюк подъемника. Чернов стал у стабилизатора. Сказал:

– Егоров, бери прибор, слушай. Если заработает часовой механизм… Слушай внимательно!

Он опять кивнул, тросы начали выпрямляться, крошась, посыпались чешуйки ржавчины. Когда бомба шевельнулась, руки, лицо, все тело обдало жаром, казалось, бомба шевельнулась сама, своей силой. Он подождал несколько мгновений, чувствуя, как в руках отдаются удары сердца, потом снова кивнул солдатам. Бомба медленно поплыла вверх. Он кивал солдатам – и она поднималась все выше, на уровень пояса, потом – груди. Потом он видел только широко растопыренные лопасти стабилизатора. Железо было холодное, шершавое, от него веяло сыростью.

– Часы… – спросил он Егоров, – не стучат?

– Нет, товарищ капитан.

Часы не стучали. Он сам взял прибор и услышал звук, похожий на тонкий звук отрикошетившей пули. Но это был звук в его ушах, к которому он привык, и сквозь него слышал все. Часы не пошли. Он махнул рукой – и бомба поплыла над кузовом, покачиваясь в воздухе, похожая на толстую разбухшую рыбину. Потом она опустилась и легла на белых мешках с песком. Когда тросы ослабли, он опять взял прибор, и долго слушал, не веря себе. Гомонили воробьи, плыли в небе облака, в кармане прошуршали спички. Бомба молчала.

Он надел гимнастерку, привычным движением затянулся ремнем.

– Всем оставаться здесь. Ждать. Машину поведу сам.

По инструкции машину должен был вести Егоров. Но Егоров не знал, что такое бомба, которая пролежала в земле много лет. И никогда не знал Беллинга.

– Товарищ капитан…

Он оглянулся. Солдаты кучкой стояли у крыльца. Колпаков рукавом вытирал пот. Егоров неестественно выпрямился. Тисленко часто моргал глазами.

Чернов хотел сказать им что-то еще, но в горле было сухо, и, помолчав, он повторил:

– Ждать сигнала. Пущу зеленую ракету, когда буду на месте. Сразу скорым шагом ко мне. Ясно? Егоров, ты за старшего. Снимем бомбу и взорвем. Разряжать не будем.

Он включил двигатель и, ощущая его ровное биение, с минуту медлил в нерешительности. Выжал сцепление, включил скорость и, положив руки на баранку, стал плавно подавать педаль акселератора. Машина качнулась, двинулись окна школы, в зеркале голубым платком взмахнул кусок неба. Он вывел со двора, повернул и поехал по улице, куда путь был указан стрелками. Шоссе подмели, но с деревьев нападали листья, и он ехал, как по желтому половику.

Улица двигалась, дома уходили назад. Он вел машину на пониженной скорости, мягко опускаясь в выбоины, объезжая камешек, упавшую ветку. Машина шла плавно, без толчков и, казалось, она стоит на месте, а уплывают назад дома, и Чернов успевал разглядеть узоры резьбы на карнизах, цветы на подоконниках, рефлектор, сверкнувший из глубины дома круглым глазом. Во дворах за распахнутыми калитками – колодцы, на балконе – красная детская рубашка.

Дома двигались, как люди в хороводе, взявшись за руки. В волнении он зачем-то начал считать их, сбивался, снова считал, а они уходили назад: старинные, каменные с колоннами и карнизами и с антресолями под крышей, новые, недавно срубленные из свежих бревен, белеющих, как обнаженное тело, – человеческие гнезда, обогревающие людей.

Двигатель работал беззвучно, слышалось под колесами шуршание листьев. Зеленый жучок опустился на ветровое стекло, из-под крохотной тарелочки-панциря торчали концы его крылышек. Лист тополя застрял между стеклом и «дворником», как пропуск. Первый переулок с рябью булыжника, церквушка без куполов с вывеской «Склад», на перилах паперти – красным по белому: «Два километра. Ехать прямо».

– Прямо, – сказал он себе.

Проезжая мимо булочной, Чернов явственно услышал еще не выветрившийся запах хлеба, теплый и спокойный, и вспомнил дом, жену и Тоньку. «Два километра, гуси-лебеди, слышите? Два километра – это двадцать минут дороги. Хорошо, что вы дома и ничего не знаете: зачем вам *это* знать? А всей работы осталось на час, не больше. Снять бомбу, аккуратно приготовить и взорвать. Всего только и осталось на сегодняшний день. Слышите, гуси-лебеди?»

Почерневшие от времени крыши с заползающим на пик хмелем, лавочка под старой акацией. Тюлевые занавески, ставни на окнах, во дворе – пустые качели. На воротах сидит похожая на старуху ворона и провожает машину старыми глазами. «1,5 километра. Левый поворот».

– Левый поворот, – сказал он себе.

Полтора километра – пятнадцать минут: скоро можно будет подать сигнал солдатам. Пока он доедет до места – подойдут они. Снять бомбу, заложить мину-детонатор – поворот машинки – и конец. А потом придет бульдозер и заровняет воронку.

Вдруг ему показалось, он слышит торопливое постукивание: ту-ки, ту-ки, ту-ки, тук… Пауза и опять: ту-ки, ту-ки, ту-ки, тук! У него выступил пот на лбу: пошел часовой механизм. Взрывается! Звук то утихал, то усиливался, делаясь явственней, как бы приближаясь. Спиной, всем телом он услышал всю громадность бомбы, все тысячи ее тупых, беспощадных сил. Он поборол мгновенную слабость, нажал тормоз и, выскочив из машины, кинулся в кузов. Бомба лежала, вдавившись в белые мешки с песком, таращась в небо крыльями стабилизатора. Он схватил прибор, но в волнении никак не мог надеть наушники и, отбросив их, приник ухом к холодному боку бомбы.

На большой рябине в ближнем огороде перекликались дрозды, устраиваясь спать. Издалека доносился сигнал электровоза. Бомба молчала….

Он вытер с лица пот, перемешанный со ржавчиной, и спрыгнул на землю. В кабине бился о стекло ночной мотылек и трещал крыльями.

Бомба молчит. Отказал часовой механизм, а может, испорчена пружина ударника, и он не сработал. Пять улиц позади, больше километра. Все в порядке, гуси-лебеди, ложная тревога. Боковое стекло было открыто, в кабину залетел мотылек и трещал крыльями.

Чернов ехал серединой улицы, и тополя роняли на шоссе листья. Водоразборная колонка, под ней лужица воды, на скамейке – забытое детское ведерко с красными цветочками… Был виден край города, последние дома, за которыми начиналось поле.

Солнце закатывалось. В небе просторно плыли белые облака.

Он увидел табунок уток, торопливо летевших по закату. Табун был далеко, но на белом поддоне большого облака различалась каждая птица, каждый взмах косых крыльев. Табунок постепенно истаивал, меняя очертания. Чернов вспомнил: еще до войны отец брал его на рыбалку – ему было семь лет – они плыли по озеру на

лодке и вдруг увидели станицу лебедей, летевших по заре. Птицы шли прямо на солнце, они с отцом бросили грести и смотрели, пока птицы не растаяли в алом просторе.

Улица кончилась. Последний домишко, переезд, засыпанный гравием, а дальше пыльный проселок, уходящий в подсолнечное поле. Последняя стрелка: «500 метров. Прямо».

– Прямо, – сказал он себе.

Солнце садилось. В низинке трепетала осиновая рощица, в ней уже густела темнота.

На секунду он забыл обо всем: о бомбе, о машине, и смотрел на закат, высокий, прекрасный и радостный. Машина медленно поднималась на пригорок, и все шире открывался простор, все выше делался закат, разгоревшийся в полнеба. На шляпке подсолнуха сидел молоденький скворчик и беззвучно открывал и закрывал клюв. Потом он взмахнул крыльями и полетел, делая круги, поднимаясь все выше и выше.

Последнее, что видел Чернов, был этот скворчик, летевший по закатному небу.

…Солдаты, все еще сидевшие на крыльце школы, увидели черный столб дыма, взметнувшийся над крышами города и заставший небо. Лохматое, клубящееся облако было подсвечено снизу красными сполохами пламени. Потом донесся тяжелый грохот, но дважды прокатился по городу и смолк. На улицах взвихрились опавшие листья, они поднимались вверх, кружились и долго падали на землю.

Несколько дней в подсолнечном поле зияла огромная воронка, потом пришли бульдозеры и заровняли ее. В город вернулись люди, открылись магазины и учреждения, кинотеатры и бани, ясли и рынки. Этой осенью был хороший урожай на арбузы, и рынок ломился от привозных и местных полосатых красавцев, трескавшихся от собственной тучности. Целый месяц в городке пахло арбузами, яблоками, солениями и мочениями. Эта осень была невиданно изобильна на фрукты и овощи.

Про взрыв в подсолнечном поле говорили разное. Будто вел машину молодой солдат, который по неопытности сбился с дороги и упал вместе с машиной в овраг. Другие говорили, что молодой сапер хотел совершить геройство и разрядить бомбу, но ошибся и погиб: ведь саперы ошибаются только один раз в жизни.

Говорили разное, потому что никто не знал ни капитана Чернова, ни Беллинга, ни того, какая это была бомба.

СВОБОДЕН!

Рассказ

Поманили меня с пригорка старые сосны, как не свернуть с лыжни? Вспомнилось деревенское, уличное, петой со слезой и надрывом: «На муромской дорожке стояли три сосны. Со мной прощался милый до будущей весны». Тут, в Подмосковье, на каждой лыжной прогулке вдруг откроется что-то родное, знакомое то ли по строке пушкинской, то ли из букваря по картинке Саврасова.

Как не войти на пригорок, не постоять под каждой сосной, слушая шепот ветра в заснеженной кроне?

Сосен было не три, а пять, одна другой могутнее, царственней. Должно быть, сосны были большими уже в прошлом, пушкинском веке, и тут, на пригорке, в знойный день в их тени отдыхало не одно поколение здешних пахарей и косарей. Те пахари и косари давно ушли, а сосны все стоят, все шумят. Прислонившись щекой к теплому, солнечному боку сосны, я тоже стал слушать лохматый сосновый шум. Копилась в душе грусть от того, что вот и я уйду, а вся эта тихая красота останется и будет жить еще долго-долго…

Пока стоял, слушал, грезил, любуясь, как в низине ловко и хитро навит стожок на три жердины, приспело время возвращаться.

Вон деревенька. Обведенная по косогору пунктиром поскотины, вон лесополоса, вдоль которой протянулась моя обратная лыжня.

А что это мелькает в лесополосе? Что-то белое? Куропатки играют? Похоже, только откуда взяться в Подмосковье птичкам полярным?

Сороки? Но стоял бы гвалт несусветный, если бы длиннохвостые делили нечаянную добычу.

Скатившись с пригорка, шагаю вдоль лесополосы.. Вот он, тот куст таловый, я нарочно приметил его, а где же оно, живое, белое? Ни зверь не выбежал из куста, ни птица не вылетела, я бы заметил.

Свеже натоптано, на сучках клочья кожи, шерсть, бусинки крови. Драка? Или драма кровавая?

Черный глаз следил за каждым моим движением. Я увидел его, потому что глаз мигнул. Длинные уши были повернуты в мою сторону, тоже следили за мной. Зайчик! Живой. Притворился мертвым: авось пройду мимо, не разгляжу белого на белом.

Зачем эта игра в прятки, дружок? К чему понадобилось притворяться мертвым? Опасно играешь: я же, если захочу, могу запросто достать тебя палкой – бежал бы!

Нет, не побежал. Вскочив, рванулся, но что-то железно созвякало. Заяц упал. Он повернулся ко мне другим боком, о Боже! Шкура, сорванная от шеи до хвоста, висела клочьями, белые скобы ребер прикрывала лишь тонкая в сизых жилках пленка. Я видел, как ударяя в ребра, колотится сердце зверька.

Капкан! Как тебя, бедный ты мой, угораздило попасть в лисий капкан?

Правая задняя лапа перебита, из круглого обломка торчит желтая капелька костного мозга, а в капкане, держась на сухожилии, болтается лапа с когтями и пяткой.

Это он, заяц, бился, а мне показалось: птицы играют в лесополосе.

Перегрызть сухожилия – и ты бы ушел. Так делают хищники и уходят на трех ногах. Заяц, превозмогая ударяющую в сердце боль, дергал и дергал цепь, обдирая о ржавые звенья шкуру, развешивая ее по сучьям.

Черный с фиолетовой глубиной глаз смотрел на меня без страха, с угрюмым ожиданием. Это был молодой, но рослый зверек. Сеголеток. Матерый в лисий капкан не попал бы.

Под содранной кожей я видел, как работало сердце. Угадывались под пленкой его очертания, удары были частые, мощные, как в беге, будто заяц все еще бежал, бежал…

ТОГДА я тоже не сразу поверил, что попал в капкан, и во сне видел себя на воле. Я был молодой и тоже невезучий. Оказавшись в зоне, за железными воротами, которые охраняли железные манекены, я стал мечтать о свободе.

Она, свобода, была возможна, если броситься на автоматную очередь железных манекенов.

Я ТОГДА не бросился на автомат, и до сих пор мне кажется, я так не вырвался из своего капкана. У тебя, дружок, болит тело, у меня – душа.

Что ты ждешь от меня? Смерти? Свободы? Где тебе знать, что люди не одинаковы и не все твои враги.

Давай подумаем, что можно сделать для тебя? Я могу, разжав капкан, освободить покалеченную ногу. Ты побежишь на трех ногах, а болтающаяся на сухожилиях лапа будет цепляться за кусты, за пеньки. Где-то захлестнувшись, она снова поймает тебя, и ты опять пленник.

А теперь глянь на верхушку старого тополя. Видишь тех, черных? Сейчас их двое, а будет целая туча. Они все видят, и, когда я освобожу тебя и ты побежишь открытым полем, они полетят и закружат над тобой, стремительно снижаясь.

Нет, не убежать тебе от них, не даст покалеченная нога. По законам милосердия леса ты должен стать их, воронья, добычей. Я понимаю: ты молод, силен, с милосердием леса не согласен. У меня есть нож, я перережу сухожилия – и ты свободен. Это мое, человека, милосердие, собрата по несчастию.

Не велик подарок – свобода на трех ногах, почти с обнаженным сердцем, но – свобода! Если ты уверен, что свобода лучше смерти, – беги! Но бойся неба, воронья бойся. Совы, которая может пасть сверху, неведомо откуда взявшись. Родной земли тоже бойся: тебя на трех ногах догонит колонок-малышка, даже хорек вонючий. А лиса, твой извечный враг? А бродячая собака?

Боже, как много врагов у тебя! И каждая колючка – враг, вспорет цепью оборванный бок, – таково для слабого милосердие земли и неба!

Я не успел ТОГДА в своем капкане отупеть до маразма амебы, я мог еще мечтать и мечтал о свободе. Нет, не о той, что за железной дверью, охраняемой железными манекенами. В эту свободу я не верил, я ее боялся. Я мечтал о свободе, которая начинается ПОТОМ. Я думал тогда, что смерть – окончание лишь первого акта жизни. Капканного. И сразу же начинается второй, в котором будет речка, сверкающая под закатным солнцем, дождик с радугой и огромные белые облака, громоздящиеся над темным бором.

Я верил, хотя умные люди говорили, не бывает второго акта. За невидимой чертой лишь мрак. И нет даже мрака, ничего.

Я не знаю, что там будет, но тем умным людям я не верю. И до сих пор мне снятся громадные облака над бором, что я видел в капканных грезах из того второго акта, что начинается потом, за чертой…

Заяц сидел смирно и строго смотрел на меня своим фиолетовым глазом. Это было ледяное пламя ненависти. Я человек, хотелось мне сказать ему, но не тот, который приговорил тебя. Я его не знаю, как не знаю тех, кто приговорил к капкану меня. Я хочу, чтобы ты поверил: я не враг, а друг, я бы хотел сделать все для тебы возможное.

Там был у меня друг, я просил его ударить меня по голове ломом, потому что истощенный голодом, я не в силах был броситься на автомат. Меня изуродовали бы, изорвали собаки.

Я сумею тебе помочь, я подарю тебе свобюоду. Ту, которая за чертой. Это в моих силах. Вот лыжная палка с шипом на конце. Я не промахнусь – и ты свободен. Закончится первый акт твоего бытия, начнется второй, вечный. И снова ты увидишь спящую реку, услышишь шелест дождя, хмельную горечь молодой травы и, безумствуя, будешь носиться по лугу, кричать и бесноваться в любовных играх.

Капкан – это навсегда, я знаю. Моя цепь, мой капкан исчезнут лишь в тот момент, когда я буду свободен. Совсем свободен. Навеки свободен.

Ты хочешь быть свободным. Я помогу тебе. Я не Бог, а человек, и могу лишь человеческое.

Заяц следил за каждым моим движением, но уши его уловили посвист крыльев вороны, летевшей мимо. Чтобы разгядеть, что происходит в лесополосе, ворона сделала над нами круг и тяжело плюхнулась на тополь. Теперь на старом, полузасохшем дереве их, черных, трое, и я решился.

И заяц сразу же закричал. Я еще ничего не сделал: не шагнул, не поднял палку, но заяц, будто догадавшись о моем решнии, закричал долгим пронзительным криком.

Это был крик, полный отчаяния и ненависти. Он догадался? Как? По моим глазам?

Меня обдало холодно: неужели заяц увидел ЭТО в моих глзах? И закричал, как только в них возник образ МОЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО милосердия?

У тебя тоже есть душа, бедный ты мой?! И, наверное, более зрячая, чем у нас, людей…

Ты хочешь жить и после капкана. Инвалидом, парией, приговоренным, но – жить. Еще хоть день, минуту. Может быть, еще одну весну. Ради краткого мига жизни ты рвался из железных челюстей ловушки – вся цепь облеплена твой кровью, клочьями шкуры.

Я не рвался, мой капкан был яма. Оттуда выходили на свободу лишь мертвые. Только она, смерть, обещала свободу. Но случилось чудо. Яма отпустила меня. Манекены открыли железную дверь передо мной живым.

Я буду твоим чудом. Вот нож, я перережу сухожилия – беги. Живи. Неделю, день. Еще одну весну, если повезет.

Но чудо уже совершилось. Капкан не держал ногу зайца. Я увидел: между чклюстями ловушки и культей появилось с ладонь расстояние. Лежала в стороне лапа с когтями и пяткой – сухожилия наконец перетерлись…

ТОГДА со мной случилось похожее. Чудо упало на меня, как с неба, наверное, есть тому какое-то объяснение, я его не знаю.

– Беги, – сказал я. – Ты свободен.

– Иди, – сказали мне тогда.

– Куда?

– Куда хочешь.

Услышав мой голос, заяц встрепенулся. Ждал боли в ноге, удара в сердце. Но не было боли, железо не заскрежетало. Не веря себе, – легкий прыжок… Мир стронулся! Мир сдвинулся! И сразу же огромный, мощный, радостный прыжок, как можно дальше от проклятого места…

Но, взлетев, заяц закувыркался в воздухе, неловко упал, перевернувшись через голову. Не понимая, что происходит, вскочил, новый прыжок – и опять нелепое кувыркание, падение: не держала больная нога. Заяц снова прыгал и падал, поднявшись, отряхивался, разбрасывая клочья шкуры.

– Ты не спеши, – со слезами на глазах говорил я. – Не надо спешить…

Заяц не слышал меня. Трепыхаясь в снегу подстреленной птицей, снова прыгал и падал, бесполезно взмахивая культей с торчащей костью. В какой-то момент ему удавались два-три коротких прыжка, но, забывшись, снова отчаянный мощный прыжок, и снова падение на спину, на больной бок…

– Не спеши, – говорил я.

Начало смеркаться. Заяц держал на густую таловую крепь, хватило бы сил. Вытирая лицо шапкой, я смотрел на вихляющийся бег зверька. На снегу оставался в сумерках глубокий неровный след, будто тащили суковатый пень.

Сделав неудачный прыжок, заяц какое-то время лежал, приходя в себя, отдыхая. Лежал белый на белом, шевелились лишь длинные уши, чутко следившие за небом и землей.

Отдохнув, упорно поднимался и бежал, бежал…

Господи, помоги нам!..

ПОДВИГ ПОЭТА

(Борис Андреевич Богатков)

Борис Андреевич Богатков родился 2 октября 1922 года в селе Балахта Красноярского края (под Ачинском), в семье учителей.

Мать Б. Богаткова умерла, когда ему было 10 лет, и воспитывался он потом у тетки в Новосибирске. Здесь же и школу окончил. В 1940 году Б. Богатков переехал в Москву. Работал проходчиком на строительстве метрополитена и одновременно учился на вечернем отделении Литературного института им. А.М. Горького. С началом Великой Отечественной войны осенью 1941 года Б. Богатков добровольцем ушел на фронт. В 1942-м после тяжелой контузии вернулся в Новосибирск. Писал сатирические стихи для «Окон ТАСС», печатался в местной прессе и упорно добивался возвращения на передовую. В декабре 1942 года Б. Богатков был зачислен в состав 150 Сталинской (позже 22-й Гвардейской Сибирской добровольческой) дивизии. В звании старшего сержанта командовал взводом автоматчиков. В бою за Гнездиловские высоты (у деревни Шилово Смоленской области) Б. Богатков, подняв 11 августа 1943 года под шквальным огнем песней собственного сочинения взвод в атаку, погиб.

Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Имя Б. Богаткова навечно занесено в списки 22-й Гвардейской сибирской дивизии. Его именем так же названы одна из крупнейших улиц, районная библиотека и средняя школа в Новосибирске. В начале улицы Бориса Богаткова, рядом с Новосибирским техническим университетом связи

установлен памятник герою-поэту. А в Омске, на Аллее литераторов (Бульвар Леонида Мартынова) установлен памятный камень шестерым павшим смертью храбрых сибирским поэтам, в числе которых и Б. Богатков.

Стихи Б. Богатков писал со школьных лет. С 1938 года они стали появляться в печати. В том числе и во фронтовой (дивизионная газета «Боевая красноармейская»). Публиковался также в журнале «Сибирские огни». Но ни одной книги при жизни поэт издать не успел. Посмертно стихи Б. Богаткова появлялись в различных коллективных сборниках. А в 1973 году в Новосибирске вышел сборник стихов и писем поэта, воспоминаний о нем под названием «Единственная книга».

На юношеских поэтических опытах Б. Богаткова еще лежит отпечаток книжной романтики, но проступает уже и предчувствие надвигающейся войны, а с ним и начинает вызревать мотив готовности защищать Родину. С тех же пор, когда Б. Богатков надел солдатскую шинель, Родина и война стали главной и единственной темой его творчества, где поэт и гражданин, беззаветно любящий свою страну, слились воедино. Молодой поэт рад ощущать себя одним из бойцов своей великой страны, родным братом воюющих советских солдат.

Подвиг Б. Богаткова позже лег в основу поэмы известного сибирского поэта А. Смердова «Пушкинские горы».

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Б. Богаткова:

Богатков Б. Единственная книга. Стихи, письма, воспоминания. – Новосибирск, 1973.

О Б. Богаткове:

Смердов А. Его искренняя и большая. // А. Смердов. У истоков Сибирианы. – Новосибирск, 1987.

Решетников Л. Подвиг, как закономерность. // Л. Решетников. Встречи. Заметки поэта о литературе и литераторах. – Новосибирск, 1988.

Борис БОГАТКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Сквозь ливень

Мелькнули молнии несколько раз,
Все настойчивей грома удары
Повторяют прохожим приказ:
«Освободить тротуары!»

Старушечка, опуская веки,
Походкой дрожащей
Через улицу спешит к аптеке.
Вошел гражданин в магазин ближайший.

И вот, пробитый каплями первыми,
Красный флаг, что спокойно висел,
Вдруг, как что-то живое, с нервами,
Весь рванулся навстречу грозе.

С шумом на город притихший, серый,
Дробясь об асфальт, уходя в песок,
Дождевые, прозрачные стрелы
Густо льются наискосок.

В футболке, к телу прильнувшей компрессом,
В брюках блестящих, потяжелевших,
Шагаю ливню наперерез я,
Смелой мыслью себя утешив:

Лучше так вот шагать всю жизнь,
Чем, грозу пережидая,
Вслед за теми послушно плестись,
Кто прошел сквозь стрелы дождя

И не видит душою праздною,
Как во всей красоте и силе
Сверкает и свищет полотнище красное,
Омытое ливнем от уличной пыли.

Совершеннолетие

С завистью большой и затаенной,
на отца смотрел я потому,
что наган тяжелый, вороненый
партия доверила ему.

Вечерами зимними при лампе
он рассказывал, как их отряд
атакующей кулацкой банде
указал штыками путь назад.

Как в сугробы падали бандиты,
черной кровью прожигая снег,
как взвивался пулями пробитый красный
флаг над сотней человек.

Как партийцы шли вперед бесстрашно
сквозь свинец и ветер, а потом
зло скрестили в схватке рукопашной
взгляд со взглядом, штык с чужим штыком.

Наизусть я знал рассказ подробный.
Все же каждый вечер мне опять
вдруг казались неправдоподобны
стулья, шкаф, и лампа, и кровать.

Все они куда-то исчезали,
завывала в комнате пурга,
и передо мною проплывали
тучи дыма, флаги и снега…

Вспоминаю с гордостью теперь
про рассказы своего отца.
Самому мне родина доверит
славное орудие бойца.

Встану я, решительный и зоркий,
на родном советском рубеже
с кимовским значком на гимнастерке,
с легкою винтовкою в руке.

И откуда враг бы ни явился –
с суши, с моря или с вышины,
будут счастья нашего границы
от него везде защищены.

Наши танки ринутся рядами,
эскадрильи небо истемнят,
грозными спокойными штыками
мы врагу укажем путь назад.

Повестка

Все с утра идет чредой обычной.
Будничный, осенний день столичный –
Славный день упорного труда.
Шум троллейбусов, звонки трамваев,
Зов гудков доносится с окраин,
Торопливы толпы, как всегда,
Но сегодня и прохожим в лица,
И на здания родной столицы
С чувствами особыми гляжу,
А бойцов дарю улыбкой братской –
Я последний раз в одежде штатской
Под военным небом прохожу.

Наконец-то!

Новый чемодан, длиной в полметра,
Кружка, ложка, ножик котелок…
Я заранее припас все это,
Чтоб явиться по повестке в срок.

Как я ждал ее! И, наконец-то,
Вот она, желанная, в руках!..
…Пролетело, прошумело детство
В школах, в пионерских лагерях.

Молодость девичьими руками
Обнимала и ласкала нас,
Молодость холодными штыками
Засверкала на фронтах сейчас.

Молодость за все родное биться
Повела ребят в огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам своим!

* * *

У эшелона обнимемся.
Искренняя и большая,
Солнечные глаза твои
Вдруг затуманит грусть.
До ноготков любимые,
Знакомые руки сжимая,
Повторю на прощанье:
«Милая, я вернусь.
Я должен вернуться, но если…
Если случится такое,
Что не видать мне больше
Суровой родной страны, –
Одна к тебе просьба, подруга:
Сердце свое простое
Отдай честному парню,
Вернувшемуся с войны.

Девять ноль ноль

Война сурова и непроста.
Умри, не оставляя поста,
Если приказ таков.
За ночь морской пехоты отряд
Десять раз отшвырнул назад
Озверелых врагов.
Не жизнью –
патронами дорожа,
Гибли защитники рубежа
От пуль, от осколков мин.
Смолкли винтовки…
И, наконец,
В бою остались: один боец
И пулемет один.

В атаку поднялся очередной
Рассвет. Сразился с ночною мглой.
И отступила мгла.
Тишина грозовая. Вдруг
Моряк услышал негромкий стук.
Недвижны тела.
Но застыла над грудою тел
Рука. Не пот на коже блестел –
Мерцали капли росы.
Мичмана – бравого моряка –
Мертвая скрюченная рука.
На ней живые часы.
Мичман часа четыре назад
На светящийся циферблат
Глянул в последний раз
И прохрипел, пересилив бой:
«Ребята, до девяти ноль-ноль
Держаться. Таков приказ».
Ребята молчат. Ребята лежат.
Они не оставили рубежа.
Напоминая срок
Последнему воину своему,
Мичман часы протянул ему:
– Не подведи, браток!
Дисков достаточно.
С ревом идет,
Блеск штыков выставляя вперед,
Атакующий вал.
Глянул моряк на часы: восьмой,
И пылающей щекой
К автомату припал.
Еще атаку моряк отбил.
Незаметно пробравшись в тыл,
Ползет фашистский солдат.
В щучьих глазах –
Злоба и страх.
Гранаты в руках, гранаты в зубах,
За поясом пару гранат.
И в автоматчика все пять штук
Он их швыряет подряд…. Но вдруг,
Словно самою землею рожден –
Вырос русский моряк большой

С окровавленной рукой.
Быстро зубами белыми он
С последней гранаты сорвал кольцо,
Дерзко крикнул врагу в лицо:
«А, ну-ка, фриц! Взлетим мы что ль,
За компанию до облаков?»
От взрыва застыли стрелки часов
На девяти ноль-ноль.

* * *

…Не просил ли я,
Не молил ли я –
Неизвестно, что впереди, –
Приходи ко мне, моя милая,
Не печаль моя, приходи…
Между долгими, между страстными
Поцелуями, как в бреду,
Встретив взгляд мой очами ясными,
Отвечала она:
– Приду…
Жил с надеждою,
Ждал с тревогою
Свою нежную,
Светлоокую,
Но лишь снег кружил над дорогою,
Над березою одинокою.
Ты, красавица, моя стройная,
Ты скажи мне, береза русская:
Где она, моя беспокойная?
Моя гордая, моя русая?

Праздничный тост в блиндаже

До артподготовки осталось немного:
Тринадцать минут всего.
Комроты промолвил спокойно и строго,
Связного позвав своего:
– Сигнал для атаки запомни, ефрейтор,
Зеленой ракетой подам.

С инструкцией этой быстрее, чем ветер,
Лети у меня по взводам!..

И сгинул ефрейтор, что ветер во поле,
Комроты ж провел по усам:
– А ну, ординарец, расщедрился б, что ли.
Да выдал горючего нам!
Садись, замполит, нам с тобой не впервые
Готовить для боя ребят.
Недаром у нас на груди золотые
Нашивки ранений горят!..
Друзьями усталыми окруженный
(Ох, тяжкая эта война!),
Комроты садится на ящик патронный
И всем наливает вина.
И встав, головой касаясь наката, –
Известен сибирский наш рост! –
Он молвит негромко:
– Подымем, ребята,
За милую родину тост!..

И сблизились, звякнув, помятые кружки,
Железные кружки, и вдруг
Взревели за лесом гневные пушки,
Земля задрожала вокруг…

Перед наступлением

Метров двести – совсем немного –
Отделяют от нас лесок.
Кажется, велика ль дорога?
Лишь один небольшой бросок.
Только знает наша охрана –
Дорога не так близка,
Перед нами «ничья» поляна,
А враги – у того леска.
В нем таятся фашистские дзоты,
Жестким снегом их замело.
Вороненые пулеметы
В нашу сторону смотрят зло.
Магазины свинцом набиты.

Часовой не смыкает глаз.
Страх тая, стерегут бандиты
Степь, захваченную у нас.
За врагами я, парень русский,
Наблюдаю, гневно дыша.
Палец твердо лежит на спуске
Безотказного ППШа.
Впереди – города пустые,
Нераспаханные поля.
Тяжко знать, что моя Россия
От того леска – не моя…
Посмотрю на друзей-гвардейцев:
Брови сдвинули, помрачнев, –
Как и мне, им сжимает сердце
Справедливый, священный гнев.
Поклялись мы, что встанем снова
На родимые рубежи!
И в минуты битвы суровой
Нас, гвардейцев, не устрашит
Ливень пуль, сносящий пилотки,
И оживший немецкий дзот…
Только бы прозвучал короткий,
Долгожданный приказ: «Вперед!»

Возвращение

Пара шагов от стены к окну,
Немного больше в длину –
Ставшая привычной уже
Комнатка на втором этаже.
В нее ты совсем недавно вошел.
Поставил в уголь костыль,

Походный мешок опустил на стол,
Смахнул с подоконника пыль
И присел, растворив окно,
Открылся тебе забытый давно
Мир:
Вверху – голубой простор.
Ниже – зеленый двор.

Поодаль, где огород,
Черемухи куст цветет…

И вспомнил ты вид из другого жилья:
Разбитые блиндажи,
Задымленные поля
Срезанной пулями ржи.
Плохую погоду – солнечный день,
Когда, бросая густую тень,
Хищный «Юнкерс» кружил:
Черный крест на белом кресте,
Свастика на хвосте.
«Юнкерс» камнем стремился вниз
И выходил в пике.
Авиабомб пронзительный визг,
Грохот невдалеке;
Вспомнил ты ощутимый щекой
Холод земли сырой,
Соседа, закрывшего голой рукой
Голову в каске стальной.
Пота и пороха крепкий запах…
Вспомнил ты, как небо закрыв,
Бесформенным зверем на огненных лапах
Вздыбился с ревом взрыв.
…Хорошо познав на войне,
Как срок разлуки тяжел,
Ты из госпиталя к жене
Все-таки не пришел.
И вот ожидаешь ты встречи с ней
В комнатке на этаже втором,
О судьбе и беде своей
Честно сказав письмом.
Ты так поступил, хоть уверен в том,
Что ваша любовь сильна,
Что в комнатку на этаже втором
С улыбкой войдет жена.
И руки, наполненные теплом,
Протянет тебе она.

Песня Сталинской дивизии*

Мы вышли из заводов,
Пришли с полей колхозных
Новосибирской области родной.
Немало получили враги ударов грозных
От Сталинской дивизии стальной.

К Германии проклятой,
Пожарами объятой
Несли мы беспощадные штыки,
Гвардейцы-добровольцы,
Упрямые ребята.

П р и п е в:

Всё, гвардеец, в боях изведай:
Холод, голод, смертельный риск
И героем вернись с победой
В славный город Новосибирск.

Мы движемся на Запад с победными боями,
Назад не отступая ни на шаг.
И славою овеян, колышется над нами
Сибирский боевой гвардейский стяг.

Нас месть ведет в атаку,
И наш порыв неистов.
Он все преграды обращает в пыль.
Чем дальше мы на запад,
Идем, громя фашистов,
Тем ближе к нам родимая Сибирь.

* Словами этой песни Борис Богатков в бою за Гнездиловские высоты поднял свой взвод в атаку.

ПОКА ЖИВА ЛЮБОВЬ МОЯ – РОССИЯ…

(Иван Георгиевич Краснов)

Поэт Иван Георгиевич Краснов родился 24 февраля 1923 года в деревне Висяга (ныне – Крылово) Порецкого района Чувашской АССР.

Окончил педагогическое и военное училища, Литературный институт им. А.М. Горького. Работал учителем русского языка и литературы в школе. Участник Великой Отечественной войны, которую начинал стрелком лыжного полка, пулеметчиком, а заканчивал журналистом дивизионных и армейских газет. Участвовал в освобождении Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. Был награжден орденом «Отечественной войны» I степени и двумя орденами Красной Звезды. После войны работал начальником отдела культуры в окружной газете Сибирского военного округа «Советский воин». Армейскую службу завершил в звании полковника.

Поэтическая деятельность И. Краснова началась в годы войны. Его стихи печатали армейские газеты. Публиковался позже в журналах «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «Советский воин». В 1962 году в Новосибирске увидел свет первый его поэтический сборник «Сиявский бор». И. Краснов – автор более десяти поэтических книг, изданных в Новосибирске, Москве, Чебоксарах. Член Союза писателей СССР.

Умер 3 мая 1997 года в Новосибирске.

Чуваш по национальности, И. Краснов по духу своего творчества навсегда остался сибиряком. Он много писал о жизни сибирского села

и замечательной природе Сибири, которую умел передавать с подлинно песенным лиризмом.

Большое место в творчестве И. Краснова занимает Великая Отечественная война. В изображении ратных будней поэт сочетал героику и пафос с живыми «подробностями войны», солдатского быта, который знал не понаслышке.

Творческий почерк И. Краснова отличали ясность, открытость, конкретность и человечность.

Будучи советским человеком и патриотом, И. Краснов воспевал достижения социалистического строительства, но не забывал при этом и о недостатках, которые обличал во многих своих стихах. Страстный публицистический накал некоторых из них не мешал, однако, оставаться И. Краснову тонким, светлым, добрым жизнелюбивым лириком.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги И. Краснова:

Жажда добра. Стихи. – Новосибирск, 1982.
Будь светел, отчий дом! Стихи. – Новосибирск, 1988.
Рукопожатье. Стихи разных лет. – Новосибирск, 1993.

Об И. Краснове:

Никульков А. Книга о поэтах. – Новосибирск, 1972.

Иван КРАСНОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Возвращение в строй

Роса сверкала россыпью кристальной,
Когда из госпиталя вышел я.
Я шел домой, и запах госпитальный
Уже выветривался из белья.

Я шел домой – на линию огня,
Где заждались дружка однополчане.
И солнце длиннопалыми лучами
Ощупывало бережно меня.

Я людям, птицам и полям был рад,
Меня пьянил акаций аромат,
И небо мне казалось ярче, выше…
Я жизнью наслаждался, как солдат,
Что сквозь огонь из окруженья вышел.

Домой

Мы шли по дорогам,
Изрытым войной.
Европа шепталась
У нас за спиной.

А там, на востоке,
В цветах медуниц,
Нас ждали приметы
Родимых границ.

Такая стояла
Вокруг тишина,
Что думалось нам:
А была ли война?

Нам виделось завтра,
Как сказочный сад.
Но память солдат
Уводила назад, –

К друзьям, что легли
В поединках с бедой
И стынут в холмах
Под фанерной звездой.

О, сколько таких
Оставляли мы звезд
За тысячи верст
От отцовских берез!

Мы шли, не ломая
Испытанный строй.
Европа шепталась
У нас за спиной.

А где-то за Прутом,
Где солнцу вставать,
Ждала нас Россия –
Солдатская мать.

* * *

Ты оружья в руках не носила,
Но была мне опорой в бою.
Мне ль, солдату, не знать твою силу,
Безграничную верность твою.

О, как мло бы стоил я, если
Не шагала б ты рядом со мной.
Ты и я – два крыла в поднебесье,
Два согласных певца одной песни,
Два патрона в обойме одной.

Все, что ляжет на плечи. Мы сдюжим,
Неспроста же про нас говорят,
Что вдвоем на действительной служим,
Что и ты при солдате – солдат!

У старого учителя

Мир сиял, алел и голубел.
И казалось: он такой нарядный
Оттого, что я мундир парадный
Напоказ учителю надел.

Кто из нас о случае таком,
Честно говоря, не грезил с детства?
Я мечтал, в его вступая дом,–
Поскорей до орденов раздеться.

Как я жаждал ослепить его
Солнечным сиянием регалий!
Как терзался втайне оттого,
Что шинель снимать не предлагали!

О, я блеска прятать не хотел.
От смущенья, разрумянясь ярко,
Сам себя торжественно раздел,
Бормоча, что в доме очень жарко.

Пять минут продлился мой парад.
А потом… Потом столбом нелепым
Стыл я у портретов двух солдат,
У портретов с погребальным крепом.

Парни, не пришедшие с войны,
Знавшие бог весть какие бури,
На меня смотрели со стены,
Испытующе глаза прищурив.

Довоенные мои друзья,
Сверстники, учителевы дети…
Как же мог, как смел не вспомнить я,
Что сегодня нету их на свете!

Пусть я в том ничуть не виноват:
Надо мною те же бомбы выли,
И в дивизии не напрокат
Мне созвездье это прицепили…

С той поры, как выйду на парад,
Грусть и боль меня не покидают.
Раньше знал я – ордена звенят.
Нынче слышу – как они рыдают!

Благодарность

Бывало на войне такое,
Что не поверишь налегке.
Однажды вечером из боя
Принес я пулю в вещмешке.

Я пулей той искромсан не был:
Видать, тому не вышел срок.
Она прошла сквозь пайку хлеба
И угодила в котелок.

Спасибо женщинам России
За хлеб, что густо замесили,
И фэзэушникам России
За котелок, что жизнь мне спас.

Они пахали и косили –
Себе поблажек не просили.
Они, выходит, и кормили,
И часто – заслоняли нас.

Ордена

Сердце дрогнуло, словно в нем жилка оборвана:
Это вновь в ее жизнь постучалась война.
Генерал протянул Пелагее Егоровне
Ордена. Ее Степушки ордена.

Три звезды, светом жарких огней осиянные.
Только видят ли их ее очи туманные?
Три баллады о чести. Три вести с войны..
А горошинки слез солоны-солоны.

Благодарна старушка за нежные речи,
Но печаль и тоска остаются при ней.
И безмолвно ее обнимает за плечи
Генерал, потерявший троих сыновей.

Нас еще догоняют осколки

Тридцать лет, от тоски замирая,
Я товарища адрес искал.
Вдруг он сам мне из дальнего края
К дате красной открытку прислал.

Я ни часа не медлил с ответом.
Но сразил меня горя набат:
«Кто писал вам, того уже нету.
Похоронен пять суток назад».

Чуть от этой оправился раны –
Снова никнет моя голова:
Вместо друга, орла-капитана,
На запрос отвечает вдова.

А потом, как пронзительный зуммер,
Третья в уши врывается весть:
«Извините, наш дедушка умер,
Не успев ваших строчек прочесть».

И опять я иду торопливо
На почтамт, чтоб будить города.
Я боюсь затаенного взрыва.
Я боюсь написать в никуда.

Сколько лет, как орудия смолкли.
Но обманчивы дни тишины.
Нас еще догоняют осколки –
Острозубые волки войны.

* * *

В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке – обелиски.

Сибирь, кормившая страну,
Ждала нас, мучась и печалясь.
Из ста ушедших на войну
Всего лишь трое возвращались.

В Сибири не было войны,
Но мы огнем ее задеты,
И наши подвиги верны
На гордом знамени Победы.

В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.

Васильевна

Жаворонки в небе –
Словно бубенцы.
Журавлями строятся
На поле косцы.

Встал я за Васильевной –
Братниной женой:
Ну-ка, мол, поспорь-ка
На косьбе со мной!

Поднял я литовку.
Размахнулся – вжик!
Я ли не колхозник,
Я ли не мужик?

Жму на всю железку.
Шире, шире шаг!
Но, увы, невестку
Не догнать никак.

Пот со лба горохом,
Где набраться сил?
Ксения Васильевна,
Придержи свой пыл!

Ксения Васильевна,
Не позорь меня!..
А она все машет,
Голову склоня.

А она все дальше –
Ну-ка, догони!
К дьяволу сбежал бы
От такой родни.

«То ли это баба, –
Задыхаюсь я, –
То ль надевший юбку
Муромец Илья?»

Наконец прошли мы
Первые ряды.
Я берусь за сердце:
Не было б беды!

А она с улыбочкой
Спрашивает, черт:
– Как тебе понравился
Наш колхозный спорт?

На хлебном поле

Вдоль пшеницы тянулась дорога.
С полустанка – багаж невелик –
В свою роту за сутки до срока
Возвращался солдат-отпускник.

Выбираясь на гребень увала,
Где шумел светлым колосом хлеб,
Он увидел: стоит за штурвалом
Сибирячка семнадцати лет.

Повела она бровкою тонкой
И смущенно потупила взгляд,
Загляделся солдат на девчонку,
Захмелел от восторга солдат.

И теперь для колхоза – не тайна:
Здесь, насколько хватал окоем,
Тот солдат и хозяйка комбайна
Убирали пшеницу вдвоем.

Он простился с девчонкой под вечер,
Похвалив ее хлебный квасок,
И, как песню о будущей встреча,
Взял на память ее адресок.

Шел солдат к полигонному стану
И к державным заботам своим.
Как могучая зыбь океана,
Колебались хлеба перед ним.

Шел солдат, озаренный любовью,
И смотрела служивому вслед,
Поводя запылившейся бровью,
Сибирячка семнадцати лет.

Хлеб

По утрам, чуть свет разгонит тьму,
Входит в дом, как дар деревни русской,
Хлеб, одетый корочкою хрусткой.
Как он дорог сердцу моему!

Вот лежит он горкой на столе –
Белый, ноздреватый, ароматный
И, на чей-то взгляд, почти бесплатный,
Как вода речная на земле.

Только он совсем не даровой.
И не быть крестьянским сыном мне бы,
Если бы за каждым ломтем хлеба
Я не видел подвиг трудовой,
Подвиг ежегодный. Вечный бой…
На селе и первоклашки знают,
Как отцы их от досады злой
В дни страды под тучей дождевой
Губы почерневшие кусают.

Хлебца не напросишься взаймы.
А без хлебца-то, как говорится,
Ни руды достать, ни выткать ситца,
Ни к орбитам звездным приобщиться
Никогда бы не сумели мы.

В час, когда, прилавку подходя,
Опускаете в авоську сдобу,
Поклонитесь – мысленно хотя б,
Пожелайте счастья хлеборобу.

Сельские мадонны

Встав под купол бирюзовый,
Оглядев пустой амвон,
Я увидел чернобровых
И улыбчивых мадонн.

Красотою ликов женских
Храм меня очаровал.
Их с землячек деревенских
Мой братан нарисовал.

Без описок, без помарок,
Не способный на обман,
Огородниц и доярок
Он возвел в святейший сан.

Не умею я молиться,
Но спешу отдать поклон
Милым сельским чаровницам,
Подмигнувшим мне с икон.

Не смущаясь, не горбатясь,
Они смотрят на меня.
И я верую в их святость
Так же, как в сиянье дня.

Пока жива любовь моя – Россия…

Я кошельками никогда не бредил
И за душой сберкнижки не имел.
И потому степенные соседи
Смеются надо мною между дел:
«Видать, мозги у дядьки набекрень.
Хоть грош бы отложил на черный день!»

Их, многомудрых, я не осуждаю.
Я знаю: деньги людям – не враги.
Но к сторожам копеечного рая
Я не ношу в ремонт свои мозги.

Пускай им рубль светилом входит в душу.
А я, ей-ей, с ним расстаюсь без мук.
Я не коплю хрустальных безделушек
И в нафталин не прячу лишних брюк.

Своих богатств не мерю я кубышкой.
Их и компьютер вряд ли б сосчитал.
Земля родная – вот моя сберкнижка.
Лес новостроек – вот мой капитал.

Пока среди людей труда в чести я,
Пока сияет неба голубень,
Пока жива любовь моя – Россия,
Мне, ей-же-ей, не страшен «черный день!»

С ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ

(Леонид Андреевич Чикин)

Поэт и прозаик Леонид Андреевич Чикин родился 13 марта 1927 года в Бийске Алтайского края, в семье служащих.

В 1944 году был призван в ряды Советской Армии. Служил на Дальнем Востоке. В августе 1945 года участвовал в боях против Японии в Маньчжурии. После демобилизации работал инструктором Кочковского райкома КПСС Новосибирской области, затем литературным сотрудником, заместителем редактора газеты «На вахте» Западно-Сибирского речного пароходства, сотрудником редакции журнала «Сибирские огни». Избирался руководителем Новосибирской писательской организации. Был делегатом Учредительного съезда писателей РСФСР. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Литературную деятельность Л. Чикин начал в 1947 году. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Смена», «Октябрь», «Нева», «Урал», «Дальний Восток», в местной и центральной прессе. В 1955 году в Новосибирске у Л. Чикина вышла первая книга «Стихи». Автор поэтических сборников «Соратники» (1960), «Ступень» (1967), «Первопроходцы» (1977), «Время» (1986) и др., а также прозаических книг «Лето первых дорог» (1964), «Дважды два» (1984), изданных в Новосибирске и Москве. Член Союза писателей СССР.

Умер 5 апреля 1994 года в Новосибирске.

Л. Чикин много писал в своих стихах и поэмах о коммунистах и партработе. Но для него это была не просто тема. Родина, КПСС, армия, народ… – все это воспринималось поэтом как нечто глубоко личное, сокровенное и дорогое, без чего его собственная жизнь теряла смысл. Поэт искренне верил в коммунистические идеалы и оставался верен им до конца жизни. Но как подлинный художник Л. Чикин в образах коммунистов стремился показать живых узнаваемых людей из самой гущи народной, из горнила большого настоящего дела.

Впрочем, поэзия его гораздо шире партийной темы. Писал он о военном детстве, солдатах минувшей войны, о тружениках города и села, целинниках и жителях и суровой природе Севера… Известен был Л. Чикин и как переводчик национальных поэтов Сибири.

Поэзия Л. Чикина очень личностна. Поэт в мыслях своих и ощущениях не скрывается за спиной «лирического героя». Напротив, открыто заявляет: «В моих стихах… почти никогда нет так называемого лирического героя. «Я» в стихах – это я в жизни. Приписывать себе чужие мысли и поступки не могу, отдавать свои мысли какому-то «лирическому» герою не хочу».

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Л. Чикина:

Первопроходцы. Стихи. – Новосибирск, 1977.
Время. Стихи, поэмы, переводы. – Новосибирск, 1986.

О Л. Чикине:

Коржев В. Место в строю. // Под высоким накалом эпохи. – Новосибирск, 1984.
Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. Т. 2.

Леонид ЧИКИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

Прямая наводка

Я знаю законы переднего края –
бывает, что пушки вперед выдвигают,
под взрывами вражьих снарядов прицельных
дерутся герои в рубахах нательных.
Уж драться, так драться,

уж биться, так биться
с открытой душою, с открытых позиций.

Прямая наводка – работа отважных,
она против целей особенно важных,
особенно стойких,
особенно крепких…
– Огонь! – блиндажи разлетаются в щепки.
– Огонь! – и пехота врага под картечью.
– Огонь! – и машины пылают, как свечи.

Солдаты… Я славлю их, в буре спокойных…

А мы-то всегда ли их славы достойны?
Случается, мы перед ложью немеем,
на подлость порой отвечать не умеем,
и там, где в открытую надобно биться,
стреляем вслепую, с закрытых позиций.
Зачем рисковать? Из глухого затишья
врага отругаешь, так он не услышит,
и взгляда сурового трус не заметит,
лжеца подлецом назовешь – не ответит,
глупца дураком наречешь – не узнает…

Но есть еще в мире наводка прямая,
но есть еще правды высокое жженье,
но есть еще высшее счастье сраженья:
с открытою грудью,
с открытых позиций,
с открытой душою
в открытую биться.
Открыто стоять
под бушующим шквалом,
прямым
на удар отвечая ударом.

Место в строю

Мне снился сон: стрелковый полк
шагал за перевал.
Мой батальон вперед ушел,
а я один отстал.

Отстал. А полк меня не ждет,
не может он стоять.
Я шаг шагну – он шаг шагнет,
я – пять, он тоже – пять.

Ну что ж, я думал, не беда:
ушел я не с поста…
Но там, где я стоял всегда,
зияет пустота.

Рубеж. И перед взводом пядь
земли родной. И вот
клочок земли, что мне б держать,
на всех разделит взвод.

Взлетит ракета. Без дорог
пойдут солдаты в бой.
И там, где я упасть бы мог,
там упадет другой.

И будет в том моя вина,
что в дальней стороне
заплачет женщина одна
о нем, не обо мне.

Я не хочу, я не могу,
чтоб гибли за меня…
И, спотыкаясь на бегу,
вдруг просыпаюсь я.

А за окном рассвета нить,
как маков цвет, красив.
От света тьму отъединить
торопится она.

Гудит гудок. К своим местам
спешит рабочий класс.
Как разводящий по постам
жизнь расставляет нас.

И я шагаю в ногу с ней,
и поровну делю я с ней
и горе, и успех…
Но то, что надо делать мне,
я не делю на всех.

Самокритика

Я неглупый, находчивый, смелый,
работящий, мне все по плечу,
даже самое трудное дело
проверну, одолею, скручу.

С другом – нежен,
с товарищем – ласков,
непреклонен, железен с врагом,
не ношу равнодушия маску
на лице благородном своем.

Слабых в трудную пору не брошу
и в неравной не струшу борьбе.
И тащу, словно вол, свою ношу…

Что еще вам сказать о себе?

Раболепия нет перед чином,
и зазнайства во мне –
ни на грош…

Вот по этим хорош я причинам.
И еще потому
я хорош,
что не верю,
что где-то и кто-то,
с кем по жизни шагаю одной,
о себе с превеликой охотой
говорит:
я плохой, я дурной!..

* * *

Скажут:
«Какие бури
над нашей прошли планетой!»
Вспомнят:
«Какие люди
жили на этой земле!»

А жили простые люди,
влюбленные в краски рассвета,
сердца их огнем горели –
не тлели в серой золе.

И шли она, эти люди,
сердца от вихрей не пряча,
от штормов и ураганов
тех легендарных дней.
А ветер огонь раздувает.
Коль буря грознее,
значит,
сердца их горели ярче,
жарче,
верней,
сильней.

Воспоминания о детстве

Кто посильней – берись за вилы,
а кто ловчее и умней,
иди на стог…

Я не был хилым –
сноровки не хватало мне.
А стог начать легко и слабым…

Кричали мне:
– Иди в тенек!
А мы начнем, пожалуй, бабы!..

И зачинали бабы стог.

Они полстога выводили
и, вытирая теплый пот,
мне говорили:
– Твой черед!

И тихо песню заводили.
В той песне незамысловатой
тоска сильней

и боль слышней
о тех, кто третий год в солдатах
на той, Великой и проклятой,
фашизмом начатой войне.

А на стогу крутом бессменно,
ловка,
умела
и сильна,
как на гранитном постаменте,
стояла женщина.
Одна.
Отполирован теплым потом,
вил деревянных черенок
ладони жег.
Но я работал –
я копны подавал на стог.
А это не простое дело,
совсем не каждому суметь
одним движением умелым
ее, копну, насквозь продеть,
потом продуманно и ровно
тот груз рвануть себе на грудь
и вил затыльник заостренный
успеть у ног своих воткнуть
в траву…
Теперь нужна лишь сила
покрепче взяться, а потом
ее, копну, поднять на вилы
и уложить на стог пластом…

Я знал, что мне не будет смены,
я весь в поту, устал до слез…
Но все везли мальчишки сено,
а стог все медленнее рос.
И вот:
– Кончай!
И сразу легче.
И сразу, словно с плеч – гора…

Мне бабы воду льют на плечи,
Мне говорят:

– Поесть пора.
– Вот молоко…
– Отведай творог…
– А ну, попробуй моего…
Им всем давно уже за сорок,
а мне пятнадцать лет всего.
И у меня гудят от боли
все мускулы…
– Ну как, привык?
– Привык…
– Ну то-то… Ешь поболе,
Ведь ты один у нас мужик…

Мужик…
Расстаться с детством милым
еще не вышел вроде срок…

Вздыхали бабы. Брали вилы.
И зачинали новый стог.

А я. распаренный от зноя,
уставший так – ни встать, ни сесть,
шел к стогу, сложенному мною,
клубнику вяленую есть.

От солнца никуда не деться,
оно палило, плечи жгло…

И пахло солнце близким детством,
которое давно прошло.

В день Победы

Война кончается.

Дымится Берлин
и корчится в огне…

Наш поезд мчится, мчится, мчится
по забайкальской стороне.

Гремя, летит состав в глубоком
тылу нетронутом страны,

чем ближе к Дальнему Востоку,
тем дальше от большой войны,
от той, что в нас жила годами,
не покидая ни на час,
от той, чье взвихренное пламя
издалека касалась нас.
Война, бои походы, слава
и с гимнастерок блеск наград…

А нас от той войны кровавой
везли который день подряд.
Туннели, сопки, речки, хаты.
и стон колес, и рельсов звон.
Так – восемь дней.
А на девятый –
Хабаровск…
Воинский перрон
забит ликующим народом,
Над ним – невыцветший кумач,
что берегли четыре года,
и чей-то смех,
и чей-то плач.
И, понимая наши взгляды, –
Мол, что за смех и праздник тут? –
Кричал калека нам:
– Ребята!
Ребятушки!
Войне капут!
Победа!
Слышите, славяне?
А завтра праздник – пей и пой…

Но в день Победы утром ранним –
«Равняйсь!» –
И замер строгий строй.
И тихо, будто по секрету,
сказал нам замполит полка,
что это лишь – одна победа,
другая – впереди пока.

Солдаты минувшей войны

Горят над могилами павших
победные звезды страны…

Сужается круг
прошагавших
дорогами прошлой войны.

Прощаемся с ними все чаще,
все меньше для тех, кто в живых,
чеканят медалей звенящих
на память о днях фронтовых.

Событий иных незаметней
с учета военного снят
последней войны
последний
боец – рядовой солдат.

Все реже тяжелые марши
приходят в тревожные сны.
И умер последний маршал
Отечественной войны.

Навеки ушедших все больше.
Победу ковавших солдат
все меньше,
все горше и горше
от невозвратимых утрат.

Но памятью вечной в народе
живут они, славы сыны.
В легенды и сказки уходят
солдаты минувшей войны.

Но подвиги их – все дороже.
А песни все громче о них.
И слава
ответственной ношей
ложится на плечи живых.

У нас в Сибири

А у нас в Сибири светлые дали,
воздух даже крымского горячей,
на груди у неба горит медалью
солнце в обрамлении лучей.

Все у нас огромно – горы и реки,
и неизмеримы дороги-пути,
и стоят плотины, каких вовеки
ни в одной державе не найти.

А у нас в Сибири, как море, поле,
и от побережий шумных вдали
по волнам, звенящим в степном раздолье,
движутся комбайны-корабли.

Вот они ушли далеко-далёко,
вот по горизонту движутся в ряд.
Жаворонки в небе синем, глубоком,
словно колокольчики звенят.

А у нас в Сибири такие люди –
берегут всегда трудовую честь,
коль пообещают сегодня: «Будет!» –
завтра рапортуют гордо: «Есть!»

Удалью сибирской, сибирской силой,
кладами, что скрыты в толще земной,
прирастает слава моей России,
прирастает сила страны родной.

* * *

Я это видел утром рано…
Чуть голубела высота.
И вышли горные бараны
на гребень горного хребта.

Вожак других прикрыл собою.
На голом камне он застыл,
как будто в небо голубое
искусной кистью вписан был.

Он вниз глядел.
А там у речки,
пятно палатки перед ним.
Тянуло от горящей печки
пахучим дымом, не лесным.

А там, внизу, ходили люди.
Их дом не здесь.
Пришли – уйдут.

А он здесь был.
А он здесь будет.
А он один хозяин тут.
Один!

Но выстрел снизу грянул.
Поплыл над речкою дымок,
и под ногами у барана
зеленый вспыхнул огонек.
Еще дымился серый камень, –
бараны легкими шагами
на кромку вышли все,
и в такт
все вдруг качнули головами:
«Эх, люди, люди! Ну, зачем вы так?»

«Зачем вы так?»
Ущельем в горы
ушли,
нетороплив их шаг.
Вершины гор недобрым взором
смотрели вниз с немым укором:
«Зачем вы так?
Зачем вы так?»

* * *

Это вовсе не случайность:
с некоторых пор
я влюблен в твою бескрайность,
в зеркало озер,
в небо, светлое от зноя,
в родниковый звон,
в белый мох, что под ногою,
словно поролон,
в берега речушек синих,
где, грозя бедой,
как шлагбаумы, лесины
виснут над водой…

Север! Север!
Край суровый!
Норов твой любя,
если б ты исчез,
я б снова
выдумал тебя,
чтоб июльские метели
били вновь меня,
чтоб ручьи
мне песни пели,
по камням звеня,
чтобы ухала обвалом
осыпь под ногой,
чтоб карабкаться по скалам
и идти тайгой,
сквозь кустарник продираться,
цепкий, как репей,
и любить,
и признаваться
вновь в любви своей.

Как пел Шукшин

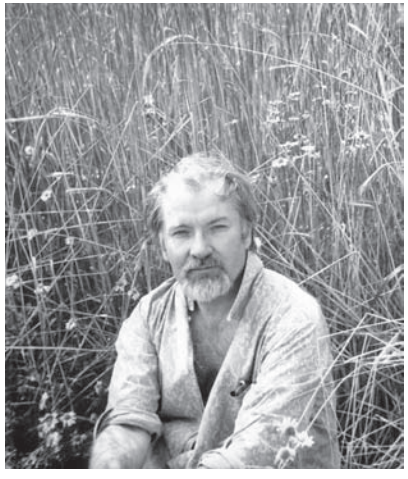
Как пел он!..
Надо было слышать, –
бессильны рассказать о том
слова…
В любом, пусть шумном слишком,
кругу друзей, – спокойней, тише
враз становилось за столом.

Не для оваций, не со сцены, –
рассчитывая на успех, –
а для друзей, самозабвенно
он пел,
и песня постепенно
лилась, захватывая всех.

В ней – простоватой, неумелой,
иных умелых поверней –
то чернь сибирская шумела,
то удаль русская звенела,
то вдруг печаль стонала в ней;
то голос тише был, то – глуше,
а то – взрывался, как обвал…
Не подпевать хотелось – слушать,
поскольку собственную душу
перед людьми он открывал.

Он пел,
и этой песней жил он,
и песня в нем самом жила,
и прибавляла людям силы,
и что-то давнее будила,
к чему-то доброму звала…

Да, жаль,
короткою была.



РАЗНОСТОРОННИЙ ТАЛАНТ

(Аскольд Павлович Якубовский)

Прозаик Аскольд Павлович Якубовский родился 10 июля 1927 года в Новосибирске, в семье художника и архитектора.

После средней школы окончил курсы картографии и геодезии и более десятка лет работал топографом в аэрогеодезическом предприятии. С экспедициями объездил Сибирь и Дальний Восток. Позже окончил Всесоюзные литературные курсы при литературном институте им. А.М. Горького. С конца 1970-х жил в Москве.

Литературную деятельность начал в 1957 году с публикации рассказа «Дрозды» в газете «Вечерний Новосибирск». Печатался в журналах «Сибирские огни», «Сельская молодежь», в сборнике «Охотничьи просторы». В 1965 году в Новосибирске вышла первая книга А. Якубовского «Чудаки». Автор еще более десятка прозаических книг, изданных в Новосибирске и Москве. Член Союза писателей СССР.

Умер 8 марта 1983 года в Москве.

А. Якубовский был художником яркого самобытного таланта и широкого творческого диапазона. Его проза стала заметным явлением в российской словесности второй половины двадцатого столетия. С успехом выступал он и как прозаик-реалист, и как писатель-фантаст (достаточно вспомнить его очень популярные в свое время повести «Аргус-12», «Прозрачник», «Черная фиола»).

А. Якубовский осваивал разные темы, поднимал многие острозлободневные проблемы нашего бытия – в частности, стяжательства, которой посвящена одна из лучших его повестей «Дом».

Но ближе всего А. Якубовскому были взаимоотношения человека и природы. О природе он писал красочно, увлекательно, даря читателям прекрасные рассказы и повести о рыбалке, охоте, «братьях наших меньших» («Красный Таймень», Багряный лес», «Четверо», «Возвращение Цезаря» и др.), где выступал не только как блестящий анималист и писатель-натуралист, но и как наблюдательный художник-психолог. Это дало основание В. Астафьеву – тоже большому знатоку жизни природы – предваряя книгу А. Якубовского «Красный Таймень», сказать:

«Очень трогательны, до трепетности добры и одухотворены рассказы... о животных, особенно о собаках – тут уж прочтешь, руками разведешь и подумаешь: «Вот если бы наши писатели умели так о людях писать...»

Но в том и особенность творчества А. Якубовского, что одинаково хорошо удавались ему как характеры представителей живого мира природы, так и людей. Тех, прежде всего, что оказывались перед лицом этого мира, которых писатель, высвечивал подчас до самых потаенных глубин.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги А. Якубовского:

Купол галактики. («Библиотека советской фантастики»). – М., 1976.
Возвращение Цезаря. Повести и рассказы. – М., 1977.
Квазар. Роман, повести и рассказы. – М., 1987.

Об А. Якубовском:

Яновский Н. Аскольд Якубовский. // «Сибирские огни», 1990, №10.

Аскольд ЯКУБОВСКИЙ

РАССКАЗЫ

Фрам

Бродя весь день по полевым травам, они устали.

Их усталость пропиталась запахом клевера, цветущих кашек и грибов-шампиньонов (Хозяин рвал их мимоходом). «Если бы ты стал на все четыре лапы, как бы мы весело бежали с тобой», – думал Фрам.

Они бежали бы рядом, лая и обнюхиваясь, ускакали бы к озеру и купались в нем, фыркая носами.

Потом бы легли на траву, подставив солнцу мокрые животы. А там сели бы в автобус, оказались дома и стали хлебать молоко с покрошенным в него хлебом.

Но Друг-Хозяин не побежал к озеру. Он зевнул и пошел к березовым кустам. На усталом и похудевшем сегодня лице скользнуло предвкушение.

– Вздремнем-ка, старик, – сказал он. – Славно мы походили, славная тень.

Хозяин снял пиджак, бросил его в тень и, пригнувшись, стал разглаживать ладонью. Фрам глядел, вилял хвостом и думал, как сейчас приятно пиджаку..

Поласкав пиджак, Хозяин велел лечь Фраму. Лег и сам и тут же заснул, пфукая губами на мелких лесных мух.

А им любопытно – они садились на губы Друга, таращили зеленые глаза.

Фрам лежал, сердито глядя на этих вредных мух. Но лежать надоело. Зачесались подушечки лап, и захотелось бежать. «Слушай, – говорили лапы. – Айда гулять, а належишься дома. Ты найдешь прут и пожуешь его. Также приятно бегать за птицей-пикулькой, что свистит вон в тех березовых кустах. А к Хозяину мы тебя принесем».

Лапы все пошевеливались, все двигались и говорили о жуках, бабочках, стрекозах… Фрам не хотел слушаться лап, он даже наказывал их, покусывал. Затем вытянулся и выставил язык. Скосив глаза, стал наблюдать за его дергающимся кончиком. Надоело!

Фрам стал глядеть по сторонам.

Светит озеро – будто молоко в блюдце.

Ходят коровы – их хвосты болтаются в воздухе.

А с болота, что лежит на озерном берегу, ветер прикатывает запахи прямо в нос. И среди них, то мягких, то грубых, есть один – острый и жалящий, как пчела.

Страшный запах! От него холодеет между ушами.

Фрам молод и неопытен, он не знает, что это запах дичи, куликов, сидящих в болоте. Он не может понять этого, хотя память запаха лежит в нем от рожденья. Это приводит в отчаянье Хозяина. Он водит его по болотам и просит:

– Понюхай и вспомни… Понюхай и вспомни.

Фрам не может вспомнить, он вертит головой, не понимая.

…Запахов становится больше. Пахнут, будто кричат, коровы, пастухи и костер.

Запахи толпятся у носа, и каждый старается проскочить первым. Фрам рычит на них – потихоньку. Страшный запах снова царапает его нос. И шепчет голос Друга: «Вспомни, вспомни, вспомни»… Но пролетает шмель – жужжа. Фрам забывает запах. Шмель летит к клеверному полю. До него трижды по три прыжка. Фрам видит вьющихся голубых и белых бабочек. Очень пахнет медом клевер. «Лизнем, старик, – говорил Фракму язык. – Это вкусно!» Вкусно. Глаза Фрама лукаво жмурятся. Вот и ближний цветок клевера кивает ему красной шапкой. Зовет. Фрам встает и глядит на Друга – может, тот прикажет лечь. Но Друг молчит.

Фрам дует ему в лицо – молчит.

Фрам глядит в спящее лицо Друга.

Нежность бросается в лапы и хвост Фрама и заливает всего до ушей. Лапы сами собой начинают бестолково топтаться, а хвост – махать.

Фраму хочется лизать Друга.

Ему хочется, чтобы выскочил дог соседей, огромный и злой, и кинулся на Хозяина. Тогда он схватит пса за шиворот и тряхнет. Фрам принюхивается – нет страшного дога. Тогда пусть набежит трамвай. Фрам прислушивается – нет и трамвая.

…Клеверное поле сильнее и сильнее пахнет медом и шмелями. И вдруг ноги пошли сами. Они понесли Фрама. Нос сам начал шевелиться и принюхиваться – Фрам подошел к клеверному цветку. На нем муха сидит. Фрам хапнул и шишку цветка, и муху. Пожевал – ничего вкусного. Наверное, вкусные те, что стоят подальше? (Фрам следил за входящими на клевер коровами). Наверное, там вкуснее.

Фрам бежит к коровам.

Конечно, здесь клевер вкусный. Жуя его, коровы вздыхают и стонут от удовольствия.

Фрам летит на коров, отгоняя. Он съест этот клевер. Сам. Но черная корова с одним рогом наклоняется и бежит на Фрама, плеща чем-то в животе. Фрам убирает хвост и бежит.

Фраму всего шесть месяцев, у него в голове ветер. Он даже не знает, что он сеттер и охотничий пес.

Пробежав поле, Фрам забывает коров и вспоминает Друга и бежит к нему.

С Другом все в порядке, только на лысине его сидит серый кузнечик. Это безобразие, его нужно сцапать. Кузнец прыгнул, оставив в воздухе расплывающуюся струю запаха – своего и Друга.

Фрам наставляет нос в сторону кузнеца и идет.

«Сейчас я тебя сцапаю», – решает он.

Кузнец скачет – Фрам идет. Кузнец впадает в панку. Он то скачет, огромнейшими прыжками, то с невероятной энергией стрекочет.

Фрам идет. Чья-то тень накрывает его и быстро бежит от него. Значит, надо гнаться. Кто там? Фрам задирает голову. Видит – невысоко летит что-то похожее на веник.

Это летит малая выпь. Ее спугнули с соседнего болота, и ей пришлось лететь сюда, на открытое людям озеро. Но выпи известно одно тайное местечко на маленьком острове посреди озера.

Выпь летит. Внизу за ней бежит глупая белая собака, подпрыгивает и восторженно лает.

Вот озерко, зеленое от ряски и кувшинок.

Выпь садится на островок, пробегает несколько шагов и замирает, выставив вверх клюв. Теперь она похожа на ржавые остатки тальника.

Фрам останавливается – он уперся в воду. Фрам пьет ее, скользя лапами. И – вздрагивает: к нему приносится запах. Тот. Фрам начинает принюхиваться. «Вспомни, вспомни его, – шепчет Друг. – Ты охотник, ты должен вспомнить и знать». Друг юподолгу держит его на болоте, гладит и требует, требует, чтобы Фрам нюхал и вспомнбил. А что? Фрам оглядывается – он один. Это не голос Друга, это Черный Страшный Голос. От него поднимаются все шерстинки и становится холодно голове. «Иди», – приказывает голос. Фрам не хочет, и лапы не несут его.

Фрам стоит. На него глядит корова. Она тоже пила воду и подняла морду, глядя на белую собаку. Вода стекает с ее губ. Но высохли коровьи губы, а собака не шевельнулась. Корове становится страшною Она мычит, выдергивает ноги из тины и убегает. А запах плывет над водой, усиливается, и нос Фрама растет, ему горячо и больно.

Вот озеро с кувшинками, ряской и камышами приподнимается. В середине этого сине-зеленого мира разгорается солнце. Оно светит из-под озерного берега, у него птичий запах. Фрам рычит и поднимает гривку от макушки до кончика хвоста. Он путается и начинает искать запах под ногами. Смотрит в воду и видит корни, похожие на тот ремень, которым иногда хлопает его Хозяин. В воде кто-то шевелится. Вот булькнуло… плеснулось… Зеленая щучка отходит от берега, и солнце гаснет. Фрам видит вторую щуку. Она поворачивается к нему хвостом, чтобы ушмыгнуть. За ней Фрам видит стоящую в воде такую большую щучищу, что замирает. Большая щука шевелит жабрами. «А вот я тебя схвачу, – думает Фрам. – Или ты меня схватишь?»

– Фрам!.. Фрам!..

Крики скатывались к озеру по клеверам, вниз по зеленому косогору, катились, подпрыгивая, будто пестрые мячи. И в каждом были гнев и нежность. «Пусть кричит», – думал Фрам. Он любил и не боялся Друга.

– Фрам! Фрам! – Хозяин бежал к озеру.

Рубашка Хозяина расстегнулась и вылезла из брюк, физиономия была красная и сердитая. Друг бежал мимо черной однорогой коровы. Она сердито глядела на него, покачивая своим рогом.

– Что ж ты, разбойник, со мной делаешь?.. Что ты, разбойник, придумал?.. Я уже бегал к дороге. А вдруг тебя машина смяла? – бушует Хозяин.

Запах снова летит над водой.

«Разве ты не можешь тише, – укоризненно думает Фрам, косясь на хозяина. – Ты мешаешь».

– Выдрать тебя, разбойника, надо! – кричит Хозяин. – Я его ищу, а он тут с рыбками играет… Безобразие! Распустил я тебя. Тебе стойки не по щукам делать надо, а по дичи. Выдеру тебя!..

Хозяин, отдышавшись, наговорил еще много страшных слов. Но Фрам его не боялся. Он знал – Друг просто очень умная и сильная прекрасного вида собака. «Мы оба собаки…» – думает Фпам. А запах растет. Загорается противолежащий берег, и Фрам носом касается его. Фраму страшно и больно, и сладко, как будто Хозяин перебирает шерстинки на голове Фрама.

– Мальчик, что с тобой, мальчик мой, – говорил Хозяин, следя, как вспугнутый шатающимися на берегу коровами взлетел дупель и нос Фрама двинулся за ним. И – глаза.

– Милый мой, – забормотал Хозяин. – Это первая твоя работа, первая стойка по дичи. Ты родился сейчас, охотничек мой, ты все понял.

Хозяин входит в воду и гладит Фрама. Затем оглядывается, не смотрит ли кто, и целует его в мокрую, зеленую от травы макушку.

Фрам виляет хвостом – слегка. Он счастлив. Он понял всех – Хозяина, дупеля, себя.

Красный Таймень

Самое лучшее, вонзающееся в память и глубже, в городские зимние сны, приходило на закате.

Вечерело. Скалы, сжимавшие заводь, набухали, словно сухари, брошенные в воду. А в нужный час и определенную минуту между широких макушек гор прорывался закатный луч. «Как меч, побывавший в бою», – думал Кирьянов.

Луч падал, и все менялось, становилось не земным – марсианским. Тени наливались черно-фиолетовым. Прутики маральника раскалялись, словно проволока в огне.

Из воды появлялся таймень. Он вскидывался, делал свечу за свечой, словно высвечивал собой, своим метровым телом, будоражил всю заводь. Вода нахлестывала на камни. Те, ныряя, украдкой кивали Кирьянову. Таймень, бушуя, плясал свой радостный танец, купался в багряных отсветах. Он казался духом этой бурной реки, укрывавшимся в заводи, – мощным, ликующим, вечным!

В разговорах с прочими рыбаками Кирьянов звал его Красным Тайменем. (А про себя называл Буйным Пламенем, Красным Цветком).

Он любил Красного Тайменя и хотел поймать его. Такая была у Кирьянова мечта.

Не один год знал Кирьянов этого тайменя, не один год приезжал в село Каменное за добрую тысячу километров. Во-первых, рекорден был таймень, а во-вторых… во вторых, Кирьянов становился летом беспокойным, и жена насмешливо говорила ему:

– Да уж езжай, езжай. Еще заболеешь, пожалуй.

И он уезжал. Да и привык он к этому – к поездке, к старому алтайскому селу. К тому, что, подъезжая, издали видел зеленую луковицу церкви с увядающим ростком покосившегося креста.

…В первый приезд Катунь оглушила его грохотом бурунов, ослепила почти нестерпимым, торжествующим, почти наглым блеском.

Кирьянов расплатился с шофером и положил рюкзак и спиннинг на траву. Он не глядел – пил глазами сердитую воду. На берегу пацаны махали длиннейшими самодельными удилищами, за рекой были расставлены горы – широкие, тяжелые, как наковальни.

Он глядел, ликуя, что приехал, не напрасно тратился.

– Здорово! – сказал Кирьянов и вошел в этот прозрачно-сине-зеленый мир. То есть взял вещи и пошагал в село искать квартиру на весь календарный отпуск. А затем рыбалки, сны, разговоры и увиденный Красный Таймень.

…Все эти годы к началу клева тайменей собиралась компания рыболовов, все обычные люди. Из ряда вон был только один, странный для времени, человеческий тип. Это Афанасий Егорович, отец Афанасий, местный поп..

Старик Макухин как-то рассказал Кирьянову своеобразную поповскую историю.

В тридцатых годах остался молодой еще отец Афанасий без верующих. Так получилось – пастырь был, а стадо разбежалось. И раньше жилось плоховато – народ был горный, жесткий, – а теперь доброхотные даяния совсем прекратились. Отец Афанасий впал в отчаянье. Он похудел, а попадья даже зачичвела.

Для душевного успокоения (и потребностей телесных) занялся поп рыбалкой. Тайменей он ловил на живую рыбку, хариусов на «мух», которых фабриковал из собственных волос прямо на берегу, прикручивая выщипанные волосы к крючку. А на волосы блондинов хариусы, надо сказать, клюют отчаянно, и полведра рыбы стоило отцу Афанасию тонкой прядки. К тому же он завел корову, имел огород.

На рыбе, молоке да картошке поднял семью отец Афанасий – ребята выросли здоровыми, выучились, разлетелись по далеким городам. А поп углублялся в рыбалку, жил ею, дышал. Борода его топорщилась рыбьими жабрами, старая ряса поблескивала намертво впаянными рыбьими чешуйками. В промежутках рыбалок отец Афанасий служил в ветхом храме да исповедовал старух.

Жарко шептали старухи про одолевавшие искушения. Попика в дрожь бросало от шевеления проваливавшихся ртов, он жаднее тянулся к милым людям – рыбакам. Те не верили в бога, а только в свои особенные насадки. Страшно было думать, что все они попадут в ад. И уповал поп на доброту всевышнего. Верил – спасутся все: добрые и злые, верующие и неверующие, и агнцы и козлища. Таким вот образом, из-за душевной мягкости, впадал отец Афанасий в ересь. Сам же, похожий в своей рясе на диковинную бородатую женщину, все крутился среди приезжих рыбаков.

И был счастлив.

Возвращаясь от тайменя, Кирьянов встретил рыбаков. В сером тесте сумерек их не было видно, а только смех, топот. Но вот надвинулись, задышали табаком, водкой, замерцали огоньками папирос. Увидев Кирьянова, они заржали.

– Что, на свиданье ходил? – гаркнул Макухин.

И началось:

– Человек он еще молодой.

– А в темноте совсем юноша.

– Ребенок!

– Да он не к ней ходил, а к нему, – поправлял Макухин.

– Да к кому это?

А ведь знали, знали.

– К Красному Тайменю.

– А зачем он к нему ходил?

– Уговаривал на берег выйти. Водочки предлагал.

– Ну, хватит! – сказал Кирьянов. – Лучше придумайте, как его выловить. Сколько лет к нему не подберемся.

– Проще пареной репы. Пара крылышек, и порхай себе промеж скал со спиннингом

– Или на вертолете!

– Афанасия Егорыча надо послать! Ему и сам бог…

– Не трепите священное имя всуе, – зароптал поп. – Или уйду я от вас.

– Без смеха, что-то придумать надо, пора, – настаивал Кирьянов.

– Ничего тут, милый, не придумаешь, – веско сказал Макухин. – Скалы! А поймаешь – не вытянешь. Разве что на лодке.

– А лодка-то у меня имеется, – сказал вдруг отец Афанасий. – Плоскодонная. Но для сего течения она не подходит.

– Все-таки езжайте, батюшка, – сказал Кирьянов. – У бога, говорят, милостей много.

– Сказано: «Не испытывай божие милосердие». Но так я скажу: поймай такую рыбину – и помирай спокойно!

– Молодец, Афанасий Егорович! – зашумели все. – Молодец! Боевой поп!

…Ночью, лежа в постели, Кирьянов ворочался боку на бок и тосковал о вырвавшихся словах. Думалось, что на лодке, пожалуй, можно и досягнуть тайменя. Но утром, на освеженную голову, идея представилась сумасшедшей. Не рискнут, нет, решил Кирьянов, и успокоился.

Дня через два после вечернего разговора случилось неожиданное. Кирьянов как раз ловил хариусов на спиннинг «плавом». Стоял на плитняке, среди мелкой игривой водички, пускал лесу поверху, без груза. То распуская, то сматывая лесу на катушку, он щурился на красный поплавок. Вдруг закричали.

Он обернулся так резко, что перед ним вместо реки пронеслась поверхность и на ней что-то большое, темное.

Кирьянов положил спиннинг на гальку и, сделав ладошку козырьком, посмотрел. Изумился до крайности.

По выгнувшейся горбом бешеной воде несся в своей плоскодонке отец Афанасий. Рулевое весло он защемил между колен, да еще и держал обеими руками. На носу лодки торчало удилище. Все было ясно: поп решил перескочить со струи в заводь.

– Чтоб ты перевернулся, старый черт! – пожелал ему Кирьянов.

Стая мальчишек неслась за попом: берег звенел от воплей. Кирьянов затопал следом. В голове его, встряхиваясь на бегу, громыхало одно и то же: «Ах, чертов поп!.. Ах, чертов поп!»

Кирьянов бежал так шибко, что обогнал лодку и раньше мальчишек забрался на скалу. Он прилег – хрипя – задыхался! А поп был уже тут. Его лодка, вырвавшись из широкого потока, прыжком влетела в заводь и закружилась между скал, поблескивая заплеснувшейся водой.

Поп, взъерошенный, багровый, направил ее так, что она ходила по внешней кромке заводи кругами. Он схватил удилище. Махнул. Блесна шлепнула по воде и утонула.

Лодка все крутилась и крутилась. И когда поп взглядывал вверх, Кирьянов видел потное маленькое лицо, косматульки бороды, вытаращенные глаза..

– Держитесь крепче! – крикнул Кирьянов. – Молитесь!

– Уповаю на милость его! – отвечал поп, совершая очередной вращательный проплыв. А сам все водил удилищем туда и сюда, играл блесной в воде – соблазнял. И Кирьянова пронзило: ведь поймает!.. А поп все колыхал, все водил блесну туда-сюда.

– Подцепит… Подцепит… – стонал откуда-то взявшийся Макухин. Он горесно переглянулся с Кирьяновым.

– Чего ему не поймать, – вторил тот. – Таймень – дурак, шуму не боится.

И Красный Таймень казался ему не очень уж завидным. Здоров, конечно, но глуп, глуп…

Таймень взял. Это заметили по тому, что поп вдруг свернулся в серый матерчатый ком. И удилище… Оно кланялось воде царедворческим низким поклоном.

– Поймал!.. И-эх!...

Макухин содрал с лысины кепку. Кирьянов, чтобы все увидеть, лег на край, свесил голову.

Поп отчаянно воевал с рыбиной.

Удилище все кланялось, лодка прыгала, металась из стороны в сторону.

Поп громко ухал.

– А вы его вытянете, святой отец? – осведомился Макухин.

– Ух!.. Ух!.. С божьей по… Ух!.. Потянул, как жеребец!

Вдруг таймень вскинулся, вырвался из воды – медно-красный! – и с громовым ударом упал обратно, поразив всех своей огромностью. На скале вздохнули – завистливо.

«Чтобы ты сорвался…» – молил Кирьянов.

Но леса была синтетическая, крючок зацепистый, таймень не сорвался. Он и вскинулся, наверное, от отчаянья, потому что вскоре лег на воду. Все замерли. Отец Афанасий стал его подтягивать. Взял двухкрючковый багор, сунул в воду.

– Сейчас… сейчас… – шептал Кирьянов.

– Так его! – крикнул поп, делая веслом резкое движение к себе. И тотчас вместо рыбы возник зеленый бурун. Вспыхнули и погасли в нем оранжево-черные плавники. Лопнул капроновый шнур. Все смешалось: лодка развернулась и попала в струю кормой, ее резко положило на бок. И рядом с ней заполоскалась на течении старенькая ряса.

На скале охнули, но поп уцепился-таки за лодку, успел – и летел с нею вниз, к бурунам.

– Ну, теперь ему разве один бог поможет, – угрюмо сказал Макухин, спускаясь вниз.

Мальчишки прибежали первыми. Когда явились Кирьянов с Макухиным, отец Афанасий был уже на берегу.

Поп корчился, локтями прижимал бока. Мокрая ряса почернела и облепила его.

– Счастлив ваш бог! Крикнул, подбегая, Макухин.

– О-ох… – выдохнул Афанасий и голову набок склонил. – Понесло меня. Поистине, кого желает наказать господь, того он прежде лишает разума.

Вода, стекая, журчала.

– Целы?.. Целы?.. – спрашивал Кирьянов.

– О-ох, все бока избиты. Наверно, и ребра сломаны. И хром вот, как Иаков после битвы с Ангелом. Как я, старый дурак, попадье на глаза покажусь?..

И сел на мокрую гальку.

Поздно вечером ходил Кирьянов к тайменю. Шевелилось опасение: не ушел ли таймень? Но была и какая-то странная уверенность, что не ушел, поскольку горы и скалы здесь.

Упал красный луч. Загорелись скалы. А в урочный час всплыл Красный Таймень.

Кирьянов вздрогнул. Все в нем теперь ликовало, радовалось, торопилось куда-то. Так спешило, что все прочие движения, находящиеся вне его, замедлились, разбились на кадры. Например, Кирьянов отчетливо видел: из воды выходит тупая рыбья морда, вода вспучивается, расклинивается, убегает. Появляется туловище – широкое. Напружинены плавники. И все это медленно входит в красноту луча.

Громадная огненная рыба расцвела на плоскости воды, оперлась на подогутый хвост. Резкий звук выплеска мечется среди скал, врывается в напряженный гул бурунов. Рыба опускается обратно в воду. Та медленно глотает чудесный цветок и разбегается кровавыми всплесками.

Кирьянов рассмеялся.

– Так их, этих попов! – сказал он. – Ишь, рыбки им захотелось.

Красный Таймень плясал, и медная блесна моталась и звенела на его щеке.

…Ночью приснился точный план вылавливания Красного Тайменя. Все просто. Надо стать одной ногой на широкую скалу, другой на ту, что громоздится в стороне, а руки опустить вниз, метров на пять-восемь.

Кирьянов ухмыльнулся – во сне – и натянул одеяло на голову.

…День был продолжением вчерашней радости. Хотелось петь и приговаривать:

– Эй, бей веселей! Эй, бей!

Стук разносится в деревенской тишине, бежит до синих гор, стукается в мягкие лесные бока и катит обратно. Кирьянов, целясь глазом, все бьет и бьет. Под ударами легкого молотка, занятого у хозяина, чайная ложка меняет форму и приобретает замысловатый изгиб. Это уже не подаренная женой ложка, а невиданной формы блесна. Серебряная! Рассчитанная для одного раза, одного места, одной рыбы.

И какой! Не жаль и серебра.

– Эй, бей! – напевает Кирьянов. В нем топорщится что-то жесткое и веселое.

Полировал он блесну зубным порошком. До блеска! Теперь она маленькой ракетой засветится в вечерней воде: пронзит ее, сверкнет, унесется.

Нужен тройник… Кирьянов прицепил к блесне самый крепкий тройной крючок с цепкими лапами. Он хорошей закалки, темно-синий. Такой не согнешь, не сломаешь. Остается леса… Ее нужно сплести из нескольких запасных. Повозился Кирьянов и с удилищем. Смекнув, что его покупной спиннинг не выдержит, он пошел в лес и вырубил толстое пихтовое удилище – тяжелое, длинное. Проверив все многократно, решил, что порвать лесу или сломать удилище мог бы разве только слон.

Теперь, когда все было зримо, все подготовлено, Кирьянов не спешил, Крепко врезалось – заторопился поп со своей плоскодонной лодкой, и вот два сломанных ребра.

И другое – в долгом выдерживании была своеобразная радость. Словно он стоял перед созревающим яблоком – сорвать можно и сейчас, но через неделю оно будет еще вкуснее. А ходить около, есть его глазами, тревожиться – не сорвут ли другие – приятно.

Так как отъезд был на носу, Кирьянов стал понемногу готовиться. Пересмотрел и подсолил снова всех тайменей, каждого завернул в сухую тряпочку. Теперь они перевозку в чемодане выдержат вполне.

– Славные рыбки, – говорил он, перебирая их. Сейчас все таймени были тускло-серые, со слабым крапчатым рисунком. Самый увесистый едва вытягивал за семь кило.

– Ничего, скоро у вас будет славный товарищ, – говорил им Кирьянов. И снова все обмозговывал.

Скалы… Штук двадцать их огораживали заводь. Но только две были широкие, удобные для забросов. К тому же они и стояли не очень тесно, и нависали над самой глыбью. В общем, удобные. Пойманную рыбину можно смело выводить между ними в прогал – каменную широкую щель.

Кирьянов решил ловить тайменя без свидетелей – во избежание лишнего срама. Времени для скрытой ловли было немного. Утром всего труднее – рыбаков выносило на берег ни свет ни заря.

День. На берегу днем крутятся ребятишки, всюду суют свои любопытные носы. Оставались сумерки… Чего лучше!

В урочный час и нужную минуту ляжет красный луч. Все загорится, замерцает вокруг. Будет плавиться небо и скалы, побегут фиолетовые водяные искры.

А он встанет на скалах – победителем.

Кирьянов нащупал ногами неглубокие впадины. Утвердился. Поднял удилище. Но прежде чем кинуть блесну, он долго смотрел в медлительную воду.

Она кружила и кружила в своем вечном, даже зимой, в лютые холода, неумеренном движении.

Вечно свободная!

Потом он вгляделся в себя со стороны. На мгновенье вообразил гигантом, титаническим борцом.

В пучине скрывался древний Дух этих мест. Он, Кирьянов, бросил ему вызов. Ногами он твердо стал на две скалы, лицом к заводи, а в расщелину между скал опустил руки.

На правой скале стоял он сам. На соседней – Макухин. (Этот сомневался в успехе ловли). Посредине, в каменной щели, стоял

третий – широкий городской рыбак. Это были руки Кирьянова, ими он вытащит пойманного тайменя.

Таков был его план – ловить втроем.

Гремели буруны.

Кирьянов раскачал и кинул блесну. Она сверкнула – приводняющейся ракетой. Все трое замерли – выжидая.

…Таймень взял только с двадцатого заброса. Кирьянов уже и руки отмахал, и отчаялся. Решил, что рыба ушла. Но, догадавшись кинуть блесну к самой скале (блесна, падая, ударилась сначала о камень), соблазнил тайменя.

Он взял блесну. Из-под скалы взлетели брызги – высоко. Унесся громовой удар. Вернулось многократное эхо – горы злыми псам лаяли на Кирьянова.

– Что, не понравилось! – засмеялся он и опомнился. Надвинулось тяжелое, даже страшное: предстояло утомить рыбу, держа ее на натянутой лесе. Хорошо, что трое…

А уже накатывали разнообразные задачи. Их нужно было решать: таймень метался, удилище гнулось, ладони горели, ноги скользили.

Кирьянов цепко держал рвущееся удилище. Чувствовал – руки превратились в толстые резиновые жгуты. При каждом новом рывке они растягиваются, растягиваются… Он сопел, морщился сердито:

– Удержу… Удержу…

В кипенье рыбных всплесков ему слышалось:

– Оборву!.. Оборву!

Когда уже и сил не было, и Красный Таймень рванул в сторону и приостановился в нерешительности (или боли), он сунул удилище третьему. Тот засуетился, ловя удилище за комель, споткнулся, вскрикнул испуганно: «Ух, тут и шею сломать недолго!» и сделал очень важное – оберегая лесу от скальных граней, передал удилище Махукину. Теперь уже Макухин, пытаясь сохранить равновесие, балансировал и одновременно гасил удилищем все рыки тайменя.

Тот быстро пошел поперек заводи, к выходу на течение, но третий ловко схватил брошенное ему Макухиным удилище и придержал рыбину… Вот удилище снова у Кирьянова… Опять третий… Макухину… Обратно… Третьему…

Кончилось!

Садилось солнце. Густели тени. Леса дрожала, брызгалась мелкими каплями. Красный Таймень подавался туго, но подавался. А третий (его была теперь работа – выводить измученного тайме-

ня) все сматывал да сматывал лесу, накручивая ее вращением удилища. На клешнястых его руках шевелились толстые сухожилия.

Кирьянов с Макухиным, видя близкий конец, спустились вниз. Теперь они теснились в щели – все трое – потные, взъерошенные.

Кирьянов смотрел на медленно всплывающего Красного Тайменя. Думал: наконец-то ушли – и навсегда – зимние тревожные сны. Но, должно быть, оттого, что Кирьянов до смерти был измучен, он вдруг ощутил боль. Это была пронзительная боль. Мерещилось – его самого тащили наверх, зацепив трехрогим крючком. Это невыносимо. Хотелось крикнуть: «Не надо» Отпустите». Мне больно!»

…Вода уже почти черная. Из этого черного всплыла, засветилась рыбища, слабо шевелила жаберными крышками.

– Дьявольская эта штука – попасть на крючок, – тихо сказал Кирьянов.

–И чего ты болтал, что он красный, он же пестрый, – упрекнул его Макухин.

Третий, не допустив, даже оттолкнув Кирьянова, сунул крючковатые пальцы в рыбьи жабры и, пятясь, вытянул тайменя на камни. Споткнулся и тяжело сел. Выругался.

Красный Таймень лежал на камнях. Теперь нужно его приколоть ножом, вынуть из пасти блесну, нести в поселок, хвастаться, делить на три части…

Гнусно, мерзко… Подло!

Упал, прорвавшись между гор, кровавый луч в свой обычный час, в определенную минуту. Лег на черно-фиолетовую заискрившуюся густую воду. Пустая вода, мертвая… Кирьянову даже показалось странным, что он находил все эти каменные шишки внеземными, марсианскими. Это было глупо… Было…

Кирьянов снова ощутил во рту колючую железку и полную невозможность выплюнуть ее.

Он стоял, смотрел и видел – гаснет луч, и умирает перед ним горный прозрачный мир. Вместе с Красным Тайменем он убил его. Сам! И Кирьянов понял – больше он сюда никогда не приедет.

Те, двое, курили, весело переговаривались. От них несло табаком, потом, серной вонью. Горелых спичек.

– Я говорю, мы понесем его на удилище, – втолковывал Макухин. – Проденем сквозь жабры.

Продели и понесли, громыхая камнями и чертыхаясь. Кирьянов смотрел им вслед.

– Слышь! – крикнул, оборачиваясь, Макухин. – Мы их него во какой балык сделаем, под водку. Согласен?

Возвращение Цезаря

Вот уже минут сорок Каляев топтался на огромнейшей куче мусора.

Направо от него был закатный город. (Тени крайних домов протягивались даже сюда, на иссыхающие болота). Прямо уходило шоссе. Пыль и жженый бензин летели с машинами.

Болота… Когда-то они были приятные дупелиные, с короткой травкой. Сейчас здесь городской отвал – болота осушали мусором.

Каляев посмотрел на них. Но думал о том, что получилось глупо: вместо наслаждения вечерней едой надо стоять на высокой куче металлических отходов и смотреть на болота и шоссе.

Зазвенело. Каляев взглянул – два пацана проволочными кочережками разбирали мусор. По временам они что-то выуживали и, после спора, клали в мешок.

Пацаны приехали сюда на красном мопеде. Он стоял рядом. Что они могли брать здесь?

Каляев поглядел себе под ноги и увидел куски алюминия и латуни, медные шестеренки. Решил – для детей это великое игровое богатство.

Должно быть, привезя найденное домой, они балуются железками, раскладывают их, делают пистолеты и стреляют друг в друга горошинами.

– Для чего берете? – спросил он пацанов.

Они подняли головы. Молча глядели на Каляева. В глазах их напряженная серьезность: или старались понять его вопрос, или прикидывали, стоит ли он ответа.

– Для чего мусор гребете? – крикнул Каляев, сердясь.

– Моделируем, – ответили они. Поднялись, взяли мешок. Повозились с мопедом и укатили, треща мотором, пустив тонкие струйки гари.

– Моделируем, – повторил их ответ Каляев. – Моделируем…

И нервно затоптался: он не мог смоделировать поведение Цезаря: ведь должен был обогнать его, должен, тот шел, а Каляев воспользовался автобусом.

Получилось так: с работы он пришел голодный и раздражительный, в машине, при посадке, порвали рукав нового костюма.

Порвали слегка, но Каляев расстроился. К тому же день был знойный: Каляев на работе потел и задыхался. Тело его хотело прохлады.

Дома было хорошо, жена подала окрошку прямо из холодильника.

Он хлебал и постепенно успокаивался. Когда ел второе, жена сказала, что Цезарь опять сбежал – выскользнул перед его приходом и ушел. Наверное, теперь он гуляет в сквере или обнюхивает углы домов. Будет новый скандал в домоуправлении.

Каляеву бы кинуться ловить собаку, но усталость и вкусный обед преодолели.

– А, придет.

Каляев знал, что такой ответ порадует жену. Цезарь, старея, превращался в неопрятную, рассеянную собаку. Жена тяготилась им. Сам Каляев не любил рыхлую морду Цезаря, обвисшие веки, его вздохи, бессонницы, ночное постукивание когтей по твердому полу. К тому же зубы Цезаря болели, отчего он кряхтел и даже постанывал.

Да и сколько можно терпеть эти дурацкие побеги! Со времени, когда свалкой испортили ближайшие болота, Цезарь сбегал раз двадцать. Бежал он в одно место – вдоль шоссе к Марьяновским далеким болотам. Там и охотился – один искал птицу, делал стойку, пугал… Там его приходилось искать.

И вот снова ушел – на заплетающихся ногах.

Каляев принялся было за десерт (чернослив со сметаной). Но вдруг ему вообразилась белая собака, шаткой походкой пробирающаяся к болотам. В конце концов, это почтенная старость. Сам он (и обстоятельства) поборол желание охотиться, бродить по болотам с ружьем. А вот Цезарь не может, он рожден только для дела охоты. Каляев поднялся. Но где искать собаку?..

Он прошел улицами – Космической, Авангардной. На скамейках сидели всевидящие старухи. На вопросы о белой собаке они отвечали отрицательно. Тогда-то в автобусе он приехал сюда, к выходу из города, и стал ждать Цезаря.

…Прошел еще час. Каляев переминался на позванивавшей куче. От его топтания то и дело какая-нибудь штука, гремя, скатывалась вниз.

Каляев провожал ее взглядом.

Наконец закат опустился на верхушку кучи. Собаки нет. Определенно, пес опередил его и ушел на Марьяновские.

Или с Цезарем что-то приключилось?

Может быть, он угодил под машину и сломан колесами и его надо искать в городе?

Снова взгляд Каляева прошел от теней города к взблескивающим плоскостям оставшихся болотных луж. Теперь, когда косые лучи солнца кровенили болото, особенно выделялись клочья бумаги. Едва ли ее всю выбрасывали, наверное, бумага прилетала сюда сама, вырванная из рук сильным ветром.

Он в ветреные дни не раз видел этих газетных птиц, летевших, размахивая страницами, над городом вместе с воронами и сбитыми листьями тополей.

Сколько бумажных пятен лежит на болоте! Ветер шевелил их. Особенно одно.

Оно, гонимое вечерним низким ветром, прихотливо двигалось по болоту. Вот прошло в промежуток озера (бывшего) и Коровьего болота и направилось к Безымянной Луже.

Столько прежде вокруг нее росло ежевики! И утки так хорошо, так густо шли над этим местом. (Они улетали ночью кормиться на поля, а по утрам прилетали и рассаживались). Каждая убитая влет утка здесь проваливалась в бездонную яму переплетенного ежевичника. Ища ее, устав до смерти, можно было срывать ягоды и бросать их в перегоревший, запекшийся рот.

Каляев вздохнул. Он вспомнил ту прихотливую газету. Поглядел, ожидая, что она уже легла, и он не найдет ее взглядом.

Но белое пятно двигалось, и Каляев догадался, что это не газета, а Цезарь. Пришел! Сюда!..

Раньше он успевал его схватить либо здесь, на дороге, либо упускал, и тот уходил на Марьяновские болота, до которых десять километров. И сегодня Цезарь незамеченным прошел мимо. Но охотился на умерших болотах.

Каляев обрадовался, крикнул ему, рукой махнул. Но тут же рассердился. Он вынул из кармана поводок с защелкой-карабинчиком и спустился вниз.

План его был прост – взять Цезаря на поводок, вернуться к дороге и ловить машину. А там, приехав домой, выкупать собаку и наконец прилечь.

Когда-то вдоль болот шел проселок, вполне приличная дорога. С одной стороны проселка лет десять строили шоссе, возя на конных подводах щебенку. С другой, лежали болота, мелкие, заросшие водяными лютиками. Те густо цвели и желтили воду. И если Каляев рвал их, то пальцы его долго горчили.

Сейчас же, попав башмаками-плетенками в мешанину автомобильных следов, грязи и фиолетового шлака, Каляев прогнал виденье лютиковых болот и стал деловитым и осторожным. Посмотрел на часы – ого! Время! Прикинул дорогу к исчезнувшему белому пятну Цезаря и выбрал ориентир – высокую черную кучу и повисшую над ней, как звезда, далекую лампочку.

А грязи-то, грязи…

Снять штиблеты? Опасно. Здесь проволока, битое стекло. Каляев подвернул брюки, прыгнул на горку шлака, обошел лужу с нефтяной радугой и ступил на обгоревшие клочья ваты.

Свалка!

За кем мог охотиться Цезарь на этом огромном кладбище городской ерунды? Сюда залетают кулики?..

– Фью, фью, – свистал Каляев. – Цезарь!

…Когда он подошел к куче, то был перепачкан по колено и поцарапался о проволоку.

– Чего доброго, так и кровь заразишь, – бормотал Каляев, меся ногами тяжелую грязь.

Он вышел к луже.

По ее краю, выпачканный по локотки, брел Цезарь. Двигался короткими шажками.

По временам его шатало. Он падал и пачкался в жирной грязи. Но вставал и шел, подняв нос. Будто чуял!

Каляев даже испугался, увидев, что пес ведет по дичи.

Неужели среди шлака, тряпок, старых газет и жирной грязи сидит дичь – сумасшедшая птица, залетевшая на свалку по старой памяти? Каляева пронизало любопытство – увидеть ее. Он побрел следом за собакой.

Цезарь шел странной походкой. «Нездешней», – думалось Каляеву.

Пес не слышал идущего хозяина, хотя промежуток был всего в несколько шагов. И Каляеву показалось, что он идет за Цезарем, будто тень.

Вдруг Цезарь стал. Это была стойка: каталепсия, вытянутость тела. Нос его указывал прямо и точно.

Каляев всматривался, таращил глаза, ища птицу. Но лежала всякая ерунда: банки, камешки. От страшной уверенности Цезаря временами, когда Каляев отводил усталый взгляд, они становились птицами, перебегали на тонких лапах, качали носами, вспархивали.

– Цезарь, Цезарь, – шептал Каляев. – Что ты со мной делаешь…

Тот побрел к следующему бывшему болотцу. И – чует дичь, чует… Вот сбился, вот он берет птицу на чутье низом, по следу (значит, кулик бежал). Но поднял голову, твердо, уверенно взял струю воздуха и пошел.

Он уходил в сумерки – белая шаткая фигура, не то оживший бумажный лист, не то призрак охотничьей собаки.

Каляев подбежал к нему, схватил и отпустил – такое твердое, такое напряженное тело.

А вокруг сумрак, в нем лужи, вобравшие в себя остатки небесного света.

И ревело, светилось шоссе.

Цезарь упорно шел за перепархивающей птицей, делал стойку за стойкой. И Каляев поверил в эту птицу. Он даже видел ее, мелькающую.

Она бесшумна, тень ее расплывчата, словно пролитые чернила. Но она есть, она летит знакомыми местами (как и они, идут ими).

Вот бывшее озерцо Ежевичное. Здесь Цезарь (лет десять назад) делал первую стойку, здесь они нашли убитого кем-то дупеля: он, распластавшись, лежал на воде… Цезарь отдал его Каляеву. Сам, без приказа! А на этом лужке (сейчас заваленном шлаком) они превосходно поохотились в свое время, взяв подряд семь дупелей.

…Взошла луна, большая и нежная. Она бросала призрачный колдовской свет, хотя и стояли на ней автоматические аппараты. (Шоссе тоже теперь казалось светящейся трубой, по которой в город перекачивали автомобильный рев).

Светила луна. Уходило в темноту неприличие свалки. Вспархивали птицы. И плыл в воздухе силуэт Цезаря, колыхаясь, будто лист.

Каляев шел за Цезарем и вспоминал: вот здесь он славно охотился за утками, а здесь стрелял бекасов. По ту сторону озера шел чемпион стенда Макаров, волновался, глядя на них, и давал промах за промахом… Здесь он ударил ночью навскидку в темь, в посвист крыльев, а Цезарь принес ему чирка.

Феноменальный выстрел!

Да, это было.

На насыпи и ночью клали щебенку (рабочие спешили), ему было немного стыдно хлюпать перед ними по этим болотам и стрелять.. Но – охотился. Он ходил по болотам в брезентовых полуботинках, теплая вода вливалась в них и выбегала обратно. Рабочие развели вдоль насыпи костры, и те цепью уходили в темноту. Что-то древнее было в этом. Словно остановилась и заночевала здесь войсковая когорта.

А здесь на болоте шла бархатная ночь с серебряной луной, в ней – белая собака и он сам, молодой. Но поднялся лунный туман и закрыл болото. И они с Цезарем пошли домой.

Пришли, когда кричали воробьи и уже светало. Он не спал, вспоминая ночь, луну, костры, слушал воробьев и посапывание Цезаря.

Бывают теперь лунные туманы? Каляев пригляделся: туман не то поднимался, не то мерещился ему, тонкий и легкий, с запахом дыма. В нем шел Цезарь, в нем носились тени птиц. И Каляев вдруг понял: со смертью Цезаря (а не пришел ли тот сюда прощаться?) уйдет из его суетливой жизни и воспоминание об охотах.

– Будет жаль, – сказал он себе. – Будет жаль.

И та птица прилетела, наверное, сюда проститься. Вздрогнув, Каляев очнулся. Нет, это не лунный туман, это дымит зажженная кем-то куча мусора. Он видит городскую ночную свалку и безумную собаку, бредущую по ней.

Понял – не было здесь птицы, а просто бред старого пса. Никакая птица не смогла бы прятать свое тело на этих плоских и вонючих берегах. И вдруг его обожгло. Он догадался – Цезарь работал по памяти. Он выслеживал тех птиц, что давно были им выслежены и убиты. Он шел среди прежних светлых болот и обходил те кусты, что когда-то росли здесь. Каляев понял: лишь в этой собаке, готовой умереть, живет навсегда ушедший болотный мир. И все озера в нем чисты и прозрачны, а болота ярки. И летают убитые кулики, и он сам идет с ружьем – молодой горячий охотник.

С Цезарем окончательно умрут эти места.

Это ошеломило Каляева. Он остановился, глядел в ночь и чувствовал – теснит и жжет грудь.

Цезарь вдруг охнул и лег. Каляев подбежал к нему. Тот лежал плоско и тихо. Умер?.. Каляев с чувством ужаса тронул его – Цезарь лизнул руку. Жив, жив!

Каляев поднял его: пес был поразительно тяжел. Каляев поправил его голову, чтобы не свисала, и понес. Он прошел между двух луж, миновал кучу лениво дымящегося тряпья, прохрустел по шлаку, звякнув попавшим под ноги железом.

Положив тело Цезаря на жесткую обгорелую траву у дороги, он начал массировать ему грудь.

Он сжимал и разжимал ее, мокрую и липкую. И думал: что там воображают себе шоферы пролетающих машин, видя его и Цезаря?

…Он встал и ощутил затекшую поясницу. Собаку надо увезти. А деньга?.. В грудном кармашке он нашел три рубля. Это хорошо, за эти деньги их подвезут прямо к дому. Зажав трехрублевку, он поднял Цезаря и с ним вышел на дорогу.

Он стал, держа руку так, чтобы трехрублевку освещали фары, но и не вырвал поднятый машинами ветер.

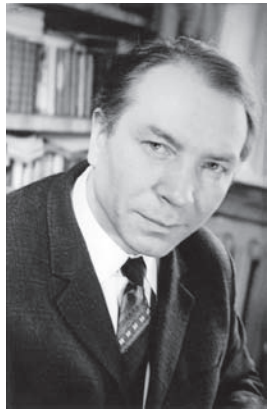
Машины неслись мимо – с грохотом, в вихрях пыли и бензиновой гари. Каляев захлебывался в ней, будто в воде. Яркие фары неслись, втягивались в светящуюся плоть ночного города.

Машины не останавливались. Будто кто-то отгородил Каляева и его собаку от остального мира прозрачной, но твердой стеной. За ней гремели самосвалы, звенели тела легковушек. И впервые за все прошедшие беспокойные, рабочие годы Каляев ощутил себя старым.

Он понял – работая, как черт, много и быстро, он строил мир для других. «Что ж, это правильно, отцы строили нам, а мы детям».

Каляев стоял. Он держал Цезаря на руках (и болота, охоты, молодость свою). Руки его затекли, он боялся уронить собаку.

…Машины ревели.



ЗРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ХУДОЖНИКА

(Василий Михайлович Коньяков)

Прозаик и поэт Василий Михайлович Коньяков родился 19 ноября 1927 года в селе Уфимцево Кемеровской области, в крестьянской семе.

Работал в колхозе, токарем на заводе, служил артиллеристом в армии на Дальнем Востоке, принимал участие в боях против Японии в 1945 году. Окончил Ростовское художественное училище. Преподавал рисование в новосибирских школах. Работал выпускающим «Литературной газеты» в Новосибирске, литературным консультантом в Новосибирской писательской организации.

В литературу В. Коньяков входил как поэт. В 1958 году в «Сибирских огнях» были опубликованы его первые стихи. А в 1962 году там же с повестью «Цвет солнечных бликов» В. Коньяков дебютировал и как прозаик, предопределив тем самым свою дальнейшую литературную судьбу. В том же году повесть эта была издана в Новосибирске отдельной книгой.

В. Коньяков также автор книг «Не прячьте скрипки в футлярах» (1964), «Я родился в деревне» (1967), «Снегири горят на снегу» (1968), «Димка и Журавлев» (1974), «Далекие ветры» (1977), Один раз увидеть» (1988) и др., изданных в Новосибирске и Москве. Член Союза писателей СССР. Лауреат премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского.

Умер 8 сентября 1999 года в Новосибирске.

В своих книгах В. Коньяков проявился как художник очень совестливый, чутко реагирующий на малейшие изменения в общественной атмосфере и душе человеческой. Творческий расцвет В. Коньякова совпал с развитием в стране в 1970-х годах больших социально-экономических преобразований. Но рассматривает их В. Коньяков в первую очередь с точки зрения нравственной отдачи. Поэтому настойчиво звучит в лучших произведениях писателя тревога по поводу дисгармонии между материальным и духовным. Особенно волновало В. Коньякова то, что с ростом материального благополучия ослабевает потребность людей в красоте и духовности. И успешно противостоять этому, как и вообще натиску бездушного техницизма и холодного прагматизма, могут, по убеждению писателя, в первую очередь истинные носители духовности и красоты. Какими, собственно, и являются любимые герои В. Коньякова.

Примечательно, что все они – художники в душе. Как очень точно заметил один из них: «Художник тот, у кого сердце смотрит».

Зрячее сердце художника имел и сам В. Коньяв, умевший не только запечатлевать увиденное в точных емких деталях, неповторимых красках, цвете и объеме, но и проникать в глубинную суть явлений и характеров.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги В. Коньякова:

Повести. – Новосибирск, 1977.
Один раз увидеть. Повести. – М., 1988.

О. В. Коньякове:

Шапошников В. За человека, намеченного в душе. // «Сиб. огни», 1976, №11.
Горшенин А. «У кого сердце смотрит». // Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Василий КОНЯКОВ

ДАЛЕКИЕ ВЕТРЫ

(Отрывки из повести)

Старый плотник Сергей Чесноков вспоминает прожитую жизнь – как приехал он когда-то переселенцем в Сибирь, как отстраивал своими руками ставшую родной деревню Лесновку…

…Начал жизнь в Сибири Сергей с кола. Ничего не привез с собой из Малевки. Все, что удалось продать на старом месте, дало денег только на дорогу.

Всего имущества – у жены юбка с кофтой, а у него зипун из рыжего сукна, штаны да холщевая рубаха. А здесь уже своя землянка в три окна, рядом оградка плетеная под навесом и на утоптанной земле – верстак, стружки да столярный инструмент. Сергей возьмет из темного дерева фуганок, с усилием тронет его по доске, он сам потянет за собой руку, цепко снимая шелестящую стружку. Такого фуганка у Сергея никогда не было, и он любит примерять к его ручке ладонь, чтобы ощутить под ней тяжесть дерева.

Освежает тело прохлада от земли под навесом. Жена несет из-под горы воду на коромысле. Дуня маленькая, и ведра приваливают боками траву вдоль тропинки. Сергей смотрит в лицо жены, ловит ее взгляд, а в глазах готовая насмешка.

Дуня знает, что насмешка эта будет непутева, и заранее готовится сдерживать улыбку, не слышать Сергея, не отвечать. Она не умеет принимать его шутки, заливается стыдом, отворачивается. У нее расставлен шнурок на юбке, округлился живот – скоро будет у них второй ребенок.

Вот и все, что есть у Сергея, хотя живет он в Сибири уже шесть лет…

…Сергею казалось, что есть у него свое, недоступное другим умение. Он стал плотничать. И начали появляться в деревне маленькие пятистенники, приветливые добротой окон.

К сумрачным улицам крупных домов прибавились легкие избы струганных срубов. Первую избу Сергей ставил Махотиным. Стал отделывать косяками окна – полюбил и строганный лес, и этот дом. Дом получился светлым и праздничным, как пустая скорлупа куриного яйца на просвете солнца.

Слышала деревня стук топора и шуршанье фуганка до поздних сумерек. И мужики полюбили этот дом и Сергея в нем – стали заходить к нему вечером – покурить на бревнах, посмотреть из окна, как в тени по дороге стадо коров домой проходит.

Веселый дом получился. До ночи в нем светло. Наделил его плотник своим характером.

Заходят мужики в дом и чувствуют янтарное свечение дерева, будто оно вечером пропускает дневное солнце. Трогают корявыми руками остроганную матицу, створчатую, с выбранными квадратами, дверь, еще не крашенную, ласкающую смоляным запахом. Пыльные мужики в отделанном Сергеем доме и сами становились светлее. Умел находить Сергей верное место окнам. Когда закончил отделку избы, хозяйка Махотина, не осознавая своей похвалы, сказала:

– На что я темноты боюсь, а в этой избе одна ночевать останусь. Ни одного темного угла для страха не оставил.

Сергей улыбнулся…

…Свой дом Сергей ставил последним. Без последнего главного дома деревня живет на полувздохе. Ах, какой это будет дом! Деревня как человек – тоже зреет, строится. То быстро растет, как ребенок, то, набирая подростковую силу, матереет и, возмужав, завершится, поставив последнюю точку. Деревня состоялась. И уж нельзя в ней сломать ни одного дома, нельзя сделать брешь, чтобы не сбить ее полного дыхания.

Сергей знал, что его дом будет последней точкой, конечным венцом. Этот дом должен встать для всех. Без него люди не могут чувствовать законченности всей деревни. И для себя Сергей его видел: выступает смола их сучков тесаных бревен, сползает незатвердевшими жилками янтаря по некрашеным ставням, прохладным на солнце.

Пахнет от ставен скипидаром. На доме – горячее свечение леса.

Душу мужика, проезжающего по деревне, он не отпустит, заставит оглядываться, искать его, увозить с собой и держать долго.

Во дворе у Сергея, рядом с землянкой, восемь венцов срублено, а чуть поодаль пирамида соснового леса, еще не очищенного, в медной чешуе. Любит выходить Сергей к недостроенному дому до восхода солнца. Еще не стучать топором, чтобы не будить до рассвета всю деревню, а посидеть на бревнах…

Сергей сидит, чуть прикрывая глаза, думает. От бревна солнце ударило. Тянет смоляным дымом – жена сосновой щепой печь топит. Сергей берет топор, пробует лезвие. Он не любит на нем зазубрин – тупой топор рвет дерево, и в местах стёса зазубрины оставляют следы, как жилы. А острый, при поперечной рубке, он скалывает тяжелые ломти. Они падают на колени – даже через штаны слышна прохлада дерева.

На стук топора из землянки выходит одной рубахе Ванюшка, останавливается на щепках. Не раскрывая глаза, покачиваясь, мочится. Солнце еще его не разбу3дило. В легкой пыли брызг у его ног лучится радуга.

Закончив, Ванюшка просыпается и видит отца, подбегает, тянет кверху руки.

Отец подхватывает его. Голое тельце такое же золотистое, как дерево. Отец сажает Ванюшку в только что вырубленный паз – Ванюшка тонет в нем, как в гнезде.

– Смотри, Ванюшка, – удивляется отец, – как ты хорошо пришелся. Вот и мы в Сибири с тобой свое место застолбили.

Он поднимает Ванюшку из врубки, опускает на землю.

– А теперь беги.

И, уже отрешившись от всего, берется за топор. Маленький пятистенник тремя окнами к дороге стал. Углы с глубокой вязью, не куцые. Наверху в крыше надстройка выступом, как терем. На глазастое его окошко голубой козырек крыши напущен с резным подзором. Дом – как невеста в кокошнике.

Изредка Сергей окликает Дуню. Она подает ему наверх остроганные тесины, отходит и снизу, из-за стены, чтобы не застал ее Сергей за праздностью, смотрит на него, на потную его рубашку на спине.

Сергею слезать с дома даже вечером не хочется – Он ждет Матвея. Матвей в сумерки, а придет. Как с пашни приедет. И верно. Вон его выцветшая кепка показалась.

Матвей по улице идет неспешно, чуть прихрамывая, потом замедляет шаги, чтобы, начиная еще издалека, рассматривать Сергеев дом и отмечать, как он все больше и больше меняется.

Сидят они рядом. Матвей долго закуривает. У него кисет – сплошная пыль. Затронешь рукой – целый день от пальцев табаком будет пахнуть.

Сергей не курит. Он любит наблюдать в эти минуты за лицом Матвея, ждать. А Матвей медленно растягивает самокрутку, молчит. Он такой, Матвей: то улыбается готовой улыбкой, то серьезно

слушает все, как будто со всем соглашается, молчит, а потом одно слово скажет и все повернет на свою сторону.

– Вот ведь ты что сделал… Поставил этот фонарь на крышу, и он у людей усталость снимает. Они на пашне только на землю под соху смотрят, а ты заставил их вверх посмотреть, глаза от борозды поднять. Хорошо… Как тут пройдешь мимо. Ведь что из дерева сделать можно… Ну… бревна и бревна, ну… тес и тес… лес, одним словом. А ты вместе его собрал, и он смотреть зовет. Я еще одного не пойму…

Матвей задумывается, забывает про самокрутку.

– На каждый дом человек по-разному смотрит. На дом с маленькими окнами – смотрит маленькими глазами, а с большими – нет. Он уже смотрит широкими. В чем тут дело?

Матвей поднимается, идет к избе.

– Ты на каком венце окна поставил? На шестом? Вот высоко, а угадал…

Матвей умолкал, трогал рукой косяки.

– Крепость какая в сосне, и пахнет хорошо – здоровьем. Оттого ты и силен, дьявол. А от земли устаешь… Дурманит… После пахоты до телеги не дойдешь…

Вот этот разговор Сергею и нужен. Ради него он и живет. Он сидит с Матвеем и не столько слушает, сколько вспоминает полосы теней от козырька на дощатой обшивке теремка, утренний проезд мужиков на пашни. Они чуть притормозят около, что-нибудь крикнут с дороги, поприветствуют.

Вспоминает еще: когда полоснет дождь по деревне и все вдруг станет темным, пасмурным – стены изб, крыши, трава вокруг, захлюпает вода на земле, запляшет на мгновенно очерченной дегтярной дороге – во всем последождевом сумраке останется светлой только новенькая изба Сергея.

Льются дождевые потоки с пустых подоконников, они не темнеют, а только сильнее пахнет от мокрого леса смолой.

Перед уходом Матей закуривает еще раз. Глубокая затяжка освещает его лицо и скорбное выражение глаз.

Сергей догадывается – Матвей знает, что у него не хватит в этом году леса на пол и крышу. На следующий год дом не докрытым останется.

Да и не только на следующий…

СНЕГИРИ ГОРЯТ НА СНЕГУ

(Отрывок из повести)

Переживая творческий кризис, художник Уфимцев, главный герой повести, приезжает в родную деревню в надежде, что здесь он зарядится творческой энергией, и поймет, как надо писать современного крестьянина-труженика. Но прежняя деревня ушла в прошлое, а новой он пока не знает. Да и в хорошо вроде бы знакомом Уфимцев не может уловить что-то важное и существенное. Мир не стоит на месте, и время требует от живописца ответить на многие вопросы…

Я сижу перед новым загрунтованным холстом. Я боюсь его, боюсь смотреть на свои старые работы, потому что не сказал на них ничего точного. Я все придумывал. Сколько же лет я не жил в деревне? Армия. Учеба. Работа… Иногда летом наезжал сюда с этюдником, увозил чемодан картонов. В институте ребята завидовали: «У тебя неиссякаемая тема. Ты знаешь деревню». Я тоже так считал… А знал деревню памятью семнадцатилетнего...

В летнюю жару на лугах я метал сухое сено. Оно сыпалось на распаренное лицо, на мокрую спину, кололо и разъедало. От солнца болела голова. А помню я только, как прыгал в неподвижную воду и долго не появлялся, расслабившись, отдыхал и наблюдал за своей тенью на просвеченном сквозь толщу воды песчаном дне. Течение тихо несло меня, неподвижного, распластанного. После обеда с ребятами отнимал черемуху у девчонок. Они кричали, вырывались.

– Ой уж! Вечно…

Смирели, когда оставались без черемухи, обижались притворно. Но мы знали, что им все равно приятно. А потом в тени кустов, лежа животами на вянущем пырее, объедали с веточек ягоды. Язык делался вязок, неповоротлив, и чернели губы.

У тех девчонок теперь по трое детей. За окном по укатанной дороге медленно громыхали два трактора. Передний бойко выкидывал в трубу упругие, долго не исчезавшие колечки, – они падали за плетень в снег. Другой, прицепленный сзади, катился на безжизненных гусеницах. Тракторист подавал на себя рычаги, и трактор заносил массивный перед то в одну, то в другую сторону.

Я накинул телогрейку и пошел к стайке бросить корове сено. Овцы испуганно смотрели из своего угла мне в глаза. В неподвижной дремотности стояла корова. На ее заострившуюся спину намело снег. Она его не чувствовала; наверное, так стояла с ночи, прислушиваясь к тугим сквознякам с огорода. На ее лбу заиндевела шерсть, и за белесыми ресницами чуть видны глаза – водянистые кроткие льдышечки.

Серый зимний день. Я опираюсь на черенок вил и не шевелюсь. Не понимаю, откуда взялась какая-то неясная тоска во мне.

В отверстия метет снег, струится по ветреному гребешку на черных будыльях объеденного сена, стоит корова в мерзлом затишье.

Так отчего же я остановился? Мне бы подняться на лестницу по крыше, скинуть навильник сена, а я смотрю, как свисает с крыши картофельная ботва. Я когда-то это уже видел… Стылую притихшую тоску. Это уже было. Было у меня, в моем детстве. Было в искусстве – у Коровина, у Серова. Серый снег. Серые лошади… Искусство уже переболело этой русской тоской. Оно к нему больше не вернется, не заглянет в деревенские дворы, где неуютно гудят на ветру скворечники по углам изб. Искусство ушло дальше… А жизнь…

Наша живопись давно ли видела эту жизнь, а играла в снежки, в белых халатах доила колхозных коров, перебирала клавиши в сельских клубах и не задумывалась, почему на зимней проселочной дороге оброненный клок сена вдруг заставляет деревенского жителя замедлять шаги и перевернет все думы его. Что он будит в нем, какой является вехой? И я не знаю этого чувства и сейчас стараюсь спугнуть его, как чужеродное и несвойственное мне, будто научился бояться его. А человек, наверное, всегда полон грустью – неясной вестницей дум.

Я стою перед забытым миром и не знаю, чувствует ли то же мама, возвратившись с работы, увидев, как кружится над темным двором метель, или это для нее рядовая обыденность?

Начали замерзать руки. Я перехватил вилы, и отполированный черенок в сухом инее чуть не выскользнул из ладони. Залез на крышу, надергал сена из прикладка, сбросил вниз.

Корова оживилась, набежала на сено, отмахиваясь головой, стараясь поддеть овец рогом. Я раскидал сено по углам. Ветер уже стих. Из молочного неба пробивалось солнце, затеплилось на строганных стенах домов. Ново и непривычно видеть высокие шиферные пирамиды крыш в своей деревне.

Деревня отстроилась. Новые дома с верандами выдвинулись к оградкам из штакетника, а за ними остались старые пятистенные

избы. Стены их выцвели, поседели, а сами они будто ссохлись – так стали малы. Их не ломают – продавать некому. Так и стоят они, тараща слепые окошечки. Вот и наша изба сразу как-то отодвинулась от дороги. У нее пересохли пласты на крыше, ветер выдувает землю, и на углу обнажаются концы осиновых жердей. Изба – моя ровесница, так говорила мама. Только сенцы набраны позже из старых построек.

Когда-то здесь в углу стояли самодельные лыжи из осины. Я проделывал стамеской узенькие канавки, чтобы они оставляли за собой след, как от настоящих, фабричных. Такие лыжи я видел у одного красноармейца, прибывшего домой в отпуск. А крепления к самоделкам отец вырезал из своего ремня.

Нет тех лыж. Нет отца.

Я захожу в избу, раздеваюсь, сажусь на табуретку перед холстом. Так к чему же я готов? Что я знаю?

Моя деревня за окнами. Возит сено тракторами. Все школьники после четырех классов живут в районном городке в общежитии, и каждую субботу выезжает за ними колхозная машина. А я, единственный в те давние годы, окончивший десять классов, ходил в школу каждый день пешком… Учился… Неужели чтобы скидывать корове сено?!

Так что же я думал об искусстве?

От ручек кистей пахнет краской. Тощие тюбики подняли хвостики кверху.

Мне нечего наносить на нетронутый холст. Проникнувшись тоскливым шелестом соломы, написать человека с вилами у заиндевевшей коровы, его одинокую обособленность? И остаться анахроничным.

Для него заснеженный этот двор давно уже имеет другую значимость. Мир, заряженный напряжением мысли, уже давно коснулся самых глубоких закутков его души, раздвинул границы его потребностей.

Выписать человека, забытый двор, изобразить внешние атрибуты жизни, – о, это было бы так просто! А время требует от жизни ответить, что я думаю по поводу этого двора, что думаю по поводу этого человека. Что я думаю по поводу…

ВЕЧНЫЙ ЗОВ РОДИНЫ

(Анатолий Степанович Иванов)

Прозаик, публицист, сценарист, переводчик Анатолий Степанович Иванов родился 5 мая 1928 года в селе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области, в крестьянской семье.

Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета. Работал в газетах «Прииртышская правда», служил в армии – сначала в общевойсковых частях, затем военным журналистом. После демобилизации А. Иванов попал в Новосибирскую область, где несколько лет был редактором мошковской районной газеты «Ленинское знамя». Позже работал редактором Новосибирского книжного издательства, заместителем главного редактора журнала «Сибирские огни».

После переезда в Москву 25 лет возглавлял журнал «Молодая гвардия». Член Союза писателей СССР. Избирался членом правления и секретарем Союза писателей СССР и РСФСР, депутатом Верховного Совета СССР.

Как прозаик А. Иванов дебютировал в журнале «Крестьянка» в 1954 году. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Огонек», «Москва», «Молодая гвардия» и др. В 1956 году вышла в Новосибирске его первая книга «Алкины песни». Автор многих книг прозы, общий тираж которых перевалил за 30 миллионов экземпляров. Переведен на все основные языки мира, издавался на всех континентах.

Творчество А. Иванова отмечено Государственными премиями: РСФСР им. М. Горького – за первую книгу «Вечного зова» (1971) и СССР – как соавтора киносценария телесериала «Вечный зов» (1979). За участие в экранизации романа Г. Маркова «Отец и сын» А. Иванов был отмечен премией Ленинского комсомола (1978). В 1994 году А. Иванов был удостоен премии им. М.А. Шолохова. А. Иванов – Герой Социалистического Труда. Награжден болгарским орденом Кирилла и Мефодия I степени.

В 2001 году А. Иванову присуждено почетное звание «Гражданин XX столетия в Новосибирской области». На доме, где он жил (рядом с мэрией) установлена мемориальная доска.

Умер 31 мая 1999 года в Москве.

В русской литературе второй половины XX века А. Иванов – один из наиболее популярных писателей. Первыми его крупными произведениями были романы «Повитель» (1958) и «Тени исчезают в полдень» (1964). Они посвящены главным образом развенчанию частнособственнической психологии и морали, чуждых социалистической идеологии. Но самым крупным и значительным сочинением А. Иванова стал роман-эпопея «Вечный зов». Важнейшие события почти семи десятилетий XX столетия, насыщенные острыми социальными конфликтами, определяют в повествовании судьбы трех поколений одной сибирской семьи. Через события в селах Шантара и Михайловка легко просматривается история страны, ощущается трагическое и героическое ее дыхание. Помимо предреволюционного подполья, революции, Гражданской войны, строительства первых пятилеток, многие действующие лица эпопеи проходят испытание в горниле Великой Отечественной войны.

Размышляя об этой своей книге, А. Иванов писал: «Социальные катаклизмы, пережитые нашими народами, породили и характеры неисчислимых оттенков и необозримых диапазонов – от эпически легендарных до отвратительно мерзких...». И многочисленные персонажи «Вечного зова» данные слова их создателя достаточно красноречиво подтверждают.

Судьбы большинства героев А. Иванова географически и духовно связаны с Сибирью. Здесь они родились, росли, трудились, защищали эту землю и в нее же уходили навечно. Герои А. Иванова, как правило, выписаны с немалой художественной силой. Они узнаваемы, правдивы, отражают наиболее существенные черты русского народа. Подкупает и эпическая обстоятельность романов А. Иванова, пристальное внимание к деталям и подробностям жизни и быта. Особенность творческой манеры А. Иванова, которую он демонстрировал во всех своих произведениях, в том и заключалась, что через скрупулезное исследование характеров, обстоятельств и деталей писатель старался передать и показать столкновение противоположных социальных миров.

В 1970 – 1980-х годах А. Иванов обращается к жанру повести: «Вражда», «Печаль полей» (обе – 1981), «Повесть о несбывшейся любви» (1982) и др. При всем традиционном для А. Иванова драматизме содержания в них усиливается лирическое начало и поэтическое мироощущение.

Проза А. Иванова, отличающаяся остроконфликтностью и «заселенностью» яркими сложными персонажами, очень драматургична по своей основе. Не случайно многие сочинения писателя получили сценическую и экранную жизнь. Экранизированы были романы «Повитель», «Тени исчезают в полдень», повести «Жизнь на грешной земле» и «Ермак». А телесериал «Вечный зов» до сих пор собирает миллионы телезрителей.

А. Иванов проявился не только на прозаическом поприще В книге «Живая красота творчества» (1985) он предстает как темпераментный публицист, обеспокоенный судьбой отечества и духовным здоровьем нации. В очерках и статьях, посвященных творчеству А.Толстого, Л. Леонова, Вяч. Шишкова, Е. Пермитина, Г. Маркова К. Седых и др. А. Иванов демонстрирует еще и дар критика.

Пробовал себя А. Иванов также в качестве переводчика. Им переведен на русский язык роман болгарского писателя Славы Христова Караславова «Восставшие из пепла» (1984). Произведения А. Иванова не раз находились в центре острых полемик. Писателя обвиняли в «нционализме», «консерватизме» и т. п. Тем не менее, творчество его продолжает пользоваться большим читательским спросом.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги А. Иванова:

Сочинения: Собр. соч. в 5 т. – М., 1979 – 1980.
То же. – М., 1996.
Вечный зов. Роман в 2-х книгах. – Новосибирск, 1982.
Повитель. Роман – М., 1986.

Об А. Иванове:

Мостков Ю. Анатолий Иванов. («Литературный портрет»). – Новосибирск, 1969.
Леонов Б. Зов жизни (Очерк творчества А. Иванова). – М., 1979.
Бекедин П. Иванов Анатолий Степанович. // Русские писатели. XX век. Биобиблиографический словарь в 2 т. – М., 1998. Т. 1.

Анатолий ИВАНОВ

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

(Отрывок из романа)

* * *

Зеленая котловина… находилась где-то среди каменных теснин Звенигоры. Это было нечто вроде высокогорного луга, поросшего буйными, никогда не мятыми травами, окруженного гладкими отвесными скалами, из-под которых во многих местах били холодные ключи. Туда вела единственная горная тропа, она вилась по каменистым карнизам над бездонными пропастями, по ней можно было только пройти по одному, да в крайнем случае провести в поводу лошадь.

Старики, боясь, что ребятишки соблазнятся этой котловиной, пойдут и погибнут, дорогу туда держали в строгом секрете. Кружилин, выросший в Михаловке в детстве несколько раз пытался найти начало этой таинственной горной тропы, но безрезультатно.

Расчет Кружилина был прост. В голых каменных ущельях белогвардейцы все равно их скоро перебьют. Если же удастся проникнуть в неприступную котловину, ведущую туда единственную узкую тропинку оставшимися боеприпасами можно держать долго, очень долго. А там…

Но что «там», Кружилин не мог знать и старался об этом не думать.

Солнце было еще довольно высоко, когда Кружилин, Алейников, Федор и Силантий Савельевы слезли с брички у подножья Звенигоры. Старик, кряхтя, огляделся, опираясь на костыль, тяжело дыша, полез вверх. Шагов через пятьсот остановился, огляделся.

– Ну, вот тут, кажись. По этой осыпи идите. Бревна и плахи с собой возьмите. Саженей через сорок осыпь кончится, как раз перед пропастью. Глыбокая она страсть, а неширокая, сажени в две. А за ней тропа и начинается. Бревнышки перекинете, плашек поперек настелете – перейдете легонько даже с лошадями. А там тропа до места вас доведет, ежели не порушилась за эти-то годы. А я обратно потрясусь, тяжко мне… И только будто впервые увидел сына, обнял его: – Прощай, что ли, сынок, храни тебя господь.

– Может, с нами все же, Силантий Иваныч? – предложил Кружилин.

– Нет, уж куда мне. А вы поспешайте.

И спустился к бричке, влез на нее, поехал в деревню, мимо подходивших и подъезжавших к Звенигоре партизан.

К исходу дня, побросав бесполезные теперь повозки, унося на руках раненых, уводя в поводу упиравшихся всхрапывающих лошадей, остатки отряда Кружилина скрылись в горах.

Ух как рассвирепел полковник Зубов, тонкий высокий человек с тугими, чисто выбритыми щеками, поняв, что Кружилин ушел от него! Нашелся кто-то из деревенских, доложил о старом Силантии. Зубов, страшный в гневе, поздно вечером прискакал в деревню, бросил поводья своему сыну Петьке, мальчишке лет десяти-двенадцати, все время находившимся при отце вроде ординарца, заскочил в избу Савельева.

– Скотина! – Он дважды полоснул старика плетью. Крепкие щеки Зубова тряслись, как студень. – Взять его! Засечь насмерть! При всем народе!

– Помилуйте, батюшка! – повалилась в ноги ему Устинья. – Заставили его, как откажешься? Помилуйте! Ведь сын мой, Иван, у вас служит. Сын. Ванька… Ваше благородие?!

– Ма-алчать! – багровея, закричал Зубов. – Какой еще сын? Ты кто такая? И эту взять!

Сечь Силантия и Устинью все-таки не стали. Больше недели обоих продержали под арестом в крепкой кафтановской завозне. А потом Зубов распорядился их повесить

* * *

Иван Савельев, младший сын Силантьева, русоволосый, поджарый, как гончая собака, с длинными руками, за преданность Кафтанову был при нем коноводом, кучером, телохранителем. Он старательно и безропотно нес все обязанности, ибо Кафтанов давно, еще до восемнадцатого года, обещал отдать за него свою единственную дочь Анну.

Весной восемнадцатого года, когда началась вся эта кровавая карусель, Анна исчезла из деревни, оказалась вместе с Федором в партизанском отряде Кружилина.

– С-сучка! – коротко сказал бельмастый сын Кафтанова Зиновий, узнав об этом, и другой, здоровый глаз его страшно сверкнул. – И любовь у нее сучья. Как за кобелем, за братом твоим Федькой все бегала. И сейчас…

Бегала. Иван это знал. Кафтанов тогда не единожды самолично сек дочь и таскал за волосы, пробуя отвадить ее от Федора, но это мало помогало. В те времена обещать-то обещал Кафтанов отдать за Ивана, своего работника, Анну, но – видел и понимал Иван – медлил, колебался. А когда Анна оказалась в партизанах, у Михаила Лукича аж дыбом поднялась борода, красные прожилки в глазах стали еще толще. И он сказал со страшным спокойствием:

– Служи, Иван. А ее, Аньку, достанем… Кину ее к твоим ногам. Хочешь – топчи ее до смерти, хочешь – милуй. Дело твое. Слово даю.

Год прошел с тех пор, но достать Анну, дочь свою, Кафтанов все никак не мог. Да и что получится, если достанет, если «кинет» Кафтанов дочь свою к его ногам? – невесело размышлял Иван все чаще. Пойманный как-то кружилинский партизан, которого, по приказу Кафтанова, Иван повел расстреливать, рассказал ему, что Анна наравне с мужиками служит в Федоровом эскадроне, в боях, даже в самом пекле держится всегда возле Федора, оберегая всячески его от пуль и шашек.

– А жить, как мужик с бабой, вроде не живут, нет, незаметно. Это и дивно всем, – говорил партизан. – А мне не диво. Анна – девка, каких и не бывает теперя, до свадьбы – режь – не позволит ничего такого.

Партизана того Иван расстреливать не стал, отпустил на свой страх и риск (Кафтанов, узнай об этом, самого Ивана бы расстрелял). Партизан, кривоногий мужичок из деревни Казанихи, обрадовался, сказал:

– Дык, можа, и ты айда к нам? К Кружилину-то?

– Куда-а… Заплутался я, брат, до конца, как рябчик в силке. Федор, братец, самолично меня зарубит.

– Что Федор! У нас Кружилин Поликарп над всеми командир. Он мужик понимающий, душевный.

– Ты иди-ка. Пока я и в самом деле тебя не шлепнул! – вдруг, рассердясь, крикнул Иван.

И с того дня Иван все скучнел, чернел лицом, сделался вялым. Ночами его не брал сон, ворочаясь, он все думал: отчего же он запутался, кто в этом виноват? Сам ли он со своей любовью к Анне, Анна ли, отказавшая ему в своих чувствах, Кафтанов ли, обещавший отдать за него Анну, время ли, суматошное и кровавое, все перепутавшее! Или все это, вместе взятое?

Ответить на это Иван себе не мог.

* * *

Узнав, что Зубов распорядился повесить отца и мать, Иван побледнел, закачался.

– Михаил Лукич!

– Ну! – крикнул Кафтанов. – Что я могу? Надо ему было, старому черту, дорогу в эту котловину показывать? Как теперь партизан взять?

Партизан действительно было не взять. Узкий каменный карниз день и ночь охранял караул из нескольких человек. Как рассказывали, несколько партизан лежали на крохотной площадке за сооруженным из камней бруствером и едва впереди показывался белогвардеец, кто-нибудь их партизан не спеша прицеливался и стрелял. Белогвардеец отваливался от каменной стены и, болтая руками, летел в пропасть. Только и всего.

– Тогда я сам… сам пойду к полковнику, попрошу его.

– Давай, – усмехнулся Кафтанов. – Про Мишку Косоротова слыхал? Он тебя живо в его лапы отдаст.

Про какого-то Косоротова в отряде Кафтанова ходили страшные слухи. Видеть его никто не видел, но было известно, что в разведроте полка есть некий гражданский человек, мастер-палач, умеющий заставить говорить любого пленного. И толковали про такие подробности – действительные ли, выдуманные ли, – от которых в жилах стыла кровь.

Загнав партизан в Зеленую котловину, убедившись в невозможности их оттуда выбить, Зубов решил уморить их голодом. Он оставил у подножья Звенигоры батальон солдат, остальных отвел на отдых в Михайловку. Сам, взяв на всякий случай для охраны роту солдат и кавалерийский эскадрон, уехал на кафтановскую заимку, в Огневские ключи.

На этой заимке, верстах в двадцати от Михайловки, на берегу глубокого и светлого таежного озера стоял большой, в несколько комнат, дом, рядом баня, три-четыре сарая, конюшня. Место было глухое, дикое, когда-то Кафтанов устраивал тут пьяные кутежи с женщинами. Теперь стояла здесь тишина, в конюшне только побрякивали удилами нерасседланные лошади да бесшумно сновали по затравеневшему двору полковничьи ординарцы. Сам полковник, хмурый, неразговорчивый, уже несколько дней подряд со своим малолетним сыном ловил с лодки рыбу.

Кафтанов, боясь, что его люди будут тревожить пьяными криками отдых полковника, тоже расквартировал их в Михайловке, с собой на заимку взял лишь Ивана да Зиновия.

Утром 13 июля, несмотря на зловещее предупреждение Кафтанова, Иван, чувствуя, как холодеет в животе, подошел к двери самой большой комнаты, перевел дух, стукнул два раза и, дождавшись ответа, шагнул через порог.

Зубов с сыном завтракали. Полковник не раз видевший до этого Ивана, удивленно поглядел на него, долго не мог понять, чего он хочет. А когда понял, начал багроветь.

– Вон как! Этот… этот – твой отец?

– Ваше высокоблагородие! – взмолился Иван. – Старик же… из ума выжил.

– Во-он! – закричал полковник, срывая с шеи салфетку, комкая ее.

Иван не помнил, как выскочил из дома, сел на лавку у стены, зажал руками пылающую голову.

И час спустя он сидел так же. Зубов, выйдя с удочками, крикнул:

– Савельев!

Иван встал.

– Что служишь верно – хвалю. Отец будет… будет наказан. А мать помилуем, не виновата… Я послал сказать.

И ушел с удочками на озеро. А Иван стоял и стоял столбом, и казалось, будет так стоять вечно.

* * *

Согнанные к тополю люди волновались, слышались невнятный ропот и женский плач. И вдруг все смолкло, толпа замерла в оцепенении – Вели Силантия и Устинью.

Старик шел твердо, обиженно поджав губы, глядя прямо перед собой. Устинья плелась чуть сзади мужа, озиралась вокруг, будто не понимая, зачем собралась тут огромная толпа. Увидев болтающиеся на суку петли, она вскрикнула и осела в придорожную пыль. Два белогвардейца взяли ее под руки, поволокли под дерево.

В толпе людей недалеко от тополя стоял в рваном армяке Яков Алейников, поглаживая дрожащей рукой приклеенную бороду, угрюмо смотрел, как белогвардейцы устанавливают под деревом скамейку. Больше трех суток подряд, ободрав в кровь руки и ноги, он лазил по скалам, окружавшим Зеленую котловину, соображая, нельзя ли где спуститься вниз. И нашел-таки более или менее пригодное для этого место. Сегодня ночью, под покровом темноты, связав несколько ременных вожжей, он спустился по отвесной

скале почти с пятидесятисаженной высоты и к утру был в избе михайловского мужика Петрована Головлева, который и раньше оказывал партизанским разведчикам кое-какие услуги.

Когда стали сгонять на казнь, Головлев хотел спрятать Алейникова в подпол, но отчаянный Яшка сказал:

– А пойдем глянем, чтоб злее быть.

– А признают как?

– Ну, тебя не выдам, не бойся.

Неожиданно толпа раздалась, пропуская конника. Ординарец Зубова спешился, сказал что-то одному из белогвардейцев. Тот подошел к Устинье, сидевшей под деревом, поднял ее тычками и молча толкнул в толпу.

– Помилована, что ли? – проговорила женщина с ребенком возле Алейникова.

– Должно, – ответил другой голос. – Може, и Силантия…

Но Силантия тот же белогвардеец ставил на скамейку. Потом и сам встал на нее, накинул петлю на худую, морщинистую шею старика, соскочил на землю.

– Прощайся, что ли с людьми, старик, – сказал он негромко.

– А? – переспросил Силантий. – Счас… – И задумался, опустив голову. Потом поднял ее и сказал: – Ну-к что… Вы Ваньше-то обскажите, как отец сгинул…

Толпа жадно выслушала эти слова и вдруг опять заволновалась, загудела.

Будто испугавшись этого, белогвардеец толкнул ногой скамейку из-под старика.

– Силантий! – раздался обессиленный крик Устиньи. – Родимый!

И потонул в жутком стоне толпы.

* * *

Яков Алейниколв вернулся в Зеленую котловину через несколько дней на рассвете. Дежурившие на скале Федор и Данило Кошкин, тот самый сын новониколаевского тюремного конвоира, разошедшийся с отцом «по идейным мировоззрениям», втащили его наверх.

– Яковы бывают всякие, а таковский – один на свете, – сказал он довольно. Потом помрачнел. – Отца твоего повесили, Федор.

– Батьку?! – вскрикнул тот и, точно сваренный сел на остывший за ночь гранит.

Утром Яков Алейников предложил дерзкий и отчаянный план.

– Выход из котловины сторожит всего-то жалкий полуэскадронишко. Сперва до батальона солдат внизу стояло. Потом сообразили: им нас не взять, но и нам не выйти отсюда. Разобрали наш мосток через расселину и все почти ушли в Михайловку. Под горой всего двенадцать человек оставили, я их поштучно пересчитал. По двое в карауле сидят, остальные дрыхнут. Кони их рядом, на луговине пасутся. Весь полк и банда Кафтанова в Михайловке. Сам Зубов с Кафтановым на заимке в Огневских ключах. В бане парятся да рыбу ловят. Правда, с ними там кавалеристов с эскадрон да рота солдат. А на дороге через Журавлиные болота сейчас всего лишь пулеметная застава стоит. Но эта застава что! Я ее со своими разведчиками на себя беру, без шуму ликвидируем. Короче, предлагаю: десятка два партизан спустить ночью со скалы на веревках. Этих двенадцать, да еще сонных, шашками изрубить – плевое дело. Выведем отряд – и на Огневские ключи! Поспеем на заимку к рассвету, – а должны поспеть, чего там! – опять же сонную зубовскую охрану играючи перерубим – и снова в тайгу. А там – ищи-свищи!

Возле шалаша Кружилина на примятой траве сидели пятеро: Алейников, сам Кружилин, его заместитель Панкрат Назаров, бывший наборщик одной из новониколаевских типографий Корней Баулин и бывший городской извозчик Василий Засухин. Баулин, Засухин и долговязый еврей Данило Кошкин после организации побега Антона Савельева, спасаясь о лап белогвардейской контрразведки, вынуждены были, по совету Субботина, скрыться из города. Оказавшись в Громотухинских лесах, они год еще назад пристали к кружилинскому отряду. Теперь Баулин, немногословный человек с изъеденными свинцом руками, был чем-то вроде начальника штаба. Засухин ведал продовольственными делами в отряде. Кошкин служил в эскадроне Федора.

Вставало где-то солнце, золотило каменные вершины. На дне котловины, усеянном шалашами и палатками, было холодно, как в глубоком колодце, при дыхании изо рта вырывался парок. Росы не было, однако со дна котловины поднимался туман, лизал отвесные скалы. Меж шалашей и палаток паслись лошади. Партизаны, просыпаясь, кое-как разводили костры из сырых веток.

Яков Алейников излагал свой план убежденно и весело, будто осуществить его было проще простого. Но все понимали: на словах гладко, а на деле может получиться совсем другое. И молчали пока, думал.

– Да-а, – протянул наконец всегда осторожный Корней Баулин. – Оно у тебя ловко все, Яков. И вышло бы ничего, кабы драться

было чем. А вдруг кому удастся с полуэскадрона этого на коня все же да в Михайловку? Поднимет полк, а мы только с дыры этой каменной выползем. В лапшу же искрошат.

– Риск, – согласился Яшка и пожал плечами, как бы удивляясь, что Баулин этого не понимает.

– Или заставу на Огневской дороге не удастся целиком снять, – подал голос Назаров. – Подадут сигнал на заимку, эскадрон прискачет, за ним – пешая рота, заткнут дорогу на топях. А с тылу и весь полк подоспеет. А? Тут не то что в лапшу – в кашу перемешают. Или сами в болоте перетопнем.

– На войне всегда риск, говорю, – хмуро ответил Алейников. – Ну, предположим, с заимки и эскадрон и рота поспеют. Сомнем с ходу. Сомнем! Им ведь тоже на узкой дороге не шибко развернуться. Десятка два гранат у нас еще осталось. Закидаем и прорвемся, хотя много людей потерять можем на таком повороте. Главное – с этого полуэскадрона, что под горой, никого не упустить, чтобы полк не подняли. Но в крайнем случае, что ж? Упустим хоть одного если, уберемся назад в котловину, только и всего. А пробовать надо. Надо!

Да, пробовать было надо, это понимали все. Раненые без лекарств умирали, девятерых уже похоронили, скудные харчи, захваченные из Михайловки, подходили к концу. Кружилин распорядился вчера забить на мясо двух лошадей. На жалких остатках муки, на лошадином мясе можно было продержаться ну еще две недели, ну пускай даже месяц. А потом что? Голодная смерть…

Около часа рядили так и сяк. Засухин высказал предположение – в течение нескольких ночей группами спуститься со скалы, как это сделал Алейников, по одному, по двое скрыться, рассосаться по окрестным лесам, а потом глее-то в условленном месте собраться. Это предложение обсудили и отвергли: стоило кому-то из партизан попасться в лапы Зубова и не выдержать допроса (а люди в отряде всякие) – и конец отряду, этот единственный путь к спасению будет отрезан, новое место сосредоточения будет известно… Да и раненых в отряде порядочно – как с ними?

Еще через час план Алейникова был обсужден на общем собрании отряда и принят.

* * *

К вечеру небо над котловиной закрылось, как крышкой, облаками – погода благоприятствовала партизанам. Под командой самого Алейникова еще засветло опустили вниз на веревках и

вожжах ровно двадцать человек. Спустившись последним, Яков около часа вел людей по глухому ущелью, потом – сквозь какие-то заросли, и наконец они оказались у самого подножья Звенигоры.

Белогвардейский полуэскадрон, охранявший выход из Зеленой котловины, ликвидировали бесшумно, изрубив спящих людей шашками. Только двое, находившиеся непосредственно в карауле, по разу выстрелили из винтовок. Но тут же были уложены Алейниковым. Одного он наискось рубанул шашкой. Другого, кинувшегося бежать, достал пулей из маузера. Эти три выстрела хлопнули гулко, эхо пошло по горам.

А Поликарп Кружилин уже вел отряд по узкому карнизу из котловины.

При свете разложенного еще белогвардейскими караульными костерка партизаны стали торопливо восстанавливать разобранный мост через расселину, четверо бросились ловить стреноженных неподалеку лошадей.

– Ловко, а! Вот они, все двенадцать, – возбужденный еще схваткой, сказал Яков Кружилину, когда тот по первому уложенному бревну перескочил через расселину. – Ты давай поспешай с отрядом, а я пулеметную заставу на дороге сниму пока. Там их всего пятеро.

– Гляди, Яков, – сказал Кружилин тревожно.

– Ништо. Я выведал, как подобраться к ним. Веди людей смело.

И с десятью партизанами ускакал в темноту.

Все было пока тихо, фыркали только лошади, стучали копытами по наскоро сооруженному настилу через пропасть, суетились люди. Часть брошенных отрядом под горой повозок белогвардейцы угнали, часть изрубили на топливо для костров. Теперь партизаны отыскивали уцелевшие телеги и брички, впрягали в них лошадей. Кое-как погрузили раненых, растянувшись почти на полкилометра, двинулись в кромешную темноту.

На душе у Кружилина было тревожно – чем кончится их дерзкий план? Ведь они безоружны, беспомощны, стоит самому захудалому одиночному белогвардейцу, блукающему зачем-нибудь по степи, наткнуться на отряд, поскакать в Михайловку, поднять тревогу… В плане Алейникова это не предусмотрено, а ведь может случиться. И тогда…

Кружилин вздрагивал, кожу его обдирал мороз.

Отряд двигался в ночной тиши уже больше часа голой степью, потом начались перелески. Кружилин чуть успокоился – все-таки лес. Скоро и Журавлиные болота, а от Яшки ни слуху ни духу. Что там у него? Удалось ли ему снять пулеметную заставу?

Алейников появился из темноты неожиданно и бесшумно, будто лошадь его ступала не по земле, а летела по воздуху.

– Пор-рядок! – воскликнул он, и Кружилин облегченно вздохнул. – Сонные тетери! Вымокли только все мы, вплавь пришлось к ним подбираться. Во что бы переодеться мне?

– А пулемет ихний?

– Порядок, говорю. И коробки с лентами – десятка полтора!

Это было уже почти спасение. Теперь если даже и кинется за ними весь белогвардейский полк, на узкой дороге его можно держать долго, достаточно для того, чтобы отряд мог смять находившийся на заимке при Зубове эскадрон и пехотинцев и скрыться в таежных дебрях, начинавшихся сразу за Журавлихинскими болотами.

* * *

«Батьку повесили… Батьку!» – весь прошедший день звенело в голове у Федора. Он ушел в палатку, лег там и лежал до вечера не шевелясь. Анна трижды – утром, в обед и вечером – приносила ему жиденькую мучную похлебку, но он отталкивал миску, бросал сквозь зубы:

– Уходи.

Выбираясь по каменному карнизу из Зеленой котловины, Федор оступился, чуть не загремел в пропасть вместе с лошадью. Анна, шедшая сзади, пронзительно вскрикнула, а Федор спокойно сказал:

– Тихо. Рано мне еще погибать.

А про себя стал думать: «Да, рано… Только бы до Огневской заимки добраться! Ванька, может, там. Раз Кафтанов там, и Ванька должен при нем быть… Доберусь я до тебя, сволочуга!»

Потом эта мысль о брате Иване уже не покидала его.

Когда подошли к заимке, близился рассвет. При ясной погоде небо на востоке уже засинело бы, а сейчас, заложенное тучами, оно было черно и непроницаемо. Но ночь ли стояла, день ли светил бы – Федору неважно. Заимка – вот она, блестит недалеко за деревьями тусклый ночник в каком-то окошке. Уже вынули партизаны шашки, и Федор выдернул свою из ножен, расстегнул кобуру нагана. А Яков Алейников все говорит про какие-то сараи, где спят белогвардейцы, про какого-то Зубова, которого ни в коем случае нельзя упустить. Анна на своей низкорослой гнедой лошаденке, как всегда, рядом с ним, шепчет, как всегда вполголоса: «Федя, берегись, ради бога, осторожней…» А для чего ему остерегаться, на

черта этот полковник Зубов?! Только бы ему с братцем Ванькой встретиться! Где Кружилин или Назаров, чего не подают команды?

Кружилина или Назарова он так и не увидел, никакой команды не услышал. Неожиданно сбоку забил, распарывая тишину, пулемет, ухнул гранатный разрыв. Ночник в кафтановском доме мигнул и разгорелся еще ярче. «Вперед!» – заорал визгливо Яшка, и Федор закричал таким же голосом своему эскадрону, бросая к заимке лошадь:

– За мно-ой!

А потом все слилось в тяжелый гул, свистящий огненный вихрь. Яростно, как порох, горела какая-то постройка. Федор мотался по освещенному двору заимки, рубил, словно специально выскакивающих на него полусонных, полураздетых белогвардейцев. Мелькали перед ним знакомые, искаженные боем лица Данилы Кошкина, Кирьяна Инютина и других бойцов его эскадрона, скакала следом в неизменной своей кожанке, с наганом в руке Анна. Она всегда, в любом бою, в любой рубке, находилась рядом вот так же с наганом в руке и раза два, кажется, спасала его от верной смерти.

Неожиданно Федор почувствовал: Анны рядом с ним нету. Он сдержал разгоряченную лошадь, оглянулся. И увидел: в полусотне шагов от него бился застреленный под Анной конь, сама Анна пыталась вынуть из стремени ногу. Данило Кошкин, спешившись, помогал ей, а из-за угла, горевшей смоляным факелом конюшни, припав на колено, в Анну и Кошкина торопливо бил из винтовки белогвардеец. «Убьет ведь, убьет!» Федор выхватил из кобуры наган. Но выстрелить не успел – из-за конюшни, из клубов огня и дыма, вылетел Алейников, в отсветах пламени бесшумно, как всплеск молнии, блеснула его шашка, белогвардеец выронил винтовку, клюнул головой в землю и неспешно вытянулся, будто укладывался спать. А Яков дико закричал:

– Федор, за окнами глядеть! В доме Зубов с Кафтановым, не упустите!

И, спрыгнув с лошади, заскочил на крыльцо, ударил плечом в запертую дверь. Федор поднял лошадь на дыбы, через мгновение оказался на другой стороне дома. Окна были темными, лишь одно, под которым стояла врытая в землю скамейка, ярко горело, по белой занавеске метались какие-то тени. Федору показалось вдруг, что одна из фигур похожа на Ванькину. Только показалось, но этого было достаточно. Не думая об опасности, он прыгнул с коня на эту скамейку, плечом саданул окно, рванул и отбросил легкую занавеску…

И, стоя на подоконнике, слыша, как вокруг него со звоном осыпаются стекла, зарычал торжествующе: перед ним, приклеившись спиной к стене, стоял с маузером в руке Кафтанов, в углу – какой-то рослый худой человек с обнаженной шашкой, в наспех накинутом полковничьем кителе, к нему прижимался насмерть перепуганный мальчонка лет десяти-двенадцати, тоже в офицерской форме, сшитой по росту, только без погон, а у дверей – он, брат Ванька! Ванька тоже был вооружен, опустив руку с наганом, удивленно, ошалело глядел на брата, моргал большими круглыми глазами…

* * *

Почти весь сентябрь 1919 года в верховьях Громотухи барабанили дожди с ветром; рано пожелтевшие деревья обхлестало, а потом погода установилась, засветило холодное солнце, пронизывая обредевшие леса, с трудом обсушивая мокрую землю.

Шла в отлет птица. С утра до вечера небо со свистом чертили тонкие утиные ниточки, бесшумно и лениво махали крыльями стаи отяжелевших за лето гусей, и уже совсем грузно проплывали журавлиные косяки, тоскливо оглашая тайгу медноголосым криком.

Иван сидел на каком-то сундуке в душной маленькой комнатушке, слушал, опустив голову, эти крики, проникающие сюда даже сквозь двойные рамы, молчал. Молчала и Анна, сжавшись, как зверек, на кровати, подобрав под себя ноги. За окном комнатушки маячил караульный, то ходил взад и вперед, то садился на завалинку, курил, часто сплевывая на землю.

В бледном, болезненном лице Анны не было ничего живого, вместо серых глаз – холодные клочья перегоревшего пепла. Только черные зрачки еще не перегорели, еще пылали и больно жгли Ивана.

– Не гляди так, Анна, – попросил Иван, еще ниже опуская голову.

– А как на тебя глядеть? – иссохшие ее губы шевельнулись брезгливо.

Иван замотал головой, застонал:

– Размолола ты мою жизнь, проклятая! Раздавила, как помидор сапогом!

– Гляди, зайдешься и не отойдешь.

– Обвенчаемся, Ань! – умоляюще крикнул Иван, – вставая. – Жить будем – ветру не дам пахнуть на тебя.

– Нет уж… Лучше в петлю пускай меня, как отца твоего.

– Анна!

– А ты посильней попроси любви-то моей, – насмешливо сказала она. – Кто знает, может, выпросишь!

Такой разговор проходил уже не раз. Иван вышел из комнаты на улицу, сел у стены на жиденьком солнечном припеке. Крики улетавших журавлей были здесь явственней, громче и оттого казались еще тоскливее.

Деревушка Зятькова Балка, в которой вот уже две недели стоял отряд Кафтанова, укрывшись здесь от партизан, лежала на косогоре, редкие, беспорядочно разбросанные домишки стояли криво, и было странно, как они держатся на крутом уклоне. Казалось: дунет пошибче ветер – и все домишки, будто пустые коробки, скатятся в эту самую Зяткову Балку – глубокий глинистый овраг, надвое разрезающий тайгу.

На косогоре, на самом гребне, показались четверо всадников. Это были сам Кафтанов, его бельмастый сын Зиновий, бывший михайловский староста Демьян Инютин и тот самый таинственный Косоротов, о котором рассказывали страшные легенды.

Вчера вечером какой-то мужичонка прискакал из соседней деревни Парфеново, сообщил, что туда нахлынули партизаны.

– Обкладывают опять, сволочи! – выругался Кафтанов и, никому не доверив, самолично решил разведать ночью, сколько в Парфенове партизан, взяв с собой самых верных людей.

Иван тоже был в числе верных, но он оставил его при Анне, захваченной десять дней назад в плен бывшим тюремным надзирателем Косоротовым.

– Сторожем и женихом оставляю, – усмехнулся Кафтанов. – А к утру чтобы мужем стал.

Подскакав к дому, возле которого сидел Иван, Кафтанов глянул на него красными от бессонницы глазами:

– Ну? Зятем, что ли, назвать можно?

– Не соглашается она.

– Я ж позволил – силком бери ее, сучку…

– Не могу я так. Не могу, – мотнул головой Иван.

– С-сопля! – Свалявшаяся в клочья рыжая борода Кафтанова затряслась. – Ну, не обессудь. Я свое слово выполнил.

Кафтанов, Зиновий и Косоротов ушли в дом, Демьян Инютин ловко перекинул через коня пристегнутую к левому колену деревяшку, сполз на землю, поковылял, переваливаясь, как утка, повел всех лошадей под навес. Проходя обратно, сказал:

– Сумной ты давно, гляжу. Значит, коловерть в голове зачалась. Куда она тебе доколовертит, а? Вот об чем бы Михаилу Лукичу подумать. – И, подождав чего-то, прибавил: – Только знай – у меня с Михайлой Косоротовым ты с глазу не соскочишь.

– Ты-ы! – взревел Иван, вскочил, выдернул до половины шашку…

…Коловерть началась, другим ли каким словом можно было назвать то, что с ним происходило, но происходило. Иван Силантьев это чувствовал давно…

Впервые он сказал об этом вслух тому кружилинскому партизану, которого повел расстреливать, а потом отпустил. Партизан рысью убежал в лес. Иван для порядка, чтобы услыхал Кафтанов, выстрелил вверх, потом сидел на пеньке и долго думал: как же так оказалось, что плюгавенький мужичонка этот в партизанах, брат Федор там, у Кружилина Поликарпа, и Анна и даже сын одноногого михайловского старосты Демьяна Инютина Кирюшка?! Им-то двоим как раз надо быть у Кафтанова, а ему, Ивану, у Кружилина. А все перепуталось, все вышло наоборот… «И за что воюю-то здесь? Богачество Кафтанову отстоять помогаю. Что мне с того, если удастся отстоять, допустим? Опять в конюхи после к нему идти? Анна, что бы ни случилось, все равно с Федькой останется. Да и, по всему видать, не отстоять теперь свое богачество ни Кафтанову, ни кому другому, расколошматят скоро его отряд, перестреляют всех, погибель так и так мне. А за что?»

Вскоре прибыл для разгрома Кружилина зубовский полк, начались жестокие бои, бесконечные погони за ускользающими партизанами. Для дум у Ивана не оставалось как-то времени. А потом… потом и случилось то, от чего Иван до сих пор не может опомниться, – казнь отца и этот неожиданный страшный налет на Огневскую заимку партизан, непонятно каким образом – по воздуху, что ли?! – выбравшихся из Зеленой котловины…

…Когда забил где-то пулемет, Иван, спавший на полу рядом с Кафтановым, мигом оказался на ногах, прибавил огня в привернутой лампе, хотя, может, ее небо было совсем потушить. – Что? Кто? – вскричал Кафтанов.

Из соседней комнаты в одних кальсонах выскочил Зубов, тоже закричал: – Что? Что это такое?!

А там, за окном, уже вразнобой хлопали винтовочные выстрелы, слышались крики и тяжкий, глухой звон лошадиных копыт. Больше никто ничего не говорил, все трое поняли, что произошло, начали лихорадочно хватать и натягивать одежду. Зубов скрылся в своей комнате, через минуту вытолкнул оттуда заспанного сынишку, выскочил сам в незастегнутом еще кителе.

– Как это случилось? – закричал он, будто кто-то мог, но не хотел ему этого объяснить.

И тут со звоном посыпались стекла, в черном проеме, как в раме, встал, сверкая глазами, брат Федор.

Иван давно выдернул наган, но при виде брата его рука сама собой опустилась. Стоявший у стены Кафтанов, наоборот, быстро вскинул руку, но Зубов судорожно вцепился в нее, закричал:

– С ума сошел! Не стрелять! Не стрелять! – И повернулся к Федору, спрыгнувшему уже в комнату: – Я сдаюсь. А это единственный сын мой, Петр. – И он чуть толкнул мальчишку к Федору. – Надеюсь, ребенка вы пощадите.

В эту секунду в черном проеме окна возникла новая фигура. «Анна!» – обожгло Ивана.

Спрыгнуть на пол Анна не успела. Хрипло прокричал рядом Кафтанов и, не целясь, выстрелил в дочь. Она бесшумно осела, повалилась на бок.

– Анна!

Это не он, Иван, закричал, и вообще никто не закричал. Это просто в голове у Ивана что-то загудело, нарастая, лопнуло, стало осыпаться со звоном, как только что осыпались оконные стекла.

И слух у Ивана пропал, сознание помутилось. Точно в каком-то полусне, не понимая уже, что происходит, он видел, как сбоку распахнулась дверь, влетел, сверкая глазами, невысокий парень в сбитой на затылок кожаной фуражке – Яков Алейников.

– А-а, полковник Зубов! – закричал он, наверное, громко, однако до Ивана донеслось это еле-еле, взмахнул шашкой.

Но Зубов отскочил, отбив одновременно удар. Шашка из рук Алейникова вылетела, дугой сверкнув в воздухе. Алейников прыгнул за противоположный конец стола, вырывая из кобуры наган. Но вытащить не успел. Зубов перегнулся через стол и достал Алейникова шашкой. Схватившись за лицо, Алейников упал навзничь.

Пока все это происходило, кто-то дернул Ивана, прохрипел в ухо: «За мной, живо!» Иван видел, что Кафтанов скользнул за дверь, но не побежал за ним. Почему не побежал – неизвестно, хотя Федор, кажется, стрелял в него. Ну, да, стрелял, раз – в него, раз – в метавшегося по комнате Зубова. Пули липли в стену, совсем рядом, но Иван не шелохнулся. Наконец Федор попал, кажется, в Зубова. Тот выгнулся горбом, оседая. Но не упал, а стал подниматься. Федор хотел выстрелить еще раз, но боек нагана только щелкнул – кончился барабан. Тогда Федор прыгнул зверем к раненому Зубову, ударил шашкой. Тот рухнул рядом с Алейниковым.

Пронзительно закричал прижавшийся в углу сынишка Зубова. Покричал и замолк.

– Что ж не стреляешь, иуда? Стреляй…

Это, тяжко дыша, говорил Федор. К своему удивлению, Иван обнаружил, что целится во взмокший лоб брата.

– Брат все же ты мне, не буду стрелять, – сказал Иван.

Иван говорил правду, он не выстрелил бы, кинься на него Федор даже со своей страшной шашкой. «Анна, Анна!» – будто стучали ему молотком по голове. И сквозь больной звон этих ударов пробивалась ясная, отчетливая мысль: коли нет больше Анны – зачем жить? Пускай зарубит. Это лучше даже, что не кто-нибудь, а Федор. Взмахнет шашкой – и все кончится. Все, все… И – хорошо… Но тем не менее целился зачем-то сам в брата. Зачем?

Федор меж тем, скользя спиной по стене, подвигался тихонько к тому углу, где стоял, сжавшись, сынишка Зубова. «Да, вот зачем… – вспомнил Иван. – Зарубит ведь мальчонку…» И крикнул:

– Мальчишку не трогай! Не виноват ни в чем ребенок.

– А-а, гад! – прохрипел Федор. – Сам гад и об гадючьих выползках заботишься?! Ты бы отца родного лучше пожалел. Вспомнил бы, как они его…

И рванулся к мальчишке. Иван бросился наперерез и в ту секунду, когда Федор со свистом опустил шашку, с разбега толкнул Федора в плечо. От толчка Федор не удержался, упал, покатился по полу. Пронзительно последним криком закричал мальчишка, прижимая к лицу ладони, сквозь которые текла кровь, корчился рядом с неподвижным отцом. И только тут Иван выстрелил, но не в Федора, а в висевшую на стене лампу. Однако темноты не наступило, потому что в проем окна, загибаясь с крыши, хлестало пламя. Запнувшись о застонавшего вдруг Алейникова («Жив, оказывается», – отметил про себя Иван), он схватил мальчишку и выбежал из дома.

Во дворе было пусто и светло от полыхавшей конюшни. Пламя бешено плясало в черном небе, широкие лоскуты его отрывались и таяли, словно улетая в темную пучину. Вокруг заимки, где-то уже далеко в лесу, трещали выстрелы.

Пробегая по двору, Иван все дожидался Федоровой пули в спину, однако погоня за ним не было. На берегу озера стояло несколько лодок с веслами, в одну из них Иван кинул Петьку Зубова. Оттолкнув лодку от берега, Иван сунул в карман оружие и, разбивая веслами плясавшие от пожарища на черной масляной воде огненные блики, торопливо погреб к другому берегу, в темноту…

…– Ты-ы – взревел Иван.

– Дурак, – спокойно ответил Инютин и ушел, глубоко протыкая землю деревянной ногой.

Иван снова сел. Дурак, это верно. Зачем той ночью не дал себя зарубить. Федору не сдался, в крайнем случае, в плен, зачем кинулся бежать, да еще не один, а с этим мальчишкой, сыном человека, приказавшего повесить его отца? На другом конце озера тоже стояла лодка. Иван сразу понял – это Кафтанов на ней переплыл. И точно, Кафтанов вышел из зарослей, обрадовано сказал:

– Ванька? Молодцом! Эко обмарались мы! Как же они, сволочуги, из каменной дыры выползли?

У Петьки Зубова была немного рассечена щека, он скулил, как щенок. Кафтанов разорвал свою рубаху, перевязал мальчишке лицо, сказал задумчиво:

– Совсем, голубок, сиротой остался. С трех годков, рассказывал полковник, без матери рос. Куда ж его теперь? К Лушке, что ли, отправить? Пущай с Макаркой моим вместе живут. Друзьями, может, будут.

Младшего своего сына, шестилетнего Макара, Кафтанов укрывал где-то по заимкам в таежной глухомани, поручив его заботам разбитной и развратной михайловской бабенки Лукерьи Кашкаровой.

– Верно, отправлю-ка я его к Лушке, – повторил Кафтанов. – А сейчас, Ваньша, айда в лес поглубже от греха. А то светает уж… Береженого бог бережет.

– Анку-то, Анку зачем ты? – невольно вырвалось у Ивана.

– Ну! – сухо прикрикнул Кафтанов. – Переживаешь. Ее, сучку, не пулей бы, на куски раздергать. – И пошел от берега.

Проливался сверху запоздалый рассвет. Иван глядел на маячившую впереди сутулую спину Кафтанова, и ему хотелось выдернуть из кармана наган и раз за разом высадить весь барабан в это широкое ненавистное тело…

Тем утром, когда совсем рассвело, они вышли на таежную дорогу, свежеистоптанную копытами, сапогами, изрезанную колесами, и поняли, что здесь на восток, в заогневские леса, прошел отряд Кружилина.

Партизаны вернулись недели через две, отдохнувшие, хорошо вооруженные.

Бывший зубовский полк, оставшийся без командира, к тому времени был отозван куда-то. Роли теперь переменились, теперь партизаны по пятам преследовали отряд Кафтанова, загоняя его все дальше и дальше в верховья Громотухи, пока он не оказался в этой самой Зятьковской Балке.

Иван все так же был при Кафтанове ординарцем и телохранителем. Он еще более похудел, глаза ввалились, стал угрюм, молчалив.

– Да не сохни ты! – сказал ему Кафтанов уже тут, в Зятьковской Балке, – Живучей кошки она, Анна твоя, оказалась.

– Как? – не понял Иван.

– А так, живая… Надо было мне еще разок-другой влепить ей. А раз живая – я от своего слова не отказываюсь. Поймаем ее.

– Как? – еще раз переспросил Иван.

– Мишка вон Косоротов поймает. Я ему приказ дал. Он уехал уж…

– Куда уехал? – все еще никак не мог понять Иван.

– За Анной. Имеем сведения – очухалась она от моей пули, ездит сейчас по деревням, пимы да рукавицы для партизан собирает. Косоротов и прижучит ее где-нито.

И Косоротв «прижучил». Он вернулся через день после этого разговора, сбросил с седла связанную Анну, выдернул тряпку из ее рта.

– Получай, – сказал он Кафтанову.

–Анна, Анна! – вскричал Иван, подбегая…

Анна со спутанными волосами, посиневшая, полузадохшаяся, лежала в пыли. Иван хотел развязать ее, помочь встать. Но она сама поднялась на колени, вскинула голову, поглядела на Ивана таким взглядом, что он попятился. И вот…

* * *

Бой в Зятьковской Балке Кафтанов принимать не стал, увел своих людей за два десятка верст, в деревню Лунево. Ужиная в просторной избе, велел Демьяну Инютину привести к себе дочь из амбара, где ее держали теперь под замком.

– Значит, не хочешь за Ивана выйти? В последний раз задаю вопрос.

– Не надо, – сказал сидевший на лавке у окна Иван, болезненно скривив губы. – Не выпросишь ведь, действительно. Отпусти ее, Михаил Лукич. Пускай…

– Что? Значит, отказываешься от нее?

– Я бы помер за нее. Да что… Она и крошки не отломит.

– Какой такой крошки еще? – рассердился Кафтанов.

– Я вообще. Не выпросишь, говорю. Отпусти ее. А я вдвойне тебе отслужу.

Кафтанов бросил деревянную ложку, упер взгляд в Ивана, долго своим взглядом давил его. Потом стал глядеть на дочь. Анна стояла у дверей, прислонившись к косяку. Она была в серой вязаной кофточке и черной измятой юбке, в мягких сапогах, голенища плотно облегали полные икры. На плечи была накинута кожанка, на голове ситцевый платочек, из-под которого вываливались светлые пряди волос.

– Высокая и стройная, она хороша была в этом грубом наряде.

– Ничего, гладкая кобыла выросла, – усмехнулся Кафтанов.

Анна еще ни звука не промолвила и на эти слова никак не отозвалась.

– Ну а ежели отпущу, к партизанам опять уйдешь? – спросил отец.

– К ним, – подтвердила Анна, разжав наконец губы.

Кафтанов задышал тяжело, на потных висках вздулись вены.

– Я, Анна, всласть пожил, ты знаешь, – заговорил он неожиданно тихо. – И водку пил, и баб любил, и властью над людишками вволю попользовался. Воюю вот теперь, просто казать, чтобы еще маленько такой жизнью пожить. Ну а ты за что? Цель-то в чем? Как ты там оказалась, у партизан-то? Из-за Федьки, что ли?

– Из-за него тоже.

– А еще из-за чего?

– Не знаю. Это не объяснить так легко, в двух словах. – Длинные брови ее нахмурились, потом, дрогнув, разметнулись, как крылья, плотно обтянутая шерстяной кофточкой грудь начала быстро, толчками вздыматься. – Ты жил… Ты мать мою этой своей жизнью в петлю загнал! Чем хвалишься? Как скотина ты жил. А есть другая жизнь – человечья! Вот… потому я там, в партизанах, наверное, что… что нагляделась на твою жизнь. Видела я, как ты на Огневской заимке развратничал. А я хочу по-человечески жить. И ради этого такая… такая кроворубка идет. Люди хотят на земле человеческую жизнь установить… И установят…

– Ой ли? Гляди, не ошибись.

– Установят! А вас выметут с земли, как сор из избы, чтоб не воняли. Вон уж куда загнали вас…

– А и установят – тебя-то пустят ли в эту жизнь? Рано или поздно припомнят, чья ты дочь.

– Припомнят… всегда будут помнить, не чья я дочь, а каков я человек, достойна ли этой жизни. И пустят. А ты, Иван, – повернулась она вдруг к окошку, где тот сжигал самокрутку за самокруткой, – ты подумал бы об этом. Они отца твоего повесили. А недавно мать твоя… не перенесла такого горя она…

– Мать? Мать… – Иван вскочил и замер, не чувствуя, что окурок жжет ему пальцы.

– Замолчи-и! – Кафтанов трахнул о край стола тяжелой глиняной миской – будто звонко лопнуло дерево на морозе, под ноги Анны полетели черепки. Подскочил к ней, протянул к ее горлу волосатые руки.

– Михаил Лукич! – закричал Иван, звякнула выдернутая им шашка.

– Ты… что… это?! – раздельно, в три приема, выдавил Кафтанов.

– Да ведь дочь это твоя. Отпусти ее. Пусть идет куда хочет. – в третий раз сказал Иван, вытер взмокший лоб, бросил в угол шашку.

Кафтанов, грузно ступая, вернулся к столу, сел.

– Ну что ж, пускай идет… Пускай приведет сюда партизан.

– Мы снимемся отсюда, дальше уйдем. Кто нам мешает?

– Тоже верно рассудил… – Кафтанов говорил, а глаза его с толстыми кровяными прожилками ползали по дочери. – С Федькой-то живешь, что ли? – спросил бесстыдно.

– По своей мерке все меряешь. – Анна запахнула на груди кожанку. – Я не скотина какая-нибудь. Как… чтоб без свадьбы.

– Как я? Ага. Было уже указано. А свадьба когда?

– А ты не беспокойся, мы тебя позовем, – насмешливо сказала Анна.

Кафтанов держался толстой в желтых волосах рукой за край стола. Будто собираясь отломить кусок тяжелой, залоснившейся до твердости камня доски и запустить обломком в дочь.

– Ладно… Эй, кто там, увести пока!

– А ты горяч, сразу за шашку, – сказал он Ивану, когда Анну увели.

– Ты ж хотел ее… Мне почудилось…

– Тебе не все ль равно, коль она…

– Не все равно, – сказал Иван, не поднимая головы.

– Слюнтяй ты в таком разе, – усмехнулся Кафтанов. – Ну, дело твое. А мне что – отпущу. С Федькой пущай живет, с другим ли каким жеребцом…

* * *

В течение ночи Иван не сомкнул глаз. «И мать… Тоже, считай, повесили ее», – думал он, лежа неподвижно на конской вонючей попоне. Сердце давило, неприятная боль растекалась по всему телу.

В окна заструился серый утренний сумрак.

Скрипнула кровать, на которой спал Кафтанов.

– Спишь, Иван? – тихо проговорил он. – Пойду посты проверю.

И начал одеваться, стараясь не шуметь. Потом взял в руки сапоги, зашлепал к двери босыми ногами, вышел.

Ничего необычного в том, что Кафтанов собирается проверять ночные посты вокруг деревни, не было – в последнее время, где бы они ни стояли, он всегда проверял их или сам, или поручал это сыну Зиновию. Но Ивана с новой силой окатили испуг и тревога.

Эта непонятная и безотчетная тревога возникла у него еще вечером, в тот момент, когда Кафтанов нехорошо ощупывал глазами дочь. И потом Кафтанов вел себя странно, не так, как обычно. Прежде чем лечь, он долго ходил по избе, о чем-то раздумывая. Временами широкий ноздрястый нос его раздувался, подрагивали заросшие волосами губы, глаза сатанели. Но он так ничего и не сказал, завалился на кровать и сразу захрапел.

А теперь вот этот тихий голос, осторожные сборы, чтобы не разбудить его… Иван вскочил, побежал к окну.

По всей деревне не было ни огонька. Виднелся в сером ползучем мраке угол амбара, в котором держали Анну. Возле амбара стоял запряженный ходок, маячили двое людей. Потом эти двое вывели из амбара Анну, усадили в ходок. Все это Иван не увидел даже, а догадался, сердце его заколотилось. «Куда они ее? Отпускают, что ли? А говорил – посты…»

Иван все глядел в окно, напрягая зрение. Один из людей (по фигуре – сам Кафтанов) тоже сел в ходок, тронул коня. Другой захромал к избе.

Иван кинулся к одежде, натянул брюки, начал торопливо вертеть портянки. Накинув, суконную тужурку, метнулся к дверям.

– Куда? – раздался голос Демьяна Инютина.

– Пусти! – Иван хотел оттолкнуть одноногого, но тот ловко выставил вперед, как копье, свою деревяшку, ткнул в живот. От боли Иван скрючился, сел. А когда опомнился, Инютин стоял над ним с наганом.

– Далеко навострился-то, спрашиваю?

– Куда…куда он Анну повез?

– Отвезет, куда надо, скажет отцовское слово и отпустит. И мы сымемся отсюда через час. Ну-ка руки назад! И ступай. Посидишь до его возврата, а там уж как сам знает. В амбар, говорю, ступай. Да не вздумай чего, а то в момент пригвоздю.

Иван покорно заложил руки за спину и пошел.

– На смерть… на смерть он ее повез.

– И это его дело, отцовское. Иди, иди!

Они были уже возле амбара. Иван шагнул за его порог. Но когда Инютин стал прикрывать тяжелые двери, Савельев прыгнул на него сверху кошкой, смял, вырвал наган, со всего размаха саданул в висок. Инютин охнул только, дернулся и затих.

Иван вскочил, постоял в растерянности. «Убил, что ли? Неужели убил?!»

Бывший михайловский староста не шевелился, не дышал. Тогда Иван перевалил труп в амбар, прикрыл двери и, не замкнув даже на болтавшийся на железных скобах замок, побежал к своему коню.

Из Лунево выходило несколько дорог. По какой поехал Кафтанов, неизвестно. Но на каждом выезде стояли секреты.

На первых двух постах Ивану сообщили, что ни Кафтанов, ни кто другой из деревни не выезжал. Лишь на третьем усталый от бессонницы парень сказал:

– Атаман-то? Проезжал куда-то с дочкой. Куда это он повез ее, Ванька?

Не отвечая, Иван поскакал вдоль лесной дороги, тонувшей в грязно-голубом утреннем свете.

Не настигнул бы в это утро Иван Кафтанова, никогда бы не увидел больше Анну и даже никогда не узнал бы, куда девалась она, каким образом исчезла с лица земли, если б не его жеребец. Верст пять или шесть жеребец стлался по пыльной разъезженной дороге, а потом, несмотря на то, что Иван безжалостно хлестал его плетью, начал сбавлять ход и вдруг, вскинув голову, пронзительно заржал. Откуда-то чуть сзади и сбоку тотчас откликнулась кобыленка. «Кафтановская!» – мелькнуло у Ивана. И он повернул своего коня. Жеребец, будто понимая, что желания его и хозяина совпали, послушно рванулся назад, сиганул в сторону, через низкорослые кусты, вынес Савельева на полянку, всеми копытами заскользил, останавливаясь, по росной траве.

На краю поляны под развесистыми черными соснами стоял запряженный ходок, немного в стороне пластом лежала на земле Анна, белея оголенными ногами, а Кафтанов бежал от нее прочь, как-то боком, чуть пригибаясь, бренча ременными пряжками, вырывая на ходу из деревянной кобуры длинноствольный маузер.

Вся эта картина открылась Ивану за одну какую-то секунду, и еще менее, чем за секунду он понял, что здесь произошло. И в то же мгновение голова его вспухла, будто была начинена порохом, сознание застлало чем-то едким им и горячим.

В себя пришел от слов Кафтанова:

– Молись, Ванька, Что увидел тут – с собой унесешь. Этого никому не надобно знать. На земле…

Перед Иваном начало проступать сквозь светлеющую черноту красное, взмокшее лицо Кафтанова. Он стоял в трех шагах, левой рукой застегивая тужурку, а правой выставив на него черное, задымленное дуло маузера.

Когда он, Иван, соскочил с лошади, как оказался напротив Кафтанова, он не помнил.

– Ты… ты… Как ты мог? – выдавил он.

– Этого тебе не понять. А ей – известно. Что прискакал сюда – дурак. Жил бы…

Иван отчетливо понимал, что сейчас будет застрелен. В кобуре у него тоже было оружие, но Кафтанов не даст времени его выхватить, не позволит даже шевельнуться. И стоял неподвижно, свесив длинные руки, на одной из которых болталась короткая кавалерийская плеть.

Вот уж дрогнул, качнулся черный зрачок кафтановского маузера. «Сейчас, сейчас!» – молнией блеснуло у Ивана в голове. И, ни на что не надеясь, он стремительно взмахнул своей плетью, хлестанул Кафтанова по лицу, кинулся на него. Кафтанов выстрелил – будто кто оглоблей ударил Ивана по плечу. Не понимая, убит он или только ранен, но видя, что Кафтанов закрыл ладонью глаза, Иван опять взмахнул плетью, хлестнул на этот раз по руке с маузером. Оружие выпало. Иван бросился на Кафтанова, вцепился в его колючую волосатую шею и, упав вместе с ним на землю, стал давить.

– Ванька… Иван! – прохрипел Кафтанов, болтая головой, царапая бородой его лицо.

Кафтанов был сильнее, он уперся в грудь истекающему кровью Ивану и легко отшвырнул. Но встать сам не успел. Иван схватил валявшийся на траве маузер, снова кинулся на приподнявшегося Кафтанова, сходу опрокинул его на спину, изо всех сил вдавил дуло маузера ему в грудь, два раза прижал гашетку…

Выстрелов он не услышал. Он слышал лишь, как всхрапнули лошади, как они шарахнулись на другой конец поляны…

«СТИХИ – ДУША И СЕРДЦЕ НАШИ…»

(Александр Александрович Романов)

Поэт, прозаик, переводчик Александр Александрович Романов родился 18 мая 1930 года в Ленинграде, в семье научных работников (отец – кандидат географических наук, мать – биологических).

Еще в детстве потеряв родителей, рано начал трудовую жизнь. В составе полевых топографических партий, где был рабочим, техником-геодезистом, инспектором геодезической службы, исходил весь сибирский Север. Значительная часть жизни А. Романова была связана с Новосибирском, куда он приехал после службы в армии в 1954 году, и журналом «Сибирские огни», в котором работал заведующим отделом поэзии, ответственным секретарем, заместителем главного редактора. В начале 1990-х годов А. Романов переехал в Москву, где и провел остаток жизни.

В 1956 году в местной прессе стали появляться первые стихи А. Романова. Двумя годами позже он дебютировал в журнале «Сибирские огни». А в 1962-м в Новосибирске вышла его первый стихотворный сборник «Ожидание встречи». Перу А. Романова принадлежат более десятка поэтических и прозаических книге, изданных в Новосибирске и Москве. Лауреат премии им. К. Симонова.

Умер 18 января 2006 года в Москве.

С Севера началась не только самостоятельная жизнь А. Романова, но и его творческая судьба. «Мой Север подарил мне годы, – скажет потом поэт в поэме «Северная трилогия» и добавит: – ...и оглушен им до сих пор». Подтверждение тому нетрудно найти в поэтических произведениях как раннего, так и более позднего А. Романова, в которых он «не пожалел для Севера души».

В своей поэзии А. Романов сполна отдал дань мощи и красоте северной природы, романтике трудных дорог с ее походными кострами, самоотверженным трудом первопроходцев. И это вполне естественно, если учесть не только жизненный и профессиональный опыт, но и то обстоятельство, что романтика, когда входил в литературу А. Романов, была знаковым явлением.

Однако и тогда, и позже ею одной творчество А. Романова не ограничивалось. Тем более что в судьбе поэта были не только таежные тропы, но и «изувеченное войной» детство в блокадном Ленинграде, в котором «огромный голод до самых крыш дома заполнил». Естественно, война стала одной из магистральных тем поэтического творчества А. Романова, нашедшая наиболее, пожалуй, концентрированное художественное выражение в поэме «Ленинград».

Впрочем, широко и многообразно отображена в поэзии А. Романова и мирная жизнь страны. Оптимистическим созидательным пафосом проникнуты многие его произведения, в частности такие хорошо известные поэмы, как «Сердце весны», «Завод», «Окно». В то же время, А. Романов был всегда чуток к изменениям в социальном климате, остро реагировал на злободневные проблемы и противоречия нашей жизни.

Однако при всем этом А. Романов всегда оставался ярким самобытным художником и тонким проникновенным лириком со своим голосом, своими неповторимыми красками.

Много сделал А. Романов как мастер литературного перевода с языков народов Сибири. Достаточно вспомнить масштабный якутский эпос «Могучий Дьагарыма», с которым русского читателя впервые познакомил А. Романов.

«Я не спешу мгновения любить...», – говорит А. Романов в одном из стихотворений. И действительно, он никогда не гнался за коньюнктурной сиюминутностью, за поэтической модой, справедливо полагая, что во все времена «стихи – душа и сердце наши» и задача поэта – как можно ярче и глубже их высветить. В этом смысле А. Романов был, конечно, традиционалистом. Но за этой традиционностью стоит великая традиция русской поэзии «сеять разумное, доброе, вечное», которой А. Романов остался верен до конца.

Известен А. Романов и как автор сказок и повестей для детей и юношества, вызывавших немалый интерес у юной аудитории.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги А. Романова:

Успейте наглядеться на любимых. Стихи. – Новосибирск, 1980.
Лежит между нами река. Стихи. – М., 1981.
Клад на двоих. Повесть. – Новосибирск, 1981.
Приключения Бориски и его друзей. Сказочная повесть. – Новосибирск, 1982.

Об А. Романове:

Закусина Н. Предчувствие дня. // «Сибирские огни», 1980, №5.
Романов Александр Александрович. // А. Горшенин. Литература и писатели Сибири. Энциклопедическое издание. – Новосибирск, 2012.

Александр РОМАНОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Топографическое

План земли составляя,
землю мерили мы.
Шли,
        следы оставляя,
от весны до зимы.

Сколько было неясных
и проблем и надежд,
и осиновых, красных
послелетних одежд.

Их намек на разлуку
был всего лишь – намек.
На какую б излуку
дым костёрный ни лег,

чьи бы взгляды и руки
ни простились со мной –
не бывало разлуки
с нашей русской землей.

А ночами, бывало,
приклонившись едва,
с рюкзака к ней сползала
и моя голова.

И покамест, нежнея,
в небе звезды цвели,
становился слышнее
тихий голос земли.

И – что пело,
болело
в тьме корней и ветвей,
словом стало и делом,
и дорогой моей.

Города

Забыв уютные квартиры,
мы по земле идем, идем…
Глядим, нагнувшись, в нивелиры
и миллиметрам счет ведем.

С листов проектов и заданий,
куда б пути ни завели,
пунктиром кольев
стены зданий
рисуем на боках Земли.

Потом рисунки оживают…
Развесив флаги, провода,
нас поначалу ожидают
молоденькие города.

А мы
куда-нибудь к Памиру
с проектом срочным вновь идем,
все так же смотрим в нивелиры
и миллиметрам счет ведем.

И лишь заметив, что стареем,
что взгляд не тот и стать не та,
мы едем скорым,
чтоб скорее
увидеть прежние места.

Увидеть пройденные дали
и в мире колков и полей
найти любимые детали
мелькнувшей юности своей.

А там –
асфальт, дома, трамваи
и городских аллей уют…

Стоим, тех мест не узнавая.
И нас они – не узнают.

Воспоминание

Когда в барак заглядывала ночь
я рифмовал, надумав стать поэтом.
Банальности стараясь превозмочь,
дровишки в печь подбрасывал при этом.

– Пиши, пиши, – смеялось по утрам
друзей геодезическое племя. –
Пока ты пишешь, спать теплее нам,
сны лучшие нам снятся в это время.

Алдан и Лена –
лиственницы, мхи,
улыбка лета, ранние метели…
Недолго жили тех ночей стихи.
но, все ж хоть так, –
они кого-то грели.

* * *

Надо мною –
блокадное небо.
Мне одиннадцать лет.
Я гадаю над пайкою хлеба –
до конца съесть ее
или нет?

Дом соседний –
кирпичная груда.
Скоро ночь.
Бомбы вновь запоют.
Не оставить?
Что есть завтра буду?
Не доесть?
Вдруг сегодня
убьют?

* * *

Что случилось, куда мы свернули?
Свет погашен… вагоны скрипят.
Над вагонами – бомбы и пули
на добычу нацелясь, летят.

Скорый поезд, чего ж так нескоро
тянешь ты за вагоном вагон?
И тревогой ползет в разговоры:
«Окруженье… Прорыв… Эшелон…»

Кто там свесился с полки багажной?
Чьи глаза так знакомо видны?
Это сам я: голодный, бродяжный,
безнадежный детеныш войны.

Это сам я…
Куда же мне деться,
забывая – недавно… давно…
Что там, поезд стучит или сердце?
Жизнь – одна.
Сердце – тоже одно…

Из поэмы «Северная трилогия»

* * *

Что север?
Дикость сопок, тундры, кочек.
Тепла и лета краткий перелет.
когда в траве заманчивый цветочек
едва тебе мигнет – и отцветет.

Что Север7
Обжигающе-обиден
его зимы неумолимый бег,
когда в дыму морозов еле виден
исхлестанный ветрами человек…

* * *

Легкий прибой колыхал побережье.
Чайки взлетали. Крутилась волна.
Круг мой Полярный,
твоя ли вина –
льды вековечней, растительность реже.

Круг мой –
пространство небес и земли
движется, крепко пределы смыкая.
Рядом и дальше, до самого края,
тундра и сопки.
И дымка вдали.

* * *

Ты отпусти меня, мой друг,
на тонкий, ломкий лед.
Не надо слов твоих и рук –
разлука
все поймет.

Ты отпусти меня, мой брат,
расторгни связь имен!
И станет взгляд усталый рад
и разум утолен.

Одной усталостью дыша,
не задохнуться б нам:
Твоя душа, моя душа –
как тени по углам.

Зовет, потрескивает лед
призывней, чем вчера.
И одиночество поет,
что уходить пора.

Когда исчезнет без следа
мой след с последним днем,
мы сможем вместе быть всегда.
И никогда вдвоем.

Полынья

Заглянул я в лицо полынье.
– Вот и здравствуй… –
сказал ей несмело.
О, с какой благодарностью мне
засверкала она и запела!

Белизну куржака разодрав,
одиночеством долгим томима,
– Я твоя, – подтвердила, – ты прав,
дела нет нам до прочего мира!

Мне б застыть – и минует беда!
Мне к тому, что оставлено было,
отступить бы…

Она и туда
трещин сеть протянуть не забыла!

* * *

Разобраться ль!
Что горько и сладко
все прикончено.
Время – не в счет.
Время – там, за пределом порядка,
словно дождь по стеклу протечет.

Все течет – от любви, от начала
в беспредельность неведомых стран,
в те пределы, где даль укачала
не один мировой океан.

Я пытался вглядеться в такое.
Приближался к разгадке стократ.
Но всего лишь безумной рукою
стер с лица и восход, и закат…

* * *

Это чувство –
слово в слово
не перевести.
Что осталось от былого?
«Ты меня прости…»

Будто в воздухе повисло
облаком опять,
хоть сегодня –
нет и смысла
это повторять.

Хотя развеяна ветрами –
вольные сильны! –
над полями и лесами
призрачность вины.

Так откуда ж снова, снова –
не проходит дня –
возникают слово к слову:
«Ты прости меня…»?

* * *

Разлетелось осколками лето.
Виснет лед на обрыве крутом.
И любимая песнь не допета.
И не знаю, что будет потом.

Где тайга, словно шкура медвежья
распласталась на мертвом снегу,
я не ведаю, чье побережье
для кого и зачем берегу.

Остается от жадного мира
только чувство утраты со мной.
Только звонкими струнами лира
временами бренчит за спиной.

Да порой, где бреду я упрямо
в холода от родного огня,
вспоминается:
грустная мама
смотрит вдаль, словно видит меня.

В защиту банальности

Я не гонюсь
за модной новизной.
Люблю я новизну поры весенней.
Люблю я новизну поры осенней.
Дружу с банальной зимней белизной.

«Я вас люблю!» –
основа всех основ.
Успейте наглядеться на любимых!
Банальных. Дорогих. Неповторимых.
«Я вас люблю!» –
что лучше этих слов?

«Я – СИБИРЯЧКА ВСЕЙ СУДЬБОЙ...»

(Нинель Ильинична Созинова)

Поэтесса Нинель Ильинична Созинова родилась 11 декабря 1931 года в поселке Тельбес Кемеровской области.

Училась в Новосибирском институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Преподавала в школе русский язык и литературу, заведовала школьной библиотекой. Работала корректором в издательстве «Наука», редактором в Западно-Сибирском книжном издательстве, редактором отдела прозы в журнале «Сибирские огни».

Поэт проснулся в Н. Созиновой рано. В 1946 году в новосибирской молодежной газете «Сталинское племя» были напечатаны ее первые стихи. Публиковалась она в дальнейшем в журналах «Сибирские огни», «Смена», «Огонек» и др. А в 1963 году в Новосибирске увидела свет ее первая книга «Родничок». Всего же Н. Созинова автор 16-ти поэтических сборников, изданных в Новосибирске. Член Союза писателей ССС.Р Лауреат премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского.

Умерла 15 июля 2006 года в Новосибирске.

Творчество Н. Созиновой вращается в круге традиционных поэтических тем: любовь, большая (Россия) и малая (Сибирь) родина с их жизненными корнями и истоками, природой, служение идеалам добра, милосердия и справедливости. Предваряя первую книжку Н. Созиновой, Е. Стюарт писала, что «поэтический голос Созиновой лиричен и мягок, но под этой женственной мягкостью чувствуется очень индивидуальный

характер человека, способного… увидеть за каким-нибудь малым явлением окружающей действительности умные справедливые и добрые законы нашей жизни». Мягкая лиричность долгие годы были отличительной особенностью поэзии Н. Созиновой.

Однако во второй половине 1990-х и поэтический взгляд, и голос ее заострились, сделались жестче. В поэтических раздумьях о том, что с нами происходит на крутом социальном переломе, любовь ко всему родному и близкому, символом которого у Н. Созиновой по-прежнему остается традиционное сибирское село, переплетается с острой сердечной болью за разоренную и униженную новыми «хозяевами» жизни родину. У Н. Созиновой немало стихов, где она, что называется прямой наводкой бьет по пришедшему на смену прежней власти политическому режиму, у которого по ее мнению «честность не в чести и доблесть не во славе, где властвует продажность и порок». В социальной лирике Н. Созиновой на рубеже веков на передний план выходит драма человека «без тяги торговать да воровать, да предавать», вынужденного «доживать в срамной борьбе за выживанье».

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Н. Созиновой:

Многое уже не повторится. Стихи. – Новосибирск, 1997.
Любовью единой. Стихи. – Новосибирск, 1998.
Избранное. Стихи. – Новосибирск, 2005.

О Н. Созиновой:

Мостков Ю. В поисках своей песни. Очерк творчества Н. Созиновой. – Новосибирск, 2003.

Нинель СОЗИНОВА

СТИХОТВОРЕНИЯ

Начало

Весенние белые кисти
черемуху гнули в дугу,
а осенью мокрые листья
лежали на круглом стогу.

Роса выпадала на травы,
и шла, куда надо, река,
и солнышко слева направо
по тонким текло облакам.

Спокойные луны всплывали
над теплой и близкой межой,
и не было в мире детали –
звезды или птицы – чужой.

И что непонятного, если,
вспоенные соком земли,
всходили заветные песни –
звенели, летели, цвели,

еще не доверены слову,
еще несложны, непросты,
уже подчиненные зову
высокой земной красоты.

Любимая погодка

Виктору Крещику

Опять она моя,
погодка на дворе!
Буран – не то что зги,
хвоста не видно б было,
когда б кошевку мне
да упряжь в серебре,
овчинный полусак
да ражую кобылу.

Ах, выдался денек!
Морозец – так себе,
но ветер озверел –
бузует, рвет и мечет.
А бел-снежище жмет –
то ль к небу, то ль с небес…
И жмурится, смеясь,
и подстрекает бес:

кошевки нет, так что ж? –
сама рванусь навстречу
сбивающей с копыт
гривастой кутерьме!
Как будто сквозь нее
до солнечного света
сей миг – ни быть, ни жить –
пробиться надо мне,
как бы вторая жизнь
обещана за это!
Беспочвенный восторг
и радость без причины:
от дома сто шагов,
ключик в кулаке!
А помнишь? –
Бараба…
В пургу вросла машина.
Сожжен бензин.
И ночь.
И жизнь – на волоске…

Волненье

А бабьего лета
деньки – в укороте.
Опаловой выси
прозрачен покой.
И солнце в зените.
И листья в полете.
И теплая кожа коры –
под рукой.

Смиренная нега березовых крон
и – отчаянье алое горьких осин…
И в самое сердце скользит заостренный,
высокий, крылатый,
торжественный
клин.

Вот-вот задохнешься!
падешь и вольешься
в священную
благословенную тишь…
А может,
воспрянешь душою?
Очнешься?
К родимой земле прикоснувшись,
рванешься –
усилье –
и… может быть, даже взлетишь!

Не пращуры ль
чашу любви –
над веками –
несли-возносили,
страшась замутить,
чтоб сбивчивым пульсом моим
и устами,
и вдохом и выдохом –
всеми корнями –
меня в этот полдень осенний
вживить.

Иначе
откуда бы это везенье –
как будто готова ступить на ножи –
и грусть драгоценнейшей тайны свечения
беспомощной и всемогущей
души?
Ни бренных сует.
Ни обыденной смуты…
Лишь солнце
да лист отлепился –
кружит;
да чувство,
что ради вот этой минуты
и стоит
на свет появиться
и жить…

Предзимье

Меняет масть и уступает власть
вчера еще блистательная осень –
гусыней серой вдруг оборотясь,
она о чем-то молчаливо просит.

Уж легкий пух подкрылков отдала
ветров капризных моложавой розе…
ударится вот-вот неслышно оземь
и распластает белые крыла.

Когда ж лучей морозных бахрома
дотянется до бездыханной птицы,
она и оживет и воцарится.
А люди назовут ее: зима!

Дорога на закат

От села до развилки
шла дорога на закат –
мимо старенькой сушилки,
мимо брошенной косилки
и кладбищенских оград.

Справа гнулась рожь упруго,
слева жиденький овес,
и в дорогу врезан туго
след копыта и колес.

Ну, а дальше, за полями,
начиналися луга –
разбегались по деляне,
как игрушечки, стога.

Над лугами,
и овсами,
и над следом колеса
в легком звоне парусами
трепетали небеса

и дрогу воздымали
над покосною стерней,
над кострами,
над дымами,
над стогами,
над землей.
Солнце к вечеру катилось –
золотило облака,
и дорога становилась
ниткой желтого клубка.
– Ты куда ушла по нитке,
за клубком куда придешь?
– Коль кругла земля,
к развилке,
к перестроенной сушилке,
к переделанной косилке,
где луга, стога и рожь…

В крестьянских избах

В крестьянских избах
нет теперь чего?
А нет чего –
так то ночами снится.
Изба простая детства моего
с теперешней, конечно,
не сравнится.

Там лишь цветы
не уставали цвесть
по окнам
косоватым и бельмастым.
Что в доме есть, не трудно перечесть:
стол да кровать
под пологом цветастым;
печь да полати,
лавки под окном,
половики –
на уровне паласа,

настенный шкафчик,
а в углу святом
пренепременных два иконостаса.

Один
был вознесен под потолок.
Там – на рисунки детские похожи –
сидели богородица и бог;
а на другом –
рабы, конечно, божьи.
Принадлежала ко вторым и я, –
под зеркалом с облезлой амальгамой
висела в рамке я
с отцом и мамой,
а рядышком –
совсем особой рамой –
все бабкины зятья и сыновья.
Фронтовики.
Солдаты.
Мужики…

Когда молитвы бабушка творила,
я, вслушиваясь с печки в шепотки,
все имена по карточкам следила.

И мне казалось:
вовсе не богам
она молилась
долго и упрямо –
фронтовикам,
солдатам,
мужикам,
под зеркалом с облезлой амальгамой.
Да были б живы! –
больше ничего…

Голодные
и без телеантенны,
пустые избы детства моего,
тогда вы были свято современны!

Горим

На этот раз на нас
никто не шел войною,
не вторгся оккупант
в российские края.
Но кто же это жжет
отечество родное? –
Их края в край горит
вся родина моя…

Сгорает изнутри,
как от нейтронной бомбы,
опутана хламидой
и чуждой и гнилой,
потраченной – насквозь! –
микробом лжи и злобы,
зашитой вкривь и вкось
предательской иглой.

Радетели моей
раздерганной отчизны
не все перевелись,
да мешкает набат…
Все яростней огонь,
уж горемычной тризны
не превозможет хор
новорожденных чад.

Сомлела вера вдрызг.
Надежда, очи долу
устало опустив,
упорствует еще.
Упорствуй!
Но забудь
смиренные глаголы.
Упорствуй!
Но сотри смущение со щек,

когда спрошу:
на что
надеяться державе,
где лжи и клеветы
непроницаем смог,
где честность не в чести,
И доблесть не во славе,
где властвует расстриг
продажность и порог?

А я спрошу еще:
чем ты жива, надежда, –
любовью беззаветной
к единственной стране?
Так поднимись с колен,
да подними же вежды
и, волю укрепив,
дай силу духа мне.

Надежда

Тошно мне. Душно мне
В нездоровом растрепанном мире,
оттого ль все нежней,
словно сквозь колдовское стекло,
я гляжу и гляжу
в сердцевину Руси и Сибири –
в голубинку-глубинку,
мое родовое село.

Все мое там:
река и песков золотистые косы,
по оставленным руслам
дремучие согры вразброс,
и волнистые ивы,
душистые гривы покосов,
самоцветные зарева
трепетных утренних рос.

Там мои –
пастухи и доярки, шоферы и швеи;

то родня, то друзья,
то соседи друзей и родных…
Всё моё, все мои.
И меня там считают своею.
У меня и у вас
вся надежда сегодня на них.

Голубинка-глубинка,
певучая ветка – деревня!
Не сломись под худыми ветрами
духовной зимы.
Лишь тобой да такими
и дышат большие деревья,
на тебя уповая, сегодня и молимся мы.

Выноси-вывози!
Не моторной, так конною тягой.
Всю заморскую хворь –
сыромятно-ременным гужом.
Стать и славу Руси –
из трясины осиновой вагой…

Ах, как после туманов
в лугах и во поле свежо!

Грубоватый сонет

Провались, земля и небо!
Я на кочке проживу…

Русское присловье

Такое кипит окаянство окрест,
что просто глаза бы на свет не глядели,
и струны души – на последнем пределе:
сорвутся, задень их тонюсенький перст.

Но что ты терзаешься, в самом-то деле?
Еще не упал твой шершавый насест!
И твой ли громоздкий увесистый крест
влачить на Голгофу тебе ли велели?

Замри. Замуруйся в своей цитадели.
Мир – в бездну! А ты и на кочке – живи!
Да, знай, фарисейски бубни о любви,
терпеньи, смиреньи, божественной цели…
Но вникни: лишь этим держась и дыша,
что будут стоить и жизнь, и душа!

Завещание

Мое родословное древо,
чьи соки в себе я несу,
взрастало в могутном и древнем
высоком Российском лесу.

И хоть обозначенный словом –
незыблем закон испокон:
в житейском земном и суровом
лес во лесу не равён,
но все же –
судьба ли судьбина
не древу, а лесу дана:
над кронами небо едино,
земля под корнями одна.

Все вихри и все суховеи,
что лесу на долю пришлись,
прошлись родословной моею,
ее сердцевиной прошлись.
И листья спадали до срока,
и корчились ветви, горя…
Да с горем до бога высоко,
с бедой далеко до царя.
Однако гордиться я вправе
уж тем, что за ведомый срок
ни древо свое не ославил,
ни землю свою не оставил
пока ни единый листок.

И страх не загреб и не вымел,
и дух от заморской квашни
не выманил в постные дни
вослед за хлюстами иными.

Знать корни уж так терпеливы,
что древо скрипит, а живет,
и верует:
самый счастливый
росточек пробьется вот-вот;

и верует:
будет он счастлив
конечно, не сам по себе:
ведь счастье –
лишь доля, участье,
причастие к общей судьбе.

Пусть вера до чуда продлится,
да сбудутся чаянья пусть…

Я чуда уже не дождусь.
Я чую – магнитит землица.

Наследник, прямой мой и кровный,
тебе завещаю я днесь
и купол Российских небес,
моей и твоей родословной
живучее древо и лес.

Владей. Это значит –
работай.
Люби. Это значит –
храни.
Да жалуй сыновней заботой.
Да совесть не урони.

РАНИМОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА

(Александр Антонович Кухно)

И незабудок брызги синие,
Как свет звезды и свет мечты –
Бегут обратно там, за линией, –
Но с нами остаешься ты.

В. Коржев

Поэт Александр Антонович Кухно родился 15 апреля 1932 года в селе Ключи Славгородские Алтайского края.

Учился в Новосибирском городском школьном педучилище, окончил факультет русского языка и литературы Новосибирского пединститута и Литературный институт им. А.М. Горького. Работал учителем, редактором отдела прозы и заведующим редакцией в журнале «Сибирские огни».

В феврале 1951 года в новосибирской областной молодежной газете «Большевистская смена» было опубликовано первое стихотворение А. Кухно «Лыжники». С этого времени началась его литературная биография. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Огонек», «Смена». В 1958 году у А. Кухно вышла первая книга «Незабудок брызги синие». Помимо нее при жизни поэта были изданы сборники «Ранимость» (1965), «Березовые колки» (1967), «Зимушка» (1974). Еще несколько книг появилось после кончины поэта. Член Союза писателей СССР.

Умер 24 февраля 1974 года в Новосибирске.

«Я принимал чужую жалость, и боль и радость принимал...» – писал А. Кухно в одном из программных своих стихотворений «Ранимость». Существовал, иначе говоря, не холодным расчетливым умом, а «жил душою», отличавшейся чрезвычайной чуткостью и ранимостью. Она, ранимость, и стала своеобразным нервом его поэзии. И чем сильнее обстоятельствами бытия задевался этот нерв, тем крепче становился поэт («чем ранимей – тем сильней»).

Такого рода мироощущение диктовало Александру Кухно и соответствующие творческие задачи, главную суть которых поэт образно сформулировал в поэтическом манифесте «Творчество».

Творчество А. Кухно воспринимал не как профессию, ремесло, а скорей духовное самосожжение во имя того, «чтобы мысли подлинной, глубокой пробиться к свету», «чтоб чувства к людям не иссякли», а в итоге, во имя самой высокой цели – «весь мир очеловечить». И такое понимание своего поэтического предназначения, когда поэт – больше, чем поэт, т. е. много больше, нежели просто версификатор и «чистый художник» – вполне в духе русской поэтической традиции.

Традиции традициями, но и в привычном их круге А. Кухно был художником совершенно самобытным. Образно-красочная эмоциональная кисть его зорко, но в то же время проникновенно лирично подчеркивала и запечатлевала незначительнейшие подчас движения жизни природы и человека, делая их фактами высокой поэзии. Очень хорошо видно это в его чудесных стихотворных пейзажах, где то и дело останавливают внимание «незабудок брызги синие», «березы в апреле – как свечки на блюдцах», «чудо из чудес – лунным светом залитый лес», в котором поэту видится «безрассудная юная Керн»...

А. Кухно вообще отличало умение находить для своих стихотворений и емкий сквозной, чаще метафорический образ, и нужную интонацию, благодаря которой он оставался в своих стихах всегда глубоко личностным. Он – не сторонний наблюдатель и созерцатель, а заинтересованный соучастник всего в жизни происходящего. Оттого и создаваемые им поэтические картины, как правило, очень конкретны, зачастую на грани автобиографичности.

А. Кухно родился в Кулунде, и образ его «малой родины» возникает в стихотворении «Ключи Славгородские». Закономерны и картины военного детства, поскольку начальная пора его жизни пришлась как раз на тяжелейшую эту пору.

Не мог не отразиться в творчестве А. Кухно и город, где прожил он почти всю жизнь, – его Новосибирск, который поэт предпочитал «всем на свете экзотическим селениям», «всем столицам мира».

А. Кухно любил писать о дорогих его сердцу уголках не просто из ностальгии. Они были для него еще и незамутненными истоками, чистая вода которых помогала ему находить единственно верные и нужные «слова, зовущие к добру». Да и собственный поэтический облик – тоже.

А. Кухно – поэт преимущественно светлого лирического мироощущения, но как оборотная сторона возникает в его поэзии и напряженный, доходящий до трагедийного накала, драматизм. Им, в частности, отмечено самое крупное и значительное произведение А. Кухно – поэма «Море». В ней автор предстает художником, сумевшим в капле отдельной человеческой судьбы увидеть противоречиво-сложную жизнь бурного людского океана.

Антикультовская, антитоталитарная по своему социальному пафосу, поэма эта впервые увидела свет в 1965 году. Но уже заканчивалась недолгая «хрущевская оттепель», сворачивалась тогдашняя «гласность», и поэме, как и некоторым другим близким ей по духу произведениям уготовано было на долгие годы, говоря языком кинематографистов, «лечь на полку». И только почти три десятилетия спустя, в посмертной книге «Вашей учусь любви» современный читатель вновь получил возможность встретиться с этой поэмой, ставшей когда-то одним из первых штрихов в только что начавшем создаваться литературно-художественном полотне о трагедиях сталинской эпохи.

Много творческих сил отдал А. Кухно документальному исследованию судьбы последнего участника Парижской коммуны Адриена Лежена, который в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Новосибирск, где и закончил свой жизненный путь.

«Верю, на оставшемся веку все равно я песней овладею – вычеркну неверную строку, проясню желанную идею...» – обещал в поэме «Море» своим читателям А. Кухно. Время подтвердило: свое обещание поэт выполнил, с задачей справился – стихи его, не потускнев, не растеряв первозданной свежести и поэтической силы, и сегодня продолжают завоевывать читательские сердца.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги А. Кухно:

Слова, зовущие к добру. Стихи, проза, письма. – Новосибирск, 1981.
Вашей учусь любви. Стихи и поэма. – Новосибирск, 1992.
На перекрестках трудных судеб. Стихи, поэма. – Новосибирск, 2001.

Об А. Кухно:

Коржев В. Высокое горение. // Александр Кухно. Избранное. (Серия «Библиотека сибирской поэзии»). – Новосибирск, 1986.
Горшенин А. Большое сердце поэта. Очерк творческой судьбы. – Новосибирск, 2007.

Александр КУХНО

СТИХОТВОРЕНИЯ

Творчество

Пока владеют формой руки,
пока твой опыт не иссяк,
на яростном гончарном круге
верти вселенной так и сяк.

Н. Ушаков «Мастерство»

Пускай тоска несоответствий,
пусть вечный хаос –
душа опять,
раскинув ветви,
заколыхалась.
Еще не ведая, откуда
придет решенье,
душа уже дрожит от гуда
самосожженья.
Гори, языческое древо,
гори,
гори же!..
Не будь твоей любви
и гнева –
что я увижу?..
Во что поверю,
что открою,
в себе познаю?..
К какому новому герою
приду под знамя?
Не баловство, не разоренье –
то плоть живая
горит,
во имя озаренья
себя сжигая!..
Огнем охваченное древо
заносит ветром.

Вскипает кровь от перегрева –
течет по веткам.
Не сучьев щелканье и взрывы –
то нервы ломит.
И молний мечутся извивы
на полуслове…
Бессонницей казнит усталость
По году,
по два –
за молодость мою,
за статность
за все, что отдал
словам…
Себя превозмогаю,
иду на образ.
На черта мне теперь другая
любая область!..
Когда одним живешь, терзаясь –
всадить в кого-то
не мысли крохотную завязь,
а страсть –
работать,
любить,
передавать другому
живые чувства
и головой кидаться в омут
всех тайн искусства,
чтоб мысли подлинной,
глубокой
пробиться к свету –
горит душа!..
Выходят боком
Слова
поэту…
Гори душа!
Не так ли,
сяк ли –
гори высоко!..
Чтоб чувства в людях не иссякли –
сгорай до срока.
А час придет – на пепелищах
высокой страсти

банальных истин пусть не ищет
мудрец и мастер.
Играть – позорно – в чет иль нечет,
ухмылку пряча, –
когда весь мир очеловечить
стоит задача.

Ранимость

С младенчества,
как на готовом,
она всегда жила со мной.
За все, что есть пережитого,
обязан я лишь ей одной –
за все ушибы и обиды
и радость солнечного дня…
Не похвалюсь, что видел виды, –
но люди видели меня.
Они не проходили мимо,
быть может, только потому,
что и у них душа ранима, –
сходились к сердцу моему.
Я принимал чужую жалость,
и боль, и радость принимал.
Того, что это отражалось
на сердце, я не понимал…
Что у меня оно большое,
что и большое – устает,
я знать не знал!
Я жил душою,
в счастливый веруя исход.

Ранимость…
Странное какое
понятье!..
Это от нее
звезда зажглась в степном покое,
пылит и светится жнивье;
и песню затевают люди,
смеются, плачут –
все не в лад! –

неосторожно любят, судят,
низводят
и боготворят…
И в них живет необходимость
любить
и думать по ночам
про эту самую ранимость,
что есть начало всех начал…

Мне по одной дороге с ними.
Иду и – нет иных путей.
Я с каждым годом все ранимей.
и чем ранимей – тем сильней!

* * *

Илье Лаврову

Ах, какие у нас метели
нынче выпали в январе –
белы лебеди налетели,
белы лебеди на дворе!

Видишь, на воду стая падает
и, взлетая, крылами бьет?..
Захмелевшую душу радует
лебедей бесконечный взлет.

Хоть на все на четыре стороны
я пошел бы с тобой вдвоем.
Птицы-лебеди, а не вороны
вечно жили в сердце моем!

Только нету со мной приятеля,
и подружка не дружит со мной.
Только лебеди, словно спятили,
забуранили шар земной.

Ой, вы, белые, птицы гордые,
птицы ласковые, до чего ж
хорошо прошагать по городу
сквозь крылатую вашу дрожь!..

Будто в северном море далеком
золотистые льдины снуют –
разгорается в двести окон,
приближается мой неуют.

Как гитара – мой дом панельный
разгуделся от песен и драк.
Жить, конечно, нельзя отдельно,
и почти невозможно – вот так…

Мне вовек в этот быт не вглядеться.
Только трону подъездную дверь –
птица-лебедь уходит из сердца…
Что же делать, скажи мне, теперь?..

Я не знаю, в сугробах ли, в небе ли
лебединую песнь различу…
Налетайте, сшибайтесь, лебеди,
бейте крыльями по плечу!

* * *

Хорошо шагать отавами,
хорошо пробиться чащею
и найти увитый травами
родничок с водой журчащею.

Тонкий солнца луч ломается
как с волной студеной встретится, –
словно лютик осыпается
и опять цветет и светится.

А над ними – в море острого,
разнотравного, пахучего
незабудки жмутся островом
возле дерева могучего.

Незабудки… То ли выплыли
из ручья такие просини,
то ли сосны небо выпили –
голубую смолку сбросили.

Мне и радостно, и жалко их,
мне единственного хочется –
все цветенье это жаркое
не бросать на одиночество.

Хвойный шум, волну кипучую,
солнца луч, что дерзко воду рвал, –
я б унес как песню лучшую
и как песню обнародовал.

Где ты – свежесть родниковая,
и цветы, и травы пенные,
да про все про это – новое
слово необыкновенное?

Чтоб других за сердце тронули,
чтоб пьянили пуще солода
день ли синий, сосен кроны ли,
ранний вечер, весь из золота…

Чтоб всегда, в минуту каждую,
а не просто – время выдалось! –
людям виделось, как важное,
красота земная виделась.

Пусть в стихах родятся заново
и сияют в ночи зимние
под сосной, у комля самого,
незабудок брызги синие.

Река Молчания

Я все забыл…
Но временами
я помню тот далекий час,
когда внезапно между нами
Река Молчанья пролилась.

Безумством, храбростью, отчаяньем –
как хочешь это назови.
Она текла –
Река Молчания –
признанье первое любви.

Слова неверные, случайные,
обиды тяжкие – не раз
тонули в ней.
Река Молчания
текла, не разделяя нас.

Вот и сейчас –
ни слов признания
и примиренья нет сейчас…
Но вновь и вновь
Река Молчания
течет, соединяя нас.

Как будто нет над ней ни облака,
ни холодка, ни ветерка…
И ты идешь со мною об руку.
Течет Молчания Река.

Рукавички

За тобою, ласковой и нежной,
заходил я часто по утрам,
чтобы вместе по тропинкам снежным
пробежать на лыжах по горам.
Чтобы в дальние лесные дали,
словно в сказку зимнюю пройти…
Помнишь, рукавички мы искали,
те, что обронила ты в пути?
Как без них студеною зимою?
Ты шутила: «Это Дед Мороз
рукавички с белою каймою
для своей Снегурочки унес!..»
Я растер твои ладони снегом
и согрел дыханием своим.
Помнишь, я учил тебя с разбега
пролетать по кручам снеговым?..
Я хотел, чтоб ты была бесстрашней,
говорила бедам «Не беда!..»
Чтоб сегодня, вспомнив день вчерашний,
ты была счастливой, как тогда…

Чем ты озабочена сегодня –
тем, что двое малышей у нас?..
Погляди, как сын ресницы поднял,
от тебя не отрывая глаз…
За тобой плетутся по привычке,
за подол ручонками ловя,
маленькие,
словно рукавички,
с белыми чубами сыновья…
Ластятся к рукам твоим усталым.
Ни за что малюткам не понять,
что устала ты… Им горя мало!..
Просят, чтобы ты их одевала,
чтобы вышла с ними погулять
к синей речке, к загородным дачам…
Только ты не пустишь их туда:
за окном зима, метели плачут…
И мальчишки плачут иногда.

Ты вели им – пусть носы умоют.
На ночь сказку детям расскажи.
И свяжи – ну как без них зимою? –
Рукавички малышам свяжи.
В Новый год я убегу из дома
И мальчишек уведу с собой –
В синий бор, любимый и знакомый,
Разодетый в иней голубой.
Пусть они научатся на лыжах
По горам без страха пролетать,

Подойдут к Снегурочке поближе,
чтоб лесные тайны разгадать…
Пусть со мною в непогодь любую
все тропинки обойдут в лесу –
и на праздник елку голубую
на плечах из леса принесут.
Дед Мороз Снегурочку покличет
и пойдет за нами по пятам…
Только наших милых рукавичек
ни за что ему я не отдам!

Вот и полночь – время сновидений.
Спят в кроватках двое малышей.
Им, конечно, снится продолженье
сказки недосказанной твоей.
Вижу я, как ты стоишь над ними.
Знаю я, коль будет тяжело,
все печали как рукою снимет
рукавичек кровное тепло.
И склоняясь над ними по привычке,
ты, наверно, думаешь сама:
«Милые,
родные…
рукавички!
Как без вас, когда придет зима?..»

* * *

В ночи горит Полярная Звезда.
Схватить ее, намеченную слабо,
раздуть, разжечь – не уходя с листа,
я пригвоздил себя, печаль моя и слава!

Пусть пальцы жжет расплавленный металл
заглавный лист неначатой тетради.
За то, что я на север не летал.
За то, что милых по головкам гладил.

Боялся бросить их на глубину
и сам у бережка топтался вместе с ними.
Сними меня Звезда, мою вину.
Никто, как ты, Звезда, ее не снимет.

Давно мои промчались поезда
и самолеты отлетали к полюсу.
Я сам себя, Полярная Звезда,
приговорил к умеренному поясу.

Далеким путешествиям – каюк.
Проверочных не будет экспедиций.
Мои друзья – мне самый теплый юг.
Моя работа – мой полярный круг.
Заветный полюс – белые страницы.

Любимыми, как прежде, дорожу.
Когда сосредоточенно-рассеян,
я ухожу в себя – я ухожу
на необжитый и опасный север.

На вечных изысканиях родства
души поэта с душами другими
я знаю точно – хуже воровства,
когда твое обожествляют имя.

Не верь тому, Полярная Звезда,
кто презирает мирное жилище
и, весь в бегах, пропившись до креста,
уж ничего под звездами не ищет.

Бродяжий дух – как песенная страсть
в любом из нас гнездится с колыбели.
Но ты не дай, Звезда, не дай упасть
в движение без радости и цели.

* * *

Все ждешь, все жаждешь равновесия –
и добрым быть
и мудрым быть,
чтоб всем вокруг
легко и весело
себя –
как солнышко – дарить.

Но где она, та радость тихая
глубокой ясности души,
когда весь мир прекрасной книгою
вдруг открывается в тиши?..
Ни зла, ни лжи, ни прочей нечисти,
ни преходящих мелочей…
В сердцах людей – дыханье вечности
и нежность – в глубине очей.
Тогда гранится мысль высокая –
как ель под солнцем на юру,
и падают в ладони соколы –
слова, зовущие к добру.

Но где оно, то равновесие
моей взволнованной души,
какими градами и весями,
в какой скитается глуши,
Придет ли?..
В полночи бессонные
придет
и встанет у стола,
чтоб мысль – как елочка граненая,
оформилась и зажила.

Она растет, чеканя медленно
сама себя, так много лет…
А кто-то рядом злой и въедливый
ей загораживает свет.
Сурова жизнь. Глядит не весело
на все старания твои,
не диво, молвит, равновесие –
без равновесия твори!

Апрель

Березы в апреле – как свечи на блюдцах
зеркального сверка.
Тут все как положено: ветви смеются
и льются не снизу, а сверху.

На пальчиках веток почти незаметно
дыхание ветра.
Но в зеркале пляшет, струится под ветром
ручьистая, гибкая ветка.

Наверное, завтра на тайном рассвете
рванутся из блюдца
и станут ручьями упругие ветви
и звонко по склонам забьются.

И солнце, и ветер, и вешние воды –
не главная сила.
Березы стоят посредине природы.
Всех жарче – Россия!

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

(Петр Павлович Дедов)

Прозаик и публицист Петр Павлович Дедов родился 5 февраля 1933 года в селе Новоключи Купинского района Новосибирской области, в крестьянской семье.

За плечами писателя тяжелое военное детство. Рано потеряв отца, он подростком начал свой трудовой путь: работал погонщиком быков, помощником бригадира, плотником, грузчиком.

Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института, а позже факультет журналистики Центральной комсомольской школы в Москве. Был учителем, журналистом областных и центральных газет, комсомольским работником (несколько лет проработал секретарем Купинского райкома комсомола Новосибирской области).

В середине 1960-х годов П. Дедов начал свою литературную деятельность. Первые рассказы печатались в новосибирских газетах. Публиковался в журналах «Смена», «Уральский следопыт», «Сибирские огни». В 1970 году вышла в свет первая книга П. Дедова «К солнцу незакатному». Он также автор книг «Березовая елка» (1977), «Алый цвет зари» (1978), «Сказание о Майке Парусе» (1979), «Лунные поляны» (1982), «Светозары» (1987), «Чалдония» (2003), «Русская доля» (2007) и др., выпущенных в Новосибирске и Москве. Издавался в Германии, Болгарии, Венгрии, Китае. Член Союза писателей СССР. Лауреат Всесоюзного конкурса Союза писателей и ВЦСПС «За лучшее произведение художественной прозы о современном рабочем классе и крестьянстве» (1984), а так же лауреат премий губернатора Новосибирской области (2003) и имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2008).

Умер 18 июля 2013 года в деревне Ерестная Новосибирской области.

Магистральные темы творчества П. Дедова – военное детство, сибирская история и родная природа.

Лирик по художественному восприятию мира, поэт в прозе по способу творческого самовыражения, гражданин по идейной и нравственной сути, П. Дедов писал о наиболее близком и понятном каждому из нас: о сохранении красоты мира и гармонии души человеческой, о сродстве «с этим вечным миром под звездами», о естественной неразделимости «с жизнью трав, деревьев, с первоприродными глубинами этой жизни». Не случайно природа вошла в плоть и кровь героев П. Дедова.

В своих произведениях, и в первую очередь в главной книге – трилогии «Светозары» – писатель постоянно подчеркивает, насколько же красив, гармоничен, слитен с окружающим миром может быть сибирский крестьянин, как поэтичен бывает он и в тяжелой работе, и в бесконечных домашних заботах, и на нечастых деревенских праздниках.

Вместе с тем, совершенно в пришвинских традициях, сквозь проникновенную лиричность, нежную акварельность и чистоту красок прозы П. Дедова без труда проступает ее социальность и острейшая подчас злободневность, ее гражданственная наполненность. Чем еще больше возбуждает читательский интерес.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги П. Дедова:

Светозары. Трилогия. – М., 1987.
Русская доля. Рассказы. –Новосибирск, 2007.

О П. Дедове:

Сапожников В. Размышления над прозой Петра Дедова. // Петр Дедов. Страда. – Новосибирск, 1983.
Дедов Петр Павлович. // А. Горшенин. Литература и писатели Сибири. Энциклопедическое издание. – Новосибирск, 2012.

Петр ДЕДОВ

БЕРЕЗОВАЯ ЕЛКА

(Глава из романа-трилогии «Светозары»)

1

Мне жалко Таньку. Она уже не может плакать – охрипла и выматывает душу, тянет тоненько, уныло:

– И-исть, хле-еба…

Петька гостит у бабушки Федоры, Колька, самый маленький, тот наплакался и заснул. А эту сон не берет. В десятый раз лезу в шкафчик, ворошу там деревянные щербатые ложки. Но из шкафчика даже хлебный дух давно выветрился.

Тогда я беру сестренку за руку и веду к окну. Ручонка у нее тоненькая, холодная и кажется прозрачной, как ледышка. Мне становится тоскливо и самому хочется плакать…

Мы с Танькой любим сидеть у окна в эту синюю предвечернюю пору. На стеклах мороз нарисовал дивные узоры, какие-то неведомые цветы и травы, и, глядя на них, хорошо помечтать о чем-нибудь приятном, сказочном.

– Ну, что тебе дался этот хлеб? – успокаиваю я Таньку. – Вот подожди, вырастешь большая, отдадим тебя замуж за Ивана-царевича, так ты этот хлеб собакам кидать будешь, а сама одни конфеты да сахар есть.

Танька таращится на меня большими черными глазами, всю ее еще сотрясают судорожные всхлипы.

– А калтоплянки у Ивана-цалевича есть?

– Да какие тебе картопляники? – горячусь я. – Говорю же, что сахар горстями лопать будешь!

Танька совсем успокаивается, долго соображает, а потом вздыхает глубоко:

– Нет, Селеза, лучше калтопляники. Сахалом ведь не наешься.

– Ну и хорошо! Хозяин – барин, – легко соглашаюсь я

Во дворе ядрено скрипят на морозе торопливые шаги.

– Мамка!

Увидев расплющенные на стекле наши носы, мама останавливается под окном. Она что-то говорит и улыбается. Давно уж мы не видели ее улыбки, и нам сразу становится хорошо, как-то светло и празднично.

Тах! – с трудом открывается набухшая дверь, и клубы пара понизу спешат в избу, как стая седых зверьков, расползаются под столом, под лавкой, под печью.

В руках у мамы узелок, за плечами – мешок. Она продолжает улыбаться:

– Радуйтесь, детки. Теперь мы с хлебом и с картошкой. Выписали в конторе к празднику. Добрым человеком новый-то бригадир наш оказался. Последнее наскреб по сусекам да многодетным вдовам роздал…

2

Новый бригадир появился у нас совсем недавно, но уже успел нагнать страху на баб и ребятишек своей суровостью, а больше того– страхолюдной внешностью.

Но ко всему стали привыкать в деревне. Раньше-то жили как-то ровнее, делали одно: работа до упаду, короткий сон, а там – снова работа. Даже какое-то пустяшное событие будоражило всех. В последние же дни эти события приключились одно за другим.

Пришла похоронная на Прокопия Коптева. Где-то в неведомой нам Польше сложил буйную головушку балагур и весельчак, выдумщик цыганских анекдотов. Мокрына, когда узнала о смерти мужа, бегала по дворам, выла и жаловалась соседям: «Это я во всем виноватая. Это назло он мне сделал, Прокопушка. Ить доброго слова от меня не слыхал, ласки сроду не видел. Бывало, и била я его, бабоньки, чем попадя. Он ведь смиренный был, как малое дитя, слова поперек не скажет…

А перед самым Новым годом деревня взбунтовалась против прежнего бригадира Ильи Огнева. Видно, переполнилась чаша терпенья: сколь веревочка ни вьется, а конец свой имеет.

Однажды среди ночи к нам сильно постучали. Перепуганная мама босиком бросилась в сенцы: «Не пожар ли опять, Господи!» Заревел разбуженный Колька, я шмыгнул вслед за матерью.

– Помогите, люди добрые! – причитала за дверью тетка Анна, мать Тамарки Ивановой. – Илюха дочку мою убивает!..

И не успела мама отодвинуть засов, как тетка побежала к другой избе и там застучала, запричитала под окном:

– Помогите, Христа ради, люди добрые…

Вскоре всполошенные люди повыскакивали на улицу.

– За мной! – держа вилы наперевес, грозно гудел Тимофей Малыхин, направляясь к Анниной избе.

В окнах там не было света, дверь в сенцы раскрыта настежь. Дед Тимофей первым шагнул в темную избу, толпа повалила за ним. Я протиснулся между взрослыми, в потемках меня не заметили. Все остановились у порога, боязливо жались друг к другу, пораженные тишиной.

– Есть тут кто живой? – спросил дед.

Ему никто не ответил. Тогда он вытащил из кармана кресало и кремень, застучал, выбивая синие искры.

– Погоди, Тимоха, – кинулась к печке плачущая тетка Анна, – у меня угли в загнетке есть.

Она стала шуровать клюкой, выгребла на шесток чадящие угли. Вздула огонь, запалила лучину. По стенам и потолку заметались косматые тени. В дымном свете лучины мы увидели Тамарку. Она лежала на полу без движенья. Тетка Анна сунула Тимофею лучину, бросилась к дочери.

– Дитятко мое родное, – заголосила она, – что же с тобой наделали?

Тамарка открыла глаза, попыталась подняться. Губы ее были разбиты в кровь, платье разодрано.

– Изверг ты проклятый, фашист недобитый! – кричала тетка Анна, помогая дочери. – Дверь-то была заперта, дак он стучал, стучал, потом вышиб ее, только засов хрястнул. Налетел коршуном, сам пьяный в стельку, давай ее, доченьку, к себе тащить. Она ему в морду поганую плюнула, дак он топор схватил, порешить ее хотел. Я-то вступилась, было, да он выпнул меня за порог, как собаку бездомную…

– Ну, хватит тебе! – оборвал ее дед Тимофей. – Сказывай, дочка, куда Илюха делся?

Тамарка молчала, озираясь вокруг безумными, остекленевшими глазами.

– Айда, бабы, далеко он не убег, гдей-то здесь ховается!

При свете лучины обшарили сенцы и кладовку, заглянули в подпол. Илюху нашли в сарае. Он прятался в коровьих яслях, зарывшись с головою в соломенных объедьях. Женщины выволокли его оттуда, вышибли из рук топор. Весь хмель с Илюхи, как рукой сняло.

– Да че вы, че вы, бабы? – трясся он, не попадая зуб на зуб. – Пошутил я маленько, пошутил, говорю…

– Пошутил?! – взревела вдруг Мокрына Коптева, вырывая у деда Тимофея вилы. – Ну я счас тоже с тобой пошучу!

Женщины кинулись к ней, но она разбросала их одним движением могучих плеч, и только деду Тимофею с трудом удалось вывернуть из ее рук вилы.

– Нельзя так, девки, – гудел он, – за это никто нас по головке не погладит. Давай веди его, хвашиста, в контору под конвоем, собрание будем проводить…

Когда пришли в контору, Илюха, было, сунулся по привычке на свое бригадирское место за столом, но Тимофей отстранил его плечом:

– Осади, трошки. Ты вроде как подсудный, постоять можешь.

И сам навис над столом, упершись в красную, запятнанную чернилами, скатерку.

– Давай по всем правилам, граждане. Собрание считаю открытым. Перво-наперво нам надо выдвинуть этого… как его?

– Призидиюм, – подсказал кто-то.

– Во-во! Чтобы речи, значит, записывать по всей форме.

– Марья Прокосова пущай пишет, она не наврет

– Да уж из меня грамотей, – застеснялась мама, стоявшая у порога, – накарябаю, как курица лапой, потом и сама не разберу…

– Давай, давай! – подбодрил дед Тимофей. – Слово – оно, конечно, не воробей, а на гумагу его все равно поймать можно.

Мама прошла к столу, села с краешку, потупилась, зябко кутаясь в полушалок. Тимофей вытер шапкой рябое, избитое оспой лицо и продолжил:

– Речей говорить я, граждане, не умею, потому и приступим сразу к делу. Завелся промеж нас пакостник, от которого житья никому не стало. А ить известно вам: одна паршивая овца все стадо порешить может. И в такое-то время, когда мужья и сыновья наши где-то кровью истекают, жисти своей не щадят, штобы до конца свернуть шею Гитлеру, – и в такое-то время эта гнида шелудивая бесится с жиру… Женихаться, вишь, надумал, девки у него на уме, а того, поди, не знаешь, што Гайдабуровы ребятишки с голоду пухнут, того не ведаешь, как вдовы горючими слезами умываются…

– Судить его, паскуду! – грохнула Мокрына Коптева.

И этот вскрик словно разбудил Илюху, вывел его из оцепенения. На негнущейся ноге он скокнул к столу, оттеснил Тимофея.

– Это кого судить, меня? – верхняя губа его поползла к носу, в звероватом оскале обнажая крупные желтые зубы. – Меня судить надумали?! А вот этого не хотите? – Илюха выбросил вперед руку со сжатыми в кукиш пальцами. – Да я сам вас всех пересажаю! Против кого бунтуете? Супротив Советской власти? Она меня на этот пост поставила, а вы на своего начальника руку подымать?! Или не знаете, что за это бывает по законам военного времени?! А ну, расходись по домам!!

Женщины, ошеломленные таким поворотам дела, попятились, было, к двери, но неожиданно для всех перед Илюхой встала моя мама. Я видел, как побелело ее лицо, и слышал, как дрожал в настороженной тишине ее голос:

– А ты нас не пугай, – почти шепотом сказала она. – Не надо нас пугать, Илья Кондратьевич… Хуже, как живем теперь, ничего ты для нас не придумаешь…

Мама круто повернулась и, закрыв лицо ладонями, стала протискиваться за спины женщин.

– Не шибко-то боимся! – раздались голоса.

– Молчать у мене!

– На каждый роток не набросишь платок.

– Не всё коту масленица!..

– Вот погоди, мужики с войны вернутся…

– Молодец против овец…

– Что вы меня своими мужиками стращаете?! – снова взвился Илюха. – Советскую власть я никому не дам топтать, костьми за нее ляжу! Она таких, как я, из самого что ни на есть дерьма в люди вывела. Кто я раньше был? Конюх задрипанный, лошадям хвосты крутил. А теперь?.. Да не будь я инвалидом, я, может, полком бы сейчас на фронте командовал!

– Тебе воевать не в поле, а в бабьем подоле, – прогудел Тимофей Малыхин.

Контора раскатилась хохотом, Илюха очумело застучал кулаком по столу:– Молчать у мене!

– Иди-ко ты по башке себе постукай, ежели кулаки чешутся, – пододвинулся к нему Тимофей. – Звонко будет, как по пустой бочке.

– Давай, давай проваливай! Не желаем, чтобы ты бригадирил над нами!

Кто-то свистнул, кто-то затопал ногами. Илюха как-то сразу осекся и сник. Сутулясь, прошкандыбал к выходу. На пороге обернулся, погрозил кулаком:

– Вы ишшо ответите за это!

– Катись колбаской по Малой Спасской!

Когда хлопнула за Илюхой дверь, все с минуту молчали. Тимофей крякнул, тяжело опустился на скрипучий бригадирский стул.

– Вот и наломали дров, – тихо сказал кто-то.

– Ничего нам, бабы, не будет, – поднял голову Тимофей. – Наше дело правое…

– Давай, дед, тряхни стариной, бери бригадирство.

– Все поддержим, если в правлении возражать будут.

– Да куда ж мне, – вздохнул Тимофей, – я ить и расписаться не умею. А тут надо сводки писать, трудодни начислять, якорь их зацепи…

Поспорили, посудачили, так ничего и не придумали…

А утром никто не явился на наряд. Я бежал на ферму помочь маме управиться с коровами и видел, как Илюха один стоял на конторском крыльце, озираясь по сторонам, наверное, поджидал колхозников.

Через час он приехал на ферму. Здесь все были давно на местах, делали свое дело. Илюха был ласковый, как никогда, со всеми здоровался, даже шутил.

– Здорово ты вчерась меня отбрила! – весело сказал он маме. – Ну да я обиду на тебя не держу, я всех простил.

– Зато мы тебя не простили, – вырвалось у мамы, она даже рот ладошкой прикрыла.

– Ладно тебе дуться-то, на сердитых воду возят.

Он крутился около женщин, юлил и заискивал, но никто на это не обращал внимания. На него смотрели – как на пустое место.

Так продолжалось дня три, а потом приехал председатель колхоза, привез в нашу деревню нового бригадира. В тот же вечер забежала к нам Дунька Рябова, смехом закатилась еще с порога:

– Ой, мамонька родная, держите меня, а то упаду! Нового-то начальника, Марьюшка, не видела ты? Ой, страхолюдина, ой, пугало огородное – ночью ежели приснится, так и не проснешься от страху… Рожа-то, как бороной по нему прошли, да черными пятнами вся, а глазищи-то – умора одна…

– Чего раскудахталась? – осадила ее мама. – Человек, может, на фронте покалеченный.

– Может, и на фронте, – согласилась Дунька, – да только и характер у него, видать, не красившее. Не успел приехать – сразу на ферму притащился. Я там одна была, дежурила. Все обошел, каждый угол обнюхал, а потом на меня набросился. «Что, говорит, за порядки у вас такие? Ясли не можете сделать? Валите корм под ноги, коровы и топчут его, с навозом мешают». Правильно, отвечаю, да только я ведь не плотник, мое дело – сторона. Тут уж он и взъерепенился! «Как, орет, сторона?! Да за такие дела под суд отдавать надо!» В общем, сменили шило на мыло, – заключила Дунька.

А скоро и я познакомился с новым бригадиром. Мама приболела, и я управлялся за нее на ферме. Все доярки быстренько убрали за своими коровами навоз и смотались по домам. А я замешкался

около своей любимицы – коровы по кличке Мальва. Удивительные у этой коровы глаза: грустные и словно бы все понимающие – только слово не скажет. И характер у нее гордый. Мама рассказывала: как-то пришла на дойку не в духе и накричала на Мальву. А та молоко не стала отдавать ни в какую. До слез довела, только потом сжалилась… Летом пастухам с нею беда. Придет время телиться, Мальва уйдет потихоньку из стада и спрячется где-нибудь в дальних буераках. Там и отелится, и телка оближет да накормит, а после в стадо придет одна. Пастухи с ног сбиваются, теленочка ищут. Мальва в положенное время бегает его кормить, но попробуй выследи хитрюгу! Уходит, когда пастух задремлет, да сначала в другую сторону, а потом кругаля даст по-за кустами – и на месте. Таким же манером и на ночь удирает. И только через неделю, когда теленок подымется на ноги, окрепнет, Мальва сама приводит его в стадо…

По своей привычке я стоял и разговаривал с Мальвой, когда сзади кто-то подошел. Я обернулся и отпрянул в сторону: лицо подошедшего мужчины было страшным. Оно было исполосовано багровыми и синими рубцами, ресниц и бровей не было, и глаза казались огромными, как у быка.

– Не бойся, – сказал мужчина, – я ваш новый бригадир, а зовут меня Федором Михайловичем. А ты чей будешь?

Я оправился немного от испуга, но поглядеть бригадиру в лицо не решался.

– Прокосов я. Марии Прокосовой сын.

– Ага, знаю такую, сказывали мне – хорошая доярка.

От этой похвалы стало мне совсем легко, а бригадир присел на пряслину, вынул кисет.

– Как здоровье дедушки Семена – не поправляется?

Меня удивило, что приезжий так быстро успел обо всех разузнать.

– Плохой он совсем, – сказал я, – все на печи лежит…

– М-да… И подкормить старика нечем… Ну, а ты почему не в школе?

– Мама приболела, а с коровами управляться некому.

– Это никуда не годится. Неужели другие доярки не могли подменить?

– У каждой работы по горло, – вздохнул я.

– А ты, вижу, серьезный парень, – ласково сказал бригадир. – Учишься-то как?

– Ударник пока, без троек.

– Пионер?

– А как же!

– Тогда вот что… – Федор Михайлович затушил о подошву вонючий окурок, придвинулся ближе ко мне. – Ты с Иваном Гайдабуром дружишь?

– Это Ванька-шалопут, что ли? – не понял я.

Бригадир засмеялся:

– Вот уж поистине шалопут! Но речь не о том. Иван ворует семенное зерно из колхозного амбара. Подлезет под амбар, просверлит буравчиком дырку – зерно и сыплется… Поймать его пока не удалось, но что делает это он – мне известно точно. А ведь он не столько берет, сколько рассыпает.

– Да за такие дела харю надо побить! – вспыхнул я, но тут же осекся, вспомнив, как сам воровал на току пшеницу.

Бригадир вроде бы не заметил моего смущения, спокойно продолжал:

– Можно и побить, это уже дело твое. Потолкуй сначала с ним по душам, а если не подействует… Но только запомни: это мужской разговор, строго между нами. Понял? Если разболтаешь в школе – его же тогда засмеют, со свету сживут, а он, как-никак – твой друг…

– Сегодня же и поговорю! – заверил я бригадира.

– Вот и хорошо. А то и мать из-за него, дурака, пострадать может.

Федор Михайлович мне понравился. Никто из взрослых так доверительно со мной не разговаривал – как с равным. Я совсем осмелел и спросил:

– А где это лицо вам так?

– В танке горел, да не сгорел, – коротко ответил бригадир и поднялся.

Я до мелочей продумал всю операцию и в тот же вечер пошел к Гайдабурам, вызвал Ваньку на улицу. Поманил за угол сарая и там, без лишних слов, врезал ему кулаком по уху. Я был сильнее его, но уступал в ловкости. Шалопут не ожидал удара, полетел кубарем в снег, а я прыгнул на него верхом, заломил за спину руки. Как истинный борец, Ванька даже не вскрикнул, а, может, с испугу онемел.

– Ты воруешь в амбаре пшеницу, – сказал я. – Лазишь под завалинку, сверлишь буравчиком дырку в полу… Мать об этом знает?

– Нет, – выдохнул Ванька.

– А если узнает?

– Шкуру сдерет… Не говори ей.

– Пока не скажу. Но если еще раз полезешь – расскажу и матери, и учительнице, напишу на фронт отцу и в суд заявлю: посадят тебя в каталажку вместе с матерью…

– Знает еще кто-нибудь? – деловито спросил Ванька.

– Что воруешь – не знает никто, – соврал я, – но дырки в полу уже заметили, каждый день устраивают засаду.

Ванька тяжело сопел, но не заплакал.

– А откуда ты узнал, что ворую я? – спросил он.

– Сам видел. Поклянись отцом и матерью, что больше не будешь.

Ванька молчал. Среди мальчишек страшная клятва эта по пустякам не давалась. Вдруг он рванулся, пытаясь меня сбросить. Я прижал коленом его шею: хорошо я знал своего дружка, по-другому от него ничего не добьешься.

– Клянись!

– Чтоб отца моего… и мать мою… громом разбило… если я полезу воровать… – задыхаясь, прохрипел Ванька.

Я встал и подал ему руку.

3

…Правду мама сказала: добрым человеком оказался новый бригадир. Извернулся вот как-то, наскреб по сусекам пшенички к новогоднему празднику.

Мама снимает с плеча мешок, не раздеваясь, растапливает печь, задвигает на загнетку чугунок с водою.

– Пока сварим кутью, а к завтрему я намелю вам муки на картопляники.

Потом говорит мне:

– Собирайся живо, сынок. Пойдем в лес, за елкой. Пусть все будет как раньше, при отце…

Березовый колок начинается прямо за огородами. Высоко в небе стоит полная луна, и здесь чисто и торжественно, как в прибранной к празднику избе. И такая стоит тишина – аж в ушах звенит. И жутковато немножко…

Сугробы искрятся и мерцают разноцветными огоньками, а березовые стволы светятся голубым сиянием. Деревья разбросали по снегу синие кружева теней, они такие четкие, резкие, что боязно запутаться в них ногами, как в непроходимом валежнике.

Мама идет по глубокому снегу и старается шагать помельче, чтобы я угадывал в ее следы. Отыскиваем самую красивую березку. Она стоит и не шелохнется, словно насторожилась и чего-то ждет.

– Больно жалко губить-то, – вздыхает мать, отаптывает снег вокруг деревца. Она стоит и не шелохнется, словно насторожилась и чего-то ждет.

– Дай-кось я.

Беру топор и ворчу себе под нос:

– Уж эти мне бабы.

Первый удар. Лезвие отскакивает от мерзлого ствола, как от железа. Рублю еще, замахиваясь со всего плеча. Березка вздрагивает, глухо гудит, но не сдается. Колючий куржак сыплется за ворот моей шубенки, зябкие струйки стекают по разгоряченной спине..

– Давай, давай, хвастунишка, – смеется мама.

Руки у меня становятся ватными, гладкое топорище выскальзывает из них, словно живая щука, черные круги вспыхивают перед глазами… Удар, еще удар – и на меня обрушивается горячая снежная лавина, придавливает к земле…

Первое, что я увидел, когда очнулся, – это заплаканное мамино лицо. Глаза у нее круглые и темные, сейчас она особенно здорово похожа на Таньку. В избе тепло, уютно от желтого огонька коптилки. Мама прикладывает к моему лбу снежные комочки и шепчет, целуя мои щеки:

– Дурачок ты этакий. Разве ж так можно? Ты ведь знаешь, что топор у нас тупой, как обух.

Мне стыдно, я не привык к такой ласке. А еще я не могу сообразить: как же мама меня дотащила из лесу?

Встаю с пола. Немного тошнит, и ноги подгибаются в коленях. На лавке, свернувшись клубочком, спит Танька. Колька сидит в качалке и удивленно лупает глазенками на лежащую у порога березку, которая сверкает желтыми капельками, как на весенней заре. Мать засуетилась у печки:

– Поешь кутьи да полезем на чердак за вениками. Она ставит на стол дымящуюся миску разваренной пузатой пшеницы. Голова кружится от солоделого хлебного духа, но есть почему-то уже не хочется. Я одеваюсь, беру коптилку, керосиновый пузырек с фитилем, и, прикрыв огонек ладонью, иду в сени.

– Ты тут не плачь без нас, Колюшка. Будь мужчиной, – говорит мать, поспешая следом за мною.

Я побаиваюсь чердака. Глухими вьюжными ночами мне всегда кажется, что там кто-то ходит, разговаривает, иногда даже различаю отдельные слова. Но сейчас я первый лезу по лестнице: мне

совестно перед матерью за сегодняшнюю слабость в лесу. На чердаке холодно, висящие на жердочке березовые веники заиндевели и напоминают седые бороды сказочных великанов.

Отец мой очень любил париться в бане, и каждое лето мама вязала для него такие вот веники. Навязала она их и нынче. По привычке, наверное…

В избе мать, не раздеваясь, садится на лавку, рядом со спящей Танькой, и долго смотрит на дверь блестящими от слез, невидящими глазами.

Да, попариться папка любил. Помню, взял он меня с собою в баню, в первый жар. Прежде чем лезть на полок, надел шапку и рукавицы.

– Это зачем ты, папка? – спросил я.

– А это затем, чтобы пальцы не жгло да волосы не трещали, – ответил отец. – а ну-ка поддай с полведерка!

Я выплеснул воду на раскаленные кирпичи каменки. Каменка взорвалась паром, в бане сразу стало темно.

– Ложись! – заорал отец. – Ложись, а то поджаришься, как поросенок!

Меня словно обдало кипятком, я заскулил и, упав на холодный пол, вслепую пополз к двери.

– Ну что ты за мужик такой, если пара боишься! – кричал отец.

Но я уже ничего не слышал, руками и головой стараясь открыть скользкую разбухшую дверь. В предбаннике лег на пахучую солому и долго не мог очухаться. А за дверью слышались торопливые шлепки веника, да разъяренным зверем рычал отец. Потом он пробкой вылетел из бани, малиновый, весь окутанный паром, словно выскочил из горящего дома, нырнул с головой в сугроб и давай нагишом кататься по снегу.

Березку мы приладили к стулу и стали обвязывать ее зелеными веточками от веников. Получилось хорошо. Березка зазеленела, словно живая. Даже летом запахло в нашей избе. Правда, это была не настоящая елка, какие когда-то привозил к новогодним праздникам отец издалека. У нас, в Кулунде, настоящие не растут – только березы да осины, да еще тальник по низинам. А в последний раз я видел елочку прикрученной веревками к боковому разводу кошевы, которую приволок в деревню полуживой мерин Громобой. Пустую, без отца. Но в том году елку мы не наряжали…

– Беги к бабке Кулине, она цветной бумаги на игрушки сулилась дать, – сказала мама.

Я выскочил во двор, перепрыгнул плетень и одним махом влетел на соседское крыльцо. Промерзшее крыльцо жалобно застонало, и не успел я еще постучать, как за дверью раздался хрипловатый тревожный голос:

– Ковой-то бог принес?

– Отпирайте, бабушка, это я, Сережка.

– Вон как, а мне-то почудилось… – разочарованно бормотала бабка, гремя щеколдой.

Она показалась на пороге, босая, в холстинной исподней рубахе, и пустыми глазами долго глядела на меня. Сбоку она похожа на какую-то птицу – с крючковатым носом, с круглыми, как пуговки, глазами на сухоньком лице, с растрепанными седыми волосами. Я съежился под ее взглядом, как в тот раз, когда воровал на току пшеницу. Все ребятишки в деревне побаивались бабку, считали, что она рехнулась после того, как получила похоронные на трех своих сыновей. Четвертый, самый младший, был еще жив, воевал где-то за границей, и говорят, что бабка, завидев из окна Нюшку-почтальоншу, которая в этот дом приносила чаще похоронные, чем письма, закрывала дверь на щеколду, и сама пряталась в подпол.

Когда мы вошли в избу, она сказала:

– Зарубил бы ты мне к празднику курицу, сынок. Ась? Весь порядок сегодня оббегала, да бабы скрозь, боятся…

Я никогда не рубил кур, но отказаться и не подумал. Бабка зажгла лучину, мы вышли в сенцы. Одинокая курица дремала на насесте, спрятав голову под крыло.

– Все берегла, гостей дорогих поджидала. А теперь совсем кормить стало нечем, – всхлипнула бабка.

Я взял спящую курицу – она закричала, затрепыхалась. Но когда я поднес к чурбаку ее голову, курица притихла и вдруг… покорно вытянула шею. Я не ожидал такого, растерялся, топор выпал из моих рук. Наверное, вид у меня был неважный, потому что бабка сказала:

– Чёй-то раздумала я сёдня рубить. Тереби ее, окаянную, всю ночь… Попрошу утречком Тимоху Малыхина.

Я торопливо нашарил топорище и, зажмурившись, рубанул. Обезглавленная курица, махая крыльями, забилась у ног.

– Легкая у тебя рука, сынок, – не то хваля, не то осуждая, промолвила бабка. – Долго проживешь с такою рукою. Мой старшой, Гриша, покойничек, не к ночи будь помянут, дак тот, бывало, зарубит – птица и ногой не шевельнет.

Дрожащими руками собрал я лоскутки разноцветной бумаги и заспешил домой.

– Приходи завтра, Серега, крылышком угощу, напутствовала бабка Кулина…

Дома мы сели делать игрушки. Мама с Танькой, которая уже проснулась и наелась кутьи, клеили разноцветные цепочки, а я вырезал из картонных корок, отодранных от старых отцовских книг, лошадей. Настроение было отличное: еще бы, ведь я сегодня одержал две победы: не испугался, первым полез на чердак и не побоялся зарубить курицу.

Я увлекся, позабыл обо всем на свете. Правда, лошадки сначала походили скорее на кошек и собак, но вдохновение мое от этого не уменьшалось. Потом я сообразил, что сперва надо рисовать, а после уж вырезывать. И вот он предо мною, большущий, во всю корку Громобой, – на клешнястых ногах с разбитыми копытами, с низко опущенной головою. Я даже ребра ему нарисовал. А рядом красавчик Кречет, на котором когда-то гарцевал покойный Сашка Гайдабура и которого давно забрали на войну. Шея выгнута, как у лебедя, хвост – трубой. И чтобы уж совсем было сходство, я развел в воде сажу, раскрасил коня серыми пятнами – «яблоками». Что-то происходило со мной непонятное, какая-то сладкая музыка рождалась в душе и звучала, пела в предчувствии радости. Быть может, просто детство тогда вернулось ко мне на короткий час, и я позабыл, что давно уже стал всепонимающим маленьким старичком, которому смешны ребячьи игры и забавы? А может быть, рождалось что-то большое и прекрасное, что вылилось сейчас в этих бешено скачущих лошадях с развевающимися на вольном ветру гривами, а после всю жизнь будет мучить меня, звать в неведомую, недоступную даль…

– Ма, скажи, а мой Иван-царевич тоже воюет? – спрашивает Танька, таращась круглыми глазами на огонек коптилки.

Я прыснул в кулак: прямо ужас, до чего же глупый народ эти детишки!

– И напрасно ты смеешься, Сережа, – серьезно сказала мать. – Сейчас все на фронте: и Иван-царевич, и Белебер-Белеберович, и Ванюшка-дурачок на своем Коньке-Горбунке. Все воюют, потому-то и капут скоро Гитлеру придет…

Потом мы долго еще сидим всей семьею у раскрытой печки, смотрим на нарядную елку и молчим. На полу розовыми зайчатами играют отблески пламени, и от этого всем уютно и хорошо.

Засыпал я в ту далекую зимнюю ночь с ощущением счастья. Как всегда, перед сном привычно думал о приятном: вот мчусь на Кречете с дедушкиной саблей наголо за самим Гитлером. А куда ему, Гитлеру от меня уйти, если под ним даже не лошадь, а наш колхозный страшилище – бык Шаман? «Шурр-р, шур-рр», – врывается в мою тягучую сладкую дремоту. Это мама крутит ручную крупорушку, мелет муку к завтрему на картопляники. А мне чудится, что это идет по нашему двору кто-то большой, давно знакомый, ласковый, и пушистый снег хрумкает под мягкими, подшитыми, как у отца, валенками. Вот он подходит к окну, и сквозь легкие узоры я различаю его лицо – такое доброе и родное…

И откуда мне было знать, что это пришел сорок пятый год. Последний год войны.

РАССКАЗЫ

Верность

Тревожный закат горел в тот вечер над степным озером Чаны. Вначале весь западный небосклон был залит чистым малиновым светом, потом, когда померкло небо, малиновый свет осел, налился багрянцем, и до полной темноты все тлела и тлела в тумане, словно уголья, темно-вишневая полоса.

Но темнота держалась недолго: высветился вскоре и заполыхал противоположный край неба, из-за камышей поднялась огромная алая луна и стала медленно набирать высоту, постепенно уменьшаясь и как бы остывая.

И в это время ударил первый за нынешнюю осень заморозок. Он тонким ледком схватил сначала закраины неподвижного плёса, потом звездчатые кристаллы покрыли всю воду, и она засияла зеленоватым светом.

Лебеди на плёс прилетели поздно. Они бесшумно покружились над седыми от изморози камышами, а когда опустились на тихую воду, то оба вскрикнули от удивления, далеко прокатившись с разлету по гладкому льду. Они неуклюже перебирали лапами, скользили и падали, потом самец тяжело взмахнул крыльями, набрал высоту. И, сложив крылья, камнем упал вниз. Ледок хрустнул под его грудью, и серебряные лучи брызнули во все стороны. Лебедь взлетел еще, ударил в то же самое место, и лед не выдержал, проломился, звонкие осколки раскатились далеко вокруг, а черная вода залила пробоину.

Лебеди клювами раздолбили прорубь пошире и стали медленно плавать в студеной воде, не давая ей снова замерзнуть. Птицы проделали большой путь, сильно устали с дороги. От ранней зари

до поздней ночи они летели на юг, летели отдельно от шумных утиных и гусиных стай, нахлестываемых охотничьей дробью.. Бывало, что стреляли и в них, но лебеди летели высоко, и дробь лишь с треском отскакивала от их крепких перьев, а они не суетились, не кричали в страхе, гордо проплывая над головами охотников. Они много дней летели на юг, покинув свою северную родину, а зима гналась за ними следом, настигая то там, то здесь, и когда настигала, то снежными бурями выкручивала им сильные крылья, секла ледяной крупою.

И вот теперь лебеди отдыхали на тихом замершем плесе. Над ним, над сотнями подобных ему плёсов великого озера Чаны мерцали звезды, все круче опрокидывался ковш Большой Медведицы, а лебеди все плавали в черной проруби, чутко прислушиваясь к далеким звукам, долетавшим с берега. Оттуда наносило горьковатым дымом костра, слышался глухой стук топора, тихий говор людей. Лишь на рассвете смолкли эти чуждые дикому озеру звуки. Сильно потеплело, на озеро пал густой тяжелый туман, и лебеди с восходом поднялись на крыло и, хотя ничего не видно было вокруг в молочном тумане, их шеи сразу же вытянулись к югу, будто стрелка компаса.

Птицы летели, тихо переговариваясь между собою, как вдруг из камышей грохнул выстрел…

* * *

Маленький седой старичок сидел у костра и ощипывал лебедя. Он аккуратно обирал пух с подкрылков и складывал его в газетные кульки. Но пух просачивался между пальцев и невесомыми снежинками кружился над огнем. Старичок натуживался до красноты, с треском вырывая крепкие маховые перья.

– Прямо в шею угодил, – сказал он. – Метко стреляешь…

Сидевший по другую сторону костра парень, сын старика, поднял от книги голову и ответил как можно равнодушнее:

– Пустяк, отец. В такую мишень угодить – дело нехитрое. Вот недавно на стрельбищах по тарелочкам били, так из десяти девять – вдребезги.

– Метко стреляешь, – снова похвалил отец и надолго замолчал.

А парень уже не мог читать, он поднялся и оживленно заходил вокруг костра, стройный, подтянутый, как выгулянный гончий пес, не знающий, куда растратить молодую силу.

– Где-то читал про этих лебедей, – возбужденно говорил он, – будто убей одного, другой будет до самой смерти летать над тем местом, жалобно орать. А то еще: будто поднимется в небо, сложит крылья и упадет камнем на землю, расшибется насмерть. Как бы не так! Когда я, значит, шлепнул эту лебедушку, так он, подлец, и единого круга не сделал, шуганул прочь, только хвост мелькнул…

– Я всю жизнь охочусь, а лебедя не убивал ни одного, – неожиданно произнес старик.

– Это ты к чему? – насторожился сын.

– Рука, понимаешь, ни разу не поднялась.

– А ты все тот же, отец. Утки, косачи, лебеди – не все ли равно?

– То-то и оно, что нет. Разбираться надо…

Старик поднялся, стряхнул со стеганки перья.

– Мы охотиться сюда пришли, убивать, а не разбираться. Нас вот тоже в институте учат: благородство, гуманность… А ну-ка случись война, дадут мне оружие, так что, думаешь, разбираться я буду, кто мой подлинный враг, а кто обманутый?

Старик задумался.

– Так-то оно так, – сказал он тихо, – да только ведь и войну начинает прежде всего тот, в ком благородство это самое вытравлено, не разбирается – кто, а ломит…

Уже начинало смеркаться, – короток день поздней осени. Тишина стояла над озером, лишь слышался изредка посвист утиных стай, что проносились высоко в поблекшем небе, да на дальних плёсах тяжело и глухо ухало, – там еще стреляли охотники. Как и вчера, горел в полнеба малиновый закат, но он уже не казался таким ясным и очаровательным.

– Давай спать, – сказал старик. – Лучше завтра пораньше встанем.

Они устроились в палатке, но сон долго не приходил, каждый думал о своем…

Сын стал уже задремывать и неожиданно вздрогнул от жалобного крика, который прозвучал, казалось, над самой его головою:

– Клин-клик! Клин-клик!

Он вскочил, путаясь в накинутом тулупе, выбрался на волю. И тут увидел – над плёсом, в голубом лунном сиянии металась, кричала большая белая птица.

Ночь такая лунная

Спит рыбацкий поселок. Лишь в одной избе, сбежавшей по косогору к самой реке, светится единственное окно, расплываясь желтым пятном в дегтярно-черной воде.

Именно к этой избе, натужно гудя мотором, подруливает большой рыбачий карбас. Окно сразу гаснет, а из деревянной рубки баркаса вылезает невысокий проворный парень. Он открывает мотор, звякает металлом по металлу. Звучное эхо разносится по ночной реке, кругло перекатывается от берега к берегу.

Проходит полчаса, и окно в избе снова загорается, на скрипучее дощатое крыльцо выходит женщина.

– Ванька, – кричит она, – ты что, ночевать тут собрался?

– Да погоди ты, – сердито доносится с карбаса. – Не видишь, бензотрубка засорилась. А завтра чуть свет отходим…

– Чтоб оно сгорело тебе, твое корыто! – женщина громко хлопает дверью, свет в окошке гаснет.

Проходит еще полчаса – и снова крик с крыльца:

– Ты что, издеваешься надо мною, ирод? Уха давно простыла…

– Как же ты ее в потемках-то готовила? – коротко хохотнул Иван.

Дверь захлопывается с пушечным выстрелом. Иван еще минут десять возится с мотором, подсвечивая фонариком, потом идет в избу. Включает свет, проходит на кухню. На столе дымится, исходит ароматным паром стерляжья уха. Иван сбрасывает замасленную до хромового блеск, гремящую, как жесть, робу, умывается, шурует посудой в буфете. Руки устали, пальцы, как грабли, – ложку еле держат.

– К этой ухе, де еще бы стограммовича, – крякает он, обжигаясь.

В соседней комнате сердито скрипит панцирная сетка кровати, в дверях появляется жена.

– Где это леший носил тебя по сю пору?

– Да понимаешь, – Иван чувствует себя виноватым, начинает оправдываться. – Понимаешь, только закончили мы последнюю тоню, как на тебе, – бригадир заявляется. «Выручай, мол, Иван, у Сушкова мотор сломался, притащи его карбас на буксире». Поехал выручать… Завтра до работы надо смотаться к старику, просил мотор починить…

Жена всплеснула руками, запричитала:

– Надавала тебя нечистая на мою шею, ни день, ни ночь покоя с тобою не знаю. И все-то тебе больше всех надо, и все-то ты в каждую дыру затычка… Суббота, добрые люди в бане попарились, а ему какой-то Сушков дороже семьи… Ребенка-то хоть не забыл, как звать? Неделями не видишь: уходишь – спит, приходишь – спит?..

Иван поморщился, отложил ложку и вышел на крыльцо. Ругаться с женою он не умел. Да и что ей докажешь, если она во всем права?

Тихо было окрест. От реки веяло прохладой глубинных вод, а с полей тянуло одуряющим запахом полыни. Огромная, раскаленная до багрянца луна выглянула из-за зубчатой кромки далекого бора и стала стремительно набирать высоту, на глазах уменьшаясь и как бы остывая, пока не превратилась в идеально круглую серебряную монету. И тогда все заструилось вокруг в призрачном зеленоватом свете, а Ивану показалось на мгновение, что весь этот земной мир, – и черный зубчатый бор вдали, и деревенские избы под навесистыми тесовыми кровлями, похожие на старые покосившиеся грибы, и все это бесконечное, осыпанное голубыми искрами, пространство, – все-все погружено на дно океана, в вечную неземную тишину. И только высоко в темном небе, над прозрачной толщей воды роятся серебристыми пчелами косматые, словно в инее, звезды…

Иван сильно устал за день, и теперь его клонило ко сну, сладкая истома разливалась по всему телу, и было хорошо. Радостно как-то.

– Наташа, – тихо позвал он. Позади скрипнула дверь, жена остановилась поодаль.

– Ты погляди-ка, лунища-то, – зашептал Иван. – Во, наяривает… Ты только погляди…

Он берет жену за руку. Ему хочется сказать ей что-то значительное, единственное, – про эту ночь и про себя. Но он не умеет. Да и как передашь словами эти призрачно-неуловимые мысли и картины? Их невозможно задержать, чтобы облечь в слова, они создают лишь настроение – праздничное и в то же время щемящее светлой грустью.

А Наталья и без слов хорошо понимает мужа. Она припадает лицом к его широкой груди и вся съеживается в комочек под тяжелыми сильными руками.

– Трудно мне с тобой, ох, как трудно, – шепчет она и в темноте улыбается сквозь слезы.

А над ними, над всем этим вечно живым миром плывет дивная луна, и течет, и звенит под нею голубая тишина.

Но вот послышался вдали рокот мотора, из-за поворота показался черный стремительный силуэт лодки.

– Э-ге-гей, на берегу! – привольно раскатывается по реке мужской голос. А женский голос запевает громко и проголосно:

Ты звени, играй, моя
Гитара семиструнная…
Эх, да полюбила я тебя,
А ночь такая лунная!..

Лодка проносится мимо, и только бакены, белыми и красными розами расцветшие на черной воде, долго кланяются вслед улетающей песне, да всхлипывают под днищами причаленных к берегу лодок набежавшие волны…

…Они долго стоят на лунном квадрате крыльца, потом Наталья отстраняется и идет в избу готовить постель.

– Иди-ка, полюбуйся, – доносится оттуда ее тревожный голос. Иван заходит в спальню. Жена стоит над детской кроваткой, и в широко раскрытых глазах ее чуть ли не испуг.

– Что у тебя тут стряслось?

– Да ты погляди только, – неужели и этот в тебя пойдет? Таким же рыбаком-бродягой вырастет?!

Иван, не понимая, наклоняется над спящим сынишкой, трогает его пухлые румяные щечки своей большой, раздавленной работой, ладонью, и только теперь замечает у изголовья слепленную из пластилина штуковину, похожую на рыбацкий карбас.

Чем пахнет июль

В полях и лесах не успели еще выветриться яркие ароматы первоцветов, а уже в ранние заревые часы на деревню стали накатывать густые запахи скошенной травы.

После благодатных, пополам с солнцем, дождичков, травы быстро пошли в рост, на низких луговинах вымахали в пояс, и даже белесые солончаковые проплешины зазеленели. Правда, не бог весть какие добрые на них уродились сена, – жесткая, как проволока, метлика да ковыль, да резунь-трава, но по худому году и это был корм.

Зато меж редких перелесков, на затененных полянах березовых колков буйно выметнулись десятки, а то и сотни различных трав и цветов. Здесь и луговая овсяница вперемежку с тимофеевской травой, и пырей, и душистый багульник, и ромашки, – и все это

понизу перевито клевером или визилём, как зовут у нас в Кулунде все виды вьющихся трав. И над всем этим зеленым разливом качаются желтые зонтики пижмы, или дикой рябины, с одуряющим полынковым запахом, а то и цветок татарника подмигнет оранжевым огоньком – будто с ночи забыли погасить свечу. А внизу, в зеленом сумраке травяной гущины, среди гусиных лапок ягодника, негаснущими искрами рассыпана спелая клубника.

И вот, когда созрели, подошли травы – по всей необъятной Кулундинской степи закипели сенокосы. На широкие, ровные, как стол, луга вышли тракторные сенокосилки, и между колками, где травы особенно хороши (сеном – хоть чай заваривай, говорят местные жители), но где трактору не развернуться, стали работать доброхоты-косари: по старинке косить вручную, литовками. И по старинке же расположились они табором в травяных шалашах, вечерами жгли костры и пели песни, и высоко над шалашами мерцали зеленоватые звезды, пока утренняя синева не затапливала небо и не гасила их.

В эти-то заревые часы, когда волглая от росы трава особенно пахуча, и накатывали на деревню густые медвяные ароматы молодого сена. Но запах вянущей травы – не самый главный в июле. В Кулунде июль пахнет клубникой. Взойдет солнце, высохнет роса, стихнет назойливый зуд мошкары, в тень под листьями спрячутся мохнатые шмели в своих черно-желтых тельняшках – и вот тогда-то разольется над землей, покрывая все остальные запахи, ни с чем не сравнимый клубничный аромат.

Моя родина не шибко богата разнообразием ягод. А точнее сказать, тут произрастает их всего два сорта: клубника по опушкам, да костяника в осиновых колках. Поэтому в кулундинской деревне вы не услышите: «пойду по малину, или ежевику, или бруснику». Здесь говорят: «пойду по ягоды», разумея под этим общим названием клубнику. А уж если собираются в лес, то так и скажут: «пойду за костяникой».

Да, похвалиться мне тут нечем, но уж если на клубнику урожай, то такой ягоды, как у нас, не встретите вы нигде. Словно бы извиняясь за свою скудость, природа наделила кулундинскую клубнику тончайшими ароматами всех других ягод, налила ее медовыми живительными соками. Положишь на язык алую до смуглости ягодку в светлых шершавых крапинках – и она растает, будто шоколадный шарик.

Хороша свежая клубника с холодным молоком, к тому же и лечебными свойствами обладает: в народной медицине ее употребляют при лихорадке, цинге, головных болях, при болезни пе-

чени. Среди всех видов ягодных варений клубничное по своему вкусу и аромату занимает первое место. А съесть зимою пирог из сушеной клубники или выпить чашку чая, заваренного все теми же сушеными ягодами? Сразу воскреснут вдруг все запахи лета, словно побываешь в светлом июльском лесу, где сам воздух, процеженный сквозь листья деревьев, кажется зеленоватым…

В иной год урожаи клубники в Кулунде бывают невероятные. Хозяйки, пока что-то варится у них к завтраку в огромной русской печи, буквально за огородами успевают набрать по ведру сочной, еще в капельках росы ягоды. Хотя и то сказать, что за деревенской женщиной в этом деле никогда и никому не угнаться: пока ты нагнешься да разогнешься, она на коленках все доит и доит ягодник обеими руками, словно корову за соски, и руки ее мелькают неуловимо.

А в покосных лугах столько ягод, что негде ступить ноге. Идет сенокосилка, а за нею тянется кроваво-красный след от раздавленной клубники. Но погибает без пользы все это бесценное богатство. Я не говорю о пригородной зоне, куда делают свои опустошительные набеги горожане, и не столько ягоду берут, сколько топчут покосы и посевы. Речь идет о плановом, организованном сборе ягод, который не приносил бы вреда сельским труженикам. Попробуйте-ка в наших краях, богатейших ценной ягодой, купить хотя бы баночку клубничного варенья!

Итак, месяц июль пахнет клубникой. Ее запахом пропитан воздух. Одежда косарей и даже подушка в эту пору отдает легким клубничным духом. И сладко спится на этой подушке, и только закроешь глаза, как глянут на тебя из травяного зеленого мрака алые смугловатые кисти…

«ЕДИНСТВЕННЫЙ РОМАН»

(Николай Яковлевич Самохин)

Прозаик и публицист Николай Яковлевич Самохин родился 1 августа 1934 года, в селе Утянка Хабарского района Алтайского края, в семье рабочего.

Детство и юность Н. Самохина прошли на окраине Сталинска (нынешнего Новокузнецка). Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Работал прорабом на строительстве новосибирского Академгородка, корреспондентом газет «Вечерний Новосибирск» и «Советский воин», ответственным секретарем журнала «Сибирские огни», собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Западной Сибири. Бал заместителем председателя Новосибирской писательской организации.

Как прозаик Н. Самохин начал выступать с 1959 года. Публиковался в журналах «Крокодил», «Смена», «Сибирские огни». В 1962 году в Новосибирске вышла первая книга Н. Самохина «Прекрасная несправедливость». Он также автор книг «2000 Колумбов» (1962), «Странные люди» (1966), «Блондинка на букву Л» (1967), «Три прекрасных витязя» (1972), «Бескорыстный Гена» (1976), «Так близко, так далеко» (1980), «Сходить на войну» (1982), «Где-то в городе, на окраине» (1986) и др., изданных в Новосибирске, Кемерово, Москве. Произведения Н. Самохина публиковались в Италии, Болгарии, Польше, Германии. Член Союза писателей СССР. Лауреат премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского (1987).

Умер 11 января 1989 года в поселке Голицино Московской области.

Н. Самохин был ярко-самобытным, многогранным художником: блестящим юмористом-сатириком и тонким лириком, мастером психологической прозы и острослободневным публицистом. Но о чем бы и в какой форме ни вел Н. Самохин с читателем разговор, он всегда стремился быть с ним предельно искренним и писать только правду.

В произведениях Н. Самохина переплелись доброе и злое, веселое и печальное, радостное и горькое. Сцементированное словесным искусством автора, все это стало прочной кладкой сотворенного писателем литературного здания. В нем нет усложненных сюжетных конструкций, стилистической затейливости. И хотя в произведениях Н. Самохина немало неожиданного, он не изобретал особых коллизий и ситуаций, полагая, что лучший выдумщик – сама жизнь. Но благодаря острому социальному зрению и отменному художническому чутью Н. Самохину удавалось за незначительными штрихами текущей обыденности разглядеть подчас нечто очень важное. И выразительно это показать, используя самые различные формы и приемы: от простеньких юморесок до объемных повествований, от вещей совершенно реалистических до произведений с фантастическими мотивами (например, повесть «...Тому назад»).

Все это в художественном мироздании Н. Самохина цельно и органично. Не случайно чрезвычайно близка ему была шукшинская мысль о том, что «рассказчик всю жизнь пишет один большой роман». По сути Н. Самохин тоже создавал один большой, разножанровый, объединенный его авторской личностью, роман, отличавшийся своим видением мира, собственной точкой зрения и позицией и здоровым субъективизмом, без чего в принципе не может быть настоящего художника.

В чем заключается это видение, прекрасно дает почувствовать рассказ Н. Самохина «Лиса близехонько бежала», в котором автор воскрешает один из эпизодов своего детства. Прослушав на уроке басню «Ворона и лиса», дети получают от учительницы задание сделать на эту тему рисунок. У мальчика Коли лиса получилась больше дерева. Больше – потому что бежала она «близехонько». Но не от дерева, как настаивает уверенная в своей формальной правоте учительница, а от него самого, как увидел лису юный герой рассказа. И в этой кажущейся алогичности, в несовпадении с какими-то твердо установленными масштабами и соответствиями – весь Самохин-художник. Как и для юного Коли, для него крупнее и значительнее не то, что считается таковым по общепринятым меркам, а то, что ближе ему самому. Отсюда, я думаю, и повышенное его внимание к внешне мало примечательному рядовому обывателю. Потому что с ним Н. Самохин жил как раз очень «близехонько».

Такая позиция била по писателю рикошетом не раз. Неоднократно укоряли его за мелкотемье и бытовизм (очень модные были в свое время обвинения). К счастью, не прислушался он, не дал убедить себя, что «лиса» его бежала «близехонько» не от него, а от дерева.

Впрочем, личная самохинская «лиса» никогда и не загораживала древо общественного бытия. Напротив. Словно через оптический прицел снайперской винтовки, его выцеливала. Что красноречиво подтверждают многие произведения Н. Самохина, особенно такие его повествования, как «Рассказы о прежней жизни» или «Так близко, так далеко».

«Что посеешь, то и пожнут...» – заканчивается повесть Н. Самохина «Наследство». Истина, вроде бы, и банальная, но доказывать ее всякий раз каждому художнику приходится заново. Рассказав о мальчишке с заводской окраины («Где-то в городе, на окраине), немолодом солдате («Сходить на войну») и матери, всю себя отдавшей детям («Наследство»), Н. Самохин сумел заново и по-своему ее доказать. И не для себя одного. Для новых поколений читателей.

Н. Самохин честно засевал свою литературную полоску. Он стремился писать так, чтобы люди, прочтя его произведения, становились добрее, чище, нежнее друг к другу. Чтобы человека даже тогда, когда прочтет он о чем-то печальном, горьком, даже трагическом, не оставляли, как поется в песне Окуджавы, три сестры милосердия – Вера, Надежда, Любовь. В этом видел Н. Самохин свое писательское предназначение. И исполнял его, пока билось сердце.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Н. Самохина:

Мешок кедровых орех. Повести и рассказы. – М., 1988.
Рассказы о прежней жизни. Рассказы и повести. – Новосибирск, 1990.

О Н. Самохине:

Перцовский В. Николай Самохин. (Литературный портрет). – Новосибирск, 1987.
Мостков Ю. В неустанном поиске справедливости (О творчестве Николая Самохина). – Новосибирск, 2004.
Горшенин А. Одна только правда. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы» – Новосибирск, 2006.

Николай САМОХИН

РАССКАЗЫ

Лиса близехонько бежала

Вспомнилось вдруг ни с того ни с сего: у меня же были золотые руки!

Ну, да, в детстве. Одно время я был главным, да чего там главным – единственным – оружейником нашей улицы.

Мы тогда, в сороковом, предвоенном, году все сражались и сражались, других игр не знали, и я – один! – вооружал пацанов. Из материала заказчика, плоских, ровных дощечек (сучковатые с ходу браковались), я вырезал ножи. Прямые узкие кинжалы с желобками посредине – они назывались кавказскими; финские; с полумесяцем изогнутым жалом – пиратские.

Я кромсал дерево столовым ножом, скреб затем бутылочным стеклышком и наводил окончательный блеск наждачной шкуркой. Не думаю, что поделки мои отличались большим совершенством. Вряд ли. Ну, да ведь мне тогда шел всего лишь седьмой год.

Имена пацанов я перезабыл, забыл даже лица их – напрочь. Вспомнились только ножи – смутно, как сквозь туман, проступали их очертания, формы. Кстати, по конфигурации самыми трудными были кривые пиратские, с широкими лезвиями. Тут заказчики, случалось, привередничали, торговались… Да-да, я не задаром вооружал пацанов. «Черкесы», «пираты» и «диверсанты» (эти предпочитали исключительно финки) несли мне карандаши. Я карандашами брал с них за работу. Нищим «черкесам» выстругивал простенькие кинжальчики за половинку карандаша, случалось – за огрызок даже. За финские требовал целый карандаш. Штучные пиратские шли по два.

Интересно, что я забыл об этом кусочке своей жизни. Нет, слово «забыл» тут не годится. Я не знал. Не знал много лет, десятилетия. И когда вспомнил-узнал, не сразу поверил, что было это со мной.

А вспомнилось как-то по-киношному. Сон привиделся – наяву.

Внук подошел ко мне, протянул лист чистой бумаги, карандаш:

– Деда, нарисуй.

Я взял карандаш – и… словно тонкий лучик упал на затемненную сцену, зажег тускло-желтое пятно света. И в этом пятне – рука

берущая карандаш. Рука уплыла в темноту и вернулась обратно, с деревянным кинжальчиком. Что это? Где я такое видел? Когда? Приснилось?.. Кадры замелькали, задергались: рука берет карандаш – исчезает – появляется с кинжальчиком – берет карандаш… Рука моя: маленькая, с объеденными ногтями, в занозах.

Круг света начал шириться – и я увидел (и узнал) Пашку, длинного, желтоглазого парнишку, и – каким-то затылочным зрением – себя: маленького, растерянного, виноватого.

Пашка отталкивает мою руку с кинжалом, что-то говорит беззвучно. Ага!.. Он требует пиратский нож. Пашка – наш атаман, оружием бедных джигитов он брезгует. Но ведь у него только один карандаш, да и тот начатый. Что-то говорю Пашке я, мямлю – тоже беззвучно. Наверное, про два карандаша. Пашка высокомерно смотрит на меня, сплевывает. Фу-ты, пропасть! Почему я так унизительно мямлю-то, почему суечусь? Ведь я не боюсь Пашку. Никогда не боялся… А-а, вот в чем дело! – я виноват, преступен. Пашка поймал меня с поличным.

Немую сцену догоняет звук:

– Ее кашу лопаешь?

«Она» – совсем маленькая девчушка, то ли соседская, то ли хозяйская, за которой я приставлен смотреть. Наверное, все же хозяйская: в конце сорокового года мы собирались переезжать в деревню и жили какое-то время на квартире.

Итак, я нянчился с девчушкой, кормил ее манной кашей, сдобренной вареньем. Черпал кашу ложечкой и сначала – «ням!» – отправлял в свой рот, облизывал, а потом – «за папу, за маму» – скармливал девчушке.

Таким, с перемазанными кашей губами и захватил меня быстро вошедший Пашка. Он зыркнул кошачьими глазами по комнате, остановил их на мне, все понял и… насмешливо одобрил:

– Ее кашу лопаешь?

От растерянности я кивнул, сглотнув слюну. Получилось – кашу доглатываю.

Мое замешательство и решило исход торга. Пашка унес роскошный пиратский нож – за неполный химический карандаш. А я остался мелким гаденышем, паскудником.

Тот далекий Пашкин визит (правда, я многие годы не мог, да и не пытался восстановить – чей именно) и оставшееся после него чувство гадливости к самому себе – запомнилось на всю жизнь. А вот зачем приходил Пашка – высветил внезапный этот лучик. И всю мою «оружейную мастерскую» высветил он вдруг.

Мою ли?

Как археолог на месте раскопок, случайно вскрывший слой неизвестной ему культуры, я всматривался в эти изделия-видения – и верил, и не верил.

Но – карандаши! Они-то были. Разномастные, разнокалиберные, замусоленные карандаши связывали сон и явь. Вот, значит, откуда скапливалось их у меня так много в те нищие годы.

Карандашами я рисовал – это помню точно. Рисовал коней. Горячих скакунов и широкогрудых сказочных тяжеловесов с гривами до земли. Тяжеловесы несли на себе закованных в броню богатырей, скакуны – красноармейцев и белогвардейцев. Табуны лошадей мчались вскачь, пластались, распустив по ветру хвосты;

Лошади, вскинувшись на дыбы, грызлись в кровавых сечах, роняли порубанных всадников; раненые – они бились в постромках опрокинутых взрывом тачанок.

Целые батальные полотна создавал я в миниатюре, на клочках бумаги. Нарисованных мною лошадей хватило бы, чтобы посадить «на конь» несколько казачьих дивизий…

– Деда, нарисуй! – прервал мое оцепенение внук.

– Ах, да! – встрепенулся я. – Нарисовать тебе. Сейчас, сейчас. Что бы такое нам нарисовать? Может, лошадку? Давай лошадку. Во-от… это у нее будет головка.

Я попытался нарисовать лошадиную голову – Рука мне не повиновалась. Что такое? Вот же она – голова, морда… стоит перед глазами: гнедая, в мелкой, плотной шерсти; выпуклый блестящий глаз, мягкие черные губы. Я даже могу заставить ее двигаться: раскрою руку – голова потянется, губы, бархотно щекотнув ладонь, снимут кусочек сахара…

– Ну же, деда! – подтолкнул меня внук.

– Погоди, погоди… головка, значит. М-гу…

Я перевернул лист чистой стороной и… позорно вывел некий «огуречик» с утонченным концом. И покатился по наклонной: глазик – точечка, ротик – черточка, шея – две параллельные линии, грива – расческа, кверху зубьями. Дальше – не мудрствуя лукаво: туловище – огурец, лежащий горизонтально, хвост – щеточкой, четыре палочки – ноги, копыта – треугольнички.

– Готово!

– Бычок! – установил внук, поизучав мой рисунок. – Идет бычок качается. Он замерз.

Да, на взъерошенного бычка походила моя лошадка. На печального мультипликационного теленочка.

Сын подошел, прищурился насмешливо:

– Ну, дед! Крупнейший ты у нас анималист. – И внуку: – Ладно, пора домой собираться. Пошли-пошли. Я тебе там настоящую лошадку покажу – в книжке.

Внука давно увели домой, а я все сидел над бумагой, пораженный странной этой расстыковкой; закрою глаза – вижу коня, целиком вижу и по частям – раздувшиеся ноздри, грудь в буграх шевелящихся мускул, сухую стройную ногу, круп; открою глаза, пытаюсь перенести какую-нибудь деталь на бумагу – видение пропадает, рука не слушается. Промаявшись около часа, я сдался: раскрыл книжку «Соседи по планете» и срисовал из нее ахалтекинца, изображенного там в профиль. Я тщательно следовал оригиналу, даже проверял соразмерность частей тела линеечкой, и тем не менее у меня получилось нечто среднее между лошадью и догом. Вдобавок мой собако-конь имел только две ноги, переднюю и заднюю – левые. Прирастить ему две другие ноги я не смог, как ни бился. Все получалось, что они торчат из живота. В конце концов я стер их вовсе, малодушно решив, что с этой позиции они не видны – конь стоит очень ровно, правые ноги закрыты левыми.

Конь стоял… деревянный, мертвый. Никакая сила не могла заставить этого «скакуна» взвиться на дыбы.

Когда же я разучился рисовать? Когда споткнулась, забуксовала, омертвела моя рука? В какой миг порвался, лопнул «привод», напрямую соединявший ее с воображением?.. Или не было такого мига, «привод» перетерся постепенно, истлел, атрофировался, после того, как я прикончил свои карандаши – и нечем стало рисовать. И не на чем. Единственную тетрадь, сшитую из грубой мешочной бумаги, приходилось экономить, растягивать на целый учебный год.

А может, это случилось – началось – гораздо раньше: на самом первом уроке рисования в первом классе?

Учительница тогда прочитала нам басню Крылова «Ворона и лисица» и велела каждому нарисовать по ней картинку.

Мы рисовали, высунув от усердия языки.

Учительница расхаживала между рядами парт.

Вдруг она остановилась за моей спиной.

– Так, мальчик! Как тебя звать-то?.. Так, Коля… Лиса у тебя очень хорошая получилась. Очень. Только почему она больше дерева? Таких лисиц не бывает. Давай-ка перерисуй.

Я удивился: как? разве учительница не понимает?! Ведь лиса же б л и з е х о н ь к о бежала. И я напомнил ей об этом.

– Ах, вон что! – рассмеялась учительница. – Правильно, она бежала близехонько. Близехонько от дерева. А дерево больше лисы.

– От меня, – прошептал я.

– Нет, от дерева! От дерева! – учительница дважды пригнула мою голову к парте. – И не спорь, пожалуйста. Какой упрямый!

Неужели я поверил ей тогда? Зачем поверил!

Вырезать пиратский кинжал из дощечки я не стал. Хотя и подходящий материал у меня имелся, и инструментом я располагал достойным – не одним лишь столовым ножом. Но я уже знал точно: никогда не сравниться мне с тем далеким маленьким оружейником, не достичь его вдохновенного умения.

Через два дня праздновали мой пятидесятилетний юбилей.

Старый друг и соратник произносил речь. Друг любил меня. Он высоко ценил мои прежние книжки и верил, хотел верить в будущие. Он желал их мне.

– Этот бокал, – сказал друг, я хочу поднять за лучшее произведение нашего юбиляра – За то, которое впереди!

Я благодарно склонил голову. И подумал: «Поздно, брат!.. Ты помнишь луну над заполярной Аксаркой? Помнишь этот явственный шар, бледно-желтую ледяную глыбу с неровными, подбитыми чем-то тупым боками? Помнишь… огромного желтоглазого циклопа, который, склонившись, рассматривал притихший поселок – щепотку огоньков, брошенных на темную ладонь тундры?.. Эту луну я увидел – и написал – двадцать лет назад. Другой такой не будет. И ты это знаешь».

Потом взял слово мой давний недруг. Я знал, что он уколет меня, но пока не знал – как. И он еще не знал, как уколоть – чтобы и побольнее были, и пристойно выглядело: рот уже приоткрыл, а все доискивал что-то глазами. Вдруг взгляд его упал на моих детей, – они сидели напротив, задеревенев от важности момента, – и он (нашел-таки!) ликующим голосом выдал:

– Давайте выпьем за единственно достойные, за самые лучшие произведения нашего юбиляра – за его детей!

Так он изящно уязвил меня, растер, уничтожил. И так он нечаянно сказал правду.

Да, лучшие наши произведения – наши дети. Лучшими произведениями наших детей станут их дети, лучшими произведениями детей наших детей – дети детей наших детей. И так – без конца.

И возможно, где-то там, в дали непросматриваемой, за чертой еще не рожденной, грядет мальчик, близехонько от которого пробежит однажды его Лиса, и мальчик никому не даст убедить себя в том, что пробегала она близехонько от дерева.

И этот мальчик будет гений.

Внутренний голос

Недавно с одним человеком по фамилии Мокрецов Федор Степанович (или просто Федя, поскольку Мокрецов еще довольно молодой мужчина) произошел случай, который к числу рядовых явлений, пожалуй, не отнесешь. Он вдруг обнаружил у себя способность слышать внутренние голоса других людей. Причем способность эта прорезалась у Мокрецова сразу, в результате скрытой химической реакции, может быть, или другого какого сдвига. Факт, согласитесь, уникальный. Правда, подобные сообщения в печати иногда проскальзывают: о возможности телепатии, например, о чтении книг при помощи пальцев. Но вот про то, что можно чужой внутренний голос услышать, наука пока молчит.

А с Мокрецовым дело было так. Ехал он как-то в трамвае. Такой, знаете, новый трамвай с прицепом. И на оба салона – только четыре пассажира. В заднем сам Мокрецов сидел, а рядом с ним, у окна, – пожилой интеллигентный мужчина в шляпе. А головы двух других пассажиров торчали из-за спинок сидений далеко впереди.

И вот в такой, можно сказать, разряженной обстановке Мокрецов вдруг явственно услышал, что кто-то поет. Не вслух поет и не шепотом, а как бы про себя. Ну, вот как если бы репродуктор до конца выкрутить, а потом плотно-плотно ухо к нему прижать – вот такое примерно ощущение: когда голоса вроде нет, а слова отлично разбираешь.

Но только это было не радио, потому что неизвестно, чей голос пел неприличную частушку, каких по радио, хоть застрелись, не услышишь. Неприличную, чтобы не сказать – похабную.

Мокрецов оглянулся украдкой туда-сюда и еще раз убедился, что поблизости, кроме этого в шляпе, никого нет. Вот тогда его и стукнуло: это ж сосед поет! Ну, не он сам, конечно, а в мозгу у него что-то такое. Внутренний голос, короче. А Мокрецов этот голос, выходит, запросто сечет.

Голос между тем отбарабанил частушку три раза, помолчал маленько и начал снова.

«Дает папаша!» – хмыкнул Мокрецов. Он слегка развернулся и уставился на соседа с повышенным интересом. Смотрел, смотрел и вроде опознал его. Ну, точно: этот самый мужик в субботу по телевизору выступал – объяснял, как должен себя культурный человек вести в обществе и дома. А сам он то ли профессор, то ли доцент. Мокрецов хотел еще тогда на другую программу переключиться, да жена не позволила. «Мотай на ус, паразит! – сказала. – А то ведь от тебя, кроме матерков, сроду ничего не услышишь».

И вот теперь этот культурный профессор сидел рядом с Мокрецовым, смотрел через очки в книгу и пел в уме разную похабень. Жаль, Мокрецов раньше с ним не встретился. А то бы он тот раз показал жене, как не давать переключаться.

«Вот привязалась сволота! – выругался вдруг голос. – Хоть бы путное что. Хоть бы эта… как она? – «тебе половина и мне половина…»

Профессор откашлялся, глянул искоса на Мокрецова, опять уткнулся в свою книгу и запел внутренним голосом:

Моя милка, как бутылка…

«Век бы тебя не слышать! – обозлился Мокрецов и встал. – Интеллигенция, падла-мадла! Пудрят, понимаешь, мозги народу, а сами…»

Обиженный Мокрецов прошагал в передний салон и, горя негодованием, не сразу заметил, что остановился как раз рядом с молодой женщиной. Только когда женщина шевельнулась неуверенно, словно бы собираясь подвинуться, Мокрецов увидел внизу ее рыжий начес. И тут же, еще ниже увидел круглые белые коленки, выглядывающие из-под кожаной мини-юбки, и не только, будем откровенны, выглядывающие.

Теперь Мокрецову полагалось бы сесть рядом с дамочкой, но под каким соусом это сделать, учитывая совсем пустой трамвай, он не знал. Мокрецов вообще при разговоре с прекрасным полом обходился двумя словами. Жене своей он говорил обычно: «Пошли!» – а чужим женщинам, с которыми его иногда сталкивала судьба: «Пошли, что ли?». Сейчас пускать в ход такие слова было вроде рановато, других Мокрецов не знал и поэтому он продолжал остолбенело торчать на месте, не сводя глаз с этих самых не только коленок дамочки.

«Ну че пялишься, рожа? – сказал кто-то, словно бы внутри мокрецовского уха. – Че ты вообще здесь приклеился? Мало тебе, козлу, места в вагоне?

И в тот же момент женщина сердито потянула юбку на колени, но не добилась успеха и прикрыла их сумочкой.

«Она! – сообразил Мокрецов, невольно пятясь. – Во кроет!.. Будь здоров!»

Он оглянулся и сел рядом с пареньком в болоньевой куртке и дерматиновой фуражке.

Паренек, похоже, дремал, сдвинув на глаз свой картузик. По крайней мере, он совсем ни о чем не думал – иначе Мокрецов услышал бы, раз у него открылась такая способность.

Но продолжалось это недолго. Внутренний голос паренька сокрушенно вздохнул и заговорил, словно продолжая прерванную мысль.

«Все люди как люди, – сказал он. Как люди, понял?.. А ты?.. Ты же нелюдь. Тебе только бы пожрать да накеросиниться – вот и все интересы. Ну-ка скажи: сколько лет книжек не читал? То-то! Как из школы выперли, так ни разу и не притрагивался. Скоро уж, наверное, роспись свою ставить разучишься…»

Внутренний голос паренька, хоть и резал напрямик, был, однако, не злой, а какой-то увещевательный, сочувствующий, что ли, и странно действовал на Мокрецова: расслаблял его и словно бы опечаливал.

«Вон парк культуры проезжаем, – продолжал зудеть голос. – Ты зачем в него ходишь – вспомни? На карусели покататься? Фигу! Пивная там рядом с каруселью. Рыгаловка твоя любимая. И у тебя это, у жеребца, называется «на карусели прокатиться». Остряк, понял, самоучка!.. Про театры я уж не говорю. Какие там театры, когда шахматными фигурами в уголки играешь. В уголки! – не в шашки даже. Насчет шашек у тебя извилины не волокут… Нет, озвереешь с тобой. Честно, озвереешь».

«Верно! – крутнул головой Мокрецов. – Верно, в елкин корень!»

Паренька, видать, внутренний голос тоже пробирал – он все ниже клонил голову и сутулился. Мокрецов же, видя его переживания, размяк совершенно и в конце концов дошел до такого сложного состояния, в котором смешались и жалость к этому пассажиру, и уважение, и собственные какие-то надежды, и черт его знает что еще. Впрочем, сам Мокрецов так подробно объяснить не сумел бы, он только чувствовал непривычную расслабленность и телячью нежность.

Они вышли на одной остановке, и ноги сами понесли Мокрецова вслед за пассажиром в картузике, хотя ему было вроде не по пути. Где-то под ложечкой у Мокрецова шевелилась тревога, что вот если парень скроется из виду, то он так и не узнает чего-то важного, не докумекает, упустит.

Раза два пассажир оглядывался – и тогда Мокрецов сбавлял шаг, делая безразличный вид просто так гулящего.

Они прошли мимо зоопарка, миновали базар, обогнули стадион и оказались на длинной пустой полудеревенской улице.. Тут пассажир остановился и кивком головы поманил Мокрецова к себе. Губы Мокрецова раздвинулись в извинительной улыбке,

он как-то по-собачьи вильнул шеей и стал приближаться. Парень тоже как будто слегка улыбнулся, хотя издали трудно было разобрать. Мокрецов подошел совсем близко. Парень, резко оскалившись, ударил его тупоносым ботинком в коленную чашечку. Боль выстрелила в затылок – Мокрецов замычал и согнулся.

– Ходишь, шакал! Нюхаешь! – сквозь зубы сказал парень. – Я тебя, гада, определил. С Пашки полторы косых вытянул – с меня захотел! На тебе полторы косых!.. На! – и он еще дважды пнул задохнувшегося Мокрецова в правый бок.

Наверное, Мокрецов на минуту отключился. Потому что, когда он поднялся, вялыми руками стряхивая пыль, парня уже не было рядом. Вообще на всей улице не маячило ни одной фигуры. Мокрецов стоял один, не решаясь сделать хотя бы шаг, – сильно ломило в боку и коленке.

«Ну что, Федя, скушал? – спросил знакомый уже голос. – Вот до чего ты докатился – урки тебя за своего принимать стали».

Мокрецов суеверно оглянулся.

Ни рядом, ни вдалеке никого не было. Хоть бы курица или собака.

«Мой! – обожгло Мокрецова. – Мой голос!.. И там, в трамвае, тоже был мой…»

Какой-то острый комок стал толчками подниматься у него из желудка и никак не мог выйти наружу.

Содрогаясь до икоты, Мокрецов сел на глинистый край кювета. Прямо в пыль.

Комок постепенно разбухал, теплел, плавной волной подступал к горлу.

Потом у Мокрецова защекотало в носу, и он молча заплакал.

Загадка природы

Мы узнали о поразительном качестве Левандовского случайно. Ждали на остановке троллейбус.

– Эх, тюха-матюха! – хлопнул себя по лбу Левандовский. – Мне же носки купить надо! Вы не уезжайте, я мигом.

И он нырнул в промтоварный магазин.

Вышел оттуда Левандовский через три минуты, сладко жмурясь и покачиваясь.

Маралевич потянул носом и тихо сказал мне:

– Странно. По-моему, он клюнул. А ну, понюхай.

Я принюхался: так и есть.

До вечера мы ломали головы над этой загадкой – в промтоварах никому еще выпить не удавалось. Потом не выдержали, поехали в магазин и произвели разведку.

Ничего. Заведение, как заведение. Ткани, галантерея, трикотаж. Никакой гастрономии, никаких соков.

– А может, директор знакомый? – сказал Маралевич. – Заскочил к нему в кабинет, опрокинул пару стаканов.

Так мы и решили.

Однако на другой день у Левандовского были гости – тесть и теща. Сидели, играли в подкидного дурака, пили чай с малиновым вареньем.

– Веня, – сказала жена. – Достань мне душегрейку.

Трезвый, как стеклышко, Левандовский полез на антресоль за душегрейкой. Там он поколдовал некоторое время, а спускаясь обратно, вдруг оступился и отдавил подстраховывающему его тестю ухо. Потом упал весь, повесился на шее у тестя и забормотал:

– Папаша! За что я вас так безумно люблю?

У тестя получился припадок астмы.

А за Левандовским установили наблюдение. Дома – родственники, на работе – сослуживцы.

Но все было тщетно.

Допустим, они с женой садились в автобус. Жена по праву слабого пола шла в переднюю дверь. Левандовский – ни в одном глазу – в заднюю. Когда они встречались на середине автобуса, он бывал уже хорош.

На службе Левандовский неожиданно говорил:

– Ой, что-то живот схватило!

И сворачивал под литер «М».

При этом ожидавшие его сотрудники определенно знали: выйдет оттуда Левандовский ни бе ни ме.

И был даже такой случай. На улице у Левандовского развязался шнурок.

– Подожди, я только завяжу, – сказал он товарищу.

Когда Левандовский разогнулся, его пришлось сдать в вытрезвитель.

Наконец жена пошла на крайность. Однажды она заперла Левандовского в пустой квартире. Причем по случаю ремонта вещи и обстановка их комнат были перенесены к соседям, а там оставалось только ведро с известкой, две малярные кисти и четырнадцать килограммов метлахской плитки.

Через полтора часа я позвонил Левандовскому.

– Что поделываешь, старик? – спросил я.

– Ваводя! – закричал он. – Ува-бу-бу!..

– Готов! – сообщил я Левандовской и повесил трубку.

После такого невероятного события Левандовским заинтересовалась общественность. Местное отделение Академии наук выделило специальную комиссию в составе одного профессора, двух кандидатов наук и четырех младших научных сотрудников.

Ученые, с целью развеять миф вокруг Левандовского, присмотрели на молодом Обском море удаленный островок. Островок, как полагается, сначала был проревизован на предмет необитаемости, а потом туда отправили исследуемого. С ним отгрузили восемь банок консервов «Лосось», мешок сухарей, байковое одеяло и две пары китайских подштанников – на всякий случай и на похолодание.

Вслед за этим на море ударил шторм в девять баллов. Так что добраться к островку было невозможно. Кроме того, расставленные по берегам пикеты тщательно просматривали окрестности в бинокль.

Шторм бушевал трое суток. Лишь только стих, катер с экспедицией направился к острову. Когда один из младших сотрудников, засучив штаны, собрался прыгнуть в воду, чтобы принять чалку, из кустов донеслась разудалая песня:

Скакал казак через долину!..

И навстречу изумленным членам комиссии вышел пьяный в дым Левандовский.

Видя такое дело, профессор, неоднократный лауреат различных премий, развел руками и сказал:

– Наука здесь бессильна.

Но тамошний бакенщик дядя Федя, промышлявший самогоном для личных нужд, напротив, высказал предположение, что на острове растет винный корень.

Целый месяц дядя Федя с двумя сынами допризывного возраста вел на острове раскопки. Но корня так и не обнаружил. Тогда он выругался и сказал: «Свинья везде грязь найдет», – и засеял всю территорию картошкой.

СХОДИТЬ НА ВОЙНУ*

(Отрывок из повести)

Он умер через восемнадцать лет после окончания войны.

Не от старых ран, хотя ранен был. И не от старости, вообще: ему шел только шестьдесят третий год, выглядел он вполне крепким и, для своих лет, моложавым.

Его убил рак. От какой сырости завелся он в мужике, не болевшем за всю жизнь ничем, кроме насморка?.. Но вцепился клешнями своими намертво (операция не помогла) и держал полгода в постели, медленно, по капле, выедая жизнь из организма.

Отчего-то людям добрым, простым, невеликим, по бесхитростности своей не успевшим нагрешить, как следует, часто достается мучительная смерть. Ломает судьба человека, ломает, гнет его, мордует по-всякому, а он живет себе, крутится, да еще и порадоваться умеет: тому, что вёдро на дворе или дождичек ко времени, что картошка уродилась, не в пример прошлогодней, крупная, что ребятишки нынче почти не болели и что к празднику отвалили пятнадцать рублей премии. И ни паразитом не становится, ни в глотку ни кому не вцепляется, не гребет под себя всеми четырьмя лапами. И тогда в последнем слепом озлоблении судьба посылает ему тяжелую, неизлечимую болезнь. Вот, мол, гляди: ведь помираешь лежишь. Откукарекался, шабаш. А чего видел в жизни? В каких красных углах жирные пироги ел? Словно хочет доломать его под конец, обидеть на весь белый свет. Да только ничего у нее не получается. Замечено: уходят мужики достойно (хотя и слова этого сроду не знали), не цепляясь за жизнь, но и не торопясь из нее, до последнего хрипа вытерпев боль.

Человек, о котором наша повесть, именно таким и был: простым, незлобивым, принявшим жизнь – со всеми ее нехватками, с тюрьмой и сумой, с черной работай, с редкими праздниками и тяжелыми похмельями – не как проклятье, а как свою мужицкую норму.

Что о нем рассказать?..

Построил он за свой век три дома. Не хоромы, не пятистенки, рубленые в «лапу». Торопливое было время – не до хором. Приезжая на новое место, он, как и все вокруг, торопливо лепил засыпуху, лишь бы не зимовать с ребятишками в палатке. От засыпух

* В московских изданиях повесть будет переименована в «Помню солдата».

не осталось теперь и следа, зато дымят в тех местах три завода-гиганта, в которых, выражаясь по-книжному, есть и его труд тоже…

Шесть дней он был на фронте, в боях. Не погиб в первые минуты, как одни, и не дошел целехоньким до Берлина, как другие, а оказался тем самым среднестатистическим солдатом-пехотинцем, каких и в природе, наверное, почти не было, а существовали они на бумаге, вычисленные арифметически.

Он не рвался на войну и не просился добровольцем. Но и не бегал от нее, не тряс штанами, болячки себе не придумывал. И когда в первые дни пришла ему повестка – собрал котомку и пошел на призывной пункт. Оказалось, что немудреная специальность его попадает под бронь. Строящемуся алюминиевому заводу никак невозможно было обойтись без транспорта, а главным тяглом выступали лошадки и главным транспортным цехом считался конный двор.

Взяли его поэтому только осенью сорок третьего, когда замелькали в городе американские «форды» и «доджи» и безусые мальчишки-допризывники обучились на шоферов.

Война уже докатилась до середины, уже наплодила она калек, и всем было ясно, что скоро беда эта не кончится. Но, с другой стороны, не было уже той горячки, чтобы выхватывать мужиков, как картошку из огня. Ему, например, разрешили даже суточную отсрочку – доделать крышу (он как раз перекрывал на зиму свою землянку). Уже впотьмах закончил он эту работу, а утром, чуть свет, собрался на другую. По такому случаю надел он свой единственный суконный пиджак, новую косоворотку и смазал солидолом сапоги. За стол, рано побудив ребятишек, сели всей семьей. Он выпил подряд две большие рюмки водки, похлебал борща, и, перецеловав детей, пошел воевать…

С войны он принес стандартный трофей: немецкую безопасную бритву с десятком лезвий к ней, ранение в кисть левой руки и медаль «За боевые заслуги».

Про эти шесть дней его войны давно уже следовало бы мне написать особо. Не раз и мысль такая приходила: надо, надо написать. Точнее, не мысль приходила, а тянуло что-то за душу, сосало, беспокоило. Так тянет, наверное, недоделанная работа, письмо, лежащее без ответа, невыполненное обещание (ищу и не нахожу точного сравнения). А может, это что-то было тем самым, что называют теперь высокими и щемящими словами «»память сердца»?.. Да, на памяти сердца, как видно, лежал груз, давил, тревожил.

Но я все останавливал себя. Сначала – когда был моложе, отважнее и сам, никогда не нюхавший пороха, мог взяться написать хоть о Крымской кампании, – останавливал себя тем доводом, что в судьбе моего солдата нет ничего выдающегося, способного потрясти читателя. Уж больно земной он, обыкновенный, не конкурент он тем героям, про которых я, еще в школе, разучивал песни, читал книги и смотрел фильмы.

Потом – когда жизнь и годы научили пристальности и пришло понимание войны, как вынужденного тяжелого труда, – я стал убеждать себя, что не имею права писать о боях, ранах, окопах: ведь сам я в тех окопах не сидел. Ну, да – я знал солдат. Помнил, как уходили они на фронт и как возвращались – увечные и калечные. Помнил их бесхитростные рассказы, их глаза, их плохо выскобленные подбородки, старенькие, белесые гимнастерки с одной медалькой, а то и без нее – именно таких вот, чернорабочих войны, поставляла на фронт улица моего детства. Я знал их, конечно, но… ТАМ с ними я не был.

А время шло. И в мире не становилось спокойнее. И росла цена не только тому большому, что совершил народ, но и тому малому, что сделал каждый.

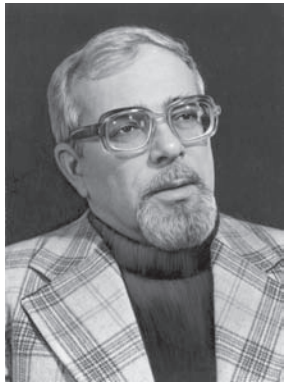
И тяжелел груз в душе.

Теперь мне кажется, я понимаю, о чем ДОЛЖЕН написать. Не о войне – о человеке на войне – о МОЕМ солдате, которого я все равно знаю лучше романистов и кинематографистов, и о котором никто другом не расскажет.

Как бы надо рассказать о каждом!..

Люди верят в бессмертие. Те, кто жил до нас, кто умирал за нас, верили в него. Они не знали, что верят в бессмертие. Они вообще не знали, как называется их вера. А верили они в нас: в нашу жизнь, в нашу память, в нашу веру.

И разве не заслужили они бессмертия? Разве не заслужил его каждый человек, честно проживший свою жизнь, честно выполнивший свой долг перед нею? Перед нами?..



ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫЕ «МАРШРУТЫ»

(Евгений Александрович Городецкий)

Прозаик Евгений Александрович Городецкий родился 24 августа 1934 года в Днепропетровске (Украина).

Окончил Днепропетровский горный институт. Работал инженером-геологом на севере Красноярского края в Туруханской экспедиции, участвовал в разведке Талнахского месторождения. С 1971 года жил в Новосибирске. Работал в НИИ и долгое время редактором художественной литературы в Новосибирском книжном издательстве.

Как прозаик Е. Городецкий дебютировал в 1966 году с повестью «Цена семерки», опубликованной в киевском журнале «Радуга». Печатался в журнале «Сибирские огни». В 1966 году в Днепропетровске вышла первая книга Е. Городецкого «Цена семерки». Он так же автор книг «В снегах» (1975), «Академия Князева» (1981, 1984), «Крыша над головой» (1985), «Такие наши годы» (1988), «Работа горная, работа черная...» (2004) и др., изданных в Днепропетровске, Новосибирске, Москве. Член Союза писателей СССР.

Умер 10 февраля 2005 года в Новосибирске.

Творческие истоки писателя Е. Городецкого надо искать главным образом в его биографии и собственном жизненном опыте. Не случайно и свой литературный «маршрут» начинал он с хорошо знакомой и близкой ему геологической темы. Вообще же людям, осваивающим Сибирь – геологам, первопроходцам нефтяной целины – посвящена большая часть произведений Е. Городецкого. Основное внимание в них писатель сосредоточивает не на внешней героичности, а на «чернорабочей» изнанке бытия этих людей. Он показывает реальные, а не мифические, не лубочные трудности и раскрывает характеры своих героев со всеми сильными и слабыми сторонами через их будничную жизнь, которая весьма далека от песенной романтики. Сам же поиск полезных ископаемых, убеждает читателей Е. Городецкий, – прежде всего сложное, трудоемкое производство. Только, быть может, проблемы здесь специфичнее, да контрасты резче. Наиболее, пожалуй, сильно и убедительно эту свою точку зрения писатель выразил в романе-трилогии «Академия Князева», где показывает работу геологов как бы в трех проекциях: полевые изыскания, камеральные работы и научно-техническая деятельность.

Впрочем, писал Е. Городецкий не только о сибирских геологах да нефтяниках. Его талантливому перу принадлежит и проза совсем иного плана. Например, сатирическая повесть «Рыбьи яйца» – о научной экспедиции, члены которой, ошалев от природного вокруг изобилия, мутнеют рассудком и превращаются в алчных браконьеров. Или большое повествование «Тайжина», в котором рассказывается о вековой истории одноименной сибирской деревни, отображенной в судьбах нескольких поколений ее жителей.

В последние годы жизни Е. Городецкий писал исторические очерки о предприятиях Новосибирска и его людях, в которых также чувствовалась рука настоящего мастера слова.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Е. Городецкого:

Академия Князева. Роман-трилогия. – Новосибирск, 1984.
Такие наши годы. Повесть. Рассказы. – М., 1988.
Работа горная, работа черная. Рассказы. – Новосибирск, 2004.

Об Е. Городецком:

Горшенин А. О Сибири большой и разной. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Евгений ГОРОДЕЦКИЙ

В СНЕГАХ

Рассказ

На озере были наледи, и пилот долго не мог сесть, кружил и кружил, пока не выбрал подходящее место. Но и тогда, прежде чем опустить машину на заснеженный лед, он несколько раз пробовал его прочность: вздымал лыжами АН-2 снежную пыль и сразу же тянул штурвал на себя. Потом круто ставил самолет на крыло, разворачивался и, проносясь над короткими рытвинами следов, смотрел, не выступила ли там вода. Пилот единственный в авиаотряде имел право выбора площадки, дорожил этим правом и не хотел рисковать.

Пассажиров было двое, и оба выглядели молодо. Один, пониже ростом, был в старенькой телогрейке, пушистой ондатровой шапке и легких, удобных оленьих бокарях. Несмотря на очки, он имел вид заправского таежника. Звали его Сашей Копыловым. Второй, Самсон Златкин, стеснялся своего несовременного имени и называл себя Семеном, Сеней. Он был в «московке», круглой меховой шапке, и высоких негнущихся валенках, еще хранивших складской запах. Остальную спецодежду пообещали выдать на месте назначения.

Оба летели в поселок геологоразведчиков, где им надлежало провести геофизические измерения – каротаж скважин. Вещи свои они отправили с прочим грузом неделю назад, но тот рейс оказался последним.

Копылов припал к круглому окошку и следил, как под кромкой крыла заснеженная тайга кружилась, вставала на дыбы и опрокидывалась. Златкин склонил голову на плечо и закрыл глаза – его укачивало.

Наконец сели. Самолет пропахал по целине три борозды и остановился. Из кабины вышел второй пилот, скользнул насмешливым взглядом по бледному лицу Златкина и открыл дверцу.

– Плюхнулись, – сказал он. – Давайте, ребятки. Нас большая ждет.

Копылов, не вставая с места, попросил:

– Подрулили бы к тому берегу! Вам две минуты, а нам полчаса топать.

– Нельзя, родной, нельзя, – снисходительно сказал второй пилот. – Там вода под снегом. Засядем – кто нас потом вытащит?

– А, пойдем, – сказал Златкин и сглотнул тощноту.

Что угодно, лишь бы не сидеть больше в этой провонявшей бензином дюралевой коробке. Он первым спрыгнул на снег и жадно вдохнул морозный воздух.

Второй пилот спрыгнул за ним и присел около левой лыжи. Что-то ему там не понравилось – то ли лыжа глубоко засела, то ли что другое – но он озабоченно покачал головой, копнул рукой снег и подышал на застывшие пальцы.

– Виталий быстрее! – окликнули его из кабины.

– Уже, – сказал второй пилот, отряхивая колени. – А вы, ребятки, идите вон в том направлении. Там залив будет, а от него дорога в поселок, километра два. Если радист передал, что вы улетели, так вас с лошадью встретят.

– Никто нас не встретит, – сказал Копылов. – Мы уже неделю каждый день летим.

– Ну, пока, – равнодушно отвернулся второй пилот, и дверца захлопнулась.

Мощно взревел мотор, подняв маленькую пургу, самолет дрогнул, пополз, побежал, понесся – и оторвался, стал меньше, зыбче и вдруг исчез, растаял в туманном безветрии.

– Вот мы и на месте, – облегченно вздохнул Копылов. – Повезло нам с этим санрейсом. Можно сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сколько дней сидели!

– Не думал, что здесь и в марте так метет. У нас уже в плащах ходят.

– Ничего, Сеня, привыкнешь.

– Придется. Надо же диплом оправдать, корочки свои.

– Привыкнешь. Так еще привыкнешь, что уезжать не захочется.

– Посмотрим, – неопределенно ответил Златкин и спрятал нос в узкий воротник полупальто.

Утрамбованный ветром снег поскрипывал под ногами, но держал хорошо. Морозная мгла отсвечивала розовым, смутные тени идущих скользили по застругам. Было градусов тридцать, а может, и больше, – кто их тут измерит? Знаешь, что когда за двадцать пять – волоски в носу при вдохе слипаются, при сорока глаза мерзнут, а когда под пятьдесят – дышать тяжело.

Копылов помнил, что озеро на карте напоминало след босой ступни, они шли от ее пятки к пальцам. Слева темнел лес; правый берег, низкий и голый, холмился длинными сугробами, уходящими

в туман. И сзади был туман, и впереди, а от невидимого еще большого пальца пролегла лесная дорога в поселок разведчиков.

Копылову было радостно от сознания того, что через какой-нибудь час с небольшим они окажутся на месте, напьются чаю, расскажут ребятам экспедиционные новости, а с завтрашнего дня, не торопясь, без суеты, примутся за работу. А потом, когда все будет сделано, в ожидании новой работы он очистит от смазки свою новенькую пятизарядную ТОЗ-17М, возьмет у кого-нибудь из буровиков широкие короткие лыжи, подбитые камусом, и уйдет в тайгу. Далеко уйдет, дня на три. Глухариный ток найти непросто, но он найдет. И это будет его самый большой праздник в году… Сене Златкину этого пока не понять, Сеня пока что человек городской, но ведь и сам он, Александр Копылов, был когда-то городским человеком…

Он скорчил несколько гримас, согревая мышцы лица, протер замутненные морозом очки. Идущий сзади Златкин догнал его, пошел рядом.

– Ребята хоть там ничего?

– Славные парни! – Копылов негромко засмеялся. – У них, правда, на наш счет есть веселенькая поговорка: «собака – друг человека, сказал геолог, ласково глядя на геофизика». Но все это так, несерьезно. Без нас они не обходятся. Ты бутылку-то не забыл?

– Не забыл, да что с нее толку!

– Разве дело в количестве? Позапрошлой осенью привез нам один отпускник бутылку пива. Представляешь, редкость! Багажа у него было с собой несметно, буквально рук не хватало – подарки, заказы и все прочее, – но привез. И еще извинился, что не смог больше. Сели мы впятером за стол, в торжественной тишине разлили это пиво по рюмкам и с благоговением распили. А потом удивлялись, что в нем хорошего находят? Горькое и градусов нет. Представляешь, отвыкли!

– Тут отвыкнешь.

– А в прошлую зиму знакомые летчики прислали на праздники ящик муската прасковейского. Отличное вино – тонкое, ароматное, а мы его эмалированными кружками!

– Это уже интересней, – бледно улыбнулся Златкин. – А командировки вроде этой часто бывают?

– Летом часто, да и зимой иногда приходится.

Златкин вздохнул и рукой в тонкой шерстяной перчатке потер скулу.

– Что-то мы идем, идем, а конца не видно.

– Туман, помедлив, сказал Копылов. – Скрадывает расстояние.

Они приняли влево, обходя наледь. Снег под ногами уже не скрипел, а шуршал, чуть позванивая, – колючий, ноздреватый, серый, как подмоченный рафинад. Не сдержал здесь озерный лед тяжести, просел, подался, пустил воду, обманчиво залечив полыньи и трещины струпьями мерзлого снега. А озеру не было конца. Как и прежде, слева тянулся лес, справа – заснеженное болото, берега не сближались и даже как будто разошлись еще шире, а может, это туман обманывал, сбивал с толку, пугал…

Над лесом краснело солнце, оно не имело определенной формы и рисовалось смутным неровным пятном. Отпечатки подошв двух пар ног перечеркнули хрупкую зверушечью вязь – и опять ни души, ни следа, ни птичьего вскрика: необитаемая ледяная планета.

Златкин, отогнув рукав «московки», добрался до часов и пожал плечами:

– Что за чертовщина? Уже половина четвертого. Мы что, по кругу ходим? – Он выставил из воротника ухо, чтобы лучше слышать, что ответит Копылов, но тот молчал. – И вообще мне кажется, что мы, как в том старом анекдоте, едем в другую сторону. Что?

Копылов молчал.

– Ты оглох, Александр.

– Не говори глупостей, – ответил Копылов. У него замерзли очки. Он снял их, протер пальцами, надел и снова снял. И спрятал в нагрудной карман. Теперь они не нужны. Уже и так все видно.

Сомнения начали беспокоить его еще полчаса назад. Озеро, на которое они д о л ж н ы были сесть, не могло быть таким длинным. Он был на нем только один раз, летом, и не мог точно запомнить очертаний берегов, но то озеро было меньше. В надувной двухсоткилогаммовке он выехал на середину, заякорил лодку привязанным к веревке камнем и ловил спиннингом длинных пятнистых щук. Поймал трех или четырех, зацепил еще одну, и рыбина долго возила его по озеру. Он хохотал, хлопал по воде руками и кричал: «А ну, исполни три желания, а то не отпущу!» Рыба пугалась его хлопков и крика и круто уходила под лодку, он травил леску, лодка крутилась, мокрый капрон скрипел между пальцев.

Был солнечный ветреный день. По озеру бежали мелкие волны, но вода была прозрачной, и он отчетливо видел и темную тень щуки, и водоросли на дне, а когда поднимал голову – берег, берег со всех сторон. Это он хорошо запомнил. Тумана тогда не было.

Он украдкой оглянулся. Златкин сосредоточенно сопел, глядя под ноги, весь покрытый инеем. Лицо его покраснело от мороза,

шапка была надвинута на лоб и уши. В своей городской одежде и необмятых валенках он выглядел нелепо.

– Сеня, у тебя спички есть? – спросил Копылов и весь напрягся, боясь услышать «нет».

– Откуда? Я же не курю.

– Как?! Ты ведь курил. Помнишь, в столовой? Как же так?

– Я когда выпью, иногда закуриваю, а вообще-то не курю. А что? Почему ты спросил?

Копылов не ответил, боясь выдать свою растерянность. Кажется, они влипли. Крепко влипли. Эх, почему он не курит? Тогда бы у него были спички, маленький бренчащий коробок. Кто же знал, что так получится? Ведь не в маршрут шли…

– Вон, кажется, тот берег виден, – пробурчал Златкин. – Далеко они нас, черти, сбросили!

– Далеко, – сказал Копылов. – Очень далеко…

Впереди из тумана неожиданно близко возникла зубчатая стена леса. Берега круто смыкались, лес забирал вправо, быстро редел там, мельчал и уходил под косые сугробы, будто нырял в снежные волны.

Они прошли еще немного. Берег теперь был виден во всех подробностях. Голенастые лиственницы и елки с редкой пробелью берез стояли плечом к плечу, без видимых просветов, как солдаты в строю. Печально свисали отягченные снегом ветви.

– Где же дорога? – тихо спросил Златкин, озираясь. Он с надеждой заглянул Копылову в лицо. – Может, ты ошибся? Там слева что-то похожее было…

– Нет, – сказал Копылов. – Я не ошибся. Летчики ошиблись.

– Летчики?!

– Туман, спешили они… В общем, нас не туда сбросили.

– Как это не туда? Какое они имели право?! А куда же? Куда они нас сбросили? – торопил Златкин

– Я эти места немного знаю. Наше озеро должно быть северо-западнее, километрах в пятнадцати. Вот так, Сеня…

– В пятнадцати? Ну, это еще можно жить. Доберемся. – Златкин поглубже натянул шапку, повыше поднял воротник «Московки». – Пошли, раз так. Чего здесь зря мерзнуть.

Копылов взглянул на него и отвернулся.

На берегу, спускаясь вершиной к озеру, лежала поваленная ветром пихта. Копылов поднялся по ней до комля, спрыгнул и ушел в снег по плечи.

– Это на склоне так, – сказал Златкин, Но Копылов опять ничего не ответил, знал: в лесу везде так. Только в конце апреля, когда

возьмет силу солнце, покроется снег плотной коркой наста и будет медленно-медленно оседать. А сейчас, высушенный морозом, он пушист, легок и сыпуч. Это тот же снег, который бесшумно и невесомо опускается на крыши домов; тот же, из которого лепят снежки и дедов-морозов, который скрипит под полозьями санок, присыпает зеркала катков и празднично посверкивает в сиянии уличных фонарей.

Тот же, и не тот. Это уже с н е г а.

Копылов вспомнил море. Тихое, будто скованное зеленоватой пленкой, оно нехотя посылало на прибрежную гальку теплые волны и казалось воплощением спокойствия и доброты. А однажды вечером подул ветер. Море покатило длинные валы с гребнями пены, за ночь раскачалось и к утру обрушилось на побережье шестибальным штормом. Редкие в тот день пляжники сбились в кучки и, притихнув, смотрели, как огромные грязно-желтые волны с пушечным грохотом разбивались о песчаное дно. И один отдыхающий вдруг полез купаться. Он с разбегу поднырнул под встречную волну, и его сразу отнесло метров на тридцать. Люди на берегу удивлялись его смелости, качали головами, а потом увидели, что он уже повернулся лицом к ним, быстро и бестолково гребет по-собачьи руками и коротко вскрикивает, а каждая волна отбивает его все дальше от берега. И пока сообразили, что он не может выплыть, и бросились спасать, человека отнесло за буйки, голова его мелькнула несколько раз в провалах между волнами и исчезла.

И еще он видел однажды, как безобидное пламя костра перекинулось на сухой ягодник, занялось сотней, тысячей костров, пыхнуло нестерпимым жаром и тоже стало стихией, ревущей и грозной.

И этот снег – стихия, неподвижная и бездушная.

Снег, снег, снег. Он разгребал его руками, расталкивал коленями, грудью, животом, подминал под себя, топтал ногами, валился вперед всем телом, оставляя за собой глубокую неровную траншею. Он быстро вспотел, одежда намокла снаружи и покрылась ледяным панцирем.

Ему казалось, что он барахтается в снегу уже много часов. Он боялся повернуться, а когда решился, то увидел растерянное лицо Златкина, деревья за его спиной, а в просветах между ними – озеро. Больше он не оглядывался.

– Смени меня, – сказал он. – И потри правую щеку – обморожена.

Златкин молча обошел его целиной. Дело пошло быстрей. Он не плыл, как это получалось у Копылова, а почти шел: выставляя

далеко вперед ногу, переносил на нее вес тела, вытаскивал другую ногу и шагал так, будто хотел сделать «шпагат». Скоро и ему стало жарко, он сдвинул шапку на затылок, обмороженная щека его ярко белела.

– Чуть правее! – послышалось сзади. Златкин взял вправо и заметил направление. Он очень боялся сбиться с пути и пройти мимо т о г о озера. О том, что до него еще идти и идти, он тоже думал, но не придавал этим мыслям особого значения. Подумаешь, пятнадцать километров! Пусть два, пусть даже один километр за час – все равно к утру они будут на месте. Жаль, конечно, что нет спичек, ну да ерунда, ничего, как-нибудь, на ходу не замерзнут. Конечно, все это интересно посмотреть со стороны, а раз пришлось самому такое испытать – ну что ж, будет что вспомнить. А вообще ну их к дьяволу – такие воспоминания! Только бы выбраться отсюда.

– Давай сменю! – предложил Копылов, и Златкин сразу остановился. Он мог бы еще идти вперед. Но раз тот сам предложил – что ж, пожалуйста! А он свои силы побережет. Они ему еще пригодятся.

Копылов двигался слишком медленно, и это раздражало Златкина. Шаг. Остановка. Снова шаг. И опять остановка. Он почувствовал, что валенки полны снега, щека сделалась нечувствительной, намокшие перчатки скованы холодом. Он высвободил пальцы, согнул их, прижал к ладоням. Пустые перчатки повисли на кулаках, как протезы, и медленно леденели. Ему сделалось страшно. С тоскливым недоумением он поглядел по сторонам. Куда его занесло? Ведь так в самом деле можно замерзнуть!

Солнце уже садилось, туман густел, деревья были черными, а снег голубоватым. Оказывается, все на свете имеет свой цвет. Теперь он будет знать, что мороз розовый, нет, почему розовый? – голубой, даже синий. Как они медленно идут! А розовыми бывают только надежды. У него есть надежда, а иначе – какой смысл? Лечь – и все. Нет, нет, нет! Он обязательно выберется. Только бы пожевать чего-нибудь.

Ему очень хотелось есть – не от голода, а от сознания, что голод неизбежно должен пройти, от страха перед холодом, от мысли, что он ослабеет. Он принялся шарить по карманам. Окоченевшими пальцами нащупал перочинный нож, моток изоленты, который он на всякий случай стащил у радиста, деньги – бумажки и мелочь – фетиш цивилизации, на который нельзя было купить сейчас даже коробка спичек. Во внутреннем кармане полупальто лежала бутылка портвейна, и прикосновение к ней тоже вызвало досаду – водичка! Он повернул бутылку, чтобы не давила донышком, и

ощутил в кармане нечто маленькое, продолговатое и глянцевитое. Он оторопел. Это была плитка шоколада – крошечная, за тридцать две копейки, которую ему дали вместо сдачи в буфете аэропорта. Как он забыл о ней!

Он сжал плитку в кулаке и хотел хлопнуть Копылова по плечу, а когда тот обернется – раскрыть ладонь и показать, что у него есть. Он уже поднял руку… и вдруг опустил ее и воровато сунул шоколад в карман. Он съест его сам. Он съест его один, и это будет справедливо. Он не намерен расплачиваться за ошибки других.

Пальцы судорожно мяли твердый пакетик. Казалось, от него исходило тепло. Златкин немного поотстал. Держа руку в кармане, осторожно снял бумажную обертку, коснулся фольги. Она загремела листовым железом на всю тайгу. Златкин замер. Копылов плыл и плыл, разгребая, словно в «брассе», руками снег. Тогда Златкин громко закашлялся и под кашель сорвал фольгу. Пальцы ощупали и огладили плоский брусочек, грани долек, их ровную гладкую поверхность. Он съест его в три приема. Нет, сразу. Зачем тянуть!

Он сунул плитку за щеку, смочил слюной, обсосал и начал быстро жевать. Фольгу и обертку смял и затоптал в снег. Проглотил последний кусочек и еще некоторое время ощущал во рту его дразнящую сладость.

До ночи они трижды сменили друг друга. Ничего не изменилось, лишь темно стало. И мороз был таким же, и снег, и тайга – будто и не шли никуда, топтались на месте.

Златкин привалился спиной к стволу. Голос его прозвучал хрипло и дико:

– Подождем, пока луна взойдет.

Они вытоптали в снегу яму и уселись в ней, спина к спине, согревая друг друга: ни друзья, ни враги – товарищи по несчастью.

– Вот… Теперь сам могу убедиться… Метеорологи не врут. Я сам в том году писал главу к отчету, привел данные двух метеостанций: «Глубина снежного покрова к концу зимы достигает 1,6 – 1,8 метра…».

– М-м…

– Ты только не спи. Не смей спать, слышишь?

– Давай выпьем, – неожиданно предложил Златкин.

– Выпьем. Хуже не будет.

– Куда уж хуже…

Зажав бутылку в ладонях, Златкин зубами вытащил синтетическую пробку-наперсток. Нагретое на груди вино показалось горячим. Он отпил немного и передал бутылку Копылову. Тот глотнул, закашлялся, облил подбородок.

– Первый раз в жизни пью из горлышка. Пробел в воспитании. Но я его наконец восполню… Мы с тобой сейчас, как алкаши под забором… А за что мы пьем? – он говорил тихо, с трудом и все время толкал логтем назад, проверяя, не спит ли Златкин. – Есть один очень хороший тост. Оригинальным его не назовешь, но нам он сечас подойдет… Дай бог, чтоб не в последний раз – вот за что мы выпьем!

Златкин принял у него бутылку, хлебнул. Горлышко стучало о зубы. Неужели в последний раз? Он отпил еще глоток и вдруг вскочил.

– А-а-а! – Бутылка дзинькнула о темнеющий ствол, а Златкин рухнул в яму и затрясся.

Копылов смотрел на него, и в нем росло ожесточение. Минуту назад и он едва не сорвался на крик, но теперь Златкин лишил его права на жалобу. Из двух слабых кто-то должен быть сильнее, иначе крышка обоим.

– Кончай, – сурово сказал он. – Возьми себя в руки. Мужчина ты или кто?

Златкин утих, только дышал, как после бега, часто и тяжело. Копылов отодвинулся от него, плотней запахнул телогрейку. Вершину водораздела они, кажется, еще не прошли, значит осталось километров восемь, чуть больше половины… Он принялся вспоминать все свои прежние походы, переходы и маршруты, случалось давать за сутки по сорок и больше, в сравнении с тем восемь километров – раз плюнуть, но то были другие километры и другое время. Он с досадой подумал, как часто тратил силы впустую. Для своей или чужой потехи: соревновался в беге с собачьей упряжкой, на спор за четверть часа поднимался на трехсотметровую вершину, а в молодости (так он называл годы учебы в техникуме) два квартала нес на руках девушку. Как бы пригодились эти силы сейчас!

Взошла луна, разлив мертвенный свет. Снег стал полосатым от теней. Копылов покосился на скрюченную фигуру Златкина и разозлился. Да что он, на самом деле! Неужто не понимает? Неужто ж и т ь не хочет?! Еще полчаса – и они пропадут, замерзнут! Здесь тайга, Крайний Север, и им сейчас не на кого надеяться, только на самих себя.

Все это надо было втолковать Златкину, убедить его, пока не поздно, но слва куда-то подевались. Копылов с трудом поднялся, тронул Златкина за плечо.

– Вставай, пойдем!

Златкин весь ушел в свою «московку» и не шелохнулся.

– Ну!

– Отстань! – прохрипел Златкин. – К черту. Дай сдохнуть спокойно.

– Пойдешь! – закричал Копылов. – Пойдешь! Я тебе сдохну!..

Он толкнул Златкина, но тот продолжал сидеть, втянув голову. Тогда Копылов схватил его за шиворот, опрокинул на спину и поволок. Сгоряча он преодолел несколько метров, но тут же понял, что одновременно мять тропу и тащить своего злосчастного попутчика ему не под силу. Он бросил Златкина, примял снег на десяток шагов вперед и вернулся. Златкин лежал в той же позе, в какой он его оставил, глаза были закрыты. Копылов обеими руками вцепился в ватные плечи «московки» и, пятясь, поволок дальше. Длинные ноги Златкина разъезжались, валенки загребали снег. Копылов волок его рывками, подхлестывая себя самой страшной руганью, какую только знал. Никого он в жизни так ненавидел, как этот обмякший мешок с мясом. Сама фамилия Златкин звучала для него теперь ругательством.

По лицу Копылова бежал пот, в глазах щипало, и он не знал, от пота или от злых слез. Не было у него в жизни работы отчаянней и тяжелей.

…Первой мыслью Златкина, когда Копылов опрокинул его на спину, было опасение, что сейчас его будут бить. Он внутренне весь сжался, как перед неизбежностью, вяло подумал, что так ему и надо, но тут его поволокли куда-то. Это было непривычно и вместе с тем приятно – двигаться, не прилагая никаких усилий. Будто лежишь на полке в тряском, но бесшумном поезде, если бы еще скорость, как в поезде… Он понимал, что поступает нехорошо, и все твердил себе: «Вот сейчас, сейчас я встану», – и никак не мог себя заставить сделать это.

Постепенно толчки и рывки Копылова стали беспокоить его все меньше, он начал подремывать. Внезапно его словно ожгло: «Да ведь я замерзаю!»

Копылов в это время оставил его, ушел вперед. Златкин сразу сел, потом стал на карачки и начал подниматься. Очутившись на ногах, он почувствовал, как задеревенело, застыло все тело, трудно даже пошевелиться. Ухватившись за ствол дерева, он поглядел по сторонам. До этого он глядел в себя, слушал себя, а тут – будто выскочил раздетым из теплого сырого помещения. Туман рассеялся, луна светила остро и холодно, деревья, тени, заснеженные ветви образовали сложную косую клетку, решетку, из которой было не выбраться. Златкин закрыл глаза, чтоб ничего этого не видеть, и вдруг жесточайший озноб потряс его. Он прижал к бокам руки и неуклюже запрыгал на месте, пытаясь согреться.

…Минута прошла или час – Копылов не знал. Время замерзло, утонуло в снегу. В который раз возвращаясь за Златкиным, он увидел, что тот не лежит, а стоит, обняв ствол. Копылов с досадой принялся соображать, что все это значит, а Златкин вдруг запрыгал, заприседал, а потом рванулся вперед и пошуровал по снегу, как сохатый. Со вниманием и любопытством следил Копылов за длинными ногами Златкина, за тем, как эти ноги сгибались в коленях, уходили в снег, снова сгибались. Ему даже завидно стало: просто чудо, что за ноги, с такими не пропадешь.

Будь у него такие ноги, он волок бы свой мешок вдвое быстрей. А где, кстати, этот мешок? Где же я его оставил? Может, тот, длинноногий знает?

– Эй, слабым голосом позвал Копылов. – Как тебя? Слышь?

Златкин обернулся. Лица его Копылов не разглядел, потому что темно было и далеко, зато увидел как бы издалека себя – сидящего на снегу и беспомощно шарящего вокруг руками. Ему сделалось неловко за свою беспомощность. Кое-как он поднялся и поковылял по неровному глубокому следу.

Впереди маячила спина Златкина. Копылов стремился догнать его, но спина не приближалась, а все удалялась, и это было, как в дурном сне. В глазах рябили зеленоватые мушки, снег сделался тяжелым, как сырой белый песок. Все вдруг поплыло куда-то, заволокло розоватой пеленой, и Копылов упал…

Очнулся он оттого, что кто-то тряс его и шлепал по щекам. Он увидел склонившегося к нему лицо Златкина.

– Саша, вставай, – бормотал Златкин. – Вставай и держись за меня. Нельзя лежать, ты же сам… Вставай, Саша, прошу тебя…

Копылов попытался подняться и не смог. Златкин, подняв его, поставил на ноги. Копылов хотел шагнуть и упал. Златкин опять поднял его, попробовал вести, придерживая за плечи, но куда в таком снегу… Копылов снова упал и увлек за собой Златкина. Так они барахтались несколько минут.

– Ну, что же ты… – Златкин чуть не плакал. – Ну, пожалуйста, вставай. Я же тебя не дотащу…

Копылов слабо пошевелился, промолвил непослушными губами:

– Не надо… тащить… Надорвешься… Пропадем оба… Иди один… Я – все… Иди…

Он полулежал в снегу, а снег был, как перина, в которой не чувствуешь своего тела. Злость его прошла, притупилась, и вернулось ощущение вины перед Златкиным. «Я сделал, что мог, и теперь буду отдыхать. А Сенька пусть идет, пусть приводит людей… Я маленько отдохну и пойду им навстречу. А Сенька пусть поторопится… Вообще-то у меня мало шансов, но все же… В крайнем случае, пусть уж я один… Сенька ни в чем не упрекнет тогда…»

Так спокойно и отстраненно думал о себе Копылов, и ему было хорошо от сознания, что поступает он разумно и по справедливости. Он приоткрыл глаза, чтобы еще раз подтвердить Златкину свою волю, развязать ему руки, приоткрыл глаза и увидел, что он – один. С бьющимся сердцем он приподнял голову. Вдалеке маячила удаляющаяся спина Златкина. Впервые за все это время Копылову стало страшно. Он приподнялся, чтобы криком вернуть Златкина, он уже ощущал этот рвущийся звериный крик… Копылов уронил лицо в снег. Нет. Нельзя. У Сеньки хватит сил только на себя. Пусть уходит…

Снег у лица не таял, но и не холодил. Почему-то запахло яблоками, заметно потеплело, и Копылову почудилось даже, что лежит он на берегу моря. Он повозился, устраиваясь поудобней, приготовился ждать помощи, и на него снизошло ясное спокойствие человека, исполняющего свой долг, и уверенность, что все будет хорошо.

Златкин между тем барахтался в снегу, шаг за шагом приближаясь к спасению. «Ну, вперед! – подгонял он себя. – Если я выберусь, то и Сашке будет помощь. У него теперь вся надежда на меня. Тащил меня, чудак, пуп надрывал… А я просил его? Не просил, даже наоборот. Говорил, чтобы оставил в покое. Я полежал бы немного и оклемался, сам пошел бы. И Сашка оклемается, когда мороз почувствует… Он еще меня догонит. Он жилистый, Сашка. Маленький, а жилистый… Я, конечно, проявил слабость, надо было сразу встать, ну, да что теперь… Теперь надо поспешать. Ничего, я еще докажу, что Златкин не последний человек…»

Златкин очень торопился. Он убеждал себя, что торопится ради спасения Копылова, внушал себе это и вместе с тем боялся окрика, зова о помощи. Но сзади все было тихо, и когда Златкин рискнул наконец оглянуться, Копылова уже не было видно. Он прошел еще немного и опять обернулся в тайной надежде, что Копылов его догоняет.

Никто его не догонял, не взывал о помощи.

Тускнели звезды. Заснеженные вершины деревьев уже не светлели на фоне неба, а сливались с ним. Златкин двигался теперь в замедленном темпе, как альпинист на подъеме – экономил силы. Однообразный этот ритм освободил голову для других мыслей. Возбуждение его угасло, на смену пришло тихое отчаяние. Конца не видно этому снегу, проклятой этой белой ловушке. Сколько же

ему еще так барахтаться? Ведь не двужильный он, ноги у него не сменные, и жизнь одна-единственная, и кому будет польза, если он бессмысленно и глупо оборвет ее в этой глухомани? Почему он один должен расплачиваться за чужие ошибки – за летчиков, которые сбросили их черте где, за Копылова, который не сумел вовремя поправить их? Эти разгильдяи-летуны… Спят небось со своими бабами в теплых постелях, сны досматривают, и никогда не испытать им того, что испытал он, Златкин этой ночью. А Копылов… Нет, Копылова Златкин не проклинал. Копылов разделял его страдания и теперь… А что теперь?

Златкин остановился, пораженный острым, пробившимся через все его переживания, страхом и раскаянием… Что же я делаю? Сашка же не сачковал, не придуривался, он на самом деле надорвался, выбился из сил и сейчас, может, уже замерз… Что же теперь? Что я т а м скажу?

Златкин коротко всхлипнул и, обернувшись назад, уставился на прерывистую борозду, проделанную его телом. Возвращаться! скорей бежать назад! растормошить его! разбудить! заставить идти! В крайнем случае, потащить на себе!

Потащить на себе… И что? Через километр и ты надорвешься. И ляжешь с ним рядом в снег. И глаза твои превратятся в ледышки. Замерзшая кровь разорвет вены. И песцы обгложут лицо… Что делать, что делать?

И холодный, трезвый голос сказал ему: «Иди куда шел. Ты ничем ему не поможешь. Береги силы и иди вперед».

Во рту у Златкина сделалось сухо и горько. Он пососал снег, потом расстегнул «московку» и сунул под мышки ладони. Через минуту тело ощутило холод пальцев. «Ладно, – сказал он себе, – дойду до той гривки, влезу на вершину и погляжу…». До гривки было метров сто, он двинулся к ней, торопливо топча снег.

Если бы Златкин оглянулся, он увидел бы, что рядом с его следом вдогонку легко скользит на коротких охотничьих лыжах коренастый человек с ружьем за плечами. Когда расстояние между ними сократилось до негромкого окрика, человек круто свернул влево и, прячась за кустами, пустился в обход гривки.

Но Златкин торопился, ему некогда было оглядываться. У подножья гривки снег был глубже, почти по грудь, и склон крутой, и, еще не добравшись до вершины, Златкин понял, как мало осталось у него сил. Он так хотел увидеть хоть какие-нибудь признаки жилья – следы порубок, дорогу, лыжню хотя бы… Вблизи перевала он начал тянуться взглядом на ту сторону. Ничего! Тот же редкий заснеженный лес, девственный снег. Лишь далеко впереди меж деревьев вроде бы светлел какой-то широкий просвет. Златкин долго смотрел туда. Может, это и есть то озеро, на которое их должны были сбросить? «Ну, вот, Саша, – мысленно обратился он к Копылову. – Я должен идти дальше. Если бы я что-то такое увидел, я, ей-богу, вернулся бы… А так – что ж. Я и один вряд ли доберусь… скорей всего, что нет», – добавил он, словно успокаивая Копылова.

Выбор был сделан. Златкин успокоился, как человек, что-то для себя решивший, и вместе с тем пусто и холодно сделалось у него на душе. Чтобы забыться, он начал считать шаги. И тут его окликнули.

Из-за густой заснеженной ели наперерез ему скользнул человек на лыжах. Так неожиданно он появился, что Златкин вначале решил, что бредит или спит. Он сделал глубокий вдох, закрыл и открыл глаза. Виденье не пропало. И первой мыслью, мелькнувшей прежде удивления и радости, было: «Отобрать лыжи!»

– Спички… – прохрипел Златкин. – Дядя, сооруди костер… Ты откуда? Жилье близко? Замерзаю я…

– А ты откуда? – спросил человек. Бородатое лицо его было неподвижно, сурово.

– К геологоразведчикам иду, – торопливо заговорил Златкин, досадуя, что приходится тратить время на объяснения. – Сбросили нас не туда…

– Кого это «нас»?

– Там еще один… Попутчик мой… Ему тоже помощь нужна…

– А чего он там, а ты здесь?

– Он сам меня отправил… За помощью. А ты откуда?

– Откуда и ты, – без тени усмешки сказал человек.

Бородач этот мог бы рассказать многое: как летчики все-таки спохватились, засомневались и дали в поселок радиограмму; как начальник партии на ночь глядя снарядил восемь пар лыжников на поиски, потому что озер в окрестностях много; как нашли уснувшего и полузамерзшего Копылова; как напарник остался приводить его в чувство, а он, бородач, пошел по следу дальше…

Он мог бы рассказать все это, но он молчал и глядел на Златкина.

– Чего ты на меня уставился? – забормотал Златкин, подвигаясь ближе. – Спички есть, спрашиваю. И пожевать чего-нибудь? Ну? Человек ты или кто?

– Как же ты товарища-то бросил?

– Да не бросал я его! – закричал Златкин. – Ну что ты, на самом деле? Нашел время! Разожги мне костер, дай еды какой-нибудь и беги за Сашкой. Поселок далеко?

– Поселок там, – показал бородач. – Выйдешь на озеро и направо… Ну, прощевай!..

Он развернулся, едва не задев Златкина лыжей, и, пригибаясь вперед, заскользил по своему следу.

– Стой! – рванулся, было, вдогонку Златкин. – Стой! Вернись! У-у, зверюга…

В бессильной ярости он месил кулаками податливый пушистый снег.

Отвязав лыжи и воткнув из в снег, бородач спустился в яму, где горел уютный костерок и косо натянутый сверху брезент отражал тепло на укутанного полушубком Копылова.

– Как он?

– Маленько поморозился. А где второй?

– На озеро курс держит… – Бородач тихо выругался, сплюнул себе под ноги и добавил, кивнув на Копылова: – Пусть хоть чуток в его шкуре побудет… Покурим, и сходишь за ним… Спирт не бери, обойдется. И ракетницу давай сюда. Скоро вертолет должен…

«И ЭТО ВСЕ СУДЬБА МОЯ…»

(Илья Олегович Фоняков)

Поэт, публицист, переводчик Илья Олегович Фоняков родился 17 октября 1935 года в городе Бодайбо Иркутской области, в семье служащих.

Вырос в Ленинграде. Окончил отделение журналистики филологического факультета Ленинградского государственного университета.

По распределению приехал в Новосибирск, с которым был связан потом многие годы. Работал литературным сотрудником газеты «Советская Сибирь» (1957 – 1962), собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Сибири (1962 – 1974). С командировками объездил всю Сибирь. Эти впечатления стали прочным фундаментом его творчества. Руководил теперь уже легендарным литературным объединением при газете «Молодость Сибири», из которого вышли многие ныне известные сибирские поэты и прозаики.

В 1974 году И. Фоняков уехал в Ленинград. Работал собкором «Литературной газеты» по Северо-Западу. Был заместителем председателя Ленинградского отделения Союза писателей России.

Литературную деятельность И. Фоняков начал еще на студенческой скамье в середине 1950-х годов. Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Огонек», «Звезда», «Нева», «Сибирские огни» и др. В 1957 году в Ленинграде вышел первый поэтический сборник И. Фонякова «Именем любви». И. Фоняков – автор двух десятков поэтических и нескольких очерковых и литературно-критических книг, изданных в Ленинграде, Москве, Новосибирске, Иркутске. Член Союза писателей СССР.

Умер 23 декабря 2011 года в Петербурге.

И. Фоняков начинал с романтики комсомольских строек. В целом же его творчество было отражением быстротекущей современной поэту жизни. При этом он никогда не оставался отстраненным созерцателем. «Нужно жить, нужно участвовать в жизни, нужно иметь обязанности, иметь судьбу», – говорил И. Фоняков и постоянно подтверждал свои слова на практике. Потому, наверное, и поэзия его наполнена высокой гражданственностью, страстной публицистичностью, отличается социальной остротой и напряженностью. В тоже время она очень оптимистична. Но оптимизм сей, по признанию поэта, внушали ему «не с трибун по конспектам ораторы», а его современники своими делами, своей жизнью. Естественно, что и важнейшим источником творчества самого И. Фонякова стал пристальный интерес к их жизни.

Круг творческих интересов И. Фоняков не ограничивался только поэзией. Он писал очерки и публицистику, занимался литературной критикой, активно переводил с английского, шведского, латышского языков, а также поэтов народов Сибири.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги И. Фонякова:

Стихотворения. («Библиотека сибирской поэзии»). – Новосибирск, 1975.
На своей единственной земле. Стихи. – Ленинград, 1986.

Об И. Фонякове:

Озеров Л. О стихах И. Фонякова. // И. Фоняков. Стихотворения. («Библиотека сибирской поэзии»). – Новосибирск, 1975.
Очерки литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982 Т. 2.

Олег ФОНЯКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Монолог специального корреспондента

Редактор, я вернулся из поездки.
Я сделал все, что надо. Вот статья.
В ней выводы, возможно, слишком резки,
Но каждая строка в ней – это я.

Мои за каждым словом километры
С машинами попутными, когда
Упругие летели рядом ветры
И сыпалась за шиворот вода.

В ней – горький дым колхозных самокруток,
Осеннее дыхание полей,
Моя в ней правда – та, что за семь суток
Вошла в меня и сделалась моей.

В ней все мое: любое двоеточье,
Тире любое и значок любой.
Теперь статью хоть разорвите в клочья –
В любом куске останусь я собой.

Пусть мальчики, упорствуя, гордятся,
У них такое, кажется, в чести:
«Без этих слов? Без этого абзаца?!
Да лучше хлопнуть дверью и уйти!»

О, до чего ж мне это все не внове!
Когда всерьез пред жизнью вы правы, –
Умейте так писать, чтоб в каждом слове
И в каждом обороте были вы!

Сговорчив я. Ей-богу не бравада.
Не стану тратить пыл на пустяки.
Не помещаюсь – режьте, если надо.
Не вписывайте только ни строки.

* * *

Я много ездил, размышлял о многом,
Мои дороги были далеки.
Не раз мне приходилось по дорогам
«Голосовать»
Поднятием руки.

Стою и жду. Летят машины мимо,
Уставя вдаль стеклянные глаза.

И вот,
когда уже невыносимо
Стоять и ждать –
вдруг скрипнут тормоза:
– Садись!..

Тепло кабины, сигарета,
Квадрат стекла в натеках грязевых…
Я знаю, что такое счастье: это
В ненастный день –
попутный грузовик.

Апрель в Заполярье

Удивительное явленье
Эта северная весна!
Ищут ягель стада оленьи
В лесотундре, не зная сна.
Много ям – до земли – глубоких
В толщах вырыли снеговых…
Люди ходят уже в ковбойках,
Но в унтах еще меховых.
Ничего покуда не тает,
Ни на взгорочках, ни в ложках.
Но зато – сверкает, блистает,
Все каюры – в темных очках.
Наст под нартой скрипит упруго,
Мечет солнце тысячи стрел.
В город с Севера, словно с юга,
Возвращаешься –
Загорел!

Нефть

Я узнал, что значит поиск нефти.
Вся вокруг земля разбурена,
И давно уж кажется, что негде
Прятаться –
но прячется она!

Обнадежит радостью минутной,
Выглянет, поманит –
и молчок
в желобах, поверх водички мутной,
радужный покажет язычок.

Выжмет каплю синего отлива –
Подставляй ладони, да скорей!
На окне, в бутылке из-под пива,
Дразнит настоящестью своей.

Ведь нужны-то реки, а не капли,
Не цистерны даже – а моря…
Ну, а я-то сам к тебе не так ли
Пробиваюсь, истина моя?

Мне не нужно капелек и гранул –
Хлынь фонтаном, зашуми рекой,
Чтобы я смутился и отпрянул,
Отступил, прикрыв лицо рукой!

Чтобы вновь приблизиться несмело,
Сам не веря: наконец-то, вот!
… Кончен день. Очередную смену
К буровой уносит вертолет.

Элегия

(Социологическая)

Ой, весенний чад угарный,
Пух белесый над водой!
Приходи к нам в цех ударный,
Социолог молодой!

Приноси свои анкеты –
Пачки целые анкет,
Где дозволены ответы
Только в форме «да» и «нет».

Ой, опрос твой – всенародный,
Ой, листки – что лепестки!
У тебя ль не галстук модный,
Туфли – вострые носки!

Что глядишь, красивый, косо,
Умник парень, борода?
Я на все твои вопросы
Отвечала б только «да».

Ой, дрожат, гляди-ка, руки –
Не нарочно, я клянусь.
Я ж, пойми, тянусь к науке –
То ль не видишь, как тянусь?

Ой, да что же я болтаю,
Не могу понять сама…
А на улице – такая
Небывалая весна!

Наступили, затомились
Голубые вечера.
В общежитие ломились
Парни местные вчера.

Ты идешь светло одетый,
Модный, ладный, дорогой!..
Черт бы взял тебя с анкетой
И красивой бородой.

* * *

Говорите о любви любимым
Говорите чаще. Каждый день.
Не сдаваясь мелочным обидам.
Отрываясь от важнейших дел.

Говорите – слышите, мужчины?
Искренне, возвышенно, смешно.
Говорите –
над кроваткой сына.
Шепотом –
на танцах и в кино.

В вашем старом, в вашем новом доме,
В час прощаний –
руки на плечах –
На перроне,
на аэродроме,
Реактивный гром перекричав.

Пусть толкуют вам, что это детскость,
Пусть в стихах доказывают вновь
Истину известную –
что, дескать,
Молчалива сильная любовь.

Пусть при этом поглядят с налетом
Превосходства, даже торжества –
Для чего придуманы народом
Добрые и светлые слова?

Для чего им в словарях пылиться7
Говорите!
Радуйте невест!
И подруг!
Не бойтесь повториться.
Уверяю: им не надоест.

Чудаки, медведи, нелюдимы –
Слышите?
Отверзните уста:
Нынче миру так необходимы
Нежность, чистота и доброта!

Дневной концерт

В зал, в окна весна стучала,
И в ответ на зов ее
Песня русская звучала –
Пела женщина ее.

Голос был простой, домашний,
Но в глазах синела даль,
И казался черной пашней
За плечом ее рояль.

Стихи о далеком друге

Далекий друг пшеницу сеет в поле,
Он рубит уголь, строит новый дом.
Далекий друг к моей нешумной доле
Причастен, сам не ведая о том.

Его лицо – в морских соленых брызгах,
В горячих красных бликах – при огне.
Далекий друг надежней самых близких:
Он не предаст, он не изменит мне.

* * *

Еще не все сказать – «люблю»
Проселку, полю ржи,
Ромашке, в небе – журавлю,
Березке у межи.

Не раз – историю спроси! –
На роковой черте
Заметным именем Руси
Клялись и те, и те.

И умирали, двух сторон
Бойцы средь росных трав,
К одной и той же с двух сторон
Березоньке припав…

* * *

Ругает баба мужика,
Домой таща в семью:
И нанесло же дурака
На шею на мою!

Опять надрызгался! Хорош,
Отец, добытчик, шваль!..
А ты, чужой, постой, не трожь,
Глаза свои не пяль!

Не лезь без спроса в нашу жизнь,
За наш не умствуй счет!..
Идем, соколик мой, держись!
Не падай, пьяный черт!

* * *

Ища критерии добра,
Я в прошлое стучусь:
Была война, была пора
Ожесточенья чувств.

Росли мальчишки без отцов,
Курили злой табак
И камни в окна поездов
Швыряли просто так.

Но вспомню в трудностях любых,
В любые времена,
Как, разломив колючий жмых,
Сказал мне сверстник:
– На!..

* * *

Как знать, любили или нет
Мы вас, учителя?
Мы вас терзали столько лет,
Насмешничая, зля!

Вам не один дерзил юнец,
Заносчив и упрям.
Лишь повзрослевшим, под конец
Неловко стало нам.

И самый злостный бузотер,
Затылок свой скобля,
Сказал приятелям в упор:
Пойду в учителя!

* * *

Газетный кошт – моя судьба,
Поденщина моя!
«Пора на вольные хлеба!» –
Твердят кругом друзья.

А я все медлю, триста строк
Сдаю на полосу,
И за вранье, сейчас и впрок,
Ответственность несу.

Ругаюсь: не пошла статья!
Взвиваюсь на дыбы!..
И это все – судьба моя.
Нельзя ж ведь без судьбы.

Сказал мне мастер…

Сказал мне мастер: что беречь
Секреты мастерства?
Нам по душе простая речь,
Прозрачные слова.

Нам ни к чему лукавый дым
И лексикон блажной.
Мы только ясности хотим,
Стремимся к ней одной.

А если стих заволокло
Туманом – знайте впредь:
Подчас мы дышим на стекло,
Чтоб чище протереть.

* * *

Не знаю страха? Знаю страх,
Притом еще какой:
Боюсь обмолвиться в стихах
Фальшивящей строкой.

Имею Совесть, помню Честь,
Но кроме – с давних пор
В глазах друзей боюсь прочесть
Насмешку и укор.

Живу, поддержан страхом тем,
А с прочими борюсь.
А есть бесстрашные совсем.
Вот их еще боюсь.

О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ

(Александр Михайлович Береснев)

Детский поэт Александр Михайлович Береснев родился 29 января 1936 года в городе Тогучин Новосибирской области.

В двухлетнем возрасте переехал с родителями в кузбасский поселок Промышленное. Работал после школы в шахте имени Кирова (Ленинск-Кузнецкий), литсотрудником газеты Промышленного района «Знамя труда». Учился на филологическом факультете Кемеровского пединститута. Окончил редакторский факультет Московского полиграфического института, после чего работал в новосибирских газетах («Вечерний Новосибирск», «Рабочая трибуна»), редактором в Новосибирском и Кемеровском книжных издательствах. Последние свои годы А. Береснев жил в Кемерово.

Поэтический дебют А. Береснева состоялся в начале 1960-х годов в газете «Красное знамя». Публиковался в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки». А первая его книжка для детей «Снегурочка» вышла в Кемерово в 1964 году. А. Береснев – автор более 20 детских поэтических сборников, увидевших свет в Кемерово, Новосибирске и Москве. Участвовал в Кемеровском зональном совещании молодых писателей (1966), после которого, по совету своих наставников, всецело отдался поэзии для детей.

Имя А. Береснева присвоено Центральной детской библиотеке города Кемерово.

Умер 12 июля 1987 года в Кемерово.

При жизни А. Береснев был одним из самых популярных и востребованных детских поэтов Сибири. Его книжки не залеживались на прилавках. Стихи А. Береснева с удовольствием декламировали на школьных и детсадовских утренниках. Очень теплое отношение его творчество встречало со стороны таких корифеев отечественной детской литературы, как А. Барто, С. Михалков, Е. Благинина, Е. Стюарт.

И это не удивительно. Поэт прекрасно понимал и чувствовал тех, кому адресовал свое творчество, был в детской среде своим человеком. Воспринимая окружающий мир душой большого ребенка, А. Береснев стремился, чтобы и маленькие читатели так же крепко и горячо, как и он сам, полюбили родную землю, прекрасней которой, уверен был поэт, нет ничего на свете. Но делал он это ненавязчиво, избегая докучливого назидания.

Юный бересневский герой – тонкий наблюдатель, и мир вокруг видит восхищенно-вопрошающим взором ребенка-неофита. При этом сам автор учитывал и мастерски использовал в своей поэтической практике то важное обстоятельство, что у детей особые видение и образная система. А насколько причудливы и безграничны возможности детского воображения поэт демонстрировал во многих своих стихотворениях.

Давно уже А. Береснева нет с нами, но теплый свет, идущий от его поэзии, продолжает и сегодня согревать сердца – уже нынешней – детворы.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги А. Береснева:

Подснежник. Стихи. – Новосибирск, 1986.

Об А. Бересневе:

Горшенин А. Солнышки в ведерках. // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. Очерки и эссе о писателях Сибири. – Новосибирск, 2006.

Александр БЕРЕСНЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Всё на что-нибудь похоже

Ясной ночью
В небе синем
Серп луны,
Как ломтик дыни.
Перевернутые лодки –
Как солдатские пилотки.
Облака –
Сугробы снега.

Вот бы мне
По ним побегать!
Посмотрите:
Это ёж
Удивительно похож
На клубок с иголками
Длинными и колкими.
Колесо –
На букву О,
На баранку
И кольцо.
Гриб – на зонт,
Пельмень – на шляпу,
Брат – на маму,
Я – на папу.

Недогадливая света

Брата спрашивает Света:
– Где зима
Зимует летом?
– Ты не знаешь?
Вот те раз!
В холодильнике у нас!

Про скворца и про кота

Скворец – певец.
Еще какой!
Не умолкает
День-деньской.

На крыше дремлет
Старый кот.
Притих.
Хвостом не шевельнет.
Дослушал песню
До конца.
«Талант! –
Подумал про скворца. –

Но разве песней
Будешь сыт?
Жаль высоко
Скворец сидит».

Хочется мне…

Хочется мне
Посидеть на суку,
Если окликнут,
Ответить: «Ку-ку!»

Часто я также
Мечтаю о том,
Чтоб прокатиться
На тучке верхом.

Быстрым стрижом
Пролететь над рекой,
Небо и солнце
Потрогать рукой!

Бычок

Принесли мы для бычка
Полведерка молочка.
Но бычок сказал нам:
– Му-у-у!
Молочко мне ни к чему.
Я уже большой бычок,
Дайте мне травы пучок!

Приходите в огород

Приходите в огород
Посмотреть,
Как мак цветет.
Как играют в прятки
Огурцы на грядке.

Как подсолнухи в картошке
Тянут к солнышку ладошки.
Как от утренней росы
У бобов растут усы.
Все растет, все цветет,
Никому не тесно.
Приходите в огород:
Очень интересно!

Угости нас, Зорька!

За рекой
Последний луч потух.
Гонит стадо
С пастбища пастух.
Над деревней
Засинела мгла.
Вот и наша
Зорюшка пришла.
Ее встретил
У ворот щенок,
Васька-кот ласкается
У ног.
И мурлычет,
Хвост держа торчком:
«Угости нас, Зорька,
Молочком!»

В родном краю

Хорошо, привольно летом,
Птицы вьются в вышине,
Рожь качается под ветром,
Словно кланяется мне.

Искупаться приглашает
Речка тихая Иня,
Лес приветливо встречает,
В лог за ягодой маня.

Шум берез, кулик на кочке,
Перезвоны ручейков
Мне подсказывают строчки
Незатейливых стихов.

Для меня, не умолкая,
В роще иволга поет.
И тропиночка любая
Прямо к дому приведет.

Много песен было спето

Лето жаворонком пело
И кукушкой за рекой.
Перепелкою звенело,
Не смолкая день-деньской.

Много песен было спето
Над просторами полей.
А простилось с нами лето
Грустным криком журавлей.

После бурана

Зима наступила,
И после бурана
Белою стала
Лесная поляна.

Я лыжами начал
Ее линовать,
И получилась
В линейку тетрадь.

Дед Мороз

Добрый
Дедушка Мороз
Мне щенка

В мешке принес.
Но какой-то
Странный дед:
В шубу мамину
Одет
И в таких же
Сапогах,
Как у папы,
На ногах.
И улыбка
Даже
Ну, конечно,
Та же!
Это папа!
Я молчу,
Я пока не хохочу.
Пусть позабавляется.
Может, сам
Признается?

Кот-проказник

Кот Василий напроказил:
Лапой он в сметану лазил.
Мама Ваську вмиг за дверь:
«Вот намерзнешься теперь!»
Хоть и нрава он плохого,
Жалко мне кота до слез:
Ведь его совсем босого
Выгоняют на мороз.

Вздремнул

Под сугробом, возле ели,
Спал медведь в своей постели.
Спал всю зиму и не ел,
Потому и похудел.
Вдруг услышал он сквозь сон

Дружный птичий перезвон:
– Эй, Топтыгин, хватить спать,
Выходи весну встречать!
Вышел Мишка из берлоги,
Еле держат Мишку ноги.
Потянулся и зевнул:
– Ох, и крепко я вздремнул!

Подснежник

Уставшие метели
Уснули под кустом,
Сугробы похудели,
Проталины кругом.

Резвятся шумно птицы,
Ручей заговорил,
И синие ресницы
Подснежник приоткрыл.

Весенней порой

Весенней порой
Дед Мороз занемог,
Метели и вьюги
Он спрятал в мешок.

С тяжелою ношей
Направился в лес
И, грустно вздыхая,
В тумане исчез.

Ручей прожурчал
Ему вслед: «Не тужи!
А лучше покрепче
Мешок завяжи!»

Кораблик

По реке вешним днем
Мой кораблик мчится.
Хорошо бы на нем
В плаванье пуститься!

Далеко-далеко
Плыть под парусами,
А потом моряком
Возвратиться к маме!

Солнышки в ведерках

Зачерпнул ведерками
Воду из ручья
И в ведре по солнышку
Вдруг увидел я.

Птицы заливаются
За рекой в лесу.
Показать два солнышка
Бабушке несу.

Мне с такой ношею
Весело шагать.
Только как бы солнышки
Мне не расплескать.

Подарок гусей

Покидая край сибирский,
Гуси тают в вышине.
Мне оставили записку
И перо на старом пне.

«Ты пиши пером гусиным,
Как писали в старину.
Сочини про вечер синий,
Про березку, про луну.

О реке, лугах, тумане,
Об озерах не забудь.
Сочини о зорьке ранней
И о нас хоть что-нибудь.

Прилетим к тебе весною,
Место встречи – у ольхи.
Приноси тетрадь с собою,
Нам прочтешь свои стихи».

То перо – гусей подарок –
Я всю зиму берегу,
Но писать им без помарок
Научиться не могу.

Что ни буква – закорючка,
В кляксах новая тетрадь.
Не сердитесь, гуси: ручкой
Мне удобнее писать.

Жду вас, гуси, с нетерпеньем,
Всё гляжу, гляжу в окно,
Я о вас стихотворенье
Написал давным-давно.

ОСТРОТА КРИТИЧЕСКОГО ПЕРА

(Владимир Николаевич Шапошников)

Критик, литературовед, драматург Владимир Николаевич Шапошников родился 28 апреля 1937 года в Новосибирске, в семье служащих.

Окончил историко-филологический факультет Новосибирского педагогического института. Преподавал в школах и техникумах Новосибирска и Новосибирской области. Работал заведующим отделом критики журнала «Сибирские огни», младшим научным сотрудником в Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук.

Первые рецензии и критические обзоры В. Шапошникова появились в начале 1970-х годов в газетах «Советская Сибирь» и «Вечерний Новосибирск». Публиковался в журналах «Литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Детская литература», «Сибирские огни», «Дон», «Урал», «Дальний Восток» и др., в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия». В 1974 году в Красноярске вышла первая книга В. Шапошникова «Анатолий Чмыхало». Автор книг «Продолжение знакомства» (1976), «Государственные люди» (1979), «Великие литературные открытия» (1981), «Чтобы стать классиком» (1985), «От «Серебряного века» до наших дней» (1996) и др., изданных в Новосибирске. Член Союза писателей СССР.

Умер 26 июля 2008 года в Новосибирске.

В литературно-критических произведениях В. Шапошников вел разговор о проблемах литературы и происходящих в ней процессах, а также о творчестве отдельных, в том числе и сибирских писателей. В. Шапошников был из числа тех критиков, которых называли «критиками-социологами. Его творческую манеру отличали острота суждений и оценок, публицистичность и полемичность. В своей литературно-критической работе В. Шапошников постоянно поверял современность классикой, выявляя на этом сопоставлении свет и тени современного литературного процесса.

Немалое время отдав профессии педагога, В. Шапошников значительную часть своего творчества адресовал юной аудитории (школьникам, студентам). Об этом свидетельствуют его книги «Великие литературные открытия» и «От «Серебряного века» до наших дней», ставшие хорошими пособиями для пополнения знаний по истории мировой и русской литературы.

Известен был В. Шапошников и как драматург, автор нескольких пьес, героями которых становились люди античной эпохи и наши современники.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги В. Шапошникова:

Великие литературные открытия. – Новосибирск, 1981.

Чтобы стать классиком. Литературно-критические статьи. – Новосибирск, 1985.

Владимир ШАПОШНИКОВ

Одну из своих книг критик и литературовед В. Шапошников назвал «Великие литературные открытия». И не случайно. В увлекательной форме рассказывает он в ней о развитии мировой литературы как о непрерывной цепи открытий, совершавшихся под пером великих писателей, начиная с древнейших времен. Сами же литературные корифеи предстают в этой книге как первооткрыватели и первопроходцы новых путей для воплощения сложных творческих задач.

НА ПУТЯХ К РЕАЛИЗМУ

(*Глава из книги «Великие литературные открытия»*)

Что такое литература? Вопрос как будто бы элементарный, однако каждый из вас ответит на него по-своему. Один скажет: литература – это романы, повести, рассказы, отображающие жизнь людей в прошлом, настоящем и даже в будущем, Другой даст сугубо научное определение: литература – вид искусства, в котором слово является основным средством образного отражения жизни. Третий наверняка процитирует Чернышевского и Горького, которые называли литературу «учебником жизни», «человековедением».

Все эти формулировки верны, все они так или иначе раскрывают основное назначение литературы – показывать жизнь человеческую во всем ее богатстве и многообразии; все они подчеркивают, что главный предмет искусства слова – человек.

Персонаж, герой, характер, тип – вот наиболее часто используемые понятия, с помощью которых анализируют, или, как принято говорить в школе, «разбирают» художественные произведения. И за каждым из этих понятий стоят вполне конкретные, зримые и осязаемые фигуры – Гамлет, Дон-Кихот, Онегин, Базаров, Пьер Безухов, Раскольников, фигуры, без которых невозможно представить не только литературу, но и вообще всю нашу жизнь.

Теперь зададимся таким вопросом: а всегда ли человек был в центре внимания художников слова? Сразу ли им были завоеваны столь прочные позиции в литературе? Сразу ли герой литературных произведений предстал перед читателем как самостоятельная личность, характер, тип? Если брать во внимание чисто внешнюю, фактическую сторону дела, на эти вопросы следует ответить утвердительно, ибо человек в литературе всех времен и народов всегда был главным действующим лицом художественного произведения. Вспомним хотя бы античную литературу. Одиссей, Гектор, Антигона, Медея – это все персонажи известных произведений древнегреческих писателей, «типичные представители» той эпохи. Только типичность их несколько иная, нежели типичность хорошо знакомых нам литературных героев XIX века; да и художественные приемы, которыми пользовались античные авторы для создания образа, тоже иные. Чтобы наглядно это показать вам, расскажем одну историю, случившуюся в те далекие времена.

Сюжет придумывают боги

…Фиванскому царю Лаю оракулы предсказали смерть от руки собственного сына. Чтобы избежать этой страшной участи, Лай повелел рабу проколоть ноги маленькому Эдипу и бросить его на горе. Однако раб ослушался, спас ребенка. Эдип попал в руки коринфского царя Полиба и был усыновлен им. Когда Эдип вырос, оракул сказал ему, что он убьет отца и женится на матери. И Эдип, полагая, что его родители – коринфские царь и царица, уходит из Коринфа. По дороге в Фивы Эдип ввязывается в ссору и убивает неизвестного старика, который, как выяснилось потом, оказался Лаем. Это преступление сходит Эдипу с рук, он благополучно добирается до Фив и здесь совершает подвиг: освобождает город от страшного чудовища, за что народ избирает его своим царем. Согласно обычаю, Эдип женится на вдове погибшего царя, не подозревая даже, что это его собственная мать. В течение многих лет Эдип правил Фивами и пользовался заслуженной любовью народа. Но вот в стране случился мор, и оракул объявил, что причина несчастья – преступление, совершенное одним из граждан Фив. Эдип всеми силами стремится найти преступника, не подозревая, что убийцей является он сам. Когда же Эдипу стала известна истина, он ослепляет себя и уходит в изгнание.

Те, кто знаком с античной литературой, вероятно, догадались, что мы изложили в общих чертах сюжет трагедии Софокла «Царь Эдип». Трагедия эта написана на основе одного из мифов древней Эллады, что, кстати, было весьма характерно для античной литературы. Ведь не секрет, что большинство произведений древнегреческих и древнеримских авторов представляют собой художественную обработку широко известных мифов, легенд, сказаний. Но нас в данном случае интересует не столько творческая история трагедии Софокла, сколько само ее построение. Обратите внима-

ние, как развертываются события в трагедии: здесь все свершается по воле рока, по предсказанию свыше. Не люди, не столкновения человеческих характеров движут сюжет, а вмешательство потусторонних сил. Герои трагедии – Эдип, его отец и мать – игрушки, пешки в руках всемогущих богов, их судьбы заранее предопределены, «спланированы».

И так везде и всюду. К какому бы произведению античной литературы мы ни обратились, в нем обязательно присутствует «роковое начало». Герои совершают те или иные поступки не по собственной воле, а по повелению свыше, по воле богов. Ахилл сумел победить Гектора потому, что бог кузнечного дела Гефест дал ему мощное оружие. В свою очередь сам Ахилл погибает от стрелы Париса, которую направил Аполлон. Одиссей смог уйти от волшебницы Калипсо, удерживавшей его на своем острове в течение семи лет, лишь после того, как боги решили вернуть его на родину. Клитемнестра погибает от руки собственного сына потому, что сам Аполлон раскрывает Оресту страшную тайну его матери-преступницы и повелевает убить ее. Юный Аякс кончает жизнь самоубийством потому, что Афина насылает на него безумие… Случалось, правда, что герой бросал дерзкий вызов богам, действовал вопреки их воле. Но чем это заканчивалось вы хорошо знаете хотя бы из мифа о Прометее. Прометей выдал людям тайну огня, за что Зевс приковал его к скале и подверг страшным мучениям: каждый день к скале прилетал орел, садился на грудь Прометея и терзал его.

Вот эта рабская зависимость человека от потусторонних сил, от божественного провидения есть характерная особенность почти всех произведений античной литературы. Можно даже сказать: подобно тому, как в истории человечества был рабовладельческий период, так и в истории мировой литературы тоже была «эпоха рабства», охватившая всю античную литературу и литературу раннего средневековья.

Вечно молодые герои древности

Однако не надо думать, будто в античной и средневековой литературе все обстояло таким вот образом: на земле копошатся жалкие людишки, а на небесах восседают величественные боги и время от времени скуки ради вмешиваются в земные дела. Художественная фантазия писателей античности и средневековья была намного богаче их мировоззренческих представлений. Признавая «наличие» потусторонних сил, они самое действие этих сил показывали в разных формах, в разных вариациях. Например, во

многих произведениях, относящихся к «детству человечества», встречаются различные предметы, наделенные сверхъестественной силой.

Вмешательство в судьбу человека неодушевленных предметов, наделенных силой волшебства, – излюбленный прием и многих сказок, которые мы также относим к произведениям периода человеческого «детства». Вспомните все эти волшебные палочки, гребешки, зеркала, шапки-невидимки, с помощью которых герой одерживает верх над врагами, побеждает зло. Ведь это не только элементы занимательности, оживляющие сюжет сказки, но и способы претворения в жизнь воли провидения, способы действия потусторонних сил.

Зависимость человека от «воли рока» отражается не только в сюжете произведения, проявляется не только в том, что герой везде и всюду находится во власти слепого случая. Эта зависимость накладывает отпечаток и на характер, на сам образ героя. Впрочем, тут снова придется прибегнуть к параллели, сопоставить античных героев с героями литературы XIX века.

Как вы помните, и Онегин, и Печорин, и Пьер Безухов прошли многие жизненные испытания, и эти испытания зачастую меняли их характер, заставляли пересматривать свои взгляды и убеждения. Пьер Безухов в эпилоге «Войны и мира» уже совсем не тот Пьер, каким мы видели его в начале романа среди гостей Анны Павловны Шерер. «Не теми» – вконец разочарованными, опустошенными, отринутыми от всех и вся – предстают в последних главах Онегин и Печорин. Даже сибарит Обломов – на что, казалось бы, уж личность застывшая, закосневшая – и тот в какие-то моменты своего полулежачего существования предстает в новом качестве. Происходило это все потому, что для писателей XIX века главным предметом их интереса был прежде всего человек; они пристально следили за своими героями, фиксировали каждый их поступок, подсматривали, по выражению Белинского, каждое движение их сердца, рассматривали каждую их мысль. Их интересовали не столько события, происходившие с героем, сколько то, как эти события «ложатся» на душу героя, какие вносят «коррективы» в его внутренний мир, в его характер.

Античных же писателей интересовали прежде всего события, действие; главными для них были хитросплетения сюжета. Герой был лишь иголкой, челноком, с помощью которого авторы ткали причудливые сюжетные узоры. Эта авторская индифферентность по отношению к внутреннему миру героя была особенно характерна для античных романов. Герой здесь попадал в самые неве-

роятные ситуации: терпел кораблекрушение, оказывался в руках разбойников, совершал побеги, встречался с чудовищем, находил сокровища и терял их… Но все эти передряги, все удары судьбы никоим образом не отражались на его характере. Ничто не менялось в нем – ни в лучшую сторону, ни в худшую. По меткому выражению известного советского литературоведа М.М. Бахтина, античный герой выходил из всех испытаний равный самому себе: «Молот событий ничего не дробит и ничего не кует – он только испытывает прочность уже готового продукта»*.

Любопытно, что в античном романе оставался неизменным и возраст героя. Допустим, многие древнегреческие авторы использовали такой сюжет: двое молодых людей – юноша и девушка – влюбляются друг в друга с первого взгляда и договариваются о свадьбе. Однако злой рок разлучает их, и один из возлюбленных, чаще всего он, отправляется на поиски другого. Поиски эти, как правило, сопряжены с преодолением всяческих препятствий и продолжаются лет десять-двадцать. Однако по прошествии столь длительного срока жених и невеста (естественно, они в конце концов находят друг друга) как были молодыми, так молодыми и остаются и сочетаются в счастливом браке.

Заботясь лишь о занимательности сюжета, о чисто событийной стороне дела, античные авторы, как видим, теряли всякое ощущение реальности, не утруждали себя даже тем, чтобы элементарно вычислить время, требуемое героям для преодоления всех преград. Этот «промах» античных авторов блестяще был использован великим французским писателем-просветителем Вольтером.

Вольтер написал философскую повесть «Кандид», которая по форме была не чем иным, как пародией на греческий авантюрный роман. Там, как и античном романе, влюбленных героев – Кандида и Кунигунду – разлучает злая судьба, и Кандид бросается на поиски. Однако Вольтер тонко рассчитал, сколько потребуется герою времени на преодоление всех превратностей судьбы. И получилось: когда влюбленные встретились вновь, они уже, увы, глубокие старики и прекрасная Кунигунда похожа на безобразную ведьму.

Другая существенная особенность античного героя – его изолированность от конкретной социально-исторической среды. Ныне изображение «типических характеров в типических обстоятельствах» есть элементарное требование, предъявляемое ко всякому литературному произведению. Но прежде чем писатели

* Бахтин М. Время и пространство в романе. — «Вопросы литературы». 1974, №3, с. 153.

научились рисовать типические образы и связывать эти образы с конкретными жизненными условиями и обстоятельствами, понадобились тысячелетия. И чтобы понять всю значимость и важность этого открытия, придется еще раз прибегнуть к параллели.

Возьмем «старых знакомых»: Онегина, Печорина, Обломова, чеховского Ионыча… Когда вы знакомились на уроках литературы с этими героями, то непременно говорили об их типичности, о том, что и Онегин, и Печорин, и Обломов выражают какие-то существенные черты своего времени, своей среды, своего класса, а с другой стороны, какие-то черты и свойства их натур выработаны в них самой средой, самими условиями, в которых они жили. Почему Онегин не смог заняться никакой полезной деятельностью, не смог нигде применить своих знаний и способностей? Потому что «труд упорный ему был тошен», потому что Онегина, как и многих его сверстников, дворянских сынков, учили «чему-нибудь и как-нибудь», готовили к легкой праздной жизни… Почему Обломов превратился в живого мертвеца? Потому что с детства жил в праздности, потому что к его услугам всегда были крепостные Захары, избавлявшие его работать самому… Почему Дмитрий Иоыч Старцев из молодого, энергичного, полного благих намерений врача превратился в обывателя? Да потому, что его засосало провинциальное болото, потому что пошлость окружающей жизни оказалась сильнее его, «подмяла» под себя все его благородные порывы и светлые мечты… То есть в характерах, в судьбах этих героев все понятно, все мотивировано, все объяснено как с социальной, так и психологической точки зрения.

Герои же античных произведений в этом смысле – фигуры абстрактные, лишенные каких-либо конкретных связей со средой, обстоятельствами, условиями жизни. Социально-исторический фон в античном романе, как правило, прописан слабо, а то и отсутствует вовсе. Читая эти романы, мы можем составить кое-какое представление лишь о некоторых сторонах жизни людей той далекой эпохи: например, о классовом строе (во всех романах встречаются рабы), о торговых связях древних греков с другими народами… Что же касается таких подробностей, как быт, нравы, социальные взаимоотношения в обществе, – все это за пределами авторского интереса. Рисовать жизнь такой, какова она есть, во всем ее многообразии, в смешении высокого с низким, трагического с комическим древние авторы не умели, да и не ставили перед собой такой задачи.

Не могли они проникнуть и во внутренний мир человека, в его психологию – оттого и герои их статичны, однoплановы, схема-

тичны, как мы сейчас говорим. В характере античного героя преобладает одна какая-то черта, которую они демонстрирует на протяжении всего повествования. Это герои-аллегории, герои-олицетворения. Ахилл олицетворяет храбрость, Елена – красоту, Язон – подлость и лицемерие, Клитемнестра – коварство и т.д.

Любопытно, что эта одноплановость, заданность была свойственна героям многих литературных произведений последующих эпох. Прямыми «наследниками» здесь явились персонажи произведений классицизма – литературного направления, которое сложилось на рубеже XVII – XVIII столетий под сильным воздействием античного искусства. Писатели-классицисты, в особенности драматурги, во многом подражали древним грекам, заимствовали у них сюжеты, механически переносили в свои трагедии и комедии художественные приемы, выработанные Эсхилом, Софоклом, Эврипидом.

Но не только классицисты были продолжателями традиций античного искусства. Много брали от античности и писатели других направлений. Например, писатели-романтики XVIII – начала XIX века тоже любили, как и их античные коллеги, отдавать своих героев во власть слепого случая. Только если у античных авторов судьбой героев распоряжались боги, то у писателей романтиков в качестве рокового начала выступали лица вполне реальные – разного рода таинственные злодеи, интриганы, авантюристы. Ими буквально наводнены романы Вальтера Скотта, Александра Дюма, Виктора Гюго. Порой воля провидения исходила прямо из потустороннего мира и являлась героям в виде призраков, привидений. Классический пример тому – тень отца Гамлета, рассказывающая о страшном преступлении, совершенном в замке Эльсинор, и призывающая Гамлета к отмщению.

Вызов брошен

Все эти факты свидетельствуют о том, что в литературе ничто бесследно не исчезает, что традиции литературные живут веками, лишь видоизменяясь в соответствии с духом времени. Вместе с тем в литературе, как во всяком живом процессе, возникают и ростки, зачатки новых, тенденций, новых художественных приемов и средств. Такие ростки пробивались и в античной литературе. Впрочем, расскажем вам тут еще одну историю, происшедшую в те далекие времена.

…Некто Люций, богатый, беспечный юноша, приехал в Фессалию, в город Гипату. Здесь он остановился у местного богача

Милона, жена которого Памфила, оказалась волшебницей. Служанка Фотида, влюбившаяся в Люция, рассказала ему тайну своей госпожи: Памфила каждую ночь натирается особой мазью, превращается в птицу и улетает к своему возлюбленному. Загоревшись любопытством, Люций упросил Фотиду, чтобы та тоже дала ему мазь, превращающую человека в птицу. Однако служанка перепутала баночки и дала такую мазь, от которой он превратился в осла. Увидев свою оплошность, Фотида пришла в ужас, но тут же сказала, что это дело поправимое: стоит Люцию пожевать розы, как он снова станет человеком. А пока до наступления ночи, ему надо спрятаться в конюшне. Люций так и сделал: ушел в конюшню, чтобы дождаться рассвета. Однако ночью на дом Милона напали разбойники, нагрузили на Люция награбленное добро и увели его с собой…. Чего только не пережил Люций, находясь в обличии осла! Чего только не насмотрелся, переходя из рук в руки! Лишь после того, как над ним сжалилась богиня Изида, повелевшая ему съесть во время религиозной процессии венок роз из рук жреца, – бедный юноша снова обрел человеческий облик. Но стал уже совершенно другим человеком: скромным, воздержанным, добродетельным. Все невзгоды и лишения, испытанные им в шкуре осла, не прошли даром, явились для него горьким уроком.

Все рассказанное выше, как вы, наверное, сами уже догадались, тоже сюжет одного из античных произведений. Называется это произведение «Золотой осел», и написал его древнеримский писатель Апулей.

«Античность» этого произведения чувствуется даже через беглый его пересказ. Здесь мы встречаем многие традиционные для античного романа приемы: и вмешательство потусторонних сил в судьбу героя, и серию всевозможных приключений и испытаний, через которые герой проходит, и обязательно счастливую развязку. Однако при внимательном прочтении «Золотого осла» в нем можно обнаружить такие моменты, которые явно выходят за пределы традиций и канонов античного романа. Прежде всего, в романе Апулея выписан социальный фон, дающий нам вполне конкретное представление о быте, нравах, образе жизни римского общества накануне упадка могущественной Римской империи. Сама необычная ситуация, положенная в основу романа, позволяет Апулею нарисовать широкое полотно. Ведь Люций, превратившись в осла и потеряв человеческий облик, не потерял человеческого разума. Он все замечает, все наблюдает. И, пройдя в ослином облике по многим городам и провинциям, герой насмотрелся такого, о чем раньше даже не подозревал.

Однажды он попал на мельницу и «не без интереса принялся рассматривать неприглядное устройство сего заведения. «Великие боги, что за жалкий люд окружал меня! Кожа у них была испещрена синяками, драные лохмотья скорее бросали тень на исполосованные спины, чем прикрывали их, у некоторых короткая одежонка до паха едва доходила, туники у всех такие, что тело через тряпье сквозит, лбы клейменые, полголовы обрито, на ногах цепи, лица землистые, веки разъедены дымом и горячим паром, все подслеповаты, к тому же на веках мучная пыль как грязно-белый пепел, словно на кулачных бойцах, что выходят на схватку не иначе, как посыпавшись мелким песком».

И далее, буквально в следующем же абзаце, описывается конюшня и ее обитатели:

«Что за старые мулы, что за разбитые клячи! Столпившись вокруг яслей и засунув туда морды, они пережевывали кучи мякины; шеи, покрытые гнойными болячками, были раздуты, дряблые ноздри расширены от постоянных приступов кашля, груди изранены от постоянного трения лямки из альфы, непрерывные удары бича по бокам обнажили ребра, копыта безобразно расплющены вечным кружением по одной и той же дороге, и вся их иссохшая шкура покрыта застарелой коростой».

Не правда ли, перед нами совершенно реалистические картины? И дело не только в том, что автор очень точен в деталях и подробностях. В этих сценах заключен глубокий социальный смысл. Положение рабов, как явствует из этих двух описаний, ничем не отличается от положения рабочей скотины: и тех и других одинаково эксплуатируют и истязают.

Но роман Апулея интересен не только в познавательном отношении, не только как произведение, рисующее правдивые картины жизни далекой эпохи. «Золотой осел» – уникальнейшее литературно-художественное явление, так как автор его одним из первых предпринял решительную попытку вырвать человека из-под власти слепого случая, дать ему какую-то самостоятельность, свободу выбора. Обратим здесь внимание на такой момент: герой становится ослом из-за нелепой случайности. Однако произошло все это потому, что сам Люций затеял опасную игру с колдовством. Будучи юношей легкомысленным и любопытным, он решил обратиться в птицу, чтобы проследить за Памфилой, подсмотреть, к кому и зачем она летает по ночам. Как видим, «сфера влияния» слепого случая у Апулея порядком ограничена начальным толчком развития действия, завязкой служит самостоятельный поступок героя. Причем и развязка – обратное превращение Люция в человека – тоже не игра слепого случая. Богиня Изида подсказала герою путь к спасению лишь после того, как увидела, что Люций достаточно натерпелся и настрадался, пребывая в облике осла.

И Люций, став снова человеком, становится, как мы уже отметили, совершенно другим, избавляется не только от ослиной шкуры, но от дурных наклонностей.

Апулей таким образом, в отличие от своих предшественников, показывает процесс перестройки человеческого характера: его герой выходит из всех испытаний не «равным себе», как то было во многих античных романах, а изменившимся, притом в лучшую сторону. Правда, это превращение в «другого» человека достигается традиционными приемами» герой проходит через ряд испытаний, авантюр, злоключений. Однако сам факт перековки человеческого характера следует рассматривать как явление новаторское, как предвосхищение новых тенденций в литературе, новых способов изображения действительности.

Такие предвосхищения можно найти и в целом ряде других произведений античной литературы. Мы уже отмечали, что в литературе любого народа первое слово всегда принадлежало драме, что именно с этим жанром связаны и многие художественные достижения. Не была исключением в этом смысле античная драматургия. Например, уже у Софокла и Эврипида мы находим элементы психологического анализа, уже в их трагедиях предпринимаются попытки проникнуть в тайны человеческого сознания, показать человека, терзаемого сомнениями, одержимого противоречивыми страстями.

Такого человека показывает нам Эврипид в лице главной героини трагедии «Медея».

Вы, конечно, помните миф об аргонавтах, где рассказывается, как смелый юноша Язон отправился в далекую Колхиду на поиски золотого руна. После долгих странствий и многих приключений он добыл золотое руно, и помогла ему в этом деле дочь колхидского царя Медея, полюбившая Язона. Язон тоже полюбил Медею, женился на ней и увез с собой в Элладу. Такова традиционная концовка мифа об аргонавтах.

Эврипид написал свою «Медею» как своеобразное продолжение известного мифа, только концовка его трагедии отнюдь не идиллическая. Суть трагедии в том, что Медея узнает об измене Язона, о его намерении жениться на дочери коринфского царя. Любящая жена, мать двоих детей, Медея взывает к отцовским чувства

Язона, пытается образумить его. Но все тщетно… И тогда Медея решает жестоко отомстить мужу: убить собственных детей, ради будущего счастья которых Язон якобы вступает в новый брак. Кульминационным пунктом трагедии является сцена, когда Медея стоит перед спящими детьми, терзаемая сомнениями и страхом. Целая буря страстей бушует в ней. Медея одержима слепой ненавистью и готова тотчас исполнить задуманное, но вдруг в ней пробуждается материнская нежность, заставляющая ее отказаться от ужасного решения. Эврипид с замечательным психологическим мастерством передает эти метания героини между чувством мести и материнской любовью.

Вот, растроганная видом детей, их беспомощностью и доверчивостью, Медея уже было отрекается от задуманного:

Я не смогу, о нет! Ты сгибни, гнет
Ужасного решения! Я с собой
Возьму детей… Безумно покупать
Язоновы страдания своими
И по двойной цене. О никогда!
Тот план забыт…

Но тут ею снова овладевает ревность и злоба, снова в ней говорит оскорбленная гордость:

Только
Что ж я себе готовлю? А враги?
Смеяться я им волю дам… Я не найду
Решимости?
О стыд, о униженье!

И вот, уже доведенная до исступления, полубезумная, она в последний раз ласкает детей, понимая, что решение убить их неотвратимо и руку ее уже ничто не остановит:

О сладкие объятия. О нежная кожа.
О нежное дыхание моих детей!
Уходите, скорее уходите…
Силы нет
Глядеть на вас… Раздавлена я мукой…
Но что дерзаю, вижу… Только страсть
Сильней меня, и нет для рода смертных
Свирепей и ужасней палача.

Так раскрывает Эврипид душу человека, истерзанного внутренней борьбой, действующего не по воле богов, а «по приказу сердца»; человека, поступающего так, как диктуют ему личные стремления и страсти. И здесь великий древнегреческий драматург смело выходит за пределы дозволенного, за рамки общепринятых литературных традиций; его Медея – не что иное, как гениальное предвосхищение героев последующих эпох, прежде всего героев Шекспира… Однако наряду с этими элементами новаторства в «Медее» немало традиционного, сугубо «античного». Так, развязка трагедии происходит вполне по мифу: Медею спасает бог Гелиос, и она с трупами убитых детей улетает на его колеснице.

Как видим, даже самые гениальные художники древности оставались детьми своего века. Они лишь предвосхищали, лишь намечали контуры литературы будущего, лишь в отдельные моменты выходили за пределы традиций; полностью же отойти от обязательного, от общепринятых литературных канонов они не могли. Не могли по той причине, что слишком низок еще был сам уровень общественного сознания, слишком многие тайны бытия были наглухо закрыты для человека, слишком многое для него было покрыто мраком неизвестности.

Мрак этот начал рассеиваться в эпоху Возрождения. Развитие новых социальных отношений, подъем науки и культуры, открытие важнейших законов в области естествознания, астрономии, физики, математики – все это способствовало пробуждению личности, возникновению гуманистических идей. Передовые мыслители, ученые, философы начинают все больше осознавать, что «мерой всех вещей» является человек, что человеческому разуму подвластны и законы природы и законы общественного развития.

Мотивы веры в человека, в силу его разума начинают все ощутимее звучать в произведениях искусства. По замечанию профессора С.М. Петрова, в литературе эпохи Возрождения «само изображение человеческой жизни и деятельности определяется пониманием человека как существа, независимого в своей деятельности от божественных сил и связанного с миром действительности»*.

Первое слово здесь было сказано Вильямом Шекспиром. Это был величайший художник слова, первооткрыватель новых путей в развитии мирового искусства. Именно Шекспир первым «расколдовал» человека, сбросил с него оковы рабской зависимости от потусторонних сил. От воли провидения.

---

* Петров С.М. Основные вопросы теории реализма. — М., «Просвещение, 1975, с. 7.

Вспомним его «Гамлета». Хотя в этой трагедии и есть сцена с вмешательством потусторонних сил (появление тени отца Гамлета), все герои ее тем не менее живут и действуют не по подсказке свыше, а в соответствии со своими желаниями и стремлениями; их поступками движет сила куда более могущественная, чем воля провидения. Не вещий сон, не дьявольский искус толкают Клавдия на преступление, а вполне осознанное стремление захватить в свои руки власть, утвердиться на троне. В свою очередь, Гамлет решает бороться против дяди и матери не только из чувства мести, но и во имя своих идеалов, во имя того, чтобы покончить с произволом и тиранией, царящими в его родной Дании. Шекспира недаром называют одним из основоположников реализма, так как он одним из первых глубоко проник во внутренний мир человека, показал человека таким, каков он есть на самом деле. Если герои античной литературы были, как правило, одноплановыми, олицетворяли собой какое-то одно, определенное человеческое качество (доброту, красоту, коварство, жестокость), то герои Шекспира поражают своей сложностью, многогранностью. Шекспировского героя невозможно «исчерпать» одним определением, даже если перед нами явный злодей, человек, лишенный, по сути, человеческого облика. Гертруда, мать Гамлета, по сути, тоже преступница. На ней лежит тяжкий грех – кровосмешение. Ровно через месяц, не успев даже сносить башмаков, в которых шла она за гробом короля, Гертруда выходит замуж за Клавдия, за того, кто убил ее супруга. «О женщины, вам имя – вероломство!» – восклицает Гамлет, узнав об этом. Да, Гертруда действительно достойная пара Клавдию: она коварна, лицемерна, расчетлива; она тоже стремится всеми правдами и неправдами удержаться на троне. В угоду Клавдию она готова поступиться сыном, дает согласие, чтобы Гамлета отправили в Англию, где его ждет верная смерть. Но вместе с тем Гертруда вызывает и чувство сострадания, потому что она игрушка, пешка в руках Клавдия. Единожды преступив, она уже не в силах выпутаться из сетей, в которые завлек ее этот жестокий, хитрый интриган. Но, идя на поводу у Клавдия, во всем повинуясь ему, она искренне страдает, ее мучит совесть оттого, что предала мужа, а теперь вынуждена предавать и сына. Вот почему в сцене объяснения Гертруды с Гамлетом перед нами не надменная властная королева, а беспомощная отчаявшаяся женщина, которая просит у сына и пощады, и защиты, и совета. Шекспир мастерски, с помощью лишь нескольких реплик передает это состояние мучительной раздвоенности Гертруды, горько раскаивающейся в своем проступке, мечущейся между сыном и мужем.

«К о р о л е в а

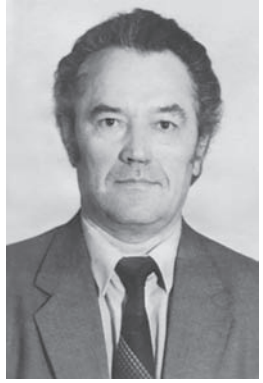
Ах, Гамлет, сердце рвется пополам.

Г а м л е т

Вот и расстаньтесь с худшей половиной,
Чтоб с лучшею потом там чище жить».

Но сделать окончательный выбор у Гертруды все же недостает решимости – и она гибнет, так и не сумев ни спасти сына, ни разорвать тех пут, которыми оплел ее Клавдий...

Именно за эту способность – рисовать человеческую натуру в самых ее различных проявлениях – и ценил так высоко Шекспира А.С. Пушкин, считая «шекспировский» метод самым плодотворным в искусстве. Пушкин был прав. Творчество Шекспира действительно было гигантским шагом на пути к правдивому, многообразному изображению действительности. Шагом, после которого открывалась прямая дорога к реализму.



«ДУША РАСКРЫТА НАРАСПАШКУ...»

(Виктор Александрович Зернов-Крещик)

Поэт и литературовед Виктор Александрович Зернов-Крещик родился 3 августа 1937 года в селе Жихово Середино-Будского района Сумской области Украинской ССР.

С 1940 года жил в Сибири. Детство свое провел в Тисульском и Тяжинском районах Кемеровской области. Подростком трудился в колхозе, юношей – рабочим в буровой партии. После службы в армии, проходившей на Камчатке, приехал в Новосибирск, с которым была связана вся его дальнейшая жизнь.

Окончил факультет механизации Новосибирского сельскохозяйственного института (ныне аграрный университет). Позже – Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Преподавал в Краснозерском училище механизации сельского хозяйства, работал инженером отдела механизации Коченевского районного управления сельского хозяйства в Новосибирской области, журналистом в районной газете, редактором сибирского отделения издательства «Наука», редактором новосибирского радио, заведовал отделом в журнале «Земля Сибирь», был ответственным секретарем журнала «Сибирские огни».

Стихи В. Зернов-Крещик начал писать еще в школе, но настоящее сближение с Музой произошло у него уже в студенческие годы. В мае 1964 года в «Сибирских огнях» состоялась первая журнальная публикация стихов В. Зернова-Крещика. Поэтические подборки выходили также в журналах «Дружба народов», «Москва», «Молодая гвардия», «Смена», «Байкал» и др. А 1965 году в Новосибирске вышла первая его книжечка (стихи в поэтической кассете «Старт»). Автор более полутора десятков поэтических и прозаических книг, издававшихся в Новосибирске и Москве. Член Союза писателей СССР. Заслуженный работник культуры Российской федерации, лауреат премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского.

Умер 13 ноября 2009 года в Новосибирске.

«Нет разговора откровенней, // Чем поэтическая речь», – писал в середине 1980-х В. Зернов-Крещик, и вся его творческая судьба была посвящена большому поэтическому разговору с читателем на самые животрепещущие и жизненно важные темы. До полной сердечной обнаженности откровенный, он продолжался более полувека и питал духовной энергией не одно поколение любителей поэзии.

А начинался тот разговор на пороге шестидесятых – «оттепельных» – годов минувшего века. Именно тогда имя В. Крещика, еще не обремененное второй половиной фамилии – Зернов, стало впервые появляться на страницах местной прессы.

Большую роль в его творческой судьбе сыграл выдающийся советский поэт Ярослав Смеляков, в семинаре которого оказался в 1966 году на Кемеровском зональном совещании молодых писателей Урала и Западной Сибири В. Крещик. Мэтр советской поэзии, по существу, дал начинающему стихотворцу путевку в большую литературную жизнь.

С первых же поэтических шагов В. Зернов-Крещик заявил себя лириком многогранным. Социальный пафос в его творчестве органично уживался с интимными переживаниями, образной яркостью, красочностью и теплым лиризмом. Некрасовское «поэт и гражданин» в полной мере определяло и суть собственного творчества Зернова-Крещика, в котором отделить одно от другого было практически невозможно. Поэт углубленного, философичного мышления, В. Зернов-Крещик стремился передать дыхание большого мира, в котором «пронизано связью сквозной все, что с жизнью меня породнило». Такая целостность и космогонизм поэтического мироощущения – одна из характерных и определяющих черт его творческого облика.

Особую роль в творческой судьбе В. Зернова-Крещика играла Сибирь. Именно нерасторжимая связь с этим краем делала его по-настоящему самобытным поэтом с голосом своим и лицом. С другой стороны, Сибирь в его понимании всегда была неотторжимой частью великой Руси.

В. Зернова-Крещика современники знали еще и как интересного критика, литературоведа, историка литературы. Его перу, в частности, принадлежит ряд эссе о выдающихся русских советских поэтах (Я. Смеляков, Е. Стюарт, А. Преловский). Подвижническими усилиями В. Зернова-Крещика было дважды переиздано (более чем через сто лет!) легендарное «Историческое обозрение Сибири» П.А. Словцова.

Многогранная литературно-общественная деятельность В. Зернова-Крещика оставила заметный след в отечественной культуре, а сам он стал заметной фигурой в литературном и культурном пространстве современной Сибири.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги В. Зернова-Крещика:

Лебяжий берег. Стихотворения. – М., 1979.
Избранные стихотворения («Библиотека сибирской поэзии») – Новосибирск, 1984.
Откровенный разговор. Книга стихотворений. – Новосибирск, 1987.
«На всех земных пирах...». Этюды о поэтах и поэзии. – Новосибирск, 1990.

О В. Зернове-Крещике:

Карпунин Г. Стихия жизни. (Творческий портрет В. Крещика). // «Сиб. огни», 1984, №1.
Горшенин А. «И пронизано связью сквозной...». // А. Горшенин. «Беседы о сибирской литературе». – Новосибирск, 1997.
Зернов-Крещик Виктор Александрович. // А. Горшенин. Литература и писатели Сибири. Энциклопедическое издание. – Новосибирск, 2012.

Виктор ЗЕРНОВ-КРЕЩИК

СТИХОТВОРЕНИЯ

У грани

Я красоту найду в природе
И в холода, и в летний зной.
Но что-то высшее проходит,
Никак не схваченное мной.

Вот, чувствуя комок в гортани,
За ветку мокрую держусь –
Мне кажется, что я у грани
Неведомого нахожусь.
Но вновь летят
С деревьев листья,
Когда тому приходит срок.
И сочетаньем
Древних истин
Бесстрашно шелестит у ног.

* * *

Завязывание плодов
Огромных требует трудов.
Нужны усилья Геркулеса,
Нужны страданья,
Может быть,
Чтоб стал подрост
Могучим лесом,
Который нелегко срубить.
В котором,
Словно озаренье,
Сквозь хрип деревьев
Слышно пенье.

* * *

Здравствуй, родина – Сибирь,
Надолго живи и здравствуй!
Обживай свое богатство,
Вольницу свою транжирь.
Вольно здравствуй, на века,
Тароватая сторонка,
У тебя и слово звонко,
Оттого что жизнь звонка.
Молодость моя – Сибирь.
Край, в котором все бескрайно,
Где пылает беспечально
Посреди снегов снегирь.
На морозце так хорош
Хохоток твоих девчонок –
Россиянок и чалдонок, –
Что его как брагу пьешь.
От снегов твоих – светлее
Светится и Мангазея,
И алтайское село.
И хранит Вагай-река
Тимофеича становья,
Славу, добытую кровью
Казаками Ермака.

* * *

Виталию Коржеву

Павино, Сады, Аэрофлот*
Эти разнородные названья
Навсегда вошли в мое сознанье
Рядом, –
Как придумал их народ.
Это ведь народ соединил
Матушку-землицу с небесами,
Чтобы моноплан поджарый плыл
В небе над сибирскими Садами.
Ну а чтобы
В суете сует,
В той земле,
Где сказки вечно жили,
Землепашец, летчик и поэт
Первородных слов не позабыли:
Павино –
Загадка и мечта,
И влюбленных светлая отрада.
Милый друг,
Прекрасные места
Нам на стороне искать не надо.
Мы, сибиряки,
Не бедняки.
Нефть кипит под нами вороная.
Распласталась от Оби-реки
В обе стороны земля родная.
Интеграл шагнул через Урал,
Грезит царство
Мыслящей цифири
На равнине,
Где сердит буран –
Белогривый автохтон Сибири.

* Полустанки под Новосибирском.

Замыканье

Но среди перекрестных смертей,
Скоростей
Небывало опасных,
Как мне выдержать здесь
Без дождей
И без этих былинок безгласных.
И у самого крайнего рва.
Где бесцветен
Дымок папиросы,
Я хочу.
Чтоб росли дерева,
Пели птицы
И грохали грозы.
Содрогаясь,
Летит надо мной,
Словно сердце большое,
Светило.
И пронизано связью сквозной
Все,
Что с жизнью меня породнило.
А усталость
Еще впереди,
Скучный день –
Позади,
Но сегодня –
Птицам петь,
И деревьям цвести,
И скрипеть
Половицам и сходням.
Я люблю на заре начинать
С пеньем птиц
Настоящее дело.
Смог движение жизни понять,
Потому
Сокровенно и смело,
Как новейшую из новостей,
Сам себе говорю,
А не веку:
Замыканье на души людей –
Не бывать без него человеку.

Замыканье.
Горят провода.
Сверхгорячей стихии круженье.
И тяжелая стынет вода
В ожидании самосожженья.

Калина

Возле магазина городского
Ладная, веселая крестьянка,
Не спросясь ни у кого, торгует
Жаром замороженным –
Калиной.
Не форсисто, но тепло одета;
Крупной вязки
Шаль на ней с кистями,
Ношеный, но крепкий полушубок,
Новые просторные пимы.
Улыбается она прохожим
Доброю, свободною улыбкой,
Приглашает подойти поближе,
В рукавицы руки не сует.
И мороз ее не обижает.
Он другим
Пощипывает щеки,
Он другим
Заглядывает в душу,
Он другим
Проходу не дает.
– Так почем, голубушка, калина? –
Останавливается прохожий.
Отвечает медленно, протяжно:
– Дорого, родимый, продаю! –
А калина
Обжигает руки,
Оставляет пламя на ладонях,
Вырывается на снег
И долго
Остывает пятнами заря.
Мужики,
Пришедшие за пивом,

Жертвуют бидоны под калину,
Потому что каждому охота
Ягодки попробовать такой.
Потому что
Выходной сегодня,
И красавица уедет скоро,
А название
Своей деревни
Никому не говорит она.
Говорит:
– Своих у нас немало,
Мужичков, любителей природы.
Говорит:
– Охотников хватает
Светлую калинушку губить.

Стихия жизни

Александру Романову

Душа раскрыта на распашку,
В ней отразились
Тьма и свет,
И желторотая ромашка,
И даль,
Которой края нет.
А мир жужжит, и колобродит
И на земле и в небесах,
И песнями себя изводит,
Хотя и слезы на глазах.
Всегда достойны восхищенья
Росток,
Идущий напролом,
Кумира ложного крушенье,
Птенца нерукотворный дом.
Не дрогнуть
Перед миром этим,
Пожалуй, вправду мудрено.
К тому же все,
Что есть на свете,
Для нас давно

Не все равно!
Как все-таки необходимо,
Чтоб,
Согревая даль и высь,
Под взглядом женщины любимой
Поэзия входила в жизнь!
А если все же
Станет жутко,
Когда,
В негаданный черед,
Неподотчетная рассудку
Стихия жизни захлестнет –
Есть смысл взглянуть на то,
Что рядом,
И стать безжалостным к себе,
И встретиться
С открытым взглядом
И с непокорностью судьбе:
Как неподдельна зелень эта,
Как трепетна и как свежа!
Не отвергай пространство лета,
Открытая душа поэта
И не бессмертная душа.

Всем, кто влюблен

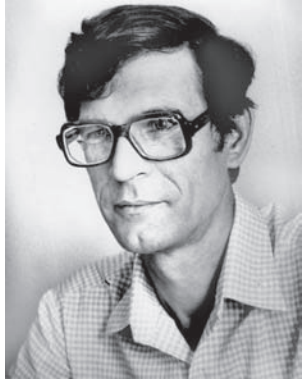
Любовь недоказуема,
Любовь ненаказуема.
Она и подлежащее,
Она и сказуемое.
Хозяюшка земли всея
(Что ей хула,
Что ей молва?!),
Она –
Дичок-поэзия:
Всегда нова, всегда права.
И если слово на душу
Само собою клонится,
И если
Дождик радужный –
Она тому виновница.

Нечаянно
Крылом взмахнет,
Случайно
Увлечет в полет.
Ее капризные цветки
Всем,
Кто влюблен,
Искать!
Не смейте, ненавистники,
Ей крылья подсекать.

Свет судьбы

Геннадию Карпунину

Ничего не надо
У судьбы пытать,
Если сердце радо
Хлопотать и ждать.
Если в самом деле
Полюбил до слез
Белые метели,
Белизну берез.
Если не исчезли
Синие стрижи,
Свет не гаснет если
В глубине души.



«КАКОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК…»

(Геннадий Федорович Карпунин)

Поэт, прозаик, переводчик, литературовед Геннадий Федорович Карпунин родился 22 марта 1939 года в селе Березовка Маслянинского района Новосибирской области, в семье тракторного механика.

Детство его прошло на станции Ояш Западно-Сибирской железной дороги. Окончил радиотехнический факультет Томского политехнического института. Работал в Новосибирске радиоинженером, инженером патентной службы, обладатель нескольких собственных авторских свидетельств на изобретения.

Участвовал в экспедициях к месту падения Тунгусского метеорита. Впечатления от них нашли свое отражение в целом ряде стихов Г. Карпунина. В том числе в очень популярной не у одного поколения романтиков песне «Синильга».

30 лет отдал Г. Карпунин журналу «Сибирские огни», где работал редактором отдела прозы, заместителем главного редактора, а с 1987 по 1998 год был его главным редактором.

В литературу Г. Карпунин входил в начале 1960-х годов как поэт. Первые стихи опубликовал в томской газете «Молодой ленинец» (1962). Первую поэтическую книгу «Благодарю за эту встречу» выпустил в 1966 году в Новосибирске. Г. Карпунин, кроме того, – автор книг «Стихотворения» (1969), «Стихотворения» (1973), «Луговая суббота…» (1975), «Жемчуг «Слова» (1983), «Избранное («Библиотека сибирской поэзии») (1988) и др., изданных в Новосибирске. Член Союза писателей СССР.

Умер 21 декабря 1998 года в Новосибирске.

В центре поэтического творчества Г. Карпунина обыденные и извечные дела и заботы, достоверная и узнаваемая «песенка о том, как мы живем на свете». Привлекает жизнелюбивое мироощущение поэта, идущее от естественной логики существующего не одним днем человека, убежденного в том, что «помирать собрался – а рожь сей». Выразителем этой логики и сквозным лирическим героем у Г. Карпунина становится русский провинциал: умелый, работящий, красивый в насущных житейских делах – «какой хороший человек!». Ст. Куняев называл поэзию Г. Карпунина «страстным созерцанием жизни», вследствие которого «стихи Карпунина есть как бы естественное, безо всяких усилий преодоление прозы жизни, ее перетекание в поэзию».

Плодотворно работал Г. Карпунин не только в поэзии, но и в других жанрах: писал литературоведческие статьи и эссе, переводил прозу и поэзию с монгольского, венгерского, польского языков и с языков народов Сибири, сочинял стихи и прозу для детей. С 1970-х годов Г. Карпунин всерьез занялся изучением «Слова о полку Игореве». Его исследования стали заметным вкладом в «словистику». Работы Г. Карпунина отличаются нетрадиционным и оригинальным взглядом на проблему, полемичностью и… поэтичностью. Им сделано стихотворное переложение «Слова», которое Ст. Куняев назвал «одним из лучших, существующих в истории нашей культуры».

Академик же С. Лихачев, находя толкование «Слова» Г. Карпуниным спорным, тем не менее, к работе его в области исследования этого памятника древнерусской литературы относился с большим вниманием и благожелательностью.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Г. Карпунина:

Жемчуг «Слова», или Возвращение Игоря». – Новосибирск, 1983.

Карпунин Г. Избранное. («Библиотека сибирской поэзии»). Стихотворения и стихотворное прочтение «Слова о полку Игореве». – Новосибирск, 1988.

О Г. Карпунине:

Коржев В. Лед и пламень. // «Сибирские огни», 1975, №1

Карпунин Геннадий Федорович. // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». РАН, Ин-т рус. лит-ры (Пушкинский дом). – С-Петербург, 1995.

Горшенин А. «Березовой веточкой машет вослед…». // А. Горшенин. Лица сибирской литературы. – Новосибирск, 2006.

Горшенин А. «Последний герой» «Сибирских огней». // «Сибирские огни», 2009, №3.

Геннадий КАРПУНИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

Синильга

Любаше Д.

Росу голубую склевала синица,
Над Южным болотом дымится рассвет.
Мы снова уходим, и снова Синильга
Березовой веточкой машет нам вслед.

Куда ж мы уходим и что же нас гонит,
Куда же влечет нас иная страна?
Мы встретимся завтра в пустынном вагоне,
И ты улыбнешься – привет, старина!

А помнишь, как вместе с тобою мы жили,
Как слали проклятья бродячей судьбе?
Мы станем иными, мы станем чужими,
Изменим друг другу и сами себе.

Ребята, ребята, мы будем бессильны
Вернуть удивительный этот рассвет,
Ведь только однажды, однажды Синильга
Березовой веточкой машет вослед.

Чернозем

Быть нынче дома – не резон.
Мир широко распахнут.
Я выхожу, а чернозем
Старательно распахан.

Действительно: к черте черта.
И все вокруг – новинка.
Земля вращается, черна,
Как будто грампластинка.

Тумана медленная мгла
Рассеялась немножко.
Я на дороге. Как игла
На звуковой дорожке!

И потому-то вот сейчас
Начнется изначала
Та песенка, что много раз
В душе моей звучала.

Бесхитростная, напрямки,
Про напряженье суток
И про ночные огоньки
Мужицких самокруток.

Насквозь о хлебе золотом,
О предстоящем лете,
Короче, песенка о том,
Как мы живем на свете.

* * *

Утро надвинулось летнего дня,
И замерцали колосья,
И, загудев, полетела бадья
В темную вечность колодца.

Звякнули стекла. Что мочи петух
Заголосил где-то рядом.
Солнце возникло. Явился пастух.
Пар заклубился над стадом.

Звон колокольцев. Мычанье коров.
Люди. Колодец. Телега.
Мир поднимается, бодр и здоров,
Крепок и весел с ночлега.

Он пробудился и жить нам велит.
Свищет, бренчит и стрекочет,
Лиственен, хвоен, просторен, велик,
Дымчат, бревенчат, стекольчат.

Встань на рассвете, окно раствори,
Пеньем заслушайся птичьим.
Что они стоят, все беды твои,
Перед вот этим величьем!

* * *

Какой хороший человек,
Какой веселый и упорный!
Лопату взял, откинул снег
И от ворот и от уборной.

Потом топориком тюк-тюк,
Натюкал про запас дровишек.
Отремонтировал утюг,
Остриг вихры у ребятишек.

Он на столбе полдня провел,
На чердаке возился, горбясь,
Но электричество провел
И в сени, и в пригон, и в голбец.

Потом, кумекая, под свист,
Часы ножом солдатским ладил
И клал колесики на лист
Из ученической тетради.

У нас не шмыгали носы,
Примолкла старая избушка,
Когда затикали часы
И стала куковать кукушка.

А он стоял, глядел на снег
И в форточку курил в прихожей…
Какой хороший человек
Приехал к нам! Какой хороший!

* * *

Все будет – пепел и зола.
Конец, пожалуй, недалече…
Какая глыбина легла
На человеческие плечи!

Быть может, завтра полетишь
К чертям
Со всеми потрохами.
А люди заняты, глядишь,
И музыкою, и стихами.

Моложе дамы быть хотят,
Скрывая тщательно морщины,
И долго утром тарахтят
Электробритвами мужчины.

Они пекутся о дровах,
Растят хлеба.
Мостят дороги.
Ни в их делах, ни в их словах
Не ощущается тревоги.

Вместо того, чтоб лечь пластом,
Вместо того чтоб ахать, охать,
Они заботятся о том,
Как подобротней дом отгрохать.

А для чего, зачем? –
Бог весть.
Но так всегда:
Сегодня, завтра.
Пожалуй, в этом-то и есть
Она,
Единственная правда.

Народ в любые времена –
И весельчак, и работяга.
В его душе заключена
Такая жизненная тяга!

И этой тягой жизнь жива.
Жива.
И будет жить веками.
Вот так же
Тянется трава,
Гладишь –
И трескается камень.

Погрузка картофеля

Картофель убран.
В поле – ветер.
И там и здесь видны кули.
Кули – что надо:
В каждом – ведер
По шесть, по семь.
Осилить ли?

Тяжеловато в одиночку.
А ну подсобь!..
Здоров же, черт!
Качнем его.
И – раз! –
И точка.
Закрывайте борт!

Потом
Поламывает спину.
Горят и руки и лицо.
Заходим за автомашину
И мочимся под колесо.

* * *

Заповедные области лета –
Ночи августа. Время стиха.
На задворках галактики где-то
Лай собаки да крик петуха.

Ночи августа. Запахи дыма
От ночующих в поле костров.
Тяготенье, сближенье, взаимо-
Проникание разных миров.

Ночи, ночи… Глаза лишь закрою –
Где я? что я? в каком я краю?
Шаг шагну – и оденусь листвою,
Шаг шагну – соловьем запою.

* * *

Закололи зимой кабана.
Осмолили и скоро и ладно.
Вот и в избу уже внесена
И остыла паяльная лампа.

Вечереет.
Покой на земле.
С луком жарится кровь в сковородке.
Мужики за столом, на столе –
Поллитровка морозная водки.

Пьют,
Едят,
Говорят мужики
О погоде, о жизни, о смерти.
В сенках, в ванне, дымятся кишки,
Сизым паром исходит осердье.

«Был кабан»…
«Сало ажно в ладонь».
«Да», – кивает сосед-собутыльник.
«Ну, меньшой-то,
Он просит гармонь,
А старшому нужон холодильник».

Между тем все синей синева.
Между тем опустела поллитра.
И кабанья, в углу, голова
Заговорщицки смотрит и хитро.

Научно-популярное

Ходим, дышим,
Глаз таращим
На воду, на облака.
Хорошо нам,
Состоящим
Из молекул ДНК.

В небе – птица,
В речке – рыба.
Травка во поле растет.
Всюду – цепь
Дезоксирибонуклеиновых кислот.

Все мы братья –
В небе, в поле,
На глубоком дне морском.
Все различье,
Как я понял,
Лишь в наборе хромосом.

* * *

Ночные запахи и шорохи,
Мир необъятной синевы.
Вы засыпаете на ворохе
Роскошной луговой травы.

Неподалеку, рядом, около,
Во тьме зеленых площадей,
Порой побрякивают ботала
На шеях теплых лошадей.

Здесь травы – высоки, некошены,
И лошади, по грудь зайдя,
Жуют, стряхая с них горошины
Росы иль, может быть, дождя.

Поодиночке или группами
Они пасутся там и тут,
Над их лоснящимися крупами
Планеты хладные идут.

Вам хорошо, легко, не боязно.
Ночь дышит, травы шевеля,
И от промчавшегося поезда
Чуть сотрясается земля.

* * *

Старт космического корабля.
Струй огня напряженное пенье.
Наконец мы, о, матерь-земля,
Одолели твое тяготенье!

Ты взрастила могучих детей,
Но, взрастив, разве в том виновата,
Что для бешеных их скоростей
Стала нынче чуть-чуть маловата?

Уж не цепи заснеженных гор,
Не равнины морские нам снятся –
Нужен несколько больший простор,
Чтоб душе молодой разгуляться.

Мчи, стальная ракета меня
По межзвездной космической глади!
Пусть, как пыль, от полета коня,
Млечный путь расстилается сзади.

Но – что странно: чем дальше вперед
Уношусь в серебристой ракете,
Тем сильнее обратно влечет
К голубой и зеленой планете.

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

(Александр Иванович Плитченко)

Поэт, прозаик, драматург, публицист, критик, переводчик Александр Иванович Плитченко родился 9 апреля 1943 года в селе Чумаково Новосибирской области, в крестьянской семье.

Учился в Новосибирском педагогическом институте. Служил на Тихоокеанском флоте. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Работал редактором Западно-Сибирского книжного издательства, заведующим отделом прозы и ответственным секретарем журнала «Сибирские огни», главным редактором Новосибирского книжного издательства и Сибирского отделения издательства «Детская литература». Избирался руководителем Новосибирской писательской организации и секретарем правления Союза писателей России. Один из основателей журнала «Горница». Автор еще ряда успешных издательских проектов.

Дебютировав в начале 1960-х годов подборкой стихотворений в еженедельнике «Литературная Росссия», он публиковался в журналах «Москва», «Сибирские огни» и многих других литературных изданиях. Первая книжка «Про Сашку» вышла в Новосибирске в 1966 году. Автор более двадцати книг поэзии и прозы, выходивших в Новосибирске, Владивостоке, Горно-Алтайске, Москве. Член Союза писателей СССР.

Умер 8 ноября 1997 года в Новосибирске.

А. Плитченко был универсальным литератором, работавшим практически во всех жанрах. Писал стихи и поэмы, повести и пьесы, критические статьи и рецензии, эссе и публицистические материалы. Активно

переводил с языков народов Сибири (особо следует отметить перевод алтайского героического эпоса «Маадай-Кара»). Сам себя он полушутя называл «многостаночником». И все же главным и любимым его «станком» оставалась поэзия. С нее началась его жизнь в литературе, с ней не расставался он до последних дней своих.

Он и родился поэтом. В 14 лет опубликовал первые стихи в районной газете. В двадцать дебютировал в еженедельнике «Литературная Россия» с добрым напутствием известного советского поэта Егора Исаева.

Поэзия А. Плитченко красочна, образна, прозрачно чиста. И главным предметом его лирики становится «родительский дом» (так поэт назвал одну из своих ранних книг), «родительская земля», о дорогих и близких людях которой он писал всегда с сердечной теплотой, любовью и проникновенной лиричностью.

Мотив благодарной сыновней любви к «родительской земле», где «каждая рощица – мать, каждое поле – отец», настойчиво звучит в его поэзии. В этой суровой, но духовно благодатной среде «прорастал» и он сам в лихую военную годину. Здесь получал первые трудовые и житейские уроки, отсюда брало начало его жизненное русло.

С годами все дальше уводило оно поэта от истоков, но раз за разом он упорно возвращался к ним памятью. Оставшийся в прошлом реальный «родительский дом», обретает в стихах поэта со временем новую субстанцию: уже не материальную, а духовную, эстетическую и философскую. Из «деревянного, утлого, маленького» он «вырастает до неба и миром становится дом». И этот «дом-мир» заставляет поэта уже «все пространство милой родины домом чувствовать своим».

Символический образ «дома-мира» рождает у А. Плитченко и другую, не менее глобальную метафорическую ассоциацию, в которой великая сибирская река Обь предстает в виде этакого фольклорно-фантастичекого (в духе национальных героических эпосов) родового дерева Сибири. Сопряжение малого и большого, локального и глобального, личного и общечеловеческого, что, собственно, и придает лирике философское звучание, становится важной чертой поэтического почерка А. Плитченко.

С особой отчетливостью философичность и глубина его лирики проявлялась в стихотворениях о природе. В них поэту удавалось не только передать ее краски, но и живую душу, заставить читателя острее почувствовать ту боль, которую часто бездумно причиняет природе человек. Природа для А. Плитченко и есть тот прочный фундамент, на котором держится его «дом-мир». И в мире этом, уверен поэт, все взаимосвязано и должно находиться в равноправных отношениях («у всех сознания сосуд из одного ковша наполнен»). Но А. Плитченко шел еще дальше – настойчиво и последовательно проводил в своем творчестве концеп-

цию единой бессмертной души природы. Но, предупреждал он, одного умозрительного рассудочного понимания тут недостаточно; мир природы надо прочувствовать душой и сердцем. «Ты от цветка до солнца всем этим миром будь…», – писал А. Плитченко в одном из стихотворений, и в определенной степени это звучало как пожелание самому себе. Пожелание, которому он старательно следовал.

В творчестве своем Плитченко стремился говорить только языком добра и любви. Когда-то мечталось ему «сирое – просторнее засеять будущим добром». И не вина поэта, что в последние годы его жизни «в укрепившиеся корни вломилось время с топором». Топор времени (так называемых демократических реформ и перемен), жестоко и безжалостно подрубивший многие устои нашего бытия, задел и поэзию Плитченко. Она закровоточила. И все-таки кровавый закат «распада» не застил поэту глаза. Как бы ни было тяжело, оставался у него «впереди – серебряный, счастливый свет». Это – свет родных берез, свет природы, который когда-то «согрел наши души и спас» и который, надеялся, поэт, спасет и сейчас.

Была у А. Плитченко еще одна, может быть, последняя надежда – Бог. Вряд ли, однако, испытывал он к нему чисто религиозное отношение. Бог являлся для поэта скорее некой высшей субстанцией, венцом природы и, конечно же, духовным маяком, помогавшим выжить, не сгинуть в содомной пучине современного бытия, сохранить в себе человека. Бог освещал негасимым светом созданный поэтом «родительский дом». В Боге видел он «небесный корень», соединяющий человека с Матерью-Вселенной. Но был у поэта Плитченко и другой Бог, которому он всю жизнь истово поклонялся и который оставался с ним до последнего вздоха – Слово. Только оно, «нетленное светлое Слово», «Слово Божественных Уст», в конечном счете, убежден был поэт, и способно противостоять «делу распада».

Служа Слову, отдавая ему весь свой талант и творческие силы, А. Плитченко меньше всего думал о славе, известности, хотя ее ему и при жизни хватало. Как писал он в одном из стихотворений, определяя истинную цель своих творческих устремлений:

И тут не о славе забота
Для славы о бренном пиши –
Надежда – стихи эти кто-то
Прочтет во спасенье души…

Прочтут. И еще не раз будут перечитывать лучшие творения А. Плитченко, испытывая на себе очищающее влияние его поэтического слова.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги А. Плитченко:

Родительский дом. Стихи. – Новосибирск, 1985.
Письмовник, или Страсть к каллиграфии. Повесть-эссе. – Новосибирск, 1988.
Волчья грива. Стихи и поэмы. – Новосибирск, 1990.
Матушка рожь. Стихотворения. – Новосибирск, 1997.
Избранное. – Новосибирск, 2000.

Об А. Плитченко:

Коржев В. Родное время. // В. Коржев. Под высоким накалом эпохи. – Новосибирск, 1984.
Денисенко А. Золотое сердце поэта. // Александр Плитченко. Избранное. – Новосибирск, 2000.
Горшенин А. Многостаночник. // «Сибирские огни», 2013, №3.

Александр ПЛИТЧЕНКО

СТИХОТВОРЕНИЯ

Родительский дом

Дом, в котором мы рождаемся, –
деревянный, утлый, маленький, –
Разрушается со временем, как осеннее гнездо.
Оперились птицы, выросли, навсегда
гнездо оставили,
В непогоде нескончаемой стаей встали
на крыло.
Дом их ныне – синь небесная, весь простор –
доколе дышится –
Всех лесов любое дерево, всех полей
любая пядь…
Покидаем дом родительский – деревянный,
утлый, маленький,
Расправляя крылья помыслов, мы должны
достичь того,
Чтобы телом, духом, разумом –
принимать движенье времени,
Все пространство милой родины –
домом чувствовать своим.

* * *

Из множества смертей воскрес…

Пабло Неруда

Мы рождены на свет во дни войны
В стоящей насмерть огненной России –
Усталых женщин слабые сыны,
Мужчин увечных дочери больные.

Спасла и сохранила нас страна,
В свою победу веря без сомненья
И родичей погибших имена
За нами оставляя от рожденья.

Чтоб в эти злые, тягостные дни
Не только горькой памятью и болью
Погибшие остались, но они
В нас ожили, хотя бы малой долью.

Как ненавидеть надо, как любить,
Чтоб не поколебать, не оскорбить
Святую веру и святую память!

Забыть ли нам, как вы, фронтовики,
Обрубленные страшною войною,
Нас называли «доченьки», «сынки»,
И мы остались навсегда роднею.

И нет в душе отчетливей следа
Того, что в детстве врезалось когда-то, –
Медалей звон,
Небритая слеза,
Гармоника безногого солдата…

И ты, о, человеческая мать, –
Средь подвигов бессмертных и бесценных
Вовек не меркнуть и не угасать
Тебе и материнству лет военных!

И коль труба тревогу запоет,
Тревожной птицей алый стяг зареет.
Я верю – поколение мое
Из памяти оружие скует
И стать достойным родичей сумеет!

* * *

Я думаю – живы покуда
Деревья, трава, облака –
Не станет обыденным чудо
Крестьянской поры языка.

Пускай повзрослели порядком
Крестьяне, что сказки плели,
Но сказкам, побаскам, загадкам
Уже не исчезнуть с земли.

Сказителей – нет и в помине,
А с миром теперь на века
Славянские плачи полыни
И белых былин облака.

* * *

Ой, как резали быка…
А пока не резали,
Два ножа,
Два мужика
Грелись в доме трезвые.
Ой, как резали быка…
А пока грелись,
Как ревел он в облака
И бодал
Рельс.
Ой, как резали быка…
А пока
На случай.
Два ножа,
Два мужика
Думали – как лучше?
Ой, как резали быка…
А пока думали,
Были полными бока
И рога –
Дугами.
Как зарезали быка –
Снег теплее мака.
С полотенцем в руках
Заплакала мама.

Над ночным покосом

Ну зачем ты уснувшим покосом
В полуночной родимой глуши
К этим звездам выходишь с вопросом
О путях заповедной души?

Не терзайся.
Живи без ответа,
Ибо душу питающий пыл –
Не бессмысленней вечного света
Бесконечного сонма светил.

Дума о русле

Когда шумит желтеющая нива,
Когда на землю падают снега,
Все думаю: величие разлива
Найдет ли вновь родные берега?

Они волною чистой не забыты,
Но вдруг иною – мутною и злой –
Окажутся размыты и зарыты
Наносною и чуждою землей?

Далёко отошедшая от русла –
река в него вернется ли опять?
Или в лесах осиротелых грустно
Кукушке серой речку отпевать?

Река моя, лишенная полета,
От русла вековечного вдали
Ужель заглохнет в суете болота,
Лишенная родительской земли?

Пойдемте, братья, сердцем
прокорябать
Ее пути– со славою прожить.
И русла часть, которую хотя бы,
Могилами своими проложить!..

Осенняя душа

Прекрасный мир непостоянства,
Почуя вечности озноб,
Упал в недвижный сон пространства
В траве теряющихся троп.

То – увяданием расцвечен –
Усталый шум осенних крон
Упал, – мгновенно-бесконечен,
Для новых дум преображен.

И почва
Эти думы снова
Вольет в молчание дерев,
Иного лиственного слова
Наполнит силою напев.

Душа!
Сквозь яростные годы
Какие выстрадать пути,
Чтоб в лоно мысленной природы
Преобразовавшись, перейти?

Ветви-корни

И ветви – тоже корни. Только в небо
Они врастают, листьями вбирая
Свет – Матери-Вселенной молоко.

Меж хаосом и почвой – есть деревья,
Что кронами укоренясь в эфире,
Удерживают от паденья мир.

И встречные потоки доброй силы
И от земных корней, и от небесных –
Сливаются в небесные стволы.

Могучие лучи стволов древесных –
Природа света. Вечный свет природы,
Что – твой небесный корень, человек?

Миша

Мишина доля хренова,
Мишина доля горька –
Выпьет стакан разливного,
Ляжет в бурьян у ларька.

Нюхают Мишу собаки,
Бродят по Мише жуки…
Рядом то ругань, то драки,
Пьют, говорят мужики.

Миша в бурьяне тоскует,
Думает думу опять,
Горькую думу, какую –
Где мне, счастливому, знать?

Взгляд его, как на иконах
Старых – поник и потух.
Миша и плотник, и конюх,
Миша печник и пастух.

Миша Равеля не знает,
Мига Рембо не читал,
Миша в траве засыпает,
Миша от жизни устал.

Все ее беды и бури
Выпали Мише сполна…
Дети, тянитесь к культуре,
Пейте поменьше вина!

* * *

…и не знаю, что сталось со мной –
Я тоскую по дальнему дому,
Чуть закрою глаза – вижу снег под луной,
Санный след по безмолвью степному.

И лошадка трусит, и полозья скрипят,
И глядишь из тулупа на звезды,

Спит, уходит село, дали мерные спят,
В лунном свете колеблется воздух.

Из тулупа на зимнее небо гляжу,
На безмолвную степь под луною,
И от мягкого сена, в котором лежу,
Вдруг потянет живою травою.

Я не помню – откуда дорога была
Только радостно помню – дорога
Приближала меня до родного села,
До родного плетня и порога.

И не надо следить или править и гнать –
Меж оглоблями ходко и шатко,
Равномерно бежит, не устанет бежать,
Путь единственный зная, лошадка.

И скользит над просторною степью луна,
И следы, что плывут от полозьев,
Наполняет сиянием ровным она,
Как ручьи – серебром заморозив.

То лошадка всхрапнет, повернув головой,
То призвякнет кольцо под дугою,
То пахнет от нее разогретой, живой
Силой, кожею, потом, травою…
Вынет душу до дна полевая луна,
Встанет дальняя молодость наша!
Серебристой росою с краями полна,
Чуть качается звездная чаша.

Я не знаю, не знаю, что выпадет мне –
Скоро ль песня расстанется с телом,
Только свет золотой, свет в родимом окне
Встанет в сердце и там, за пределом.

Я не знаю, не знаю, что сталось со мной,
Я тоскую по миру, по дому,
Кто во мне разбудил этот снег под луной,
Этот путь по раздолью родному?..

Белые свечи

За унынием – радостной думой,
За стеною – как свет и сквозняк,
Это – кончился ельник угрюмый,
И пошел, и пошел березняк.

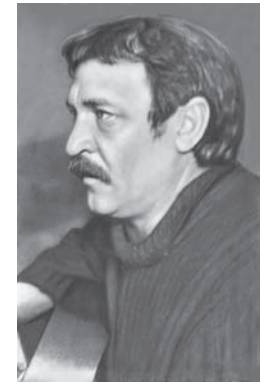
Видишь – небо становится выше,
Слышишь – птица-синица поет,
Чуешь – почва родимая дышит,
Понимаешь – тебя признает.

Я люблю, где светлее и проще,
Столько тяжкого нынче в груди!
Не кончайся хоть ты, моя роща,
До просторного дня доведи…

Неужели все силы природы
Не восстанут надеждой вовек,
И покатятся черные годы,
И забудет себя человек?..

Но не канул, остался покуда,
Отторгающий мысленный бред.
Точно светлое божие чудо –
Этот ровный березовый свет,

И душе измытаренной легче
С добрым светом родимой земли…
Оглянись –
Это белые свечи,
Это белые свечи вдали…



ЗОРКИЙ ВЗГЛЯД НА РОССИЙСКУЮ ГЛУБИНКУ

(Николай Александрович Шипилов)

Прозаик, поэт, бард Николай Александрович Шипилов родился 1 декабря 1946 года в Южно-Сахалинске, в семье офицера.

С 1956 года Н. Шипилов жил в Новосибирске. Учился в Новосибирском авиационном техникуме, педагогическом институте. Работал грузчиком, плотником-бетонщиком, штукатуром, рабочим в леспромхозе, слесарем, электромонтером, монтером связи, артистом хора в театре оперетты. Был корреспондентом окружной газеты «Советский воин», областного радио, помощником режиссера на студии телевидения. С начала 1980-х Н. Шипилов жил в Москве, Новгороде. Последние годы – в Белоруссии, под Минском. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Работал заведующим отделом поэзии в журнале «Литературная учеба», заведующим отделом прозы в еженедельнике «Литературная Россия». Член Союза писателей СССР и Белоруссии. Избирался секретарем и членом правления Союза писателей России.

Литературную деятельность Н. Шипилов начинал с поэзии. В1965 году в газете «Молодость Сибири» были напечатаны первые его стихи. Публиковался в журналах «Литературная учеба», «Сибирские огни» и др. Как прозаик Н. Шипилов дебютировал в 1983 году, когда журнал «Литературная учеба» опубликовал цикл его рассказов, вызвавший большой интерес читателей и критиков. А в 1986 году в Москве вышла первая книга Н. Шипилова «Ночное зрение». Он – автор еще целого ряда книг, выходив-

ших в Москве. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, Малой российской литературной премии (1997), премий им. В.М. Шукшина (1991), А.С. Пушкина, «Традиция» (1995). Лауреат всероссийских конкурсов «Песня года» (1998 и 2000).

Умер 7 сентября 2006 года в Смоленске.

Н. Шипилов – писатель многогранный. Но в первую очередь – это талантливый прозаик, автор рассказов, повестей, романов о жизни провинциальной России. По словам Вяч. Шугаева, «открывшего» Н. Шипилова на Всесибирском семинаре молодых литераторов в 1982 году, «герои Шипилова приходят в жизнь, кажется, лишь для того, чтобы, испив, так сказать, чашу страданий, перенеся множество опустошающих душу испытаний, доказать: несмотря ни на что, в сердце осталась доброта, и, значит, жив человек, не пропал, не сник под осушающими ветрами». Н. Шипилов тяготеет к сказовой манере повествования, а его проза, притчевая и философская в своей основе, во многом перекликается с прозой В. Шукшина.

Популярен Н. Шипилов был и как автор-исполнитель песен и лирических баллад. Песни на его тексты («После бала» и др.) охотно брали в свой репертуар и известные эстрадные певцы.

Пробовал себя Н. Шипилов также в литературном переводе. Перевел, в частности, большой исторический роман якутского писателя Николая Лугинова «По велению Чингисхана».

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Книги Н. Шипилова:

Ночное зрение. Рассказы. – М., 1986.
Шарабан. Повесть, рассказы. – М., 1987.
Псаломщик. Роман. Рассказы. // «Роман-газета», 2006, №23.

О Н. Шипилове:

Наседкин Н. Открытие Николая Шипилова. // «Молодые о молодых». Литературно-критический сборник. – М., 1988.
Славецкий В. Поэма, написанная без бумаги. // В. Славецкий. Русская поэзия 80-х – 90-х годов XX века. – М., 1998.

Николай ШИПИЛОВ

РАССКАЗЫ

Ночное зрение

Наше детство было послевоенное.

В тупике улицы Аренской, на ромашковой поляне, лежал убитый грач.

Белоголовый мальчик в оранжевой рубашке и новеньких сатиновых шароварах легонько наступил грачу на грудь лакированным башмачком, и мертвая птица приоткрыла клюв:

– Кра-а-а…

Мальчика звали на улице Санькой Облезлым. Его бледное лицо и руки были покрыты лишаями. Лишай он подцепил, купаясь в пруду вместе с коровами, козами, собаками. Купаться можно было и в котловане, но вода в нем все лето холодная, а Санька боялся судорог. В болотце же вода шелковистая, бордовая, у берега лягушачья икра и кувшинки, а выйдешь на берег – ступай на коврик травы, вытканный желтым курослепом. Никто из нас не умел лучше Саньки строить шалаши, ловить ужей и сажать их в пустые бутылки. Только он мог вырезать из березового корневища пастушескую колотушку. А лакированные туфельки купила Саньке любящая мать на деньги, заработанные им летом прошлого года. Он пас частное стадо: чуть больше десятка коз с козлятами, козла Агу и двух коров, одна из которых комолая. В то лето, о котором я рассказываю, Саньку не пустили пастушить: однажды в сильную жару у него пошла кровь носом, закружилась голова и помутилось сознание. Очнувшись, Санька увидел рядом морду пса Кири, доедавшего обед из пастушеской сумки, а сил, чтобы отогнать собаку, не было.

Санькина мать, гордая Галина, сильно плакала, провожая Саньку в больницу: недавно она схоронила мужа, который привез их сюда с одного из тихоокеанских островов, а сам умер от ранений.

Товарища нашего положили в городскую Железнодорожную больницу и определили «плохую кровь». Об этом быстро узналось, и, когда Санька вернулся, мы со страхом и неприязнью вглядывались в синие прожилки под его тонкой кожей. Их было видно, как на учебной схеме.

В то же лето Санька исхудал, вытянулась его шея. Он отказывался пить молоко, и у него появилась страсть к накапливанию денег. Он собирал и сдавал бутылки, тряпки, кости, металлолом, пижму, майских жуков и божьих коровок. При этом всегда был опрятен: в чистой рубашке, шаровары на резинках и лакированные туфельки. Денег он никому не одалживал даже в дни триумфального показа кинофильма «Тарзан».

Часто утром и вечером, когда солнце гладит, а не бьет, он лежал на крыльце своего сарая, и незабудковые глаза его смотрели в сторону карьерных отвалов, похожих на лунные цирки. На их склонах цвел клубничник, а между склонами уходила к лесистому горизонту дорога. Раз в месяц по ней проезжал Ахмет-цветмет, молчаливый татарин. Прибывал он на мешком прихлопнутой кобылке-лилипутке, запряженной в телегу с сундуком. Этот грубо сколоченный ящик вмещал множество радостей для детей рабочего пригорода. Тут были фурнитура, шары-пищалки, рыболовные крючки и бумажные пистолеты, анилиновый краситель, погремушки и что-то еще, нынче забытое мною.

Ахмет-цветмет ставил кобылу на нашу ромашковую поляну и вешал ей торбу с овсом. Воробьи садились на морду кобылы, и Ахмет отпугивал их русскими проклятьями и кантарем, который держал скрюченной левой рукой. Лицо, черное и худое, вечно серебрилось щетиной на подбородке. В глаза Ахмет никогда никому не смотрел, хотя всех знал и приветствовал.

В ту неделю Санька ждал Ахмета особенно.

Весь двор знал, что в Санькином сарае под висячим замком лежит целая груда развороченных былыми взрывами медных гильз. Он добывал их в неведомых местах, далеко за поселком. Чтобы привезти эту медь, он несколько дней мастерил тачку. Сколотил кузовок в стройцехе, приделал к нему ручки, достал колесо от маховичка, аппетитно смазал солидолом ось – готово. Многие родители говорили своим:

– Ишь, Санька-то Облезлый, – мужик! А ты? У-у, обормот!..

И наше товарищество дружно объединилось против Саньки. Однажды «кто-то» вытоптал и перерыл его огород в поисках легендарной банки, где хранились деньги. Он сам говорил, что хранит деньги в банке. В другой раз «кто-то» вспугнул с корзины наседку и частично побил запаренные яйца. Потом мы решили выследить места, где Санька приискует. Однако пока мы утром куксились и одевались, Санька уже возвращался домой, умытый и гладко причесанный. Он шагал по Аренской, катя перед собой груженую тачку. Груз был прикрыт влажной мешковиной. Подавленная любопытством, наша команда распадалась, мы тянулись к его сарайке глядеть на свежую горку цветного металла. Это он разрешал.

В кругу его завистников командиром был я, сын каменолома, к десяти годам прочитавший все имевшиеся дома подшивки «Огонька» и «Угрюм-реку» в роман-газете, чем напрочь поразил соседей по бараку. Меня обожали соседские девчонки-двойняшки, чьи имена я забыл. Здоровья моего хватило бы на трех Санек, вместе взятых: камни метал выше всех, чудесно стоял в воротах, по-собачьи переплывал пруд у бани туда-обратно и потихоньку привыкал к местной славе. Теперь думаю, что спасением своим обязан отцу. Он, замечая нравственные перегибы, нещадно лупил меня моченой веревкой, а то и презирал, что было всего больней. Посмотрит в окно и скажет:

– Смотри-ка, мать: опять Облезлый что-то стругает… А наш богора-а-ад – тьфу!

Что такое богорад? Вряд ли это слово имело смысл для кого-то, кроме отца: он был из кержаков и не матерился, а мог сказать обычное слово с каким-то очень обидным значением. Обида моя была направлена против Саньки, я решил мстить, не понимая, чем же этот Облезлый лучше меня.

Однажды с вечера моя команда заготовила провизии и махорки, а поутру мы последовали за Санькой, держась далеко позади, но не выпуская его из вида. Но иногда мы только слышали, как в утренней тишине скрипуче поет колесо его тачки..

Облезлый шел по-рабочему, тяжело сутулясь над рукоятками, а иногда принимался бежать. Разгонится и даст кругаля по дороге.. Наклонит корпус внутрь круга, расставит руки, согнутые в локтях, над тачкой и кружит, как кобчик над птичьим двором. За поселком нас скрыло розовое поле гречихи, вскоре одежда пропиталась росой и хлюпала, жирная черная земля грязью сочилась сквозь пальцы босых ног. Всех колотила дрожь. Пришлось выждать, пока Санька спустится в низину, куда уходила дорога, и только тогда выскочить на глянцевое тепло проселка.

Я обернулся – красный флажок сигнальной мачты еле виднелся за отвалами. Мы ушли далеко от дома. Двойняшки наломали чернобыла и березовых веток, разостлали их прямо на дороге, и все мы, посиневшие от росного холода, улеглись и тесно прижались друг к другу. Солнце еще и наполовину не выкатись над нашим краем. Мой заместитель Юра крутил козью ножку, и руки его дрожали, а табак сыпался на землю, но уже начинали гудеть столбы вдоль дороги, и невидимая в кустарнике пташка спросила: «Петя-Петя-Федю-видел?» Юра сонно читал газетные сообщения,

держа козью ножку у самых глаз. У него выходило что-то такое: «…роизвели испытания яд… из маневров сторонников холл…» – «Холеры!» – комментировал он. Двойняшки дружно повизгивали от восторга. Тогда я решительно вмешался в эти развлечения: послал Юру выследить и доложить. Раздувая ноздри и преданно пожирая меня глазами, он выгнул грудь колесом, приложил руку к козырьку рваной шестиклинки. Потом щелкнул босыми пятками так, как показывали в кино, и пустился в путь. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути я нашел его мирно спящим на том самом месте, откуда он только что ушел.

А пока девчонки рвали голубой цикорий вдоль дороги, я сам с собой играл в «солдатики». Чуть позже мы расправились с больше частью съестного, и солнце уже пекло вовсю, а Юра не возвращался. Девчонки захныкали, что простудились, что попадет от мамки, и побрели, как две монашки, к дому.

Дальше я пошел один.

Миновал околок. По следу тачки вошел в другой, с заболоченными низинками. С каждым шагом я все отчетливей понимал, что боюсь. Просто обмираю от страха. Родители, боясь, что мы заблудимся в лесу, пугали нас рассказами о пожаре в городском зверинце, откуда разбежались по окрестным лесам кровожадные звери. Стращали нас и вампирами – только б не ходили в лес. Я тут же сделал вывод, что Облезлый вампиров не боится: кому нужна его плохая белая кровь? И решил вернуться домой со сладким ощущением, что только я один знаю о собственной трусости. Я раскис и начал паниковать: я блуждал в буреломе осинника, ухнул в заросший папоротником овраг, где могли водиться змеи; мне хотелось кричать, звать маму, болеть и умирать на ее руках. Я бы кричал, но что-то похожее на гордость мешало подать голос. Ноги несли напролом через чавканье болотной низины, треск сушняка и мягкие обвалы зеленомшистых кочек. В горячке страха я выскочил все же на тропинку с влажным следом тачки и увидел впереди прогалину. Кроме своего дыхания, я услышал будто бы плеск воды. Потом первый человеческий голос:

– Бу-бу-бу, – бубнил он бубном.

Ему вторило:

– Тень-тень.

Пройдя еще немного, я раздвинул кусты калины и увидел лощину, внизу которой блистало небольшое круглое озерцо. На берегу сидел Облезлый. Он пошевеливал палочкой тлеющее кострище, и я уже чувствовал запах гари. Облезлый смотрел на воду неподвижно, окаменело. Лакированные туфельки висели на ветках

ивняка. И только страх стал отпускать меня, как из воды с ревом пружинисто вынырнул голый бородатый мужик.

Он выскочил на берег, подняв руки высоко над головой, и я увидел, что за ним волочится длинный хвост! Тут же за моей спиной послышалось шумное дыхание и треск. Какая-то сила подбросила меня и, закрыв голову руками, я понесся к озерцу.

Помню только, как колотил лохматого мужика кулаками, ногами, а он скалился, отворачивал лицо и, поддерживая кальсоны руками, говорил:

– Эшшь, ты… Эщщь, ты какой отчаюга…. Не бей Проню… Проня хороший… Ну-ну-ну… Эшшь, ты, перхоть ты земная… Не бей Проню… За что?

Я бился в его руках, плакал, когда понял, что хвост это не хвост вовсе, а пастуший кнут, которым были подпоясаны кальсоны мужика. Он же укутал меня пиджаком, мятым и продымленным, подложил под голову свои сапоги и пристроил у костра.

– Шает, шает… Еле пилигат, – сердился он на костер, – а парнишонку колотит. Эх, ребята-ребятешь, с вамии точно пропадешь! Давай-ка, Шура, сходим за дровишками, – и пошел наверх, напевая что-то про шурочку и тужурочку. Облезлый, отпугнув корову, что приплелась за мной из лесу, достал из кармана коричневый жмых и протянул мне:

– Хочешь?

Я взял, все еще громко шмыгая носом.

– А ты всамделе смелый, – завистливо сказал Санька. – Как на Проню-то кинулся! Ровно Чапаев! – Он светлоглазо потупился, потом пошел за Проней вслед, но обернулся и посмотрел на меня тревожно и испытующе.

Подошла корова и шумно обнюхала рваные гильзы, добытые Проней со дна озерца. Все смешалось в моем едва не помутнившемся сознании: это длинное утро, скрип тачки, двойняшки, исчезнувший разведчик и розовое гречишное поле, леший Проня и кнут хвостом.

Спал я, видно, недолго и крепко, а пробуждаясь, услышал неторопливую речь Прони:

– …Почему не одним и другим поровну? А? А то ведь одним – все, а другим что? Один и лицом красив, и талан имеет, а другой нос картошкой, глаза горошкой… Вот оно, счастье-то, ему и не по нюху, и не по глазам. Чем же он, брат Шура, некрасив? Кто ее обрисовал, красоту? Ты ее, милую, в стандарты ли, в госты загнал? Или я? Нет, Шура…Правильная красота – добрая… Вот ты же не

думаешь про свою мамку, что она некрасивая?.. Или… Или про опята? А ведь мухомор куда красивее…

– Не знаю, – тонким голосом отвечал Санька. – Ей-богу, ничего не знаю…

– Ладно, – продолжал пастух. – Давай-ка нам, страхолюдным, автономию, и кина вашего не надобно! Давайте!

– Я-то скоро помру, Пронь…

– Не помрешь, я средство знаю… – заверил Проня.– Слушай дальше. Вот бы и собрали нас во един город, брат ты мой. Собрали бы нас, пожили бы мы, попривыкли дружка к дружке. Ну. Все несчастия бы свои позабыли и стали бы дружка к дружке подходить? А? Ты как на это смотришь?

– Эх!..

– Эх… Вот тебе и эх – глаза вразбег. То-то и оно, что все бы сначала завертелось. Тут хоть круть-верть, хоть верть-круть, милый… Все бы как есть и отобразилось… Средь нас бы свои красивые и некрасивые завелись. А почему? Отвечу: потому, не мы это завели. Жила бы красота с сердечностью – все бы спасла. Вот и вся химия, сынок… Хоть множь, хоть дели… Дал нам предок жизнь – живите, радуйтесь, молитесь брат на брата. Да?

– Ага, Проня, хорошо.

– Вот! Хорошо спешишь – не торопишься. И я говорю: светлый у тебя уменок, Александр….

– Вот и меня, Проня,– зазвенел Санькин голос обидой, – и меня, Проня, убили мериканцы своим атомом… А что за атом? Как он в меня попал, раз меня и на свете не было?

– Как не было? Выходит, был. Все люди, как узелки на одной ниточке. Как ее ни брось, как ни скрути, а за кончик-то потянешь: все мы тамо. Ты, сынок, про смерть и не думай, и на могилку я к тебе, Шурка, ходить не буду. Врачам не верь, и сам себе обиду не выдумывай. Зачем себя расквасил? Люди те, у кого молоко-то на Сахалине брали, они ведь живы, не померли?

Санька спокойно возразил:

– Откуда ты знаешь?

– Откуль, откуль! – рассердился Проня. – Знам откуль. Газеты-журналы на что тогда? А-а… Вон мои дурры бруцеллезные ходят – им хоть трава не расти: один бес, хозяева накормят… А человек – он сам себе голова. Я вот на войне три дня и три ночи на болоте высидел. Разведка полковая. Что думаешь: просто? А комары? А шевельнись – так прошьют с пулемету! Нет. Я просидел. Знаю: жена и двое сынишков в Починках живут, под Смоленском. А их

уж и в живых не было… Ах, братчик! Что ему, сердцу-то, край не указан? Где силушку брать на тук-тук да тук-тук… Нет. Живу. Зимой в бане кочегарю, летом коровенок пасу. Все меня в хуторе любят… Жи-и-ву…

– А можить?.. Не-а… – Санька привстал, но застонал тоненько и замолк.

Привстал и я потихоньку. Мне было стыдно за себя утреннего, вчерашнего и былого. Проня чистил картошку, испеченную в горячее золе, и горкой укладывал ее на газету.. Там же лежали невызревшие бурые помидоры.

– Не-е…– снова сказал себе Санька и мотнул головой. Но тут его будто вновь осенило, он аж радостно прихлопнул в ладони: – А можить? – начал он звонче и радостней, чем в первый раз. – Можить?.. – и опять помрачнел: – Не-а…

– Да что «можить»-то, что «можить»? – спросил Проня, переставая солить свои помидоры и запястьем руки придавил на лице разбухшего комара.

– Нет, – насупился Санька. – Я подумал: можить, ты на моей мамке женишься, она красивая. Мюллер дядь Степа за нее сватался. Она: нет, зачем мне такой? Он, говорит, никогда не смеется, говорит…

Тут Проня, словно ища помощи, повернулся ко мне и сделал страшную мину. Ему было, наверное, лет тридцать восемь, но тогда он казался мне древним стариком.

– Проснулся, казак? Вставай. К нашему пожалуй шалашу хлебать лапшу. Ты спал, а мы тут с Шурой вон лягушек на перво наловили, а на второ – мышей намышковали… Будешь?

– Как все, – бодро ответил я, хотел улыбнуться его шутке, но кожу стянуло высохшими слезами. Я пошел было умыться в болотце, но Проня закричал предостерегающе:

– Эй, эй! Стой, казак! Нельзя. Тут бруцеллезные коровы пьют. Кто ее знает? Случись что!

– А вы как?

– Так то я.

– А я не боюсь, – хорохорился я, желая ложью покрыть утреннюю трусость.

– Эшь ты!

Я так и не признался, что утром испугался невидимой коровы, и сам поверил, что спасал друга от лешего. Мы поели, улеглись на солнцегреве. Проня громко запел про охотника, который гуляет в островах, и вместо зверя находит испуганную красавицу Венеру.

Санька тянул шею, подпевал ему. Пели они так звонко, с незнакомыми искренними вывертами, что и я почувствовал потребность подпеть им.

– Вы, наверное, по нотам поете? – высказал я свою тайную мечту.

Проня глянул на меня удивленно и настороженно:

– По нотам? По нотам пусть поют, у кого таланту нету. По им и козу можно научить, а толку-то? Бе-е-е да бе-е-е! Все одно и то же…А мне нравится… Слышь?

Пастух поднял к небу указательный корявый палец, и, как дождь на нас обрушилось поднебесное пение птиц.

С той поры прошло немало.

И поныне бессонными ночами я мучаюсь мыслью о том, почему сознание общего горя роднит людей, а общее благоденствие разъединяет с природой и себе подобными. Чем отличается выражение «живем не лучше других» от «живем не хуже других»? И почему во втором звучит будто бы гордость, а в первом – зависть? А сказать: живем, как все живут – значит схитрить. Ведь каждый считает, что достоин лучшей судьбы.

Часто в бессонницу я гляжу во тьму и думаю, что тьма это тоже вроде свет, только черный. И чтоб научиться видеть во тьме, необязательно быть филином. Вот я вижу на ромашковой поляне мальчика в лакированных башмачках. Он легонько наступает на грудь мертвого грача, словно хочет найти в нем жизнь после смерти. Грач мертв, но произносит: «Кр-ра…» – и тем приводит мальчика в глубокую задумчивость. Это стоит в моей памяти Санька облезлый, который копит деньги на собственные похороны. Моя же команда работает на свалках авиационного завода в поисках утильных сокровищ, ныряет в мутную воду балок, где взрывали когда-то боеприпасы при отступлении. Мы сдаем сокровища Ахмету, а деньги копим, чтобы отдать их Санькиной матери для поездки на курорт. Тряпичник Ахмет осенью привез Саньке фланелевое с цигейковым воротником пальто, подарок конторы Утильсырье лучшему сдатчику цветных металлов. И мы еще не знаем, что никакой конторы не было, что подарки слал ему через Ахмета страшнолицый Проня, размышлявший в тишине околков о вечных материях.

Поздно

У матери был сын. Жили они вдвоем в новом районе. Город стоял по обе стороны большой сибирской реки, в нем жило много умных людей, но ее сын, по ее представлению, был самым умным.

Если судить о нем по внешности, то сутулость, низколобость и мрачность наводили на мысль, что это средней руки мастеровой, склонный к болезням. Впалые желтые щеки по самые глазницы отливали синевой, как у язвенников-брюнетов. Но мирскими болезными он не болел.

Звали сына Петром. С утра, поев вареной мойвы, он садился за письменный стол, отделанный под дуб. Петр любил этот стол: дверцы его не скрипели; ни один ящик не заедало в пазах; зеленое сукно было зеленым, как и тридцать лет назад, когда стол списали с баланса конторы, где мама Петра работала уборщицей.

По мнению закаменских девушек, Петр в юности был красив и похож на Раджа Капура. Но едва завязавшиеся знакомства мигом кончались: простых и добрых женщин Петр отпугивал чудовищной кичливостью, величавостью речей и жестов, которыми прикрывал безудержную стыдливость. А смелые женщины из кругов, почитаемых Петром за высшие, полюбопытствуют, бывало, – и в сторону. Панически, без оглядки. Так и не вкусив плотской любви, он защитился от нее уходом в бессистемное чтение, в разговоры с почитателями – читателей не было, в ниспровержение земных ценностей. Что-то было в нем от схимника. Он сказал себе – земная слава бренна. Однако по ночам ему снились женщины, он просыпался взбешенным, а вскоре брал ручку и сочинял стихотворения.

…не прячь глаза при свете лампионов…
как маков цвет твоих припухлых губ…
…луна закралась в заросли пионов…
…и шелестит под тяжестью муссонов…
…старинный парк на темном берегу…

Он плакал от восторга, нервно ходил по комнате из угла в угол, шепча:

– Ч-черт! И почему я такой талантливый?.. – и смеялся беззвучно, чтобы не разбудить мать.

Если бы он не сумел убедить себя в собственной гениальности, то не вынес бы отчаяния.

«…моя душа уже пришла в движенье, она не спит в бесстрастии дневном… Забудь меня! Я проиграл сраженье. В воде лишь звезд зеленое броженье. В душе лишь ты, умершая давно…»

– Это про Валю? – елейно спросила мать, сев на кровати и натянув до подбородка одеяло. Она благоговела перед величием Пе-

тра и его непреклонностью. Но все же очень хотела, чтобы сын женился.

– Что? – сурово и пренебрежительно спросил Петр, – какая, дьявол, Валя? Это из «Одесского цикла»… Цикл… Цикламены… Циклоп! Циклоп – человек, сочиняющий циклы! А нет! Я превышу все пределы человеческие!

В противоположном конце города Петр имел свою жилплощадь, то есть являлся ответственным квартиросъемщиком.Но платить за квартиру и свет ему было нечем: он уже несколько лет, как потерял интерес ко всякого рода производственной деятельности. Сын плотника, выпускник техникума, он портил все, к чему прикасались его неумелые руки, а техникумовский диплом спрятал куда-то. При всеобщей нехватке жилья его квартира стояла пустой, если не считать десятка гвоздей, которые Петр с удовольствием вбил в стены. Стоял в кухне старенький холодильник, где, по словам Петра, повесилась с голоду мышь, а ручку молотка изгрызли тараканы.

Кто внушил Петру эту страсть к искусству? Отец, который бросил доходную работу на стройке и пошел в оперный театр монтировщиком декораций? Или, может быть, руководитель техникумовского литобъединения, который на заре туманной юности Петра напечатал подборку стихов в областной молодежной газете? Тогда Петр почувствовал на вкус медок славы и отработал жест: он ронял чуб на лоб движением головы вбок и назад укладывал черно-синие волосы на место, взбивая их легонько рукой. Он хотел казаться умным и значительным. От своих просто душевных и певучих стихов он сразу отказался…процесс учебы вместе со всеми раздражал и угнетал его. Хотелось отдельной и огромной славы. Он верил в себя.

Но что же делать, если заберут за неуплату жилище, которое он получил как взрослый член семьи, когда снесли отцовский дом? Что? И Петр пустил в нее приятеля своего техникумовского приятеля Толю Прищепова с женой Шурой, женщиной молодой, красивой и бодрой.

Случилось так, что жена этого самого Толи стала сниться Петру по ночам, вытеснив из снов всех знакомых по старым снам. Сидят будто бы она и Шура на берегу маслянистого пруда ночью. Светит луна, и между густо-зеленых вершин пирамидальных тополей мерцает огонек хаты с соломенной крышей. Такая картина, маслом на клеенке, висела над Петровой кроватью в детстве и называлась ковром. Позже ее свернули в рулон и выбросили в сарай. Ковер был чем-то мил Петру, и, когда однажды по весне сарай загорелся, он бросился в огонь и спас сначала картину, а потом уже

поросенка. На солнечном дворе лица кавалера и барышни показались ему носатыми, глупыми. Они были покрыты трещинками, как сетью мелких морщин. Петр засмеялся своему детству и бросил картину в огонь.

Теперь в снах эти три милых существа: он, ковер и Шура – объединились. А снам не прикажешь. Просыпаясь, Петр ненавидел ее мужа потому, что незаметно для себя стал ненавидеть все, что было ему не дано: певцов и песни, летчиков и небо, спортсменов и крепкие мускулы. Он усмехался сочувственно вслед свадебным кортежам, когда бывал не один. А в одиночестве распалял воображение картинами желаемого будущего. «Еще не поздно», – думал он.

Плату с квартирантов он взял за год вперед. Денежки он любил. Но, скучая по дому, ехал туда на электричке, и глядел на Шуру, таясь, исподлобья и коротко.

В одну из зимних ночей Петр, как обыкновенно, проснулся, подброшенный идеей. Включил настольную лампу и в полынье чистого окна увидел свое отраженье. Он вгляделся в себя, словно собирался побриться.

– В Европе уже давно, а у нас только-только… – мучительно произнес он.

Кашлянула мать, прикрывая глаза от света иссохшей ладошкой.

– Ты о чем, Петя?

– Да так, мать… – Он дернулся и забегал по комнате, прихватывая себя за подбородок, наступая на края простыни, в которую был завернут.

Мать виновата сказала:

– Мойва кончается, Петя. Ты бы съездил к фатерантам, к Толику-то? А я бы постряпала чего-ничего… Пусть бы и вперед за месяц уплатили.

– Жить в простоте, мать, мысль на просторе!

– Дак…

– Деньги я, положим, возьму. Но с условием: ты на них себе зубы, мать, вставь! – великодушно решил Петр.

– Мать отмахнулась:

– А-а… Мойву, Петя, и так жевать можно… Она мяконькая…

– Мы с тобой, мать, еще все Швейцарии объездим! Я превышу все человеческие пределы…

– Петр, Петр… – восхищенно всплакнула мать, зашевелилась на кровати, поднялась: – Пойду состирну твои носки… – Она выразительно поморщилась.

– Поэты не пахнут, – быстро решил Петр и легко уснул.

А на следующий день к вечеру поехал за деньгами.

Мать села у окна и стала глядеть во двор, где бегала девочка с пластмассовым пулеметом. Двор был бел от снега, а стол, за которым сидела мать, – от чистого листа ватмана с кнопочками по углам. На белом лежали лист чистой бумаги и ручка сына.

Мать очень хотела, чтоб к доверчивому Петру не ходили люди с тощими лицами, не сочувствовали ему и не разжигали в нем злобу против родины и людей. Она чувствовала, что эти люди врут, но уличить их не могла, знала мало слов. А если б знала, то сказала бы, что они погубили сына своим зазнайством, иронией и по всякому поводу нытьем.

Электричек Петр не любил, как не любил реальной жизни. Он боялся выйти из домашних снов: попробуй-ка из комнатных шлепанцев да босиком по снегу… Он боялся удара кулаком в область сердца, хотя иногда лез «вдарить» кого-то, а обидчиками казались все. Он был завистливым трусом. Трусость и тщеславие мешали ему не только жениться, но и ходить по издательствам со своими стихами. Он боялся показаться смешным, считая себя великим.

Со стороны он действительно был смешон: нелепая фигура со вздернутыми плечами, толстая нижняя губа, шмыганье носом… И все это было завернуто в обшарпанное демисезонное пальто, в шапчонку детского размера, в разбитые двенадцатирублевые ботинки со шнурками в узлах. Он походил на нахохленную зябнущую птицу и постоянно смотрел себе под ноги.

Падал снег. Ровно, как по отвесу, ложился на детскую шапку Петра, на желтую от фонарей платформу.

В добром настроении глянул он на окна своей квартиры, подумал, как лучше попросить хотя бы пятнадцать рублей в долг.

«Здравствуй, Шура», – скажет он.

«Здравствуй, – ответит она. – Что это ты весь в снегу? Опять снег идет?»

«Снег. Прямо течет, иначе не скажешь…»

«Ну, снимай пальто…»

«А хозяин дома?» – снисходительно польстит Петр.

«Нет…»

Или: да? Ну, допустим, нет

«Тогда я подожду. Мне с ним надо переговорить по делу».

«Милости прошу».

Петр разувается.

«Шторы-то не купили еще?»

«Шторы? Да зачем они нам? Была бы своя квартира. А так: по морям, по волнам…»

«Жми на мужика, – скажет Петр, – пусть крутится».

Шура вздохнет: «У него одни гулянки на уме…»

«Ну, значит не нагулялся еще…»

Что будет дальше между ним и Шурой, он додумывать не стал. Так спокойней. А если Анатолий дома? Тогда:

«Привет, Шура… Толик – привет… – и сразу пальто на вешалку. Нужны быстрота и натиск. – Ну, как? Что шторы-то не купите? Мало получаете или мало кому должны?.. Да… Деньги, деньги…»

Пока снимает ботинки, самое трудное это развязать узлы на шнурках. Поэтому лучше не разуваться, чтобы избежать колючих реплик Анатолия. Например:

«Вы люди не смотрите, что мы плохо одеты, у нас и дома ничего нет…»

Или скажет:

«Ладно, не надо разуваться, а то натопчешь!»

А может и попросту:

«Ты до Нового года плату взял? Взял. Вот и приходи в срок. Не было тебя почти год – и хорошо…»

Тогда Петр скажет:

«Мне деньги не нужны. Я пришел сообщить вам пренеприятное известие: женюсь и даю вам месяц на сборы и поиски квартиры. А ты, муха, – это Анатолию, – ищи другого дурака…»

«Что ты? – закрутится Анатолий. – Ведь гений и злодейство несовместимы! Куда ж нам деваться? Ты уж стар, ты уж сед… А я молодой, зеленый, как трояк: брось меня в траву – потеряюсь! Дай зиму-то пережить, нахал!»

«Деньги на стол, муха!» – скажет Петр, прищурится и усмехнется, закусив в уголке рта папиросу.

И все, что ли?

Петр доел снежок, дуя на него, как на горячий пельмень. Снежок был с привкусом сажи. Вытерев покрасневшие руки о подкладку карманов, Петр подошел к дому походкой премьера, сходящего по трапу самолета.

Лампочки в подъезде не было. Или была, да не светила. Петр долго чиркал отсыревшими спичками, зажег наконец одну о панель, поднес ее к двери в поисках звонка – звонок оборван. Он опустил спичку ниже, чтоб рассмотреть номер квартиры, и увидел, что дверь опечатана. На двери был старый номер, который он, Петр, пристроил три года назад, родной номер. Спичка погасла, и он потрогал руками то место дверной коробки, где отчетливо осязалась полоска бумаги ч какой-то надписью на ней и сургучной блямбой.

– Дьявол! – растерялся Петр. Замер, глядя в темноту под ногами. Потер подбородок. – Дьявол…

Позвонил в соседскую дверь, там жил сварщик Володя из домоуправления.

– Кто? Послышался вопрос из-за двери.

– Это я, Володя, Петр…

– Какой Петр? У нас все дома… Но уже загремели засовчики, щеколды, цепочки. – Ты, что ли, Петяшка? Как снег на лысину! Какими ветрами? Заходи, заходи…

– Чего ты на сто запоров запираешься? Машину, что ли выиграл? Стук-бряк! Как в госбанке… – Петр желал попасть в тон. – Здорово!

– Здорово! – Володя с любопытством сорокалетнего выжиги оглядывал Петра. – Ну, снимай спецовку…

– Я ненадолго. Скажи, Володя, что случилось? – начал он, но Володя и сам уже кивал головой, улыбался, похлопывал Петра по плечу: сейчас, сейчас… Он позвал: – Катя! Катерина!

Из дальней комнаты вышла маленькая с круглым носиком его жена и подозрительно уставилась на Петра.

– Не признала? – спросил Петр якобы по-народному. – Богатым стану…

– Николай, что ли? – отчужденно глянула на него Катерина, но сделала два шага вперед.

Тогда муж пояснил, восторженно глядя на эту сцену:

– Петька же это! Сосед наш из горелой квартиры!

– Какой, какой? – заинтересовался Петр. – Ка… Какой, какой квартиры?

– А-а… – отчуждения на лице Катерины как не бывало. Его сменило выражение родственной жалости, соболезнования. – Петя! Как не узнать – Петя…

– Горелой, – попросту повторил Володя. – У тебя ж хата-то выгорела…

Петр замахал руками:

– Постой, постой, давай по порядку! Что значит «выгорела» Когда? Где квартиранты?

– Короче! – Володя показал руками «стоп». – Под полом я тебя загорелась электропроводка. Это было… это было… Когда? – рявкнул он на жену.

– После Октябрьских!

– Да… А дым-то по пустоткам к нам потянуло! Тяга! Окна на кухне открыть не могли…

– Дым, газ, бабушка на четвертом этаже…

– Короче! Орлы в противогазах прибыли и что? Вон, – Володя взял Петра за рукав и потянул на кухню, – видишь свежую краску? Так они у меня из пола три доски из пола вырвали! Топориками – хрясь, хрясь! А плинтус попробуй найди. Попробуй найти плинтус!

Петр желчно смеялся.

– Подь ты с плинтусом! – сказала жена и легонько ударила Володю кулачком по плечу. – У человека беда, а он: плин…

– Короче! Дошло до них, что у тебя горит, доехало! Понял? Ну – бзынь на звонок, бзынь – а кому? Деду Фому? Квартиранты твои с полгода как в Минусинск – ф-р-р-р! Тю-тю! Ломай, ребята, двери! Бум! Нету замка! Дверь – чпок! – открылась! А там: бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно… Они думали, огонь, и давай эту пену-то гнать: не жалко!..Казенная!

– Короче, – сказала Катерина, – пол в большой комнате весь – долой, на кухне доски две-три долой! А тут, говорят, как на полигоне: пусто, спасать, мол, нечего…

– Да, короче! – отмахнулся от нее Володя. – Опечатали тебя. Домоуправша Машка давно на эту хату зуб точила… Говорит: райисполком заберет площадь. За нее годами не плачено, какие-то люди без прописки живут: зы-зы-зы-зы. Понял, Петяшка? Ну ты дурак! Доверчивый-то почему такой? Тебе ж сколько: сорок – сорок пять? Ну? Мек-мек-мек…

– Ну, люди! – негодовал Петр, топая по тропинке к станции. – Ну, люди! Это ж надо так придумать! Мухи! Мухи! Дьявол…

Его одолевала черная обида на людей, живущих по непонятным ему законам, мало мучащихся своими ошибками и мало радующихся удачам. Они копошатся в гигантских городах, на тропинках от дома до работы с сумками, с детскими колясками, с ранними огурцами или поздними цветами. Он не знал, как жить дальше и боялся сознаться себе в этом. Он знал, что не будет бороться за квартиру, и даже чувствовал облегчение оттого, что теперь может сосредоточиться только на столе в материнском закутке, где он будет окружен всегда новой лестью своих старых почитателей. Он не считал их ущербными.

– Он был молчальником искусства! – оборачиваясь к своему бывшему дому, звонко и зло сказал Петр, втянул голову в панцирь пальто и зашагал навстречу дню своего рождения.

У него была мать. И только потому не умирала, превысив все пределы человеческой усталости, что не на кого было оставить дитя.

«ГНЕЗДО ПОЭТОВ»

Так назывался коллективный сборник стихов, выпущенный Новосибирским книжным издательством в 1989 году, который «открыл» читателю ряд интересных поэтов Новосибирска. Впрочем, если быть точным, первоначальное их открытие состоялось гораздо раньше, в шестидесятых годах, когда все они были членами легендарного городского литобъединения, которым руководил тогда Илья Фоняков. Сами себя они в те годы шутливо называли то «тетражистами» по выражению Александра Денисенко (т. е. – пишу стихи в тетрадь), то, по определению Ивана Овчинникова, «нетактистами» (не так пишу, как надо). Кто-то из авторов «Гнезда» и по сей день продолжает свою творческую работу. А иных – **Жанна Зырянова**, **Анатолий Соколов**, **Михаил Степаненко** – уже и нет с нами. Среди авторов «Гнезда» нет **Валерия Малышева**. Тем не менее – и по мироощущению, и по духу творческому – он, несомненно, принадлежал к тому же поэтическому «гнезду». Да и в объединении Фонякова был он тогда, в шестидесятых, старостой.

Прерывист и непрост оказался творческий путь птенцов того «гнезда», не так уж много, как могли бы, они успели. Но и то, что успели, отмечено печатью несомненного таланта и оставит свой след в современной поэзии Сибири.

*Поэтесса **Зырянова Жанна Владимировна** родилась 9 мая 1939 г. в Новосибирске.*

Работала машинисткой, гардеробщицей в театре, санитаркой, сторожем, библиотекарем. Первые стихотворные публикации Ж. Зарянoвой появились в середине 1960-х годов в газете «Молодость Сибири». Печатались в журналах «Нева», «Сибирские огни». Автор книг «Граница снегов» (1981), «Незванное» (1992), изданных в Новосибирске. Член Союза писателей России.

Умерла 21 декабря 1994 г. в Новосибирске.

* * *

В июле голубые кони
И вечер, как печаль икон,
Сварю малиновый свекольник.
Зажгу оранжевый огонь.
В июле васильки сгорели,
Но цвет шиповника пришел,
И было солнце над деревней
К закату, словно древний шелк.
Такой невероятно алый,
Широкий, радостный такой!
Как будто счастья всем хватало,
Но в нем таился непокой.
И оттого-то так щемило,
От этой щедрой красоты,
И оттого-то я щадила
Тебя так нежно, словно ты
Сейчас умрешь. А я не стану
Потом жалеть и горевать,
И не смогу чужой и странный
Твой мертвый рот поцеловать.
И ничего уже не будет,
Уже не будет никогда.
Уже другой закат остудит
Над алой крышей провода.
А с них слетят другие галки,
А к ночи будет тихий дождь.
И запах мха, и запах гари,
И топкой тьмы… Куда уйдешь?
В июле голубые шторы,
Но в них сгорели мотыльки,
А скоро август, август скоро.
Сильны закаты и легки…

*Поэт **Валерий Викторович Малышев** родился 29 марта 1940 года в Новосибирске. Окончил новосибирский инженерно-строительный институт. Работал инженером в торговом порту г. Находка, диспетчером Управления электрических и силовых сетей СО РАН. Литературную деятельность начал во второй половине 1960-х годов. Публиковался в журналах «Наш современник», «Сибирские огни», «Юность». В*

1987 г. в Москве вышла первая книга В. Малышева «И значит – жить!». Автор книг «Срывающийся крик» (1989), «Рассечка» (2001), «Красная нить» (2012). Член Союза писателей России.

Умер 23 мая 2006 года в Новосибирске.

Стихи В. Малышева отмечены острой злободневностью, высоким душевным накалом, обнаженной открытостью чувств, сердечной болью за судьбу родной страны. Но есть в них и надежда, опирающаяся на глубокое патриотическое чувство и веру в национальное возрождение русского народа.

* * *

«Усомнишься и – голову с плеч!..»
Отсекая артикул клевретов,
Я отправлю родимую речь
На погосты пяти континентов.

Зацвели чужеземные сны
Средь обломков погибельной славы,
Где угрюмо почиют сыны
Оскверненной Российской Державы!..

Диктатура качнула волну,
А волну процедили кордоны,
И философ завыл на луну,
Чтоб насытились тощие лона.

«Срежем верхнее пламя с огня!»
Ах, какие колосья скосили!
Западня, западня, западня, –
Слава Богу, светильник – Россия!

Диктатура вторую волну
Раскачала. Куда ж вы, родные,
Сквозь наветы, железо, войну?
Не сбываются сны золотые!

Нет, не впишутся в замкнутый быт
Те, кто якобы вырваны с корнем!
Откровенье над миром сквозит,
В нем такие протяжные скорби!

Знать прогресс прогорает дотла –
Дым и лязг в шестернях механизма.
Унитарная тень пролегла
Перепончатых крыл сионизма!

Эмигрантами третьей волны
Пузырясь, потекло отрицанье
На астральный зрачок сатаны,
На тельца золотого мерцанье.

Пузырись же на самом краю
(Тщетно ждать – возопит ли Исайя?).
Всю библейскую немочь свою
Под арабским жерлом сознавая!

*Поэт **Анатолий Евгеньевич Соколов** родился 21 января 1946 года в Новосибирске, в семье обских речников.*

Работал в геологических и геодезических экспедициях в Заполярье. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института. Был учителем русского языка и литературы в сельской школе, преподавал философию в новосибирских вузах. Кандидат философских наук, доцент. В начале 1960-х годов в местной прессе стали появляться первые стихи В. Соколова. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Новосибирск». Но первая его книга «Спартаковский мост» увидела свет в Новосибирске только в 1990 году. Автор книг «Крепость» (2001), «Невразумительные годы» (2004), «Материк» (2006). Член Союза писателей России. Лауреат премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского (2006).

Умер 19 апреля 2010 года в Новосибирске.

Трагедийность и преодоление одиночества, затравленность и брошеность человека в урбанистическом мире – вот мучительный смысл многих стихов А. Соколова. Задача поэта разоблачить этот мир и найти путь в свою духовную Отчизну. Густая метафорическая образность, оригинальная и смелая, отличают поэтический рисунок А. Соколова.

* * *

Когда нестерпимым становится холод разлуки,
И скорая помощь уже не примчится на вызов,
Оркестр души издает похоронные звуки,
И слезы летят со стеклянно-бородых карнизов.

От слез не спасешься за каменным веером града,
Широкие улицы туго шнурует поземка,
Звонку телефонному бывшая женщина рада,
Но голос ее мне приятен, как визг поросенка.

Глаза откровеннее окон больничной палаты,
Я в комнатном зеркале вырастил честный гербарий:
Букеты болезней, соленые дни без зарплаты,
Рай дружеских выпивок, сказки сердечных аварий…

Как шарик воздушный вдруг сморщится, смят и проколот,
Так тянет ребенка, кусая веселые губы,
Немыслимо вынести метафизический холод
В натопленной горнице даже в объятиях шубы…

Со скрежетом стекла царапают черные ветки,
Врываются в двери одна за другой интернетки,
Срывая одежду стыда, торопясь, задыхаясь,
Заранее полностью в том, что случится, раскаясь.

Одной говорю: почему мы друг друга не знаем,
Неужто мы раньше друг друга нигде не встречали,
Сегодня друг в друге на крыльях любви исчезаем,
А завтра готовы расстаться навек без печали?

Другую, когда рассветет, называю Еленой,
Пока она рядом, я не одинок во вселенной.

Еще нестерпимей становится холод разлуки,
Болит голова у раба беспризорной науки.
Ты, вечный подросток, фанат дискотек и кроссовок,
Рискуешь погибнуть в бездонной пучине тусовок!
Давай суетиться в чаду городских вернисажей
И дух врачевать только с помощью водки и шприца:
Под небом, богато украшенным снегом и сажей,
Становится чучелом каждая сильная птица.

Поэт ***Михаил Михайлович Степаненко*** *родился 24 декабря 1945 года в Новосибирске, в рабочей семье.*

После окончания школы трудился рабочим на новосибирских предприятиях, сторожем. Первые стихотворные выступления М. Степаненко относятся к концу 1960-х годов. Публиковался в газетах, в журнале «Новосибирск». Автор книг «На краткую разлуку» (1995), «Афиян» (2011).

Умер 1 мая 2013 года в Новосибирске.

* * *

Проходи, любимый, нежный санный,
Как дворняга, ласковый до слез,
С воздухом страны обетованной,
Где клубится белый дух берез.

Тих и нежен день исповедальный,
В даль и ширь, на город и простор,
Твой покров и свет первоначальный
Как вино и хлеб, как дом и стол.

Золотистый суп да рюмка полная
Друга, что сегодня нет со мной.
За окном – полынь… трава сугробная
И асфальта кафель ледяной.

Если плохо – в улицы туманные,
Если хорошо – домой в тепло,
Где обнимут дети милованные,
Где раскручено мое веретено.

ОСТАВШИЕСЯ В ТЕНИ

Представленные в «Хрестоматии» литераторы были при их жизни в основном достаточно хорошо знакомы читающей публике. Но бок о бок с ними вели свое творческое существованиеи те, кто по разным причинам оставался как бы в тени более известных коллег. В том числе и целый ряд талантливых новосибирских прозаиков, торивших свои пути к читательским сердцам в последние десятилетия минувшего века. Каждый из них – будь то ***Лариса Кравченко****,* ***Анатолий Черноусов****,* ***Борис Новосельцев****,* ***Геннадий Соловьев****,* ***Петр Муравьев****,* ***Владимир Клименко*** *или* ***Илья Картушин*** *– имел свое лицо, индивидуальность, каждый нес читателю собственное видение и понимание жизни, созвучные ему мысли и чувства. И по возрасту, и по мироощущению, и по творческому почерку это были разные писатели, и их едва ли правильно будет ставить в один ряд и причислять к одному литературному поколению. Объединяет их скорей та самая «тень», в которой шло их творческое существование и развитие – «тень», не позволявшая объективно и по достоинству оценить их литературный труд. А он был весьма значителен, интересен и заслуживает всяческого уважения.*

Прозаик, поэт **Лариса Павловна Кравченко** родилась 4 марта 1929 года в г. Харбине, в семье русских строителей КВЖД.

Долгое время жила в Манчьжурии. Выступала в местных эмигрантских журналах с начала 1940-х годов. В 1954 году переехала в СССР: Жила сначала в Баганском районе Новосибирской области, где работала комбайнером, позже – в Новосибирске. Работала экономистом на железной дороге, инженером по проектированию автодорог.

На родине публиковалась в журналах «Советская молодежь», «Сибирские огни». В 1962 году в Новосибирске вышла первая книга Л. Кравченко – сборник стихов «Встреча с Родиной». Автор книги прозы «Земля за холмом» (1988), изданной в Новосибирске. Член Союза писателей России.

Творчество Л. Кравченко посвящено преимущественно российской эмиграции, русским людям, вынужденным существовать на чужбине и стремящимся на родину.

Умерла 27 августа 2003 года в Новосибирске.

Прозаик **Анатолий Трофимович Черноусов** родился 7 марта 1937 года в селе Ново-Карасук Крутинского района Омской области, в крестьянской семье.

Окончил Омский политехнический институт. Работал инженером-конструктором, пионервожатым, слесарем-сборщиком, преподавал в техникуме, Новосибирском институте железнодорожного транспорта.

Публиковался в журналах «Смена», «Наш современник», «Сибирские огни», «Советская литература», «Уральский следопыт» и др. В 1971 году в Новосибирске вышла первая книга А. Черноусова «Экипажи готовить надо». Автор книг «Молодые люди» (1975), «Непривычное дело» (1976), «Делай то, за чем пришел» (1978), «Чужие» (1979), «Чалдоны» (1982), «Второй дом» (1984), «Круги» (1990) и др., изданных в Новосибирске и Москве. Член Союза писателей СССР.

А. Черноусова всегда отличал настолько же остросоциальный, критический, настолько же и оптимистический взгляд на окружающую действительность. В центре его произведений люди, как правило, неравнодушные, беспокойные, энергичные, не на словах, а на деле выступающие против безразличия, рутины, косности, безответственности в разных их проявлениях. При этом отмечены они поистине творческим отношением ко всякому, пусть и «непривычному делу».

Умер 24 июня 2000 года в Новосибирске.

Прозаик, публицист **Геннадий Васильевич Соловьев** родился 17 мая 1937 года в деревне Еланка Убинского района Новосибирской области.

Окончил историко-филологический факультет Новосибирского пединститута. Много лет проработал в средней школе села Владимировка Убинского района сначала учителем истории, потом ее директором. Избирался односельчанами председателем Владимировского сельсовета. После смерти Г. Соловьева на фасаде школы была установлена посвященная ему мемориальная доска.

Литературная деятельность Г. Соловьева началась в конце 1970-х годов. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Дальний Восток», в «Литературной газете». Автор книг «Золотое дно» (1981), «Вредный мужик Максим Бегаев» (1988). Член Союза писателей СССР.

Прожив всю жизнь в селе, Г. Соловьев и в произведениях своих писал о его заботах, проблемах, в том числе и сохранении окружающей среды, рачительном, бережном к ней отношении. Особенно остро вопросы эти стоят в первой повести Г. Соловьева» «Золотое дно», которая вызвала в свое время большой резонанс.

Умер 14 августа 2001 года в селе Владимировка Убинского района Новосибирской области.

Прозаик, поэт **Борис Иванович Новосельцев** родился 5 июля 1939 года в Новосибирске, в семье военнослужащего.

Окончил Новосибирский авиационный техникум. Учился в Белорусском государственном университете. Работал на Новосибирском кожевенно-обувном комбинате (КОРС) начальником транспортного цеха.

В начале 1970-х годов Б. Новосельцев дебютировал со стихами в журналах «Юность» и «Сибирские огни». А в 1977 году вышла его первая книга «Непокой». Но гораздо больше известен Б. Новосельцев как прозаик. Его перу принадлежат книги прозы «Параллельный мир» (1991), «Якорный бабай» (1992), «Любит барыню монах» (1994), «Многоразовые люди, или Не в жизни счастье» (1995), изданные в Новосибирске. Член Союза писателей СССР.

Б. Новосельцев был одним из первопроходцев криминальной темы в советской прозе второй половины XX века. Широко используя в своем творчестве криминальные коллизии, Б. Новосельцев, однако, никогда не романтизировал уголовный мир, зато стремился выйти через них на больные проблемы человеческого общества.

Умер 4 марта 1997 года в Новосибирске.

Прозаик, публицист **Петр Анатольевич Муравьев** родился 26 октября 1940 года в селе Кабаково Алейского района Алтайского края, в крестьянской семье.

Окончил Уральский государственный университет. Работал в газетах «Советская Сибирь», «Вечерний Новосибирск», «Советский воин». Был редактором отдела прозы, заведующим отделом очерка журнала «Сибирские огни».

Публиковался в журнале «Сибирские огни». Автор книг «Счастье без ума» (1995) «Дающая свет» (2000), «Ясновиденье» (2003) и др., изданных в Новосибирске. Член Союза писателей России.

В центре творчества П. Муравьева – нравственно-этические проблемы.

Умер 28 октября 2006 года в Новосибирске.

Прозаик, поэт **Владимир Ильич Клименко** родился 29 июня 1950 года в Уфе.

Окончил историко-филологический факультет Новосибирского педагогического института. Работал в новосибирских газетах, в Сибирской писательской ассоциации. Был литературным консультантом в Новосибирской писательской организации, ответственным секретарем журналов «Проза Сибири» и «Сибирские огни». Работал редактором издательства «Историческое наследие Сибири (Новосибирск).

Произведения В. Клименко публиковались в журналах «Сибирские огни», «Проза Сибири», «Уральский следопыт», «Дон», «Нива» (Казахстан), «Империя» (Литва), в «Роман-газете». В 1989 году в Новосибирске вышла первая книга В. Клименко «Редкий камень малахит». Автор книг «Тополиная кошка», «Утешительный заезд» (обе – 1992), «Калинов мост» (2000), «Ловцы ветра» (2002), «Город Зниич» (2004), «Рыцари квадратного стола» (2008) и др., изданных в Москве и Новосибирске. Член Союза писателей России.

Первые литературные шаги В. Клименко делал как поэт и автор рассказов и повестей для детей. Но в начале 1990-х годов уверенно заявил о себе и как интересный оригинальный писатель-фантаст. Произведения В. Клименко трудно отнести к какому-то определенному жанру фантастики. Он работает обычно на стыке жанров, что при умении выстроить напряженный интригующий сюжет, делает его вещи особенно увлекательными. При этом они далеки от чисто развлекательной беллетристики, а обращены к непреходящим темам, проблемам, человеческим ценностям и заставляют серьезно задумываться о вечно ускользающем смысле бытия.

Умер 19 ноября 2011 года в Новосибирске.

Прозаик **Илья Петрович Картушин** родился 22 марта 1953 года в г. Злынка Брянской области.

Окончил филологический факультет Новосибирского пединститута. Работал учителем, редактором на радио и телевидении,

в Западно-Сибирском книжном издательстве. Был редактором-составителем альманаха «Дарование» (Новосибирск).

Начинал с рассказов в жанре лирико-исповедальной прозы. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «Огонек». В 1982 году в Новосибирске вышла первая книга И. Картушина «Земные хлопоты». Автор книг «Двое и город» (1985), «Прототип» (1989), «Игры в буквы» (2002) и др., изданных в Новосибирске. Член Союза писателей России.

Основное направление творчества И. Картушина – психологическая проза.

Умер 23 января 2001 года в Новосибирске.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Кравченко Л. Земля за холмом. Роман. – Новосибирск, 1988.

Черноусов. А. Непривычное дело. Повести и рассказы. – М,, 1976.

Соловьев Г. Вредный мужик Максим Бегаев. Повесть. – Новосибирск, 1988.

Новосельцев Б. Второй срок. Повести и рассказы. – Новосибирск, 1991.

Муравьев П. Счастье без ума. Повести. – Новосибирск, 1995.

Клименко В. Кольцо Анубиса. Роман. – М., 2010.

Картушин И. Прототип. Рассказы. – Новосибирск, 1989.

НОВОСИБИРСКИЕ ПИСАТЕЛИ – ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Александров Николай Александрович – премия Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства (2004).

Белоусов Сергей Михайлович – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (1994).

Горшенин Алексей Валериевич – премия Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства (2004); литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2007).

Дедов Петр Павлович – премия Всесоюзного конкурса Союза писателей СССР и ВЦСПС на лучшее произведение о рабочем классе и колхозном крестьянстве (1984); премия Губернатора Новосибирской области в сфере искусства и культуры (2003); литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Михайловского (2008).

Закусина Нелли Михайловна – премия Губернатора Новосибирской области по литературе имени В.Я. Зазубрина (2004); литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2000).

Залыгин Сергей Павлович – Государственная премия СССР (1968); Герой Социалистического Труда.

Зеленский Виталий Иванович – премия Губернатора Новосибирской области по литературе имени В.Я. Зазубрина (2002).

Зернов-Крещик Виктор Александрович – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2002).

Иванов Анатолий Степанович – Государственная премия СССР (1979); Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1971); премия Ленинского комсомола (1978); премия имени М.А. Шолохова (1994); Герой Социалистического Труда.

Итин Вивиан Азарьевич – Краевая литературная премия Западно-Сибирского края имени А.М. Горького (1934, 1935).

Клименко Владимир Ильич – премия Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства (2004); литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2009).

Ключников Юрий Михайлович – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2012).

Коньяков Василий Михайлович – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (1996).

Коптелов Афанасий Лазаревич – Государственная премия СССР (1979); литературная премия Западно-Сибирского края имени А.М. Горького (1934, 1935).

Косенков Александр Федорович – Всесоюзная премия Киноакадемии (1976); премия Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства (2004); литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2005).

Магалиф Юрий Михайлович – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (1995).

Марков Георгий Мокеевич – Ленинская премия СССР (1976); Государственная премия СССР (1952); дважды Герой Социалистического Труда.

Мартышев Евгений Федорович – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2015).

Мирошниченко Юрий Анатольевич – «Лауреат премии Кузбасса» в области искусства (1985).

Мостков Юлий Моисеевич – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2004).

Мухачёв Илья Андреевич – Краевая литературная премия Западно-Сибирского края имени А.М. Горького (1934, 1935).

Набатникова Татьяна Алексеевна – лауреат Всесоюзного конкурса имени Н. Островского; премии: имени Бориса Полевого, Василия Шукшина, Михаила шолохова.

Никульков Анатолий Васильевич – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (1990).

Нотман Ролен Константинович – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (1998).

Ошаров Михаил Иванович – Краевая литературная премия Западно-Сибирского края имени А. М. Горького (1935).

Падерин Геннадий Никитович – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (1985).

Пермитин Ефим Николаевич – Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1970).

Прашкевич Геннадий Мартович – премии в области фантастики: «Аэлита» (1994), «Странник» (2003, 2004), имени И. Ефремова (2007, 2008), имени А. Беляева (2007), имени Ю. Тыньянова (2007),«Бронзовая улитка» (2003, 2003, 2005, 2007, 2008), «Лунная радуга» (2007) и др.; литературная премия мэрии Новосибирска и имени Н.Г. Гарина-Михайловского (1999), премия Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства ((2003).

Решетников Леонид Васильевич – Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1979).

Романов Александр Александрович – премия им. Константина Симонова (2004).

Садыров Анатолий Жамалиевич – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2011).

Самохин Николай Яковлевич – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (1987).

Сапожников Владимир Константинович – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (1993).

Синиченко Надежда Алексеевна – премия Губернатора Новосибирской области в области культуры и искусства (2003).

Созинова Нинель Ильинична – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2001).

Соколов Анатолий Евгеньевич – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2006).

Стюарт Елизавета Константиновна – премия имени Т.Г. Шевченко (1936).

Чарушников Олег Игоревич – премия Губернатора Новосибирской области по литературе имени В.Я. Зазубрина (2010).

Черненок Михаил Яковлевич – лауреат Всесоюзного конкурса МВД СССР и Союза писателей СССР (1982); премия Губернатора Новосибирской области по литературе имени В.Я. Зазубрина (2005); премия Союза писателей России «Во славу Отечества» (2010).

Чернов Юрий Владимирович – премия имени Василия Пескова «За верность профессии» (2006); литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2012).

Шалин Анатолий Борисович – премия Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства (2006); литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2010).

Шамов Владимир Викторович – премия губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства (2012).

Шипилов Николай Александрович – Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства, Малая российская литературная премия (1997); премия имени В.М. Шукшина (1991); премия «Традиция» (1995).

Ширковец Галина Сергеевна – литературная премия мэрии Новосибирска имени Н.Г. Гарина-Михайловского (2013).

Щукин Михаил Николаевич – премия Ленинского комсомола (1987); лауреат Всесоюзного конкурса имени Н. Островского (1987); премия «Карамзинский крест»; премия Губернатора Новосибирской области по литературе имени В.Я. Зазубрина (2012).

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Шамов.
Года идут или Как рождалась эта книга 3

Алексей Горшенин.
Локомотив сибирской литературы..... 9

«Суров мой путь...»
(Георгий Андреевич Вяткин) 51

«От чего не хочет оторваться сердце»
(Максимилиан Алексеевич Кравков) 61

У истоков литературы советской Сибири
(Лидия Николаевна Сейфуллина) 81

Поэт и романтик
(Вивиан Азарьевич Итин) 100

Верность родному краю
(Кондратий Никифорович Урманов) 120

Певец Алтая и любви
(Иван Евдокимович Ерошин) 143

Очарованный Севером
(Михаил Иванович Ошаров) 150

Страшная правда
(Владимир Яковлевич Зазубрин) 162

Край наш зелен и прекрасен
(Илья Андреевич Мухачёв) 176

По следам походных костров
(Григорий Анисимович Федосеев) 183

Знаток и патриот Сибири
(Савва Елизарович Кожевников) 201

Через тернии – в бессмертие
(Николай Александрович Кудрявцев) 208

Патриарх сибирской литературы
(Афанасий Лазаревич Коптелов) 230

«Быть поэтом – нелегкое право...»
(Елизавета Константиновна Стюарт) 243

Строка, оборванная пулей
(Евгений Николаевич Березницкий) 254

Поэтический мир сказок
(Александр Александрович Мисюрёв) 263

«Про Сибирь мою я везде пою...»
(Василий Михайлович Пухначёв) 279

«В поисках, в заботах и в пути...»
(Александр Иванович Смердов) 290

«Пусть свободный будет бег пера!»
(Павел Николаевич Васильев) 304

Дыхание сибирского эпоса
(Георгий Мокеевич Марков) 320

Отображенье женских судеб
(Елена Ивановна Коронатова) 339

Писатель для всех возрастов
(Михаил Петрович Михеев) 358

Поэт и гражданин
(Сергей Павлович Залыгин) 378

Явление советской драматургии
(Виктор Владимирович Лаврентьев) 395

Подвижник сибирской литературы
(Николай Николаевич Яновский) 421

Жизнь как чудо
(Илья Михайлович Лавров) 444

Добрая, добрая сказка
(Юрий Михайлович Магалиф) 462

«А жизнь плывет-качается...»
(Николай Илларионович Перевалов) 484

Через все преграды
(Николай Петровчич Осинин) 498

В Сибирь влюбленный
(Казимир Леонидович Лисовский) 516

Родина и долг
(Леонид Васильевич Решетников) 529

О войне мире и любви
(Иван Матвеевич Ветлугин) 540

Зона неизведанных глубин
(Геннадий Никитович Падерин) 552

Глубокая борозда
(Анатолий Васильевич Никульков) 572

Правдивый портрет времени
(Владимир Константинович Сапожников) 593

Подвиг поэта
(Борис Андреевич Богатков) 618

Пока жива любовь моя – Россия...
(Иван Георгиевич Краснов) 630

С открытых позиций
(Леонид Андреевич Чикин) 642

Разносторонний талант
(Аскольд Павлович Якубовский) 656

Зрячее сердце художника
(Василий Михайлович Коньяков) 678

Вечный зов родины
(Анатолий Степанович Иванов) 687

«Стихи – душа и сердце наши...»
(Александр Александрович Романов) 713

«Я – сибирячка всей судьбой...»
(Нннель Ильинична Созинова) 723

Ранимое средце поэта
(Александр Антонович Кухно) 736

Поэзия прозы
(Петр Павлович Дедов) 750

«Единственный роман»
(Николай Яковлевич Самохин) 773

Его литературные «маршруты»
(Евгений Александрович Городецкий) 790

«И это все судьба моя...»
(Илья Олегович Фоняков) 807

О детях и для детей
(Александр Михайлович Береснев) 818

Острота критического пера
(Владимир Николаевич Шапошников) 828

«Душа раскрыта нараспашку...»
(Виктор Александрович Зернов-Крещик) 844

«Какой хороший человек...»
(Геннадий Федорович Карпунин) 854

«Родительский дом»
(Александр Иванович Плитченко) 864

Зоркий взгляд на российскую глубинку
(Николай Александрович Шипилов) 875

«Гнездо поэтов» 892

Оставшиеся в тени 898

Новосибирские писатели – лауреаты литературных премий 903

Алексей Валериевич Горшенин

ПИСАТЕЛИ НОВОСИБИРСКА. XX ВЕК

Хрестоматия

Обложка:
Корректор:
Верстка: *Вялкова О.Н.*

Подписано в печать 27.11.2015. Формат 84x108/32.
Гарнитура «Times». Печать офсетная.
Тираж 000 экз. Заказ

Отпечатано в типографии